

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ





Андрей  
БЕЛЫЙ

---

ПЕТЕРБУРГ

---

РОМАН В ВОСЬМИ ГЛАВАХ  
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

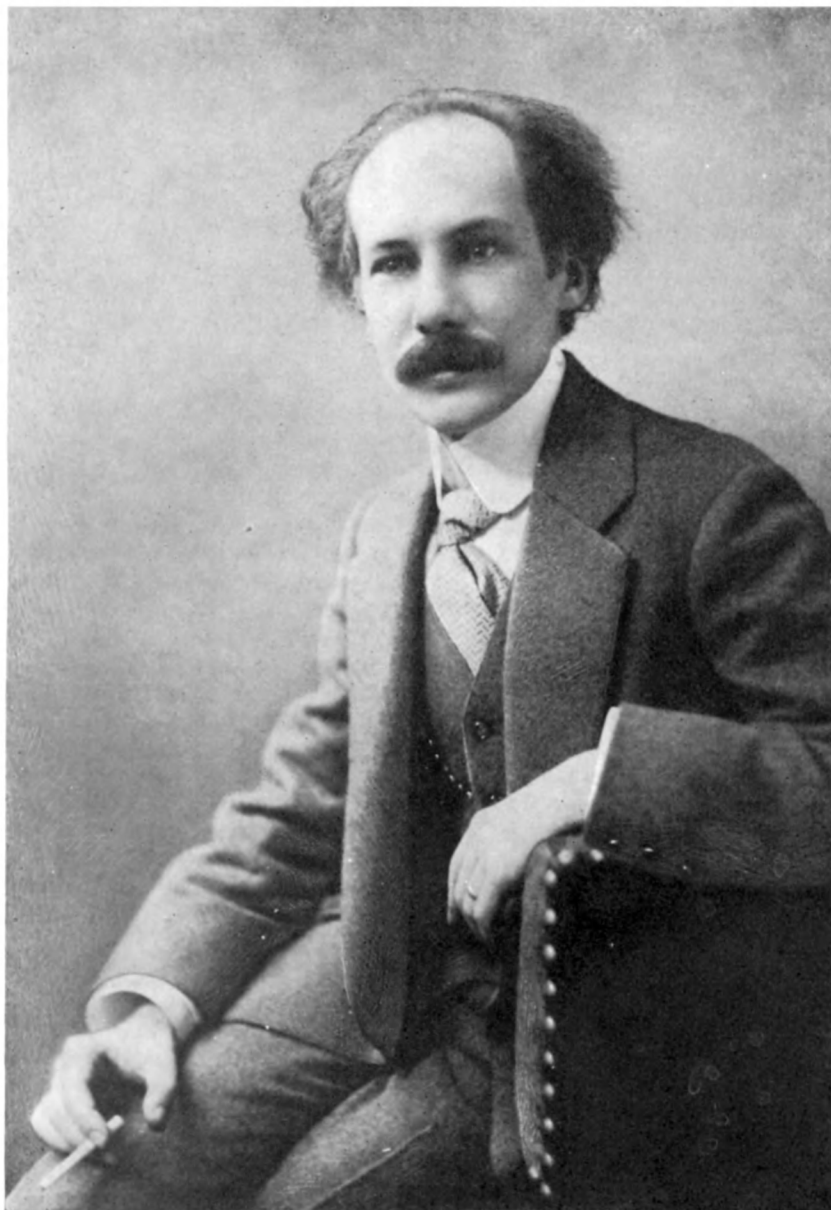
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ  
Л. К. ДОЛГОПОЛОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА · 1981

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой,  
И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин,  
Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),  
Д. С. Лизачев (председатель), А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),  
Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя),  
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов, С. О. Шмидт*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  
академик **Д. С. ЛИХАЧЕВ**



*Андрей Белый.*

*Фото. Брюссель, 1912 г. Музей ИРЛИ*

## ОТ РЕДАКТОРА

Тема «Петербурга» Андрея Белого выросла из двухсотлетней мифологии Петербурга, начало создания которой относится ко времени закладки города. В самой острой форме «Петербург» Белого противостоит «Медному всаднику» Пушкина и одновременно как бы продолжает и развивает его идеи. Не случайно Белый, сам поэт, отвечает Пушкину прозаическим произведением. Терроризм государственный и терроризм индивидуальный развенчиваются Белым, с того и с другого сдвигается всякий налет романтизма. Исторически произошло так, что памятник Петру — Медный всадник — и Сенат оказались на одной и той же площади — Сенатской: той самой, на которой разыгралась и трагедия декабрьского восстания. Герои «Петербурга» все так или иначе проходят мимо памятника Петру по Сенатской площади. Медный всадник стоит прямо против фасада Сената — того Сената, в котором служит старый чиновник сенатор Аблеухов — человек, не только лишенный всякого таланта, даже чиновничьего, но и ума. Аблеухов — часть гигантского махового колеса вечно движущегося аппарата царской государственной машины. Аблеухов — вырождение Петра. Роль Евгения в «Петербурге» играют террорист Дудкин и сын сенатора Аблеухова — Николай. Сын — это не случайно. Терроризм государственный порождает терроризм индивидуальный. И если Евгений в «Медном всаднике» только угрожает Петру — «Ужо тебе!», то у Николая Аблеухова оказывается уже бомба против своего отца. Правда, не бомба, а пошлейшая консервная коробка.

Медный всадник вместо погони за Евгением по «площади пустой» грозно и комично карабкается по лестнице в каморку террориста Дудкина — каморку, напоминающую каморку Раскольников. «Прадед» навещает «правнука».

Если Евгений грозит Петру, бессильно отстаивая свое право на свое маленькое личное счастье, если Раскольников убивает старуху-процентщицу во имя своей гонимости служить счастьем людям, то Дудкин Белого не менее бессильно пытается изобразить себя представителем воли пролетариата.

В этом единственном в своем роде развенчивании терроризма — мировое значение романа Белого. И хотя Белый явно не понял ни пролета-

риата, ни революции 1905 года, мы ценим его именно за это срывание покровов «благородства» и романтики с всякого терроризма.

Петербург в «Петербурге» Белого — не *между* Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе, и именно благодаря этому роман Белого приобретает сейчас актуальнейшее мировое значение.

Что сказать о необычной форме произведения Белого? Я думаю, главное в этой форме — постоянные искания, неудовлетворенность «гладкописью», которой так много было в русской литературе XIX в. Отсюда его постоянное стремление подчеркнуть «фактуру» формы, «фактуру» языка. В одном из неопубликованных писем к Б. В. Томашевскому (письмо от 3 августа 1933 г.; архив Н. Б. Томашевского) Белый писал: «Я давно осознал тему свою; эта тема — косноязычие, постоянно преодолеваемое искусственно себе сфабрикованным языком (мне всегда приходится как бы говорить вслух, набрав в рот камушки); отсюда — измученность; и искание внутренней тишины». Бывает косноязычие Моисея и косноязычие дурака. У Белого было косноязычие первого — косноязычие пророка. Вспомним, что и Демосфен преодолевал свое косноязычие, вкладывая в рот камушки. Проза Белого — это проза оратора, проза Демосфена.

Д. С. Лихачев

**ПЕТЕРБУРГ**





---



## ПРОЛОГ

Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!

Что есть Русская Империя наша?

Русская Империя паша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых — великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых — грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... Но — прочая, прочая, прочая.<sup>1</sup>

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: — из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный — Москва; и мать градов русских есть Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия.<sup>2</sup> И о нем распространяться не будем.

Распространимся более о Петербурге: есть — Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов — и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть — гм... да: ... для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому что Невский Проспект — прямолинейный проспект.

Невский Проспект — немаловажный проспект в сем не русском — столичном — граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду — существование полуторамиллионного московского населения — то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.<sup>3</sup>

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он — есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.



---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой повествуется об одной достойной особе,  
ее умственных играх и эфемерности бытия

Была ужасная пора.  
О ней свежо воспоминанье.  
О ней, друзья мои, для вас  
Начну свое повествованье, —  
Печален будет мой рассказ.

А. Пушкин<sup>1</sup>

### АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ АБЛЕУХОВ

Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама. И это не главное: несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.<sup>2</sup>

Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.

Эти предки (так кажется) проживали в киргиз-кайсацкой орде,<sup>3</sup> откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны<sup>4</sup> доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора,<sup>5</sup> получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Так о сем выходе из недр монгольского племени распространяется Гербовник Российской Империи.<sup>6</sup> Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто.

Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода.

. . . . .

Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.

— «Сам-то, вишь, встал. . .»

— «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофью. . .»

— «Утром почтарь говорил, будто барину — письмецо из Гишпани: с гишпанскою маркою».

— «Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма-то совали свой нос, . . .»

— «Стало быть: Анна Петровна...»

— «Ну и — стало быть...»

— «Да я, так себе... Я — что: ничего...»

Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов простествовал в кабинет.

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил... пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш.

Рассеянность проистекала оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход (Аполлон Аполлонович спешил в Учреждение). В «Дневнике», долженствующем появиться в год его смерти в повременных изданиях, стало страничкою больше.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откусивать кофей свой.

Предварительно с какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика:

— «Николай Аполлонович встал?»

— «Никак нет: еще не вставали...»

Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:

— «Ээ... скажите: когда же — скажите — Николай Аполлонович, так сказать...»

— «Да встанут они поздногато-с...»

— «Ну, как поздногато?»

И тотчас, не дожидаясь ответа, простествовал к кофейю, посмотрев на часы.

Было ровно половина десятого.

В десять часов он, старик, уезжал в Учреждение. Николай Аполлонович, юноша, поднимался с постели — через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.

Николай Аполлонович был сенаторский сын.

## СЛОВОМ, БЫЛ ОН ГЛАВОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ...

Аполлон Аполлонович Аблеухов отличался поступками доблести; но одна упала звезда на его золотом расшитую грудь: звезда Станислава и Анны, и даже: даже Белый Орел.

Лента, носимая им, была синяя лента.<sup>7</sup>

А недавно из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств воссияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак: Александра Невского.

Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?

Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблоухова зпала Россия по отменной пространности им произносимых речей; эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось.<sup>8</sup> С водворением Аблоухова на ответственный пост департамент девятый бездействовал.<sup>9</sup> С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами и, где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок (департамент девятый за ввоз не стоял). Речи сенатора облетели все области и губернии, из которых иная в пространственном отношении не уступит Германии.

Аполлон Аполлонович был главой Учреждения: ну, того... как его?

Словом, был главой Учреждения, разумеется, известного вам.

Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было б надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению; но ведь вот — удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, за исключением одного: но глава того департамента, вот уж скоро два года, замолчал по воле судеб под плитой гробовой.<sup>10</sup>

Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и — папье-маше (в час досуга); каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадней.

От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика,<sup>11</sup> одного из тех «жидовских» журнальчиков, кровавые обложки которых на кишачих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой...

## СЕВЕРО-ВОСТОК

В дубовой столовой раздавалось хрипенье часов; кланяясь и шипя, куковала серенькая кукушка; по знаку старинной кукушки сел Аполлон Аполлонович перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки белого хлеба. И за кофею свои прежние годы вспоминал Аполлон Аполлонович; и за кофею — даже, даже — пошучивал он:

— «Кто всех, Семеныч, почтеннее?»

— «Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее всех — действительный тайный советник».

Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:

— «И не так полагаете: всех почтеннее — трубочист...»

Камердинер знал уже окончание каламбура: но об этом он из почтенья — молчок.

— «Почему же, барин, осмелюсь спросить, такая честь трубочисту?»

— «Пред действительным тайным советником, Семеныч, стороятся...»

— «Полагаю, что — так, ваше высокопрев-ство...»

— «Трубочист... Перед ним посторонится и действительный тайный советник, потому что: запачкает трубочист».

— «Вот оно как-с», — вставил почтительно камердинер...

— «Так-то вот: только есть должность почтеннее...»

И тут же прибавил:

— «Ватерклозетчика...»

— «Пфф!..»

— «Сам трубочист перед ним посторонится, а не только действительный тайный советник...»

И — глоток кофея. Но заметим же: Аполлон Аполлонович был ведь сам — действительный тайный советник.

— «Вот-с, Аполлон Аполлонович, тоже бывало: Анна Петровна мне сказывала...»

При словах же «Анна Петровна» седой камердинер осекся.

• . . . . .

— «Пальто серое-с?»

— «Пальто серое...»

— «Полагаю я, что серые и перчатки-с?»

— «Нет, перчатки мне замшевые...»

— «Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обещать-с: ведь перчатки-то у нас в шифоньерке: полка б е — северо-запад».

Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: он однажды проделал ревизию своему инвентарю; инвентарь был зарегистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, б е, ц е; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.<sup>12</sup>

Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка — б е и С В, то есть северо-восток; копию же с реестра получил камердинер, который и вытвердил направления принадлежностей драгоценного туалета; направления эти порою во время бессонницы безошибочно он скандировал наизусть.

• . . . . .

В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно: событиями не гремели они; не блистали в сердца очистительно стрелами молний; но из хриплого горла струей ядовитых флюидов вырывали воздух они; и крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах.

# П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

Р О М А Н Ъ

ВЪ ВОСЬМИ ГЛАВАХЪ СЪ ПРОЛОГОМЪ И ЭПИЛОГОМЪ

АНДРЕЯ БЪЛАГО

1916.



## БАРОН, БОРОНА

Со стола поднялась холодная длинноногая бронза; ламповый абажур ве сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным гонко: секрет этой краски девятнадцатый век потерял; стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; и вон то — увенчивал крылышком золотощекий амурчик; и вон там — золотого венца и лавры, и розаны прободали тяжелые пламена факелов. Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик.

Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушечек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна, тому назад — тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнули некстати так в сенаторской голове...

Тотчас же глаза перевел на рояль он.

С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой инкрустации; и опять (докучная память!) Аполлон Аполлонович вспомнил: белую петербургскую ночь; в окнах широкая там бежала река; и стояла луна; и гремела рулада Шопена: помнится — игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна...<sup>13</sup>

Разблистались листики инкрустации — перламутра и бронзы — на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки, и с китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем: наклонилась к конвертам лысая его голова. В ожиданьи лакея с неизменным «лошади поданы» углублялся он здесь, перед отъездом на службу, в чтение утренней корреспонденции.

Так же он поступил и сегодня.

И конвертики разрывались: за конвертом конверт; обыкновенный, почтовый — марка наклеена косо, неразборчивый почерк.

— «Мм... Так-с, так-с, так-с: очень хорошо-с...»

И конверт был бережно спрятан.

— «Мм... Просьба...»

— «Просьба и просьба...»

Конверты разрывались небрежно; это — со временем, потом: как-нибудь...

Конверт из массивной серой бумаги — запечатанный, с вензелем, без марки и с печатью на сургуче.

— «Мм... Граф Дубльве... Что такое?.. Просит принять в Учреждении... Личное дело...»

— «Ммм... Ага!..»

Граф Дубльве, начальник девятого департамента, был противник сенатора и враг хуторского хозяйства.<sup>14</sup>

Далее... Бледно-розовый, миниатюрный конвертик; рука сенатора дрогнула; он узнал этот почерк — почерк Анны Петровны; он разглядел испанскую марку, но конверта не распечатал:

- «Мм... деньги...»
- «Деньги были же посланы?»
- «Деньги посланы будут!!..»
- «Гм... Записать...»

Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку «отослать обратно по адресу», как...

- «?..»
- «Поданы-с...»

Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.

На стенах висели картины, отливая масляным лоском; и с трудом через лоск можно было увидеть французенок, напоминавших гречанок, в узких туниках былых времен Директории<sup>15</sup> и в высочайших прическах.

Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида «Distribution des aigles par Napoléon premier».<sup>16</sup> Картина изображала великого Императора в венке и горноставной порфире; к пернатому собранию маршалов простирал свою руку Император Наполеон; другая рука зажимала жезл металлический; на верхушку жезла сел тяжелый орел.

Холодно было великолепье гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной.

Но сенатором Аблеуховым оно возводилось в принцип.

Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни; в этом доме конфузались все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и кидались друг к другу — на гулких этих паркетах; и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.

С отъезда Анны Петровны: безмолвствовала гостиная, опустилась крышка рояля: не гремела рулада.

Да — по поводу Анны Петровны, или (проще сказать) по поводу письма из Испании: едва Аполлон Аполлонович прошествовал мимо, как два юрких лакейчика затараторили быстро.

- «Письмо не прочел...»
- «Как же: станет читать он...»
- «Отшлет?»
- «Да уж видно...»
- «Эдакий, прости Господи, камень...»

— «Вы, я вам скажу, тоже: соблюдали бы вы словесную деликатность».

• . . . . .  
 Когда Аполлон Аполлонович спускался в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, снизу вверх поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку — подарок министра.

Аполлон Аполлонович остановился на лестнице и подыскивал слово.

— «Мм... Послушайте...»

— «Ваше высокопревосходительство?»

Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово:

— «Что вообще — да — поделявает... поделявает...»

— «?...»

— «Николай Аполлонович.»

— «Ничего себе, Аполлон Аполлонович, здравствуют...»

— «А еще?»

— «По-прежнему: затворяться изволят и книжки читают.»

— «И книжки?»

— «Потом еще гуляют по комнатам-с...»

— «Гуляют — да, да... И... И? Как?»

— «Гуляют... В халате-с!..»

— «Читают, гуляют... Так... Дальше?»

— «Вчера они поджидали к себе...»

— «Поджидали кого?»

— «Костюмера...»

— «Какой такой костюмер?»

— «Костюмер-с...»

— «Гм-гм... Для чего же такого?»

— «Я так полагаю, что они поедут на бал...»

• . . . . .  
 — «Ага — так: поедут на бал...»

Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим:

— «Вы из крестьян?»

— «Точно так-с!»

— Ну, так вы — знаете ли — барон.»

«?»

— «Борона у вас есть?»

— «Борона была-с у родителя.»

— «Ну, вот видите, а еще говорите...»

Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь.

## КАРЕТА ПРОЛЕТЕЛА В ТУМАН

Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши; низвергалась холодными струйками с жестяных желобов.

Изморось поливала прохожих: награждала их гриппами; вместе с тонкою пылью дождя инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый

воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; и субъект (так сказать, обыватель) озирался госкливо; и глядел на проспект стерто-серым лицом; циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность, без всякого ропота — в бесконечном токе таких же, как он, — среди лёта, грохота, трепетанья, пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад и нарастающий гул желто-красных трамваев (гул потом убывающий снова), в непрерывном окрике голосистых газетчиков.

Из одной бесконечности убегал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечности.

А там-то, гам-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось — опустятся воды, и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватую мутью в тумане гремел и дрожал, вон куда убегая, черный, черный такой Николаевский Мост.

В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома: желтый дом<sup>17</sup> окнами выходил на Неву. Бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони рванулись к подъезду; подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб: единорог, прободающий рыдара.<sup>18</sup>

Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглубел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-панье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную замшевую перчатку.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Серый лакей поспешно хлопнул каретною дверцею. Карета стремительно пролетела в туман; и случайный квартальный, погрязенный всем виденным, долго-долго глядел через плечо в грязноватый туман — туда, куда стремительно пролетела карета; и вздохнул, и пошел; скоро скрылось в тумане и это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные, мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей, посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы. Предварительно следует исправить вкрадшуюся неточность; в ней повинен не автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу:<sup>19</sup> это был тысяча девятьсот пятый год.

## КВАДРАТЫ, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЫ, КУБЫ

— «Гей, Гей...»

Это покрикивал кучер...

И карета разбрызгивала во все стороны грязь.

Там, где взвесилась только одна туманная зырьость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился — грязноватый, черноватосерый Исакий;<sup>20</sup> намечался и вовсе наметился: конный памятник Императора Николая;<sup>21</sup> металлический Император был в форме Лейб-Гвардии; у подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматую шапку николаевский гренадер.

Карета же пролетела на Невский.

Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его ограничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.

Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.

Гармонической простотой отличались его вкусы.

Более всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек; и еще об одном: иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург.

Мокрый, скользкий проспект: там дома сливались кубами в плавомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной лишь в одном отношении: не было у этого ряда ни конца, ни начала; здесь середина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.

Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелую линию Невского разрезал его лакированный куб: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда — в ясные дни издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни, — ничего, никого.

А там были — линии: Нева, острова. Верно в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проныдающая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман —

— на теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда Летучий Голландец<sup>22</sup> из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков; адские огоньки кабачков двухсотлетие зажигал отсюда Голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу...

Поотплывали темные тени. Адские кабачки же остались. С призраком долгие годы здесь бражничал православный народ: род ублюдочный пошел с островов — ни люди, ни тени, — оседая на грани двух друг другу чуждых миров.

Аполлон Аполлонович островов не любил: население там — фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг; и еще кое-что. Аполлон Аполлонович думал: жители островов причислены к народонаселению Российской Империи; всеобщая перепись введена и у них; у них есть нумерованные дома, участки, казенные учреждения; житель острова — адвокат, писатель, рабочий, полицейский чиновник; он считает себя петербуржцем, но он, обитатель хабса, угрожает столице Империи в набегающем облаке...

Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: непокойные острова — раздавить, раздавить! Приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направлениях проспектными стрелами...

И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы... чтобы...

После линии всех симметричностей успокаивала его фигура — квадрат.

Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.

Зигзагообразной же линии он не мог выносить.

Здесь, в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу без дум четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения; лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.

Мокрый, скользкий проспект пересекся мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения линий стал городской...

И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали; растирались калошами; плыл торжественно обывательский нос. Носы протекали во множестве: орлиные, утиные, петушиные, зеленоватые,

белые; протекало здесь и отсутствие всякого носа.<sup>23</sup> Здесь текли одиночки, и пары, и тройки—четверки; и за котелком котелок: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с все таким же рядом коробок, нумерацией, облаками; и тем же чиновником.

Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.

За Петербургом же — ничего нет.

### ЖИТЕЛИ ОСТРОВОВ ПОРАЖАЮТ ВАС

Жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками; лица их зеленей и бледней всех земнородных существ; в скважину двери проникнет островитянин — какой-нибудь разночинец: может быть, с усиками; и того гляди выпросит — на вооружение фабрично-заводских рабочих; заговорит, зашепчется, захихикает: вы дадите; и потом не будете вы больше спать по ночам; заговорит, зашепчется, захихикает ваша комната: это он, житель острова — незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый, его — нет как нет; он уж — в губернии; и глядишь — заговорят, зашепчутся там, в пространстве, уездные дали; загремит, заговорит в уездной дали там — Россия.

Был последний день сентября.

На Васильевском Острове, в глубине семнадцатой линии из тумана глядел дом огромный и серый; с дворика в дом вводила черная, грязноватая лестница: были двери и двери; одна из них отворилась.

Незнакомец с черными усиками показался на пороге ее.

Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец спускаться; он сходил с высоты пяти этажей, осторожно ступая по лестнице; в руке у него равномерно качался не то чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из лиющих фазанов.

Мой незнакомец отнесся с отменной осторожностью в обращении с узелком.

Лестница была, само собой разумеется, черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом. Незнакомец с черными усиками на ней поскользнулся.

Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила, а другая рука (с узелком) растерянно описала в воздухе нервный зигзаг; но описыванье зигзага относилось, собственно, к локтю: незнакомец мой, очевидно, хотел охранить узелок от досадной случайности — от паденья с размаху на каменную ступень, потому что в движении локтя проявилась воистину ловкая фортель акробата: дежикатную хитрость движенья подсказывал некий инстинкт.

А затем в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутой чрез плечо охапкою осиновых дров и загородившим дорогу, незнакомец с черными усиками снова усиленно стал выказывать деликатное попечение о судьбе своего узелка, могущего зацепить за полено; предметы, хранимые в узелке, должны были быть предметами особенно хрупкими.

Не было бы иначе понятно поведение моего знакомого.

Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к выходной черной двери, то черная кошка, оказавшаяся у ног, фыркнула и, задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам знакомого куриную внутренность; лицо моего знакомого передернуло судорога; голова же нервно закинулась, обнаружив нежную шею.

Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду: подтвердить необычайным поступком интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов.

И такие же точно движения отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец такую бессонницею страдал: прокуренность его обиталища на то намекала; и о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица, — столь нежной кожи, что не будь незнакомец мой обладателем усиков, вы бы, пожалуй, приняли знакомого за переодетую барышню.

И вот незнакомец — на дворике, четырехугольнике, залитом сплошь асфальтом и отовсюду притиснутом пятью этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены отсыревшие сажени осиновых дров; и был виден и отсюда кусок семнадцатой линии, обвистанной ветром.

Линии!

Только в вас осталась память петровского Петербурга.

Параллельные линии на болотах некогда провел Петр;<sup>24</sup> линии те обросли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую округленную линию, в александровский строй белокаменных колоннад.

Лишь здесь, меж громадин, остались петровские домики; вон бревенчатый домик; вон — домик зеленый, вот — синий, одноэтажный, с ярко-красною вывеской «Столовая». Точно такие вот домики раскиданы здесь в стародавние времена. Здесь еще, прямо в нос, бьют разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой, и прибрежным брезентом.

Линии!

Как они изменились: как их изменили эти суровые дни!

Незнакомец припомнил: в том вон окошке того глянцевого домика в летний вечер июньский старушка жевала губами; с августа затворилось окошко; в сентябре принесли газетовый гроб,



Он думал, что жизнь порождает и рабочему люду будет скоро — нечего есть; что оттуда, с моста, вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами с ватагою каменных великанов; ватага та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю островную бедноту.

Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел: там, оттуда вставал Петербург в волне облаков; и парили там здания; там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова; кто-то темный, грозный, холодный оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыринными крыльями; и хлестал ответственным словом островную бедноту, выдаваясь в тумане черепом и ушами; так недавно был кто-то изображен на обложке журнальчика.

Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак; вспомнил он циркуляр и вспомнил, что падали листья: незнакомец мой все знал наизусть. Эти павшие листья — для скольких последние листья: незнакомец мой стал — синеватая тень.

От себя же мы скажем: о, русские люди, русские люди! Вы толпы скользких теней с островов к себе не пускайте! Бойтесь островитян! Они имеют право свободно селиться в Империи: знать для этого чрез легийские воды<sup>25</sup> к островам перекинуты черные и серые мосты. Разобрать бы их...

Поздно...

Николаевский Мост полиция и не думала разводить; темные повалили тени по мосту; между теми тенями и темная повалила по мосту тень незнакомца. В руке у нее равномерно качался не то чтобы маленький, а все же не очень большой узелочек.

## И, УВИДЕВ, РАСШИРИЛИСЬ, ЗАСВЕТИЛИСЬ, БЛЕСНУЛИ...

В зеленоватом освещении петербургского утра, в спасительном «как жет ся» пред сенатором Аблеуховым циркулировал и обычный феномен: явление атмосферы — поток людской; тут люди немели; потоки их, набегая волнообразным прибоем, — гремели, рычали; обычное ухо же не воспринимало нисколько, что прибой тот людской есть прибой громовой.

Спаянный маревом сам в себе поток распадался на звенья потока: протекало звено за звеном; умопостигаемо каждое удалялось от каждого, как система планет от системы планет; ближний к ближнему тут находился в таком же приблизительном отношении, в каковом находится лучевой пучок небосвода в отношении к сетчатой оболочке, проводящей в мозговой центр по нервному телеграфу смутную, звездную, промерцавшую весть.

С предтекущей толпой престарелый сенатор сообщался при помощи проволок (телеграфных и телефонных); и иоток теневой сознанию его предносился, как за далями мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал: о звездах, о невнятности пролетавшего громового потока; и, качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого с Сатурна.

Вдруг... —

— лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились каменные глаза, обведенные синевой; кисти рук, одетые в черную замшу, подлетели на уровень груди, будто он защищался руками. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку, упал на колени под оголенную головой. . .

Безотчетность сенаторского движенья не поддавалась обычному голкованию; кодекс правил сенатора ничего такого не предусматривал. . .

Созерцая текущие силуэты — котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья — Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам на небосводе; но одна из сих точек, срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой повеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара, то есть, хочу я сказать: —

— созерцая текущие силуэты (фуражки, фуражки, перья), Аполлон Аполлонович из фуражек, из перьев, из котелков увидел с угла пару бешеных глаз: глаза выражали одно недопустимое свойство; глаза узнали сенатора; и, узнавши, сбесились; может быть, глаза поджидали с угла; и, увидев, расширились, засветились, блеснули.

Этот бешеный взгляд был сознательно брошенным взглядом и принадлежал разночинцу с черными усиками, в пальто с поднятым воротником; углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее, чем вспомнил, сообразил еще нечто: в правой руке разночинец держал перевязанный мокрой салфеткой узелок.

Дело было так просто: стиснутая потоком пролетов, карета остановилась у перекрестка (городовой там приподнял свою белую палочку); мимо шедший поток разночинцев, стиснутый пролетом пролетов, к потоку перпендикулярно летящих, пересекающих Невский, — этот поток теперь просто прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки, попирающей тот же самый проспект: обеспокоенный, Аполлон Аполлонович вплотную придвинулся к стеклам кареты, увидевши, что всего-то он отделен от толпы тонкой стенкою и четырехвершковым пространством; тут увидел разночинца он; и стал спокойно рассматривать; что-то было достойное быть замеченным во всей невзрачной фигуре той; и наверное б физиономист, невзначай встретив на улице ту фигуру, остановился бы изумленный: и потом меж делами вспоминал бы то виденное лицо; особенность сего выражения заключалась лишь в трудности подвести то лицо под любую из существующих категорий — ни в чем более. . .

Наблюдение это промелькнуло бы в сенаторской голове, если бы наблюдение это продлилось с секунду; но оно не продлилось. Незнакомец поднял глаза и — за зеркальным каретным стеклом, от себя в четырехвершковом пространстве, увидал не лицо он, а... череп в цилиндре да огромное бледно-зеленое ухо.

В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца — ту самую бескрайность хаоса, из которой исконно сенаторский дом дозирает туманная, многотрубная даль и Васильевский Остров.

Вот тогда-то вот глаза незнакомца расширились, засветились, блеснули; и тогда-то вот, отделенные четырехвершковым пространством и стенкой кареты, за стеклом быстро вскинулись руки, закрывая глаза.

Пролетела карета; с нею же пролетел Аполлон Аполлонович в те сырые пространства; там, оттуда — в ясные дни восходили прекрасно — золотая игла,<sup>26</sup> облака и багровый закат; там, оттуда сегодня — рой грязноватых туманов.

Там, в роях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он то же все: рой грязноватого дыма; сердце забилося; и ширилось, ширилось, ширилось; в груди родилось ощущение растущего, багрового шара, готового разорваться и раскидаться на части.

Аполлон Аполлонович Аблеухов страдал расширением сердца.

Все это длилось мгновенье.

Аполлон Аполлонович, машинально надевши цилиндр и замшевой черной рукою прижавшись к скакавшему сердцу, вновь отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем спокойный и разумный отчет.

Аполлон Аполлонович снова выглянул из кареты: то, что он видел теперь, изгладило бывшее: мокрый, скользкий проспект; мокрые, скользкие плиты, лихорадочно заблеставшие сентябрьским денечком!

Кони остановились. Городовой отдал под козырек. За подъездным стеклом, под бородатой кариатидою, подпиравшей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал то же все зрелище: там блистала медная, тяжкоглавая булава; на восьмидесятилетнее плечо там упала темная треуголка швейцара. Восьмидесятилетний швейцар засыпал над «Биржевою».<sup>27</sup> Так же он засыпал позавчера, вчера. Так же он спал роковое то пятилетие...<sup>28</sup> Так же проспит пятилетие впредь.

Пять лет уж прошло с той поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к Учреждению безответственным главой Учреждения: пять с лишком лет прошло с той поры! И были события: проволновался Китай и пал Порт-Артур.<sup>29</sup> Но виденье годин — неизменно: восьмидесятилетнее плечо, галун, борода.

Дверь распахнулась: медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес каменный взор в широко открытый подъезд. И дверь затворилась.

Аполлон Аполлонович стоял и дышал.

— «Ваше высокопревосходительство... Сядьте-с... Ишь ты, как задыхаетесь...»

— «Все-то бегаете, будто маленький мальчик...»

— «Посидите, ваше высокопревосходительство: отдышитесь...»

— «Так-то вот-с...»

— «Может... водицы?»

Но лицо именитого мужа просветилось, стало ребяческим, старческим; изошло все морщинками:

— «А скажите, пожалуйста: кто муж графини?»

— «Графини-с?.. А какой, позволю спросить?»

— «Нет, просто графини?»

— «?»

— «Муж графини — графин?»

• . . . . .  
«Хе-хе-хе-с...»

• . . . . .

А уму непокорное сердце трепетало и билось; и от этого все кругом было: тем — да не тем...

### ДВУХ БЕДНО ОДЕТЫХ КУРСИСТОЧЕК...

Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец; и вернее, он утекал в совершенном смятенье от того перекрестка, где потоком людским был притиснут он к черной карете, откуда уставились на него: череп, ухо, цилиндр.

Это ухо и этот череп!

Вспомнив их, незнакомец кинулся в бегство.

Протекала пара за парой: протекали тройки, четверки; от каждой под небо вздымался дымовой столб разговора, переплетаясь, сливаясь с дымовым, смежнобегущим столбом; пересекая столбы разговоров, незнакомец мой ловил их отрывки; из отрывков тех составлялись и фразы, и предложения.

Заплеталась невская сплетня.

— «Вы знаете?» — пронеслось где-то справа и погасло в набегавшем грохоте.

И потом вынырнуло опять:

— «Собираются...»

— «Что?»

— «Бросить...»

Зашушукало сзади.

Незнакомец с черными усиками, обернувшись, увидел: котелок, трость, пальто; уши, усы и нос...

— «В кого же?»

— «Кого, кого» — перешукнулось издали; и вот темная пара сказала.

— «Абл...»

И сказавши, пара прошла.

— «Аблеухова?»

— «В Аблеухова?!»

Но пара докончила где-то там...

— «Абл... ейка меня кк...исла...тою... попробуй...»

И пара икала.

Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным:

— «Собираются?..»

— «Бросить?..»

— «В Абл...»

• • • • •  
— «Нет же: не собираются...»

• • • • •

А кругом зашепталося:

— «Поскорее...»

И потом опять сзади:

— «Пора же...»

И пропавши за перекрестком, напало из нового перекрестка:

— «Пора... право...»

Незнакомец услышал не «право», а «прово-»; и докончил сам:

— «Прово-кация?!»

Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышанных слов: провокацией наделила она невинное право; а «обл... ейка» она превратила в черт знает что:

— «В Абл...»

И незнакомец подумал:

— «В Аблеухова».

Просто он от себя присоединил предлог ве, ер: присоединением буквы ве и твердого знака изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания; и что главное: присоединил предлог незнакомец.

Провокация, стало быть, в нем сидела самом; а он от нее убегал: убегал — от себя. Он был своей собственной тенью.

О, русские люди, русские люди!

Толпы зыбких теней не пускайте вы с острова: вкрадчиво тени те проникают в телесное обиталище ваше; проникают отсюда они в закоулки души: вы становитесь тенями клубообразно летящих туманов: те туманы летят искони из-за края земного: из свинцовых пространств волнами кипящего Балта; в туман искони гам усталились громовые отверстия пушек.

В двенадцать часов, по традиции, глухой пушечный выстрел торжественно огласил Санкт-Петербург, столицу Российской Империи: все туманы разорвались и все тени рассеялись.

Лишь тень моя — неуловимый молодой человек — не сотрясся и не расплылся от выстрела, беспрепятственно совершая свой пробег до Невы. Вдруг чуткое ухо моего незнакомца услышало за спиною восторженный шепот:

- «Неуловимый!..»
- «Смотрите — Неуловимый!»
- «Какая смелость!..»

И когда, уличенный, повернулся он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...

### ДА ВЫ ПОМОЛЧИТЕ!..

- «БЫбы... БЫбы...»

Так громыхал мужчина за столиком: мужчина громадных размеров; кусок желтой семги он закинул в рот и, давясь, выкрикивал непонятности. Кажется он выкрикивал:

«Вы-бы...»

Но слышалось:

- «БЫ-бы...»

И компания тощих пиджачников начинала визжать:

- «А-а́хха-ха, а́ха-ха!..»

.....

Петербургская улица осенью пронизывает весь организм: леденит костный мозг и шекочет дрогнувший позвоночник; но как скоро с нее попадешь ты в теплое помещение, петербургская улица в жилах течет лихорадкой. Этой улицы свойство испытывал сейчас незнакомец, войдя в грязенькую переднюю, набитую туго: черными, синими, серыми, желтыми п ó л ь т а м и, заливчатскими, вислоухими, кургузыми шапками и всевозможной калошей. Обдавала теплая сырость; в воздухе повисал белеющий пар: пар блинного запаха.

Получив обжигающий ладонь номерок от верхнего платья, разношинец с парю усиков наконец вошел в зал...

- «А-а-а...»

Оглушили его сперва голоса.

- .....
- «Ра-аа-ков... ааа... а́х-ха-ха...»
  - «Видите, видите, видите...»
  - «Не говорите...»
  - «Ме-емме...»
  - «И водки...»
  - «Да помилуйте... да подите... Да как бы не так...»

.....

Все то бросилось ему в лоб; за спиною же, с Невского, за ним вдогонку бежало:

- «Пора... право...»
- «Что право?»
- «Кация — акация — кассация...»
- «Бл...»
- «И водки...»

Ресторанное помещепие состояло из грязненькой комнатки; пол натирался мастикою; стены были расписаны рукой маляра, изображая там обломки шведской флотилии, с высоты которых в пространство рукой указывал Петр; и летели оттуда пространства синькою белогривых валов; в голове незнакомца же полетела карета, окруженная роєм...

- «Пора...»
- «Собираются бросить...»
- «В Абл...»
- «Прав...»

Ах, праздные мысли!..

На стене красовался зеленый кудреватый шпинат, рисовавший зягзагами плезиры петергофской природы<sup>30</sup> с пространствами, облаками и с сахарным куличом в виде стильного павильончика.

- «Вам с пикончиком?»<sup>31</sup>

Одутловатый хозяин из-за водочной стоечки обращался к нашему незнакомцу.

- «Нет, без пикону мне».

А сам думал: почему был испуганный взгляд — за каретным стеклом: выпучились, окаменели и потом закрылись глаза; мертвая, бритая голова прокачалась и скрылась; из руки — черной замшевой — его по спине не огрел и злой бич циркуляра; черная замшевая рука протряслась там безвластно; была она не рука, а... ручоночка...

Он глядел: на прилавке сохла закуска, прокисали все какие-то вялые листики под стеклянными колпаками с грудью третьеводнишних перепрелых котлеток.

- «Еще рюмку...»

Там вдали посиживал праздно потеющий муж с преогромною кучерской бороною, в синей куртке, в смазных сапогах поверх серых солдатского цвета штанов. Праздно потеющий муж опрокидывал рюмочки; праздно потеющий муж подзывал вихрастого полового:

- «Чего извоетс?..»
- «Чаво бы нибудь...»
- «Дыньки-с?»
- «К шуту: мыло с сахаром твоя дынька...»
- «Бананчика-с?»
- «Неприличнава сорта фрухт...»
- «Астраханского винограду-с?»

Трижды мой незнакомец проглотил терпкий бесцветно блистающий яд, которого действие напоминает действие улицы: пищевод и желудок лижут сухим языком его мстительные огни, а сознание, отделяясь от тела, будто ручка машинного рычага, начинает вертеться вокруг всего организма, просветляясь невероятно... на один только миг.

И сознание незнакомца на миг прояснилось: и он вспомнил: безработные голодали там; безработные там просили его; и он обещал им; и взял от них — да? Где узелочек? Вот он, вот — рядом, тут... Взял от них узелочек.

В самом деле: та невская встреча повышибла память.

— «Арбузика-с?»

— «К шуту арбузик: только хруст на зубах; а во рту — хоть бы что...»

— «Ну так водочки...»

Но бородатый мужчина вдруг выпалил:

— «Мне вот чего: раков...»

Незнакомец с черными усиками уселся за столик, поджидать ту особу, которая...

— «Не желаете ль рюмочку?»

Праздно потеющий бородач весело подмигнул.

— «Благодарствуйте...»

— «Отчего же-с?»

— «Да пил я...»

— «Выпили бы и еще: в маём кумпанействе...»

Незнакомец мой что-то сообразил: подозрительно поглядел он на бородача, ухватился за мокренький узелочек, ухватился за оборванный листик (для газетного чтения); и им, будто бы невзначай, прикрыл узелочек.

— «Тульские будете?»

Незнакомец с неудовольствием оторвался от мысли и сказал с достаточной грубостью — сказал фистулою:

— «И вовсе не тульский...»

— «Аткелева ж? ...»

— «Вам зачем?»

— «Так...»

— «Ну: из Москвы...»

И плечами пожавши, сердито оп отвернулся.

И он думал: нет, он не думал — думы думались сами, расширяясь и открывая картину: брезенты, канаты, селедки; и набитые чем-то кули: неизмеримость кулей; меж кулями в черную кожу одетый рабочий синеватой рукой себе на спину взваливал куль, выделяясь отчетливо на тумане, на летящих водных поверхностях; и куль глухо упал: со спины в нагруженную балками барку; за кулем — куль; рабочий же (знакомый рабочий) стоял над кулями и вытаскивал трубочку с пренелепо на ветре плясавшим одежды крылом.

— «По камерческой части?»

(Ах ты, Господи!)

— «Нет: просто — так...»



И сам сказал себе:

— «Сыщик...»

— «Вот оно: а мы — в кучерах...»

— «Шурин та мой у Кистинтина Кистинтиновича<sup>32</sup> кучером...»

— «Ну и что ж?»

— «Да что ж: ничаво — здесь сваи...»

Ясное дело, что — сыщик: поскорее бы приходила особа.

Бородач между тем горемычно задумался над тарелкою несъеденных раков, крестя рот и протяжно зевая:

— «О, Господи, Господи!..»

О чем были думы? Васильевские? Кули и рабочий? Да — конечно: жизнь дорожает, рабочему нечего есть.

Почему? Потому что: черным мостом туда вонзается Петербург; мостом и проспектными стрелами, — чтоб под кучами каменных гробов задавить бедноту; Петербург ненавидит он; над полками проклятыми зданий, восстающими с того берега из волны облаков, — кто-то маленький воспарил из хаба и плавал там черною точкою: все визжало оттуда и плакало:

— «Острова раздавить!..»

Он теперь только понял, что было на Невском Проспекте, чье зеленое ухо на него поглядело в расстоянии четырех вершков — за каретным стеклом; маленький там дрожащий смертёныш тою самою был летучею мышью, которая, воспаря, — мучительно, грозно и холодно, угрожала, визжала...

Вдруг — ...

Но о вдруг мы — впоследствии.

## ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ ТАМ СТОЯЛ

Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню; во мгновение ока отчетливо пред ним восставали: доклады вчерашнего дня; отчетливо у себя на столе он представил сложенные бумаги, порядок их и на этих бумагах им сделанные пометки, форму букв тех пометок, карандаш, которым с небрежностью на поля наносились: синее «дать ходъ» с хвостиком твердого знака, красное «справка» с росчерком на «а».

В краткий миг от департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознания; всякая мозговая игра отступала на край поля зрения, как вон те белесоватые разводы на белом фоне обой: кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр того поля, как вот только что в центр этот упавший портрет.

А — портрет? То есть: —

И нет его — и Русь оставил он...<sup>33</sup>

Кто он? Сенатор? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет же: Вячеслав Константинович...<sup>34</sup> А он, Аполлон Аполлонович?

И мнится — очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый...<sup>35</sup>

Очередь — очередь: по очереди —

И над землей сошлись новы тучи  
И ураган их...<sup>36</sup>

Праздная мозговая игра!

Кучка бумаг выскочила на поверхность: Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, обратился к чиновнику:

— «Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне дело — то самое, как его...»

— «Дело дьякона Эракова с приложением вещественных доказательств в виде клок бороды?»

— «Нет, не это...»

— «Помещика Пузова, за номером?..»

— «Нет: дело об Ухтомских Ухабах...»

Только что он хотел открыть дверь, ведущую в кабинет, как он вспомнил (он было и вовсе забыл): да, да — глаза: расширились, удивились, сбесились — глаза разночинца... И зачем, зачем был зигзаг руки?.. Пренеприятный. И разночинца он как будто бы видел — где-то, когда-то: может быть, нигде, никогда...

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета.

Письменный стол стоял на своем месте с кучкою деловых бумаг: в углу камин растрещался поленьями; собираясь погрузиться в работу, Аполлон Аполлонович грел у камина избывшие руки, а мозговая игра ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости.

## РАЗНОЧИНЦА ОН ВИДЕЛ

Николай Аполлонович... .

Тут Аполлон Аполлонович... .

— «Нет-с: позвольте»

— «?..»

— «Что за чертовщина?»

Аполлон Аполлонович остановился у двери, потому что — как же иначе?<sup>37</sup>

Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь выдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений: мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты, в чьих пределах созревали проекты; Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных сочетаний относился, как

к плоскости: плоскость эта, однако, порой раздвигалась, пропускала в центр умственной жизни за сюрпризом (как, например, вот сейчас).

Аполлон Аполлонович вспомнил: разночинца однажды он видел.

Разночинца однажды он видел — представьте себе — у себя на дому.

Помнит: как-то спускался он с лестницы, отправляясь на Выход; на лестнице Николай Аполлонович, перегнувшийся чрез перила, с кем-то весело разговаривал: о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться; чувство такта естественно тогда помешало ему спросить напрямик:

— «А скажи-ка мне, Коленька, кто такое это тебя посещает, голубчик мой?»

Николай Аполлонович опустил бы глаза:

— «Да так себе, папаша: меня посещают...»

Разговор и прервался бы.

Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько и личностью разночинца, там глядевшего из передней в своем темном пальто; у незнакомца были те самые черные усики и те самые поразительные глаза (вы такие б точно глаза встретили ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона, что у Никольских ворот: — часовня прославлена исцелением бесноватых;<sup>38</sup> вы такие бы точно глаза встретили б на портрете, приложенном к биографии великого человека; и далее: в невропатической клинике и даже психиатрической).

Глаза и тогда; расширились, заиграли, блеснули; значит: то уже было когда-то, и, может быть, то повторится.

— «Обо всем — так-с, так-с...»

— «Надо будет...»

— «Навести точнейшую справку...»

Свои точнейшие справки получал государственный человек не прямым, а окольным путем.

Аполлон Аполлонович посмотрел за дверь кабинета: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! К делам склоненные головы! Скрипы перьев! Шорохи переворачиваемых листов! Какое кипучее и могучее бумажное производство!

Аполлон Аполлонович успокоился и погрузился в работу.

## СТРАННЫЕ СВОЙСТВА

Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами:<sup>39</sup> черепная коробка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир.

Приняв во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство, лучше бы Аполлон Аполлонович не откидывал

от себя ни одной праздной мысли, продолжая и праздные мысли носить в своей голове: ибо каждая праздная мысль развивалась упорно в пространственно-временной образ, продолжая свои — теперь уже бесконтрольные — действия вне сенаторской головы.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы уже видели: один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникшая как образ, забытийствовал далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что вышел он — из них именно: не из сенаторской головы; праздные мысли оказались и у этого незнакомца; и те праздные мысли обладали все теми же свойствами.

Убегали и упрочнялись.

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, незнакомец, существует действительно; эта мысль с Невского забежала обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие незнакомца в голове этой — иллюзорное бытие.

Так круг замкнулся.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: едва из его головы родилась вооруженная узелком Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая же точно Паллада.<sup>40</sup>

Палладою этою был сенаторский дом.

Каменная громада убежала из мозга; и вот дом открывает гостеприимную дверь — нам.

Лакей поднимался по лестнице; страдал он одышкой, не в нем теперь дело, а в... лестнице: прекрасная лестница! На ней же — ступени: мягкие, как мозговые извилины. Но не успеет автор читателю описать ту самую лестницу, по которой не раз поднимались министры (он ее опишет потом), потому что — лакей уже в зале...

И опять-таки — зала: прекрасная! Окна и стены: стены немного холодные... Но лакей был в гостиной (гостиную видели мы).

Мы окинули прекрасное обиталище, руководствуясь общим признаком, коим сенатор привык наделять все предметы.

Так: —

— в кои веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел то же и здесь, что и мы; то есть: видел он — цветущее лоно природы; но для нас это лоно распадалось мгновенно на признаки: на фиалки, на лютики, одуванчики и гвоздики; но сенатор отдельности эти возводил вновь к единству. Мы сказали конечно:

— «Вот лютик!»

— «Вот незабудочка...»

Аполлон Аполлонович говорил и просто, и кратко:

— «Цветы...»

— «Цветок...»

Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками... —

С лаконической краткостью охарактеризовал бы он и свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты и кубы), из прорезанных окон, паркетов, стульев, столов; далее — начинались детали...

Лакей вступил в коридор...

И тут не мешает нам вспомнить: промелькнувшие мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков), — словом, все, промелькнувшее мимо, не могло иметь пространственной формы: все то было одним раздражением мозговой оболочки, если только не было хроническим недомоганием... может быть, мозжечка.

Строилась иллюзия комнаты; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости; и когда захлопнул лакей за собой гостинные тяжелые двери, когда он стучал сапогами по гулкому коридорчику, это только стучало в висках: Аполлон Аполлонович страдал геморроидальными приливами крови.

За захлопнутой дверью не оказалось гостиной: оказались... мозговые пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены, состоявшие из искристых брызг (обусловленных приливом), — голые стены были только свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височных и теменных костей, принадлежащих почтенному черепу.

Дом — каменная громада — не домом был; каменная громада была Сенаторской Головой: Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами, удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует.

Странные, весьма странные, чрезвычайно странные свойства!

## НАША РОЛЬ

Петербургские улицы обладают несомненным свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.

Он, возникши, как мысль, в сенаторской голове, почему-то связался и с собственным сенаторским домом; там всплыл он в памяти; более же всего упрочился он на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем скромном рассказе.

От перекрестка до ресторанчика на Миллионной<sup>41</sup> описали мы путь незнакомца; описали мы, далее, самое сидение в ресторанчике до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось; вдруг с незнакомцем случилось там что-то; какое-то неприятное ощущение посетил его.

Обследуем теперь его душу; но прежде обследуем ресторанчик; даже окрестности ресторанчика; на то есть у нас основание; ведь если мы, ав-

тор, с педантичной точностью отмечаем путь первого встречного, то читатель нам верит: поступок наш оправдается в будущем. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца; славный сенатор и сам бы взялся за телефонную трубку, чтоб посредством ее передать, куда следует, свою мысль; к счастью для себя, он не знал обиталища незнакомца (а мы же обиталище знаем). Мы идем навстречу сенатору; и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, этим агентом будем мы.

Позвольте, позвольте. . .

Не попали ли мы сами впросак? Ну, какой в самом деле мы агент? Агент — есть. И не дремлет он, ей-богу, не дремлет. Роль наша оказалась праздною ролью.

Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика и нас охватило желание туда воспоследовать тоже, мы обернулись и увидели два силуэта, медленно пересекавших туман; один из двух силуэтов был довольно толст и высок, явственно выделяясь сложением; но лица силуэта мы не могли разобрать (силуэты лиц не имеют); все же мы разглядели: новый, шелковый, распушенный зонт, ослепительно блестящие калоши да полукотиковую шапку с наушниками.

Паршивенькая фигурка низкорослого господинчика составляла главное содержание силуэта второго; лицо силуэта было достаточно видно: но лица также мы не успели увидеть, ибо мы удивились огромности его бородавки: так лицевую субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция<sup>42</sup> (как подобает ей действовать в этом мире теней).

Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару, пред ресторанною дверью та темная пара остановилась и сказала несколько слов на человеческом языке.

— «Гм?»

— «Здесь. . .»

— «Так я и думал: меры приняты; это на случай, если бы вы его мне не показали у моста».

— «А какие вы приняты меры? . . .»

— «Да я там, в ресторанчике, посадил человека».

— «Ах, напрасно вы принимаете меры! Я же вам говорил, говорил: сто раз говорил. . .»

— «Простите, это я из усердия. . .»

— «Вы бы прежде посоветовались со мной. . . Ваши меры прекрасны. . .»

— «Сами же вы говорите. . .»

— «Да, но ваши прекрасные меры. . .»

— «Гм. . .»

— «Что? . . . Ваши прекрасные меры — перепутают все. . .»

• . . . .  
 Пара прошла пять шагов, остановилась; и опять сказала несколько слов на человеческом языке.

- «Гм!.. Придется мне... Гм!.. Пожелать теперь вам успеха...»
- «Ну какое же может быть в том сомнение: предприятие поставлено, как часовой механизм; если б я теперь не стоял за всем этим делом, то, поверьте мне дружески: дело — в шляпе».
- «Гм?»
- «Что такое вы говорите?»
- «Проклятый насморк».
- «Я же о деле...»
- «Гм...»
- «Души настроены, как инструменты: и составляют концерт — что такое вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой. Сенатору Аплеухову издать циркуляр, Неуловимому же предстоит...»
- «Проклятый насморк...»
- «Николаю Аполлоновичу предстоит... Словом: концертное трио, где Россия — партер. Вы меня понимаете? Понимаете? Что же вы все молчите?»
- «Послушайте: брали бы жалованье...»
- «Нет, вы меня не поймете!»
- «Пойму: гм-гм-гм — положительно не хватает платков».
- «Что такое?»
- «Да насморк же!.. А зверь — гм-гм-гм — не уйдет?»
- «Ну, куда ему...»
- «А то брали бы жалованье...»
- «Жалованье! Я служу не за жалованье: я артист, понимаете ли, — артист!»
- «Своего рода...»
- «Что такое?»
- «Ничего: лечусь сальной свечкой».
- Фигурка повынимала иссморканный носовой платок и опять чмыкала носом.
- «Я же о деле! Так-таки передайте им, что Николай Аполлонович обещание дал...»
- «Сальная свечка прекрасное средство от насморка...»
- «Расскажите им все, что вы слышали от меня: дело это поставлено...»
- «Вечером намажешь ноздрю, утром — как рукой сняло...»
- «Дело поставлено, опять-таки говорю, как часов...»
- «Нос очищен, дышишь свободно...»
- «Как часовой механизм!..»
- «А?»
- «Часовой, черт возьми, механизм».
- «Заложило ухо: не слышу».
- «Ча-со-вой ме-ха-...»
- «Апчхи!..»

Под бородавкою загулял вновь платочек: две тени медленно утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпиц.

И вошла в рестораник.

## И ПРИ ТОМ ЛИЦО ЛОСНИЛОСЬ

Читатель!

«В друг» знакомы тебе. Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного «в друг»? Заговори с тобою о «в друг» посторонний, ты скажешь, наверное:

— «Милостивый государь, извините меня: вы, должно быть, отъявленный декадент».

И меня, наверное, уличишь в декадентстве.

Ты и сейчас предо мною, как страус; но тщетно ты прячешься — ты прекрасно меня понимаешь; понимаешь ты и неотвратимое «в друг».

Слушай же...

Твое «в друг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате; в первом случае ты обеспокоен ужасно: в спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую дверь, повалилась ватага невидимых; ты обертываешься и просишь хозяйку:

— «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к открытым дверям».

Ты смеешься, она смеется.

Иногда же при входе в гостиную тебя встретят всеобщим:

— «А мы только что вас поминали...»

И ты отвечаешь:

— «Это, верно, сердце сердцу подало весть».

Все смеются. Ты тоже смеешься: будто не было тут «в друг».

Иногда же чуждое «в друг» поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелая снюхаться с «вдруг» твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит.

Твое «в друг» кормится твоею мозговою игрою; гнусности твоих мыслей, как пес, оно пожирает охотно; распухает оно, таешь ты, как свеча; если гнусны твои мысли и трепет овладевает тобою, то «в друг», обожравшись всеми видами гнусностей, как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать, вызывая у постороннего наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора черным, взору невидимым облаком: это есть косматое «в друг», верный твой домовый (знал я несчастного, которого черное облако чуть ли не видимо взору: он был литератором...)<sup>43</sup>.



• • • • •  
 Мы оставили в ресторапчике незнакомца. Вдруг незнакомец обернулся стремительно; ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиною не было никого: мрачно как-то зияла дверь ресторанного входа; и оттуда, из двери, повалило невидимое.

Тут он сообразил: по лестнице поднималась, конечно, им поджидаемая особа; вот-вот войдет; но она не входила; в дверях не было никого.

А когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тотчас же неприятный толстяк; и, идя к незнакомцу, поскрипывал он половицею; желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавно плавало в своем собственном втором подбородке; и притом лицо лоснилось.

Тут незнакомец мой обернулся и вздрогнул: особа дружески помачала ему полукотиковой шапкой с наушниками:

— «Александр Иванович...»

— «Липпанченко!»

— «Я — самый...»

— «Липпанченко, вы меня заставляете ждать».

Шейный воротничок у особы был повязан галстухом — атласно-красным, кричащим и заколотым крупным стразом,<sup>44</sup> полосатая темно-желтая пара облекала особу; а на желтых ботинках поблескивал блистательный лак.

Заняв место за столиком незнакомца, особа довольно воскликнула:

— «Кофейник... И — послушайте — коньяку: там бутылка моя у меня — на имя записана».

И кругом раздавалось:

— «Ты-то пил со мной?»

— «Пил...»

— «Ел?..»

— «Ел...»

— «И какая же ты, с позволения сказать, свинья...»

• • • • •  
 — «Осторожнее» — вскрикнул мой незнакомец: неприятный толстяк, названный незнакомцем Липпанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения: лист газетного чтения накрывал узелочек.

— «Что такое?» — Тут Липпанченко, снявши лист газетного чтения, увидал узелок: и губы Липпанченко дрогнули.

— «Это... это... и есть?»

— «Да: это — и есть».

Губы Липпанченко продолжали дрожать: губы Липпанченко напоминали кусочки на ломтики нарезанной семги — не желто-красной, а маслянистой и желтой (семгу такую, наверное, ты едал на блинах в небогатом семействе).

— «Как вы, Александр Иванович, скажу я вам, неосторожны». — Лип-

панченко протянул к узелку свои дубоватые пальцы; и блистали поддельные камни перстней на пальцах опухших, с обгрызанными ногтями (на ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос; внимательный наблюдатель мог вывести заключение: особа-то красилась).

— «Ведь еще лишь движенье (положи я только локоть), ведь могла бы быть... катастрофа...»

И с особою бережливостью переложила особа узелочек на стул.

— «Ну да, было бы с нами с обоими...» — неприятно сострил незнакомец. — «Были бы оба мы...»

Видимо, он наслаждался смущением особы, которую — от себя скажем мы — ненавидел он.

— «Я, конечно, не за себя, а за...»

— «Конечно, уж вы не за себя, а за...» — особе поддакивал незнакомец.

• . . . . .  
А кругом раздавалось:

— «Свиньей не ругайтесь...»

— «Да я не ругаюсь».

— «Нет, ругаетесь: попрекаете, что платили... Что ж такой, что платили; уплатили тогда, нынче плачу — я...»

— «Давай-ка, друг мой, я тебя за ефот твой поступок расделую...»

— «За свинью не сердись: а я — ем, ем...»

— «Уж ешьте вы, ешьте: так-то правильной...»

• . . . . .

— «Вот-с Александр Иванович, вот-с что, родной мой, этот вы узелок» — Липпанченко покосился — «снесете немедленно к Николаю Аполлоновичу».

— «Аблеухову?»

— «Да: к нему — на хранение».

— «Но позвольте: на хранении узелок может лежать у меня...»

— «Неудобно: вас могут схватить; там же будет в сохранности. Как-никак, дом сенатора Аблеухова... Кстати: слышали вы о последнем ответственном слове почтенного старичка?..»

Тут толстяк наклонившись зашептал что-то на ухо моему знакомцу:

— «Шу-шу-шу...»

— «Аблеухова?»

— «Шу...»

— «Аблеухову?..»

— «Шу-шу-шу...»

— «С Аблеуховым?..»

— «Да, не с сенатором, а с сенаторским сыном: коли будете у него, так уж, сделайте милость, ему передайте заодно с узелком — это вот письмо: тут вот...»

Прямо к лицу знакомого приваливалась Липпанченки узколобая голова; в орбитах затаились пытливо сверлящие глазки; чуть вздрагивала губа и посасывала воздух. Незнакомец с черными усиками прислуши-

вался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами; ресторанные голоса покрывали шепот Липпанченко; что-то чуть шелестело из отвратительных губок (будто шелест многих сот муравьиных членистых лапок над раскопанным муравейником) и казалось, что шепот тот имеет страшное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но стоило вслушаться в шепот, как страшное содержание шепота оказывалось содержанием будничным:

— «Письмецо передайте...»

— «Как, разве Николай Аполлонович находится в особых сношениях?»

Особа прищурила глазки и прищелкнула язычком.

— «Я же думал, что все сношения с ним — через меня...»

— «А вот видите — нет...»

.....

Кругом раздавалось:

— «Ешь, ешь, друг...»

— «Отхвати-ка мне говяжьего студню».

— «В пище истина...»

— «Что есть истина?»

— «Истина — истина...»<sup>45</sup>

— «Знаю сам...»

— «Если знаешь, так ладно: подставляй тарелку и ешь...»

.....

Темно-желтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове — цвет, с которым связалась бессоница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та злая бессоница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой. Исследуя днем это место, незнакомец усматривал лишь сырое пятно, по которому проползала мокрица. Чтoб отвлечь себя от воспоминаний об измучившей его галлюцинации, незнакомец мой закурил, неожиданно для себя став болтливым:

— «Прислушайтесь к шуму...»

— «Да, изрядно шумят».

— «Звук шума на „и“, но слышится „ы“...»

Липпанченко, осовелый, погрузился в какую-то думу.

— «В звуке „ы“ слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?..»

— «Нет, нет: нисколько», — не слушая, Липпанченко пробурчал и на миг оторвался от выкладок своей мысли...

— «Все слова на е ры тривиальны до безобразия: не то „и“; „и-п-и“ — голубой небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на „е ры“ тривиальны; например: слово рыба; послушайте: р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с холоднойю

кровью... И опять-таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое; глыбы — бесформенное: тыл — место дебошей...»<sup>46</sup>

Незнакомец мой прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним бесформенной глыбою; и дым от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел и подумал «тьфу, гадость — татарщина»... Перед ним сидело просто какое-то «Б!»...

- . . . . .  
С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул:  
— «Ерыкало ты, ерыкало!...»
  - . . . . .  
— «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»  
— «Почему такой странный вопрос?..»  
— «Так, мне показалось...»  
— «Во всех русских ведь течет монгольская кровь...»
  - . . . . .  
А к соседнему столику привалило толстое пузо; и с соседнего столика поднялось пузо навстречу...  
— «Быкбойцу Анофриеву!..»  
— «Почтение!»  
— «Быкбойцу городских боен... Присаживайтесь...»  
— «Половой!..»  
— «Ну, как у вас?..»  
— «Половой: поставь-ка „Сон Негра“...»<sup>47</sup>
- И трубы машины мычали во здравие быкбойца, как бык под ножом быкбойца.

### КАКОЙ ТАКОЙ КОСТЮМЕР?

Помещение Николая Аполлоновича состояло из комнат: спальни, рабоче-го кабинета, приемной.

Спальня: спальню огромная занимала кровать; красное, атласное одеяло ее покрывало — с кружевными накидками на пышно взбитых подушках.

Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на медных колечках легко скользил шелк; заботливая рука то вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то, наоборот, обнаружить ряды черных кожаных корешков, испещренных надписями: «Кант».<sup>48</sup>

Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки; и прекрасен был бюст... разумеется, Канта же.

Два уже года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня, Два с половиною ж года пред тем пробуждался он ранее: пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо, для семейного распивания кофея.

Два с половиною года назад Николай Аполлонович не расхаживал по

дому в бухарском халате; ермолка не украшала его восточную гостиную комнату; два с половиною года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, окончательно покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате: ежедневные встречи папаша с сыном за утренним кофе как-то сами собою пресекались. Кофе Николаю Аполлоновичу подавалось в постель.

И значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович.

Встречи папаша с сыном происходили лишь за обедом; да и то: на краткое время; между тем с утра на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелись татарские тувельки, опущенные мехом; на голове же появилась ермолка.

И блестящий молодой человек превратился в восточного человека.

Николай Аполлонович только что получил письмо; письмо с незнакомым почерком: какие-то жалкие вирши с любовно-революционным оттенком и с разительной подписью: «Пламенеющая душа».<sup>49</sup> Желая для точности ознакомиться с содержанием виршей, Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки и бормоча сам с собою:

— «А-а... Где же очки?..»

— «Черт возьми...»

— «Потерял?»

— «Скажите, пожалуйста».

— «А?..»

Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

Движения его были стремительны, как движения его высокопревосходительного папаша; так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он невзрачным росточком, беспокойным взглядом беспрестанно улыбавшегося лица; когда же он погружался в серьезное созерцание чего бы то ни было, то взгляд этот медленно окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лица, подобного иконописному, поражая особого рода благородством аристократизма: благородство в лице выявлял заметным образом лоб — точеный, с надутыми жилками: быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз.

Синеватые жилки совпали с синевою вокруг громадных, будто бы подведенных глаз какого-то темно-василькового цвета (лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков).

Николай Аполлонович был перед нами в татарской ермолке; но сними ее он, — предстала бы шапка белольняных волос, смягчая холодную эту, почти суровую внешность с напечатленным упрямством; трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот редкий для взрослого оттенок у крестьянских младенцев — особенно в Белоруссии.

Бросив небрежно письмо, Николай Аполлонович сел пред раскрытою книгою; и вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним (какой-то трактат). Вспомнилась и глава, и страница: припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя; ходы изгибные мыслей и свои пометки — карандашом на полях; лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким: одушевилось мыслью.

Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр — в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и не мыслимой, циклически протекающей во всех зонах времени.<sup>50</sup>

Этот центр — умозаклучал.

Но едва удалось Николаю Аполлоновичу сегодня отставить от себя житейские мелочи и пучину всяких невнятности, называемых миром и жизнью, и едва Николаю Аполлоновичу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлоновича; и в невнятности этой позорно увязло самосознание: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.

Николай Аполлонович оторвался от книги: к нему постучали:

— «Ну?..»

— «Что такое?»

Из-за двери раздался глухой и почтительный голос.

— «Там-с...»

— «Вас спрашивают-с...»

Сосредоточиваясь в мысли, Николай Аполлонович запирал на ключ свою рабочую комнату: тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических построений; комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им вселенной; а сознание Николая Аполлоновича, отделясь от тела, непосредственно соединялось с электрической лампочкой письменного стола, называемой «солнцем сознания». Запершись на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во «вселенную», то есть в комнату; голова же этого тела смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром.

И сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом.

Вот почему он любил запирается: голос, шорох или шаг постороннего человека, превращая вселенную в комнату, а сознание — в лампу, разбивал в Николае Аполлоновиче прихотливый строй мыслей.

Так и теперь.

— «Что такое?»

— «Не слышу...»

Но из дали пространств ответствовал голос лакея:

— «Там пришел человек».

Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение:

— «А, так это от костюмера: костюмер принес мне костюм...»

Какой такой костюмер?

Николай Аполлонович, подобравши полу халата, зашагал по направлению к выходу; у лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул:

— «Это — вы?..»

— «Костюмер?»

— «От костюмера?»

— «Костюмер прислал мне костюм?»

И опять повторим от себя: какой такой костюмер?

В комнате Николая Аполлоновича появилась кардонка, Николай Аполлонович запер двери на ключ; суетливо он разрезал бечевку; и приподнял он крышку; далее, вытащил из кардонки: сперва масочку с черною кружевной бородой, а за масочкой вытащил Николай Аполлонович пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками.

Скоро он стоял перед зеркалом — весь атласный и красный,<sup>51</sup> приподняв над лицом миниатюрную масочку; черное кружево бороды, отвернувшись, упало на плечи, образуя справа и слева по причудливому, фантастическому крылу; и из черного кружева крыльев из полусумрака комнаты в зеркале на него поглядело мучительно-странно — то, само: лицо — его, самого; вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлонович, а неведомый, бледный, тоскующий — демон пространства.

После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кардонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку.

## МОКРАЯ ОСЕНЬ

Мокрая осень летела над Петербургом; и невесело так мерцал сентябрьский денек.

Зеленоватым роем пронеслись там облачные клоки; они сгущались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозой. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских просторов; темная водная глубина сталью своих чешуй билась в границы; в зеленоватый рой убежал шниц... с петербургской стороны.

Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоты высоко встала от труб пароходных; и хвостом упала в Неву.

И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароходика, разбивала свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала граниты; натиском холодных невских ветров срывала она каргузы,

зонты, плащи и фуражки. И повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль; и оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние Всадника со скалы все так же кидало тяжелую, позеленевшую медь.

И на этом мрачающем фоне хвостатой и виснувшей копоти над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой на бок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович к серому, темному мосту, не улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом.<sup>52</sup>

У большого черного моста остановился он.

Неприятная улыбка на мгновение вспыхнула на лице его и угасла; воспоминанья о неудачной любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра; Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся и увидел, что никого нет; приподнял ногу; и резиновой гладкой калошей занес ее над перилами, да... так и остался: с приподнятою ногой; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но... Николай Аполлонович продолжал стоять с приподнятою ногой. Через несколько мгновений Николай Аполлонович опустил свою ногу.

Вот тогда-то созрел у него необдуманный план: дать ужасное обещание одной легкомысленной партии.

Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с заплясавшим по ветру длинным, шинельным крылом; с таким видом свернул он на Невский; начинало смеркаться; кое-где в витрине поблескивал огонек.

— «Красавец», — постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича...

— «Античная маска...»

— «Аполлон Бельведерский».

— «Красавец...»

Встречные дамы по всей вероятности так говорили о нем.

— «Эта бледность лица...»

— «Этот мраморный профиль...»

— «Божественно...»

Встречные дамы по всей вероятности так говорили друг другу.

Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:

— «Уродище...»<sup>53</sup>

Где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два меланхолических льва,<sup>54</sup> — там, у этого места, Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера; пугаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера:



— «Сергей Сергеевич?»

Офицер (высокий блондин с остроконечной бородкою) обернулся и с тенью досады смотрел выжидательно сквозь синие очковые стекла, как, путаясь в полах шинели, косолапо к нему повлеклась студенческая фигурка от знакомого места, где с подъезда насмешливо полагают лапу на лапу два меланхолических льва с гладкими гранитными гривами. На мгновенье будто какая-то мысль осенила лицо офицера; по выражению дрогнувших губ можно было бы подумать, что офицер волновался; будто он колебался: узнать ему или нет.

— «А... здравствуйте... Вы куда?»

— «Мне на Пантелеймоновскую», — солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

— «Пойдемте, пожалуй...»

— «Вы куда?» — вторично солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

— «Я — домой».

— «Стало быть, по пути».

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных львиных морд; каждая морда висела над гербом, оплетенным гирляндой из камня.

Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивая друг друга, озабоченно заговорили друг с другом: о погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоновича, о плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии (офицер заведовал, где-то там, провиантом).

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндою.

Так проговорили они всю дорогу.

И вот уже — Мойка: то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах. Они миновали уж здание; вон за зданием — дом; и вон — окна... Офицер остановился у дома и отчего-то вдруг вспыхнул; и вспыхнув, сказал:

— «Ну, прощайте... вам дальше?..»

Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало; что-то спросить собирався он; и — нет: не спросил; он теперь стоял одиноко перед захлопнутой дверью; воспоминанья о неудачной любви, верней — чувственного влечения, — воспоминанья эти охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жилки; он теперь обдумывал свою месть: надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде; он обдумывал свою месть вот уж около месяца; и — пока об этом ни слова!

То же светлое, пятиколонное здание с полосой орнаментной лепки: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах.

• • • • •

Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там — изумруды. Мгновение: там — рубины; изумруды же — здесь, здесь и здесь.

Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «К о ф е й н я», «Ф а р с», «Б р и л л и а н т ы Т э т а», «Ч а с ы О м е г а». <sup>55</sup> Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-красную муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, — и в даль поплетешься: ты гееннское место постарайся обойти.

Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-красный, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многоогневыми обстал бы домами, — и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.

Никакой Геенны и не было б.

• • • • •  
Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же все домик: окна, тени за окнами; за окнами, может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау; <sup>56</sup> синего кирасира, <sup>57</sup> графа Авена и ее — ее голос... Вот, сидит Сергей Сергеевич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки:

— «А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым...»

## АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ ВСПОМНИЛ

Да, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку.

Говорили чиновники:

— «Наш Нетопырь <sup>58</sup> (прозвище Аполлона Аполлоновича в Учреждении), пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновников Гоголя; пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к презрению вовсе: <sup>59</sup> от коллежского регистратора к статскому...» <sup>60</sup>

И на это заметили:

— «Он берет всего одну ноту: презрения...»

Тут вмешались заступники:

— «Господа, оставьте пожалуйста: это — от геморроя...»

И все согласились.

Дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в шелку, едва войдете вы в комнату). Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: геморроем страдал он.

Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.

И головки там в окнах пропали.

Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкою, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила.<sup>61</sup>

Здесь был он последней инстанцией — донесений, прошений и телеграмм.

Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру — к сознанию.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы.<sup>62</sup>

И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существования души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.

В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чрепополосицу обывательской жизни.

Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).

Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем.<sup>63</sup>

Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были — все до единого — обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.

Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных обязанностей!.. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, — отъявленный негодяй.

Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариаиду подъезда: каменного бородача.<sup>64</sup>

Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь — в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна — в Испании; Вячеслава Константиновича — нет; желтая пята дерзновенно взшла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.

Собираясь выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от робости: что-то ждет его за дверьми.

Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным месгом была сенаторская карета.

И вот: он — робел.

А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденком подлетел к высокой особе, почтительно шелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:

— «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил.. И знаешь ли», — сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:

— «Ти ли...»

Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли... ти ли...»

О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, — без галстука;<sup>65</sup> остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстух.

## ХОЛОДНЫЕ ПАЛЬЦЫ

Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты и вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая черную замшевую перчатку.

Быстро вошел он в переднюю. Цилиндр с осторожностью передан лакею. С тою же осторожностью отдались: пальто, портфель и кашне.

Аполлон Аполлонович в раздумье стоял пред лакеем; вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом:

— «Будьте любезны сказать: часто ли здесь бывает молодой человек — да: молодой человек?»

— «Молодой человек-с?»

Наступило неловкое молчание: Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. А лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин.

— «Молодые люди бывают, вашество, редко-с...»

— «Ну, а... молодые люди с усиками?»

— «С усиками-с?»

— «С черными...»

— «С черными-с?»

— «Ну да, и... в пальто...»

— «Все приходят-с в пальто...»

— «Да, но с поднятым воротником...»

Что-то вдруг осенило швейцара.

— «А, так это вы про того, который...»

— «Ну да: про него...»

— «Был однажды такой-с... заходил к молодому барину: только они были уж давненько; как же-с... наведываются...»

— «Как так?»

— «Да как же-с!»

— «С усиками?»

— «Точно так-с!»

— «Черными?»

— «С черными усиками...»

— «И в пальто с поднятым воротником?»

— «Они самые-с...»

Аполлон Аполлонович постоял с минуту как вкопанный и вдруг: Аполлон Аполлонович прошел мимо.

Лестницу покрывал бархатный серый ковер; лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены; бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблестался орнамент из старинных оружий; а под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка; искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча; здесь ржавели мечи; там — тяжело склоненные алебарды; матово стены пестрила многокольчатая броня; и клонились — пистоль с шестопером.<sup>66</sup>

Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки из белого алебаstra белая Ниобея поднимала горé алебастровые глаза.<sup>67</sup>

Аполлон Аполлонович четко распахнул пред собою дверь, опираясь костлявой рукой о граненую ручку: по громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздавалась холодно поступь тяжелого шага.

## ТАК БЫВАЕТ ВСЕГДА

Над пустыми петербургскими улицами пролетали едва озаренные смутности; обрывки туч перегоняли друг друга.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и мертвенно пронеслось по небу; фосфорическим блеском протуманилась высь; и от этого проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут зеленые воды Мойки; по одной ее стороне то же высилось все трехэтажное здание о пяти своих белых колоннах; наверху были выступы. Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил Ее Величества кирасир; у него была золотая, блиставшая каска.

И серебряный голубь над каской распростер свои крылья.<sup>68</sup>

Николай Аполлонович, надушенный и выбритый, пробирался по Мойке, запахнувшись в меха; голова упала в шинель, а глаза как-то чудно светились; в душе — поднимались там трепеты без названия; что-то жуткое, сладкое пело там: словно в нем самом разлетелся на части буревой эолов мешок<sup>69</sup> и сыны нездешних порывов на свистящих бичах в странные, в непонятные страны угоняли жестоко.

Думал он: неужели и это — любовь? Вспомнил он: в одну туманную ночь, выбегая стремительно из того вон подъезда, он пустился бежать к чугунному петербургскому мосту, чтобы там, на мосту...

Вздрогнул он.

Пролетел сноп огня: придворная, черная пролетела карета: пронесла мимо светлых впадин оконных того самого дома ярко-красные свои, будто кровью налитые, фонари; на струе черной мойской фонари проиграли и проблистали; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

Николай Аполлонович постоял перед домом задумчиво: колотилось сердце в груди; постоял, постоял — и неожиданно скрылся он в знакомом подъезде.

В прежние времена он сюда входил каждый вечер; а теперь здесь он два с лишним месяца не переступал порога; и переступил, будто вор, он — теперь. В прежние времена ему девушка в белом переднике дверь открывала радушно; говорила:

— «Здравствуйте, барин» — с лукавой улыбкою.

А теперь? Ему не выйдут навстречу; позвони он, та же девушка на него испуганно заморгает глазами и «здравствуйте, барин» не скажет; нет, звониться не станет он.

Для чего же он здесь?

Подъездная дверь перед ним распахнулась; и подъездная дверь звуком ударилась в спину; тьма объяла его; точно все за ним отвалилось (так, вероятно, бывает в первый миг после смерти, как с души в бездну тления рухнет храм тела); но о смерти теперь Николай Аполлонович не подумал — смерть была далека; в темноте, видно, думал он о собственных жестах, потому что действия его в темноте приняли фантастический отпечаток; на холодной ступени уселся он у одной входной двери, опустив лицо в мех и слушая биение сердца; некая черная пустота начиналась у него за спиной; черная пустота была впереди.

Так Николай Аполлонович сидел в темноте.

. . . . .  
А пока он сидел, так же все открывалась Нева меж Александровской площадью<sup>70</sup> и Миллионной; каменный перегиб Зимней Канавки показал плаксивый простор; Нева оттуда бросалась натиском мокрого ветра; вод ее замерцали беззвучно летящие плоскости, яростно отдавая в туман бледный блеск. Гладкие стены четырехэтажного дворцового бока, испещренного линиями, язвительно проблистали луной.

Никого, ничего.

Так же все канал выстуивал здесь в Неву холерную воду; перегнулся тот же и мостик; так же все выбегала на мостик еженощная женская тень, чтоб — низвергнуться в реку?.. Тень Лизы? Нет, пе Лизы, а просто, так себе, — петербуржки; петербуржка выбегала сюда, не бросалась в Неву:<sup>71</sup> пересекши Канавку, она убегала поспешно от какого-то желтого дома на Гагаринской набережной, под которым она каждый вечер стояла и долго глядела в окно.

Тихий плеск остался у нее за спиной: спереди ширилась площадь; бесконечные статуи, зеленоватые, бронзовые, пооткрывались отовсюду над темно-красными стенами; Геркулес с Посейдоном<sup>72</sup> так же в ночь дозирали просторы; за Невой темная вставала громада — абрисами островов и домов; и бросала грустно янтарные очи в туман; и казалось, что — плачет; ряд береговых фонарей уронил огненные слезы в Неву; прожигалась поверхность ее закипевшими блесками.

Выше — горестно простирали по небу клочкастые руки какие-то смутные очертания; рой за роем они восходили над невской волной, угоняясь к зениту; а когда они касались зенита, то, стремительно нападая, с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, — там, где днем перекинулся тяжелокаменный мост, — бриллиантов огромные гнезда протуманились странно там.

Женская тень, уткнув лицо в муфточку, пробежала вдоль Мойки все к тому же подъезду, откуда она выбегала по вечерам и где теперь на холодной ступеньке, под дверью, сидел Николай Аполлонович; подъездная дверь перед ней отворилась; подъездная дверь за нею захлопнулась; тьма объяла ее; точно все за ней отвалилось; черная дамочка помышляла в подъезде о таком все простом и земном; вот сейчас прикажет поставить она самоварчик; руку она уже протяпула к звонку,

и — тогда-то увидела: какое-то очертание, кажется маска, поднялось перед ней со ступени.

А когда открылась дверь и подъездную темноту озарил на мгновение из двери сноп света, то восклицание перепуганной горничной подтвердило ей все, потому что в открытой двери сперва показался передник и перекрахмаленный чепчик; а потом отшатнулись от двери — и передник, и чепчик. В световой яркой вспышке открылась картина неопишуемой странности, и черное очертание дамочки бросилось в открытую дверь.

У нее ж за спиною, из мрака, восстал шелестящий, темно-багровый папц с бородакою, трясущейся масочкой.

Было видно из мрака, как беззвучно и медленно с плеч, шуршащих атласом, повалили меха николаевки,<sup>73</sup> как две красных руки томительно протянулись к двери. Тут, конечно, закрылась дверь, перерезав сноп света и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную пустоту, темноту: переступая смертный порог, так обратно кидаем мы тело в потемневшую и только что светом сиявшую бездну.

Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович: из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка; нос уткнув в николаевку, Николай Аполлонович Аблеухов помчался по направлению к мосту.

Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый; ты — непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали — повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он — не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков.

От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века.

О, большой, электричеством блещущий мост!

Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрьскою ночью перегнулся и я: миг, — и тело мое пролетело б в туманы.<sup>74</sup>

О, зеленые, кишасшие бактериями воды!

Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого



канальца; за своими плечами прохожий бы видел: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы. . .

Проходил бы он далее. . . до чугунного моста.

На чугунном мосту обернулся бы он; и он ничего не увидел бы: над сырыми перилами, над кипящей бациллами зеленоватой водой пролетели бы лишь в сквозняки приневского ветра — котелок, трость, уши, нос и усы.<sup>75</sup>

## ТЫ ЕГО НЕ ЗАБУДЕШЬ ВОВЕК!

Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова; увидели мы и праздные мысли сенатора в виде дома сенатора, в виде сына сенатора, тоже носящего в голове свои праздные мысли; видели мы, наконец, еще праздную тень — незнакомца.

Эта тень случайно возникла в сознании сенатора Аблеухова, получила там свое эфемерное бытие; но сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он — обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора: ненужная, праздная, мозговая игра.<sup>76</sup>

Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразой; но. . . автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра — только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра.

Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот — есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль — существует.

И да будет наш незнакомец — незнакомец реальный! И да будут две тени моего незнакомца реальными тенями!

Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!

Конец первой главы





## ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой повествуется о некоем свидании,  
чреватом последствиями

Я сам, хоть в книжках и словесно  
Собратья надо мной тругают,  
Я мещанин, как вам известно,  
И в этом смысле демократ.

А. Пушкин

### ДНЕВНИК ПРОИСШЕСТВИЙ

Наши почтенные граждане не читают газетный «Дневник происшествий»; в октябре тысяча девятьсот пятого года «Дневник происшествий» не читали и вовсе; наши почтенные граждане, верно, читали передовицы «Товарища»,<sup>2</sup> если только не состояли они подписчиками самоновейших, громоносных газет; эти последние вели дневник иных происшествий.

Все же прочие истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к «Дневнику происшествий»; к «Дневнику» бросился и я; и читая этот «Дневник», я прекрасно осведомлен. Ну, кто, в самом деле, прочитывал все сообщения о кражах, о ведьмах, о духах в упомянутом девятьсот пятом году? Все, конечно, читали передовицы. Сообщения, здесь изложенного, вероятно, не вспомнит никто.

Это — был. . . Вот газетные вырезки того времени (автор будет молчать): наряду с извещеньем о кражах, насилии, похищении бриллиантов и пропаже какого-то литератора (Дарьяльского,<sup>3</sup> кажется) вместе с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем ряд интересных известий — сплошную фантастику, что ли, от которых закружится голова любого читателя Конан-Дойля.<sup>4</sup> Словом — вот газетные вырезки.

«Дневник происшествий».

«Первое октября. Со слов курсистки высших фельдшерских курсов N. N. мы печатаем об одном чрезвычайно загадочном происшествии. Поздно вечером первого октября проходила курсистка N. N. у Чернышева Моста.<sup>5</sup> Там, у моста, курсистка N. N. заметила очень

странное зрелище: над самым каналом у перил моста среди ночи плясало красное, атласное домино; на лице у красного домино была черная кружевная маска.

«Второе октября. Со слов школьной учительницы М. М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии близ одной из пригородных школ. Школьная учительница М. М. давала утренний свой урок в О. О. городской школе; школа окнами выходила на улицу; вдруг в окне закружился с неистовой силою пыльный столб, и учительница М. М. вместе с резвою детворою, естественно, бросилась к окнам О. О. городской школы; каково же было смущение класса вместе с классной наставницей, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, подбежало к окнам О. О. городской школы и приникло черною кружевною маской к окну? В О. О. земской школе занятия прекратились...»

«Третье октября. На спиритическом сеансе, состоявшемся в квартире уважаемой баронессы R. R., дружно собравшиеся спириты составили спиритическую цепь:<sup>6</sup> но едва составили они цепь, как среди цепи обнаружилось домино и коснулось в пляске складками мантии кончика носа титулярного советника С. Врач Г-усской больницы констатировал на носу титулярного советника С. сильнейший ожог: кончик носа, по слухам, покроют лиловые пятна. Словом, всюду — красное домино.»

Наконец: «Четвертое октября. Население слободы И. единодушно бежало пред явлением домино: составляется ряд протестов; в слободу вызвана У-сская сотня казаков».

Домино, домино — в чем же сила? Кто курсистка N. N., кто такое M. M., наставница класса, баронесса R. R. и так далее?.. В девятьсот пятом году вы, конечно, читатель, не читывали «Дневника происшествий». Так вините ж себя, а не автора: а «Дневник происшествий», поверьте, забежал в библиотеку.

Что такое газетный сотрудник? Он, во-первых, есть деятель периодической прессы; и как деятель прессы (шестой части света) получает он за строку — пятачок, семь копеечек, гривенник, пятиалтынный, двугривенный, сообщая в строке все, что есть и чего никогда не бывало. Если бы сложить газетные строки любого газетного деятеля, то единая, из строк сложенная строка обвила б земной глобус тем, что было, и тем, чего не было.

Таковы почтенные свойства большинства газетных сотрудников крайних правых, правых, средних, умеренных либеральных, наконец, революционных газет совокупно с исчислением их количества, качества — этими почтенными свойствами открывается просто так ключ к истине тысяча девятьсот пятого года, — истине «Дневника происшествий» под рубрикой «Красное Домино». Вот в чем дело: один почтенный сотрудник несомненно почтенной газеты, получая пятак, вдруг решил использовать один факт, рассказанный в одном доме; в этом доме хозяйкою была дама. Дело, стало быть, не в почтенном сотруднике, получающем за строку; дело, стало быть, в даме...»

Кто же дама?

Так с нее и начнем.

Дама: гм! и хорошенькая. . . Что́ есть дама?

Дамских свойств не открыл хиромант; сиротливо стоит хиромант пред загадкою, озаглавленной «дама»: <sup>7</sup> в таком случае, как за эту загадку приняться психологу, или — фи! — как приняться писателю? Загадка усугубится, если дама — молоденькая, если про нее говорят, что она хороша.

Так вот: была одна дама; и она от скуки посещала женские курсы; и еще от скуки она иногда по утрам замещала учительницу в О. О. городской школе, если только вечером не была она в спиритическом кружке в вакантные от балов дни; нечего говорить, что курсистка N. N., и M. M. (наставница класса), и R. R. (баронесса спиритка) была только дама: и дама хорошенькая. У нее-то почтенный газетный сотрудник просиживал вечера.

Эта дама однажды, смеясь, ему сообщила, что какое-то красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Так попало невинное признание хорошенькой дамы на столбцы газет под рубрикой «Дневник происшествий». И попав в «Дневник происшествий», расплелось в серию никогда не бывших событий, угрожавших спокойствию.

Что́ же было? Даже и сплетенный дым поднимается от огня. Что́ же было огнем этих дымов почтенной газеты, о которых прочла вся Россия и которых, к стыду, не прочел, наверное, ты?

## СОФЬЯ ПЕТРОВНА ЛИХУТИНА

Та дама. . . Но той дамой была Софья Петровна; ей придется нам тотчас же уделить много слов.

Софья Петровна Лихутина отличалась, пожалуй, чрезмерной растительностью: и она была как-то необычайно гибка: если Софья Петровна Лихутина распустила б черные свои волосы, эти черные волосы, покрывая весь стан, упали б до икр; и Софья Петровна Лихутина, говоря откровенно, просто не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй, черней не было и предмета; от чрезмерности ли волос, или от их черноты — только, только: над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости настоящими усиками. Софья Петровна Лихутина обладала необычайным цветом лица; цвет этот был — просто жемчужный цвет, отличавшийся белизной яблочных лепестков, а то — нежною розоватостью; если же что-либо неожиданно волновало Софью Петровну, вдруг она становилась совершенно пунцовой.

Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами — глазщами темного, синего — темно-си-

него цвета (назовем их очами). Эти очи то искрились, то мутнели, то казались тупыми, какими-то выпветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих: и косили. Ярко-красные губы ее были слишком большими губами, но... зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! И притом — детский смех... Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть; и какую-то прелесть придавал гибкий стан; и опять-таки гибкий чрезмерно: все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы — неуклюжи до безобразия.

Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшее ее роскошные формы; если я говорю роскошные формы, это значит, что словарь мой иссяк, что банальное слово «роскошные формы» обозначает для Софьи Петровны как-никак, а угрозу: преждевременную полноту к тридцати годам. Но Софье Петровне Лихутиной было двадцать три года.

Ах, Софья Петровна!

Софья Петровна Лихутина проживала в маленькой квартирке, выходящей на Мойку; там со стен отовсюду упали каскады самых ярких, неугомонных цветов: ярко-огненных — там и здесь — поднебесных. На стенах японские веера, кружева, подвесочки, банты, а на лампах: атласные абажуры разведали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран; и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, порасплещется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной (знакомые офицеры ее называли ангел Пери, вероятно слив два понятия «Ангел» и «Пери» просто в одно: ангел Пери).<sup>8</sup>

Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы,<sup>9</sup> — все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двсри летающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма — пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было.

Комнатки были — малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: в крошечной спальнею постель была огромным предметом; ванна — в крошечной ванной; в гостиной — голубоватый альков; стол с буфетом — в столовой; тем предметом в комнатке для прислуги — была горничная; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.

Ну, откуда же быть перспективе?

Все шесть крохотных комнатшек отоплялись паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла

окон потели; и потел посетитель Софьи Петровны; вечно потели — и прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе?

Перспективы и не было.

## ПОСЕТИТЕЛИ СОФЬИ ПЕТРОВНЫ

Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, ангела Пери (кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы), всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще; и наморщивши черные бровки, ангел Пери веско как-то выпаливал: «Пейзаж этот принадлежит перу Хадусаи»...<sup>\*10</sup> ангел решительно путал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель художник обижался при этом; и впоследствии к ангелу Пери не обращался с рацеями о живописи вообще: между тем этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался на них.

Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский молодой человек, преданный увеселениям, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шутливых, и шутливых не вовсе, и серьезнейших слов; на все она хохотала, становилась пунцовой от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик; светский молодой человек становился тогда отчего-то также пунцовым; испарина покрывала и его нос: светский молодой человек удивлялся ее молодому, но далеко не светскому хохоту; удивлялся так, относил Софью Петровну Лихутину к демимонду; между тем на стол появлялась кружка с надписью «благотворительный сбор» и Софья Петровна Лихутина, ангел Пери, хохоча, восклицала: «Вы опять сказали мне фифку — платите же». (Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую фифку: фифками почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «фи»...). И барон Оммау-Оммергау, желтый Ее Величества кирасир, и граф Авен, кирасир синий, и лейб-гусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярии Аблеухова Вергефден (все светские молодые люди) говорили за фифкою фифку, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным.

Почему же у ней бывали столькие офицеры? Боже мой, она танцевала на балах; и не будучи демимондною дамой, была дамой хорошенькой; наконец, она была офицершею.

Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки, Софья

---

\* Хокусая

Петровна поясняла ему, что ее кумиры — Дункан и Никкиш;<sup>11</sup> в восторженных выражениях, не столько словесных, сколько жестико-ляционных, она поясняла, что и сама намерена изучить мелопластику, чтоб исполнить танец полета Валькирий ни более ни менее как в Байрейте;<sup>12</sup> музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен (сам-то он произносил Дёнкан, Нёкиш, а не Дункан и Никкиш), заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто пустая бабенка; и становился игривее; между тем очень хорошенькая прислуга вносила в комнатку граммофон: и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гостя полет Валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал: становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной; и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжереяке; представители же светского общества граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден не позволяли себе неприличных выходов по отношению, все-таки, к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных: поэтому и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент, Николька Аблеухов. И потом вдруг исчез.

Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории: на категорию светских гостей и на гостей так сказать. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости: это были все желанные посетители... для отвода души; посетители эти не добивались быть принятыми в оранжереяке; нисколько! Их почти силком к себе затаскивал ангел; и, силком затащив, тотчас же отдавал им визит: в их присутствии ангел Пери сидел с поджатыми губками: не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту, а так сказать гости бурно спорили друг с другом. И слышалось: «революция—эволюция». И опять: «революция—эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости; то была все ни золотая, ни даже серебряная молодежь: то была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши; словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, щеголявшая обилием иностранных слов: «социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова.

#### ОФИЦЕР: СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ ЛИХУТИН

Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутиным одна в том кругу уважаемая, светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна (здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Nicolas Аблеухова).

Под влиянием светлой особы ангел Пери однажды осветил своим присутствием — ну, представьте же: митинг! Под влиянием светлой особы ангел Пери поставил на стол и самую свою медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей; все же личности, относящиеся к гостям так сказать, раз навсегда Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались; но поборами были обложены и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден. Под влиянием той же светлой особы ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без всякого толку «М а н и ф е с т» Карла Маркса.<sup>13</sup> Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент, Николенька Аблеухов, которого можно было без риска ей познакомить как с Варварой Евграфовной (влюбленной в Николеньку), так и с желтым Ее Величества кирасиром. Аблеухов, как сын Аблеухова, всюду, конечно, был принят.

Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Пери, этот ангел тайком от гостей так сказать упорхнул вдруг к спиритам, к баронессе (ну, как ее?), собиравшейся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «Человек и его тела» какой-то госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала: не Анри Безансон — Анни Безант).<sup>14</sup>

Свое новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Оммау-Оммергау, так и от Варвары Евграфовны; несмотря на свой заразительный смех и на крошечный лобик, скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве голько однажды в передней она увидела случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи.

Что под всем этим крылось. Бог весть!

Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; одинаково кротко здоровался просто с гостями и с гостями так сказать, с одинаковой кротостью говорил для приличия ф и ф к у, опуская в кружку двугривенный (если были при этом граф Авен или барон Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «революция—эволюция», выпивал чашку чая и шел в свою комнатку; молодые светские люди про себя его называли а р м е й ч и к о м, а учащаяся молодежь — офицером-бурбоном (в девятьсот пятом году Сергей Сергеевич имел несчастье защищать от рабочих своей полуротою Николаевский Мост).<sup>15</sup> Собственно говоря, Сергей Сергеевич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от ф и ф о к, и от слов «революция—эволюция». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеансик; но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе



он не был деспотом по отношению к Софье Петровне: Софью Петровну любил он всею силой души; более того: два с половиною года тому назад он женился на ней вопреки желанию родителей, богатейших симбирских помещиков; с той поры он был проклят отцом и лишен состояния; с той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорийский полк.

Был еще посетитель: хитрый хохол-малоросс Липпанченко;<sup>16</sup> этот был весьма сладострастен и звал Софью Петровну не ангелом, а... душканом; про себя же ее называл хитрый хохол-малоросс Липпанченко просто-напросто: бранкуканом, бран-кукашкой, бранкуканчиком (вот слова ведь!). Но держался Липпанченко в границах приличия; и потому-то был он вхож в этот дом.

Добродушный муж Софьи Петровны, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Григорийского Его Величества Короля Сиамского полка,<sup>17</sup> относился с кротостью к революционному кругу знакомств своей дорогой половины; к представителям светского круга относился он лишь с подчеркнутым благодушием; а хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего он терпел: этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походил вовсе: походил скорей на помесь семита с монголом; он был и высок, и толст; желтоватое лицо этого господина неприятно плавало в своем собственном подбородке, выпертом крахмальным воротничком; и носил Липпанченко желто-красный атласный галстук, заколотый стразом, щеголяя полосатой темно-желтою парой и такого же цвета ботинками; но при этом Липпанченко беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липпанченко говорил, что он экспортирует русских свиней за границу и на этом свинстве разжиться собирается основательно.

Как бы ни было, Липпанченко, его одного, недолюбливал подпоручик Лихутин: про Липпанченко ходили темные слухи. Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин: подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех: но кого особенно он любил одно время, так это Николая Аполлоновича Аблеухова: ведь друг друга знавали они с самых первых отроческих лет: Николай Аполлонович был, во-первых, шафером на свадьбе Лихутина, во-вторых, ежедневным посетителем квартиры на Мойке в продолжение, без малого, полутора года. Но потом он скрылся бесследно.

Не Сергей Сергеевич, разумеется, виноват в исчезновении сенаторского сына, а сенаторский сын или даже сам ангел Пери.

Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама... А от дамы что спрашивать!

## СТРОЙНЫЙ ШАФЕР КРАСАВЕЦ

Еще в первый день своего, так сказать, «дамства», при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлонович держал над мужем ее, Сергеем Сергеевичем, высокаторжественный венец, Софью Пет-

ровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белизна мраморного лица и божественность волос белолынных: те глаза ведь не глядели, как часто впоследствии, из-за тусклых стекол пенсне, а лицо подпирал золотой воротник новенького мундирчика (не у всякого же студента есть такой воротник). Ну, и... Николай Аполлонович зачастил к Лихутиным сперва раз в две недели; далее — раз в неделю; два, три, четыре раза в неделю; наконец, зачастил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоновича, богоподобное, строгое, превратилось в маску: ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушечье выражение улыбки, пристекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в то лицо влюблена, в то, а не это. Ангел Пери хотела быть примерной женой: а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, — эта мысль совершенно разбила ее. Но далее, далее: из-под маски, ужимок, лягушечьих уст она бессознательно вызывала безвозвратно потерянную влюбленность: она мучила Аблоухова, осыпала его оскорблениями; но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремления и вкусы, бессознательно им следовала, все надеясь обрести в них подлинный, богоподобный лик; так она заломалась: появилась на сцену сперва мелопластика, потом кирасир барон Оммау-Оммергау, наконец, появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собирания фи фок.

Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, ненавидела.

С той поры ее действительный муж Сергей Сергеевич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартирки на Мойке: стал заведовать, где-то там, провиантом; уходил из дому рано утром; появлялся с полуночи: говорил для приличия фи фку, опуская в кружку двугривенный, или скромно кивал головой на слова «революция—эволюция», выпивал чашку чая и шел к себе спать: надо же было утром как можно ранее встать и идти, где-то там, заведовать провиантом. Оттого лишь Сергей Сергеевич, где-то там, стал заведовать провиантом, что свободы жены не хотел он стеснять.

Но свободы Софья Петровна не вынесла: у нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик; вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств: потому что она была дама; а в дамах нельзя будить хаоса: в этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, преступлений, падений, все виды неистовых бешенств, как все виды на земле еще не бывалых геройств; в каждой даме таится преступница: но совершись преступление, кроме святости ничего не останется в истинно дамской душе.

Скоро мы без сомнения докажем читателю существующую разделенность и души Николая Аполлоновича на две самостоятельные вели-

чины: богоподобный лед — и просто лягушечья слякоть; та вот двойственность и является принадлежностью любой дамы: двойственность — по существу не мужская, а дамская принадлежность; цифра два — символ дамы; символ мужа — единство.<sup>18</sup> Только так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг?

Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили: нервность движений — и неуклюжая вялость; недостаточность лобика и чрезмерность волос; Фузи-Яма, Вагнер, верность женского сердца — и «Аври Безансон», граммофон, барон Оммергау и даже Липпанченко. Будь Сергей Сергейч Лихутин или Николай Аполлонович действительными единствами, а не двойцами, троичность бы была; и Софья Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной; граммофон, мелоластика, Аври Безансон, Липпанченко, даже Оммау-Оммергау полетели бы к черту.

Но не было единого Аблеухова: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. Оттого-то все то и произошло.

Что же произошло?

В Софье Петровне Николай Аполлонович-лягушонок увлекся глубоким сердечком, приподнятым надо всей суетой: не крохотным лобиком — волосами; а божественность Николая Аполлоновича, презирав любовь, упивалась цинично так мелоластикой; оба спорили в нем, кого любить: бабенку ли, ангела ли? Ангел Софья Петровна, как ангелу естественно подобает, возлюбила лишь бога; а бабенка запуталась: неприятной улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение; полюбивши же ненависть, полюбила гаденькую улыбку, но какую-то странной (все сказали бы, что развратной) любовью: что-то было во всем этом неестественно жгучее, неизведанно сладкое, роковое.

Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама и дама...

А от дамы что спрашивать!

## КРАСНЫЙ ШУТ

Собственно говоря, последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе: пред граммофонной трубой, изрыгающей «Смерть Зигфрида»,<sup>19</sup> она училась телодвижению (и еще какому!), поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку; далее: ножка ее из-под столика Аблеухова касалась не раз и не два. Неудивительно, что этот последний не раз ангела и дорывался обнять; но тогда ускользал ангел, сперва обливая поклонника холодом: и потом опять принимался за старое. Но когда однажды она, защищая греческое искусство, предложила составить кружок для целомудренных обнажений, Николай Аполлонович не выдержал: вся многодневная его

безысходная страсть бросилась в голову (Николай Аполлонович в борьбе ее уронил на софу)... Но Софья Петровна мучительно укусила до крови губ ее искавшие губы, а когда Николай Аполлонович растерялся от боли, то пощечина звонко огласила японскую комнату.

— «Уу... Урод, лягушка... Ууу — красный шут».<sup>20</sup>

Николай Аполлонович ответил спокойно и холодно:

— «Если я — красный шут, вы — японская кукла...»

С чрезвычайным достоинством распрявился он у дверей; в этот миг лицо его приняло именно то далекое, ею однажды пойманное выражение, вспоминая которое, незаметно она его полюбила; и когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол, и царапая, и кусая в плаче ковер; вдруг вскочила она и простерла в дверь руки:

— «Приходи, вернись — бог!»

Но в ответ ей ухнула выходная дверь: Николай Аполлонович бежал к большому петербургскому мосту. Ниже увидим мы, как у моста он принял одно роковое решение (при свершении некоего акта погубить и самую жизнь). Выражение «Красный шут» чрезвычайно задело его.

Более Софья Петровна Лихутина его не видала: из какого-то дикого протеста к аблеуховским увлечениям революции — эволюцией ангел Пери невольно отлетел от учащейся молодежи, прилетая к баронессе R. R. на спиритический сеанс. И Варвара Евграфовна стала реже захаживать. Зато опять зачастили: и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден, и даже... Липпанченко: и Липпанченко чаще прочих. С графом Авеном, бароном Оммау-Оммергау, со Шпорышевым и с Вергефденом, даже... с Липпанченко она хохотала без устали; вдруг, оборвав смех, она спрашивала задорно:

— «Я ведь кукла — не правда ли?»

И они отвечали ей фифками, сыпали серебро в жестяную кружечку с надписью «благотворительный сбор». А Липпанченко ей ответил: «Вы — душкан, бранкукан, брайкукашка». И принес ей в подарок желтолицую куколку.

А когда она это самое сказала и мужу, ничего не ответил ей муж, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского, Его Величества Короля Сиамского полка, и ушел будто спать: он заведовал, где-то там, провиантами; но войдя в свою комнату, он уселся писать Николаю Аполлоновичу кроткое свое письмо: в письмеце он осмелился известить Аблеухова, что он, Сергей Сергеевич, подпоручик Гр-горийского полка, покорнейше просит о следующем: не желая вмешиваться по причинам принципиальным в отношения Николая Аполлоновича к бесценно им любимой супруге, тем не менее он просит настойчиво (слово настойчиво было три раза подчеркнуто) навсегда оставить их дом, ибо нервы его бесценно любимой супруги расстроены. О своем поведении Сергей Сергеевич скрыл; поведение его не изменилось ни капли: так же он уходил спозаранку; возвращался к полуночи; говорил для приличия фифку, если видел барона Оммау-Оммергау, чуть-чуть хмурился, если видел Липпанченко, благодушнейшим образом кивал головой на слова эволю-

ция—революция, выпивал чашку чая и тихонько скрывался: он заведовал — где-то там — провиантами.

Был Сергей Сергееч высокого роста, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и чудесно блистающими глазами: но он был, к сожалению, в темно-синих очках, и никто не знал ни цвета глаз, ни чудесного этих глаз выраженья.

## ПОДЛОСТЬ, ПОДЛОСТЬ И ПОДЛОСТЬ

В эти мерзлые, первооктябрьские дни Софья Петровна была в необычайном волнении; оставаясь одна, в оранжерейке, вдруг она начинала морщить свой лобик, и вспыхивать: становилась пунцовой; подходила к окну, чтоб платочком из нежного сквозного батиста протереть запотевающие стекла; стекло начинало повизгивать, открывая вид на канал с проходившим мимо господином в цилиндре — не более; будто бы обманувшись в предчувствии, ангел Пери зубками начинал теревить и кромсать засыревший платочек, и потом бежал надевать свою черную шубку из плюша и такую же шапочку (Софья Петровна одевалась прескромно), чтоб, прижавши к носику меховую муфту, суетливо слоняться от Мойки до набережной; даже раз зашла она в цирк Чинизелли<sup>21</sup> и увидела там природное диво: бородатую женщину; чаще же всего забегала она на кухню и шепталась с молоденькой горничной, Маврушкой,<sup>22</sup> прехорошенькой девочкой в фартучке и бабочкообразном чепце. И косили глаза: так всегда у нее косили глаза в минуты волнений.

А, однажды, она при Липпанченко, с хохотом выхватила шпильку от шляпы и всадила в мизячик:

— «Посмотрите: не больно; и крови нет: восковая я... кукла».

Но Липпанченко ничего не понял: рассмеялся, сказал:

— «Вы не кукла: душкан».

И его, рассердясь, от себя прогнал ангел Пери. Схватив со стола свою шапку с наушниками, удалился Липпанченко.

А она металась в оранжерейке, морщила лобик, вспыхивала, протира- рала стекло; прояснялся вид на канал с пролетавшей мимо каретой: не более.

Что же более?

Дело вот в чем: несколько дней назад Софья Петровна Лихутина возвращалась домой от баронессы R. R. У баронессы R. R. в этот вечер были постукиванья; белесоватые искорки бегали по стене; и однажды подпрыгнул даже стол:<sup>23</sup> ничего более; но нервы Софьи Петровны натянулись до крайности (после сеанса она бродила по улицам), а ее до- мовый подъезд не освещался (для дешевых квартирок не освещают подъез- дов): и внутри черного подъездного входа Софья Петровна так явственно видела, как уставилось па нее еще черней темноты пятно, будто черная маска; что-то мутно краснело под маской, и Софья Петровна что есть силы дернула за звонок. А когда распахнулась дверь и струя яркого

света из передней упала на лестницу, вскрикнула Маврушка и всплеснула руками: Софья Петровна ничего не увидела, потому что стремительно она пролетела в квартиру. Маврушка видела: за спиною у барыни красное, атласное домино протянуло вперед свою черную маску, обремененную снизу густым веером кружев, разумеется, черных же, так что эти черные кружева на плечо упали к Софье Петровне (хорошо, что она не повернула голову); красное домино протянуло Маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка; и когда пред рукою захлопнулась дверь, то и Софья Петровна увидела у двери визитную карточку (пролетела, верно, в щель двери); что же было начертано на визитной той карточке? Череп с костями вместо дворянской короны да еще модным шрифтом набранные слова: «Жду вас в маскараде — там-то, такого-то числа»; и далее подпись: «Красный шут».

Софья Петровна весь вечер проволновалась ужасно. Кто мог нарядиться в красное домино? Разумеется, он, Николай Аполлонович: ведь его она этим именем как-то раз назвала... Красный шут и пришел. В таком случае как назвать подобный поступок с беззащитною женщиной? Ну, не подлость ли это?

Подлость, подлость и подлость.

Поскорее бы возвращался муж, офицер: он проучит нахала. Софья Петровна краснела, косила, кусала платочек и покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил: хоть бы Авен, хоть бы барон Оммау-Оммергау, или Шпорышев, или даже... Липпанченко.

Но никто не являлся.

Ну, а вдруг то не он? И Софья Петровна явственно в себе ощутила расстройство: было жалко как-то расстаться с мыслями о том, что шут — он; в этих мыслях вместе с гневом сплелось то же сладкое, знакомое, роковое чувство; ей хотелось, должно быть, чтобы он оказался — совершеннейшим подлецом.

Нет — не он: не подлец же он, не мальчишка!.. Ну, а если это сам красный шут? Кто такой красный шут, на это она не могла себе внятно ответить: а — все-таки... И упало сердце: не он.

Маврушке тут же она приказала молчать: в маскарад же поехала; и тайком от кроткого мужа: в первый раз она поехала в маскарад.

Дело в том, что Сергей Сергеевич Лихутин строго-настрого запретил ей бывать в маскарадах. Странный был: эполетом, шпагою, офицерскою честью дорожил (не бурбон ли?).

Кротость кротостью... вплоть до пунктика, до офицерской до чести. Скажет только: «Даю офицерское честное слово — быть тому-то, а тому — не бывать». И — ни с места: непреклонность, жестокость какая-то. Как, бывало, на лоб приподнимет очки, станет сух, неприятен, деревянен, будто вырезан из белого кипариса, кипарисовым кулаком простучит по столу; ангел Пери тогда испуганно вылетал из мужниной комнаты: носик морщился, капали слезки, запиралась озлобленно спальная дверь.

Из числа посетителей Софьи Петровны, из гостей так сказать, толковавших о революции—эволюции, был один почтенный газетный сотрудник: Нейнтельпфайн; черный, сморщенный, с носом, загнутым сверху вниз, и с бородкой, загнутой в обратную сторону. Софья Петровна его уважала ужасно: и ему-то доверилась; он и свез ее в маскарад, где какие-то все шуты-арлекины, итальянки, испанки и восточные женщины из-под черных бархатных масок друг на друга поблескивали недобрыми огоньками глаз; под руку с Нейнтельпфайном, почтенным газетным сотрудником, Софья Петровна скромно рассказывала по залам в черном своем домино. И какое-то красное, атласное домино все металось по залам, все искало кого-то, протянув вперед свою черную маску, под которой плескался густой веер из кружев, разумеется, черных же.

Вот тогда-то Софья Петровна Лихутина и рассказала верному Нейнтельпфайну о загадном происшествии, ну, конечно, спрятав все нити; маленький Нейнтельпфайн, почтенный сотрудник газеты, получал пятак за строку: с той поры и пошло, и пошло, что ни день — в «Дневнике происшествий» заметка; красное домино, да красное домино!

О домино рассуждали, волновались ужасно и спорили; одни видели тут революционный террор; а другие только молчали да пожимали плечами. В охранное отделение раздавались звонки.

Говорили о странном том появлении домино на улицах Петербурга даже в оранжерейке; и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и лейб-гусар Шпорышев, и Вергефден отпускали фифки по этому поводу, и летел в медную кружечку непрерывный дождь из двугривенных; только хитрый хохол-малоросс Липпанченко как-то криво смеялся. А сама Софья Петровна Лихутина, вне себя, пунцовела, бледнела, покрывалась испариной и кусала платочек. Нейнтельпфайн оказался просто скотиной, но Нейнтельпфайн не показывался: изо дня в день он усердно вытягивал газетные строчки; и тянулась, тянулась газетная ахинея, покрывая мир совершеннейшей ерундой.

## СОВЕРШЕННО ПРОКУРЕННОЕ ЛИЦО

Николай Аполлонович Аблеухов стоял над лестничной балюстрадой в своем пестром халатике и раскидывал во все стороны переливчатый блеск, составляя полную противоположность колонне и столбику алебаstra, откуда белая Ниобея поднимала горé свои алебастровые глаза.

Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, что-то крикнул по направлению к передней, но на выкрик ответила сперва тишина, а потом ответила с чрезмерной отчетливостью неожиданная, протестующая фистула:

— «Николай Аполлонович, вы, наверное, приняли меня за другого...»

— «Я это — я...»

Там внизу стоял незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником.

Николай Аполлонович тут оскалился с балюстрады в неприятной улыбке:

— «Это вы, Александр Иванович?.. Чрезвычайно приятно!»

И потом лицемерно добавил он:

— «Без очков не узнал...»

Преодолевая неприятное впечатление присутствия незнакомца в лакированном доме, Николай Аполлонович с балюстрады продолжал кивать головой:

— «Я, признаться, с постели: оттого-то я и в халате» (будто этим упоминанием невзначай Николай Аполлонович хотел дать понять посетителю, что этот последний в неурочное время нанёс свой визит; от себя мы прибавим: все последние ночи Николай Аполлонович пропадал).

Незнакомец с черными усиками представлял своею персоною чрезвычайно жалкое зрелище на богатом фоне орнамента из старинных оружий; тем не менее незнакомец храбрился, продолжая с жаром успокаивать Николая Аполлоновича — не то насмехаясь, а не то будучи совершеннейшим простаком:

— «Это ровно ничего не значит, Николай Аполлонович, что вы прямо с постели... Совершеннейший пустяк, уверяю вас: вы не барышня, да и я не барышня тоже... Ведь я сам только встал...»

Нечего делать. Пересилив в душе неприятное впечатление (оно было вызвано появлением незнакомца — здесь, в лакированном доме, где лакеи могли основательно недоумевать, где, наконец, незнакомец мог быть встречен папашею) — пересилив в душе неприятное впечатление, Николай Аполлонович вознамерился двинуться вниз, чтоб достойно, по-аблеуховски, ввести в лаковый дом щепетильного гостя; но, к досаде, его меховая туфелька соскочила с ноги; и босая ступня закачалась из-под полы халата; Николай Аполлонович на ступеньках споткнулся; и вдобавок он подвел незнакомца: предположивши, что Николай Аполлонович в порыве обычной угодливости бросится к нему вниз (Николай Аполлонович уже выказал в направлении этом всю стремительность своих жестов), незнакомец с черными усиками бросился в свою очередь к Николаю Аполлоновичу и оставил мутный свой след на бархатно-серых ступенях; теперь же незнакомец мой растерянно стал меж передней и верхом; и при этом увидел он, что пятнает ковер; незнакомец мой сконфуженно улыбнулся.

— «Раздевайтесь, пожалуйста».

Деликатное напоминание о том, что в барские комнаты в пальто никак невозможно проникнуть, принадлежало лакею, которому на руки с отчаянной независимостью стряхнул незнакомец мокрое свое пальто; он стоял теперь в серой, клетчатой паре, подъеденной молью. Видя, что лакей намерен руку протянуть и к мокрому узелку, незнакомец мой вспыхнул; вспыхнувши, вдвойне законфузился он:



- «Нет, нет...»
- «Да пожалуйста-с...»
- «Нет: это возьму я с собою...»

Незнакомец с черными усиками с тем же все на все махнувшим упорством разблеставшийся скользкий паркет попирал дырявой ботинкою; удивленные, мимолетные взоры он бросал на роскошную перспективу из комнат. Николай Аполлонович с особенной мягкостью, подбравши полы халата, предшествовал незнакомцу. Но обоим им показалось томительным их безмолвное странствие в этих блещущих перспективах: оба грустно молчали; незнакомцу с черными усиками Николай Аполлонович подставлял с облегчением не лицо, а свою переливную спину; потому-то, верно, улыбка и сбежала с неестественно перед тем улыбавшихся уст его. От себя же прямо заметим: Николай Аполлонович струсил; в голове его быстро вертелось: «Вероятно, какой-нибудь благотворительный сбор — пострадавший рабочий; в крайнем случае — на вооружение...» А в душе тоскливо заныло: «Нет нет — не это, а то?»

Пред дубовую дверь своего кабинета Николай Аполлонович к незнакомцу повернулся вдруг круто; на лице у обоих мгновенно скользнула улыбка; оба вдруг поглядели друг другу в глаза с выжидательным выражением.

- «Так пожалуйста... Александр Иванович...»
- «Не беспокойтесь...»
- «Милости просим...»
- «Да нет, нет...»

Приемная комната Николая Аполлоновича составляла полную противоположность строгому кабинету: она была так же пестра, как... как бухарский халат; халат Николая Аполлоновича, так сказать, продолжался во все принадлежности комнаты: например, в низкий диван; он скорее напоминал восточное пестротканое ложе; бухарский халат продолжался в табуретку темно-коричневых цветов; она была инкрустирована тоненькими полосками из слоновой кости и перламутра; халат продолжался далее в негритянский щит из толстой кожи когда-то павшего носорога, и в суданскую ржавую стрелу с массивною рукоятью; для чего-то ее тут повесили на стене; наконец, продолжался халат в шкуру пестрого леопарда, брошенного к их ногам с разинутой пастью; на табуретке стоял темно-синий кальянный прибор и трехногая золотая курильница в виде истыканного отверстиями шара с полумесяцем наверху; но всего удивительнее была пестрая клетка, в которой от времени до времени начинали бить крыльями зеленые попугайчики.

Николай Аполлонович пододвинул гостю пеструю табуретку: незнакомец с черными усиками опустился на край табуретки и вытащил из кармана дешевенький портсигар.

- «Вы позволите?»
- «Сделайте одолжение».
- «Вы не курите сами?»

— «Нет, не имею обыкновения...»

И тотчас же, законфузившись, Николай Аполлонович прибавил:

— «Впрочем, когда другие курят, то...»

— «Вы отворяете форточку?»

— «Что вы, что вы!...»

— «Вентилятор?»

— «Ах, да нет... совсем наоборот — я хотел сказать, что курение мне доставляет скорее...» — заторопился Николай Аполлонович, но не слушавший его гость продолжал перебивать:

— «Вы сами выходите из комнаты?»

— «Ах, да нет же: я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма, и в особенности сигар».

— «Напрасно, Николай Аполлонович, совершенно напрасно: после курильщиков...»

— «Да?...»

— «Следует...»

— «Так?»

— «Быстро проветривать комнату».

— «Что вы, о, что вы!»

— «Открывая и форточку, и вентилятор».

— «Наоборот, наоборот...»

...  
 — «Не защищайте, Николай Аполлонович, табак: это я говорю вам по опыту... Дым проникает серое мозговое вещество... Мозговые полушария засариваются: общая вялость проливается в организм...»

Незнакомец с черными усиками подмигнул с фамильярной значительностью; незнакомец увидел и то, что хозяин все-таки сомневается в проницаемости серого мозгового вещества, но из привычки быть любезным хозяином не будет оспаривать гостя: тогда незнакомец с черными усиками эти черные усики стал огорченно выщипывать:

— «Посмотрите вы на мое лицо».

Не найдя очков, Николай Аполлонович приблизил свои моргавшие веки вплоть к лицу незнакомца.

— «Видите лицо?»

— «Да, лицо...»

— «Бледное лицо...»

— «Да, несколько бледноватое», — и игра всевозможных учтивостей с их оттенками разлилась по щекам Аблеухова.

— «Совершенно зеленое, прокуренное лицо», — оборвал его незнакомец — «лицо курильщика. Я прокурю у вас комнату, Николай Аполлонович».

Николай Аполлонович давно ощущал беспокойную тяжесть, будто в комнатную атмосферу проливался свинец, а не дым; Николай Аполлонович чувствовал, как засаривались его полушария мозга и как общая вялость проливалась в его организм, но он думал геперь не о свойствах табачного дыма, а о том думал он, как ему с достоинством выйти

из щекотливого случая, как бы он, — думал он, — поступил в том рискованном случае, если бы незнакомец, если бы. . .

Эта свинцовая тяжесть не относилась нисколько к дешевенькой папироске, протянувшей в высь свою синеватую струечку, а скорее она относилась к угнетенному состоянию духа хозяина. Николай Аполлонович ежесекундно ждал, что беспокойный его посетитель оборвет свою болтовню, заведенную, видимо, с единственной целью — терзать его ожиданием — да: оборвет свою болтовню и напомнит о том, как он, Николай Аполлонович, дал в свое время чрез посредство странного незнакомца — как бы точнее сказать. . .

Словом, дал в свое время ужасное для себя обязательство, которое выполнить принуждала его не одна только честь; ужасное обещание дал Николай Аполлонович разве только с отчаянья; побудила к тому его житейская неудача; впоследствии неудача та постепенно изгладилась. Казалось бы, что ужасное обещание отпадает само собой: но ужасное обещание оставалось: оставалось оно, хотя бы уж потому, что назад не было взято: Николай Аполлонович, по правде сказать, основательно о нем позабыл; а оно, обещание, продолжало жить в коллективном сознании одного необдуманного кружка, в то самое время, когда ощущение горькости бытия под влиянием неудачи изгладилось; сам Николай Аполлонович свое обещание несомненно отнес бы к обещаниям шуточного характера.

Появление разночинца с черными усиками, в первый раз после этих истекших двух месяцев, наполнило душу Николая Аполлоновича основательным страхом. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил чрезвычайно печальное обстоятельство. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил все мельчайшие подробности обстановки своего обещания и нашел те подробности вдруг убийственными для себя.

Почему же. . . — не то, что дал он ужасное обещание, а то, что ужасное обещание он дал легкомысленной партии?

Ответ на этот вопрос был прост чрезвычайно: Николай Аполлонович, занимаясь методикой социальных явлений, мир обрекал огню и мечу.

И вот он бледнел, серел и наконец стал зеленым; даже как-то вдруг засинело его лицо; вероятно, этот последний оттенок зависел просто от комнатной атмосферы, протабаченной донельзя.

Незнакомец встал, потянулся, с нежностью покосился на узелок и вдруг детски так улыбнулся.

— «Видите, Николай Аполлонович (Николай Аполлонович испуганно вздрогнул). . . я собственно пришел к вам не за табаком, то есть не о табаке. . . это про табак совершенно случайно. . .»

— «Понимаю».

— «Табак табаком: а я, собственно, не о табаке, а о деле. . .»

— «Очень приятно. . .»

— «И даже я не о деле: вся суть тут в услуге — и эту услугу вы, конечно, можете мне оказать. . .»

— «Как же, очень приятно. . .»

Николай Аполлонович еще более посинел; он сидел и выщипывал диванную пуговку; и не выщипнув пуговки, принялся выщипывать из дивана конские волосы.

— «Мне же крайне неловко, но помня. . .»

Николай Аполлонович вздрогнул: резкая и высокая фистула незнакома разрежала воздух: фистуле этой предшествовала секунда молчания; но секунда та часом ему показалась, часом тогда. И теперь, услышавши резкую фистулу, произносившую «помня», Николай Аполлонович едва не выкрикнул вслух:

— «О моем предложении? . . .»

Но он тотчас же взял себя в руки; и он только заметил:

— «Так, я к вашим услугам», — и при этом подумал он, что вот вежливость погубила его. . .

— «Помня о вашем сочувствии, я пришел. . .»

— «Все, что могу», — выкрикнул Николай Аполлонович и при этом подумал, что он — болван окончательно. . .

— «Маленькая, о, вовсе маленькая услуга. . .» (Николай Аполлонович чутко прислушивался):

— «Винovat. . . не позволите ли мне пепельницу? . . .»

. . . . .

## УЧАЩАЛИСЬ ССОРЫ НА УЛИЦАХ

Дни стояли туманные, странные: по России на севере проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; а на юге развесил он гнилые туманы. Ядовитый октябрь обдувал золотой лесной шепот, и покорно ложился на землю золотой лесной шепот, — и покорно ложился на землю шелестящий осинный багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. Та синичья сладкая пискотня, что купается сентябрем в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно: и сама синичка теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, что как шамканье беззубого старика посылает всю осень свой свист из лесов, голых рощ, палисадников, парков.

Дни стояли туманные, странные; ледяной ураган уже приближался клоками туч, оловянных и синих; но все верили в весну: о весне писали газеты, о весне рассуждали чиновники четвертого класса;<sup>24</sup> на весну указывал один тогда популярный министр; ароматом, ну, прямо-таки первомайских фиалок задышали изливания одной петербургской курсистки.

Пахари давно перестали скрести трухлявые земли; побросали пахари бороны, сохи; собирались под избами пахари в свои убогие кучечки для совместного обсуждения газетных известий; толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг кинуться к барскому дому с колонками, отра-

жившемуся в волжских, камских или даже днепровских струях; во все долгие ночи над Россией сияли кровавые зарева деревенских пожаров, разрешаясь днем в черноту столбов дымовых. Но тогда в облетающей заросли можно было увидеть спрятанный отряд космоголовых казаков, направляющих дула своих винтовок на гудящий набат; на клочковатых своих лошадях во всю прыть потом вылетал казачий отряд: синие бородатые люди, размахавшись нагайками, долго-долго с гиком носились по осеннему лугу и туда, и сюда.

Так было в селах.

Но так было и в городах. В мастерских, типографиях, парикмахерских, молочных, трактирчиках все вертелся какой-то многоречивый субъект; нахлобучив на лоб косматую черную шапку, завезенную, видно, с полей обагренной кровью Манджурии; и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, многоречивый субъект многократно совал первому встречному в руку плохо набранный листик.

Все чего-то ждали, боялись, надеялись; при малейшем шуме высыпали быстро на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь; в Архангельске так поступали лопари, корелы и финны; в Нижне-Колымске — тунгузы; на Днепре — и жиды, и хохлы. В Петербурге, в Москве — поступали так все: поступали в средних, высших и низших учебных заведениях: ждали, боялись, надеялись; при малейшем шорохе высыпали быстро на улицу; собирались в толпу и опять рассыпались.

Учащались ссоры на улицах: с дворниками, сторожами; учащались ссоры на улицах с захудалым квартальным; дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя задирали пренахально: рабочий, приготовишка, мещанин Иван Иванович Иванов с супругой Иванихой, даже лавочник — первой гильдии купец Пузанов, от которого в лучшие и недавно минувшие дни околоточный разживался то осетринкой, то семушкой, то зернистой икоркой; но теперь вместо семушки, осетринки, зернистой икорки на квартального надзирателя вместе с прочею «свободчю» вдруг восстал первой гильдии, его степенство, купец Пузанов, личность небезызвестная, многократно бывавшая в губернаторском доме, ибо как-никак, — рыбные промыслы и потом пароходство на Волге: как-никак, от такого случая присмирел околоточный. Серенький сам, в сереньком своем пальтеце проходил он теперь незаметною тенью, подбирая почтительно пашку и держа вниз глаза: а ему это в спину словесные замечания, выговор, смехи и даже непристойная брань; участковый же пристав на все это: «Не сумеете снискать доверия у населения, подавайте в отставку». Ну и снискивал он доверие: бунтовал и он против произвола правительства, или он вступал в особое соглашение с обитателями пересыльной тюрьмы.

Так в те дни влачил свою жизнь околоточный надзиратель где-нибудь в Кемі: так же он влачил эту жизнь в Петербурге, Москве, Оренбурге, Ташкенте, Сольвычегодске, словом, в тех городах (губернских, уездных, заштатных), кои входят в состав Российской Империи.

Петербург окружает кольцо многотрубных заводов.

Многотысячный людской рой к ним бредет по утрам; и кишмя кишит пригород; и роится народом. Все заводы тогда волновались ужасно, и рабочие представители толп превратились все до единого в многоречивых субъектов; среди них циркулировал браунинг; и еще кое-что. Там обычные рои в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черпоту; и фабричный инспектор хватался тогда за телефонную трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град полетит из толпы в окопные стекла.

То волнение, охватившее кольцом Петербург, проникало как-то и в самые петербургские центры, захватило сперва острова, перекинулось Литейным и Николаевским мостами; и оттуда хлынуло на Невский Проспект: и хотя на Невском Проспекте та же все была циркуляция людской многоножки, однако состав многоножки изменялся разительно; опытный взор наблюдателя уже давно отмечал появление черной шапки косматой, нахлобученной, завезенной сюда с полей обгаренной кровью Манджурии: то на Невском Проспекте зашагал многоречивый субъект, и понизился вдруг процент проходящих цилиндров; многоречивый субъект обнаруживал здесь свое исконное свойство: он тыкался плечами, закивав в рукава пальцы иззябших рук; появились также на Невском беспокойные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что есть дух от вокзала к Адмиралтейству и махавших красного цвета журнальчиками.

Во всем прочем не было изменений; только раз — Невский залили толпы в сопровождении духовенства: несли на руках один профессорский гроб, направляясь к вокзалу: впереди же шло море зелени; развевались кровавые атласные ленты.<sup>25</sup>

Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; замороженная пыль носилась по городу бурными вихрями; и покорно лег на дорожках Летнего сада золотой шепот лиственный, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шущукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов; та синичья сладкая пискотня, что купалась весь август в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно: и сама синичка Летнего сада теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, по бронзовой загородке да по крыше Петровского домика.<sup>26</sup>

Таковы были дни. А ночи — выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие, подгородные пустыри, чтобы слышать неотвязную, злую ноту на «у»? Ууу-уууу-уууу: так звучало в пространстве; звук — был ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира; достигал этот звук редкой силы и ясности: «уууу-уууу-ууу» раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Слышал ли и ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет: никогда.

## ЗОВЕТ МЕНЯ МОЙ ДЕЛЬВИГ МИЛЫЙ

Проходя по красной лестнице Учреждения, опираясь рукой о мрамор холодный перил, Аполлон Аполлонович Аблеухов зацепился носком за сукно и — споткнулся; непроизвольно замедлился его шаг; следовательно: совершенно естественно, что очи его (безо всякой предвзятости) задержались на огромном портрете министра, устремившего пред собой грустный и сострадательный взгляд.

По позвоночнику Аполлона Аполлоновича пробежала мурашка: в Учреждении мало топили. Аполлону Аполлоновичу эта белая комната показалась равниной.

Он боялся пространств.

Их боялся он более, чем зигзагов, чем ломаных линий и секторов; деревенский ландшафт его прямо пугал: за снегами и льдами там, за лесною гребенчатой линией поднимала пурга перекрестность воздушных течений; там, по глупой случайности, он едва не замерз.

Это было тому назад пятьдесят лет.

В этот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце: ледяная рука повела за собой; за ледяною рукою он шел по ступеням карьеры, пред глазами имея все тот же роковой, невероятный простор; там, оттуда, — манила рука ледяная; и летела безмерность: Империя Русская.

Аполлон Аполлонович Аблеухов за городской стеною засел много лет, всей душой ненавидя уездные сиротливые дали, дымок деревенок и на пугале сидящую галку; только раз эти дали дерзнул перерезать в экспрессе он, направляясь с ответственным поручением из Петербурга в Токио.

О своем пребывании в Токио Аполлон Аполлонович никому не рассказывал.

Да — по поводу портрета министра... Он министру говаривал:

— «Россия — ледяная равнина, по которой много сот лет, как зарыскали волки...»<sup>27</sup>

Министр поглядывал на него бархатистым и душу ласкающим взглядом, глядя белой рукой седой холеный ус; и молчал, и вздыхал. Министр принимал количество управляемых ведомств, как мучительный, жертвенный, распинающий крест; он собирался-было по окончании службы...

Но он умер.

Теперь он покоился в гробе; Аполлон Аполлонович Аблеухов теперь — совершенно один; позади него — в неизмеримости убежали века; впереди — ледяная рука открывала: неизмеримости.

Неизмеримости полетели навстречу.

Русь, Русь! Видел — тебя он, тебя!

Это ты разревелась ветрами, буранами, снегом, дождем, гололедицей — разревелась ты миллионами живых закливающих голосов! Сенатору в этот миг показалось, будто голос некий в пространствах его призывает с оди-

нокого гробового бугра; не качается одинокий там крест; не мигает на снежные вихри лампадка; только волки голодные, собираясь в стаи, жалко вторят ветрам.

Несомненно в сенаторе развивались с течением лет боязни пространства.

Болезнь обострилась: со времени той трагической смерти; верно, образ ушедшего друга посещал его по ночам, чтобы в долгие ночи поглядывать бархатным взглядом, глядя белой рукой седой холеный ус, потому что образ ушедшего друга постоянно теперь сочетался в сознании со стихотворным отрывком:

И нет его — и Русь оставил он,  
Взнесенну им...

В сознании Аполлона Аполлоновича тот отрывок вставал, когда он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, пересекал зал.

За приведенным стихотворным отрывком вставал стихотворный отрывок:

И мнится, очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,  
Товарищ песен молодых,  
Пиров и чистых помышлений,  
Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас ушедший гений.

Строй стихотворных отрывков обрывался сердито:

И над землей сошлись новы гучи,  
И ураган их...<sup>28</sup>

Вспоминая отрывки, Аполлон Аполлонович становился особенно сух; и с особою четкостью выбегал он к просителям подавать свои пальцы.

## МЕЖДУ ТЕМ РАЗГОВОР ИМЕЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Между тем разговор Николая Аполлоновича с пезнакомцем имел продолжение.

— «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, — «да: мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».

— «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, что смутившее его появление знакомого, не касаясь нисколько того ужасного предложения, всего-навсего связано с безобиднейшим узелочком; и в порыве рассеянной радости он готов уже был расцеловать узелочек; и его лицо покрылось ужимками, проявляя бурную жизнь; он стремительно встал и направился к узелочку; но тогда незнакомец почему-то встал тоже, и почему-то и он кинулся вдруг меж узелком и Николаем Аполлоновичем; а когда рука сенаторского сына протянулась к пре-



словутому узелку, то рука незнакомца пальцами бесцеремонно охватила пальцы Николая Аполлоновича:

— «Осторожнее, ради Бога...»

Николай Аполлонович, пьяный от радости, пробормотал какое-то невнятное извинение и опять протянул рассеянно свою руку к предмету; и вторично предмет воспрепятствовал ему взять незнакомца, умоляюще протянув свою руку:

— «Нет: я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович, бережнее...»

— «Аа... да, да...» — Николай Аполлонович и на этот раз ничего не расслышал: но едва ухватил узелок он за край полотенца, как незнакомец на этот раз прокричал ему в ухо совершенно рассерженным голосом...

— «Николай Аполлонович, повторяю вам в третий раз: бережнее...»

Николай Аполлонович на этот раз удивился...

— «Вероятно, литература?..»

— «Ну, нет...»

В это время раздался отчетливый металлический звук: что-то щелкнуло; в тишине раздался тонкий писк пойманной мыши; в то же мгновение опрокинулась мягкая табуретка и шаги незнакомца затопали в угол:

— «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович», — раздался испуганный его голос, — «Николай Аполлонович — мышь, мышь... Поскорей прикажите слуге вашему... это, это... прибрать: это мне... я не могу...»

Николай Аполлонович, положив узелочек, удивился смятению незнакомца:

— «Вы боитесь мышей?..»

— «Поскорей, поскорей унесите...»

Выскочив из своей комнаты и нажав кнопку звонка, Николай Аполлонович представлял собою, признаться, пренелепое зрелище; но нелепее всего было то обстоятельство, что в руке он держал... трепетно бьющуюся мышку; мышка бегала, правда, в проволочной ловушке, но Николай Аполлонович рассеянно наклонил к ловушке вплотную примечательное лицо и с величайшим вниманием теперь разглядывал свою серую пленницу, проводя длинным холеным ногтем желтоватого цвета по металлической проволоке.

— «Мышка», — поднял он глаза на лакея; и лакей почтительно повторил вслед за ним:

— «Мышка-с... Она самая-с...»

— «Ишь ты: бегаёт, бегаёт...»

— «Бегаёт-с...»

— «Тоже вот, боится...»

— «А как же-с...»

Из открытой двери приемной выглянул теперь незнакомец, посмотрел испуганно и опять спрятался:

— «Нет — не могу...»

— «А они боятся-с?.. Ничего: мышка зверь божий.. Как же-с... И она тоже...»

Несколько мгновений и слуга, и барин были заняты созерцанием пленницы; наконец почтенный слуга принял в руки ловушку.

— «Мышка...» — повторил довольным голосом Николай Аполлонович и с улыбкою возвратился к ожидавшему гостю. Николай Аполлонович с особою нежностью относился к мышам.<sup>29</sup>

Николай Аполлонович понес наконец узелок в свою рабочую комнату: как-то мельком его поразил лишь тяжелый вес узелка; но над этим он не задумался; проходя в кабинет, он споткнулся об арабский пестрый ковер, зацепившись ногою о мягкую складку; в узелке тогда что-то звякнуло металлическим звуком, незнакомец с черными усиками при этом звяканье привскочил; рука незнакомца за спиной Николай Аполлоновича описала ту самую зигзагообразную линию, которой недавно так испугался сенатор.

Но ничего не случилось: незнакомец увидел лишь, что в соседней комнате на массивном кресле было пышно разложено красное домино и атласная черная масочка; незнакомец удивленно уставился на эту черную масочку (она его поразила, признаться), пока Николай Аполлонович раскрывал свой письменный стол и, опроставши достаточно места, бережно туда клал узелочек; незнакомец с черными усиками, продолжая рассматривать домино, между тем оживленно принялся высказывать одну свою основательно выношенную мысль:

— «Знаете... Одиночество убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете ли вы, Николай Аполлонович, что слова мои путаются».

Николай Аполлонович, подставляя гостю свою бухарскую спину, лишь рассеянно процедил:

— «Ну это, знаете, бывает со всеми».

Николай Аполлонович в это время бережно прикрывал узелочек кабинетных размеров портретом, изображавшим брюнеточку; покрывая брюнеточкой узелок, Николай Аполлонович призадумался, не отрывая глаз от портрета; и лягушечье выражение на мгновенье прошло на его блеклых губах.

В спину же ему раздавались слова незнакомца.

— «Я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не то: хожу все вокруг да около... Или я вдруг забываю, как называется, ну, самый обыденный предмет; и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще. Затвержу: лампа, лампа и лампа; а потом вдруг покажется, что такого слова и нет: лампа. А спросить подчас некого; а если бы кто и был, то всякого спросить — стыдно, знаете ли: за сумашедшего примут».

— «Да что вы...»

Кстати об узелке: если бы Николай Аполлонович повнимательнее бы отнесся к словам своего посетителя быть бережнее с узелком, то, вероятно, он понял бы, что безобиднейший в его мнении узелок был не так безобиден, но он, повторяю, был занят портретом; занят настолько, что нить слов незнакомца потерялась в его голове. И теперь, поймавши слова, он едва понимал их. В спину же его все еще барабанила трескучая фистула:

— «Трудно жить, Николай Аполлонович, исключенным, как я, в торичеллиевой пустоте...»<sup>30</sup>

— «Торичеллиевой?» — удивился, не поворачивая спины, Николай Аполлонович, ничего не расслышавший.

— «Вот именно — торичеллиевой, и это, заметьте, во имя общности; общность, общество — а какое, позвольте спросить, общество я вижу? Общество не к о й, вам неизвестной особы, общество моего домового дворника, Матвея Моржова, да общество серых мокриц: бррр... у меня на чердаке развелись мокрицы... А? как вам это понравится, Николай Аполлонович?»

— «Да, знаете...»

— «Общее дело! Да оно давным давно для меня превратилось в личное дело, не позволяющее мне выдаться с другими: общее дело-то ведь и выключило меня из списка живых».

Незнакомец с черными усиками, по-видимому, совершенно случайно попал на свою любимую тему; и, попав совершенно случайно на свою любимую тему, незнакомец с черными усиками позабыл о цели прихода, позабыл, вероятно, он и свой мокренький узелочек, даже позабыл количество истребляемых папирос, умноживших зловолие; как и все к молчанию пассивно принужденные и от природы болтливые люди, он испытывал иногда невыразимую потребность сообщить кому бы то ни было мысленный свой итог: другу, недругу, дворнику, городовому, ребенку, даже... парикмахерской кукле, выставленной в окне. По ночам иногда незнакомец сам с собой разговаривал. В обстановке роскошной, пестрой приемной эта потребность поговорить вдруг неодолимо проснулась, как своего рода запой после месячного воздержания от водки.

— «Я — без шутки: какая там шутка; в этой шутке ведь я проживаю два с лишком года; это вам позволительно шутить, вам, включенному во всякое общество; а мое общество — общество клопов и мокриц. Я — я. Слышите ли вы меня?»

— «Разумеется слышу».

Николай Аполлонович теперь действительно слушал.

— «Я — я: а мне говорят, будто я — не я, а какие-то „мы“. Но позвольте — почему это? А вот память расстроилась: плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового расстройства», — незнакомец с черными усиками зашагал из угла в угол, — «знаете, одиночество убивает меня. И подчас даже сердиться: общее дело, социальное равенство, а...»

Тут незнакомец вдруг прервал свою речь, потому что Николай Апол-

лонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и, увидев, что этот последний шагает уже по его кабинету, соря пеплом на стол, на атласное красное домино; и, увидев все то, Николай Аполлонович вследствие какой-то ему непостижной причины густо так покраснел и бросился убирать домино; этим только он способствовал перемене поля внимания в мозгу незнакомца:

— «Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович».

Николай Аполлонович бросился к домино, как будто его он хотел прикрыть пестрым халатом, но опоздал: яркошуршащий шелк незнакомец пощупал рукою:

— «Прекрасный шелк... Верно дорого стоит: вы, вероятно, посещаете, Николай Аполлонович, маскарады...»

Но Николай Аполлонович покраснел еще пуще:

— «Да, так себе...»

Почти вырвал он домино и пошел его упрятывать в шкаф, точно уличенный в преступности; точно пойманный вор, суетливо запрятал он домино; точно пойманный вор, пробежал обратно за масочкой; спрятавши все, он теперь успокоился, тяжело дыша и подозрительно поглядывая на незнакомца; но незнакомец, признаться, уже забыл домино и теперь вернулся к своей излюбленной теме, все время продолжая расхаживать и посаривать пеплом.

— «Ха, ха, ха!» — трещал незнакомец и быстро закуривал на ходу папироску. — «Вас удивляет, как я могу доселе быть деятелем небезызвестных движений, освободительных для одних и весьма стеснительных для других, ну, хотя бы для вашего батюшки? Я и сам удивляюсь; это все ерунда, что я действую до последней поры по строго выработанной программе: это ведь — слушайте: я действую по своему усмотрению; но что прикажете делать, мое усмотрение всякий раз проводит в их деятельности только новую колею; собственно говоря, не я в партии, во мне партия... Это вас удивляет?»

— «Да, признаться: это меня удивляет; и признаться, я бы вовсе не стал с вами действовать вместе». Николай Аполлонович начинал внимательней внимать речам незнакомца, становившимся все округленнее, все звучней.

— «А ведь все-таки вы узелочек-то мой от меня взяли: вот мы, стало быть, действуем заодно».

— «Ну, это в счет не может идти; какое тут действие...»

— «Ну, конечно, конечно», — перебил его незнакомец, — «это я пошутил». И он помолчал, посмотрел ласково на Николая Аполлоновича и сказал на этот раз совершенно открыто:

— «Знаете, я давно хотел видетсья с вами: поговорить по душам; я так маю с кем вижусь. Мне хотелось рассказать о себе. Я ведь — неуловимый не только для противников движения, но и для недостаточных доброжелателей оною. Так сказать, квинтэссенция революции, а вот странно: все-то вы знаете про методику социальных явлений, углубляетесь в диаграммы, в статистику, вероятно, знаете в совершенстве и Маркса; а вот

я — я ничего не читал; вы не думайте: я начитан, и очень, только я не о том, не о цифрах статистики».

— «Так о чем же вы?.. Нет, позвольте, позвольте: у меня в шкафчике есть коньяк — хотите?»

— «Не прочь...»

Николай Аполлонович полез в маленький шкафчик: скоро перед гостем показался граненый графинчик и две граненые рюмочки.

Николай Аполлонович во время беседы с гостями гостей потчевал коньяком.

Наливая гостю коньяк с величайшей рассеянностью (как и все Аблеуховы, был он рассеян), Николай Аполлонович все думал о том, что сейчас выгодно представлялся ему удобнейший случай отказать вовсе от тогдашнего предложения; но когда он хотел словесно выразить свою мысль, он сконфузился: он из трусости не хотел пред лицом незнакомца выказать трусость; да и кроме того: он на радостях не хотел бременить себя щекотливейшим разговором, когда можно было отказать и письменно.

— «Я читаю теперь Конав-Дойля, для отдыха: — трещал незнакомец, — не сердитесь — это шутка, конечно. Впрочем, пусть и не шутка; ведь если признаться, круг моих чтений для вас будет так же все дик: я читаю историю гностицизма,<sup>31</sup> Григория Нисского,<sup>32</sup> Сирианова,<sup>33</sup> Апокалипсис.<sup>34</sup> В этом, знаете, — моя привилегия; как-никак — я полковник движения, с полей деятельности переведенный (за заслуги) и в штаб-квартиру. Да, да, да: я — полковник. За выслугой лет, разумеется; а вот вы, Николай Аполлонович, со своею методикой и умом, вы — унтер: вы, во-первых, унтер потому, что вы теоретик; а насчет теории у генералов-то наших — плоховаты дела; ведь признайтесь-ка — плоховаты; и они — точь-в-точь архиереи, архиереи же из монахов; и молоденький академик, изучивший Гарнака,<sup>35</sup> но прошедший мимо опытной школы, не побывавший у схимника,<sup>36</sup> — для архиерея только досадный церковный придаток; вот и вы со всеми своими теориями — придаток; поверьте, досадный».

— «Да ведь в ваших словах слышу я народовольческий привкус».

— «Ну так что же? С народовольцами сила, не с марксистами же. Но простите, отвлекся я... я о чем? Да, о выслуге лет и о чтении. Так вот: оригинальность умственной моей пищи все от того же чудачества; я такой же революционный фанфарон, как любой фанфарон вояка с Георгием:<sup>37</sup> старому фанфарону, рубাকে, все простят».

Незнакомец задумался, налил рюмочку: выпил еще.

— «Да и как же мне не найти своего, личного, самого по себе: я и так уж, кажется, проживаю приватно — в четырех желтых стенах; моя слава растет, общество повторяет мою партийную кличку, а круг лиц, стоящих со мною в человеческих отношениях, верьте, равен нулю; обо мне впервые узнали в то славное время, когда я засел в сорокапятиградусный мороз...»

— «Вы ведь были сосланы?»

— «Да, в Якутскую область».

Наступило неловкое молчание. Незнакомец с черными усиками из окошка посмотрел на пространство Невы; взвесилась там бледно-серая гнилость: там был край земли и там был конец бесконечностям; там, сквозь серость и гнилость уже что-то шептал ядовитый октябрь, ударяя о стекла слезами и ветром; и дождливые слезы на стеклах догоняли друг друга, чтобы виться в ручьи и чертить крючковатые знаки слов; в трубах слышалась сладкая пискотня ветра, а сеть черных труб, издаелека-далека, посылала под небо свой дым. И дым падал хвостами над темно-цветными водами. Незнакомец с черными усиками прикоснулся губами к рюмочке, посмотрел на желтую влагу: его руки дрожали.

Николай Аполлонович, теперь внимательно слушавший, сказал с какою-то... почти злобою:

— «Ну, а толпам-то, Александр Иванович, вы, надеюсь, пока о своих мечтаньях ни слова?..»

— «Разумеется, пока промолчу».

— «Так значит вы лжете; извините, но суть не в словах: вы все-таки лжете и лжете раз навсегда».

Незнакомец посмотрел изумленно и продолжал довольно-таки нехстати:

— «Я пока все читаю и думаю: и все это исключительно для себя одного: от того-то я и читаю Григория Нисского».

Наступило молчание. Опрокинув новую рюмку, из-под облака табачного дыма незнакомец выглядывал победителем; разумеется, он все время курил. Молчание прервал Николай Аполлонович.

— «Ну, а по возвращении из Якутской области?»

— «Из Якутской области я удачно бежал; меня вывезли в бочке из-под капусты;<sup>38</sup> и теперь я есмь то, что я есмь: деятель из подполья; только не думайте, чтобы я действовал во имя социальных утопий или во имя вашего железнодорожного мышления: категории ваши напоминают мне рельсы, а жизнь ваша — летящий на рельсах вагон: в ту пору я был отчаянным нищепанцем. Мы все нищепанцы: ведь и вы — инженер вашей железнодорожной линии, творец схемы — и вы нищепанец; только вы в этом никогда не признаетесь. Ну так вот: для нас, нищепанцев, агитационно настроенная и волнуемая социальными инстинктами масса (как сказали бы вы) превращается в исполнительный аппарат (тоже ваше инженерное выражение), где люди (даже такие, как вы) — клавиатура, на которой пальцы пьяниста (заметьте: это выражение мое) летают свободно, преодолевая трудность для трудности; и пока какой-нибудь партерный слюнтый под концертной эстрадой внимают божественным звукам Бетховена, для артиста да и для Бетховена — суть не в звуках, а в каком-нибудь септаккорде.<sup>39</sup> Ведь вы знаете что такое септаккорд? Таковы-то мы все».

— «То есть спортсмены от революции».

— «Что ж, разве спортсмен не артист? Я спортсмен из чистой любви к искусству: и потому я — артист. Из неоформленной глины общества хорошо лепить в вечность замечательный бюст».

— «Но позвольте, позвольте, — вы впадаете в противоречие: септаккорд, то есть формула, термин, и бюст, то есть нечто живое? Техника — и вдохновение творчеством? Технику я понимаю прекрасно».

Неловкое молчание наступило опять: Николай Аполлонович с раздражением выщипывал конский волос из своего пестротканого ложа; в теоретический спор не считал он нужным вступать; он привык спорить правильно, не метаться от темы к теме.

— «Все на свете построено на контрастах: и моя польза для общества привела меня в увывлые ледяные пространства; здесь пока меня поминали, позабыли верно и вовсе, что там я — один, в пустоте: и по мере того, как я уходил в пустоту, возвышаясь над рядовыми, даже над унтерами (незнакомец усмехнулся беззлобно и пощипывал усик), — с меня постепенно свалились все партийные предрассудки, все категории, как сказали бы вы: у меня с Якутской области, знаете ли, одна категория. И знаете ли какая?»

— «Какая?»

— «Категория льда...»

— «То есть как это?»

От дум или от выпитого вина, только лицо Александра Ивановича действительно приняло какое-то странное выражение; разительно изменился он и в цвете, и даже в объеме лица (есть такие лица, что мгновенно меняются); он казался теперь окончательно выпитым.

— «Категория льда — это льды Якутской губернии; их я, знаете ли, ношу в своем сердце; это они меня отделяют от всех; лед ношу я с собою; да, да, да: лед меня отделяет; отделяет, во-первых, как нелегального человека, проживающего по фальшивому паспорту; во-вторых, в этом льду впервые созрело во мне то особое ощущение: будто даже когда я на людях, я закинут в неизмеримость...»

Незнакомец с черными усиками незаметно подкрался к окошку; там, за стеклами, в зеленоватом тумане проходил гренадерский взвод: проходили рослые молодцы и все в серых пинелях. Размахавшись левой рукой, проходили они: проходил ряд за рядом, штыки прочернели в тумане.

Николай Аполлонович ощутил странный холод: ему стало вновь неприятно: обещание его партии еще не было взято обратно; слушая теперь незнакомца, Николай Аполлонович перетрусил: Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, пространств не любил; еще более его ужасали ледяные пространства, явственно так повеявшие на него от слов Александра Ивановича.

Александр же Иванович там, у окна, улыбался...

— «Артикул революции мне не нужен: это вам, теоретикам, публицистам, философам артикул».

Тут он, глядя в окошко, оборвал стремительно свою речь; соскочив с подоконника, он упорно стал глядеть в туманную слякоть; дело было вот в чем: из туманной слякоти подкатила карета; Александр Иванович увидел и то, как распахнулось каретное дверце, и то, как Аполлон Апол-

лонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выскочил из кареты, бросив мгновенный и испуганный взгляд на зеркальные отблески стекол; быстро он кинулся на подъезд, на ходу расстегнув черную лайковую перчатку. Александр Иванович, в свою очередь теперь испугавшись чего-то, неожиданно поднес руку к глазам, точно он хотел закрыться от одной назойливой мысли. Сдавленный шепот вырвался у него из груди.

— «Он...»

— «Что такое?»

Николай Аполлонович подошел к окну теперь тоже.

— «Ничего особенного: вон подъехал в карете ваш батюшка».

### СТЕНЫ — СНЕГ, А НЕ СТЕНЫ!

Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры; мебель там блистала так докучно, так вечно: а когда надевали чехлы, мебель в белых чехлах предстала взорам снежными холмами; гулко, четко паркететы здесь отдавали поступь сенатора.

Гулко, четко так отдавал поступь сенатора зал, представлявший собой скорее коридор широчайших размеров. С изошедшего белыми гирляндами потолка, из лепного плодового круга опускалась там люстра с стекляшками горного хрусталя, одетая кисейным чехлом; будто сквозная, равномерно люстра раскачивалась и дрожала хрустальной слезой.

А паркет, точно зеркало, разблестался квадратиками.

Стены — снег, а не стены; эти стены всюду были уставлены высокопогими стульями; их высокие белые ножки изошли в золотых желобках; отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались столбики белого алебастра; и со всех белых столбиков высится алебастровый Архимед. Не Архимед — разные Архимеды, ибо их совокупное имя — древнегреческий муж. Холодно просверкало со стен строгое ледяное стекло; но какая-то заботливая рука по стенам развесила круглые рамы; под стеклом выступала бледнотонная живопись; бледнотонная живопись подражала фрескам Помпеи.

Аполлон Аполлонович мимоходом взглянул на помпейские фрески и вспомнил, чья заботливая рука поразвесила их по стенам; заботливая рука принадлежала Анне Петровне: Аполлон Аполлонович брезгливо поджал свои губы и прошел к себе в кабинет; у себя в кабинете Аполлон Аполлонович имел обычай запирается на ключ; безотчетную грусть вызывали пространства комнатной анфилады; все оттуда, казалось, на него побежит кто-то вечно знакомый и странный; Аполлон Аполлонович с большой охотой перебрался бы из своего огромного помещения в помещение более скромное; ведь живали же его подчиненные в более скромных квартирочках; а вот он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, должен был отказаться навек от пленительной тесноты: высота поста его к тому вынуждала; так был вынужден Аполлон Аполлонович праздно томиться



в холодной квартире на набережной; вспоминал он частенько и былую обительницу этих блещущих комнат: Анну Петровну. Два уже года, как Анна Петровна уехала от него с итальянским артистом.

## ОСОБА

С появлением сенатора незнакомец стал нервничать; оборвалась его доселе гладкая речь: вероятно, действовал алкоголь; говоря вообще, зловреье Александра Ивановича внушало серьезное опасение; разговоры его с самим собой и с другими вызвали в нем какое-то грешное состояние духа, отражались мучительно в спинномозговой позвоночной струне; в нем появилась какая-то мрачная гадливость в отношении к его волновавшему разговору; гадливость ту он, далее, переносил на себя; с виду эти невинные разговоры его расслабляли ужасно, но всего неприятнее было то обстоятельство, что чем более он говорил, тем более развивалось в нем желание говорить и еще: до хрипоты, до вяжущего ощущения в горле; он уже остановиться не мог, изнуряя себя все более, более: иногда он договаривался до того, что после ощущал настоящие припадки мании преследования: возникая в словах, они продолжались в снах: временами его необыкновенно зловещие сны учащались: сов следовал за сном; иногда в ночь по три кошмара; в этих снах его обступали все какие-то хари (почему-то чаще всего татары, японцы или вообще восточные человеки); эти хари неизменно носили тот же пакостный отпечаток; пакостными своими глазами все подмигивали ему; но что всего удивительнее, что в это время неизменно ему вспоминалось бессмысленнейшее слово, будто бы каббалистическое,<sup>40</sup> а на самом деле черт знает каковское: е н ф р а н ш и ш; при помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими толпами духов. Далее: появлялось и на яву одно роковое лицо на куске темно-желтых обой его обиталища; наконец, изредка всякая дрянь начинала мерещиться: и мерещилась она среди белого дня, если подлинно осенью в Петербурге день белый, а не желто-зеленый с мрачно-шафранными отсветами; и тогда Александр Иванович испытывал то же все, что вчера испытал и сенатор, встретив его, Александра Иваповича, взор. Все те роковые явления начинались в нем приступами смертельной тоски, вызванной, по всей вероятности, продолжительным сиденьем на месте: и тогда Александр Иванович начинал испуганно выбегать в зелено-желтый туман (вопреки опасности быть выслеженным); бегая по улицам Петербурга, забегал он в трактирчики. Так на сцену являлся и алкоголь. За алкоголем являлось мгновенно и позорное чувство: к ножке, виноват, к чулку ножки одной простодушной курсисточки, совершенно безотносительно ее самой; начинались совершенно невинные с виду шуточки, подхихикиванья, усмешки. Все оканчивалось диким и кошмарным сном с е н ф р а н ш и ш.

Обо всем этом Александр Иванович вспомнил и передернул плечами: будто с приходом сенатора в этот дом все то вновь в его душе поднялось;

все какая-то посторонняя мысль не давала ему покоя; иногда, невзначай, подходил он к двери и слушал едва долетавший гул удаленных шагов; вероятно, это расхаживал у себя в кабинете сенатор.

Чтоб оборвать свои мысли, Александр Иванович снова стал изливать эти мысли в тускловатые речи:

— «Вы вот слушаете, Николай Аполлонович, мою болтовню: а между тем и тут: во всех этих моих разговорах, например в утверждении моей личности, опять-таки примешалось недомогание. Я вот вам говорю, спорю с вами — не с вами я спорю, а с собою, лишь с собою. Собеседник ведь для меня ничто равно не значит: я умею говорить со стенами, стульями, с совершенными идиотами. Я чужие мысли не слушаю: то есть слышу я только то, что касается меня, моего. Я борюсь, Николай Аполлонович: одиночество на меня нападает: я часами, днями, неделями сижу у себя на чердаке и курю. Тогда мне начинает казаться, что все не то. Знаете ли вы это состояние?»

— «Не могу ясно представить. Слышал, что это бывает от сердца. Вот при виде пространства, когда нет кругом ничего... Это понятнее мне».

— «Ну, а я — нет: так вот, сидишь себе и говоришь, почему я — я: и кажется, что не я... И знаете, столик это стоит себе передо мною. И черт его знает, что он такое: и столик — не столик. И вот говоришь себе: черт знает что со мной сделала жизнь. И хочется, чтобы я — стало я... А тут мы... Я вообще презираю все слова на „еры“, в самом звуке „ы“ сидит какая-то татарщина, монгольство, что ли, восток. Вы послушайте: ы. Ни один культурный язык „ы“ не знает: что-то тупое, циничное, склизкое».

Тут незнакомец с черными усиками вспомнил лицо одной его раздражавшей особы; и оно напомнило ему букву «еры».

Николай Аполлонович, как нарочно, вступил с Александром Ивановичем в разговор.

— «Вы вот все о величии личности: а скажите, разве над вами контроля нет; сами-то вы не связаны?»

— «Вы, Николай Аполлонович, о некой особе?»

— «Я ни о ком ровно: я так...»

— «Да — вы правы: некая особа появилась вскоре после моего бегства из льдов: появилась она в Гельсингфорсе».<sup>41</sup>

— «Это, что же особа-то — инстанция вашей партии?»

— «Высшая: это вот вокруг нее-то и совершается бег событий: может быть, крупнейших событий: вы особу-то знаете?»

— «Нет, не знаю».

— «А я знаю».

— «Ну вот видите: давеча вы сказали, что будто вы и не в партии вовсе, а в вас — партия; как же это выходит: стало быть, сами-то вы в некой особе».

— «Ах, да она видит центр свой во мне».

— «А бремена?»

Незнакомец вздрогнул.

— «Да, да, да: тысячу раз да; некая особа возлагает на меня тягчайшие бремена; бремена меня заключают все в тот же все холод: в холод Якутской губернии».

— «Стало быть», — сосрился Николай Аполлонович, — «физическая равнина не столь удаленной губернии превратилась-таки в метафизическую равнину души».

— «Да, душа моя, точно мировое пространство; и оттуда, из мирового пространства, я на все и смотрю».

— «Послушайте, а у вас там...»

— «Мировое пространство», — перебил его Александр Иванович, — «порой меня докучает, отчаянно докучает. Знаете, что я называю пространством?»

И не дожидаясь ответа, Александр Иванович прибавил:

— «Я называю тем пространством мое обиталище на Васильевском Острове: четыре перпендикулярных стены, оклеенных обоями темно-вато-желтого цвета; когда я засяду в этих стенах, то ко мне никто не приходит: приходит домовый дворник, Матвей Моржов; да еще в пределы те попадает особа».

— «Как же вы попали туда?»

— «Да — особа...»

— «Опять особа?»

— «Все она же: здесь-то и обернулась она, так сказать, стражем моего сырого порога; захоти она, и в целях безопасности я могу неделями там безвыходно просидеть; ведь появление мое на улицах всегда представляет опасность».

— «Вот откуда бросаете вы на русскую жизнь тень — тень Неуловимого».

— «Да, из четырех желтых стенок».

— «Да послушайте: где же ваша свобода, откуда она», — потешался Николай Аполлонович, словно мстя за давишные слова, — «ваша свобода разве что от двенадцати подряд выкуренных папирос. Слушайте, ведь особа-то вас уловила. Сколько вы платите за помещение?»

— «Двенадцать рублей; нет, позвольте — с полтиною».

— «Здесь-то вы предаетесь созерцанию мировых пространств?»

— «Да, здесь: и здесь все не то — предметы не предметы: здесь-то я пришел к убеждению, что окно — не окно; окно — вырез в необъятность».

— «Вероятно, здесь пришли вы к мысли о том, что верхи движения ведают то, что низам недоступно, ибо верх», — продолжал свои издевательства Николай Аполлонович, — «что есть верх?»

Но Александр Иванович ответил спокойно:

— «Верх движения — мировая, бездонная пустота».

— «Для чего же все прочее?»

Александр Иванович одушевился.

— «Да во имя болезни...»

— «Как болезни?»

— «Да той самой болезни, которая так изводит меня: странное имя болезни той мне еще пока неизвестно, а вот признаки знаю отлично: безответность тоски, галлюцинации, страхи, водка, курение; от водки — частая и тупая боль в голове; наконец, особое спинномозговое чувство: оно мучает по утрам. А вы думаете, это я один болен? Как бы не так: и вы, Николай Аполлонович, — и вы — больны тоже. Больны — почти все. Ах, оставьте, пожалуйста; знаю, знаю все наперед, что вы скажете, и вот все-таки: ха-ха-ха! — почти все идейные сотрудники партии — и они больны тою же болезнью; ее черты во мне разве что рельефнее подчернулись. Знаете: я еще в стародавние годы при встречах с партийным товарищем любил, знаете ли, его изучать; вот бывало — многочасовое собрание, дела, дым, разговоры и все о таком благородном, возвышенном, и товарищ мой кипятился, а потом, знаете ли, этот товарищ позовет в ресторан».

— «Ну так что же из этого?»

— «Ну, само собою разумеется, водка; и прочее; рюмка за рюмкой; а я уж смотрю; если после выпитой рюмки у губ этого собеседника появилась вот эдакая усмешечка (какая, этого, Николай Аполлонович, я вам сказать не сумею), так я уж и знаю: на моего идейного собеседника положить нельзя; ни словам его верить нельзя, ни действиям: этот мой собеседник болен безволием, неврастением; и ничто, верьте, не гарантирует его от размягчения мозга: такой собеседник способен не только в трудное время не выполнить обещания (Николай Аполлонович вздрогнул); он способен просто-напросто и украсть, и предать, и изнасиловать девочку. И присутствие его в партии — провокация, провокация, ужасная провокация. С той поры и открылось мне все значение, знаете ли, вон эдаких складочек около губ, слабостей, смешочков, ужимочек; и куда я ни обращаю глаза, всюду, всюду меня встречает одно сплошное мозговое расстройство, одна общая, тайная, неуловимо развитая провокация, вот та-кой вот под общим делом смешочек — какой, этого я вам, Николай Аполлонович, точно, пожалуй, и не выскажу вовсе. Только я его умею угадывать безошибочно; угадал его и у вас».

— «А у вас его нет?»

— «Есть и у меня: я давно перестал доверять всякому общему делу».

— «Так вы, стало быть, провокатор. Вы не обижайтесь: я говорю о чисто идейной провокации».

— «Я. Да, да, да. Я — провокатор. Но все мое провокаторство во имя одной великой, куда-то тайно влекущей идеи; и опять-таки не идея, а — веяния».

— «Какое же веяние?»

— «Если уж говорить о веянии, то его определить при помощи слов не могу: я могу назвать его общею жаждою смерти; и я им упиваюсь с восторгом, с блаженством, с ужасом».

— «К тому времени, как вы стали, по вашим словам, упиваться веянием смерти, у вас, верно, и появилась та складочка».

— «И появилась».

— «И вы стали покуривать, попивать».

— «Да, да, да: появились еще особые любострастные чувства: знаете, ни в кого из женщин я не был влюблен: был влюблен — как бы это сказать: в отдельные части женского тела, в туалетные принадлежности, в чулки, например. А мужчины в меня влюблялись».

— «Ну, а некая особа появилась в то именно время?»

— «Как я ее ненавижу. Ведь вы знаете — да, наверное, знаете не по воле своей, а по воле вверх меня возносившей судьбы — судьбы Неуловимого — личность моя, Александра Ивановича, превратилась в придаток собственной тени. Тень Неуловимого — знают; меня — Александра Ивановича Дудкина, знать не знает никто; и не хочет знать. А ведь голодал, холодал и вообще испытывал что-либо не Неуловимый, а Дудкин. Александр Иванович Дудкин, например, отличался чрезмерной чувствительностью; Неуловимый же был и холоден, и жесток. Александр Иванович Дудкин отличался от природы ярко выраженной общительностью и был не прочь пожить в свое полное удовольствие. Неуловимый же должен быть аскетически молчаливым. Словом, неуловимая дудкинская тень совершает и ныне победоносное свое шествие: в мозгах молодежи, конечно; сам же я стал под влиянием особы — посмотрите вы только на что я похож?»

— «Да, знаете...»

И оба опять замолчали.

— «Наконец-то, Николай Аполлонович, ко мне и подкралось еще одно странное нервное недомогание: под влиянием этого недомогания я пришел к неожиданным заключениям: я, Николай Аполлонович, понял вполне, что из холода своих мировых пространств воспылал я затаенною ненавистью не к правительству вовсе, а к — некой особе; ведь эта особа, превратив меня, Дудкина, в дудкинскую тень, изгнала меня из мира трехмерного, распластав, так сказать, на стене моего чердака (любимая моя поза во время бессоницы, знаете, встать у стены да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки). И вот в распластанном положении у стены (я так простаиваю, Николай Аполлонович, часами) пришел однажды к второму своему заключению; заключение это как-то странно связалось — как-то странно связалось с одним явлением понятным, если принять во внимание мою развивающуюся болезнь».

О явлении Александр Иванович счел уместным молчать.

Явление заключалось в странной галлюцинации: на коричневато-желтых обоях его обиталища от времени до времени появлялось призрачное лицо; черты этого лица по временам слагались в семита; чаще же проступали в лице том монгольские черточки: все же лицо было повито неприятным, желто-шафранным отсветом. То семит, то монгол вперяли в Александра Ивановича взор, полный ненависти. Александр Иванович тогда зажигал папироску; а семит или монгол сквозь синеватые клубы табачного дыма шевелил желтыми губами своими, и в Александре Ивановиче будто отдавалось все одно и то же слово:

«Гельсингфорс, Гельсингфорс».

В Гельсингфорсе был Александр Иванович после бегства своего из мест не столь отдаленных: с Гельсингфорсом у него не было никаких особенных связей: там он встретился лишь с некой особой.

Так почему же именно Гельсингфорс?

Александр Иванович продолжал пить коньяк. Алкоголь действовал с планомерною постепенностью; вслед за водкою (вино было ему не по средствам) следовал единообразный эффект: волнообразная линия мыслей становилась зигзагообразной; перекрещивались ее зигзаги; если бы пить далее, распадалась бы линия мыслей в ряд отрывочных арабесков, гениальных для мыслящих его; но и только для одного его гениальных в один этот момент; стоило ему слегка отрезветь, как соль гениальности пропадала куда-то; и гениальные мысли казались просто сумбуром, ибо мысль в те минуты несомненно опережала и язык, и мозг, начиная вращаться с бешеной быстротою.

Волнение Александра Ивановича передалось Аبلеухову: синеватые табачные струи и двенадцать смятых окурков положительно раздражали его; точно кто-то невидимый, третий, встал вдруг между ними, вознесенный из дыма и вот этой кучечки пепла; этот третий, возникнув, господствовал теперь надо всем.

— «Погодите: может, я выйду с вами; у меня что-то трещит голова: наконец, там, на воздухе, можем мы беспрепятственно продолжать разговор наш. Подождите. Я только переоденусь».

— «Вот отличная мысль».

Резкий стук, раздавшийся в дверь, оборвал разговор; прежде чем Николай Аполлонович вознамерился осведомиться о том, кто это там постучался, как рассеянный, полупьяный Александр Иванович распахнул быстро дверь; из отверстия двери на незнакомца просунулся, будто кинулся, голый череп с увеличенных размеров ушами; череп и голова Александра Ивановича едва не стукнулись лбами; Александр Иванович недоумевающе отлетел и взглянул на Николая Аполлоновича, и, взглянув па него, увидел всего лишь... парикмахерскую куклу: бледного, воскового красавца с неприятной, робкой улыбкою на растянутых до ушей устах.

И опять бросил взгляд он на дверь, а в распахнутой двери стоял Аполлон Аполлонович с... преогромным арбузом под мышкою...

— «Так-с, так-с...»

— «Я, кажется, помешал...»

— «Я, Коленька, знаешь ли, нес тебе этот арбузик — вот...»

По традиции дома в это осеннее время Аполлон Аполлонович, возвращаясь домой, покупал иногда астраханский арбуз, до которого и он, и Николай Аполлонович — оба были охотники.

Мгновение помолчали все трое; каждый из них в то мгновение испытывал откровеннейший, чисто животный страх.

— «Вот, папаша, мой университетский товарищ... Александр Иванович Дудкин...»

— «Так-с... Очень приятно-с».

Аполлон Аполлонович подал два своих пальца: те глаза не глядели ужасно; подлинно — то ли лицо на него поглядело на улице: Аполлон Аполлонович увидал пред собой только робкого человека, очевидно пришибленного нуждой.

Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора; то, роковое отлетело куда-то: Александр Иванович пред собой увидал только жалкого старика.

Николай Аполлонович на обоих глядел с той неприятной улыбкой; но и он успокоился; робеющий молодой человек подал руку усталому остову.

Но сердца троих бились; но глаза троих избегали друг друга. Николай Аполлонович убежал одеваться; он думал теперь — все о том, об одном: как она вчера там бродила под окнами: значит, она тосковала; но сегодня ее ожидает — что ожидает? ..

Мысль его прервалась: из шкафа Николай Аполлонович вытащил свое домино и надел его поверх сюртука; красные, атласные полы подколол он булавками; уже сверху всего он накинул свою николаевку.

Аполлон Аполлонович, между тем, вступил в разговор с незнакомцем; беспорядок в комнате сына, папиросы, коньяк — все то в душе его оставило неприятный и горький осадок; успокоили лишь ответы Александра Ивановича: ответы были бессвязны. Александр Иваныч краснел и отвечал невпопад. Пред собой видел он только добреющие морщинки; из добреющих тех морщинок поглядывали глаза: глаза затравленного: а рочующий голос с надрывом что-то такое выкрикивал; Александр Иваныч прислушался лишь к последним словам, и поймал всего-навсего ряд отрывистых восклицаний. . .

— «Знаете ли... еще гимназистом, Коленька знал всех птиц... Почитывал Кайгородова...»<sup>42</sup>

— «Был любознателен...»

— «А теперь, вот не то: все он забросил...»

— «И не ходит в университет...»

Так отрывисто покрикивал на Александра Ивановича старик шестидесяти восьми лет; что-то, похожее на участие, шевельнулось в сердце Неуловимого. . .

В комнату вошел теперь Николай Аполлонович.

— «Ты куда?»

— «Я, папаша, по делу...»

— «Вы... так сказать... с Александром... с Александром...»

— «С Александром Ивановичем...»

— «Так-с... С Александром Иванычем, значит...»

Про себя же Аполлон Аполлонович думал: «Что ж, быть может, и к лучшему: а глаза, быть может, — померещились только...» И еще Аполлон Аполлонович при этом подумал, что нужда — не порок. Только вот зачем коньяк они пили (Аполлон Аполлонович питал отвращение к алкоголю).

— «Да: мы по делу...»

Аполлон Аполлонович стал подыскивать подходящее слово:

— «Может быть... пообедали бы... И Александр Иванович пообедал бы с нами...»

Аполлон Аполлонович посмотрел на часы:

— «А впрочем... я стеснять не хочу...»

. . . . .

— «До свиданья, папаша...»

— «Мое почтение-с...»

. . . . .

Когда они отворили дверь и пошли по гулкому коридору, то маленький Аполлон Аполлонович показался там вслед за ними — в полусумерках коридора.

Так, пока они проходили в полусумерках коридора, там стоял Аполлон Аполлонович; он, вытянув шею вслед той паре, глядел с любопытством.

Все-таки, все-таки... Вчера глаза посмотрели: <sup>43</sup> в них была и ненависть, и испуг; и глаза эти были: принадлежали ему, разночинцу. И зигзаг был — пренеприятный или этого не было — не было никогда?

— «Александр Иванович Дудкин... Студент университета.»

Аполлон Аполлонович им зашептал вслед.

. . . . .

В пышной передней Николай Аполлонович остановился перед старым лакеем, ловя какую-то свою убежавшую мысль.

— «Даа-аа... аа...»

— «Слушаю-с!»

— «А-а... Мышка!»

Николай Аполлонович продолжал беспомощно растирать себе лоб, вспоминая, что должен он выразить при помощи словесного символа «мышка»: с ним это часто бывало, в особенности после чтения пресерьезных трактатов, состоящих сплошь из набора невообразимых слов: всякая вещь, даже более того, — всякое название вещи после чтения этих трактатов казалось немислимо, и наоборот: все мыслимое оказывалось совершенно безвещным, беспредметным. И по этому поводу Николай Аполлонович произнес вторично с обиженным видом.

— «Мышка...»

— «Точно так-с!»

— «Где она? Послушайте, что вы сделали с мышкой?»

— «С давишей-то? повыпускали на набережную...»

— «Так ли?»

— «Помилуйте, барин: как всегда.»

Николай Аполлонович отличался необыкновенной нежностью к этим маленьким тварям.

Успокоенные относительно участи мышки, Николай Аполлонович с Александром Ивановичем тронулись в путь.

Впрочем, оба тронулись в путь, потому что обоим им показалось, будто с лестничной балюстрады кто-то смотрит на них и пытливо, и грустно.

. . . . .



## ВЫСЫПАЛ, ВЫСЫПАЛ

Высилось одно мрачное здание на одной мрачной улице. Чуть темнело; бледно стали поблескивать фонари, озаряя подъезд; четвертые этажи еще багрянели закатом.

Вот туда-то со всех концов Петербурга пробирались субъекты; их состав был составом двойного рода; состав вербовался, во-первых, из субъекта рабочего, космоголового — в шапке, завезенной с полей обгаренной кровью Маньчжурии; во-вторых, тот состав вербовался из так вообще протестанта: протестант в обилье шагал на длинных ногах; он был бледен и хрупок; иногда он питался фитином,<sup>44</sup> иногда питался и сливками; он сегодня шагал с преогромною суковатою палкою; если бы положить на чашку весов моего протестанта, на другую же чашку весов положить его суковатую палку, то это орудие без сомнения протестанта бы перевесило: не совсем было ясно: кто за кем шел; прыгала ль перед протестантом дубина, иль он сам шагал за дубиною; но всего вероятнее, что сама собой поскакала дубина от Невского, Пушкинской, Выборгской Стороны, даже от Измайловской Роты; протестант за ней влекся; и он задыхался, он едва поспевал; и бойкий мальчишка, мчавшийся в час выхода вечернего газетного приложения, — этот бойкий мальчишка протестанта бы опрокинул, если только не был мой протестант протестантом рабочим, а был только так себе — протестующим.

Этот, так себе, протестующий стал неспроста последнее время разгуливать: по Петербургу, Саратову, Царевококшайску, Кинешме; он не всякий день разгуливал так... Выйдешь, это, вечером погулять: тих и мирен закат; и так мирно смеется на улице барышня; с барышней мирно посмеивается протестующий мой субъект, — безо всякой дубины: перешучивается, курит; с добродушнейшим видом беседует с дворником, с добродушнейшим видом беседует с городовым Брыкачевым.

— «Что, небось, надоело вам, Брыкачев, тут стоять?»

— «Как же, барин: служба — нелегкое дело».

— «Погодите: скоро это изменится».

— «Дай-то Бог: что хорошего — так-то; супротив слаботного духу, сами знаете, не пойдешь».

— «То-то вот...»

Ничего себе и субъект; и городской Брыкачев ничего себе тоже: и оба смеются; и пятак летит в кулак Брыкачева.

На другой день снова, это, выйдешь себе погулять — что такое? Тих и мирен закат; то же все в природе довольство; и театры, и цирки все — в действии; городской водопровод в совершенной исправности тоже; и — ан нет: все не то.

Пересекая сквер, улицу, площадь, переминаясь скорбно пред памятником великого человека, добродушный вчерашний субъект зашагал с преогромной дубиною; грозно, немо, торжественно, так сказать, с ударением, выставляет вперед субъект свою ногу в калошах и с подвернутыми штиблетами; грозно, немо, торжественно субъект ударяет дубиной о тротуар;

с городовым Брыкачевым ни слова; городской Брыкачев это тоже ни слова, а так себе в пространство, с решительностью:

— «Проходите, господа, проходите, не застаивайтесь».

И глядишь: где-нибудь циркулирует пристав Подбрижний.

Так и прыгает глаз моего протестанта: и туда и сюда; не собрались ли в кучку пред памятником великого человека такие же, как он, протестанты? Не собрались ли они на площади перед пересыльной тюрьмой? Но памятник великого человека оцеплен полицией; на площади же — никого нет.

Походит, походит субъект мой, вздохнет с сожалением; и вернется себе на квартиру; и мамаша его поит чаем со сливками. — Так и знай: в тот день в газетах что-нибудь пропечатали: что-нибудь — какую-нибудь: меру — к предотвращению, так сказать: чего бы то ни было; как пропечатывают меру — субъект и забродит.

На другой же день меры нет: нет на улицах и субъекта: и субъект мой доволен, и городской Брыкачев мой доволен; и пристав Подбрижний доволен. Памятник великого человека не оцеплен полицией.

Высыпал ли протестующий мой субъект в этот октябрьский денечек? Высыпал, высыпал! Повысыпали на улицу и косматые манджурские шапки; и субъекты и шапки те растворялись в толпе; но туда и сюда толпа бродила бесцельно; субъекты же и манджурские шапки брели к одному направлению — к мрачному зданию с багрянеющим верхом; и у мрачного от заката багряного здания толпа состояла исключительно из одних лишь субъектов да шапок; замешалась сюда и барышня учебного заведения.

Уж и перли, и перли в подъездные двери — так перли, так перли! И как же иначе? Рабочему человеку некогда заниматься приличием: и стоял дурной дух; давка же началась с угла.

Вдоль угла, близ самой панели, добродушно конфузясь, оттопатывал на месте ногами (было холодно) отрядик городских; околочный надзиратель же — еще пуще конфузился; серенький сам, в сереньком пальтеце, он покрикивал незаметною тенью, подбирая почтительно пашку и держа вниз глаза; а ему это в спину — словесные замечания, выговор, смехи и даже: непристойная брань — от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги, Иванихи, от проходившего тут и восставшего вместе с прочими первой гильдии его степенства, купца Пузанова (рыбные промыслы и пароходство на Волге). Серенький надзиратель все робче и робче покрикивал:

— «Проходите, господа, проходите!»

Но чем более он тускнел, тем настойчивее фыркали за забором там мохноногие кони: из-за бревенчатых зубьев — нет, нет — поднималась косматая голова; и если б привстать над забором, то можно было видеть, что какие-то только пригнанные из степей и с нагайками в кулаках, и с винтовочным дулом за спиною, отчего-то злели, все злели; нетерпеливо, зло, немо те оборванцы поплясывали на седлах; и косматые лошаденки — тоже поплясывали.

Это был отряд оренбургских казаков.

Внутри мрачного здания стояла желто-шафранная муть; тут все освещалось свечами; ничего нельзя было видеть, кроме тел, тел и тел: согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых вовсе: все обсели, обстали тела те, что можно было и обсесть, и обстать; занимали вверх бегущий амфитеатр сидений; не было видно и кафедры, не было слышно и голоса, завещавшего с кафедры:

— «Ууу-ууу-ууу». Гудело в пространстве и сквозь это «ууу» раздавалось подчас:

— «Революция... Эволюция... Пролетариат... Забастовка...» И потом опять: «Забастовка...» И еще: «Забастовка...»

— «Забастовка...» — выпаливал голос; еще больше гудело: между двух громко сказанных забастовок разве-разве выюркивало: «Социал-демократия». И опять уже юркало в басовое, сплошное, густое ууу-уууу...

Очевидно, речь шла о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже была забастовка; что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, потому-то следует бастовать — здесь и здесь: бастовать на этом вот месте; и — ни с места!

## БЕГСТВО

Александр Иванович возвращался домой по пустым, приневским проспектам; огонь придворной кареты пролетел мимо него; ему открывалась Нева из-под свода Зимней Канавки; там, на выгнутом мостике, он заметил еженощную тень.

Александр Иванович возвращался в свое убогое обиталище, чтоб сидеть в одиночестве промеж коричневых пятен и следить за жизнью мокриц в сыроватых трещинах стенок. Утренний выход его после ночи походил скорее на бегство от ползающих мокриц; многократные наблюдения Александра Ивановича давно привели его к мысли о том, что спокойствие его ночи таки прямо зависит от спокойствия проведенного дня: лишь пережитое на улицах, в ресторанчиках, в чайных за последнее время приносил с собой он домой.

С чем же он возвращался сегодня?

Переживания повлачили за ним отлетающим, силовым и не видимым глазу хвостом; Александр Иванович переживания эти переживал в обратном порядке, убегая сознанием в хвост (то есть за спину): в те минуты все казалось ему, что спина его пораскрылась и из этой спины, как из двери, собирается броситься в бездну какое-то тело гиганта: это тело гиганта и было переживанием сегодняшних суток; переживания задымились хвостом.

Александр Иванович думал: стоило ему возвратиться, как происшествия сегодняшних суток заломятся в дверь; их чердачною дверью он все-таки постарается прищемить, отрывая хвост от спины; и хвост вломится все же.

За собой Александр Иванович оставил бриллиантами блещущий мост.

Дальше, за мостом, на фоне ночного Исакия из зеленой мути предвим та же встала скала: простирая тяжелую и покрытую зеленью руку тот же загадочный Всадник<sup>45</sup> над Невой возносил меднолавровый венчик свой; над заснувшим под своей косматою шапкою гренадером недоуменно выкинул конь два передних копыта; а внизу, под копытами, медленно прокачалась косматая, гренадерская шапка засыпающего старика. Упадая от шапки, о штык ударились бляха.

Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился двусмысленным выраженьем; в бирюзовый врезалась воздух ладонь.

С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит — надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа — Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрили в гранитную почву — два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделился от почвы иные из твоих безумных сынов, — хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, — среди этого мрачного севера, где и самый закал многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то — в дневное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта,<sup>46</sup> чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?

Да не будет!..

Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение; расщелется земля; самые горы обрушатся от великого труса;<sup>47</sup> а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.

Петербург же опустится.

Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, — брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!..<sup>48</sup>

Куликово Поле, я жду тебя!<sup>49</sup>

Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов — в прародимые, в давно забытые хаосы!..

Встань, о, Солнце!

• • • • •

Бирюзовый прорыв неся по небу; а навстречу ему полетело сквозь тучи пятно горящего фосфора, неожиданно превратившись там в сплошной яркблистающий месяц; на мгновение все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, серебристые желоба, две богини над аркою,<sup>50</sup> крыша четырехэтажного дома; купол Исакия поглядел просветленный; вспыхнули — Всадниково чело, меднолавровый венец; поугасли островные огоньки; а двусмысленное судно с середины Невы обернулося простой рыболовною шхуною; с капитанского мостика искрометнее проблестала и светлая точка; может быть, трубочный огонек сизоносого боцмана в шапке голландской, с наушниками, или — светлый фонарик матроса, дежурящего на вахте. Будто легкая сажа, от Медного Всадника отлетела легкая полутьма; и космач гренадер вместе с Всадником черней прочертился на плитах.

Судьбы людские Александру Ивановичу на мгновение осветились отчетливо: можно было увидеть, что будет, можно было узнать, чему никогда не бывать: так все стало ясно; казалось, прояснялась судьба; но в судьбу свою он взглянуть побоялся; стоял пред судьбой потрясенный, взволнованный, переживая тоску.

И — месяц врезался в облако...

Снова бешено понеслись облака клочковатые руки; понеслись туманные пряди все каких-то ведьмовских кос; и двусмысленно замаячило среди них пятно горящее фосфора...

Тут раздался — оглушающий, нечеловеческий рев: приблизивши огромным рефлектором невыносимо, мимо понесся, пыхтя керосином, автомобиль — из-под арки к реке. Александр Иванович рассмотрел, как желтые, монгольские рожи прорезали площадь; от неожиданности он упал; перед ним упала его мокрая шапка. За его спиной тогда поднялось, похожее на причитание, шамканье.

— «Господи, Иисусе Христе! Спаси и помилуй ты нас!»

Александр Иванович обернулся и понял, что поблизости с ним зашептался николаевский старик гренадер.

— «Господи, что это?»

— «Автомобиль: именитые японские гости...»

Автомобиля не было и следа.

Призрачный абрис треуголки лакея и шинельное, в ветер протянутое крыло несло из тумана в туман двумя огнями кареты.

## СТЕПКА

Под Петербургом от Колпина вьется столбовая дорога: это место — мрачнее места и нет! Подъезжаете утром вы к Петербургу, проснулись вы — смотрите: в окнах вагонных мертво; ни единой души, ни единой деревни; будто род человеческий вымер, и сама земля — труп.

Вот на поверхности, состоящей из путаницы оледенелых кустов, издали припадает к земле такое черное облако; горизонт там свинцов; мрачные земли уползают под небо...

27 я. 65 101

Вздуется на дыбы клоаши мараз воздуха, чинный монх  
 хлопот не опустит: пришека надд историей — будет, великие.  
 Будет военение; рехнется зетая; самия горы обрушатся от  
 великого труса; а родная равнина от труса край будет  
 повсюду зорвота. На горах окажется Никитий, Владимир  
 и Якимъ

Петербург не опустит.

Бросит с мити своих в эти дни все каровы земные:

Брань великая будет, — брань, небывалая в мнрз; жмтязь  
 полтава азяттов, тронувшие с насильничиха маета, об-

зреть под Европийскз океаном крови, будет, будет —  
 будиша! будет — новаз Наина!

Иукиново Поле, а жад. Мелз!

Вздуется в этот день и последнее воинство надд морд  
 родною земледельца, брань. Бм, Солнцз так  
 небродещь, та о Снмце; подд монгольской тмшмой пв  
 той опустит Европийскз берега, и надд этиши берегами  
 залурабится пика; земнородная существа бковс о  
 стает к дну океанов — в природный в давка забвте  
 хлосы...

Встань, о Снмце!

Вирозовий прарийл носел п. небу; а на встароз ену полетано  
 ебуе тудя ятто зрлцаго простора, неопиданко прелатце  
 шисе татз в стюиной Арковнстоточий жмтязь; ка шжн  
 бенсе все великино: вода, туды, гранити, серебристиче  
 мелава, двя возани надд аркого, криша татархедатмного  
 дома, купол Якимъ полтава просветленна, влнхжн  
 — Всадников жмз жидколавровой вапоз; пограси агтв  
 ные олонки; а джшмиченное судно со середина Навы об  
 мучоз простод рабоновном изжумого; от капитанского мв  
 тича исероминне пруднстена и сватнел тмзла; жм

Многотрубное, многодымное Колпино!

От Колпино к Петербургу и вьется столбовая дорога; вьется серою лентой; битый щебень ее окаймляет и линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там с узелочком на палочке; на пороховом он работал заводе и за что-то был прогнан; и шел пехтурой к Петербургу; вокруг него ошетинился желтый тростник; и мертвели придорожные камни; взлетали, опускались шлахтбаумы, чередовались полосатые версты, телеграфная проволока дребезжала без конца и начала. Мастеровой был сын захудалого лавочника; был он по имени Степка;<sup>51</sup> с месяц всего проработал он на подгородном заводе; и с завода ушел: перед пим присел Петербург.

Многоэтажные груды уже присели за фабриками; сами фабрики приседали за трубами — там вон, там, да и — там; в небе не было ни единого облачка, а горизонт из тех мест казался размазанной сажой, раздышалось там сажей полуторамиллионное население.

Там вон, там, да и — там: мазалась ядовитая гарь; и на гари шетинились трубы; здесь труба поднималась высоко; приседала чуть — там; далее — высился ряд истончавшихся труб, становившихся наконец просто так себе — волосинками; вдали десятками можно было считать волосинки; над окопченным отверстием одной ближней трубы, угрожая небу уколом, торчала громоотводная стрелочка.

Все это Степка мой видел; и на все это Степка мой — нуль внимания; посидел на куче битого щебня, сапоги долой; переплел ноги заново, пожевал мякоть ситника. Да и далее: потащился к ядовитому месту, к пятну сажи: к самому Петербургу.

К вечеру того дня отворилась дверь дворницкой: дверь завизжала; и чебутарахнул дверной блок: в середине дворницкой дворник, Матвей Моржов, углублялся в газетное чтение, ну, конечно, «Биржевки»; между тем дебёлая дворничиха (у нее болело все ухо), наваливши на стол кучи пухлых подушек, занималась мореньем клопов при помощи русского скипидара; и стоял в дворницкой дух жесткий и терпкий.

В ту минуту, визжа, отворилась дверь дворницкой и чебутарахнул блок; на пороге же двери стоял неуверенно Степка (васильеостровский дворник, Матвей Моржов, был его единственным земляком во всем Петербурге: разумеется Степка — к нему).

К вечеру на столе появилась водочная бутылка; появились соленые огурцы, появился сапожник Бессмертный с гитарой. Отказался Степка от водки: пили дворник Моржов да сапожник Бессмертный.

— «Эвона... Землячок-то, землячок што докладывает», — ухмылялся Моржов.

— «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий», — пожимал плечами сапожник Бессмертный; трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам.

— «А как батько-то целебеевский».<sup>52</sup>

— «Сказ один: пьянствует».

— «А учительша?»

— «А учительша ничаво: говорят, возьмет себе в мужи горбатого Фрола».

— «Эвона... Земляк-то, земляк што докладывает», — умилялся Матвей Моржов; и взяв двумя пальцами огурец, огурец и откусывал.

— «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий», — пожимал плечами сапожник Бессмертный: трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам. И Степка рассказывал; все о том, об одном: как у них на селе завелись мудреные люди, что у тех мудреных людей выходило относительно всего прочего, как они на селе возвещали рождение дитяти, то ишь, аслапаждение: аслапажденье всеобщее;<sup>53</sup> да еще выходило: скоро, мол, сбудется; а про то, что он, Степка, и сам бывал на молениях мудренейших этих людей, — ни гу-гу; и еще рассказывал он относительно захожего барина,<sup>54</sup> и всего прочего вместе взятого; какой барин был относительно прочего: на село бежал от барской невесты; и так далее; сам ушел — к мудреным людям, а их мудрости все равно не осилил (хоть барин); слышь, писали о нем, будто скрылся — относительно всего прочего; да еще: в придачу обобрал он купчиху; выходило все вместе: рождению дитяти, аслапаждению, и прочему — скоро быть. На все то балагурство дворник Моржов до крайности удивлялся, а сапожник Бессмертный, не удивляясь: дул водку.

— «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий — оттого вот и кражи, и барин, и внучка, и освобожденье всеобщее; оттого и мудреные люди; никаких понятий не имеют: да и никто не имеет».

Трогал пальцем струну, и — «бам», «бам»!

Степка же на это ни звука: промолчал, что от тех людей и на колпинской фабрике получал он цидули; и прочее, относительно всего: что и как. Пуще всего он про то промолчал, как на колпинской фабрике свел знакомство с кружком, что под самым под Петербургом имели собрания; и все прочее. Что иные из самых господ еще с прошлого году, если верить тем людям, собрания посещают — до крайности: и — все вместе... Обо всем этом Бессмертному Степка ни слова; но спел песенку:

Тилимбру-тилишок —  
 Душистый горошек:  
 Питушок-грибешок  
 Клевал у окошек.  
 Д'тимбру-д'тилишка —  
 Милая Анета,  
 Ты не трошь питушка:  
 Вот тебе манета.

Но на эту песню сапожник Бессмертный повел лишь плечами; всей своей пятерней загудел по гитаре он: «Тилимбру, ти-лим-бру: пам-пам-пам-пам».

И спел:

Никогда я тебя не увижу, —  
 Никогда не увижу тебя:  
 Пузырек нашатырного спирта  
 В пиджаке припасен у меня.



Пузырек наштырного спирта  
 В пересохшее горло волью:  
 Садрогаясь, паду на панели —  
 Не увижу голубку мою!

И пятерней по гитаре: тилимбру, тилимбру: пам-пам-пам... На что Степка не остался в долгу: удивил.

Над саблázнам да нáд бидюю  
 Андел стал са златой трубою —  
 Свете, Свете.  
 Бессмертный Свете!  
 Асени нас бессмертный Свете —  
 Пред Табою мы, ровно дети:  
 Ты — Еся  
 На небеси!

Слушал очень зашедший в дворницкую молодой барин, проживающий в чердачном помещении; он расспрашивал Степу про мудренейших людей: как они возвещают представление света; и когда сие сбудется; но еще более он расспрашивал про того захожего барина, про Дарьяльского, — как и все. Барин был из себя тощий: видно хворый; и от времени до времени опоражнивал барин рюмочку, так что Степка ему еще вот назидательные слова говорил:

— «Барин вы хворый; и потому от табаку да от водки скоро вам — капут: сам, грешным делом, пивал: а таперича дал зарок. От табаку да от водки все и пошло; знаю то, и кто спаивает: японец!»

— «А откуда ты знаешь?»

— «Про водку? Перво сам граф Лев Николаевич Толстой — книжечку его „Первый винокур“<sup>55</sup> изволили читать? — ефто самое говорит; да еще говорят те вон самые люди, под Питербурхом».

— «А про японца откуда ты знаешь?»

— «А про японца так водится: про японца все знают... Еще вот изволите помнить, ураган-то, что над Москвою прошел, тоже сказывали — как мол, что мол, души мол, убиенных; с того, значит, света, прошлись над Москвою, без покаяния, значит, и умерли. И еще это значит: быть в Москве бунту».

— «А с Петербургом что будет?»

— «Да что: кумирню какую-то строят китайцы!»<sup>56</sup>

Степку взял тогда барин к себе, на чердак: нехорошее было у барина помещение; ну и жутко барину одному: он и взял к себе Степку; ночевали они там.

Взял он его с собою, пред собой усадил, из чемоданишка вынул обрванную писулю; и писулю Степке прочел: «Ваши политические убеждения мне ясны как на ладони: та же все бесовщина, то же все одержание страшною силой; вы мне не верите, да ведь я то уж знаю: знаю я, что скоро узнаете вы, как узнают многие вскоре... Вырвали и меня из нечистых когтей.

«Близится великое время: остается десятилетие до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всех годов значительней 1954 год. Это России коснется, ибо в России колыбель церкви Филадельфийской;<sup>57</sup> церковь эту благословил сам Господь наш Иисус Христос. Вижу теперь, почему Соловьев говорил о культуре Софии.<sup>58</sup> Это — помните? в связи с тем, что у Нижегородской сектантки...<sup>59</sup> И так далее... далее...» Степка почмыхивал носом, а барин писулю читал: долго писулю читал.

— «Так оно — во, во, во. А какой ефто барин писал?»

— «Да за границей он, из политических ссыльных».

— «Вот оно што».

• • • • •

— «А что, Степка, будет?»

— «Слышал я: перво-наперво убийства будут, апосля же всеопчье недовольство; апосля же болезни всякие — мор, голод, ну а там, говорят умнейшие люди, всякие там волнения: китаец встанет на себя самого: мухамедане тоже взволнуются оченно, только етта не выйдет».

— «Ну а дальше?»

— «Ну все прочее соберется на исходе двенадцатого года;<sup>60</sup> только уж в тринадцатом году... Да что! Одно такое пророчество есть, барин: вонем-де... на нас-де клинок... во что венец японцу: и потом опять — рождение отрока нового. И еще: у анпиратора прусскава мол... Да что. Вот тебе, барин, пророчество: Ноев Кавчег<sup>61</sup> надобно строить!»

— «А как строить?»

— «Ладно, барин, посмотрим: вы етта мне, я етта вам — шепчемся».

— «Да о чем же мы шепчемся?»

— «Все о том, об одном: о втором Христовом пришествии».

— «Довольно: все эго вздор...»

• • • • •  
— «Ей, гряди, Господи Иисусе!»<sup>62</sup>

Конец второй главы



---

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов  
попадает с своей затеей впросак

Хоть малый он обыкновенный,  
Не второклассный Дон Жуан,  
Не демон, даже не пыган,  
А просто гражданин столичный,  
Каких встречаем всюду тьму,  
Ни по лицу, ни по уму  
От нашей братьи не отличный.

А. Пушкин!

### ПРАЗДНИК

В одном важном месте состоялось появление, до чрезвычайности  
важное; появление то состоялось, то есть было.

По поводу этого случая в упомянутом месте с чрезвычайно серьез-  
ными лицами появились в расшитых мундирах и чрезвычайные люди;  
так сказать, оказались на месте.

Это был день чрезвычайностей. Он, конечно, был ясен. С самых ран-  
них часов в небе искрилось солнце: и заискрилось все, что могло только  
искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские  
купола.

Где-то там пропалили.<sup>2</sup>

Если б вам удосужилось бросить взгляд на то важное место, вы ви-  
дели б только лак, только лоск; блеск на окнах зеркальных; ну, ко-  
нечно, — и блеск за зеркальными окнами; на колоннах — блеск; на пар-  
кете — блеск; у подъезда блеск тоже; словом, лак, лоск и блеск!

Потому-то с раннего часа в разнообразных концах столицы Россий-  
ской империи все чины, от третьего класса и до первого класса вклю-  
чительно,<sup>3</sup> сребровласые старцы с надушенными баками и как лак сияв-  
шими лысыми, энергично надели крахмал, как бы некую рыцарскую  
бронию; и так, в белом, вынимали из шкафчика красолаковые свои ко-  
робки, напоминавшие дамские футляры для бриллиантов; желтый стар-  
ческий ноготь давил на пружинку, и от этого, щелкая, отлетала крышка

красного лака с приятной упругостью, обнаружив изящно в мягко-бархатном ложе свою ослепительную звезду; в это время такой же седой камердинер вносил в комнату вешалку, на которой можно было увидеть, во-первых: белые ослепительные штаны; во-вторых: мундир черного лоска с раззолоченной грудью; к этим белым штанам наклонялась как лак горевшая лысина, и седой старичок, не кряхтя, поверх пары белых, белых штанов облакался в мундир ярко-черного лоска с раззолоченной грудью, на которую падало ароматно серебро седины; наискось потом обвивался он атласною ярко-красною лентою, если был он аннинский кавалер;<sup>4</sup> если же он был кавалер более высокого ордена, то его искрометную грудь обвивала синяя лента. После этой праздничной церемонии соответственная звезда садилась на грудь золотую, прикреплялась шпага, из особой формы картонки вынималась треуголка с плюмажем, и седой орденский кавалер — сам блеск и трепет — в лакированной черной карете отправлялся туда, где все — блеск и трепет; в чрезвычайно важное место, где уже стояли шеренги чрезвычайно важных особ с чрезвычайно важными лицами. Эта блестящая шеренга, выровненная обер-церемониймейстерским жезлом, составляла центральную ось нашего государственного колеса.

Это был день чрезвычайностей; и он должен был, разумеется, просиять; он — просиял, разумеется.

Уже с самого раннего утра исчезала всякая темнота, и был свет белей электричества, свет дневной; в этом свете заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.

Грянул в полдень пушечный выстрел.

В чрезвычайно ясное утро, из-за ослепительно белых простынь, вдруг взлетевших с кровати ослепительной спалепки, выюркнула фигурка — маленькая, во всем белом; фигурка та почему-то напомнила циркового наездника. Стремительная фигурка по обычаю, освященному традицией седой старины, принялась укреплять свое тело шведской гимнастикой, разводя и сводя руки и ноги, и далее, приседая на корточки до двенадцати (и более) раз. После этого полезного упражнения фигурка окропила себе голый череп и руки одеколоном (тройным, петербургской химической лаборатории).

Далее, по омовении черепа, рук, подбородка, ушей, шеи водопроводной свежей водой, по насыщении своего организма чрезвычайно внесенным в комнату кофе, Аполлон Аполлонович Аблеухов, как и прочие сановные старички, в этот день уверенно затянулся в крахмал, пронося в огверстие панциреобразной сорочки два разительных уха и как лак, сиявшую лысину. После того, выйдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлонович Аблеухов из шкафчика вынул (как и прочие сановные старички) свои красного лака коробочки, где под крышечкою, в мягко-бархатном ложе лежали все редкие, ценные ордена. Как и прочим (меньше прочих), был внесен и ему лоск льющий мундирчик с раззолоченною грудью; были внесены и суконные белые панталоны, пара

белых перчаток, особой формы картоночка, ножны черные шпаги, над которыми от эфеса свисала серебряная бахрома; под давлением желтого ногтя взлетели все десять красно-лаковых крышечек, и из крышечек были добыты: Белый Орел,<sup>5</sup> соответствующая звезда, синяя лента; наконец, был добыт бриллиантовый знак; все сие село на расшитую грудь. Аполлон Аполлонович стоял перед зеркалом, бело-золотой (весь — блеск и трепет!), левой рукой прижимая шпагу к бедру, а правой — прижимая к груди плюмажную треуголку с парой белых перчаток. В этом трепетном виде Аполлон Аполлонович пробежал коридор.

Но в гостиной сенатор почему-то сконфуженно задержался; чрезвычайная бледность лица и растрепанный вид его сына поразили, видно, сенатора.

Николай Аполлонович в этот день поднялся раньше, чем следует; кстати сказать, Николай Аполлонович и вовсе не спал эту ночь: поздно вечером подлетел лихач к подъезду желтого дома; Николай Аполлонович, растерянный, выскочил из пролетки и принялся звонить что есть сил; а когда ему отворил серый лакей с золотым галуном, то Николай Аполлонович, не снимая шинели, как-то путаясь в ее полах, пробежал по лестнице, далее — пробежал и ряд пустых комнат; и за ним защелкнулась дверь. Скоро у желтого дома заходили какие-то тени. Николай Аполлонович все шагал у себя; в два часа ночи в комнате Николая Аполлоновича еще раздавались шаги, раздавались шаги — в половине третьего, в три, в четыре.

Неумытый и заспанный, Николай Аполлонович угрюмо сидел у камина в своем пестром халате. Аполлон Аполлонович, лучезарность и трепет, невольно остановился, отражаясь блеском в паркетах и зеркалах; он стоял на фоне трюмо, окруженный семьей толстощеких амуров, продававших свои пламена в золотые венки; и рука Аполлона Аполлоновича пробарабанила что-то на инкрустации столика. Николай Аполлонович, вдруг очнувшись, вскочил, обернулся и невольно зажмурился: и его ослепил бело-золотой старичок.

Бело-золотой старичок приходился папашею; но прилива родственных чувств Николай Аполлонович в эту минуту не испытывал вовсе; он испытывал нечто совершенно обратное, может быть, то, что испытывал он у себя в кабинете; у себя в кабинете Николай Аполлонович совершал над собой террористические акты, — номер первый над номером вторым:<sup>6</sup> социалист над дворянчиком; и мертвец над влюбленным; у себя Николай Аполлонович проклинал свое брэнное существо и, поскольку он был образом и подобием отца, он проклял отца. Было ясно, что богоподобие его должно было отца ненавидеть; но, быть может, брэнное существо его все же любило отца? В этом Николай Аполлонович вряд ли себе признался. Любить?.. Я не знаю, подходит ли здесь это слово. Николай Аполлонович отца своего как бы чувственно знал, знал до мельчайших изгибов, до невнятных дрожаний невыразимейших чувств; более того: он был чувственно абсолютно равен отцу;

более всего удивляло его то обстоятельство, что психически он не знал, где кончается он и где психически начинается в нем самый дух сенатора, носителя тех вон искристых бриллиантовых знаков, что сверкали на блестящих листьях расшитой груди. Во мгновение ока он не то что представил, а скорей пережил себя самого в этом пышном мундире; что бы он испытал, созерцая такого вот, как он, небритого разгильдяя в пестром бухарском халате; это ему показалось бы нарушением хорошего тона. Николай Аполлонович понял, что почувствовал бы брезгливость, что по-своему был бы прав родитель его, ощущая брезгливость, что брезгливость ту ощущает родитель вот сейчас — здесь. Понял и то, что смесь озлобления и стыда заставила его быстро так прискочить перед бело-золотым старичком:

— «Доброе утро, папаша!»

Но сенатор, продолжаясь чувственно в сыне, может быть, инстинктивно испытывая нечто не совсем чуждое и ему (как бы голос когда-то бывших и в нем сомнений — в дни его профессуры), в свою очередь представил себя самого в сознательном неглиже, созерцающим карьериста-высочку сына, во всем бело-золотом — перед неглиже родителя, — испуганно заморгал глазками и с какой-то наивностью, утрированной донельзя, весело и особенно фамильярно ответил:

— «Мое почтенье-с!»

Вероятно, носитель бриллиантовых знаков вовсе не знал подлинного своего окончания, продолжаясь в психике сына. У обоих логика была окончательно развита в ущерб психике. Психика их представлялась им хаосом, из которого все-то лишь рождались одни сюрпризы; но когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие двух друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну; и от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок; сквознячок этот оба тут ощутили, стоя друг перед другом; и мысли обоих смешались, так что сын мог, наверное бы, продолжать мысль отца.

Потупились оба.

Менее всего могла походить на любовь неизъяснимая близость; сознание Николая Аполлоновича, по крайней мере, такой любви не знавало. Незыяснимую близость Николай Аполлонович ощущал как позорный физиологический акт; в ту минуту мог бы он отнестись к выделению всяческой родственности, как к естественному выделению организма: выделения эти ни не любят, ни любят: ими — брезгают.

На лице его появилось бессильное лягушечье выражение.

— «Вы сегодня в параде?»

Пальцы всунулись в пальцы; и пальцы отдернулись. Аполлон Аполлонович, видно, хотел что-то выразить, вероятно, дать словесное объяснение о причинах его появления в этой форме; и еще он хотел задать один вопрос о причине неестественной бледности сына, или хотя бы осведомиться, почему появился сын в столь несвойственный час. Но слова его как-то в горле застряли, и Аполлон Аполлонович голько рас-

кашлялся. В ту минуту появился лакей и сказал, что карета подана. Аполлон Аполлонович, чему-то обрадовавшись, благодарно кивнул лакею и стал торопиться.

— «Так-с, так-с: очень хорошо-с!»

Аполлон Аполлонович, блеск и трепет, пролетел мимо сына; скоро перестал стучать его шаг.

Николай Аполлонович посмотрел вслед родителю: на лице его опять появилась улыбка; бездна отвернулась от бездны; перестал дуть сквозняк.

Николай Аполлонович Аблеухов вспомнил последний ответственный пиркуляр Аполлона Аполлоновича Аблеухова, составлявший полное несоответствие с планами Николая Аполлоновича; и Николай Аполлонович пришел к решительному заключению, что родитель его, Аполлон Аполлонович, просто-напросто — отъявленный негодяй...

Скоро маленький старичок поднимался по трепетной лестнице, сплошь уложенной ярко-красным сукном: на ярко-красном сукне, сгибаясь, маленькие ноги с неестественной быстротой стали строить углы, отчего успокоился быстро и дух Аполлона Аполлоновича: он во всем любил симметрию.

Скоро к нему подошли многие, как и он, старички: баки, бороды, лысины, усы, подбородки, златогрудые и украшенные орденами, управляющие движением нашего государственного колеса; и там, у лестничной балюстрады, стояла златогрудая кучечка, обсуждавшая рокошущим басом роковое вращение колеса по колдобинам, пока обер-церемониймейстер, проходивший с жезлом, не предложил им всем выровняться по линии.

Тотчас же после чрезвычайного прохождения, обхода и милостиво произнесенных слов, старички снова сроились — в зале, в вестибюле, у колонн балюстрады. Почему-то отметился вдруг один искристый рей, из центра которого раздавался неутомный, но сдержанный говор; забасил оттуда, из центра, будто бархатный, огромных размеров шмель; он был ниже всех ростом, и когда обстали его златогрудые старички, то его и вовсе не было видно. А когда богатырского роста граф Дубльве с синей лентой через плечо, проводя рукою по седнам, с мягкой какой-то развязностью, подошел к старческой кучечке и прищурил глаза, он увидел, что этим гулящим центром оказался Аполлон Аполлонович. Тотчас же Аполлон Аполлонович оборвал свою речь, и с не слишком яркой сердечностью, но с сердечностью все же, протянул свою руку к той роковой руке, которая подписала только что условия одного чрезвычайного договора: договор же был подписан в... Америке.<sup>7</sup> Граф Дубльве как-то мягко нагнулся к бывшему ему по плечо голому черепу, и шипящая острота поползла проворно в ухо бледно-зеленых отливов; острота эта, впрочем, улыбки не вызвала: не улыбались на шутку и златогрудые, обставшие старички; и сама собою растаяла кучечка. С богатырского вида сановником Аполлон Аполлонович и спускался по лестнице; пред Аполлоном Аполлоновичем граф Дубльве шел в изогну-

том положении; выше их опускались искрометные старички, ниже их — горбоносый посол одного далекого государства, старичок краснотубый, восточный; между ними — маленький, бело-золотой и, как палка, прямой опускался Аполлон Аполлонович на огненном фоне сукна, покрывавшего лестницу.

В этот час на широком Марсовом поле был большой плац-парад; там стояло каре императорской гвардии.

Издали, сквозь толпу, за стальную щетиною штыков преображенцев, семеновцев, измайловцев, гренадер можно было увидеть ряды белоконых отрядов; казалось — золотое, сплошное, лучи отдающее зеркало медленно тронулось к пункту от пункта; затрепались в воздухе пестрые эскадронные знаки; мелодично и плакали, и зывали оттуда серебряные оркестры; можно было увидеть там ряд эскадронов — кирасирских, кавалергардских;<sup>8</sup> можно было увидеть далее самый тот эскадрон — кирасирский, кавалергардский, — можно было увидеть галопаду всадников эскадронного ряда — кирасиров, кавалергардов, — белокурых, огромных и покрытых броней, в белых, из лайки, гладких, обтянутых панталонах, в золотых и искристых панцирях, в лучезарных касках, увенчанных то серебряным голубем, то двуглавым орлом; гарцевали всадники эскадронного ряда; гарцевали ряды эскадрона. И, увенчанный металлическим голубем, на коне плясал перед ними бледноусый барон Оммергау; и таким же увенчанный голубем гарцевал надменно граф Авен, — кирасиры, кавалергарды! И из пыли кровавою тучей, опустив вниз султаны, на седьих своих скакунах пронеслись галопом гусары; заалели их ментики, забелели в ветре за ними меховые накидки; загудела земля, и вверх лягнули сабли: и над гулом, над пылью, потекла вдруг струя яркого серебра. Как-то вбок пролетело гусарское красное облако, и очистился плац. И опять, там, в пространстве, возникли теперь уж лазурные всадники, отдавая и далям, и солнцу серебро своих лат: то, должно быть, был дивизион гвардейских жандармов; издали на толпу он пожаловался трубой;<sup>9</sup> но его затянуло от взоров бурю пылью; трещал барабан; прошли пехотицы.

## НА МИТИНГ

После мозглой первооктябрьской слякоти петербургские крыши, петербургские шпицы, наконец, петербургские купола ослепительно закупались однажды в октябревском морозном солнышке.

Ангел Пери в этот день оставался один; мужа не было: он заведовал — где-то там — провиантами; непричесанный ангел порхал в своем розовом кимоно между вазами хризантем и горой Фузи-Яма; полами хлопало, как атласными крыльями, кимоно, а владелец того кимоно упомянутый ангел, под гипнозом все той же идеи покусывал то платочек, а то кончик черной косы. Николай Аполлонович оставался, ко-



нечно, подлец-подлецом, но и газетный сотрудник Нейнтельпфайн — вот тоже! — скотина. Чувства ангела растрепались до крайности.

Чтобы сколько-нибудь привести в порядок растрепанность чувств, ангел Пери с ногами забрался на стеганую козетку и раскрыл свою книжечку: Анри Безансон «Человек и его тела». Эту книжечку ангел уже раскрывал многократно, но... и но: книжечка выпадала из рук, глазки ангела Пери смыкались стремительно, в крохотном носике пробуждалась бурная жизнь: он посвистывал и посапывал.

Нет, сегодня она не заснет: баронесса R. R. уж однажды справлялась о книжечке; и узнав, что книжечка прочтена, как-то лукаво спросила: «Что вы скажете мне, та шёге?» Но «та шёге» ничего не сказала; и баронесса R. R. пригрозила ей пальчиком: ведь недаром же надпись на книжечке начиналась словами: «Мой деваханический друг», и кончалась надпись та подписью: «Баронесса R. R. — брeнная скорлупа, но с будхической искоркой».<sup>10</sup>

Но — позвольте, позвольте: что такое «деваханический друг», «скорлупа», «будхическая искорка»? Это вот разъяснит Анри Безансон. И Софья Петровна на этот раз в Анри Безансон углубится; но едва она просунула носик в Анри Безансон, явственно ощущая в страницах запах самой баронессы (баронесса душилась опопонаксом),<sup>11</sup> как раздался звонок и влетела бурей курсистка, Варвара Евграфовна: драгоценную книжечку не успел ангел Пери как следует спрятать; и был пойман ангел с поличным.

— «Что такое?» — строго крикнула Варвара Евграфовна, приложила к носу пенсне и нагнулась над книжечкой...

— «Что такое это у вас? Кто вам дал?»

— «Баронесса R. R. ...»

— «Ну, конечно... А что такое?»

— «Анри Безансон...»

— «Вы хотите сказать Анни Безант... Человек и его телá?.. Что за чушь?.. А прочли ли вы „М а н и ф е с т“ Карла Маркса?»

Синие глазки испуганно замигали, а пунцовые губки надулись обиженно.

— «Буржуазия, чувствуя свой конец, ухватилась за мистику: предоставим небо воробьям и из царства необходимости сложим царство свободы».<sup>12</sup>

И Варвара Евграфовна победоносно окинула ангела непререкаемым взглядом чрез пенсне: и беспомощней заморгали глазки ангела Пери; этот ангел уважал одинаково и Варвару Евграфовну, и баронессу R. R. А сейчас приходилось выбирать между ними. Но Варвара Евграфовна, к счастью, не поднимала истории; положив ногу на ногу, она протерла пенсне.

— «Дело вот в чем... Вы, конечно, будете на балу у Цукатовых...»

— «Буду», — виновато так отвечивал ангел.

— «Дело вот в чем: на этом балу, по достигшим до меня слухам, будет и наш общий знакомец: Аблеухов»,



— «Прекрасно: и я с вами».

Барвара Евграфовна вспыхнула, остановилась: и уставилась в упор на хохла.

— «Я вас, кажется, знаю: вы снимаете номер... у Манпонши».

Тут бесстыдный хитрый хохол пришел в сильнейшее замешательство: заыхтел вдруг, запяtilся, приподнял свою шапку, отстал.

— «Кто, скажите, эгот неприятный субъект?»

— «Липпанченко».

— «Ну и вовсе неправда: не Липпанченко, а грек из Одессы: Маврокордато; он бывает в номере у меня за стеной: не советую вам его принимать».

Но Софья Петровна не слушала. Маврокордато, Липпанченко — все равно... Письмо, вот, письмо...

## БЛАГОРОДЕН, СТРОЕН, БЛЕДЕН!..

Они проходили по Мойке.

Слева от них трепетали листочками сада последнее золото и последний багрец: и, приблизившись ближе, можно было бы видеть синичку; а из сада покорно тянулась на камни шелестящая нить, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов.

— «Уууу-ууу-ууу...» — так звучало в пространстве.

— «Вы слышите?»

— «Что такое?»

• • • • •

— «Ууу-ууу».

• • • • •

— «Ничего я не слышу...»

А тот звук раздавался негромко в городах, лесах и полях, в пригородных пространствах Москвы, Петербурга, Саратова. Слышал ли ты октябрьскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет...

— «Это, верно, фабричный гудок: где-нибудь на фабриках забастовка».

Но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Под ногами их справа голубел мойский канал, а за ним над водою возникла красноватая линия набережных камней и венчалась железным, решетчатым кружевом: то же светлое трехэтажное здание александровской эпохи подпиралось пятью каменными колоннами; и мрачнел меж колоннами вход; над вторым этажом проходила та же все полоса орнаментной лепки: круг за кругом — все лепные круги.

Меж каналом и зданием на своих лошадях пролетела шинель, утаив в свой бобер замерзающий кончик надменного носа; и качался яркожелтый околыш, да розовая подушка шапочки кучерской колыхнулась

чуть-чуть. Поравнявшись с Лихутиной, высоко над плешью взлетел ярко-желтый околыш Ее Величества кирасира: это был барон Оммау-Оммергау.

Впереди, где канал загибался, поднимались красные стены церкви, убегая в высокую башенку и в зеленый шпиг; а левее над домовым, каменным выступом, в стеклянеющей бирюзе ослепительный купол Исакия поднимался так строго.

Вот и набережная: глубина, зеленоватая синь. Там далеко, далеко, будто дальше, чем следует, опустились, принизились острова: и принизились здания; вот замост, хлынет на них глубина, зеленоватая синь. А над этою зеленоватою синью немилосердный закат и туда и сюда посылал свой багрово-светлый удар: и багрился Троицкий Мост; и Дворец тоже багрился.

Вдруг под этою глубиной и зеленоватою синью на багровом фоне зари показался отчетливый силуэт: в ветре крыльями билась серая николаевка; и небрежно откинулось восковое лицо, оттопыривши губы: в синеватых невских просторах все глаза его что-то искали, найти не могли, улетели мимо над скромною ее шапочкой; не увидели шапочки: не увидели ничего — ни ее, ни Варвары Евграфовны: только видели глубину, зеленоватую синь; поднялись и упали — там упали глаза, за Невой, где принизились берега и багрились островные здания. Впереди же, сопя, пробежал полосатый, темный бульдог, унося в зубах свой серебряный хлыстик.

Поравнявшись, очнулся он, чуть прищурился, чуть рукой прикоснулся к околышу; ничего не сказал — и туда ушел: там багрились лишь здания.

Софья Петровна с совершенно косыми глазами, спрятав личико в муфточку (она была теперь краснее пиона), беспомощно как-то в сторону помотала головкой: не ему, а бульдогу. А Варвара Евграфовна так-таки и уставилась, засопела, впиалась глазами.

— «Аблеухов?»

— «Да... кажется».

И, услышавши утвердительный ответ (сама она была близорука), Варвара Евграфовна про себя взволнованно зашептала:

Благороден, строен, бледен,  
Волоса, как лен;  
Мыслью — щедр и чувством беден  
Н. А. А. — кто ж он? <sup>13</sup>

Вот, вот он:

Революционер известный,  
Хоть аристократ,  
Но семьи своей бесчестной  
Лучше во сто крат.

Вот, он, пересоздатель гнилого строя, которому она (скоро, скоро!) собирается предложить гражданский брак по свершении им ему пред-

назначенной миссии, за которой последует всеобщий, мировой взрыв: тут она захлебнулась (Варвара Евграфовна имела обычай слишком громко заглгтывать слюни).

— «Что такое?»

— «Ничего: мне пришел в голову один идейный мотив».

Но Софья Пегровна не слушала больше: неожиданно для себя она повернулась и увидела, что там, там, на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, как-то странно повернутый к ней, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, отчего скатывалась с него студенческая фуражка, стоял Николай Аполлонович: ей казалось, что он неприятнейшим образом улыбался и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался и сутулым, и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; и, увидев все то, головку она повернула стремительно.

Долго еще простоял он, изогнувшись, улыбался неприятнейшим образом и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру безрукого с так нелепо плясавшим в ветре шинельным крылом на пятне багрового закатного косяка. Но во всяком случае на нее не глядел он: разве можно было с его близорукостью рассмотреть удалявшиеся фигурки; сам с собой он смеялся и глядел далеко-далеко, будто дальше, чем следует, — туда, куда опускались островные здания, где они едва протуманились в багровеющем дыме.

А она — ей хотелось заплакать: ей хотелось, чтоб муж ее, Сергей Сергееч Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал по этому поводу свое честное, офицерское слово.

Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого горизонта; выше шла неизмеримость розовой ряби; еще выше мягко так недавно белые облачка (теперь розовые) будто мелкие вдавлины перебитого перламутра пропадали во всем бирюзовом; это все бирюзовое равномерно лилось меж осколков розовых перламутров: скоро перламутринки, утопая в высь, будто отходя в океанскую глубину, — в бирюзе погасят нежнейшие отсветы: хлынет всюду темная синь, синевато-зеленая глубина: на дома, на граниты, на воду.

И заката не будет.

## КОНТ-КОНТ-КОНТ!

Лакей подал суп. Перед тарелкой сенатора предварительно из прибора поставил он перечницу.

Аполлон Аполлонович показался из двери в своем сереньком пиджачке; так же быстро уселся он; и лакей снял уж крышку с дымящейся супницы.

Отворилась левая дверь; стремительно в левую дверь проскочил Николай Аполлонович в застегнутом наглухо мундире студента; у мундира

топорщился высочайший (времен императора Александра Первого) воротник.

Оба подняли глаза друг на друга; и оба смутились (они смущались всегда).

Аполлон Аполлонович перекинулся взором от предмета к предмету; Николай Аполлонович ощутил ежедневное замешательство: у него свисали с плечей две совершенно ненужных руки по обе стороны туловища; и в порыве бесплодной угодливости, подбегая к родителю, стал поламывать он свои тонкие пальцы (палец о палец).

Ежедневное зрелище ожидало сенатора: неестественно вежливый сын неестественно быстро, вприпрыжку, преодолевал пространство от двери — и до обеденного стола. Аполлон Аполлонович перед сыном стремительно встал (все сказали б — вскочил).

Николай Аполлонович споткнулся о столовую ножку.

Аполлон Аполлонович протянул Николаю Аполлоновичу свои пухлые губы; к этим пухлым губам Николай Аполлонович прижал две губы; губы друг друга коснулись; и два пальца тряхнула обычно потеющая рука.

— «Добрый вечер, папаша!»

— «Мое почтенье-с. . .»

Аполлон Аполлонович сел. Аполлон Аполлонович ухватился за перчатку. По обычаю Аполлон Аполлонович переперчивал суп.

— «Из университета? . . .»

— «Нет, с прогулки. . .»

И лягушечье выражение пробежало на ослабленном рте почтительного сыночка, которого лицо успели мы рассмотреть, взятое в отвлечении от всевозможных ужимок, улыбок или жестов любезности, составляющих проклятие жизни Николая Аполлоновича, хотя бы уж потому, что от греческой маски не оставалось следа; эти улыбки, ужимки или просто жесты любезности заструились каким-то непрерывным каскадом перед порхающим взором рассеянного папаша; и рука, подносящая ко рту ложку, очевидно дрожала, расплескивая суп.

— «Вы, папаша, из Учреждения?»

— «Нет, от министра. . .»

Выше мы видели, как, сидя в своем кабинете, Аполлон Аполлонович пришел к убеждению, что сын его отпетый мошенник: так над собственной кровью и над собственной плотью совершал ежедневно шестидесятивосьмилетний папаша некий, хотя и умопостигаемый, но все же террористический акт.

Но то были отвлеченные, кабинетные заключения, не выносившиеся уже в коридор, ни (тем паче) в столовую.

— «Тебе, Коленька, перцу?»

— «Мне соли, папаша. . .»

Аполлон Аполлонович, глядя на сына, то есть порхая вокруг закорчившегося молодого философа перебегающими глазами, по традици

этого часа предавался приливу, так сказать, отчества, избегая мыслями кабинет.

— «А я люблю перец: с перцем вкуснее...»

Николай Аполлонович, опуская в тарелку глаза, изгонял из памяти дouchные ассоциации: невский закат и невыразимость розовой ряби, перламутра нежнейшие огсветы, синевато-зеленую глубину; и на фоне нежнейшего перламутра...

— «Так-с!..»

— «Так-с!..»

— «Очень хорошо-с...»

Занимал разговором сына (или лучше заметить — себя) Аполлон Аполлонович.

Над столом тяжелело молчание.

Этим молчанием за вкушением супа не смущался нисколько Аполлон Аполлонович (старые люди молчанием не смущаются, а нервная молодежь — да)... Николай Аполлонович за отысканием темы для разговора испытывал настоящую муку над остывшей тарелкою супа.

И неожиданно для себя разразился:

— «Вот... я...»

— «То есть, что?»

— «Нет... Так... ничего...»

Над столом гяготело молчание.

Николай Аполлонович опять неожиданно для себя разразился (вот непоседа-то!).

— «Вот... я...»

Только что «вот я?» Продолжения к выскочившим словам все еще не придумал он; и не было мысли к «вот... я...» И Николай Аполлонович споткнулся...

— «Что бы такое к вот я», — думал он, — «мне придумать». И ничего не придумал.

Между тем Аполлон Аполлонович, обеспокоенный вторично велепой словесной смятенностью сына, вопросительно, строго, капризно вдруг вскинул свой взор, негодую на «мямляние»...

— «Позволь: что такое?»

В голове же сына бешено завертелись бессмысленные слова:

— «Перцепция...»

— «Апперцепция...»<sup>14</sup>

— «Перец — не перец, а термин: терминология...»

— «Логия, логика...»

И вдруг выкрутилось:

— «Логика Когена...»<sup>15</sup>

Николай Аполлонович, радуясь, что нашел выход к слову, улыбаясь, выпалил:

— «Вот... я... прочел в „Theorie der Erfahrung“ Когена...»<sup>16</sup>

И запнулся опять.

— «Итак, что же это за книга, Коленька?»

Аполлон Аполлонович в наименовании сына непроизвольно соблюдал традиции детства; и в общении с отпетым мошенником именовал отпетого мошенника «Коленькой, сыном, дружкой» и даже — «голубчиком...»

— «Коген, крупнейший представитель европейского кантианства».

— «Позволь — контианства?»

— «Кантианства, папаша...»

— «Кан-ти-ан-ства?»

— «Вот именно...»

— «Да ведь Канта же опроверг Конт? Ты о Конте ведь?»

— «Не о Конте, папаша, о Канте!...»

— «Но Кант не научен...»

— «Это Конт не научен...»<sup>17</sup>

• . . . . .  
— «Не знаю, не знаю, дружок: в наши времена полагали не так...»

• . . . . .  
Аполлон Аполлонович, уставший и какой-то несчастный, медленно протирает глаза холодными кулачками, затвердивши рассеянно:

— «Конт...»

— «Конт...»

— «Конт...»

Лоски, лаки, блески и какие-то красные искорки заматались в глазах (Аполлон Аполлонович всегда пред глазами своими видел, так сказать, два разнообразных пространства: наше пространство и еще пространство какой-то крутящейся сети из линий, становившихся золотенькими по ночам).

Аполлон Аполлонович рассудил, что мозг его снова страдает сильнейшими приливами крови, обусловленными сильнейшим геморроидальным состоянием всей последней недели; к темной кресельной стенке, в темную глубину привалилась его черепная коробка; темно-синего цвета глаза уставились вопросительно:

— «Конт... Да: Кант...»

Он подумал и вскинул очи на сына:

— «Итак, что же это за книга, Коленька?»

• . . . . .  
Николай Аполлонович с инстинктивной хитростью заводил речь о Когене; разговор о Когене был нейтральнейший разговор; разговором этим снимались прочие разговоры; и какое-то объяснение отсрочивалось (изо дня в день — из месяца в месяц). Да и, кроме того: привычка к назидательным разговорам сохранилась в душе Николая Аполлоновича со времен еще детства: со времен еще детства Аполлон Аполлонович поощрял в своем сыне подобные разговоры: так бывало по возвращении из гимназии Николая Аполлоновича с видимым жаром объяснял папаше сынок подробности о когортах, тестудо и туррисах;<sup>18</sup> объяснял и прочие подробности галльской войны;<sup>19</sup> с удовольствием



тогда внимал сыну Аполлон Аполлонович, снисходительно поощряя к интересам гимназии. А в позднейшие времена Аполлон Аполлонович Коленьке даже клал ладонь на плечо.

— «Ты бы, Коленька, прочитал Логик у Милля: <sup>20</sup> это, знаешь ли, полезная книга... Два тома... Я ее в свое время прочитал от доски до доски...»

И Николай Аполлонович только что пред тем проглотивший Логик у Зигварта, <sup>21</sup> тем не менее выходил в столовую к чаю с преогромным томом в руке. Аполлон Аполлонович, будто бы невзначай, ласково спрашивал:

— «Что́ это ты читаешь, Коленька?»

— «Логик у Милля, папаша».

— «Так-с, так-с... Очень хорошо-с!»

И теперь, разделенные до конца, приходили они бессознательно к старым воспоминаниям: их обед часто кончался назидательным разговором...

Некогда Аполлон Аполлонович был профессором философии права: <sup>22</sup> в это время многое он прочитывал до конца. Все то — миновало бесследно: пред изящными пируэтами родственной логики Аполлон Аполлонович чувствовал беспредметную тяжесть. Аполлон Аполлонович не умел сынку возражать.

Он, однако, подумал: «Надо Коленьке отдать справедливость: умственный аппарат у него отчетливо разработан».

В то же время Николай Аполлонович с удовольствием чувствовал, что родитель его — необычно сознательный слушатель.

И подобие дружбы меж ними возникало обычно к десерту: им иногда становилось жаль обрывать обеденный разговор, будто оба они боялись друг друга; будто каждый из них в одиночку друг другу сурово подписывал казнь.

Оба встали: оба стали расхаживать по комнатной анфиладе; встали в тень белые Архимеды: там, там; вот и там; анфилада комнат чернела; издали, из гостиной, понеслись красноватые вспышки светового брожения; издали, из гостиной, стал потрескивать огонек.

Так когда-то бродили они по пустой комнатной анфиладе — мальчуган и... еще нежный отец; еще нежный отец похлопывал по плечу белокурого мальчугана; после нежный отец подводил к окну мальчугана, поднимал палец на звезды:

— «Звезды, Коленька, далеко: от ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года... Так-то вот, мой родной!» И еще однажды нежный отец написал сыну стихотвореньце:

Дурачок, простачок  
Коленька танцует:  
Он надел колпачок —  
На кове гарцует.

Также когда из теней выступали контуры столиков, луч набережных огней пролетал из стекла: столики начинали поблескивать инкрустацией. Неужели отец пришел к заключению, будто кровь от крови его — негодяйская кровь? Неужели и сын посмеялся над старостью?

Дурачок, простачок  
 Коленька танцует:  
 Он надел колпачок —  
 На коне гарцует.

Было ли это, — может быть, не было этого... нигде, никогда?  
 Оба сидели теперь на атласной гостинной кушетке, чтоб бесцельно растягивать незначашие слова: вглядывались друг другу в глаза выжидательно, и каминное красное пламя на обоях дышало теплом; бритый, серый и старый на мигающем пламени рисовался Аполлон Аполлонович и ушами и пиджачком: с точно таким вот лицом на фоне горящей России изобразили его на обложке журнальчика. Протянув мертвую руку и не глядя сыну в глаза, Аполлон Аполлонович спросил упавшим голосом:

- «Часто у тебя, дружочек, бывает... мм... вот тот...»
- «Кто, папаша?»
- «Вот тот, как его... молодой человек...»
- «Молодой человек?»
- «Да, — с черными усиками».

Николай Аполлонович осклабился, заломал вдруг вспотевшие руки...

- «Это тот, которого вы давеча застали в моем кабинете?»
- «Ну да — тот самый...»
- «Александр Иванович Дудкин!.. Нет... Что вы...»

И сказавши «что вы», Николай Аполлонович подумал:

- «Ну, зачем я это „что вы“ сказал»,

И подумав, прибавил:

- «Так себе, заходит ко мне».

- . . . . .
- «Если... если... это нескромный вопрос, то... кажется...»
- «Что, папаша?»
- «Это он приходил к тебе по... университетским делам?»

- . . . . .
- «А впрочем... если мой вопрос, так сказать некстати...»
- «Почему же некстати?..»
- «Ничего себе... приятный молодой человек: бедный, как видно...»

- . . . . .
- «Он студент?..»
- «Студент».
- «Университета?»
- «Да, университета...»
- «Не технического училища?..»
- «Нет, папаша...»

Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет; Аполлон Аполлонович посмотрел на часы; Аполлон Аполлонович нерешительно встал. Николай Аполлонович мучительно почувствовал свои руки, сконфуженно забегал глазами Аполлон Аполлонович:

— «Да, вот... Много на свете специальных отраслей знания: глубока каждая специальность — ты прав. Знаешь ли, Коленька, я устал».

Аполлон Аполлонович о чем-то пытался спросить потиравшего руки сына... Постоял, посмотрел, да и... не спросил, а потушился: Николай Аполлонович на мгновение почувствовал стыд.

Механически протянул Аполлон Аполлонович сынку свои пухлые губы: и рука тряхнула... два пальца.

— «Добрый вечер, папаша!»

— «Мое почтенье-с!»

Где-то сбоку зашаркала, зашуршала и вдруг пискнула мышь.

Скоро дверь сенаторского кабинета открылась: со свечою в руке Аполлон Аполлонович пробежал в одну ни с чем не сравнимую комнату, чтоб предаться... газетному чтению.

Николай Аполлонович подошел к окну.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено пронесилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась невиская даль и от этого зелено замерцали беззвучно летящие плоскости, отдавая то там, то здесь искрою золотой; кое-где на воде вспыхивал красненький огонечек и, помигав, отходил в фосфорически простертую муть. За Невую, темнея, вставали громадные здания островов и бросали в туманы блекло светившие очи — бесконечно, беззвучно, мучительно: и казалось, что — плачут. Выше — бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роем, они восходили над невиской волной; а с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, там, где днем перекинут Троицкий Мост, протуманились гнезда огромные бриллиантов над разблеставшимся роем кольчатых, световых змей; и свиваясь, и развиваясь, змеи бежали оттуда искристой чередою; и потом, зашуряя, поднимались к поверхности звездными струнками.

Николай Аполлонович загляделся на струнки.

Набережная была пуста. Изредка проходила черная тень полицейского, вычерняясь в светлый туман и опять расплываясь; и вычернялись, и пропадали в тумане там заневские здания; вычернялся и опять в туман уходил Петропавловский шпигель.

Какая-то женская тень давно уже вычернялась в тумане: став у перил, не уходила в туман, но глядела прямо на окна желтого дома. Николай Аполлонович усмехнулся пренебрежительной улыбкой: приложив к носу пенсне, он разглядывал тень; Николай Аполлонович с любострастной жестокостью выпучил очи, все глядел на ту тень; радость искажала черты его.

Нет, нет: не — она; но и она, как та тень, хаживала вокруг желтого дома; и он ее видел; в душе его было все непокойное. Она его, без сомнения, любила; но ее ожидала роковая страшная месть.

Черная случайная тень уже расплылась в тумане.

В глубине темного коридора звякнула металлическая задвижка, в глубине темного коридора промерпал свет: Аполлон Аполлонович со свечотю в руке возвращался из одного ни с чем не сравнимого места: серый, мышинный халат, серые бритые щеки и огромные контуры совершенно мертвых ушей отчетливо изваялись издали в пляшущих светочах, убегая за светлый круг в совершенную тьму; из совершенной тьмы Аполлон Аполлонович Аблеухов прошел до дверей кабинета, чтобы кануть опять в совершенную тьму; и место его прохождения из раскрытой двери зияло так мрачно.

Николай Аполлонович подумал: «Пора».

Николай Аполлонович знал, что сегодня до ночи митинг, что та шла на митинг (ручательством было сопровождение Варвары Евграфовны: Варвара Евграфовна всех водила на митинги). Николай Аполлонович подумал, что прошло уже два с лишним часа, как он встретил их, по дороге к мрачному зданию; и теперь он подумал: «Пора»...

## МИТИНГ

В обширной передней мрачного здания была отчаянная толчея.

Толчея несла ангела Пери, колыхая взад и вперед меж чьим-то спиною и грудью, так отчаянно силилась она протянуться к Варваре Евграфовне: но Варвара Евграфовна, не внимая, где-то там, била, билась, толкалась: и пропала вдруг в толчее; вместе с ней и пропала возможность расспросить о письме. Что письмо! В глазах ее еще багрянели закатные пятна; и — там, там: как-то странно повернутый к ней на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, стоял Николай Аполлонович с прелеприятной улыбкой. Нет! Во всяком случае представлял он собой довольно смешную фигуру: казался сутулым и каким-то безруким с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; ей хотелось заплакать от горького оскорбления, будто он ее больно ударил серебряным хлыстиком, тем серебряным хлыстиком, который в зубах, сопя, пронес полосатый, темный бульдог; ей хотелось, чтоб муж, Сергей Сергееч Лихутин, подойдя к этому подленцу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал бы по этому поводу свое офицерское слово; у нее в глазах мелькнули еще невские облачка, будто мелкие вдавлины перебитого перламутра, меж которых лилось равномерно бирюзовое все.

Но в толпе погасли нежнейшие отсветы, хлынули отовсюду груди, спины и лица, черная темнота — в желтовато-туманную муть.

И все перли да перли субъекты, косматые шапки и барышни: тело перло на тело; на спине расплюснулся нос; грудь теснила головка хорошенькой гимназисточки, а в ногах попискивал второклассник; под давлением сзади в чью-то прическу здесь ушел не в меру протянутый нос и проткнулся булавкой от шляпы, там же грудь грозил проломать прободающий острый угол от локтя; раздеваться не было мочи; стоял в воздухе пар, озаренный свечами (как впоследствии оказалось, вдруг испортилось электричество — электрическая станция, очевидно, стала пошаливать: скоро она распалилась надолго).

И все перли, все бились: разумеется, Софья Петровна надолго увязла под лестницей, а Варвара Евграфовна выбилась, разумеется, и теперь толкалась, билась и била так высоко где-то на лестнице; вместе с нею выбился какой-то весьма почтенный еврей в барашковой шапке, в очках, с сильной проседью: обернувшись назад, в совершеннейшем ужасе он тянул за полу свое собственное пальто; и не вытянул; и не вытянув, раскричался:

— «Караша публикум; не публикум, а свинство! рхусское!..»

— «Ну и што же ви, отчево же ви в наша Рхассия?» — раздалось откуда-то снизу.

Это еврей бундист-социалист<sup>23</sup> пререкался с евреем не бундистом, но социалистом.

В зале тело на теле сидело, тело к телу прижалось; и качались тела; волновались и кричали друг другу о том, что и там-то, и там-то, и там-то была забастовка, что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, что они забастуют — здесь, здесь и здесь: забастуют на этом вот месте; и — ни с места!

Сначала об этом сказал интеллигентный партийный сотрудник, после то же за ним повторил и студент; за студентом — курсистка; за курсисткой — пролетарий сознательный, но когда то же самое захотел повторить бессознательный пролетарий, представитель люмпен-пролетариата, то на все помещение затрубил, как из бочки, такой густой голошине, что все вздрогнули:

— «Тварры... шшы!.. Я, тоись, челаэк бедный — прролетарррий, тваррры... шшшы!..»

Гром аплодисментов.

— «Так, тва-рры... шшы!.. И птаму значит, ефат самый правительственный... прра-извол... так! так! тоись, я челаэк бедный — гврью: за-ба-стовка, тва-рры-шшы!»

Гром аплодисментов (Верно! Верно! Лишить его слова! Безобразие, господа! Он — пьян!).

— «Нет, я не пьян, гва-рры-шшы!.. А значит, на эфтого самого буржуазия... как, стало быть, трудишшса, трудишшса... Одно слово: за ноги евво да в воду; тоись... за-ба-сто-вка!».

(Удар кулаком по столу: гром аплодисментов).

Но председатель лишил рабочего слова.

Лучше всех сказал почтенный сотрудник одной почтенной газеты, Нейнтельпфайн: он сказал, и тотчас же скрылся. Попытался какой-то малыш с высоты четырех кафедральных ступеней провозгласить кому-то бойкот: но малыша засмеяли; стоило ли заниматься такими пустяками, когда бастовали и там-то, и там-то, и там-то, когда бастовали вот тут — и ни с места? И малыш, чуть не плача, сошел с высоты четырех кафедральных ступеней; и тогда взошла на эти ступени шестидесятипятилетняя земская деятельница и сказала собранью:

Сейти полезное, доброе, вечное,  
Сейти, спасибо вам скажет сердечное  
Русский народ! <sup>24</sup>

Но сеятели смеялись. Тогда кто-то вдруг предложил всех и все уничтожить: это был мистичный анархист.<sup>25</sup> Софья Петровна не услышала анархиста, а вытискивалась обратно, и странное дело: Софье Петровне Варвара Евграфовна объясняла не раз и не два, что на митингах сеется все полезное, доброе, заслуживающее с ее стороны сердечного спасибо. А вот нет же, вот нет же! Над шестидесятипятилетней старушкой деятельницей, сказавшей им то же (о сеянье), все они хохотали отчаянно; и потом отчего же в сердечке ее семя не пустило ростка? Проросли мутно какие-то крапивные плевелы; и ужасно трещала головка; оттого ли, что увидела она его перед тем, оттого ли, что уж был у нее такой крошечный лобик, оттого ли, что там на нее уставились отовсюду какие-то одержимые лица, бастовавшие там-то, и там-то, и теперь пришедшие бастовать вот сюда, глядеть на нее из желто-гуманной мути, скалить в хохоте зубы. И от этого хаоса в ней самой просыпалась какая-то ей самой непонятная злость; ведь была она — дама, а в дамах нельзя будить хаоса; в этом хаосе скрыты все виды жестокостей, преступлений, падений; в каждой даме тогда таится преступница; в ней и так уже затаилось давно преступное что-то.

Уж она подходила к углу вместе с шедшим с ней офицериком, на которого там глядели с улыбкой и покровительственно шептались друг с другом и который вдруг обиделся на бойкот, провозглашенный мальчишкой, и, обидевшись, быстро ушел, — уже она подходила к углу, как из ворот соседнего дома на клочковатых своих лошадях во всю прыть вылетел перед ней казачий отряд; синие бородатые люди в косматых папахах и с винтовками наперевес, сущие оборванцы, нагло, немотерпеливо проплясали на седлах — туда, к зданию. Видевший это какой-то рабочий с угла подбежал к офицеру, протянул к нему руку и стал говорить задыхаясь:

— «Господин офицер, господин офицер!»

— «Извините, нет мелочи...»

— «Да я не за этим: что же это такое там теперь будет?.. Что будет-то?.. Беззащитные барышни там — курсистки...»

Офицер законфузился, покраснел, отчего-то отдал под козырек;

— «Не знаю, право... Ни причем я тут... Я сам только что из Манджурии; видите — вот Георгий...»  
А уж там что-то было.

### ТАТАМ: ТАМ, ТАМ!

Было уж поздно.

Софья Петровна домой возвращалась тихонько, пряча носик в пуховую муфточку; Троицкий Мост за спиною ее к островам бесконечно тянулся, убегал в те немые места; и тянулись по мосту тени; на большом чугунном мосту, над сырыми, сырыми перилами, над кишашей бациллами зеленоватой водой проходили за ней в сквозняках привевского ветра — котелок, трость, пальто, уши, усы и нос.

Вдруг глаза ее остановились, расширились, заморгали, скосились: под сырыми, сырыми перилами, раскарячась, сидел темный тигровый зверь и, сопя, слюнявил зубами серебряный хлыстик; в сторону от нее повернул темный тигровый зверь курносую морду; а когда в сторону завернутой морды она бросила взгляд, то увидела: восковое все то же лицо, оттопыривши губы над сырыми перилами, над кишашей бациллами зеленоватой водой протянулось там из шинели; оттопыривши губы, казалось, он думал какую-то колдовскую все думу, отдававшуюся и в ней за эти последние дни, потому что за эти последние дни так мучительно пелись ей слова одного простого романа:

Глядя на луч пурпурного заката,  
Стояли вы на берегу Невы.<sup>26</sup>

И вот: на берегу Невы он стоял, как-то тупо уставившись в зелень, пли нет, — улетаая взором туда, где принизились берега, где покорно присели островные здания и откуда над белыми крепостными стенами безнадежно и холодно протянулся под небо мучительно острый, немилосердный, холодный Петропавловский шпиг.

Вся она протянулась к нему — что слова и что размышления! Но он — он опять ее не заметил; оттопырив губы и стеклянно расширил глаза, он казался просто безруким уродцем; и опять вместо рук в сквозняк взлетели шинельные крылья над сырыми перилами моста.

Но когда она отошла, Николай Аполлонович медленно на нее обернулся и быстрехонько засеменял прочь, отступая и путаясь в длинных полах; на углу же моста его ждал лихач: и лихач полетел; а когда лихач обогнал Софью Петровну Лихутину, то Николай Аполлонович, наклонившись и сжимая руками ошейник бульдога, повернулся сутуло на темненькую фигурку, что засунула сиротливо так носик свой в муфточку; посмотрел, улыбнулся; но лихач пролетел.

Вдруг посыпался первый снег; и такими живыми алмазиками он, танцуя, посверкивал в световом кругу фонаря; светлый круг чуть-чуть оза-

рял тещерь и дворцовый бок, и каналик, и каменный мостик: в глубину убегала Канавка; было пусто: одинокий лихач посвистывал на углу, поджидая кого-то; на пролетке небрежно лежала серая николаевка.

Софья Петровна Лихутина стояла на выгибе мостика и мечтательно поглядела — в глубину, в заплескавший паром каналец; Софья Петровна Лихутина останавливалась в этом месте и прежде; останавливалась когда-то и с ним; и вздыхала о Лизе, рассуждала серьезно об ужасах «Пиковой Дамы», — о божественных, очаровательных, дивных созвучиях одной оперы, и потом напевала вполголоса, дирижируя пальчиком:

— «Татам: там, там!.. Татагам: там, там!»

Вот опять она здесь стояла; губки раскрылись, и маленький пальчик поднялся:

— «Татам: там, там!.. Татагам: там, там!»

Но она услышала звук бежавших шагов, поглядела — и даже не вскрикнула: вдруг просунулось как-то растерянно из-за края дворцового бока красное домино, пометалось туда и сюда, будто в поисках, и, увидев на выгибе мостика женскую тень, бросилось ей навстречу; и в порывистом беге оно спотыкалось о камни, протянувши вперед свою маску с узкою прорезью глаз; а под маской струя ледяного невского сквозняка заиграла густым веером кружев, разумеется черных же; и пока маска бежала по направлению к мостику, Софья Петровна Лихутина, не имея времени даже сообразить, что красное домино — домино шутовское, что какой-то безвкусный проказник (и мы знаем какой) захотел над ней просто-напросто подшутить, что под бархатной маской и черною кружевною бородой просто пряталось человеческое лицо; вот оно на нее теперь уставилось зорко в продолговатые прорези. Софья Петровна подумала (у нее ведь был такой крошечный лобик), что какая-то в мире сем образовалась пробонна, и оттуда, из пробонны, отнюдь не из этого мира, сам шут бросился на нее: кто такой этот шут, вероятно, она не сумела б ответить.

Но когда кружевная черная борода, спотыкаясь, взлетела на мостик, то в порыве невского сквозняка вверх взлетели с шуршанием атласные шутовские лопасти и, краснея, упали они туда за перила — в темно-цветную ночь; обнаружили слишком знакомые светло-зеленые панталонные штрипки, и ужасный шут стал шутом просто жалким; в ту минуту калоша скользнула на каменной выпуклости: жалкий шут грохнулся со всего размаху о камень; а над ним теперь раздался безудержно вовсе даже не смех: просто хохот.

— «Лягушонок, урод — красный шут!..»

Быстрая женская ножка гневно так шуга награждала пинками.

Какие-то вдоль канала теперь побежали бородатые люди; и раздался издали полицейский свисток; шут вскочил; шут бросился к лихачу, и издали было видно, как в пролетке бессильно барахталось что-то красное, на лету стараясь на плечи надеть николаевскую шинель. Софья Петровна заплакала и побежала от этого проклятого места.



Скоро, вдогонку за лихачом, из-за Зимней Канавки с лаем выбежал курносый бульдог: замелькали в воздухе его короткие ножки, а за ними, за короткими ножками, на резиновых шинах, вдогонку, развалиясь, уже мчались два агента охранного отделения.

## ТЕНИ

Говорила тень тени:

— «Вы, милейший мой, упустили одно немаловажное обстоятельство, о котором узнал я при помощи своих собственных средств».

— «Какое?»

— «Вы ни звука про красное домино».

— «А вы уже знаете?»

— «Я не только знаю: я выследил до самой квартиры».

— «Ну, и красное домино?»

— «Николай Аполлонович».

— «Гм! Да-да: но еще инцидент не созрел».

— «Не отвертывайтесь: просто вы упустили из виду».

— «?!?»

— «Да-да: упустили... А еще упрекали меня фальшивомонетчиком, упрекали полтинником — помните? Я же молчал, что у вас фальшивые волосы».

— «Не фальшивые — крашеные...»

— «Это все равно».

— «Как ваш насморк?»

— «Благодарствуйте: лучше».

• . . . . .  
— «Не упустил я».

— «Доказательства?»

— «И с чего это вы: я за ними в карман не полезу».

• . . . . .  
— «Доказательства?!»

— «Вы и так мне поверите».

— «Доказательства!!!»

Но в ответ раздался сардонический смех.

— «Доказательства? Доказательств вам надо? Доказательства — „Петербургский дневник происшествий“. Вы читали „Дневник“ за последние дни?»

— «Признаюсь: не читал».

— «Но ведь ваша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Если бы вы заглянули в „Дневник“, вы бы поняли, что известия о домино опередили его появление у Зимней Канавки».

— «Гм-гм».

— «Видите, видите, видите: а вы говорите. Вы спросите меня, кто все это в „Дневнике“ написал».

— «Ну, кто же?»

— «Нейтельпфайн, мой сотрудник».

. . . . .

— «Признаюсь, этого фортеля я не ожидал».

— «А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями: я же сто раз говорил, что я — идейный сотрудник, что предприятие это поставлено, как часовой механизм. Еще вы — в блаженном неведении, как уж мой Нейтельпфайн производит сенсацию».

— «Гм-гм-гм: говорите громче — не слышу».

. . . . .

— «Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы ваши агенты Николая Аполлоновича оставили в совершенном покое, иначе: иначе — за дальнейший успех ручаться не могу».

— «Я признаться, об этом последнем инциденте сообщил уж в газеты».

— «Бог мой, да ведь надо быть совершеннейшим...»

— «Что?»

— «Совершеннейшим... идеалистом: как всегда, вмешались и нынешний раз в мою компетенцию... Дай-то Бог, чтобы по крайней мере отец не узнал!»

## ПРОВИЗЖАЛА БЕШЕНАЯ СОБАКА

Мы оставили Софью Петровну Лихутину в затруднительном положении; мы оставили ее на петербургской панели в ту холодную ночь, когда откуда-то издали раздались свистки полицейских, а вокруг побежали какие-то темные очертания. Тогда и она обиженно побежала в обратную сторону; в свою мягкую муфточку обиженно проливала слезы она; с ужасным, ее навек позорящим происшествием не могла она никак примириться. Пусть бы лучше Николай Аполлонович ее иначе обидел, пусть бы лучше ударил ее, пусть бы даже он кинулся через мостик в красном своем домино, — всю бы прочую свою жизнь она его вспоминала бы с жутким трепетом, вспоминала бы до смерти. Софья Петровна Лихутина считала Канавку не каким-нибудь прозаическим местом, где бы можно было себе позволить то, что позволил себе он сейчас; ведь недаром она многократно вздыхала над звуками «Пиковой Дамы»: было что-то сходное с Лизой в этом ее положении (что было сходного, — этого точно она не могла бы сказать); и само собой разумеется, Николая Аполлоновича она мечтала видеть здесь Германом. А Герман?.. Повел себя Герман, как карманный воришка: он, во-первых, со смехотворной трусливостью выставил на нее свою маску из-за дворцового бока; во-вторых, со смехотворной поспешностью помахав перед ней своим домино, растянулся на мостике; и тогда из-под складок атласа прозаически показались панталонные штрипки (эти штрипки-то окончательно вывели ее тогда из себя); в завершение всех безобразий,

не свойственных Герману, этот Герман сбежал от какой-то там петербургской полиции; не остался Герман на месте и маски с себя не сорвал, героическим, трагическим жестом; глухим, замирающим голосом не сказал дерзновенно при всех: «Я люблю вас»; и в себя Герман после не выстрелил.<sup>27</sup> Нет, позорное поведение Германа навсегда угасило зарю в ней всех этих трагических дней! Нет, позорное поведение Германа превратило самую мысль о домино в претенциозную арлекинаду; главное самое, ее уронило позорное поведение это; ну, какой же может быть она Лизой, если Германа нет! Так месть ему, месть ему!

Бурей влетела в квартирку Софья Петровна Лихутина. В освещенной передней висело офицерское пальто да фуражка: значит, муж ее был теперь дома, и Софья Петровна Лихутина, не раздеваясь, влетела в комнату мужа; прозаически грубым жестом распахнув настежь дверь, — влетела: с развевающимся боа, с мягкой муфточкой, с пламенным-пламенным личиком, некрасиво как-то распухшим: влетела — остановилась.

Сергей Сергеевич Лихутин, очевидно, приготовлялся ко сну; серенькая тужурка его скромно как-то повисла на вешалке, а он сам в ослепительно белой сорочке, опоясанной накрест подтяжками, стоял замирающим силуэтом, будто сломанный — на коленях; перед ним поблескивал образ и трещала лампадка. В полусвете синей лампы начертился матово Сергея Сергеевича лицо, с остренькою точно такого же цвета бородкою и такого же цвета ко лбу поднятой рукой; и рука, и лицо, и бородка, и белая грудь точно были вырезаны из какого-то крепкого, пахучего дерева; губы Сергея Сергеевича шевелились чуть-чуть; и чуть-чуть кивал Сергей Сергеевича лоб синенькому огонечку, и чуть-чуть двигались, нажимая на лоб, вместе сжатые синеватые пальцы — для крестного знаменья.

Сергей Сергеевич Лихутин положил сперва свои синеватые пальцы на грудь и на оба плеча, поклонился, и уж только потом как-то нехотя обернулся. Сергей Сергеевич Лихутин не испугался, не сконфузился; поднимаясь с колен, он старательно стал счищать приставшие к коленам соринки. После этих медленных действий он спросил хладнокровно: — «Что с тобой, Сонюшка?»

Софью Петровну раздражило и как-то даже обидело хладнокровное спокойствие мужа, как обидел ее и тот синенький огонек там в углу. Резко она упала на стул и, закрыв лицо муфточкой, на всю комнату разрыдалась.

Все лицо Сергея Сергеевича тогда подобрело, смягчилось; опустились тонкие губы, поперечная складка разрежала лоб, отчего на лице появилось сердобольное выражение. Но Сергей Сергеевич неясно представил себе, как он должен был в этом щекотливом случае поступить, — дать ли волю женским слезам, чтоб потом выдержать спену и упреки в холодности, или наоборот: осторожно склониться пред Софьей Петровной на колени, отвести почтительно ей головку от муфточки своей мягкой рукой, и рукой этой вытереть слезы, братски обнять и покрыть личико поце-

луями; но Сергей Сергеевич боялся увидеть гримаску презренья и скуки; и Сергей Сергеевич выбрал себе средний путь: просто он потрепал Софью Петровну по дрожащему плечу:

— «Ну, ну, Соня... Ну, полно... Полно, ребеночек мой! Детка, детка!»

— «Оставьте, оставьте!..»

— «Что такое? В чем дело? Скажи!.. Обсудим же хладнокровно.»

— «Нет: оставьте, оставьте!.. Хладнокровно... оставьте! видно... ааа... у вас... холодная, рыба кровь...»

Сергей Сергеевич обиженно отошел от жены, постоял в нерешительности, опустился в соседнее кресло.

— «Ааа... Оставлять так жену!.. Где-то там заведовать провиантами!.. Уходить!.. Ничего не знать!..»

— «Ты напрасно, Сонюшка, думаешь, что я так ничего ровно не знаю... Видишь ли...»

— «Ах, оставьте, пожалуйста!..»

— «Видишь ли, мой дружок: с той поры, как... как от нас перебрался я в эту вот комнату... Словом, есть у меня самолюбие: и свободы твоей, пойми, я стеснять не хочу... Более того, я тебя стеснять не могу: я тебя понимаю; я знаю прекрасно, что тебе, дружок, нелегко... У меня, Сонюшка, есть надежды: может быть, когда-нибудь снова... Ну, не стану, не стану! Но пойми же и ты меня: мое отдаление, хладнокровие, что ли, происходит, так сказать, не от холодности вовсе... Ну, не стану, не стану...»

— «Может быть, ты хотела бы видеть Николая Аполлоновича Аблеухова? У вас, кажется, что-то вышло? Расскажи же мне все: расскажи без утайки; мы обсудим вдвоем твое положение.»

— «Не смейте мне про него говорить!.. Он — мерзавец, мерзавец!.. Другой бы муж давно его пристрелил... Вашу жену преследуют, над ней издеваются... А вы?.. Нет, оставьте.»

И несвязно, взволнованно, уронив головку на грудь, Софья Петровна все, как есть, рассказала.

Сергей Сергеевич Лихутин был простым человеком. А простых людей необъяснимая дикость поступка поражает сильнее даже, чем подлость, чем убийство, чем кровавое проявление зверств. Человек способен понять человеческую измену, преступление, человеческий даже позор; ведь, понять — значит, уж почти найти оправдание; но как себе, например, объяснить поступок светского и, казалось бы, вполне честного человека, если этому светскому и вполне честному человеку придет дикая совершенно фантазия: стать на карачки у порога одной светской гостиной, помахивая фалдами фрака? Это будет, замечу я, уже совершенною мерзостью! Непонятность, бесцельность той мерзости не может иметь никаких оправданий, как не может иметь оправданий кощунство, богохульство и всякие бесцельные издевательства! Нет, лучше пусть уж честный вполне человек

безнаказанно тратит, например, казенные суммы, только пусть не становится он никогда на карачки, потому что после такого поступка оскверняется все.

Гневно, ярко, отчетливо Сергей Сергеевич Лихутин представил себе шутовской вид атласного домино в неосвещенном подъезде, и... Сергей Сергеевич стал краснеть, покраснел до яркого морковного цвета: кровь ему бросилась в голову. С Николаем Аполлоновичем еще он, ведь, игрывал в детстве; философским способностям Николая Аполлоновича впоследствии Сергей Сергеевич удивлялся; Николаю Аполлоновичу, как человеку светскому, как честному человеку, благородно позволил Сергей Сергеевич стать меж собой и женой и... Сергей Сергеевич Лихутин гневно, ярко, отчетливо представил себе шутовские гримасы красного домино в неосвещенном подъезде. Он встал и взволнованно заходил по крохотной комнатухе, сжавши пальцы в кулак и яростно поднимая сжатые пальцы на крутых поворотах; когда Сергей Сергеевич выходил из себя (из себя всего-то он вышел два-три раза — не больше), этот жест у него тогда всегда появлялся; Софья Петровна прекрасно почуяла жест; она его испугалась немного; она всегда немного пугалась, не жеста, а молчания, выражавшего жест.

— «Что вы... это?»

— «Ничего... так себе...»

И Сергей Сергеевич Лихутин расхаживал по крошечной комнатухе, сжавши пальцы в кулак.

Красное домино!.. Гадость, гадость и гадость! И оно стояло там, за входную дверью — а?!..

Поведением Николая Аполлоновича поразился до крайности подпоручик Лихутин. Он испытывал теперь смесь гадливости с ужасом; словом, он испытывал то гадливое чувство, какое нас обыкновенно охватывает при созерцании совершеннейших идиотов, совершающих свои отправления прямо так, под себя, или при созерцании мохноногого, черного насекомого, — паука, что ли... Недоуменье, обида и страх перешли просто в бешенство. Не принять во внимание его настойчивого письма, оскорбить арлекинскою выходкой его честь офицера, оскорбить какую-то паучьей ужимкою дорогую жену!!.. И Сергей Сергеевич Лихутин дал себе офицерское честное слово — паука во что бы то ни было раздавить, раздавить; и, приняв то решение, он расхаживал, все расхаживал, красный как рак, сжавши пальцы в кулак и сводя мускулистую руку на поворотах; он теперь поразил невольно испугом и Софью Петровну: тоже красная, с полуоткрытыми пухлыми губками и с щечками, не отертыми от блистающих слез, мужа она наблюдала внимательно вот отсюда, из этого кресла.

— «Что вы это?»

Но Сергей Сергеевич отвечал теперь жестким голосом; в этом голосе прозвучали одновременно — и угроза, и строгость, и заглушенное бешенство.

— «Ничего... так себе».

Сказать правду, Сергей Сергеевич испытывал в эту минуту и к любимой жене нечто в роде гадливости; точно и она разделила арлекинский позор красной маски, — прокривлявшейся — там, у входных дверей.

— «Ступай к себе: спи... предоставь все это мне».

И Софья Петровна Лихутина, давно переставшая плакать, беспрекословно поднялась и тихонько вышла к себе.

Оставшись один, Сергей Сергеевич Лихутин все похаживал да покашливал; сухо это у него выходило, пренепрятно, отчетливо, все к х е - к х е да к х е - к х е. Иногда деревянный кулак, будто вырезанный из пахучего, крепкого дерева, подымался над столиком; и казалось, что столик, вот-вот, с оглушительным краканьем разлетится на части.

Но кулак разжимался.

Наконец, Сергей Сергеевич Лихутин быстро стал раздеваться; разделся, покрылся байковым одеялом, и — одеяло слетело; Сергей Сергеевич Лихутин опустил ноги на пол, невидящим взором уставился в какую-то точку и неожиданно для себя самого громким шепотом зашептал:

— «Аа! Как это вам нравится. Пристрелю, как собаку...»

Тогда из-за стенки обиженно раздался голосок, слезливый и громкий.

— «Что вы это?»

• • • • •

— «Ничего... так себе...»

Сергей Сергеевич снова нырнул под свое одеяло и закрылся им с головой, чтоб вздохнуть, шептаться, умолять, грозить кому-то, за что-то...

• • • • •

Софья Петровна не вызвала Маврушку. Быстро с себя она сбросила шубу, шапочку, платье; и вся в белом, из фонтана вещей, которые она ухитрилась вокруг себя раскидать в эти три-четыре минуты, она бросилась на постель; и сидела теперь, поджав ножки и уронив в руки черноволосое злое личико с оттопыренными губами, над которыми явственно обозначились усики, и кругом нее был фонтан из предметов; так бывало всегда. Маврушка только и знала, что прибирала за барыней; стоило Софье Петровне вспомнить о какой-либо принадлежности туалета, принадлежности не было под руками; и тогда летели кофточка, носовые платки, платья, шпильки, булавки как попало, куда попало; из ручки Софьи Петровны начинал бить цветной водопад разнообразных предметов. Нынче вечером Софья Петровна Маврушку не звала; стало быть, фонтан вещей имел место.

Софья Петровна невольно прислушивалась к неугомонному шагу Сергея Сергеевича за перегородкой; да еще она слухала еженощные звуки рояля над головой: там играли тот же все старинный мотив польки-мазурки, под звуки которой мать, смеясь, танцевала с ней, еще тогда двухлетнюю крошкой. И под звуки этой польки-мазурки, такие старинные и не ведавшие ни о чем, гнев Софьи Петровны начинал проходить, сменившись усталостью, совершенной апатией и чуть-чуть раздражением по отношению к мужу, в котором сама же она, Софья Петровна, пробудила, по ее мнению, ревность к т о м у. Но как только в муже, Сергее

Сергеевиче, пробудилась, по ее мнению, ревность, как уж муж, Сергей Сергеевич, стал отчетливо ей неприятен; она испытала чувство неловкости, точно чья-то чужая рука протянулась к ее заветной шкатулочке с письмами, запертой там вот, в ящике. Наоборот: как улыбка Николая Аполлоновича сперва ее поразила гадливо, а потом из чувства гадливости извлекла она сама для себя сладкую смесь восторга и ужаса к все той же улыбке, так и в позорности поведения Николая Аполлоновича там, на мостике, ей открылся сладкий источник мести: она пожалела, что когда он там упал перед ней в шутовском жалком виде, она не стала его топтать и бить ножками; ей хотелось его вдруг замучить и затерзать, а мужа, Сергея Сергеевича, не хотелось ей мучить; ни мучить, ни целовать. И Софье Петровне открылось вдруг, что муж — ни при чем во всем этом роковом происшествии между ними; происшествие это должно было остаться тайною между нею и н и м; а теперь мужу она все сама рассказала. Прикосновение мужа не только к ней, но и к т о м у, к Николаю Аполлоновичу, стало прежде всего для нее оскорбительно: ведь Сергей Сергеевич из этого инцидента, ну, конечно, выведет совершенно ложные заключения; прежде всего, он понять тут ровно ничего не сможет, конечно: ни рокового, сладко-жуткого ощущения, ни самого переживания; и Софья Петровна невольно прислушивалась к старинным звукам польки-мазурки да к неугомонному, неприятному шагу за перегородкой; из чрезмерности черных распущенных кос она испуганно протянула свое жемчужное личико с темно-синими, какими-то помутневшими взорами, косолопо как-то пригнув личико к чуть дрожавшим коленям.

В этот миг взор ее упал на туалетное зеркало: под туалетным же зеркалом Софья Петровна разглядела письмо, которое она должна была передать е м у на балу (о письме-то она позабыла и вовсе). В первую минуту Софья Петровна решила письмо отослать обратно с посыльным, отослать Варваре Евграфовне. Как ей смели к нему навязывать там какие-то письма! И она отослала бы, если бы только что перед тем не вмешался во все ее муж (поскорей бы ложился!). Но теперь под влиянием протеста против всяких вмешательств в личные и х дела она просто взглянула на дело, слишком просто: конечно, конверт письма разорвать и прочесть там какие-то тайны она имела полное право (как смел он вообще иметь тайны!). Миг — и Софья Петровна была у столика; но едва она дотронулась до чужого письма, как там за стеной поднялся яростный шепот; постель скрипнула.

— «Что вы это?»

Из-за стенки ответили ей:

— «Ничего... так себе».

Постель жалобно завизжала; все стихло. Софья Петровна дрожащей рукой разорвала конверт... и по мере того, как читала она, ее опухшие глазки становились глазами; мутность их прояснилась, сменяясь ослепительным блеском, бледность личика принимала отливы сперва розоватых яблочных лепестков, становилась далее розовой розой; а когда она окончила чтение, то лицо ее было просто багровым.

Весь Николай Аполлонович был теперь у нее в руках; все существо ее задрожало ужасом за него и за ту возможность нанести ему за свои двухмесячные страдания непоправимый, страшный удар; и удар этот получит он вот из этих ручек. Он хотел ее напугать шутовским маскарадом; но и этот шутовской маскарад не сумел он, как следует, провести и, застигнутый врасплох, он наделал ряд безобразий; пусть теперь же изгладит он в ней себя самого, и пусть будет Германом! Да, да, да: сама она ему нанесет злой удар простой передачей письма ужасного содержания. Мгновение: ее охватило чувство головокружения пред тем, на какой путь себя она обрекает; но удержаться, сойти с пути было поздно: не сама ли она вызывала кровавое домино? Ну, а если он вызвал пред нею образ страшного домино, пусть свершится все прочее: пусть же будет кровавый путь у кровавого домино!

Дверь скрипнула: Софья Петровна едва успела скомкать в руке разорванное письмо, как уже на пороге спальни стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин; он был во всем белом: в белой сорочке и белых кальсонах. Появление ей совсем постороннего человека и в таком неприличном виде привело ее в бешенство:

— «Вы бы оделись хоть...»

Сергей Сергеевич Лихутин перекоффузился, быстро вышел из комнаты, тем не менее чрез минуту появился опять; на этот раз он был, по крайней мере, в халате; Софья Петровна уже успела припрятать письмо. Сергей Сергеевич с неприятною сухой твердостью, необычайною для него, обратился к ней просто:

— «Софи... Дайте мне одно обещание: я вас очень прошу не быть завтра на вечере у Цукатовых...»

Молчание.

— «Я надеюсь, что вы дадите мне обещание; благоразумие вам подскажет: увольте от объяснений».

Молчание.

— «Мне хотелось бы, чтобы вы сами признали невозможность быть на балу после только что бывшего».

Молчание.

— «Я, по крайней мере, дал за вас офицерское честное слово, что на балу вы не будете».

Молчание.

— «А в противном случае мне пришлось бы вам просто-напросто запретить».

— «На балу я все-таки буду...»

— «Нет, не будете!!»

Софью Петровну поразила угроза деревянного голоса, которым Сергей Сергеевич произнес эту фразу.

— «Нет, буду».

Наступило тягостное молчание, во время которого слышалось лишь какое-то клокотание у Сергея Сергеевича в груди, отчего он нервно схватился за горло да два раза мотнул головой, точно силясь прочь от себя



отклонить неизбежность какого-то ужасного происшествия; с невероятным усилием подавив в себе едва не грянувший взрыв, тихо сел, как палка, прямой, Сергей Сергеевич Лихутин; неестественно тихим голосом начал он говорить:

— «Видите: не я приставал к вам с подробностями. Вы же сами меня призвали в свидетели только что бывшего».

Сергей Сергеевич не мог произнести слова «красное домино»: мысль о всем только что происшедшем инстинктивно заставила его пережить какую-то порочную бездну, в которую по наклонной плоскости покатила его жена; что тут было порочного, кроме дикой нелепости всего происшествия, Сергей Сергеевич не мог никак знать: но он чувал, что было, и что это не простой житейский роман, не измена, не падение только. Нет, нет, нет: тут над всем стоял аромат каких-то сатанинских экспессов, отравлявших душу навек, как синильная кислота; сладковатый запах горького миндаля обонял он так явственно, когда, войдя в женину комнату, ощутил сильнейший приступ удушья; и он знал, наверное знал: очутись завтра Софья Петровна, жена его, у Цукатовых, встретить она там омерзительное домино, — все пойдет прахом: честь жены, честь его, офицера.

— «Видите. После того, что вы мне сказали, понимаете ли вы, что видаться нельзя вам; что это — гадость и гадость; что, наконец, я дал слово, что вы там не будете. Пожалейте же, Софи, и себя, и меня, да и... его, потому что иначе... я... не знаю... я не ручаюсь...»

Но Софья Петровна все более возмущалась наглým вмешательством этого ей совершенно чуждого офицера, да еще офицера, смеявшего появиться в спальне в неприличнейшем виде со своим нелепым вмешательством; приподняв с полу какое-то платье (она вдруг заметила, что — в дезабилье) и прикрывшись им, отодвинулась в темный угол; и оттуда, из темного теневого угла, вдруг решительно она помотала головой:

— «Может быть, я не поехала бы, а теперь вот, после этих ваших вмешательств, поеду, поеду, поеду!»

— «Нет: этому не бывать!!!»

Что такое? Ей казалось, что в комнате раздался оглушительный выстрел; одновременно раздался и нечеловеческий вопль: тонкая, хрипкая фистула прокричала невнятное что-то; кипарисовый человек привскочил, и хлопнуло упавшее кресло, а удар кулака пополам разбил дешевенький столик; дальше хлопнула дверь; и все замерло.

Оборвались сверху звуки польки-мазурки; над головой затопали; загудели какие-то голоса; наконец, возмущенный шумом сосед начал сверху бить в пол полотерною щеткой, этим, видно, хотел кто-то выразить сверху просвещенный протест свой.

Софья Петровна Лихутина съежилась и обиженно зарыдала из темного уголка: ей впервые в жизни пришлось встретиться с такою вот яростью, потому что перед ней только что здесь стоял даже... не человек, даже... не зверь. Здесь пред ней провизжала только что бешеная собака.

## ВТОРОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕНАТОРА

Спальня Аполлона Аполлоновича была проста и мала: четыре серых, взаимно перпендикулярных стенки и единственный вырез окна с беленькой кружевной занавесочкой; тою же белизной отличались и простыни, полотенца и наволочки высоко подбитой подушечки; пред сенаторским сном камердинер окрапывал пульверизатором простыню.

Аполлон Аполлонович признавал лишь тройной одеколон Петербургской химической лаборатории.

Далее: камердинер ставил стаканчик лимонного морсу на столик и спешил удалиться. Раздевался Аполлон Аполлонович сам.

Аккуратнейшим образом скидывал свой халат; аккуратнейшим образом его складывал, с ловкостью полагая халат на стул; аккуратнейшим образом скидывал пиджачок и свои миньютюрные брючки, оставаясь в вязаных, плотно обтянутых панталонах и нижней сорочке; и, оставшись в нижнем белье, перед отходом ко сну Аполлон Аполлонович укреплял свое тело гимнастикой.

Он раскидывал руки и ноги; их потом разводил, поворачивал туловище, приседая на корточки до двенадцати и более раз, чтоб потом, напоследок, перейти к еще более полезному упражнению: опрокинувшись на спину, Аполлон Аполлонович для укрепления мускулов живота принимался работать ногами.

К этим полезнейшим упражнениям прибегал Аполлон Аполлонович особенно часто в дни геморроя.

После этих полезнейших упражнений Аполлон Аполлонович на себя натягивал одеяло, чтоб предаться мирному отдыху и отправиться в путешествие, ибо сон (скажем мы от себя) — путешествие.

То же все Аполлон Аполлонович проделал сегодня. С головой закутавшись в одеяло (за исключением кончика носа), уже он из кровати повис над безвременной пустотой.

Но тут перебьют нас и скажут: «Как же так пустотой? Ну, а стены, а пол? А... так далее?..»

Мы ответим.

Аполлон Аполлонович видел всегда два пространства: одно — материальное (стенки комнат и стенки кареты), другое же — не то, чтоб духовное (материальное также)... Ну, как бы сказать: над головою сенатора Аплеухова глаза сенатора Аплеухова видели странные токи: блики, блески, туманные, радужно заплывавшие пятна, исходящие из крутящихся центров, заволакивали в сумраке пределы материальных пространств; так в пространстве роилось пространство, и это последнее, заслоня все прочее, в свою очередь убегало в безмерности зыблемых, колыхаемых перспектив, состоящих... ну, будто из елочной канители, из звездочек, искорок, огонечков.

Бывало Аполлон Аполлонович перед сном закрывает глаза и вновь их открывает; и что же: огонечки, туманные пятна, нити и звезды, будто светлая накипь заклокотавших безмерно огромных чернот, неожиданно

(всего на четверть секунды) сложится вдруг в отчетливую картинку: креста, многогранника, лебеда, светом наполненной пирамиды. И все разлетится.

У Аполлона Аполлоновича была своя странная тайна: мир фигур, контуров, трепетов, странных физических ощущений — словом: в селенная странностей. Эта в с е л е н н а я возникала всегда перед сном; и так возникала, что Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, в то мгновение вспоминал все былые невнятности, порохи, кристаллографические фигурки, золотые, по мраку бегущие хризантемовидные звезды на лучах-многоножках (иногда такая звезда обливала сенатору голову золотым кипятком: мурашки бежали по черепу): словом, он вспоминал все, что видел он накануне пред отходом ко сну, чтоб снова не вспомнить поутру.

Иногда (не всегда) перед самой последней минутой дневного сознания Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, замечал, что все нити, все звезды, образуя kloкочущий крутень, срили из себя коридор, убегающий в неизмеримость и (что самое удивительное) чувствовал он, что коридор тот — начинается от его головы, т. е. он, коридор, — бесконечное продолжение самой головы, у которой раскрылось вдруг темя — продолжение в неизмеримость; так-то старый сенатор пред отходом ко сну получал прстранное впечатление, будто смотрит он не глазами, а центром самой головы, т. е. он, Аполлон Аполлонович, не Аполлон Аполлонович, а нечто, засевшее в мозге и оттуда, из мозга глядящее; при раскрытии темени это нечто могло и свободно, и просто пробегать коридор до места свержения в бездну, которое обнажалось там, вдали коридора.

Это и было второе пространство сенатора — страна каждоночных сенаторских путешествий; и об этом довольно. . .

С головой закутавшись в одеяло, уже он из кровати повис над безвременной пустотой, уже лаковый пол ствалился от ножек кровати и кровать стояла, так сказать, на неведомом — как до слуха сенатора донеслось странное удаленное цоканье, будто цоканье быстро бивших копыт:

— «Тра-та-та... Тра-та-та...»

И цоканье близилось.

Странное, очень странное, чрезвычайно странное обстоятельство: изпод красного одеяла сенатор ухо выставил на луну; и — да: весьма вероятно — в зеркальном зале стучали.

Аполлон Аполлонович выставил голову.

Золотой, kloкочущий крутень разлетелся внезапно там во все стороны над сенаторской головой; хризантемовидная звезда-многоножка передвинулась к темени, исчезая стремительно с поля зрения сенаторских глаз; и к ножкам железной кровати, как всегда, из-за бездны мгновенно прилетели плиты паркетного пола; беленький Аполлон Аполлонович, напоминая опипанного куренка, тут внезапно оперся о коврик двумя желтыми пятками.

Цоканье продолжалось: Аполлон Аполлонович привскочил и пробежал в коридор.

Комнаты озаряла луна.

В одной исподней сорочке и с зажженной свечкой в руках Аполлон Аполлонович пропутешествовал в комнаты. За своим встревоженным баринком потянулся очутившийся здесь бульдожка, пошевеливал снисходительно обрубленным хвостиком, дзенькал ошейником и посапывал прищлепнутым носом.

Как досчатая плоская крышка, с тяжелыми хрипами волосатая колыхалась грудь, и внимало цоканью ухо бледно-зеленых отливов. Взор сенатора невзначай упал на трюмо: ну и странно же трюмо отразило сенатора: руки, ноги, бедра и грудь оказались вдруг стянуты темно-синим атласом: тот атлас во все стороны от себя откидывал металлический блеск: Аполлон Аполлонович оказался в синей броне; Аполлон Аполлонович оказался маленьким рыцарьком и из рук его протянулась не свечка, а какое-то световое явление, отливающее блестками сабельного клинка.

Аполлон Аполлонович расхрабрился и бросился в зал; цоканье раздавалось там:

— «Тра-та-та... Тра-та-та...»

И он огрызнулся на цоканье:

— «На основании какой же статьи „Свода Законов“?»<sup>28</sup>

Воскликая, он видел, что равнодушный бульдожка миролюбиво и сонно тут посапывал рядом. Но — какая наглость! — из залы ответно воскликнули:

— «На основании чрезвычайного правила!»<sup>29</sup>

Возмущенный наглым ответом, синенький рыцарек взмахнул световым явлением, зажатым в руке, и бросился в зал.

Но световое явление растаяло в его кулачке: проструилось меж пальцев, как воздух, и легло у ног лучиком. А цоканье — Аполлон Аполлонович рассмотрел — было щелканьем языка какого-то дрянного монгола: там какой-то толстый монгол с физиономией, выданной Аполлоном Аполлоновичем в его бытность в Токио (Аполлон Аполлонович был однажды послан в Токио) — там какой-то толстый монгол присваивал себе физиономию Николая Аполлоновича — присваивал, говорю я, потому что это был не Николай Аполлонович, а просто монгол, выданный уж в Токио; тем не менее физиономия его была физиономией Николая Аполлоновича. Этого Аполлон Аполлонович понять не желал, протирал кулачками свои изумленные очи (и опять-таки рук он не слышал, как не слышал лица: просто так себе друг о друга затерлись два неосязаемых пункта — пространство рук щупало пространство лица). А монгол (Николай Аполлонович) приближался с корыстной целью.

Тут сенатор воскликнул вторично:

— «На основании какого же правила?»

— «И какого параграфа?»

И пространство ответило:

— «Уже нет теперь ни параграфов, ни правил!»

И безвестный, бесчувственный, вдруг лишенный весомости, вдруг лишенный самого ощущения тела, превращенный лишь в зренье и слух, Аполлон Аполлонович представил себе, что воздел он пространство зрачков своих (осязанием он не мог сказать положительно, что глаза им воздеты, ибо чувство телесности было сброшено им), — и, воздевши глаза по направлению к месту темени, он увидел, что и темени нет, ибо там, где мозг зажимают тяжелые крепкие кости, где нет взора, нет зренья, — там Аполлон Аполлонович в Аполлоне Аполлоновиче увидал круглую пробитую брешь в темно-лазурную даль (в место темени); эта пробитая брешь — синий круг — была окружена колесом летающих искр, бликов, блесков; в ту роковую минуту, когда по расчетам Аполлона Аполлоновича к его бессильному телу (синий круг был в том теле — выход из тела) уже подкрадывался монгол (запечатленный лишь в сознании, но более уж невидимый) — в то самое время что-то с ревом и свистом, похожим на шум ветра в трубе, стало вытягивать сознание Аполлона Аполлоновича из-под крутня сверканий (сквозь темянную синюю брешь) в звездную запредельность.

Тут случился скандал (в ту минуту сознание Аполлона Аполлоновича отметило, что подобный случай уж был: где, когда, — он не помнит) — тут случился скандал: ветер высвистнул сознание Аполлона Аполлоновича из Аполлона Аполлоновича.

Аполлон Аполлонович вылетел через круглую брешь в синеву, в темноту, златопёрой звездой; и, взлетевши достаточно высоко над своей головой (показавшейся ему планетой Земля), златопёрая звездочка, как ракета, беззвучно разлетелась на искры.

Мгновение не было ничего: был довременный мрак; и в мраке роилось сознание<sup>30</sup> — не какое-нибудь иное, например мировое, а сознание совершенно простое: сознание Аполлона Аполлоновича.

Это сознание теперь обернулось назад, выпустив из себя только два ощущения: ощущения опустились, как руки; и ощущения ощутили вот что: они ощутили какую-то форму (напоминающую форму ванны), до краев налитую липкою и вонючею скверною; ощущения, как руки, заплоскались в ванне; то же, чем ванна была налита, Аполлон Аполлонович мог сравнить лишь с навозной водой, в которой полоскался отвратительный бегемот (это видывал он не раз в водах зоологических садов просвещенной Европы). Миг — ощущения приросли уж к сосуду, который, как сказали мы, наполнен был до краев срамотой; сознание Аполлона Аполлоновича рвалось прочь, в пространство, но ощущения за сознанием этим тащили тяжелое что-то.

У сознания открылись глаза, и сознание увидало то самое, в чем оно обитает: увидало желтого старичка, напоминающего опичанного куренка; старичок сидел на постели; голыми пятками опирался о коврик он.

Миг: сознание оказалось самым этим желтеньким старичком, ибо этот желтенький старичок прислушивался с постели к странному, удаленному цоканью, будто цоканью быстро бивших копытец:

— «Тра-та-та... Тра-та-та...»

Аполлон Аполлонович понял, что все его путешествие по коридору, по залу, наконец, по своей голове — было сном.

И едва он это подумал, он проснулся: это был двойной сон.

Аполлон Аполлонович не сидел на постели, а Аполлон Аполлонович лежал с головой закутавшись в одеяло (за исключением кончика носа): цоканье в зале оказалось хлопнувшей дверью.

Это верно вернулся домой Николай Аполлонович: Николай Аполлонович возвращался поздно ночью.

— «Так-с...»

— «Так-с...»

— «Очень хорошо-с...»

Только вот неладно в спине: боязнь прикосновения к позвоночнику... Не развивается ли у него *tabes dorsalis*?<sup>31</sup>

Конец третьей главы





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

### в которой ломается линия повествованья

Не дай мне Бог сойти с ума...

А. Пушкин!

### ЛЕТНИЙ САД

Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки Летнего сада; пересекая эти пространства, изредка торопил свой шаг пасмурный пешеход, чтоб потом окончательно затеряться в пустоте безысходной: Марсово Поле не одолеть в пять минут.

Хмурился Летний сад.

Летние статуи поукрывались под досками; серые доски являли в длину свою поставленный гроб; и обстали гробы дорожки; в этих гробах приютились легкие нимфы и сатиры, чтобы снегом, дождем и морозом не изгрызал их зуб времени, потому что время точит на все железный свой зуб; а железный зуб равномерно изложет и тело, и душу, даже самые камни.

Со времен стародавних этот сад опустел, посерел, поуменьшился; развалился грот, перестали брызгать фонтаны, летняя галерея рухнула и иссяк водопад; поуменьшился сад и присел за решеткой, за той самой решеткой, любоваться которой сюда собирались заморские гости из аглицких стран, в париках, зеленых кафтанах; и дымили они прокопченными трубками.

Сам Петр насадил этот сад, поливая из собственной лейки редкие дерева, медоносные калуферы, мяты; из Соликамска царь выписал сюда кедры, из Данцига — барбарис, а из Швеции — яблони; понастроил фонтанов, и разбитые брызги зеркал, будто легкая паутина, просквозили надолго здесь красным камзолom высочайших персон, завитыми их буклями, черными арапскими рожами и робронами дам; опираясь на граненую ручку черной с золотом трости, здесь седой кавалер подводил свою даму к бассейну; а в зеленых, кипучих водах от самого дна, фыркающая, выставля-

лась черная морда тюленя; дама ахала, а седой кавалер улыбался шутливо и черному монстру протягивал свою трость.

Летний сад тогда простирался далече, отнимая простор у Марсова Поля для любезных царскому сердцу аллей, обсаженных и зеленицей, и таволгой<sup>2</sup> (и его, видно, грыз беспощадный зуб времени); поднимали свои розоватые трубы огромные раковины индийских морей с ноздреватых камней сурового грота; и персона, сняв плюмажную шапку, любопытно прикладывалась к отверстию розоватой трубы: и оттуда слышался хаотический шум; в это время иные персоны распивали фруктовые воды пред таинственным гротом сим.

И в позднейшие времена, под фигурною позой Иреллевской статуи,<sup>3</sup> простиравшей персты в вечерующий день, раздавались смехи, шёпоты, вздохи и блистали бурмитские зерна<sup>4</sup> государынинных фрейлин. То бывало весной, в Духов день;<sup>5</sup> вечерняя атмосфера густела; вдруг она сотрясалась от мощного, органного гласа, полетевшего из-под купы сладко дремлющих ильм:<sup>6</sup> и оттуда вдруг ширился свет — потешный, зеленый; там, в зеленых огнях, ярко-красные егеря-музыканты, протянувши рога, мелодически оглашали окрестность, сотрясая зефир и жестоко волнуя душу, уязвленную глубоко: томный плач этих вверх воздетых рогов — ты не слышал?

Все то было, и теперь того нет; теперь хмуро так побежали дорожки Летнего сада; черная оголтелая стая кружила над крышею Петровского домика; непереносен был ее гвалт и тяжелое хлопанье растрепавшихся крыльев; черная, оголтелая стая вдруг низверглась на сучья.

Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель: голова его упала в меха, а глаза его как-то странно светились; только что он сегодня решил углубиться в работу, как ему принес посыльный записочку; неизвестный почерк ему назначал свидание в Летнем саду. А подписано было «С». Кто же мог быть таинственным «С»? Ну, конечно, «С» это — Софья (видно, она изменила свой почерк). Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке.

Николай Аполлонович имел взволнованный вид; в эти дни он лишился сна, аппетита; на страницу кантовских комментариев беспрепятственно уж с неделю осаждалась тонкая пыль; в душе же был ток неизведанный чувства; этот смутный и сладостный ток ощущал он в себе и в прошлые времена... правда, как-то глухо, далеко. Но с той самой поры, как в ангеле Пери вызывал он безыменные трепеты своим поведением, в нем самом открылись безыменные трепеты: будто он призвал из таинственных недр своих глухо бившие силы, будто в нем самом разорвался эолов мешок, и сыны нездешних порывов на свистящих бичах повлекли его через воздух в какие-то странные страны. Неужели же состояние это знаменует возврат только чувственных возбуждений? Может быть — то любовь? Но любовь отрицал он.

Уже он озирался тревожно, ища на дорожках знакомое очертание, в меховой черной шубке с меховой черной муфточкой; но не было — никого; неподалеку на лавочке там какая-то развалилась кутафья.<sup>7</sup> Вдруг



кутафья та с лавочки поднялась, мгновение потопталась на месте и пошла на него.

— «Вы меня... не узнали?»

— «Ах, здравствуйте!»

— «Вы, кажется, и сейчас не узнаете меня? да, ведь, я — Соловьева».

— «Как же, помилуйте, вы — Варвара Евграфовна!»

— «Ну, так сядемте здесь, на лавочке...»

Николай Аполлонович мучительно опустился с ней рядом: ведь свидание ему назначалось именно в этой аллейке; и вот — это несчастное обстоятельство! Николай Аполлонович стал раздумывать, как скорей отсюда спровадить эту кутафью; все лица знакомого очертания, озирались он направо, налево; но знакомого очертания еще не было видно.

В ноги им сухая дорожка начинала кидаться желто-бурым и червоточивым листом; как-то матово там протянулась, прямо вставши в стальной горизонт, темноватая сеть перекрещенных сучьев; иногда темноватая сеть начинала гудеть; иногда темноватая сеть начинала качаться.

— «Вы получили мою записку?»

— «Какую записку?»

— «Да записку с подписью „С“».

— «Как, это вы мне писали?»

— «Ну да же...»

— «Но причем же тут С?»

— «Как при чем? Ведь фамилия моя — Соловьева...»

Все рухнуло, а он-то, а он-то! Безыменные трепеты как-то вдруг опустились на дно.

— «Чем могу вам служить?»

— «Я... я хотела, я думала, получили ли вы одно маленькое стихотворение за подписью П л а м е н н а я Д у ш а?»

— «Нет, не получал».

— «Как же так? неужели письма мои полиция перлюстрирует? Ах, какая досада! Без этого стихотворного отрывка мне, признаться, так трудно вам все это объяснить. Я хотела бы вас спросить кое-что о жизненном смысле...»

• • • • •

— «Извините, Варвара Евграфовна, у меня нет времени».

— «Как же так? Как же так?»

— «До свиданья! Вы меня, пожалуйста, извините, — мы назначим для этого разговора более удобное время. Не правда ли?»

Варвара Евграфовна нерешительно потянула его за меховой край шинели; он решительно встал; она встала за ним; но еще решительней протянул он ей свои надушенные пальцы, прикоснувшись краем округленных ногтей к ее красной руке. Она не успела что-либо в ту минуту придумать, чтоб его задержать; а уж он в совершенной досаде бежал от нее, запахнувшись надменно и огорченно, и уйдя лицом в меха никлаевки. Листья трогались с места медлительно, желтоватыми и сухими кругами окружали полы шинели; но суживались круги, беспокойнее за-

вивались винтами, все живой танцевал золотой, что-то шепчущий винт. Крутень листьев стремительно завивался, переметывался и бежал, не крутясь, как-то вбок, как-то вбок; красный лапчатый лист чуть-чуть тронулся, поддетел и простерся. Как-то матово там протянулась, прямо вставши в стальной горизонт, темноватая сеть из перекрещенных сучьев; в эту сеть он прошел; и когда он прошел в эту сеть, то ворон оголтелая стая вспорхнула и стала кружиться над крышей Петровского домика; темноватая сеть начинала качаться; темноватая сеть начинала гудеть; и слетали какие-то робко-унылые звуки; и сливались все в один звук — в звук органного гласа. А вечерняя атмосфера густела; вновь казалось душе, будто не было настоящего; будто эта вечерняя густота из-за тех вон деревьев трепетно озарится зелено-светлым каскадом; и там, во всем огненном, ярко-красные егеря, протянувши рога, опять мелодически извлекут из зефиров органные волны.

## МАДАМ ФАРНУА

И позднею же ангел Пери сегодня изволил открыть из подушек свои невинные глазки; но глазки слипались; а в головке явственно развивалась глухо-тухая боль; ангел Пери изволил долго еще пребывать в дремоте; под кудрями роились все какие-то невнятности, беспокойства, полунамеки: первой полною мыслью была мысль о вечере: что-то будет! Но когда она пыталась развить эту мысль, ее глазки окончательно слиплись и опять пошли в какие-то невнятности, беспокойства, полунамеки; и из этих неясностей вновь восстало единственно: Помпадур, Помпадур, Помпадур, — а что Помпадур? Но душа ей светло осветила то слово: костюм в духе мадам Помпадур<sup>8</sup> — лазурный, цветочками, кружева валансен, серебристые туфли, помпоны! О костюме в стиле мадам Помпадур на днях она долго так спорила со своею портнихой; мадам Фарнуа все никак не хотела ей уступить относительно блондов;<sup>9</sup> говорила: «И зачем это блонды?» Но как же без блондов? По мнению мадам Фарнуа, блонды должны выглядеть так-то, быть тогда-то; и совсем не так должны были выглядеть блонды, по мнению Софьи Петровны. Мадам Фарнуа ей сначала сказала: «Моего вкуса, вашего вкуса, — ну, как же не быть стилю мадам Помпадур!» Но Софья Петровна уступить не хотела, и мадам Фарнуа обиженно предложила обратно ей взять материал. Отнесите в *Maison Tricotons*:<sup>10</sup> «Там, мадам, вам не станут перечить...» Но отдать в *Maison Tricotons*: — фи, фи, фи! И блонды оставили, как оставили и иные спорные пункты относительно стиля мадам Помпадур: например, для рук легкая *chapeau Bergère*,<sup>11</sup> но без юбки-панье<sup>12</sup> нельзя было никак обойтись.

Так и поладили.

Углубляясь в думы о мадам Фарнуа, Помпадур и *Maison Tricotons*, ангел Пери мучительно чувствовал, что опять все не то, что-то такое случилось, после чего должны испариться и мадам Фарнуа, и *Mai-*

son Tricotons; но пользуясь полусном, она сознательно не хотела ловить ускользнувшего впечатления от действительных происшествий вчерашнего дня; наконец она вспомнила — всего-то только два слова: домино и письмо; и она вскочила с постели, заломила руки в беспредметном томлении; было третье еще какое-то слово, с ним вчера и заснула она.

Но ангел Пери не вспомнил третьего слова; третьим словом, ведь, одинаково были бы совершенно невзрачные звуки: муж, офицер, подпоручик.

О двух первых словах ангел Пери до вечера решил твердо не думать; а на третье, невзрачное слово — обращать вниманья не стоило. Но как раз на это невзрачное слово натолкнулась она; ибо только-только успела она пропорхнуть в гостиную из своей душевной спальни и с совершенной невинностью разлететься в мужнину комнату, полагая, что муж, офицер, подпоручик Лихутин, как всегда, ушел заведовать провиантом, — вдруг: к величайшему ее удивлению комната этого подпоручика на ключ оказалась запертой от нее: подпоручик Лихутин, вопреки всем обычаям, вопреки тесному помещению, удобству, здравому смыслу и честности, — там засел, очевидно.

Тут только вспомнила она безобразную вчерашнюю сцену; и с надутыми губками хлопнула спальенной дверью (он замкнулся на ключ, и она замкнется на ключ). Но, замкнувшись на ключ, увидала она и расколотый столик.

— «Барыня, вам прикажете в комнату кофей?»

— «Нет, не надо...»

• • • • •

— «Барин, вам прикажете в комнату кофей?»

— «Нет, не надо».

• • • • •

— «Кофей, барин, остыл».

Молчание.

— «Барыня, там пришли, барыня!»

— «От мадам Фарнуа?»

— «Нет, от прачки!»

Молчание.

• • • • •

В часу шестьдесят минут; минута же вся состоит из секундочек; секундочки убежали, составляя минуты; грузные повалили минуты; и тащились часы.

Молчание.

Среди дня тут звонил желтый Ее Величества кирасир барон Оммау-Оммергау с двухфунтовой бонбоньеркою шоколада от Крафта.<sup>13</sup> От двухфунтовой бонбоньерки не отказались; но ему отказали.

Около двух часов пополудни тут звонил синий его величества кирасир граф Авен с бонбоньеркою от Балле;<sup>14</sup> бонбоньерку приняли, но ему отказали.

Отказали и лейб-гусару в высокой меховой шапке; гусар потрясал султаном и стоял с махровым кустом хризантем лимонного яркого цвета; он сюда заходил после Авена в начале пятого часа.

Прилетел и Вергефден с ложею в Мариинский театр. Не прилетел лишь Липпанченко: не был Липпанченко.

Наконец, поздно вечером, в исходе десятого часа, появилась девчонка от мадам Фарнуа с преогромной картонкою; ее приняли тотчас; но когда ее принимали и в передней по этому поводу возникло хихиканье, дверь спальни щелкнула, и оттуда просунулась любопытно заплаканная головка; раздался рассерженный, торопливый крик:

— «Несите скорей».

Но тогда же щелкнул и замок в кабинете; из кабинета просунулась какая-то косматая голова: поглядела и спряталась. Неужели же это был подпоручик?

## ПЕТЕРБУРГ УШЕЛ В НОЧЬ

Кто не помнит вечера перед памятной ночью? Кто не помнит грустного отлетания того дня на покой?

Над Невой бежало огромное и багровое солнце за фабричные трубы: петербургские здания подернулись тончайшею дымкой и будто затаяли, обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева; а от стекол оконных прорезался всюду златопламенный отблеск; и от спицев высоких зарубинился блеск. Все обычные тяжести — и уступы, и выступы — убежали в горящую пламенность: и подъезды с кариатидами, и карнизы кирпичных балконов.

Яростно закровавился рыже-красный Дворец;<sup>15</sup> этот старый Дворец еще строил Растрелли; нежною голубою стеной встал тогда этот старый Дворец в белой стае колонн; бывало, с любованием оттуда открывала окошко на невские дали покойная императрица Елизавета Петровна. При императоре Александре Павловиче этот старый Дворец перекрашен был в бледно-желтую краску; при императоре Александре Николаевиче<sup>16</sup> был Дворец перекрашен вторично: с той поры он стал рыжим, кровянея к закату.

В этот памятный вечер все пламенело, пламенел и Дворец; все же прочее, не вошедшее в пламень, отемнялось медлительно; отемнялась медлительно вереница линий и стен в то время, как там, на сиреневом погасающем небе, в облачках-перламутринках, разгорались томительно все какие-то искрометные светочи; разгорались медлительно какие-то легчайшие пламена.

Ты сказал бы, что зарело там прошлое.

Невысокая, полная дама, вся в черном, которая там у моста отпустила извозчика, давно уж бродила под окнами желтого дома; как-то странно дрожала ее рука; а в дрожащей руке чуть дрожал малюсенький ридикюльчик не петербургских фасонов. Полная дама была почтенного возраста и

имела вид, будто страдает одышкой; полные пальцы ее то и дело хватались за подбородок, выступающий внушительно из-под воротника и усыянный кое-где седыми волосиками. Ставши против желтого дома, она хотела дрожащими пальцами приоткрыть ридикюльчик: ридикюльчик не слушался; наконец, ридикюльчик раскрылся, и дама с несвойственной для лет ее торопливостью достала платочек с кружевными разводами, повернулась к Неве и заплакала. Лицо ее тогда озарилось закатом, над губами же явственно отметились усики; положивши руку на камень, смотрела она детским и вовсе невидящим взором в туманные, многотрубные дали и в водную глубину.

Наконец, дама взволнованно поспешила к подъезду желтого дома и позвонила.

Дверь распахнулась; старичок с галуном на отворотах из отверстия на зарю выставил свою плешь; он прищурил слезливые глазки от нестерпимого, заневского блеска.

— «Что вам угодно?..»

Дама почтенного возраста заволновалась: не то умиление, не то скрытая тщательная робость прояснила ее черты.

— «Дмитрич?.. Не узнали меня?»

Тут лакейская плешь задрожала и упала в малюсенький ридикюльчик (в руку дамы):

— «Матушка, барыня вы моя!.. Анна Петровна!»

— «Да, вот, Семеныч...»

— «Какими судьбами? Аткелева?»

Умиление, если только не тщательно скрытая робость, послышалось снова в приятном контральто.

— «Из Испании... Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня?»

— «Барыня наша, родная... Пожалуйте-с!..»

Анна Петровна поднималась по лестнице: тот же все лестницу обволакивал бархатистый ковер. На стенах разблестался орнамент из все тех же оружий: под бдительным наблюдением барыни сюда вот когда-то повесили медную литовскую шапку, а туда — темплиерский<sup>17</sup> отовсюду проржавленный меч; и ныне так же блистали: отсюда — медная литовская шапка; оттуда — крестообразные рукояти совершенно ржавых мечей.

— «Только нет никого-с: ни барчука, ни Аполлона Аполлоновича».

Над балюстрадой все та же стояла подставка из белого алебаstra, как прежде, и, как прежде, та ж Ниобея поднимала горé алебастровые глаза; это прежде вновь обступило (а прошло три уж года, и за эти годы пережито столь многое). Анна Петровна вспомнила черный глаз итальянского кавалера, и опять в себе ощутила ту тщательно скрытую робость.

— «Не прикажете шоколаду, кофью-с? не прикажете самоварчик?»

Анна Петровна едва отмахнулась от прошлого (тут все так же, как прежде).

— «Как же вы без меня эти годы?»

— «Да никак-с... Только смею вам доложить, без вас — никакого порядку-с... А все прочее без последствий: по-прежнему... Аполлон Аполлонович, барин-то, — слышали?»

— «Слышала...»

— «Да-с, все знаки отличия... Царские милости... Что прикажете: барин-то важный!»

— «Барин-то — постарел?»

— «Назначаются барин на пост: на ответственный: — барин все равно, што министр: вот какой барин...»

Анне Петровне неожиданно показалось, что лакей на нее посмотрел чуть-чуть укоризненно; но это только казалось: он всего лишь поморщился от нестерпимого заневского блеска, открывая дверь в зал.

— «Ну, а Коленька?»

— «Коленька-с, Николай Аполлонович, то-ись, такой, позволю себе заметить, разумник-с! Успевают в науках; и во всяком там успевают, что им полагается... Просто красавчиком стали...»

— «Ну, что вы? Он всегда был в отца...»

Сказала: потупилась — перебирала пальцами ридикюльчик.

Так же стены были уставлены высоконогими стульями; отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались белые и холодные столбики; и со всех белых столбиков глядел на нее укоризненно строгий муж из холодного алебастра. И с прямою враждебностью просверкало на Анну Петровну со стен зеленоватое, старинное стекло, под которым у ней был с сенатором решительный разговор: а вон — бледнотонная живопись — помпеанские фрески; эти фрески привез ей сенатор в ее бытность невестой: тридцать лет протекло с той поры.

Анну Петровну охватило все то же гостинное гостеприимство: охватили лаки и лоски; защемило по-прежнему грудь; сжалось горло старинною неприязнью; Аполлон Аполлонович, может, ей и простит; но она ему — нет: в лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно, тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно.

Так прилив темных дум ее гнал на враждебные берега; рассеянно она прислонилась к окошку — и видела, как над невской волной понеслись розоватые облачка; ключковатые облачка вырывались из труб убегающих пароходиков, от кормы кидających в берега проблеставшую яхонтом полосу: облизавши каменный бык, полоса кидалась обратно и сплеталась со встречною полосой, разметавши свой яхонт в одну змеёвую канитель. Быше — легчайшие пламена опепелялись на тучах; пепел сеялся щедро: все небесные просветы засыпались пеплом; все коварно потом обернулось одноцветною легкостью; и мгновенье казалось, будто серая вереница из линий, спиц и стел с чуть слетающей теневой темнотою, упadaющей на громады каменных стен, — будто эта серая вереница есть тончайшее кружево.

— «Что же вы, барыня, у нас остановитесь?»

— «Я?.. В гостинице».

. . . . .

В этой тающей серости проступили вдруг тускло многие удивленно глядящие точки: огоньки, огонечки; огоньки, огонечки наливались силой и бросались из тьмы после рыжими пятнами, в то время, как сверху падали водопады: синие, черно-лиловые, черные.

Петербург ушел в ночь.

## ТОПОТАЛИ ИХ ТУФЕЛЬКИ

Раздавались звонки.

Выходили в зал из передней какие-то ангелоподобные существа в голубых, белых, розовых платьях, серебристые, искристые; обвевали газами, веерами, шелками, разливая вокруг благодатную атмосферу фиалочек, ландышей, лилий и тубероз; слегка опыленные пудрой их мраморно-белые плечики через час, через два должны были разгореться румянцем и покрыться испариной; но теперь, перед танцами, личики, плечи и худые обнаженные руки казались еще бледней и худей, чем в обычные дни; тем значительней прелесть этих существ как-то сдержанно искрами занималась в зрачках, пока существа, сущие ангелята, образовали и шелестящие и цветные рои веющей кисеи; свивались и развивались их белые веера, производя легкий ветер; топотали их туфельки.

Раздавались звонки.

Бодро в зал из передней входили какие-то крепкогрудые гении в туго стянутых фраках, мундирах и ментиках — правоведаы, гусары, гимназисты и так себе люди — усатые и безусые, — безбородые — все; разливали вокруг какую-то надежную радость и сдержанность. Незаойливо они проникали в блестящий газами круг и казались барышням гибче воска; и глядишь — там, здесь — пуховой легкий веер начинал уже биться о грудь усатого гения, как доверчиво на эту грудь севшее бабочкино крыло, и крепкогрудый гусар осторожно начинал с барышней перекидываться своими пустыми намеками; с точно такою же осторожностью наклоняем лицо мы к севшему невзначай нам на палец легкому мотыльку. И на красном фоне золототканого гусарского одеяния, как на пышном восходе небывалого солнца, так отчетливо просто выделялся слегка розовеющий профиль; набегающий вальсовый вихрь скоро должен был превратить слегка розовеющий профиль невинного ангела в профиль демона огневой.

Цукатовы, собственно говоря, давали не бал: был всего-навсего детский вечер, в котором пожелали участвовать взрослые; правда, носился слух, что на вечер придут и маски; предстоящее появление их удивляло, признаться, Любовь Алексеовну; как-никак, святок не было; но таковы, видно, были традиции милого мужа, что для танцев и детского смеха он готов был нарушить все уставы календаря; милого мужа, обладателя двух серебряных бак, и до сей поры называли Коко. В этом пляшущем доме он был, само собой разумеется, Николаем Петровичем, главой дома и родителем двух хорошеньких девочек восемнадцати и пятнадцати лет.

Эти милые белокурые существа были в газовых платьях и серебряных туфельках. Уж с девятого часу они размахались пушистыми веерами на отца, на экономку, на горничную, даже... на гостящего в доме почтенного земского деятеля мастодонтообразных размеров (родственника Коко). Наконец, раздался долгожданный робкий звонок; распахнулась дверь добела освещенного зала, и туго затянутый во фрак свой тапер, напоминая черную, голенастую птицу, погирая руки, едва не споткнулся о проходящего официанта (приглашенного по случаю бала в этот блестящий дом); в руках у официанта задребезжал, задрожал лист картона, сплошь усеянный котильонными побрякушками.<sup>18</sup> орденами, лентами и бубенчиками. Скромный тапер разложил ряды нотных тетрадок, поднимал и опускал рояльную крышку, обдувал бережно клавиши и без видимой цели блестящей своею ботинкой нажимал он педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробую паровозных котлов перед отправлением поезда. Убедившись в исправности инструмента, скромный тапер подобрал фалды фрака, опустился на низенький табурет, откинулся корпусом, уронил на клавиши пальцы, на мгновение замер, — и громозвучный аккорд сотряс стены: точно был подан свисток, призывающий к дальнему путешествию.

И вот среди этих восторгов, будто свой, не чужой, как-то гибко вертелся Николай Петрович Цукатов, растопыривая пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался от пары к паре, отпускал невинную шуточку голубому подростку, крепко тыкался двумя пальцами в крепкогрудого усача, говорил на ушко более солидному человеку: «Что ж, пускай веселятся: мне говорят, будто я сам протанцевал свою жизнь; но, ведь, это невинное удовольствие в свое время спасло меня от грехов молодости: от вина, от женщин, от карт». И среди этих восторгов, будто не свой, а чужой, праздно как-то, кусая войлок желтой бородки, неуклюже топтался земский деятель, наступая на дамские шлейфы, одиноко слонялся среди пар и потом уходил в свою комнату,

## ДОТАНЦОВЫВАЛ

Как обычно, сегодня пробирались порою чрез зал гостинные посетители — снисходительно в зал они продвигались у стен; в грудь им брызгали дерзкие веера, их хлестали покрытые стеклярусом юбки, лица их обдувал жаркий ветер разлетевшихся пар; но они пробирались бесшумно.

Толстоватый мужчина с неприятно изрытым оспой лицом пересек сперва этот зал; донёльзя оттопырился отворот его сюртука, оттого что он сюртуком перетянул свой живот почтенных размеров: это был редактор консервативной газеты из либеральных поповичей.<sup>19</sup> В гостиной он приложился к пухленькой ручке Любовь Алексеевны, сорокапятилетней дамы с одутловатым лицом, упاداющим на корсетом подпертую грудь своим двойным подбородком. Глядя из зала через две проходные комнаты, можно было видеть издали его стояние в гостиной. Там вдали горел лазерный шар электрической люстры; там в лазерном трепетном



свете грузно как-то стоял редактор консервативной газеты на своих словенских ногах, выясняясь туманно в виснувших хлопьях табачного синеватого дыма.

И едва Любовь Алексеевна задала ему какой-то невинный вопрос, как толстенный редактор и этот вопрос повернул в вопрос большого значения:

— «Не говорите — нет-с! Да, ведь, так они мыслят потому, что все они идиоты. Я берусь это с точностью доказать».

— «Но, ведь, муж мой, Коко...»

— «Это все жидовско-масонские плутни, сударыня: организация, централизация...»

— «Между ними все же есть светские очень милые люди и при том — люди нашего общества», — вставила робко хозяйка.

— «Да, но общество наше не знает, в чем сила крамолы».

— «А по-вашему?»

— «Сила крамолы — в Чарльстоуне...»

— «Почему же в Чарльстоуне?»

— «Потому что там проживает глава всей крамолы».

— «Кто же этот глава?»

— «Антипапа...»<sup>20</sup> — рявкнул редактор.

— «То есть, как — антипапа?»

— «Э, да, видно, вы ничего не читали».

— «Ах, как все это интересно: расскажите, пожалуйста».

Так разахалась Любовь Алексеевна, приглашая рябого редактора погрузиться в мягкое кресло; и он сказал, погружаясь:

— «Да-с, да-с, господа!»

Издали, из гостиной, чрез две проходные комнаты было им видно, как из зала в открытую дверь бились блески и трепеты. Раздавалось громовое.

— «Рррэкюлэ!..»

— «Балансэ, во дам!..»

И опять.

— «Рррэкюлэ...»

Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь; теперь уже Николай Петрович эту жизнь дотанцовывал; дотанцовывал легко, безобидно, не пошло; ни одно облачко не омрачало души; душа его была чиста и невинна, как вот эта солнцем горевшая лысина или как этот вот гладко выбритый подбородок меж бак, будто глянувший промеж облака месяц.

Все ему вытанцовывалось.

Затанцевал он маленьким мальчиком; танцевал лучше всех; и его приглашали в дома, как опытного танцора; к окончанию курса гимназии натанцевались знакомства; к окончанию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался сам собою круг влиятельных покровителей; и Николай Петрович Цукатов пустился отплясывать службу. К тому времени протанцевал он имение; протанцевавши имение, с легкомысленной простотой он пустился в балы; а с балов привел к себе

в дом с замечательной легкостью свою спутницу жизни Любовь Алексеевну; совершенно случайно спутница эта оказалась с громадным приданным; и Николай Петрович с той самой поры танцевал у себя; вытанцовывались дети; танцевалось, далее, детское воспитание, — танцевалось все это легко, незатейливо, радостно.

Он теперь дотанцовывал сам себя.

## БАЛ

Что такое гостиная во время веселого вальса? Она — лишь придаток танцевального зала и убежище для мамаш. Но хитрая Любовь Алексеевна, пользуясь добродушием мужа (у него не было ни одного врага), да своим громадным приданным, пользуясь, далее, тем, что их дом был ко всему глубоко безразличен, разумеется, кроме танцев, и тем самым был нейтральным местом встреч, — пользуясь этим всем, хитрая Любовь Алексеевна, предоставивши мужу дирижировать танцами, возымела желание дирижировать встречами самых разнообразных особ; здесь встречались: земский деятель с деятелем чиновным; публицист с директором департамента; демагог с юдофобом. В этом доме бывал, даже завтракал, и Аполлон Аполлонович.

И пока Николай Петрович заплетал контрданс<sup>21</sup> в неожиданные фигуры, в безразлично радужной гостиной сплеталась и расплеталась не раз не одна конъюнктура.

Танцевали и здесь, но по-своему.

Как обычно, и сегодня пробирались порою чрез зал гостинные посетители; и вторым пробирался воистину допотопного вида мужчина, со сладким и до ужаса рассеянным лицом, с вздернутой на покрытой пухом спине складочкой сюртука, отчего между фалдами неприлично просунулся незатейливый черненький хлястик; это был профессор статистики; с его подбородка висела желтоватая клочкастая борода, и ему на плечи, как войлок, свалились не выдавшие гребня космы. Поражала его кровавая, будто отпадающая ото рта губа.

Дело в том, что в виду нараставших событий готовилось нечто в роде сближения между одною из групп сторонников, так сказать, не резких, но во всяком случае весьма гуманных реформ — с истинно-патриотическими сердцами, — сближение не коренное, а условное, временно вызванное грохотом на всех налетавшей митинговой лавины. Сторонники, так сказать, постепенных, но во всяком случае весьма гуманных реформ, потрясенные громом этой страшной лавины, вдруг испуганно стали жаться к сторонникам существующих норм, но встречного шага не делали; либеральный профессор<sup>22</sup> во имя общего блага первый взялся перешагнуть, так сказать, для себя роковой порог. Не следует забывать, что его уважало все общество, что последний протестующий адрес был-таки еще им подписан; все еще на последнем банкете поднялся бокал его навстречу весне.

Но, войдя в добела освещенный зал, растерялся профессор: блески, трепеты ослепили, видно, его; кровавая губа удивленно ото рта отвалилась; благодушнейшим образом созерцал он ликующий зал, затоптался, замялся, достал из кармана неразвернутый свой носовой платочек, чтобы снять с усов висящую сырость, принесенную с улицы, и мигал на мгновенно затихшие пары между двух кадрильных фигур.

Вот уже проходил он гостиную, в трепетный свет лазоревой электрической люстры.

Голос редактора остановил его на пороге:

— «Понимаете теперь, сударыня, связь между японской войною, жидами, угрожающим нам монгольским нашествием и крамолой? Жидовские выходы и выступление в Китае Больших Кулаков<sup>23</sup> имеют меж собой теснейшую и явную связь».

— «Поняла, теперь поняла!»

Это крикнула Любовь Алексеевна. Но профессор в испуге остановился: он, во всяком случае, оставался до мозга костей либералом и сторонником, так сказать, весьма гуманных реформ; он впервые попал в этот дом, ожидая здесь встретить Аполлона Аполлоновича; но его, видно, не было: был один лишь редактор консервативной газеты, тот самый редактор, который только что бросил, выражаясь гуманно, в двадцатипятилетнюю светлую деятельность собирателя статистических данных комок неприличнейшей грязи. И профессор вдруг запыхтел, стал сердито мигать на редактора, как-то двусмысленно стал пофыкивать в клочковатую бороду, ярко-красной своею губой подбирал с усов висящую сырость.

Но двойной подбородок хозяйки повернулся сначала к профессору, далее — повернулся он к редактору консервативной газеты и, лорнетом указуя друг другу, она их друг другу представила, отчего сперва оба немного ошеломились, а потом друг другу просунули в руку свои холодные пальцы, пухло-потные — в пухло-сухие, либерально-гуманные — в негуманные вовсе.

Профессор законфузился еще больше; перегнулся, двусмысленно фыкнул, опустился в кресло, завяз и стал беспокойно там ерзать. Господин же редактор, как ни в чем не бывало, продолжал с хозяйкой прерванный разговор. Мог выручить Аблеухов, но... Аблеухова не было.

Неужели все то от профессора требовала остроумная конъюнктура, только что подписанный протестующий адрес и навстречу весне на банкете взлетевший бокал?

А толстяк продолжал:

— «Понимаете же, сударыня, эту деятельность жидо-масонства?»

— «Поняла, теперь поняла».

Либерально мычавший и жевавший губами профессор не выдержал; обращаясь к хозяйке, заметил он:

— «Позвольте и мне, сударыня, вставить свое скромное слово — слово науки: сообщенные здесь сведения имеют совершенно ясный источник происхождения».

Но толстяк его вдруг перебил.

А там-то, а там-то...

Там тапер вдруг одною рукою элегантно греющим ударом по басу оборвал свою музыкальную пляску, а другою рукой он заправским движеньем во мгновение ока перевернул нотный лист, и с рукою, взвешенной в воздухе, с выразительно разжатými пальцами меж клавиатурой и нотами, выжидательно как-то повернул свой корпус к хозяину, приблизив эмалью ослепительно белых зубов.

И тогда навстречу жеста тапера Николай Петрович Цукатов из бующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок, гладко выбритым подбородком рисуя таперу поощрительно-одобрительный знак; и потом с наклоненною головою, будто бодая пространство, он поспешно как-то бросился перед парами на паркетные блики, закрутив двумя пальцами кончик седеющей баки. И за ним полетело безвластно ангелоподобное существо, протянуло в пространстве гелиотроповый шарф свой. Николай Петрович Цукатов, вдохновив себя танцевальным полетом фантазии, молнией полетел на тапера и рычал, как лев, на весь зал:

— «Па-де-катр, силь ву плэ!»

И за ним летело безвластно ангелоподобное существо.

Между тем в коридор расторопно являлись бегущие слуги. Для чего-то откуда-то выносились и потом вносились опять столики, табуретки, стулья; пронесли в столовую горку свежих сандвичей на фарфоровом блюде. Прозвенели и вилками. Пронесли стопку хрупких тарелочек.

Повалила пара за парой в освещенный светло коридор. Сыпались шутки и сыпались смехи в одном сплошном гоготанье, и в одном сплошном гуле задвигали стульями.

Встали дымки папиросок в коридоре, в курительной комнате; встали дымки папиросок в передней. Здесь, стащивши с пальцев перчатку и засунув руку в карман, потемневшей перчаткой себе обвеивал щеки кадетик; обнявшись, две девочки сообщали друг другу какие-то заветные тайны, может быть, возникшие только что; брюнетка блондинке, а блондиночка фыркала и кусала нежный платочек.

Можно было, встав в коридоре, увидеть и край гостями набитой столовой; и туда понеслись бутерброды, нагруженные фруктами вазы, и бутылки с вином, и бутылки с кислой, в нос бьющей шипучкой.

В освещенной донельзя зале теперь оставался один собиравший ноты тапер; вытерев тщательно свои горячие пальцы, проведя осторожно мягкою тряпочкой по клавиатуре рояля и сложив стопками ноты, этот скромный тапер, в чьем присутствии слуги пооткрывали все в зале бывшие форточки, нерешительно тронулся через лаковый коридор, напоминая черную голенастую птицу. С наслаждением думал и он о чае с сандвичами.

В дверях, ведущих в гостиную, из полумрака выплыла сорокапятилетняя дама с упдающим подбородком, мясистым, на корсете подпертую грудь. И глядела в лорнет.

А за ней проплывал в залу толстенный мужчина с неприятно изрытым оспой лицом, с животом почтенных размеров, перетянутым сюртучною складкою.

Где-то там, поодаль, плелся и профессор статистики, до сих пор сидевший как на ножах; он теперь наткнулся на земского деятеля, одиноко скучавшего у прохода, вдруг узнал того деятеля, улыбнулся приветливо, даже как-то испуганно зашипнул двумя пальцами пуговку его сюртука, словно он ухватился за брошенный якорь спасения; и теперь раздавалось:

— «По статистическим сведениям... Годовое потребление соли нормальным голландцем...»

И опять раздавалось:

— «Годовое потребление соли нормальным испанцем...»

— «По статистическим сведениям...»

### ТОЧНО ПЛАКАЛСЯ КТО-ТО

Ждали масок. И все не было масок. Видно, это был один только слух. Масок все-таки ждали.

И вот раздалось дребезжанье звонка: раздалось оно робко; точно кто-то, неприглашенный, напоминал о себе, попросился сюда из сырого, алого тумана и из уличной слякоти; но никто ему не ответил. И тогда опять сильнее задилинькал звоночек.

Точно плакался кто-то.

В ту минуту из двух проходных комнат, запыхавшись, выбежала десятилетняя девочка и увидела заблиставший безлюдием только что перед тем полный зал. Там, у входа в переднюю, вопросительно стукнула дверь, а на двери слегка закачалась граненая и алмазы мечущая ручка; и когда пустота достаточно обозначилась меж стенами и дверью, из пустоты осторожно до носу просунулась черная масочка, и две блестящих искры проблистали в прорезях глаз.

Десятилетний ребенок увидел тогда меж стеною и дверью черную масочку и из прорезей две недобрые искры, устремленные на себя; вот вся маска просунулась, обнаружилась черная борода из легко вьющихся кружев; за бородою в дверях, шелестя, медлительно показался атлас, и к глазам сперва свои пальчики поднял испуганно десятилетний ребенок, а потом и радостно улыбнулся, захолопал в ладоши, и с криком: «А вот приехали маски, приехали!» торопливо пустился бежать в анфиладную глубину, — туда, где из виснувших хлопьев табачного синеватого дыма выделялся туманный профессор на своих слоновьих ногах.

Ярко-красное домино, переступая порывисто, повлекло свой атлас по лаковым плитам паркета; и едва-едва оно отмечалось на плитках паркета плывущею пунцовой рябью собственных отблесков; пунцовой по зале, как будто неверная лужица крови побежала с паркетика на

паркетик; а навстречу затопали грузные ноги, издали заскрипели огромные на домино сапоги.

Земский деятель, окрепнувший теперь в зале, остановился растерянно, ухватясь рукой за клочок своей бороды; между тем одинокое домино как будто немо его умоляло не гнать из этого дома обратно на петербургскую слякоть, умоляло не гнать из этого дома обратно в злой и густой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крикнул; но когда попытался он и словесно выразить свою шутку, эта шутка приняла довольно бессвязную форму:

— «Мм... Да-да...»

Домино шло вперед на него протянутым, умоляющим корпусом, шло вперед на него с протянутой красно-шуршащей рукой и чуть-чуть взвилось с ниспадающей от сутулых плеч головы его прозрачное кружево.

— «Скажите, пожалуйста, вы — маска?»

Молчание.

— «Мм... Да-да...»

А маска молила; вся она прометнулась вперед протянутым корпусом — в пустоте, на лаках, на бликах, над лужицей собственных отблесков; одиноко металась по залу.

— «Вот так штука...»

И опять она прометнулась вперед, и опять вперед проскользнули красные отблески.

Теперь земский деятель, запыхтевши, стал отступать.

Вдруг махнул он рукой; и он повернулся; спешно стал он, Бог весть почему — возвращаться туда, откуда он вышел, где горел электрический лазоревый свет, где в лазоревом электрическом свете стоял с кверху задранном сюртуком профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма; но земца едва не свалил рой набегающих барышень: развевались их ленты, развевались в воздухе котильонные побрякушки и шуршали колена.

Этот щебечущий рой выбежал посмотреть на забредшую сюда маску; но щебечущий рой остановился у двери, и его веселые возгласы как-то вдруг перешли в едва дышащий шелест; наконец, смолк этот шелест; тяжела была тишина. Неожиданно за спиной у барышень продекламировал какой-то дерзкий кадетик:

Кто вы, кто вы, гость суровый,  
Роковое домино?  
Посмотрите — в плащ багровый  
Запахнулося оно.<sup>24</sup>

А на лаках, на светах и над зыбью собственных отблесков как-то жадно побежало вбок домино, и ветер из отворенной форточки ледяною струей присвистнул на ясном атласе; бедное домино: будто его уличили в провинности, — оно все наклонилось вперед протянутым силуэтом; вперед протянутой красно-шуршащей рукой, будто немо их всех умоляя не гнать из этого дома обратно на петербургскую слякоть, умоляя не гнать из этого дома обратно в злой и сырой туман.

И кадетик запнулся.

— «А скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на петербургских проспектах?»

— «Господа, вы читали сегодняшний „Петербургский дневник“?»

— «А что?»

— «Да опять красное домино...»

— «Господа, это глупости».

Одинокое домино продолжало молчать.

Вдруг одна из передних барышень со склоненной головкой, та, что строго прищурила взор на неожиданного гостя — выразительно зашептала что-то подруге.

— «Глупости...»

— «Нет, нет: как-то не по себе...»

— «Вероятно, милое домино набрало в рот воды: а еще домино...»

— «Право, с ним нам нечего делать...»

— «А еще домино!»

Одинокое домино продолжало молчать.

— «Не хочешь ли чаю с сэндвичами?»

— «А не хочешь ли этого?»

Так воскликнув, кадетик через пестрые головы барышень, развернувшись, пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развилась на мгновение дугою бумажная лента;<sup>25</sup> а когда конец ее с сухим треском ударился в маску, то дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол; и на эту забавную шутку домино ничем не ответило, протянуло лишь руки, умоляя не гнать из этого дома на петербургскую улицу, умоляя не гнать из этого дома в злой и густой туман.

— «Господа, пойдемте отсюда...»

И рой барышень убежал.

Только та, что стояла ближе всех к домино, на мгновение помедлила; сострадательным взором смерила она домино; отчего-то вздохнув, повернулась, пошла; и опять обернулась, и опять сказала себе:

— «Все-таки... Это... Это как-то не так».

## СУХАЯ ФИГУРОЧКА

Это был, конечно, все он же: Николай Аполлонович. Он пришел сегодня сказать — что сказать?

Сам себя он забыл; забыл свои мысли; и забыл упования; упивался собственной, ему предназначенной ролью: богоподобное, бесстрастное существо отлетело куда-то; оставалась голая страсть, а страсть стала ядом. Лихорадочный яд проник в его мозг, выливался незримо из глаз пламенеющим облаком, обвивая липнущим и кровавым атласом: будто он теперь на все глядел обугленным ликом из пекущих тело огней, и обугленный лик превратился в черную маску, а пекущие тело огни — в красный шелк. Он теперь воистину стал шутком, безобразным и красным (так когда-то она сама называла его). Мстительно над какою-то —

своею, ее ли? — правдою надругался теперь этот шут вероломно и остро; и опять-таки: любил, ненавидел?

Будто он над ней колдовал все эти последние дни, простирая холодные руки из окон желтого дома, простирая холодные руки от гранитов в невский туман. Он хотел охватить, любя, им вызванный мысленный образ, он хотел, ей мстя, задушить где-то веющий силуэт; для того-то все эти дни простирались холодные руки из пространства в пространство, оттого-то все эти дни из пространства ей в уши шептались какие-то неземные признания, какие-то свистящие накликания и какие-то хрипящие страсти; оттого-то в ушах у нее раздавались невнятные пошвисты, а листовяный багрец гнал ей под ноги шелестящие россыпи слов.

Оттого-то вот он сейчас пришел в тот дом: но ее, изменницы, не было; и в углу он задумался. Он как будто в тумане увидел удивленного почтенного земца; будто где-то вдали, в лабиринте зеркал, перед ним проплыли фигурки смеющихся барышень неверными пятнами; а когда из этого лабиринта, с холодной зеленоватой поверхности в него ударились дальние отголоски вопросов с бумажною змейкой конфетти, удивился он так, как дивятся во сне: удивился выходу не сущего отражения пред собой в яркий мир; но в то время, когда сам он глядел на все, как на зыбкие, во сне бегущие отражения, отражения эти, видно, сами привяли его за выходца с того света; и как выходец с того света, он их всех разогнал.

Вот опять до него долетели дальние отголоски, и повернулся он медленно: и неясно, и тускло — где-то там, где-то там — быстро зал пересекла сухая фигурочка, без волос, без усов, без бровей. Николай Аполлонович с трудом разбирал подробности в зал влетевшей фигурки, — от напряжения зрения из-за прорезей маски чувствовал он резь в глазах (кроме всего, он страдал близорукостью), выделялись лишь контуры зеленоватых ушей — где-то там, где-то там. Что-то было во всем том знакомое, что-то близко живое, и Николай Аполлонович порывисто, в забытьи, рванулся к фигурке, чтобы вплотную увидеть; но фигурка откинулась, будто даже схватилась за сердце, отбежала прочь, и глядела теперь на него. Каково же было изумление Николая Аполлоновича: перед ним стояло вплотную родное лицо; оно показалось ему сплошь в морщиночках, источивших щеки, лоб, подбородок и нос; издали можно было привяль то лицо за лицо скопца, скорей молодого, чем старого; а вблизи это был немощный, хилый старик, выдававшийся едва приметными бачками: словом — под носом у себя Николай Аполлонович увидел отца. Аполлон Аполлонович, перебирая кольца цепочки, с плохо скрытым испугом вперился глазами в атласное неожиданно на него набежавшее домино. В этих синих глазах промелькнуло нечто вроде догадки; Николай Аполлонович ощутил неприятную дрожь, было все-таки жутко бесстыдно глядеть из-под маски в те бесстрастные взоры, пред которыми в обычное время с непонятной стыдливостью опускал он глаза; было все-таки жутко читать теперь в этих взорах



испуг и какое-то беспомощное, хилое старчество; а догадка, мелькнувшая быстро, прочлась, как отгадка: Николай Аполлонович подумал, что узнал. То не было правдой: Аполлон Аполлонович просто подумал, что какой-то бестактный шутник терроризирует его, царедворца, символическим цветом яркого своего плаща.

Все-таки сам себе он стал щупать пульс. Николай Аполлонович в последнее время не раз подмечал этот жест сенаторских пальцев, производимый украдкой (видно, сердце сенатора уставало работать). Видя этот же жест и теперь, ощутил он что-то, подобное жалости; и невольно к отцу протянул красношуршащие руки; будто он умолял отца не бежать от него, задыхаясь в сердечном припадке, будто он умолял отца простить его за все прошлое окаянство. Но Аполлон Аполлонович продолжал щупать пульс своими дрожащими пальцами и в сердечном припадке теперь бежал — где-то там, где-то там. . .

Вдруг раздался звонок: вся комната наполнилась масками; ворвалась вереница черная капуцинов; черные капуцины быстро составили цепь вокруг красного сотоварища, заплясали вокруг него какую-то пляску; их атласные полы развевались, свивались; подлетали и уморительно падали кончики капюшонов; на груди же у каждого на двух перекрещенных косточках вышит был череп;<sup>26</sup> и подплясывал череп.

Красное домино, отбиваясь, тогда бежало из залы; капуцинов черная стая с хохотом погналась за ним вслед; так они пролетели по широкому коридору и влетели в столовую; все сидящие за столом им на встречу приветливо застучали тарелками.

— «Капуцины, маски, паяцы».

Повскакали с мест стаи перламутрово-розовых и гелиотроповых багышеней, повскакали с мест гусары, правоведы, студенты. Николай Петрович Цукатов подскочил на месте с бокалом рейнвейна, прорывав в честь странной компании свой громовый виват.

И тогда кто-то заметил:

— «Господа, это слишком. . .»

Но его увлекли танцевать.

В танцевальном зале тапер, выгибая хребет, заплясал опять взбитым коком волос на бегущие и рулады льющие пальцы; расплясался дискант и медлительно тронулся бас.

И взглянувши с невинной улыбкой на черного капуцина, особо наглым движеньем взвившего свой атлас, ангелоподобное существо в фиолетовой юбочке как-то вдруг нагнулось под отверстие капюшона (ей в лицо уставилась масочка); а рукой своей существо ухватило за горб полосатого клоуна, чья одна (голубая) нога взлетела на воздух, а другая (красная) подогнулась к паркету; но существо не боялось: подобрало свой подол, и оттуда просунулась серебристая туфелька.

И пошло — раз, два, три. . .

А за ними пошли испанки, монахи и диаволы; арлекины, ментики, веера, обнаженные спины, из пластинок серебряных шарфы; выше всех, качаясь, плясала долговязая пальма.

Только там, одиноко, прислонясь к подоконнику, между спущенных зеленоватых гардин Аполлон Аполлонович задышался в припадке своей сердечной болезни, о размерах которой не знал ни один человек.

## ПОМПАДУР

Ангел Пери стояла пред овальным мутнеющим зеркалом, отклоненным чуть-чуть: все туда убегало вниз и внизу там мутнело: потолок, стены и пол; и сама она туда убегала в глубину, зеленоватую муть; и там, там — из фонтана вещей и кисейно-кружевной пены выходила теперь красавица с пышно взбитыми волосами и мушкою на щеке: мадам Помпадур!

Волосы, свитые буклями и едва только стянутые лентой, были седые, как снег, и пуховка застыла над пудреницей в таких тоненьких пальчиках; туго стянутая, бледно-лазурная талия чуть-чуть-чуть изогнулась налево с черной маской в руке; из узкого вырезного корсажа, словно жемчуг живой, дыша, протуманились перси, а из узких, шуршащих атласом рукавчиков тихо зыбились легкими складками валансьеновые кружева; и везде, везде вокруг выреза, ниже выреза — кружева эти зыбились; под корсажем юбка-панье, словно вставшая над дыханием тонным зефиром, колыхалась, играла оборками и блистала гирляндой серебряных трав в виде легких фестонов; ниже были такие же туфельки; и на каждой из туфелек серебрился помпон. Но странное дело: как-то вдруг в том наряде она постарела и подурнела; вместо маленьких розовых губок, портя личико, оттопырились неприлично красные, эти слишком тяжелые губы; а когда закосили глаза, то в мадам Помпадур показалось на миг что-то ведьмовское: в этот миг она укрыла письмо в разрезе корсажа.

В этот же миг прибежала в комнату Маврушка, держа жезл из светлого дерева с золотой рукояткой, от которой веяли ленты: но когда мадам Помпадур протянула ручку, чтобы взять этот жезл, у нее в руке оказалась записка от мужа; там стояло: «Если вы уедете вечером, то вы более не вернетесь в мой дом. Сергей Сергеевич Лихутин».

Та записка, конечно, относилась к Софье Петровне Лихутиной, а не к ней, мадам Помпадур, и мадам Помпадур презрительно улыбнулась записке; она уставилась в зеркало — в глубину, в зеленоватую муть: там далеко-далеко неслась, будто легкая рябь; вдруг из этой глубины и зеленоватой мути на багровый свет пунцового абажура как будто просунулось какое-то восковое лицо; и она обернулась.

За плечами ее неподвижно стоял ее муж, офицер; но опять она презрительно рассмеялась, и слегка приподнявши свою кружевную юбку-панье за фестончики, плавно так от него поплыла в реверансах; тихо-струнный зефир от него ее уносил, и шуршал, колыхался, как колокол, ее кринолин в сладких токах зефирных; а когда она оказалась в дверях, то к нему повернулась лицом, и рукой, на которой моталась атлас-

вая масочка, показала с лукавой улыбочкой длинный нос офицеру; за дверьми потом раздался раскатистый смех и невинное восклицание:

— «Маврушка, шубу!»

Тогда Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского Его Величества полка, белый как смерть, совершенно спокойный, иронически улыбаясь, побежал вприпрыжку за грациозною масочкой и потом, щелкнув шпорами, так почтительно стал с меховою шубой в руке; с еще большей почтительностью ей на плечи накинул он шубу, распахнул настежь дверь и любезно ей рукой показал туда — в темноцветную темень; а когда она в эту темень, шурша, проходила, вздернув личико пред такую покорной услугою, то покорный слуга, щелкнув шпорами, вторично отвесил ей низкий поклон. Темноцветная темень хлынула на нее — хлынула отовсюду: заливала ее шуршащие очертания; что-то долго шуршало-шуршало, там, на лестничных ступенях. Выходная дверь хлопнула; тогда Сергей Сергеевич Лихутин все с теми же слишком резкими жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

## РОКОВОЕ

Тапер элегантно гремящим ударом по басу оборвал свою музыкальную пляску, а другою рукою заправским движением перевернул нотный лист; но в эту минуту Николай Петрович Цукатов из бушующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок, с наклоненною головой быстро бросившись перед парами на паркетные блики, увлекая стремительно за собой безвластное существо:

— «Па-де-катр, силь ву плэ!..»

— «Пойдем со мной», — приставала мадам какая-то Помпадур к Николаю Аполлоновичу, и Николай Аполлонович, не узнавши мадам Помпадур, нехотя подал ей руку; и, взглянув с еле видной усмешкой на своего красного кавалера особо жестоким движением кверху вздернутой маски, мадам Помпадур протянула руку вперед и безвластно ею легла на руку домино; а другою рукою с бьющимся на ней веером и в затянутой лайке мадам Помпадур подобрала подол из лазурновеющих дымов, и оттуда шелестом чуть просунулась серебристая туфелька.

И пошли, и пошли.

Раз-два-три — и жест ножки под откинутой талией:

— «Ты узнал меня?»

— «Нет».

— «Ты кого-то все ищешь?»

Раз-два-три — и опять изгиб, и опять просунулась туфелька.

— «У меня есть для тебя письмо».

А за первую парой — домино и маркизой — тронулись арлекины, испанки, перламутрово-бледные барышни, правоведа, гусары и безвластные, кисейные существа; веера, голые плечи, серебристые спины и шарфы.

Вдруг рука красного домино охватила тонкую, лазурную талию, а другая рука, схватившись за руку, в руке ощутила письмо; в тот же миг темно-зеленые, черные и суконные руки всех пар, и красные руки гусар охватили все тонкие талии гелиотроповых, гридеперлевых,<sup>27</sup> шелестящих танпорок, чтобы вновь, вновь и вновь закружиться в нескольких вальсовых поворотах.

Вылетев перед всеми, седовласый хозяин разрычался на пары:

— «A vos places».\*

И за ним летел безвластный подросток.

### АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ

Аполлон Аполлонович оправился от сердечного приступа; Аполлон Аполлонович поглядел в глубину комнатной анфилады; спрятанный в темных гардинах, он стоял никем незамеченный; он старался так пройти от гардин, чтобы его появление в гостиной не выдало б странного поведения государственного человека. Аполлон Аполлонович от всех скрывал приступы сердечной болезни; но еще неприятней было б ему сознаться, что сегодняшний приступ вызван был появлением перед ним красного домино: красный цвет, конечно, был эмблемой России губившего хаоса; но ему не хотелось сознаться, что нелепое желание домино его поцугать имело какой-либо политический привкус.

И Аполлон Аполлонович стыдился испуга.

Отправляясь от приступа, он бросал взгляды в зал. Все, что он видел там, поражало взор его крикливою пестротой; там мелькавшие образы имели какой-то отвратительный привкус, поражавший лично его: видел он монстра с двуглавою орлиною головою;<sup>28</sup> где-то там, где-то там — быстро зал пересекала сухая фигурочка рыцарька с лезвием сверкавшим меча, в образе и подобии какого-то светового явления; он бежал так неясно и тускло, без волос, без усов, выделяясь контурами зеленоватых ушей и свисавшим на грудь бриллиантовым блещущим знаком; а когда из масок и капуцинов на рыцарька кинулось однорогое существо, то рогом оно обломало у рыцаря световое явление;<sup>29</sup> что-то издали дзанкнуло и на пол упало подобием лунного лучика; странно, что эта картина в сознании Аполлона Аполлоновича пробудила какое-то недавно забытое, бывшее с ним происшествие, и он ощутил позвоночник; Аполлон Аполлонович мгновенно подумал, что у него *tabes dorsalis*. С отвращением отвернувшись от пестрого зала, и прошел он в гостиную.

Здесь при его появлении все поднялись с своих мест; любезно на встречу к нему текла Любовь Алексеевна; и профессор статистики, вставший с места, промямлил:

— «Имели случай когда-то встречаться: весьма счастлив вас видеть; у меня есть до вас, Аполлон Аполлонович, дело».

\* На места (фр.). — Ред.

На что Аполлон Аполлонович, поцеловавши руку хозяйки, сухо как-то ответил:

— «Но ведь я принимаю у себя в Учреждении».

Этим ответом отрезывал он возможность одной либеральной партии идти навстречу правительству. Конъюнктура расстроилась; и профессору оставалось только достойно покинуть этот блестящий дом, чтобы впредь беспрепятственно подписывать все выражения протестов, чтобы впредь беспрепятственно поднимать свой бокал на всех либеральных банкетах.

Собираясь уйти, подошел он к хозяйке, над которой редактор продолжал упражнять свое красноречие.

— «Вы думаете, что гибель России готовится нам в уповании социального равенства. Как бы не так? Нас хотят просто-напросто принести в жертву дьяволу».

— «То есть как?» — удивилась хозяйка.

— «Очень просто-с: вы удивляетесь потому, что вы ничего не читали по этому вопросу...»

— «Но позвольте, позвольте! — снова вставил слово профессор, — вы опираетесь на измышления Таксиля...»<sup>30</sup>

— «Таксиля?» — перебила хозяйка, вдруг достала маленький изящный блокнот и стала записывать:

— «Таксиля, говорите вы?..»

— «Нас готовятся принести в жертву сатане, потому что высшие ступени жидо-масонства исповедуют определенный культ, палладизм...»<sup>31</sup> Этот культ...»

— «Палладизм?» — перебила хозяйка, снова стала что-то записывать в книжечку.

— «Па-лла-... Как, как?»

— «Палладизм».

Раздался откуда-то озабоченный вздох экономки, и тогда понесли поднос с граненым графином, налитым до краев прохладительным морсом и поставили в комнате меж гостиной и залом. И стоя в гостиной, можно было увидеть, как вновь, вновь и вновь из мелодичной системы звукового приюта, бывшего в стены, и из зыби кисейно-кружевных, раскачавшихся в вальсе пар вырывалась то та, то эта покрытая светом девочка, с разгоревшимся личиком и с растрепанной на спине сквозной желтизною кос — вырывалась и пробегала, смеясь, в соседнюю комнату, в своих белопелюшковых туфельках, топоча высокими каблучками, наливал поспешно из графинчика кислотовую, рубиновую влагу: ледяной густой морс. И глотала так жадно.

И хозяйка рассеянно бросила собеседнику.

— «А скажите...»

Приложив к глазам миниатюрный лорнетик, увидела она, что в соседней там комнате к разгоревшейся девочке, пьющей морс, из танцевального зала выпорхнул правовед в шелестящем шелком мундирчике с перетянутой талией и, грассируя неестественно загремевшим баском,

правовед вырывал шугливо у девочки стаканчик рубинового морса и стыдливо от него отпивал он холодный глоток. И Любовь Алексеевна, обрывая свирепые речи редактора, привстала, шелестя, проплыла в полуметную комнату, чтобы строго заметить:

— «Что вы здесь делаете — танцевать, танцевать».

И тогда счастливая пара вернулась в кипящую светами залу; правовед обнял белоснежной перчаткой тонкую, как оса, талию девочки; девочка — на белоснежной этой перчатке откинулась; оба вдруг упоительно залетали, упоительно закачались, быстро-быстро перебирая ногами, разбивая летящие платья, шали и веера, вокруг них плетущие искристые узоры; наконец, сами стали какими-то лучезарными брызгами. Там тапер, вычурно выгибая хребет, вкрадчиво как-то склонялся к летающим пальцам на клавишах, чтобы лить дискантовые, немного крикливые звуки: и они бежали друг другу вдогонку; то тапер, истомно откинувшись, заскрипев табуретом, пальцами убежал на густые басы...

...  
 — «Таксиль взвел на масонов совершенную небылицу, — раздавался язвительный голос профессора, — к сожалению, небылице той поверили многие; но впоследствии Таксиль решительным образом отказался от небылицы; он признался публично в том, что его сенсационные заявления папе — лишь простое его издевательство над темнотой и злой волей Ватикана. Но за это Таксиль был проклят в папской Энциклике...»<sup>32</sup>

Тут вошел кто-то новый — суетливенький, молчаливенький господинчик, с огромною бородавкою у носа, — и вдруг ободрительно закивал, заулыбался сенатору, растирая пальцы о пальцы; и с двусмысленной кротостью он отвел сенатора в угол:

— «Видите... Аполлон Аполлонович... Директор N. N. департамента предложил... как бы это выразиться... Ну, задать вам один щекотливый вопрос».

Далее трудно было что-либо разобрать: слышно было, как господинчик что-то нашептывал в бледное ухо с двусмысленной кротостью, а Аполлон Аполлонович с каким-то жалким испугом кинулся на него.

— «Говорите же прямо... мой сын?»

— «А вот именно, именно: этот самый вот деликатный вопрос».

— «Мой сын имеет сношения с...?»

Далее ничего нельзя было разобрать; лишь слышалось:

— «Пустяки...»

— «Все это совершенные пустяки...»

— «Жалко, правда, что эта неуместная шутка приняла такой неуместный характер, что пресса...»

— «И знаете: петербургской полиции отдали мы, признаться, приказ, чтобы за вашим сыном следили...»

— «Разумеется, для его только блага...»

И опять неся шепот. И сенатор спросил:

— «Домино, говорите вы?»

— «Да — вот то самое».

С этими словами суетливенький господинчик указал в соседнюю комнату, где вот там — где-то там, суетливое домино, переступая порывисто, влекло свой атлас по лаковым плитам паркета.

## СКАНДАЛ

Софья Петровна Лихутина, передавши письмо, ускользнула от своего кавалера, опустилась в бессилие на мягкую табуретку; руки и ноги ее отказывались служить.

Что она сделала?

Она видела, как мимо нее из танцевального зала пробежало красное домино в угол пустой проходной комнаты; и там незаметно красное домино разорвало бумагу конверта; зашелестела записка в яркошуршащих руках. Красное домино, сияясь лучше увидеть мелкий бисерный почерк записки, произвольно на лоб откинуло масочку, отчего черные кружева бороды двумя пышными складками окрылили бледное лицо домино, будто два крыла черной шелковой шапочки; из трепещущих крыльев просунулось то лицо, восковое, застывшее, с оттопыренными губами, и дрожала рука, и дрожала в пальцах записочка; и холодный пот показался на лбу.

Красное домино теперь не видало мадам Помпадур, наблюдавшей его из угла; все оно ушло теперь в чтение; засуетилось, распахнуло атласные полы длинного одеяния, обнаружив свой обычный костюм — темно-зеленый сюртук; Николай Аполлонович вытащил золотое пенсне и, приставив к глазам, лицом нагнулся к записочке.

Николай Аполлонович весь откинулся; ужасом на нее уставился его взор; но ее он не видел: его губы шептали, должно быть, какие-то вовсе невнятные вещи, — и Софья Петровна хотела уж броситься к нему из угла, потому что она не могла далее выносить этих расширенных, на нее устремленных взоров. Тут вошли в комнату; красное домино нервно спрятало ту записку в свои дрожащие пальцы, убежавшие в складки; маску же красное домино позабыло спустить. Так стояло оно с приподнятой на лбу масочкой, с полуоткрытым ртом и невидящим взором.

Пуще прежнего разошлась после вальса прибежавшая сюда девочка, чтобы здесь прохладиться; она едва с ног не сбила почему-то у входа одиноко дремавшего земского деятеля, остановилась перед зеркальным трюмо, оправила в волосах осевшую ленточку, зашнуровала, поставив ножку на стул, бело-шелковую туфельку; завела с подругой, такую же девочкой, там в углу подозрительный шепот, слушая поток звуков, нестройное шелестящее шарканье, хриплые выкрики из гостиной, смех, окрики распорядителя, слушая едва слышное дзиньканье кавалерских шпор.

Вдруг она увидела домино с неопущенной маской; и, увидев, воскликнула:

— «Вот вы кто? Здравствуйте, Николай Аполлонович, здравствуйте! кто бы мог вас узнать?»

Софья Петровна Лихутина видела, как страдальчески улыбнулся девочке Николай Аполлонович, как-то странно рванулся и пустился бежать в танцевальный зал.

Там стояло два ряда танцующих, уплывая в нежно слепнувший взор переливами перламутро-розовых, гридеперлевых, гелиотроповых, голубоватых, белых бархатов и шелков: на шелка, на бархаты ложились шали, шарфы, вуали, веера и стеклярусы, ложились на плечи тяжкие кружева из серебристых пластинок; при малейшем движении искрилась там чешуйчатая спина; всюду виднелись теперь закрасневшие руки, безотчетно игравшие пластинками веера пальцы, загрубевшие пятна в белых бархатах, колыхавшихся декольте и ланиты, вовсе пунцовые, в дыме тронутых пляской причесок.

Там стояло два ряда танцующих пар, уплывая во взор черными, зеленоватыми и ярко-красными гусарскими сукнами, золотым, подбородок режущим воротником, надставною мундирною грудью и надставными плечами, снежно-белой прорезью фрачных жилетов, кракавших при нажиме, и лоск льющим фракком цвета воронова крыла.

Мимо масок и кавалеров стремительно пролетел Николай Аполлонович, переступая порывисто на своих дрожащих ногах; и кровавый атлас за ним влекся на лаковых плитах паркета, едва-едва отмечаясь на плитах паркета летящею, пунцовеющей зыбью собственных отблесков; пунцовея, та зыбь, как неверная красная молния, облизнула паркет перед чудовищным бегуном.

Это бегство красного домино с приподнятой на лоб маской, под которой вперед выдавалось лицо Николая Аполлоновича, произвело настоящий скандал; бросились с места веселые пары; с одной барышней случилась истерика; а две маски с испугу вдруг открыли свои изумленные лица; а когда, узнав бегущего Аблеухова, лейб-гусар Шпорышев ухватил его за рукав со словами: «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович, ради Бога скажите, что с вами», то Николай Аполлонович, как затравленный зверь, как-то жалко оскалился сумасшедшим лицом, сясь смеяться, но улыбка не вышла; Николай Аполлонович, вырвав рукав, скрылся в дверях.

В танцевальном зале пробежало неопишное смущение; барышни, кавалеры суетливо передавали друг другу свои впечатления; затревожились все; только что таинственно скользившие маски, все эти синие рыцарьки, арлекины, испанки потеряли свой интригующий смысл; из-под маски двуглавого монстра, подбежавшего к Шпорышеву, слышался встревоженный и знакомый голос:

— «Объясните же ради Бога, что все это значит?»

И лейб-гусар Шпорышев узнал голос Вергефдена.

Это смятие танцевального зала передалось инстинктивно через две проходные комнаты и в гостиную: и там, там — где горел лазоревый шар электрической люстры, где в лазоревом трепетном свете грузно



как-то стояли гостиные посетители, выясняясь туманно из виснувших хлопьев табачного синеватого дыма, — посетители эти с тревогой смотрели туда — в танцевальный зал. Среди всей этой группы выделялась сухенькая фигурка сенатора, бледное, будто из папье-маше, лицо с поджатыми твердо губами, две маленьких бачки и контуры зеленоватых ушей: так точно он был изображен на заглавном листе какого-то уличного журнальчика.

В танцевальном зале гуляла зараза догадок, тревожлений и слухов по поводу странного, весьма странного, чрезвычайно странного поведения сенаторского сына; там говорилось, во-первых, что поведение это обусловлено какою-то драмой; во-вторых, пущен был слух, что таинственно посетивший цукатовский дом Николай Аполлонович и был красным домино, производившим сенсацию в прессе. Толковали, что все это значит. Говорилось о том, что сенатор не знает тут ничего; издали, из танцевального зала, кивали в гостиную, туда, где стояла сейчас фигурка сенатора и откуда неясно так выдавалось его сухое лицо среди виснувших хлопьев синеватого табачного дыма.

### НУ, А ЕСЛИ?

Мы оставили Софью Петровну Лихутину — одну, на балу; мы теперь к ней вернемся обратно.

Софья Петровна Лихутина остановилась среди зала.

Перед ней впервые предстала ее страшная месь: мятый конвертик теперь перешел к нему в руки, Софья Петровна Лихутина едва понимала, что сделала; Софья Петровна не поняла, что вчера в мятом конверте прочитала она. А теперь содержание ужасной записки предстало ей с ясностью: письмо Николая Аполлоновича приглашало бросить какую-то бомбу с часовым механизмом, которая, будто бы, у него лежала в столе; эту бомбу, судя по намеку, ему предлагали бросить в сенатора (Аполлона Аполлоновича все называли сенатором).

Софья Петровна стояла среди масок растерянно с бледно-лазурною, чуть изогнутой талией, соображая, что все это значит. То, конечно, была чья-то злая и подлая шутка; но его этой шуткою так хотелось ей напугать: ведь, он был... подлым трусом. Ну, а если... если в письме была истина? Ну, а если... если Николай Аполлонович в столе своем хранил предметы столь ужасного содержания? И об этом прослышали? И теперь его схватят?.. Софья Петровна стояла среди масок растерянно с бледно-лазурною талией, теребя свои локоны, серебристо-седые от пудры и свитые пышно.

И потом беспокойно она завертелась среди масок; и потом забились на ней валансьеновые кружева; а юбка-панье под корсажем, словно вставшая под дыханием томных зефиров, колыхалась оборками и блистала гирляндю серебряных трав в виде легких фестончиков. Вкруг нее голоса, сливаясь шептаньем безостановочно, беспрерывно, докучно

роковым ворчали веретеном. Кучечка седобровых матрон, шелестя атласными юбками, собиралась уехать с такого веселого бала; эта, вытянув шею, вызывала из роя паяцев свою дочь, пейзажку; приложив к серым глазкам миниатюрный лорнетик, беспокоилась та. И над всем повисла тревожная атмосфера скандала. Звуками перестал взрывать воздух тапер; сам собой положил он локоть на рояльную крышку; ожидал приглашения к танцам; но приглашения не было.

Юнкера, гимназисточки, правоведы — все нырнули в волны паяцев и, нырнувши, пропали; и их не было больше; слышались отовсюду — причитания, шелесты, шепоты.

— «Нет, вы видели, видели? Вы понимаете?»

— «Не говорите, это — ужасно...»

— «Я всегда говорила, я всегда говорила, та chère: он выростил сегодня. И tante Lise говорила; говорила Мими; говорил Nicolas».

— «Бедная Анна Петровна: я ее понимаю!..»

— «Да, и я понимаю: понимаем мы все».

— «Вот он сам, вот он сам...»

— «У него ужасные уши...»

— «Его прочат в министры...»

— «Он погубит страну...»

— «Ему надо сказать...»

— «Посмотрите же: Нетопырь на нас смотрит; будто чувствует, что мы говорим про него... А Цукатовы увиваются — просто стыдно смотреть...»

— «Они не посмеют сказать ему, отчего мы уедем... Говорят, мадам Цукатова из поповского роду».

Вдруг раздался свист древнего змея из взволнованной кучечки седобровых матрон:

— «Посмотрите! Пошел: не сановник — дыпленок».

.....

Ну, а если... если действительно Николай Аполлонович в столе хранит бомбу? Ведь, об этом могут узнать; ведь, и стол он может толкнуть (он — рассеянный). Вечером он за этим столом, может быть, занимается с развернутой книгой. Софья Петровна вообразила отчетливо склеротический аблеуховский лоб с синеватыми жилками над рабочим столом (в столе — бомба). Бомба — это что-нибудь круглое, к чему прикоснуться нельзя. И Софья Петровна Лихутина вздрогнула. На минуту отчетливо ей представился Николай Аполлонович, потирающий руки за чайным подносом; на столе — красная труба граммофона бросает им в уши итальянские страстные арии; ну, к чему бы им ссориться? И к чему нелепая передача письма, домино и все прочее...

К Софье Петровне прилип толстейший мужчина (гренадский испанец); она в сторону, — в сторону и толстый мужчина (гренадский испанец); на одну минуту в толпе его притиснули к ней, и ей показалось, что руки его зашуршали по юбке.

— «Вы не барыня: вы — душканчик».

— «Липпанченко!» И она его ударила веером.

— «Липпанченко! объясните же мне...»

Но Липпанченко ее перебил:

— «Вам знать лучше, сударыня: не играйте в наивности».

И Липпанченко, прилипающий к юбке ее, ее вовсе притиснул; и она забарахталась, стремясь от него оторваться; но толпа их пуше притиснула; что он делает, этот Липпанченко? Э, да он неприличен.

— «Липпанченко, так нельзя».

Он же жирно смеялся:

— «Я же видел, как вы передали там...»

— «Об этом ни слова».

Он же жирно смеялся:

— «Хорошо, хорошо! А теперь поедете-ка со мной в эту чудную ночь...»

— «Липпанченко! вы — нахал...»

Она вырвалась от Липпанченко.

Кастаньятами ей прищелкнул вдогонку гренадский испанец, исполняя какое-то страстное испанское па.

Ну, а если — письмо не было шуткою: ну, а если... если он обречен. Нет, нет, нет! Таких ужасов не бывает на свете; и зверей таких нет, кто бы мог заставить безумного сына на отца поднять руку. Все то шутки товарищей. Глупая — всего только приятельской шутки испугалась и он; да он просто — трусишка: побежал и там от нее (там, у Зимней Канавки) при свистке полицейского; она считала Канавку не каким-нибудь прозаическим местом, откуда можно бы бегать при свистке полицейского...

Не повел себя Германом: поскользнулся, упал, показав из-под шелка панталонные штрипки. И теперь: над наивною шуткою революционеро-друзей не посмеялся он, и в подательнице письма не узнал он ее: побежал через зал, держа в руках маску и подставив лицо на посмешище кавалерам и дамам. Нет, уж пусть Сергей Сергеич Лихутин проучит нахала и труса! Пусть Сергей Сергеич Лихутин предложит трусу дуэль...

Подпоручик!.. Сергей Сергеич Лихутин!.. Подпоручик Лихутин с вчерашнего вечера вел себя неприличнейшим образом: что-то фыркал в усы и сжимал свой кулак; к ней осмелился пожаловать в спальню с объяснением в одних нижних кальсонах; и потом осмелился у нее за стеной прошагать до утра.

Смутно ей представились вчерашние сумасшедшие крики, налитые кровью глаза и на стол упавший кулак: не сошел ли Сергей Сергеич с ума? Он давно уж ей стал подозрителен: подозрительно было молчание всех трех этих месяцев; подозрительны были эти бегства на службу. Ах, она — одинокая, бедная: вот она теперь нуждалась в его твердой опоре; ей хотелось, чтоб муж ее, подпоручик Лихутин, как ребенка бы обнял ее и понес на руках...

Вместо того к ней опять подскочил гренадский испанец и нашептывал в уши:

— «А, а, а? Не поедете? . . .»

Где теперь Сергей Сергееч, отчего его нет рядом с ней; как-то бо-язно ей по-прежнему возвратиться в квартирку на Мойке, где, как в логове зверь, залегал лихорадочно взбунтовавшийся муж.

И она притопнула каблучками:

— «Вот я ему покажу!»

И опять:

— «Вот я его проучу!»

И сконфуженно от нее отлетел гренадский испанец.

Софья Петровна Лихутина вздрогнула, вспоминая гримасу, с которой Сергей Сергееч ей подал ротонду, указуя на выход. Как он там стоял за плечами! Как она презрительно рассмеялась тогда и, слегка приподняв свою юбку-панье за фэстончики, плавно так от него поплыла в реверансах (отчего она не сделала реверанса Николаю Аполлоновичу при передаче письма — реверансы к ней шли)! Как она сказала и в дверях, как она показала с лукавой улыбочкой длинный нос офицеру! А вот только: ей боязно возвращаться домой.

И она досадливо притопнула каблучками:

— «Вот я ему покажу!»

И опять:

— «Вот я его проучу!»

Все же было страшно вернуться.

Еще более страшно — оставаться ей здесь; уж отсюда все почти поразъехались: поразъехались молодые люди и маски; добродушный хозяин с угнетенным, растерянным видом подходил то к тому, то к другому с анекдотиком; наконец, сиротливо окинул он опустевший зал, сиротливо окинул толпу шутов, арлекинов, откровенно советуя взором избавиться блиставшую комнату от дальнейших веселий.

Но арлекины, сроившись в пеструю кучечку, вели себя неприличнейшим образом. Кто-то наглый вышел из их среды, заплясал и запел:

Уехали фон Сулицы,  
Уехал Аплеухов...  
Проспекты, гавань, улицы  
Полны зловещих слухов!..  
Исполненный предательства,  
Сенатора ты славил...  
Но нет законодательства,  
Нет чрезвычайных правил!  
Он — пес патриотический —  
Носил отличий знаки;  
Но акт террористический  
Свершает ныне всякий.

Николай Петрович Цукатов сообразил во мгновение ока, как приличие его веселого дома нарушает ядовитый стишок, Николай Петрович Цука-

тов густо так покраснел, добродушнейшим образом посмотрел на дерзкого арлекина, повернулся спиной и пошел прочь от двери.

## БЕЛОЕ ДОМИНО

Уже пора было ехать. Уже гости разъехались почти все: Софья Петровна Лихутина одиноко слонялась по пустеющим залам; лишь гренадский испанец в ответ на волнение ее побрякивал звучными кастаньетами. Там, в пустой анфиладе увидела она невзначай одинокое, белое домино; белое домино как-то сразу возникло, и — ну вот: —

кто-то печальный и длинный, кого будто видела она многое множество раз, прежде видела, еще недавно, сегодня — кто-то печальный и длинный, весь обвернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам; из-под прорезей маски на нее смотрел светлый свет его глаз; ей казалось, что свет заструился так грустно от чела его, от его костенеющих пальцев...

Софья Петровна доверчиво окликнула милого обладателя домино:

— «Сергей Сергеевич!.. А, Сергей Сергеевич!..»

Да, сомнения не было: это был Сергей Сергеевич Лихутин; он раскаялся во вчерашнем скандале; он приехал за ней — ее увезти.

Софья Петровна снова окликнула милого обладателя домино — печального, длинного:

— «Ведь, это вы?.. Это — вы?»

Но печальный и длинный медленно покачал головою, приложил палец к устам и велел ей молчать.

Доверчиво протянула руку она белому домино: как блистает атлас, как прохладен атлас! И ее лазурная ручка зашуршала, коснувшись этой белой руки и на ней повисла бессильно (у обладателя домино деревяною оказалась рука); на мгновение над головкой ее склонилась лучистая маска, из-под белого кружева обнаружив горсть бороды, будто связку спелых колосьев.<sup>33</sup>

Никогда Сергея Сергеевича не видала она в этом блестящем виде: и она зашептала:

— «Вы простили меня?»

Из-под маски ей ответствовал вздох.

— «Мы теперь помиримся?»

Но печальный и длинный медленно покачал головою.

— «Отчего вы молчите?»

Но печальный и длинный медленно приложил свой палец к устам.

— «Это... вы, Сергей Сергеевич?»

Но печальный и длинный медленно покачал головою.

Уж они проходили в переднюю: невыразимое окружало их, невыразимое тут стояло вокруг. Софья Петровна Лихутина, снявши черную масочку, утонула лицом в своем ласковом мехе, а печальный и длинный,

надевши пальто, своей маски не снял. С изумлением Софья Петровна глядела на печального, длинного: удивлялась тому, что ему не подали офицерской верхней одежды; вместо этой одежды, он надел рваное пальтецо, из которого как-то странно просунулись его рук удлинённые кисти, ей напомнивши лилии. Вся она рванулась к нему среди изумлённых лакеев, смотревших на зрелище; невыразимое окружало их, невыразимое тут стояло вокруг.

Но печальный и длинный на освещённом пороге медленно покачал головой и велел ей молчать.

С вечера стало небо сплошною, грязною слякотью; с ночи сплошная, грязная слякоть опустилась на землю; опустился на землю туман; все теперь опустилось на землю, став на время черноватою мглой, сквозь которую проступали ужасно фонарей рыжеватые пятна. Софья Петровна Лихутина видела, как над рыжим пятном, изогнувшись, упала кариатида подъезда и как она висла; как в пятне выступал кусочек соседнего домика с полукруглыми окнами и с резьбой деревянных мелких скульптур. Длинное очертание неизвестного спутника высылось перед нею. И она умоляюще ему зашептала:

— «Мне бы извозчика».

Длинное очертание неизвестного спутника с белолыняной бородкой, опустивши на масочку порывевший картузик, рукой помаhalo в туман:

— «Извозчик!»

Софья Петровна Лихутина теперь все поняла: у печального очертания был прекрасный и ласковый голос —

— голос, слышанный ею многое множество раз, слышанный так недавно, сегодня: да, сегодня во сне; а она и забыла, как забыла она и вовсе сон прошлой ночи —...

У него был прекрасный и ласковый голос, но... — сомнения не было: у него был голос не Сергея Сергеевича. А она вот надеялась, а она вот хотела, чтобы этот (хотела она) прекрасный и ласковый, но чужой человек был ее муж. Но муж за ней не приехал, не увел из ада: увел из ада чужой.

Кто бы мог это быть?

Неизвестное очертание возвышало голос не раз: голос креп, креп и креп, и казалось, что под маскою кто-то крепнет, безмерно-огромный. Молчание лишь кидалось на голос; за чужими воротами лаем ответствовал пес. Улица убегала туда.

— «Ну, да кто ж вы?»

— «Вы все отрекаетесь от меня: я за всеми вами хожу. Отрекаетесь, а потом призываете...»

Софья Петровна Лихутина тут на миг поняла, что такое пред ней: слезы сжали ей горло; она хотела припасть к этим тонким ногам и руками своими обвиться вокруг тонких колен неизвестного, но в это мгновение прозаически загремела пролетка и сутулый, заспанный Ванька двинулся в светлый свет фонаря. Дивное очертание ее усадило в пролетку, но когда она умоляюще протянула ему из пролетки свои дрожа-

щие руки, очертание медленно приложило палец к устам и велело молчать.

А пролетка уж тронулась: если б остановилась и, о, если бы, повернула назад — повернула в светлое место, где мгновение перед тем стоял печальный и длинный и где его не было, потому что оттуда на плиты всего лишь поблескивал желтый глаз фонаря.

## ПОЗАБЫЛА, ЧТО БЫЛО

Софья Петровна Лихутина позабыла, что было. Будущее ее упало в черноватую ночь. Непоправимое напоздало; непоправимое обнимало ее; и туда отошли: дом, квартирка и муж. И она не знала, куда ее увозит извозчик. В черновато-серую ночь позади нее отвалился кусок недавнего прошлого: маскарад, арлекины; и даже (представьте себе!) — даже печальный и длинный. Она не знала, откуда ее вывозит извозчик.

За куском недавнего прошлого отвалился и весь сегодняшний день: передряга с мужем и передряги с мадам Фарнуа за «Maison Tricotons». Едва она передвинулась далее, ища опоры сознанию, едва она хотела вызвать впечатления вчерашнего дня, — и вчерашний день опять отвалился, как кусок громадной дороги, мощеной гранитом; отвалился и грянул о некое совершенно темное дно. И раздался где-то удар, раздробляющий камни.

Перед ней мелькнула любовь этого несчастного лета; и любовь несчастного лета, как все, отвалилась от памяти; и опять раздался удар, раздробляющий камни. Промелькнувши, упали: весенние разговоры ее с Nicolas Аблоуховым; промелькнувши, упали: годы замужества, свадьба: некая пустота отрывала, глотая, кусок за куском. И неслись удары металла, дробящие камень. Вся жизнь промелькнула, и упала вся жизнь, будто не было еще никогда ее жизни и будто сама она — нерожденная в жизнь душа. Некая пустота начиналась у нее непосредственно за спиной (потому что все провалилось там, ударившись в некое дно); пустота продолжалась в века, а в веках слышался лишь удар за ударом: то, слетая в некое дно, упали куски ее жизнью. Точно некий металлический конь, звонко цокая в камень, у нее за спиной порастапывал отлетевшее; точно там за спиной, звонко цокая в камень, погнался за нею металлический всадник.<sup>34</sup>

И когда она обернулась, ей представилось зрелище: абрис Мощного Всадника... Там — две конских воздри проицали, пылая, туман раскаленным столбом.

То ее настигала медновенчанная Смерть.

Тут Софья Петровна очнулась: обгоняя пролетку, пролетел вестовой, держа факел в туман. Проблестала на миг его тяжелая медная каска; а за ним, громыхая, пылая, разлетелась в туман и пожарная часть.

— «Что это там, пожар?» — обратилась Софья Петровна к извозчику.

— «Да как будто пожар: сказывали — горят острова...»

Это ей доложил из тумана извозчик: пролетка стояла у ее подъезда на Мойке.

Софья Петровна все вспомнила: все выплыло перед ней с ужасающим прозаизмом; точно не было этого ада, этих пляшущих масок и Всадника. Маски теперь показались ей неизвестными шутниками, вероятно, знакомыми, посецавшими и их дом; а печальный и длинный, — тот, наверное, был кем-нибудь из товарищей (вот спасибо ему, проводил до извозчика). Только Софья Петровна с досадою прикусила теперь свою полную губку: как могла она ошибиться и спутать знакомого с мужем? И нашептывать ему в уши признания о какой-то там совершенно вздорной вине? Ведь, теперь незнакомый знакомец (спасибо ему, проводил до извозчика) будет всем рассказывать совершенную ерунду, будто она мужа боится. И пойдет гулять по городу сплетня... Ах, уж этот Сергей Сергееч Лихутин: вы сейчас заплатите мне за ненужный позор!

С негодованием ножкою она ударила в подъездную дверь; с негодованием бухнула подъездная дверь за ее склоненной головкой. Тьма объяла ее, невыразимое на мгновение ее охватило (так бывает, наверное, в первый миг после смерти); но о смерти Софья Петровна Лихутина не помышляла нисколько: наоборот — помышляла она о таком все простом. Помышляла она, как она велит сейчас Маврушке поставить ей самоварчик; пока ставится самовар, будет она пилить и отчитывать мужа (она могла, не смолкая, пилить более четырех, ведь, часов); а когда Маврушка ей подаст самовар, то с мужем они помирятся.

Софья Петровна Лихутина теперь позвонила. Громкий звонок оповестил ночную квартиру о ее возвращении. Вот сейчас ей послышится близ передней торопливый шаг Маврушки. Торопливого шага не слышалось. Софья Петровна обиделась и позвонила опять.

Маврушка, видно, спала: стоит только ей уехать из дому, эта дура падает на постель... Но хорош же и муж ее, Сергей Сергееч: он, конечно, ее с нетерпением поджидает и не час, и не два; и, конечно, он расслышал звонок, и, конечно, он понял, что прислуга заснула. И — ни с места! А! Скажите, пожалуйста! Обижается!

Ну, так быть же ему без примиренья и чая!...

Софья Петровна принялась звонить у двери: дребезжали ее звонки — звонок за звонком... Никого, ничего! И она припала головкою к самой скважине двери; и когда она припала головкою к самой скважине двери, то за скважиной двери, от уха ее в расстоянии вершка, явственно так слышались: прерывистое сопение и чирканье спички. Господи Иисусе Христе, кто же мог там сопеть? И Софья Петровна с изумлением отступила от двери, протянувши головку.

Маврушка? Нет, не Маврушка... Сергей Сергееч Лихутин? Да, он. Почему же он там молчит, не отворяет, приложил к дверной скважине голову и прерывисто дышет?

В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна заколотилась отчаянно в дверной колкий войлок. В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна воскликнула:



— «Отворите же!»

А за дверью продолжали стоять, молчать и сопеть так испуганно, так ужасно прерывисто.

— «Сергей Сергеич! Ну, полно...»

Молчание.

— «Это — вы? Что там с вами?»

Ту-ту-ту — отступило от двери.

— «Что же это такое? Господи: я боюсь, я боюсь... Отворите, голубчик!»

Что-то громко завывало за дверью и со всех ног побежало в дальние комнаты, там возилось сперва, после двигало стульями; ей казалось, в гостиной там громко дзынкнула лампа; прогремел откуда-то издали отодвигаемый стол. Все на минуту притихло.

И потом раздался ужасающий грохот, будто упал потолок и будто бы осыпалась сверху известка; в этом грохоте Софью Петровну Лихутину поразил один только звук: глухое падение откуда-то сверху тяжелого человеческого тела.

## ТРЕВОГА

Аполлон Аполлонович Аблеухов, говоря тривиально, не переваривал никаких выездов из дому; всякий осмысленный выезд был для него выездом в Учреждение или с докладом к министру. Так шутливо ему однажды заметил управляющий министерством юстиции.

Аполлон Аполлонович Аблеухов, говоря откровенно, не переваривал непосредственных разговоров, сопряженных с взглядом друг другу в глаза: разговор посредством телефонного провода устранял неудобство. От стола Аполлона Аполлоновича телефонные провода бежали во все департаменты. Аполлон Аполлонович прислушивался с удовольствием к гудению телефона.

Только раз какой-то шутник на вопрос Аполлона Аполлоновича, из какого он ведомства, со всего размаху ударил ладонью по отверстию телефона, отчего Аполлон Аполлонович имел впечатление, будто он получил удар по щеке.

Всякий словесный обмен, по мнению Аполлона Аполлоновича, имел явную и прямую, как линия, цель. Все же прочее относилось им к чаепитию и курению окурков: Аполлон Аполлонович всякую папиросу называл неуклонно окурком; и он полагал, что русские люди — ничемные чаепийцы, пьяницы и потребители никотина (на продукты последнего он не раз предлагал повысить налог); оттого-то к сорокапятилетнему возрасту русского человека, по мнению Аполлона Аполлоновича, с головой выдавал неприличный живот и кровавого цвета нос; Аполлон Аполлонович кидался, как бык, на все красное (между прочим, кидался на нос).

Сам Аполлон Аполлонович был обладатель мертвенно-серого носика

и тоненькой талии — вы сказали бы талии шестнадцатилетней девчонки — и этим гордился.

С своеобразною ловкостью тем не менее Аполлон Аполлонович объяснял себе посещение гостей: журфиксы были для большинства местом для совместного чаепития и куренья окурков, если только выездатель не собирался пристроиться к бездельному ведомству и для этого заискивал в посещаемом доме, если только не желал он пристроить к этому ведомству сына, или этого сына женить на дочери чиновника ведомства: было одно такое бездельное ведомство. С этим ведомством Аполлон Аполлонович упорно боролся.

Аполлон Аполлонович поехал к Цукатовым с единственной целью: нанести удар ведомству. Ведомство стало что-то кокетничать с одной несомненно умеренной партией, подозрительной не своим отрицаньем порядка, а желанием тот порядок чуть-чуть изменить. Аполлон Аполлонович презирал компромиссы, презирал представителей партии и, что главное, ведомство. Представителю ведомства, равно как и представителю партии, он хотел показать, каково будет ближайшее его поведение по отношению к ведомству на высоком и только что ему предложенном посту.

Вот почему Аполлон Аполлонович с неудовольствием считал себя обязанным просидеть у Цукатовых, имея под носом неприятнейший объект созерцания: конвульсии танцующих ног и кроваво-красные неприятно шуршащие складки арлекинских нарядов; эти красные тряпки он видел когда-то: да, на площади перед Казанским собором; там эти красные тряпки именовались знаменами.

Эти красные тряпки теперь, на простой вечеринке и в присутствии главы того самого Учреждения показались ему неуместною, недостойною и прямо позорною шуткой; а конвульсии танцующих ног вызвали в его представлении одну печальную (неизбежную, впрочем) меру для предотвращения государственных преступлений.

Аполлон Аполлонович неприятно покосился на гостеприимных хозяев и стал неприятен.

Пляски красных паяцев для него обернулись в иные, кровавые пляски; пляски эти, как, впрочем, и все, начинались на улице; пляски эти, как все, далее продолжались под перекладиной двух небезызвестных столбов. Аполлон Аполлонович думал: допусти только здесь эти с виду невинные пляски, уж, конечно, продолжатся эти пляски на улице; и окончатся пляски, конечно, — там, там.

Аполлон Аполлонович, впрочем, сам плясал в юности: польку-мазурку — наверное и, быть может, лансье.

Одно обстоятельство усугубило печальное настроение высокосановной особы: какое-то вздорное домино было ему неприятно до крайности, вызвавши у него тяжелой формы припадок грудной ангины (был ли то еще припадок ангины, — Аполлон Аполлонович сомневался; и странно: что такое ангина, знают решительно все, кому приходилось вращать хоть немного колеса столь внушительных механизмов, как, например, Учре-

ждение). Так вот: вздорное домино, шут гороховый, с ним нахальнейшим образом встретилось при его появлении в зале; при его вхождении в залу вздорное домино (шут гороховый) с ужимками подбежало к нему.

Аполлон Аполлонович тщетно пытался припомнить, где он видел ужимки: и припомнить не мог.

С откровенною скукою, с едва перемогаемым отвращением Аполлон Аполлонович восседал, будто палка, прямой, с крохотной фарфоровой чашечкой в миниатюрнейших ручках; перпендикулярно в бухарский пестрый ковер оперлись его тощие ножки с поджарыми икрами, образуя нижние части, которые с верхними составляли под коленными чашками прямые, девяностоградусные углы; перпендикулярно к груди протянулись к фарфоровой чашечке чая его тонкие руки. Аполлон Аполлонович Аблеухов, особа первого класса,<sup>35</sup> казалась написанной на ковре фигуркою египтянина — угловатой, плечистой, презиравшей все правила анатомии (у Аполлона Аполлоновича, ведь, не было мускулов: Аполлон Аполлонович состоял из костей, сухожилий и жил).

Вот с такою же точно вмененной в обычай им угловатостью Аполлон Аполлонович, египтянин, излагал мудрейшую систему запретов притекшему на этот вечер профессору статистических данных — лидеру новообразованной партии, партии умеренной государственной измены, но все же измены; и с такою же точно вмененной им в обычай сухой угловатостью излагал докторально систему мудрейших советов редактору консервативной газеты из либеральных поповичей.

С обоими Аполлону Аполлоновичу, особе первого класса, было нечего делать: у обоих были и толстые, так сказать, животы (от невоздержания в отношении чая); оба были, кстати сказать, красноносы (от неумеренного потребления алкогольных напитков). Один был вдобавок попович, а поповичей Аполлон Аполлонович Аблеухов имел понятную и к тому же от предков им унаследованную слабость: не выносить. Когда Аполлон Аполлонович разговаривал по служебному долгу с сельскими, городскими и консисториальными попами,<sup>36</sup> поповскими сыновьями и внуками, то он слышал так явственно дурной запах от ног; у сельских попов, у попов городских... даже консисториальных с их сынами и внуками, ведь, так явственно выступала черная, неумытая шея и желтые ногти.

Вдруг Аполлон Аполлонович окончательно завертелся между двумя пузатыми сюртуками, принадлежащими поповичу и умеренному государственному изменнику, как будто его обоняние различило так явственно дурной запах от ног; но такое волнение именитого мужа происходило вовсе не от раздражения обонятельных центров; такое волнение произошло от внезапного потрясения чувствительной ушной перепонки: в это время тапер опять упал пальцами на рояль, а всякие звуковые созвучия и всякие прохождения мелодии сквозь сеть гармонических диссонансов слуховой аппарат Аполлона Аполлоновича воспринимал, как беспельные скрежетания по стеклу, по крайней мере, десятка ногтей.

Аполлон Аполлонович Аблеухов повернулся всем корпусом; и — там, там, он увидел конвульсии уродливых ног, принадлежащих компании

государственных преступников: виноват: танцующей молодежи; среди этих дьявольских танцев внимание его поразило то же все домино, развернувшее в танце кровавый атлас.

Аполлон Аполлонович тщетно пытался припомнить, где видел он все эти жесты. И припомнить не мог.

А когда к нему почтительно подлетел сладенький и на вид паршивенький господинчик, то Аполлон Аполлонович оживился до крайности, вычертив рукой приветственный треугольник в пространстве.

Дело в том, что паршивенький господинчик, презираемый всеми, был одной, так сказать, необходимой фигурой: ну, само собой разумеется, — фигурой переходного времени, существование которой Аполлон Аполлонович в принципе порицал, существование которой в пределах законности было, конечно, плачевно, но... что поделаете? необходимо, удобно и... во всяком случае раз фигура — существовала, то с ней приходилось мириться. В паршивеньком господинчике, если принять во внимание затруднительность его положения, было то хорошо, что паршивенький господинчик, зная цену себе, не заносился нисколько; не рядился шумихою праздно пущенных фраз, как вот этот профессор; не стучал неприличнейшим образом по столу кулаком, как вот этот редактор. Сладенький господинчик, так себе, молчаливо обслуживал разнообразные ведомства, состоя в одном ведомстве. Аполлон Аполлонович поневоле пенил господинчика, ибо он на равной ноге с чиновниками или просто людьми общества не пытался стоять — словом, был паршивенький господинчик откровенным лакеем. Что ж такое? С лакеями Аполлон Аполлонович был отменно учтив: прослужив в аблеуховском доме, ни один лакей не имел еще повода к жалобам.

И Аполлон Аполлонович с подчеркнутой вежливостью погрузился с фигуркою в обстоятельный разговор.

То, что вынес он из этого разговора, его поразило, как громом: кровавое, неприятное домино, шут гороховый, о котором подумал он только что, по словам подсевшего господинчика, оказалось... Нет, нет (Аполлон Аполлонович сделал гримасу, будто он увидел, как режут лимон и как режущий ножик окисляется в соке) — нет, нет: домино оказалось родным его сыном!..

Подлинно, уж родной ли ему его сын? Его родной сын может, ведь, оказаться просто-напросто сыном Анны Петровны, благодаря случайному, так сказать, преобладанию в жилах матерней крови; а в матерней крови — в крови Анны Петровны — оказалась же по точнейшим образом наведенным справочкам... поповская кровь (эти справочки Аполлон Аполлонович навел после бегства супруги)! Вероятно, поповская кровь изгадила незапятнанный аблеуховский род, подарив именинотому мужа просто гаденьким сыном. Только гаденький сын — и астоящий ублюдок — мог проделывать подобные предприятия (в аблеуховском роде со времен переселения в Россию кыргизкайсака, Аб-Лая, — со времен Анны Иоанновны — ничего подобного не было).

Всего более поразило сенатора то обстоятельство, что гадкое, там скакавшее домино (Николай Аполлонович) имело, как докладывал господинчик, и гадкое прошлое, что об этих гадких повадках писала жидовская пресса; тут Аполлон Аполлонович решительным образом пожалел, что все эти дни не удосужился он пробежать «Дневника происшествий», в одном ни с чем не сравнимом месте он имел только время, чтоб ознакомиться с передовицами, принадлежащими перу умеренных государственных преступников (передовицы же преступников неумеренных Аполлон Аполлонович не читал).

Аполлон Аполлонович переменял положение тела: быстро он встал и хотел пробежать в соседнюю комнату для розыска домино, но оттуда, из комнаты, быстро-быстро к нему подлетел британский гимназистик, затянутый в сюртучную пару; и ему рассеянно Аполлон Аполлонович чуть не подал руки; британский гимназистик при ближайшем осмотре оказался сенатором Аблеуховым: с разбегу Аполлон Аполлонович чуть не кинулся в зеркало, спутавши расположение комнат.

Аполлон Аполлонович переменял положение тела, повернув спину зеркалу; и — там, там: в комнате, промежуточной меж гостиной и залой, Аполлон Аполлонович вновь увидел подлое домино (ублюдка), погруженное в чтение какой-то (вероятно, подлой) записки (вероятно, порнографического содержания). И Аполлон Аполлонович не имел достаточно мужества, чтоб уличить сына.

Аполлон Аполлонович не раз менял положение совокупности сухожилий, кожи, костей, именуемых телом, и казался маленьким египтянином. С неумеренной нервностью потирал свои ручки, подходил многократно к карточным столикам, обнаружив внезапно чрезвычайную вежливость, чрезвычайное любопытство относительно весьма многообразных предметов: у статистика Аполлон Аполлонович осведомлялся некстати об ухабах Ухтомской волости Площегорской губернии; у земского ж деятеля Площегорской губернии он осведомился о цотреблении перца на острове Ньюфаундленде. Профессор статистики, тронутый вниманием именитого мужа, но не сведущий вовсе в ухабном вопросе Площегорской губернии, обещал прислать особе первого класса одно солидное руководство о географических особенностях всей планеты Земли. Земский же деятель, неосведомленный в вопросе о перце, лицемерно заметил, будто перец потребляется ньюфаундлендцами в огромном количестве, что есть факт постоянный для всех конституционных стран.

Скоро до слуха Аполлона Аполлоновича докатились какие-то конфузливо возникшие шепоты, шелестение и кривые смешки; Аполлон Аполлонович явно заметил, что конвульсия танцующих ног прекратилась внезапно: на одно мгновение успокоился его взволнованный дух. Но потом опять заработала голова его с ужасающей ясностью; роковое предчувствие всех этих беспокойно текущих часов подтвердилось: сын его, Николай Аполлонович, ужаснейший негодяй, потому что только ужаснейший негодяй мог вести себя таким отвратительным образом: в продолжение нескольких дней надевать красное домино, в продолжение нескольких

дней подвязывать маску, в продолжение нескольких дней волновать жидовскую прессу.

Аполлон Аполлонович сообразил с решительной ясностью, что пока плясали там в зале — офицеры, барышни, дамы с абитуриентами учебно-воспитательных заведений, его сын, Николай Аполлонович, доплясался до... Но Аполлон Аполлонович так и не мог привести к отчетливой ясности мысль, до чего именно доплясался Николай Аполлонович: Николай Аполлонович все же был его сыном, а не просто, так себе... — особой мужского пола, прижитой Анной Петровною, может быть, черт знает — где; у Николая Аполлоновича были, ведь, уши всех Абреуховых — уши невероятных размеров, и притом оттопыренные.

Эта мысль об ушах чуть смягчила гнев Аполлона Аполлоновича: Аполлон Аполлонович отложил намеренье выгнать сына из дома, не наведя точнейшего следствия о причинах, заставивших сына носить домино. Но во всяком случае Аполлон Аполлонович теперь лишался поста, от поста он должен был отказаться; он не мог принять поста, не отмывши позорных, честь дома порочащих пятен в поведении сына (как-никак — Абреухова).

С этою плачевною мыслью и с кривыми устами (будто он высосал бледно-желтый лимон) Аполлон Аполлонович подал всем палец и стремительно побежал из гостиной в сопровождении хозяев. И когда, пролетая по залу, в совершеннейшем ужасе озирался он по направлению стен, находя пространство освещенного зала чрезмерно огромным, то он явственно видел: кучечка седобровых матрон распешталась язвительно.

До слуха Аполлона Аполлоновича долетело одно только слово:

— «Цыпленок».

Аполлон Аполлонович ненавидел вид безголовых, оципаннных цыплят, продаваемых в лавках.

Как бы то ни было, Аполлон Аполлонович пробежал стремительно зал. В совершенной наивности он, ведь, не ведал, что в шепчущем зале нет уже ни единой души, для которой осталось бы тайной, кто такое красное, здесь недавно плясавшее домино: Аполлону Аполлоновичу так-таки не сказали ни слова о том обстоятельстве, что сын его, Николай Аполлонович, за четверть часа перед тем бросился в неприличное бегство вдоль зала, где теперь с такою явной поспешностью пробегал и он сам.

## ПИСЬМО

Николай Аполлонович, пораженный письмом, пробежал за четверть часа до сенатора мимо веселого контреданса. Как он вышел из дома, он совершенно не помнил. Он очнулся в полной прострации перед подъездом Цукатовых; продолжал там стоять в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти, машинально считая количество стоявших карет, машинально следя за движением кого-то печального, длинного, распорядившегося порядком: это был околоточный надзиратель.

Вдруг прошелся печальный и длинный мимо носа Николая Аполлоновича: Николая Аполлоновича вдруг обжег синий взор; околоточный надзиратель, разгневанный на студента в шинели, тряхнул белолобной бородкою: поглядел и прошел.

Совершенно естественно тронулся с места и Николай Аполлонович в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти, сквозь которую поглядело упорно рыжее пятно фонаря: из тумана в пятно сверху мертво пала кариатида подъезда над острием фонаря, да в пятне выступал кусочек соседнего домика; домик был черный, одноэтажный, с полукруглыми окнами и с резьбой деревянных мелких скульптур.

Но едва Николай Аполлонович тронулся, как он равнодушно заметил, что ноги его совершенно отсутствуют: бестолково захлюпали в луже какие-то мягкие части;<sup>37</sup> тщетно он пытался с теми частями управиться: мягкие части не повиновались ему; с виду они имели всю видимость очертания ног, но ног он не слышал (ног не было). Николай Аполлонович опустился невольно на приступочке черного домика; просидел так с минуту, запахнувшись в шинель.

Это было естественно в его положении (все его поведение было совершенно естественно); так же естественно распахнул он шинель, обнаруживши красное пятно своего домино; так же естественно закопался в карманах, вытащил мятый конвертик, перечитывал снова и снова содержание записки, стараясь в ней отыскать след простой шутки или след издевательства. Но следов того и другого не мог отыскать он...

«Помня ваше летнее предложение, мы спешим вас, товарищ, уведомить, что очередь ныне за вами; и вот вам немедленно поручается приступить к совершению дела над...» далее Николай Аполлонович не мог прочитать, потому что там стояло имя отца — и далее: «Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь: время не терпит; желательно, чтобы все предприятное было исполнено в ближайшие дни»... Далее — следовал лозунг: Николаю Аполлоновичу в одинаковой степени были знакомы и лозунг, и почерк. Это писал — Неизвестный: неоднократно он получал записки от того Неизвестного.

Сомнения не было никакого.

У Николая Аполлоновича повисли руки и ноги; нижняя губа Николая Аполлоновича отвалилась от верхней.

С самого рокового момента, как какая-то дама подала ему смятый конвертик, Николай Аполлонович все старался как-нибудь уцепиться за простые случайности, за посторонние совершенно праздные мысли, что как стаи выстрелом спугнутых оголтелых ворон снимаются с суковатого дерева и начинают кружиться — туда и сюда, туда и сюда, до нового выстрела; так кружились в его голове совершенно праздные мысли, например: о количестве книжек, вмещаемых полкою его книжного шкафа, об узорах обложки, которой обшита нижняя юбочка какой-то им любимой прежде особы, когда эта особа кокетливо выходила из ком-

наты, приподняв чуть-чуть юбочку (что особа эта — Софья Петровна Лихутина, и не вспомнилось как-то).

Николай Аполлонович все старался не думать, старался не понимать: думать, понять — разве есть понимание этого; это — пришло, раздавило, ревело; если ж подумать — прямо бросишься в прорубь... Что тут подумаешь? Думать нечего тут... потому что это... это... Ну, как это?..

Нет, никто тут не в силах подумать.

В первую минуту по прочтении записки в душе его что-то жалобно промышало: промышало так жалобно, как мычит кроткий вол под ножом быкобойца; в первую минуту отыскал он взором отца; и отец показался ему просто так себе, так себе: показался маленьким, стареньким — показался бесперым куренком; ему стало тошно от ужаса; в душе его опять что-то жалобно промышало: так покорно и жалобно.

Тут он бросился вон.

А теперь Николай Аполлонович все старался цепляться за внешности: вон — кариатида подъезда; ничего себе: кариатида... И — нет, нет! Не такая кариатида — ничего подобного он никогда не видал: виснет над пламенем. А вон — домик: ничего себе — черный домик.

Нет, нет, нет!

Домик неспроста, как неспроста и все: все сместилось в нем, сорвалось; сам с себя он сорвался; и откуда-то (неизвестно откуда), где он не был еще никогда, он глядит!

Вот и ноги — ничего себе ноги... Нет, нет! Не ноги — совершенно мягкие незнакомые части тут праздно болтаются.

Но попытка Николая Аполлоновича уцепиться за посторонние мысли и мелочи как-то сразу оборвалась, когда подъезд того высокого дома, где только что он безумствовал, стал шумно распахиваться и оттуда повалила кучка за кучкой; тронулись там в тумане кареты, тронулись по бокам огни фонарей. Николай Аполлонович с усилием тронулся с приступочки черного домика, Николай Аполлонович завернул в пустой закоулок.

Закоулок был пуст, как и все: как там вверху пространства; так же пуст, как пуста человеческая душа. На минуту Николай Аполлонович попытался вспомнить о трансцендентальных предметах, о том, что события этого бренного мира не посягают нисколько на бессмертие его центра и что даже мыслящий мозг лишь феномен сознания; что поскользку он, Николай Аполлонович, действует в этом мире, он — не он; и он — бренная оболочка; его подлинный дух-созерцатель все так же способен осветить ему его путь: осветить ему его путь даже с этим; осветить даже... это... Но кругом встало это: встало заборами; а у ног он заметил: какую-то подворотню и лужу.

И ничто не светило.

Сознание Николая Аполлоновича тщетно тщилося светить; оно не светило; как была ужасная темнота, так темнота и осталась. Испуганно озираясь, как-то жалко дополз он до пятна фонаря; под пятном лепетала



струя тротуара, на пятне пронеслась апельсиновая корочка. Николай Аполлонович опять принялся за записочку. Стаи мыслей слетели от центра сознания, будто стаи оголтелых, бурей спугнутых птиц, но и центра сознания не было: мрачная там прозяала дыра, пред которой стоял растерянный Николай Аполлонович, как пред мрачным колодецем. Где и когда он стоял подобным же образом? Николай Аполлонович силился вспомнить; и вспомнить не мог. И опять принялся за записочку: стаи мыслей, как птицы, низверглись стремительно в ту пустую дыру; и теперь копошились там какие-то дряблые мыслишки.

«Помня ваше летнее предложение», перечитывал Николай Аполлонович и старался к чему-то придраться. И придраться не мог.

«Помня ваше летнее предложение»... Предложение действительно было, но о нем он забыл: он однажды как-то и вспомнил, да потом нахлынули эти события только что миновавшего прошлого, нахлынуло домино; Николай Аполлонович с изумлением окинул недавнее прошлое и нашел его просто неинтересным; там была какая-то дама с хорошеньким личиком; впрочем, так себе, — дама, дама и дама!..

Стаи мыслей вторично слетели от центра сознания; но центра сознания не было; пред глазами была подворотня, а в душе — пустая дыра; над пустою дырой задумался Николай Аполлонович. Где и когда он стоял подобным же образом? Николай Аполлонович силился вспомнить; и — вспомнил: он подобным же образом стоял в сквозняках привнеского ветра, перегнувшись через перила моста, и глядел в зараженную бациллами воду (ведь, все и пошло с этой ночи: ужасное предложение, домино и вот...). Вот: Николай Аполлонович стоял, согнувшись так низко, продолжая читать записку ужасного содержания (все это — было когда-то: было множество раз).

«Мы спешим вас уведомить, что очередь ныне за вами», читал Николай Аполлонович. И обернулся: за спиною его раздавались шаги; какая-то непокойная тень двусмысленно замаячила в сквозняках закоулка. Николай Аполлонович за своими плечами увидел: котелок, трость, пальто, бородавку и нос.

Николай Аполлонович пошел навстречу прохожему, выжидательно взглядываясь; и увидел котелок, трость, пальто, бородавку и нос; все то проходило, не обратило никакого внимания (только слышался шаг да билось разрывчато сердце); на все то Николай Аполлонович обернулся и глядел за собой в грязноватый туман — туда, куда стремительно проходили: котелок, трость и уши; долго еще он стоял изогнувшись (и все то — было когда-то), раскрывая рот неприятнейшим образом и во всяком случае представляя собою довольно смешную фигуру безрукого (он был в николаевке) с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом... Разве можно было с его близорукостью рассмотреть что бы то ни было, кроме края забора?

И вернулся он к чтению.

«Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке...» Николай Аполлонович к этой фразе при-

дрался: нет, не передан, нет, не передан! И придравшись, он ощутил нечто вроде надежды, что все это — шутка... Бомба?.. Бомбы нет у него?!.. Да, да — нет!!

• . . . . .

В узелке?!

• . . . . .

Тут припомнилось все: разговор, узелок, подозрительный посетитель, сентябрьский денек, и все прочее. Николай Аполлонович явственно вспомнил, как он взял узелочек, как его засунул он в столик (узелочек был мокрый).

Тут только Николай Аполлонович впервые сумел осознать весь ужас своего положения. Как же так, как же так? И впервые его охватил невыразимый испуг: он почувствовал острое колотье в сердце: край подворотни пред ним завертелся; тьма объяла его,<sup>38</sup> как только что его обнимала; его «я» оказалось лишь черным вместилищем, если только оно не было тесным чуланом, погруженным в абсолютную темноту; и тут, в темноте, в месте сердца, вспыхнула искорка... искорка с бешеной быстротой превратилась в багровый шар: шар — ширился, ширился, ширился; и шар лопнул: лопнуло все... Николай Аполлонович очнулся: непокойная тень оказалась вторично поблизости: котелок, трость и уши; то какой-то паршивенький господинчик с бородавкой у носа (позвольте: как будто он только что господинчика видел; как будто он видел господинчика на балу; как будто бы господинчик в гостиной там стоял перед тем, стареньким, потирая ручонками) — паршивенький господинчик с бородавкой у носа остановился в двух шагах от него перед старым забором — за естественною нуждою; но, став перед старым забором, он лицо повернул к Аблеухову, щелкнул как-то губами и чуть-чуть усмехнулся:

— «Верно с бала?»

— «Да, с бала...»

Николай Аполлонович был застигнут врасплох; да и что ж тут тако-го: быть на балу еще не есть преступление.

— «Я уж знаю...»

— «Вот как? Почему же вы знаете?»

— «Да у вас под шинелью виднеется, как бы это сказать: ну — кусок домино».

— «Ну да, домино...»

— «И вчера он виднелся...»

— «То есть, как вчера?»

— «У Зимней Канавки...»

— «Милостивый государь, вы забываетесь...»

— «Ну, полноте: вы и есть домино».

— «То есть, какое такое?»

— «Да — то самое».

— «Не понимаю вас: и во всяком случае странно подходить к неизвестному вам человеку...»

— «И вовсе не к неизвестному: вы Николай Аполлонович Аблеухов: и еще вы — Красное Домино, о котором пишут в газетах...»

Николай Аполлонович был бледней полотна:

— «Послушайте», — протянул он руку к сладкому господинчику, — «послушайте...»

Но господинчик не унимался:

— «Я и батюшку вашего знаю, Аполлона Аполлоновича: только что имел честь с ним беседовать».

— «О, поверьте мне», — заволновался Николай Аполлонович, — «это все какие-то поганые слухи...»

Но окончив естественную нужду, господинчик медленно отошел от забора, застегнул пальтецо, фамильярно засунул в карман свою руку и значительно подмигнул:

— «Вам куда?»

— «На Васильевский Остров», — брякнул Николай Аполлонович.

— «И мне на Васильевский: вот — попутчики».

— «То есть мне — на набережную...»

...  
 — «Видно вы сами не знаете, куда следует вам», — усмехнулся паршивенький господинчик, — «и по этому случаю — забежим в ресторанчик».

Закоулок бежал в закоулок: закоулки вывели к улице. По улице пробегали обыденные обыватели в виде черненьких, беспокойных теней.

## ПОПУТЧИК

Аполлон Аполлонович Аблеухов, в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с лицом, напоминающим серую, чуть подернутую зеленью замшу, как-то испуганно выскочил в открытую подъездную дверь, дробным шагом сбежал с подъездных ступенек, оказавшись вдруг на промокшем и скользком крыльце, затуманенном сыростью.

Кто-то выкрикнул его имя и на этот почтительный выкрик черное очертанье кареты из рыжеющей мглы вдвинулось в круг фонаря, подставляя свой герб: единорога, прободающего рыцаря; только что Аполлон Аполлонович Аблеухов, согнувши углом свою ногу, чтобы ею опереться о подножку кареты, изобразил в сыроватом тумане египетский силуэт, только что собрался он прыгнуть в карету и улететь вместе с ней в сыроватый туман тот, как подъездная дверь за ним распахнулась; паршивенький господинчик, только что перед тем открывший Аполлону Аполлоновичу правдивую, но прискорбную истину, показался на улице; он, на нос надвинувши котелок, затрусил прочь налево.

Аполлон Аполлонович опустил тогда свою углом поднятую ногу, прикоснулся краем перчатки к борту цилиндра и дал сухой приказ оторопевшему кучеру: возвращаться домой без него. После Аполлон Аполлонович совершил невероятный поступок; такого поступка история его

жизни не знала лет уж пятнадцать: сам Аполлон Аполлонович, недоуменно моргая и прижав руку к сердцу, дабы умерить одышку, побежал вдогонку за ускользавшей в тумане спиной господинчика; примите же во внимание один существенный факт: нижние оконечности именитого мужа были миниатюрны до крайности; если вы примете во внимание этот существенный факт, вы поймете, конечно, что Аполлон Аполлонович, помогая себе, стал в беге размахивать ручкою.

Сообщаю эту драгоценную черточку в поведении недавно почившей особы первого класса единственно во внимание к многочисленным собирателям материалов его будущей биографии, о которой, кажется, так недавно писали в газетах.

Ну, так вот.

Аполлон Аполлонович Аблеухов совершил два невероятнейших отступления от кодекса своей размеренной жизни; во-первых: не воспользовался услугой кареты (принимая во внимание его пространственную болезнь, это можно назвать действительным подвигом); во-вторых: в буквальной, а не переносном смысле понесся он темною ночью по безлюднейшей улице. А когда с него ветер сбил высокий цилиндр, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов сел на карачки над лужею для извлечения цилиндра, то вдогонку убегающей куда-то спине он надтреснутым голосом закричал:

— «Мм... Послушайте!..»

Но спина не внимала (собственно, не спина — над спиной бегущие уши).

— «Остановитесь же... Павел Павлович!»

Там мелькающая спина остановилась, повернула там голову и, узнавши сенатора, побежала навстречу (не спина побежала навстречу, а ее обладатель — господин с бородавкою). Господин с бородавкою, увидев сенатора на карачках пред лужею, изумился до крайности и принялся вылавливать из лужи плывущий цилиндр.

— «Ваше высокопревосходительство!.. Аполлон Аполлонович! Какими судьбами?.. Вот-с, извольте получить» (с этими словами паршивенький господинчик подал именитому мужу высочайший цилиндр, предварительно вытертый рукавом пальто господинчика).

— «Ваше высокопревосходительство, а ваша карета?..»

Но Аполлон Аполлонович, надевая цилиндр, прервал излияния.

— «Ночной воздух полезен мне...»

Оба они направились в одну сторону: на ходу господинчик старался совпасть в шаг с сенатором, что было воистину невозможно (шажки Аполлон Аполлоновича можно было рассматривать под стеклом микроскопа).

Аполлон Аполлонович поднял глаза на попутчика: проморгал и сказал — сказал с видимым замешательством.

— «Я... знаешь-тили» (Аполлон Аполлонович и на этот раз ошибся в окончании слова)...

— «Да-с?» — насторожился тут господинчик.

— «Я знаете ли... хотел бы иметь точнейший ваш адрес, Павел Павлович...»

— «Павел Яковлевич!..» — робко поправил попутчик.

— «Виноват, Павел Яковлевич: у меня, знаете ли, плохая память на имена...»

— «Ничего-с, помилуйте: ничего-с».

Паршивенький господинчик подумал лукаво: это он все о сыне... Тоже хочется знать... а спросить-то и стыдно...

— «Ну, вот-с, Павел Яковлевич: так давайте мне адрес».

Аполлон Аполлонович Аблеухов, расстегнувши пальто, достал свою записную книжечку, переплетенную в кожу павшего носорога; оба стали под фонарем.

— «Адрес мой», — завертелся вдруг господинчик, — «переменчивый адрес: чаще всего я бываю на Васильевском Острове. Ну, да вот: восемнадцатая линия, дом 17. У сапожного мастера, Бессмертного. У него я снимаю две комнаты. Участковому писарю Воронкову».

— «Так-с, так-с, так-с, я у вас буду на днях...»

Вдруг Аполлон Аполлонович приподнял надбровные дуги: изумление изобразили его черты:

— «Но почему», — начал он, — «почему...»

— «Моя фамилия Воронков, тогда как я на самом деле Морковин?»

— «Вот именно...»

— «Так, ведь, это, Аполлон Аполлонович, потому, что там я живу по фальшивому паспорту».

На лице Аполлона Аполлоновича изобразилась брезгливость (ведь и он в принципе отрицал существование подобных фигур).

— «А моя настоящая квартира на Невском...»

Аполлон Аполлонович подумал: «Что поделаешь: существование подобных фигур в переходное время и в пределах строгой законности — необходимость печальная; и все же — необходимость».

— «Я, ваше высокопревосходительство, в настоящее время, как видите, занимаюсь все розыском: теперь — чрезвычайно важные времена».

— «Да, вы правы», — согласился и Аполлон Аполлонович.

— «Подготавливается одно преступление государственной важности... Осторожней: здесь — лужица... Преступление это...»

— «Так-с...»

— «Нам удается в скором времени обнаружить... Вот сухое место-с: позвольте мне руку».

Аполлон Аполлонович переходил огромную площадь: в нем проснулась боязнь таких широких пространств; и невольно он жался теперь к господинчику.

— «Так-с, так-с: очень хорошо-с...»

Аполлон Аполлонович старался бодриться в сем громадном пространстве, и все же терялся; к нему прикоснулась вдруг ледяная рука господина Морковина, взяла за руку, повела мимо луж: и он шел, шел и шел за ледяною рукою; и пространства летели ему навстречу. Апол-

лон Аполлонович все же понурился: мысль о судьбе, грозившей России, пересилила на мгновение все его личные страхи: страх за сына и страх перейти столь огромную площадь; с уважением Аполлон Аполлонович бросил взгляд на самоотверженного охранителя существующего порядка: господин Морковин все-таки привел его к тротуару.

— «Подготавливается террористический акт?»

— «Он самый-с...»

— «И жертвой его?..»

— «Должен пасть один высокий сановник...»

По спинному хребту Аполлона Аполлоновича побежали мурашки: Аполлон Аполлонович на днях получил угрожающее письмо; в письме извещался он, что в случае принятия им ответственного поста в него бросят бомбу; Аполлон Аполлонович презирал все подметные письма; и письмо разорвал он; пост же принял.

— «Извините, пожалуйста, если это не секрет: в кого ж они теперь метят?»

Тут произошло нечто поистине странное; все предметы вокруг вдруг как будто принизились, просыпались так явственно и казались ближе, чем следует; господин же Морковин как будто принизился тоже, показался ближе, чем следует: показался старинным и каким-то знакомым; усмешечка прошла по его губам, когда он, наклонив к сенатору голову, произнес шепоточком:

— «Как в кого? В вас, ваше высокопревосходительство, в вас!»<sup>39</sup>

Аполлон Аполлонович увидел: вон — кариатида подъезда; ничего себе: кариатида. И — нет, нет! Не такая кариатида — ничего подобного во всю жизнь он не видел: виснет в тумане. Вон — бок дома; ничего себе бок: бок как бок — каменный. И — нет, нет: бок неспроста, как неспроста и все: все сместилось в нем, сорвалось; сам с себя он сорвался и бессмысленно теперь бормотал в полуночную темь:

— «Как же так?.. Нет, позвольте, позвольте...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов все никак себе реально представить не мог, что вот эта перчаткою стянутая рука, завертевшая пуговицу у чужого пальто, что вот эти, вот, ноги и это усталое, совершенно усталое (верьте мне!) сердце под влиянием расширения газов внутри какой-то там бомбы во мгновение ока могут вдруг превратиться... в...

— «То есть, как это?»

— «Да никак-с, Аполлон Аполлонович, а очень все просто...»

Чтобы это было так просто, Аполлон Аполлонович поверить не мог: сначала он как-то задорно профыркал в свои серые бачки (— и бачки!), выпятил губы (губ не будет тогда), а потом и осунулся, голову свою опустил низко-низко и бездумно глядел, как у ног его лепетала грязная тротуарная струечка. Все кругом лепетало мокрыми пятнами, шелестело, шептало: то несся старушечий шепот осеннего времени.

Под фонарем Аполлон Аполлонович стоял, чуть покачивал серо-пепельным своим ликом, раскрывал удивленно глаза, их закатывал, вра-

шая белками (громыхала пролетка, но казалось, что там громыхало что-то страшное, тяжкое: будто удары металла, дробящие жизнь).

Господину Морковину, очевидно, стало весьма даже жаль это старое, перед ним точно в грязь осевшее очертание. Он прибавил:

— «Вы, ваше высокопревосходительство, не пугайтесь, ибо приняты строжайшие меры; и мы не допустим: непосредственной опасности нет ни сегодня, ни завтра... Через неделю же вы будете в курсе... Повремените немного...»

Наблюдая дрожавшее жалобно лицевое пятно, напоминавшее труп, осиянный бледным блеском фонарного пламени, господин Морковин подумал невольно: «Как же он постарел: да он просто развалина...» Но Аполлон Аполлонович с чуть заметным кряхтением повернул к господинчику безбородый свой лик и вдруг улыбнулся печально, отчего под глазами его образовались огромные морщинистые мешки.

Через минуту, однако, Аполлон Аполлонович совершенно оправился, помолодел, побелел: крепко он тряхнул Морковину руку и пошел, как палка прямой, в грязноватую, осеннюю муть, напоминая профилем мумию фараона Рамзеса Второго.<sup>40</sup>

Ночь чернела, синела и лиловела, переходя в красноватые фонарные пятна, точно в пятна огненной сыпи. Высились подворотни, стены, заборы, дворы и подъезды — и от них исходили всевозможные лепеты и всевозможные вздохи; несогласные многие вздохи в переулке бегущих ветряных сквозняков, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, сочетались во вздохи согласные; а беглые лепеты струечек, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, все сходились в один беглый лепет: становились вздыханием все лепеты; и все вздохи начинали там лепетать.

У! Как было сыро, как мозгло, как ночь синела и лиловела, переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей, как из этой синей лиловости под круги фонарей выбегал Аполлон Аполлонович и опять убегал из-под красного круга в лиловость!

## ПОЛОУМНЫЙ

Мы оставили Сергея Сергеевича Лихутина в тот роковой момент его жизни, когда белый как смерть, совершенно спокойный, с иронической улыбкой на твердо сжатых устах он стремительно бросился в переднюю комнату (то есть просто в переднюю) за непослушной женою и потом, щелкнув шпорами, так почтительно стал перед дверью с меховой шубкой в руках; а когда Софья Петровна Лихутина прошуршала задорно мимо носа сердитого подпоручика, то Сергей Сергеевич Лихутин, как видели мы, все с теми же слишком резвыми жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

Почему же он обнаружил свое необычное состояние духа этим странным поступком? Ну, какая может быть связь между всей этой па-

костью и горелками? Столь же мало здесь связи и смысла, сколь мало этой связи и этого смысла между угловато-длинной и печальной фигурой подпоручика в темно-зеленом мундире, слишком резвыми жестами и задорной, льняной бородкой помолодевшего лица, будто вырезанного из пахучего кипариса. Никакой связи и не было: разве вот — зеркала: на свету они отражали — угловато-длинного человека с помолодевшим вдруг личиком: угловато-длинное отражение с помолодевшим вдруг личиком, подойдя вплотную к зеркальной поверхности, ухватило себя за белую тонкую шею — ай, ай. ай! Никакой вот связи и не было между светом и жестами.

«Щелк-щелк-щелк», — тем не менее щелкали выключатели, погружая во тьму угловато-длинного человека с слишком резвыми жестами. Это, может быть, не подпоручик Лихутин?

Нет, войдите в его ужасное положение: отразиться так пакостно в зеркалах, оттого что какое-то домино нанесло оскорбление его честному дому, оттого что, согласно офицерскому слову, он обязан теперь и жену не пускать к себе на порог. Нет, войдите в его ужасное положение: это все-таки был подпоручик Лихутин — он самый.

«Щелк-щелк-щелк», — выключатель защелкал в соседней уж комнате. Так же он процелкал и в третьей. Этот звук встревожил и Маврушку; и когда она из кухни прошлепала в комнаты, го ее охватила так густо совершенная темнота.

И она проворчала:

— «Это что же такое?»

Но из тьмы раздался сухой, чуть сдержанный кашель:

— «Уходите отсюда. . .»

— «Как же так это, барин. . .»

Кто-то ей из угла просвистел повелительным, негодующим шепотом:

— «Уходите отсюда. . .»

— «Как же, барин: ведь, за барыней надо прибраться. . .»

— «Уходите вовсе из комнат».

• . . . . .  
— «И потом, сами знаете, не стелёны постели. . .»

• . . . . .  
— «Вон, вон, вон! . . .»

• . . . . .  
И едва она вышла из комнаты в кухню, как к ней в кухню пожаловал барин:

— «Убирайтесь вовсе из дому. . .»

— «Да как же мне, барин. . .»

— «Убирайтесь, скорей убирайтесь. . .»

— «Да куда мне деваться?»

— «Куда знаете сами: чтоб ноги вашей. . .»

— «Барин! . . .»

— «Не было здесь до завтра. . .»

— «Да барин же!! . . .»



— «Вон, вон, вон...»

Шубу ей в руки, да — в дверь: заплакала Маврушка; испугалась как — ужась: видно, барин-то — не того: ей бы к дворнику да в полицейский участок, а она-то сдуру — к подруге.

Ай, Маврушка...

• • • • •

Как ужасна участь обыденного, совершенно нормального человека: его жизнь разрешается словарем понятливых слов, обиходом чрезвычайно ясных поступков; те поступки влекут его в даль безбрежную, как суденышко, оснащенное и словами, и жестами, выразимыми — вполне; если же суденышко то невзначай налетит на подводную скалу житейской невнятности, то суденышко, налетев на скалу, разбивается, и мгновенно тонет простодушный пловец... Господа, при малейшем житейском толчке обыденные люди лишаются разума; нет, безумцы не ведают стольких опасностей повреждения мозга: их мозги, верно, сотканы из легчайшего эфирного вещества. Для простодушного мозга непроницаемо вовсе все то, что эти мозги пронизывают: простодушному мозгу остается разбиться; и он — разбивается.

Со вчерашнего вечера Сергей Сергеич Лихутин ощущал у себя в голове острейшую мозговую боль, точно он с разбега ударился лбом о железную стену; и пока он стоял перед стеною, он видел, что стена — не стена, что она проницаема и что там, за стеною, есть какой-то невидимый ему свет и какие-то законы бессмыслиц, как вон там, за стенами квартирки, и свет, и движенья извозчиков... Тут Сергей Сергеич Лихутин тяжело промычал и качнул головою, ощущая острейшую мозговую работу, неизвестную ему самому. По стене ползли ответы: это, верно, какой-нибудь пароходик проносился мимо по Мойке, оставляя на водах светлейшие полосы.

Сергей Сергеич Лихутин помычал еще и еще: еще и еще он мотнул головою: его мысли запутались окончательно, как запуталось все. Начал он свои размышления с анализа поступков своей неверной жены, а кончил он тем, что поймал себя на какой-то бессмысленной дряни: может быть, твердая плоскость непроницаема для него одного, и зеркальные отражения комнат суть подлинно комнаты; и в тех подлинных комнатах живет семья какого-то заезжего офицера; надо будет закрыть зеркала: неудобно исследовать любопытными взглядами поведение замужнего офицера с молодою женою; можно встретить там всякую дрянью; и на этой дряни Сергей Сергеич Лихутин стал ловить сам себя; и нашел, что сам занимается дрянью, отвлекаясь от существенной, совершенно существенной мысли (хорошо, что Сергей Сергеич Лихутин закрыл электричество; зеркала бы его отвлекали ужасно, а ему сейчас было нужно все усилие воли, чтоб в себе самом отыскать какой-нибудь мысленный ход).

Так вот почему после ухода жены подпоручик Лихутин стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

Как теперь ему быть? Со вчерашнего вечера оно — началось приползло, зашипело: что такое оно — почему оно началось? Кроме факта переодевания Николая Аполлоновича Аблеухова, прицепиться здесь было решительно не к чему. Голова подпоручика была головой обывденного человека: голова эта служить отказалась в сем деликатном вопросе, а кровь брызнула в голову: хорошо бы теперь на виски да мокрое полотенце; и Сергей Сергееч Лихутин положил себе на виски мокрое полотенце: положил и сорвал. Что-то, во всяком случае, было; и во всяком случае он, Лихутин, вмешался: и, вмешавшись, соединился он с тем; вот — оно: так стучит, так играет, так бьется, так дергает височные жилы.

Простодушнейший человек, он разбился о стену: а туда, в зазеркальную глубину, он проникнуть не мог: он всего-то лишь вслух, при жене, дал свое офицерское честное слово, что к себе добровольно жену он не пустит обратно, если только эта жена без него поедет на бал.

Как же быть? Как же быть?

Сергей Сергееч Лихутин заволновался и зачиркал вновь спичкою: протрепетали рыжие светочи; рыжие светочи озарили лицо сумасшедшего; тревожно оно теперь припало к часам: протекло уже два часа с ухода Софьи Петровны; два часа, то есть сто двадцать минут; вычислив количество убежавших минут, Сергей Сергееч принялся высчитывать и секунды:

— «Шестидесятью сто двадцать? Дважды шесть — двенадцать; да один в уме...»

Сергей Сергееч Лихутин схватился за голову:

— «Один в уме; ум — да: ум разбился о зеркало... Надо бы вынести зеркало! Двенадцать, один в уме — да: один кусочек стекла... Нет, одна прожитая секунда...»

Мысли запутались: Сергей Сергееч Лихутин расхаживал в совершеннейшей тьме: ту-ту-ту — раздавался шаг Сергея Сергееча; и Сергей Сергееч продолжал высчитывать:

— «Дважды шесть — двенадцать; да один в уме: одинажды шесть — шесть; плюс — единица: отвлеченная единица — не кусочек стекла. Да еще два нуля: итого — семь тысяч двести секундищ».

И восторжествовавши над сложнейшею мозговою работою, Сергей Сергееч Лихутин неуместно как-то обнаружил восторг свой. Вдруг он вспомнил: лицо его омрачилось:

— «Семь тысяч двести секундищ, как она убежала: двести тысяч секунд — нет, все кончено!»

По истечении семи тысяч секунд, двести первая, ведь, секунда открывала во времени начало исполнения данного офицерского слова: семь тысяч двести секунд пережил он, как семь тысяч лет; от создания мира до сей поры протекло немногим, ведь, более. И Сергею Сергеечу показалось, что он от создания мира заключен в этот мрак с острейшею головою болезнью: самопроизвольным мышлением, автономией мозга помимо терзавшейся личности. И Сергей Сергееч Лихутин лихорадочно

завозился в углу; на минуту притих; стал креститься; из какого-то ящика спешно выбросил он веревку (подобие змея), размотал, из нее сделал петлю: петля не хотела затягиваться. И Сергей Сергееч Лихутин, отчаявшись, побежал в кабинетик; веревка поволочилась за ним.

Что же делал Сергей Сергееч Лихутин? Сдерживал свое офицерское слово? Нет, помилуйте, — нет. Просто он для чего-то вынул мыло из мыльницы, сел на корточки и мылил веревку перед на пол поставленным тазиком. И едва он намылил веревку, как все его действия приняли прямо-таки фантастический отпечаток; можно было сказать; никогда в своей жизни не проделывал он столь оригинальных вещей.

Посудите же сами!

Для чего-то взобрался на стол (предварительно со стола снял он скатерть); а на стол от полу приподнял венский стулик; взгромоздившись на стул, осторожно снял лампу; бережно ее опустил себе под ноги; вместо же лампы накрепко прикрепил Сергей Сергееч Лихутин к крюку скользкую от мыла веревку; перекрестился и замер; и медленно на руках своих приподнял над головой свою петлю, имея вид человека, решившего обмотаться змеей.

Но одна блестящая мысль осенила Сергея Сергееча: надо было все-таки выбрить свою волосатую шею; да и, кроме того: надо было вычислить количество терпий и кварт: дважды умножить на число шестьдесят — семь тысяч двести.

С этою блестящею мыслью Сергей Сергееч Лихутин прошествовал в кабинетик; там при свете огарка стал брить он свою волосатую шею (у Сергея Сергееча была слишком нежная кожа, и на шее во время бритья эта нежная кожа покрылась прыщами). Выбравшись подбородок и шею, Сергей Сергееч бритвою неожиданно отхватил себе ус: надо было выбриться до конца, потому что — как же иначе? Как они взломают там двери и войдут, то увидят его, одноусого, и пригом... в таком положении; нет, никак нельзя начинать предприятия, окончательно не пробравшись.

И Сергей Сергееч Лихутин начисто выбрился: и обрившись выглядел он совершеннейшим идиотом.

Ну, теперь медлить нечего: все кончено — на лице его совершенная бритость. Но как раз в эту минуту в передней раздался звонок; и Сергей Сергееч с досадою бросил мыльную бритву, перепачкав все пальцы себе в волосиночках, с сожалением поглядел на часы (сколько часов пролетело?) — как же быть, как же быть? Одну минуту Сергей Сергееч подумал отложить свое предприятие: он не знал, что его застигнут врасплох: что времени терять невозможно, это ему напомнил звонок, прозвонивший вторично; и он вспрыгнул на стол, чтоб снять с крюка петлю; но веревка не слушалась, скользя в мыльных пальцах; Сергей Сергееч Лихутин быстрейшим образом слез и стал красться в переднюю; и пока он крался в переднюю, он заметил: медленно начинала истаявать в комнатах черно-синяя, всю ночь заливавшая его чернилами, мгла; медленно

чернильная мгла просерела, становясь мглой серой: и в сереющей мгле обозначались предметы; на столе поставленный стулик, лежащая лампа; и над всем этим — мокрая петля.

В передней Сергей Сергеич Лихутин приложил голову к двери; он замер; но, должно быть, волнение породило в Сергее Сергеиче ту степень забывчивости, при которой немислимо предпринять какое бы то ни было дело: Сергей Сергеич Лихутин не заметил, ведь, вовсе, как он сильно сопит; и когда из-за двери услышал он женины тревожные окрики, то с испугу он закричал благим матом; закричав, он увидел, что все погибает, и бросился приводить в исполнение оригинальный свой замысел; быстро вспрыгнул на стол, вытянул свежееобритую шею; и на свежеевыбритой шее, покрытой прыщами, стал затягивать быстро веревку, предварительно для чего-то подсунув два пальца меж веревкой и шеей.

После этого он для чего-то вскричал:

— «Слово и дело!»<sup>41</sup>

Оттолкнул стол ногою; и стол откатился от Сергея Сергеича на медных колесиках (этот звук и услышала Софья Петровна Лихутина — там за дверью).

## ЧТО ЖЕ ДАЛЕЕ?

Мгновение... —

Сергей Сергеич Лихутин во мраке задрыгал ногами; при этом он явственно видел фонарные отблески на отдушнике печки; он явственно слышал и стук, и царапанье во входную дверь; что-то с силою ему прижало к подбородку два пальца, так что он более уж их вырвать не мог; далее ему показалось, что он задыхается; уж над ним послышался треск (в голове верно лопнули жилы), вокруг полетела известка; и Сергей Сергеич Лихутин грохнулся (прямо в смерть); и тотчас Сергей Сергеич Лихутин из этой смерти восстал, получивши в том бытии здоровенный пинок; тут увидел он, что очнулся; и когда очнулся, то понял, что не восстал, а воссел на какой-то плоской предметности: он сидел у себя на полу, ощущая боль в позвоночнике да свои невзначай продетые и теперь прищемленные пальцы — меж веревкой и горлом: Сергей Сергеич Лихутин стал рвать на горле веревку; и петля расширилась.

Тут понял он, что он едва не повесился: недоповесился — чуть-чуть. И вздохнул облегченно.

Вдруг чернильная мгла просерела; и стала мглой серой: сероватой — сперва; а потом — чуть сереющей; Сергей Сергеич Лихутин так явственно видел, как сидит он бессмысленно в окружении стен, как явственно стены сереют японскими пейзажами, незаметно сливаясь с окружающей ночью; потолок, явственно изукрашенный ночью рыжим кружевом фонаря, стал терять свое кружево; кружево фонаря иссякало давно, становилось тусклыми пятнами, удивленно глядевшими в сероватое утро.

Но вернемся к несчастному подпоручику.

Надо сказать о Сергее Сергеече несколько оправдательных слов: вздох облегчения у Сергея Сергееча вырвался безотчетно, как безотчетны движения самовольных утопленников перед погружением их в зеленую и холодную глубину. Сергей Сергееч Лихутин (не улыбайтесь!) совершенно серьезно намеревался покончить все свои счета с землею, и намерение это он бы без всяких сомнений осуществил, если бы не гнилой потолок (в этом вините строителя дома); так что вздох облегчения относился не к личности Сергея Сергееча, а к животно-плотской и безличной его оболочке. Как бы то ни было, оболочка эта сидела на корточках и внимала всему (тысячам порохов); дух же Сергея Сергееча из глубины оболочки обнаруживал полнейшее хладнокровие.

Во мгновение ока прояснились все мысли; во мгновение ока пред его сознанием встала дилемма: как же быть теперь, как же быть? Револьверы где-то заперты; их отыскивать долго... Бритва? Бритвою — ууу! И невольно в нем все передернулось: начинать с бритвою опыт после только что бывшего первого... Нет: всего естественней растянуться здесь, на полу, предоставив судьбе все дальнейшее; да, но в этом естественном случае Софья Петровна (несомненно, она услышала стук) немедленно бросится, если не бросилась, к дворнику; протелефонят полиции, соберется толпа; под напором ее сломаются входные двери, и они нагрянут сюда; и, нагрянув, увидят, что он, подпоручик Лихутин, с необычным бритым лицом (Сергей Сергееч не подозревал, что он выглядит без усов таким идиотом) и с веревкой на шее тут расселся на корточках посреди кусков штукатурки.

Нет, нет, нет! Никогда до этого не дойдет подпоручик: честь мундира дороже ему жене данного слова. Остается одно: со стыдом открыть дверь, поскорей примириться с женою, Софьей Петровной, и дать правдоподобное объяснение беспорядку и штукатурке.

Быстро кинул он веревку под диван и позорнейшим образом побежал к входной двери, за которой теперь ничего не было слышно.

С тем же самым произвольным сопеньем он открыл переднюю дверь, нерешительно став на пороге; жгучий стыд его охватил (недоповесился!); и притихла в душе бушевавшая буря; точно он, сорвавшись с крюка, оборвал в себе все, бушевавшее только что: оборвался гнев на жену, оборвался гнев по поводу безобразного поведения Николая Аполлоновича. Ведь он сам совершил теперь небывалое, ни с чем несравнимое безобразие: думал повеситься — вместо ж этого вырвал крик с потолка.

Мгновение... —

В комнату никто не вбежал: тем не менее там стояли (он видел); наконец, влетела Софья Петровна Лихутина; влетела и разрыдалась:

— «Что ж это? Что ж это? Почему темнота?»

А Сергей Сергееч конфузливо тупился.

— «Почему тут был шум и возня?»

Сергей Сергееч холодные пальчики ей конфузливо пожал в темноте.

— «Почему у вас руки все в мыле? .. Сергей Сергеевич, голубчик, да что́ это значит?»

— «Видишь ли, Сонюшка...»

Но она его прервала:

— «Почему вы хрипите? ..»

— «Видишь ли, Сонюшка... я... простоял перед открытою форточкой (неосторожно, конечно)... Ну, так вот и охрип... Но дело не в этом...»

Он замялся.

— «Нет, не надо, не надо», — почти прокричал Сергей Сергеевич Лихутин, отдернув руку жены, собиравшейся открыть электричество, — «не сюда, не сейчас — в эту вот комнату».

И насильно он ее протащил в кабинетик.

В кабинетике явственно уже выделялись предметы; и мгновенно казалось, будто серая вереница из линий стульев и стен с чуть лежащими плоскостями теней и с бесконечностью бритвенных кое-как разброшенных принадлежностей, — только воздушное кружево, паутина; и сквозь эту тончайшую паутину проступало стыдливо и нежно в окошке рассветное небо. Лицо Сергея Сергеевича выступало неясно; когда же Софья Петровна к лицу приникла вплотную, то она увидела пред собою... Нет, это — неопишимо: увидела пред собою совершенно синее лицо неизвестного идиота; и это лицо виновато потупилось.

— «Что́ вы сделали? Вы обрили? Да вы просто какой-то дурак! ..»

— «Видишь, Сонюшка», — прохрипел ей в уши испуганный его шепот, — «тут есть одно обстоятельство...»

Но она не слушала мужа и с безотчетной тревогою бросилась осматривать комнаты. Ей вдогонку из кабинетика понеслись слезливые и хрипло звучащие выкрики:

— «Ты найдешь там у нас беспорядок...»

— «Видишь ли, друг мой, я чинил потолок...»

— «Потолок там растрескался...»

— «Надо было...»

Но Софья Петровна Лихутина не слушала вовсе: она стояла в испуге пред грудой на ковер упавших кусков штукатурки, меж которыми прочернел на пол грянувший крюк; стол с опрокинутым на нем стулом был круто отодвинут; из-под мягкой кушетки, на которой Софья Петровна Лихутина так недавно читала А н р и Б е з а н с о н, — из-под мягкой кушетки торчала серая петля. Софья Петровна Лихутина дрожала, мертвела и горбилась.

Там за окнами брызнули легчайшие пламена, и вдруг все просветилось, как вошла в пламена розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок; и в разрывах гой сети теперь голубело чуть-чуть: голубело такое все нежное; все наполнилось трепетной робостью; все наполнилось удивленным вопросом: «Да как же? А как же? Разве я — не сияю?» Там на окнах, на спицах намечался все более трепет; там на спицах высоких высоко рублился блеск. Над душою ее вдруг прошлись легчай-

шие голоса: и ей все просветилось, как на серую петлю пал из окна бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча встающего солнца. Ее сердце наполнилось неожиданным трепетом и удивленным вопросом: «Да как же? А как же? Почему я забыла?»

Софья Петровна Лихутина тут склонилась на землю, протянула руку к веревке, на которой зарели нежнейшие розоватые кружева; Софья Петровна Лихутина поцеловала веревку и тихонько заплакала: чей-то образ далекого и вновь возвращенного детства (образ забытый не во все — где она его видела: где-то недавно, сегодня?): этот образ над ней поднимался, поднялся и вот встал за спиной. А когда она повернулась назад, то она увидела: за спиной стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин, долговзый, печальный и бритый: на нее поднимал голубой кроткий взор:

— «Уж прости меня, Сонюшка!»

Почему-то она припала к его ногам, обнимала и плакала:

— «Бедный, бедный: любимый мой! . . .»

Что они меж собою шептали, Бог ведает: это все осталось меж ними; видно было: в зарю поднималась над ней его сухая рука:

— «Бог простит. . . Бог простит. . .»

Бритая голова рассмеялась так счастливо: кто же мог теперь не смеяться, когда в небе смеялись такие легчайшие пламена?

Розоватое, ключковатое облачко протянулось по Мойке: это было облачко от трубы пробежавшего пароходика; от парходной кормы холодом проблестала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным, отдавая — здесь, там — искрою золотой, отдавая — здесь, там — бриллиантом; отлетая от берега, полоса разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу, отчего обе полосы начинали блистать роем кольчатых змей. В этот рой въехала лодка; и все змеи разрезались на алмазные струнки; струночки тотчас же путались в серебро чертящую канитель, чтоб потом на поверхности водной качнуться звездами. Но минутное волнение вод успокоилось; воды сгладились, и на них погасли все звезды. Понеслись теперь снова блиставшие водно-зеленые плоскости между каменных берегов. Поднимаясь к небу черно-зеленой скульптурой, странно с берега встало зеленое, белоколонное здание, как живой кусок Ренессанса.

## ОБИВАТЕЛЬ

На далекое расстояние и туда, и сюда раскидались закоулки и улочки, улицы просто, проспекты; то из тьмы выступал высоковерхий бок дома, кирпичный, сложенный из одних только тяжестей, то из тьмы стена зияла подъездом, над которым два каменных египтянина на руках своих возносили каменный выступ балкона. Мимо высоковерхого дома, мимо кирпичного бока, мимо всех миллионнопудовых громад — из тьмы в тьму — в петербургском тумане Аполлон Аполлонович шел, шел,

шел, преодолевая все тяжести: перед ним уж вычерчивался серый, гниловатый заборчик.

Тут откуда-то сбоку стремительно распахнулась низкая дверь и осталась открытой; повалил белый пар, раздалась руготня, дребезжание жалкое балалайки и голос. Аполлон Аполлонович невольно прислушался к голосу, озирая мертвые подворотни, стрекотавший в ветре фонарь и отхожее место.

Голос пел:

Духом мы к Тебе, Отец,  
В небо мыслию парим  
И за пищу от сердец  
Мы Тебя благодарим.

Так пел голос.

Дверь захлопнулась. В обывателе Аполлон Аполлонович подозревал что-то мелкое, пролетающее за стеклом каретных отверстий (расстояние, ведь, между ближайшей стеною и дверцей кареты исчислялось Аполлоном Аполлоновичем многими миллиардами верст). И вот перед ним все пространства сместились: жизнь обывателя вдруг обстала его подворотнями, стенами, а сам обыватель предстал пред ним голосом.

Голос же пел:

Духом мы к Тебе, Отец,  
В небо мыслию парим  
И за пищу от сердец  
Мы Тебя благодарим.

Вот какой обыватель? К обывателю Аполлон Аполлонович восчувствовал интерес, и был миг, когда он хотел постучаться в первую дверь, чтоб найти обывателя; тут он вспомнил, что обыватель его собирается казнить позорною смертью: набок съехал цилиндр, дрябло так опустились над грудью изможденные плечи: —

— да, да, да: они его разорвали на части: не его, Аполлона Аполлоновича, а другого, лучшего друга,<sup>42</sup> только раз посланного судьбой; один миг Аполлон Аполлонович вспоминал те седые усы, зеленоватую глубину на него устремленных глаз, когда они оба склонялись над географической картой империи, и пылала мечтами молодая такая их старость (это было ровно за день до того, как)... Но они разорвали даже лучшего друга, первого между первыми и...<sup>43</sup> Говорят, это длится секунду; и потом — как есть ничего... Что ж такое? Всякий государственный человек есть герой, но — брр-брр... —

Аполлон Аполлонович Аплеухов поправил цилиндр и выпрямил плечи, проходя в гниловатый туманчик, в гниловатую жизнь обывателя, в эти сети из стен, подворотен, заборов, наполненных слизью, оседающих жалко и дрябло, словом — в сплошное дрянное, гнилое, пустое и общее отхожее место. И ему показалось теперь, что его ненавидит и та вот тупая стена, и этот вот гниловатый заборчик; Аполлон Аполлонович



по опыту знал, что они ненавидели (днем и ночью ходил он покрытый туманом и х злобы). Кто такое они? Ничтожная кучка, смрадная, как и все? Мозговая игра Аполлона Аполлоновича воздвигала пред взором его туманные плоскости; но разорвались все плоскости: исполинская карта России предстала пред ним, таким маленьким: неужели это враги: враги — исполинская совокупность племен, обитающих в этих пространствах: сто миллионов. Нет, больше...

«От финских хладных скал до пламенной Колхиды»...<sup>44</sup>

Что такое? Его ненавидели?.. Нет: простиралась Россия. А его?.. Его собираются... собираются... Нет: брр-брр... Праздная мозговая игра. Лучше цитировать Пушкина:

Пора, мой друг, пора!.. Покоя сердце просит.  
Бегут за днями дни. И каждый день уносит  
Частицу бытия. А мы с тобой вдвоем  
Располагаем жить. А там: глядь — и умрем...<sup>45</sup>

С кем же вдвоем располагает он жить? С сыном? Сын — ужаснейший негодяй. С обывателем? Обыватель собирается... Аполлон Аполлонович вспомнил, что некогда располагал он прожить свою жизнь с Анной Петровной, но окончании государственной службы перебраться на дачку в Финляндию, а, ведь, вот: Анна Петровна уехала — да-с, уехала!..

— «Уехала, знаете ли: ничего не поделаешь...»

Аполлон Аполлонович понял, что у него нет никакого спутника жизни (до этой минуты он как-то об этом не удосужился вспомнить) и что смерть на посту будет все-таки украшением прожитой его жизни. Ему стало как-то по-детски и печально, и тихо, — так тихо, так как-то уютно. Вокруг только слышался шелест струящейся лужицы, точно чья-то мольба — все о том, об одном: о том, чего не было, но что быть бы могло.

Медленно начинала истаивать черно-серая, всю ночь душившая мгла. Медленно черно-серая мгла просерела и стала мглой серой: сероватой — сначала; потом — чуть сереющей; а домовые стены, освещенные в ночи фонарями, стали бледно сливаться с отлетающей ночью. И казалось, что рыжие фонари, вокруг себя бросавшие только что рыжие свету, стали вдруг иссякать; и постепенно иссякли. Лихорадочно горевшие светочи пропадали на стенах. Наконец, фонари стали тусклыми точками, удивленно глядевшими в сероватый туман; и мгновенно казалось, будто серая вереница из линий, спицев и стен с чуть лежащими плоскостями теней, с бесконечностью оконных отверстий — не громада камней, а воздушно вставшее кружево, состоящее из узоров тончайшей работы, и сквозь эти узоры рассветное небо проступило стыдливо.

Навстречу Аполлону Аполлоновичу быстро кинулся бедно одетый подросток; девушка лет пятнадцати, повязанная платочком; а за нею в рассветном тумане шло очертание мужчины: котелок, трость, пальто, уши, усы и нос; очертание, очевидно, пристало к подростку с гнусней-

шими предложениями; Аполлон Аполлонович считал себя рыцарем; неожиданно для себя снял он цилиндр:

— «Милостивая государыня, осмелюсь ли я предложить вам до дому руку: в это позднее время молодым особам вашего пола не безопасно появляться на улице».

Бедно одетый подросток увидел так явственно, что какая-то черная там фигурка почтительно перед ней приподняла цилиндр; бритая, мертвая голова выползла на мгновение из-под воротника и опять туда уползла.

Они шли в глубоком безмолвии; все казалось ближе, чем следует: мокрым и старым, уходящим в века; все это и прежде Аполлон Аполлонович видывал издали. А теперь — вот оно: подворотни, домики, стены и вот этот к руке его боязнью прижатый подросток, для которого он, Аполлон Аполлонович, не злодей, не сенатор: просто так себе — неизвестный добрый старик.

Они шли до зеленого домика с кривыми воротами и с гнилой подворотней; на крылечке приподнял сенатор цилиндр, прощаясь с подростком; а когда за ним захлопнулась дверь, то старческий рот искривился так жалобно; в совершенную пустоту зажевали мертвые губы; в это время откуда-то издали раздалось, будто пенье смычка: пение петербургского петела, извещавшего неизвестно о чем и будившего неизвестно кого.

Где-то сбоку на небе брызнули легчайшие пламена, и вдруг все просветилось, как вошла в пламена розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок; и в разрывах той сети теперь голубел голубой лоскуточек. Отяжелела и очертилась вереница линий и стен; проступили сбоку какие-то тяжести — и уступы, и выступы; проступили подъезды, кариакиды и карнизы кирпичных балконов; но на окнах, на шпицах замечался все более трепет; и от окон, от спицев зарубинился блеск.

Легчайшее кружево обернулось утренним Петербургом: Петербург расцвелится легко и причудливо, там стояли дома песочного цвета о пяти своих этажах; там стояли дома темно-синие, там — серые; рыже-красный Дворец зазарел.

Конец четвертой главы



---

## ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа  
и о сардиннице ужасного содержания

Блеснет завтра луч денницы  
И заиграет яркий день,  
А я, быть может, уж гробницы  
Сойду в таинственную сень.

А. Пушкин<sup>1</sup>

### ГОСПОДИНЧИК

Николай Аполлонович молчал всю дорогу.

Николай Аполлонович обернулся и уставился прямо в лицо за ним бегущему господинчику:

— «Извините меня: с кем...»

Петербургская слякоть шелестела тальми струями; там карета в туман пролетела огнем фонарей...

— «С кем имею честь?..»

Всю дорогу он слышал докучное хлюпанье за ним бегущих калош да чувствовал беганье у себя по спине воспаленных и маленьких глазок того котелочка, который за ним увязался от подворотни — там, в закоулочке.

— «Павел Яковлевич Морковин...»

И вот: Николай Аполлонович обернулся назад и уставился прямо в лицо господинчику; лицо ничего не сказало: котелок, трость, пальто, бороденка и нос.

После впал он в забвение, отвернувшись к стене, по которой бежал всю дорогу теневой котелочек, чуть-чуть сдвинутый набок; вид этого котелочка ему внушил омерзение; петербургские сырости заползали под кожу; петербургские слякоти шелестели тальми струями; гололедица, изморось промочили пальто.

Котелок на стене то вытягивал свою тень, а то умалился; опять отчетливый голос раздался за спиной Абреухова:

— «Бьюсь об заклад, что вы из сплошного кокетства изволите на себя напустить этот тон равнодушия...»

Все то было когда-то.

— «Слушайте, — попытался сказать котелку Николай Аполлонович, — я, признаться сказать, удивлен; я, признаться сказать...»

Вон там вспыхнуло первое светлое яблоко; там — второе; там — третье; и линия электрических яблок обозначила Невский Проспект, где стены каменных зданий заливаются огненным мброком во всю круглую, петербургскую ночь и где яркие ресторанчики кажут в оторопь этой ночи свои ярко-красные вывески, под которыми шныряют все какие-то пернатые дамы, укрывая в боа кармины подрисованных губ,<sup>2</sup> — среди цилиндров, околышей, котелков, косовороток, шинелей — в световой, тусклой мути, являющей из-за бедных финских болот над многоверстной Россией геенны широкоотверстую раскаленную пасть.

Николай Аполлонович следил, все следил за пробегом по стенам теневого черного котелка, вековой темной тени; Николай Аполлонович знал: обстоятельства встречи с загадочным Павлом Яковлевичем ему не позволили оборвать эту встречу прямо там — под заборчиком — с настоящим достоинством для себя: надо было с величайшею осторожностью выпытать, что такое подлинно этот Павел Яковлевич о нем знает, что такое подлинно было сказано между ним и отцом; оттого-то он медлил прощаться.

Вот открылась Нева: каменный перегиб Зимней Канавки под собой показывал плаксивый простор, и оттуда бросились натиски мокрого ветра; за Невой встали абрисы островов и домов; и бросали грустно в туман янтарные очи; и казалось, что плачут.

— «А на самом деле и вы не прочь бы со мною, что называется, снюхаться?» — приставал за спиной тот же все паршивенький голос.

Вот и площадь; та же серая на площади возвышалась скала; тот же конь кидался копытом; но странное дело: тень покрыла Медного Всадника. И казалось, что Всадника не было; там вдали, на Неве, стояла какая-то рыболовная шхуна; и на шхуне блестел огонечек.

— «Мне пора бы домой...»

— «Нет, пожалуйста: что теперь дома!»

И они прошли по мосту.

Впереди них шла пара: сорокапятилетний, одетый в черную кожу моряк; у него была шапка с наушниками, были и синеватые щеки и ярко-рыжая с проседью борода; сосед его, просто какой-то гигант в сапожниках, с темно-зеленою поярковой шляпой шагал — чернобровый, черноволосый, с маленьким носиком, с маленькими усами.<sup>3</sup> Оба что-то напомнили; и оба прошли в раскрытую дверь ресторанчика под бриллиантовой вывеской.

Под буквами бриллиантовой вывески Павел Яковлевич Морковин с непонятым нахальством схватил Аблеухова за крыло николаевки:

— «Вот сюда, Николай Аполлонович, в ресторанчик: вот — как раз, вот — сюда-с!...»

— «Да позвольте же...»

Павел же Яковлевич, рукою держа крыло николаевки, тут принялся зевать: он выгибался, гнулся, вытягивался, подставляя открытое ротовое

отверстие Николаю Аполлоновичу, как какой людоед, собиравшийся Аплеухова проглотить: проглотить непременно.

Этот припадок зевоты перешел к Аплеухову; губы последнего закри-  
вились:

— «Ааа — а: аааа...»

Аплеухов попробовал вырваться:

— «Нет, пора мне, пора».

Но таинственный господин, получивший дар слова, непочтительным образом перебил:

— «Э, да ну вас — все знаю: скучаете?»

И не давши сказать, перебил его вновь:

— «Да, скучаю и я: а при этом, добавьте, я с насморком; все эти дни я лечусь сальной свечкой...»

Николай Аполлонович хотел что-то вставить, но рот его разорвался в зевоте:

— «Ааа: ааа — ааа!...»

— «Ну-ну — видите, как скучаете!»

— «Просто хочется спать...»

— «Ну, допустим, а все же (вникните и вы в мое положение): редкий случай, рредчайший...»

Делать нечего: Николай Аполлонович чуть-чуть передернул плечами и с едва заметной брезгливостью открыл ресторанный дверь... Чернотой обвисшие вешалки: котелками, палками, пльтами.

— «Редкий случай, рредчайший, — щелкнул пальцем Морковин, — «говорю это вам напрямик: молодой человек таких исключительных дарований, как вы?.. Отпустить?.. Оставить в покое?!..»

Густоватый, белеющий пар какого-то блинного запаха, смешанный с уличной мокротой; леденящим обжогом в ладонь упал номерок.

— «Хи-хи-хи, — потирал ладонями расходившийся Павел Яковлевич, снявший пальтишко, — молодому философу меня узнать любопытно: не правда ли?»

Петербургская улица начинала теперь, в помещении, едко печь лихорадкой, расплзаясь по телу десятками красноногих мурашиков:

— «Ведь все меня знают... Александр Иванович, ваш батюшка, Бутищенко, Шишиганов, Пеппбвич...»

После этих сказанных слов Николай Аполлонович почувствовал живейшее любопытство от трех обстоятельств; во-первых: незнакомец — в который раз! — подчеркнул знакомство с отцом (это что-нибудь значило); во-вторых: незнакомец обмолвился об Александре Ивановиче и привел это имя и отчество рядом с именем отчим; наконец, незнакомец привел ряд фамилий (Бутищенко, Шишиганов, Пеппбвич), так странно знакомо звучащих...

— «Интересная-с», — подтолкнул Павел Яковлевич Аплеухова на яркогубую проститутку в светло-оранжевом платье и с турецкою папирской в зубах...

— «Вы как насчет женщин?.. А то бы...»

- «?»
- «Ну, не буду, не буду: вижу, что скромник... Да и вовсе не время... Есть о чем...»
- А кругом раздавалось:
- «Кто да кто?»
- «Кто?.. Иван!..»
- «Иван Иваныч!..»
- «Иван Иваныч Иванов...»
- «Так вот — я говорю: Ивван-Иванч?.. А?.. Ивван-Иванч?.. Что же вы Ивван-Иванч? Ай, ай, ай!..»
- «А Иван Иваныч-то...»
- «Все это враки».
- «Нет, не враки... Спросите Ивана Иваныча: вот он там, в миллиардной... Эй, эй!»
- «Ивван!..»
- «Иван Иваныч!»
- «Ивван Иваныч Иванов...»
- «И какая же ты, Иван Иваныч, свинья!»

Где-то подняли дым коромыслом; оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в копоть бросивших уши рвущие звуки, — вдруг рывкнула: под машиной купец, Иван Иваныч Иванов, махая зеленой бутылкою, встал в плясовую позицию с дамой в растерзанной кофточке; там горела грязь ее нечистых ланит; из-под рыжих волос, из-под павших на лоб малиновых перьев, к губам прижимая платок, чтобы вслух не икать, пучеглазая дама смеялась; и в смехе запрыгали груди; ржал Иван Иваныч Иванов; публика пьяная разгрелась вокруг.

Николай Аполлонович глядел изумленно: как он мог попасть в такое поганое место и в такой поганой компании в те минуты, когда?..

— «Ха-ха-ха-ха-ха», — разревелась все та же пьяная кучка, когда Иван Иваныч Иванов схватил свою даму за волосы и пригнул ее к полу, отрывая громадное малиновое перо; дама плакала, ожидая побоев; но купца успели во время от нее оторвать. Ожесточенно, мучительно в дикой машине, взревая и бацая бубнами, страшная старина, как на нас из глубин набегающий вулканический взрыв подземных неистовств, звуком крепла, разрасталась и плакала в ресторанное зало из труб золотых: «Ууймии-теесь ваалнеения страа-аа-сти...»<sup>4</sup>

— «Уу-снии безнаа-дее-жнаа-ее сее-ее-рддее...»

• • • • •  
— «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!..»

### РЮМКУ ВОДОЧКИ!

Вон грязные комнаты старого, адского кабака; вон его стены; стены эти расписаны рукой маляра: кипень финских валов, откуда — из дáлей, проницая мозглый и зеленоватый туман, на теневых больших парусах к Петербургу опять полетели судна осмоленные снасти.

— «Признавайтесь-ка... Эй, две рюмочки водки! — признайтесь...» — выкрикивал Павел Яковлевич Морковин — белый, белый: обрюзгший — весь оплыл, ожирел; белое, желтоватое личико казалось все ж худеньким, хотя расплылось, ожирело: здесь — мешком; здесь — сосочком; здесь — белою бородавочкой...

— «Я бьюсь об заклад, что для вас представляю загадку, над которой в эту минуту тщетно работает ваш умственный аппарат...»

Вон, вон столик: за столиком сорокапятилетний моряк, одетый в черную кожу (и как будто — голландец), синеватым лицом наклонился над рюмкою.

— «Вам с пикончиком?..»

Кровавые губы голландца — в который раз? — там тянули пламенем жгущий аллаш...<sup>5</sup>

— «Так с пикончиком?»

А рядом с голландцем, за столиком грузно так опустилась тяжело-весная, будто из камня, громада.

— «С пикончиком».

Чернобровая, черноволосая, — громада смеялась двусмысленно на Николая Аполлоновича.

— «Ну-с, молодой человек?» — раздался в это время над ухом его тенорок незнакомца.

— «Что такое?»

— «Что вы скажете о моем поведении на улице?»

И казалось, что та вот громада кулаком ударит по столику — треск рассеявшихся досок, звон разбитых стаканчиков огласит ресторан.

— «Что сказать о вашем поведении на улице? Ах, да что вы об улице? Я же, право, не знаю».

Вот громада вынула трубочку из тяжелых складок кафтана, всунула в крепкие губы, и тяжелый дымок вонючего курева задымился над столиком.

— «По второй?»

— «По второй...»

• • • • •  
Перед ним блистал терпкий яд; и желая себя успокоить, он выбрал себе на тарелку какие-то вялые листья; так стоял с полной рюмкой в руке, пока Павел Яковлевич озабоченно копошился, стараясь дрожащею вилкою попасть в склизкий рыжичек; и попав в склизкий рыжичек, Павел Яковлевич обернулся (на усах его повисли соринки).

— «Неправда ли, было там страшно?»

Так стоял он когда-то (ибо все это — было)... Но рюмки чокнулись звонко; так же чокнулись рюмки... — где чокнулись?

— «Где?»

Николай Аполлонович силился вспомнить. Николай Аполлонович, к сожалению, вспомнить не мог.

— «А там — под забором... Нет, хозяин, сардинок не надо: плавают в желтой слизи».

Павел Яковлевич сделал Аслеухову пояснительный жест.

— «Как я там вас настиг: вы стояли над лужею и читали записочку: ну, думаю я, редкий случай, редчайший. . .»

Кругом стояли все столики; за столиками бражничал какой-то убудочный род; и валил, валил сюда этот род: ни люди, ни тени, — поражая какими-то воровскими ухваточками; все то были жители островов, а жители островов — род убудочный, странный: ни люди, ни тени. Павел Яковлевич Морковин тоже был с острова: улыбался, хихикал, поражая какими-то воровскими ухватками.

— «Знаете что, Павел Яковлевич, я, признаться сказать, жду от вас объяснения. . .»

— «Моего поведения?»

— «Да!»

— «Я его объясню. . .»

Вновь блеснул терпкий яд: он пьянел — все вертелось; призрачней блистал кабачок; синеватей казался голландец, а громада — огромней; тень ее изломалась на стенах и казалась будто увенчанной неким венцом.

Павел Яковлевич все более лоснился — оплывал, ожиревал: здесь — мешком; здесь — сосочком; здесь — белою бородавочкой; одутловатое это лицо в его памяти вызвало кончик сальной, свиной, оплывающей свечки.

— «Так по третьей?»

— «По третьей. . .»

— «Ну, так что же вы скажете о разговоре под подворотней?»

— «Про домино?»

— «Ну, само собой разумеется! . . .»

— «Я скажу, что сказал. . .»

— «Со мной можно быть вполне откровенным».

От пахнущих губ господина Морковина Николай Аполлонович хотел с отвращением отвернуться, но себя перемог; а когда его чмокнули в губы, то невольно свой взгляд, полный пытки, бросил он в потолок, сметая рукою с высокого лба прядь своих волосинок, в то время как губы его неестественно растянулись в улыбке и, натянуто прыгая, задрожали (неестественно прыгают так лапки терзаемых лягушат, когда лапок этих коснутся концы электрических проводов).

— «Ну вот: так-то лучше; и не думайте ничего: домино — так себе. Домино просто выдумал я для знакомства. . .»

— «Виноват, вы закапались сардиночным жиром», — перебил его Николай Аполлонович, а сам думал: «Это он все хитрит, чтобы выпытать: надо быть осторожным. . .» Мы забыли сказать: домино с себя Николай Аполлонович снял в ресторанной передней.

— «Согласитесь: дикая мысль, что вы — домино. . . Хи-хи-хи: ну, откуда такое возьмется — а? Послушайте? Я себе говорю: эй, Павлуша, да это, батенька мой, просто так себе: курьезное озарение — и при том под забором, при свершении, так сказать, необходимой потребности челове-



ческой... Домино!.. Просто-напросто, предлог для знакомства, милый вы человек, потому что очень, очень, очень наслышаны: о ваших умственных качествах».

Они отошли от водочной стойки, пробираясь меж столиков. И опять оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в коготь бросивших уши рвущие звуки, вдруг рявкнула; задились, разбиваясь об уши, стая маленьких колокольчиков; из отдельного кабинета неслась чья-то наглая похвальба.

— «Человек: чистую скатерть...»

— «И водки...»

— «Ну, так вот-с: покончили с домино. А теперь, дорогой, о другом нас связующем пунктике...»

• . . . . .  
— «Вы сказали о каком-то нас связующем пункте... Что же это за пункт?»

Положили локти на столик. Николай Аполлонович ощутил опьянение (от усталости, верно); все краски, все звуки, все запахи безобразней ударились в раскаленный добела мозг.

— «Да-да-да: курьезнейший, любопытнейший пунктик... Прекрасно: мне почки с мадерою, а вам... тоже почек?»

— «Что же это за пункт?»

— «Половой, две порции почек... Вы изволили спрашивать о любопытнейшем пункте? Ну, так вот-с — я признаюсь: узы-то — нас связавшие узы — суть священные узы...»

— «?»

— «Это узы родства».

— «?»

— «Узы крови...»

В это время подали почки.

— «О, не думайте, чтобы узы те... — Соли, перцу, горчицы! — были связаны с пролитием крови: <sup>6</sup> да что вы дрожите, голубчик? Ишь ты, как вспыхнули, занялись — молодая девица! Передать вам горчицы? Вот перец».

Николай Аполлонович так же, как и Аполлон Аполлонович, переперчивал суп; но он остался с висящей в воздухе перечницей.

— «Что вы сказали?»

— «Я сказал вам: вот перец...»

— «О крови...»

— «А? Об узах? Под кровными узами разумею я узы родства». — Маленький столик побежал тут по залу (водка действовала); маленький стол расширялся без толку и меры; Павел же Яковлевич вместе с краем стола отлетел, подвизался грязной салфеткою, копошился в салфетке и имел вид трупного червяка.

— «Все-таки, извините меня, я, должно быть, вас вовсе не понял: скажите же, что разумеете вы под нашим родством?»

— «Я, Николай Аполлонович, прихожусь, ведь, вам братом...»

— «Как братом?»

Николай Аполлонович даже привстал, но лицо перегнул через стол к господничку; с задрожавшими нервно ноздрями лицо его казалось теперь бело-розовым в шапке вставших дыбом волос; волосы же были какого-то туманного цвета.

— «Разумеется, незаконным, ибо я, как-никак, плод несчастной любви родителя вашего... с домовою белошвейкою...»<sup>7</sup>

Николай Аполлонович сел; темно-синие и еще потемневшие очи, и легчайшее благовоние уайт-розовых ароматов,<sup>8</sup> и тонкие, скатерть терзавшие пальцы его выражали томление смерти: Аблеуховы дорожили всегда чистотой своей крови; дорожил кровью и он; — как же так, как же так: папаша его, стало быть, имел...

— «Папаша ваш, стало быть, имел в своей юности интересный романчик...»

Николай Аполлонович вдруг подумал, что Морковин фразу продолжит словами: «который окончился моим появлением» (что за чушь, что за шальная мысль!).

— «Который окончился моим появлением на свет».

Безумие!

Это было когда-то.

— «И по этому случаю нашей родственной встречи разоъем еще по одной».

Ожесточенно, мучительно в дикой машине, взревая и бацая бубнами, страшная старина, как на нас из глубин набегающий вопль, звуком крепла, разрасталась и плакала в ресторанное зало из труб золотых.

• • • • •

— «Вы хотели сказать, что родитель мой...»

— «Наш общий родитель».

— «Если хотите, наш общий», — Николай Аполлонович передернул плечами.

— «А-а-а: плечико? Как передернулось!» — перебил его Павел Яковлевич. — «Передернулось — знаете отчего?»

— «Отчего?»

— «Оттого, что для вас, Николай Аполлонович, родство с подобным субъектом, как-никак, оскорбительно... И потом вы, знаете, похрабрили».

— «Похрабрел? С какой стати мне трусить?»

— «Ха-ха-ха!» — не слушал его Павел Яковлевич, — «похрабрили вы оттого, что по вашему мнению... — Еще почек...»

— «Благодарствуйте...»

— «Объяснилось мое отменное любопытство и наш разговор под забором... И соусу... Вы меня, пожалуйста, извините, что я применяю к вам, мой голубчик, психологический метод, так сказать, пытки — разумеется, ожиданием; я вас щупаю, мой родной, отсюда, оттуда: забегу и туда, и сюда; присяду в засаду. И потом выскочу».

Николай Аполлонович прищурил глаза, и из темных длиннейших ресниц глаза его просинели и дикой, и терпкой решимостью не просить о пощаде, в то время как пальцы пробарабанили по столу.

— «Вот го же о нашем с вами родстве; и это — нащупывание: как отнесетесь... А теперь должен я вас одновременно обрадовать и огорчить-с... Нет, вы меня извините — я всегда при новом знакомстве поступаю подобным же образом: остается заметить вам, что братьями, но... при разных родителях».

— «?...»

— «Про Аполлона Аполлоновича всего-навсего я пошутил: никакого романчика с белошвейкой и не было; не было вообще — хе-хе-хе — никакого романчика... Исключительно нравственный человек в наш безнравственный век...»

— «Так почему же мы — братья?»

— «По убеждению...»

— «Как вы можете мои убеждения знать?»

— «Вы — убежденнейший террорист, Николай Аполлонович». (Все-все в Николае Аполлоновиче слилось в сплошное томление; все-все слилось в одну пытку).

— «Террорист завязтый и я: изволите видеть, фамилии небезызвестные вам я закинул неспроста: Бутищенка, Шишиганова и Пеппóвича... Помните, давеча приводил? Здесь был тонкий намек, понимайте, мол, как хотите... Александр Иванович Дудкин, Неуловимый!.. А? А?.. Вы — поняли, поняли? Не смущайтесь же: поняли, ибо вы — начитанный человек, теоретик наш, умнейшая бестия: ууу, каналья моя, дайте вас расцелую...»

— «Ха-ха-ха», — откинулся Николай Аполлонович на спинку убогого стула, — «ха-ха-ха-ха-ха...»

— «И-хи-хи», — подхватил Павел Яковлевич, — «и-хи-хи...»

— «Ха-ха-ха», — продолжал хохотать Николай Аполлонович.

— «И-хи-хи», — подхихикивал и Морковин.

Громада с соседнего столика разгневанно повернулась на них и глядела внимательно.

— «Вы чего?»

Николай Аполлонович рассердился.

— «Своя своих не познаша».

— «Я вам вот чтó скажу», — совершенно серьезно сказал Николай Аполлонович, сделавши вид, что он бешеный хохот осилил (он смеялся насильно), — вы ошибаетесь, потому что к террору у меня отношение отрицательное; да и, кроме всего: скажите мне, откуда вы заключаете?»

— «Помилуйте, Николай Аполлонович! Да я же все о вас знаю: об узелочке, об Александре Иваныче Дудкине и о Софье Петровне...»

• • • • •  
— «Знаю все из личного любопытства и далее: по служебному долгу...»

— «А, вы служите?»

— «Да: в охранке...»  
 — «В охранке?»  
 — «Что это вы, мой родной, ухватились за грудь с таким выражением, будто там у вас опаснейший и секретнейший документ... Рюмку водочки!..»

### Я ГУБЛЮ БЕЗ ВОЗВРАТА

На мгновение оба застыли; из-за края стола Павел Яковлевич Морковин, чиновник охранного отделения, рос, тянулся, вытягивался с верх поставленным пальцем; вот уж острый кончик этого крючковатого пальца через стол зацепился за пуговицу Николая Аполлоновича; тогда Николай Аполлонович с вовсе новою виноватою улыбкою вытащил из бокового кармана переплетенную книжечку, оказавшуюся записной.

— «А, а, а! Пожалуйте-ка эту книжечку мне... на просмотр...» Николай Аполлонович не противился; он сидел все с тою же виноватою улыбкою; пытка его перешла все границы; экстазы терзаемых и вдохновение жертвенной ролью пропали; налицо оказались: униженность, покорность (остатки разрушенной гордости); впереди для него оставался единственный путь: путь тупого бесчувствия. Как бы то ни было: книжечку подал он сыщику на просмотр, как уличенный преступник, распятый страданием, и как оклеветанный святоша (бесстыдный обманщик!).

Павел же Яковлевич, наклонившись над книжечкой, выставил из-за края стола свою голову, которая показалась прикрепленной не к шее, а к двум кистям рук; на одно мгновение стал он просто чудовищем: Николай Аполлонович в это мгновение увидел: поганая, заморгавшая глазками голова, с волосами, точно из псиной, гребнем начесанной шерсти, окрысившись отвратительным смехом, желтыми складками кожи бегала над столом на десяти своих прыгавших пальцах по листикам книжечки, вид имея огромного насекомого: десятиногого паука, по бумаге шуршавшего лапами.

Но все было комедией... .

Павел Яковлевич, видно, хотел Аблеухова напугать видом этого сыска (милая шуточка!); так же крысьясь от хохота, книжечку Аблеухову бросил обратно он через стол.

— «Да зачем же, помилуйте: такая покорность... Я, ведь, кажется, вас не собираюсь допрашивать... Не пугайтесь, голубчик: в охранное ж отделение я приставлен от партии... И напрасно вы, Николай Аполлонович, растревожились: ей-Богу, напрасно...»

— «Вы смеетесь?»

— «Ни капли!.. Будь я подлинным полицейским, вы бы были уже арестованы, потому что ваш жест, знаете ли, был достоин внимания; вы сперва схватились за грудь с испуганным выражением лица, будто там у вас документ... Если в будущем встретите сыщика, не повторяйте этого жеста; этот жест вас и выдал... Согласны?»

— «Пожалуй. . .»

— «А потом, позволю заметить, вы сделали новый промах: вынули невинную записную книжечку в то еще время, когда ее никто у вас не спросил; вынули для того, чтоб отвлечь внимание от другого чего-нибудь; но цели вы не достигли; не отвлекли от внимания, а привлекли внимание; заставили меня думать, что какой-нибудь эдакий документ все же остался в кармане. . . Ах, как вы легкомысленны. . . Посмотрите же на эту страничку вами данной мне книжечки; вы открыли невольно мне любовный секретик: тут вот, тут полюбуйте. . .»

Слышались животные вопли машины: крик исполинского зарезаемого на бойне быка: бубны — лопались, лопались, лопались.

. . . . .

— «Слушайте!»

Николай Аполлонович произнес это слушайте с действительным бешенством.

— «К чему эта пытка? Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, — человек, получите! — то все поведение ваше, все ваши ужимочки — недостойны».

Оба встали.

В белых клубах из кухни валившего смрада стоял Николай Аполлонович — бледный, белый и бешеный, разорвавший без всякого смеха красный свой рот, в ореоле из льяно-туманной шапки светлейших волос своих; как оскаленный зверь, затравленный гончими, он презрительно обернулся к Морковину, бросивши половому полтинник.

Машина уж смолкла; давно уже опустевали соседние столики, и ублюдочный род разошелся по линиям острова; вдруг повсюду погасло белое электричество; рыжий свет свечки там и здесь проникал мертвую пустоту; и стены истаяли в мраке: только там, где стояла свеча да виднелся край размалеванной стенки, в залу билась с шипением белая пена. И оттуда, из дали, на теневых своих парусах, к Петербургу летел Летучий Голландец (у Николая Аполлоновича это, верно, кружилась голова от семи выпитых рюмок); со столика приподнялся сорокапятилетний моряк (не Голландец ли?); на минуту глаза его сверкнули зеленоватыми искрами; но он скрылся во мраке.

Господин же Морковин, оправивши свой сюртучок, посмотрел на Николая Аполлоновича с какой-то задумчивой нежностью (состояние духа последнего, видно, пророняло и его); меланхолически он вздохнул; и глаза опустил; так с минуту они не проронили ни слова.

Наконец, Павел Яковлевич произнес с расстановкой,

— «Полноте: мне так же трудно, как вам. . .»

— «И что таиться, товарищ? . . .»

— «Я сюда пришел не для шуток. . .»

— «Разве нам не надо условиться? . . .»

. . . . .

— «?»

. . . . .

— «Ну, да, да: условиться о дне исполнения обещания... В самом деле, Николай Аполлонович, вы чудак, каких мало; неужели же вы могли хоть на минуту подумать, чтобы я, так, без дела, шлялся за вами по улицам, наконец, с трудом нашел предлог разговора...»

И потом, строго глядя в глаза Аbbleухова, он прибавил с достоинством: «Партия, Николай Аполлонович, немедленно ожидает ответа».

Николай Аполлонович тихо спускался по лестнице; конец лестницы ушел в темноту; внизу же — у двери — стояли: они; кто такое они, положительно на этот вопрос он не мог себе точно ответить: черное очертание и какая-то зеленая-раззеленая муть, будто тускло горящая фосфором (это падал луч наружного фонаря); и они его ждали.

А когда прошел он к той двери, то по обе стороны от себя он почувствовал зоркий взгляд наблюдателя: и один из них был тот самый гигант, что тянул аллаш за соседним с ним столиком: освещенный лучом наружного фонаря, он стал там у двери медноглавой громадой; на Аbbleухова, войдя в луч, на мгновение уставилось металлическое лицо, горящее фосфором; и зеленая, многосотпудовая рука погрозила.

— «Кто это?»

— «Кто губит нас без возврата...»

— «Сыщик?»

— «Никогда...»

Хлопнула ресторанныя дверь.

Многоглазые, высокие фонари, терзаемые ветрами, трепетали странными светами, ширясь в долгую петербургскую ночь; черные, черные пешеходы протекали из темени; опять побежал котелок рядом с ним по стене.

— «Ну, а если я отклоню поручение?»

— «Я вас арестую...»

— «Вы? Меня? Арестуете?»

— «Не забывайте, что я...»

— «Что вы конспиратор?»

— «Я — чиновник охранного отделения; как чиновник охранного отделения, я вас арестую...»

Невский ветер присвистывал в проводах телеграфа и плакался в подворотнях; виднелись ледяные клоки полуизорванных туч; и казалось, что вот из самого клочковатого облака оборвутся полосы хлопотливых дождей — стрекотать, пришепетывать, бить по плитам каменным каплями, закрутивши на булькнувших лужах свои холодные пузыри.

— «Что же скажет вам партия?»

— «Партия меня оправдает: пользуясь моим положением в охранке, я отомщу вам за партию...»

— «Ну, а если я на вас донесу?»

— «Попробуйте...»

Вот из самого клочковатого облака стали падать полосы хлопотливых дождей — стрекотать, пришепетывать, бить по плитам каменным каплями, закрутивши по булькнувшим лужам свои холодные пузыри.

— «Нет, Николай Аполлонович, я прошу — шутки в сторону: по тому что я очень, очень серьёзен; и должен заметить: ваше сомнение, нерешительность ваша меня убивают; надо было взвесить все пансы заранее... Наконец, вы могли отказаться (слава Богу, два месяца). Этого вы своевременно не позаботились сделать; у вас — один путь; и вам предстоит — выбирайте: арест, самоубийство, убийство. Вы, надеюсь, теперь меня поняли?.. До свиданья...»

Котелочек трусил по направлению к семнадцатой линии, а шинель — к мосту.

Петербург, Петербург!

Осаждая туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый: но ты — непокойный призрак: ты, бывало, годá на меня нападал; бегал и я на твоих ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост...

О, большой, электричеством блещущий мост! О, зеленые, кишашие бациллами воды! Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои серые перила сентябрьскою ночью я перегнулся; и миг: тело мое пролетело б в туманы.

На большом чугунном мосту Николай Аполлонович обернулся; не увидел он за собой — ничего, никого: над сырими, сырими перилами, над кишашей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки приневского, холодного ветра; здесь, на этом вот месте, за два с половиною месяца перед тем, Николай Аполлонович дал свое ужасное обещание; восковое, все то же лицо, оттопыривши губы, над сырими перилами протянулось из серой шинели; над Невой он стоял, как-то тупо уставившись в зелень — или нет: улетаая взором туда, где принизились берега; и потом быстрехонько засеменял прочь, косолапо путаясь в полах шинели.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась невская даль; и от этого зелено замерцали беззвучно летящие плоскости, отдаваясь то там, то здесь искрою золотой. За Невой теперь вставали громадные здания островов и бросали в туман заогневевшие очи. Выше — бешено простирала клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роєм они восходили.

Набережная была пуста.

Изредка проходила черная тень полицейского; площадь пустела; справа поднимали свои этажи Сенат и Синод. Высилась и скала: Николай Аполлонович с каким-то особенным любопытством глаза выпучил на громадное очертание Всадника. Давеча, когда они проходили здесь с Павлом Яковлевичем, Аблеухову показалось, что Всадника не было (тень его покрывала); теперь же зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двусмысленно улыбался.

Вдруг тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди закурились под месяцем облака... На мгновение все вспыхнуло: воды, крыши, граниты; вспыхнуло — Всадниково лицо, меднолавровый венец;

много тысяч металла свисало с матово зеленеющих плеч медноглавой громады; фосфорически заблестали и литое лицо, и венец, зеленый от времени, и простертая повелительно прямо в сторону Николая Аполлоновича многосотпудовая рука; в медных впадинах глаз зеленели медные мысли; и казалось: рука шевельнется (протрезвонят о локоть плаща тяжелые складки), металлические копыта с громким грохотом упадут на скалу и раздастся на весь Петербург гранит раздробляющий голос:

— «Да, да, да...»

— «Это — я...»

— «Я гублю без возврата».

На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все; да — он теперь понял, какая громада сидела там за столом, в василеостровском кабачке (неужели же и его посетило видение?); как прошел он к той двери, на него из угла, освещенное уличным фонарем, предстало вот это лицо; и вот эта зеленая рука ему пригрозила. На мгновение для Аблеухова все стало ясно: судьба его озарилась: да — он должен; и да — он обречен.

Но тучи врезались в месяц; полетели под небом обрывки ведьмовских кос.

Николай Аполлонович с хохотом побежал от Медного Всадника:<sup>9</sup>

— «Да, да, да...»

— «Знаю, знаю...»

— «Погиб без возврата...»

В пустой улице пролетел сноп огня: то придворная черная карета пронесла ярко-красные фонари, будто кровью налитые взоры; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

## ГРИФОНЧИКИ

И простерлись проспекты — там, там: простерлись проспекты; пасмурный пешеход не торопил шагов: пасмурный пешеход озирался томительно: бесконечности зданий! Пасмурный пешеход был Николай Аполлонович.

... Не теряя минуты, надо было тотчас же предпринять — но что предпринять? Ведь, не он ли, не он ли густо сеял семя теорий о безумии всяческих жалостей? Перед той молчаливою кучкой когда-то не он ли выражал свои мнения — все о том, об одном: о глухом своем отращении к барину, к барским старым ушам, ко всему татарству и барству, вплоть... до этой по-птичьему протянутой шеи... с подкожною жилою.

Наконец, он нанял какого-то запоздалого Ваньку: мимо него поехали, полетели четырехэтажные здания.

Адмиралтейство продвинуло восьмиколонный свой бок: пророзовело и скрылось; с той стороны, за Невой, между белыми каймами штука-турки стены старого здания бросили ярко-морковный свой цвет; черно-



белая солдатская будка осталась налево; в серой шинели расхаживал там старый павловский гренадер; за плечо перекинул он острый искристый штык свой.

Равномерно, медленно, вяло протрусил мимо павловца Ванька; равномерно, медленно, вяло протрясся мимо павловца и Николай Аполлонович. Ясное утро, горящее невскими искрами, претворило всю воду там в пучину червонного золота; и в пучину червонного золота с разлету ушла труба свиставшего пароходика; он увидел, что сухая фигурочка на тротуаре торопит запоздалый свой шаг, как-то прыгая по камням — та сухая фигурочка, которая... в которой... которую он узнал: то был Аполлон Аполлонович. Николай Аполлонович хотел извозчика задержать, чтобы дать время фигурке отдалиться настолько, чтоб... — было уж поздно: старая, бритая голова повернулась к извозчику, покачалась и отвернулась. Николай Аполлонович, чтоб не быть узнанным, повернул свою спину к запоздалому пешеходу: нос уткнул он в бобер; виднелись — воротник да фуражка; уже дома желтая глыба перед ним там встала в туман.

Аполлон Аполлонович Аблеухов, проводивший подростка, теперь спешил к порогу желтого дома; и мимо него Адмиралтейство продвинуло только что восьмиколонный свой бок; черно-белая полосатая будка осталась налево; уже он шел по набережной, созерцая там, на Неве, пучину червонного золота, куда влетела с разлету труба свиставшего пароходика.

Тут у себя за спиной Аполлон Аполлонович Аблеухов услышал гременье пролетки; повернулась к пролетке старая бритая голова; и когда извозчик поравнялся с сенатором, то сенатор увидел: там, над сиденьем, — скорчился старообразный и уродливый юноша, неприятнейшим образом завернувшись в шинель; и когда этот юноша поглядел на сенатора, нос уткнувши в шинель (виднелись лишь глаза да фуражка), то сенатора старая голова так стремительно отлетела к стене, что цилиндр ударился о каменный плод черного домового выступа (Аполлон Аполлонович Аблеухов методично цилиндр свой поправил), и Аполлон Аполлонович Аблеухов на минуту уставился в водную глубину: в изумрудно-красную бездну.

Ему показалось тут, что глаза неприятного юноши, увидавши его, во мгновение ока стали шириться, шириться, шириться: во мгновение ока неприятно расширились, остановились полным ужаса взором. В ужасе Аполлон Аполлонович остановился пред ужасом: этот взор преследовал Аполлона Аполлоновича все чаще и чаще; этим взором смотрели на него подчиненные, этим взором смотрел на него проходящий ублюбочный род: и студент, и мохнатая манджурская шапка; да, да, да: тем самым взором взглянули и тем самым блеском расширились; а уже извозчик, его обогнавши, докучливо подпрыгивал на камнях; и мелькал номер бляхи: тысяча девятьсот пятый; и Аполлон Аполлонович в совершенном испуге глядел в багровую, многотрубную даль; и Васильевский Остров мучительно, оскорбительно, нагло глядел на сенатора.

Николай Аполлонович выскочил из пролетки, косолапо запутавшись в полах шинели, старообразный и какой-то весь злой, побежал быстро-быстро к подъезду желтого дома, переваливаясь по-утиному и захлопавши в воздухе шинельными крыльями на фоне ярко-багровой зари; Аблеухов стал у подъезда; Аблеухов звонил; и как прежде множество раз (точно так же и нынче) на него откуда-то издали кинулся голос сторожа, Николаича:

— «Здравия желаем, Николай Аполлонович!.. Много вам благодарны-с... Позднечко...»

И как прежде множество раз, точно так же и нынче, пятиалтынный упал в руку сторожа, Николаича.

Николай Аполлонович с силой дернул звонок: о, скорее бы дверь открыл там Семеныч, а то — из тумана покажется та сухая фигурочка (почему она была не в карете?); и на каждой из сторон тяжелого домашнего крыльца он увидел по разъятой пасти грифона, розоватого от зари, и когтями державшего кольца для дрёвков, красно-бело-синего флага,<sup>10</sup> развевавшего над Невой свое трехцветное полотнище в известные календарные дни; над грифонами изваялся на камне и герб Аблеуховых; этот герб изображал длинноперого рыцаря в завитках рококо и пронизанного единорогом; в Николае Аполлоновиче Аблеухове, будто рыба, скользнувшая на мгновение по поверхности вод, — прошла дикая мысль: Аполлон Аполлонович, проживающий за порогом клейменной той двери, ведь и есть прободаемый рыцарь; а за этою мыслью и вовсе туманно скользнуло, не поднимаясь к поверхности (протемнится так издали рыба): родовой старый герб относился ко всем Аблеуховым; и он, Николай Аполлонович, так же был прободаем — но кем прободаем?

Вся та мысленная галиматья пробежала в душе в одну десятую долю секунды: и уж там, и уж там, на панели — в тумане — увидел он спешащую к дому ту сухую фигурочку: та сухая фигурочка подбегала стремительно, — та сухая фигурочка, в которой... которую... которая издали перед ним предстала в виде заморыша-недоноска: с желтым-желтым лицом, истощенный, геморроидальный, Аполлон Аполлонович Аблеухов, родитель, напоминал смерть в цилиндре; Николай Аполлонович — бываюи же шальные мысли — представил себе фигурочку Аполлона Аполлоновича в момент исполнения супружеских отношений к матери, Анне Петровне: и Николай Аполлонович с новой силой почувствовал знакомую тошноту (ведь, в один из этих моментов он и был зачат).

Негодование охватило его: нет, пусть будет, что будет!

Между тем, фигурочка приближалась. Николай Аполлонович, к своему позору, увидел, что прилив его ярости, подогретый искусственно, гаснет и гаснет: знакомое замешательство овладело им, и...

И взору Аполлона Аполлоновича представилось неприятное зрелище: Николай Аполлонович, старообразный и какой-то весь злой, с желтым-желтым лицом, с воспаленными докрасна веками, с оттопыренною губою — Николай Аполлонович стремительно соскочил со ступенек крыльца и, переваливаясь по-утиному, бежал виновато навстречу родителю,

с моргающим, избегающим взглядом и с протянутой из-под меха шинели надушенной рукою:

— «Доброе утро, папаша...»

Молчание.

— «Вот неожиданная встреча, а я — от Цукатовых...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов подумал, что этот вот с виду застенчивый юноша — юноша негодяй; но Аполлон Аполлонович Аблеухов конфузился этой мысли, особенно в присутствии сына; и, сконфузившись, Аполлон Аполлонович Аблеухов застенчиво бормотал:

— «Так-с, так-с: доброе утро, Коленька... Да, вот, — подите же — встретились... А? Да, да, да...»

И как прежде множество раз, точно так же и нынче, раздался тут в тумане голос сторожа, Николаича:

— «Здравия желаем-с, ваше высокопревосходительство!»

На крыльце, по обе стороны двери, ужасом разорвали грифончики свои клювовидные пасти; длинноперый каменный рыцарь в завитках рококо и с разорванной грудью прободался единорогом; чем слепительней и воздушней разлетались по небу розовошерстые предвестия дня, тем отчетливей тяжелели все выступы зданий; тем малиновой, пурпурной был сам пасть разевавший грифончик.

Двери разорвались; запах знакомого помещения охватил Аблеуховых; в отверстие двери просунулись жиловатые пальцы лакея: сам серый Семеныч, весь заспанный, в наспех накинутой куртке, схваченной в вороте семидесятилетней рукой, щурился, пропуская господ, от нестерпимого заневского блеска.

Аблеуховы как-то бочком пролетели в отверстие двери.

## КРАСНЫЙ, КАК ОГОНЬ

Оба знали, что им предстоит разговор; разговор этот назревал в долгие годы молчания; Аполлон Аполлонович, отдавая лакею цилиндр, пальто и перчатки, что-то здесь замешался с калошами; бедный, бедный сенатор: разве он знал, что Николай Аполлонович по отношению к нему имеет то самое поручение. В равной степени Николай Аполлонович не мог догадаться, что в совершенстве известна родителю вся история красного домино. Оба в минуту ту вдыхали запахи знакомого помещения; на лакейскую, жиловатую руку мягко пал, серебрясь, пышный бобр; сонно как-то свалилась шинель — так-таки в своем домино и предстал Николай Аполлонович перед оком родителя. У Аполлона Аполлоновича, при виде этого домино в уме завертелись давно затверженные строчки:

Краски огненного цвета  
 Брошу на ладонь,  
 Чтоб предстал он в бездне света  
 Красный, как огонь.<sup>11</sup>

Точно такую ж, как у Семеныча, жилевой рукой (только начисто вымытой) он пощупал бачки:

— «А... а... Красное домино?.. Скажите, пожалуйста!..»

— «Я был ряженым...»

— «Так-с... Коленька... так-с...»

Аполлон Аполлонович стоял перед Коленькой с какою-то горькой иронией, не то шамкая, а не то жуя свои губы; дрянно как-то, с иронией, собралась на лбу его кожа — в морщиночки; дрянно как-то она натянулась на черепе. Чуялось предстоящее объяснение: чуялось, что на древе их жизни выросший плод уж созрел; вот сейчас он сорвется: сорвался и... — вдруг:

Аполлон Аполлонович уронил карандаш (у ступенек бархатной лестницы); Николай Аполлонович, следуя стародавнему навыку, бросился почтительно его поднимать; Аполлон Аполлонович, в свою очередь, бросился упреждать услужливость сына, но споткнулся, упавая на корточки и руками касаясь ступенек; быстро лысая голова его пролетела вниз и вперед; неожиданно оказавшись под пальцами претянувшего руки сына: Николай Аполлонович пред собою мгновенно увидел желтую жилевую шею отца, напоминавшую рачий хвостик (сбоку билась артерия); косолапых движений своих Николай Аполлонович не рассчитал, неожиданно прикоснувшись к шее; теплая пульсация шеи испугала его, и отдернул он руку, но — поздно отдернул: под прикосновением его холодной руки (всегда чуть потеющей) Аполлон Аполлонович повернулся и увидел — тот самый взгляд; голова сенатора мгновенно передернулась тиком, кожа дрянно так собралась в морщинки над черепом и чуть дернулись уши. В своем домино Николай Аполлонович казался весь — огненным; и сенатор, как вертлявый японец, изучивший приемы Джу-Джицу,<sup>12</sup> отбросился в сторону, распрямляясь вдруг на хрустящих коленках, — вверх, вверх и вбок...

Все это длилось мгновение. Николай Аполлонович молчаливо взял карандаш и подал сенатору.

— «Вот, папаша!»

Чистая мелочь, стукнувши их друг о друга, породила в обоих взрыв разнороднейших пожеланий, мыслей и чувств; Аполлон Аполлонович перекофузилсь безобразию только что бывшего: своего испуга в ответ на почтительность незначачей сыновней услуги (этот, весь красный, мужчина все же был его сыном: плотью от плоти его: и пугаться собственной плоти позорно, чего ж испугался он?); тем не менее безобразие было: он сидел под сыном на корточках и физически на себе ощущал тот самый взор. Вместе с кофузом Аполлон Аполлонович испытал и досаду: он приосанился, кокетливо изогнул свою талию, горделиво сжал губы в колечко, принимая в руки поднятый карандаш.

— «Спасибо, Коленька... Очень тебе благодарен... И желаю тебе приятного сна...»

Благодарность отца в тот же миг переконфузила сына; Николай Аполлонович почувствовал прилив крови к щекам; и когда он подумал, что он розовеет, он был уж багровый. Аполлон Аполлонович поглядел на сына украдкой; и, увидев, что сын багровеет, стал сам розовеет; чтобы скрыть эту розовость, он с кокетливой грацией полетел быстро-быстро по лестнице, полетел, чтобы тотчас почить в своей спальне, завернувшись в тончайшее полотно.

Николай Аполлонович очутился один на ступеньках бархатной лестницы, погруженный в глубокую и упорную думу: но голос лакея оборвал его мысленный ход.

— «Батюшки!.. Вот затмение-с!.. Память-то вовсе отшибло... Барин мой, милый: ведь, случилось-то что!..»

— «Что случилось?»

— «А такое, что — ии... Как сказать-то — не смею...»

На ступени сереющей лестницы, устланной бархатом (попираемым ногою министров), временил Николай Аполлонович; из окошка же, на то самое место, где споткнулся родитель, под ноги падала сеточка из пурпуровых пятен; эта сеточка из пурпуровых пятен почему-то напомнила кровь (кровь багрянела и на старинном оружии). Знакомая, постылая тошнота, только не в прежних (в ужасных) размерах, поднялась от желудка: не страдал ли он несварением пищи?

— «Уж такое случилось! Да — вот-с: барыня наша-то...»

— «Барыня наша, Анна Петровна-с...»

— «Приехали-с!!»

Николай Аполлонович в этот миг с тошноты стал зевать: и громадное отверстие его рта ширилось на зарю: он стоял там, красный, как факел. Старые губы лакея протянулись под белокурую шапку пышнейших и тончайших волос:

— «Приехали-с!»

— «Кто приехал?»

— «Анна Петровна-с...»

— «Какая такая?..»

— «Как какая?.. Родительница... Что это вы, барин-голубчик, все равно, как чужой: матушка ваша...»

— «?»

— «Из Гишпании в Петербурх возвратились...»

— «Письмецо с посыльным прислали-с: остановились в гостинице... Потому — сами знаете... Положение их такое-с...»

— «?»

— «Только что их высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, изволили выехать, как — посыльный: с письмом-с... Ну, письмо я — на стол, а посыльному в руки — двугривенник...»

— «Почитай, не прошло еще часу, как — Бог ты мой: заявились вдруг сами-с!.. С достоверностью, видно, им было известно, что нетути на дому никого-с...»

Перед ним поблескивал шестопер: пятно павшего воздуха багровело так странно; пятно павшего воздуха багровело мучительно: столб багровый тянулся от стены до окошка; в столбе плясали пылиночки и казались пунцовыми. Николай Аполлонович думал, что точно вот так же расплясалась в нем кровь; Николай Аполлонович думал, что и сам человек — только столб дымящейся крови.

— «Позвонились... Отворяю я, значит, дверь... Вижу: неизвестная барыня, почтенная барыня; только простенько одетая; и вся — в черном... Я это им: „чего угодно-с, сударыня?“ А они на меня: „Митрий Семеныч, али не узнаешь?“ — Я же к ручке: „Матушка, мол, Анна Петровна...“»

Стоит первому встречному негодю в человека ткнуть попросту лезвием, как разрежется белая, безволосая кожа (так, как режется заливной поросенок под хреном), а в виски стучащая кровь изольется воющую лужею...

— «Анна же Петровна — дай им, Боже, здоровья-с — посмотрели: посмотрели, иетта, оне на меня... Посмотрели оне на меня да и в слезы: „Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня...“ Из ридикюльчика — ридикюльчик не напих фасонов — повынимали платочек-с...»

— «У меня же, сами, небось, изволите знать, строжайший приказ: не пущать... Ну, только я барыню нашу пустил... А оне...»

Старичок выпучил глазки; он остался с широко открытым ртом и, верно, подумал, что в лаковом доме господа уже давно походили с ума: вместо всякого удивления, сожаления, радости — Николай Аполлонович полетел вверх по лестнице, развевая в пространство причудливо ярко-красный атлас, будто хвост беззаконной кометы.<sup>13</sup>

Он, Николай Аполлонович.. Или не он? Нет, он — он: он им, кажется, тогда говорил, что постылого старика ненавидит он; что постылый старик, носитель бриллиантовых знаков, просто-напросто есть отпетый мошенник... Или это он все говорил про себя?

Нет — им, им!..

Николай Аполлонович оттого полетел вверх по лестнице, прервавши Семеныча, что он ясно представил себе: одно скверное действие негодяя над негодяем; вдруг ему представился негодяй; лягнули в пальцах у этого негодяя блиставшие ножницы, когда негодяй этот мешковато бросился протригать сонную артерию костлявого старикашки; у костлявого старикашки лоб собрался в морщинки; у костлявого старика была теплая, пульсом бьющая шея и... какая-то рачья; негодяй лягнул нож-

ницами по артерии костлявого старикашки, и вонючая липкая кровь облила и пальцы, и ножницы, старикашка же — безбородый, морщинистый, лысый — тут заплакал навзрыд и вплотную уставился прямо в очи его, Николая Аполлоновича, умоляющим выражением, приседая на корточки и с силой зажать трясущимся пальцем то отверстие в шее, откуда с чуть слышными свистами красные струи все — прядали, прядали, прядали...

Этот образ столь ярко предстал перед ним, будто он был уже только что (ведь, когда старик упал на карачки, то он мог бы во мгновение ока сорвать со стены шестопер, размахнуться, и...). Этот образ столь ярко предстал перед ним, что он испугался.

Оттого-то вот Николай Аполлонович бросился в бегство по комнатам, мимо лаков и блесков, топоча каблуками и рискуя вызвать сенатора из далекой опочивальни.

## ДУРНОЙ ЗНАК

Если я их сиятельствам, превосходительствам, милостивым государям и гражданам предложил бы вопрос, что же есть квартира наших имперских сановников, то, наверное, эти почтенные звания мне ответили б прямо в том утвердительном смысле, что квартира сановников есть, во-первых, пространство, под которым мы все разумеем совокупности комнат; эти комнаты состоят: из единственной комнаты, называемой залой и залом, что — заметьте себе — все равно; состоит она далее из комнаты для приема многообразных гостей; и протчая, протчая, протчая (остальное здесь — мелочи).

Аполлон Аполлонович Аблеухов был действительным тайным советником; Аполлон Аполлонович был особой первого класса (что опять-таки — то же), наконец: Аполлон Аполлонович Аблеухов был сановник империи; все то видели мы с первых строк нашей книги. Так вот: как сановник, как даже чиновник империи, он не мог не селиться в пространствах, имеющих три измерения; и он селился в пространствах: в пространствах кубических, состоявших, заметьте себе: из зала (иль — залы) и протчего, протчего, протчего, что при беглом осмотре успели мы наблюдать (остальное здесь — мелочи); среди этих-то мелочей был его кабинет, были — так себе — комнаты.

Эти, так себе, комнаты осветились уж солнцем; и стреляла уж в воздухе инкрустация столиков, и блестели уж весело зеркала: и все зеркала засмеялись, потому что первое зеркало, что глядело в зал из гостиной, отразило белый, будто в муке, лик Петрушки, сам балаганный Петрушка, ярко-красный, как кровь, разбежался из зала (топал шаг его); тотчас зеркало перекинуло зеркалу отражение; и во всех зеркалах отразился балаганный Петрушка: то был Николай Аполлонович, с разбегу влетевший в гостиную и там вставший как вкопанный, убегая глазами в холодные зеркала, потому что он видел: первое зеркало, что

глядело в зал из гостиной, Николаю Аполлоновичу отразило некий предмет: смертный остов в застегнутом сюртуке, обладающий черепом, от которого вправо и влево загнулось по голому уху и по маленькой бачке; но меж бак и ушей показался больше, чем следует, заостренный носик; над заостренным носиком две темные орбиты поднялись укоризненно...

Николай Аполлонович понял, что Аполлон Аполлонович сына здесь поджидал.

Аполлон Аполлонович вместо сына увидел в зеркалах просто-напросто балаганную красную марионетку; и увидевши балаганную марионетку, Аполлон Аполлонович замер; балаганная марионетка остановилась среди зала так странно-растерянно...

Тогда Аполлон Аполлонович неожиданно для себя притворил двери в зал; отступление было отрезано. Что он начал, надо было скорее кончать. Разговор по поводу странного поведения сына Аполлон Аполлонович рассматривал, как тягостный хирургический акт. Как хирург, подбегающий к операционному столику, на котором разложены ножички, пилочки, сверла, — Аполлон Аполлонович, потирая желтые пальцы, подошел вплотную тут к Nicolas, остановился, и, ища избегающих глаз, бессознательно вынул футляр от очков, повертел между пальцами, спрятал, как-то сдержанно кашлянул, помолчал и сказал: — «Так-то вот: домино».

В то же время подумал он, что вот этот с виду застенчивый юноша, рот оскаливший до ушей и прямо в глаза не глядящий теми самыми и взорами — этот застенчивый юноша и наглое петербургское домино, о котором писала жидовская пресса, есть одно и то же лицо; что он, Аполлон Аполлонович, особа первого класса и столбовой дворянин — он его породил; в это самое время Николай Аполлонович как-то смущенно заметил:

— «Да, вот... многие были в масках... Так вот и я себе тоже... костюмчик...»

В это самое время Николай Аполлонович думал, что вот это двухаршинное тельце родителя, составлявшее в окружности не более двенадцати с половиной вершков, есть центр и окружность некоего бессмертного центра: там засело, ведь, «я»; и любая доска, сорвавшись не вовремя, этот центр могла придавить: придавить окончательно; может быть, под влиянием этой воспринятой мысли Аполлон Аполлонович пробежал быстро-быстро к тому отдаленному столику, пробарабанил на нем двумя пальцами, в то время как Николай Аполлонович, наступая, виновато смеялся:

— «Было, знаешь ли, весело... Танцевали мы, знаешь ли...»

А сам-то он думал: кожа, кости да кровь, без единого мускула; да, но эта преграда — кожа, кости да кровь — по велению судьбы должна разорваться на части; если это будет сегодня избегнуто, будет с завтрашним вечером опять набегать, чтобы завтрашней ночью...



Тут Аполлон Аполлонович, поймавший в блистающем зеркале тот самый взгляд исподлобья, повернулся на каблучках и поймал кончик фразы.

— «Потом, знаешь ли, мы играли в petit-jeu». <sup>14</sup>

Аполлон Аполлонович, глядя на сына в упор, ничего не ответил; и тот самый взгляд исподлобья уперся в паркетки пола... Аполлон Аполлонович вспомнил: ведь, этот посторонний «Петрушка» был маленьким тельцем; тельце это, бывало, он с отеческой нежностью таскал на руках; белокудрый мальчонок, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею. Аполлон Аполлонович, детонируя и срываясь, с хрипотой напевал:

Дурачок-простачок,  
Коленька танцует:  
Он надел колпачок,  
На коне гарцует.

После он подносил ребенка вот к этому зеркалу; в зеркале отражались и старый, и малый; он показывал мальчику отражения, приговаривая:

— «Посмотри-ка, сыночек: чужие там...»

Иногда Коленька плакал и потом кричал по ночам. А теперь, а теперь? Аполлон Аполлонович увидел не тельце, а тело: чужое, большое... Чужое ли?

Аполлон Аполлонович зациркулировал по гостиной, и вперед, и назад:

— «Видишь ли, Коленька...»

Аполлон Аполлонович опустился в глубокое кресло.

— «Мне, Коленька, надо... То есть, не мне, а — надеюсь — нам надо... надо с тобой объяснить: располагаешь ли ты сейчас достаточным временем? Вопрос, и волнующий, заключается в том, что... Аполлон Аполлонович споткнулся на полуслове, подбежал снова к зеркалу (в это время забили куранты), и из зеркала на Николая Аполлоновича посмотрела смерть в сюртуке, поднялся укоризненный взор, пробарабанили пальцы; и зеркало с хохотом лопнуло: поперек его молнией с легким хрустом пролетела кривая игла; и застыла навеки там серебристым зигзагом.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил взоры на зеркало, и зеркало расколосось; суеверы сказали бы:

— «Дурной знак, дурной знак...»

Кончено, совершилось: разговор предстоял.

Николай Аполлонович всеми способами, очевидно, старался на возможно большее время оттянуть объяснение; а с сегодняшней ночи объяснение было излишне: все и так объяснилось бы. Николай Аполлонович пожалел, что он вовремя не удрал из гостиной (уже сколько часов агония все тянется, тянется: и под сердцем его что-то пухнет, пухнет и пухнет); в своем ужасе он испытывал странное сладострастие: от отца не мог оторваться.

— «Да, папаша: я признаться сказать, объяснения нашего ждал».

— «Аа... ты ждал?»

— «Да, я ждал».

— «Ты свободен?»

— «Да, я свободен».

От отца не мог оторваться: перед ним... Но здесь я должен сделать краткое отступление.

О, достойный читатель: мы явили наружность носителя бриллиантовых знаков в утрированных, слишком резких чертах, но без всякого юмора; мы явили наружность носителя бриллиантовых знаков лишь так, как она предстала бы всякому постороннему наблюдателю, — а вовсе не так, как она несомненно открылась бы и себе, и нам: мы, ведь, к ней присмотрелись; мы проникли в донельзя потрясенную душу и в ярые вихри сознания; не мешаает же напомнить читателю вид той самой наружности в самых общих чертах, потому что мы знаем: каков видимый вид, такова же и суть. Здесь достаточно лишь заметить, что если бы эта суть нам предстала, что если бы перед нами промчались все эти вихри сознания, разорвавши лобные кости, и если бы мы могли холодно вскрыть синие сухожильные вздутя, то... Но — молчание. Словом, словом: посторонний взор здесь увидел бы, на этом вот месте, остов старой гориллы, затянутый в сюртук...

— «Да, я свободен...»

— «В таком случае, Коленька, пойдй к себе в комнату: соберись прежде с мыслями. Если ты найдешь в себе нечто, что не мешало бы нам обсудить, приходи ко мне в кабинет».

— «Слушаю, папа...»

— «Да, кстати:ними с себя эти балаганные тряпки... Говоря откровенно, мне все это крайне не нравится...»

— «?»

— «Да, крайне не нравится! Не нравится в высшей степени!!»

Аполлон Аполлонович уронил свою руку; две желтых костяшки отчетливо пробарабанили на ломберном столике.

— «Собственно», — запутался Николай Аполлонович, — «собственно, надо бы мне...»

Но хлопнула дверь: Аполлон Аполлонович проциркулировал в кабинетик.

## У СТОЛИКА

Николай Аполлонович так и остался у столика: его взоры забегали по листикам бронзовой инкрустации, по коробочкам, полочкам, выходящим из стен. Да, вот тут он играл; тут подолгу он сживал — на этом вот кресле, где на бледно-атласной лазури сиденья завивались гирляндочки; и все так же, как прежде, висела копия с картины Давида «*Distribution des aigles par Napoléon Premier*». Картина изображала великого императора в венке и в порфире, простирившего руку к собранию маршалов.

Что́ он скажет отцу? Снова мучительно лгать? Лгать, когда уже ложь бесполезна? Лгать, когда его положение ныне исключает всякую ложь? Лгать... Николай Аполлонович вспомнил, как лгал он в годы далекого детства.

Вот и рояль, стильный, желтый: прикоснулся к паркету узких ножек колесиками. Как, бывало, садилась здесь матушка, Анна Петровна, как старые звуки Бетховена потрясали здесь стены: старинная старина, взрываясь и жалуясь звуками, тем же вставала томлением в младенческом сердце, что и бледнеющий месяц, который восходит, весь красный, и выше возносит над городом свою бледно-палевую печаль...

Не пора ли идти объясняться — в чем объясняться?

В этот миг в окна глянуло солнце, яркое солнце бросало там сверху свои мечевидные светочи: золотой тысячерукий титан из старины бешено занавешивал пустоту, освещая и шпицы, и крыши, и струи, и камни, и к стеклу приникающей божественный, склеротический лоб; золотой тысячерукий титан немо плакался там на свое одиночество: «Приходите, идите ко мне — к старинному солнцу!»

Но солнцу ему показалось громаднейшим тысячелапым тарантулом,<sup>15</sup> с сумасшедшею страстностью нападавшим на землю...

И невольно Николай Аполлонович зажмурил глаза, потому что все вспыхнуло: вспыхнул ламповый абажур; ламповое стекло осыпалось аметистами; искорки разблестались на крыле золотого амура (амур под зеркальной поверхностью свое тяжелое пламя просунул в золотые розаны венка); вспыхнула поверхность зеркал — да: зеркало раскололось.

Суеверы сказали бы:

— «Дурной знак, дурной знак...»

В это время, среди всего золотого и яркого, за спиной Аслеухова встало неяркое очертание; по всему такому немому, как солнечный зайчик, пробежало явственно бормотание.

— «А как же... мы...»

Николай Аполлонович поднял свой лик...

— «Как же мы... с барыней?»

И увидел Семеныча.

Про возвращение матери он и вовсе забыл; а она, мать, возвратилась; возвратилась с ней старина — с церемонностью, стенами, с детством и с двенадцатью гувернантками, из которых каждая собою являла олицетворенный кошмар.<sup>16</sup>

— «Да... Не знаю я, право...»

Перед ним Семеныч озабоченно пожевывал свои старые губы.

— «Барину, что ли, докладывать?»

— «Разве папаша не знает?»

— «Не осмелился я...»

— «Так идите, скажите...»

— «Уж пойду... Уж скажу...»

И Семеныч пошел в коридор.

Старое возвращалось: нет, старое не вернется; если старое возвращается, то оно глядит по-иному. И старое на него поглядело — ужасно!

Все, все, все: этот солнечный блеск, стены, тело, душа — все провалится; все уж валится, валится; и — будет: бред, бездна, бомба.

Бомба — быстрое расширение газов... Круглота расширения газов вызвала в нем одну позабытую дикость, и безвластно из легких его в воздух вырвался вздох.

В детстве Коленька бредил; по ночам иногда перед ним начинал попрыгивать эластичный комочек, не то — из резины, не то — из материи очень странных миров; эластичный комочек, касаясь пола, вызывал на полу тихий лаковый звук: пéпп-пéпп; и опять: пéпп-пéппéп. Вдруг комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка-господина; господин же толстяк, став томительным шаром, — все ширился, ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть.

И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, он попрыгивал, багровел, подлетал, на полу вызывая тихий, лаковый звук:

— «Пéпп...»

— «Пéппович...»

— «Пéпп...»

И он разрывался на части.

А Николенька, весь в бреду, принимался выкрикивать праздные ерундовские вещи — все о том, об одном: что и он округляется, что и он — круглый ноль; все в нем нолилось — нолилось — нолл... .

Гувернантка же, Каролина Карловна,<sup>17</sup> в ночной белой кофточке, с чертовскими папильотками в волосах, принявших оттенок с ним только что бывшего ужаса, — на крик вскочившая из своей пуховой постели балтийская немка, — Каролина Карловна на него сердито смотрела из желтого круга свечи, а круг — ширился, ширился, ширился. Каролина же Карловна повторяла множество раз:

— «Успокойся, малинка Колинка: это — рост...»

Не глядела, а — карлилась; и не рост — расширение: ширился, пушился, лопался: —

Пéпп Пéппович Пéпп...<sup>18</sup>

— «Что я, брежу?»

Николай Аполлонович приложил ко лбу свои холодные пальцы: будет — бред, бездна, бомба.

А в окне, за окном — издалека-далека, где принизились берега, где покорно присели холодные островные здания, немо, остро, мучительно, немилосердно блистая, уткнулся в высокое небо петропавловский шпиг.

По коридору прошел шаг Семеныча. Медлить нечего: родитель, Аполлон Аполлонович, его ждет.

## КАРАНДАШНЫЕ ПАЧКИ

Кабинет сенатора был прост чрезвычайно; посреди, конечно, высился стол; и это не главное; несравненно важнее здесь вот что: шли шкафы по стенам; справа шкаф — первый, шкаф — третий, шкаф — пятый; слева: второй, четвертый, шестой; полные полки их гнулись под планомерно расставленной книгою; посредине же стола лежал курс «П л а н и метрии».

Аполлон Аполлонович пред отходом к сну обычно развешивал книжечку, чтобы сну непокорную жизнь в своей голосе успокоить в созерцании блаженнейших очертаний: параллелепипедов, параллелограммов, конусов, кубов и пирамид.

Аполлон Аполлонович опустил в черное кресло; спинка кресла, обитая кожей, всякого бы манила откинуться, а тем более бы манила откинуться бессонным томительным утром. Аполлон Аполлонович Аблеухов был сам с собой чопорен; и томительным утром он сидел над столом, совершенно прямой, поджидая к себе своего негодного сына. В ожидании ж сына он выдвинул ящичек; там под литерой «р» он достал дневничок, озаглавленный «Н а б л ю д е н и я»; и туда, в «Н а б л ю д е н и я», стал записывать он свои опытом искушенные мысли. Перо закрипело: «Государственный человек отличается гуманизмом... Государственный человек...»

Наблюдение начиналось от прописи; но на прописи его оборвали; за спиной его раздался испуганный вздох; Аполлон Аполлонович позволил себе сильнейший нажим, повернувшись (перо обломалось), он увидел Семеныча.

— «Барин, ваше высокопревосходительство... Осмелюсь вам доложить (давеча-то запомятовал)...»

— «Что такое!»

— «А такое, что — ии... Как сказать-то, не знаю...»

— «А — так-с, так-с...»

Аполлон Аполлонович вырезался всем корпусом, являясь для внешнего наблюдения совершеннейшим сочетанием из линий: серых, белых и черных; и казался офортом.

— «Да вот-с: барыня наша-с, — осмелюсь вам доложить, — Анна Петровна-с...»

Аполлон Аполлонович сердито вдруг повернул к лакею свое громадное ухо...

— «Что такое — аа?.. Говорите громче: не слышу».

Дрожащий Семеныч склонился к самому бледно-зеленому уху, глядящему на него выжидательно:

— «Барыня... Анна Петровна-с... Вернулись...»

— «?..»

— «Из Гишпани — в Питербурх...»

— «Так-с, так-с: очень хорошо-с!...»

- «Письмецо с посыльным прислали-с...»
- «Остановились в гостинице...»
- «Только что ваше высокопревосходительство изволили выехать-с, как посыльный-с, с письмом-с...»
- «Ну, письмо я на стол, а посыльному в руку — двугривенный...»
- «Не прошло еще часу, вдруг: слышу я йетта — звонятся...»

Аполлон Аполлонович, положивши руку на руку, сидел в совершенном бесстрастии, без движенья; казалось, сидел он без мысли: равнодушно взгляд его падал на книжные корешки; с книжного корешка золотела внушительно надпись: «Свод Российских Законов. Том первый». И далее: «Том второй». На столе лежали пачки бумаг, золотела чернильница, примечались ручки и перья; на столе стояло тяжелое пресс-папье в виде толстой подставочки, на которой серебряный мужичок (верноподанный) поднимал во здравие братаину. Аполлон Аполлонович перед перьями, перед ручками, перед пачечками бумаг, скрестив руки, сидел без движенья, без дрожи...

- «Отворяю я, ваше высокопревосходительство, дверь: неизвестная барыня, почтенная барыня...»
- «Я это им: „Чего угодно? ...“ Барыня же на меня: „Митрий Семенович...“»
- «Я же к ручке: матушка, мол, Анна Петровна...»
- «Посмотрели они, да и в слезы...»
- «Говорят: „Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня...“»

Аполлон Аполлонович ничего не ответил, но снова выдвинул ящик, вынул дюжину карандашиков (очень-очень дешевых), взял пару их в пальцы — и захрустела в пальцах сенатора карандашная палочка. Аполлон Аполлонович иногда выражал свою душевную муку этим способом: ломал карандашные пачки, для этого случая тщательно содержимые в ящике под литерой «бе».

- «Хорошо... Можете идти...»

Но, хрустя карандашными пачками, все же он достойно сумел сохранить беспристрастный свой вид; и никто, никто не сказал бы, что чопорный барин, незадолго до этого мига, задыхаясь и чуть ли не плача, провожал по слякоти кухаркину дочь; никто, никто б не сказал, что огромная лобная выпуклость так недавно таила желанье смести непокорные толпы, опоясавши землю, как цепью, железным проспектом.

А когда Семенович ушел, Аполлон Аполлонович, бросив в корзинку обломки карандашей, откинулся головой прямо к спинке черного кресла: старое личико помолодело; быстро он стал поправлять на шее свой галстук; быстро как-то вскочил и забегал, циркулируя от угла до угла: небольшого росточку и какой-то вертлявенький, Аполлон Аполлонович

всем напомнил бы сына: еще более он напомнил фотографический снимок с Николая Аполлоновича тысяча девятьсот четвертого года.

В это время из дальнего помещения, из — так себе — комнат, раздался удар за ударом; начинаясь где-то вдаль, приближались удары; точно кто-то там шел, металлический, грозный; и раздался удар, раздробляющий все. Аполлон Аполлонович невольно остановился и хотел бежать к двери, запереть на ключ кабинет, но... задумался, остался на месте, потому что удар, раздробляющий все, оказался звуком захлопнутой двери (звук шел из гостиной); несказанно мучительно шел кто-то к двери, громко кашляя и шлепая неестественно туфлями: страшная старина, как на нас из глубин набегающий вопль, вдруг окрепла в памяти звуками стародавнего пения, под которое Аполлон Аполлонович некогда впервые влюбился в Анну Петровну:

— «Уйми-теесь... ваалнее-ния... стра-аа-сти...»

«Уу-снии... бее-знааа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдце...»

Так почему же, так что же?

Дверь отворилась: на пороге ее стоял Николай Аполлонович, в мундирчике, даже при шпаге (так он был на балу, только снял домино), но в туфлях и в пестрой татарской ермолке.

— «Вот, папаша, и я...»

Лысая голова повернулась на сына; ница подходящего слова, защелкал он пальцами:

— «Видишь ли, Коленька», — Аполлон Аполлонович, вместо речи о домино (до домино ли теперь?) заговорил о другом обстоятельстве: об обстоятельстве, принудившем только что его обратиться к перевязанной пачке карандашей.

— «Видишь ли, Коленька: до сих пор я с тобой не обменялся известием, о котором ты, мой друг, без сомнения, слышал... Твоя мать, Анна Петровна, вернулась...»

Николай Аполлонович вздохнул облегченно и подумал: «Так вот оно что», но притворился взволнованным:

— «Как же, как же: я — знаю...»

Действительно: в первый раз Николай Аполлонович себе точно представил, что мать его, Анна Петровна, вернулась; но, представивши это, принялся за старое: за созерцание вдавленной груди, шеи, пальцев, ушей, подбородка перед ним бегущего старика... Эти ручки, эта шейка (какая-то рачья)! Испуганный, переконфуженный вид и чисто девичья стыдливость, с которой старик...

— «Анна Петровна, друг мой, совершила поступок, который... который... так сказать, трудно... трудно мне, Коленька, с достаточным хладнокровием квали-фицировать...»

Что-то в углу зашуршало: затрепеталась, забила там, пискнула — мышь.

— «Словом, поступок этот тебе, надеюсь, известен; этот поступок я до сих пор, — ты это заметил, — воздерживался при тебе обсуждать, во внимание к твоим естественным чувствам...»

Естественным чувствам! Чувства эти были во всяком случае неестественны...

— «К твоим естественным чувствам...»

— «Да, спасибо, папаша: я вас понимаю...»

— «Конечно», — Аполлон Аполлонович засунул два пальца в жилетный карманчик и снова забегал по диагонали (от угла к углу). — «Конечно: возвращение в Петербург твоей матери для тебя неожиданность».

(Аполлон Аполлонович остановил взгляд на сыне, приподнявшись на цыпочках).

— «Полная...»

— «Неожиданность для всех нас...»

— «Кто бы мог подумать, что мама вернется...»

— «То же самое и я говорю: кто бы мог подумать», — Аполлон Аполлонович растерянно развел руками, поднял плечи, раскланялся перед полом, — «что Анна Петровна вернется...» — И забегал опять: — «Эта полная неожиданность может окончиться, как ты имеешь все основания полагать, изменением (Аполлон Аполлонович многозначительно поднял свой палец, гремя на всю комнату басом, точно он пред толпой произносил важную речь) нашего домашнего status quo, или же (он повернулся) все останется по-старинному».

— «Да, я так полагаю...»

— «В первом случае — милости просим».

Аполлон Аполлонович раскланялся двери.

— «Во втором случае, — Аполлон Аполлонович растерянно заморгал, — ты ее увидишь, конечно, но я... я... я...»

И Аполлон Аполлонович поднял на сына глаза; глаза были грустные: глаза трепетавшей, затравленной лани.

— «Я, Коленька, право, не знаю: но думаю... Впрочем, это так трудно тебе объяснить, приняв во внимание естественность чувства, которое...»

Николай Аполлонович затрепетал от взгляда сенатора, с которым тот к нему повернулся, и странное дело: он почувствовал неожиданный прилив — можете себе представить чего? Любви? Да, любви к этому старому деспоту, обреченному разлететься на части.

Под влиянием этого чувства он рванулся к отцу: еще миг, он упал бы пред ним на колени, чтоб каяться и молить о пощаде; но старик, при виде встречного движения сына, вновь поджал свои губы, отбежал как-то вбок и брезгливо стал помахивать ручками:

— «Нет, нет, нет! Оставьте, пожалуйста... Да-с, я знаю, что надо вам!.. Вы меня слышали, потрудитесь теперь меня оставить в покое».

Повелительно по столу простучали два пальца; рука поднялась и показала на дверь:

— «Вы, милостивый государь, изволите водить меня за нос; вы, милостивый государь, мне не сын; вы — ужаснейший негодяй!»

Все это Аполлон Аполлонович не сказал, а воскликнул; эти слова вырвались неожиданно. Николай Аполлонович не помнил, как он высо-



чил в коридор с прежнею тошнотой и с течением гадливых мыслей: эти пальцы, эта шейка и два оттопыренных уха станут — кровавою слякотью.

### ПЕПП ПЕПPOBИЧ ПЕПП

Чуть ли не лбом Николай Аполлонович ударился в дверь своей комнаты; и вот щелкнуло электричество (для чего оно щелкнуло — солнце, солнце смотрело там в окна); на ходу опрокинув стул, подбежал он к столу:

- «Ай, ай, ай... Где же ключик?»
- «?»
- «!»
- «А!..»
- «Ну, вот-с...»
- «Хорошо-с...»

Николай Аполлонович так же, как Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

И — да: торопился... Выдвигал неподатливый ящик, а ящик не слушался; он из ящика кинул на стол пачечки перевязанных писем; большой кабинетный портрет оказался под пачками; взгляд скользнул по портрету; и оттуда бросила ответный свой взгляд какая-то миловидная дамочка: поглядела с усмешкой — в сторону полетел кабинетный портрет; под портретом же был узелочек; с деланным равнодушием взвесил его на ладони: там была какая-то тяжесть; поскорей опустил.

Николай Аполлонович быстро стал развязывать узлы полотенца, потянувши за вышитый кончик, изображавший фазана: небольшого росточку — вертявенький — Николай Аполлонович теперь напомнил сенатора: еще более он напомнил фотографический снимок сенатора тысяча восемьсот шестидесятого года.

Но чего суетился он? Спокойствия, о побольше спокойствия! Все равно, дрожащие пальцы не развязали узла; да и нечего было развязывать: все и так было ясно. Тем не менее, узелок развязал; его изумление не имело границ:

- «Бонбонверка...»
- «А!..»
- «Ленточка!..»
- «Скажите, пожалуйста?»

Николай Аполлонович так же, как Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

А когда он ленту сорвал, то надежда разбилась (он на что-то надеялся), потому что в ней — в бонбоньерке, под розовой ленточкой — вместо сладких конфет от Балле заключалась простая жестяночка; крышка жестяночки обожгла его палец неприятнейшим холодком.

Тут, попутно, заметил он часовой механизм, приделанный сбоку: надо было сбоку вертеть металлическим ключиком, чтобы острая черная

стрелка стала на назначенный час. Николай Аполлонович глухо почувствовал встающую в его сознании уверенность, долженствующую доказать его дрянность и слабость: он почувствовал, что повернуть этот ключик никогда он не сможет, ибо не было средств остановить пущенный в ход механизм. И чтоб тут же отрезать себе всякое дальнейшее отступление, Николай Аполлонович тотчас же заключил металлический ключик меж пальцев; оттого ли, что дрогнули пальцы, оттого ли, что Николай Аполлонович, почувствовав головокружение, свалился в ту самую бездну, которую он хотел всю силой души избежать — только, только: ключик медленно повернулся на час, потом повернулся на два часа, а Николай Аполлонович... сделал невольное антраша: отлетел как-то в сторону; отлетев как-то в сторону, он опять покосился на столик: так же все на столе продолжала стоять жестяная коробочка из-под жирных сардинок (он однажды объелся сардинками и с тех пор их не ел); сардинница, как сардинница: блестящая, круглогранная...

Нет — нет — нет!

Не сардинница, а сардинница ужасного содержания!

Металлический ключик уже повернулся на два часа, и особая, уму непостижная жизнь в сардиннице уже вспыхнула; и сардинница хоть и та ж — да не та; там наверно ползут: часовая и минутная стрелки; светливая секундная волосинка заскакала по кругу, вплоть до мига (этот миг теперь недалек) — до мига, до мига, когда... —

— ужасное содержание сардинницы безобразно вдруг вспучится; кинется — расширяться без меры; и тогда, и тогда разлетится сардинница...

— струи ужасного содержания как-то прытко раскинутся по кругам, разрывая на части с бурным грохотом столик: что-то лопнет в нем, хлопнув, и тело — будет тоже разорвано; вместе с щепками, вместе с брызнувшим во все стороны газом оно разбросается омерзительной кровавою слякотью на стенных холодных камнях... —

— в сотую долю секунды все то совершится: в сотую долю секунды провалятся стены, а ужасное содержание, ширясь, ширясь и ширясь, свиснет в тусклое небо щепками, кровью и камнем.

В тусклое небо стремительно разовьются косматые дымы, впустив хвосты на Неву.

Что ж он сделал, что сделал он?

На столе, ведь, пока еще все стояла коробочка; раз он ключ повернул, надо было немедленно схватить ту коробочку, положить ее на должное место (например — в белой спальне под подушку); или тотчас же раздавить под пятою. Но упрятать ее в должном месте, под взбитой отповской подушкой, чтобы старая, лысая голова, утомленная только что бывшим, упала с размаху на бомбу, — нет, нет, нет; на это он не способен; предательство это.

Раздавить под пятой?

Но при этой мысли ощутил он нечто такое, от чего его уши положительно дернулись: он испытывал столь огромную тошноту (от семи выпитых рюмок), точно бомбу он проглотил, как пилюлю; и теперь под ложечкой что-то всучилось: не то — из резины, не то — из материи очень странных миров...

Никогда не раздавит он, никогда.

Остается бросить в Неву, но на это есть время: стоит только раз двадцать повернуть еще ключик; и пока все отсрочится; раз он ключ повернул, надо было немедленно растянуть то пока; но он медлил, в совершенном бессилии опустившись в кресло; тошнота, странная слабость, дремота одолевали ужасно; а ослабшая мысль, отрываясь от тела, рисовала бессмысленно Николаю Аполлоновичу все какие-то дрянные, праздные, бессильные арабески... погружаясь в дремоту.

Николай Аполлонович был человек просвещенный; Николай Аполлонович не бессмысленно посвятил философии свои лучшие годы жизни; предрассудки с него посвалились давно, и Николай Аполлонович был решительно чужд волхвованию и всяческим чудесам; волхвование и всякие чудеса затемняли (почему он думает о постороннем, надо думать об этом... О чем думать? Николай Аполлонович силился из дремоты встать; и встать он не мог)... затемняли... всякие чудеса... представление об источнике совершенства; для философа источником совершенства была Мысль: так сказать, Бог, то есть Совершенное Правило... Законодатели же великих религий разнообразные правила выражали в образной форме; законодателей великих религий Николай Аполлонович, так сказать, уважал, не веря, само собой разумеется, их божественной сущности.

Да: почему о религии? Есть ли время подумать... Ведь, совершилось: скорей... Что совершилось?... Последнее усилие Николая Аполлоновича встать из дремоты не увенчалось успехом; ни о чем он не вспомнил; все показалось спокойным... до обыденности, и ослабшая его мысль, отрываясь от тела, рисовала бессмысленно все какие-то дрянные, праздные, бессильные арабески.

Будду Николай Аполлонович Аблоухов особенно уважал, полагая, что буддизм превзошел все религии и в психологическом, и в теоретическом отношении; в психологическом — научая любить и животных; в теоретическом логика развивалась любовно тибетскими ламами.<sup>19</sup> Так: Николай Аполлонович вспомнил, что он когда-то читал логику Дармакирты с комментарием Дармотарры...<sup>20</sup>

Это — во-первых.

Во-вторых: во-вторых (замечаем мы от себя), Николай Аполлонович Аблоухов был человек бессознательный (не Николай Аполлонович номер первый, а Николай Аполлонович номер второй); от поры до поры, между двух подъездных дверей на него нападало (как и на Аполлона Аполлоновича) одно странное, очень странное, чрезвычайно странное состояние;

будто все, что было за дверью, было не тем, а иным: каким, — этого Николай Аполлонович сказать бы не мог. Вообразите лишь, что за дверью — нет ничего, и что если дверь распахнуть, то дверь распахнется в пустую, космическую безмерность, куда остается. . . разве что кинуться вниз головой, чтоб лететь, лететь и лететь — и куда пролетевши, узнаешь, что та безмерность есть небо и звезды — те же небо и звезды, что видим мы над собой, и видя — не видим. Туда остается лететь мимо странно неподвижных, теперь немерцающих звездочек и багровых планетных шаров — в абсолютном поле, в атмосфере двухсот семидесяти трех градусов холода.<sup>21</sup> То же Николай Аполлонович испытывал вот теперь.

Странное, очень странное полусонное состояние.

### СТРАШНЫЙ СУД

Вот в таком состоянии он сидел перед сардинницей: видел — не видел — он; слышал — не слышал; будто в ту неживую минуту, когда в черное объятие кресла грянулось это усталое тело, грянулся этот дух прямо с паркетиков пола в неживое какое-то море, в абсолютный нуль градусов; и видел — не видел: нет, видел. Когда усталая голова склонилась неслышно на стол (на сардинницу), то в открытую дверь коридора гляделось бездонное, странное, что Николай Аполлонович постарался откинуть, переходя к текущему делу: к далекому астральному путешествию,<sup>22</sup> или сну (что заметим мы — то же); а открытая дверь продолжала зиять среди текущего, открывая в текущее свою нетекущую глубину: космическую безмерность.

Николаю Аполлоновичу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на него поглядели, что какая-то там просовывалась голова (стоило на нее поглядеть, как она исчезала): голова какого-то бога (Николай Аполлонович эту голову отнес бы к головам деревянных божков, каких встретите вы и поныне у северо-восточных народностей, искони населяющих тусклые тундры России). Ведь таким же точно божкам, может быть, в старинные времена поклонялись его киргиз-кайсацкие предки; эти киргиз-кайсацкие предки, по преданию, находились в сношении с тибетскими ламами; в крови Аб-Лай-Уховых они копошились изрядно. Не оттого ли Николай Аполлонович мог испытывать нежность к буддизму? Тут сказалась наследственность; наследственность прилиwała к сознанию; в склеротических жилах наследственность билась миллионами кровавых желтых шариков. И теперь, когда открытая дверь Аبلухову показала безмерность, он отнесся к этому весьма странному обстоятельству с достойным хладнокровием (ведь, это уж было): опустил в руки голову.

Миг, — и он бы спокойно отправился в обычное астральное путешествие, развивая от брэнной своей оболочки туманный, космический хвост, проникающий стены в безмерное, но сон оборвался: неслучайно, мучительно, немолчал кто-то к двери, взрывая ветрами небытия: страшная старина, как на нас налетающий вопль бегущего таксомагора, вдруг окрепла звуками старинного пения.

Это пение Николай Аполлонович верней отгадал, чем узнал:

— «Уймии-теесь... ваа-лнее-ния страа-аа-стии...»

Это же незадолго пред тем ревела машина:

— «Усни... безнаа...»

— «Ааа» — взревело в дверях: труба граммофона? таксомоторный рожок? Нет: в дверях стояла старинная-старинная голова.

Николай Аполлонович привскочил.

Старинная, старинная голова: Кон-Фу-Дзы<sup>23</sup> или Будды? Нет, в двери заглядывал, верно, прапрадед, Аб-Лай.

Лепетал, пришепетывал пестрый шелковый переливный халат; почему-то вспомнился Николаю Аполлоновичу его собственный бухарский халат, на котором павлиньи переливные перья... Пестрый шелковый переливный халат, на котором по дымному, дымно-сапфирному полю (и в дымное поле) ползли все дракончики, остроклювые, золотые, крылатые, малых размеров; о пяти своих ярусах пирамидальная шапка с золотыми полями показалась митрою;<sup>24</sup> над головой и светил, и потрескивал многолучевой ореол: вид чудесный и знакомый нам всем! В центре этого ореола какой-то морщинистый лик разъял свои губы с хроническим видом;<sup>25</sup> преподобный монгол вошел в пеструю комнату; и за ним провевали тысячелетние ветерки.

В первое мгновение Николай Аполлонович Аблеухов подумал, что под видом монгольского предка, Аб-Лая, к нему пожаловал Хронос<sup>26</sup> (вот что таилось в нем!); суетливо заерзали его взоры: он в руках Незнакомца отыскивал лезвие традиционной косы; но косы в руках не было: в благоуханной, как первая лилия, желтоватой руке было лишь восточное блюдо с пахнущей кучечкой, сложенной из китайских розовых яблочек: райских.

Рай Николай Аполлонович отрицал: рай, или сад (что, как видел он, — то же) не совмещался в представлении Николая Аполлоновича с идеалом высшего блага (не забудем, что Николай Аполлонович был кантианец; более того: когенианец); в этом смысле он был человек нирванический.

Под Нирваною разумел он — Ничто.<sup>27</sup>

И Николай Аполлонович вспомнил: он — старый туранец — воплотился многое множество раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: распатать все устои; в испорченной крови арийской<sup>28</sup> должен был разгореться Старинный Дракон<sup>29</sup> и все пожрать пламенем; стародавний восток градом невидимых бомб осыпал наше время. Николай Аполлонович — старая туранская бомба<sup>30</sup> — теперь разрывался восторгом, увидевши родину; на лице Николая Аполлоновича появилось теперь забытое, монгольское выражение; он казался теперь мандарином Срединной империи,<sup>31</sup> облеченным в скюртук при своем проезде на запад (ведь, он был здесь с единственной и секретнейшей миссией).

— «Так-с...»

— «Так-с...»

- «Так-с...»
- «Очень хорошо-с!»

Странное дело: как он вдруг напомнил отца!

Так с душившим душу восторгом старинный туранец, облеченный на время в брэнную арийскую оболочку, бросился к кипе старых тетрадок, в которых были начертаны положения им продуманной метафизики; и смущенно, и радостно ухватился он за тетрадки: все тетрадки сложились пред ним в одно громадное дело — дело всей жизни (уподобились сумме дел Аполлона Аполлоновича). Дело жизни его оказалось не просто жизненным делом: сплошное, громадное, монгольское дело засквозило в записках под всеми пунктами и всеми параграфами: до рождения ему врученная и великая миссия: миссия разрушителя.

Этот гость, преподобный туранец, стоял неподвижно: ширилась его глаз беспросветная, как ночь, темнота; а руки — а руки: ритмически, мелодически, плавно поднялись они в бескрайнюю вышину; и плеснула одежда; шум ее напомнил трепеты пролетающих крыл; поле дымного фона очистилось, углубилось и стало куском далекого неба, глядящего сквозь разорванный воздух этого кабинетика: темно-сапфирная щель — как она оказалась в шкафах заставленной комнате? Туда пролетели дракончики, что были расшиты на переливном халате (ведь халат-то стал щелью); в глубине мерцали там звездочками... И сама старинная старина стояла небом и звездами: и оттуда бил кубовый<sup>32</sup> воздух, настоящий на звезде.

Николай Аполлонович бросился к гостю — туранец к туранцу (подчиненный к начальнику) с грудой тетрадок в руке:

— «Параграф первый: Кант (доказательство, что и Кант был туранец)».

— «Параграф второй: ценность, понятая, как никто и ничто».<sup>33</sup>

— «Параграф третий: социальные отношения, построенные на ценности».

— «Параграф четвертый: разрушение арийского мира системой ценностей».

— «Заключение: стародавнее монгольское дело».

Но туранец ответил.

— «Задача не понята: вместо Канта — быть должен Проспект».

— «Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековые времена».

— «Вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта — равномерная, прямолинейная».

— «Не разрушение Европы — ее неизменность...»

— «Вот какое — монгольское дело...»

Николаю Аполлоновичу представилось, что он осужден: и пачка тетрадок на руках его распалась кучечкой пепла; а морщинистый лик, знакомый до ужаса, наклонился вплотную: тут взглянул он на ухо, и — по-

нял, все понял: старый туранец, некогда его наставлявший всем правилам мудрости, был Аполлон Аполлонович; вот на кого он, понявши превратно науку, поднимал свою руку.

Это был Страшный Суд.

— «Как же это такое? Кто же это такое?»

— «Кто такое? Отец твой...»

— «Кто ж отец мой?»

— «Сатурн...»

— «Как же это возможно?»

— «Нет невозможного!..»

Страшный Суд наступил.

Какие-то протекшие сновидения тут были действительно; тут бежали действительно планетные циклы — в миллиардногодичной волне: не было ни Земли, ни Венеры, ни Марса, лишь бежали вокруг Солнца три туманных кольца; еще только что разорвалось четвертое, и огромный Юпитер собирался стать миром; один стародавний Сатурн поднимал из огнёвого центра черные эонные волны: бежали туманности; а уж Сатурном, родителем, Николай Аполлонович был сброшен в безмерность;<sup>34</sup> и текли вокруг оди расстояния.

На исходе четвертого царства он был на земле:<sup>35</sup> меч Сатурна тогда повисал неистекшей грозой; рушился материк Атлантиды:<sup>36</sup> Николай Аполлонович, Атлант, был развратным чудовищем (земля под ним не держалась — опустилась под воды); после был он в Китае: Аполлон Аполлонович, богдыхан,<sup>37</sup> повелел Николаю Аполлоновичу перерезать многие тысячи (что и было исполнено); и в сравнительно недавнее время, как на Русь повалили тысячи тамерлановых всадников,<sup>38</sup> Николай Аполлонович прискакал в эту Русь на своем степном скакуне,<sup>39</sup> после он воплотился в кровь русского дворянина; и принялся за старое: и как некогда он перерезал там тысячи, так он нынче хотел разорвать: бросить бомбу в отца; бросить бомбу в самое быстротекущее время. Но отец был — Сатурн, круг времени повернулся, замкнулся; сатурново царство вернулось (здесь от сладости разрывается сердце).

Течение времени перестало быть; тысячи миллионов лет созревала в духе материя; но самое время возжаждал он разорвать; и вот все погибало.

— «Отец!»

— «Ты меня хотел разорвать; и от этого все погибает».

— «Не тебя, а...»

— «Поздно: птицы, звери, люди, история, мир — все рушится: валится на Сатурн...»

Все падало на Сатурн; атмосфера за окнами темнела, чернела; все пришло в старинное, раскаленное состояние, расширяясь без меры, все тела не стали телами; все вертелось обратно — вертелось ужасно.

— «Cela... tourne...» \* — в совершеннейшем ужасе заревел Николай Аполлонович, окончательно лишившийся тела, но этого не заметивший...

— «Нет, Sa... tourne...»\*\*

Лишившийся тела, все же он чувствовал тело: некий невидимый центр, бывший прежде и сознанием, и «я», оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного: предпосылки логики Николая Аполлоновича обернулись костями; силлогизмы вокруг этих костей завернулись жесткими сухожилиями; содержание же логической деятельности обросло и мясом, и кожей; так «я» Николая Аполлоновича снова явило телесный свой образ, хоть и не было телом; и в этом не-теле (в разорвавшемся «я») открылось чуждое «я»: это «я» пробежало с Сатурна и вернулось к Сатурну.

Он сидел пред отцом (как сживал и раньше) — без тела, но в теле (вот странность-то!): за окнами его кабинета, в совершеннейшей темноте, раздавалось громкое бормотание: турн — турн — турн.

То летоисчисление бежало обратно.

— «Да какого же мы летоисчисления?»

Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхотавшись, ответил:

«Никакого, Коленька, никакого: времяисчисление, мой родной, — нулевое...»

Ужасное содержание души Николая Аполлоновича беспокойно вертелось (там, в месте сердца), как жужжавший волчок: разбухало и ширилось; и казалось: ужасное содержание души — круглый ноль — становилось томительным шаром; казалось: вот логика — кости разорвутся на части.

Это был Страшный Суд.

— «Ай, ай, ай: что ж такое „я есмь“?»

— «Я есмь? Нуль...»

— «Ну, а нуль?»

— «Это, Коленька, бомба...»

Николай Аполлонович понял, что он — только бомба; и лопнувши, хлопнул: с того места, где только что возникало из кресла подобие Николая Аполлоновича и где теперь виделась какая-то дрянная разбитая скорлупа (в роде яичной), бросился молниеносный зигзаг, ниспадая в черные, зонные волны...

Николай Аполлонович тут очнулся от сна; с трепетом понял он, что его голова лежит на сардиннице.

И вскочил: страшный сон... А какой? Сон не припомнился; детские кошмары вернулись: Пёпп Пёппович Пёпп, распухающий из комочка

\* Это... вертится... (фр.). — Ред.

\*\* Это... вертится... (фр.; правильно: ça... tourne...). — Ред.



в громаду, видно там до времени приутих — в сардинной коробочке; стародавние детские бреды возвращались назад, потому что —

— Пёпп Пёппович Пёпп, комочек ужасного содержания, есть просто-напросто партийная бомба: там она неслышно стрекочет волосинкой и стрелками; Пёпп Пёппович Пёпп будет шириться, шириться, шириться. И Пёпп Пёппович Пёпп лопнет: лопнет все...

— «Что я... брежу?»

В голове его опять завертелось с ужасающей быстротою: что ж делать? Остается четверть часа: повернуть еще ключ?

Ключик он еще повернул двадцать раз; и двадцать раз что-то хрипнуло там, в жестяночке: стародавние бреды на краткое время ушли, чтобы утро осталось утром, а день остался бы днем, вечер — вечером; на исходе же ночи никакое движение ключика ничего не отсрочит: будет что-то такое, отчего развалятся стены, пурпуром освещенные небеса разорвутся на части, смешавшись с разбрызганной кровью в одну тусклую, перевозданную тьму.

Конец пятой главы





## ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой рассказаны происшествия серенького денька

За ним повсюду Всадник Медный  
С тяжелым топотом скакал.

А. Пушкин!

### ВНОВЬ НАЩУПАЛАСЬ НИТЬ ЕГО БЫТИЯ

Было тусклое петербургское утро.

Вернемся же к Александру Ивановичу; Александр Иванович проснулся; Александр Иванович приоткрыл слипавшиеся глаза: бежали события ночи — в подсознательный мир; нервы его развинтились; ночь для него была событием исполинских размеров.

Переходное состояние между бдением и сном его бросало куда-то: точно с пятого этажа выскакивал он чрез окошко; ощущения открывали ему в его мире вопиющую брешь; он влетал в эту брешь, проносясь в роющийся мир, о котором мало сказать, что в нем напали субстанции, подобные фуриям: <sup>2</sup> самая мировая ткань представлялась там фурийной тканью.

Лишь под самое утро Александр Иванович пересиливал этот мир; и тогда попадал он в блаженство; пробуждение стремительно его низвергало оттуда: он чего-то жалел, а все тело при этом и болело, и ныло.

Первое мгновение по своем пробуждении он заметил, что его трясет жесточайший озноб; ночь прометался он: что-то было — наверное... Только что?

Во всю долгую ночь длилось бредное бегство по туманным проспектам, не то — по ступеням таинственной лестницы; а всего вернее, что бегала лихорадка: по жилам; воспоминание говорило о чем-то, но — воспоминание ускользало; и связать чего-то он памятью все не мог.

Это все — лихорадка.

Не на шутку испуганный (Александр Иванович при своем одиночестве боялся болезней), подумал он, что ему не мешало бы высидеть дома.

С этой мыслью он стал забываться; и, забываясь, он думал:

— «Мне бы хинки».

Заснул.

И проснувшись — прибавил:

— «Да крепкого чаю. . .»

И подумавши вновь, он прибавил еще:

— «С малинкою. . .»

Он подумал о том, что он все эти дни проводил с недопустимою для его положения легкостью; легкость эта тем более ему показалась постыдною, что надвигались огромные и тяжелые дни.

Он невольно вздохнул:

— «И еще бы мне — строгое воздержание от водки. . . Не читать Откровение. . .<sup>3</sup> Не спускаться бы к дворнику. . . Да и эти беседы с проживающим у дворника Степкой: не болтать бы со Степкой. . .»

Эти мысли о малиновом чае, о водке, о Степке, о Иоанновом Откровении сперва его успокоили, низводя происшествия ночи к совершеннейшей ерунде.

Но умывшись из крана, как лед, холодной водою при помощи жалкого своего обмылка и мыльной желтеющей слякоти, Александр Иванович почувствовал снова прилив ерунды.

Он окинул взором свою двенадцатирублевую комнату (чердачное помещение).

Что за убогое обиталище!

Главным украшением убогого обиталища представлялась постель; постель состояла из четырех треснувших досок, кое-как положенных на деревянные козлы; на растресканной поверхности этих козел выдавались противные темно-красные, засохшие, вероятно, клопные пятна, потому что с этими темно-красными пятнами Александр Иванович много месяцев упорно боролся при помощи персидского порошка.

Козлы были покрыты тощим, набитым мочалом матрасиком; сверху матрасика на грязную одну простыню рука Александра Ивановича бережно набросила вязаное одеяльце, которое вряд ли можно было назвать полосатым: скудные намеки здесь когда-то бывших голубых и красных полос покрывались налетами серости, появившейся, впрочем, по всей вероятности не от грязи, а от многолетнего и деятельного употребления; с этим чьим-то подарком (может быть, матери) Александр Иванович все что-то медлил расстаться; может быть, медлил расстаться за неимением средств (оно ездило с ним и в Якутскую область).

Кроме постели. . . — да: должен здесь я сказать: над постелью висел образок, изображавший тысячаночную молитву Серафима Саровского среди сосен, на камне<sup>4</sup> (должен здесь я сказать — Александр Иванович под сорочкою носил серебряный крестик).

Кроме постели можно было заметить гладко обструганный и лишенный всякого украшения столик: точно такие же столики фигурируют в виде скромных подставок для умывального таза — на дешевеньких дачках; точно такие же столики продаются повсюду по воскресеньям на рынках; в обиталище Александра Ивановича такой столик служил одновременно и письменным, и ночным столиком; умывальный же тазик отсутствовал вовсе: Александр Иванович при совершении туалета пользовался услугами водопроводного крана, раковины и сардинной корбочкой, со-

державшей обмылок казанского мыла, плававший в своей собственной слизи; была еще вешалка: со штанами; кончик стоптанной туфли из-под постели выглядывал своим дырявым носком (Александр Иванович видел сон, будто эта дырявая туфля есть живое создание: комнатное создание, что ли, как собачка или кошка; она самостоятельно шлепала, переползая по компате и шурша по углам; когда Александр Иванович собрался ее покормить во рту разжеванным ситником, то шлепающее создание это своим дырявым отверстием его укусило за палец, отчего он проснулся).

Был еще коричневый чемодан, изменивший давно первоначальную форму и хранящий предметы самого ужасного содержания.

Все убранство, с позволения сказать, комнаты отступало на задний план перед цветом обоев, неприятных и наглых, не то темно-желтых, а не то темновато-коричневых, выдававших громадные пятна сырости: по вечерам то по этому пятну, то по другому переползала мокрица. Все комнатное убранство было затянато полосами табачного дыма. Нужно было не переставая курить по крайней мере двенадцать часов подряд, чтоб бесцветную атмосферу превратить в темно-серую, синюю.

Александр Иванович Дудкин оглядывал свое обиталище, и его опять (так бывало и прежде) потянуло из черекуренной комнаты — прочь: потянуло на улицу, в грязноватый туман, чтобы слипнуться, склеиться, слиться с плечами, со спинами, с зеленоватыми лицами на петербургском проспекте и явить собою сплошное, громадное, серое — лицо и плечо.

К окну его комнаты зелено прилипали рои октябрёвских туманов; Александр Иванович Дудкин почувствовал неудержимое желание пронизаться туманом, пронизать свои мысли им, чтобы в нем утопить стрекотавшую в мозгах ерунду, угасить ее вспышками бреда, возникавшими огневыми шарами (шары потом лопались), угасить гимнастикой шагающих ног; надо было шагать — вновь шагать, все шагать; от проспекта к проспекту, от улицы к улице; шагать до полного онемения мозга, чтоб свалиться на столик харчевни и обжечь себя водкой. Только в этом беспечельном блуждании по улицам да кривым переулкам — под фонарями, заборами, трубами — угашаются душу гнетущие мысли.

Надевая пальтишко, Александр Иванович ощутил свой озноб; и он с грустью подумал:

— «Эх, теперь бы да хпшки!»

Но какая там хинка. . .

И, спускаясь по лестнице, снова грустно подумал он:

— «Эх, теперь бы да крепкого чаю с малинкою! . . .»

## ЛЕСТНИЦА

Лестница!

Грозная, теневая, сырая, — она отдавала безжалостно его шаркнувший шаг: грозная, теневая, сырая! Это было сегодняшней ночью. Александр Иванович Дудкин впервые тут вспомнил, что он здесь вчера действительно проходил: не во сне это было: это — было. А что было?

Что?

Да: изо всех дверей вон — ширилось погибельное молчание на него; раздавалось без меры и строило все какие-то порохи; и без меры, без усталости неизвестный там губошлеп глотал свои слюны в тягучей отчетливости (не во сне было и это); были страшные, неизвестные звуки, все сплетенные из глухого стенания времен; сверху, в узкие окна можно было увидеть — и он это видел — как порой прометалась там мгла, как она там взметалась в клочкастые очертания, и как все озарялось, когда тускло-бледная бирюза под ноги стлалась без единого звука, чтоб лежать бестрепетно и мертво.

Там — туда: там глядела луна.

Но рои набегали: рой за роєм — косматые, призрачно-дымные, грозовые — все рои набрасывались на луну: тускло-бледная бирюза омрачалась; отовсюду выметывалась тень, все тень покрывала.

Здесь Александр Иванович Дудкин и вспомнил впервые, как по лестнице этой он вчера пробежал, напрягая последние угасавшие силы и без всякой надежды (какой же?) осилить — что именно? А какое-то черное очертание (неужели было и это?), что есть мочи бежало — по его пятам, по его следам.

И губило его без возврата.

• . . . . .

Лестница!

В серый будничный день она мирна, обыденна; внизу ухают глухие удары: это рубят капусту — на зиму обзавелся капустою жилец из четвертого номера; обыденно так выглядят — перила, двери, ступени; на перилах: кошкою пахнувший, полурванный, протертый ковер — из четвертого номера; полотер с опухшей щекою в него бьет выбивалкой; и чихает от пыли в передник какая-то белокурая халда,<sup>5</sup> вылезаящая из двери; меж полотером и халдою, сами собой, возникают слова:

— «Ух!»

— «Подсобика, любезный. . .»

— «Степанида Марковна. . . Еще чего нанесли! . .»

— «Ладно, ладно. . .»

— «И какая такая, стало быть. . .»

— «Теперича „нанесли“, а там — за „чайшком“ . . .»

— «И какая такая, стало быть, — говорю я, — работа. . .»

— «На митингу не шпаялись бы: спорилась бы и работа. . .»

— «Вы митингу не уязвляйте: сами впоследствии ими будете благодарны!»

— «Повывивай-ка перину, ей, ты, — кавалер!»

• . . . . .

Двери!

Та — вон, та; да и — та. . . От той отодралась клеенка; конский волос космато выпирает из дыр; а у этой вот двери булавкой приколата карточка; карточка пожелтела; и на ней стоит: «Закаталкин». . . Кто такой Закаталкин, как зовут, как по отчеству, какой профессией занимается, — предоставляю судить любопытным: «Закаталкин» — и все тут.

Из-за двери скрипичный смычок трудолюбиво выпиливает знакомую песенку. И слышится голос:

— «Атчизне любимай. . .»

Я так полагаю, что Закаталкин — находящийся в услужении скрипач: скрипач из оркестрика какой-нибудь ресторации.

Вот и все, что можно заметить при наблюдении дверей. . . Да — еще: в прежние годы около двери ставилась кадка, отдававшая горкlostью: для наполнения водовозной водою: с проведеньем воды повывелись в городах водовозы.

Ступени?

Они усеяны огуречными корками, шлепиками уличной грязи и яичною скорлупой. . .

## И, ВЫРВАВШИСЬ, ПОБЕЖАЛ

Александр Иванович Дудкин взором окидывал лестницу, полотера и халду, прущую с новой периной из двери; и — странное дело: обыденная простота этой лестницы не рассеяла пережитого здесь за последнюю ночь; и теперь, среди дня, среди ступенек, скорлуп, полотера и кошки, пожирающей на окошке куриную внутренность, к Александру Ивановичу возвращался когда-то испытанный им перепуг: все, что было с ним минувшею ночью, — то подлинно было; и сегодняшней ночью вернется то, подлинно бывшее: вот как ночью вернется он: лестница будет теневая и грозная; какое-то черное очертание вновь погонится по пятам; за дверью, где на карточке стоит «Закаталкин», будет вновь глотание слюней губошлепа (может быть, — глотание слюней, а может быть, — крови) . . .

И раздастся знакомое, невозможное слово в совершенной отчетливости. . .

— «Да, да, да. . . Это — я. . . Я гублю без возврата. . .»<sup>6</sup>

Где это слышал он?

. . . . .

Прочь отсюда! На улицу! . . .

Надо вновь зашагать, все шагать, прочь шагать: до полного истощения сил, до полного онемения мозга и свалиться на столик харчевни, чтоб не снились мóроки; и потом приняться за прежнее: отшагать Петербург, затеряться в сыром тростнике, в дымах виснувших взморья, в оцепенении от всего отмахнуться и очнуться уже среди сырых огоньков петербургских предместий.

Александр Иванович Дудкин затрусил было вниз по каменной многоступенчатой лестнице; но внезапно остановился; он заметил, что какой-то странный субъект в итальянской черной накидке и в такой же точно фантастически загнутой шляпе через три ступени шагая, к нему несется навстречу, опустив низко голову и отчаянно завертевши в руке тяжеловесную трость.

Выгибалась его спина.

Этот странный субъект в итальянской черной накидке впопыхах налетел на Александра Ивановича; он его едва не ткнул в грудь головою; а когда закинулась голова, то Александр Иванович Дудкин прямо под носом своим увидал мертвенно-бледный и покрытый испариной лоб — вы представьте! — Николая Аполлоновича: лоб с бьющейся, надутую жилой; только по этому характерному признаку (по прыгавшей жиле) Александр Иванович и узнал Аблеухова: не по дико косящим глазам, не по странной, заграничной одежде.

— «Здравствуйте: это я — к вам».

Николай Аполлонович быстро-быстро отрезал эти слова; и — что такое? Отрезал угрожающим шепотом? Э, да как же он запыхался. Не подавши даже руки, он стремительно произнес — угрожающим шепотом:

— «Должен я вам, Александр Иваныч, заметить, что я — не могу».

— «?»

— «Вы, конечно, поняли, чего именно не могу: не могу, да и не хочу; словом — не стану».

— «!»

— «Это — отказ: бесповоротный отказ. Можете так передать. И прошу меня оставить в покое...»

На лице Николая Аполлоновича при этом отразилось смущение, будто даже испуг.

Николай Аполлонович повернулся; и, вертя тяжеловесную свою трость, Николай Аполлонович бросился по ступенькам обратно, будто бросился в бегство.

— «Да постойте, да стойте же», — заспешил за ним и Александр Иванович Дудкин и почувствовал под ногами дробь летящей ступенями лестницы.

— «Николай Аполлонович?»

У выхода он поймал Аблеухова за рукав, но тот вырвался. На Александра Ивановича Николай Аполлонович повернулся; Николай Аполлонович чуть дрожащей рукою придерживал поля своей ухарски заломленной шляпы; и, храбрясь, выпалил он полусшепотом:

— «Это, так сказать... гадко... Вы слышите?»

Припустился по дворику.

Александр Иванович на мгновение ухватился за дверь; Александр Иванович почувствовал сильнейшее беспокойство: оскорбление — ни за что, ни про что; он секунду помедлил, соображая, что теперь ему предпринять; произвольно он задергался; произвольным движением обнаружил свою нежнейшую шею; и потом в два скачка он нагнал беглеца.

Он вцепился рукой в отлетающий от него черный край итальянской накидки; обладатель накидки тут стал вырываться отчаянно; на мгновение они забарахтались между сложенных дров и в борьбе что-то упало, прозвенев по асфальту. Николай Аполлонович с приподнятой палкой отрывисто, задыхаясь от гнева, стал выкрикивать громко уже какую-то не-

допустимую и, главное, оскорбительную свою ерунду: оскорбительную для Александра Ивановича.

— «Это вы называете выступлением, партийной работой? Окружить меня сыском... Всюду следовать за мной по пятам... Самому же во всем разувериться... Заниматься чтением Откровения... Одновременно выслеживать... Милостивый государь, вы... вы... вы...»

Наконец, снова вырвавшись, Николай Аполлонович Аблеухов победил: они летели по улице.

## УЛИЦА

Улица!

Как она изменилась: как и ее изменили эти суровые дни!

Там вон — те чугунные жерди решетки какого-то садика; в ветер билась багряные листья там кленов, ударяясь о жерди; но багряные листья уже сваялись; и суки — сухие скелеты — одни там и чернели, и скрежетали.

Был сентябрь: небо было голубое и чистое; а теперь все не то: наливаясь потоком тяжелого олова стало небо с утра; сентября — нет.

Они летели по улице:

— «Но позвольте, Николай Аполлонович», — не унимался взволнованный и разобитый Дудкин, — «вы согласитесь, что теперь без объяснения нам расстаться нельзя...»

— «Больше нам не о чем говорить», — сухо отрезал Николай Аполлонович из-под ухарски загнутой шляпы.

— «Объясните толковее», — настаивал в свою очередь Александр Иванович.

Обида и беспокойное изумление изобразились в дергавшихся чертах; изумление, скажем мы от себя, было тут неподдельным, и столь неподдельным, что Николай Аполлонович Аблеухов неподдельность того изумления вопреки рассеянию гнева не мог не заметить.

Он обернулся и без прежней запальчивости, но с какою-то плаксивою злостью затараторил стремительно:

— «Нет, нет, нет!.. О чем еще там объясняться?.. И не смейте оспаривать... Сам я вправе потребовать величайшей отчетливости... Сам-то я ведь страдаю, не вы, не товарищ ваш...»

— «Что?.. Да что же?»

— «Передать узелок...»

— «Ну?»

— «Без всякого предупреждения, объяснения, просьбы...» Александр Иванович густо весь покраснел.

— «И потом в воду кануть... Чрез какое-то подставное лицо угрожать мне полицией...»

Александр Иванович при этом незаслуженном обвинении нервно дернулся к Аблеухову:



— «Остановитесь: какая полиция?»

— «Да, полиция...»

— «О какой вы полиции?.. Что за мерзость?.. Что за намеки?.. Кто из нас невменяем?»

Но Николай Аполлонович, чья плаксивая злость перешла снова в ярость, прохрипел ему в ухо:

— «Я бы вас», — раздался его хрип (оскаленный рот улыбался, казалось: кусая, кидался на ухо) ... «Я бы вас... вот сейчас — вот на этом вот месте: я бы... я... среди белого дня в назидание этой вот публике, Александр Иванович, мой милейший...» (он путался)...

Там вон, там... —

Из того резного окошка того глянцевого домика в летний вечер июльский на закат жевала губами все какая-то старушонка (— «Я бы вас...», — донеслось откуда-то издали до Александра Ивановича); с августа затворилось окошко и пропала старушка; в сентябре вынесли глазетовый гроб; за гробом шла кучка: господин в потертом пальто и в фуражке с кокардой; с ним — семеро белобрых мальчат.

Был гроб заколочен.

(— «Да-с, Александр Иванович, да-с», — донеслось откуда-то до Александра Ивановича).

После в дом зашныряли картузы и обшваркали лестницу; говорили, будто бы за стенами там фабрикуют снаряды; Александр Иванович знал, что тот самый снаряд принесен был сперва к нему на чердак — из этого домика.

И тут вздрогнул невольно.

Как странно: возвращенный грубо к действительности (странный он был человек: думал о домике в то самое время, когда Николай Аполлонович кидал ему свои фразы...) — ну, так вот: из невнятного бреда сенаторского сынка о полиции, решительном и бесповоротном отказе, Александр Иванович понял единственно:

— «Слушайте», — сказал он, — «немного, что мне понятно, в вашей речи понятно, это — вот только что: весь вопрос в узелке...»

— «О ней, разумеется: вы мне собственноручно передали ее на хранение».

— «Странно...»

Странно: разговор происходил у того самого домика, где бомба возникла: бомба-то, ставши умственной, описала правильный круг, так что речь о бомбе возникла в месте возникновения бомбы.

— «Тише же, Николай Аполлонович: непонятно мне, признаться, волнение ваше... Вы вот меня оскорбляете: что же вы видите предосудительного в том поступке моем?»

— «Как что?»

— «Да, что подлого в том, что партия», — слова эти произнес шепотком он, — «вас просила до времени побережь узелок? Вы же сами были согласны? И — все тут... Так что если вам неприятно держать у себя узелочек, то ничего мне не стоит за узелком забежать...»

— «Ах, оставьте, пожалуйста, эту мину невинности: если бы дело касалось одного узелка...»

— «Тсс! Потише: нас могут услышать...»

— «Одного узелка, — то... я бы вас понял... Не в этом дело: не притворяйтесь несведущим...»

— «В чем же дело?»

— «В насилии».

— «Насилия не было...»

— «В организованном сыске...»

— «Насилия, повторяю же, не было: вы согласились охотно; что ж касается сыска, то я...»

— «Да, тогда — летом...»

— «Что́ летом?»

— «В принципе я соглашался, или, верней, предлагал, и... пожалуй... я дал обещание, предполагая, что принуждения никакого не может тут быть, как и нет принуждения в партии; а если тут у вас принуждение, то — вы просто-напросто шаечка подозрительных интриганов... Ну, что ж?... Обещание дал, но разве я думал, что обещание не может быть взято обратно...»

— «Постойте...»

— «Не перебивайте меня: разве я знал, что самое предложение они истолкуют так: так повернут... И мне — это предложат...»

— «Нет, постойте: я все-таки вас перебую... Это вы о каком обещании? Выражайтесь точнее...»

Александр Ивановичу тут смутно припомнилось что-то (как, однако, он все позабыл!).

— «Да, вы о том обещании?..»

Вспомнилось, как однажды в трактирчике сообщила особа ему (мысль об этой особе заставила его пережить неприятное что-то) — особа, то есть Николай Степаныч Липпанченко, — ну, так вот: сообщила, что будто бы Николай Аполлонович — фу!.. Не хочется вспоминать!.. И он быстро прибавил:

— «Так ведь я не о том, так ведь дело не в том».

— «Как не в том? Вся суть — в обещании: в обещании, истолкованном бесповоротно и подло».

— «Тише, тише, Николай Аполлонович, что тут по-вашему подлого? И где — подлость?»

— «Как где подлость?»

— «Да, да, да: где? Партия вас просила до времени побережь узелок... Вот и все...»

— «Это по-вашему все?»

— «Все...»

— «Если б дело касалось узелка, то я бы вас понял: но извините...»  
И махнул он рукой.

— «Нечего нам объясняться: разве не видите, что весь разговор наш

топчется вокруг да около одного и того же: сказка про белого бычка, да и только...»

— «И я замечаю... И все-таки: вы тут заладили — затвердили о каком-то насилии, я вот припомнил: и до меня дошли слухи — тогда, летом...»

— «Ну?»

— «О насильственном поступке, который вы нам предложили: так вот это намерение исходило, как кажется, не от нас, а от вас!»

Александр Иванович вспомнил (особа все тогда ему рассказала в трактирчике, подливая ликеру): Николай Аполлонович Аблеухов чрез какое-то подставное лицо предложил им тогда собственноручно покончить с отцом; помнится, что особа тогда говорила с отвратным спокойствием, прибавляя, однако, что партии остается одно: предложение отклонить; необычность намеренья, неестественность в выборе жертвы и оттенок цинизма, граничащий с гнусностью, — все это отозвалось на чувствительном сердце Александра Ивановича приступом жесточайшего омерзения (Александр Иванович был тогда пьян; и так вся беседа с Липпанченко представлялась впоследствии лишь игрой захмелевшего мозга, а не трезвой действительностью): это все он и вспомнил теперь:

— «И признаться...»

— «Требовать от меня», — перебил Аблеухов, — «что я... чтобы я... собственноручно...»

— «Вот-вот...»

— «Это гадко!»

— «Да — гадко: и, так сказать, Николай Аполлонович, я тогда не поверил... Поверь я, вы упали тогда бы... во мнении партии...»

— «Так и вы считаете гадостью?»

— «Извините: считаю...»

— «Вот видите! Сами же вы называете это гадостью; и вы сами же, стало быть, приложили к гадости руку?»

Что-то такое взволновало вдруг Дудкина: дернулась нежнейшая шея:

— «Постойте...»

И, ухватившись дрожащей рукою за пуговицы итальянской накидки, так и впился он глазами в какую-то постороннюю точку:

— «Не заговаривайтесь: мы вот тут упрекаем друг друга, между тем мы оба согласны...», — с удивлением перевел он глаза на глаза Аблеухова, — «в наименовании поступка... Ведь подлость?»

Николай Аполлонович вздрогнул:

— «Ну, конечно же подлость!..»

Они помолчали...

— «Видите, оба согласны мы...»

Николай Аполлонович, достав из кармана платок, остановился, обтирая лицо.

— «Это меня удивляет...»

— «И меня...»

С недоумением они поглядели друг другу в глаза. Александр Ивано-

вич (он теперь позабыл, что его трясет лихорадка) опять протянул свою руку и дотронулся пальцем до края итальянской накидки:

— «Чтоб распутать весь этот узел, ответьте же мне вот на что: обещая собственноручно (и так далее)... — Обещание это не от вас исходило?..»

— «Нет! Нет же!»

— «И к такому убийству, стало быть, не причастны вы мыслью, я так спрашиваю потому, что мысль иногда невзначай выражается произвольными жестами, интонацией, взглядами, — даже: дрожанием губ...»

— «Нет же, нет... то есть...», — спохватился Николай Аполлонович, тут же он спохватился, что вслух спохватился о каком-то своем подозрительном мысленном ходе; и спохватившись вслух, покраснел; и — стал объясняться:

— «То есть я отца не любил... И, кажется, я не раз выражался... Но чтобы я?.. Никогда!»

— «Хорошо, я вам верю».

Николай Аполлонович тут, как на зло, покраснел до корня ушей; и, покраснев, захотел еще объясняться, но Александр Иванович решительно покачал головой, не желая касаться какого-то деликатного оттеночка непередаваемой мысли, обоим им одновременно блеснувшей.

— «Да не надо... Я — верю... Я не то, — о другом я: вот вы что мне скажите... Мне скажите теперь откровенно: я, что ли, — причастен?»

Николай Аполлонович с удивлением посмотрел на наивного собеседника: посмотрел, покраснел, и с чрезмерной горячностью, с форсированной убежденностью, ему нужной теперь, чтоб прикрыть какую-то мысль, — он выкрикнул:

— «Я считаю, что — да... Вы ему помогали...»

— «Кому это?»

— «Неизвестному...»

— «?»

— «Неизвестный же требовал...»

— «!»

— «Совершения гадости».

— «Где?»

— «В своей скверной записке...»

— «Такого не знаю...»

— «Неизвестный», — растерянно настаивал Николай Аполлонович, — «ваш товарищ по партии... Что вы так удивились? Что вас так удивило?»

...  
 — «Уверю вас: Неизвестного в партии у нас нет...»

Пришла очередь удивляться и Николаю Аполлоновичу:

— «Как? Нет в партии Неизвестного...»

— «Да потише же... Нет...»

— «Я три месяца получаю записочки...»

— «От кого?»

— «От него...»

Оба они замолчали.

Оба они тяжело задышали и оба вцепились глазами в вопросительно вскинутые глаза; и по мере того, как один растерянно поникал, ужасаясь, пугаясь, тень слабой надежды блеснула в глазах у другого.

— «Николай Аполлонович», — бесконечное возмущение, победивши испуг, разливалось на бледных скулах Александра Ивановича двумя багровыми пятнами, — «Николай Аполлонович!»

— «Ну?» — схватил его за руку тот.

Но Александр Иванович все не мог отдышаться, наконец, он поднял глаза, и — ну, вот: что-то печальное, что бывает во снах, — невыразимое что-то, без слов понятное всем, тут пахнуло внезапно от его чела, от его костенеющих пальцев.

— «Ну же, ну — не томите!»

Но Александр Иванович Дудкин, приложивши палец к губам, продолжал качать головой и молчать: невыразимое что-то, но понятное в снах, от него проструилось незримо — от чела его, от костенеющих пальцев.

Наконец с трудом он сказал:

— «Заверяю вас — честное слово: я во всей этой темной истории ни при чем...»

Николай Аполлонович сперва не поверил.

— «Что сказали вы? Повторите же, не молчите: поймите же и мое положение...»

— «Я — ни при чем...»

— «Ну, так что ж это значит?»

— «Не знаю...», — и прибавил порывисто: — «нет, нет, нет: это — ложь, это — бред, абракадабра, насмешка...»

— «Разве я знаю?..»

Николай Аполлонович посмотрел невидящими глазами на Александра Ивановича; а потом и в глубь улицы: как улица изменилась!

— «Да разве я знаю?.. Мне не легче от этого... Я не спал эту ночь».

Верх пролетки стремительно уносился в глубь улицы: как улица изменилась, — как и ее изменили эти суровые дни!

Ветер от взморья рванулся: посыпались последние листья; больше листьев не будет до месяца мая; скольких в мае не будет? Эти павшие листья воистину — последние листья. Александр Иванович все знал наизусть: будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом — все провалится; о, кружитесь, о, вейтесь, последние, ни с чем не сравнимые дни!

О, кружитесь, о, вейтесь по воздуху вы, — последние листья! Опять праздная мысль...

## РУКА ПОМОЩИ

— «Так он был на балу?»

— «Да, он был...»

— «Разговаривал с вашим батюшкой...»

- «Вот именно: упоминал и о вас...»
- «После встретился в переулке?..»
- «И увел в ресторанчик».
- «И назвался?..»
- «Морковиным...»
- «Абракадабра!»

Когда Александр Иванович Дудкин, оторвавшийся от созерцания вьющихся листьев, наконец вернулся к действительности, то он понял, что Николай Аполлонович, забегаая вперед, даже с несвойственной ему живостью растараторился донельзя; жестикулировал он; наклонял низко профиль с неприятным оскалом разорвавшегося рта, напоминая трагическую, античную маску, несочетавшуюся с быстрой вертлявостью ящера в одно согласное целое: словом, выглядел он попрыгунчиком с застывшим лицом.

Александр Иванович изредка лишь вставлял замечания:

- «И при этом он говорил про охранку?»
- «И охранкой пугал...»
- «Утверждая, что такое запугивание в плане партии и это партия одобряет?..»
- «Ну да, одобряет...» — с некоторым раздражением твердил Николай Аполлонович и, краснея, пытался осведомиться:
- «Сами же вы, помнится, тогда говорили, что партийные предрассудки...»
- «Что такое я говорил?» — строго вспыхнул и Дудкин.
- «Помнится, говорили вы, что партийные предрассудки низов не разделяются верхом, которому служите...»
- «Вздор!» — и Дудкин тут корпусом дернулся: и в волнении все усиливал шаг.

Николай Аполлонович в свою очередь хватал его за руки с тенью слабой надежды, отвечая на вопросы, как школьник, и неестественно улыбаясь. Наконец, улучив вновь минуту, продолжал он свои излияния о событиях этой ночи: о бале, о маске, о бегстве по залу, о сидении на приступочке черного домика, о подворотне, записочке; наконец, — о поганом трактирчике.

Это был подлинный бред.

Абракадабра все перепутала; все они давно уже посходили с ума, если только то, губящее безвозвратно, не существует в действительности.

С улицы покатались навстречу им черные гущи людские: многотысячные рои котелков вставали как волны. С улицы покатались навстречу им: лаковые цилиндры; поднимались из волн как пароходные трубы; с улицы запенилось в лица им: страусовое перо; блинообразная фуражка заулыбалась околышем; и были околыши: синие, желтые, красные.

Отовсюду выскакивал преназойливый нос.

Носы протекали во множестве: нос орлиный и нос петушинный; утиный нос, куриный; и так далее, далее. . .; нос был свернутый набок; и нос был вовсе не свернутый: зеленоватый, зеленый, бледный, белый и красный.

Все это с улицы покатилося навстречу им: бессмысленно, торопливо, обильно.

Николай Аполлонович, просительно едва поспевавший за Дудкиным, все как будто боялся оформить пред ним основной свой вопрос, вытекающий из открытия, что автор ужасной записки не мог быть носителем партийного директива; в этом состояла теперь его главная мысль: мысль огромнейшей важности — по практическим следствиям; эта мысль застряла теперь у него в голове (переменились их роли: теперь Александр Иванович, не Николай Аполлонович, ожесточенно расталкивал их обставшие котелки).

— «Итак, стало быть, полагаете вы, — итак, стало быть: во всем этом вкралась ошибка?»

Сделавши этот робкий подход к своей мысли, Николай Аполлонович почувствовал, как по телу его рассыпались горстями мурашки: а ну, если он представляется, — думалось — и — одолевала боязнь.

— «Это вы о записке-то?» — вскинул глазами Александр Иванович; и оторвался от угрюмого созерцания текшего изобилия: котелков, голов и усов.

— «Ну, разумеется: мало сказать, что ошибка. . . Не ошибка, а гнусное шарлатанство тут вмешалось во все; бессмыслие выдержано в совершенстве — с сознательной целью: произвольно ворваться в отношение тесно связанных друг с другом людей, перепутать их; и в партийном хаосе утопить выступление партии».

— «Так помогите мне. . .»

— «Недопустимое издевательство», — перебил его Дудкин, — «вмешалось — из сплетен и мбровок».

— «Умоляю же вас, посоветуйте мне. . .»

— «И во все вмешалась измена: тут несет чем-то грозным, зловещим. . .»

— «Я не знаю. . . Запутался я. . . Я. . . не спал эту ночь. . .»

— «И все это — мброк».

Теперь Александр Иванович Дудкин протянул Аблеухову в порыве участия руку; и здесь, кстати, заметил: Николай Аполлонович значительно ниже его (Николай Аполлонович не отличался росточком).

— «Соберите же все хладнокровие. . .»

— «Господи! Вам легко говорить: хладнокровие — я не спал эту ночь. . . я не знаю, что теперь делать. . .»

— «Сидите и ждите. . .»

— «Вы придете ко мне?»

— «Говорю — сидите и ждите: я берусь вам помочь».

Он сказал так уверенно, убежденно, почти вдохновенно, что Аблеухов угомонился мгновенно; а, по правде сказать, в порыве сочувствия Аблеухову Александр Иванович переоценивал свою помощь. . . В самом

деле: чем мог он помочь? Он был одинокий, отрезанный от общения; конспирация позакрывала ему доступ в самое партийное тело; в Комитете же Александр Иванович не состоял никогда, хоть он и хвастался Аблоухову штаб-квартирою; если мог он помочь, то единственно мог помочь он Липпанченкой; мог сказать он Липпанченке, воздействовать чрез Липпанченку. Надо было прежде всего Липпанченку захватить. Предварительно же надо было скорей успокоить этого до глубины души потрясенного человека.

И он — успокоил:

— «Я уверен, что узлы гадкой козни распутать сумею я: я сегодня же, тотчас, наведу надлежащие справки, и...»

И — загнулся: надлежащие справки мог дать лишь Липпанченко; более же — никто... Что если нет его в Петербурге?

— «И..?»

— «И дам завтра ответ».

— «Благодарю вас, спасибо, спасибо», — и Николай Аполлонович бросился пожимать ему руки; Александр Иванович тут смутился невольно (все зависело от того, где теперь находилась особа и какими справками располагала она).

— «Ах, оставьте же: ваше дело касается всех нас лично...»

Но Николай Аполлонович, пребывавший до этой минуты в совершеннейшем ужасе, только и мог отозваться на всякое слово поддержки либо вполне апатично, либо — восторженно.

И Николай Аполлонович отозвался восторженно.

Между тем Александр Иванович уже вновь влетел в свою мысль; поразил его один маленький фактик: Николай Аполлонович и божился, и клялся, что ужасное поручение исходило от неизвестного анонима; аноним Аблоухову писывал уж не раз; и было тут ясно: неизвестный тот аноним и был, собственно, провокатором.

Далее...

Из аблоуховской путаной речи все же можно было вывести следствие; свои особые сношения с партией были тут налицо, и из этих особых сношений нечистота выростала; силился Александр Иванович себе выяснить и еще кое-что; и силился тщетно: мысль его продолжилась в текшее на них изобилие — усов, бород, подбородков.

## НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Бороды, усы, подбородки: то изобилие составляло верхние оконечности человеческих туловищ.

Протекали плечи, плечи и плечи; черную, как смола, гущу образовали все плечи; в высшей степени вязкую и медленно текущую гущу образовали все плечи, и плечо Александра Ивановича моментально приклеилось к гуще; так сказать, оно влипло; и Александр Иванович Дудкин последовал за своенравным плечом, сообразуясь с законом о нераз-



дельной цельности тела; так был выкинут он на Невский Проспект; там икринойк вдавился он в чернотой текущую гущу.

Что такое икринка? Она есть и мир, и объект потребления; как объект потребления икринка не представляет собой удовлетворяющей цельности; таковая цельность — икра: совокупность икринок; потребитель не знает икринок; но он знает икру, то есть гущу икринок, намазанных на поданном бутерброде. Так вот тело влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском Проспекте в орган общего тела, в икринку икры: тротуары Невского — бутербродное поле. То же стало и с телом сюда влетевшего Дудкина; то же стало и с его упорною мыслью: в чуждую, уму непостижную мысль она влипла мгновенно — в мысль огромного, многоногого существа, пробегающего по Невскому.

Они сошли с тротуара; тут бежали многие ноги; и безмолвно они загляделись на многие ноги пробегающей темной гущи людской: эта гуща, кстати сказать, не текла, а ползла: переползала и шаркала — переползала и шаркала на протекающих ножках; из многотысячных члеников была склеена гуща; каждый членик был — туловищем: туловища бежали на ножках.

Не было на Невском Проспекте людей; но ползучая, голосащая многоножка была там; в одно сырое пространство ссыпало многообразие голосов — многообразие слов; членораздельные фразы разбивались там друг о друга; и бессмысленно, и ужасно там разлетались слова, как осколки пустых и в одном месте разбитых бутылок: все они, перепутавшись, вновь сплетались в бесконечность летящую фразу без конца и начала; эта фраза казалась бессмысленной и сплетенной из небылиц: непрерывность бессмыслия составляемой фразы черной копотью повисала над Невским; над пространством стоял черный дым небылиц.

И от тех небылиц, порой надуваясь, Нева и ревела, и билась в массивных гранитах.

Ползучая многоножка ужасна. Здесь, по Невскому, она пробегает столетия. А повыше, над Невским, — там бегут времена: весны, осени, зимы. Переменчива там череда; и здесь — череда неизменна веснами, летами, зимами; веснами, летами, зимами череда эта та же. И периодам времени, как известно, положен предел; и — период следует за периодом; за весной идет лето; следует осень за летом и переходит в зиму; и все тает весной. Нет такого предела у людской многоножки; и ничто ее не сменяет; ее звенья меняются, а она — та же вся; где-то там, за вокзалом, завернулась ее голова; хвост просунут в Морскую; а по Невскому шаркают членистоногие звенья — без головы, без хвоста, без сознанья, без мысли; многоножка ползает, как ползла; будет ползать, как ползала.

Совсем сколопендра!<sup>7</sup>

И испуганный металлический конь встал давно там с угла Аничкова Моста; и металлический конюх повис на нем:<sup>8</sup> конюх ли оседлает коня, или конюха конь разобьет? Эта тяжба длится годами, и — мимо них, мимо!

А мимо них, мимо: одиночки, пары, четверки и пары за парами — сморкают, кашляют, шаркают, клевета и смеясь, и ссыпают в сырое пространство многообразными голосами многообразие слов, оторвавшихся от их родившего смысла: котелки, перья, фуражки; фуражки, кокарды, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; зонтик, платочек, перо.

## ДИОНИС<sup>9</sup>

Да ведь с ним говорили!

Александр Иванович Дудкин снова вытащил свою мысль из бегущего изобилия; протекавшие ахинеи ее загрязнили порядочно; после купания в мысленном коллективе ахинеей стала сама она; он с трудом ее обратил на слова, стрекотавшие в ухо: это были слова Николая Аполлоновича; Николай Аполлонович уже давно бился в ухо словами; но проходное слово, в уши влетая осколком, разбивало смысл фразы; вот поэтому Александру Ивановичу было трудно понять, что такое ему затвердили в барабанную перепонку; в барабанную перепонку праздно, долго, томительно барабанные палки выбивали мелкую дробь: то Николай Аполлонович, выдираясь из гущи, растараторился безостановочно, быстро.

— «Понимаете ли», — твердил Николай Аполлонович, — «понимаете ли вы, Александр Иванович, меня...»

— «О, да: понимаю».

И Александр Иванович старался вытащить ухом к нему обращенные фразы: это было не так-то легко, потому что проходное слово разбивалось об уши его, точно каменный град:

— «Да, я вас понимаю...»

— «Там, в жестянице», — твердил Николай Аполлонович, — «копошилась наверное жизнь: как-то странно там тикали часики...»

Александр Иванович подумал тут:

— «Что такое жестяница, какая такая жестяница? И какое мне дело до каких-то жестяниц?»

Но внимательней вслушавшись в то, что твердил сенаторский сын, сообразил он, что речь шла о бомбе.

— «Наверное копошилась там жизнь, как я привел ее в действие: была, так себе, мертвой... Ключик я повернул; даже, да: стала всхлипывать, уверяю вас, точно пьяное тело, спросонья, когда его растолкают...»

— «Так вы ее завели?»

— «Да, затикала...»

— «Стрелка?»

— «На двадцать четыре часа».

— «Зачем это вы?»

— «Я ее, жестяночку, поставил на стол и смотрел на нее, все смотрел: пальцы сами собой протянулись к ней; и — так себе: повернули сами собой как-то ключик...»

— «Что вы сделали?! Скорей ее в реку!?!» — в негоддельном испуге всплеснул Александр Иванович руками; дернулась его шея.

— «Понимаете ли, скривила мне рожу?..»

— «Жестяница?»

— «Вообще говоря, очень-очень обильные ощущения овладели мной, беспрерывно сменяясь, как стоял я над ней: очень-очень обильные... Просто черт знает что... Ничего подобного я, признаться, и не испытывал в жизни... Отвращение меня одолело — да так, что меня отвращение распирало... Дрянь всякая лезла и, повторяю, — страшное отвращение к ней, невероятное, непонятное: к самой форме жестяницы, к мысли, что, может быть, прежде плавали в ней сардинки (видеть их не могу); отвращение к ней подымалось, как к огромному, твердому насекомому, застрекотавшему в уши непонятную насекомью свою болтовню; понимаете ли, — мне осмелилась что-то такое тиликать?.. А?..»

— «Гм!..»

— «Отвращение, как к громадному насекомому, которого скорлупа отликает тошнотворною жестью; не то что-то было тут насекомье, не то что-то — от велуженой посуды... Верите ли, — так меня распирало, гощило!.. Ну, будто бы я ее... проглотил...»

— «Проглотили? Фу, гадость...»

— «Просто черт знает что — проглотил; понимаете ли что это значит? То есть стал ходячею на двух ногах бомбою с отвратительным тиканьем в животе».

— «Тише же, Николай Аполлонович, — тише: здесь нас могут услышать!»

— «Не поймут они ничего: тут понять невозможно... Надо вот так: подержать в столе, постоять и прислушаться к тиканью... Словом, надо все пережить самому, в ощущениях...»

— «А знаете», — заинтересовался теперь и Александр Иванович словами, — «я понимаю вас: тиканье... Звук воспринимаешь по-разному; если только прислушаться к звуку, будет в нем — то же все, да не то... Я раз напугал неврастеника; в разговоре стал по столу пристукивать пальцем, со смыслом, знаете ли, — в такт разговору; так вот он вдруг на меня посмотрел, побледнел, замолчал, да как спросит: „Что вы это?“ А я ему: „Ничего“, а сам продолжаю постукивать по столу... Верите ли — с ним припадок: обиделся — до того, что на улице не отвечал на поклоны... Понимаю я это...»

— «Нет-нет-нет: тут понять невозможно... Что-то тут — приподымалось, припоминалось — какие-то незнакомые и все же знакомые бреды...»

— «Припоминалось детство — неправда ли?»

— «Будто слетела какая-то повязка со всех ощущений... Шевелилось над головой — знаете? Волосы дыбом: это я понимаю, что значит; только это не то — не волосы, потому что стоишь с раскрывшимся теменем. Волосы дыбом — выражение это я понял сегодняшней ночью; и это — не волосы; все тело было, как волосы, — дыбом: ошетинилось волосинками; и ноги, и руки, и грудь — все, будто из невидной шерсти, которую

щекочут соломинкой; или вот тоже: будто садишься в нарзанную холодную ванну и углекислота пузырьками по коже — щекочет, пульсирует, бегаёт — все быстрее, быстрее, так что если замрешь, то биения, пульсы, щекотка превращаются в какое-то мощное чувство, будто тебя терзают на части, растаскивают члены тела в противоположные стороны: спереди вырывается сердце, сзади, из спины, вырывают, как из плетня хворостину, собственный позвоночник твой; за волосы тащат вверх; за ноги — в недра... Двинешься — и все замирает, как будто...»

— «Словом, были вы, Николай Аполлонович, как Дионис терзаемый... Но — в сторону шутки: вы теперь говорите совсем другим языком; не узнаю я вас... Не по Канту теперь говорите... Этого языка я от вас еще не слышал...»

— «Да я уж сказал вам: какая-то слетела повязка — со всех ощущений... Не по Канту — вы верно сказали... Какое там!.. Там — все другое...»

— «Там, Николай Аполлонович, логика, проведенная в кровь, то есть ощущение мозга в крови или — мертвый застой; а вот налетело на вас настоящее потрясение жизни и кровь бросилась к мозгу; оттого и в словах ваших слышно биение подлинной крови...»

— «Стою я, знаете ли, над ней, и — скажите пожалуйста: мне кажется, — да, о чем это я?»

— «Вам „кажется“, сказали вы», — подтвердил Александр Иванович...

— «Мне кажется — весь-то пухну, весь-то я давно пораспух: может быть, сотни лет, как я пухну; да и расхаживаю себе, не замечая того, — распухшим уродом... Это, правда, ужасно».

— «Это все — ощущения...»

— «А скажите, я... не...»

Александр Иванович сострадательно усмехнулся:

— «Наоборот, вы осунулись: щеки — втянуты, под глазами — круги».

— «Я стоял там над ней... Да не „я“ там стоял — не я же, не я же, а... какой-то, так сказать, великан с преогромною идиотскою головою и с несросшимся теменем; и при этом — пульсирует тело; всюду-всюду на коже — иголки: стреляет, покалывает; и я явственно слышу укол — в расстоянии по крайней мере на четверть аршина от тела, вне тела!.. А?... Подумайте только!.. Потом — другой, третий: много-много уколов в ощущении совершенно телесном — вне тела... А уколы-то, биения, пульсы — поймите вы! — очертили собственный контур мой — за пределами тела, вне кожи: кожа — внутри ощущений. Что это? Или я был вывернут наизнанку, кожей — внутрь, или выскочил мозг?»

— «Просто были вы вне себя...»

— «Хорошо это вам говорить „вне себя“; „вне себя“ — так все говорят; выражение это — аллегория просто, не опирающаяся на телесные ощущения, а, в лучшем случае, лишь на эмоцию. Я же чувствовал себя в не себя совершенно телесно, физиологически, что ли, и вовсе не эмоционально... Разумеется, кроме того, я был еще в не себя в вашем

смысле: то есть был потрясен. Главное же не это, а то, что ощущения органов чувств разлились вокруг меня, вдруг расширились, распространились в пространство: разлетался я, как бомб...»

— «Тсс!»

— «На части!..»

— «Могут услышать...»

— «Кто же это там стоял, ощущал — я, не я? Это было со мною, вс мне, вне меня... Видите, какой набор слов?..»

— «Помните; давеча, как я у вас был, с узелком, то я у вас спрашивал, почему это я — я. Вы тогда меня не поняли вовсе...»

— «А теперь я все понял: но ведь это — ужас, ведь ужас...»

— «Не ужас, а подлинное переживание Диониса: не словесное, не книжное, разумеется... Умиряющего Диониса...»

— «Просто, черт знает что!»

— «Успокойтесь же, Николай Аполлонович, вы страшно устали; и устать вам немудрено: столько пережить за одну только ночь... И не такого свалило бы». — Александр Иванович положил свою руку ему на плечо; плечо перед ним выдавалось на уровне груди; и плечо то дрожало; Александр Иванович теперь испытывал прямо-таки потребность отделаться от нервно трещавшего перед ним Николая Аполлоновича, чтобы отдать себе в происшедшем ясный и спокойный отчет.

— «Да я спокоен, совершенно спокоен; теперь, знаете ли, я не прочь даже выпить; бодрость эдакая, подъем... Ведь, вы наверное можете мне сказать, что порученье — обман?»

Этого наверное не мог сказать Александр Иванович; тем не менее Александр Иванович с необычной пылкостью отрезал всего лишь:

— «Ручаюсь...»

## ОТКРОВЕНИЕ

Наконец он простился.

Надо было теперь зашагать: все шагать, вновь шагать — до полного одурения мозга, чтоб свалиться на столик харчевни — соображать и пить водку.

Александр Иванович вспомнил: письмецо, письмецо! Сам-то он ведь должен был передать письмецо — по поручению некой особы: передать Аблеухову.

Как он все позабыл! Письмецо с собою он брал, отправляясь тогда к Аблеухову — с узелочком; письмецо передать он забыл; передал вскоре после — Варваре Евграфовне, которая ему говорила, что с Аблеуховым встретится. Письмецо то вот и могло оказаться письмецом роковым.

Нет, да нет!

Не тем оно было; да и то, роковое, по словам Аблеухова, ему было передано на балу; и — какою-то маскою... Маска, бал и — Варвара Евграфовна Соловьева.

Нет и нет!

Александр Иванович успокоился: значит то письмоцо вовсе не было э т и м, переданным Соловьевой и полученным от Липпанченки; значит он, Александр Иванович Дудкин, непричастен был в этом деле; но — главное: ужасное поручение от о с о б ы исходить не могло; это был главный козырь в руках его: козырь, побивающий бред и все бредные его подозрения (подозрения эти опять пронеслись у него в голове, когда он обещался, ручался за партию — за Липпанченко, то есть потому, что Липпанченко был его о р г а н общения с партией); если бы не этот в руках его находящийся козырь, то есть если бы письмоцо шло от партии, от Липпанченко, т о о с о б а, Липпанченко, была бы о с о б о ю подозрительной, а он, Александр Иванович Дудкин, оказался бы связанным с подозрительной личностью.

И встали бы бреды.

Только что он сообразил это все и уже собирался пересечь ток пролеток, чтобы прыгнуть в навстречу бегущую конку (трамвая ведь еще не было), как его позвал голос:

— «Александр Иваныч, постойте... Минуточку...»

Обернулся и увидел, что оставленный им за мгновение пред тем Николай Аполлонович, задыхаясь, бежит за ним чрез толпу — весь дрожащий и потный; с лихорадочным огонечком в глазах он махал ему тростью через головы удивленных прохожих...

— «Минуточку...»

Ах ты Господи!

— «Стойте: мне, Александр Иванович, трудно с вами расстаться... Я вот только скажу вам еще...», — он взял его за руку и отвел к ближайшей витрине.

— «Мне открылось еще... Откровение это, что ли — там, над жестяночкой?..»

— «Слушайте, Николай Аполлонович, мне пора; и по вашему делу пора...»

— «Да, да, да: я сейчас... я секундочку, терцию...»

— «Ну — ну: слушаю...»

Николай Аполлонович обнаруживал теперь своим видом, ну, прямо-таки, вдохновение какое-то; с радости он, очевидно, забыл, что не все еще распуталось для него, и — что главное: жестяница еще тикала, преодолевая без усталости двадцать четыре часа.

— «Будто какое-то откровение, что я — рос; рос я, знаете ли, в неизмеримость, преодолевая пространства; уверяю вас, что то было реально: и со мною росли все предметы; и — комната, и — вид на Неву, и — Петропавловский шпиль: все выросло, росло — все; и уже приканчивался рост (просто расти было некуда, не во что); в этом же, что кончалось, в конце, в окончании, — там, казалось мне, было какое-то иное начало: законченное, что ли... Какое-то оно пренелепейшее, неприятнейшее и дичайшее — дичайшее, вот что — главное; дичайшее, может быть, потому, что у меня не имеется органа, который бы умел осмысливать этот смысл, так сказать, законченный; в месте органов чувств ощущение

было — „ноль“ ощущением; а воспринималось нечто, что и не ноль, и не единица, а — менее чем единица. Вся нелепость была, может быть, только в том, что ощущение было — ощущением „ноль минус нечто“, хоть пять, например».

— «Слушайте», — перебил Александр Иванович, — «вы скажите-ка лучше мне вот что: письмо то вы чрез Варвару Евграфовну Соловьеву, небось, получили?..»

— «Письмо...»

— «Да не то, не записочку: письмо, шедшее чрез Варвару Евграфовну...»

— «Ах, про стихи эти с подписью „Пламенная Душа?“»

— «Да уж я там не знаю: словом, шедшее чрез Варвару Евграфовну...»

— «Получил, получил... Нет — вот я говорю, что вот „ноль минус нечто“... Что это?»

Господи: все о том же!..

— «Почитали бы вы Апокалипсис...»

— «Я от вас и прежде слышал упрек, что Апокалипсис мне неизвестен; а теперь прочту — непременно прочту; теперь, когда вы меня успокоили относительно... всего этого, чувствую, как у меня пробуждается интерес к кругу вашего чтения; вот засяду, знаете, дома, буду пить бром и читать Апокалипсис; у меня громаднейший интерес: что-то осталось от ночи: все то — да не то... Вот, например, посмотрите: витрина... А в витрине-то — отражения: вот прошел господин в котелке — посмотрите... уходит... Вот — мы с вами, видите? И все — как-то странно...»

— «Как-то странно», — кивнул головой утвердительно Александр Иванович: Господи, да ведь по части «как странно» был он, кажется, специалист.

— «Или вот тоже: предметы... Черт их знает, что они на самом деле: то же все — да не то... Это я постиг на жестянице: жестяница, как жестяница; и — нет, нет: не жестяница, а...»

— «Тсс!»

— «Жестяница ужасного содержания!»

— «А жестяницу вы скорее в Неву; и все — вдвинется; все вернется на место...»

— «Не вернется, не станет, не будет...»

Он тоскливо обвел мимо бегущие пары; он тоскливо вздохнул, потому что он знал: не вернется, не станет, не будет — никогда, никогда!

Александр Иванович удивлялся потоку болтливости, хлынувшему из уст Аблеухова; он, признаться, не знал, что ему с той болтливостью делать: успокаивать ли, поддерживать ли, наоборот — оборвать разговор (присутствие Аблеухова прямо его угнетало).

— «Это вам только, Николай Аполлонович, ощущения ваши кажутся странными; просто вы до сих пор сидели над Кантом в непрветренной комнате; налетел на вас шквал — вот и стали вы в себе замечать: вы

прислушались к шквалу; и себя услышали в нем... Состояния ваши многообразно описаны; они — предмет наблюдений, учебы...»

— «Где же, где?»

— «В беллетристике, в лирике, в психиатриях, в оккультических изысканиях».

Александр Иванович улыбнулся невольно такой вопиющей (с его точки зрения) безграмотности этого умственно развитого схоласта и, улыбнувшись, продолжал он серьезно:

— «Психиатр...»

— «?»

— «Назовет...»

— «Да-да-да...»

— «Это все...»

— «Что „это все — то да не то?“»

— «Ну, то да не то — зовите хоть так — для него обычнейшим термином: псевдогаллюцинацией...»<sup>10</sup>

— «?»

— «То есть родом символических ощущений, не соответствующих раздражению ощущения».

— «Ну так что ж: так сказать, это все равно, что ничего не сказать!..»

— «Да, вы правы...»

— «Нет, меня не удовлетворяет...»

— «Конечно: модернист назовет ощущение это — ощущением бездны,<sup>11</sup> то есть символическому ощущению, не переживаемому обычно, будет он подыскивать соответственный образ».

— «Так ведь тут аллегория».

— «Не путайте аллегория с символом:<sup>12</sup> аллегория это символ, ставший ходячей словесностью; например, обычное понимание вашего „вне себя“; символ же есть самая апелляция к пережитому вами там — над жестяницей; приглашение что-либо искусственно пережить пережитое так... Но более соответственным термином будет термин иной: пульсация стихийного тела. Вы так именно пережили себя; под влиянием потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело,<sup>13</sup> на мгновение отделилось, отлипло от тела физического, и вот вы пережили все то, что вы там пережили: затасканные словесные сочетания вроде „бездна — без дна“ или „вне ... себя“ углубились, для вас стали жизненной правдою, символом; переживания своего стихийного тела, по учению иных мистических школ, превращают словесные смыслы и аллегории в смыслы реальные, в символы; так как этими символами избилуют произведения мистиков, то теперь-то, после пережитого, я и советую вам этих мистиков почитать...»

— «Я сказал вам, что буду: и — буду...»

— «А по поводу бывшего с вами я могу лишь прибавить одно: этот род ощущений будет первым вашим переживаньем загробным, как о том повествует Платон, приводя в свидетельство заверенья бакхантов...»<sup>14</sup>



Есть школы опыта, где ощущения эти вызывают сознательно — вы не верите?.. Есть: это я говорю вам уверенно, потому что единственный друг мой и близкий — там, в этих школах; школы опыта ваш кошмар претворяют работою в закономерность гармонии, изучая тут ритмы, движенья, пульсации и вводя всю трезвость сознания в ощущение расширения, например... Впрочем, что мы стоим: заболтались... Вам необходимо скорее домой, и... жестяницу в реку; и сидите, сидите: куда — ни ногой (вероятно, за вами следят); так сидите уж дома, читайте себе Апокалипсис, пейте бром: вы ужасно измучились... Впрочем, лучше без брома: бром притупляет сознание; злоупотреблявшие бромом становятся неспособными ни на что... Ну, а мне пора в бегство, и — по вашему делу».

Пожав Аbbleухову руку, Александр Иванович от него шмыгнул неожиданно в черный ток котелков, обернулся из этого тока и еще раз оттуда ов выкрикнул:

— «А жестяницу — в реку!»

В плечи влипло его плечо: он стремительно был унесен безголовою многоножкой.

Николай Аполлонович вздрогнул: жизнь клокотала в жестяночке; часовой механизм действовал и сейчас; поскорее же к дому, скорее; вот сейчас наймет он извозчика; как вернется, засунет ее в боковой свой карман; и — в Неву ее!

Николай Аполлонович вновь стал чувствовать, что он расширяется; одновременно он чувствовал: накрапывал дождик.

## КАРИАТИДА

Там, напротив, чернел перекресток; и там — была улица; каменно принависла там кариатида подъезда.

Учреждение возвышалось оттуда: Учреждение, где главенствовал надо всем Аполлон Аполлонович Аbbleухов.

Есть предел осени; и зиме есть предел: самые периоды времени протекают циклически. И над этими циклами принависла бородатая кариатида подъезда; головокружительно в стену вдавилось ее каменное копыто; так и кажется, что вся она оборвется и просыплется на улицу камнем.

И вот — не срывается.

То, что видит она над собой, как жизнь, переменчиво, неизъяснимо, невятно: там плывут облака; в неизъясности белые вьются барашки; или — сеется дождик; сеется, как теперь: как вчера, как позавчера.

То же, что видит она под ногами, как и она, — неизменно: неизменно течение людской многоножки по освещенной панели; или же: как теперь, — в мрачной сырости; мертвенно шелестение пробегающих ног; и вечно-зелены лица; нет, не видно по ним, что события уж гремят.

Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события, например, в городке Ак-Тюке, где рабочий на станции, поссо-

рившись с железнодорожным жандармом, присвоил кредитку жандарма, введя ее в свой желудок при помощи ротового отверстия, отчего в тот желудок введено было рвотное — железнодорожным врачом; наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что уже в Кутаисском театре публика воскликнула: «Граждане!..»<sup>15</sup> Не сказал бы никто, что в Тифлисе открыл околоточный фабрикацию бомб,<sup>16</sup> библиотека в Одессе закрылась и в десяти университетах России шел многотысячный митинг — в один день, в один час;<sup>17</sup> не сказал бы никто, что именно в это время тысячи убежденных бундистов привалили на сходку, что кочевряжились пермяки<sup>18</sup> и что именно в это время стал выкидывать свои красные флаги, окруженный казаками, ревельский чугунно-литейный завод.<sup>19</sup>

Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что ключом была новая жизнь, что Потапенко под таким заглавием оканчивал пьесу,<sup>20</sup> что уже началась забастовка на Московско-Казанской дороге;<sup>21</sup> поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы, прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской железных дорогах;<sup>22</sup> и десятками тысяч вагоны, пораженные столбняком, останавливались в многообразных пространствах; сообщение — мертвенело. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что в Петербурге уж гремели события, что наборщики почти всех типографий, избрав делегатов, сроились;<sup>23</sup> и — бастовали заводы: судостроительный, Александровский, прочие;<sup>24</sup> что пригороды Петербурга кишели манджурскою шапкою; наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что идущие были те, да не те; что не просто шагали, но шагали, тая в себе беспокойство, чувствуя свою голову головою идиотской, с несросшимся теменем, разрубаемым шашкою, распибаемым и просто деревянным колом; если бы припасть ухом к земле, то услышали бы они чей-то ласковый шелест: шелест от непрерывного револьверного треска — от Архангельска до Колхиды и от Либавы до Благовещенска.

Но циркуляция не нарушилась: монотонно, медлительно, мертвенно еще текли котелки под ногами кариатиды.

Серая кариатида пагнулась и под ноги себе — смотрит: на все ту же толпу; нет предела презрению в старом камне очей; пресыщению — нет предела; и нет предела — отчаянью.

И, о, если бы силу!

Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головою локтях; и резцом иссеченное темя рванулось бы бешено; в гулком реве, в протяжно-отчаянном реве, — разорвался бы рот; ты сказал бы: «То рев урагана» (так ревели черные тысячи картузов городских громил на погромах); как из свистка паровоза, паром обдало б улицу; привскочил бы над улицей ею оторванный от стены сам балконный карниз; и распался б на крепкие громко-гремящие камни (очень скоро потом разбивали камнями окна земских управ и губернских земских собраний); каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние это, описавши в мрачнющем воздухе и стремительную, и ослепительную

дугу; и кровавась осколками, улеглось бы оно на испуганных котелках, проходивших здесь — мертвенно, монотонно, медленно...

В этот sereneкий петербургский денечек распахнулась тяжелая, роскошная дверь: серый бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру; кони кинулись на подъезд, подкатили лаковую карету; серый, бритый лакей поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, сутуловатый, согбенный, небритый, с болезненно опухшим лицом и с отвисшей губой прикоснулся к краю цилиндра (цвета воронова крыла) перчатками (цвета воронова крыла).

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, исполненный равнодушия взгляд на вытянутого лакея, на карету, на кучера, на большой черный мост, на равнодушные пространства Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и где пепельно встал неотчетливый Васильевский Остров с бастовавшими десятками тысяч.

Вытянутый лакей захлопнул каретную дверцу, на которой изображался стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря; карета стремительно пролетела в грязноватый туман — мимо матово намечавшегося черноватого храма, Исакия, мимо конного памятника императора Николая — на Невский, где сроилась толпа, где, отрываясь от деревянного древка, грёбнями разрывались по воздуху, где трепались и рвались — легковисястые лопасти красного кумачового полотнища; черный контур кареты, абрис треуголки лакея и разлетевшихся в воздухе крыльев шинели неожиданно врезался в черную, косматую гущу, где манджурские шапки, околыши, картузы, сроившись, грянули в стекла кареты отчетливым пением.

Карета остановилась в толпе.

## ПОШЕЛ ПРОЧЬ, ТОМ!

— «Mais j'espère...» \*

— «Вы надеетесь?»

— «Mais j'espère que oui»,\* — дзенкнула из-за двери речь иностранца.

Шаги Александра Ивановича простучали по доскам терраски с намеренной твердостью; Александр Иванович подслушивать не любил. Дверь, ведущая в комнаты, была полуоткрыта.

Темнело: синело.

Его шагов не расслышали. Александр Иванович Дудкин решил не подслушивать; поэтому переступил порог двери он.

В комнате стояло тяжелое благовоние; смесь парфюмерии с какою-то терпкою кислотой: с медикаментами.

\* Я надеюсь... (фр.). — Ред.

\*\* Я надеюсь, что так будет (фр.). — Ред.

Зоя Захаровна Флейш<sup>25</sup> любезничала, как всегда. В кресло селилась она усадить какого-то захожего иностранца; иностранец отнекивался.

Темнело: синело.

— «Ах, как рада вас видеть... Очень, очень рада вас видеть: оботрите ноги, разленьтесь...»

Но ответной радости не последовало; Александр Иванович пожал Зоину руку.

— «Вы, надеюсь, вынесли прекрасное впечатление о России... Не правда ли...», — обратилась она к поджарому иностранцу. — «Какой небывалый подъем?»

И француз сухо дзенкнул:

— «Mais j'espère...»

Зоя Захаровна Флейш, потирая пухлые пальцы, попеременно обращала свой ласковый, немного растерянный взор то на француза, то на Александра Ивановича; у нее были выпуклые глаза: они вылезали из орбит. Зое Захаровне казалось лет сорок; Зоя Захаровна была большеголовой брюнеткой; эмалированы были ее крепкие щеки; со щек сыпалась пудра.

— «А его еще нет... Ведь вам его надо?» — спросила она невзначай Александра Ивановича; в этом беглом вопросе обнаружилась затаиваемая тревога; может быть, затаилась враждебность; а может быть, ненависть; но тревогу, враждебность и ненависть ласково покрывали: улыбка и взор; так скрывается в продаваемых липко-сладких конфетах вся обратная грязь непрветряемых кондитерских кухонь.

— «Ну, я все-таки его подожду»

Александр Иванович поклонился французу; он потянулся за грушею (на столе стояла ваза с дюшесами); Зоя Захаровна Флейш от Александра Ивановича тут отставила вазу: Александр Иванович так любил груши.<sup>26</sup>

Груши грушами, но не в них была сила.

Сила — в голосе: в голосе, запевавшем откуда-то; голос был совершенно надорванный, невозможно крикливый и сладкий; и при этом: голос был с недопустимым акцентом. На заре двадцатого века так петь невозможно; просто как-то бесстыдно; в Европе так не поют. Александру Ивановичу померещилось, что поющий — сладострастный, жгучий брюнет; брюнет — непременно; у него такая вот впалая грудь, провалившаяся между плеч, и такие вот глаза совершенного таракана; может быть, он чахоточный; и, вероятно, южанин: одессит или даже — болгарин из Варны (пожалуй, так будет лучше); ходит он в не совсем опрятном белье; пропагандирует что-нибудь, ненавидит деревню. Строит мысли свои о невидимом исполнителе песенки, Александр Иванович потянулся вторично за грушею.

Между тем Зоя Захаровна Флейш ни на минуту от себя не отпускала француза:

— «Да, да, да: мы переживаем события исторической важности... Всюду бодрость и молодость... Будущий историк напишет... Не верите?»

Походите на митинги... Послушайте пылкие излияния чувств, поглядите: всюду — восторг».

Но француз не желал поддерживать разговор.

— «Pardon, madame, monsieur viendra-t-il bientôt?» \*

Чтоб не быть свидетелем этого неприятного разговора, почему-то унизившего его национальное чувство, Александр Иванович подошел вплотную к окошку, чуть было не споткнувшись о косматого сенбернара, на полу глодавшего кость.

Дачка окнами выходила на море: темнело, синело.

Повернулся глаз маяка; заморгал огонечек: «раз-два-три» — и потух; полоскался по ветру там темный плащ отдаленного пешехода; еще дальше курчавились гребни; световую крупую порассыпались береговые огни; многоглазое взморье ошетинилось тростником; издали занывала сирена.

Какой ветер!

— «Вот вам пепельница...»

Пепельница опустилась под носом Александра Ивановича: но Александр Иванович был обидчивый человек, так что ткнул окурком он в цветочную вазу: ткнул из духа протеста.

— «А поет-то там, кто?»

Зоя Захаровна сделала жест, из которого явствовало, что Александр Иванович отстал: недопустимо отстал.

— «Как? Вы не знаете?.. Да, конечно: не знаете... Ну, так знайте: Шишнарфиев... Вот что значит сидеть бирюком... Шишнарфиев, — он со всеми нами освоился...»

— «Где-то фамилию слышал...»

— «Шишнарфиев замечательно артистичен...»

Зоя Захаровна произнесла эту фразу с видом решительным — с таким видом, как будто он, Александр Иванович, издавна над артистичностью всем известного, со всеми дружащего обладателя имени поставил неуместнейший вопросительный знак. Но Александр Иванович талантов этого самого господина не намеревался оспаривать.

Он спросил всего-навсего:

— «Армянин? Болгарин? Грузин?»

— «Нет и нет...»

— «Хорват? Персианин?»

— «Персианин из Шемахи, чуть было недавно не павший жертвою резни в Испагани...»<sup>27</sup>

— «А... младоперс?»<sup>28</sup>

— «Разумеется... Вы не знали?.. Стыдитесь...»

Взгляд сожаления, снисхождения в его сторону, и — Зоя Захаровна Флейш повернулась к французу.

Александр Иванович, естественно, разговора не слушал: слушал он безнадежно сорванный тенор; деятель молодой Персии пел там страстный

\* Прошу прощения, мадам, скоро ли придет мосье? (фр.). — Ред.

цыганский романс и навеивал на душу все какие-то невеселые думы. Между прочим: Александр Иванович вскользь подумал о том, что черты лица Зои Флейш по справедливости были сняты с лиц самых разнообразных красавиц: нос — с одной, рот — с другой, уши — с третьей красавицы.

Вместе ж взятые, решительно они раздражали. И казалась Зоя Захаровна сшитою из многих красавиц, будучи сама далеко не красива — ей, ей! Но существеннейшею чертою ее была принадлежность к категории, что называется, жгучих восточных брюнеток.

Трескучая болтовня Зои Захаровны тем не менее долетала и настигала Александра Ивановича:

— «Это вы о деньгах?»

Молчание.

— «Деньги из-за границы — понадобятся...»

Нетерпеливое движение локтя.

— «Вашему редактору лучше не приезжать после разгрома организации Т. Т. ...»

Но француз — ни гу-гу.

— «Потому что найдены документы».

Если бы Александр Иванович мог подумать о деле, то известие о разгроме Т. Т. могло бы (это скажем мы) сшибить его с ног; но он слушал, — как деятель младой Персии заливался романсом. Француз этим временем, выведенный из себя так и лезшею к нему Зоей Флейш, осадил:

— «Je serai bien triste d'avoir manqué l'occasion de parler à monsieur».\*

— «Все равно: говорите со мною...»

— «Excusez, dans certains cas je préfère parler personnellement»...\*\*

В окне бился куст.

Меж ветвями куста было видно, как пенились волны да раскачивалось парусное судно, вечеровое и синее; тонким слоем резало оно мглу острокрылатыми парусами; на поверхности паруса медленно уплотнялась синеватая ночь.

Казалось, что вовсе стирается парус.

К садику в это время подъехал извозчик; тело грузного толстяка, страдающего явно одышкой, неторопливо вываливалось из пролетки; обремененная полудюжиной на веревочках заколебавшихся свертков, неповоротливая рука медлительно как-то стала возиться над кожаным кошельком; из-под мышки над лужею косолапо выпал мешок; налету разрывая бумагу, автоновки покатались по грязи.

Господин завозился над лужею, подбирая автоновки; пальто его распахнулось; он, очевидно, крихтел; затворяя калитку, он вновь едва не рассыпал покупочки.

\* Мне будет очень грустно не воспользоваться случаем поговорить с господом (фр.). — Ред.

\*\* Извините меня, в некоторых случаях я предпочитаю говорить лично... (фр.). — Ред.

Господин приблизился к дачке по садовой желтой дорожке между двух рядов в ветре изогнутых кустиков; распространилась вокруг та гнетущая знакомая атмосфера; покрытая шапкой с наушниками, круто как-то на грудь оседала зловеющая голова; глубоко в орбитах сидящие глазки на этот раз не бегали вовсе (как бегали они перед всяким пристальным взором); глубоко сидящие глазки устало уставились в стекла.

Александр Иванович успел подсмотреть в этих глазках (представьте себе!) какую-то особую, свою радость, смешанную с усталостью и печалью — чисто животную радость: отогреться, выспаться и плотно поужинать после стольких перенесенных трудов. Так зверь кровожадный: возвращаясь в берлогу, кажется зверь кровожадный домашним и кротким, обнаружив беззлобие, на какое способен и он; дружелюбно обнюхивает тогда этот зверь свою самку; и облизывает заскуливших щенят.

Неужели это о с о б а?

Да: это — о с о б а; и о с о б а на этот раз не ужасная; вид ее — прозяический; но это — особа.

— «Вот и он!»

— «Enfin...» \*

— «Липпанченко!..»

— «Здравствуйте...»

Желтый пес, сенбернар, с радостным ревом метнулся чрез комнату и, подпрыгнув, пал мохнатыми лапами прямо о с о б е на грудь.

— «Пошел прочь, Том!..»

О с о б а не имела даже и времени заприметить своих незваных гостей, защищая отчаянно от мохнатого сенбернара покупочки; на широко-плюском, квадратном лице отпечатлелась смесь юмора с беспомощной злостью; проскользнула — просто какая-то детскость:

— «Опять обслюнявил».

И беспомощно повернувшись от Тома, особа воскликнула:

— «Зоя Захаровна, освободите ж меня...»

Но широкий песий язык неуважительно облизнул кончик о с о б и на носа; тут о с о б а прозячительно вскрикнула — беспомощно вскрикнула (в то же время она, представьте себе, — улыбалась)...

— «Томка же!»

Но увидев, что — гости, и что гости-то — ждут, нетерпеливо посмеиваясь на идиллию домашнего быта, о с о б а перестала смеяться и отрезала безо всякой учтивости:

— «Позвольте, позвольте! Сейчас: вот я только...»

И при этом обидчиво дрогнула отвисяющая губа; на губе же было написано:

— «И тут нет покою...»

\* Наконец-то... (фр). — Гед.

Особа бросилась в угол; там топталась — в углу: все не снимались калоши — новые и несколько тесные; долго еще она стояла в углу, медля снять пальтецо и рукой копаясь в туго набитом кармане (будто там был запрятан двенадцатизарядный браунинг); наконец, рука вылезла из кармана — с детской куколкою, с Ванькой-Встанькой.

Куколку эту она пхвырнула на стол.

— «А это вот Акулининой Маньке...»

Гости, признаться, тут разинули рты.

После же, потирая озябшие руки, она обратилась к французу с робещей подозрительностью:

— «Пожалуйте... Вот сюда... Вот сюда».

И — кинула Дудкину:

— «Повремените...»

## ЛОБНЫЕ КОСТИ

— «Зоя Захаровна...»

— «А?»

— «Шишнарфиев — это я понимаю: деятель младой Персии, пылкая артистическая натура; но вот — при чем тут француз?»

— «Много станете знать — скоро станете стары», — не по-русски ответила та, и чрезмерные перси ее заходили над туго затянутым лифом; пошипывал в руке пульверизатор.

В комнате слышалось тяжелое благоволие: смесь парфюмерии с искусственно приготовляемым зубом (кто сиживал в зубоврачебных квартирах, тот запах этот знает наверное — запах не из приятных).

Зоя Захаровна тут придвинулась к Александру Ивановичу.

— «А вы все... отшельником...»

Губы Александра Ивановича как-то криво поджались:

— «Ваш же сожитель давно уже постарался об этом...»

— «?»

— «Если я не буду отшельником, все равно: кто-нибудь отшельником да уж будет...»

Направление разговора Зое Захаровне не понравилось явно, так что снова нервически стал в руках ее пошипывать пульверизатор; Александр Иванович улыбнулся нехорошей улыбкой, и — поправился.

— «Да и то сказать: мне рассеяние не к лицу».

Это новое течение мыслей Зоя Захаровна приняла; и поспешила составить она:

— «Оттого-то вы так рассеянны: пеплом мне засыпали скатерть?»

— «Простите...»

— «Ничего: вот вам пепельница...»

Александр Иванович протянулся за новою грушею; и, проделавши это движение, Александр Иванович себе с досадой сказал:

— «Экая скряга...»



Он увидел, что вазы с дюшесами (он так и дюшесы любил) — вазы с дюшесами не было.

— «Вы что? Вот вам пепельница...»

— «Знаю: я — за дюшесом...»

Зоя Захаровна не предложила дюшесов.

Двери в ту дальнюю комнату были не вовсе притворены: в полуоткрытую дверь с ненасытимо жадностью он смотрел; там виднелися два сидящие очертания. Французик растараторился; и казалось, что дзенькает; а особа глухо бубукала, перебивала французика; нетерпеливо хваталась она в разговоре за письменные принадлежности — то за ту, то за эту; и чесала затылок угловатым жестом руки; видимо, сообщением французика особа была взволнована не на шутку; жест просто самообороны какой-то подметил Александр Иванович.

— «Бу-бу-бу...»

Так раздавалось оттуда.

А сенбернар Том на клетчатое колено особе положил свою слюнявцю морду; и особа рассеянно гладила его шерсть. Тут наблюдения Александра Ивановича перебили: перебила Зоя Захаровна.

— «Отчего это вы перестали бывать у нас?»

Он рассеянно посмотрел на ее оскаленный рот: посмотрел и заметил:

— «Да так себе: сами же вы сказали — отшельник я...»

Золото пломбы прорблистало в ответ:

— «Не отвертывайтесь!»

— «Да нисколько...»

— «Просто вы обижены на него...»

— «Вот еще...» — попытался было возразить Александр Иванович и оборвал свои оправдания: вышло — неубедительно.

— «Просто вы обижены на него. Все на него обижаются. И тут вмешался Л и п п а н ч е н к о... Этот Л и п п а н ч е н к о!.. Портит ему репутацию... Да поймите ж: Л и п п а н ч е н к о — необходимая, взятая роль... Без Л и п п а н ч е н к о давно бы он был уж схвачен... Л и п п а н ч е н к о й он покрывает всех нас... Но все верят в Л и п п а н ч е н к о...»

Некоторые существа имеют печальное свойство: дурной запах во рту... Александр Иванович отодвинулся.

— «Все на него обижаются... А скажите», — Зоя Захаровна ухватилась за пульверизатор, — «где сыщете вы такого работника?.. А? Где сыщете?.. Кто согласится, скажите, как он, отказавшись от всех естественных сантиментов, быть Л и п п а н ч е н к о й — до конца...»

Александр Иванович подумал, что особа была что-то уж слишком Л и п п а н ч е н к о й: но возражать не хотел.

— «Уверяю вас...»

Но она перебила:

— «Как же вам не стыдно так его оставлять, так таиться, скрываться; ведь Колечка мучается; рвать все прошлые, интимные связи...»

Александр Иванович с изумлением вспомнил, что особа-то — Колечка: сколько месяцев этого он, признаться, не вспомнил?

— «Ну, если там он и выпьет, нагрубиянит; и — ну, там — увлечения... Так ведь: лучшие же спивались, развратничали... И по личной охоте. Колечка же делает это для отвода лишь глаз — как Липпанченко: для безопасности, гласности, пред полицией, для общего дела он так губит себя».

Александр Иваныч усмехнулся невольно, но поймал на себе недоверчивый, озлобленный взгляд:

— «Что...»

И поспешил:

— «Нет... ничего я...»

— «Тут ведь самая страшная жертва... Не поверите ли, ведь ему грозит многое; от насильственных частых попок, от обязательных в его положении кутежей преждевременно Николай погубит себя...»

Александр Иванович знал, что Зоя Захаровна подозревает его в том, что он слишком часто бывает с Липпанченко в ресторанчиках, приучая Липпанченко... к многому...

— «Это может ведь кончиться плохо...»

Ну и жизнь: здесь — может кончиться плохо; он, Александр Иванович, медленно сходит с ума. Николая Аполлоновича придавили тяжелые обстоятельства; что-то такое неладное завелось у них в душах; тут ни — полиция, ни — производ, ни — опасность, а какая-то душевная гнилость; можно ли, не очистившись, приступить к великому народному делу? Вспомнилось: «Со страхом Божиим и верою приступите».<sup>29</sup> А они приступали без всякого страха. И — с верой ли? И так приступая, преступали какой-то душевный закон: становились преступниками, не в том смысле конечно... а — иначе.

Все же они преступали.

— «Вспомните Гельсингфорс и катанье на лодках...», — в голосе Зои Захаровны тут послышалась неподдельная грусть. — «И потом: эти сплетни...»

— «А какие?»

Он заинтересовался, он вздрогнул.

— «О Колечке сплетни!.. Вы думаете, не подозревает он, не терзается, не кричит по ночам» (Александр Иваныч запомнил, что — кричит по ночам) — «как они о нем говорят после столького. И — нет благодарности, нет сознания, что человек пожертвовал всем... Он все знает: молчит, убивается... Оттого-то он мрачен... Он душою кривить не умеет. Выглядит он всегда неприятно», — в голосе Зои Захаровны послышалась чуть не плач, — «выглядит неприятно... с этой... несчастной наружностью. Верите: он — ребенок, ребенок...»

— «Ребенок?»

— «А вам удивительно?»

— «Нет», — замылся он, — «только, знаете, как-то странно мне это слышать, все-таки представление о Николае Степановиче не вяжется как-то...»

— «Настоящий ребенок! Посмотрите: куколка — Ванька-Встанька», —

рукою она указала на куколку, просверкавши браслетом... — «Вы вот увидите: наговорите ему неприятностей, а он — он!..»

— «?»

— «Он посадит к себе на колени кухаркину дочку и играет с ней в куклы... Видите? А они его упрекают в коварстве... Господи, он играет в солдатики!..»

— «Вот так-так!»

— «В оловянные: покупает персов, выписывает из Нюрнберга коробки... Только — это секрет... Вот какой он!.. Но», — брови ее резко сдвинулись — «но... в детской запальчивости он способен на все».

Александр Иванович все более убеждался из слов, что особа — то скомпрометирована не на шутку; а он этого, признаться, не знал; эти намеки на что-то теперь принял он к сведению, уплывая взором туда, где сидели они...

Круто как-то на грудь падала узколобая голова; в орбитах глубоко за- таились пытливо сверлящие глазки, перепархивающие от предмета к предмету; чуть вздрагивала и посасывала воздух губа. Многое было в лице: отвращением необоримым лицо стояло пред Дудкиным, складываясь в то самое странное целое, уносимое памятью на чердак, чтобы ночью там зашагать, забубукать — сверлить, посасывать, перепархивать и выдавливать из себя невыразимые смыслы, не существующие нигде.

Он теперь внимательно всматривался в гнетущие и самую природою тяжело построенные черты.

Эта лобная кость... —

Эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве — понять: что бы ни было, какую угодно ценою — понять, или... разлететься на части. Ни ума, ни ярости, ни предательства не выдавала лобная кость; лишь усилие — без мысли, без чувства: понять... И лобные кости понять не могли; лоб был жалобен: узенький, в поперечных морщинах; казалось, он плачет.<sup>30</sup>

Пытливо сверлящие глазки... —

Пытливо сверлящие глазки (приподнять бы им веки!)<sup>31</sup> — стали бы и они... так себе... глазками.

И они были грустными.

А посасывающая воздух губа напоминала — ну, право же! — губку полторагодовалого молокососа (только не было соски); если б в губы ему настоящую соску, то не было б удивительно, что губа все посасывает; без соски же это движение придавало лицу прескверный оттенок.

Ишь ведь — тоже: играет в солдатики!

Так внимательный разбор чудовищной головы выдавал лишь одно: голова была — головой недоноска; чей-то хиленький мозг оброс ранее срока жировыми и костяными наростами; и в то время как лобная кость выдавалась чрезмерно наружу надбровными дугами (посмотрите на череп гориллы), в это время под костью, может быть, протекал неприятный процесс, называемый в общежитии размягчением мозга.

Сочетание внутренней хилости с носорожьим упорством — неужели

это вот сочетание в Александре Ивановиче и сложило химеру,<sup>32</sup> а химера росла — по ночам: на куске темно-желтых обой усмехалась она настоящим монголом.

Так он думал; в ушах же его затвердилось:

— «Ванька-Встанька... Кричит по ночам... Выписывает из Нюрнберга коробочки... Настоящий ребенок...»

И прибавилось от себя:

— «Распибает лбом лбы... Занимается вампиризмом... Предаётся разврату... И — тащит к погибели...»

И опять затвердилось:

— «Ребенок...»

Но затвердилось только в ушах: Зоя Захаровна уже вышла из комнаты.

## НЕ ХОРОШО...

Странное дело!

Доселе в отношении к Александру Ивановичу поведение некой особы искони носило характер лишь одних сплошных обязательств, и обязательств навязчивых; многомесячно, многократно, многообразно разводила особа свой орнамент из лести вокруг Александра Ивановича: лести той хотелось верить.

И лести той верилось.

Он особой гнушался; он к ней чувствовал физиологическое отвращение; более того: Александр Иванович Дудкин убегал от особы все эти последние дни, переживая мучительный кризис разуверенья во всем. Но особа его настигала повсюду; часто он бросал ей насмешливо слишком уже откровенные вызовы; вызовы эти принимала особа стоически — с циническим смехом, если бы он особу спросил, почему этот смех, то особа ответила б:

— «Это — по вашему адресу».

Но он знал, что особа хохочет над общим их делом.

Он особе твердил, что программа их партии несостоятельна, отвлеченна, слепа; и она — соглашалась; он же знал, что в выработке программы особа участвовала; если бы он спросил, не провокация ли замешалась в программу, то особа ответила б:

— «Нет, и нет: дерзновение...»

Наконец он пытался ее поразить своим мистическим *с г е д о*, утверждением, что Общественность, Революция — не категории разума, а божественные Ипостаси вселенной; против мистики ничего не имела особа: слушала со вниманием; и — даже старалась понять.

Но понять не могла.

Только — только: особа стояла пред ним; все протесты его и все крайние выводы принимала с покорным молчанием; трепала его по плечу и тащила в трактирчик; там, за столиком, они тянули коньяк; иногда под бубен машины ему говорила особа:

— «Что ж? Я — что: ничего... Я всего лишь подводная лодка; вы у нас — броненосец, кораблю большому и плавание...»

Тем не менее она его загнала на чердак: и, загнав на чердак, там запрятала; броненосец стоял на верфи без команды, без пушек; плавание Александра Ивановича все последние эти недели ограничивались плаванием от трактира к трактиру; можно сказать, что за эти недели протеста Александра Ивановича превратила особа в пропойцу.

Гостеприимно она встретила его; от всех бывших бесед у него осталось одно несомненное впечатление: если бы Александру Ивановичу вдруг понадобилась бы серьезная помощь, эту помощь особа была ему должна оказать; все это подразумевалось само собою, конечно; но услуги, по помощи для себя Александр Иванович боялся.

Лишь сегодня представился случай.

Аблеухову он дал слово распутать; и распутает он: при помощи, конечно, особы. Роковое смешение обстоятельств Аблеухова бросило просто в какую-то абракадабру; абракадабру он расскажет особе, а особа, он верил, уже сумеет распутать тут все.

Появление его здесь было вызвано только словом, данным им Аблеухову; и вот — нате же...

Тон особы к нему переменился обидно; это он заметил с первого появления особы на дачке; неузнаваемым стал тон особы к нему, — неприятным, обидным, натянутым (таким тоном начальники учреждений встречают просителей, таким тоном встречает редактор газеты газетного репортера, собирателя сведений о пожарах и кражах; и так почетитель говорит с кандидатом на место учителя в... Сольвычегодске, в Сарепте...)

Вот — нате же!..

Так: после беседы с французом (француз теперь удалился) особа вопреки всей манере держаться с Александром Ивановичем из кабинета не вышла, а продолжала сидеть — там, за письменным столиком; и — обидно так вышло: будто бы его, Александра Ивановича, и нет вовсе тут; будто бы он не знакомый, а — черт знает что! — неизвестный проситель, располагающий своим временем. Александр Иванович Дудкин был все же — Неуловимый; партийная его кличка гремела в России и за границей; да и, кроме всего: по происхождению был он все же потомственный дворянин, а особа, особа — гм-гм; появление свое у особы он считал особе за честь...

Темнело: синело.

А в темнеющем всем, в полусумраке кабинетика, пиджаком отвратительно прожелтилась особа; вовсе к столику принагнулась квадратная голова (над спиною виднелся лишь крашеный кок), подставляя широкую мускулистую спину с, должно быть, невымытой шеей; спина как-то выдавилась, подставляясь взору; и подставляясь не так: не прилично, а... как-то... глумливо. И ему отсюда казалось, что насмешливо разнахальничались оттуда, из полусумерок кабинетика, сутулосогбенные — плечо и спина; и он мысленно их раздел; представилась жирная кожа, разрезаемая с такою же легкостью, как кожа поросенка под хреном;

проползал таракан (видно, здесь водились они в изобилии); ему стало противно: он — сплюнул.

Вдруг безликой улыбкой повывадилась меж спиной и затылком жировая шейная складка: точно в кресле там засело чудовище; и представилась шея лицом; точно в кресле засело чудовище с безносой, безглазую харю; и представилась шейная складка — беззубо разорванным ртом.

Там, на вывернутых ногах, неестественно запрокинулось косолапое чудище — в полусумерках комнаты.

Фу, пакость!

Александр Иванович передернул плечом и подставил спине свою спину; он принялся выщипывать усики с независимым видом; он хотел бы представиться оскорбленным, а представился независимым только; он выщипывал усики с таким видом, будто он сам по себе, а спина сама по себе. Ему бы уйти, хлопнув дверью; а уйти невозможно: от этого разговора зависело спокойствие жизни Николая Аполлоновича; и стало быть: уйти, хлопнув дверью, нельзя; и стало быть, он все-таки от особы зависел.

Александр Иванович, сказали мы, подставил спине свою спину; но спина с шейной складкой была все же спиной притягательной; и он на нее повернулся: не повернуться не мог... Тут особа, в свою очередь, повернулась круто на стуле: поглядела в упор нахлопленная узколобая голова, напоминающая дикого кабана, готового вонзить клык в какого угодно преследователя; повернулась и опять отвернулась. Жест этого поворота красноречиво кричал — сплошным желанием нанести оскорбление. Но и не только это выразил жест. Должно быть, особа подметила кое-что в устремленном ей в спину взоре, потому что взгляд моргающих глазок язвительно выразил:

— «Э, э, э... Так-то вы, батенька?..»

Александр Иванович сжал в кармане кулак. И опять отвернулся.

Часы тикали. Александр Иванович крикнул два раза, чтобы слуха особы коснулось его нетерпение (надо было и себя отстоять, и не слишком обидеть особы; обидь он особу, Николай Аполлонович от обиды той ведь мог потерпеть)... Но кряхтенье Александра Ивановича вышло робеющей спазмой приготовишки перед школьным учителем. Что такое случилось с ним? Откуда возникла та робость? Особы он не боялся ничуть: он боялся галлюцинации, возникающей там, на обоях, — не особы же...

Особа писать продолжала.

Александр Иванович крикнул еще. И еще. На этот раз особа отозвалась.

— «Повремените...»

Что за тон? Что за сухость?

Наконец особа привсталала и повернулась; грузная ладонь описала в воздухе пригласительный жест:

— «Пожалуйте...»

Александр Иванович как-то весь растерялся; гнев его, перешедший все грани, выразился в суетливом забвении общеупотребительных слов:

— «Я... видите ли... пришел...»

— «?»

— «Как вы знаете, или впрочем... Что за черт!..» — И вдруг коротко так отрезал он:

— «Дело есть...»

Но особа, откинувшись в кресло (он ее готов был без жалости придушить в этом кресле), с уничтожающим видом пробарабанила по столу обкусанным пальцем; и — глухо бубукнула:

— «Должен предупредить вас... Времени у меня нет сегодня, чтоб слушать пространные разъяснения. А потому...»

Каково!

— «Потому я просил бы вас, мой милейший, выражаться точнее и кратче...»

И в кадык вдавив подбородок, особа уставилась в окна; и пустое от света пространство оттуда кидало шелестящие горсточки своего листопада.

— «А скажите, с какой поры у вас этот... такой тон», — вырвалось у Александра Ивановича не иронически только, а как-то даже растерянно.

Но особа опять его перебила: перебила неприятнейшим образом:

— «Ну те-с?»

И скрестила руки у себя на груди.

— «Дело мое...» — и запнулся...

— «Ну те-с...»

— «Стало большой важности...»

Но особа в третий раз перебила:

— «Степень важности мы обсудим потом».

И прищурила глазки.

Александр Иванович Дудкин, непонятным образом растерявшись, покраснел и почувствовал, что больше ему не выдавить фразы. Александр Иванович молчал.

Молчала особа.

В окна бил листопад: красные листья, ударяясь о стекла, облетая, шушукались; там суки — сухие скелеты — образовали черновато-туманную сеть; был на улице ветер: черноватая сеть начинала качаться; черноватая сеть начинала гудеть. Бестолково, беспомощно, путаясь в выражениях, Александр Иванович излагал аблеуховский инцидент. Но по мере того, как он вдохновлялся рассказом, преодолевая ухабы в построении своей речи, суше, суровее становилась особа: бесстрастнее выступал и потом разгладил лоб; пухлые губки перестали посасывать; а в том месте рассказа, где выступил провокатор Морковин, особа значительно вскинула брови и дернула носом: точно она до этого места все старалась действовать на совесть рассказчика, будто с этого места рассказчик стал и вовсе бессовестным, так что все пределы терпимости,

на какие способна особа, в этом месте перейдены; и терпение ее — окончательно лопнуло:

— «А?.. Видите?.. А вы говорили?..»

Александр Иванович вздрогнул.

— «А что такое я говорил?»

— «Ничего: продолжайте...»

Александр Иванович вскричал в совершенном отчаянии:

— «Да я все сказал! Что же еще мне прибавить!»

И в кадык вдавив подбородок, особа потупилась, покраснела, вздохнула, укоризненно впилась в Александра Ивановича теперь неморгающим взглядом (взгляд был грустный); и — прошептала чуть-чуть:

— «Нехорошо... Очень, очень нехорошо... Как вам не стыдно!..»

В смежной комнате появилась Зоя Захаровна с лампою; прислуга, Маланья, накрывала на стол: и ставились рюмочки; господин Шишнарфиев появился в столовой; рассыпался мелким бисером его тенорок, но весь этот бисер давил... акцент младоперса; сам Шишнарфиев был от взора укрыт цветочною вазою; все то Александр Иванович подметил издали, и — будто сквозь сон.

Александр Иванович чувствовал трепетание в сердце; и — ужас; при словах «как вам не стыдно» он слышал, как яркий румянец заливал его щеки; явная угроза в словах страшного собеседника притаилась губительно; Александр Иванович невольно заерзал на стуле, припоминая какую-то им не совершенную вовсе вину.

Странно: он не осмелился переспрашивать, что значит скрытая в тоне особы угроза и что значит по его адресу «стыдно». «Стыдно» это он так-таки проглотил.

— «Что же мне передать Аблеухову относительно провокаторской этой записки?»

Тут лобные кости приблизились к его лбу:

— «Какой такой провокаторской? Не провокаторской вовсе... Должен вас охладить. Письмо к Аблеухову написано мною самим».

Эта тирада произнеслась с достоинством, превозмогшим и гнев, и упрек, и обиду; с достоинством, превозмогшим себя и теперь снизошедшим до... уничижающей кротости.

— «Как? Письмо написано вами?»

— «И шло — через вас: помните?.. Или забыли?»

Слова «забыли» особа произнесла с таким видом, как будто бы Александр Иванович все это прекрасно сам знал, но для чего-то прикидывался незнающим; вообще особа явно ему давала понять, что теперь она собирается с его притворством играть, как с мышкою кошка...

— «Помните: это письмо передал я вам, там — в трактирчике...»

— «Но я его передал, уверяю вас, не Аблеухову, а Варваре Евграфовне...»

— «Полноте, Александр Иванович, полноте, батенька: ну, чего нам, своим людям, хитрить: письмо нашло адресата... А остальное — увертки...»



— «И вы — автор письма?»

Сердце Александра Ивановича так трепетало, так билось, и казалось, что — выбьется; точно бык, замычало; и — побежало вперед.

А особа значительно стукнула по столу пальцем, сменяя свой вид равнодушия на гранитную твердость, особа вскричала:

— «Что же вас удивляет тут?.. Что письмо Аbbleухову написано мною?..»

— «Конечно...»

— «Извините меня, но я сказал бы, что изумление ваше граничит уже с откровенным притворством...»

Из-за вазы, оттуда, выставился черный профиль Шишнарфиева; Зоя Захаровна профилю зашептала, а профиль кивал головой; и потом уставился на Александра Ивановича. Но Александр Иванович ничего не видел. Он только воскликнул, кидаясь к особе:

— «Или я сошел с ума, или — вы!..»

Особа ему подмигнула:

— «Ну те-ка?»

Вид же ее говорил:

— «Э, э, э, батенька: давеча я видел, как ты посматривал... Думаешь, что со мной эдак можно?..»

Нечто произошло: бодро, как-то весело даже, как-то даже с придурковатым задором особа прищелкнула языком, будто хотела воскликнуть:

— «Батенька, да подлость-то, право, с тобою — только с тобой: не со мной...»

Но она сказала лишь:

— «А?... А?...»

Потом, сделавши вид, что свой сардонический хохот она с трудом подавила, строго, внушительно, снисходительно положила особа свою тяжелую руку на плечо к Александру Ивановичу. Задумалась и прибавила:

— «Нехорошо... Очень, очень нехорошо...»

И то самое, странное, гнетущее и знакомое состояние охватило Александра Ивановича: состояние гибели пред куском темно-желтых обоев, на которых — вот-вот — появится роковое. Александр Иванович тут почувствовал за собой неизвестную вину; посмотрел, и будто бы облако повисло над ним, окуривая его из того направления, где сидела особа, и выкуриваясь из особы.

А особа уставилась на него узколобою головой; все сидела и все повторяла:

— «Нехорошо...»

Наступило тягостное молчание.

— «Впрочем, конечно, соответствующих данных я все еще подожду; нельзя же без данных... А впрочем: обвинение — тяжкое; обвинение, скажу прямо вам, столь тяжело, что...» — тут особа вздохнула.

— «Но какие же данные?»

— «Вас лично пока не хочу я судить... Мы в партии действуем, как вы знаете, на основании фактов... А факты, а факты...»

— «Да какие же факты?»

— «Факты о вас собираются...»

Этого не хватало лишь!

Вставши с кресла, особа обрезала кончик гаванской сигары, двусмысленно замыкала песенку; непроницаемо она замкнулась теперь в свое благодушие; прошагала в столовую, дружелюбнохватила Шишнарфиева по плечу.

Крикнула по направлению к кухне, откуда потягивало таким вкусным жарким.

— «Смерть как хочется есть...»

Оглядела стол и заметила:

— «Наливочки бы...»

Потом прошагала обратно она в кабинетик.

...  
— «Ваши сидения в дворницкой... Ваша дружба с домовою полицией, с дворником... Наконец: попойки ваши с участковым писцом Воронковым...»

И на вопросительный, недоумевающий взгляд — взгляд, полный ужаса — Липпанченко, то есть особа, продолжала язвительный, многосмысленный шепот, полагая ладонь на плечо к Александру Ивановичу.

— «Будто сами не знаете? Строите удивленные взоры? Не знаете, кто такой Воронков?»

— «Кто такой Воронков? Воронков?!.. Позвольте... да что ж из этого... Что ж тут такого?..»

Но особа, Липпанченко, хохотала, схватясь за бока:

— «Не знаете?..»

— «Я не утверждаю этого: знаю...»

— «Прелестно!..»

— «Воронков — писец из участка: посещает домового дворника Матвея Моржова...»

— «С сыщиком изволите видеться, с сыщиком изволите распивать, как не знаю кто, как последний шпичишко...»

— «Позвольте!..»

— «Ни слова, ни слова», — замахала особа, видя попытку Александра Ивановича, перепуганного не на шутку, что-то такое сказать.

— «Повторяю: факт вашего явного участия в провокации не установлен еще, но... предупреждаю — предупреждаю по дружбе: Александр Иванович, родной мой, вы затеяли что-то неладное...»

— «Я?»

— «Отступите: не поздно...»

На мгновение Александру Ивановичу представилось явно, что слова «отступите, не поздно» есть своего рода условие некой особы: не настаивать на разъяснении инцидента с Николаем Аполлоновичем; показало и еще кое-что — особа-то (вспомнил он) и сама была чем-то

крупно ославлена; что-то такое случилось тут — было явно: давешние намеки Зои Захаровны Флейш — о чем же еще!

Но едва это Александр Иванович подумал и, подумав, приободрился немного, как знакомое, зловещее выражение — выражение той самой галлюцинации — мимолетно скользнуло на лице толстяка; и лобные кости напряжились в одном крепком упорстве — сломать его волю: во что бы ни стало, какую угодно ценою — сломать, или... разлететься на части.

И лобные кости сломали.

Александр Иванович как-то сонно и угнетенно поник, а особа, мстящая за только что бывшее мгновение противления своей воле, уже опять наступала; квадратная голова наклонилась так низко.

Глазки — глазки хотели сказать:

— «Э, э, э, батенька... Да ты вот как?»

И слюною брызгался рот:

— «Не прикидывайтесь таким простаком...»

— «Я не прикидываюсь...»

— «Весь Петербург это знает...»

— «Что знает?»

— «О провале Т... Т...»

— «Как?!»

— «Да, да...»

Если бы особа хотела сознательно отвлечь мысль Александра Ивановича от могущего произойти в нем открытия подлинных мотивов поведения особы, то она совершенно успела, потому что известие о провале Т... Т... поразило, как громом, слабого Александра Ивановича:

— «Господи Иисусе Христе!..»

— «Иисусе Христе!» — издевалась особа. — «Это ж вам известно прежде всех нас... До показания экспертов допустим, что так это... Только: не усугубляйте же на себя подозрений: и ни слова об Аблеухове».

Должно быть, у Александра Ивановича в ту минуту был крайне идиотический вид, потому что особа продолжала все хохотать и дразнила черным оскалом широко раскрытого рта: тем же самым оскалом из мясной глядит на нас кровавая звериная туша с ободранной кожей.

— «Не прикидывайтесь, родной мой, будто роль Аблеухова неизвестна вам; и будто вам неизвестны причины, которые и заставили меня казнить Аблеухова данным ему поручением; будто вам неизвестно, как этот паскудный паршивец разыграл свою роль: роль, заметьте, разыграна ловко; и расчетец был правильный, — расчетец на сантиментальности эти, слюнтяйство, например, в роде вашего», — смягчилась особа: признанием, что и Александр Иваныч страдает — слюнтяйством она великодушно снимала с Александра Ивановича взведенное за минуту пред тем обвинение; верно, вот отчего при слове «слюнтяйство» что-то свалилось с души Александра Иваныча; он уже глухо-глухо старался уверить себя, что относительно особы — ошибся он.

— «Да расчетец был правильный: благородный де сын ненавидит отца, собирается де отца укокошить, а тем временем шныряет среди нас с рефератками и прочею белибердою; собирает бумажки, а когда накопляется у него коллекция этих бумажек, то коллекцию эту он — преподносит папаше... А у всех у вас к гадине этой какое-то неизъяснимое тяготение...»

— «Да ведь он, Николай Степаныч, он — плакал...»

— «Что же, слезы вас удивили... Чудак же вы: слезы — это обычное состояние интеллигентного сыщика; интеллигентный же сыщик, когда расплачется, то думает, что расплакался искренне: и, пожалуй, даже он жалеет, что — сыщик; только нам от этих интеллигентских слез нисколько не легче... И вы, Александр Иванович, — тоже вот плачете... Я вовсе не хочу сказать, что и вы виноваты» (неправда: только что особа твердила тут о вине; и эта неправда на мгновение ужаснула Александра Ивановича; подсознательно в душе его, как молния, сверкнуло одно: «Совершается торг: мне предлагается поверить отвратительной клевете, или, точнее, не веря, с клеветою этою согласиться ценой снятия клеветы с меня самого...») Все это сверкнуло за порогом сознания, потому что ужасную правду заперли за этот порог над глазами склоненные лобные кости особы и гнетущая атмосфера грозы, и блеск маленьких глазок с их «э, э, — батенька»... И он думал, что начинает он клевете этой верить).

— «Вы, уверен я, вы, Александр Иваныч, чисты, но — что касается Абреухова: тут вот, в этом вот ящике у меня на хранение досье: я представлю впоследствии досье на суд партии». Тут особа отчаянно затопталась по кабинетнику — из угла в угол — и забила косолапо ладонью в перекрахмаленную свою грудь. В тоне же послышалось неподдельное огорчение, отчаяние — просто какое-то благородство (видно, торг заключен был удачно).

— «Впоследствии-то меня, верьте, поймут: теперь положение меня вынуждает стремительно вырвать с корнем заразу... Да... я действую, как диктатор, единственной волею... Но — верьте мне — жалко: жалко было подписывать ему приговор, но... гибнут десятки... из-за вашего... сенаторского сынка: гибнут десятки!.. И Пеппович, и Пепп уже арестованы... Помните, сами вы когда-то едва не погибли (Александр Иваныч подумал, что он-то — погиб уже)... Кабы не я... Якутскую область-ка вспомните!.. А вы заступаетесь, соболезнуете... Плачьте же, плачьте! Есть о чем плакать: гибнут десят-ки!!!..»

Тут особа вскинула быстрыми глазками и вышла из кабинетика.

Стемнело: была чернота.

Темнота напала; и встала она между всеми предметами комнаты; столики, шкафы, кресла — все ушло в глубокую темноту; в темноте посиживал Александр Иванович — один-одинешенек; темнота вошла в его душу: он — плакал.

Александр Иванович припомнил все оттенки речи особы и нашел все эти оттенки оттенками искренними; особа, наверное, не лгала; а подозрения, ненависть — все это могло найти объяснение в том болезненном состоянии Александра Ивановича: какой-нибудь случайный полудночный кошмар, в котором главную роль играла особа, мог случайно связаться каким-нибудь случайным двусмысленным выражением особы; и пища для душевной болезни на почве алкоголизма готова; галлюцинация же монгола и бессмысленный в ночи им слышанный шепот: «Енфраншиш» — все это докончило остальное. Ну, что такое монгол на стене? Бред. И пресловутое слово.

— «Енфраншиш, енфраншиш...» — что такое?

Абракадабра, ассоциация звуков — не более.

Правда, к некой особе питал он и прежде недобрые чувства; но правда и то: особе был он обязан — особа его выручала; отвращение, ужас были ничем не оправданы, разве что... бредом: пятном на обоях.

Э, да болен он, болен...

Темнота напала: напала, обстала; с какой-то серьезною грозностью выступали — стол, кресло, шкаф; темнота вошла в его душу — он плакал: нравственный облик Николая Аполлоновича встал теперь впервые в своем истинном свете. Как он мог его не понять?

Вспомнилась первая встреча с ним (Николай Аполлонович у общих знакомых тогда читал рефератик, в котором ниспровергались все ценности): впечатление вышло не из приятных; и — далее: Николай Аполлонович, правду сказать, выказывал особое любопытство ко всем партийным секретам; с рассеянным видом мешковатого выроodka во все тыкал нос: ведь рассеянность эта могла и быть напускной. Александр Иваныч подумал: провокатор высшего типа уж конечно бы мог обладать наружностью Абреухова — этим грустно-задумчивым видом (избегающим взора ответного) и лягушечьим выражением этих растянутых губ; Александр Иванович медленно убеждался: Николай Аполлонович во всем этом деле повел себя странно; и гибли — десятки...

По мере того, как он уверял себя в причастности Абреухова в деле провала Т. Т., грозное, гнетущее чувство, овладевавшее им в беседе с особой, пропадало; что-то легкое, почти беззаботное вошло в его душу. Александр Иванович издавна почему-то особенно ненавидел сенатора: Аполлон Аполлонович внушал ему особое отвращение, подобное отвращению, которое нам внушает фаланга или даже тарантул;<sup>33</sup> Николая же Аполлоновича он временами любил; теперь же сенаторский сын для него объединился с сенатором в одном приступе отвращения и в желании тарантуловое это отродье — искоренить, истребить.

— «О, погань!.. Гибли десятки... О, погань...»

Лучше даже мокрицы, кусок темно-желтых обоев, лучше даже особа: в особе есть по крайней мере хоть величие ненависти; с особой можно все же слиться в желании — истребить пауков:

— «О, погань!..»

Через комнату от него гостеприимно уже поблескивал столик; на столике были уставлены вкрасности: колбаса, сиг и холодные телячьи котлеты; издали доносилось довольное гымяние вконец уставшей особы да голос Шишнарфиева; этот последний прощался; наконец он ушел.

Скоро в комнату ввалилась особа, подошла к Александру Ивановичу, положила тяжелую на его плечи ладонь:

— «Так-то! Лучше нам не ругаться, Александр Иванович; если свои будут в споре, так... как же иначе?..»

— «Ну, пойдемте же кушать... Откушайте с нами... Только давайте за ужином об этом всем уж ни слова... Все это невесело... Да и Зое Захаровне это нечего знать: устала она у меня... Да и я порядком устал... Все мы порядком устали... И все это — нервы... Мы с вами нервные люди... Ну — ужинать, ужинать...»

Гостеприимно поблескивал столик.

## ОПЯТЬ ПЕЧАЛЬНЫЙ И ГРУСТНЫЙ

Александр Иванович звонился множество раз.

Александр Иванович звонился у ворот своего сурового дома; дворник не открывал ему; за воротами на звонок лишь отвечивал лаем пес; издали одиноко подал голос на полночь полуночный петух; и — замер. Восемнадцатая линия убегала — туда: в глубину, в пустоту.

Пустота.

Александр Иванович испытывал нечто, подобное удовольствию, в самом деле: отсрочивался его приход в сих плачевных стенах; в сих плачевных стенах раздавались всю ночь шорохи, трески и писки.

Наконец — и что главное: надо было осилить во мраке двенадцать холодных ступенек; повернувшись, отсчитать снова равное их число.

Это делал Александр Иванович четырежды.

Итого — девяносто шесть каменных, гулких ступеней; далее: надо было стоять перед войлочной дверью; надо было со страхом вложить полуржавый в скважину ключ. Спичку рискованно было зажечь в этом мраке крошечном; спичечный огонек мог осветить неожиданно самую разнообразную дрянь; вроде мыши; и еще кой-чего...

Так подумал Александр Иванович.

Поэтому-то все медлил он под воротами своего сурового дома.

И — ну вот... —

— Кто-то печальный и длинный, кого Александр Иванович не раз видывал у Невы, опять показался в глубине восемнадцатой линии. На этот раз тихо вступил он в светлый круг фонаря; но казалось, что светлый свет золотой грустно заструился от чела, от его костенеющих пальцев... —

— Так неведомый друг показался и нынешний раз.

Александр Иванович вспомнил, как однажды окликнула милого оби-

тателя восемнадцатой линии проходя старушонка в соломенной шляпе чепцом с лиловыми лентами.

Мишей она его тогда назвала.<sup>34</sup>

Александр Иванович вздрагивал всякий раз, как печальный и длинный, проходя, обращал на него невыразимый, всевидящий взор; и все так же белели при этом его впалые щеки. Александр Иванович видел-не видел и слышал-не слышал после этих встреч на Неве.

— «Если б остановился!..»

— «О, если бы!..»

— «И, о, если бы выслушал!..»

Но печальный и длинный, не глядя, не останавливаясь, уж прошел.

Отчетливо удалялся звук его шага; этот отчетливый звук происходил оттого, что ноги прохожего не были, как у прочих, обуты в калоши. Александр Иванович обернулся и тихо хотел ему что-то такое сказать; тихо хотел он позвать какого-то неизвестного Мишу...

Но то место, куда Миша уже ушел безвозвратно, — то место пустело теперь в светлом колеблемом круге; и не было — ничего, никого, кроме ветра да слякоти.

И оттуда мигал желтый огненный язык фонаря.

Тем не менее он опять позвонился. Петербургский петух на звонок ответствовал снова: в скважинах просвистал сыроватый ветер морской; ветер стонал в подворотне и напротив с размаху ударился о железную вывеску «Дешевой столовой»; и железо грохнуло в темноту.

## МАТВЕЙ МОРЖОВ

Наконец закрипели ворота.

Бородатый дворник, Матвей Моржов, давнишний приятель Александра Ивановича, пропустил его за домовый порог: отступление было отрезано; и замкнулись ворота.

— «Што позненько?»

— «Все дела...»

— «Изволите искать себе места?»

— «Да, места...»

— «Натурально: местов таперича нет... Разве вот, ежели ослабнится в Участке...»

— «Да в Участок меня, Матвей, не возьмут...»

— «Натурально: куда вам в Участок...»

— «Вот видишь?»

— «А местов таперича нет...»

Бородатый дворник, Матвей Моржов, иногда засылал к Александру Ивановичу свою дебелую бабу, все болевшую ушною болезнью, то с куском пирога, а то с приглашением в гости; так, они выпивали по праздникам, в дворничкой: с домовою полицией Александру Ивановичу, как нелегальному человеку, надлежало сохранять теснейшую дружбу.

Да и кроме того.

Представлялся лишь выгодный случай безопасно сойти с своего холодного чердака (свой чердак, как видели мы, Александр Иванович ненавидел, а, бывало, неделями он безвыходно в нем сидел, когда выход казался рискован).

Иногда к их компании прибавлялись: участковый писец Воронков да сапожник Бессмертный. А в последнее время все в дворницкой сживал Степка: Степка же был безработный.

Александр Иванович, очутившись на дворике, явственно слышал, как из дворницкой долетала до слуха его та же все песенка:

Кто канторшыка  
 Ни любит, —  
 А я стала бы  
 — Любовь...  
 Образованные  
 Люди  
 Знают,  
 Шго пагаварить...

• • • • •

— «Опять гости?»

Матвей Моржов с свирепой задумчивостью почесал свой затылок:

— «Манечка забавляемся...»

Александр Иванович улыбнулся:

— «Небось, участковый писарь?..»

— «А то кто же... Он самый...»

Вдруг Александр Иванович вспомнил, что имя писца Воронкова почему-то было настойчиво упомянуто — там, особою; почему особа знала и писца Воронкова, и о писце Воронкове, и об этих сидениях их? Он тогда удивился, да спросить позабыл.

Купи маминька  
 На платье  
 Жигаету  
 Сераву:  
 Уважать топерь  
 Я буду  
 Васютку  
 Ликсева!..

• • • • •

Дворник Моржов, видя какую-то нерешительность Александра Ивановича, посопел носом, да и мрачно отрезал:

— «Штош... В дворницкую-то... Захаживайте...»

И зашел бы Александр Иванович: в дворницкой и тепло, и людно, и хмельно; на чердаке же одиноко и холодно. И — нет, нет: там писец Воронков; о писце Воронкове двусмысленно говорила особа; и — черт его знает! Но главное: заход в дворницкую был бы решительной трусостью: был бы бегством от собственных стен.



Александр Иванович со вздохом ответил:

— «Нет, Матвей: спать пора...»

— «Натуральное дело: как знаете!..»

А как там распевали:

Купи маминька  
На платье  
Жиланету  
Сивева:  
Уважать топерь  
Я буду  
Сыночка  
Васильева!..<sup>35</sup>

— «А то выпили б водки?»

И просто с каким-то отчаянием, просто с какою-то злостью он выкрикнул:

— «Нет, нет, нет!»

И пустился бежать к серебристым саженьям дров.

Уж Матвей Моржов, уходя, распахнул на минуту дверь дворницкой: белый пар, свои световой, гам голосов и запах согретой грязи, занесенной с улицы сапожницами, выхватился на мгновение оттуда; и — бац: захлопнулась за Матвеем Моржовым дверь.

Вторично отступление было отрезано.

Луна опять озаряла четкий дворик квадратный и серебристые сажени осиновых дров, меж которых юркнул Александр Иванович, направляясь к черному подъездному входу. В спину ему из дворницкой долетали слова; верно, пел сапожник Бессмертный.

Железнодорожные рельсы!..  
И насыпи!.. И стрелки сигнал!  
Как в глину размытую поезд  
Слетел, низвергаясь со шпал.  
Картина разбитых вагонов!..  
Картина несчастных людей!..<sup>36</sup>

Дальше не было слышно.

Александр Иванович остановился: так, так, так — начиналось; еще он не успел заключиться в темно-желтый свой куб, как уже: начиналась, возникла — неотвратимая, еженощная пытка. И на этот раз она началась у черных входных дверей.

. . . . .

Дело было все в том же: Александра Ивановича они стерегли... Началось это так: как-то раз, возвращаясь домой, он увидел сходящего с лестницы неизвестного человека, который сказал ему:

— «Вы с Ним связаны...»

Кто был подлинно сходящий с лестницы человек, кто был Он (с большой буквы), Кто связует с Собой, Александр Иванович не пожелал разузнать, но порывисто бросился от неизвестного вверх по лестнице. Неизвестный его не преследовал.

И вторично с Дудкиным — было: встретил на улице он человека в глубоко на глаза надвинутом картузе и со столь ужасным лицом (неизъяснимо ужасным), что какая-то проходящая тут незнакомая дама в перепуге схватила Александра Ивановича за рукав:

— «Видели? Это — ужас, ведь ужас... Этого не бывает!.. О, что́ это?..»

Человек же прошел.

Но вечером, на площадке третьего этажа Александра Ивановича схватили какие-то руки и толкали к перилам, явно пытаясь столкнуть — туда, вниз. Александр Иваныч отбился, чиркнул спичкою, и... на лестнице не было никого: ни сбегających, ни восходящих шагов. Было пусто.

Наконец в последнее время по ночам Александр Иванович слышал нечеловеческий крик... с лестницы: как вскрикнет!.. Вскрикнет, и более не кричит.

Но жильцы, как вскрикнет, — не слышали.

Только раз слышал он на улице этот крик — там, у Медного Всадника: точь-в-точь так кричало. Но то был автомобиль, освещенный рефлекторами. Только раз иногда коротавший с ним ночи безработный Степан слышал как... крикнуло. Но на все пристаивания к нему Александра Ивановича лишь угрюмо сказал:

— «Это вас они ищут...»

Кто они, на это Степка — молчок. И больше ни слова. Только стал Александра Ивановича этот Степка чуждаться, реже к нему заходить; почевать же — ни-ни... И ни дворнику, ни писцу Воронкову, ни сапожнику Степка — ни слова. Александр Иванович — тоже ни слова...

Но каково быть насильственно вбитым во все это, ни с кем не делиться!

— «Это вас они ищут...»

Кто они, и почему они — ищут?..

• . . . . .

Вот и сейчас.

Александр Иванович непроизвольно бросил кверху свой взор: к окошку на пятом чердачном этажике; и в окошке был свет: было видно, что какая-то угловатая тень беспокойно слонялась в окошке. Миг, — и он беспокойно в кармане нащупал свой комнатный ключик: был ключик с ним. Кто же там очутился в запертой его комнате?..

Может быть — обыск? О, если бы только обыск: он влетел бы на обыск, как счастливейший человек; пусть его заберут и упрячут, хотя б... в Петропавловку. Те, кто спрячет его в Петропавловку, все же хоть люди — во всяком случае, не они.

— «Это вас они ищут...»

Александр Иванович перевел дыхание и дал себе заранее слово не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним теперь могли совершиться, — одна только праздная, мозговая игра.

Александр Иванович вошел в черный ход.

## МЕРТВЫЙ ЛУЧ ПАДАЛ В ОКОШКО

Так, так, так: там стояли они; так же стояли они при последнем ночном возвращении. И они его ждали. Кто они были, этого сказать положительно было нельзя: два очертания. Мертвый луч падал в окошко с третьего этажа; белесовато ложился на серых ступенях.

И в совершеннейшей темноте белесоватые пятна лежали так ужасно спокойно — бестрепетно.

В белесоватое, вот это, пятно вступали лестничные перила; у перил же стояли они: два очертания; пропустили Александра Ивановича, стоя справа и слева от него; также они пропустили Александра Ивановича и тогда; ничего не сказали, не шевельнулись, не дрогнули; чувствовался лишь чей-то дурной из темноты на него прищуренный, не моргающий глаз.

Не приблизиться ль к ним, не зашептать ли им на уши в памяти восставшее из сна заклинание?

— «Енфраншиш, енфраншиш!..»

Каково только вот вступать под упорным их взглядом в белесоватое это пятно: быть освещенным луною, чувствуя по обе стороны зоркий взгляд наблюдателя; далее — каково ощутить наблюдателей черной лестницы у себя за спиной, ежесекундно на все готовых; каково не ускорить шага и хладнокровно покашливать?

Ибо стоило Александру Ивановичу быстро-быстро вдруг кинуться вверх по лестничным ступеням, как за ним бы кинулись следом и наблюдатели.

Тут белесоватые пятна стали серыми пятнами и потом гармонично затаяли; и растаяли вовсе в совершеннейшей темноте (видно черное облако набежало на месяц).

Александр Иванович спокойно вошел в перед тем белевшее место, так что глаз он не видел, заключая отсюда, что и его глаза не увидели (бедный, он тешился тщетною мыслью, что невидимый проскользнет он к себе на чердак). Александр Иванович не ускорил шага, и даже — стал пощипывать усик; и...

...Александр Иваныч не выдержал.

Он стрелою влетел на площадку второго этажа (экая нетактичность!). И влетев на площадку, он позволил себе нечто, что его окончательно уронило во мнениях там стоящего очертания.

Перегнувшись через перила, он вниз метнул растерянный, перепуганный взгляд, предвительно бросив туда зажженную спичку: вспыхнули железные прутья перил; и среди желтого мерцания этого явственно рассмотрел Александр Иванович силуэты.

Каково же было его изумление!

Один силуэт оказался просто-напросто татарин, Махмудкой, жителем подвального этажа; в желтом трепете догоравшей и мимо падавшей спички Махмудка склонился к господинчику обыденного вида; господинчик обыденного вида был в котелке, но с горбоносим лицом восточ-

ного человека; горбоносый, восточный же человек что-то силился спросить у Махмудки, а Махмудка качал отрицательно головой.

Далее — спичка погасла: ничего нельзя было разобрать.

Но горячая спичка выдала пребывание Александра Ивановича горбоносому восточному человеку: быстро вверх зашаркали ноги; и уже над самым ухом Александра Ивановича раздался теперь бойкий голос, но... — представьте себе, без акцента.

— «Извините, вы Андрей Андрееч Горельский?»

— «Нет, я Александр Иванович Дудкин...»

— «Да, по подложному паспорту...»

Александр Иванович вздрогнул: он действительно жил по подложному паспорту, но его имя, отчество и фамилия были: Алексей Алексеевич Погорельский, а не Андрей Андрееч Горельский.

Александр Иванович вздрогнул, но... решил, что утаивания не приведут ни к чему:

— «Я, а что вам угодно?..»

— «Извините, пожалуйста: я явился к вам в первый раз и в столь неурочное время...»

— «Пожалуйста...»

— «Эта черная лестница: ваша квартира оказалась запертою... И там кто-то есть... Я предпочел ожидать вас у входа... И потом эта черная лестница...»

— «Кто же ждет меня там?..»

— «Не знаю: мне оттуда ответил голос какого-то простолюдина...»

Степка!.. Слава Богу: там — Степка...»

— «Что же вам угодно?..»

— «Простите. я столько наслышан о вас: у нас общие с вами друзья... Николай Степаныч Липпанченко, где я бываю принят, как сын... Я давно-давно хотел познакомиться с вами... Я слышал, что вы полунощник... Вот я и осмелился... Я собственно живу в Гельсингфорсе и бываю наездом здесь, хотя моя родина — юг...»

Александр Иванович быстро сообразил, что гость его лжет; и притом пренахальнейшим образом, ибо та же история повторилась когда-то (где и когда — этого он не мог сейчас осознать: может быть, дело происходило в позабытом тотчас же сне; и вот — встало).

Нет, нет, нет: вовсе дело не чисто; но вида не надо показывать; и Александр Иванович отвечал в совершенную тьму.

— «С кем имею честь разговаривать?»

— «Персидский подданный Шишнарфнэ... Мы уже с вами встречались...»

— «Шишнарфиев?..»

— «Нет, Шишнарфнэ: окончание ве, ер\* мне приделали — для руссизма, если хотите... Мы были вместе сегодня — там, у Липпанченки: два часа я сидел, ожидая, когда вы покончите деловой разговор, и не мог

\* Шишнарфиевъ. — Ред.

вас дожидаться... Зоя Захаровна вовремя не предупредила меня о том, что вы находитесь у нее. Я давно ищущу с вами встречи... Я давно вас ищущу...

Эта последняя фраза, как и превращение Шишнарфиева в Шишнарфнэ, опять что-то сонно напомнили: было мерзко, тоскливо, томительно.

— «Мы с вами и прежде встречались?»

— «Да... помните?... В Гельсингфорсе...»

Александр Иванович что-то смутно припомнил; неожиданно для себя он зажег еще новую спичку и поднес эту спичку к самому носу Шишнарфиева — виноват: Шишнарфнэ: вспыхнули на мгновение желтым отсветом стены, промерцали прутья перил; и из тьмы перед самым лицом его вдруг сложилось лицо персидского подданного; Александр Иванович ясно вспомнил теперь, что это лицо он видал в одной гельсингфорсской кофейне;<sup>37</sup> но и тогда то лицо с Александра Ивановича почему-то не спускало подозрительных глаз.

— «Помните?»

Александр Иванович еще припомнил, еще: именно: в Гельсингфорсе у него начались все признаки ему угрожавшей болезни; и именно в Гельсингфорсе вся та праздная, будто кем-то внушенная, началась его мозговая игра.

Помнится, в тот период пришлось ему развивать парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру, потому что период истории изжитого гуманизма закончен и культурная история теперь стоит перед нами, как выветренный трухляк: наступает период здорового зверства, пробивающийся из темного народного низа (хулиганство, буйство апашей),<sup>38</sup> из аристократических верхов (бунт искусств против установленных форм, любовь к примитивной культуре, экзотика) и из самой буржуазии (восточные дамские моды, кэк-уок — негрский танец;<sup>39</sup> и — далее); Александр Иванович в эту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев; проповедовал он и призванье монголов (впоследствии он испугался монголов). Все явления современности разделялись им на две категории: на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маскою утонченности (явление Ницше и Ибсена)<sup>40</sup> и под эту маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах.

Александр Иванович приглашал посягать маски и открыто быть с хаосом.

Помнится, это же он проповедовал и тогда, в гельсингфорсской кофейне; и когда его кто-то спросил, как отнесся бы он к сатанизму, он ответил:

— «Христианство изжито: в сатанизме есть грубое поклонение фетишу, то есть здоровое варварство...»

Вот тогда-то — вспомнил он — сбоку, за столиком, сидел Шишнарфнэ и с них глаз не спускал.

Проповедь варварства кончилась неожиданным образом (в Гельсингфорсе, тогда же): кончилась совершенным кошмаром; Александр Ивано-

вич видел (не то в сне, не то в засыпании), как его помчали чрез неопи-  
суемое, что можно бы назвать всего проще междупланетным простран-  
ством (но что не было им): помчали для свершения некоего, там обы-  
денного, но с точки зрения нашей все же гнусного акта;<sup>41</sup> несомненно,  
это было во сне (между нами — что сон?), но во сне безобразном, по-  
вливавшем на прекращение проповеди; во всем этом самое неприятное  
было то, что Александр Иванович не помнил, совершил ли он акт, или  
нет; этот сон впоследствии Александр Иванович отметил, как начало бо-  
лезни, но — все-таки: вспоминать не любил.

Вот тогда-то он втихомолку от всех принялся читать Откровение.

И теперь, здесь на лестнице, напоминание о Гельсингфорсе подей-  
ствовало ужасно. Гельсингфорс стал перед ним. Он невольно подумал:

— «Вот отчего все последние эти недели твердилось мне без всякого  
смысла: Гель-син-форс, Гель-син-форс...»

А Шишнарфнэ продолжал:

— «Помните?»

Дело приняло отвратительный оборот: надо было броситься в бегство  
немедленно — вверх по каменным лестницам; надо было использовать  
темноту; а не то фосфорический свет бросит в окна белесоватые пятна.  
Но Александр Иванович медлил в совершеннейшем ужасе; почему-то осо-  
бенно его поразила фамилия обыденного посетителя:

— «Шишнарфнэ, Шишнарфнэ... Где-то это я все уже знаю...»

А Шишнарфнэ продолжал:

— «Итак, вы позволите мне к вам зайти?.. Я, признаться, устал,  
поджидая вас... Вы, надеюсь, мне извините этот мой полуночный визит...»

И в припадке невольного страха Александр Иванович выкрикнул:

— «Милости просим...»

Сам подумал же:

— «Степка там выручит...»

Александр Иванович бежал вверх по лестнице. За ним бежал Шиш-  
нарфнэ; бесконечная вереница ступеней уводила их, казалось, не к пятому  
этажу: конца лестницы не предвиделось; и сбежать было нельзя: за пле-  
чами бежал Шишнарфнэ, впереди же из комнатки била струя световая.

Александр Иванович подумал:

— «Как же мог зайти ко мне Степка: ведь ключ у меня?»

Но, ощупав карман, убедился он, что ключа не было: вместо дверного  
ключа был ключ старого чемодана.

## ПЕТЕРБУРГ

Александр Иванович влетел сам не свой в свою убогую комнату и уви-  
дел, что на грязных козлах постели расселся Степан над догоравшим огар-  
ком; перед развернутой книгою с церковнославянскими буквами низко так  
опустилась его косматая голова.

Степан читал Требник.<sup>42</sup>

Александр Иванович вспомнил обещание Степки: принести с собой Требник (его там интересовала молитва — молитва Василия Великого: утешительная, к бесам).<sup>43</sup> И он ухватился за Степку.

— «Это ты, Степан: ну, я рад!»

— «Вот принес я вам, барин, Тр...», — но поглядев на вошедшего посетителя, Степка прибавил, — «что просили...»

— «Спасибо...»

— «Поджидаячи вас, зачитался я... (опять взгляд в сторону посетителя)... Мне пора...»

Александр Иванович рукой ухватился за Степку:

— «Не уходи, посиди... Этот вот барин — господин Шишнарфиев...»

Но из двери металлический голос отчеканил горланно:

— «Не Шишнарфиев, а... Шиш-нар-фнэ...»

И охота была ему стоять за отсутствие буквы ве и твердого знака? о н виднелся у двери; он снял котелочек; не скидывал пальтеца и окидывал комнатку вопросительным взглядом:

— «Плоховато у вас... Сыровато... И холодно...»

Свеча догорала: вспыхнула оберточная бумага, и вдруг стены стали плясать в жидко-красном огне.

— «Нет, барин, увольте: пора мне», — засуетился тут Степка, косясь неприязненно на Александра Ивановича и вовсе не глядя на гостя, — «увольте — до другого уж разу».

Он взял с собой Требник.

Под пристальным взглядом Степана Александр Иванович свои глаза опустил: пристальный взгляд, показалось ему, есть взгляд осудительный. И как быть — со Степаном? Что-то такое ему сказать хотелось — Степану; Степана он оскорбил; Степан не простит; и, казалось, Степан теперь думает:

— «Нет, барин, коли уж эдакие к вам повадились, тут уж нечего делать; и не к чему Требник... Эдакие не ко всякому вхожи; а к кому они вхожи, тот — поля их ягода...»

Стало быть, стало быть, если полагает Степан, — посетитель-то: и есть подозрительный... А тогда, как же быть, ему, одному — без Степана:

— «Степан, оставайся».

Но Степан отмахнулся не без оттенка гадливости: как будто боялся и он, что к нему это может пристать:

— «Это ведь к вам они: не ко мне...»

А в душе отдалось:

— «Это в а с они ищут...»

За Степаном захлопнулась дверь. Александр Иванович хотел ему крикнуть вдогонку, чтоб оставил он Требник-то, да... устыдился. Вдруг он да и скажет компрометантное для вольнодумца словечко-то «Требник»: но — Александр Иванович дал себе заранее слово: не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним могли с уходом Степана быть — галлюцинация слуха и галлюцинация зрения. Пламена, кровавые светочи,

проплясав, умирали на стенах; прогорела бумага: пламенек свечи угасал; все — мертвенно зеленело...

На покрытых одеялишком козлах жестом руки попросил посетителя оп усесться у столика; сам же стал он в дверях, чтоб при случае оказаться на лестнице и на ключ припереть посетителя, самому же мелкою дробью скатиться по всем девяноста шести ступеням.

Посетитель, опершись на подоконник, закуривал папироску и тараторил; черный контур его прочертился на светящемся фоне зеленых заоконных пространств (там бежала луна в облаках)...

— «Вижу я, что попал к вам не вóвремя... что, по-видимому, вас беспокою...»

— «Ничего, очень рад», — неубедительно успокаивал гостя Александр Иванович Дудкин, сам нуждаясь в успокоении и осмотрительно пробуя за спину заложенною рукою, заперта или незаперта дверь.

— «Но... я так собирался к вам, так искал вас повсюду, что когда случайно не встретились мы у Зои Захаровны Флейш, я попросил ее дать ваш адрес; и от нее, от Зои Захаровны, я — прямо к вам: поджидать... Тем более, что завтра я чуть свет уезжаю».

— «Уезжаете?» — переспросил Александр Иванович, потому что ему показалось: слова посетителя раздвоились в нем: и внешнее ухо восприняло «я чуть свет уезжаю»; другое ж какое-то ухо восприняло явственно, так восприняло:

— «Я днем уезжаю, приезжаю же с сумерками...»

Но он не настаивал, продолжая воспринимать бьющие в уши слова, как они раздавались, а не как отзывались.

— «Да, уезжаю в Финляндию, в Швецию... Там — я живу; впрочем, родина моя — Шемахá; а я обитаю в Финляндии: климат Петербурга, признаюсь, и мне вреден...»

Отдалось, раздвоилось в сознании это «и мне». Петербургский климат всем вреден; можно было бы «и мне» не подчеркивать вовсе.

— «Да», — машинально ответил Александр Иванович, — «Петербург стоит на болоте...»

Черный контур на фоне зеленых заоконных пространств (там бежала луна в облаках) тут как с места сорвется, и — пошел он писать совершенную ахинею.

— «Да, да, да... Для Русской Империи Петербург — характернейший пункт... Возьмите географическую карту... Но о том, что столичный наш город, весьма украшенный памятниками, принадлежит и к стране захребного мира...»

— «О, о, о!» — подумал Александр Иванович: — «надо ухо теперь держать по ветру, чтобы вовремя успеть убежать...»

Сам же он возразил:

— «Вы говорите столичный наш город... Да не ваш же: столичный в аш город не Петербург — Тегеран... Вам, как восточному человеку, климатические условия нашей столицы...»



— «Я космополит: я ведь был и в Париже, и в Лондоне... Да — о чем я: о том, что столичный наш город», — продолжал черный контур, — «принадлежит к стране загробного мира, — говорить об этом не принято как-то при составлении географических карт, путеводителей, указателей; красноречиво помалкивает тут сам почтенный Бедекер;<sup>44</sup> скромный провинциал, вовремя не осведомленный об этом, попадает в лужу уже на Николаевском или даже на Варшавском вокзале; он считается с явною администрацией Петербурга: теневого паспорта у него нет».

— «То есть как это?»

— «Да так, очень просто: отправляясь в страну папуасов, я знаю, что в стране папуасов ждет меня папуас: Карл Бедекер заблаговременно предупреждает меня о сем печальном явлении природы; но что было бы со мною, скажите, если бы по дороге в Кирсанов<sup>45</sup> повстречался бы я со ставником черномазой папуасской орды, что, впрочем, скоро будет во Франции, ибо Франция под шумок вооружает черные орды и вводит их в Европу<sup>46</sup> — увидите: впрочем, это вам на руку — вашей теории озверения и испровержения культуры: помните?.. В гельсингфорской кофейне я вас слушал с сочувствием».

Александр Ивановичу становилось все более не по себе: его трясла лихорадка; особенно было гнусно выслушивать ссылку на им оставленную теорию; после ужасного гельсингфорского сна связь теории этой с сатанизмом была явно осознана им; все это было им отвергнуто, как болезнь; и все это теперь, когда снова он болен, черный контур с лживою отвратительно ему возвращал.

Черный контур там, на фоне окна, в освещенной луною камерке становился все тоньше, воздушнее, легче; он казался листиком темной, черной бумаги, неподвижно наклеенным на раме окна; звонкий голос его, вне его, сам собой раздавался посредине комнатного квадрата; но всего удивительней было то обстоятельство, что заметнейшим образом передвигался в пространстве самый центр голоса — от окна — по направлению к Александру Ивановичу; это был самостоятельный, невидимый центр, из которого крепили уши рвущие звуки:

— «Итак, что я? Да... О папуасе: папуас, так сказать, существо земнородное; биология папуаса, будь она даже несколько примитивна, — и вам, Александр Иванович, не чужда. С папуасом в конце концов вы столкуетесь; ну, хотя бы при помощи спиртного напитка, которому отдавали вы честь все последние эти дни и который создал благоприятнейшую для нашей встречи атмосферу; более того: и в Папуасии существуют какие-нибудь институты правовых учреждений, одобренных, может быть, папуасским парламентом...»

Александр Иванович подумал, что поведение посетителя не должное вовсе, потому что звук голоса посетителя неприличнейшим образом отделился от посетителя; да и сам посетитель, неподвижно застывший на подоконнике — или глаза изменяли? — явно стал слоем копоты на луной

освещенном стекле, между тем как голос его, становясь все звончее и принимая оттенок граммофонного выкрика, раздавался прямо над ухом.

— «Тень — даже не паукас; биология теней еще не изучена; потому-то вот — никогда не столкнуться с тенью: ее требований не поймешь; в Петербурге она входит в вас бациллами всевозможных болезней, проглатываемых с самою водопроводной водой...»

— «И с водкой», — подхватил Александр Иванович и невольно подумал: «Что это я? Или я клюнул на бред? Отозвался, откликнулся?» Тут же мысленно он решил окончательно отмежеваться от ахиinei; если он ахи-нею эту не разложит сознанием тотчас же, то сознание самое разложится в ахи-нею.

— «Нет-с: с водкою вы в сознание ваше меня только вводите... Не с водкою, а с водой проглатываете бациллы, а я — не бацилла; и — ну вот: не имея надлежащего паспорта, вы подвергаетесь всем возможным последствиям: с первых же дней вашего петербургского пребывания у вас не варит желудок; вам грозит холерина...<sup>47</sup> Далее следуют казусы, от которых не избавят ни просьбы, ни жалобы в петербургский участок; желудок не варит?.. Но — капли доктора Иноземцева?!...<sup>48</sup> Угнетает тоска, галлюцинации, мрачность — все следствия холерины — идите же в Фарс... Поразвлекитесь немного... А скажите мне, Александр Иванович, по дружбе, — ведь галлюцинациями-таки страдаете вы?»

— «Да это уж издевательство надо мною», — подумал Александр Иванович.

— «Вы страдаете галлюцинацией — относительно их выскажется не пристав, а психиатр... Словом, жалобы ваши, обращенные в видимый мир, останутся без последствий, как вообще всякие жалобы: ведь в видимом мире мы, признаться сказать, не живем... Трагедия нашего положения в том, что мы все-таки — в мире невидимом; словом, жалобы в видимый мир останутся без последствий; и, стало быть, остается вам подать почтительно просьбу в мир теней».

— «А есть и такой?» — с вызовом выкрикнул Александр Иванович, собираясь выскочить из каморки и припереть посетителя, становившегося все субтильней: в эту комнату вошел плотный молодой человек, имеющий три измерения; прислонившись к окну, он стал просто контуром (и вдобавок — двухмерным); далее: стал он тонкою слойкою черной копоти, на подобие той, которая выбивает из лампы, если лампа плохо обрезана; а теперь эта черная оконная копоть, образующая человеческий контур, вся как-то серая, истлевала в блещущую луною золу; и уже зола отлетала: контур весь покрывался зелеными пятнами — просветами в пространстве луны; словом: контура не было. Явное дело — здесь имело место разложение самой материи; материя эта превратилась вся, без остатка, в звуковую субстанцию, оглушительно трещавшую — только вот где? Александру Ивановичу казалось, что трещала она — в нем самом.

— «Вы, господин Шишварфнэ», — говорил Александр Иванович, обращаясь к пространству (Шишварфнэ-то ведь уже не было), — «может быть являетесь паспортистом потустороннего мира?»

— «Оригинально», — трещал, отвечая себе самому Александр Иванович, — верней трещало из Александра Ивановича... — «Петербург имеет не три измерения — четыре; четвертое — подчинено неизвестности и на картах не отмечено вовсе, разве что точкою, ибо точка есть место касания плоскости этого бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса; так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена; так минуту пред тем я был там — в точках, находящихся на подоконнике, а теперь появился я...»

— «Где?» — хотел воскликнуть Александр Иванович, но воскликнуть не мог, потому что воскликнуло его горло:

— «Появился я... из точки вашей гортани...»

Александр Иваныч растерянно посмотрел вокруг себя, в то время как горло его, автоматически, не слушаясь, оглушительно выкидывало:

— «Тут надо паспорт... Впрочем, вы у нас там прописаны: остается вам совершить окончательный пакт для получения паспорта; этот паспорт — в вас вписан; вы уж сами в себе распишитесь, каким-нибудь экстравагантным поступочком, например... Ну да, поступочек к вам придет: совершите вы сами; этот род расписок признается у нас наилучшим...»

Если бы со стороны в ту минуту мог взглянуть на себя обезумевший герой мой, он пришел в ужас бы: в зеленоватой, луной освещенной каморке он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горлающего в абсолютную пустоту пред собою; вся закинулась его голова, а громадное отверстие орущего рта ему показалось бы черною, небытийственной бездной; но Александр Иванович из себя не мог выпрыгнуть: и себя он не видел; голос, раздававшийся из него громогласно, казался ему чужим автоматом.<sup>49</sup>

— «Когда же я у вас там прописан», — прометнулось в мозгу его (ахинея-то победила сознание).

— «А тогда: после акта», — оглушительно разорвался его рот; и, разорвавшись, сомкнулся.

Тут внезапно пред Александром Ивановичем разверзлась завеса: все он вспомнил отчетливо... Этот сон в Гельсингфорсе, когда о н и мчали его чрез какие-то... все же... пространства, соединенные с пространствами нашими в математической точке касания, так что оставаясь прикрепленным к пространству, все же он воистину мог уноситься в пространства — ну, так вот: когда о н и мчали его чрез иные пространства...

Это он совершил.

Этим-то и соединился он с ними; а Липпанченко был лишь образом, намекавшим на это; это он совершил; с этим вошла в него сила; перебегая от органа к органу и ища в теле душу, сила эта поведеному овладела им всем (стал он пьяницей, сладострастие зашалоило и т. д.).

И пока это делалось с ним, он и думал, что о н и его ищут; а они были — в нем.

И пока он так думал, из него перли ревы, подобные ревам автомобильных гудков:

— «Наши пространства не ваши; все течет там в обратном порядке... И просто Иванов там — японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в обратном порядке — японская: Вонави».

— «Стало быть, и ты прочитываешься в обратном порядке», — прометнулось в мозгу.

И понял он: «Шишнарфнэ, Шиш-нар-фнэ...» Это было словом знакомым, произнесенным им при свершении акта; только сонно знакомое слово то надо было вывернуть наизнанку.

И в припадке невольного страха он силился выкрикнуть:

— «Енфраншиш».

Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но чрез посредство собственного аппарата гортани ответило:

— «Ты позвал меня... Ну — и вот я...»

Е н ф р а н ш и ш само теперь пришло за душой.

Обезьяньим прыжком выскочил Александр Иванович из собственной комнаты: щелкнул ключ; глупый, — нужно было выскочить не из комнаты, а из тела; может быть, комната и была его телом, а он был лишь тенью? Должно быть, потому что из-за запертой двери угрожающе прогремел голос, только что перед тем гремевший из горла:

— «Да, да, да... Это — я... Я — гублю без возврата...»

Вдруг луна осветила лестничные ступени: в совершеннейшей темноте проступили едва, чуть наметились сероватые, серые, белесоватые, бледные, а потом и фосфорически горящие пятна.

## ЧЕРДАК

По случайной оплошности чердак не был заперт; и туда Дудкин бросился.

За собою захлопнул он дверь.

Ночью странно на чердаке; его пол усыпан землею; гладко ходишь по мягкому; вдруг: толстое бревно подлетит тебе под ноги и усадит тебя на карачки. Светло тянутся поперечные полосы месяца, будто белые балки: ты проходишь сквозь них.

Вдруг... —

Поперечное бревно со всего размаху наградит тебя в нос; ты навеки рискуешь остаться с переломленным носом.

Неподвижные, белые пятна — кальсон, полотенец и прѳстынь... Пропорхнет ветерок, — и без шума протянутся белые пятна: кальсон, полотенец и прѳстынь.

Пусто — все.

Александр Иванович как-то сразу попал на чердак; и, попав на чердак, удивился, что чердак оказался незапертым; то, наверное, домовая прачка, вся ушедшая в думы о суженом, за собою оставила незакрытую дверь. Когда Александр Иванович в эту дверь прошмыгнул, то — успокоился, притаился: вздохнул облегченно; не было за ним ни бегущих шагов, ни граммофонного выкрика абракадабры; ни даже ухнувшей двери.

Сквозь разбитые стекла окна только слышалась издали песня:

Купи маминька на платье  
Жиганету синева...

Глухобьющая дверь разрешилась в биении сердца; а внизу нападавшая тень — просто в месяца тень; остальное — галлюцинация; надо было лечиться — вот только.

Александр Иванович прислушался. И — что мог он услышать? То, что мог он услышать, ты, конечно, знаешь и сам: совершенно отчетливый звук растрещавшейся балки; и — густое молчание: то есть — сплетенная сеть из одних только шорохов; тут, во-первых, — в углу велись шики и пшики; во-вторых, — напряжение атмосферы от неслышных уху шагов; и — глотание слюней какого-то губошлепа.

Словом, — все обыденные, домовые звуки: и бояться их — нечего.

Александр Иванович тут собой овладел; и он мог бы верпуться: в комнате — это знал он наверное — никого, ничего (приступ болезни прошел). Но уходить с чердака все же ему не хотелось: осторожно он подходил среди кальсон, полотенец и прѳобынь к заплетенному осеннею паутиной окну и просунул он голову из стекольных осколков: то, что он видел, успокоением и миротворною грустью на него дохнуло теперь.

Под ногами яснили — отчетливо, ослепительно просто: четкий дворовый квадрат, показавшийся отсюда игрушечным, серебристые сажени осиновых дров, откуда он так недавно глядел в свои окна с неподдельным испугом; но что главное: в дворницкой веселились еще; хриплая песенка раздавалась из дворницкой; чебутарахнул там дверной блок; и две показались фигурки; одна разоралась там:

Вижу я, Господи, свою неправду:  
Кривда меня в глаза обманула,  
Кривда мне глаза ослепила...  
Возжалел я своего белого тела,  
Возжалел я своего цветного платья,  
Сладкого яствя,  
Пьяного пития —  
Убоялся я, Повтий, архиереев,  
Устрашился, Пилат, фарисеев.  
Руки мыл — совесть смыл! <sup>50</sup>  
Невинного предал на пропятье...

Это пели: участковый писец Воронков и подвальный сапожник Бесмертный. Александр Иваныч подумал: «Не спуститься ли к ним?» И слустился бы... Да вот только — лестница.

Лестница испугала его.

Небо очистилось. Бирюзовую островную крышу, оказавшуюся где-то там, под ним, сбоку — бирюзовую, островную крышу прихотливо чертила серебряная чешуя, та серебряная чешуя, далее, вся сливалась с живым трепетом невских вод.

И бурлила Нева.

И кричала отчаянно там свистком запоздалого парходика, от которого виделся лишь убегающий глаз красного фонаря. Далее, за Невой, простиралась и набережная; над коробками желтых, серых, коричнево-красных домов, над колоннами серых и коричнево-красных дворцов, рокко́ и баро́кко, поднимались темные стены громадного, рукотворного храма, заостренного в мир луны золотым своим куполом — со стен каменной, черно-серой, цилиндрической и приподнятой формой, обставленной колоннадой: Исакий...<sup>51</sup>

И, едва зримое, побежало в небо стрелой золотое Адмиралтейство.

Голос пел:

Помилуй, Господи!  
Прости, Исусе!..  
Царю чин веря — о душе вздохну,  
Дом продам — нищим раздам,  
Жену отпущу — Бога сыщу...  
Помилуй, Господи!  
Прости, Исусе!

Верно в час полуночи — там, на площади, уж посапывал старичок гренадер, опираясь на штык; и к штыку привалилась мохнатая шапка; и тень гренадера недвижимо легла на узорные переплеты решетки.

Пустовала вся площадь.

В этот час полуночи на скалу упали и звякнули металлические копыта; конь зафыркал ноздрей в раскаленный туман; медное очертание Всадника теперь отделилось от конского крупа, а звенящая шпора нетерпеливо царапнула конский бок, чтобы конь слетел со скалы.

И конь слетел со скалы.

По камням понеслось тяжело звонкое \* цоканье — через мост: к островам. Пролетел в туман Медный Всадник; у него в глазах была — зеленоватая глубина; мускулы металлических рук — распрямились, напружились; и рванулось медное темя; на булыжники конские обрывались копыта, на стремительных, на ослепительных дугах; конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза; густой пар из ноздрей обдал лицу световым кипятком; встречные кони, фыркая, зашарахались в ужасе; а прохожие в ужасе закрывали глаза.

Линия полетела за линией: пролетел кусок левого берега — приставнями, парходными трубами и нечистою свалкою пенькой набитых меш-

\* Пушкин.

ков; полетели — пустыри, баржи, заборы, брезенты и многие домики. А от взморья, с окраины города, блеснул бок из тумана: бок непокойного кабачка.

Самый старый голландец, в черную кожу одетый, выгибался с заплесневелого, дверного порога — в холодную свистопляску (в облако убежала луна); и фонарь подрагивал в пальцах под синеватым лицом в черном кожаном капюшоне: знать, отсюда услышало чуткое ухо голландца конское, тяжелое поканье и паровозное ржание, потому что голландец покинул таких же, как он, корабельщиков, что звенели стаканами от утра до утра.

Знать, он знал, что до самого тусклого утра здесь протянется бешеный, пьяный пир; знать, он знал, что когда часы отобьют далеко за полночь, на глухой звон стаканов прилетит крепкий Гость: опрокинуть огневого аллашу; не одну пожать канатом натертую руку, которая с капитанского мостика повернет тяжелое паровозное колесо у самых фортов Кронштадта; и вдогонку роющей пену корме, не ответившей на сигнал, бросит рев свой жерло чугунное пушки.

Но судна не догнать: в белое оно войдет к морю прилегшее облако; с ним сольется, с ним тронется — в предрассветную, в ясную синеву.

Все это знал самый старый голландец, в черную кожу одетый и в туман протянутый с заплесневелых ступенек: он теперь разглядывал абрис летящего Всадника... Цоканье там уже слышалось; и — фыркали ноздри, которые пронизали, пылая, туман световым, раскаленным столбом.

· · · · ·

Александр Иванович отошел от окна, успокоенный, усмиренный, озябший (из стекольных осколков продул его ветерок); а навстречу ему заколыхались белые пятна — кальсон, полотенец и простынь; пропорхнул ветерок...

И тронулись пятна.

Робко он отворил чердачную дверь; он решил вернуться в каморку.

### ПОЧЕМУ ЭТО БЫЛО...

Озаренный, весь в фосфорических пятнах, он теперь сидел на грязной постели, отдыхая от приступов страха; тут — вот был посетитель; и тут — грязная проползала мокрица: посетителя не было. Эти приступы страха! За ночь было их три, четыре и пять; за галлюцинацией наступал и проблеск сознания.

Он был в прбсвете, как месяц, светящий далеко, — спереди отбегающих туч; и как месяц, светило сознание, озаряя так душу, как озаряются месяцем лабиринты проспектов. Далеко вперед и назад освещало сознание — космические времена и космические пространства.

В тех пространствах не было ни души: ни человека, ни тени.

И — пустовали пространства.

Посреди своих четырех взаимно перпендикулярных стен он себе самому показался в пространствах пойманным узником, если только пойманный узник более всех не ощущает свободы, если только всему мировому пространству по объему не равен этот тесненький промежуток из стен.

Мировое пространство пустынно! Его пустынная комната!.. Мировое пространство — последнее достижение богатств... Однообразное мировое пространство!.. Однообразием его комната отличалась всегда... Обиталище нищего показалось бы чрезмерно роскошным перед нищенской обстановкою мирового пространства. Если только действительно удалился от мира он, то роскошное великолепие мира перед этими темно-желтыми стенками показалось бы нищенским...

. . . . .

Александр Иванович, отдохавший от приступов бреда, замечтался о том, как над чувственным маревом мира высоко он привстал.

Голос насмешливый возражал:

— «Водка?»

— «Курение?»

— «Любострастные чувства?»

Так ли был он приподнят над маревом мира?

Он поник головой; оттого и болезни, и страхи, оттого и преследования — от бессонницы, папирос, злоупотребленья спиртными напитками.

Он почувствовал очень сильный укол в коренной, большой зуб; он рукою схватился за щеку.

Приступ острого помешательства для него осветился по-новому; правду острого помешательства он теперь сознал; самое помешательство, в сущности, перед ним стояло отчетом разболевшихся органов чувств — самосознающему «Я»; а персидский подданный Шишнарфнэ символизировал анаграмму;<sup>52</sup> не он, в сущности, настигал, преследовал, гнался, а настигали и нападали на «Я» отяжелевшие телесные органы; и, убегая от них, «Я» становилось «не-я», потому что сквозь органы чувств — не от органов чувств — «Я» к себе возвращается; алкоголь, куренье, бессонница грызли слабый телесный состав; наш телесный состав тесно связан с пространствами; и когда он стал распадаться, все пространства растрескались; в трещины ощущений теперь заползали бактерии, а в замыкающих тело пространствах — зареяли призраки... Так: кто был Шишнарфнэ? Свою изнанкою — абракадаберным сном, Енфраншиш, Шишнарфнэ — только стадии алкоголя.

— «Не курить бы, не пить: органы чувств снова будут служить!»

Он — вздрогнул.

Сегодня он предал. Как это он не понял, что предал? Ведь несомненно же предал: Николая Аполлоновича уступил он из страха Липпанченко: вспомнилась так отчетливо безобразная купля-продажа. Он, не веря, поверил, и в этом — предательство. Еще более предатель — Липпан-



ченко; что Липпанченко их предавал, Александр Иванович знал; но таил от себя свое знание (Липпанченко над душою его имел неизъяснимую власть); в этом — корень болезни: в страшном знании этом, что — предатель Липпанченко; алкоголь, куренье, разврат — лишь последствия; галлюцинации, стало быть, довершали лишь звенья той цепи, которою Липпанченко его сознательно заковал. Почему? Потому что Липпанченко знал, что он — з н а е т; только в силу этого знания не отлипает Липпанченко.

Липпанченко поработил его волю; порабощение воли произошло оттого, что ужасное подозрение с головою бы выдало все; что ужасное подозрение все хотел он рассеять; он ужасное подозрение гнал в усиленном общении с Липпанченко; и, подозревая о подозрении, Липпанченко не отпускал его от себя ни на шаг; так связались оба друг с другом; он вливал в Липпанченко мистику; а последний в него — алкоголь.

Александр Иванович теперь вспомнил отчетливо спену в кабинете Липпанченко; наглый циник, подлец и на этот раз обошел; вспомнилась жировая и гадкая шея Липпанченки с жировой гадкой складкой; будто шея нахально смеялась там, пока не повернулся Липпанченко, не поймал взгляд на шею; и, поймав взгляд на шею, все понял Липпанченко.

Оттого-то он и принялся запугивать: ошеломил нападением и перепутал все карты; до смерти оскорбил подозрением и потом предложил ему единственный выход: сделать вид, что он верит предательству Аبلехова.

И он, Неуловимый, поверил.

Александр Иваныч вскочил; и в бессильной ярости он потряс кулаками; дело было исполнено; совершилось!

Вот о чем был кошмар.

Александр Иванович совершенно отчетливо перевел теперь невыразимый кошмар на язык своих чувств; лестница, комнатка, чердак были мерзостно запущенным телом Александра Ивановича; сам метущийся обитатель сих плачевных пространств, на которого о ни напали, который от н и х убегал, было самосознающее «Я», тяжеловлекущее от себя отпавшие органы; Енфраншиш же было инородною сущностью, вошедшею в обиталище духа, в тело, — с водкой; развиваясь бациллою, перебежал Енфраншиш от органа к органу; это он вызывал все ощущения преследования, чтоб потом, ударившись в мозг, вызвать там тяжелое раздражение.

Припоминалась первая встреча с Липпанченко; впечатление было не из приятных; Николай Степанович, правду сказать, выказывал особое любопытство к человеческим слабостям с ним в общении вступавших людей; провокатор высшего типа уж, конечно, мог обладать мешковатою этой наружностью, этой парюю неосмысленно моргающих глазок.

Он, наверное, выглядел простаком.

— «Погань... О, погань!»

И по мере того, как он углублялся в Липпанченко, в созерцание частей тела, замашек, повадок, перед ним вырастал не человек, а — гарантул.

И тут что-то стальное вошло к нему в душу:

— «Да, я знаю, что сделаю».

Осенила блестящая мысль: все так просто окончится; как это все не пришло ему раньше; миссия его — начерталась отчетливо.

Александр Иванович расхохотался:

— «Погань думала, что меня обойдет».

И почувствовал он опять очень сильный укол в коренной зуб: Александр Иванович, оторванный от мечтательства, ухватился за щеку; комната — мировое пространство — вновь казалась убогою комнатой; сознание угасало (точно свет луны в облаках); знобила его лихорадка и тревогой, и страхами, и медлительно исполнялись минуты; за папироскою выкуривалась другая, — до бумаги, до ваты...

Как вдруг... —

## ГОСТЬ

Александр Иванович Дудкин услышал странный грянувший звук; странный звук грянул снизу; и потом повторился (он стал повторяться) на лестнице: раздавался удар за ударом среди промежутков молчания. Будто кто-то с размаху на камень опрокидывал тяжеловесный, многопудовый металл; и удары металла, дробящие камень, раздавались все выше, раздавались все ближе. Александр Иванович понял, что какой-то громила расшибал внизу лестницу. Он прислушивался, не отворится ли на лестнице дверь, чтобы унять безобразие ночного бродяги? Впрочем, вряд ли бродяга...

И гремел удар за ударом; за ступенью там раздроблялась ступень; и вниз сыпались камни под ударами тяжелого шага: к темно-желтому чердаку, от площадки к площадке, шел упорно вверх металлический кто-то и грозный; на ступень со ступени теперь сотрясающим грохотом падало много тысяч пудов: обсыпались ступени; и — вот уже: с сотрясающим грохотом пролетела у двери площадка.

Расколосась и хряснула дверь: треск стремительный, и — отлетела от петель; меланхолически тусклости проливались оттуда дымными, разделенными клубами; там пространства луны начинались — от раздробленной двери, с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посередине ж дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета пространства, — наклонивши венчанную, позеленевшую голову, простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором.

Это был — Медный Гость.

Металлический матовый плащ отвисал тяжело — с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони; плавилась литая губа и дрожала двусмысленно, потому что сызнова теперь повторялись судьбы Евге-

ния; <sup>53</sup> так прошедший век повторился — теперь, в самый тот миг, когда за порогом убогого входа распадались стены старого здания в купоросных пространствах; так же точно разъялось прошедшее Александра Ивановича; он воскликнул:

— «Я вспомнил... Я ждал тебя...»

Медноглавый гигант прогонял через периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованный круг; протекали четверти века; и вставал на трон — Николай; и вставали на трон — Александры; <sup>54</sup> Александр же Иваныч, тень, без усталости одолевал тот же круг, все периоды времени, пробегая по дням, по годам, по минутам, по сырым петербургским проспектам, пробегая — во сне, на яву, пробегая... томительно; а вдогонку за ним, а вдогонку за всеми — громыхали удары металла, дробящие жизни: громыхали удары металла — в пустырях и в деревне; громыхали они в городах; громыхали они — по подъездам, площадкам, ступеням полунощных лестниц.

Громыхали периоды времени; этот грохот я слышал. Ты — слышал ли?

Аполлон Аполлонович Аблеухов — удар громыхавшего камня; Петербург — удар камня; кариатида подъезда, которая оборвется там, — каменный тот же удар; неизбежны — погони; и — неизбежны удары; на чердаке не укроешься; чердак приготовил Липпанчэнко; и чердак — западня; проломить ее, проломить — ударами... по Липпанчэнко!

Тогда все обернется; под ударом металла, дробящего камни, разлетится Липпанчэнко, чердак рухнет и разрушится Петербург; кариатида разрушится под ударом металла; и голая голова Аблеухова от удара Липпанчэнке рассядется надвое.

Все, все, все озарилось теперь, когда через десять десятилетий Медный Гость пожаловал сам и сказал ему гулко:

— «Здравствуй, сынок!»

Только три шага: три треска рассевшихся бревен под ногами огромного гостя; металлическим задом своим гулко треснул по стулу из меди литой император; зеленеющий локоть его всею тяжестью меди повалился на дешевенький стол из-под складки плаща, колокольными, гудящими звуками; и рассеянно медленно снял с головы император свои медные лавры; и меднолавровый венок, грохоча, оборвался с чела.

И бряцая, и дзаякая, докрасна раскаленную трубочку повынимала из складок камзола многосотпудовая рука, и указывая глазами на трубочку, подмигнула на трубочку:

— «Petro Primo Catharina Secunda...» <sup>55</sup>

Всунула в крепкие губы, и зеленый дымок распаявшейся меди закурился под месяцем.

Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял, что столетие он бежал понапрасну, что за ним громыхали удары без всякого гнева — по деревням, городам, по подъездам, по лестницам; он — прощенный извечно, а все бывшее совокупно с навстречу идущим — только призрачные прохожденья мытарств до архангеловой трубы. <sup>56</sup>

И — он пал к ногам Гостя:

— «Учитель!»

В медных впадинах Гостя светилась медная меланхолия; на плечо дружелюбно упала дробящая камни рука и сломала ключицу, раскаляясь докрасна.

— «Ничего: умри, потерпи...»

Металлический Гость, раскалившийся под лунной тысячаградусным жаром, теперь сидел перед ним опаляющий, красно-багровый; вот он, весь прокалясь, ослепительно побелел и протек на склоненного Александра Ивановича пепелящим потоком; в совершенном бреде Александр Иванович трепетал в многосотпудовом объятии: Медный Всадник металлами пролился в его жилы.

## НОЖНИЦЫ

— «Барин: спите?»

Александр Иванович Дудкин сквозь тяжелое забытье смутно слышал давно, что его теребили.

— «А, барин?..»

Наконец открыл он глаза и просунулся в хмурый день:

— «Да барин же!»

Голова наклонилась.

— «Что такое?»

Александр Иванович сообразил только тут, что протянут на козлах.

— «Полиция?»

Угол жаркой подушки торчал у него перед глазом.

— «Никакой полиции нет...»

Темно-красное прочь ползло по подушке пятно — брр: и — мелькнуло в сознании:

— «Это — клоп...»

Он хотел приподняться на локте, но снова забылся.

— «Господи, да проснитесь...»

Он приподнялся на локте:

— «Ты, Степка?»

Он увидел струю бегущего пара; пар — из чайника: у себя на столе он увидел и чайник, и чашку.

— «Ах, как славно: чаек».

— «Что за славно: горите вы, барин...»

Александр Иваныч с удивленьем заметил, что он не раздет; даже не было снято пальтишко.

— «Ты тут как очутился?»

— «Я тут к вам позашел: забастовка — на очень многих заводах; полицию понагнали... Я тут к вам позашел, тоись, с Требником».

— «Да ведь, помнится, Требник у меня».

— «Что вы, барин: это вам померещилось...»

— «Разве мы вчера не видались...»

- «Не видались — два дня».
- «А мне думалось: мне показалось...»
- Что думалось?
- «Захожу нынче к вам; вижу — лежите и стонете; разметались, горите — в огне весь».
- «Да я, Степка, здоров».
- «Уж какое здоровье!.. Я тут вам чайку вскипятил; хлеб принес; калач-то горячий; попьете — все лучше. А что так-то валяться...»
- Ночью в жилах его протекал металлический кипяток (это вспомнил он).
- «Да — да: жар, братец мой, ночью был основательный...»
- «И не мудрено...»
- «Жар во сто градусов...»
- «Ат алхаголю и сваритесь».
- «В собственном кипятке? Ха-ха-ха...»
- «Что ж? Сказывали: у одного алхагольного человека изо рта дымки бегали... И сварился он...»
- Александр Иванович усмехнулся нехорошей улыбкой.
- «Допились уж до чертиков...»
- «Были чертики, были... Потому и спрашивал Требник: отчитывать».
- «Допьетесь и до Зеленого Змия...»
- Александр Иванович криво вновь усмехнулся:
- «Да и вся-то, дружок мой, Россия...»
- «Ну?»
- «От Зеленого Змия...»
- Сам же думал:
- «Эк дернуло!..»
- «Йетта вовсе не так: Христова Рассея...»
- «Брешешь...»
- «Сами брешете: допьетесь — до нее, до самой...»
- Александр Иванович испуганно привскочил.
- «До кого?»
- «Допьетесь — до белой... до женщины...»
- Что белая горячка подкрадывалась, — сомнения не было.
- «Ах! Вот что: сбегал бы ты до аптеки... Купил бы ты мне хинки: солянокислой...»
- «Что ж, можно...»
- «Да помни: не сернокислой; сернокислая — одно балоство...»
- «Тут, барин, не хина...»
- «Пошел — вон!..»
- Степан — в дверь, а Александр Иванович — вдогонку:
- «Да уж, Степушка, заодно и малинки: малинового варенья — мне к чаю».
- Сам же подумал:
- «Малина — прекрасное потогонное средство», — и с приткими, ка-

кими-то текучими жёстами подбежал к водопроводному крану; но едва он умылся, как внутри его снова все вспыхнуло, перепутывая действительность с бредом.

Так. Пока говорил он со Стёпкой, все казалось ему, что за дверью его поджидало: исконно-знакомое. Там, за дверью? И туда проскочил он; но за дверью открылась площадка; да лестничные перила повисали над бездной; Александр Иванович тут над бездной стоял, прислоняясь к перилам, прищелкивая совершенно сухим деревянистым языком и вздрагивая от озноба. Какое-то ощущение вкуса, какое-то ощущение меди: и во рту, и на кончике языка.

— «Верно, о н о поджидает на дворике...»

Но на дворике никого, ничего.

Тщётно он обежал закоулки, проходики (между кубами сложенных дров); серебрился асфальт; серебрились осины; никого, ничего.

— «Где ж о н о?»

Пробегал там с покупками Степка; но за дрова он от Степки, как шаркнет, потому что его осенило:

— «О н о — в металлическом месте...»

Что такое это за место, почему оно — металлическое о н о? Обо всем подобном крутящееся сознание Александра Ивановича очень смутно ответило. Тщётно тшился он вспомнить: оставалась вовсе не память о в нем обитавшем сознании; воспоминание оставалось одно: какое-то иное сознание тут действительно было; то иное сознание перед ним развертывало очень стройно картины; в этом мире, не похожем вовсе на наш, обитало о н о... .

О н о снова появится.

С пробуждением всякое иное сознание превращалось в математическую, не реальную точку; и о н о, стало быть, днем сжималось малой частью математической точки; но точка частей не имеет; и — стало быть: е г о не было.

Оставалась память об отсутствии памяти и о деле, которое должно выполнять, которое отлагательств не терпит; оставалась память — о чем?

О металлическом месте... .

Что-то его осенило: и пружинными, легкими побежал он шагами к перекрестку двух улиц; на перекрестке двух улиц (он знал это) из окна магазина выпрыскивал переливчатый блеск... . Только вот где магазинчик? И — где перекресток?

Там сияли предметы.

— «Металлы там?»

Удивительное пристрастие!

Почему это в Александре Ивановиче обнаружилось такое пристрастие? Действительно: на углу перекрестка металлы сияли; это был дешёвенький магазинчик всевозможных изделий: ножей, вилок, ножиц.

Он вошел в магазинчик.

Из-за грязной конторки к засиявшему сталью прилавку приволочилась какая-то сонная харя (вероятно, собственник этих сверл, лезвий, пил); круто как-то на грудь падала узколобая голова; в орбитах, под очками затаивались красновато-карие глазки:

— «Мне бы, мне бы...»

И не зная, что взять, Александр Иванович зацепился рукой за зазубринку пилочки; засверкало и завизжало: «визз-визз-визз». А хозяин оглядывал исподлобья захожего покупателя; неудивительно, что он глядел исподлобья: Александр-то Иванович выскочил с чердака невзначай; как лежал в пальтеце на постели, так и выскочил: пальтецо же было помято и измазано грязью; но что главное: шапки-то он не надел; вихрастая, нечесаная голова с непомерно блистающими глазами напугала бы всякого.

Потому-то хозяин оглядывал его исподлобья, морща лоб, поднимая гнетущие и самой природою тяжело построенные черты; с отворачиванием несборимым лицо уставилось в Дудкина.

Но лицо это, перемогая себя, пробубукало жалобно:

— «Вам пилу?»

А пытливо сверлящие глазки говорили свирепо:

— «Э, э, э!.. Белогорячечный: вот так штука...»

Это только казалось.

— «Нет, знаете ли, пилу — это мне неудобно, пилю... Мне бы, знаете, финский, отточенный ножик».

Но особа грубо отрезала:

— «Извините: ножей финских нет».

Как будто бы сверлящие глазки говорили решительно:

— «Дать вам ножик, так вы еще... натворите делов...»

Приподнять бы им веки, стали бы пытливо сверлящие глазки просто так себе глазками; все же сходство какое-то поразило Александра Ивановича: представьте — с Липпанченко сходство. Тут фигура почему-то повернулась спиной; и окинула она посетителя таким взором, от которого повалился бы бык.

— «Ну, все равно: ножницы...»

Сам же подумал при этом: почему эта ярость, это сходство с Липпанченко? Тут же сам себя успокоил: какое там в сущности сходство!

Липпанченко — бритый, а у этого толстяка курчавая борода.

Но при мысли о некоей особе Александру Ивановичу теперь вспомнилось: все-все-все — все-все-все! Вспомнилось с совершенной отчетливостью, почему осенила мысль его прибежать в магазинчик подобных изделий. То, что намеревался он сделать, было в сущности просто: чирк — и все тут.

Он так и затрясся над ножницами:

— «Не завертывайте — нет, нет... Я живу тут поблизости... Мне и так: донесу я и так...»

Так сказав, он засунул в карман миниатюрные ножницы, которыми, наверное, франтик по утрам стрижет ногти, и — бросился.

Удивленно, испуганно, подозрительно ему вслед глядела квадратная, узколобая голова (из-за блестящего прилавка) с выдававшейся лобной костью; эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве — понять происшедшее: понять, что́ бы ни было, понять какую угодно пеною; понять, или... разлететься на части.

И лобная кость понять не могла; лоб был жалобен: узенький, в поперечных морщинах; казалось, он плачет.

• • • • •

### К о н е ц ш е с т о й г л а в ы





---

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

или: происшествия серенького денька  
все еще продолжаютя

Устал я, друг, устал: покоя сердце просит.  
Летят за днями дни...

А. Пушкин<sup>1</sup>

### БЕЗМЕРНОСТИ

Мы оставили Николая Аполлоновича в тот момент, когда Александр Иванович Дудкин, удивляясь потоку болтливости, вдруг забившему из уст Аблоухова, пожал ему руку и проворно шмыгнул в черный ток котелков, а Николай Аполлонович чувствовал, что он вновь расширяется.

Мы оставили Николая Аполлоновича в тот момент, когда тяжелое сечение его обстоятельств неожиданно разрешилось в благополучие.

До этого мига громоздились тут какие-то массивы из бредов и чудовищных мброков; прогромоздились грозящие Гауризанкары событий<sup>2</sup> и обрушились — в двадцать четыре часа: ожидание в Летнем саду и тревожное карканье галок; облечение в красный шелк; бал, — то есть: пролетающие по залам испугом, пролетающие арлекинадою — полосатые, бубенчатые, арлекины, пламенноногие шутики, желтогорбый Пьеро и мертвецки бледный паяц, пугающий барышень; голубая какая-то маска, танцевавшая с реверансами, подавшая с реверансом записочку; и — позорное бегство из зала чуть не к отхожему месту — у подворотни, где его изловил паршивенький господин; наконец — Пепп Пеппович Пепп, то есть: сардинница ужасного содержания, которая... все еще... тикала.

Сардинница ужасного содержания, способного превратить все вокруг в сплошную, кровавую слякоть.

Мы оставили Николая Аполлоновича у магазинной витрины; но мы его бросили; меж сенаторским сыном и нами закапали частые капельки; набежала сеточка накрапывающего дождя; в сеточке этой все обычные тяжести, выступы и уступы, кариатиды, подъезды, карнизы кирпичных балконов потеряли отчетливость очертаний, мутнея медлительно и едва-едва выделяясь.

Распускали зонты.

Николай Аполлонович стоял у витрины и думал, что имени тяжелому безобразию — нет: безобразию, которое длилось сутки, то есть двадцать четыре часа, или — восемьдесят тысяч шестьсот стрекотавших в кармане секундочек: восемьдесят тысяч мгновений, то есть столько же точек во времени; но едва мгновение наступало и на него наступали, — секунда, мгновение, точка, — как-то прытко раскинувшись по кругам, превращалось медлительно в космический, разбухающий шар; шар этот лопался; пята ускользала в мировые пустоты: странник по времени рушился, неизвестно куда и во что, низвергаясь, может быть, в мировое пространство, до... нового мига; так тянулись круглые сутки, восемьдесят тысяч стрекотавших в кармане секундочек, каждая — разрывалась: пята скользила в безмерности.

Да, имени тяжелому безобразию — нет!

Лучше было не думать. И — думалось где-то; может быть, — в разбухающем сердце колотились какие-то думы, никогда не встававшие в мозг и все же встававшие в сердце; сердце думало; чувствовал — мозг.

Сам собою вставал остроумнейший, в мелочах проработанный план; и — сравнительно — план безопасный, но... подлый: да... подлый!

Кто его только продумал? Мог ли, мог ли до этого плана додуматься Николай Аполлонович?

Дело вот в чем: —

все последние эти часы сами собою перед глазами маячили иглистые кусочки из мыслей, переливавшиеся все какими-то пламенно-цветными вспышками и звездистыми искрами, как веселые канители рождественской елки: безостановочно падали в одно сознанием освещенное место — из темноты в темноту; то кривилась фигурка шута, а то пронесился галопом лимонно-желтый Петрушка — из темноты в темноту — по сознанием освещенному месту; сознание же светило бесстрастно всем роящимся образам; а когда они впаялись друг в друга, то сознание начертало на них потрясающий, нечеловеческий смысл; тогда Николай Аполлонович чуть не плюнул от отвращения:

— «Идейное дело?»

— «Никакого идейного дела и не было...»

— «Есть подлый страх и подлое животное чувство: спасти свою шкуру...»

— «Да, да, да...»

— «Я — отъявленный негодяй...»

Но мы видели прежде, что к точно такому же убеждению приходил постепенно и его почтенный папаша.

• • • • •  
 Неужели же все это (что мы увидим впоследствии) протекало сознательно в воле, в прытко бившемся сердце и в воспаленном мозгу?

Нет, нет, нет!

А какие-то все же тут были рои себя мысливших мыслей; мыслил мысли не он, но... себя мысли мыслили... Кто был автор мыслей? Все

утро он не мог на это ответить, но... — мыслилось, рисовалось, вставало; прыгало в колотившемся сердце и сверлило в мозгу; возникало оно над сардинницей — там именно: вероятно, все это переползло из сардинницы, когда он очнулся от теперь забытого сна и увидел, что покоится на сардиннице головой — переползло из сардинницы; тогда-то он и припрятал сардинницу — он не помнит куда, но... кажется... в столик; тогда-то он заблаговременно высочил из проклятого дома, пока там все спали; и крутился по улицам он, перебегая от кофейни к кофейне.

Мыслила не голова, а... сардинница.

Но на улицах это все еще продолжало вставать, формируя, рисуя, вычерчивая; если мыслила его голова, то его голова — и она! — превратилась тоже в сардинницу ужасного содержания, которая... все еще... тикала, или мыслями правил не он, а громозвучный проспект (на проспекте все личные мысли превращаются в безличное месиво); но если и мыслило месиво, месиву проливаться чрез уши не препятствовал он.

Потому-то и мыслились мысли.

Что-то серое, мягкое болезненно копошилось под головными костями: мягкое и, главное, — серое, как... проспект, как плита тротуара, как от взморья безостановочно перший туманистый войлок.

Наконец, — продуманный, готовый во всех отношениях план (о котором мы скажем впоследствии) появился и в поле сознания — в самый неподходящий момент, когда Николай Аполлонович, Бог весть почему забежавший в переднюю университета (где церковь),<sup>3</sup> прислонился небрежно к одной из четырех массивных колонн, беседуя с заходящим доцентом, который к нему наклонился и, обрызгивая слюной, торопливо спешил передать ему содержание немецкой статьи, где... — да: в душе его неожиданно лопнуло что-то (так лопаются водородом надутая кукла на дряблые куски целлулоида, из которого фабрикуют баллоны): он, — вздрогнув, откинувшись, вырвавшись — побежал, сам не зная куда, потому что — именно: в это время открылось: —

— автор плана-то — он...

Он — отъявленный негодяй!..

Вот когда это понял он, то бросился на Васильевский Остров, к семнадцатой линии; вез его захудалый извозчик; и из пролетки, прямо в спину извозчику, раздавался прерывистый, негодующий шепот:

— «А?... Скажите пожалуйста?... Притворщик... обманщик... убийца... Просто — спасти свою шкуру...»

Негодювал, вероятно, он громко, потому что извозчик на него повернулся с досадою.

— «Ась?»

— «Нет-с... Ничего...»

Извозчик же думал:

— «Барин, право, чудной...»

Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

Ветры вторили:

— «Отцеубийца!..»

— «Обманщик!..»

Сам не свой, выскочил Николай Аполлонович из пролетки; пересекая и асфальтовый дворик, и сажени осиновых дров, влетел в черную лестницу, чтобы броситься по ступеням и — неизвестно зачем; вероятно, просто из любопытства: заглянуть в глаза виновнику происшествия, притащившему узелок, потому что «отказ», который придумал он, был — конечно — предлогом: можно было «отказ» не бросать им в лицо (и тем выиграть время).

Тут-то столкнулся с Александром Ивановичем: остальное мы видели.

Имени тяжелому безобразию — нет!

Да, — но сердце его, разогретое всем, бывшим с ним, стало медленно плавиться: легкой сердечный комок — стал-таки сердцем; прежде билось оно неосмысленно; теперь оно билось со смыслом; и бились в нем чувства; эти чувства нечаянно дрогнули; сотрясения эти теперь — потрясли, перевернули всю душу.

Та громадина дома только что громоздилась над улицей горами кирпичных балконов; перебежав мостовую, он мог бы рукою нащупать ее каменный бок; но как стал накрапывать дождик, то в тумане заплывал ее каменный бок.

Как и все теперь плавало.

Стал накрапывать дождик, — и громадина сцепленных камней вот уже распепилась; вот уже она поднимает — из-под дождика в дождик — кружева легких контуров и едва-едва обозначенных линий — просто какое-то рококо: рококо уходит в ничто.

Мокрый блеск заяснел на витринах, на окнах, на трубах: первая струечка хлынула из водосточной трубы; из другой водосточной трубы закапали частые капли; бледные тротуары изошли мелким крапом; побурела медлительно сухая их мертвизна; фыркнула грязью мимо летящая шина.

И пошло, и пошло. . .

В дымновоюющей мокроте, накрытый зонтами прохожих, пропадал Николай Аполлонович: плавали в дымах проспекты; казалось, что громадины зданий повывадились из пространства в какое-то иное пространство; смутно их оттуда маячили узоры из перепутанных — кариатид, шпицев, стен. Голова его закружилась; он прислонился к витрине; что-то в нем лопнуло, разлетелось; и — встал кусок детства.

У старушки, у Ноккерт,<sup>4</sup> — у гувернантки — на дрожащих коленях, он видит, покоится его голова; старушка читает под лампой:

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?  
Es ist der Vater mit seinem Kind..<sup>5</sup>

Вдруг, — за окнами кинулись буревые порывы; и бунтует там мгла,

и бунтует там шум: совершается там, наверно, за младенцем погоня; на стене подрагивает гуверпанткина тень.

И опять... —

Аполлон Аполлонович — маленький, седенький, старенький — Коленьку обучает французскому контредансу; выступает он плавно и, отсчитывая шажки, выбивает ладонями такт: прогуливается — направо, налево; прогуливается — и вперед и назад; вместо музыки он отрезывает — скороговоркою, громко:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой:  
Ездок запоздалый, с ним сын молодой...<sup>6</sup>

И потом поднимает на Коленьку безволосые брови:

— «Какова же, гм-гм, мой голубчик, первая фигура кадрили?»

Все остальное было х л а д н о ю м г л о й, потому что погоня настигла: сына вырвали у отца:

В руках его мертвый младенец лежал...<sup>7</sup>

Вся протекшая жизнь оказалась игрою тумана после этого мига. Кусок детства закрылся.

Мокрый блеск яснел на витринах, на окпах, на трубах; прядала струечка из водосточной трубы; глянцевила бурая мокрога тротуара; грязью фыркала шина. В дымно-веющей мокроте, накрытый зонтами прохожих, пропадал Николай Аполлонович; казалось, что громадины зданий выдавились из пространства в пространство; замаячили их оттуда узоры из перепутанных линий — кариатид, шпицев, стен.

## ЖУРАВЛИ

Николаю Аполлоновичу захотелось на родину, в детскую, потому что он понял: он — малый ребенок.

Надо было все, все — отрясти, позабыть, надо было — всему, всему — опять научиться, как учатся в детстве; старая, позабытая родина — он теперь ее слышит. И — уже: надо всем раздался вдруг голос сирого и все же милого детства, голос давно не звучавший; зазвучавший — теперь.

Того голоса звук?

Как невнятно над городом курлыканье журавлей, он так же невнятен; высоко летящие журавли — в грохоте городском горожане не слышат их; а они летят, пролетают над городом, — журавли!.. Где-нибудь, положим, на Невском Проспекте, в трепете мимо летящих пролеток и в гвалте газетчиков, где надо всем поднимается разве что горло автомобиля, — среди металлических этих горл, в час предвечерний, весенний, на панели, как вкопанный, встанет обитатель полей, в город попавший случайно; остановится, — кудластую, бородатую голову набок он склонит и тебя оставит.

— «Тсс!..»

— «Что такое?»

А он, обитатель полей, в город попавший случайно, на твое изумление бородатую, кудластою головою потрясет и хитро-хитро усмехнется:

— «А разве не слышите?»

— «?..»

— «Послушайте...»

— «Что? Да что же?..»

Он же вздохнет:

— «Там... кричат... журавли».

Ты тоже слушаешь.

Сперва ничего не услышишь; и потом, откуда-то сверху, в пространствах услышишь ты: звук родимый, забытый — звук странный...<sup>3</sup>

Там кричат журавли.

Оба вы поднимаете головы. Поднимает голову третий, пятый, десятый.

Мировые пространства сперва ослепляют всех вас; ничего, кроме воздуха... И — нет: есть, кроме воздуха... , потому что среди всего голубого такого там явственно проступает — все же знакомое что-то: на север... летят... журавли!

Вокруг — целое кольцо любопытных; у всех подняты головы, и троугар — запружен; городской пробирается; и — нет: не сдержал любопытства; остановился, голову запрокинул; он — смотрит.

И ропот:

— «Журавли!..»

— «Опять возвращаются...»

— «Милые...»

Над проклятыми петербургскими крышами, над торцовою мостовой, над толпой — предвесенний тот образ, тот голос знакомый!

И так — голос детства!

Он бывает не слышен; и он — есть; курлыканье журавлей над петербургскими крышами — нет-нет — и раздастся же! Так голос детства.

Что-то такое расслышал теперь и Николай Аполлонович.

Будто кто-то печальный, кого Николай Аполлонович еще ни разу не видывал, вокруг души его очертил благой проникающий круг и вступил в его душу; стал душу пронизывать светлый свет его глаз. Николай Аполлонович вздрогнул; раздалось что-то, бывшее в душе его сжатым; в необъятность теперь оно уходило легко; да, тут была необъятность, которая говорила нетрепетно:

— «Вы все меня гоните!..»

— «Что, что, что?» — попытался расслышать тот голос и Николай Аполлонович; необъятность же говорила нетрепетно:

— «Я за всеми вами хожу...»

Так она говорила.

Николай Аполлонович удивленно окинул глазами пространство, будто он ожидал обладателя нетрепетно певшего голоса увидеть пред собой; но увидел он нечто другое; а именно: увидал плывущую гущу — котелков,

усов, подбородков; дальше шел — просто туманный проспект; и в нем плавали взоры, как все теперь плавало.

Туманный проспект показался знакомым и милым; ай-ай-ай — каким грустным казался туманный проспект; а котелковый поток с его лицами? Все эти тут проходящие лица — проходили задумчивы, невыразимо грустны.

Обладателя голоса ж не было.

Только кто это там? Вон на той стороне? У вон той громадины лома? И — под грудой балконов?

Да, там кто-то стоит.

Как и он, Николай Аполлонович; и тоже — у магазинной витрины, стоит себе — под распушенным зонтиком... Да ничего себе: он разве что смотрит... как будто; нельзя лица его разобрать. И что тут особенного? На этой вот стороне — Николай Аполлонович, так себе, для своего удовольствия... Ну и тот — ничего себе тоже: как Николай Аполлонович, как все проходящие мимо, — только случайный прохожий; и он тоже грустный и милый (как и все теперь милые); посматривает с независимым видом: я, де, — что ж, ничего себе: сам я с усами!.. Нет, — бритый... Очертание его пальтеца напоминает, но... что? Он не кивает ли?..

Просто в каком-то картузике.

И где это было?

Не подойти ли к нему, к милому обладателю картуза? Ведь проспект публичный; ну, право же! Всем место найдется на этом публичном проспекте... Просто так себе, — подойти: посмотреть на предметы, которые там... под стеклом за магазинной витриной. Всякий же право имеет...

Рядом там постоять независимо, и при случае мельком окинуть приторным, будто бы рассеянным, а на самом деле внимательным оком, — его!

Удостовериться: что, дескать, это такое?

Нет, нет, нет!.. Прикоснуться к наверное костенеющим пальцам, и плакать от глупого счастья!..

На панели пасть ниц!

— «Я — больной, глухой, обремененный... Успокой меня, учитель, укрой...»

И услышать в ответ:

— «Встань...»

— «Иди...»

— «Не грешь...»

Нет, конечно, не будет ответа.

Конечно же — ничего не ответит печальный, потому что и не может быть никаких ответов пока; ответ будет после — через час, через год, через пять, а пожалуй, и более — через сто, через тысячу лет; но ответ — будет! А теперь печальный и длинный, никогда не виданный в снах, но оказавшийся всего-навсего незнакомцем, но незнакомцем не-

спроста, а, так сказать, незнакомцем загадочным — просто печальный и длинный на него поглядит и приложит палец к устам. Не глядя, не останавливаясь, он пойдет там по слякоти...

И в слякоти скроется...

• . . . . .

Но настанет день.

Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, — те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту смертельной опасности, те, которые о невыразимом том миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность — все, все они встретятся!

Этой радости встречи у них не отнимет никто.

Я, СЕБЕ, ИДУ... Я, СЕБЕ, НИКОГО НЕ СТЕСНЯЮ...

— «Что это я», — подумал Николай Аполлонович, — «замечтался не вóвремя...»

Времени терять теперь нечего... Время идет, а сардинница себе тикает; прямо бы к столику; бережно завернуть все в бумагу, положить в карман, да в Неву...

И уже отводил он глаза от той громадины дома, где стоял себе незнакомец под грудой кирпичных балконов с распушенным зонтиком, потому что опять стала течь пресловутая гуща из туловищ на своих на многих ногах — гуща тел человеческих, тут бегущих веснами, летами, зимами: тел неизменных.

И не вытерпел, опять посмотрел.

Незнакомец не двинулся с места; очевидно, он ждал, как ждал Николай Аполлонович: ждал окончания дождика; вдруг он тронулся, вдруг попал в людской ток — в эти пары и в эти четверки; треуголка, блиставшая лоском, позакрыла его; беспомощно вытарчивал зонтик.

— «Отвернуться бы, да идти себе прочь! А ну его, незнакомца — вот тоже, право!»

Но едва он подумал так, как (заметил он) из-под блещущей треуголки и из мимо бегущих плечей любопытный картузик выясняться стал снова; рискуя попасть под извозчика, перебежал мостовую он; он смешно протягивал зонтик, вырываемый ветром.

Ну, как отвернуться тут? Как идти себе прочь?

— «Что это он», — подумал Николай Аполлонович и неожиданно для себя удивился:

— «А, так вот он какой из себя?»

Незнакомец вблизи несомненно проигрывал; издали был авантажнее; вид имел загадочнее; грустнее; движения — медлительней.

— «Э!.. Да помилуйте: у него идиотический вид? Ай, картузик! Вот так картузик? Бежит себе на журавлиных ногах; пальцецо трепыхается, зонтик прорванный; и одна калоша не по ноге...»



— «Фью!» — нечленораздельно тут выразился бы себя уважающий гражданин и пошел бы себе, поджав обиженно губы с независимым видом: уважающий себя гражданин непременно бы почувствовал нечто — что-то в роде такого:

— «Ну и пусть!.. Я, себе, иду.. Я, себе, никого не стесняю.. Я могу при случае дать дорогу. Но чтобы я?.. Ни-ни-ни: у меня дорога своя...»

Уважающим себя гражданином Николай Аполлонович, признаться, нисколько не чувствовал (уж какое тут уважение!); но, вероятно, таким себя чувствовал незнакомец, вопреки пальтишке, зонтишке и с ноги спадавшей калоше.

Будто он говорил:

— «А ну вот же: я, себе, посторонний прохожий, но прохожий, себя уважающий... И я, себе, никого не пущу на дорогу... Никому дороги не дам...»

Николай Аполлонович тут почувствовал неприязнь; и уже собравшись посторониться, переменил свою тактику: не стал сторониться; так едва они не столкнулись носами; Николай Аполлонович — изумленный; незнакомец — без всякого изумления; удивительно: заочеченелая, большая рука (с гусиною кожей) поднялась к картузу; деревянная же и хриплая дробь решительно отчеканила:

— «Ни-ко-лай А-пол-ло-во-вич!!..»

Тут только Николай Аполлонович заметил, что стремительно налетевший субъект (может быть, из мещан) перевязал себе горло; вероятно, на горле был чирый (чирый же, как известно, стесняя свободу движений, появляется неудобнейшим образом на кadyке, на позвоночнике (меж лопаток) — появляется... в неопиcуемом месте!..)

Но более подробное размышление о свойствах злокозненных чирьев было прервано:

— «Вы, кажется, не узнаете меня?»

(Ай, ай, ай!)...

— «С кем имею честь», — начал было Николай Аполлонович, поджимая обиженно губы, но, приглядевшись к незнакомцу внимательней, вдруг откинулся, скинул шляпу и воскликнул с перекривленным лицом:

— «Нет... вы ли это?.. Да какими же способами?..»

Он хотел, вероятно, воскликнуть: «какими судьбами»...

Естественно: в случайном прохожем, имеющем вид попрошайки, Сергея Сергееча все же узнать было трудно, потому что, во-первых, Лихутин облекся в партикулярное платье, и оно сидело на нем, как на корове седло; во-вторых: Сергей Сергееч Лихутин был — ай, ай, ай! — выбрит: вот в чем была сила! Вместо вьющейся, белокурой бородки торчала какая-то прыщавая, несуразная пустота; и — куда девались усики? Это-то от волос свободное место (меж губами и носом) превратило знакомую физиономию в незнакомую физиономию, — в просто какую-то неприятную пустоту.

Отсутствие собственной лихутинской бороды и собственных лихутинских усиков придало подпоручику потрясающий вид идиота:

— «Нет... Или глаза мои изменяют мне, но... мне, Сергей Сергеевич, кажется, что... вы...»

— «Совершенно верно: я в штатском...»

— «Я не то, Сергей Сергеевич... Не это... Я не тем изумлен... Изумительно все же...»

— «Что изумительно?»

— «Вы как-то преобразились весь, Сергей Сергеевич... Вы меня, пожалуйста, извините...»

— «Это все пустяки-с...»

— «О, конечно, конечно... Я так себе... Я хотел сказать, что вы выбрились...»

— «Э, да что там», — обиделся тут Лихутин, — «э, да что там „побрившись“: отчего же и нет? Ну, побрился... Я не спал эту ночь... Отчего же мне не побриться?..»

В голосе подпоручика Николая Аполлоновича поразила просто какая-то злость, какая-то подавляющая такая чреватость, и столь не идущая к бритости.

— «Ну, и выбрился...»

— «Конечно, конечно...»

— «Ну, и пусть!» — не угомонялся Лихутин. — «Я службу бросаю...»

— «Как бросаете?.. Почему бросаете?..»

— «По причинам приватным, касающимся лично меня... Вас, Николай Аполлонович, эти мелочи не касаются... Не касаются вас приватные наши дела».

Подпоручик Лихутин тут стал придвигаться.

— «Впрочем, есть дела, которые...»

Николай Аполлонович, спиною толкая прохожих, стал явственно пятиться:

— «Есть дела, Сергей Сергеевич?»

— «Дела, которые, сударь...»

Явственно зловещую ноту уловил Николай Аполлонович в хриплом голосе подпоручика; и ему показалось, что отчетливо тот собирается для чего-то такого изловить его руки.

— «Вы простудились?» — переменил он порывисто разговор и соскочил с тротуара; в пояснении своего замечания прикоснулся он к собственной шее, разумея шейную перевязку Лихутина, какую-нибудь такую горловую простуду — ну, жабу там, или — грипп.

Но Сергей Сергеевич покраснел, стремительно соскочил с тротуара, продолжая свое наступление для того, чтоб... чтоб... чтоб... Некоторые из прохожих остановились, смотрели:

— «Ни-ко-лай Аполло-нович!..»

— «?»

— «Право же, не для того я за вами бежал, чтобы мы говорили тут о какой-то, черт возьми, шее...»

Остановился третий, пятый, десятый, вероятно подумавши, что изловлен ворышка.

— «К делу это все не относится...»

Внимание Аbbleухова изострилось; про себя он шептал:

— «Так-так-так?.. Что же к делу относится?» И избегая Лихутина, он опять очутился на сыром тротуаре.

— «В чем же дело?»

Где была память?

Дело с поручиком предстояло нешуточное. Да — домино же! черт возьми, домино! О домино Николай Аполлонович основательно позабыл; он теперь только вспомнил:

— «Есть дело, есть...»

Софья Петровна Лихутина, без сомнения, поразболтала о случае в неосвященном подъезде; поразболтала и о случае у Зимней Канавки.

С этим-то делом теперь и приступает Лихутин.

— «Недоставало только вот этого... Ах, черт возьми: как все это некстати!.. Вот ведь некстати!..»

И вдруг все нахмурилось.

Потемнели рои котелков; мстительно заблистали цилиндры; отовсюду снова стал понаскакивать обывательский нос: носы протекали во множестве: орлиные, петушиные, курьи, зеленоватые, сизые; и — нос с бородавкой: бессмысленный, торопливый, огромный.

Николай Аполлонович, избегая взгляда Лихутина, это все обозрел и глазами уткнулся в витрину.

Между тем Сергей Сергеевич Лихутин, завладевая рукой Аbbleухова и не то ее пожимая, не то просто сжимая, собирая вокруг толпу любопытных зевак — неумолимо, неугомонно отрезывал деревянную фистулю: ведь вот барабанные палки!

— «Я... я... я... имею честь известить, что с утра уже я... я... я...»

— «?»

— «Я по вашим следам... И я — был: всюду был — между прочим, у вас... Меня провели в вашу комнату... Я сидел там... Оставил записку...»

— «Ах, какая досад...»

— «Тем не менее», — перебил подпоручик (ведь вот барабанные палки), — «имея к вам дело: безотлагательный деловой разговор...»

— «Вот оно, начинается», — шарахнулось в мозгу Аbbleухова, и он отразился в большой магазинной витрине меж перчаток, меж зонтиков и тому подобных вещей.

Между тем расшвырялась по Невскому холодная свистопляска, чтобы дробными, мелкими, частыми каплями нападать, стрекотать и шушукать по зонтам, по сурово согнутым спинам, обливая волосы, обливая озяб-

шие жироватые руки мещан, студентов, рабочих; между тем расставалась по Невскому холодная свистопляска, поливая вывески ядовитым, насмешливым, металлическим бликом, чтобы в воронки закручивать миллиарды мокрых пылиночек, вить смерчи, гнать и гнать их по улицам, разбивая о камни; и далее, чтобы гнать нетопыриное крыло облаков из Петербурга по пустырям; и уже расставалась над пустырем холодная свистопляска; посвистом молодецким, разбойным она гуляла в пространствах — самарских, тамбовских, саратовских — в буераках, в песчаниках, в чертополохах, в полыни, с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды и разводя на гумне свою липкую гниль; сноп тяжелый, зернистый — от нее прорастает; ключевой самородный колодезь — от нее засоряется; поразведутся мокрицы; и по ряду сырых деревьев разгуляется тиф.

Разорвалось крыло облаков; дождь кончился: мокрота иссякала...

### РАЗГОВОР ИМЕЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Между тем разговор имел продолжение:

— «Я имею к вам дело... Хочу я сказать — объяснение, не терпящее отлагательств; я повсюду расспрашивал, как бы это нам встретиться: между прочим, я был и о вас расспросил у... как ее?... У нашей общей знакомой, у Варвары Евграфовны...»

— «Соловьевой?»

— «Вот именно... С Варварой Евграфовной у меня состоялось очень тяжелое разъяснение — относительно вас... Вы меня понимаете?... Тем хуже... Но о чем это я... Да, — эта-го Соловьева, Варвара Евграфовна (между прочим, я ее запер) мне дала один адрес: приятеля вашего... Дудкина?... Ну, все равно... Я, конечно, — по адресу, не дойдя до господина — Дудкина, что ли? — встретил вас на дворе... Вы оттуда бежали... Да-с... И притом — не один, а с неизвестной мне лично стью... Нет, оставьте: *nomina sunt odiosa*... Вы имели взволнованный вид, а господин...? *Nomina sunt odiosa*... имел вид болезненный... Я беседы вашей прервать не решился с господином... Извините — можете фамилию этого господина сохранить про себя...»

— «Сергей Сергеевич, я...»

— «Погодите-с!.. Я беседы прервать не решился, конечно, хотя... правду сказать, вас с таким трудом удалось мне поймать... Ну вот: я за вами проследовал; разумеется, на известной дистанции, чтоб случайно не быть свидетелем разговора: я просовывать нос, Николай Аполлонович, не люблю... Но об этом мы после...»

Тут Лихутин задумался, почему-то тут обернулся, глядя в даль Невского.

— «Проследовал... До вот этого места... Вы все время о чем-то вдвоем говорили... Я — за вами ходил и, признаться, досадовал... Послушайте», — оборвал он повествование, похожее на типографский, слу-

чайно рассыпанный, собранный и случайно прочтенный набор, — «вы не слышите?»

— «Нет...»

— «Тсс!.. Слушайте...»

— «Что такое?»

— «Какая-то нота, — на „у“... Там... там... загудело...»

Николай Аполлонович повернул свою голову; странное дело — как торопливо полетели мимо пролетки — и все в одну сторону; ускорился бег пешеходов (поминутно толкали их); иные оборачивались назад; сталкивались с идущими им навстречу; равновесие совершенно нарушилось; он озирался и не слушал Лихутина.

— «Вы потом остались одни и прислонились к витрине; тут пошел дождик... Прислонился к витрине и я, на той стороне... Вы все время, Николай Аполлонович, на меня глядели в упор, но вы делали вид, что меня и не заметили вовсе...»

— «Я не узнал вас...»

— «А я кланялся...»

— «Так и есть», — продолжал досадовать Николай Аполлонович, — «он за мной гоняется... Он меня собирается...»

Что собирается?

Николай Аполлонович получил от Сергея Сергеевича письмо тому назад два с половиной месяца, в котором Сергей Сергеевич Лихутин убедительным тоном просил не смущать покоя горячо любимой супруги — это было уже после моста; некоторые выражения письма были трижды подчеркнуты; от них веяло чем-то очень-очень серьезным — был эдакий неприятный словесный сквозняк, без намеков, а — так себе... И в ответном письме Николай Аполлонович обещался...

Обещание дал, и — нарушил.

Что такое?

Запрудив тротуар, остановились прохожие; широчайший проспект был пуст от пролеток; не было слышно ни суетливого кляканья шин, ни поканья конских копыт: пролетели пролетки, образуя там, издали, — черную, неподвижную кучу, образуя здесь — голую торцовую пустоту, о которую опять свистопляска кидала каскадами рои растрещавшихся капелек.

— «Посмотрите-ка?»

— «Ах, как странно, как странно?»

Точно тут пообнажились мгновенно громадные гранитные гольши, над которыми тысячелетия проносились белая водопадная пена; но от туда, из дали проспекта, из совершеннейшей пустоты, чистоты, между двух рядов черного от людей тротуара, по которому побежал тысячеголосый, крепнущий гул (как бы гул шмелиного роя), — оттуда понесся лихач; полустоя на нем, изогнулся безбородый, потрепанный барин без шапки, зажимая в руке тяжелое и высокое древко: и отрываясь от деревянного древка по воздуху гребнями разрывались, трепались и рвались легкоковистящие лопасти красного кумачевого полотнища — в огром-

ную, в холодную пустоту; было странно увидеть летящее красное знамя по пустому проспекту; и когда пролетела пролетка, то все котелки, треуголки, цилиндры, околыши, перья, фуражки и косматые манджурские шапки — загудели, зашаркали, затолкались локтями и вдруг хлынули с тротуара на середину проспекта; из разорванных туч бледный солнечный диск пролился на мгновение палевым светом — на дома, на зеркальные стекла, на котелки, на околыши. Свистопляска промчалась. Дождь кончился.

Толпа смела с тротуара и Аблеухова, и Лихутина; разъединенные парой локтей, они побежали туда, куда все побежали; пользуясь давкою, Николай Аполлонович имел намерение ускользнуть от объяснения нектати, чтобы броситься в первую там стоящую в отдаленье пролетку и, не теряя драгоценного времени, укатить по направлению к дому: ведь бомба-то... в столике... тикала! Пока она не в Неве, успокоения нет!

Бегущие его толкали локтями; черные фигурки выливались из магазинов, дворов, парикмахерских, перекрестных проспектов; и в магазины, дворы, боковые проспекты черные фигурки убегали спешно обратно; гогосили, ревели, топтались: словом — паника; издали, над головами там будто хлынула кровь; поразвились из чернеющей копоти все кипящие красные гребни, будто бьющиеся огни и будто олени рога.

И, ах как нектати!

Из-за двух-трех плечей, на одном уровне с ним, выглянул ненавистный картузик и два зорких глаза обеспокоенно уставились на него: подпоручик Лихутин и в суматохе его не утеривал из виду, выбиваясь из сил, чтобы снова пробиться к пробивавшемуся от него чрез толпу Аблеухову: Аблеухов же голько-только хотел вздохнуть облегченно:

— «Не утеривайте меня... Николай Аполлонович; впрочем, все равно... я от вас не отстаю».

— «Так и есть», — убедился теперь окончательно Аблеухов, — «он за мною гоняется: он меня никогда не отпустит...»

И пробивался к пролетке.

А за ними, из дальней проспекта, над головами и грохотом голосов вылизывались знамена, будто текучие языки и будто текучие светлости; и вдруг все — пламена, знамена — остановились, застыли: грянуло отчетливо пение.

Николай Аполлонович через толпу, наконец, пробился к пролетке; но едва он хотел в нее занести свою ногу, чтоб заставить извозчика пробиваться далее чрез толпу, как почувствовал, что его опять ухватила просунутая чрез чужое плечо рука подпоручика; тут он стал, будто вкопанный, и, симулируя равнодушие, он с насильственной улыбкой сказал:

— «Манифестация!..»

— «Все равно: я имею к вам дело».

— «Я... видите ли... Я... тоже с вами совершенно согласен... Нам есть о чем побеседовать...»

Вдруг откуда-то издали пролетел пачками рассыпанный треск; и издали, разорвавшись на части, все те в копоты над головою толпы повосставшие светлости, над головою толпы заметались и туда, и сюда; заволновались там красные водовороты знамен и рассыпались быстро на одиноко торчавшие гребни.

— «В таком случае, Сергей Сергеевич, поговоримте в кофейне... Отчего бы нам не в кофейне...»

— «Как так в кофейне...», — возмутился Лихутин. — «Я в подобных местах не привык иметь объяснения...»

— «Сергей Сергеевич? Где же?..»

— «Да и я тоже думаю... Раз вы сядились в пролетку, так сядемте и поедемте ко мне на квартиру...»

Эти слова были сказаны тоном явно притворным: дó крови прикусил себе губы тут Николай Аполлонович:

— «На дому, на дому... Как же так — на дому? Это значит с поручиком с глазу на глаз запереться, дать отчет о неуместных проделках над Софьей Петровною; может быть, в присутствии Софьи Петровны дать отчет возмущенному мужу о несдержании слова... Явно: здесь за-падня...»

— «Но, Сергей Сергеевич, я полагаю, что по некоторым обстоятельствам, вам понятным вполне, мне у вас неудобно...»

— «Э, полноте!»

К чести Николая Аполлоновича, — он более не перечил; он покорно сказал: «Я готов». И держался спокойно он; чуть дрожала нижняя челюсть — вот только.

— «Как человек просвещенный, гуманный, вы, Сергей Сергеевич, меня поймете... Словом, словом... и по поводу Софьи Петровны».

Вдруг, зашутавшись, оборвал.

Они сели в пролетку. И — пора: там, где только что метались знамена и откуда рассыпался пачками сухой треск, ни одного уже знамени не было; но оттуда хлынула такая толпа, напирая на впереди тут бегущих, что сроенные в кучи пролетки, стоявшие тут, полетели в глубь Невского — в противоположную сторону, где уже циркуляция была восстановлена, где вдоль улицы бегали серые квартальные надзиратели и конями плясали жандармы.

Поехали.

Николай Аполлонович видел, что многоножка людская здесь текла, как ни в чем не бывало; как текла здесь столетия; времена бежали там, выше; был и им положен предел; и предела того не было у людской многоножки; будет ползать, как ползает; и ползает, как ползла: одиночки, пары, четверки; и пары за парами: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Вот все пропало: они свернули с проспекта; выше каменных зданий в небе навстречу им кинулись клочковатые облака с висящею ливенной полосой; Николай Аполлонович весь согнулся под бременем нежданно

свалившейся тяжести; клочковатое облако подползло; и когда серая, синеватая полоса их накрыла, — стали бить, стрекотать, пришепetyвать хлопотливые капельки, закруживши на булькнувших лужах свои холодные пузыри; Николай Аполлонович сидел согбенный в пролетке, завернувшись лицом в итальянский свой плащ; на мгновение он позабыл, куда едет; оставалось смутное чувство: он едет — насильно.

Тяжелое стечение обстоятельств тут опять навалилось.

Тяжелое стечение обстоятельств, — можно ли так назвать пирамиду событий, нагроможденных за последние эти сутки, как массив на массиве? Пирамида массивов, раздробляющих душу, и именно — пирамида!..

В пирамиде есть что-то, превышающее все представления человека; пирамида есть бред геометрии, то есть бред, неизмеримый ничем; пирамида есть человеком созданный спутник планеты; и желта она, и мертва она, как луна.

Пирамида есть бред, измеряемый цифрами.

Есть цифровой ужас — ужас тридцати друг к другу приставленных знаков, где знак есть, разумеется, ноль; тридцать полей при единице есть ужас; зачеркните вы единицу, и провалятся тридцать полей.

Будет — ноль.

В единице также нет ужаса; сама по себе единица — ничтожество; именно — единица!.. Но единица плюс тридцать полей образуется в безобразии пенталлиона: <sup>9</sup> пенталлион — о, о, о! — повисает на черненькой, тоненькой палочке; единица пенталлиона повторяет себя более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз.

Чрез неизмеримости тащится.

Так тащится человек чрез мировое пространство из вековечных времен в вековечные времена.

Да, —

человеческой единицею, то есть этою тощею палочкой, проживал доселе в пространствах Николай Аполлонович, совершая пробег из вековечных времен —

— Николай Аполлонович в костюме Адама был палочкой; он, стыдясь худобы, никогда ни с кем не был в бане —  
— в вековечные времена!

И вот этой палочке пало на плечи безобразие пенталлиона, то есть: более чем миллиард миллиардов, повторенных более, чем миллиард раз; непрезентабельное кое-что внутрь себя громадное прияло ничто; и громада ничто разбухла в презентабельном виде из вековечных времен —

— так разбухает желудок, благодаря развитию газов, от которых все Аблеуховы мучились —  
— в вековечные времена!

Непрезентабельное кое-что внутрь себя громадное прияло ничто; кое-что от громады, пустой, полевой, разбухало до ужаса. Вспучились просто Гауризанкары какие-то; он же, Николай Аполлонович, разрывался, как бомба.



А? Бомба? Сардинница?..

Во мгновение ока пронеслось то же все, что с утра проносилось: в голове пролетел его план.

Какой такой?

## ПЛАН

Да, да, да!..

Подкинуть сардинницу: подложить ее к отцу под подушку; или — нет: в соответственном месте подложить ее под матрасик. И — ожидание не обманет: точность гарантирует часовой механизм.

Самому же ему:

— «Доброй ночи, папаша!»

В ответ:

— «Доброй, Коленька, ночи!..»

Чмокнуть в губы, отправиться в свою комнату.

Нетерпеливо раздеться — непременно раздеться! Дверь защелкнуть на ключ и уйти с головой в одеяло.

Быть страусом.

Но в пуховой, в теплой постели задрожать, прерывисто задышать — от сердечных толчков; тосковать, бояться, подслушивать: как там... бацнет, как... грохнет там — из-за стай каменных стен; ожидать, как бацнет, как грохнет, разорвав тишину, разорвавши постель, стол и стену; разорвав, может быть... — разорвав, может быть... .

Тосковать, бояться, подслушивать... И услышать знакомое шлепанье туфель к... ни с чем не сравнимому месту.

От французского легкого чтения перекинуться — просто к хлопковой вате, чтоб ватой заткнуть себе уши: уйти с головой под подушку. Окончательно убедиться: более не поможет ничто! Разом сбросивши с себя одеяло, выставить покрытую испариной голову — и в бездне испуга вырыть новую бездну.

Ждать и ждать.

Вот всего осталось каких-нибудь полчаса; вот уже зеленоватое просветление рассвета; комната синее, сереет; умяляется пламя свечи; и — всего пятнадцать минут; тут тушится свечка; вечности протекают медлительно, не минуты, а именно — вечности; после чиркает спичка: протекло пять минут... Успокоить себя, что все это будет не скоро, через десять медлительных оборотов времен, и потрясающе обмануться, потому что —

— не повторяемый, никогда еще не услышанный, притягательный звук, все-таки... —

— грянет!!..

• • • • •

Тогда: —

наскоро вставив голые ноги в кальсоны (нет, какие кальсоны: лучше

так себе, без кальсон!) — или даже в исподней сорочке, с перекошенным, совершенно белым лицом —

— да, да, да! —

— выпрыгнуть из разогретой постели и протопать босыми ногами в полное тайны пространство: в чернеющий коридор; мчаться и мчаться — стрелою: к неповторному звуку, натываясь на слуг и грудью вбирая особенный запах: смесь дыма, гари и газа с... еще кое-чем, что ужасней и гари, и газа, и дыма.

Впрочем, запаха, вероятно, не будет.

Вбежать в полную дыма и очень холодную комнату; задыхаясь от громкого кашля, выскочить оттуда обратно, чтобы скоро просунуться снова в черную, стенную пробоину, образовавшуюся после звука (в руке плясать будет кое-как засвеченный канделябр).

Там: за пробоиной... —

в месте разгромленной спальни, красно-рыжее пламя осветит.. Сущую осветит безделицу: отовсюду клубами рвущийся дым.

И еще осветится... — нет!.. Набросить на эту картину завесу — из дыма, из дыма!.. Более ничего: дым и дым!

Все же...

Под эту завесу хотя на мгновенье просунуться, и — ай, ай! Совершенно красная половина стены: течет эта красность; стены мокрые, стало быть; и, стало быть, — липкие, липкие... Все это будет — первое впечатленье от комнаты; и, наверно, последнее. Вперемежку, меж двух впечатлений запечатлется: штукатурка, щепы разбитых паркетов и драные лоскуты пропаленных ковров; лоскуты эти — тлеют. Нет, лучше не надо, но... берцовая кость?

Почему именно она одна уцелела, не прочие части?

Все то будет мгновенно; за спиною ж — мгновенны: идиотский гул голосов, ног неровные топоты в глубине коридора, плач отчаянный — представьте себе! — судомойки; и — треск телефона (это верно трезвонят в полицию)...

Уронить канделябр... Сев на корточки, у пробоины дергаться от в пробоину прущего октябрьского ветра (разлетелись при звуке все оконные стекла); и — дергаться, обдергивать на себе ночную сорочку, пока тебя сердобольный лакей —

— может быть, камердинер, тот самый, на которого очень скоро потом всего будет легче свалить (на него, само собой, падут тени) —

— пока сердобольный лакей не потащит насильно в соседнюю комнату и не станет вливать в рот насильно холодную воду...

Но, вставая с полу, увидеть: —

у себя под ногами ту же все темно-красную липкость, которая сюда шлепнула после громкого звука; она шлепнула из пробоины с лоску-

том отодранной кожи... (с какого же места?). Поднять взор — я над собою увидеть, как к стене прилипло...

Брр!... Тут лишиться вдруг чувств.

Разыграть комедию до конца.

Через сутки всего перед наглухо заколоченным гробом (ибо нечего хоронить) — отчеканивать перед гробом акафист,<sup>10</sup> наклоняясь над свечкой в мундире с обтянутой талией.

Через два всего дня свежевыбритый, мраморный, богоподобный свой лик уткнувши в меха николаевки, проследовать к катафалку, на улицу, с видом невинного ангела; и сжимать в белолайковых пальцах фуражку, следуя скорбно до кладбища в сопровождении всей сановной той свиты... за цветочною грудой (за гробом). На своих дрожащих руках груды эту протащат по лестнице златогрудые, белоштаннные старички — при шпагах, при лентах.

Будут груды влачить восемь лысенских старичков.

И — да, да!

Дать следствию показания, но такие, которые... на кого бы то ни было (разумеется, не намеренно)... будет все же брошена тень; и должна быть тень брошена — тень на кого бы то ни было; если нет, — тень падет на него... Как же иначе?

Тень будет брошена.

Дурачок, простачок  
Коленька танцует:  
Он надел колпачок —  
На коне гарцует.

И ему стало ясно: самый тот миг, когда Николай Аполлонович героически обрекал себя быть исполнителем казни — казни во имя идеи (так думал он), этот миг, а не что иное, явился создателем вот такого вот плана, а не серый проспект, по которому он все утро метался; действие во имя идеи соединилось, как ни был взволнован он, с дьявольским хладнокровным притворством и, может быть, с оговорами: оговорами неповиннейших лиц (всего удобнее камердинера: к нему ведь таскался племянник, воспитанник ремесленной школы, и, как кажется, беспартийный, но... все-таки...).

На хладнокровие расчет все же был. К отцеубийству присоединилась тут ложь, присоединилась и трусость; но, что главное, — подлость.

Благороден, строен, бледен,  
Волоса, как лен,  
Мыслью щедр и чувством беден  
Н. А. А... Кто ж он?

Он — подлец...

Все, протекшее за эти два дня, было фактами, где факт был чудовище; груда фактов, то есть стая чудовищ; фактов не было до этих двух дней; и не гнались чудовища. Николай Аполлонович спал, читал, ел; даже, он вождедел: к Софье Петровне; словом: все текло в рамках.

Но, и — но!..

Он и ел, не как все, и любил, не как все; не как все, испытывал вождеделение: сны бывали тяжелые и тупые; а пища казалась безвкусной, самое вождеделение после моста приняло пренеленый оттенок — издевательства при помощи домино; и опять-таки: отца — ненавидел. Что-то было такое, что тянулось за ним, что бросало особенный свет на отправление всех его функций (отчего он все вздрагивал, отчего руки болтались, как плети? И улыбка стала — лягушечьей); это что-то не было фактом, но факт оставался; факт этот — в что-то.

В чем что-то?

В обещании партии? Обещания своего назад он не брал; и хотя он не думал, но... другие тут думали, вероятно (мы знаем, что думал Липпанченко); и ведь вот, он по-странному ел и по-странному спал, вождедел, ненавидел по-странному тоже... Так же странной казалась его небольшая фигурка — на улице; с бьющимся в ветре крылом николаевки, и будто сутулая...

Итак, в обещании, возникшем у моста — там, там: в сквозняке привневского ветра, когда за плечами увидел он котелок, трость, усы (петербургские обитатели отличаются — гм-гм — свойствами!..)

И опять-таки самое стояние у моста есть только следствие того, что на мост погнало; а гнало его вождеделение; самые страстные чувства переживались им как-то не так, воспламенялся не так он, не по-хорошему, холодно.

Дело, стало быть, в холоде.

Холод запал еще с детства, когда его, Коленьку, называли не Коленькой, а — отцовским отродьем! Ему стало стыдно. После смысла слова «отродье» ему открылся вполне (через наблюдение над позорными замашками из жизни домашних животных), и, помнится, — Коленька плакал; свой позор порождения перенес он и на виновника своего позора: на отца.

Он, бывало, часами простаивал перед зеркалом, наблюдая, как растут его уши: они вырастали.

Тогда-то вот Коленька понял, что все, что ни есть на свете живого, — «отродье», — что людей-то и нет, потому что они — «порождения»; сам Аполлон Аполлонович, оказался и он «порождением»; то есть неприятною суммою из крови, кожи и мяса — неприятною, потому что кожа — потеет, мясо — портится на тепле; от крови же разит запахом не первомайских фиалочек.

Так его душевная теплота отождествлялась с необозримыми льдами, с Антарктикой, что ли; он же — Пирри, Нансен, Амундсен<sup>11</sup> — круго-

вращался там в льдах; или его теплота становилась кровавою слякотью (человек, как известно, есть слякоть, зашитая в кожу).

Души-то, стало быть, не было.

Он свою, родную плоть — ненавидел; а к чужой — вождедел. Так из самого раннего детства он в себе вынашивал личинки чудовищ: а когда созрели они, то повывлезли в двадцать четыре часа и обстали — фактами ужасного содержания. Николай Аполлонович был заживо съеден; перелился в чудовищ.

Словом, сам стал чудовищами.

— «Лягушонок!»

— «Урод!»

— «Красный шут!»

Вот именно: при нем кровью шутили, называли «отродьем»; и над собственной кровью зашутил — «шут»; «шут» не был маскою, маской был «Николай Аполлонович»...

Преждевременно разложилась в нем кровь.

Преждевременно она разложилась; оттого-то он, видно, и вызывал отвращение; оттого-то странной казалась его фигурка на улице.

Этот ветхий, скудельный сосуд должен был разорваться: и он разрывался.

## УЧРЕЖДЕНИЕ

Учреждение...

Кто-то его учредил; с той поры оно есть; а до той поры было — одно время оно. Так гласит нам «Архив».

Учреждение.

Кто-то его учредил, до него была тьма, кто-то над тьмою носился; <sup>12</sup> была тьма и был свет — циркуляр за номером первым, под циркуляром последнего пятилетия была подпись: «Аполлон Аблеухов»; в тысяча девятьсот пятом году Аполлон Аполлонович Аблеухов был душой циркуляров.

Свет во тьме светит. Тьма не объяла его.<sup>13</sup>

• • • • •

Учреждение...

И — торс козлоногой кариатиды. С той поры, как к крыльцу его подлетела карета, влекомая парой взмыленных вороных лошадей, с той поры, как придворный лакей в треуголке, косо надетой на голову, и в крылатой шинели в первый раз распахнул лакированный, штемпелеванный бок и, шелкнувши, дверце откинуло коронками украшенный герб (единорог, бьющий рыцаря); с той поры, как из траурных подушек кареты на подъездный гранит наступила ботинкой пергаментноликая статуя; с той поры, как впервые, отдавая поклоны, рука, облеченная в кожу перчатки, коснулась края цилиндра: — с той поры еще более крепкая власть придавила собой Учреждение, которое бросило над Россией свою крепкую власть.

Повосстали параграфы, похороненные в пыль.

Поражает меня самое начертанье параграфа: падают на бумагу два совокупленных крючка, — уничтожаются бумажные столы; параграф — пожиратель бумаг, то есть бумажная филоксера; <sup>14</sup> в произвол темной бездны, как клещ, вопьется параграф, — и право же: в нем есть что-то мистическое: он — тринадцатый знак зодиака. <sup>15</sup>

Над громадную часть России размножался параграфом безголовый сюртук, и приподнялся параграф, вдунутый сенаторской головою — над шейным крахмалом; по белоколонным нетопленным залам и красного сукна ступеням завелась безголовая циркуляция, циркуляцией этой заведовал Аполлон Аполлонович.

Аполлон Аполлонович — популярнейший в России чиновник за исключением... Коншина (чей неизменный автограф носите вы на кредитных билетах). <sup>16</sup>

Итак: —

Учреждение — есть. В нем есть Аполлон Аполлонович: верней «был», потому что он умер... —

— Я недавно был на могиле: над тяжелою черномраморной глыбою поднимается черномраморный восьмиконечный крест; под крестом явственный горельеф, высекающий огромную голову, исподлобья сверлящую вас пустотою зрачков; демонический, мефистофельский рот! Ниже — скромная подпись: «Аполлон Аполлонович Аблеухов — сенатор»... Год рождения, год кончины... Глухая могила!... —

— Есть Аполлон Аполлонович: есть в директорском кабинете: ежедневно бывает в нем, за исключением дней геморроя.

Есть, кроме того, в Учреждении кабинеты... задумчивости.

И есть просто комнаты; более всего — зал; столы в каждой зале. За столами писцы; на стол приходится пара их; перед каждым: перо и чернила и почтенная стопка бумаг; писец по бумаге поскрипывает, переворачивает листы, листом шелестит и пером верещит (думаю, что злое растение «вереск» происходит от верещания); так ветер осенний, невзгодный, который заводят ветра — по лесам, по оврагам; так и шелест песка — в пустырях, в солончаковых пространствах — оренбургских, самарских, саратовских; —

— тот же шелест стоял над могилой: грустный шелест берез; падали их сережки, их юные листья на черномраморный, восьмиконечный крест, и — мир его праху! —

Словом: есть Учреждение.

.....  
 Не прекрасная Прозерпина уносится в царство Плутона <sup>17</sup> чрез страну, где кипит белой пеной Коцит: <sup>18</sup> каждодневно уносится в Тартар <sup>19</sup> похищенный Хароном сенатор на всклоченных, взмыленных, вороногривых конях; над вратами печального Тартара бородастая повисает кариатида Плутона. Плещутся флегетоновы волны: <sup>20</sup> бумаги.

.....

В своем директорском кабинете Аполлон Аполлонович Аблеухов сидит ежедневно с напряженной височною жилою, заложив ногу на ногу, а жиловатую руку — за отворот скюртука; трещат поленья камина, шестидесятивосьмилетний старик дышит бациллою параграфа, то есть совокупленьем крючков; и дыхание это облетает громадное пространство России: ежедневно десятую часть нашей родины покрывает ветопыриное крыло облаков. Аполлон Аполлонович Аблеухов, осененный счастливою мыслию, заложив ногу на ногу, руку — за отворот скюртука, надувает тогда пузырем свои щеки; он тогда, будто дует (такова уж привычка); холодочки продувают по ветопленным залам; завиваются смерчевые воронки разнообразных бумаж; от Петербурга начинается ветер, на окраине где-нибудь разражается ураган.

Аполлон Аполлонович сидит в кабинете... и дует.

И сгибаются спины писцов; и листы шелестят: так бегают ветры — по суровым, сосновым вершинам... Потом втянет щеки; и все — шелестит: сухая, бумажная стая, как роковой листопад, разгоняется от Петербурга... до Охотского моря.

Раскидается холодная свистопляска — по полям, по лесам, по селам, чтоб гудеть, нападаты, хохотать, чтобы градом, дождем, гололедицей искусывать лапы и руки — птиц, зверей, подорожного путника, опрокидывать на него полосатые бревна шлахт-баумов, — полосатой верстой из канавы выскакивать на шоссе, надмеваться оскаленной цифрою, обнаруживать бездомность и бесконечность пути и протягивать мрачные мрежи из реющих мороков...

Север, север родимый!..

Аполлон Аполлонович Аблеухов — человек городской и вполне благовоспитанный господин: сидит у себя в кабинете в то время, как тень его, проницая камень стены... бросается в полях на прохожих: по свистом молодецким, разбойным она гуляет в пространствах — самарских, тамбовских, саратовских — в буераках и в желтых песчаниках, в чертополохах, в полыни, или в диком татарнике, обнажает песчаные лысины, рвет высоковерхие скирды, раздувает в овине подозрительный огонек; деревенский красный петух — от нее зарождается; ключевой самородный колодезь — от нее засоряется; как падет на посев вредоносными росами, — от него худеет посев; скот — гниет...

Умножает и роет овраги.<sup>21</sup>

Шутники сказали бы верно: не Аполлон Аполлонович, а... Аквилон Аполлонович.<sup>22</sup>

Умножение количества за день перед писцом пролетевшей бумаги, выдуваемой из дверей Учреждения, умножение этой бумаги на количество бумагу гонящих писцов образует произведение, то есть бумажное производство, вывозимое не возами, а фурами.

Под каждую бумагою подпись: «Аполлон Аблеухов».

Та бумага несется по железнодорожным ветвям от железнодорожного центра: от Санкт-Петербурга; и — до губернского города; растрепав свою

стаю по соответственным центрам, Аполлон Аполлонович творит в этих центрах новые очаги бумажного производства.

Обыкновенно бумага с (имя рек) подписью циркулирует до губернского управления; получают бумагу все статские (я разумею — советники): Чичибабины, Сверчковы, Шестковы, Тетерько, Иванчи-Иванчевские; от губернского города соответственно уже Иванчи-Иванчевский рассылает бумаги до городов: Мухоединска, Лихова, Гладова, Мороветринска и Пупинска (городов все уездных);<sup>23</sup> Козлородов, ассессор, тогда получает бумагу.

Вся картина меняется.

Козлородов, ассессор, получивший бумагу, должен бы тотчас сам усесться на бричку, на таратайку, или на тряские дрожки, чтобы заплести по колдобинам — чрез поля, чрез леса, по весям, по грязям, — и увязнуть медлительно в глинах или в бурых песках, подвергая себя нападению полосатых, приподнятых верст и полосатых шлахт-баумов (в пустырях Аполлон Аполлонович нападает на путников); вместо ж этого Козлородов просто сует в боковой свой карман запрос Иванчи-Иванчевского.

И идет себе в клуб.

Аполлон Аполлонович одинок: и так уже тысячарится он в верстах; и ему одному не поспеть; не поспеть и Иванчи-Иванчевским. Козлородовых — тысячи; за ними стоит обыватель, которого Аплеухов боится.

Поэтому Аполлон Аполлонович и секрушает лишь пограничные знаки своего кругозора: и места лишаются — Иванчевские, Тетерько, Сверчковы.

Козлородов бессменен.

Пребывая за пределами досягаемости — за оврагами, за колдобинами, за лесами — он винтит себе в Пупинске.

Хорошо еще, что пока он винтит.

## ОН ВИНТИТЬ ПЕРЕСТАЛ

Аполлон Аполлонович одинок.

Не поспекает он. И стрела его циркуляра не проникает уездов: ломается. Лишь, пронзенный стрелой, кое-где слетит Иванчевский; да Козлородовы на Сверчкова устроят облаву. Аполлон Аполлонович из Пальмиры,<sup>24</sup> из Санкт-Петербурга, разразится бумажною канонадой, — и (в последнее время) даст маху.

Обыватели бомбы эти и стрелы давно окрестили названием: мыльные пузыри.

Стрелометатель, — тщетно он слал зубчатую Аполлонову молнию;<sup>25</sup> переменилась история; в древние мифы не верят; Аполлон Аполлонович Аплеухов — вовсе не бог Аполлон: он — Аполлон Аполлонович, петербургский чиновник. И — тщетно стрелял в Иванчевских.



Бумажная циркуляция уменьшалась за все эти последние дни; ветер противный дул: пахнувшая типографским шрифтом бумага начинала подтачивать Учреждение — прошениями, предъявлениями, незаконной угрозой и жалобой; и так далее, далее: тому подобным предательством.

Ну и что же за гнусное обхождение в отношении к начальству циркулировало среди обывателей? Пошел прокламационный тон.

И — что это значило?

Очень многое: непроницаемый, недостижимый Козлородов, ассессор, где-то там, понаггел; и тронулся из провинций на Иванчи-Иванчевских: в одном пункте пространства толпа растащила на колья бревенчатый частокол, а... Козлородов отсутствовал; в другом пункте оказались повывбиты стекла Казенного Учреждения, а Козлородов — отсутствовал тоже.

От Аполлона Аполлоновича поступали проекты, поступали советы, поступали приказы: приказы посыпались залпами; Аполлон Аполлонович сидел в кабинете с надутую височную жилую все последние эти недели, диктуя за приказом приказ; и приказ за приказом уносился бешеной стреловидною молнией в провинциальную тьму; но тьма наступала; прежде только грозила она с горизонтов; теперь заливала уезды и хлынула в Пупинск, чтоб оттуда, из Пупинска, грозить губернскому центру, откуда, заливаемый тьмой, в тьму слетел Иванчевский.

В это время в самом Петербурге, на Невском, показалась провинциальная тьма в виде темной шапки манджурской; та шапка сроилась и дружно прошлась по проспектам; на проспектах дразнилась она кумачевою тряпкою (денек такой выдался): в этот день и кольцо многотрубных заводов перестало выкидывать дым.

Громадное колесо механизма, как Сизиф,<sup>26</sup> вращал Аполлон Аполлонович; по крутому подъему истории он пять лет катил колесо безостановочно вверх; лопались властные мускулы; но все чаще вытарчивал из-под мускулов власти ни чему не причастный костяк, то есть вытарчивал — Аполлон Аполлонович Аблеухов, проживающий на Английской Набережной.

Потому что воистину чувствовал он себя обглоданным костяком, от которого отвалилась Россия.

Правду сказать: Аполлон Аполлонович и до роковой этой ночи казался иным его наблюдавшим сановникам каким-то ободраным, снедаемым тайной болезнью, проткнутым (лишь в последнюю ночь он отек); ежедневно со стонами он кидался в карету цвета вороного крыла, в пальтеце цвета вороного крыла и в цилиндре — цвета воронова крыла; два вороногривых коня бледного уносили Плутона.

По волнам Флегетона несли его в Тартар: здесь, в волнах, он барахтался.

Наконец, — многими десятками катастроф (сменами, например, Иванчевских и событиями в Пупинске) флегетоновы волны бумаг ударились в колесо громадной машины, которую вращал; у Учреждения обнаружилась брешь — Учреждения, которых в России так мало.

Вот когда случился подобный, ни с чем не сравнимый скандал, как говорили впоследствии, — то из брэнного тела носителя бриллиантовых знаков в двадцать четыре часа улетучился гений; многие даже боялись, что он спятил с ума. В двадцать четыре часа — нет, часов в двенадцать, не более (от полуночи до полудня) — Аполлон Аполлонович Аблеухов стремительно полетел со ступенек служебной карьеры.

Пал он во мнении многих.

Говорили впоследствии, что тому причиною послужил скандал с его сыном: да, на вечер к Цукатовым еще прибыл муж государственной важности; но когда обнаружилось, что с вечера бежал его сын, обнаружили также и все недостатки сенатора, начиная с образа мыслей и кончая — росточком; а когда ранним утром появились сырые газеты и мальчишки-газетчики бегали по улицам с криками «Тайна Красного домино», то сомнения не было никакого.

Аполлон Аполлонович Аблеухов был решительно вычеркнут из кандидатского списка на исключительной важности ответственный пост.

Пресловутая заметка газеты — но вот она: «Чинами сыскной полиции установлено, что смущающие за последние дни толки о появлении на улицах Петербурга неизвестного домино опираются на несомненные факты; след мистификатора найден: подозревается сын высокопоставленного сановника, занимающего административный пост; полицией приняты меры».

С этого дня начался и закат сенатора Аблеухова.

Аполлон Аполлонович Аблеухов родился в тысяча восемьсот тридцать седьмом году (в год смерти Пушкина);<sup>27</sup> детство его протекало в Нижегородской губернии, в старой барской усадьбе; в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году он окончил курс в Училище Правоведения; в тысяча восемьсот семидесятом году был назначен профессором Санкт-Петербургского Университета по кафедре Ф... П...;<sup>28</sup> в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году состоял вице-директором, а в тысяча восемьсот девяностом — директором N. N. департамента; в следующем году был высочайшим указом он назначен в Правительствующий Сенат; в девятистаом году он стал во главе Учреждения.

Вот его *curriculum vitae*.

## УГОЛЬНЫЕ ЛЕПЕШКИ

Вот уже зеленоватое просветление утра, а Семеныч — не сомкнул за ночь глаз! Все-то он в каморке кряхтел, переворачивался, возился; нападала зевота, чесотка и — прости прегрешения наши, о, Господи! — чох; при всем эдаком — тому подобные размышления:

— «Анна Петровна-то, матушка, прибыла из Гишпании — пожаловала...»

Сам себе Семеныч про это:

— «Да-с... Отворяю я, етта, дверь... Вижу, так себе, посторонняя барыня... Незнакомая и в заграничном наряде... А она, етта, мне...»

— «Аааа...»

— «Етта мне...»

— «Прости прегрешения наши, о, Господи».

И валила зевота.

Уже и тетюринская проговорила труба (тетюринской фабрики): уже и свистнули пароходики; электричество на мосту: фук — и нет его... Сбросивши с себя одеяло, приподнялся Семеныч: большим пальцем ноги колупнул половик.

Распушукался.

— «Я ему: ваше, мол, высокопревосходительство, барин — так мол и так... А они, етта, — да...»

— «Никакого внимания...»

— «И барчонок-то ефат: от полу не видать... И — прости прегрешения наши, о, Господи! — белогубый щенок и сопляк».

— «Не बारे, а просто хамлеты...»

Так сам себе под нос Семеныч; и — опять головой под подушку; часы протекали медлительно; розоватенькие облачка, зрея солнечным блеском, высоко побежали над зреющей блеском Невой... А одеялом нагретый Семеныч — все-то он бормотал, все-то он тосковал:

— «Не बारे, а... химики...»

И как бацнула там, как там грохнула коридорная дверь: не воры ли?.. Авгиева-купца обокрали, Агниева-купца обокрали.

Приходили резать и молдаванина Хáху.

Сбросивши с себя одеяло, выставил он испариной покрытую голову; нáскоро вставив ноги в кальсоны, он с суетливо обиженным видом и с жующею челюстью выпрыгнул из разогретой постели и босыми ногами прошлепал в полное тайны пространство: в чернеющий коридор.

И — чтó же?

Щелкнула там задвижка у... ватер-клозета: его высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, барин, с зажженной свечкою оттуда изволил прошествовать, — в спальню.

Синее уж серело в коридоре пространство, и светились прочие комнаты; и искрились хрустали: половина восьмого; пес-бульдожка чесался и лапою цапал ошейник, и мордой оскаленной, тигровой, спину свою доставал.

— «Господи, Господи!»

— «Авгиева-купца обокрали!.. Агниева-купца обокрали!.. Хáху провизора резали!..»

. . . . .

Бешено просверкали лучи по хрустальному, звонкому, по голубому по небу.

Сбросивши с себя брючки, Аполлон Аполлонович АBLEУХОВ мешковато запутался в малиновых кистях, облекаясь в стеганный, полупротертый халатик мышинного цвета, выставляя из ярко-малиновых отворотов

непробритый свой подбородок (впрочем, вчера еще гладкий), весь истыканный иглистой и густой, совершенно белой щетиной, будто за ночь выпавшим инеем, оттеняющим и темные глазные провалы, и провалы под скулами, которые — от себя мы заметим — сильно поувеличились за ночь.

Он сидел, раскрыв рот, с распахнутой волосатою грудью у себя на постели, продолжительно втягивал и прерывисто выдыхал в легкие не проникающий воздух; поминутно щупал свой пульс и глядел на часы.

Видно, он мучился неразрешенной икотой.

И нисколько не думая о серии тревожнейших телеграмм, мчавшихся к нему отовсюду, ни о том, что ответственный пост от него ускользает навеки, ни — даже! — об Анне Петровне, — вероятно, он думал о том, о чем думалось перед раскрытой коробочкой черноватых лепешек.

То есть — он думал, что икота, толчки, перебои и стеснительное дыхание (жажда нить воздуха); вызывающие, как всегда, колотье и легкое щекотанье ладоней, у него случаются не от сердца, а — от развития газов.

О поднывающей левой руке и стреляющем левом плече все это время он старался не думать.

— «Знаете ли? Да это просто желудок!»

Так однажды старался ему объяснить камергер Сапожков, восьмидесятилетний старик, недавно скончавшийся от сердечной ангины.

— «Газы, знаете ли, распирают желудок: и грудобрюшная преграда сжимается... Оттого и толчки, и икота... Это все развитие газов...»

Как-то раз, недавно, в Сенате Аполлон Аполлонович, разбирая доклад, посинел, захрипел и был выведен; на настойчивое приставание обратиться к врачу он им всем объяснял:

— «Это, знаете, газы... Оттого и толчки».

Абсорбируя газы, черная и сухая лепешка иногда помогала ему, не всегда, впрочем.

• • • • •  
— «Да, это — газы», — и тронулся к... к...: было — половина девятого.

Этот звук и услышал Семеныч.

Вскоре после того — грохнула, бацнула коридорная дверь и издали прогудела другая; сняв с озябших колен полосатый свой плед, Аполлон Аполлонович Аблеухов снова тронулся с места, подошел к двери замкнутой спаленки, раскрыл эту дверь и выставил покрытое потом лицо, чтоб у самой двери наткнуться — на такое же точно покрытое потом лицо:

— «Это вы?»

— «Я-с...»

— «Что вам?»

— «Тут-с хожу...»

— «Аа: да, да... Почему же так рано...»

— «Приглядеть всюду надобно...»

— «Что такое, скажите?...»

- «? ..»
- «Звук какой-то...»
- «А что-с?»
- «Хлопнуло...»
- «А, это-то?»

Тут Семеныч рукой ухватился за край широчайшей кальсонины, неодобрительно покачал головой:

- «Ничего-с...»

Дело в том, что за десять минут перед тем с удивленьем Семеныч приметил: из барчукской из двери белобрысая просунулась голова: поглядела направо и поглядела налево, и — спряталась.

И потом — барчук проюрокнул попрыгунчиком к двери старого барина.

Постоял, подышал, покачал головой, обернулся, не приметив Семеныча, прижатого в теновом углу коридора; постоял, еще подышал, да головой — к свет пропускающей скважине: да — как прилипнет, не отрываясь от двери! Не по-барчукски барчук любопытствовал, не каким-нибудь был, — не таковским...

Что такой за подглядыватель? Да и потом — нечистойно как будто.

Хоть бы он там присматривал не за каким за чужим, кто бы мог утаиться — присматривал за своим, за единокровным папашенькою; мог бы, кажется, присматривать за здоровьем; ну, а все-таки: чуялось, что тут дело не в сыновних заботах, а так себе: праздности ради. А тогда выходило одно: шелапыга!

Не лакеем каким-нибудь был — генеральским сынком, образованным на французский манер. Тут стал гымкать Семеныч.

Барчук же, — как вздрогнет!

— «Сюртучок», — сказал он в сердцах, — «мне скорей пообчистите...»

Да от папашинной двери — к себе: просто какая-то шелапыга!

— «Слушаюсь», — неодобрительно прожевал губами Семеныч, а сам себе думал:

— «Мать приехала, а он экую рань — „почистите сюртучок“».

— «Нехорошо, неприлично!»

— «Просто хамлеты какие-то... Ах ты, Господи... подсматривать в щелку!»

Все это закопошилось в мозгах старика, когда он, ухватившись за края слезавших штанов, неодобрительно качал головой и двусмысленно бормотал себе под нос:

- «А? .. Это-то? .. Хлопнуло: это точно...»
- «Что хлопнуло?»
- «Ничего-с: не изволите беспокоиться...»
- «? ..»
- «Николай Аполлонович...»
- «А?»
- «Уходя хлопнули дверью: себе ушли спозаранку...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов на Семеныча посмотрел, собирался что-то спросить, да себе промолчал, но... старчески пережевывал ртом; при воспоминании о незадолго протекшем здесь неудачнейшем объяснении с сыном (это было ведь утро после вечера у Цукатовых) под углами губы обиженно у него поотвисли мешочки из кожи. Неприятное впечатление это, очевидно, Аполлону Аполлоновичу претило достаточно: он гнал его.

И, робея, просительно поглядел на Семеныча:

— «Анну Петровну-то старик все-таки видел... С ней — как-никак — разговаривал...»

Эта мысль промелькнула назойливо.

— «Верно, Анна Петровна-то изменилась... Похудела, сдала; и, поди, поседела себе: стало больше морщинок... Порасспросить бы как-нибудь осторожно, обходом...»

— «И — нет, нет!...»

Вдруг лицо шестидесятивосьмилетнего барина неестественно распалось в морщинах, рот оскалился до ушей, а нос ушел в складки.

И стал шестидесятилетний — тысячелетним каким-то; с надсадою, переходящей в крикливость, эта седая развалина принялась насильственно из себя выжимать каламбурик:

— «А... ме-ме-ме... Семеныч... Вы... ме-ме... босы?»

Тот обиженно вздрогнул.

— «Виноват-с, вапше высокопр...»

— «Да я... ме-ме-ме... не о том», — силился Аполлон Аполлонович сложить каламбурик.

Но каламбурика он не сложил и стоял, упираясь глазами в пространство; вот чуть-чуть он присел, и вот выпалил он чудовищность:

— «Э... скажите...»

— «?»

— «У вас — желтые пятки?»

Семеныч обиделся:

— «Желтые, барин, пятки не у меня-с: все у них-с, у длинноносых китайцев-с...»

— «Хи-хи-хи... Так, может быть, розовые?»

— «Человеческие-с...»

— «Нет — желтые, желтые!»

И Аполлон Аполлонович, тысячелетний, дрожащий, приземистый, туфлей топнул настойчиво.

— «Ну, а хотя бы и пятки-с?.. Мозоли, ваше высокопревосходительство — они все... Как наденешь башмак, и сверлит тебе, и горит...»

Сам же он думал:

— «Э, какие там пятки?.. И в пятках ли, стало быть, дело?.. Сам-то вишь, старый гриб, за ночь глаз не сомкнувши... И сама-то поблизости тут, в ожидательном положении... И сын-то — хамлетист... А туды же — о пятках!.. Вишь ты — желтые... У самого пятки желтые... Тоже — „особа“!...»

И еще пуще обиделся.

А Аполлон Аполлонович, как и всегда, в каламбурах, в нелепицах, в шуточках (как, бывало, найдет на него) выказывал просто настырство какое-то: иногда, бодрясь, становился сенатор (как никак — действительный тайный, профессор и носитель бриллиантовых знаков) — непоседою, вертуном, приставадой, дразнилой, походя в те минуты на мух, лезущих тебе в глаза, в ноздри, в ухо — перед грозой, в душный день, когда сизая туча томительно вылезает над липами; мух таких давят десятками — на руках, на усах — перед грозой, в душный день.

— «А у барышни-то — хи-хи-хи... А у барышни...»

— Что у барышни?»

— «Есть...»

Экая непоседа!

— «Что есть-то?»

— «Розовая пятка...»

— «Не знаю...»

— «А вы посмотрите...»

— «Чудак, право барин...»

— «Это у нее от чулочек, когда ножка вспотеет».

И не окончивши фразы, Аполлон Аполлонович Аблеухов, — действительный тайный советник, профессор, глава Учреждения, — туфлями протоптал к себе в спальню; и — щёлк: заперся.

Там, за дверью, — осел, присмирел и размяк.

И беспомощно стал озираться: э, да как же он помельчал! Э, да как же он засутулился? И — казался неравноплечим (будто одно плечо перебито). К колотившемуся, к болевшему боку — то и дело жалась рука.

Да-с!..

Тревожные донесения из провинции... И, знаете ли, — сын, сын!.. Так себе — отца опозорил... Ужасное положение, знаете ли...

Эту старую дуру, Анну Петровну, обобрали: какой-то негодяй-скомо-рох, с тараканьими усиками... Вот она и вернулась!..

Ничего-с!.. Как-нибудь!..

Восстание, гибель России... И уже — собираются: покусились... Какой-нибудь абитуриент<sup>29</sup> там с глазами и усиками врывается в стародворянский, уважаемый дом...

И потом — газы, газы!..

Тут он принял лепешку...

Перестает быть упругой пружина, перегруженная гирями; для упругости есть предел; для человеческой воли есть предел тоже; плавится и железная воля; в старости разжижается человеческий мозг. Нынче грянет мороз, — и снежная, крепкая куча прыскает самосветящейся искрой; и из морозных снежинок сваяет человеческий блистающий бюст.

Оттепель прошумит — пробурееет, проточится куча: вся одрябнет, ослизнет; и — сядет.

Аполлон Аполлонович Аблеухов мерз еще в детстве: мерз и креп; под морозною, столичною ночью — круче, крепче, грознее казался блистающий бюст его, — самосветящийся, искристый, восходящий над северной ночью всего более до того гниловатого ветерка, от которого пал его друг, и который в течение последнего времени запалил ураганом.

Аполлон Аполлонович Аблеухов восходил до урагана; и — после...

Одинок, долго и гордо стоял под палящим жерлом урагана Аполлон Аполлонович Аблеухов — самосветящийся, оледенелый и крепкий; но всему положен предел: и платина плавится.

Аполлон Аполлонович Аблеухов в одну ночь просутулился; в одну ночь развалился он и повис большой головой; и его, упругого, как пружина, свалило; а бывало? Недавно еще на безморщинистом профиле, вызывающе брошенном под небеса навстречу напастям, трепыхались красивые светочи пламени, от которого... могла... загореться... Россия!..

Но прошла всего ночь.

И на огненном фоне горящей Российской Империи вместо крепкого золотомундирного мужа оказался — геморроидальный старик, стоящий с распахнутой, прерывисто-дышащей волосатой грудью, — непробритый, нечесанный, потный, — в халате с кистями, — он, конечно, не мог править бег (по ухабам, колдобинам, рытвинам) нашего раскачавшегося государственного колеса!..

Фортуна ему изменила.

Конечно же, — не события личной жизни, не отъявленный негодяй, его сын, и не страх пасть под бомбою, как падает простой воин на поле, не приезд там какой-нибудь Анны Петровны, малоизвестной особы, не успевающей ни на каком ровно поприще — не приезд там Анны Петровны (в черном, штопаном платье и с ридикюльчиком), и вовсе не красная тряпка превратили носителя сверкающих бриллиантовых знаков просто в талую кучу.

Нет — время...

Видывали ли вы уже впадающих в детство, но все еще знаменитых мужей — стариков, которые столетия отражали стойко удары — белокудрых (чаще же лысых) и в железо борьбы закованных предводителей?

Я видел их.

В собраниях, в заседаниях, на конгрессах они взлезали на кафедру в белоснежных крахмалах и лоснящихся своих фраках с надставными плечами; сутуловатые старики с отвисающими челюстями, со вставными зубами, беззубые —

— видел я —

— продолжали еще по привычке ударять по сердцам, на кафедре овладевая собою.

И я видел их на дому.

Со слабоумною суетою шепоточком мне в ухо кидая больные, тупые остроты, в сопровождении нахлебников, они влачили в кабинет и слювяво там хвастались полочкой собрания сочинений, переплетенных



в сафьян, которую и я когда-то почитывал, которую угощали они и меня, и себя.

Мне грустно!

Ровно в десять часов раздавался звонок: отпирал не Семеныч; кто-то там проходил — в комнату Николая Аполлоновича; там сидел, там оставил записку.

### Я ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАЮ

Ровно в десять часов Аполлон Аполлонович откушал кофе в столовой.

В столовую он, как мы знаем, вбегал — ледяной, строгий, выбритый, распространяя запах одеколона и соразмеря кофе с хронометром; и царская туфлями пол, к кофею он приволокся в халате сегодня: ненадушенный, невыбранный.

От половины девятого до десяти часов пополуночи он просидел, запершись.

На корреспонденцию не взглянул, на приветствия слуг, вопреки обычаю, не ответил; а когда слюнявая морда бульдога ему легла на колени, то ритмически шамкавший рот —

Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой — 30

— то ритмически шамкавший рот поперхнулся лишь кофеем:  
— «Э... послушайте: уберите-ка пса...»

Пощипывая и кроша французскую булочку, окаменевающими глазами уставлялся в черную, кофейную гущу.

В половине двенадцатого Аполлон Аполлонович, будто вспомнивши что-то, засуетился, заерзал; беспокойно глазами забегал он, напоминая серую мышь; вскочил, — и бисерными шажками, дрожа, припустился в кабинетную комнату, обнаруживши под распахнутойполой халата полузастегнутые кальсоны.

В кабинетную комнату вскоре заглянул и лакей, чтоб напомнить, что поданы лошади; заглянул — и как вкопанный остановился он на пороге.

С изумлением рассматривал он, как от полочки к полочке по бархатистым, всюду тут разостланным коврикам Аполлон Аполлонович перекатывал тяжелую кабинетную лесенку, — охая, кряхтя, спотыкаясь, потя, — и как он взбирался по лесенке, как с опасностью для собственной жизни он, вскарабкавшись, на томах пальцем пробовал пыль; увидавши лакея, Аполлон Аполлонович пожевал брезгливо губами, ничего не ответил на упоминанье о выезде.

Хлопая переплетом по полке, он потребовал тряпок.

Два лакея принесли ему тряпок; тряпки эти пришлось ему передать на полотерной вверх приподнятой щетке (он наверх к себе не пустил ни-

кого, да и сам не спустился); два лакея взяли по стеариновой свечке; два лакея стали по обе стороны лесенки с вверх протянутой окаменевшей рукою.

— «Поднимите-ка свет... Да не так... И не эдак... Э, да — выше же еще повыше...»

К этому времени из-за заневских строений повыклубились клочкастые облака, понавалились хмурые войлоковидные клубы их; бил в стекла ветер; в зеленоватой, нахмуренной комнате господствовал полусумрак; был ветер; и повыше, повыше тянулись две стеариновых свечи по обе стороны лесенки, убегаящей к потолку; там из пыльного облака, из-под самого потолка копошились полы мышиного цвета и болтались малиноватые кисти.

— «Ваше високовство!»

— «Ваше ли дело?..»

— «Извольте себя утруждать...»

— «Помилуйте... Где это видано...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов, действительный тайный советник, там из облака пыли и вовсе не мог их расслышать: какое там! Позабыв все на свете, тряпкою обтирал корешки, ожесточенно похлопывал он томами по перекладам лесенки; и — под конец расчихался:

— «Пыль, пыль, пыль...»

— «Ишь-ты... Ишь-ты!..»

— «А ну-ка я... тряпкою: так-с, так-с, так-с...»

— «Очень хорошо-с!..»

И кидался на пыль с грязной тряпкой в руке.

Был тревожный треск телефона: трезвонило Учреждение; но из желтого дома ответили на тревожный треск телефона:

— «Его высокопревосходительство?.. Да... Изволят откушивать кофе... Доложим... Да... Лошади поданы...»

И вторично трещал телефон; на вторичный треск телефона вторично ответили:

— «Да... да... Все еще сидят за столом... Да уж мы доложили... Доложим... Лошади поданы...»

Ответили и на третий, уже негодующий треск:

— «Никак нет-с!»

— «Занимаются разборкою книг...»

— «Лошади?»

— «Поданы...»

Лошади, постояв, отправились на копошню; кучер сплюнул: выругаться он не посмел...

• • • • •

— «Протру-ка я!»

— «Ай, ай, ай!.. Не угодно ли видеть?»

— «Апчхи...»

И дрожащие желтые руки, вооруженные томами, колотились по полке.

• • • • •

В передней продребезжали звонки: продребезжали прерывисто; проговорило молчание между двумя толчками звонков; напоминанием молчание это — напоминанием о чем-то забытом, родном — пролетело пространство лакированных комнат; и — непрошенно вошло в кабинет; старое, старое — тут стояло; и — подымалось по лесенке.

Ухо выставилось из пыли, голова повернулась:

— «Слышите?.. Слушайте...»

Мало ли кто мог быть?

Оказаться мог: тот — Николай Аполлонович, ужаснейший негодяй, беспутник, лгунишка; оказаться мог: этот — Герман Германович, с бумагами; или там — Котоши-Котошинский; или, пожалуй, граф Нольден: оказаться, впрочем, могла — ме-ме-ме — и Анна Петровна...

Дзззкнуло.

— «Неужели не слышите?»

— «Ваше высокопревосходительство, как не слышать: там отворят, небось...»

На дребезжание лишь теперь отозвались лакеи; каменья, они еще продолжали светить.

Только бродивший по коридору Семеныч (все-то он бормотал, все-то он тосковал), перечисляющий скуки ради направления в шифоньере принадлежностей барского туалета: — «Северо-восток: черные галстуки и белые галстуки... Воротнички, манжеты — восток... Часы — север» — только бродивший по коридору Семеныч (все-то он бормотал, все-то он тосковал), только он — насторожился, встревожился, протянул свое ухо по направлению к дребезжавшему звуку; затоптал в кабинет.

Боевой, верный конь отзывается так на звук рога:

— «Я осмелюсь заметить: звонят...»

Не отзывались лакеи.

Каждый вытянул свою свечку — под потолок; из-под самого потолка, с верхушки лестницы, голая голова просунулась в пыльных клубах; отозвался надтреснутый, разволнованный голос:

— «Да! И я тоже слышал».

Аполлон Аполлонович, оторвавшийся от толстого, переплетенного тома, — он один отозвался:

— «Да, да, да...»

— «Знаете ли...»

— «Звонят... звонки...»

Невыразимое тут, но обоим что-то понятное, знать они учуяли оба, потому что вздрогнули — оба: «торопитесь — бегите — спешите!..»

— «Это барыня...»

— «Это — Анна Петровна!»

Торопитесь, бегите, спешите: дребезжало опять!

Тут лакеи поставили свечки и протопали в темнеющий коридор (первый протопал Семеныч). Из-под самого потолка в зеленоватом освещении петербургского утра Аполлон Аполлонович Аблеухов — серая мышья-

ная куча — беспокойно заерзал глазами; задыхаясь, кое-как стал сползать, покряхтывая, привалившись к перекладинам лестницы волосатую грудью, плечом и щетинистым подбородком; сполз — да как пустится мелкою дробью по направлению к лестнице с грязною подтиральной тряпкой в руке да с распахнутой полой халата, протянувшейся в воздухе фантастическим косяком. Вот споткнулся, вот стал, задышал и пальцем нащупывал пульс.

А по лестнице подымался уже господин с пушистыми бакенбардами, в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией, в ослепительно белых манжетах, с аннинскою звездой на груди, почтительно предводимый Семенычем; на подносике, чуть дрожащем в руках старика, лежала глянцевитая визитная карточка с дворянской короной.

Аполлон Аполлонович с запахнутой полой халата, суетливо выглядывал из-за статуи Ниобеи на сановитого, пушистого старика.

Право же, походил он на мышь.

## БУДЕШЬ ТЫ, КАК БЕЗУМНЫЙ

Петербург — это сон.

Коли ты во сне бывал в Петербурге, ты без сомнения знаешь тяжелосный подъезд: там дубовые двери с зеркальными стеклами; стекла эти прохожие видят; но за стеклами этими никогда не бывают они.

Тяжкоглавая медная булава разблесталась беззвучно из-за зеркала стекол тех.

Там — покатое, восьмидесятилетнее плечо: оно снится годами тем случайным прохожим, для которых все — сон и которые — сон; на покатое это плечо восьмидесятилетнего старика падает и темная треуголка; восьмидесятилетний швейцар так же ярко блистает оттуда и серебряным галуном, напоминая служителя из бюро похоронных процессий при отправлении службы.

Так бывает всегда.

Тяжелая медноглавая булава мирно покоится на восьмидесятилетнем плече швейцара; и увенчанный треуголкой швейцар засыпает года над «Биржевкой». Потом встанет швейцар и распахнет дверь. Днем ли, утром ли, под вечер ли ты пройдешься мимо дубовой той двери — днем, утром, под вечер ты увидишь и медную булаву; ты увидишь галун; ты увидишь — темную треуголку.

С изумлением остановишься ты пред все тем же видением. То же видел ты и в свой прошлый приезд. Пять лет уже протекло: проволновались глухо события; уж проснулся Китай; и пал Порт-Артур; желтолицымы наводняется приамурский наш край; пробудились сказания о железных всадниках Чингиз-Хана.

Но видение старых годин неизменно, бессменно: восьмидесятилетнее плечо, треуголка, галун, борода.

Миг, — коль тронется белая за стеклом борода, коль огромная прокачается булава, коль сверкнут ослепительно серебристые галуны, как бегущие с желобов ядовитые струйки, угрожающие холерой и тифом жителю подвального этажа, — коли будет все то, и изменятся старые годы, будешь ты, как безумный, кружиться по петербургским проспектам.

Ядовитая струйка из желоба обольет мозглым холодом октября.

Если б там, за зеркальным подъездом, стремительно просверкала бы тяжкоглавая булава, верно б, верно бы здесь не летали б холеры и тифы: не волновался б Китай; и не пал Порт-Артур; приамурский наш край не наводнялся бы косыми; всадники Чингиз-хана не восстали бы из своих многосотлетних гробов.

Но послушай, прислушайся: топоты... Топоты из зауральских степей. Приближаются топоты.

Это — железные всадники.

Застывая года над подъездом черно-серого, многоколонного дома, та же все повисает кариаида подъезда: густобородый, каменный колосс.

С грустною тысячелетней усмешкою, с темною пустотою день проникающих глаз повисает года он: повисает томительно; упадает сто лет карниз балконного выступа на затылок бородача и на локти каменных рук. Иссеченным из камня виноградным листом и кистями каменных виноградив проросли его чресла. Крепко в стену вдавились чернокопытные, козлоподобные ноги.

Старый, каменный бородач!

Улыбался он многие годы над уличным шумом, приподымался он многие годы над летами, зимами, веснами — круглыми завитушками орнаментной лепки. Лето, осень, зима: снова — лето и осень; тот же он; и летом он — пористый; обледенелый, зимой истекал он ледышками; веснами от ледышек тех и сосулук протекала капель. Но он — тот же: его мигуют года.

Самое время по пояс кариаиде.

Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою стрелою проспекта. На его бороде уселась ворона: однозвучно каркает на проспект; этот скользкий, мокрый проспект отливает металлическим блеском; в эти мокрые плиты, так невесело озаренные октябрёвским деньком, отражаются: зеленоватый облачный рой, зеленоватые лица прохожих, серебристые струйки, вытекающие из рокочущих желобов.

Каменный бородач, поднятый над вихрем событий, дни, недели, года подпирает подъезд Учреждения.

• . . . . .

Что за день!

С утра еще стали бить, стрекотать, пришепetyвать капельки; от взморья пер серый туманистый войлок; парами проходили писцы; отворял им швейцар в треуголке; они вешали свои шляпы и сырые одежды на вешалках, пробегали по красного сукна ступеням, пробегали они беломра-

морным вестибюлем, поднимали глаза на министерский портрет; и шли по нетопленным залам — к своим холодным столам. Но писцы не писали: писать было нечего; из директорского кабинета не приносилась бумага; в кабинете не было никого; в камине растрещались поленья.

Над суровым, дубовым столом лысая голова не напряжилась височными жилами; не глядела она исподлобья туда, где в камине текли резвой стаей васильки угарного газа: в одинокой той комнате все же праздно в камине текли огоньки угарного газа над каленою грудю растрещавшихся огоньков; разрывались там, отрывались и рвались — красные петушинные гребни, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтоб сливаться над крышами с гарью, с отравленной копотью и бессменно над крышами повисать удушающей, разъедающей мглой. В кабинете не было никого.

Аполлон Аполлонович в этот день не прошествовал в директорский кабинет.

Уже надоело и ждать; от стола к столу перепархивал недоумевающий шепот; слухи реяли; и — мерещились мороки; в вице-директорском кабинете трещала труба телефона:

— «Выехал ли?.. Быть не может?.. Доложите, что необходимо присутствие... быть не может...»

И вторично трещал телефон:

— «Докладывали?.. Все еще сидит за столом?... Доложите, что время не терпит...»

Вице-директор стоял с дрожащею челюстью; недоумевающе разводил он руками; через час — полтора он спустился по бархатным ступеням в высочайшем цилиндре. Распахнулись двери подъезда... Он прыгнул в карету.

Через двадцать минут, поднимаясь по ступенькам желтого дома, он с изумлением видел, как Аполлон Аполлонович Аблеухов, его ближайший начальник, с запахнутой полкой гадкого, мышиного цвета халата суетливо выглядывал на него из-за статуи Ниобеи.

— «Аполлон Аполлонович», — выкрикнул седовласый, аннинский кавалер, из-за статуи увидавши щетинистый подбородок сенатора, и поспешно стал оправлять большой шейный орден под галстухом.

— «Аполлон Аполлонович, да вот вы как, вот вы где? А я-то вас, мы-то вас, мы-то к вам — трезвонили, телефонили. Ждали — вас...»

— «Я... ме-ме-ме», — зажевал сутулый старик, — «разбираю свою библиотеку... Извините уж, батюшка», — прибавил ворчливо он, — «что я так, по-домашнему».

И руками он показал на свой драный халат.

— «Что это, вы больны? Э, э, э — да вы будто опухли... Э, да это отеки?» — почтительно прикоснулся гость к пылью покрытому пальцу.

Свою грязную подтиральную тряпку Аполлон Аполлонович уронил на паркет.

— «Вот не вóвремя-то изволили расхвораться... А я к вам с известием... Поздравляю вас: всеобщая забастовка — в Мороветринске...»

— «С чего это вы?.. Я... ме-ме-ме... Я здоров», — тут лицо старика недовольно распалось в морщины (известие о забастовке принял он равнодушно: видимо, он более ничему удивиться не мог). — «и пожалуйста: завелась, знаете, пыль»...

— «Пыль?»

— «Так я ее — тряпкой».

Вице-директор с пушистыми баками почтительно теперь наклонился перед этою сугуловатой развалиной и пытался все приступить к изложению чрезвычайно важной бумаги, которую он в гостиной перед собой разложил на перламутровом столике.

Но Аполлон Аполлонович снова его перебил:

— «Пыль, знаете, содержит микроорганизмы болезней... Так я ее — тряпкой...»

Вдруг эта седая развалина, только что севшая в кресле ампир, стремительно привскочила, рукой опираясь о ручку; пальцем уткнулась в бумагу стремительно другая рука.

— «Что это?»

— «Как я вам докладывал только что...»

— «Нет-с, позвольте-с...» — К бумаге Аполлон Аполлонович ожесточенно припал: помолодел, побелел, стал — бледнорозовым (красным быть он не мог уже).

— «Постойте!.. Да они походили с ума?.. Нужна моя подпись? Под какой подписью?!»

— «Аполлон Аполлонович...»

— «Подписи я не дам».

— «Да ведь — бунт!»

— «Сменить Иванчевского...»

— «Иванчевский сменен: вы — забыли?»

— «Подписи я не дам...»

Аполлон Аполлонович с помолодевшим лицом, с неприлично распахнутойполой халата шлепал взад и вперед по гостиной, спрятав за спину руки, опустив низко лысину: подойдя вплотную к изумленному гостю, он забрызгал слюной:

— «Как могли они думать? Одно дело — твердая, административная власть, а другое дело... — нарушение прямых, законных порядков».

— «Аполлон Аполлонович», — урезонивал аннинский кавалер, — «вы человек твердый, вы — русский... Мы надеялись... Нет, вы конечно подпишитесь...»

Но Аполлон Аполлонович завертел подвернувшийся карандаш между двумя костяшками пальцев; остановился, зорко как-то взглянул на бумагу: переломался, треснувши, карандаш; взволнованно он теперь перевязывал кисти халата с гневно дрожащею челюстью.

— «Я, батюшка, человек школы Плеве... Я знаю, что делаю... Яйца кур не учат...»

— «Ме-емме... Я не дам своей подписи».

Молчание.

— «Ме-емме... Ме-емме...»

И надул пузырем свои щеки...

Господин с пушистыми бакенбардами недоумевающе спускался по лестнице; для него было ясно: карьера сенатора Аблеухова, создаваемая годами, рассыпалась прахом. По отъезде вице-директора Учреждения Аполлон Аполлонович продолжал расхаживать в сильном гневе среди кресел ампир. Скоро он удалился; скоро вновь появился: он под мышкою тащил тяжеловесную папку бумаг на перламутровый столик, припадая папкою и плечом к все еще болевшему боку; положивши перед собой эту папку бумаг, Аполлон Аполлонович позвонился и приказал немедленно перед собою развести огонек.

Из-за нотабен, вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за уже последней работы на каминный огонь поднималась мертвая голова; губы сами себе бормотали:

— «Ничего-с... Так себе...»

Закипела, и от себя отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром дохнувшая груда — малиновая, золотая; угольями порассыпались поленья.

Лысая голова поднялась на камин с сардоническим, с усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами, воображая, как теперь летит от нее через слякоть взбешенный, окончательный карьерист, предложивший ему, Аблеухову, просто подлую сделку с ничем не запятнанной совестью.

— «Я, мои судари, человек школы Плева... И я знаю, что делаю... Так-то-с, судари...»

Остро отточенный карандаш — вот он прыгает в пальцах; остро отточенный карандаш стаями вопросительных знаков упал на бумагу; это ведь последнее его дело; через час будет дело это окончено; через час в Учреждение затрещит — в телефон: с уму непостижимым известием.

Подлетела карета к кариадиде подъезда, а кариадида — не двинулась: бородач — старый, каменный, подпирающий подъезд Учреждения.

Тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал декабрьскими днями; отбушевали они; пробушевали январские дни так недавно: это был — девятьсот пятый год.

Каменный бородач!

Все бывало под ним и все под ним быть перестало. То, что он видел, не расскажет он никому.

Помнит и то, как осаживал кучер свою кровную пару, как клубился дым от тяжелых конских задов; генерал в треуголке, в крылатой, бобром обшитой шинели, грациозно выпрыгивал из кареты и при криках «ура» пробегал в открытую дверь.

После же, при криках «ура» генерал попирал пол балконного выступа белолосинной ногою. Имя то утаит бородач, подпирающий карниз балконного выступа; каменный бородач и доселе знает то имя.



Но о нем не расскажет он.

Никому, никогда не расскажет он о слезах сегодняшней проститутки, приютившейся ночью под ним на ступенях подъезда.

Не расскажет он никому о недавних наездах министра: был тот в цилиндре; и была у него в глазах — зеленоватая глубина; поседевший министр, выходя из легоньких санок, гладил коленный ус серой шведской перчаткой.

Он потом стремительно пробегал в открытую дверь, чтоб задумываться у окон.

Бледное, бледное лицевое пятно, прижатое к стеклам, выдавалось — оттуда вон; не угадал бы случайный прохожий, глядя на это пятно, в том прижатом пятне — не угадал бы случайный прохожий в том прижатом пятне повелительного лица, управляющего отсюда российскими судьбами.

Бородач его знает; и — помнит; но рассказать — не расскажет — никому, никогда!..

Пора, мой друг, пора; покоя сердце просит...  
Бегут за днями дни, и каждый день уносит  
Частицу бытия; а мы с тобой вдвоем  
Располагаем жить; а там — глядь: и умрем.<sup>31</sup>

Так говаривал своему одинокому другу поседевший, одинокий министр, теперь почивающий.

И нет его — п Руть покинул он,  
Взнесенну им...<sup>32</sup>

И — мир его праху... . . . . .

Но швейцар с булавой, засыпающий над «Биржевкой», измученное лицо звал хорошо: Вячеслава Константиновича,<sup>33</sup> слава Богу, в Учреждении еще помнят, а блаженной памяти императора Николая Павловича в Учреждении уж не помнят: помнят белые залы; колонны, перила.

Помнит каменный бородач.

Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою ль стрелю проспекта, иль над горькой, соленой, чужой — человеческою слезой?

На свете счастья нет, а есть покой и воля...  
Давно желанная мечтается мне доля:  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.<sup>34</sup>

Приподымается лысая голова, — мефистофельский, блеклый рот старчески улыбается вспышкам; вспышками пробагровеет лицо; глаза — опламененные все же; и все же — каменные глаза: синие — и в зеленых провалах! Холодные, удивленные взоры; и — пустые, пустые. Мороками поразились времена, солнца, света. Вся жизнь — только морок. Так стоит ли? Нет, не стоит:

— «Я, судари мои, школы Плева... Я, судари мои... Я — ме-ме-ме...»  
 Падают лысая голова.

В Учреждении от стола к столу перепархивал шепот; вдруг дверь отворилась: пробежал к телефону чиновник с совершенно белым лицом.

— «Аполлон Аполлонович... выходит в отставку...»

Все вскочили; расплакался столоначальник Легонин; и возникло все это: идиотский гул голосов, ног неровные топоты, из вице-директорской комнаты вразумительный голос; и — треск телефона (в департамент девятый); вице-директор стоял с дрожащею челюстью; в руке его кое-как плясала телефонная трубка: Аполлон Аполлонович Аблеухов, собственно, уже не был главой Учреждения.

Через четверть часа, в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией седовласый вице-директор с аннинской звездой на груди уже отдавал приказания; через двадцать минут свежесвыбритый и волнением молодеющий лик пронесил он по залам.

Так совершилось событие неопишуемой важности.

## ГАДИНА

Закипевшие воды канала бросились к тому месту, где с оголтелых пространств Марсова Поля ветер ухал в суками стонавшую чашу: что за страшное место!

Страшное место увенчивал великолепный дворец; вверх протянутой башнею напоминал он причудливый замок: розово-красный, тяжелокаменный; венценосец проживал в стенах тех; не теперь это было; венценосца того уже нет.<sup>35</sup>

Во царствии Твоем помяни его душу, о, Господи!

Розово-красный дворец выступал своим вверх протянутым верхом из гудящей гущи узловатых, совершенно безлистных суков; суки протянулись там к небу глухими порывами и, качаясь, ловили бегущие хлопья туманов; каркая, вверх стрельнула ворона; взлетела, прокачалась над хлопьями, и обратно низринулась.

Пролетка пересекала то место.

Полетели навстречу два красненьких, маленьких домика, образовавших подобие выездной арки на площади перед дворцом;<sup>36</sup> слева площади древесная куча угрожала гудением; и будто наваливалось кренящимися верхами стволов; шпич высокий вытарчивал из-за туманистых хлопьев.

Конная статуя вычернялась неясно с отуманенной площади; проезжие посетители Петербурга этой статуе не уделяют внимания; я всегда подолгу простаиваю перед ней: великолепная статуя!<sup>37</sup> Жалко только, что какой-то убогий пасмешник при последнем проезде моем золотил ее цоколь.

Своему великому прадеду соорудил эту статую самодержец и правнук,<sup>38</sup> самодержец проживал в этом замке; здесь же кончились его не-

счастливые дни — в розовокаменном замке; он не долго томился здесь; он не мог здесь томиться; меж самодурною суетой и порывами благородства разрывалась душа его; из разорванной этой души отлетел младенческий дух.

Вероятно, не раз появлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна; вон окошко — не из этого ль? И курносая в локонах голова томительно дозировала пространства за оконными стеклами; и утопали глаза в розовых угасаниях неба; или же: упирались глаза в серебряную игру и в кипения месячных отблесков в густолиственной куще; у подъезда стоял павловец-часовой в треугольной шапке с полями и брал ружьем на караул при выходе золотогрудного генерала в андреевской ленте,<sup>39</sup> направлявшегося к золотой, расписанной акварелью карете; красно-пламенный высился кучер с приподнятых козел; на запятках кареты стояли губастые негры.

Император Павел Петрович, окинувши взглядом все это, возвращался к сентиментальному разговору с кисейно-газовой фрейлиной, и фрейлина улыбалась; на ланитах ее обозначались две лукавые ямочки, и — черная мушка.

В роковую ту ночь в те же стекла втекало лунное серебро, падая на тяжелую мебель императорской опочивальни; падало оно на постель, озолощая лукавого, мечущего искры амурчика; и на бледной подушке вырисовывался будто тушью набросанный профиль; где-то били куранты; откуда-то намечались шаги... Не прошло и трех мгновений — и постель была смята: в месте бледного профиля отенялась вдавлива голова; простыни были теплы; опочившего — не было; кучечка белокудерных офицеров с обнаженными пашками наклонила головы к опустевшему ложу; в запертую дверь сбоку ломились; плакался женский голос; вдруг рука розовогубого офицера приподняла тяжелую оконную штору; из-под спущенной кисеи, на окне, в сквозном серебре — там дрожала черная, тощая тень.

А луна продолжала струить свое легкое серебро, падая на тяжелую мебель императорской спальни; падало оно на постель, озолощая блеснувшего с изголовья амурчика; падало оно и на профиль, смертельно белый, будто прочерченный тушью... Где-то били куранты; в отдалении отовсюду топотали шаги.<sup>40</sup>

Николай Аполлонович бессмысленно озирает это мрачное место, не замечая и вовсе, что бритая физиономия его везущего подпоручика от времени и до времени поворачивалась на своего, с позволения заметить, соседа; взгляд, которым окидывал подпоручик Лихутин свою везомую жертву, казался исполненным любопытства; непокойно вертелся он всю дорогу; всю дорогу толкался он боком. Николай Аполлонович понемногу догадывался, что Сергею Сергеевичу его касаться нелегко... хотя бы и боком; и вот он пихался, награждая попутчика мелкой дробью толчков.

В это время ветер сорвал с Аблеухова итальянскую шляпу с полями, и произвольным движением этот последний поймал ее на коленях

у Сергея Сергеевича; на мгновение он прикоснулся и к костенеющим пальцам, но пальцы Сергея Сергеевича дрогнули и с явным гадливым испугом отскочили вдруг вбок; угловатый локоть задвигался. Подпоручик Лихутин теперь, вероятно, испытывал не прикосновение к коже знакомого и, можно сказать, закадычного товарища детства, а... гадины, которую... пришивают... на месте...

Аблеухов заметил тот жест; в свой черед стал с испугом присматриваться и он к своему товарищу детства, с кем он был когда-то на ты; этот ты, Сережка, то есть Сергей Сергеевич Лихутин, со времени их последнего разговора помолодел, ну, право, — лет на восемь, именно превратившись в «Сережку» из Сергея Сергеевича; но теперь-то уж этот «Сережка» с подобострастием не внимал парениям аблеуховской мысли, как во время оно, на бузине, в старом дедовском парке тому назад — восемь лет; прошло восемь лет; и все восемь лет изменили: бузина сломалась давно, а он... — подобострастно поглядывал он на Сергея Сергеевича.

Их неравные отношения опрокинулись; и все, все — пошло в обратном порядке; идиотский вид, пальцецо, толчки угловатого локтя и прочие жесты нервозности, прочитанные Николаем Аполлоновичем, как жесты презрения, — все, все это наводило на грустные размышления о превратности человеческих отношений; наводило на грустные размышления и это ужасное место: розово-красный дворец, дико воющий и в небо вороной стреляющий сад, два красненьких домика и конная статуя; впрочем, сад, замок, статуя уже остались у них за плечами.

И Аблеухов осунулся.

— «Вы, Сергей Сергеевич, оставляете службу?»

— «А?»

— «Службу...»

— «Как видите...»

И Сергей Сергеевич на него поглядел таким взором, как будто он доселе не знал Аблеухова; он его оглядел от головы и до ног.

— «Я бы вам, Сергей Сергеевич, посоветовал приподнять воротник: у вас простужено горло, а при этой погоде, в самом деле, ничего не стоит — легко...»

— «Что такое?»

— «Легко схватить жабу».

— «И по вашему делу», — глухо буркнул Лихутин; раздалось его суетливое фырканье.

— «?»

— «Да я не о горле... Службу я оставляю по вашему делу, то есть не по вашему делу, а именно: благодаря вам».

— «Намек», — чуть было не воскликнул Николай Аполлонович и поймал снова взгляд: на знакомых так никогда не глядят, а глядят так, пожалуй, на небывалое заморское диво, которому место в кунсткамере<sup>41</sup> (не в пролетке, не на проспекте — тем более...).

С видом таким прохожие вскидывают глаза на слонов, иногда проводимых поздно вечером в городе, — от вокзала до цирка; вскинут глаза, отшатнутся, и — не поверят глазам; дома будут рассказывать:

— «Верите ли, мы на улице повстречали слона!»

Но все над ними смеются.

Вот такое вот любопытство выражали взоры Лихутина; не было в них возмущенности; была, пожалуй, гадливость (как от соседства с удавом); ползучие гадины ведь не вызовут гнева — просто их пришибут, чем попало: на месте...

Николай Аполлонович соображал поручиком процеженные слова о том, что службу покидает поручик — из-за него одного; да, — Сергей Сергеевич Лихутин и потеряет возможность состоять на государственной службе после того, что сейчас случится там между ними обоими; квартира-то, очевидно, будет пуста (в ней гадина и будет раздавлена)... Произойдет такое, такое... Николай Аполлонович не на шутку тут струсил; он заерзал на месте и — и: все его десять пальцев, дрожащих, холодных, вцепились в рукав подпоручика.

— «А?.. Что это?.. Почему это вы?»

Промаячил тут домик, домик кисельного цвета, снизу доверху обставленный серою лепною работою: завитушками рококо (может быть, некогда послуживший пристанищем для той самой фрейлины с черной мушкой, с двумя лукавыми ямочками на лилейных ланитах).

— «Сергей Сергеевич... Я, Сергей Сергеевич... Я должен признаться вам... Ах, как я сожалею... Крайне, крайне печально: мое поведение... Я, Сергей Сергеевич, вел себя... Сергей Сергеевич... позорно, плачевно... Но у меня, Сергей Сергеевич, оправдание — есть: да, есть, есть оправдание. Как человек просвещенный, гуманный, как светлая личность, не как какой-нибудь, Сергей Сергеевич, — вы сумеете все понять... Я не спал эту ночь, то есть, я хотел сказать, страдаю бессонницей... Доктора нашли меня», — унизились он до лганья, — «то есть мое положение — очень-очень опасным... Мозговое переутомление с псевдогаллюцинациями, Сергей Сергеевич (почему-то вспомнились слова Дудкина)... Что вы скажете?»

Но Сергей Сергеевич ничего не сказал: без возмущения посмотрел; и была во взгляде гадливость (как от соседства с удавом); гадины не вызывают ведь гнева: их... пришибают... на месте...

— «Псевдогаллюцинации...», — умоляюще затвердил Абреухов, перепуганный, маленький, косопалый, залезая глазами в глаза (глаза глазам не ответили); он хотел объясниться немедленно; и — здесь, на извозчике: объясниться здесь — не в квартирке; и так уже не далек роковой тот подъезд; если же до подъезда не сумеют они прийти в соглашение с офицером, то — все, все, все: будет кончено! Кон-че-но!! Произойдет убийство, оскорбление действием, или просто случится безобразная драка:

— «Я... я... я...»

— «Сходите: приехали...»

Николай Аполлонович поглядывал перед собой оловянными, неморгающими глазами — поглядывал на синеватые тумана клоки, откуда все хлюпали капельки, закружившие на булькнувших лужах металлические пузыри.

Подпоручик Лихутин, соскочивший на тротуар, бросил деньги извозчику и теперь стоял перед пролеткой, ожидая сенаторского сынка; этот что-то замешкался.

— «Погодите, Сергей Сергеевич: тут со мной была палка... Ах? Где опа? Неужели же я выронил палку?»

Он действительно отыскивал палку; но палка пропала бесследно; Николай Аполлонович, совершенно бледный, обеспокоенно поворачивал во все стороны умоляющие глаза.

— «Ну? Что же?»

— «Да палка».

Голова Аблеухова глубоко ушла в плечи, а плечи качались; рот же криво раздвинулся; Николай Аполлонович поглядывал перед собой оловянными, неморгающими глазами на синеватые тумана клоки; и — ни с места.

Тут Сергей Сергеевич Лихутин стал сердито, нетерпеливо дышать; он, схватив Аблеухова за рукав, хотя деликатно, но крепко, принялся осторожно высаживать его из пролетки, возбуждая явное любопытство домашнего дворника, — принялся высаживать, как товарами переполненный тюк.

Но ссаженный Николай Аполлонович так и вцепился ногтями Лихутину в руку: как они пройдут в эту дверь, — в темноте рука-то ведь может, пожалуй, принять неприличную позу по отношению к его, Николаю Аполлоновича, щеке; в темноте-то ведь не отскочишь; и — конечно: телодвижение совершится; род Аблеуховых опозоренным навеки останется (их никогда не бивали).

Вот и так уже подпоручик Лихутин (вот бешеный!) свободно ухватился рукою за ворот итальянской накидки; и Николай Аполлонович стал белей полотна.

— «Я пойду, пойду, Сергей Сергеевич...»

Каблуком инстинктивно он уткнулся в бока приподъездной ступеньки; впрочем, он тотчас одумался, чтобы не казаться посмешищем.

Хлопнула подъездная дверь.

## ТЬМА КРОМЕШНАЯ

Тьма кромешная охватила их в неосвещенном подъезде (так бывает в первый миг после смерти); тотчас же в темноте раздалось пыхтение подпоручика, сопровождаемое мелким бисером восклицаний.

— «Я... вот здесь стоял: вот-вот — здесь стоял... Стоял, себе, знаете...»

— «Это так-то вы, Николай Аполлонович?.. Это так-то вы, сударь мой?..»

— «В совершенно нервном припадке, повинуюсь болезненным ассоциациям представлений...»

— «Ассоциациям?.. Почему же ни с места вы?.. Как сказали-то — ассоциациям?..»

— «Врач сказал... Э, да что вы подтаскиваете? Не подтаскивайте: я ходить умею и сам...»

— «А вы что хватаетесь за руку?.. Не хватайтесь, пожалуйста», — раздалось уже выше...

— «И не думаю...»

— «Хватаетесь...»

— «Я же вам говорю...», — раздалось еще выше...

— «Врач сказал, — врач сказал: редкое такое — мозговое расстройство, такое-такое: домино и все подобное там... Мозговое расстройство...», — пропищало уже откуда-то сверху.

Но еще где-то выше неожиданный упитанный голос громогласно воскликнул:

— «Здравствуйте!»

Это было у самой двери Лихутиных.

— «Кто тут такое?»

Сергей Сергееч Лихутин из совершеннейшей тьмы недовольно возвысил свой голос.

— «Кто тут такое?», — возвысил голос свой и Николай Аполлонович с огромнейшим облегчением; вместе с тем он почувствовал: ухватившаяся за него оторвалась, упала — рука; и — щелкнула облегчительно спичка.

Незнакомый, упитанный голос продолжал возглашать:

— «А я стою себе тут... Звонюсь, звонюсь — не отпирают. И, скажите пожалуйста: знакомые голоса».

Когда чиркнула спичка, то обозначились пухо-белые пальцы со связкою роскошнейших хризантем; а за ними, во мраке, обозначилась и статная фигура Вергефдена — почему это он был здесь в этот час.

— «Как? Сергей Сергеевич?»

— «Обрились?..»

— «Как!.. В штатском...»

И тут сделавши вид, что Аблеухов замечен впервые им (Аблеухова, скажем мы от себя, заметил он тотчас), он чиркнул спичкой и с высоко приподнятыми бровями на него стал Вергефден выглядывать из-за качавшихся в руке хризантем.

— «И Николай Аполлонович тут?.. Как ваше здоровье, Николай Аполлонович?.. После вчерашнего вечера я, признаться, подумал... Вам ведь было не по себе?.. С балу вы как-то шумно исчезли?.. Со вчерашнего вечера...»

Снова чиркнула спичка; из цветов уставились два насмешливых глаза: знал прекрасно Вергефден, что Николай Аполлонович не вхож в Лихути-

ский дом; видя его, столь явно влекомого к двери, по соображениям светских приличий Вергефден заторопился:

— «Я не мешаю вам?.. Дело в том, что я на минуточку... Мне и некогда... Мы по горло завалены... Аполлон Аполлонович, батюшка ваш, поджидает меня... По всем признакам ожидается забастовка... Дел — по горло...»

Ему не успели ответить, потому что дверь отворилась стремительно; перекрашленная полотняная бабочка показалась из двери, — бабочка, сидящая на чепце.

— «Маврушка, я не вбóремя?»

— «Пожалуйте, барыня дома-с...»

— «Нет, нет, Маврушка... Лучше уж вы передайте цветы эти барыне... Это долг», — улыбнулся он Сергею Сергеичу, пожимая плечами, как пожимает плечами и улыбается мужчина мужчине после дня, проведенного совместно в светском обществе дам...

— «Да, мой долг перед Софьей Петровной — за количество сказанных фифок...»

И опять улыбнулся: и — спохватился:

— «Ну так прощайте, дружище. Adieu, Николай Аполлонович: вид у вас переутомленный, нервозный...»

Дробью вниз упали шаги; и оттуда, с нижней площадки, еще раз долетало:

— «И нельзя же все с книгами...»

Николай Аполлонович чуть было вниз не крикнул:

— «Я, Герман Германович, тоже... И мне пора восвосяси... Не подороге ли нам?»

Но шаги упали, и — бац: хлопнула дверь.

Тут Николай Аполлонович почувствовал вновь себя одиноким; и вновь — схваченным; да, — на этот раз окончательно; схваченным перед Маврушкой. На лице его написался тут ужас, на лице же Маврушки — недоумение и перепуг, в то время как какая-то откровенная сатанинская радость совершенно отчетливо написалась на лице подпоручика; обливаясь испариной, из кармана он вытащил свободной рукою носовой свой платок — тиская, прижимая к стенке, таща, увлекая, подталкивая другою свободной рукою отбивающуюся фигурку студента.

В свою очередь: отбивающаяся фигурка оказалась гибкой, как угорь; в свою очередь, эта фигурка, сама собой отбиваясь, от двери отскакивала — прочь-прочь; подталкиваемая, — отталкивалась она и оттискивалась она; так, попав ногой в муравейник, мы отжакиваем инстинктивно, видя тысячи красненьких муравьев, заметавшихся суетливо на ногою продавленной куче; и от кучи исходит тогда отвратительный шелест; неужели же некогда привлекательный дом превратился для Nicolas Аблеухова — в ногою продавленный муравейник? Что могла подумать тут изумленная Маврушка?

Был-таки Николай Аполлонович втолкнут.



— «Пожалуйста, милости просим...»

Был-таки втолкнут; но в прихожей он, соблюдая последние крохи достоинства, озирая желтую знакомую под дуб вешалку и у ящика перед зеркалом озирая ту же перебитую ручку, заметил:

— «Я к вам... собственно... ненадолго...»

И свой плащ чуть было не отдал он Маврушке (фу — парового отопления жар и запах); и — розовый кимоно!.. Пропорхнул атласный кусок его из прихожей в соседнюю комнату: кусок самой Софьи Петровны; точнее — платья Софьи Петровны... .

Не было времени думать.

Плащ не был отдан, потому что Сергей Сергеевич Лихутин, повернувшись под руки Маврушке, отрывисто просипел:

— «В кухню...»

И без соблюдения элементарных приличий радушного хозяина дома Сергей Сергеевич пропихнул широкополую шляпу и разлетевшийся по воздуху плащ прямо в комнату с Фудзи-Ямами. Нечего прибавлять, что под шляпой с полями и под складками разлетевшегося плаща разлетелся в ту комнату и обладатель плаща, Николай Аполлонович.

Николай Аполлонович, влетая в столовую, на одно мгновение увидел пробегающий в дверь: кимоно; и — захлопнулась дверь за куском кимоно.

Николай Аполлонович проехался через комнату с Фудзи-Ямами, не заметивши здесь никакой существенной перемены, не заметивши следов штукатурки на полосатом, пестром ковре; под ногами она надавилась — после случая; ковры потом чистили; но следы штукатурки остались. Николай Аполлонович ничего не заметил: ни следов штукатурки, ни переплета осыпавшегося потолка. Поворачивая рта трусливый оскал на его влекущего палача, он внезапно заметил... —

Там дверь приоткрылась — из Софьи Петровниной комнаты, там в дверную щель просунулась голова: Николай Аполлонович только и видел — два глаза: в ужасе глаза на него повернулись из потока черных волос.

Но едва на глаза повернулся он, как глаза от него отвернулись; и раздалось восклицание:

— «Ай, ай!»

Софья Петровна увидела: меж альковом покрытый испариной подпорочик по коврам и паркетам влачился с крылатою жертвою (Николай Аполлонович в плаще казался крылатым), покрытый испариной тоже, — с жертвою, у которой из-под крыльев плаща пренеприлично болталась зеленая брюка, выдавая предательски штрипку.

— «Тррр» — волочились по ковру его каблучки; и ковер покрылся морщинками.

В это время Николай Аполлонович и повернул свою голову, и, увидевши Софью Петровну, плаксиво он ей прокричал:

— «Оставьте нас, Софья Петровна: между мужчинами полагается это», — в это время слетел с него плащ и пышно упал на кушетку фантастическим двукрылым созданием.

— «Тррр» — волочились по ковру его каблуки.

Ощутив громадную встряску, на мгновенье в пространстве Николай Аполлонович взвесился, дрыгая ногами, и... — отделилась от его головы, мягко шлепнувши, широкополая шляпа. Сам же он, дрыгая ногами и описывая дугу, грянулся в незапертую дверь плотно закрытого кабинета; подпорочник уподобился тут праще, а Николай Аполлонович уподобился камню: камнем грянулся в дверь; дверь раскрылась: он пропал в неизвестности.

## ОБЫВАТЕЛЬ

Наконец Аполлон Аполлонович встал.

Обеспокоенно как-то он стал озираться; оторвался от пачечек параллельно положенных дел: нотабен, параграфов, вопросительных, восклицательных знаков; замирая, дрожала и прыгала рука с карандашиком — над пожелтевшим листом, над перламутровым столиком; лобные кости натужились в одном крепком упорстве: понять, что бы ни было, какую угодно цену.

И — понял.

Лакированная карета с гербом уже более не подлетит к старой, каменной кариатиде; там, за стеклами, навстречу не тронутся: восьмидесятилетнее плечо, треуголка, галун и медноглавая булава; из развалин не сложится Порт-Артур; но — взволнованно встанет Китай; чу — прислушайся: будто топот далекий; то — всадники Чингиз-хана.

Аполлон Аполлонович прислушался: топот далекий; нет, не топот: там проходит Семеныч, пересекая холодные великолепия разблеставшихся комнат; вот он входит, озираясь, проходит; видит — треснуло зеркало: поперек его промерцала зигзагами серебряная стрела; и — застыла навеки.

Проходит Семеныч.

Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры с неизменной перспективой Невы: зеленоватым роем там неслись облака; они сгущались порою в желтоватый дым, припадающий к взморью; темная, водная глубина сталью своих чешуй плотно билась в граниты; в зеленоватый рой убегал неподвижный шпич... с Петербургской Стороны. Аполлон Аполлонович обеспокоенно стал озираться: эти стены! Здесь он засядет надолго — с перспективой Невы. Вот его домашний очаг; окончилась служебная деятельность.

Что же?

Стены — снег, а не стены! Правда, немного холодные... Что ж? Семейная жизнь; то есть: Николай Аполлонович, — ужаснейший, так сказать...; и — Анна Петровна, ставшая на старости лет... просто Бог знает кем!

Ме-емме...

Аполлон Аполлонович крепко сжал свою голову в пальцах, убегая

взглядом в растрещавшийся и жаром дохнувший камин: праздная мозговая игра!

Она убежала — убежала за грани сознания: там она продолжала вздыматься в рой хаотических клубов; и вспомнился Николай Аполлонович — небольшого росточку с какими-то пытливо-синими взорами и с клубком (должно отдать справедливость) многообразнейших умственных интересов, перепутанных дбнельзя.

И — вспомнилась девушка (это было, тому назад, — тридцать лет); рой поклонников; среди них еще сравнительно молодой человек, Аполлон Аполлонович Аблеухов, уже статский советник и — безнадежный вздыхатель.

И — первая ночь: ужас в глазах оставшейся с ним подруги — выражение отвращения, презрения, прикрытое покорной улыбкой; в эту ночь Аполлон Аполлонович Аблеухов, уже статский советник, совершил гнусный, формой оправданный акт: изнасиловал девушку; насильничество продолжалось года; а в одну из ночей зачат был Николай Аполлонович — между двух разнообразных улыбок: между улыбками похоти и покорности; удивительно ли, что Николай Аполлонович стал впоследствии сочетанием из отвращения, перепуга и похоти? Надо было бы тотчас же им приняться за совместное воспитание ужаса, порожденного ими: очеловечивать ужас.

Они же его раздували...

И раздувши до крайности ужас, поразбежались от ужаса; Аполлон Аполлонович — управлять российскими судьбами; Анна ж Петровна — удовлетворять половое влечение с Манталини (итальянским артистом); Николай Аполлонович — в философию; и оттуда — в собрания абитуриентов несуществующих заведений (ко всем этим усикам!). Их домашний очаг превратился теперь в запустение мерзости.

В эту-то опустевшую мерзость он теперь возвратится; вместо Анны Петровны он встретится с запертою лишь дверью, ведущей в ее апартаменты (если Анна Петровна не возымеет желания возвратиться — в опустевшую мерзость); от апартаментов ключ находится у него (в эту часть холодного дома заходил он — два раза: посидеть; оба раза схватил он там насморк).

Вместо ж сына увидит он моргающий, ускользящий глаз — огромный, пустой и холодный: василькового цвета; не то — воровской; а не то — перепуганный дбнельзя; ужас будет там прятаться — тот самый ужас, который у новобрачной всхливал в ночь, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, статский советник, впервые...

И так далее, и так далее...

По оставлению им государственной службы эти парадные комнаты, вероятно, позакроются тоже; стало быть, останется коридор с прилегающими — комнатами для него и комнатами для сына; самая его жизнь ограничится коридором: будет шлепать там туфлями; и — будут: газетное чтение, отправление органических функций, ни с чем не сравнимое место, предсмертные мемуары и дверь, ведущая в комнаты сына.

Да, да, да!

Подглядывать в замочную скважину; и — отскакивать, услышавши подозрительный шорох; или — нет: в соответственном месте провертеть шилом дырочку; и — ожидание не обманет: жизнь застенная сына перед ним откроется с точно такую же точностью, с какой открывается взору часовой разобранный механизм. Вместо государственных интересов его встретят новые интересы — с этого обсервационного пункта.

Это все — будет:

— «Доброе утро, папаша!»

— «Доброго, Коленька, утра!»

И — разойдутся по комнатам.

И — тогда, и — тогда: дверь замкнувши на ключ, он приложится к проверченной дырочке, чтобы видеть и слышать и порою дрожать, прерывисто вздрогнуть — от огненной, обнаруженной тайны; тосковать, бояться, подслушивать: как они открывают душу друг другу — Николай Аполлонович и незнакомец тот, с усиками; ночью, сбросивши с себя одеяло, будет он выставлять покрытую испариной голову; и, обсуждая подслушанное, будет он задыхаться от сердечных толчков, разрывающих сердце на части, принимать лепешки и бегать... к ни с чем не сравнимому месту: по коридору отшлепывать туфлями вплоть до... нового утра.

— «Доброе утро!»

— «Так-с, Коленька...»

Вот — жизнь обывателя!

Неодолимое стремление повлекло его в комнату сына; робко скрипнула дверь: открылась приемная комната; остановился он на пороге; весь — маленький, старенький; тербил дрожащей рукою малиновые кисти халата, обозревая нескладицу: и клетку с зелеными попугаями, и арабскую табуретку с инкрустациями из слоновой кости и меди; и видел — нелепицу: во все стороны поразвились с табуретки кипящие красные складки пышно павшего домино, будто бьющиеся огни и льющиеся оленье рога — прямо под голову пятнистому леопарду, распластанному на полу, с оскаленной головой; Аполлон Аполлонович постоял, пожевал губами, почесал будто инеем обсыпанный подбородок и с омерзением сплюнул (историю этого домино он ведь знал); шутовское и безголовое, раскидалось оно атласными полами и безрукими рукавами; на суданской ржавой стреле была повешена масочка.

Аполлону Аполлоновичу показалось, что — душно: вместо воздуха в атмосфере был разлит свинец; точно тут передумывались ужасные, нестерпимые мысли... Неприятная комната!.. И — тяжелая атмосфера!

Вот — страдальчески умехнувшийся рот, вот — глаза василькового цвета, вот — светом стоящие волосы: облеченный в мундир с чрезвычайно тонкою талией и сжимая в руке белолайковую перчатку, Николай Аполлонович, чисто выбритый (может быть, надушенный), при шпаге, страдал из-за рамы: Аполлон Аполлонович внимательно посмот-

рел на портрет, писанный последней минувшей весной, и — прошествовал в соседнюю комнату.

Незапертый письменный стол поразил внимание Аполлона Аполлоновича: там был выдвинут ящичек; Аполлон Аполлонович возымел инстинктивное любопытство (рассмотреть его содержание); быстрыми шагами подбежал он к письменному столу и схватил — огромный на столе забытый портрет, который он завертел с глубочайшей задумчивостью (рассеянность отвлекла его мысль от содержания ящичка); портрет изображал какую-то даму — брюнетку. . .

Рассеянность проистекала от созерцания одной высокой материи, потому что материя эта развернулась в мыслительный ход, по которому устремился сенатор; этот ход не имел ничего общего с комнатой сына, ни со стоянием в комнате сына, куда Аполлон Аполлонович, вероятно, проник машинально (неодолимое стремление — машинальный воступок); машинально потом опустил он глаза и увидел, что рука его вертит уже не портрет, а какой-то тяжелый предмет, в то время как мысль обзирает тот тип государственных деятелей, которые в просторечии имеют быть названы карьеристами, с представителем коих он имел несчастье объясняться недавно: при покойном министре были они солидарны с ним, а теперь они его — Аблоухова — собираются. . .

Что собираются?

Тяжелый предмет напоминал по форме сардинницу; он был вытасчен рукой сенатора машинально; машинально схватил Аполлон Аполлонович кабинетный портрет, а очнулся от мысли — с круглогранным предметом: и в нем что-то дзакнуло; менее всего тут сенатор вспомнил о бездне (мы над бездною часто пьем кофе со сливками),<sup>42</sup> но рассматривал круглогранный предмет с величайшим вниманием, наклонив над ним голову и слушая тикание часиков: часовой механизм — в тяжелой сардиннице. . .

Предмет ему не понравился. . .

Предмет с собой он понес для более детального рассмотрения — чрез коридор в гостиную комнату, — склонив над ним голову и напоминая серую, мышиную кучу; в это время он думал о все том же типе государственных деятелей; люди этого типа для защиты себя от ответственности защищаются пустейшими фразами, вроде «как известно», когда ничего еще не известно, или: «наука нас учит», когда наука не учит (мысль его всегда струила какие-то яды на враждебную партию). . .

Аполлон Аполлонович пробежал с предметом к тому краю гостиной, где на львиных ногах подвинулся инкрустированный столик; чопорно со стола поднималась там длинноногая бронза; на китайский лаковый он подносик положил тяжелый предмет, наклоня лысую голову, над которою ламповый абажур расширялся стеклом бледно-фиолетовым и расписанным тонко.

Но стекло потемпело от времени; и тонкая роспись потемнела от времени тоже.

. . . . .

## НЕДООБЪЯСНИЛСЯ

Николай Аполлонович, влетев в кабинетик Лихутина, грянулся каблуками со всего размаху о пол; сотрясение это передалось в затылок; задрожали поджилки; он невольно упал на колени, протрамбовывая темно-зеленым сукном неприятно скользкий паркет; и — ушибся.

Упал и... —

— тотчас привскочил, тяжело дыша и хромая, бросился с перепугу к дубовому тяжелому креслу, представляя собой мешковатую и довольно смешную фигуру с дрожащею челюстью, с явно дрожащими пальцами и с единственным инстинктивным стремлением — поспеть: поспеть ухватиться за кресло, чтобы в случае нападения сзади торопливо забегать вокруг кресла, перелетая туда и сюда за туда и сюда перелетающим, беспощадным противником, все движения которого напоминали конвульсии страдающих водобоязнью людей; поспеть ухватиться за кресло!..

Или же, вооружившись тем креслом, опрокинуть противника, и пока тот забьется под тяжелыми дубовыми ножками, броситься поскорее к окну (лучше грохнуться из второго этажа на улицу, разбив вдребезги стекла, чем оставаться наедине с... с...).

Тяжело дыша и хромая, бросился он к дубовому креслу.

Но едва добежал он до кресла, как горячее дыхание подпоручика обожгло ему шею; обернувшись, он успел разглядеть перекошенный блеклый рот и пятипалую руку, готовую упасть на плечо: багровеющее от бешенства лицо, лицо мстителя, с напряженными жилами на него уставилось окаменевающим глазом; в том безобразном лице не узнал бы никто мягкого лица подпоручика, уравновешенно отпускающего за фи фкою фи фку. Пятипалая не рука, а громадная лапа, непременно упала бы Абреухову на плечо, изломавши плечо; но он вовремя перепрыгнул через кресло.

Пятипалая лапа упала на кресло.

И треснуло кресло; наземь грохнуло кресло; раздался над ушами — неповторяемый, никогда еще не услышанный, нечеловеческий звук:

— «Потому что тут обречена погибнуть человеческая душа!»

И угловатое тело полетело за отлетевшей фигуркою; из слюной брызнувшего ротового отверстия пачкою растрещавшихся хрипов вырывались, клокотали и рвались тонкие, петушьи ноты — безголосые и какие-то красные...

— «Потому что... я... вмешался... понимаете? Во все это дело... Дело... это... Понимаете?... Дело это такое... Дело мое сторона... То есть нет: не сторона... Да понимаете ли?..»

И обезумевший подпоручик, настигнувши жертву, приподнял над согнувшейся в три погибели фигуркою, ожидавшей затрешины, две трепетавших ладони (под согбенной спиною все тщила фигурка укрыть свою потную голову), нервно сжала в кулаки, повисая всем корпусом

над ежившимся у него под руками комочком из мускулов; комочек же с трусливо оскаленным ртом изгибался и кланялся, повторяя все ритмы рук и защищая ладонью свою правую щеку:

— «Понимаю, понимаю... Сергей Сергеевич, успокойтесь», — выпикивало из комочка, — «да тише же, умоляю вас, тише: голубчик, да умоляю же вас...»

Этот комочек из тела (Николай Аполлонович пятился, изогнутый естественно) — этот комочек из тела семенил на двух подогнутых ножках; и не к окну — от окна (окно отрезывал подпоручик); в то же время в окне видел этот комочек — (как ни странно, это все же был Николай Аполлонович) — и трубу торчавшего парходика; видел он за каналом — крышу мокрую дома; над крышею была огромная и холодная пустота...

Он дотянулся до угла и — представьте себе: свинцовые пятипалые руки ему упали на плечи (одна рука, скользнувши по шее, обожгла его шею сорокаградусным жаром); так что он опустился — в углу на карачках, обливаясь, как лед, холодной испариной.

Уже он собирался зажмуриться, заткнуть уши, чтоб не видеть полумного багрового лика и не слушать выкриков петушиного, безголосого голоса:

— «Ааа... Дело... где каждый порядочный человек, где... ааа... каждый порядочный человек... Что я сказал? Да — порядочный... должен вмешаться, пренебрегая приличием, общественным положением...»

Было странно слушать бессвязное чередование все же осмысленных слов при бессмыслице всех черт, всех движений; Николай Аполлонович думал:

— «Не крикнуть ли, не позвать ли?»

Нет, чего там кричать; и кого позовешь там; нет — поздно; закрыть глаза, уши; миг — и все будет кончено; бац: кулак ударился в стену над головой Аbbleухова.

Тут на миг приоткрыл он глаза.

Перед собой он увидел: две ноги были так широко расставлены (он сидел на карачках ведь); головокружительная мысль — и: не обсуждая последствий, с трусливо оскаленным, будто смеющимся ртом, с белолыбыными, растрепавшимися волосами Николай Аполлонович стремительно прополз между двух широко расставленных ног; привскочил, — и без мысли прямо бросился к двери (прометнулся в окне оловянный край крыши), но... пятипалые, прикосновением жгущие лапы ухватили с позором его за скрюченную фалду; рванули: закрала дорога материя.

Кусок оторванной фалды отлетел как-то вбок:

— «Постойте... Постойте... Я... я... я... вас... не убью... Оставайтесь... Вам не угрожает насилие...»

И Николай Аполлонович был грубо отброшен; он спиной ударился в угол; он стоял там в углу, тяжело дыша, почти плача от тяжелого безобразия происшедшего; и казалось, что его волосы — не волосы, а какие-то светлые светлости на багровом фоне прокопченных кабинетных

обой; и его темно-васильковые обычно глаза теперь казались черными от огромного, холодного перепуга, потому что он понял: бесновался над ним не Лихутин, не оскорбленный им офицер, не даже враг, удушаемый мстительным бешенством, а... буйно помешанный, с которым разговаривать невозможно; этот буйно помешанный, обладающий колоссальной силой мускулов, теперь на него не кидался; но, вероятно, кинется.

А этот буйно помешанный, повернувшись спиной (тут бы его и прихлопнуть), подошел на цыпочках к двери; и — дверь щелкнула: по ту сторону двери раздались какие-то звуки — не то плач, не то шарканье туфель. И — все смолкло. Отступление было отрезано: оставалось окно.

В запертой комнатухе молча они задышали: отцеубийца и полумный.

В комнате с обвалившейся штукатуркою было пусто; перед захлопнутой дверью лежала мягкая шляпа с полями, а с кушетки свисало крыло фантастического плаща; но когда в кабинетике глухо грохнуло кресло, то с противоположной стороны, из Софьи Петровниной комнаты, заскрипев, распахнулась дверь; и оттуда протопала туфлями Софья Петровна Лихутина в водопаде за спину ей упавших черных волос; сквозной шелковый шарф, напоминая текучую светлость, проволочился за нею; на крошечном Софьи Петровнином лобике обозначалась так явственно складка.

Она подкралась в замочной скважине двери; она присела у двери; она глядела и видела: только две пары переступающих ног да две... панталонные штрипки; ноги протопали в угол; ноги не обозначались нигде, но из угла, клокоча, вырывались тихие хрипы и точно булькало горло: неповторяемый, петушиный, нечеловеческий шепот. И ноги протопали снова; у самого Софьи Петровнина глаза, по ту сторону двери, раздался металлический звук защелкиваемого замка.

Софья Петровна заплакала, отскочила от двери и увидела — передник да чепчик: это Маврушка у нее за спиной закрывала лицо белоснежным чистым передником; и — Маврушка плакала:

— «Что же это такое?.. Голубушка, барыня?..»

— «Я не знаю... Ничего я не знаю... Что же это такое?.. Что там они делают, Маврушка?»

Половина третьего пополудни.

В одиноком своем кабинете над суровым дубовым столом приподымается лысая голова, лешая на жесткой ладони; и — глядит исподлобья туда, где в камине текут резвой стаей васильки угарного газа над каленою грудой растрещавшихся угольков, и где отрываются, разрываются, рвутся — красные петушиные гребни — едкие, легкие, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтобы слиться над крышами с гарью, с отравленной копотью, и бессменно висеть удушающей, разъедающей мглой.

Приподнимется лысая голова, — мефистофельский блеклый рот старчески улыбается вспышкам; вспышками пробагровеет лицо; глаза —



опламененные все же; и все ж — каменные глаза: синие — и в зеленых провалах! Из них глянула холодная, огромная пустота; к ним прильнула, глядит из них, не отрываясь от мороков; мороком перед ней расстилается этот мир.

Холодные, удивленные взоры; и — пустые, пустые: мороками поражгли времена, солнца, свету; от времен побежала история вплоть до этого мига, когда —

— лысая голова, легшая на жесткой ладони, приподнялась над столом и глядит исподлобья огромную, холодную пустотой, — туда, где в камине текут резвой стаей васильки угарного газа над каленою грудой растрещавшихся угольков. Круг замкнулся.

Что́ это было?

Аполлон Аполлонович припоминал, где он был, что́ случилось меж двумя мгновеньями мысли; меж двумя движеньями пальцев с завертевшимся карандашиком; остро отточенный карандашик — вот он прыгает в пальцах.

— «Так себе... Ничего...»

И отточенный карандашик стаями вопросительных знаков падает на бумагу.

Бормоча Бог весть что́, полоумный продолжал все кидаться; бормоча Бог весть что́, продолжал топотать: продолжал шагать по диагонали душного кабинетика. Николай Аполлонович, распластавшийся на стене, в теновом там углу, продолжал наблюдать за движеньями бедного полоумного, способного все же стать диким зверем.

Всякий раз, как там резким движением выкидывались рука или локоть, он вздрагивал; и полоумный — перестал топотать, остановился, выкинулся из роковой диагонали: от Николая Аполлоновича в двух шагах закачалась снова сухая и угрожающая ладонь. Николай Аполлонович тут откинулся: ладонь коснулась угла — пробарабанила в углу на стене.

Но сошедший с ума подпоручик (жалкий более, чем жестокий) его более не преследовал; повернувшись спиной, он уперся локтями в колени, отчего изогнулась спина, и в плечи вошла голова; он глубоко вздохнул; он глубоко задумался.

Вырвалось:

— «Господи!»

И простонало опять:

— «Спаси и помилуй!»

Этим затишием бреда Николай Аполлонович осторожно воспользовался.

Он тихонько привстал и, стараясь оставаться беззвучным, он — выпрямился; голова подпоручика не перевернулась, как только что она перевертывалась рискуя — ну, право же! — отвинтиться от шеи; видно, бешеный пароксизм разразился; и — теперь шел на убыль; тогда Николай Аполлонович, прихрамывая, заковылял беззвучно к столу, стараясь, чтоб

не скрипнул башмак, чтоб не скрипнула половица, — заковылял, представляя собою довольно смешную фигуру в элегантном мундире. . . с оторванной фалдой, в резиновых новых калошах и в неснятом с шеи кашне.

Прокрался: остановился у столика, слушая биение сердца и тихое бормотание молитв утихающего больного: и неслышным движением рука его протянулась к пресс-папье; но вот беда: на пресс-папье легла стопочка почтовой бумаги.

Только бы рукавом не зацепить за бумагу!

На беду рукавом стопочку все же он зацепил; раздался предательский шорох и бумажная стопочка рассыпалась на столе; это шуршанье бумаги пробудило в себя ушедшего подпоручика; разразившийся и теперь утихающий пароксизм разразился с новой силой; голова повернулась и увидела стоящего Николая Аполлоновича с протянутою рукой, вооруженною пресс-папье; сердце упало: Николай Аполлонович от стола отскочил, пресс-папье осталось у него в кулаке — предосторожности ради.

В два скачка подлетел к нему Сергей Сергеевич Лихутин, бросил руку ему на плечо и стал плечо тискать: словом — он принялся за старое:

— «Должен просить извинение. . . Извините: погорячился я. . .»

— «Успокойтесь. . .»

— «Очень уж необычайно все это. . . Только, пожалуйста, — сделайте милость: не бойтесь. . . Ну, чего вы дрожите? . . Кажется, я внушаю вам страх? Я. . . я. . . оборвал у вас фалду: это. . . это непроизвольно, потому что вы, Николай Аполлонович, обнаружили намерение уклониться от объяснения. . . Но, поймите же, от меня вам уйти невозможно, не дав объяснения. . .»

— «Да я же не уклоняюсь», — взмолился тут Николай Аполлонович, все сжимавший в руке пресс-папье, — «о домино я сам начал в подъезде: я сам ищу объяснения; это вы, Сергей Сергеевич, это вы сами длите: сами вы не даете возможности мне дать объяснение».

— «Мм. . . да, да. . .»

— «Верите ли, это домино объясняется переутомлением нервов; и вовсе оно не является нарушением обещания: не добровольно стоял я в подъезде, а. . .»

— «Так за фалду простите», — перебил его снова Лихутин, доказавши лишь, что подлинно он — неменяемый человек (все же плечо Аблоухова он пока оставил в покое). . . — «Фалду вам подошьют; если хотите, — я сам: у меня есть и иголки и нитки. . .»

— «Этого недоставало лишь», — мелькнуло в голове Аблоухова: он с удивлением рассматривал подпоручика, убеждаясь наглядно, что все-таки пароксизм миновал.

— «Но дело не в этом: не в иголках, не в нитках. . .»

— «Это, Сергей Сергеевич, в сущности. . . Это — вздор. . .»

— «Да, да: вздор. . .»

— «Вздор по отношению к главной теме нашего объяснения: по отношению к стоянью в подъезде. . .»

— «Да не о стоянье в подъезде же!» — досадливо замахал рукой под-

поручик, принимаясь шагать в том же все направлении: по диагонали душевного кабинета.

— «Ну, о Софье Петровне...», — выступил из угла Аблеухов, теперь заметно смелеющий.

— «Не... не... о Софье Петровне...», — прикрикнул на него подпоручик: — «вы меня совершенно не поняли!!..»

— «Так о чем же?»

— «Это все — вздор-с!.. То есть не вздор, но вздор по отношению к теме нашего разговора...»

— «В чем же тема?»

— «Тема, видите ли», — остановился перед ним подпоручик и поднес свои кровью налитые глаза к расширенным от испуга глазам Аблеухова... «Суть, видите ли вся в том, что вы — заперты...»

— «Но... Почему же я заперт?», — и пресс-папье снова сжалось в его кулаке...»

— «Для чего я вас запер? Для чего я вас, так сказать, полунасильственным способом затащил?.. Ха-ха-ха: это не имеет ровно никакого отношения к домино, ни к Софье Петровне...»

— «Решительно, он рехнулся: он позабыл все причины, мозг его подчиняется только болезненным ассоциациям: он-таки, меня собирается...», — промелькнуло в голове Николая Аполлоновича, но Сергей Сергеевич, будто поняв его мысль, поспешил его успокоить, что скорей могло показаться насмешкою и злым издевательством:

— «Повторяю, вы здесь в безопасности... Вот только фалда...»

— «Издевается», — подумал Николай Аполлонович и в мозгу его прометнулась в свою очередь сумасшедшая мысль: хватить пресс-папье по голове подпоручика; оглушивши, связать ему руки, и этим насилием спасти себе жизнь, нужную ему хотя бы лишь потому, что... бомба-то... в столике... тикала!!..»

— «Видите ли: вы — не уйдете отсюда... А я... я отсюда пойду с продиктованным мною письмом — с вашей подписью... К вам пойду, в вашу комнату, где я утром уж был, но где ничего не заметил... Все у вас подниму там вверх дном; в случае, если поиски мои окажутся совершенно бесплодны, предупрежу вашего батюшку...», потому что — он потер себе лоб — «не в батюшке сила; сила — в вас: да, да, да-с — в вас единственно, Николай Аполлонович!»

Жестким пальцем уткнулся он в грудь и стоял теперь с высоко взлетевшею бровью (одной только бровью).

— «Этому, послушайте, не бывать: не бывать, Николай Аполлонович, — не бывать никогда!»

И на бритом, багровом лице проиграло:

— «?»

— «!»

— «!?!»

Совершенно помешанный!

Но странное дело: к этому совершенному бреду Николай Аполлоно-

вич прислушался; и что-то в нем дрогнуло: подлинно, — бред ли это? Скорее, намеки, высказываемые бессвязно; но намеки — на что? Не намеки ли на... на... на...?

Да, да, да...

— «Сергей Сергеевич, да о чем вы все это?»

И сердце упало: Николай Аполлонович ощутил, что самая кожа его облекает не тело, а... грудю булыжника; вместо мозга — булыжник; и булыжник — в желудке.

— «Как о чем?.. Да о бомбе я...» — и Сергей Сергеевич отступил на два шага, удивленный до крайности.

Пресс-папье выпало из разжатого кулака Аблеухова; за мгновение пред тем Николаю Аполлоновичу показалось, что самая кожа его облекает не тело, а — грудю булыжника; а теперь ужасы перешли за черту; он почувствовал, как в пенталлионные тяжести (меж нолями и единицею) четко врезалось что-то; единица осталась.

Пенталлион же стал — ноль.

Тяжести воспламенились внезапно: набившие тело булыжники, ставши газами, во мгновение ока прыснули из отверстий всех кожных пор, снова свили спирали событий, но свили в обратном порядке; закрутили и самое тело в отлетающую спираль; так и самое ощущение тела стало — ноль ощущением; лицевые контуры прочертились, невероятно осмыслились, обнаруживая в молодом человеке лицо шестидесятилетнего старца: прочертились, осмыслились, стали резными какими-то; лицо — белое, бледно-белое — стало самосветящимся ликом, обливающим самосветящимся кипятком; наоборот: лицо подпоручика стало ярко-морковного цвета; выбритость еще более поглупела, а кургузенький пиджачок еще более закургузился...

— «Я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам... Как могли вы поверить, чтобы я, чтобы я... мне приписывать согласие на ужасную подлость... Между тем как я — не подлец... Я, Сергей Сергеевич, — кажется, еще не отпетый мошенник...»

Николай Аполлонович, видимо, не мог продолжать; и он — отвернулся; отвернувшись, повернулся опять...

Из теневого угла, будто сроенная, выступала гордая, сутуло-изогнутая фигура, состоящая, как подпоручику показалось, из текучих все светлостей, — со страдальчески усмехнувшимся ртом, с василькового цвета глазами; белошьяные, светом стоящие волосы образовали опрозраченный, будто нимбовый круг над блистающим и высочайшим челом; он стоял с разведенными кверху ладонями, негодующий, оскорбленный, прекрасный, весь приподнятый как-то на кровавом фоне обоев: были красного цвета обои.

Он стоял — с болтающимся на шее кашне и с одной только фалдою: другую — увы — оторвали...

Так стоял он: из глазных громадных провалов на подпоручика неот-

рывно глядела холодная, огромная пустота, темнота; прилипала и леденила; подпоручик Лихутин отчего-то почувствовал тут, что он со всею своей физической силою, здоровьем (он думал, что здоров он) и более того, с благородством, — только мреющий морок; так что стоило Аблеухову с тем сверкающим видом приблизиться к подпоручику, как подпоручик, Сергей Сергеевич, стал явственно от него отступать.

— «Да я верю вам, верю вам», — растерянно замахал он руками.

— «Я, видите ли», — окончательно законфузился он, — «не сомневался нисколько... Мне, право, стыдно... Взволнован я... Мне жена рассказала... Ей записку эту подкинули... Она и прочла — разумеется, распечатала по ошибке», — для чего-то солгал он и покраснел, и потупился...

— «Раз записка мне была распечатана», — тут придрался злорадно сенаторский сын, — «то»... — пожал он плечами, — «то Софья Петровна, конечно, вправе была (это звучало иронией) рассказать вам, как мужу, и самое содержание», — процеживал Николай Аполлонович надменной-шим образом; и — продолжал наступать.

— «Я... я... погорячился», — защищался Лихутин: взгляд его упал на злосчастную фалду, и к фалде он прицепился.

— «Фалду это, не беспокойтесь: я сам пришью...»

Но Николай Аполлонович с чуть-чуть-чуть улыбнувшимся ртом — самосветящийся, стройный — укоризненно продолжал потряхивать ладонями в воздухе:

— «Вы не ведали, что творили». <sup>43</sup>

Темно-васильковые, темно-синие его очи и светом стоящие волосы выражали смутную, неизъяснимую грусть:

— «Идите же: донесите, не верьте!..»

И отвернулся...

Плечи широкие заходили прерывисто... Николай Аполлонович безудержно плакал; вместе с тем: Николай Аполлонович, освободившись от грубого, животного страха, стал и вовсе бесстрашным; и более: в ту минуту он даже хотел пострадать; так по крайней мере он себя ощутил в ту минуту: ощутил себя отданным на терзание героем, страдающим всенародно, позорно; тело его в ощущениях было — телом истерзанным; чувства ж были разорваны, как разорвано самое «я»; из разрыва же «я» — ждал он — брызнет слепительный светоч и голос родимый оттуда к нему изречет, как всегда, — изречет в нем самом: для него самого:

— «Ты страдал за меня: я стою над тобою».

Но голоса не было. Светоча тоже не было. Была — тьма. Самое чувство, вероятно, оттого и возникло, что только теперь понял он: от встречи на Невском до этой последней минуты незаслуженно оскорблял его; привезли насильно сюда, протащили — проволокли в кабинетик: насильно; и — оторвали здесь, в кабинетике, сюртучную фалду; ведь и так непрерывно страдал он — двадцать четыре часа: так за что ж должен был сверх того пережить он и страх перед оскорблением действием? Почему ж не было примиренного голоса: «Ты страдал за меня?» Потому что он ни за кого не страдал: пострадал за себя... Так сказать, расхле-

бывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было Светоча тоже не было. В месте прежнего «я» была тьма. Этого он не выдержал: плечи широкие заходили прерывисто.

Он отвернулся: он плакал.

— «Право же». — раздалось у него за спиной и примиренно, и кротко, — «ошибся, не понял я...»

В голосе этом все же был и оттенок досады: стыда и... досады; и Сергей Сергеевич стоял, закусивши больно губу; уж не жалел ли только что усмиривший Лихутин, что ошибся он, что врага-то, пожалуй, не пришибить: ни вот этим вот кулаком, ни благородством; так точно бешеный бык, раздраженный красным платком, бросается на противника и — налетает на железные перекладки клетки: и стоит, и мычит, и не знает, что делать. На лице подпоручика изображалась борьба неприятных воспоминаний (разумеется, домино) и благороднейших чувств; противник же, подставляя все спину и плача, неприятно так приговаривал:

— «Пользуясь своим физическим превосходством, вы меня... в присутствии дамы проволокли, как... как...»

Благороднейший порыв победил; Сергей Сергеевич Лихутин с протянутой рукой пересек кабинетик; но Николай Аполлонович, повернувшись (на реснице его задрожала слезинка), голосом, задушенным от его объившего бешенства и от — увы! — самолюбия, пришедшего слишком поздно, так отрывисто произнес:

— «Как... как... тютюку...»<sup>44</sup>

Протяни ему руку он, — Сергей Сергеевич почел бы себя счастливейшим человеком: на лице бы его заиграло полное благодушие; но порыв благородства, точно так же, как бешенства, тут же у него закупорился в душе; пал в пустую тьму порыв благородства.

— «Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться?... Что я — не отцеубийца?... Нет, Сергей Сергеевич, нет: надо было подумать заранее... Вы же вот, как... как тютюку. И — оторвали мне фалду»...

— «Фалду можно подшить!»

И прежде чем Аبلеухов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери:

— «Маврушка!.. Черных ниток!.. Иголку...»

Но раскрытая дверь чуть было не ударила в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала; уличенная, она отскочила, но — поздно: уличенная и красная, как пион, была она поймана; и на них — на обоих — бросала она негодующий, уничтожающий взгляд.

Между ними троица лежала сюртучная фалда.

— «А?... Сонечка...»

— «Софья Петровна!...»

— «Я вам помешала?...»

— «Подика... Вот Николай Аполлонович... Знаешь ли... оторвал себе фалду... Ему бы...»

— «Нет, не беспокойтесь, Сергей Сергеевич; Софья Петровна — сделайте одолжение...»

— «Ему бы пришить».

Но уже Николай Аполлонович с перекошенным от глупого положения ртом, рукавом утирая предательские ресницы и припадая на все еще хромавшую ногу, появился в комнате с Фудзи-Ямами... в трепаном сюртуке, с одною висящею фалдою; приподымая итальянский свой плащ, поднял голову и, увидевши переплет потолка, для соблюдения приличий перекошенный рот свой обратил на Софью Петровну.

— «А скажите, Софья Петровна, у вас какая-то перемена: на потолке у вас что-то такое... Какая-то неисправность: работали маляры?»

Но Сергей Сергеевич перебил:

— «Это я, Николай Аполлонович: я... чинил потолки...»

Сам же он думал:

— «А? скажите пожалуйста: нынешней ночью — недоповесился; недообъяснился — теперь...»

Николай Аполлонович, уходя, прохромал через зал; упавая с плеча, проволочился за ним черным шлейфом фантастический плащ его.

Из-за нотабен, вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за уже последней работы поднимается лысая голова; и — опять упадает. Закипела, и от себя отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром дохнувшая гряда — малиновая, золотая; угольями порассыпались поленья, — и лысая голова поднялась на камин с сардонически усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами; вдруг губы отогнулись испуганно.

Что́ это?

Во все стороны поразвились красные, кипящие светочи — бьющиеся огни, льющиеся олени рога: заветвились и отовсюду вылизываются, — древовидные, золотые, сквозные; повыкидались из красного, каминного жерла; кидаются на стены: побежал, расширяясь, камин, превращался в каменный и темничный мешок, где застыли (вдруг стали, вдруг замерли) все текущие светлости, пламена, темно-васильковые угарные газы и гребни: в опрозраченном свете — там сроилась фигура, приподнятая под убегающий свод и сутуло протянутая; тянутся красные, пятипалые руки — попадающие прикосновением огней.

Что́ это?

— Вот — страдальчески усмехнувшийся рот, вот — глаза василькового цвета, вот — светом стоящие волосы: облеченный в ярость огней, с искрою пригвожденными в воздухе широко раздвинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями — ладонями, которые проткнуты, —

— крестовидно раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и указывает очами на красные ладонные язвы; а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел — в раскаленную печь... —

— «Он не ведает, что́ творит...»

Вдруг... — головокружительный треск, шипение, фыркание: светлые

светлости, всколебавшись, разорвались на части, разметая страдальческий образ водоворотами искр.

Через четверть часа он велел заложить лошадей; через сорок минут прошествовал он в карету (это видели мы в предыдущей главе); через час карета стояла среди праздно толпы; и — только ли праздно?..

Что-то случилось тут.

Полувершковое пространство, или стенка кареты, отделяло Аполлона Аполлоновича от мятежной толпы; кони храпели, а в стеклах кареты Аполлон Аполлонович видел все головы: котелки, фуражки и, главное, манджурские шапки; видел пару он на себя устремленных, негодующих глаз; видел он и разорванный рот оборванца: поющий рот (цели). Оборванец, увидевши Аплеухова, что-то грубо кричал:

— «Выходите, эй, видите: нет проезду».

К голосу оборванца присоединились голоса оборванцев.

Тогда Аполлон Аполлонович Аплеухов, во избежание неприятностей, по принуждению толпы должен был приоткрыть каретное дверце; оборванцы увидели вылезавшего старика с дрожащей губой, придерживающего перчаткою край цилиндра: Аполлон Аполлонович видел пред собой оружие рты и высокое древко: отрываясь от деревянного древка, по воздуху гребнями разрывались, трепались и рвались легковисящие лопасти красного кумачевого полотнища, плещущего в пустоту:

— «Эй вы, шапку долой!»

Аполлон Аполлонович снял цилиндр и поспешно стал тискаться к тротуару, бросив карету и кучера; скоро он семенил по направлению, противоположному роящейся массе; черные тут фигурки повылились из магазинов, дворов, боковых проспектов, трактиров; Аполлон Аполлонович выбивался из сил: и — выбился в боковые, пустые проспекты, откуда... летели... казаки...

Уж казачий отряд пролетел; опорожнилось место; виднелись спины мчащихся к полотнищу казаков; и виднелась спина быстро бегущего старичка в высочайшем цилиндре.

## ПАСИАНСИК

На столе кипел самовар; с этажерки отбрасывал металлический глянец совершенно новенький, совершенно чистенький самоварчик; самовар же, который кипел на столе, был невычищен, грязен; совершенно новенький самоварчик ставился при гостях; без гостей на стол подавалось просто кривое уродище: громко оно хрипело, сопело; и порою стреляло из дырочек красной искрой. Накатала катышки белого хлеба невоспитанная чья-то рука; и они порасплющились на скомканной скатерти в пятнах; под недопитым стаканом прокисшего чая (прокисшего от лимона) неопрятно сырело пятно; и стояла тарелка с объедками холодной котлеты и с картофельным холодным пюре.



Ну и где же были роскошные волосы? Вместо них выдавалась косица. Вероятно, Зоя Захаровна Флейш носила парик (при гостях разумеется); и — кстати заметить: вероятно, она беззастенчиво красилась, потому что мы ее видели роскошноволосой брюнеткой, с эмалированной, слишком гладкою кожей; а теперь перед нами была просто старая женщина с потным носом и с крысиной косичкой; на ней была кофточка: и, опять-таки, грязная (вероятно, ночная).

Липпанченко сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя и Зое Захаровне, и грязному самовару квадратную, сутуловатую спину. Перед Липпанченко лежал полуразложенный пасьянс, заставляющий предполагать, что Липпанченко после ужина принялся за обычное препровождение вечера, благотворно влияющее на нервы, но — был потревожен: неохотно он оторвался от карт; произошел продолжительный разговор, во время которого были, конечно, забыты: стакан чаю, пасьянс и все прочее.

После же этого разговора Липпанченко и повернулся спиной: спиной к разговору.

Он сидел без крахмального воротничка, без пиджака, с расстегнутым поясом, очевидно, давившим живот, отчего меж жилетом и съезжающими штанами (темно-желтого цвета — все теми же) предательски выдался язычок неудобной крахмальной сорочки.

Мы застали Липпанченко в то мгновение, когда он задумчиво созерцал, как черное от часов ползло с шелестением пятно таракана; они водились на дачке: огромные, черные; и водились в обилии, — в таком несносном обилии, что, несмотря на свет лампы, — и в углу шелестело, и из щели буфета по временам вытарчивал усик.

От созерцания ползущего таракана был оторван Липпанченко плаксивыми причитаньями своей спутницы жизни.

Чайный поднос от себя отодвинула Зоя Захаровна с шумом, так что Липпанченко вздрогнул.

— «Ну? .. И что же такое? .. И отчего же такое?»

— «Что такое?»

— «Неужели верная женщина, сорокалетняя женщина, вам отдавшая жизнь, — женщина, такая, как я...»

И локтями упала на стол: один локоть был прорван, а в прорыве виднелась старая, поблекшая кожа и на ней расчесанный, вероятно, блошинный укус.<sup>45</sup>

— «Что такое вы там лепечете, матушка: говорите яснее...»

— «Неужели женщина, такая, как я, не имеет права спросить? .. Старая женщина» — и ладонями позакрывала лицо она: выдавался лишь нос да два черных топорщились глаза.

Липпанченко повернулся на кресле.

Видимо, слова ее позадели его; на мгновение выступило на лице подобие гнетущего угрызения; он не то с вялой робостью, а не то просто с детским капризом поморгал двумя глазками; видимо, он хотел что-то высказать; и видимо, — высказать он боялся; что-то такое он теперь мед-

ленно соображал, — уж не то ли, как в душе его спутницы отозвалось бы страшное признание это; голова Липпанченки опустилась; он сопел и глядел исподлобья.

Но позыв к правдивости оборвался; и самая правдивость упала в глухое душевое дно. Он принялся за пасианс:

— «Гм: да, да... На шестерку пятерку... Где дама?.. Тут дама... И — заложен валет...»

Вдруг он бросил на Зою Захаровну испытующий, подозревающий взгляд, и его короткие пальцы с золотистой шерстью перенесли стопочку карт: от стопочки карт — к другой стопочке карт.

— «Ну, — и выдался пасиансик...» — продолжал он сердито раскладывать ряды карт.

Нáчисто протертую чашку Зоя Захаровна бережно понесла к этажерке, припадая на туфли.

— «Ну?.. И отчего же сердиться?»

Теперь, припадая на туфли, она заходила по комнате; раздавалось пришлепыванье (тараканий ус спрятался в буфетную щель).

— «Да я, матушка, не сержусь», — и опять испытующий взгляд бросил он на нее: сложив руки на животе и выпячивая корсетом нестянутый и почтенный живот, на ходу она трепетала отвисающим подбородком; и тихонько к нему подошла, и тихонько тронула за плечо:

— «Вы спросили бы лучше, почему я вас спрашиваю?.. Потому что все спрашивают... Пожимают плечами... Так уж думаю я», — навалилась на кресло она и животом, и грудями, — «лучше мне все узнать»...

Но Липпанченко, закусивши губу, с беспокойною деловитостью ряд за рядом раскладывал карты.

Он-то, Липпанченко, помнил, что завтрашний день для него необычаен по важности; если завтра не сумеет он оправдать ее перед ними, не сумеет стряхнуть угрожающей тяжести на него обрушенных документов, то ему — шах и мат. И он, помня все это, только посапывал носом:

— «Гм: да-да... Тут свободное место... Делать нечего: короля в свободное место...»

И — не выдержал он:

— «Говорите, что спрашивают?..»

— «А вы думали — нет?»

— «И приходят в отсутствие?..»

— «Приходят, приходят: и пожимают плечами...»

Липпанченко бросил карты:

— «Ничего не выйдет: позаложены двойки...»

Видно было, что он волновался.

В это время из спальни Липпанченко что-то жалобно прозвенело, как будто бы там открывали окошко. Оба они повернули головы к спальне Липпанченко; осторожно оба молчали: кто бы мог это быть?

Верно Том, сенбернар.

— «Да поймите, странная женщина, что ваши вопросы» — тут Лип-

панченко, охая, встал, — для того ли, чтобы удостовериться о причине странного звука, для того ли, чтобы увильнуть от ответа.

— «Нарушают партийную...» — отхлебнул он глоток совершенно кислого чаю — «дисциплину...»

Потягиваясь, он прошел в открытую дверь, — в глубину, в темноту...

— «Да какая же, Коленька, со мной-то партийная дисциплина», — возразила Зоя Захаровна, подперев ладонью лицо, и опустила вниз голову, продолжая стоять над пустым теперь креслом... — «Вы подумайте только...»

Но она замолчала, потому что кресло пустело; Липпанченко оттопывал по направлению к спальне; и рассеянно перебегала по картам — она.

Шаги Липпанченко приближались.

— «Между нами тайн не было...» — Это она сказала себе.

Тотчас же она повернула голову к двери — к темноте, к глубине — и взволнованно заговорила она навстречу топотавшему шагу:

— «Вы же сами не предупредили меня, что и разговаривать-то нам с вами, в сущности, не о чем (Липпанченко появился в дверях), что у вас теперь тайны, а вот меня...»

— «Нет, так это: в спальне нет никого» — перебил он ее...

— «Меня досаждают: ну и — взгляды, намеки, расспросы... Были даже...»

Рот его скучающе разорвался в зевоте; и расстегивая свой жилет, недовольно побормотал себе в нос:

— «Ну и к чему эти сцены?»

— «Были даже угрозы по вашему адресу...»

Пауза.

— «Ну и понятно, что спрашиваю... Чего раскричались-то? Что такое я сделала, Коленька?... Разве я не люблю?... Разве я не боюсь?»

Тут она обвилась вокруг толстой шеи руками. И — хныкала:

— «Я — старая женщина, верная женщина...»

И он видел у себя на лице ее нос; нос — ястребиный; верней — ястребинообразный; ястребиный, если бы — не мясистость: нос — пористый; эти поры лоснились потом; два компактных пространства в виде сложенных щек исчертились нечеткими складками кожи (когда не было уж ни крема, ни пудры) — кожи, не то, чтобы дряблой, а — неприятной, несвежей; две морщины от носа явственно прорезались под губы, вниз губы эти оттягивали; и уставились в глазки глаза; можно сказать, что глаза вылуплялись и назойливо лезли — двумя черными, двумя жадными пуговицами; и глаза не светились.

Они — только лезли.

— «Ну, оставьте... Оставьте... Довольно же... Зоя Захаровна... Отпустите... Я же страдаю одышкой: задушите...»

Тут он пальцами охватил ее руки и снял с своей шеи; и опустился на кресло; и тяжело задышал:

— «Вы же знаете, какой я сантиментальный и слабонервный... Вот опять я...»

Они замолчали.

И в глубоком, в тяжелом безмолвии, наступающем после долгого, безотрадного разговора, когда все уже сказано, все опасения перед словами изжиты и остается лишь тупая покорность, — в глубоком безмолвии она перемывала стакан, блюдец и две чайные ложки.

Он же сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя Зое Захаровне и грязному самовару свою квадратную спину.

— «Говорите, — угрозы?»

Она так и вздрогнула.

Так и просунулась вся: из-за самовара; губы вновь оттянулись: обеспокоенные глаза чуть не выскочили из орбит; обеспокоенно побежали по скатерти, вскарабкались на толстую грудь и вломились в моргавшие глазки; и — что сделало время?

Нет, что оно сделало?

Светло-карие эти глазки, эти глазки, блестящие юмором и лукавой веселостью только в двадцать пять лет, потускнели, вдавились и подернулись угрожающей пеленой; позатянулись дымами всех поганейших атмосфер: темно-желтых, желто-шафранных; правда, двадцать пять лет — срок немалый, но все-таки — поблекнуть, так съежиться! А под глазками двадцатипятилетие это оттянуло жировые, тупые мешки; двадцать пять лет — срок немалый; но... — к чему этот выдавленный кадык из-под круглого подбородка? Розовый цвет лица ожелтелся, промаслился, сваял — заужасал серой бледностью тупа; лоб — зарос; и — выросли уши; ведь бываю́т же просто приличные старики? А ведь он — не старик...

Что́ ты сделало, время?

Белокурый, розовый, двадцатилетний парижский студент — студент Липенский, — разбухая до бреда, превращался упорно в сорокапятилетнее, неприличное пауковое брюхо: в Липпанченко.

## НЕВЫРАЗИМЫЕ СМЫСЛЫ

Куст кипел...<sup>46</sup> На песчанистом побережье здесь и там морщинились озерца соленой воды.

От залива летели все белогривые полосы; луна освещала их, за полосо́й полоса там вскипала вдали и там громыхала; и потом она падала, подлетая у самого берега клочковатою пеной; от залива летящая полоса стлалась по плоскому берегу — покорно, прозрачно; она облизывала пески: срезывала пески — их точила; будто тонкое и стеклянное лезвие, она неслась по пескам; кое-где та стеклянная полоса доплескивалась до соленого озерца; наливала в него раствор соли.

И уже бежала обратно. Новая громопенная полоса ее бросала опять.

Куст кипел...

— Вот — и здесь, вот — и там, были сотни кустов; в некотором отдалении от моря черные протянулись и суховатые руки кустов; эти безлистные руки подымались в пространство полоумными взмахами; черноватенькая фигурочка без калош и без шапки испуганно пробегала меж

них; летом шли от них сладкие и тиховейные лепеты; лепеты позасохли давно, так что скрежет и стон подымались от этого места; туманы восходили отсюда; и сырости восходили отсюда; коряги же все тянулись — из тумана и сырости; из тумана и сырости пред фигурочкой узловатая заломалась рука, исходящая жердями, как шерстью.

Уж фигурка склонилась к дуплу — в пелену черной сырости; тут она задумалась горько; и тут в руки она уронила непокорную голову:

— «Душа моя», — встало из сердца: — «душа моя, — ты отошла от меня... Откликнись, душа моя: бедный я...»

Встало из сердца:

— «Пред тобою паду я с разорванной жизнью... Вспомни меня: бедный я...»

Ночь, проколота искрометною точкою, совершалась светло; и подрагивала чуть заметная точка у самого горизонта морского; видно, близились к Петербургу торговая шхуна; из прокола ночного вызревал огонек, наливаясь светом, как созревающий колос, усатый лучами.

Вот уж он превратился в широкое, багровое око, за собой выдавая темный кузов судна и над ним — лес свастей.

И над черненькой унывавшей фигуркой, навстречу летящему призраку, подлетели под месяцем деревянные, многожердистые руки; голова кустаная, узловатая голова протянулась в пространство, паутинно качая сеть черненьких веточек; и — качалась на небе; легкий месяц в той сети запутался, задрожал, ослепительней засверкал: и будто слезою облился; наполнились фосфорическим блеском воздушные промежутки из сучьев, являя неизъяснимости, и из них сложилась фигура; — там сложилось оно — там началось оно: громадное тело, горящее фосфором с купоросного цвета плащом, отлетающим в туманистый дым; повелительная рука, указуя в грядущее, протянулась по направлению к огоньку, там мигавшему из дачного садика, где упругие жерди кустов ударялись в решетку.

Фигурочка остановилась, умоляюще она протянулась к фосфорическим промежуткам из сучьев, слагающим тело:

— «Но позволь, позволь; да нельзя же так — по одному подозрению, без объяснения...»

Повелительно рука указывала на световое окошко, простреливающее черные и скрежещущие суки.

Черноватенькая фигурка тут вскрикнула и побежала в пространство; а за нею рванулось черное суковатое очертание, складываясь на песчанистом берегу в то самое странное целое, которое могло выдавить из себя чудовищные, невыразимые смыслы, не существующие нигде; черноватенькая фигурка ударилась грудью в решетку какого-то садика, перелезла через забор и теперь беззвучно скользила, цепляясь ногами о росянистые травы, — к той серенькой дачке, где она была так недавно, где теперь — все не то.

Осторожно она подкралась к террасе, приложила руку к груди; и беззвучно она, в два скачка, оказалась у двери; дверь не была занавешена; фигурочка тогда приникла к окну; там, за окнами, ширился свет.

Там сидели... —

— На столе стоял самовар; под самоваром стояла тарелка с обедками холодной котлеты; и выглядывал женский нос с неприятным, сконфуженным, немного придавленным видом; нос выглядывал робко; и — робко он прятался: нос — ястребиный; колыхалась на стене тeneвая женская голова с короткой косицей; эта жалкая голова повисала на выгнутой шее. Липпанченко одной рукой облокотился на стол; другая рука лежала свободно на кресельной спинке; грубая, — отогнулась и разогнулась ладонь; поражала ее ширина; поражала короткость пяти будто бы обрубленных пальцев, с заусенцами и с коричневой краскою на ногтях... —

— Фигурочка в два скачка отлетела от двери; и — очутилась в кустах; ее охватил порыв неопиcуемой жалости; кинулась безлобая, головастая шишка — из дупла, под двумя суками к фигурочке; застнали ветра в гниловатом раструбе куста.

И фигурочка ожесточенно зашептала под куст:

— «Ведь пельзя же так просто... Ведь как же так... Ведь еще ничего не доказано...»

## ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Повернувшись всем корпусом от вздохнувшей Зои Захаровны, Липпанченко протянул свою руку — ну, представьте же! — к тут на стенке повешенной скрипке:

— «Человек на стороне имеет всякие неприятности... Возвращается домой, отдохнуть, а тут — нате же...»

Он достал канифоль: просто с какой-то свирепостью, переходящей всякую меру, — он накинудся на кусок канифоли; с наслаждением он взял промеж пальцев кусок канифоли; с виноватой гримаскою, не подходящей нисколько к его положению в партии, ни к только что бывшему разговору, он принялся о канифоль натирать свой смычок; после он принялся за скрипку:

— «Можно сказать, — встречают слезами...»

Скрипку прижал к животу и над ней изогнулся, упирая в колени ее широким концом; узкий конец он вдавил себе в подбородок; он одною рукою с наслаждением стал натягивать струны, а другою рукою — извлек звук:

— «Дон!»

Голова его выгнулась и склонилась нáбок при этом; с вопросительным выражением, не то шутовским, не то жалобным (младенческим как-никак), поглядел он на Зою Захаровну и причмокнул губами; он как будто бы спрашивал:

— «Слышите?»

Она села на стул: с вопросительным, полумиленным, полуожесто-

ченным лицом поглядела она на Липпанченко и на палец Липпанченко; палец пробовал струны; а струны — теренькали.

— «Так-то лучше!»

И он улыбнулся; улыбнулась она; оба кивнули друг другу; он — с помолодевшим задором; она же — с оттенком конфузливости, выдающим и смутную гордость, и старое обожание перед ним (пред Липпанченко?), — она же воскликнула:

— «Ах, какой вы...» —

— «Трень-трень...»

— «Неисправимый ребенок!»

И при этих словах, несмотря на то, что Липпанченко выглядел совершеннейшим носорогом, и стремительным, и ловким движением кисти левой руки перевернул Липпанченко свою скрипку; в угол между огромным плечом и к плечу упавшею головою молниеносно двинулся ее широкий конец; узкий край оказался в забегавших пальцах:

— «А ну-те-ка».

Подлетела рука со смычком; и — взвесилась в воздухе: замерла, нежнейшим движением смычка прикоснулась к струне; смычок же поехал по струнам; за смычком поехала — вся рука; за рукой поехала голова; за головой — толстый корпус: все набок поехало.

Закорючкой согнулся мизинец: он — смычка не касался.

Кресло треснуло под Липпанченко, который, казалось, натужился в одном крепком упорстве: издать нежный звук; сипловатый и все же приятный басок его неожиданно огласил эту комнату, заглушая и храп сенбернара, и шелестение таракана.

— «Не ии-скууу-шаай», — пел Липпанченко.

— «Меняя беез нууу-ууу...» — подхватили нежные, тихо вздохнувшие струны.

— «жды»<sup>47</sup> — пел изогнутый набок Липпанченко, который, казалось, натужился в одном крепком необоримом упорстве: издать нежный звук.

В молодые годы еще они певали подолгу этот старый романс, не распеваемый ныне.

• • • • •

— «Тссс!»

— «Послушай?»

— «Окошко?..»

— «Надо пойти: посмотреть».

• • • • •

Дымными и раззелеными клубами меланхолически пробегали там тусклости; встала луна из-за облака; и все, что стояло, как тусклость, — разъялось, распалось; и скелеты кустов прочернились в пространстве; и косматыми ключьями повалились на землю их тени; обнажился фосфорический воздух в пролетах из сучьев; все воздушные пятна сложились — вот оно, вот оно: тело, горящее фосфором; повелительно ей оно протянуло свою руку к окну; фигурочка к окну подскочила; окно не было заперто, отворяясь, оно продребезжало чуть-чуть; и отскочила фигурочка.

В окнах двинулись тени; кто-то прошел со свечой — в занавешенных окнах; осветилось и это — незапертое — окно; отдернулась занавеска; толстая постояла фигура и поглядела туда — в фосфорический мир; казалось, что глядит подбородок, потому что — вытарчивал подбородок; глазки не были видны; вместо глазок темнели две орбиты; две безбровые надбровные дуги неестественно пролоснились под луной. Занавеска задвинулась; кто-то, огромный и толстый, обратно прошел в занавешенных окнах; скоро все успокоилось. Дребезжание скрипки и голоса исходили снова из дачки.

Куст кипел. Головастая, безлобая шишка выдвинулась в луну в одном крепком упорстве: понять — что бы ни было, какую угодно ценою; попить, или — разлететься на части; из дуплистого стволика выдавался этот старый, безлобый нарост, обрастающий мохом и коростом; он протягивался под ветром; он молил пощадить — что бы ни было, какую угодно ценою. От дуплистого стволика вторично отделилась фигурка; и подкралась к окошку; отступление было отрезано; ей оставалось одно: довершить начатое. Теперь она пряталась... в спальне Липпанченки с нетерпением она поджидала Липпанченку — в спальню.

И негодяи, ведь, имеют потребность пропеть себе лебединую песню.  
 — «Разоо-чаа-роо... ваннооо-му... чуу-уу-жды... все обольщеенья прееежных... днееей... Ууж яя... нее... вее-рюю в уу-веееенья...»  
 — «Уж яя... не вее-рюю в люю-бовь...»

Знал ли он, что поет? и — что такое играет? Почему ему грустно? Почему сжимается горло — до боли?.. От звуков? Липпанченку этого не понимал, как не понимал он и нежных, им извлекаемых звуков... Нет, лобная кость понять не могла: лоб был маленький, в поперечных морщинах: казалось, он плачет.

Так в одну октябрьскую ночь спел Липпанченку лебединую песню.

## ПЕРСПЕКТИВА

Ну — и вот!

Он попел, поиграл; положив на стол скрипку, отирал платком испариной покрытую голову; медленно колыхалось его неприличное, пауковое, сорокапятилетнее брюхо; наконец, взяв свечу, он отправился в спальню; на пороге он, еще раз, нерешительно повернулся, вздохнул и над чем-то задумался; вся фигура Липпанченки выразила одну смутную, неизъяснимую грусть.

И — Липпанченку провалился во мрак.

Когда пламя свечи неожиданно врезалось в совершенно темную комнату (шторы были опущены), то разрезался мрак; и — крошечная темнота разорвалась в желто-багровых свечениях; по периферии пламенно плясавшего центра круговым движением завертелись беззвучно тут какие-то куски темноты в виде теней всех предметов; и вдогонку за темными косяками, за теньями предметов, теневой, огромный толстяк, вы-



рывавшийся из-под пяток Липпанченко, суетливым движением припущился по кругу.

Между стеной, столом, стулом безобразный, беззвучный толстяк перепрокинулся, на косяках изломался и мучительно разорвался, будто он теперь испытывал все муки чистилища.

Так, извергнувшись, как более уж ненужный балласт, свое тело — так, извергнувшись тело, ураганами всех душевных движений подхвачена бывает душа: бегают ураганы по душевным пространствам. Наше тело — суденышко; и бежит оно по душевному океану от духовного материка — к духовному материку.

Так... —

Представьте себе бесконечно длинный канат; и представьте, что в поясе тело ваше перевяжут канатом; и потом — канат завертят: с бешеной, с неопишуемой быстротой; подкинута, на расширяющихся, все растущих кругах, рисуя спирали в пространстве, полетите вы в заводскую атмосферу головою впиз, а спиной — поступательно; и вы будете, спутник земли, от земли отлетать в мировые безмерности, одолевая многотысячные пространства — мгновенно, и этими пространствами становясь.

Вот таким ураганом будете вы мгновенно подхвачены, когда душой извергнется тело, как более уж ненужный балласт.

И еще представим себе, что каждый пункт тела испытывает сумасшедшее стремление распространиться без меры, распространиться до ужаса (например, занять в поперечнике место, равное сатурновой орбите); и еще представим себе, что мы ощущаем сознательно не один только пункт, а все пункты тела, что все они поразбухли, — разрежены, раскалены — и проходят стадии расширения тел: от твердого до газообразного состояния, что планеты и солнца циркулируют совершенно свободно в промежутках телесных молекул; и еще представим себе, что центристательное ощущение и вовсе утрачено нами; и в стремлении распространиться без меры телесно мы разорвались на части, и что целостно только наше сознание: сознание о разорванных ощущениях.

Что бы мы ощутили?

Ощутили бы мы, что летящие и горящие наши разъятые органы, будучи более не связаны целостно, отделены друг от друга миллиардами верст; но вяжет сознание наше то кричащее безобразие — в одновременной беспечности; и пока в разреженном до пустоты позвоночнике слышим мы кипение сатурновых масс, в мозг въедаются яростно звезды созвездий; в центре ж кипящего сердца слышим мы бестолковые, большие толчки, — такого огромного сердца, что солнечные потоки огня, разлетаясь от солнца, не достигли бы поверхности сердца, если б двинулось солнце в этот огненный, бестолково бьющийся центр.

Если бы мы телесно себе могли представить все это, перед нами бы встала картина первых стадий жизни души, с себя сбросившей тело: ощущения были бы тем сильней, чем насильственней перед нами распался бы наш телесный состав...

## ТАРАКАНЫ

Липпанченко остановился посередине темнеющей комнаты со свечою в руке; косяки теньевые остановились с ним вместе; теневой громадный толстяк, липпанченская душа, головой висел в потолке; ни к теньям всех предметов, ни к собственной тени Липпанченко не почувствовал интереса; боле интересовался он шелестом — привычным и незагадочным вовсе.

Он чувствовал гадливое отвращение к таракану; и теперь — видел он — десятки этих созданий; в темные свои, шелестя, побежали они углы, накрытые светом свечи. И — злился Липпанченко:

— «Проклятые...»

И протопал к углу за полотерною щеткой, представляющей собою длиннейшую палку с щетинистой шваброй на конце:

— «Ужо мало вам было?!...»

На пол он поставил свечу с полотерною щеткой в руке взгромоздился на стул он; тяжелое, пыхтящее тело теперь выдавалось над стулом; лопались от усилия сосуды, напряжинились мускулы; и взъерошились волосы; за уползающими горстями гонялся он щетинистым краем швабры; раз, два, три! и — щелкало под шваброю: на потолке, на стене; даже — в углу этажерки.

— «Восемь... Десять... Одиннадцать» — шелестел угрожающий шепот; и щелкая, пятна падали на пол.

Каждый вечер перед отходом ко сну он давил тараканов. Надавивши их добрую кучу, отправлялся он спать.

Наконец, ввалившись в спальню, дверь защелкнул на ключ он; и далее: поглядел под постель (с некоторого времени этот странный обычай составлял неотъемлемую принадлежность его раздевания), перед собою поставил он оплывшую свечку.

Вот он разделся.

Он теперь сидел на постели, волосатый и голый, расставивши ноги; женообразные округлые формы были явственно у него отмечены на лохматой груди.

Спал Липпанченко голый.

Наискось от свечи, меж оконной стеною и шкафиком, в теневой темной нише выступало замысловатое очертание: здесь висящих штанов; и слалась в подобие — отсюда глядящего; неоднократно Липпанченко свои штаны перевешивал; и всегда выходило: подобие — отсюда глядящего.

Подобие это он увидел теперь.

А когда задул он свечу, то очертание дрогнуло и проступило отчетливей; руку Липпанченко протянул к занавеске окна; отдернулась занавеска: отлетающий коленкор прошуршал; комната просияла зеленоватым свечением меди; там, оттуда: из белого олова тучек диск пылающий грянул по комнате: и... —

На фоне совершенно зеленой и будто бы купоросной стены — там! — стояла фигурочка, в пальтеце, с меловым застывшим лицом: будто — клоун; и белыми улыбалась губами. По направлению к двери Липпан-

ченко протоптал босыми ногами, но животом и грудями он с размаху расплющился на двери (он забыл, что дверь запер); тут его рванули обратно; горячая струя кипятка полоснула его по голой спине от лопаток до зада; падая на постель, понял он, что ему разрезали спину: разрезается так белая безволосая кожа холодного поросенка под хреном; и едва понял он, что случилось со спиною, как почувствовал ту струю кипятка — у себя под пушком.

И оттуда что-то такое прошипело насмешливо; и подумалось где-то, что — газы, потому что живот был распорот; склонив голову над колыхавшимся животом, неосмысленно глядящим в пространство, он весь сонно осел, ощущывая текущие липкости — на животе и на простыне.

Это было последним сознательным впечатлением обыденной действительности; теперь сознание ширилось; чудовищная периферия его внутрь себя всосала планеты; и ощущала их — друг от друга разъятыми органами; солнце плавало в расширениях сердца; позвоночник калился прикосновением сатурновых масс; в животе открылся вулкан.

В это время тело сидело бессмысленно с упadaющей на грудь головой и глазами уставилось в рассеченный живот свой; вдруг оно завалилось — животом в простыню; рука свесилась над окровавленным ковриком, отливая в луне рыжеватую шерстью; голова с висящею челюстью откинулась по направлению к двери и глядела на дверь не моргавшим зрачком; надбровные дуги безброво залоснились; на простыне проступал отпечаток пяти окровавленных пальцев; и торчала толстая пятка.

• • • • •  
Куст кипел: белогривые полосы полетели с залива; они подлетали у берега клочковатую пеной; они облизывали пески; будто тонкие и стеклянные лезвия, они неслись по пескам; доплескивались до соленого озера, наливали в него раствор соли; и бежали обратно. Меж ветвями куста было видно, как раскачивалось парусное судно, — бирюзоватое, прозрачное; тонким слоем срезало пространства острокрылатыми парусами; на поверхности паруса уплотнялся туманный дымок.

• • • • •  
Когда утром вошли, то Липпанченки уже не было, а была — лужа крови; был — труп; и была тут фигурка мужчины — с усмехнувшимся белым лицом, вне себя; у нее были усики; они вздернулись кверху; очень странно: мужчина на мертвеца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; руку эту простер он;<sup>48</sup> по его лицу — через нос, по губам — уползало пятно таракана.

Видимо, он рехнулся.

## Конец седьмой главы





## ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

### и последняя

Минувшее проходит предо мною...  
Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно:  
Не много лиц мне память сохранила,  
Не много слов доходит до меня...

А. ПУШКИН

### НО СПЕРВА...

Анна Петровна!

О ней позабыли мы: а Анна Петровна вернулась; и теперь ожидала она... но сперва: —

— эти двадцать четыре часа! —

— эти двадцать четыре часа в повествовании нашем расширились и раскидались в душевных пространствах: безобразнейшим сном; и закрыли кругом кругозор; и в душевных пространствах запутался авторский взор; он закрылся.

С ним скрылась и Анна Петровна.

Как суровые, свинцовые облака, мозговые, свинцовые игры тащились в замкнутом кругозоре, по кругу, очерченному нами, — безвыходно, безысходно, дотошно —

— в эти двадцать четыре часа!..

А по этим сурово плывущим и беспцелебным событиям весть об Анне Петровне пропорхнула отблесками мягкого какого-то света — откуда-то. Мы тогда призадумались грустно — на один только миг; и — забыли; а должно бы помнить... что Анна Петровна — вернулась.

Эти двадцать четыре часа!

То есть сутки: понятие — относительное, понятие, — состоящее из многообразия мигов, где миг —

— минимальный отрезок ли времени, или — что-либо там, ну, иное, душевное, определяемое полнотою душевных событий, — не цифрой; если ж цифрой, он — точен, он — две десятых се-

кунды; и — в этом случае неизменен; определяемый полнотою душевных событий он — час, либо — ноль: переживание разрастается в миге, или — отсутствует в миге —

— где миг в повествовании нашем походил на полную чашу событий.

Но прибытие Анны Петровны есть факт; и — огромный; правда, нет в нем ужасного содержания, как в других отмеченных фактах; потому-то мы, автор, об Анне Петровне забыли; и, как водится, вслед за нами об Анне Петровне забыли и герои романа.

И все-таки... —

Анна Петровна вернулась; событий, описанных нами, не видала она; о событиях этих — не подозревала, не знала; одно происшествие только волновало ее: ее возвращенье; и должно бы оно взволновать мной описанных лиц; лица эти должны бы ведь тотчас же отозваться на происшествие это; осыпать ее записками, письмами, выражением радости или гнева; но записок, посыльных к ней не было: на огромное происшествие не обратили внимание — ни Николай Аполлонович, ни Аполлон Аполлонович.

И — Анна Петровна грустила.

Наружу не выходила она; великолепного тона гостиница заключила ее в своем маленьком номерочке; и Анна Петровна часами сидела на единственном стуле; и Анна Петровна часами сидела, уставившись в крапы обоев; эти крапы лезли в глаза; глаза она переводила к окну; а окно выходило в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков; вместо неба был желтый дым; лишь в окошке там, наискось, виделись груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук через отблески стекол...

Ни — письма, ни — визита: от мужа, от сына.

Иногда звонила она; какая-то появлялась вертунья в бабочкообразном чепце.

И Анна Петровна — в который раз! — изволила спрашивать:

— «В комнату, пожалуйста, *thé complet*».\*

Появлялся лакей в черном фраке, в крахмале, в блистающем свежестью галстухе — с преогромным подносом, поставленным четко: на ладонь и плечо; он презрительно окидывал номерок, неумело подшитое платье его обитательницы, пестрые испанские тряпки, лежащие на двухспальной постели, и потрепанный чемоданчик; непочтительно, но бесшумно, он срывал с своих плеч преогромный поднос; и без всякого шума на стол упал «*thé complet*». И без всякого шума лакей удалялся.

Никого, ничего: те же крапы обоев; те же хохот, возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре; рояль — откуда-то снизу

\* Чай с хлебом, маслом, вареньем (*фр.*; фразеологизм). — Ред.

(в номере заезжей пьянистки, собиравшейся дать свой концерт); и глаза — в который раз — переводила к окну, а окно выходило в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков; вместо неба был дым, лишь в окошке там, наискось, виделись через отблески стекол —

— (вдруг раздался стук в дверь; вдруг Анна Петровна растерянно расплескала свой чай на чистейшие салфетки подноса) —

— лишь в окошке там, наискось, виделись груды грязных салфеток, лохань, рукава засученных рук.

Влетевшая горничная подала ей визитную карточку; Анна Петровна вся вспыхнула; шумно приподнялась из-за столика; первым жестом ее был тот жест, усвоенный смолоду: быстрое движение руки, оправляющей волосы.

— «Где они?»

— «Ждут-с в коридоре».

Вспыхнувши, проведя рукой от волос к подбородку (жест, усвоенный лишь недавно и обусловленный, вероятно, одышкой), Анна Петровна сказала:

— «Просите».

Задышала и покраснела.

Слышались — хохот, возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре и рожь откуда-то снизу; слышались быстро-быстро бегущие к двери шаги; дверь отворилась; Аполлон Аполлонович Аблеухов, не переступая порога, тщетно силился что-либо разобрать в полусумерках номерочка; и первое, что увидел он, оказалось стеною оливковых оттенков, глядящею за окном; и — дым вместо неба; лишь в окошке там, наискось, виделись через отблески стекол груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук, перемывающих что-то.

Первое, что бросилось на него, было скудною обстановкою дешевого номерочка (тени падали так, что Анна Петровна ступевалась как-то); эдакий номерок и — в перворазрядном отеле! Что ж такого? Тут нечему удивляться; номерочки такие бывают во всех перворазрядных отелях — перворазрядных столиц; на отель их приходится по одному, много по два; но анонсы о них оповещают во всех указателях. Вы читаете, например: «*Savoü Premier ordre. Chambres depuis 3 fr.*».\* Это значит: минимальные цены за сносную комнату — не менее пятнадцати франков; но для виду где-нибудь в антресолях неизменно пустующий угол, неприбранный, грязный, найдете вы — во всех перворазрядных отелях перворазрядных столиц; и о нем-то вот гласит указатель «*depuis trois francs*»;\*\* этот номер в загоне; остановиться нельзя в нем (вместо него попадаете вы в пятнадцатифранковый номер); в «*depuis trois francs*» же отсутствуют и воздух, и свет; и прислуга бы им погнушалась, не то что вы, барин; обстановка и что бы то ни было — отсутствуют

\* «Савой. Первый разряд. Комнаты, начиная с 3 франков» (*фр.*). — Ред.

\*\* «начиная с трех франков» (*фр.*). — Ред.

тоже; горе вам, если вы остановитесь: презирает вас многочисленный штат горничных, официантов и отельных мальчишек.

И вы съедете в гостиницу второго разряда, где за семь-восемь франков будете вы отдыхать в чистоте, комфорте, почете.

«Premier ordre — depuis 3 francs» — Боже вас сохрани!

Вот — постель, стол и стул; в беспорядке разбросаны на постели ридикюльчик, ремни, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка, перевернутая — представьте же — длинным чулочком (чистейшего шелка), плед, ремни да комок лимонного цвета кричащих испанских лоскутьев; все это, по мнению Аполлона Аполлоновича, должно было быть дорожными принадлежностями и сувенирами из Гренады, Толедо, по всей вероятности дорогими когда-то и теперь потерявшими всякий вид, всякий лоск, —

— три же тысячи рублей серебром, высланные так недавно в Гренаду, не могли быть, как видно, получены —

— так что даме ее положить в свете просто было неловко с собою возить эту старую рвань; и — сердце в нем сжалось.

Тут увидел он стол, блистающий парю чистейших салфеток и блистающий «t h é c o m p l e t»: принадлежность отеля, небрежно сюда занесенная. Из теней же выступил силуэт: сердце сжалось вторично, потому что на стуле —

— и нет, не на стуле! —

— вставшую он увидел со стула — ту самую ль? — Анну Петровну, осевшую, пополневшую, и — с сильнейшею проседью; первое, что он понял, был прискорбнейший факт: за два с половиною года пребывания в Испании (и — еще где, еще?) — явственней выступил из-под ворота двойной подбородок, а из-под низа корсета явственней выступил округленный живот; только два лазурью наполненных глаза когда-то прекрасного и недавно красивого личика там блистали по-прежнему; в глубине их теперь разыгрались сложнейшие чувства: робость, гнев, сочувствие, гордость, униженность убогою обстановкою номера, затаенная горечь и... страх.

Аполлон Аполлонович этого взгляда не вынес: опустил он глаза и мял в руке шляпу. Да, года пребывания с итальянским артистом изменили ее; и куда девалась солидность, врожденное чувство достоинства, любовь к чистоте и порядку; Аполлон Аполлонович глазами забегал по комнате: в беспорядке разбросаны были — ридикюльчик, ремни, кружевной черный веер, чулочек да комок лимонно-желтых лоскутьев, вероятно, испанских.

• • • • •  
Перед Анной Петровной... — да он ли то? Два с половиною года и его изменили; два с половиною года в последний раз перед собой она

видела отчетливо выточенное из серого камня лицо, холодно на нее посмотревшее над перламутровым столиком (во время последнего объяснения); каждая черточка в нее врезалась отчетливо леденящим морозом; а теперь, на лице — полное отсутствие черт.

(От себя же мы скажем: черты еще были недавно; и в начале повествования нашего обрисовали мы их...).

Два с половиною года тому назад Аполлон Аполлонович, правда, уже был стариком, но... в нем было что-то безлетное; и он выглядел — мужем; а теперь — где государственный человек? Где железная воля, где каменность взора, струящая одни только вихри, холодные, бесплодные, мозговые (не чувства) — где каменность взора? Нет, все отступало пред старостью; старик перевешивал все: положение в свете и волю; поражала страшная худоба; поражала сутуловатость; поражали — и дрожание нижней челюсти, и дрожание пальцев; и главное — цвет пальтеца: никогда он при ней не заказывал этого цвета одежды.

Так стояли они друг против друга: Аполлон Аполлонович, — не переступая порога; и Анна Петровна — над столиком: с дрожащею и полурасплесканной чашкою крепкого чая в руках (чай она расплескала на скатерть).

Наконец Аполлон Аполлонович на нее поднял голову; пожевал он губами и сказал, запинаясь:

— «Анна Петровна!»

Он теперь отчетливо осмотрел ее всю (к полусумеркам привыкли глаза); видел он: все черты ее на мгновение просветились прекрасно; и потом опять на черты набежали морщиночки, одутловатости, жировые мешочки: ясную красоту детских черт они облагали-таки огрубением старости; но на миг все черты ее просветились прекрасно, а именно, — когда резким движением от себя оттолкнула она сервированный чай; и вся как-то рванулась навстречу; но все же: не тронулась с места; и лишь бросила из-за столика там губами жующему старику:

— «Аполлон Аполлонович!»

Аполлон Аполлонович побежал ей навстречу (так же он бегал навстречу и два с половиною года, чтоб просунуть два пальца, отдернуть их и облить холодной водой); побежал к ней, как есть, через комнату — в пальтеце, со шляпой в руке; лицо ее наклонилось к лысине; голая, как колено, поверхность громадного черепа да два оттопыренных уха ей напомнили что-то, а когда холодные губы коснулись руки ее, замоченной расплесканным чаем, то сложное выражение черт у нее тут сменилось нескрываемым чувством довольства: вы представьте себе, — что-то детское вспыхнуло, проиграло и затаилось в глазах.

А когда разогнулся он, то фигурка его перед ней выдавалась даже с чрезмерной отчетливостью, обвисая брючками, пальтецом (никогда не бывшего цвета) и множеством новых морщинок, двумя, разрывающими все лицо и новыми какими-то взорами; эти два вылезавших глаза не показались, как прежде, ей двумя прозрачными камнями; проступили в них: неизвестная сила и крепость.



Но глаза опустились. Аполлон Аполлонович, порхая глазами, искал выражений:

— «Я, знае... — подумал он и окончил: — «те ли...»

— «?»

— «Приехал засвидетельствовать вам, Анна Петровна, почтение...»

— «И поздравить с приездом...»

И Анна Петровна поймала растерянный, недоумевающий, просто мягкий какой-то, сочувственный взгляд — темного василькового цвета, точно теплого весеннего воздуха.

Из соседнего номера раздавались: хохот, возня; из-за двери — разговор тех же горничных; и рояль — откуда-то снизу; в беспорядке разбросаны были: ремни, ридикюльчик, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка да комок кричащих лимонных лоскутьев, оказавшихся кофточкой; уставлялись крапы обой; уставлялось окно, выходящее в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков; вместо неба был — дым, а в дыму — Петербург: улицы и проспекты; тротуары и крыши; изморось приседала на жестяной подоконник там; низвергались холодные струечки с жестяных желобов.

— «А у нас...» —

— «Не хотите ли чаю?..»

— «Начинается забастовка...»

### КАЧАЛОСЬ НАД ГРУДОЙ ПРЕДМЕТОВ...

Дверь распахнулась.

Николай Аполлонович очутился в передней, из которой с такою поспешностью он бежал спозаранку; на стенах разблестался орнамент из старинных оружий: здесь ржавели мечи; там — склоненные алебарды: Николай Аполлонович выглядел вне себя; резким взмахом руки он сорвал с себя итальянскую шляпу с полями; шапка белольняных волос омягчала холодную эту почти суровую внешность с напечатленным упрямством (трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот оттенок у крестьянских младенцев — особенно в Белоруссии); сухо, холодно, четко выступили линии совершенно белого лика, подобного иконописному, когда на мгновенье задумался он, устремляя взор свой туда, где под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка и проискрилась крестообразная рукоять рыцарского меча.

Вот он вспыхнул; и в мокрой, измятой накидке он, прихрамывая, взлетел по ступеням коврами устланной лестницы; почему же временами он вспыхивал, рдея румянцем, чего никогда не бывало с ним? И он — кашлял; и он — задыхался; лихорадка трясла его: нельзя безнаказанно в самом деле простаивать под дождем; любопытнее всего, что с колена ноги, на которую он прихрамывал, сукно было содрано; и — трепался лоскут; был приподнят студенческий сюртучок под накидкой,

горбя спину и грудь; между целою и оторванной сюртучною фалдой пляшущий хлястик выдавался наружу; право, право же: выглядел Николай Аполлонович хромоногим, горбатым, и — с хвостиком, когда полетел что есть мочи он по мягкой ступенчатой лестнице, провевявши шапкою белольняных волос — мимо стен, где клонились пистоль с шестопером.

Поскользнулся пред дверью с граненой хрустальною ручкою; а когда он бежал мимо блестящих лаками комнат, то казалось, что строилась вокруг него лишь иллюзия комнат; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости; и когда за собою захлопнул он коридорную дверь и стучал каблуками по гулкому коридору, то казалось ему, что колотятся его височные жилки: быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз.

Он влетел сам не свой в свою пеструю комнату: и отчаянно вскрикнули в клетке и забили крылами зеленые попугайчики; этот крик прервал его бег; на мгновенье уставился он пред собой; и увидел: пестрого леопарда, брошенного к ногам с разинутой пастью; и — зашарил в карманах (он отыскивал ключик от письменного стола).

— «А?»

— «Черт возьми...»

— «Потерял?»

— «Оставил!?»

— «Скажите, пожалуйста».

И беспомощно заметался по комнате, разыскивая им забытый предательский ключик, перебирая совершенно неподходящие предметы убранства, схвативши трехногую золотую курильницу в виде истыканного отверстия шара с полумесяцем наверху и бормоча сам с собой: Николай Аполлонович так же, как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

С испугом он кинулся в соседнюю комнату — к письменному столу: на ходу зацепил он ногою за арабскую табуретку с инкрустацией из слоновой кости; она грохнула на пол; его поразило, что стол был не заперт; выдавался предательски ящик; он был полувыдвинут; сердце упало в нем: как мог он в неосторожности позабыть запереть? Он дернул ящик... И-и-и...

Нет: да нет же!

В ящике в беспорядке лежали предметы; на столе лежал брошенный наискось портрет кабинетных размеров; а... сардинницы не было; яростно, ожесточенно, испуганно выступали над ящиком линии побагровевшего лица с синевою вокруг громадных черных каких-то очей: черных — от расширенности зрачков; так стоял он меж креслом темно-зеленой обивки и бюстом: разумеется, Канта.

Он — к другому столу. Он — выдвинул ящик; в ящике в совершенном порядке лежали предметы: связки писем, бумаги; он все это — на стол; но... — сардинницы не было... Тут ноги его подкосились; и,

как есть, в итальянской накидке, в калошах, — он упал на колени, роня горящую голову на холодные, мокрые, дождем просыревшие руки; на мгновение — так замер он: шапка льняных волос мертвенела так странно там, неподвижно, желтоватым пятном в полусумерках комнаты среди кресел темно-зеленой обивки.

Да — как вскочит! Да — к шкафу! И шкаф — распахнулся; кое-как на ковер полетели предметы; но и там — сардинницы не было; он, как вихрь, заметался по комнате, напоминая юркую обезьянку и стремительностью движений (как у его высокопревосходительного папаши), и невзрачным росточком. В самом деле: подшутила судьба; из комнаты — в комнату; от постели (здесь рылся он под подушками, одеялом, матрасом) — к камину: здесь руки он перепачкал в золе; от камина — к рядам книжных полок (и на медных колесиках заскользил легкий шелк, закрывающий корешки); здесь просовывал руки он меж томами; и многие томы с шелестением, с грохотом полетели на пол.

Но нигде сардинницы не было.

Скоро лицо его, перепачканное золою и пылью, уж без всякого толка и смысла качалось над кучей предметов, сваленных в беспорядочную грудку и перебираемых длинными, какими-то паучьими пальцами, выбегающими на дрожащих руках; руки эти ерзали по полу из стлавшейся итальянской накидки; в этой согнутой позе, весь дрожащий и потный, с налитыми шейными жилами, право-право, напомнил бы всякому он толстобрюхого паука, поедателя мух; так, когда разорвет наблюдатель тонкую паутину, то видит он зрелище: обеспокоенное громадное насекомое, продрожав на серебряной ниточке в пространстве от потолка и до полу, неуклюже забегает по полу на мохнатых ногах.

В такой-то вот позе — над грудой предметов — Николай Аполлонович был застигнут врасплох: вбежавшим Семенычем.

— «Николай Аполлоныч!.. Барчук!..»

Николай Аполлонович, все еще сидя на корточках, повернулся; увидев Семеныча, он в стремительном жесте накидку накрыл грудку сваленных вкучу предметов — листики и раскрывшие зевы тома, — напоминая наседку на яйцах: шапка льняных волос мертвенела так странно там, неподвижно, — желтоватым пятном в полусумерках комнаты.

— «Что такое?..»

— «Осмелюсь я доложить...»

— «Оставьте: видите, что... я занят...»

Растянувши рот до ушей, весь напомнил он голову пестрого леопарда, там оскаленного на полу:

— «Разбираю, вот, книги».

Но Семеныч уговориться не мог:

— «Пожалуйста: там... просят вас...»

— «?»

— «Семейная радость: так что матушка-барыня, Анна Петровна, сами изволили к нам пожаловать».

Николай Аполлонович машинально привстал; с него слетела на-кидка; на перепачканном золою контуре иконописного лика — сквозь пепел и пыль — молнией вспыхнул румянец; Николай Аполлонович представлял собой нелепую и смешную фигурку в растопыренном двумя горбами студенческом сюртуке об одной только фалде — и с пляшущим хлястиком, когда он — закашлялся; хрипло как-то, сквозь кашель, воскликнул он:

— «Мама? Анна Петровна?»

— «С Аполлоном с Аполлоновичем они там-с; в гостиной... Только что вот изволили...»

— «Меня зовут?»

— «Аполлон Аполлонович просят-с».

— «Так, сейчас... Я сейчас... Вот только...»

В этой комнате так недавно еще Николай Аполлонович вырастал в себе самому предоставленный центр — в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих все: душу, мысль и это вот кресло; так недавно еще он являлся здесь единственным центром вселенной; но прошло десять дней; и самосознание его позорно увязло в этой сваленной куче предметов: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.

— «Тсс! Семеныч, Семеныч — послушайте», — Николай Аполлонович прытко выюркнул тут из двери, нагоняя Семеныча, перепрыгнул чрез опрокинутую табуретку и впепился в рукав старика (ну и цепкие ж пальцы!).

— «Не видали ль вы здесь — дело в том, что...» — запутался он, приседая к земле и оттягивая старика от коридорной от двери — «забыл я... Эдакого здесь предмета не видали ли вы? Здесь, в комнате... Предмета такого: игрушку...»

— «Игрушку-с...»

— «Детскую игрушку... сардинницу...»

— «Сардинницу?»

— «Да, игрушку (в виде сардинницы) — тяжелую весом, с заводом: еще тикают часики... Я ее положил тут: игрушку...»

Семеныч медленно повернулся, высвободил свой рукав от прицепившихся пальцев, на мгновение уставился в стену (на стене висел щит — негритянский: из брони когда-то павшего носорога), подумал и неуважительно так отрезал:

— «Нет!»

Даже не «нет-с»: просто — «нет»...

— «А я, таки, думал...»

Вот подите: благополучие, семейная радость; сияет сам барин, министр: для такого случая... А тут нате: сардинница... тяжелая весом... с заводом... игрушка: сам же — с оторванной фалдою!..

— «Так позвольте доложить?»

— «Я — сейчас, я — сейчас...»

И дверь затворилась: Николай Аполлонович тут стоял, не понимая, где он, — у опрокинутой темно-коричневой табуретки, перед калянным прибором; перед ним на стене висел щит, негритянский, толстой кожи павшего носорога и с привешенной сбоку суданскою ржавой стрелой.

Не понимая, что делает, поспешил он сменить предательский сюртук на сюртук совсем новенький; предварительно же отмыл руки он и лицо от золы; умываясь и одеваясь, приговаривал он:

— «Как же это такое, что же это такое... Куда же я в самом деле упрягал...»

Николай Аполлонович не сознавал еще всей полноты на него напавшего ужаса, вытекающего из случайной пропажи сардинницы; хорошо еще, что пока не пришло ему в голову: в отсутствие его в комнате побывали и, открывши сардинницу ужасного содержания, сардинницу эту предупредительно унесли от него.

## УДИВИЛИСЬ ЛАКЕИ

И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман; сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали — под ватагою каменных великанов-домов; им навстречу летели — проспект за проспектом; и сферическая поверхность планеты казалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; и сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые ширилась бездны поверхностями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя.

Но Аполлон Аполлонович не глядел на любимую свою фигуру: квадрат; не предавался бездумному созерцанию каменных параллелепипедов, кубов; покачиваясь на мягких подушках сиденья наемной кареты, он с волнением поглядывал на Анну Петровну, которую вез он сам — в лакированный дом; что такое за чаем они говорили там в номере, навсегда осталось для всех непроницаемой тайной; после этого разговора и порешили они: Анна Петровна завтра же переедет на Набережную; а сегодня вез Аполлон Аполлонович Анну Петровну — на свидание с сыном.

И Анна Петровна конфузилась.

В карете не говорили они; Анна Петровна глядела там в окна кареты: два с половиною года не видала она этих серых проспектов: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда — в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни — никого, ничего.

Аполлон Аполлонович с нескрываемым удовольствием привалился к стенкам кареты, отграниченный от уличной мрази в этом замкнутом кубе; здесь он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнувших красных обертков, продаваемых вон с того перекрестка; и порхал он глазами; иногда только Анна Петровна ловила: растерянный, недоумевающий взор, и представьте себе — просто мягкий какой-то: синий-синий, ребяческий, неосмысленный даже (не впадал ли он в детство?).

— «Слышала я, Аполлон Аполлонович: вас прочат в министры?»

Но Аполлон Аполлонович перебил:

— «Вы теперь откуда же, Анна Петровна?»

— «Да я из Гренады...»

— «Так-с, так-с, так-с...» — и, сморкаясь, — прибавил... — «Да знаете ли, дела: служебные, знаете, неприятности...»

И — что такое? На руке своей ощутил оп теплую руку: его погладили по руке... Гм-гм-гм: Аполлон Аполлонович растерялся; сконфузился, перепугался даже он как-то; даже стало ему неприятно... Гм-гм: лет пятнадцать уже не обращались с ним так... Таки прямо погладила... Этого он, признаться, не ждал от особы... гм-гм... (Аполлон Аполлонович эти два с половиною года ведь особу эту считал за... особу... легкого... поведения...).

— «Выхожу, вот, в отставку...»

Неужели же мозговая игра, разделявшая их столько лет и зловеще сгущенная за два с половиною года, — вырвалась наконец из упорного мозга? И вне мозга уже тучами посгущалась над ними? Наконец разразилась вокруг небывалыми бурями? Но раздражаясь вне мозга, она истощилась в мозгу; медленно мозг очищался; в тучах так иногда вы увидите сбоку бегущий и лазурный пролет — сквозь полосы ливня; пусть же ливень хлещет над вами; пусть с грохотом разрываются темные облака клубы багровою молнией! Лазурный пролет набегаёт; ослепительно скоро выглянет солнце; вы уже ожидаете окончания грозы; вдруг — как вспыхнет, как бацнет: в сосну ударила молния.

В окна кареты врывалось зеленоватое освещение дня; потоки людские бежали там волнообразным прибором; и прибор тот людской — был прибором громовой.

Здесь вот видел он разночинца; здесь глаза разночинца заблестели, узнали, тому назад — дней уж десять (да, всего десять дней: за десять дней переменялось все; изменилась Россия!)...

Леты и грохоты пролетающих! Мелодичные возгласы автомобильных рулад! И — наряд полицейских!..

Там, где взвесилась только одна бледно-серая гнилость, матово намечался сперва и потом наметился вовсе: грязноватый, черновато-серый Исакий... И ушел обратно в туман. И — открылся простор: глубина, зеленоватая муть, куда убежал черный мост, где туман занавесил холодные многотрубные дали и откуда бежала волна набегающих облаков.

. . . . .

В самом деле: ведь вот — удивились лакеи!

Так рассказывал после в передней дежуривший сонный Гришка-мальчишка:

— «Я сижу это, да считаю по пальцам: ведь вот от Покрова от самого — до самого до Рождества Богородицы... Это значит выходит... От Рождества Богородицы — до Николы до Зимнего...»<sup>2</sup>

— «Да рассказывай ты: Рождество Богородицы, Рождество Богородицы!»

— «А я — что? Рождество Богородицы деревенский наш праздник — престольный...<sup>3</sup> Так что — будет: считаю... Тут слышь — подъехали; я — к дверям. Распахнул, значит, дверь: и — ах, батюшки! Так что барин сам, в наемной каретишке (и плохая ж каретишка!); так что с ним барыня лет почтенных в дешевеньком ватерпруфе».<sup>4</sup>

— «Не ватерпруфе, пострел: нынче ватерпруфов не носят».

— «Не смущайте его: он и так обалдел».

— «Одним словом — в пальте. Барин же суетится: с извозчика — тыфу, с кареты — он соскочил, руку барыне протянул, — улыбается: кавалерственно эдак; всякую помощь оказывает».

— «Ишь ты...»

— «То же...»

— «Я думаю; не видались два года», — раздались вокруг голоса.

— «Само собой: барыня из кареты выходит; только барыня — вижу я — смущены при таком при случае: улыбаются там — не в своем в полном виде; себя самих для куражу: за полбородок хватаются; ну, бедно, скажу вам, одеты; на перчатках-то дыры; не заштопаны, вижу, перчатки: может, некому штопать; в Гишпании, может, не штопают...»

— «Рассказывай, ладно уж!..»

— «Я и так говорю: барин же, барин наш, Аполлон Аполлонович, всякую авантюжность посбросили; стоят у кареты, над лужею, под дождем; дождь — Бог ты мой! Барин ежится, будто на месте забегали, прилопатывают на месте носками; а как барыня при ходе с подножки вся на руку на их навалилась — ведь барыня грузная — барин наш так весь даже присел; крохотного барин росточка; ну, куды же им, думаю, грузную такую сдержать! Силенки не хватит...»

— «Не плети белиндрасов; рассказывай».

— «Я не плету белиндрасов; я и так говорю; да и што говорить... Тут вот Митрий Семеныч расскажет: они повстречали в передней... Что рассказывать-то? Барин барыне только всего и сказали: мол, милости просим, сказали — пожалуйста, мол, Анна Петровна... Тут я их и признал».

— «Ну и что ж?»

— «Постарели... Спервоначалу-то не узнал; а потом их узнал, потому еще помню: гостинцем кормила».

Так впоследствии говорили лакеи.

• . . . . .  
Но действительно!

Неожиданный, непредвиденный факт: тому назад два с половиною года, как Анна Петровна уехала от супруга с итальянским артистом; и вот через два с половиною года, покинутая итальянским артистом, от гренадских прекрасных дворцов через цепь Пиренеев, чрез Альпы, чрез горы Тироля примчалась с экспрессом обратно; но всего удивительней то, что сенатору было нельзя заикнуться об Анне Петровне ни два с лишним года, ни даже тому назад — два с половиною дня (еще вчера он топорщился!); два с половиною года Аполлон Аполлонович сознанием избегал даже мысли об Анне Петровне (и все-таки думал о ней); самое звукосочетание «Анна Петровна» разбивалось о барабанную перепонку ушей точно так, как о лоб учительский разбивается брошенная из-под парты хлопущка; только школьный учитель по кафедре разгневанно простучит кулаком; Аполлон Аполлонович же поджимал презрительно губы при звукосочетании этом. Отчего же при известии о ее возвращении обыкновенный поджим сухих губ разорвался в взволнованно-гневно-дрожании челюстей (вчера ночью — при разговоре с Николенькой); отчего не спал ночь? Отчего в течение полусуток тот гнев испарялся куда-то и сменялся щемящей тоскою, переходящей в тревогу? Почему сам не выдержал ожидания, сам поехал в гостиницу? Уговаривал — сам: сам — привез. Что такое случилось там — в гостиничном номере; свое строгое обещание забыла и Анна Петровна: обещание это дала она себе — здесь, вчера: здесь в лакированном доме (посетивши его и никого не застав).

Дала обещание: но — вернулась.

Анна Петровна и Аполлон Аполлонович были взволнованы и сконфужены объясненьем друг с другом; поэтому при вступлении в лакированный дом не обменялись они обильными излияниями чувств; Анна Петровна искоса посмотрела на мужа: Аполлон Аполлонович стал сморкаться... под ржавую алебардою; испутив трубный звук, стал пофыркивать в бачки. Анна Петровна милостиво изволила отвечать на почти-тельные поклоны лакеев, проявляя сдержанность, которой мы только что не видели в ней; только Семеныча она обняла и как будто хотела поплакать; но, бросивши перепуганный, растерянный взгляд на Аполлона Аполлоновича, она себя пересилила: пальцы ее потянулись к ридикюльчику, но платка не достали.

Аполлон Аполлонович, стоя над ней на ступеньках, бросал на лакеев повелительно строгие взгляды; взгляды такие бросал он в минуты растерянности: а в обычные времена Аполлон Аполлонович был с лакеями до обидности отменно вежлив и чопорен (за исключением шуток). Он, пока тут стояла прислуга, выдерживал тон равнодушия: ничего не случилось — до этой поры проживала барыня за границей, для поправленья здоровья; более ничего: и барыня, вот, вернулась... Что ж такое? Ну, вот — и прекрасно!..

Впрочем, был тут лакей (все другие сменились, за исключением Семеныча да Гришки, мальчишки); этот — помнил, что помнил: помнил, какими манерами совершала барыня свой заграничный отъезд — без



всякого предупрежденья прислуги: с маленьким саквояжем в руках (и это — на два с половиною года!); накануне ж отъезда — запиралась от барина; дня же два до отбытия все сидел у нее этот самый, с у с а м и: черноглазый их посетитель — как его? Мицдалини (звали его Манталини),<sup>5</sup> который певал у них нерусские какие-то песни: «Тра-ла-ла... Тра-ла-ла...» И на чай не давал.

Этот самый лакей, что-то такое запомнив, с особенным уважением приложился к превосходительной ручке, чувствуя за собою вину, что подробности бегства — отъезда то есть — не изгладились у него в голове; не на шутку боялся ведь он, что сочтены его дни пребывания в лакированном доме — по случаю счастливого возвращения их высокопревосходительств в лакированный дом.

Вот они — в зале; перед ними паркет, точно зеркало, разблестался квадратиками: эти два с половиною года здесь редко топили; безотчетную грусть вызывали пространства этой комнатной анфилады; Аполлон Аполлонович более все сидел у себя в кабинете, запираясь на ключ; все казалось ему, что отсюда — туда прибежит к нему кто-то знакомый и грустный; и теперь он подумал, что вот он — не один; не один будет он здесь расхаживать по квадратикам паркетного пола, а... с Анной Петровной.

По квадратикам паркетного пола с Николенькой Аполлон Аполлонович расхаживал редко.

Согнув кренделем руку, повел Аполлон Аполлонович через зал свою гостью: хорошо еще, что подставил он правую руку; левая — и стреляла, и ныла от сердечных, стремительных, неугомонных толчков; Анна Петровна же остановила его, подвела его к стенке, показывая на бледно-тошную живопись, улыбнулась ему:

— «Ах, все те же!.. Помните, Аполлон Аполлонович, эту вот фреску?»

И — чуть-чуть покосилась, чуть-чуть покраснела; васильковые взоры его тут усталились в два лазурью наполненных глаза; и — взгляд, взгляд: что-то милое, бывшее, стародавнее, что все люди забыли, но что никого не забыло и стоит при дверях — что-то такое вдруг встало между взглядами их; это не было в них; и возникло — не в них; но стояло — меж ними: будто ветром весенним овеяло. Пусть простит мне читатель: сущность этого взгляда выражу я банальнейшим словом:

— «Помните?»

— «Как же-с: помню...»

— «Где?»

— «В Венеции...»

— «Прошло тридцать лет!..»

Воспоминание о туманной лагуне, об арпи, рыдающей в отдалении, охватило его: тому назад тридцать лет. Воспоминания о Венеции и ее охватили, раздвоились: тому назад — тридцать лет; и тому назад — два с половиною года; тут она покраснела от воспоминанья некстати, кото-

рое она прогнала; и другое нахлынуло: Коленька. За последние два часа о Колепке позабыла она; разговор с сенатором вытеснил все иное до времени; но за два часа перед тем только о Колепке она и думала с нежностью; с нежностью и досадой, что от Колепки — ни привета, ни отзыва.

— «Коленька...»

Они вступили в гостиную; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек; разблестались листики инкрустации — перламутра и бронзы — на коробочках, полочках, выходящих из стен.

— «Коленька, Анна Петровна, ничего себе... так себе... поживает прекрасно», — и отбежал — как-то вбок.

— «А он дома?»

Аполлон Аполлонович, только что упавший в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сидений завивались веночки, нехотя приподнялся из кресла, нажимая кнопку звонка:

— «Отчего он ко мне не приехал?»

— «Он, Анна Петровна... мме-емме... был, в свою очередь, очень-очень», — запутался как-то странно сенатор, и потом достал свой платок: с трубными какими-то звуками очень долго сморкался; фыркая в бачки, очень долго в карманы запихивал носовой свой платок:

— «Словом, был он обрадован».

Наступило молчание. Лысая голова там качалась под холодною и длинною бронзою; ламповый абажур не сверкал фиолетовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски девятнадцатый век утерял: стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

На звонок появился Семеныч:

— «Николай Аполлонович дома?»

— «Точно так-с...»

— «Мм... послушайте: скажите ему, что Анна Петровна — у нас; и — просит пожаловать...»

— «Может быть, мы сами пойдем к нему», — заволновалась Анна Петровна и с несвойственною ее годам быстротою приподнялась она с кресла; но Аполлон Аполлонович, повернувшись круто к Семенычу, тут ее перебил:

— «Ме-емме... Семеныч: скажу-ка я...»

— «Слушаю-с!..»

— «Ведь жена то халдея — полагаю я — кто?»

— «Полагаю-с, — халдейка...»

— «Нет — халда!..»

• . . . . .  
— «Хе-хе-хе-с...»

• . . . . .  
— «Колепкой, Анна Петровна, я недоволен...»

— «Да что вы?»

— «Колепка уж давно ведет себя — не волнуйтесь — ведет себя: прямо-таки — не волнуйтесь же — странно...»

— «?»

Золотые трюмо из простенков отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал.

— «Коленька стал как-то скрытен... Кхе-кхе», — и, закашлявшись, Аполлон Аполлонович, пробарабанил рукою по столику, что-то вспомнил — свое, нахмурился, стал рукою тереть переносицу; впрочем, быстро опомнился: и с чрезмерной веселостью почти выкрикнул он:

— «Впрочем — нет: ничего-с... Пустяки».

Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик.

## БЫЛО СПЛОШНОЕ БЕССМЫСЛИЕ

Николай Аполлонович, перемогая сильнейшую боль в подколенном суставе (он таки порасшибся), чуть прихрамывал: перебегал гулкое коридора пространство.

Свидание с матерью!..

Вихри мыслей и смыслов обуревали его; или даже не вихри мыслей и смыслов: просто вихри бессмыслия; так частицы кометы, пронизая планету, не вызовут даже изменения в планетном составе, пролетев с потрясающей быстротой; пронизая сердца, не вызовут даже изменения в ритме сердечных ударов; но замедлись кометная скорость: разорвутся сердца: самая разорвется планета; и все станет газом; если бы мы хоть на миг задержали крутящийся бессмысленный вихрь в голове Аблеухова, то бессмыслие это разрядилось бы бурно вспухшими мыслями.

И — вот эти мысли.

Мысль, во-первых, об ужасе его положения; ужасное положение — создавалось теперь (вследствие пропажи сардинницы); сардинница, то есть бомба, пропала; ясное дело — пропала; и, стало быть: кто-то бомбу унес; кто же, кто? Кто-нибудь из лакеев; и — стало быть: бомба попала в полицию; и его — арестуют; но это — не главное, главное: бомбу унес — Аполлон Аполлонович сам; и унес в тот момент, когда с бомбою счеты были покончены; и он — знает: все знает.

Все — что такое? Ничего-то ведь не было; план убийства? Не было плана убийства; Николай Аполлонович этот план отрицает решительно: гнусная клевета — этот план.

Остается факт найденной бомбы.

Раз отец его призывает, раз мать его — нет, не может знать: и бомбы не уносил он из комнаты. Да и лакеи... Лакеи бы уж давно обнаружили все. А никто — ничего. Нет, про бомбу не знают. Но — где она, где она? Точно ли он засунул ее в этот стол, не подложил ли куда-нибудь под ковер, машинально, случайно?

С ним такое бывало.

Чрез неделю сама собой обнаружится... Впрочем, нет: о своем присутствии где-нибудь она заявит сегодня — ужаснейшим грохотом (грохотов Аблеуховы решительно не могли выносить).

Где-нибудь, может быть, — под ковром, под подушкой, на полочке о себе заявит: загрохочет и лопнет; надо бомбу найти; а теперь вот и времени у него нет на поиски: приехала Анна Петровна.

Во-вторых: его оскорбили; в-третьих: этот паршивенький Павел Яковлевич, — он как будто бы только что где-то видел его, возвращаясь с квартирки на Мойке; Пепп же Пеппович Пепп — вот в — четвертых: Пепп — ужасное расширение тела, растяжение жил, кипяток в голове...

Ах, все спуталось: вихри мыслей крутились с нечеловеческой быстротой и шумели в ушах, так что мыслей и не было: было сплошное бессмыслие.

И вот с этим-то бессмысленным кипятком в голове Николай Аполлонович бежал по гулкому коридору, не обернув наспех надетого скрутка и являясь для взора грудогорбым каким-то хромцом, припадающим на правую ногу с болезненно ноющим подколенным суставом.

## МАМА

Он открыл дверь в гостиную.

Первое, что увидел он, было... было... Но что тут сказать: лицо матери он увидел из кресла и протянутых две руки: лицо постарело, а руки дрожали в кружеве золотых фонарей, только что зажженных — за окнами.

И услышал он голос:

— «Коленька: мой родной, мой любимый!»

Он не выдержал больше и устремился весь к ней:

— «Ты ли, мой мальчик...»

Нет, не выдержал больше: опустившись пред ней на колени, пепкими став ее охватил он руками; он лицом прижался к коленям, судорожными разразился рыданиями — рыданиями неизвестно о чем: безотчетно, бесстыдно, безудержно заходили широкие плечи (вспомним же: Николай Аполлонович не испытывал ласки за эти последние три года).

— «Мама, мама...»

Она плакала тоже.

Аполлон Аполлонович там стоял, в полусумерках ниши; и потрогивал пальцем он куколку из фарфора — китаец: китаец качал головой; Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерок ниши; и тихонько покрякивал он; мелкими придвигался шагками к той плачущей паре; и неожиданно загудел он над креслом:

— «Успокойтесь, друзья мои!»

Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного, скрытного сына, — на лице которого эти два с половиною года он видел одни лишь ужимочки; рот, разорванный до ушей, и опущенный взор; и потом, повернувшись, озабоченно побегал Аполлон Аполлонович вон из комнаты — за каким-то предметом.

— «Мама... Мама...»

Страх, унижения всех этих суток, пропажа сардинницы, наконец, чувство полной ничтожности, все это, крутясь, развивалось мгновенными мыслями; утопало во влаге свидания:

— «Любимый, мой мальчик».

Ледяное прикосновение пальцев к руке привело его в чувство:

— «Вот тебе, Коленька: отпей глоточек воды».

И когда он поднял с колен свой заплаканный лик, он увидел какие-то ребенка ины взоры шестидесятисемилетнего старика: маленький Аполлон Аполлонович тут стоял в пиджачке со стаканом воды; его пальцы плясали; Николая Аполлоновича он скорее пытался трепать, чем трепал, — по спине, по плечу, по щекам; вдруг погладил рукой белолыняные волосы. Анна Петровна смеялась; совершенно некстати рукой оправляла свой ворот; охьяненные от счастья глаза переводила она: с Николеньки — на Аполлона Аполлоновича; и обратно: с него на Николеньку.

Николай Аполлонович медленно приподнялся с колен:

— «Извините, мамаша: я так себе...»

— «Это, это — от неожиданности...»

— «Я — сейчас... Ничего... Спасибо, папа...»

И отпил воды.

— «Вот».

На перламутровый столик Аполлон Аполлонович поставил стакан; и вдруг — старчески рассмеялся чему-то, как смеются мальчишки проказам веселого дяди, локоточками толкая друг друга; два старинных, родимых лица!

— «Так-с...»

— «Так-с...»

— «Так-с...»

Аполлон Аполлонович там стоял у трюмо, которое увенчивал крыльшком золотошекий амурчик: под амурчиком лавры и розы прободали тяжелые пламена факелов.

Но молнией прорезала память: сардинница!..

Как же так? Что же это такое? И порыв переломался в нем снова.

— «Я сейчас... Я приду...»

— «Что с тобою, мой милый?»

— «Ничего-с... Оставьте его, Анна Петровна... Я советую тебе, Коленька, побыть с собою самим... пять минут... Да, знаешь ли... И потом — приходи...»

И чуть-чуть симулируя только что с ним бывший порыв, Николай Аполлонович пошатнулся, театрально как-то опять лицо уронил в свои пальцы: шапка лыняных волос промертвенела так странно там, в полусумерках комнаты.

Он, шатаясь, вышел.

Удивленно отец поглядел на счастливую мать.

— «Собственно говоря, я его не узнал... Эти, эти... Эти, так сказать, чувства», — Аполлон Аполлонович перебежал от зеркала к подоконнику... — «Эти, эти... порывы», — и потрепал себе бачки.

— «Показывают», — повернулся он круто и приподнял носки, мгновение балансируя на каблучках и потом припадая всем телом на упавшие к полу носки —

— «Показывают», — заложил руки за спину (под пиджачок) и вращал за спиною рукою (отчего пиджачок завилял); и казалось — Аполлон Аполлонович бегаёт по гостиной с виляющим хвостиком:

— «Показывают в нем естественность чувства и, так сказать», — тут пожал он плечами, — «хорошие свойства натуры»...

— «Не ожидал-с я никак...»

Лежащая на столике табакерка поразила внимание именитого мужа; и желая придать ее положению на столе более симметрический вид относительно стоящего здесь подносика, Аполлон Аполлонович быстро-быстро вдруг подошел к тому столику и схватил... с подносика визитную карточку, которую для чего-то он завертел между пальцев; рассеянность его проистекла оттого, что в сей миг посетила его глубокая дума, развертываясь в убегающий лабиринт посторонних каких-то открытий. Но Анна Петровна, сидевшая в кресле с блаженным растерянным видом, убежденно заметила:

— «Я всегда говорила...»

— «Да-с, знаешь ли...»

Аполлон Аполлонович встал на цыпочки с приподнятым хвостиком пиджака; и — побежал от столика к зеркалу:

— «Те-ли...»

Аполлон Аполлонович побежал от зеркала в угол:

— «Коленька меня удивил: и признаться — это его поведение меня успокоило» — он сморщил лоб — «относительно... относительно», — вынул руку из-за спины (край пиджачка опустился), рукою пробарабанил по столику:

— «Мда!...»

Круто себя перебил:

— «Ничего-с».

И задумался: поглядел на Анну Петровну; встретился с ее взглядом; они улыбнулись друг другу.

## И ГРЕМЕЛА РУЛАДА

Николай Аполлонович вошел в свою комнату; уставился на упавшую арабскую табуретку: проследивал инкрустацию из слоновой кости и перламутра. Медленно подошел он к окну: там бежала река; и качалась ладья; и плескалась струя; из гостиной, откуда-то издали, неожиданно бегу рулад огласили молчание комнаты; так она играла и прежде: и под эти-то звуки, бывало, засыпал он над книгами.

Николай Аполлонович стал над грудой предметов, соображая мучительно:

— «Где же это такое... Как же это такое... Куда же я в самом деле?»

И — не мог он припомнить.

Тени, тени и тени: зеленели кресла из теней; выдавался из теней там бюст: разумеется, Канта.

Тут заметил он на столе лист, свернутый вчетверо: посетители, не заставши хозяина дома, на столе оставляют вчетверо свернутые листы; машинально взял он бумажку; машинально увидел он почерк — знакомый, лихутинский. Да — ведь вот: он совсем позабыл, что в его отсутствие, утром, побывал здесь Лихутин: копался и шарил (сам же он об этом рассказывал при неприятном свидании)...

Да, да, да: обшаривал комнату.

Вздых облегчения вырвался из груди Николая Аполлоновича. Все объяснялось мгновенно: Лихутин! Ну — конечно, конечно; непременно здесь шарил; искал и нашел; и, нашедши, унес; увидел незапертый стол; и в стол заглянул; сардинница поразила его и весом, и видом, и часовым механизмом; сардинницу и унес подпоручик. Сомнения не было.

С облегчением опустился он в кресло; в это время снова молчание огласили беги рулад; так бывало и прежде: оттуда бежали рулады; и тому назад — девять лет; и тому назад — десять лет: игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна. И ему показалось теперь, что событий и не было, раз все объяснялось так просто: сардинницу унес подпоручик Лихутин (кто же более, если не допустить, но... — зачем допускать!); Александр Иванович постарается о всем прочем (в эти часы, мы напомним, как раз объяснялся на дачке Александр Иванович Дудкин с покойным Липпанченко); да, событий — и не было.

Петербург там за окнами преследовал мозговою игрой и плаксивым простором; там бросались натиски мокрого холодного ветра; протуманились гнезда огромные бриллиантов — под мостом. Никого — ничего.

И бежала река; и плескалась струя; и качалась ладья; и гремела рулада.

По ту сторону невских вод повставали громады — абрисами островов и домов; и в туманы бросали янтарные очи; и казалось, что — плачут. Ряд береговых фонарей уронил огневые слезы в Неву: закипевшими блесками прожигалась поверхность.

## АРБУЗ — ОВОЩ...

После двух с половиною лет состоял обед их втроем.

Прокуковала стенная кукушка; лакей внес горящую супницу; Анна Петровна сияла довольством; Аполлон Аполлонович... — кстати: глядя утром на дряхлого старика, не узнали бы вы этого безлетнего мужа,

вдруг окрепшего, с выправкой, севшего тут за стол и взявшего каким-то пружинным движением салфетку; уже они сидели за супом, когда боковая дверь отворилась: Николай Аполлонович чуть поддуренный, выбритый, чистый, проковылял оттуда, присоединяясь к семейству в наглухо застегнутом студенческом сюртуке с воротником высочайших размеров (напоминающим воротники александровской, миновавшей эпохи).

— «Что с тобою, попп sheg», — вскинула к носу пенсне с аффектацией Анна Петровна, — «ты я вижу, хромаешь?»

— «А?..» — Аполлон Аполлонович бросил на Коленьку взгляд и схватился за перемычку. — «В самом деле...»

Юношеским каким-то движением стал себе переперчивать суп.

— «Пустяки, тамап: я споткнулся... и вот ноет колено...»

— «Не надо ли свинцовой примочки?»

— «В самом, Коленька, деле», — Аполлон Аполлонович, поднеся ложку супа ко рту, поглядел исподлобья, — «с ушибами этими, в подколенном суставе, не шутят; ушибы эти неприятно разыгрываются...»

И — проглотил ложку супа.

Николай Аполлонович, очаровательно улыбнувшись, принялся в свою очередь переперчивать суп.

— «Удивительно материнское чувство», — и Анна Петровна положила ложку в тарелку, выкатила детские свои, большие глаза, прижав голову к шее (отчего из-под ворота выбежал второй подбородок), — «удивительно: он уже взрослый, а я еще, как бывало, беспокоюсь о нем...»

Как-то естественно позабылось, что два с половиною года она беспокоилась не о Коленьке вовсе: Коленьку заслонил им чужой человек, черномазый и длинноусый, с глазами, как два чернослива; естественно, — и она позабыла, как два с лишним года этому чужому мужчине ежедневно повязывала она, там в Испании, галстук: фиолетовый, шелковый; и два с половиною года по утрам давала слабительное — Гунияди Янос.<sup>6</sup>

— «Да, материнское чувство: помнишь, — во время твоей дезинтерии...» («дезинтэрии» — говорила она).

— «Как же, помню прекрасно... Вы — о ломтиках хлеба?»

— «Вот именно...»

— «Последствиями дезинтэрии», — упирая на «и», пророкотал из тарелки Аполлон Аполлонович, — «мой друг ты, как кажется, страдаешь и теперь?»

И проглотил ложку супа.

— «Им-с... ягоды кушать... по сию пору вредно-с», — раздался из-за двери довольный голос Семеныча; выглянула его голова: он оттуда подглядывал — не прислуживал он.

— «Ягоды, ягоды!» — пробасил Аполлон Аполлонович и неожиданно всем он корпусом повернулся к Семенычу: верней к скважине двери.

— «Ягоды», — и зажевал он губами.

Тут служивший лакей (не Семеныч) заранее улыбнулся с таким точно видом, будто он хотел всем поведать:



— «Будет теперь тут такое!»

Барин же вскрикнул.

— «А что, Семеныч, скажите: арбуз — ягода?»

Анна Петровна одними глазами повернулась на Коленьку: снисходительно и лукаво затаила улыбку; перевела глаза на сенатора, так и застывшего по направлению к двери и, казалось, всецело ушедшего в ожидание ответа на свой нелепый вопрос; глазами она говорила:

— «А он все по-прежнему?»

Николай Аполлонович сконфуженно рукою хватался за ножик, за вилку, пока и бесстрастно, и четко из двери не вылетел голос, не удивленный вопросом:

— «Арбуз, ваше высокопревосходительство, не ягода вовсе, а — овощ».

Аполлон Аполлонович быстро перевернулся всем корпусом, неожиданно выпалив — ай, ай, ай! — свой экспромт:

Верно вы, Семеныч,  
Старая ватрушка, —  
Рассудили это  
Лысою макушкой.

Анна Петровна и Коленька не поднимали глаз из тарелок: словом, было — как встарь!

Аполлон Аполлонович после сцены в гостиной своим видом показывал им: все теперь вошло в норму; аппетитно кушал, шутил и внимательно слушал рассказы о красотах Испании; странное и грустное что-то поднималось у сердца; точно не было времени; и точно вчера это было (подумалось Коленьке): он, Николай Аполлонович, пятилетний; внимательно слушает он разговоры матери с гувернанткой (той, которую Аполлон Аполлонович выгнал); и Анна Петровна — восклицает восторженно:

— «Я и Зизи; а за нами опять — два хвоста; мы — на выставку; хвосты за нами, на выставку...»

— «Нет, какая же наглость!»

Коленьке рисуется огромное помещенье, толпа, шелест платьев и прочее (раз его на выставку взяли): в отдалении же, повисая в пространстве, огромные, черно-бурые из толпы подплывают хвосты. И — мальчику страшно: Николай Аполлонович в детстве не мог понять вовсе, что графиня Зизи называла хвостами своих светских поклонников.

Но нелепое воспоминание это о висящих в пространстве хвостах вызвало в нем заглушенное чувство тревоги; надо бы съездить к Лихутиным: удостовериться, что — действительно...

Как так — «действительно?»

В ушах у него раздавалось все тиканье часиков: тики-так, тики-так; бегала волосинка по кругу; уж конечно не бегала здесь — в этих блещущих комнатах (например, где-нибудь под ковром, где любой из них мог

ногою случайно...), а — в выгребной, черной яме, на поле, в реке: стоит себе «тй-ки-тйк»; бегают волосинка по кругу — до рокового до часа...

Что за вздор!

Все это от ужасной сенаторской шутки, воистину грандиозной... в безвкусици; от того все пошло: воспоминание о черно-бурых хвостах, напывающих из пространства, и — воспоминанье о бомбе.

— «Что это, Коленька, ты какой-то рассеянный: и не кушаешь крема?..»

— «Ах, да-да...»

После обеда похаживал он вдоль этого неосвещенного зала; зал светился чуть-чуть; и лунной, и кружевом фонаря; здесь похаживал он по квадратикам паркетного пола: Аполлон Аполлонович; с ним — Николай Аполлонович; переступали: из тени — в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева — в тень. С необычной доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то — сыну, а не то — сам себе:

— «Знаете ли — знаешь ли: трудное положение — быть государственным человеком».

Повертывались.

— «Я им всем говорил: нет, способствовать ввозу американских сноповязалок, — не такая пустышная вещь; в этом больше гуманности, чем в пространных речах... Государственное право нас учит...»

Шли обратно по квадратикам паркетного пола; переступали; из тени — в лунный блеск косяков.

— «Все-таки, гуманитарные начала нам нужны; гуманизм — великое дело, выстраданное такими умами, как Джордано Бруно,<sup>7</sup> как...»

Долго еще здесь бродили они.

Аполлон Аполлонович говорил надтреснутым голосом; сына брал иногда двумя пальцами за сюртучную пуговицу: прямо к уху тянулся губами.

— «Они, Коленька, болтуны: гуманность, гуманность!.. В сноповязалках гуманности больше: сноповязалки нам нужны!..»

Тут свободной рукой охватил он талию сына, увлекая к окну. — в уголок; бормотал и качал головой; с ним они не считались, не нужен он:

— «Знаешь ли — обошли!»

Николай Аполлонович не посмел себе верить; да, как все случилось естественно — без объяснения, без бури, без исповедей: этот шепот в углу, эта отцовская ласка.

Почему ж эти годы он... — ?

— «Так-то, Коленька, мой дружок: будем с тобой откровеннее. »

— «Что такое? Не слышу...»

Мимо окон пронзительно пролетел сумасшедший свисток парходика; ярко пламенный, кормовой фонарик, как-то наискось, уносился в туман; ширились рубинные кольца. Так с доверчивой мягкостью, наклонив

низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то — сыну, — а не то — сам себе. Переступали: из тени — в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева — в тень.

• • • • •

Аполлон Аполлонович — маленький, лысый и старый, — освещаемый вспышками догорающих угольев, на перламутровом столике стал раскладывать пасианс; два с половиною года не раскладывал он пасиансов; так Анне Петровне запечатлелся он в памяти; было же это, тому назад — два с половиною года: перед роковым разговором; лысенькая фигурка сидела за этим же столиком и за этим же пасиансом.

— «Десятка...»

— «Нет, голубчик, заложена... А весною — вот что: не поехать ли нам, Анна Петровна, в Пролетное» (Пролетное было родовым имением Аبلеуховых: Аполлон Аполлонович не был в пролетном лет двадцать).

Там за льдами, снегами и лесной гребенчатой линией он по глупой случайности едва не замерз, тому назад — пятьдесят лет; в этот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы погладили сердце; рука ледяная манила; позади него — в неизмеримости убегали века; впереди — ледяная рука открывала: неизмеримости; неизмеримости полетели навстречу. Рука ледяная!

И — вот: она таяла.

Аполлон Аполлонович, освобождаясь от службы, впервые ведь вспомнил: уездные, сиротливые дали, дымок деревенок; и — галку; и ему захотелось увидеть: дымок деревенок; и — галку.

— «Что ж, поедem в Пролетное: там так много цветов».

И Анна Петровна, увлекаясь опять, взволнованно говорила о красотах альгамбрных дворцов;<sup>6</sup> но в порыве восторга она позабыла, признаться, что сбивается с тона, что говорит она вместо я «мы» и «мы»; то есть: «я» с Миндалини (Манталини, — так кажется).

— «Мы приехали утром в прелестной колясочке, запряженной ослами; в упряже у нас, Колючка, были вот такие вот большие помпоны; и знаете, Аполлон Аполлонович, мы привыкли...»

Аполлон Аполлонович слушал, переключивал карты; и — бросил: пасианса он не докончил; сгорбился, засутулился в кресле он, освещаемый ярким пурпуром угольев; несколько раз он хватался за ручку ампириного кресла, собираясь вскочить; все же вовремя соображал, видно, он, что совершает бестактность, обрывая словесный этот поток на неоконченной фразе; и опять падал в кресло; позевывал.

Наконец он плаксиво заметил:

— «Я, таки: признаться — устал»...

И пересел из кресла — в качалку.

• • • • •

Николай Аполлонович вызвался свою мать довести до гостиницы; выходя из гостиной, повернулся он на отца; из качалки — увидел он (так ему показалось) — грустный взор, на него устремленный; Аполлон Аполлонович, сидя в качалке, чуть качалку раскачивал мановением головы

и движением ноги; это было последним сознательным восприятием; собственно говоря, более отца он не видел; и в деревне, и на море, и — на горах, в городах, — в ослепительных залах значительных европейских музеев — этот взгляд ему помнился; и казалось: Аполлон Аполлонович там прощался сознательно — мановением головы и движением ноги: старое это лицо, тихие скрипы качалки; и — взгляд, взгляд!

## ЧАСИКИ

Свою мать Николай Аполлонович проводил до гостиницы; и после — свернул он на Мойку; в окнах квартирки был мрак: Лихутиных не было дома; делать нечего: повернул он домой.

Вот уже проковылял в свою спальню; в совершеннейшей темноте постоял: тени, тени и тени; кружево фонарного света перерезало потолок; по привычке зажег он свечу; и снял с себя часики; рассеянно на них посмотрел: три часа.

Все тут сызнова поднялось.

Понял он, — не осилены его страхи; уверенность, выносившая весь этот вечер, провалилась куда-то; и все — стало зыбким; он хотел принять бром; не было бром; он хотел почитать «Откровение»; не было «Откровения»; в это время до слуха его долетел отчетливый, беспokoющий звук: тики-так, тики-так — раздавалось негромко; неужели — сардинница?

И мысль эта крепла.

Но его не терзала сна, а иное терзало: старое, бредное чувство; позабытое за день; и за ночь возникшее:

— «Пепп Пеппович... Пепп...»

Это он, разбухая в громаду, из четвертого измерения провицал желтый дом; и несся по комнатам; прилипал безвидными поверхностями к душе; и душа становилась поверхностью: да, поверхностью огромного и быстро растущего пузыря, раздутая в сатурнову орбиту... ай-ай-ай: Николай Аполлонович отчетливо холодел; в лоб ему веяли ветры; все потом лопалось: становилось простым.

И — тикали часики.

Николай Аполлонович протягивался к донимавшему звуку: искал места звука; поскрипывая сапогами, тихо крался к столу; тиканье становилось отчетливей; а у стола — пропадало.

— «Тики-так», — раздавалось негромко из теневого угла; и крался обратно: от столика — в угол; тени, тени и тени; гробовое молчание...

Николай Аполлонович запыхался, метаясь с протянутой свечкой среди пляски теней; все ловил порхающий звук (так гоняются дети с сачками за желтеньким мотыльчком).

Вот он принял верное направление; странный звук открывался; тиканье раздавалось отчетливо: миг — накроет его (на этот раз мотылек не слетит).

Где, где, где?

И когда он стал искать точки распространения звука, то он сразу нашел эту точку: у себя в животе; в самом деле: огромная тяжесть оттянула желудок.

Николай Аполлонович увидал, что стоит у ночного он столика; а на уровне живота, на поверхности столика, тикают... им же снятые частики; рассеянно на них посмотрел: четыре часа.

Он вошел в свои рамки (подпоручик Лихутин проклятую бомбу унес); пропадало бредное чувство; пропадала и тяжесть в желудке; быстро скидывал сюртучную пару; с наслаждением отстегнул и крахмалы: воротничочек, сорочку; стащил он кальсоны: на ноге, где колено, выдавался кровавый подтек; и колено распухло; уж и ноги ушли в белоснежную простыню, по — задумался, склонившись на руку; четко белые выделялись на белом черты иконописного лика.

И — свечка потухла.

Часы тикали; совершенная темнота окружила его; в темноте же тиканье запорхало опять, будто снявшийся с цветка мотылек: вот — и здесь; вот — и там; и — тикали мысли; в разнообразных местах воспаленного тела — мысли бились пульсами: в шее, в горле, в руках, в голове; в солнечном сплетении даже.

По телу забегали пульсы, нагоняя друг друга.

И отставая от тела, они были вне тела, во все стороны от него образуя бьющийся и сознательный контур; на пол-аршина; и — более; тут совершенно отчетливо понял он, что ведь мыслит не он, то есть: мыслит не мозг, а вне мозга очерченный, бьющийся этот сознательный контур; в контуре этом все пульсы, или проекции пульсов, превращались мгновенно в себя измышлявшие мысли; в глазном яблоке, в свою очередь, происходила бурная жизнь; обыкновенные точки, видные на свету и проецированные в пространство, — теперь вспыхнули искрами; выскочили из орбит в пространство; заплясали вокруг, образуя докучные канители, образуя роящийся кокон — из светов: на пол-аршина; и — более; это — и было пульсацией: теперь она вспыхнула.

Это и были рои себя мысливших мыслей.

Паутинная ткань этих мыслей — понял он — мыслит-то вовсе не то, что хотелось бы мыслить обладателю этой ткани, то есть вовсе не то, что пытался он мыслить при помощи мозга, и что — убежало из мозга (правду сказать, — мозговые извилины только пыжились; мыслей в них не было); мыслили только пульсы, рассыпаясь бриллиантами — искорок, звездочек; на золотом этом рое пробежала какая-то световожка, отдаваясь в нем утверждением.

— «А ведь тикает, тикает...»

Пробежала другая...

Мыслилось утверждение того положения, которое мозг его отрицал, с которым боролся упорно: а сардинница — здесь, а сардинница — здесь; по ней бегают стрелочка; стрелочка бегать устала: добежит до рокового до пункта (этот пункт уже близок)... Световые, порхавшие пульсы бе-

шено порассыпались тут, как рассыпаются искры костра, если ты по костру крепко грохнешь дубиной, — порассыпались тут: обнажилась под ними какая-то голубая безвещность, из которой сверкающий центр проколол мгновенно покрытую испариной голову тут прилегшего человека, иглистыми своими и трепетавшими светами напоминающая гигантского паука, прибежавшего из миров, и — отражаясь в мозгу: —

— и раздадутся непереносные грохоты, которые, может быть, ты не успеешь услышать, потому что прежде чем ударятся в барабанную перепонку, будешь ты с разорванной перепонкой (и еще кое с чем) —

— Голубая безвещность пропала; с ней — сверкающий центр под набегающей световой канителью; но безумным движеньем Николай Аполлонович из постели тут вылетел: пульсами обернулось мгновенно течение не им мыслимых мыслей; пульсы припали и бились: в виске, горле, шее, руках, а... не вне этих органов.

Он протопал босыми ногами; и попал не туда: не к двери, а — в угол. Светало.

Быстро он накинул кальсоны и протопал в темнеющий коридор: почему, почему? Ах, он просто боялся... Просто его охватило животное чувство за свою драгоценную жизнь; из коридора же не хотел он вернуться; мужества заглянуть в свои комнаты — не имел; сызнова отыскивать бомбу уж не было ни силы, ни времени; в голове перепуталось все, и не помнил уж точно ни минуты, ни часа истечения срока: роковым оказаться мог — каждый миг. Оставалось до белого дня здесь дрожать в коридоре.

И отойдя в уголок, он уселся на корточках.

Миги же истекали в нем медленно; казались минуты часами; уж и многие сотни часов протекли; коридор — просинел; коридор — просерел; наступал белый день.

Николай Аполлонович все более убеждался во вздорности себя мысливших мыслей; мысли эти теперь очутились в мозгу; и мозг с ними справился; а когда он решил, что давно срок истек, версия об уносе сардинницы подпоручиком как-то сама собой разлилась вокруг него парами блаженнейших образов, и Николай Аполлонович, сидя на корточках в коридоре, — от безопасности ли, от усталости ли — только, только: вздремнул он.

Он очнулся от скользкого прикосновения ко лбу; и открывши глаза, он увидел — слюнявую морду бульдожки: перед ним бульдожка посапывал и повиливал хвостиком; равнодушно рукою отстранил он бульдожку и хотел было приняться за старое: продолжать там что-то гакое; докрутить какие-то крутни, чтобы сделать открытие. И — вдруг понял: почему это он на полу?

Почему это он в коридоре?

В полусне поплелся к себе: подходя к постели своей, еще он докручивал свои сонные крутки...

— Грохнуло: понял все.

• • • • •

— В долгие зимние вечера Николай Аполлонович многократно потом возвращался к тяжелому грохоту; это был особенный грохот, не сравнимый ни с чем; оглушительный и — не трескучий нисколько; оглушительный и — глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и все потом замерло.

• • • • •

Скоро послышались голоса, ног босых неровные топоты и тихое подыванье бульдожки; телефон затрещал: наконец-то он приоткрыл свою дверь; в грудь ему рванулась струя холодная ветра; и лимонно-желтые дымы наполнили комнату; в струе ветра и в дымах совершенно некстати он споткнулся о какой-то расщеп; и скорее ощутил он, чем понял, что это — кусок разорванной двери.

Вот и груда холодного кирпича, вот и бегают тени: из дыма; пропаленные клочья ковров — как попали они? Вот одна из теней, просунувшись в дымной завесе, на него грубо гаркнула.

— «Эй, чего ты тут: в доме видишь несчастье!»

И еще раздавался там голос; и — слышалось:

— «Их бы всех, подлецов!»

— «Это — я», — попытался он.

Его перебили.

— «Бомба...»

— «Ай!»

— «Она самая... разорвалась...»

— «?»

— «У Аполлона Аполлоновича... в кабинете...»

— «?»

— «Слава Богу, невредимы и целы...»

Мы напомним читателю: Аполлон Аполлонович рассеянно в кабинет к себе из комнаты сына занес сардинницу; да и забыл о ней вовсе; разумеется, был он в неведение о содержании сардинницы.

Николай Аполлонович подбежал к тому месту, где только что была дверь; и где — двери не было: был огромный провал, откуда шел клубами дым; если бы заглянули на улицу, то увидели бы: собиралась толпа; городской оттискивал ее с тротуара; а ротозои смотрели, закинув головы, как из черных оконных провалов да из перерезавшей трещины зловещие желтовато-лимонные клубы выбивали наружу.

• • • • •

Николай Аполлонович, сам не зная зачем, побежал от провала обратно; и попал сам не зная куда... —

— на белоснежной постели (так-таки на постельной подушке) сидел Аполлон Аполлонович, поджимая голые ножки к волосатой груди; и был он в исподней сорочке;

охватив руками колени, он безудержно — не рыдал, а ревел; в общем грохоте его позабыли; не было при нем ни лакея, ни даже... Семеныча; некому было его успокоить; и вот он, один-одинешенек... до надсаду, до хрипу... —

— Николай Аполлонович бросился к этому бессильному тельцу, как бросается мамка посреди проездной мостовой к трехлетней упавшей каплюшке, которую ей поручили, которую позабыла она посреди проездной мостовой; но это бессильное тельце — каплюшка — при виде бегущего сына — как подскочит с подушки и — как руками замашет: с неопишваемым ужасом и с детской ревностью.

И — как пустится в бегство из комнаты, проскочив в коридор!

Николай Аполлонович с криком «держите» — за ней: за этою сумасшедшей фигуркой (впрочем, кто из них сумасшедший?); оба они понеслись в глубину коридора мимо дыма и рвани и жестов гремевших персон (что-то такое тушили); было жутко мелькание этих странно оравших фигурок — в глубине коридора; развевалась в беге сорочка; топтали, мелькали их пятки; Николай Аполлонович пустился вдогонку с прискоком, припадая на правую ногу; за спадающую кальсонину ухватился рукой; а другою рукой норовил ухватиться за плещущий край отцовской сорочки.

Он бежал и кричал:

— «Погодите...»

— «Куда?»

— «Да постойте».

Добежавши до двери, ведущей в ни с чем не сравнимое место, Аполлон Аполлонович с уму непостижкою хитростью уцепился за дверь; и быстрейшим образом очутился в том месте: улепетнул в это место.

Николай Аполлонович на мгновение отпрянул от двери; на мгновение отчетливо врезались: поворот головы, потный лоб, губы, бачки и глаз, блистающий, как расплавленный камень; дверь захлопнулась; все пропало; щелкнула за дверью задвижка; улепетнул в это место.

Николай Аполлонович колотился отчаянно в дверь; и просил — до надсаду, до хрипу:

— «Отворите...»

— «Пустите...»

— И —

— «Ааа... ааа... ааа...»

Он упал перед дверью.

Руки он уронил на колени; голову бросил в руки; тут лишился чувств; топотом на него набежали лакеи. Поволокли его в комнату.

Мы ставим здесь точку.

Мы не станем описывать, как тушили пожар, как сенатор в сильнейшем сердечном припадке объяснялся с полицией: после этого объясне-



ния был консилиум докторов: доктора нашли у него расширение аорты. И все-таки: в течение всех забастовочных дней в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах появлялся он — изможденный, худой; убедительно погрохатывал его мощный басок — в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах — глухим, тяготящим оттенком. Скажем только: что-то такое ему доказать удалось. Арестовали кого-то там; и потом — отпустили за ненахождением улик; в ход были пущены связи; и дело замяли. Никого не тронули больше. Все те дни его сын лежал в приступах нервной горячки, не приходя в сознание вовсе; а когда пришел он в себя, он увидел, что он — с матерью только; в лакированном доме более не было никого. Аполлон Аполлонович перебрался в деревню и безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявши отпуск без срока; и из отпуска выйдя в отставку. Предварительно сыну он приготовил: заграничный паспорт и деньги. Аبلеухова, Анна Петровна, сопровождала Николая Аполлоновича. Только летом вернулась она: Николай Аполлонович не возвращался в Россию до самой кончины родителя.

#### Конец восьмой главы



---

## ЭПИЛОГ

Февральское солнце на склоне.<sup>1</sup> Косматые кактусы разбежались туда и сюда. Скоро, скоро уж из залива к берегу прилетят паруса; летят они: острокрылатые, закачались; в кактусы ушел куполок.

Николай Аполлонович в голубой гондуре, в ярко-красной арабской чече<sup>2</sup> застывает на корточках; предлиннейшая кисть упадет с чечеи; отчетливо вылепляется его силуэт с плоской крыши; под ним — деревенская площадь и звуки «там-там»<sup>3</sup>: ударяются в уши глухим тяготящим оттенком.

Всюду белые кубы деревенских домишек; погоняет криками ослика раскрячавшийся бербер; куча из веток серебрится на ослике; бербер — оливковый.

Николай Аполлонович не слушает звуков «там—там»<sup>3</sup>; и не видит он бербера; видит то, что стоит перед ним: Аполлон Аполлонович — лысенький, маленький, старенький, — сидя в качалке, качалку качает мановением головы и движеньем ноги; это движение — помнится. . .

Издали розовеет миндаль; тот гребенчатый верх — ярко лилово-янтарный; этот верх — Захуан,<sup>4</sup> а тот мыс — карфагенский.<sup>5</sup> Николай Аполлонович у араба снял домик в береговой, подтунисской деревне.<sup>6</sup>

Под тяжестью снеговых, сверкающих шапок перегнулись еловые ветки: косматые и зеленые; впереди деревянное пятиколонное здание; через перила террасы сугробы перекинулись холмами; на них розовый отблеск от февральской зари.

Сутуловатая показалась фигурка — в теплых валенках, варежках, опираясь на палку; приподнят меховой воротник; меховая шапка надвинута на уши; пробирается по расширенной тропке; ее ведут под руки; у ведущей фигуры в руках теплый плед.

На Аполлоне Аполлоновиче в деревне появились очки; запотевали они на морозе и не видно было сквозь них ни лесной гребенчатой дали, ни дымка деревенек, ни — галки: видны тени и тени; между них — лунный блеск косяков да квадратики паркетного пола; Николай Аполлонович — нежный, внимательный, чуткий, — наклонив низко голову, переступает: из тени — в кружево фонарного света; переступает: из светлого этого кружева — в тень.

Вечером старичок у себя за столом посреди круглых рам; а в рамках портреты: офицера в лосинах, старушки в атласной наколке; офицер в лосинах — отец его; старушка в наколке — покойная матушка, урожденная Сваргина. Старичок строчит мемуары, чтобы в год его смерти они увидели свет.

Они увидели свет.

Остроумнейшие мемуары: их знает Россия.

Пламень солнца стремителен: багровеет в глазах; отвернешься, и — бешено ударяет в затылок; и пустыня от этого кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем — мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться — у пустынного берега.

В толстом пробковом шлеме с развитою по ветру вуалью Николай Аполлонович сел на кучу песку; перед ним громадная, трухлявая голова — вот-вот — развалится тысячелетним песчаником; — Николай Аполлонович сидит перед Сфинксом часами.<sup>7</sup>

Николай Аполлонович здесь два года; занимается в булакском музее.<sup>8</sup> «Книгу Мертвых»<sup>9</sup> и записи Манефона<sup>10</sup> толкуют превратно; для пытливого ока здесь широкий простор; Николай Аполлонович провалился в Египте; и в двадцатом столетии он провидит — Египет,<sup>11</sup> вся культура, — как эта трухлявая голова: все умерло; ничего не осталось.

Хорошо, что он занят так: иногда, отрываясь от схем, ему начинает казаться, что не все еще умерло; есть какие-то звуки; звуки эти грохочут в Каире: особенный грохот; напоминает он — этот же звук: оглушительный и — глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович — тянется к мумиям; к мумиям привел этот «случай». Кант? Кант забыт.<sup>12</sup>

Завечерело: и в беззорные сумерки груди Гизеха протянуты безобразно и грозно;<sup>13</sup> все расширено в них; и все от них — ширится; во взвешенной в воздухе пыли загораются темно-карие светы; и — душно.

Николай Аполлонович привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку.

В кресле, на самом припеке, неподвижно сидел старичок; огромными васильковыми он глазами все посматривал на старушку; ноги его были закутаны в плед (отнялись, видно, ноги); на колени ему положили гроздь белой сирени; старичок все тянулся к старушке, корпусом вылезая из кресла:

— «Говорите, окончил?.. Может быть, и приедет?»

— «Да: приводит в порядок бумаги...»

Николай Аполлонович наконец монографию свою довел до конца.

— «Как она называется?»

И — старичок просиял:

— «Монография называется... ме-емме... „О письме Дауфсехруты“».<sup>14</sup> Аполлон Аполлонович забывал решительно все: забывал названия обыкновенных предметов; слово ж то — Дауфсехруты — твердо пом-

вил он; о «Дауфсехруты» — писал Коленька. Голову закинешь наверх, и золото зеленеющих листьев там: бурно бушует: синева и барашки; по дорожке бегала трясогузочка.

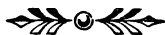
— «Он, говоришь, в Назарете?»<sup>15</sup>

Ну и гуща же колокольчиков!<sup>16</sup> Колокольчики раскрывали лиловые зевы; прямо так, в колокольчиках, стояло перенесное кресло; и на нем морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиною, серебрящейся на щеках, — под парусиновым зонтиком.

В 1913 году Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам, наблюдая с угрюмою ленью за полевыми работами; он ходил в картузе; он носил поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал сапогами;<sup>17</sup> золотая, лопатообразная борода разительно изменяла его; а шапка волос выделялась отчетливой совершенно серебряной прядью; эта прядь появилась внезапно; глаза у него разболелись в Египте; синие стал носить он очки. Голос его погрубел, а лицо покрылось загаром; быстрота движений пропала; жил одиноко он; никого к себе он не звал; ни у кого не бывал; видели его в церкви; говорят, что в самое последнее время он читал философа Сквороду.<sup>18</sup>

Родители его умерли.

К о н е ц



# ДОПОЛНЕНИЯ

## КНИЖНАЯ («НЕКРАСОВСКАЯ») РЕДАКЦИЯ ДВУХ ПЕРВЫХ ГЛАВ РОМАНА «ПЕТЕРБУРГ»

(ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 18)

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### Утро сенатора

И мнится, — очередь за мной:  
Зовет меня мой Дельвиг милый.

А. П у ш к и н

#### I

Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода; он, конечно, имел своим предком Адама, и это не главное; несравненно важнее то обстоятельство, что его благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель монгольских, семитских, хесситских и краснокожих народностей. Здесь мы сделаем переход к аблеуховским предкам и не столь удаленной эпохи.

Эти предки не столь удаленной эпохи проживали; кажется, в киргизкайсацкой орде, откуда на русскую службу в эпоху царствования императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил мурза Аб-Лай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении не одно только христианское имя Андрея, но и христианское прозвище Ухова. Так о сем высокорожденном выходец из недр монгольского племени гласит «Гербовник Российской Империи»: Аб-Лай Ухова для краткости превратили далее просто-напросто в Аблеухова.

Этот прапрадед был ближайшим истоком рода. . .

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича; Аполлон Аполлонович принял намерение придать острию его более отточенную форму, в знак чего Аполлон Аполлонович быстрыми шагами подошел к письменному столу и схватил. . . пресс-папье, которое он долго потом вертел в глубочайшей задумчивости; наконец, Аполлон Аполлонович сообразил, что в руках у него не карандаш, а всего только пресс-папье. Рассеянность Аполлона Аполлоновича несомненно проистекала от

созерцания предметов высокой материи: дело в том, что его осенила блестящая мысль, — осенила и тотчас же, в неурочное время, развернулась в убегающий ход мысли (Аполлон Аполлонович спешил в департамент): в «Д н е в н и к е», долженствующем появиться в год его смерти в повременных изданиях, вдруг стало одной страничкой больше.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать; мы позволим себе привести этот мысленный ход: «Наша разруха чрезвычайно богата одним типом государственных деятелей, представители коего в просторечии имеют быть названы болтунами; мотовство непродуманными словами, несмотря на ответственность занимаемого поста, достигает у этого типа высокого развития; примеры? За примерами недалеко ходить: граф Д. . ., С. С. К-н, наш знакомец Поль Польский.<sup>1</sup> Бумага является единственным способом сношения с болтуном; телефонная трубка — еще лучший способ сношения, ибо ее опустить можно в любое время».

Записав этот мысленный ход, Аполлон Аполлонович Аблеухов стал собираться на службу, потому что он отличался доблестными поступками. Не одна звезда ниспала на его золотом расшитую грудь: еще издавна на расшитую золотом грудь ниспала звезда Станислава вместе с красною лентой и орденским соответственным знаком. А потом на расшитую золотом грудь ниспала и Анна. Ниспадали Владимиры всевозможных степеней;<sup>2</sup> десять лет сюда ниспадал один не часто ниспадающий орден; нечего прибавлять, что орден этот — Белый Орел.

А в недавнее время к обиталищу патриотических чувств из лаковой красной коробочки прикрепились лучи бриллиантовых знаков, то есть — орденские отличия Александра Невского.

Злые языки поговаривали, будто Аполлон Аполлонович Аблеухов имел один обидный обычай, укоренявшийся издавна и наконец укоренившийся окончательно после пресловутых бриллиантовых знаков.

Но прежде всего, каково было общественное положение высокодаровитого мужа?

Думаю, что вопрос этот в достаточной степени неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной пространности произносимых им в Сенате речей. Остроумные речи не разрывались, как громкие, огнем задышавшие бомбы, но всегда струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего отклонялась какая угодно кассация. Речи эти не раз облетали все области и губернии, из которых иная — не менее сложных вместе Франции и Германии. Аполлон Аполлонович до самого последнего момента был главой того самого департамента. . . ну — того. . . Как его? . . . Словом, был он глава департамента, разумеется, известного вам.

А со вчерашнего дня ему был предложен еще более ответственный пост.

Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигуру моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы и долго, пожалуй, предаваться бесполезному удивлению; но, ведь, вот — удивлялись решительно все; удивлялись решительно

все взрыву умственных сил, исходяемых этой вот черепною коробкой; моему сенатору исполнилось шестьдесят восемь лет.

Прежде чем обнаружить внутренний мир этого доблестного героя, предоставляю сделать оценку затронутой личности так, как она отражалась в созерцании его современников. Сергей Юльевич Витте при встречах с затронутой личностью относился к ней с легко скрываемым скептицизмом; в отношении этом, конечно, не было ничего удивительного; удивительно было лишь то, что к мнению Витте неожиданно присоединился однажды и Константин Петрович;<sup>3</sup> мнение Витте разделялось и большинством голосов государственных деятелей, за исключением... одного голоса; но и тот единственный голос замолчал по воле судеб.

Что говорил о нем департамент?

Департамент, как сказано выше, отмечал в Аполлоне Аполлоновиче всего один обидный обычай. Без двухдневного посещения департамента Аполлон Аполлонович лишался сна и покоя. Его бледное лицо, напоминавшее в иных случаях пресс-папье серого мрамора, поражала вящшая бледнота после нескольких пропущенных им дней службы: оно тогда напоминало папье-маше; лишь громадные синие глаза, окруженные синими кругами, становились еще громаднее, синей. Всякие подозрительные слухи распространялись вокруг этих, хотя и редких, но периодических отсутствий. Департамент тогда особенно занимался своим начальством.

Какой вздор!..

Да и к тому же, как-никак, Аполлон Аполлонович страдал геморроем.

Аполлон Аполлонович Аблеухов обладал голым черепом, и его два оттопыренных уха отличались бледно-зеленым, для глаз не совсем приятным отливом: уши эти казались принадлежащими трупу, оттого что в детстве еще, замерзая в снежных полях, Аполлон Аполлонович имел несчастье на всю жизнь отморозить уши и тем придать им такой печальный характер.

Но обидный обычай сенатора не касался ни черепа, ни ушей, ибо человеческий череп, форма и цвет ушных раковин — лишь естественный человеческий обиход (не обычай); да и в черепе, равно как и в оттопыренности ушей, нет ничего обидного для человека без предрассудков; и потому-то Аполлон Аполлонович, признаться, не волновался при созерцании своих совершенно зеленых и увеличенных до громадности ушей на кроваво-красном фоне горящей России: так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнала, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кипащих людом проспектах размножались с поразительной быстротой.

Оставляя в покое впалую грудь, череп и уши, все же придется сознаться, что обидный обычай у него был. В чем заключается обидный обычай сенатора Аблеухова, мы узнаем впоследствии. А пока вот он сам.

Аполлон Аполлонович быстро распахнул перед собой дверь, опираясь рукой о граненую ручку: звонко, холодно застучал его шаг по блистаю-

щим плитам паркетиков. Аполлон Аполлонович появился в холодной гостиной.

Гостиная представляла собой строгий квадрат.

Там недвижно высились горки фарфоровых безделушек; там к лаковому паркету прикоснулся стильный желтый рояль колесиками узких ножек; а на желтой лаковой крышке разблестались листики бронзовой инкрустации; разблестались листики бронзовой инкрустации на коробочках, полочках, выходящих из стен; раскидались там всюду амфирные кресла; у амфирных кресел были плоские золоченые ручки, ножки и спинки; а на бледно-лазурном атласе сидений завивались веночки.

Аполлон Аполлонович Аблеухов пробежал к тому краю гостиной, где на львиных ножках поднимался инкрустированный стол; чопорно со стола поднималась длинноногая бронза, служащая ламповою подставкою: там с китайского лакированного подносика Аполлон Аполлонович взял пачку нераспечатанных писем; наклонилась к конвертам лысая его голова, над которою расширялся ламповый абажур загнутыми листиками стекла, бледно-фиолетового и расписанного тонко; но стекло потемнело от времени, и тонкая роспись потемнела от времени тоже.

Здесь Аполлон Аполлонович углублялся перед уходом на службу в чтение утренней корреспонденции, ожидая лакея с неизменным: «Лошади поданы». Так же он поступил и сегодня: конвертики разрывались — конверт за конвертом.

Обыкновенный почтовый конверт, — марка наклеена косо, неразборчивый подчерк: Ммм... кассация, интерpellация, по заключению судебной палаты...

Ммм... просьба. Просьба, просьба и просьба. Это — потом.

Конверт из массивной серой бумаги, с вензелем, запечатанный сургучом, без марки: Ммм... граф Дубльве, просит принять в департаменте, личное дело.

Деловой, печатный конверт с надписью: «Департамент NN» (тоже без марки): Директор Департамента Полиции<sup>4</sup> имеет сделать Директору Департамента NN конфиденциальное сообщение... Хорошо бы сегодня... За завтраком... Например, у Цукатовых.

Что нужно директору департамента NN?

Далее: бледно-розовый миниатюрный конвертик — от Анны Петровны (испанская марка): «Прошу выслать три тысячи»... Ммм... но были же высланы... Ммм... Записать...

Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вынул из бокового кармана тонкую щеточку для ногтей и уже собирался ею сделать отметку на миниатюрном конвертике, как вошедший лакей ему доложил:

— Лошади поданы.

Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.

Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; золотые трюмо увенчались трепетом крыл толстощеких голых амуров; а внизу, под зеркальной поверхностью,



золотое факельное пламя тяжело просовывалось в золотые розы венка. Под трюмо опять блестела инкрустация столиков.

На стенах висели картины, отливая масляным лоском; но сквозь красочный лоск можно было, пожалуй, увидеть как будто французенок, напоминавших ревнивых гречанок: высочайшие прически венчали их лакированные лбы; белые, узкие туники — туники времен Директории — не скрывали их узкой, тонкой ноги.

Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида «Distribution des Aigles par Napoléon Rremier». Картина изображала великого императора в венке и в горностаевой порфире; император Наполеон Первый простирал десницу к пернатому собранию маршалов; шуйца же его держала металлический жезл; верхушка жезла изображала орла, большого, тяжелого, развернувшего крылья.

Все то холодное великолепие гостиной становилось еще холодней от полного отсутствия ковров; разблестались слепительно лаковые паркеты; если б солнце на миг осветило паркетные те, то невольно б зажмурились глаза, и от этого съезжилась бы душа от холодного, гостинного гостеприимства.

Тон холодного, гостинного гостеприимства Аполлоном Аполлоновичем возводился в принцип: и холодное, гостинное гостеприимство запечатлелось в сем доме, в хозяевах, в слугах, в статуях, даже в тигровом бульдоге, проживавшем где-то близ кухни; все конфузились в этом доме, уступая место лакированному паркету — прежде всего; уступая место картинам, церемонясь со статуей, церемонясь со слугами, церемонясь с собой, церемонясь друг с другом, все друг к другу кидались на этих холодных паркетах, угождали, кланялись и расшаркивались; пожимали руки друг другу, потирали руки себе; иногда же просто ломали свои холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.

Даже тигровый бульдог, любимец Анны Петровны, сам себе помахивал палочкой обрубленного хвоста. Так годами любезность насаждалась насильственно среди статуй из алебаstra; и далее, — любезность алебастровых статуй превратилась в привычку; привычка же затвердела в инстинкт — в алебастровый жест приветствий.

Так исчезла душа в механической постановке; и подобно тому, как всякая механическая формула выражалась в числе и мере, можно было бы в доме том предаться измеренью поклонов, их число разделить на количество заключенных в сутках часов; далее — те часы привести к минутам, секундам и терциям:<sup>5</sup> это среднеарифметическое число, вероятно, было бы числом неизменным, так что житель далекого, но более совершенного Марса — житель, образ коего я не имею возможности начертать, — по прибытии в аблеуховский дом в качестве опытного естествоиспытателя, верно, вывел бы тотчас одно заключение; а именно, — житель далекой планеты (как знать, может быть, совершенный моллюск), вероятно, решил бы, что наклоны туловищных конечностей происходят вследствие чисто механических, неизвестных на Марсе, природных законов.

Когда Аполлон Аполлонович вознамерился спуститься в переднюю, то его седой камердинер, сжав в руке табакерку, как-то искоса с нежностью поглядел на почтенные уши сенатора и почтительно прыснул в свою се-ребристую баку из раздувшихся щек:

— Пальто серое, черное?

— Пальто, пожалуйста, серое.

— Полагаю, что серые перчатки?

— Нет, лайковые перчатки...

— Потрудитесь минуточку обождать: ведь, перчатки у нас в шифоньерке полка бе — северо-восток...

Аполлон Аполлонович вошел в мелочи жизни всего один раз: он однажды сделал осмотр своему шифоньеру, в результате чего установлен им был образцовый порядок в том шифоньере, точная номенклатура полок и полочек; появились полочки *а*, *бе*, *це*, и так далее, и так далее; а четыре стороны каждой полки и полочки приняли обозначение четырех сторон света. Уложивши очки на полочку *бе* в северо-восточном направлении, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким бисерным почерком: очки, полка *бе*, СВ, что означало: северо-восток. Раз навсегда установлен был необходимый реестр всех предметов, копию же с реестра получил камердинер; с той поры камердинер и затвердил направления, на которые падали принадлежности туалета. Своего камердинера Аполлон Аполлонович за то и уважал, и ценил. А седой камердинер сенатору отплачивал тем же. Оба так изоцрялись друг перед другом в учтивостях, потирании рук, поклонах, отражаясь в паркетах.

В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь губельно: событиями не гремели они, не блистали в сердца очистительно стрелами молний; но из хриплого горла струей ядовитых флюидов вырывали воздух они; и крутились в сознании обитателей все какие-то зловещие мозговые игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах.

## II

Изморось поливала улицы и проспекты; изморось поливала тротуары и крыши, извергалась холодными струйками из жестяных желобов.

Изморось поливала прохожих инфлуэнцами, гриппами; те инфлуэнцы и гриппы вместе с тонкою дождевою пылью заползали ехидно под приподнятый воротник гимназиста, студента, чиновника, офицера и субъекта так вообще; и субъект так вообще, как и всякий, впрочем, субъект, если только имел он хоть малейшее право противопоставить себя объекту, ози-рался тоскливо, поднимал на проспект стертое серое лицо; он бежал в бес-конечность проспектов из только что осиленной им бесконечности, пре-одолев все бесконечности, преодолев без устали; он бежал в бесконечном токе всевозможных субъектов, среди лёта, грохота, трепетанья пролетов, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад, слушая издали

нарастающий гул желто-красных трамваев, (гул, потом убывающий снова) в непрерывном оклике голосистых газетчиков.

Из одной бесконечности убежал он в другую и потом спотыкался о набережную, ибо здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечностям. Разблестались нерадостно мокрые плиты набережной. А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли и принизились здания; и казалось, что опустятся воды и что хлынет на них в этот миг глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане и гремел и дрожал, вон туда убегая, черный — черный такой Николаевский мост.

В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома: желтый дом окнами выходил на Неву. Проскочил тускловато беззвучный денечек в переднюю вместе с краем пространства. Серый бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони кинулись на подъезд, подкатили лаковую карету, на которой был выведен стародворянский герб: красный единорог, прободающий рыцаря.

Молодцеватый квартальный, проходивший мимо желтого дома, вдруг испуганно поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную лайковую перчатку.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный и испуганный взгляд на вовсе испуганного квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой, черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Серый лакей с золотым галуном на отворотах и с лицом, тоже напоминающим пресс-папье, заразился всеобщим испугом: он стремительно хлопнул каретную дверцу, на которой был изображен стародворянский герб: красный единорог, прободающий рыцаря. Карета стремительно пролетела в грязноватый туман; и случайный квартальный надзиратель, потрясенный всем виденным, долго-долго глядел чрез плечо в грязноватый туман, — туда, куда стремительно пролетела карета; и вздохнул, и пошел; скоро скрылось в тумане и это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные, мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей, посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю место действия одной драмы. Предварительно же следует исправить вкраившуюся неточность; в ней повинен не автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу, ибо это был тысяча девятьсот пятый год.

## III

— Гей! Гей!..

Это покрикивал кучер...

Лакированная карета во все стороны разбрызгивала грязь. Там, где взвешена была одна туманная сырость, матово намечался сперва, а потом с неба на землю вычертился громадный, черноватый Исакий; матово намечался за ним, а потом и вовсе наметился бронзовый конный памятник императора Николая; у подножия косматую шапку высился старик гренадер. Бронзовый император был в лейб-гвардии конной форме, он просунулся из тумана и ушел обратно в туман.

Лакированная карета пролетела мимо на Невский.

Аполлон Аполлонович тихо покачивался на атласных подушках черного своего сиденья, отграниченный четырьмя, взаимно перпендикулярными стенками от уличной измороси, от протекающих мимо людских толп, от тоскливо мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.

Планомерность и симметрия успокаивали нервы Аполлона Аполлоновича, в одинаковой степени расстроены как неровностями домашней жизни, так и беспомощным бегом нашего государственного колеса. Гармонической простотой отличались вкусы сенатора: более всего он любил прямолинейный проспект: прямолинейный проспект напоянял ему о течении времени по кратчайшему расстоянию между двумя жизненными точками. Мокрый, скользкий проспект с двумя рядами черновато-серых коробок, слившихся в планомерный трех-четырёхэтажный ряд, отличался от линии жизни, по мнению Аполлона Аполлоновича, лишь в одном отношении: не было у него ни конца, ни начала; а бесконечная, вечная середина была ему свойственна; и середина жизненного пути Аполлона Аполлоновича здесь, на Невском проспекте, оказалась <оказывалась?> не раз концом жизненного пути еще более высоко стоявших сановников.

Своеобразное вдохновение овладевало душой Аполлона Аполлоновича, когда стрелой разрезала проспект лакированная карета: там виднелась за окнами домовая нумерация; глядя из окон на бесконечность прпневских проспектов, он невольно как-то приподымался над временем; и хотелось, верно, ему, чтоб вперед, все вперед, убежали эти проспекты, чтобы всю сферическую поверхность, имя коей земля, как змеиными кольцами, охватили ряды за рядами трех-четырёхэтажных коробок, чтобы вся Невским проспектом опоясанная земля протянулась по линии славных российских законов; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченных сетью себе подобных, объявилась бы во вселенной, как единая шахматная, мир объёмлющая доска, на которой планомерно расставленные фигуры передвигались бы правильно: сообразно с законом. После линии более всего успокаивала Аполлона Аполлоновича геометрическая фигура: квадрат. Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций, зигзагообразной же ли-

нии он не мог выносить: уже его раздражал многогранник; легкое беспокойство овладевало им при виде усеченного конуса, и с великою неохотой надевал он звезду, отправляясь на торжественные молебны.

Здесь, в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу, без дум, четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович, наверное, был рожден для одиночного заключения, для четырех друг другом пересеченных стенок, и только любовь к государственной планиметрии облакала его в многогранность ответственного поста.

Он боялся пространств несравненно более многогранников; безмерно его угнетали открытые горизонты, деревенский ландшафт его прямо пугал; там, за льдами, снегами и лесной гребенчатой линией поднимала пургу перекрестность воздушных течений: ураганом взревал на него пурговый ландшафт. Сенатор давно уж засел за городскую стеною; всякий простор отождествлялся им с ледяною равниной, — с тою самой равниной, где по глупой случайности в детстве он едва не замерз; в стародавний тот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно просунувшись в грудь, встретились с холодными пальцами чьей-то другой холодной руки, просунутой из спины; обе руки в сердце отрока встретились навсегда, обе руки повели его, указуя жизненный путь. В этот день роковой далекого, едва не забытого детства, отрока отогрели оттиранием рук, ног и ушей; отрок с той поры превратился в сенатора; но при виде просторов ледяною иглой пронизал его сердце тот же все холодок; и своею рукою, припавшей к глазам, от себя закрывал сенатор просторы и дали.

С той отроческой поры уж прошло пятьдесят лет; пятьдесят уже лет, как так страшно он для себя возжаждал ограничений, но все тот же простор раскрывала пред ним его государственная карьера: и вставали пред ним те же все ледяные пространства, и оттуда манила его ледяная рука, и он шел, шел и шел за рукой; и к нему навстречу летели пространства — ледяные пространства Российской империи.

Многое возлюбив для себя, многое он возлюбил для других:<sup>6</sup> вся государственная деятельность сенатора одушевлялась искренней любовью к ближнему, помещенному в центре совершенного куба. Ведь, сам он возлюбил этот куб в чем бы то ни было: в перпендикулярных стенках кареты, комнаты, комнаты департаментской, в перпендикулярных гранях «Свода Законов», переплетенных в серый блестящий коленкор; Аполлон Аполлонович возмущался искренно стремлению необъятности, принимая необъятность ему подведомственных пространств, как мучительный крест.

С той отроческой поры всею силой души возненавидел он снежные дали, с нависающим пологом туч, с сиротливым дымком деревенок: то были все губернские и уездные дали, противоположные проспекту; в этих холодных просторах все-то чуялись ему волки. Аполлону Аполлоновичу приписывали две классических фразы, произнесенных в сенате: «Россия — ледяная равнина, по которой много сот лет как зарыскал волк», и далее: «Всякая живность в тепле портится: что же будет с Россией, когда

ее захватит весна?»<sup>7</sup> Эти две классических фразы в свое время облетели Россию, и Россия ответила своему сыну... только хамской усмешкой.

Вместе с простором естественно Аполлон Аполлонович возненавидел деревню; с ней заодно возненавидел и общину; ему вовсе не нравились, например, грабли; наоборот, восхищался он сложностью современных машин. С непреклонной горячностью способствовал он ввозу американских сноповязалок; с непреклонной горячностью он истреблял коммунизм. На основании все тех же суждений Аполлон Аполлонович стал решительным сторонником хуторского хозяйства, унижая деревню рядом государственных мероприятий,<sup>8</sup> основная идея которых была все та же: распространение и украшение городов сетью линейных проспектов. Этого не могли понять ни его сотоварищи по Сенату, ни достойные члены нашего Государственного совета, для которых городская политика Аполлона Аполлоновича оказывалась то революционной чрезмерно, то ретроградной, а то грозящей родине головными экспериментами. Как бы то ни было, городской идеал предносился ему, как сеть параллельных проспектов, пересеченных то здесь, то там в строго перпендикулярном направлении. Только и могли его в этом смысле удовлетворить петербургские перпендикуляры, восстановленные из любой точки и туда, и сюда; в этом смысле он был до мозга костей петербуржец.

Положа руку на сердце, Аполлон Аполлонович мог дать одно существенное разъяснение провинциалу, то есть обитателю губернского, уездного и заштатного города, и это, как я уже сказал, немаловажное разъяснение падало на Москву: не Москва, не Москва, — город столичный, а городское население Москвы в значительной мере преувеличено желторотыми статистиками из господ социал-демократов; Москва — просто железнодорожная станция, мимо которой в последний раз Аполлон Аполлонович стремительно пролетел в экспрессе, направляясь в Токио. О своем пребывании в Японии Аполлон Аполлонович рассказывать никому не любил. . .

Мокрый проспект разрезала лакированная карета меж двумя рядами трех-четырёхэтажных коробок: и казалось, что если та лакированная карета полетит в тумане по слякоти, то она обогнет земной шар; и к исходной точке обратно примчится лакированная карета, победив и концы, и начала прямолинейным движением.

Мокрый, скользкий проспект оказывался пересеченным мокрым, скользким проспектом под углом в девяносто градусов; и стоял в точке пересечения городов. И такие же желтые там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Под приподнятый воротник чиновника также там заползали инфлуэнцы и гриппы; и такое же было там, как и всюду, стертое серое лицо. Тротуары шептались и шаркали, растираемые калошей; выше плыл обывательский нос. Протекали носы во множестве: орлиные, утиные, петушиные, зеленоватые, зеленые, белые, фиолетово-огненные; протекало отсутствие всякого носа — так сказать, нос астральный; здесь текли одиночки, пары, тройки, четверки; и за котелком котелок — котелки, перья,

фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Два чиновника с разбегу столкнулись на пересечении проспектов. Мгновение — каждый из них увидал пред собой свою тень: видел он котелок, портфель, трость и перчатки; видел он приподнятый воротник.

И чиновник проходил далее.

Но параллельно с бегущим проспектом был такой же бегущий проспект с таким же все трех-четырёхэтажным рядом, облаками и все с тем же чиновником. Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих все так же пересечений.

Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же — ничего нет. . .

#### IV

Выражаясь языком метафорическим, как и подобает выражаться писателю, вся задача которого — живописать протекающие явления, — кстати сказать, протекающие неживо пред обывательским оком, — итак, выражаясь метафорически, Невский проспект заливали черные волны людские.

Читатель!

Ты уже хватаешь меня за рукав, и на том месте начатой рукописи, где так сыро блестит еще непророшенная метафора черные волны людские, с ужасом замечаю я огромную чернильную кляксу.

Читатель! Ты схватил меня за рукав, заподозрив в непонятности, — а невнятность существенный писательский недостаток. Ты утверждаешь, читатель, что выражение волны людские есть неточное выражение, а в высокой степени натянутое, потому что нет никаких достаточных оснований для подобных сравнений: человек — и волна. . . Что общего? Волна, как известно, — одно из проявлений четырех древних стихий. . . Человек же. . . есть проявление, или лучше сказать, порождение себе подобного: не воды, огня, земли или воздуха — нет: порождение собственного отца и собственной матери, как о том гласит метрика.

Кроме всего: выражение черные волны опять-таки неуместно, ибо вода — не чернила, хотя и разбавленные водой, однако, разбавляемые в известной мере, за которой следует полная невозможность писать; далее: относя черноту моих метафорических волн к человеческому племени, следовало бы отнести черноту эту к негрскому племени, а не к кавказскому или финскому, циркулирующему по проспектам упомянутого в географии пункта: С. Петербурга.

Но, читатель, я защищаюсь: уподобление людских скопищ неизвестной стихии есть уподобление совершенно законное; мы его встречаем в поэзии всех веков и народов, начиная от поэзии готтентотов до поэзии независимых стихотворцев, пишущих свои бесподобные вирши на языке эсперанто,<sup>9</sup> или же на отечественном языке, но без е р и без я т ь; во

всех упомянутых мной памятниках искусства род людской уподобляется мимо текущей воде; что же касается до окраски этих метафорических волн, то окраска относится вовсе не к цвету кожи, а к цвету верхней одежды; цвет же кожных покровов кавказского или даже финского племени разительно отличается от цвета негритянских народностей.

Читатель, ты сугубо неправ: оставь же меня в покое с твоей чрезмерною точностью...

Невский проспект заливали черные волны людские (смотри учебник поэзии всех веков и народов); и бежал по нему многотысячный рой котелков; среди этой возмущенной поверхности протекали лаковые и черные, как вороново крыло, цилиндры; и качалась синевато-зеленая пена перьев на волнообразно пляшущем море из котелков; и бежал многотысячный рой блинообразных фуражек, улыбаясь радужными околышами. Протекал под фуражками, так сказать, нос: кстати сказать, носы протекали во множестве: орлиные, петушиные, утиные; пробегал набор свернутый нос, вовсе несвернутый и не вовсе свернутый: зеленоватый, зеленый, бледный, белый, фиолетово-пламенный; пробегал нос красный и инфракрасный, пробегало отсутствие всякого носа, так сказать, нос астральный.

Пробегало обилие усов, бород, подбородков, глазных отверстий и ушных раковин, то есть вся та совокупность, которая составляет так называемое человеческое лицо, — оговариваюсь, — лицо не негрское; будто лады, преодолевающая упорное котелковое море, издали прокачивалась и гордая треуголка, иногда ныряя в цилиндрах, чаще же всего ныряя под страусовое перо.

Под тем обилием, составляющим в совокупности верхнюю конечность человеческих туловищ, то есть под котелками, фуражками, касками, дамскими шляпками — протекали плечи, плечи и плечи. Эти части человеческих тел имели здесь один неизменный обычай: они срослись с себе подобными, образуя черную, как смолу, и в высшей степени вязкую, медленно текущую гущу. Стоило высунуться одному такому плечу, например, с Морской улицы,<sup>10</sup> и оно с неизбежностью вклеивалось в невскую гущу, так сказать, — влипало. Если бы ты, читатель, последовал за своим нравным плечом, сообразно закону о нераздельной цельности тела, ты превратился бы разве что в икринку той, как икра, черной гущи людской. И подобно тому, как икринка никоим образом не может быть рассмотрена гастрономом как удовлетворяющая его цельность, но такой цельностью, он рассматривает на бутерброде намазанную икру, так и твое существо, поскольку будет его рассматривать социолог, на Невском проспекте, тротуар которого — бутербродное поле, — превратился также в икринку лишь жирно текущей икры. Тоже произойдет и с твоей любимой мыслью: она влипнет в общую, чуждую, тебе непонятную мысль. А твои слова — что станется с твоими словами? Стань и послушай.

Вот идет офицер, склоненный над барышней: «Какая вы очаровательная, какая вы...» И пара проходит, чтобы дать место другой не менее милой паре; и эта пара доканчивает офицерскую мысль: «Каналья». Чи-



татель, разве хотел сказать офицер, что очаровательная барышня — барышня каналья? Но и этого не сказала за офицером протекшая пара; слово «каналья» относилось к одному действительно канальскому лицу. Но, превратив барышню в каналью, Невский устами третьей пары наделил одно действительно канальское лицо вовсе этому лицу несвойственным великодушием, сказав: «подарила (то есть каналья) мне золотые часы с брелоком»...

Остановись же, читатель, послушай, как забавляется шутками Невский проспект:

- Иван...
- С позволения сказать, дура...
- Или, что одно и то же...
- Директор гимназии сказал...
- Хлопнем пивка, гимназистик...
- Этот номер газеты...
- Лучшее средство от насморка...

Читатель, довольно: вот какую нам сплел небылицу великолепный, прямолинейный проспект. Он, во-первых, какого-то вовсе нам не известного, но, вероятно уважаемого Ивана, назвал... даже не дураком — душой; что это значит? Это значит, что нам не известный, но уважаемый Иван, отличаясь недалекостью ума, еще, кроме того, наделен женственными инстинктами. Во-вторых: подлинное слово нам не известного, но, вероятно, почтенного директора (может быть, кавалера Станиславской ленты) обернул он в хамское выражение «хлопнем пивка», обращенное к абитуриенту ему вверенного учебного заведения. В-третьих: вместо носового платка Невский проспект рекомендует сморкаться в номер, может быть, почтенной газеты; превращая в дуру Ивана, превращая директора одного почтенного заведения в совратителя молодежи — и далее — насмехаясь над нашей периодической прессой, Невский проспект оказывается источником всевозможных сплетен. Сплетни эти, протекая с Невского на близ лежащий проспект, циркулируют по Петербургу; далее — они облетают Россию; и вдруг, где-нибудь в Царевкокшайске<sup>11</sup> напечатают гнусную клевету: «Говорят, что в учебном заведении (имя рек) директор (имя рек) систематически совращает учащуюся молодежь, называя абитуриентов женскими именами и насмехаясь над лучшими образцами нашей отечественной литературы». А расследование, конечно, не установит ничего подобного.

Читатель! довольно же заниматься сплетнями: если разгадывать все гиероглифы, за день сплетенные любым уголком проспекта, то, пожалуй, не хватит одной человеческой жизни; ткань вот этих плетений искони поднялась желто-бурым столбом над прибалтийскими болотами, отмечая место незабываемого и, так сказать, столичного града. Если же почтенный читатель, сойдя с тротуара, присядет на корточки, то его наблюдательность обогатится опять: он увидит, что черная, густо текущая тротуарная гуща не течет, а... ползет; между нею и плитами камня — тысячи запаркавших ножек: и ему несомненно кажется, что



*Андрей Белый и А. А. Тургенева.*

*Фото. 1915 г.*



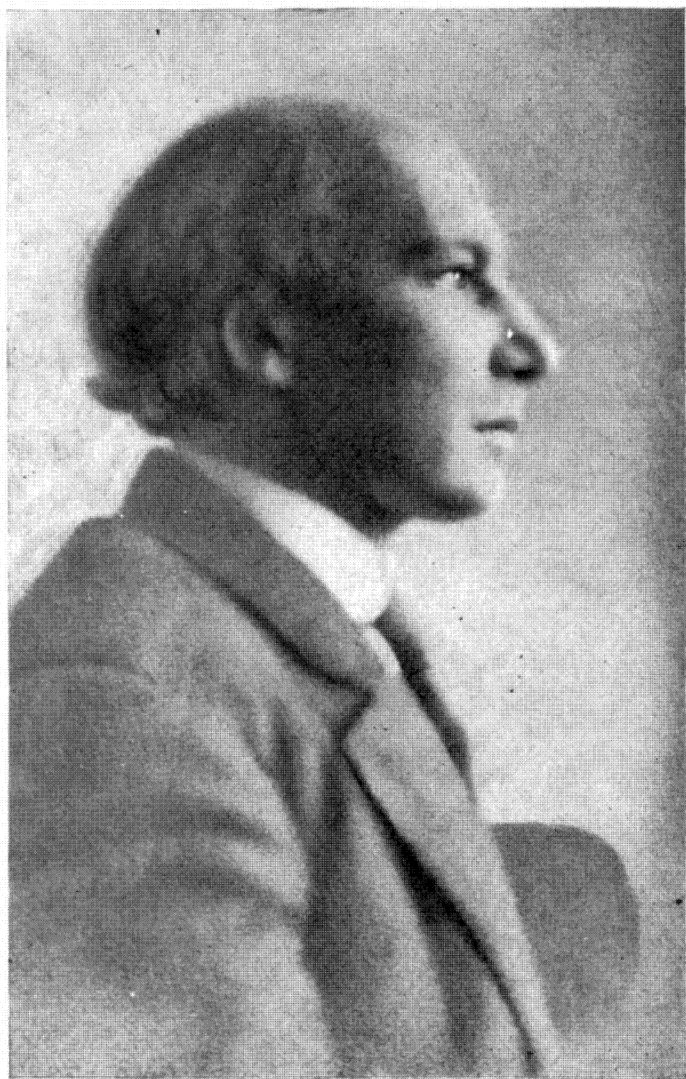
*Андрей Белый и А. А. Тургенева.*

*Портрет работы М. В. Сабашниковой (Волошиной).  
Дорнах. 1916 г. Дом-музей М. А. Волошина. Коктебель*



*Андрей Белый.*

*Фото. 1916 г. Опубликовано в кн.: Турков А. Александр Блок. М., 1969*



*Андрей Белый.*

*Фото. 1920-е гг. Частное собрание. Ленинград*

перед ним побежала черная бесхвостая многоножка, склеенная из многотысячных члеников; каждый членик — туловище людское; но людей на Невском проспекте — нет: люди здесь исчезают, и бежит... многоножка, изрыгая под небо дым чудовищных сплетен своих; и от сих чудовищных сплетен по временам Нева надувается, выбегая из берегов.

Такова гигантская многоножка, пробегающая по Невскому.

Та гигантская многоножка обладает еще одним несомненным свойством: она пробегает здесь всегда. Выше, над Невским проспектом, там бегут весны, осени, зимы: там изменная чередка; здесь чередка неизменная: она та же и та же — веснами, осенью и летом. Временам года, как известно, положен предел; ей же нет ни конца, ни начала: ползет, как ползла; будет ползать, как ползает. И, должно быть, испугала она вон тех металлических коней, что вздыбились в испуге с Аничкова моста; и не будь металлических черных людей, повисающих на вожжах, пронеслись бы в испуге железные кони по Петербургу.

Если читатель спустится теперь с Аничкова моста, и, вклеенный в гущу, покатится неизвестно куда, вместе с носами, усами, ногами и страусовыми перьями, он увидит лишь отдельные членики проспектного насекомого, свойства которого только что он открыл: эти членики — одиночка, пара, тройка, четверка, семенящая на двух, четырех, шести и восьми ногах. Вот пред ним один семенящий членик-одиночка: тонконогий, темно-зеленый студент в темно-зеленом блине и при шпаге; а вот перед ним другой, шестиногий членик; имя этому членику — тройка: это — тройка черных цилиндров, с шестью кончиками черных же вверх крученных усов. Далее, — далее: одиночка, пара, четверка, — пара за парой, котелок за котелком, — котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

То же все течет и в зеркальной оконной витрине, где за бледными бликами тот же текущий ряд: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Здесь слита с витриной витрина: на витрине — зеркальное отражение; множество отражений — множество зеркальных витрин; если пренебречь отражением, ежели взглянуть в зазеркальную глубину, отражения убегают; вместо них выплывают предметы: многое множество предметов, — не оторвешься от них.

Будто желтые кожаные руки, желтые плоские перчатки: расплещенные руки, иссохшие давно! И подобия многих резиновых, штемпелеванных красными клеймами, ступней отовсюду просунулись из магазина обуви. А вот — рой обнаженных младенческих и раскинувших руки кукол; раздирает рот до ушей японская желтая кукла — плосконосое, тупое, жестокое Би-ба-бо.<sup>12</sup> Зонтики, веера, флакончики и картинки — картинки, флакончики, веера, зонты.

Санкт-Петербург — столица Российской империи, Невский проспект — немаловажный проспект; из линейной сети подобных проспектов состоит Санкт-Петербург.

За дальнейшими справками прошу обратиться в полицию...

## V

Находившийся в центре быстро летящего куба, Аполлон Аполлонович дозировал благосклонно обычную циркуляцию, протекавшую в зараженной мозглости перед ним и воспринимаемую, как обычное явление атмосферы, как игру теней в облаках. Между черных четырех своих стенок Аполлон Аполлонович предавался блаженству: так же, пожалуй, он предавался покою в купе первого класса, прорезая стрелой неоглядные, серые поля, от которых Аполлон Аполлонович старательно отделялся спущенной занавесью; он предавался покою в ванне; больше — промеж двух подъездных дверей и еще в одном, ни с чем несравнимом месте, о котором приличие не позволяет мне, как следует, выразиться, но куда, вопреки там горящему электричеству, Аполлон Аполлонович по традиции проходил со свечкой в руке: в этом-то месте Аполлон Аполлонович углублялся в газетное чтение; несуразное преломление мира в газетах воспринималось им из того места с чрезвычайным спокойствием; в этом месте нередко Аполлона Аполлоновича осеняли блестящие мысли, которые он и спешил скорее занести в свой дневник. Если к Аполлону Аполлоновичу на дом являлся какой-либо неприятный посетитель (знакомый, не мелкая сошка, но и не государственный человек), Аполлон Аполлонович, встретив любезно знакомого, тотчас его покидал, убегая в свой кабинетик: там зажигалась свеча, и оттуда Аполлон Аполлонович шествовал в ни с чем несравнимое место, заключаясь надолго; после, из этого места, Аполлон Аполлонович протекал в кабинетик; отпирался ящик письменного стола и доставалась адресная книжка; под соответствующей литерой значилась там и соответствующая фамилия; Аполлон Аполлонович справлялся с именем и отчеством его ожидавшей персоны. При этом он разговаривал сам с собой:

— Так-с, так-с, так-с... Балеев, Бакеев, Бакинский... Что за черт!.. Бакланов — Андрей Андреич. Так-с, очень хорошо-с... — И найдя то, что ему нужно, Аполлон Аполлонович выбегал к знакомому, еще в дверях спеша показать, что и имя, и отчество посетителя в совершенстве усвоены им:

— Ну-с... Андрей Андреич, в чем дело?

На всякий жизненный случай у Аполлона Аполлоновича был определенно придуманный способ — способ отношения. Эти способы касались и предметов домашнего обихода. Так, например: Аполлон Аполлонович полоскал после кушанья зубы борною кислотой, для чего им был строго продуман способ соответствующей заговорки; этот способ казался домашним его и слишком сложным, и скучным. Не доверяя домашним, Аполлон Аполлонович борную кислоту заговаривал сам. Был у него и способ подъезжать к департаменту, своевременно сообщенный кучеру Степану. Кучер Степан по способу Аполлона Аполлоновича подвозил его к департаменту, порядком-таки прокружив предварительно по пестербургским стогнам.

По этим стогнам летел он, благосклонно взирая на поток теневых силуэтов, пролетающих мимо окон кареты в зеленом тумане, на фоне вставших за ними желтых публичных домов, то есть домов для публики. Каждая проходящая тень, сохраняя черты индивидуальности, выступала мягко, неслышно: но сумма всех поступей и ходов — грохотала, ревела; грохотала там, шаркала и ревела непрерывная теневая цепь.

Если бы заставить заговорить каждое звено этой цепи, теневое звено и сказало бы то, что ему сказать подобает: заговорило бы человеческим языком, облеченным в условную форму: и чиновник ведомства министерства финансов, говоря о своем жизненном деле, вероятно, употребил бы в своей речи ряд финансовых выражений, а чиновник ведомства министерства юстиции употребил бы для той же цели выражение юридическое: оба голоса доходили бы до нашего слуха под далекой сурдинкой пространства. Бог весть, откуда бы, может быть — с Марса, или с еще более далекой планеты, скажем — с Сатурна, долетел голос до слуха, где-нибудь на Луне. Пролетев миллионы верст, этот голос терял всю силу своего выраженья; и хотя выразительно подчас здесь произносились слова «жел а ю», «лю блю», тем не менее, облеченные в формальные способы выражения, те слова казались иными: «покупаю любовь», «заключаю любовный акт». Даже на яркое слово «лю блю» теневой там на Марсе звучащий голос, набрасывал быстро, спасительно всевозможные флеры из «ка ж е т с я»; выходило: «лю блю — ка ж е т с я». Все — казалось тут (только казалось), — не оказывалось никогда.

В зеленоватом освещении петербургского утра, в спасительном «ка ж е т с я», пред Аполлоном Аполлоновичем циркулировало обычное атмосферическое явление в виде кажущегося потока людей: люди немели тут, а поток, пролетая черными волнами, и гремел, и рычал; но раскаты этого грома не воспринимались привычным ухом.

Спаянный маревом, сам в себе распадался поток на отдельные звенья как бы планетных систем; ближний к ближнему в тех системах находился в таком же приблизительном отношении, в каком лучевой слабый пучок небосвода, брошенный математической точкой, находится в отношении к сетчатой оболочке, проводящей в мозговой центр по нервному телеграфу смутную, звездную, промерцавшую весть.

С текущей толпой Аполлон Аполлонович главным образом сообщался при помощи проволоки (в этом был его способ), и туманный поток теней доходил до него, как спокойная, там за бездной текущая весть. Аполлон Аполлонович думал о звездах, думал о непонятности мимо него текущих двуногих явлений; и укачиваемый ездой, принялся он вычислять силу солнечного свеченья, воспринимаемую с Сатурна; вдруг...

Вдруг лицо его сморщилось, передернулось тиком, и на мгновенье зажмурились глаза, обведенные синевой: быстро он откинулся к стенке кареты; жесткий цилиндр его, стукнувшийся о стенку кареты, неожиданно съехал на лоб.



Аполлон Аполлонович машинально поправил цилиндр и упрямо отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем спокойный и разумный отчет. Собственно говоря, безотчетность сенаторского движения не поддавалась обычному толкованию: кодекс психологических правил Аполлона Аполлоновича не предусматривал ничего подобного. Созерцая мимо текущие силуэты, Аполлон Аполлонович уподоблял их математическим точкам громадного небосвода. Вдруг одна из них спокойно далеких точек сорвалась с своей орбиты и с бешеной быстротой понеслась на ее созерцавшего наблюдателя, принимая форму громадного и багрового шара, упдающего на землю. Этого Аполлон Аполлонович вынести вовсе не мог.

Здесь мне будет позволено перейти от уподобления к сущности. Аполлон Аполлонович вдруг увидел с угла пару на себя устремленных глаз. Эти глаза выразили одно странное по отношению к Аполлону Аполлоновичу свойство: они узнали его; более того: они его хотели узнать; может быть, его-то они и поджидали и, увидев, расширились, засветились, блеснули. Этот взгляд был действительно брошенным взглядом, а не взглядом, брошенным безотчетно, и принадлежал разночинцу с черными усиками и в пальто с высоким воротником. Углубляясь в подробности этого, его от окна отбросившего, обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее сообразил, нежели вспомнил одну черточку: разночинец с черными усиками в правой руке держал узелок, перевязанный мокрой салфеткой.

Другую руку разночинец приподнял.

Вспоминая то, Бог весть, почему поразившее его обстоятельство, Аполлон Аполлонович нашел его и вовсе не замечательным: неприятна, пожалуй, была зигзагообразная линия, нарисованная рукой: всякий же зигзаг входит в поле сенаторского зрения беззаконной кометой.

Аполлон Аполлонович снова выглянул из окошка кареты: то, что он видел теперь, совершенно изгладило неприятно пережитый момент: мокрый, скользкий проспект, мокрые скользкие плиты, лихорадочно заблестевшие сентябрьским денечком, зеленоватый туман, тускло стертые лица, тускло стертый одинокий городской.

## VI

Неуклюжей каменной глыбой выступал парадный подъезд на одном из мокрых петербургских проспектов.

Если ты во сне бывал в Петербурге знаешь ты, без сомнения, этот тяжелый подъезд. Там дубовые двери с зеркальными стеклами; эти стекла видят прохожие, — но за стеклами теми едва ли кто-нибудь бывал. Из-за зеркала стекол беззвучно и вечно разблесталась медная тяжкоглавая булава. Там — покатоое, восьмидесятилетнее плечо снится годами случайным прохожим, снящимся, без сомнения, читатель, тебе: на то восьмидесятилетнее плечо так же, все так же падает темная треуголка

швейцара; восьмидесятилетний швейцар так же ярко оттуда блистает своим серебряным галуном.

Тяжелая медноголовая булава мирно покоится на восьмидесятилетнем плече швейцара, и увенчанный треуголкой швейцар засыпает года над «Биржевкой», потом встанет швейцар и раскроет дверь. Днем ли, утром ли, под вечер ты пройдешься мимо дубовой той двери, — днем, утром, под вечер ты увидишь и медную булаву; ты увидишь галун; ты увидишь темную треуголку; ты увидишь под ней белоснежный клоч борода. С изумлением остановишься ты пред все тем же видением, то же ты видел здесь и в свой прошлый приезд; пять лет уже протекло с той поры, проволновались глухо события, уж проснулся Китай, уже пал Порт-Артур. Но видение старых годин неизменно, бесменно — восьмидесятилетнее плечо, треуголка, галун, борода; миг — коль тронется белая за стеклом борода, коль огромная булава качнется, коли бешено просверкает серебристый галун, как бегущая с желобов ядовитая струйка, угрожающая холерой и тифом жителю подвального этажа? Коли будет все то? и изменятся старые годы, будешь ты, как безумный, кружиться по петербургским проспектам: ядовитая струйка из желоба оболет мозглым холодом сентября. Если б там, за зеркальным стеклом подъезда, просверкала стремительно тяжкоглавая булава, верно б, верно б, здесь не летали холеры и тифы, не волновался б Китай, и не пал Порт-Артур. . .

Застывая года над подъездом вечного дома, повисает все так же каменный бородач; повисает года, повисает томительно, повисает — с усмешкой на растянутом каменном ротовом отверстии; на затылок его и на локти каменных рук упадет сто лет карниз балконного выступа; иссеченным из камня виноградным листом и каменными виноградными гроздьями проросли его чресла и козлинообразные ноги; старые, старые ноги — старый каменный бородач.

Каменный бородач приподнялся над уличным шумом; и над временем года приподнялся каменный бородач; лето, осень, зима — снова лето и осень, снова осень и осень, — так минуют его года: само время ему по пояс. Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою стрелою проспекта. На его бороде уселась ворона, однозвучно каркает на проспекте. Мокрый, скользкий проспект, мокрые, скользкие плиты, так невесело озаренные сентябрьским деньком; зеленоватый облачный рой, зеленоватые лица прохожих, серебристые струйки, вытекающие из желобов. Каменный бородач, поднятый над вихрем событий, дни, недели, года подпирает подъезд департамента.

Тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал над ним декабрем; отбушевал только что январь тысяча девятьсот пятого года. Каменный, каменный, каменный бородач!

Все бывало под ним. И все под ним быть перестало. То, что он видел, не расскажет он никому. Помнит и то, как осаживал кучер кровную пару, как клубился пар от тяжелых конских задов; генерал в треуголке, в крылатой, бобром обшитой шинели, грациозно выпрыгивал из кареты

и при криках «ура» пробегал в дубовую дверь. После же, при криках «ура» генерал подпирал карниз балконного выступа, и кипел его взор, и пощипывала бачки рука. Каменный бородач, подпирающий карниз балконного выступа, хорошо знал имя того генерала: но его не сумеет он передать никому, никогда.

Никогда, никому не сумеет он передать о слезах сегодняшней проститутки, приютившейся ночью под ним на ступенях подъезда. Никогда, никому не сумеет он передать, что он там подсмотрел в освещенном окошке: из безвременья, как над линией времени, изогнулся он, над прямою ль стрелой проспекта, иль над горькой, соленой, человеческой слезой.

Не расскажет он никогда о недавних еще наездах министра. Был министр тот в цилиндре, и была у него зеленоватая глубина в бархатистых глазах. Поседевший министр, выходя из легоньких санок, гладил холемный ус лайковой перчаткой; он стремительно пробегал в дубовую дверь, чтоб потом задумываться у окон; глядя с проспекта на то бледное, лицевое пятно, прижатое к стеклам, не узнал бы случайный прохожий в том странно прижатом к стеклу лице то лице, которое управляло отсюда российскими судьбами, в том числе и его, прохожего, судьбой. Но швейцар с булавой, засыпающий над «Биржевкой», хорошо знал то измученное лицо: Вячеслава Константиновича, славу Богу, в департаменте хорошо помнят, а блаженной памяти императора Николая Павловича в департаменте уже не помнят. Помнят белые залы, колонны, перила и лестничные ступени; помнит серый каменный бородач.

Мокрый, скользкий проспект, проблиставшие влагой плиты, черносерый, сырой, изогнувшийся бородач; с головы его, каркая, полетела ворона; но ее никто не заметил.

А под ней, под вороной, в петербургском тумане проходило множество котелков, зонтов и плечей, чтобы некогда влиться в прямолинейный Невский проспект. На Невском же проспекте проходили пары, тройки, четверки; пробегал стремительно, так сказать, нос; пробегало многое множество носовых выступов, ушных раковин и глазных отверстий; протекали бороды, подбородки, зонтики, утекал котелок за котелком: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, околыш и лиловое страусовое перо.

Невский проспект — главный проспект Петербурга. Петербург же — столица Российской империи, состоящая из сети взаимно перпендикулярных проспектов; эта сеть (так сказать, национальная наша гордость) состоит из энного количества тщательно перенумерованных домов; за дальнейшими справками прошу обратиться в полицию.

## VII

Среди медленно протекающих толп протекал только-что поразивший сенатора незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником; он в руках пред собой осторожно нес свой мокренький узелочек;

на него налетал котелок; на него цилиндр равнодушно оскаливался зубами, и его задевало черное страусовое перо, и проститутка не раз на него поднимала свои тьмой изошедшие взоры. Заскрипевши железом из-за мокрых пролетов, на него кидался желто-красный трамвай. Виноват, в Петербурге в ту пору еще не бегал трамвай: это был, ведь, сентябрь тысяча девятьсот пятого года.

Равнодушно стоял незнакомец на углу Аничкова моста; на углу проспекта на него поглядела пачка сложенных веером промокших журнальчиков.

Вдруг из одной пестрой обертки кровавого фона, будто из светового столба, на незнакомца стремительно кинулся голый череп с совершенно зелеными и увеличенными до невероятных размеров ушами. Незнакомец тогда почему-то вдруг вспомнил какой-то невзрачный трактирчик на Миллионной; вспомнил он и один роковой разговор, происходивший в трактирчике: разговор касался вот этих ушей, вот этого голого черепа; эти уши и череп взволновали до крайности незнакомца.

Эти уши и этот череп — но где они?

Незнакомец с черными усиками пред собою в окне увидел лишь всего... парикмахерскую куклу: бледного воскового красавца с неприятной улыбкой на совершенно пунцовых устах. И незнакомец с черными усиками перенесся мыслью к одному молодому человеку: бледному восковому красавцу с неприятной улыбкой на оттопыренных устах; и от этих оттопыренных уст перешел он к другим устам, оттопыренным тоже: уста принадлежали некой особе, с которой он недавно имел один неприятнейший разговор и с которой будет иметь сегодня же удовольствие снова встретиться.

Вспомнив все то, незнакомец с черными усиками и в пальто с высоким воротником передернул плечами: мозглая сырость проползла ехидно под приподнятый воротник.

Протекали пары за парой; протекали тройки, четверки, и от каждого человека под небо взвивался невидимый столб членораздельно произносимых слов. И поток разговоров с проспекта в пространство развивался язвительно; незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником трепетно вслушивался в отрывки словесных сплетений, пересекая пары, четверки — котелок за котелком.

Это он внимал невской сплетне:

— Вы знаете... пронеслось где-то справа от незнакомца, чтоб сейчас же погаснуть в реве и грохоте.

И потом вынырнуло опять.

— Собираются...

— Что?

— Бросить...

Зашушукало сзади...

Незнакомец с черными усиками обернулся и увидел пред собой чей-то нос:

— В кого бросить?...

— Кого, кого? перешুকнулось издали; и вот где-то теперь сказала какая-то пара.

— Аблеухова.

И, сказавши, пара быстро прошла.

Стенограмма оборвалась; но незнакомец с черными усиками остановился и вздрогнул: и шептал сам с собой:

— В Аблеухова собираются бросить? Что бросить?

Что-то кстати шепнуло бледному незнакомцу не произносить вслух этих слов; все же эти слова он произнес теперь медленно; произнес, и тотчас он себе же ответил:

— Нет, неправда: не собирался бросить никто, ничего.

Но едва он мысленно это все произнес, как опять вдруг зашепталося:

— Поскорее бы...

И потом опять сзади:

— Пора же...

И опять погасло в реве и грохоте; и все то же вынырнуло опять:

— Пора... Право...

Но незнакомец услышал не «право», а «прово»; он бросился в бегство; и в ужасе зашептал:

— Провокация...

Провокация невидимо загуляла по Невскому: незнакомец с черными усиками вдруг поймал сам себя на одном непредвиденном, неостроумном поступке; он увидел отчетливо, что стоит посреди оживленнейшей улицы и что он поставил свой собственный палец пред носом какого-то полицейского.

— Прово...

— Проваливайте, почтенный, проваливайте.

Так ему спокойно заметил полицейский чиновь.

Незнакомец с черными усиками пропустил одно обстоятельство; обстоятельство было немаловажно: незнакомец с черными усиками просто-напросто переврал невскую стенограмму. Он прочел: «В Аблеухова собираются бросить»... тогда как подлинно было произнесено какою-то прохожею тенью не «в Аблеухова», а просто «Аблеухова», отчего самый смысл стенограммы разительно изменялся.

Подлинный смысл утекающей фразы заключался лишь в том, что какого-то Аблеухова собирались бросить куда-то, — может быть, в полицейский участок, что никак не могло относиться к сенатору, потому что как-то не принято заключать сенатора в полицейский участок.

Присоединивши же произвольно всего-навсего предлог «в», незнакомец с черными усиками изменил разительно и смысл целой фразы: согласно последнему толкованию им услышанной фразы, в какого-то Аблеухова собирались бросить какие-то люди какой-то неподходящий предмет, от чего, признаться, не гарантирован и сенатор.

Итак, незначительное присоединение буквы *в* и твердого знака изменили невинную фразу в фразу ужасного содержания. Но еще удивительней то, что роковое *в*, как и твердый, ненужный для алфавита,

знак, присоединил к услышанной фразе сам незнакомец. Провокация, стало быть, таилась не только в Невском, провокация, стало быть, таилась и в нем самом.

Да и, кроме всего, — роковая фраза «Аблеухова собираются бросить» была фразой, коллективно составленной: в нее вошли осколки самостоятельных фраз, склеенных вместе и составивших фразу. Но родимые первоначальные фразы принадлежали трем разным парам.

Одна пара добродушно заметила:

— Аблеухова, кажется, назначают в товарищи министра!

А другая пара сказала:

— Собираются на бал.

Третья пара — но какое нам дело до третьей пары? Безобидный смысл стенограммы разоблачился теперь: просто фразы были произнесены в разных пунктах одного и того же пространства; в каждую точку этого пространства лишь попало по слову, ибо все фразы разбивались на Невском, как звенящие стекла; и из мелких стекольных осколков невидимый кто-то составлял единую, ужасную, невнятную ткань.

Но незнакомец с черными усиками продолжал убегать, догоняя невяскую сплетню, продолжая мысленно твердить все одно:

— В Аблеухова... собираются... бросить...

— Бомбоньерку...

Это подкасал ему навстречу летящий кадет.

«Бомб»... раскрыл рот за кадетом и незнакомец с черными усиками; но, должно быть, начал он что-то высказывать вслух, потому что го слово повторила за ним и прохожая проститутка; и притом она шутливо уставилась незнакомцу в глаза:

— Бомб...

— Оньерку... — проговорил кто-то сбоку (вероятно, «пансионерку»).

— Панс...

— Ээ!

— Эрку!

— Этаж-этажерку...

— ...

Страшная сплетня стала вновь сплетней нестрашной; а нестрашная сплетня превратилась далее и просто в галиматью.

На другое утро вся читающая Россия до слез хохотала по поводу одного газетного сообщения; газетное же сообщение гласило о том, что по случаю нового назначения сенатора Аблеухова на ответственный пост состоится бал в одной великосветской квартире, и на этом балу пансионерки Q. Q. пансиона (наборщик набрал вместо пансионерки — этажерки) собираются забросать сенатора бомбоньерками.

## VIII

Милостивые государыни, ваши превосходительства, высокородия, выскоблагородия, благородия, товарищи, граждане и все прочие, прочие, прочие, коих титулы я опускаю для краткости!

Что есть Российская империя наша? Есть ли она политическая единица? Или есть ли она единица географическая? Политически Русская империя наша есть множество, ибо она не есть политическая единица. Почему же она в политических единицах не состоит? Потому что не есть она сия единица, а оная: а под оною единицею разумею я некое географическое единство.

Русская империя есть часть света, заключающая, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червонную Руси; во-вторых — Польское, Грузинское, Казанское и Астраханское Царства; в-третьих, заключающая в себе и Великое Княжество Финляндское. И прочая, и прочая.

А глава нашего отечества есть еще сверх того Наследник Норвежский.<sup>13</sup>

Русская империя состоит из великого множества городов, — столичных, губернских, уездных, заштатных. Далее: она состоит из одного первопрестольного города да еще из матери городов русских. Первопрестольный тот город — Москва; а мать городов русских есть — Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же), принадлежит к городам Российской империи; о том можешь ты справиться на любой географической карте. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь) принадлежит лишь по праву наследия. И о нем мы более распространяться не будем.

Итак — есть Петербург, или, как я уже сказал, Санкт-Петербург, или Питер (что — то же). На основании тех же суждений Невский проспект есть проспект Петербургский.

Невский проспект обладает, так сказать, одним свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики, отгороженного номерованными домами: номерация идет в порядке домов, что весьма облегчает при поисках нужного дома; Невский проспект, как и всякий проспект, есть, говоря вообще, публичный проспект, то есть, проспект для циркуляции публики, а не воздуха, например; а дома, образующие его боковые границы, есть публичные дома, то есть опять-таки дома для публики. Далее: Невский проспект освещается по вечерам электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения.

Невский проспект, говоря между нами, прямолинеен, потому что он европейский проспект; всякий же европейский проспект, не просто проспект, а проспект, как я уже сказал, европейский, потому что... как же иначе? И потому-то он — прямолинейный проспект.

На основании тех же суждений прямолинеен и Невский проспект.

Ваши превосходительства, товарищи, граждане! Положа руку на сердце, придется вам еще дать одно немаловажное разъяснение, если вы провинциалы, то есть если вы состоите обывателями губернских, или даже уездных, или даже заштатных городов: не Москва есть столичный

град, а опять-таки, как я уже сказал, Москва есть первопрестольный град; но такое ее положение не дает ей никаких самостоятельных прав именоваться столицей, ибо она не столица, а первопрестольный град; вернее же сказать, что она и не первопрестольна, ибо что же будет с Владимиром, наконец, с Киевом, ибо Киев есть и мать российских городов, и первопрестольный град.

Что же есть в таком случае не столичная, да и не первопрестольная вовсе — Москва? Положение ее крайне двусмысленно; не глухая ль она деревня? И есть ли в ней еще полтора миллиона жителей, как гласит наша перепись? Может быть, в ней едва насчитаешь тышочку? Может быть, никакой Москвы нет, — и Москва — просто, так себе, железнодорожная станция, мимо которой пролетает специальный петербургский чиновник для специальной ревизии провинциального ведомства. Положите же руки на ваше сердце, и оставьте всякий сепаратизм. Петербург есть град столичный, не какой-либо иной, например, русский город.

Невский же проспект, полагаю я, есть немаловажный проспект в сем не русском, а как я уже выразился, столичном граде, ибо прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек: и разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы, упаси Боже, сепаратисты и если вы продолжаете утверждать факт существования полуторамиллионного населения Москвы, то придется признать, что Москва и есть столица Российской империи, ибо только в столицах есть миллионное население; в губернских, уездных, заштатных городах никакого миллионного населения нет, не было никогда, да и быть не может. Но тогда не столица Петербург, или Санкт-Петербург, ибо столица — одна; не может быть Петербург каким-нибудь городом русским, ибо, как я сказал, Петербург — город не русский — столичный.

Если же столица не он, а Москва, никакого Петербурга и нет: это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, он не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с точкой в центре: и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть: оттуда, из этой вот точки, несется град отпечатанных книг; далее, из этой вот точки, несется и град циркуляров.

Здесь заметим еще.

В Петербурге обитает не одно наше начальство: в Петербурге живут все писатели русские, если только жребий не выбросит их за границу; в Петербурге проживают: Куприц, Мережковский, Андреев и Чириков; в Петербурге живут — Сологуб, Ремизов, Арцыбашев, — прочие, прочие, прочие, даже кажется, проживает Аверченко.

А в Москве писателей нет. Но, может быть, петербургский писатель — явление атмосферы?<sup>14</sup> Тогда все, что вы здесь услышите, и все что вы здесь увидите, одна только праздная мозговая игра.



## IX

Серые в яблоках кони подкатили лаковую карету к департаментскому подъезду; за зеркальным стеклом блеснула медная булава. Молодцеватый городской, вытянувшись в струну, отдал под козырек, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, в сером пальто и высоком черном цилиндре, пронес каменное лицо из дверей кареты в широко открытый подъезд. Проходивший чиновник, озадаченный виденным, на минуту остановился, обернулся и долго глядел через плечо в неоглядный туман. Скоро скрылось в тумане и это лицо прохожего, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные, распушенные зонты.

Проходя по департаментской лестнице, устланной красным сукном и украшенной мраморной балюстрадой, Аполлон Аполлонович споткнулся об одну из ступенек. Следовательно, непроизвольно замедлился его шаг, следовательно, взор его совершенно естественно, без какой-либо предвзятой цели, задержался на одном предмете; этот предмет явился огромным портретом седеющего министра, устремившего на Аполлона Аполлоновича сострадательный взгляд. Легкая дрожь пробежала по позвоночнику Аполлона Аполлоновича — что ж такое? В департаменте все же мало топили; да и можно ли отопить простор сих белоснежных пространств; в сем белоснежном пространстве, украшенном громадным портретом, ускоренно так застучал сенаторский шаг. Аполлону, Аполлоновичу вновь представились белые, ледяные равнины. Русь, Русь, в ту минуту, верно, он видел тебя!

Русь, Русь, это ты разревелась ветрами, буранами, чащами, разревелась миллионами живых голосов. Это в твоих необъятных тундрах птицы, звери, чаще люди произносили в сей миг свои роковые заклития. Сенатору показалось, будто его проклинают в пространствах: боязнь пространства развивалась в нем изо дня в день.

Эта боязнь обострилась со времени трагической смерти Вячеслава Константиновича Плеве, с которым Аполлона Аполлоновича соединяли узы лежнейшей дружбы. Странное дело: образ покойного Плеве не раз тревожил его доселе спокойный сон; этот трагический образ теперь сочетался с одним из отрывков пушкинского стихотворения, Бог весть — почему глубоко запавшим:

И нет его — и Русь оставил он.  
Внесенну им над миром удивленным.

Только что упомянутый отрывок обыкновенно всплывал в сознании Аполлона Аполлоновича, когда Аполлон Аполлонович пересекал эту пустую, холодную комнату, направляясь кратчайшим путем в департаментский кабинет. Далее обыкновенно следовал следующий отрывок:

И мнится, очередь за мной...  
Зовет меня мой Дельви́г милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,

Товарищ песен молодых,  
 Пиров и чистых помышлений, —  
 Туда, в толпу теней родных  
 Навек от нас ушедший гений. . .

Строй стихотворных мыслей неизменно заканчивался:

И над землей сошлись новы тучи  
 И ураган их. . .

Вспоминая эти стихи, Аполлон Аполлонович становился особенно холоден в департаменте; и с особой четкостью выбегал он к просителям подавать свои пальцы.

Завидев фигуру бегущего Аполлона Аполлоновича, белокурый молодой человек в виц-мундире с либерально как-то бьющимся на шейном крахмале орденком и с развевающимся листом бумаги прилетел к нему через весь зал: это был Вергефден, чиновник особых поручений при особе Аполлона Аполлоновича; и уже когда Вергефден пересек половину зала, Аполлон Аполлонович, в свою очередь с чрезвычайной стремительностью и с любезным выраженьем лица побегал навстречу ему с сердечной протянутой ладонью (будучи строгих правил, он вменял себе в непреложный закон один из важнейших принципов общежития — вежливость); но едва только ладони той коснулись надушенные пальцы Вергефдена и почтительно щелкнул крахмальный край белоснежной манжетки, как с неопозволительной сухостью из пальцев Вергефдена вырвались два сенаторских пальца, точно коснулись они пальцев потных (ибо потные пальцы — неприятный объект осязания). Но Вергефден не обиделся, ибо он знал, что неизменная сухость рукопожатия происходит от рассеянности: погруженный в мрачные думы о судьбе ему вверенных учреждений, Аполлон Аполлонович забывал во мгновение ока о том, что он намеревался делать; нечего говорить, что все то не касалось государственных забот, но мелочей жизни. Вергефден знал это; и с фамильярной развязностью, картавя и улыбаясь, заговорил о каком-то животрепещущем деле:

— Превосходно, ваше превосходительство. . . Они прислали-таки (оп засмеялся). *C'est bizarre invraisemblable, mais c'est ainsi. . .\** Но что нам делать с бумагой. . . Кассационный департамент настаивает.

Возлюбив параллельность городских проспектов, и во всем прочем Аполлон Аполлонович строго придерживался параллельности: Аполлон Аполлонович мог думать одновременно о двух, совершенно противоположных предметах, освещая по произволу один из двух мысленных ходов своим волевым вниманием. Так и теперь: прислушиваясь одновременно и к смутно в нем протекавшим мозговым процессам (всяким невнятиностям, внушенным легким покачиваньем каретных рессор), и к гладко отточенным фразам Вергефдена, в которых слово к а с с а ц и я

\* Это до неправдоподобия странно, но это так. . . (фр.). — Ред.

склонялось во всех падежах единственного и множественного числа, Аполлон Аполлонович понял, что Вергефден задал ему какой-то вопрос, и Аполлон Аполлонович тотчас направил свое волевое внимание на утекающий миг, и оттуда выпала готовая членораздельная фраза:

— Кассационный департамент думает, очевидно. . .

И плечи Вергефдена затряслись от смеха: Аполлон Аполлонович неожиданно высказал чрезвычайно остроумную мысль.

Кстати сказать: мысли Аполлона Аполлоновича бывали оригинальны до крайности именно в процессе самопроизвольного зарождения их; запиши он их в тот момент, мы имели бы дело со вторым мудрецом Сквородю, нашим отечественным философом;<sup>15</sup> но поскольку Аполлон Аполлонович презирал самопроизвольное зарождение мыслей, относя их к праздной мозговой игре, постольку он придавал значение дальнейшей их разработке, проводя те мысли сквозь длинный силлогический ряд, отчего они утеривали первоначальную свежесть, превращаясь в ходячее общее место; это второе издание собственной оригинальной мысли теперь излагалось педантическим тоном Вергефдену, отчего лицо последнего как-то смякло, и зевок просился на розовые молодые уста; Вергефден предпочитал неразжеванность афористического образа мыслей, который относился Аполлоном Аполлоновичем к мозговой игре, свойственной либеральным газетчикам, но унижительной для носителя бриллиантовых знаков.

— Ну, а как же с бумагой? Не послать ли бумагу им? Они не любят бумаг.

Но тут Аполлон Аполлонович сухо так перебил:

— Бумага же послана: вы докладывали мне об этом еще на прошлой неделе.

И Вергефден, как пойманный школьник, как-то вдруг покраснел, перестав щеголять тонким знанием дела.

— Нет, нет, — сделайте, как я говорю: и знаешь. . . — сказал Аполлон Аполлонович, вдруг остановился и поправился: тили (он хотел сказать «знаете ли», но вышло «знаешь-тили»).

Это было от рассеянности.

О рассеянности Аполлона Аполлоновича циркулировали по Петербургу легенды; эти легенды Вергефден с особым вкусом рассказывал всюду в великосветских гостиных, а в последнее время сообщал в отделе «Смесь» достопочтенного журнала «Открытое».<sup>16</sup> Так однажды Аполлон Аполлонович явился на Высочайший прием — без галстука; остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого вывел его все тот же лакей, предложивши у него заимствовать галстук.

Многokrатно Аполлон Аполлонович ошибался при надевании своих многочисленных лент: ту, которую ему надлежало на себя возложить слева направо, возлагал он справа налево, и совершенно обратно. К этим-то случайным ошибкам относились ошибки в употреблении личных местоимений, как в данном случае («знаешь-тили» вместо «знаете-ли»).

Поговорив немного с Вергефденом, Аполлон Аполлонович побежал далее по департаментской зале.

Пробегая по департаментской зале, Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню: во мгновение ока отчетливо у себя на столе представил он сложенные бумаги, порядок их и на этих бумагах им самим сделанные пометки; более того, он отчетливо видел и форму букв той или иной из пометок, и цвет карандаша, которым с небрежностью на поля наносилась пометка; видел он и синее «дать ход» с хвостиком твердого знака; видел и красное «навести справку» с росчерком на «у».

В краткое, ускользящее мгновение от департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею переместил центр сознания; всякая мозговая игра отступила теперь на край поля зрения, как вот те белесовагы разводы на белом фоне обой: кучечка же из параллельно вложенных дел переместилась в центр этого поля, как вот только что в глаза бросившийся министерский портрет.

А портрет, то есть —

И нет его — и Русь оставил он...

Кто он? Сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов? Нет. — Вячеслав Константинович... А он, Аполлон Аполлонович?

И мнится — очередь за мной:  
Совет меня мой Дельвиг милый...

Очередь — очередь; да, по очереди...

И над землей сошлись новы тучи,  
И ураган их...

Праздная мозговая игра! Кучка бумаг выскочила на поверхность; Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, повернулся к Вергефдену:

— Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне поскорее дело об «У х т о м с к и х У х а б а х».

Только что он хотел открыть дверь, ведущую в кабинет, как он вспомнил (он было и вовсе забыл): да, да, — глаза расширились, удивились, посмотрели на него; глаза принадлежали бледному разночинцу... Зачем, зачем был этот зигзаг руки? Пренеприятный зигзаг: и разночинца он видел — где-то, когда-то: может быть, нигде, никогда...

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета: письменный стол стоял на своем месте вместе с кучкою деловых бумаг: в углу камин расщепался поленьями. Собираясь погрузиться в работу, Аполлон Аполлонович грел у камина иззябшие руки, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости.

Четырехугольное окно позволяло видеть нижнюю часть балконного верхнего этажа; подойдя к окну, можно было увидеть и каменного бородача: как и он, каменный бородач, приподнимался там над уличным шумом; и над временем года приподнялся каменный бородач; тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов, тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним ревущими толпами; и теперь, в девятьсот пятом году, здесь проходила толпа. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда на камне все ту же улыбку; и ее грызет зуб времени. С той поры пролетели рои событий: Анна Петровна проживает в Испании; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.

Теперь, собираясь выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович ощущал ежедневную робость; еще он был сам с собой, а уж приторная улыбка сама собой пришла на эти блеклые губы: та улыбка была тоже от робости: что-то ждет его там, за дверями?

Аполлон Аполлонович проводил жизнь между двумя покрытыми зеленым сукном столами: между столом департамента и столом своего кабинета. Третьим излюбленным местом пребывания сенатора, как мы видели, была лакированная карета.

И вот он робел: и количество лиц, и количество просьб удручало его чрезвычайно; было тягостно терпеливо выслушивать все это невнятное изложение; но еще тягостней было просьбы те отклонять, — все решительно, потому что каждая просьба спотыкалась о ту или иную законную статью или чрезвычайное правило, неведомое никому, но ведомое ему как секретное руководство.

И вот он робел, — робел, пересчитывая количество прилетевших ворон на крышу противоположного дома . . . . .

Да: Аполлон Аполлонович вспомнил еще, как недавно случайно услышал он беззлобную шутку Вергефдена; вспомнил и слово Вергефдена: «Наш Нетопырь (прозвище Аполлона Аполлоновича в департаменте) пренебрежительно обходится с табелью о рангах: и действительный статский советник, и статский, и коллежский асессор испытывают равное по презрению прикосновение его пальцев. Было бы желательней, чтобы он брал восходящую или нисходящую гамму рукопожатий. Мы бы тогда были свидетелями разыгрываемых мелодий — от совершенного презрения, через невнимание, к презрению вовсе».

На что собеседник ответил Вергефдену: «Оставьте, пожалуйста: это — от геморроя».

Тут в комнату вошел Аполлон Аполлонович, и шутка оборвалась. Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: ведь, геморроем страдал он.

Он подошел к окну: две детские головки из окна той вон квартиры увидали за стеклами серое лицевое пятно . . . . .

Дверь распахнулась: с любезным выраженьем лица из распахнутой двери своего просторного кабинета мимо быстро вставших чиновников выскочил Аполлон Аполлонович Аблеухов и мелкими-мелкими шажками засеменял по направлению к стае просителей с протянутою ладонью; но едва до ладони той просительно прикоснулась робеющая рука какого-то отставного военного, как из робкой руки с непозволительной сухостью вырвались два сенаторских пальца, и просительная рука разжалась и упала обиженно.

И проситель, хромавший рубака балканских походов, обиженно думал: как понять выражение его лица? Лучше прямо бы плюнул он в руку, потому что проситель — маленький человек; и руке, вращающей департаментские колеса, естественно прикасаться брезгливо ко всем прочим рукам; но к чему тогда улыбаться, не являясь торжественно из распахнутой двери, а, прости Господи, оттуда выпархивая с искательным выражением на лице??

В этом-то и заключался обидный обычай сенатора Аблеухова, о котором выше шла речь: Аполлон Аполлонович, Бог весть — отчего, вспомнил свой дом с проживающим в этом доме сыном своим, Николаем Аполлоновичем.

## Х

Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами; черенная коробка именитого мужа становилась воистину материнским чревом мысленных образов, тотчас же воплощавшихся в тот призрачный мир; мысли сенатора получали и плоть, и кровь.

Принимая во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство, лучше бы Аполлон Аполлонович не откидывал от себя ни одной праздной мысли, продолжая и праздные мысли носить в своей голове. Праздная мысль, откинутаая сенатором, развивалась упорно в пространственно-временный образ; этим образом становилась она, продолжая действия вне сенаторской головы без всякого творческого контроля. В этом смысле Аполлон Аполлонович был Зевс, из божественной головы которого непрестанно и неумолимо вытекали вооруженные с ног до головы божества: боги, богини, гении. Эти боги, богини, гении далее продолжали действовать автономно.

Мы уже видели, как один такой гений — незнакомец с черными усиками — не только родился из сенаторской головы, зашагавши по невским проспектам, но и более того: возымел намерение упрочить свое существо в темно-желтых пространствах Невского, откуда будто бы вышел он до встречи с сенатором; таким образом он упрочивал в черепной коробке сенатора мысль, будто он пришел в эту голову в обратном порядке.

Другим таким же гением, убежавшим из мозга, был ни более, ни менее как собственный сенаторский дом, с проживающим в доме гом

сыном сенатора, Николаем Аполлоновичем Аблеуховым. Выше мы видели, как Аполлон Аполлонович снисходительно сообразовал при обходе просителей вспомнить свой дом; а потом Аполлон Аполлонович снисходительно сообразовал вспомнить и свое порождение.

Получившая автономное бытие мысль о доме стала действительным домом; и вот дом действительно открывается нам.

Серый почтенный лакей с золотым галуном на отвороте поднимался по входной лестнице, отдуваясь и переваливаясь; серый почтенный лакей с золотым галуном на отвороте, очевидно, страдал одышкой: но не в нем теперь дело, даже не в одышке, а в... лестнице: прекрасная лестница! И на ней ступени — что за ступени! Мягкие, мягкие ступени, как мозговые извилины. И по ним-то теперь поднимался лакей.

Пусть читатель не ждет дальнейшего описания; не успеет автор ему описать превосходную лестницу, по которой поднимались министры (он ее опишет потом), ибо — далее, далее...

Серый почтенный лакей с золотым галуном на отвороте находился уж в зале; и опять-таки зала — прекрасная зала! Превосходные окна, превосходные стены... правда, немного холодные...

А почтенный серый лакей проходил уж в гостиную, но гостиную уже видели мы.

Мы описываем многолетнее обиталище сенатора, руководствуясь теми общими признаками, коими он привык наделять наблюдаемые им предметы; Аполлон Аполлонович отметал от этих предметов все случайное; и во всем, что он видел, перед ним открывался лишь существенный признак.

Так, попавши в кой век на цветущее лоно природы, на цветущем лоне природы Аполлон Аполлонович, несомненно, видел все то же, что видели мы, то есть видел он цветущее лоно природы; но в то время, как мы, созерцая случайные признаки этого лона, состоящие из фиалок, гвоздики, одуванчиков, лютиков, говорим себе: «Это вот лютик, а вот это — фиалочка», — в это время Аполлон Аполлонович, подходя к деталям цветущего лона, говорил лаконически: «Вот — цветок». (Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы почему-то считал одинаково колокольчиками).

На основании тех же суждений почтенный сенатор с лаконической краткостью охарактеризовал бы и свой собственный дом; собственный дом состоял для него: во-первых — из стен, образующих квадраты и кубы; во-вторых — собственный дом состоял из симметрично прорезанных окон, образовавших — квадраты же; комнаты ограничивались совокупностью стен с окнами; комнаты состояли из паркетов, стульев, столов; и так далее, и так далее: начинались все только детали.

Серый лакей уже вступил в лакированный коридор; пока серый лакей преодолевает сии несущественные детали, свойственные всякому домовому помещению, не мешает вспомнить и нам одно идеальное обстоятельство, приводящее нас к принципам Берклеевой философии: промелькнувшая мимо картина — кресла ампир с золочеными ножками, зер-

кала, рояль, инкрустация столиков, промелькнувший мимо император Наполеон Первый — словом все, промелькнувшее мимо, — не могло иметь никакой пространственной формы.

Все то было раздражением мозговой оболочки, или хроническим недомоганием подсознательных нервных центров сенатора... может быть, можжечка.

Строилась лишь иллюзия комнат; строилась-строилась и потом разлеталась бесследно, воздвигая уже за гранью сознания свои туманные плоскости. И когда лакей за собой захлопнул гостинную дверь, застучав по гулкому коридору, это только стучало в висках у сенатора (Аполлон Аполлонович страдал приливами крови, вызванными геморроидальным состоянием организма всей последней недели).

И когда лакей захлопнул за собой гостинную дверь, за гостинную дверь не оказалась гостиной, — оказались... мозговые пространства: серое, белое вещество, заключенное в мягкую арахноидную оболочку;<sup>17</sup> а тяжелые меловые стены, меж которыми брызгали блески и лаки, обусловленные приливом к голове, — те тяжелые стены оказались свинцовой головною болью и состояли из затылочной, лобной, пары височных и пары теменных костей, принадлежащих одному почтенному черепу всероссийской известности.

Лишь кусочек лакового паркета, как мучительная заноза, оставался теперь в сенаторском черепе, потому что на этом кусочке паркета растерянно бился молодой человек.

Молодой человек имел странное одеяние: его пространственный контур облакал бухарский халат невозможнейшей пестроты, а павлиньи переливные перья распрыгались на зеленоватом поле халата; под павлиньими переливными перьями о себе неловким движением заявил молодой человек, отбиваясь, верно, от его державшей извилины мозга; он метался над лаковым полом, как картинка для волшебного фонаря на электрическом световом круге.

Молодой человек устанавливался недолго: вот он и установился; мы его могли теперь достаточно рассмотреть: молодой человек оказался в татарской ермолке и в таковых же туфельках, слегка опущенных мехом.

Молодой человек оказался сенаторским сыном Николаем Аполлоновичем; молодой человек объяснялся с лакеем и вдруг тронулся в путь по направлению к передней, подобравши полы халата.

Но едва Николай Аполлонович тронулся в путь, подобравши полы халата, как пошли писать блеском — инкрустация столиков, кресла, вазы амбир, амуры, зеркальные плоскости и квадратики паркетного пола; в одном радужном переливе замелькали блики, лаки и блески (Николай Аполлонович страдал близорукостью от усердного чтения книг, излагающих философию Канта).

Но нет, нет!

Тут была не одна близорукость, ибо стены мелькнули и скрылись во вневременной темноте; вместе же со стеною, в силу идеального обстоя-



тельства, мелькнул скользкий паркет, состоящий из лаков, досков и бликов; и на лаках, досках и бликах в силу этого обстоятельства Николай Аполлонович промелькнул так стремительно сплошным, павлиным пятном.

Все то мелькнуло, прыснуло блеском и погрузилось мгновенно в совершенную тьму от двойного факта: во-первых, Николай Аполлонович страдал приступами сердечной болезни, во время которых он испытывал неприятное ощущение, будто вместилище всех вещей, необычно расширившись, не вмещает все вещи, и все вещи проваливаются.

Во-вторых, — в чем вся сила, — вещи те провалились в данном случае по принципу Берклеевой философии: <sup>18</sup> провалились они потому, что и дом, и сынок были только иллюзией почтенного мозга: не мозга Николая Аполлоновича, а его седого папаша. И когда папаша тот от просителя, седого рубаки, перешел к просительнице, то иллюзия рухнула.

## XI

Николай Аполлонович...

Тут Аполлон Аполлонович остановился у дверей департаментского кабинета (он окончил только что обход просителей).

Нет-с: позвольте.

Аполлон Аполлонович остановился у дверей департаментского кабинета, потому что... как же иначе?

Невинная мозговая игра, обрамлявшая поле сенаторского зрения (как вон те белесоватые обои), та игра самопроизвольно вдвинулась в этот центр, то есть в кучку бумаг: мозговую игру Аполлон Аполлонович считал разве что обоями той умственной комнаты, в пределах которой созревали государственные проекты; но напрасно Аполлон Аполлонович относился к произвольному сочетанию мыслей, как к лишенной глубины плоскости: плоскость эта, порой раздвигаясь, пропускала в центр умственной жизни за сюрпризом сюрприз, как, например, вот сейчас. Аполлон Аполлонович невзначай вспомнил, что разночинца с черными усиками он уже видел ни более ни менее, как в своем собственном доме, на набережной, у собственного своего сына, Николая Аполлоновича.

Помнит, как-то спускался Аполлон Аполлонович с лестницы, отправляясь на выход; на лестнице же стоял Николай Аполлонович и, перегнувшись через перила, с кем-то весело разговаривал. Аполлон Аполлонович не считал нужным осведомляться о знакомых Николая Аполлоновича; и потому-то Аполлон Аполлонович не заинтересовался личностью неизвестного, стоявшего в передней в своем темном пальто и с поднятым воротником; у незнакомца были черные усики и те самые глаза; те глаза и тогда, увидав его, вдруг расширились, заиграли, блеснули; и такая же точно зигзагообразная линия руки неприятно осталась в памяти у Аполлона Аполлоновича.

Значит, так уже было когда-то; может быть, так будет и впредь.

— Надо будет обо всем этом навести точнейшую справку.

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета. Письменный стол стоял на своем месте, и на нем лежала кучка параллельно сложенных дел. Аполлон Аполлонович погрузился в работу, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости, потому что..... Николай Аполлонович, совершенно оправившись от страдания в сердце, вызванного, очевидно, какую-то новостью, сообщенной ему почтенным серым лакеем, стоял неподвижно геперь над лестничной балюстрадой в своем пестром халатике, раскидавши павлиний переливный блеск; этот халат составлял полную противоположность стенам; Николай Аполлонович там стоял, где белая Ниобея на сверкающем столбике поднимала горé алебастровые глаза; перегнувшись через перила, выделялся он на белом фоне массивной дорической колонны и кричал вниз:

— Вы костюмер?

— Вы от костюмера?

— Костюмер прислал мне костюм?

Но на все эти выкрики воспоследовало молчание; наконец, с какою-то чрезмерною отчетливостью раздалась в ответ протестующая фистула.

— Николай Аполлонович, вы, наверное, приняли меня за кого-то другого: я это — я!

Там внизу стоял незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником; две мозговые иллюзии встретились; без сомнения, в этот миг обе думали, что существуют и оне, а не их вмещающий череп.

Миг, — Николай Аполлонович вновь почувствовал острое колотье в сердце; миг, — действительность завертелась пред ним; тьма объяла его, как только что перед тем его обнимала; его «я» оказалось лишь черным вместилищем, если только не было оно тесным чуланом, погруженным в абсолютную тьму; и тут, в тьме, в месте сердца, вспыхнула искорка; искорка с бешеной быстротой превратилась в багровый шар; шар — ширился, ширился, ширился; и шар — лопнул: лопнуло все..

Ничего не осталось — ни разночинца с черными усиками, ни места того, где стоял разночинец, ни балюстрады, ни белых дорических колонн, ни даже алебастровой Ниобеи на столбике; не осталось даже содержания «я» Николая Аполлоновича, ни даже формы этого «я» в образе мирового вместилища, или просто чулана (что — то же).<sup>19</sup> Красная искорка, осветившая тьму из сердечного места и потом ставшая шаром, вдруг напомнила полушарие мозга, полное крови, и во всяком случае не была Николаем Аполлоновичем, а скорей усилием воли Аполлона Аполлоновича, переводящим свою убежавшую мысль из глубины подсознательной в центр сенаторского самосознания, чтобы там, в центре, поступить с этой мыслью с своеобразной жестокостью: сжечь ее, — окончательно сжечь.

Прояснился кончик бумаги, на котором синим карандашом начертала сенаторская рука «дать ход». Николай Аполлонович превратился в черт знает что: превратился в росчерк твердого знака.

## XII

Аполлон Аполлонович, уставший и какой-то несчастный, медленно протирал глаза холодными кулаками: лоски, лаки, блески и какие-то красные искорки заматались в глазах; Аполлон Аполлонович рассудил, что мозг его снова страдает сильнейшим приливом крови, обусловленным геморроидальным состоянием организма всей последней недели; к темной кресельной стенке, в темную глубину, привалилась его черепная коробка, темно-синего цвета глаза уставились на секретаря.

— Ваше превосходительство! Граф Дубльве!

Аполлон Аполлонович из кресел прямолинейно вскочил над большим зеленым столом и направился к двери, но дверь уже отворилась; а в дверях стояла могучая грудь графа Дубльве; и ему-то с сердечностью протянулись пальцы сенатора. Граф Дубльве пожаловал запросто; проводя рукой по сединам и прищурив глаза, граф Дубльве напомнил в эту минуту серую, пушистую кошку, изогнувшую спину; с мягкой развязностью опустил граф Дубльве в спокойное кресло.

И спокойный старческий шепот огласил кабинет.

Граф Дубльве, изогнувшийся вниз по направлению к пресловутому киргиз-кайсацкому уху, аб-лай-уховскому (Аполлон Аполлонович приходился графу Дубльве по плечу), положил мягко на коленную чашку сенатора свою знаменитую руку, которой были подписаны только что условия одного чрезвычайного договора, обеспечившие беспрепятственный бег нашему государственному колесу; и шипящая шутка за шуткой, выползая из-под усов, как змея за змеей, вползала в пресловутое ухо; впрочем, шутка улыбки не вызывала: Аполлон Аполлонович с пресерьезнейшим видом обсуждал графскую конъюнктуру, и потом загудел в ответ его бархатный бас.

Уже граф Дубльве ушел, а все еще, опрокинув свой череп в темную спинку кресла, Аполлон Аполлонович сидел, задумавшись над новой страничкой своего дневника, в которой сегодняшней вечер надлежало быть вписанной следующей максиме: «Есть тип государственных деятелей, составляющих в жизни законодательных учреждений Европы настоящую язву; все устремление деятельности этих знаменитых мужей зиждется на устранении плодотворного разномыслия, разумеется, благомыслящего; люди этого типа чувствуют себя, как на клиньях при всяческой постановке вопроса ребром; и глубокий ров принципиального разногласия заполняют они мусором соглашений частичных; так, в конце концов, убеждают они всех противно им мыслящих, будто эти противно им мыслящие совершенно с ними согласны; так от сути вопроса противников отвлекают они к голой форме. Люди эти для защиты себя от серьезной ответственности защищаются пустейшими фразами вроде: „Как известно“ (когда еще ничего не известно), „Наука нас учит тому, что“ (когда наука еще не учит). Этот тип государственных деятелей есть поистине мэфистофельский тип».

Страничка «Дневника» была уж обдумана; Аполлон Аполлонович опустил голову над бумагой.

Здесь, в департаментском кабинете, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр серии государственных учреждений, многих десятков вот таких же точно кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных); далее, он являлся действительным центром зданий, разбросанных по всем городам Российской империи, последней инстанцией всех донесений, прошений и телеграмм.

В департаменте Аполлон Аполлонович относился к себе с непреклонной суровостью, проводя многие часы за просмотром бумаг. Отсюда, из воссиявшего центра сознания, — по неизбежности лишь облеченного мозговою коробкой, дыхательным и пищеварительным аппаратом, — вылетали прямолинейные циркуляры Аполлона Аполлоновича к начальникам ему подведомственных учреждений. И поскольку Аполлон Аполлонович, восседая в сем кресле, сознанием, так сказать, пересекал свою жизнь, постольку же циркуляры Аполлона Аполлоновича вот отсюда, из этого места, пересекали в прямолинейном и параллельном гечении чересполосицу всякой обывательской жизни. Обывательскую жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал со своей половой, растительной или всякой иной потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам, с сыновней любовью, и проч.). Эти потребности являлись печальной и довольно обременительной необходимостью в видах продления мозговой деятельности, — топливом, что ли.

Выходя из сих, холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился сам обывателем: он впадал в пучину всяческой психологии, всегда суеверной. Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение с распластавшим крылья нетопырем (Нетопырь была кличка Аполлона Аполлоновича в департаменте); этими недругами и были для него обыватели.

Вот почему, находясь в департаменте, Аполлон Аполлонович предпочитал людскому непосредственному общению общение при помощи телефонной и телеграфной проволоки. Он почти с физической болью выходил на прием. А когда к нему с докладом входили подчиненные, Аполлон Аполлонович редко вскидывал на них свои огромные очи темно-синих отливов. Не без груда Аполлон Аполлонович в департаменте отрешился от человеческой души: ведь, в чрезмерном созерцании кожных покровов перед ним встающего с докладом подобия Аполлон Аполлонович все боялся увидеть подобие человека.

К деятельности своей в департаменте Аполлон Аполлонович относился с чисто логической отчетливостью: циркуляр называл он большою посылкою силлогизма; проведение циркуляра сквозь строй подведомственных учреждений называл он малой посылкою;<sup>20</sup> следствием же была предопределенная логикой обывательская жизнь.

Сегодня Аполлон Аполлонович был особенно четок; над докладами ни разу не приподнялась его голая голова. Все это происходило в силу боязни выказать обывательскую слабость при исправлении своих служеб-

ных обязанностей; сегодня возвыситься до логической ясности Аполлону Аполлоновичу было особенно трудно: бог весть — почему, Аполлон Аполлонович пришел к непреклонному заключению, что его собственный сын, Николай Аполлонович, — отъявленный негодяй.

### XIII

Один великий писатель сказал одну великую истину устами одной из им вымышленных теней; одна тень у него сказала кому-то: Все, что у вас, есть и у нас. А другой великий писатель сказал другую великую истину: Самое бытие есть только мысль.<sup>21</sup>

Эти две великие истины двух великих писателей стали нам нужны теперь для решительного утверждения: тени сенатора Аблеухова, оставаясь тенями, продолжали где-то существовать; при ближайшем анализе это где-то неизменно оказывалось и везде, и нигде; и поскольку везде, без сомнения, охватывало, наряду с рядом эмпирических действительностей, еще то же и действительность нашу, — тени сенатора Аблеухова, пребывая в астральном мире, тем не менее пребыли в обыденности; следовательно, они показывались бы нам воплощением по всем правилам оккультной науки: и не только бы показались, но и постоянно оказывались бы. Тени те оказались такими и в описываемый день.

Таким образом встреча разночинца с сенаторским сыном, происходя под покровом соответственной черепной коробки, пребывала вне времени; но вне ее — происходила во времени, ибо время есть общая форма всяческих происхождений, и поскольку все, что исходит и происходит, происходит и исходит в определенное количество времени; в определенное количество времени происходила и встреча; этим временем был описываемый нами день, а количеством времени — был час первый.

Происшедшая встреча совершилась именно так, как ее предопределил мозг Аполлона Аполлоновича: так же Николай Аполлонович подбежал к лестничной балюстраде, так же он перегнулся через перила, так же он испуганно откинулся от перил. А в то время, как граф Дубльве развивал свою изящную конъюнктуру, в подробностях встречи произошли автономные изменения: эта встреча от мозга сенатора безвозвратно оторвалась.

Так она превратилась в бытие: из ментального плана чрез астрал перешла в мир физический.<sup>22</sup>

Реальнейшим доказательством этой встречи служили двенадцать окурков, оставленных незнакомцем в позолоченной пепельнице. Мы впоследствии вернемся к подробностям встречи, те подробности разовьются сами собой, а пока эта встреча недалеко от места своего рождения (мозга), она обладает лишь свойствами ее наделившего мозга, и поскольку сенаторский мозг наделяет предметы лишь общими при-

знаками. Только общие признаки охарактеризовали и встречу Николая Аполлоновича с подозрительным разночинцем.

Эти признаки: синеватый дымок в комнате Николая Аполлоновича, пепел в пепельнице, беспокойство Николая Аполлоновича, не по поводу пепла, а по поводу характера возможного разговора; наконец — разговор; разговор этот продолжался не час и не два, он принял одно время для Николая Аполлоновича невыносимый характер; о состоянии духа этого последнего свидетельствует краткость реплик на рискованнейшие словесные сочетания незнакомца. Удрученное состояние духа могло быть вызвано вообще нежелательным появлением незнакомца в чертогах желтого дома, хотя появления те состоялись неоднократно и прежде, более того: однажды даже нежелательный незнакомец столкнулся с сенатором.

#### XIV

Петербургские улицы обладают одним несомненным свойством: петербургские улицы превращают прохожих в тени. Вместе с тем петербургские улицы, превращая мысль в прохожего обывателя, превращают не только обывателя этого в мысль, но и самую воплощенную мысленную форму искажают до неузнаваемости.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем: он сначала возник, как мысль, в сенаторской голове; далее эта мысль в сенаторской голове связалась с собственным сенаторским домом, и уже незнакомца мы видели там; он стоял там в передней; проюркнув в сенаторский дом, оставался он в доме без малого четыре часа; незнакомец вышел оттуда, как это ни покажется странным... без узелка.

И выйдя оттуда в сопровождении студента, незнакомец с черными усиками и студент затрусили по направлению к Миллионной, побродили по городу, разошлись; рассеянно постоял незнакомец, вернувшийся к Миллионной перед эрмитажным крыльцом; мраморный бородач с подъезда презрительно поглядел на него; тогда незнакомец мой, отойдя прочь, свернул в дешевенький ресторанчик.

От перекрестка проспектов до желтого дома и далее, от желтого дома до ресторанчика на Миллионной проследили мы путь незнакомца с черными усиками и в пальто с высоким воротником; если же мы, автор, с педантичною точностью, отмечаем путь первого встречного, то читатель нам верит, что такой наш поступок имеет полное оправдание в будущем: ведь, во взятом автором добровольном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова; то желание, да простит нам сенатор, мы позволим себе в сей же миг разгласить: оно заключалось в том, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Славный сенатор непременно бы взялся за телефонную трубку, чтоб посредством проволоки передать, куда следует, свою мысль; к счастью для себя, он не знал обиталища незнакомца. Мы же

знаем сие обиталище и идем навстречу сенаторскому желанию; пока легкомысленный агент дремлет в своем отделении, пусть этим добровольным агентом будем мы.

Но приняв роль добровольного сыщика по отношению к незнакомцу с черными усиками, мы с некоторой поры, признаться, попали в совершенный просак: роль наша оказалась праздною ролью; это можем мы подтвердить достовернейшим фактом: ибо когда незнакомец исчез в дверях рестораника, и нас охватило недоумение, следовать ли и нам в соответствующее нашему желанию место, мы обернулись и, обернувшись, увидели два силуэта, медленно протекавших в петербургском тумане. Один силуэт принадлежал толстому и довольно высокому мужчине; силуэт этот явственно выделялся и сложением богатырских плечей; но лица силуэта мы не могли разобрать (силуэты лиц не имеют); все же с успехом разглядели мы совершенно новый шелковый зонт, ослепительно блестящие резиновые калоши, вероятно, штемпелеванные треугольником, и полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая же фигурка низкорослого господинчика составляла главное содержание второго замеченного силуэта; лицо этого господинчика было бы нам достаточно видно; во лица этого также не успели мы рассмотреть, ибо мы удивились огромности бородавки, пренахально рассевшейся на щеке того господинчика; так лицевую субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция, как и подобает ей действовать в этом мире теней. Сделав вид, что рассматриваем облака, пропустили мы мимо себя темную пару; перед ресторанною дверью тени остановились и сказали несколько слов на человеческом языке.

— Гм?

— Здесь...

— Так я и думал: соответственные меры приняты; это на случай, если бы вы его не увидели.

— Напрасно вы принимаете меры, не посоветовавшись со мной: ваши меры прекрасны, но... это не ваша сфера...

— Гм! Гм! Мне придется, гм, теперь пожелать вам успеха...

— Ну, какое же может быть в том сомнение: предприятие поставлено, как часовой механизм; если бы я не стоял за всем этим делом, и то дело было бы теперь выполнено.

— Гм?

— Что такое вы говорите?

— Проклятый насморк...

— Я говорю о деле: инструменты настроены; души теперь составляют концерт — что такое вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой; а России предстоит... — что такое?

— Проклятый насморк...

— Я говорю: России предстоит насладиться драматическим трио — что такое вы говорите?

— Гм!

— Вы меня понимаете!

- Послушайте-ка, любезный, заходите к нам за жалованьем!
- О, вы не понимаете меня!
- Положительно не хватает платков: гм!
- Что такое вы говорите?
- Проклятый насморк... А он без вас (гм-гм) не уйдет!
- Ну, куда ему... Жалованье? я служу не за жалованье...
- Этого я, признаться, не понимаю...
- Что такое вы говорите?
- Гм! Я лечусь солевой свечкой...

Фигурка вынула иссопанный носовой платок и опять усердно зачихала носом.

— Я же говорю вам о деле; так им и передайте; скажите им, что слышали от меня: дело это поставлено, как часовой механизм...

- Гм! Заложило ухо — не слышу.
- Как часовой механизм!
- А?
- Апчхи!!! Как часовой, черт возьми, мех...

И обсопанный платок опять загулял под бородавкой, и две тени, замолчав, медленно утекли в мозглую муть. Дело в том, что роль наша, добровольного сыщика по отношению к незнакомцу с черными усиками, кончилась несколько ранее; если бы мы обернулись в тот миг, когда мечтательный незнакомец равнодушно стоял перед эрмитажным подъездом, мы явно заметили бы темную, теневую пару, о которой только что здесь была речь: темная теневая пара показалась уже с Миллионной; темная теневая пара неотступно следовала за пальто и за поднятым воротником. И пока незнакомец рассеянно окидывал взором эрмитажный подъезд, темный толстяк в блестящих резиновых калошах, штемпелеванных треугольником, скрылся за поворот Зимней Канавки и, рассеянно прислонясь к перилам, созерцал Петровский «Петропавловский?» шпиг; а страдающий насморком господин с бородавкою равнодушно прошел мимо нашего незнакомца; поднятый воротник повернулся обратно: повернулся и паршивенький господинчик. К ним с поворота Зимней Канавки присоединилась и тень толстяка.

Оба они тогда обменялись короткими репликами:

- Превосходно: я видел.
- Не забудьте.
- Черты лица, гм, в достаточной степени, гм, характерны; и к тому же, гм...
- Так и передайте!

И поганый смешок огласил тротуар.

Так говоря, оба темные силуэта медленно продолжали следовать до дверей ресторанчика. То же, что произошло у дверей, читатели знают.

Если бы мы углубили наш сыск и последовательно переходили от видимости действий к причинам их, мы должны были бы проследить и два темные силуэта до места выхода их в петербургский туман; но тут попадем мы в затруднение: оба темные силуэта встретились в Летнем саду,



с двух противоположных сторон; и, таким образом, одновременно должны были направить наши пути к Шпалерной и к Невскому, что никак невозможно. Поэтому нам приходится следовать за одним из двух: мы выбираем себе толстяка, и что же мы видим? Мы его видим сходящим с извозчика в Летнем саду; следуя нашему принципу (от действия к причине), мы видим его нанимающим извозчика на Пушкинской; далее видим его выходящим из грязненьких номеров; далее видим мы толстого господина идущим по грязному коридору; наконец, находим его сидящим в дешевеньком номере перед собственным письменным столом. Толстый мой господин, развернув лист объявлений «Нового Времени», сосредоточенно вырезает то одно, то другое из объявлений; две вырезки лежат перед ним на столе. Перегнемся же через плечи толстого и прочтем вырезанные объявления: мы, наверно, узнаем первопричину странного его поведения.

«Дама 20 лет, блондинка, высокая, тоненькая, желает быть приходящею компаньонкой у господина за 200 рублей» (далее следует адрес). «Avis aux lecteurs \*»: кто ищет счастья, позвоните телеф. № (далее следует номер).

Господин вырезывает третье объявление и кладет его рядом с двумя предыдущими: «Молодая француженка желает позировать». (Следует адрес).

Потрясенные виденным и слышанным у дверей ресторанчика, мы проследили в обратном порядке действие одной из темных теней, мы застигли ту тень у ее исходного пункта, и тут темная тьма окончательно от нас занавесила первопричину тех действий: первопричина оказалась тьмой, как и подобает ей быть; нам остается довольствоваться лишь видимостью, не проникая ни в какой подлинный, темный, коренной смысл. Все же у нас есть некоторые данные, позволяющие нам расширить наше повествование; так, открыв планету, именуемую незнакомцем с черными усиками, определив орбиту этой планеты в пространствах, именуемых Петербургом, мы открыли и двух спутников этой планеты; читатель, совершив единственно для тебя это блестящее открытие, нам остается ретироваться и под действие новооткрытых лучей всецело подставить себя!

Для очистки же совести нам предстоит разрешить последнюю загадку.

Может быть, спутники незнакомца — обычные спутники нашей тени. В таком случае незнакомец наш — та же тень. Эта тень случайно возникла в сознании Аполлона Аполлоновича; и, возникнув, как мысленный образ, получила эфемерное бытие. В таком случае сознание Аполлона Аполлоновича — теневое сознание, как и сам Аполлон Аполлонович — обладатель эфемерного бытия; как-никак, а придется сознаться в одном обстоятельстве, о котором нам не следует забывать: ведь, и сам маститый сенатор, очерченный выше, — порождение нашего мозга, лишь ненужная, праздная, мозговая игра. В таком случае автор, развесив картины иллюзий, должен был бы скорей пред читателем их убрать. В таком слу-

\* Предупреждение к читателям (фр.). — Ред.

чае и нить нашего повествования должна была б в сей миг оборваться вот этой вот фразой. . .

Но, описав петлю, нить повествования все же продолжится; на это у автора есть достаточно прав.

Выше мы отметили роковую обманчивость выставленного положения о ненужности всякой мозговой игры: мозговая игра — только маска, под которой в жизненный маскарад совершается вторжение нам неизвестных реальностей: в таком случае Аполлон Аполлонович, сотканный из авторской мозговой игры, совершенно реален, но иною, нас ужасающей реальностью, о которой в страхе мыслим мы по ночам. Если же Аполлон Аполлонович наделен всеми свойствами ужасной реальности, теми ж свойствами обладают и мозговые игры сенатора. Раз возникла в нем на петербургском проспекте одна тревожная мысль и раз мысль обернулась силуэтом нашего незнакомца, вставшего на углу перекрестка, да не исчезнет тот образ с петербургских проспектов до тех пор, пока есть сенатор с подобными совершенно праздными играми. И да будет наш незнакомец — незнакомцем реальным с своими спутниками-теньями; ибо гени его — та же праздная, мозговая игра. Будут, будут те темные тени следовать по стопам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в лакированной черной карете, летя сквозь туман; и его отныне ты во век не забудешь!

Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердный; но ты — непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал и я на твоих ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот чугунный мост: этот мост, начинаясь от края земного, убегает в бескрайнюю потусветную даль; и там, за Невой, в потусветной, зеленой дали — там восстали все призраки островов, венчаные шпицами; я думал, что и тот Невы край — Петербургская сторона: я не знал, что Нева — лишь бескрайность воющего хабса, что оттуда она высылает лишь призраков на петербургскую улицу.

От тех островов тащатся непокойные тени, прогоняясь снова, снова и снова вдоль прямолинейных проспектов; и проспект, отражаясь в проспекте, как зеркало в зеркале, становится линией, убегающей в бесконечность: там мгновенье становится линией времени: и бредя от подъезда к подъезду, ты переживаешь года. Там сама земля — только тень.

О, большой, электричеством блещущий мост! Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои сырые перила сентябрьской ночью перегнулся и я: миг — и тело мое пролетело б в туманы.

О, зеленые, кишасие бациллами воды! Еще миг, обернули б вы и меня в непокойную тень. Непокойная тень двусмысленно замаячила б в сквоз-

няках петербургских каналов, сохраняя вид обыденного обывателя; и случайный прохожий видел бы за своими плечами котелок, трость, пальто, уши и нос; и проходил бы он далее... до чугунного моста.

На большом чугунном мосту обернулся бы он на своего случайного спутника; не увидел бы он за собой — ничего, никого: над сырыми, сырыми перилами, над кишасей бациллами зеленоватой водой пролетели бы в сквозняки приневского ветра — котелок, трость, пальто, уши, усы и нос.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Мозговая игра

С умным человеком и  
поговорить любопытно.  
Ф. Достоевский <sup>23</sup>

#### I

Мы теперь проследим путь незнакомца с черными усиками и в пальто с высоким воротником.

Незнакомец с черными усиками и в пальто с высоким воротником, как мы выше отметили, обратил на себя серьезное внимание Аполлона Аполлоновича Аслеухова, наблюдавшего его стояние на перекрестке петербургских проспектов; незнакомец тот прозаически показался на скользком тротуаре Васильевского Острова еще в десять часов утра мозглого петербургского утра.

Он сперва столь же прозаически показался на грязном пороге одной грязной двери. Дверь эта, обитая скудным и кое-где выдранным войлоком, служила выходом из чердачного помещения одного мрачного четырехэтажного здания; будучи дверью чердачной, она, следовательно, являлась украшением единственного обиталища несуществующего пятого этажа. Проскрипев в десять часов утра, она отворилась и долго не закрывалась потом. Незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником обнаружил одно упорное намерение на пороге чердачной двери, он проветривал убогое обиталище; в этом ему никто не посмел бы препятствовать, потому что сей незнакомец был хозяином убогого обиталища, именуемого комнатой, сдаваемой за двенадцать с полтиною в месяц. В этом-то помещении водворился незнакомец с черными усиками на собственных харчах. Харчи... но какая может быть речь о харчах, когда харчи состояли из фунтика сахара, осьмушки чая чаеторговцев братьев Зензиновых,<sup>24</sup> из французской булки и колбасы? Так полагал, по крайней мере, домовый дворник; и судя по обиталищу, иных харчей и не мог себе позволить прозаический незнакомец.

В самом деле, главным украшением сего убогого обиталища представлялась постель; она состояла из четырех треснувших досок, кое-как положенных на деревянные козлы; на растресканной поверхности их выдавались противные гемно-красные пятна, вероятно, клопинные пятна, потому что с пятнами этими многократно боролся наш незнакомец с черными усиками при содействии персидского порошка; <sup>25</sup> козлы были покрыты тошим, набитым мочалой, матрасиком; сверху его на грязную одну простыню, рука незнакомца с черными усиками бережно набросила вязаное одеяльце; вряд ли вязаное одеяльце можно было назвать полосатым: скудные намеки здесь когда-то бывших голубых и красных полос покрывались налетом какой-то нечистоплотной серости, появившейся, впрочем, по всей вероятности, не от грязи, а от многолетнего и деятельного употребления; с этим чьим-то подарком (может быть, матери), незнакомец, по всей вероятности, медлил расстаться; а может быть, он медлил расстаться с подарком за неимением средств. Кроме постели можно было заметить белый, гладко обструганный, лишенный всякого украшения столик; точно такие столы обыкновенно по воскресным дням продаются на городских рынках; точно такие же столики фигурируют на дешевых дачках в виде скромных подставок для умывального таза. Кстати сказать, в обиталище незнакомца умывальный таз и вовсе отсутствовал; вероятно, при совершении туалета незнакомец мой пользовался услугами водопроводного крана и грязноватой раковины; здесь же, у крана, на гвоздике висело совершенно чистое полотенце; совершенно чистое полотенце являлось противоположностью мыльнице, — мыльнице в виде сардинной коробочки, поставленной на деревянную полку и содержащей обмылок казанского мыла, искони плававшего в собственной липкой слизи. Была еще вешалка с кое-как повешенными штанами, кончик стоптанного сапога, самодовольно глядящего из-под постели, да коричневый чемоданчик, с незапамятных времен изменивший первоначально ясную форму. Все убранство этой, с позволения сказать, комнаты отступало на задний план перед цветом обоев, неприятных и наглых, не то темно-желтых, а не то серовато-коричневых, выдававших громадные пятна сырости. Все комнатное убранство, кроме того, явилось затянутым виснувшими полосами табачного дыма. Нужно было не переставая курить, по крайней мере, двенадцать часов подряд, чтобы превратить бесцветную атмосферу в синюю, темно-синюю.

Так убогое обиталище незнакомца с черными усиками на мгновение явило пред лестницей свое убогое содержание, пока сам незнакомец с черными усиками нерешительно как-то стоял на его пороге.

Затем, закрыв дверь, осторожно стал незнакомец спускаться; он спустился с высоты пяти этажей, осторожно ступая по грязной и скользкой лестнице. В руке у него равномерно качался не то чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих розанов. То обстоятельство, что к своему узелку незнакомец с черными усиками относился с чрезвычайной бережливостью, явствовало хотя бы из следующего факта: лестница была,

само собой разумеется, лестницей черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом; незнакомец с черными усиками одной рукой растерянно ухватился за лестничные перила, а другая рука с узелком с наименьшей растерянностью описала в воздухе нервную, зигзагообразную линию; но описывание зигзагообразной дуги от- носилось, собственно, к локтю; незнакомец мой, очевидно, хотел от досадной случайности сохранить узелок. Но в том инстинктивном движении непроизвольно сказывалась целесообразность: по справедливости можно было бы заключить, что некий инстинкт в ту затруднительную минуту подсказывал незнакомцу с черными усиками деликатную осторожность.

А в последовавшей затем встрече незнакомца с домовым дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутой через плечо охапкой осиновых дров и загородившим дорогу, незнакомец с черными усиками выказал, пожалуй, и чрезмерную осторожность относительно судьбы грязноватого узелка, могущего зацепить за полено; хранимые в узелке предметы, очевидно, должны были собой представлять нечто ценное, хрупкое; иначе нам вовсе не было бы понятно поведение незнакомца.

Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к домово- вой, выходной двери, то облезлая черная кошка, оказавшаяся у ног, вдруг фыркнула и стремительно выскочила на дворик. Вследствие обычного и весьма естественного поведения незанимательного животного, лицо моего более занимательного незнакомца явственно передернуло судорога, а его голова на мгновение нервно откинулась, обнаружив нежнейшую шею; эти непроизвольные движения обыкновенно были свойственны барышням доброго старого времени, когда барышни доброго старого времени начинали испытывать жажду подтвердить каким бы то ни было необычным поступком интересную бледность лица, сообщенную правильным выпиванием укуса и сосаньем кислых лимонов; и такое же непроизвольное движение подчас отмечает молодых современников, изнуренных бессонницей. В том же, что незнакомец с черными усиками такую бессонницей страдал, для мало-мальски опытного наблюдателя уж и теперь не составило б тайны: во-первых, на это достаточно намекала прокуренность его обиталища; во-вторых, о том же свидетельствовал синеватый отлив его чрезвычайно нежной кожи лица, столь нежной, что не будь незнакомец мой обладателем двух усиков, вы бы приняли его, без сомнения, за перо- детую барышню: что-то было во всей фигуре его достойное быть замечательным; и, наверно, опытный психолог, невзначай встретив на улице моего незнакомца, остановился бы, изумленный, и потом долго бы меж делами вспоминал то виденное лицо. Особенность сего выражения заклю- чалась в трудности подвести лицо незнакомца под какую-либо из существующих категорий: с точки зрения людей совершенно внешних, расплы- лось бы то встреченное случайно лицо в ежедневном людском потоке; с точки зрения более тонкого наблюдателя, незнакомец с черными уси- ками и с высоким черным воротником мог бы быть охарактеризован тою особенною печалью, какую вообще отмечено все более или менее ненор- мальное; например, вы могли бы встретить почью такое лицо в москов-

ской часовне великомученика Пантелеймона (что у Никольских ворот): как известно, часовня эта прославлена исцелением бесноватых. Такое точно лицо вы повстречали бы, ручаюсь, в нервной или даже психиатрической клинике, но могли бы встретить и в приложенном к биографии портрете великого человека. Читателей, интересующихся дальнейшими, более детальными характеристиками моего незнакомца с черными усиками, я отсылаю попросту к Эбингу и мудренейшему Нордау,<sup>26</sup> потому что я пока вовсе не намерен описывать внешность моего незнакомца; я намерен описывать его путь вдоль петербургских проспектов.

Незнакомец мой, наконец, появился и на дворежке.

Дворик представлял собой тесный четырехугольник, сплошь вымощенный асфальтом, отовсюду притиснутый четырьмя этажами грязноватых, черновато-серых многооконных громадин. По середине же дворика были сложены правильными рядами отсыревшие сажени осиновых дров.

Незнакомец пересек дворик и затрусил по линии.

Линии! Только в вас и осталась память петровского Петербурга. Параллельные линии на болотах некогда провел Петр, и те линии обросли то гранитом, то камешным, то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге не осталось следа. Линии Петра превратились здесь в линии позднейшей эпохи: Екатерины, Александра и Николая.

Только здесь, на Васильевском Острове, меж домов, вижу я подчас голую линию самого Петра.

Вон, вон, вон — деревянные домики между глыб позднейших громадин; вон бревенчатый домик, вон домик зеленый, а вон домик синий, одноэтажный с ярко-красною вывескою «столовая». Несомненно, точно такие вот домики раскинулись здесь и в стародавние времена. Еще здесь бьют в нос разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой самого голландского шкипера. Как знать, тени некогда здесь пировавших летучих голландцев не совершают ли и доселе полуночный и разгульный свой пир, потому что явственно слышен здесь и доныне Летучий Голландец: потяни носом воздух, и ты явственно так ощутишь опять его дух.

Верно, в те далекие, чреватые событиями дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, пронизая своими зубцами этот мозглый и зеленоватый туман, на теневых больших парусах полетел стрелой по волнам к Петербургу и Летучий Голландец, из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигать обманом свои туманные земли, называть островами всего только к морю прилипшие облака, и огоньки призрачных кабачков зажигать отсюда за гранями Петербурга, чтобы народ православный валил и валил в эти адские кабачки. Поотплывали темные тени, но голландские кабачки остались; и здесь долгие годы с призраками непробудно бражничал православный народ. Оттого-то потом с островов на Русь пошел такой ублюдочный род; и доныне, ведь, здесь обитают ни люди, ни тени, оседая на грани двух друг другу чуждых миров.

Жители островов неизменно поражают вас какими-то воровскими ухватками: лица их зеленей и бледней всех иных земнородных существ. Жители островов не имеют третьего измерения; жители островов и не думают занимать места в нашем пространстве; это они проникают в скважину вашей двери, чтоб шуршать, шептаться, хихикать в полуночной комнате. И вы не поймаете их: коли схватите их за полу кафтана, то окажется, всего-навсего, что вы ловите свою тень. Между тем жители островов по случайной оплошности сопричислены к народонаселению всей Русской империи, так что всеобщая перепись введена и у них, и у них есть свои нумерованные дома, как есть у них и участки, и казенные учреждения. Житель петербургского острова, например, может стать адвокатом, писателем, полицейским чиновником и чиновником просто; более того: житель этого острова неизменно считает себя петербуржцем; и, как истый петербуржец, он поднимает нос пред Москвою; презирает он все области и губернии Российской империи; презирая эти губернии, он имеет право свободно селиться в них, убежать с острова во все имперские города; специально для этой цели чрез летейные воды к островам перекинуты черные и серые мосты. О, русские люди, русские люди! Толпы робких теней не пускайте вы с острова в свои города и села, потому что вкрадчиво тени проникают к вам во все закоулки, проникают в самое обиталище ваше, и отсюда, из вашего обиталища, проникают далее — в закоулки души, — тогда тенями вы становитесь сами.

Поздно. Николаевский мост полиция и не думала разбирать, и по мосту повалили темные тени. Между теми тенями и тень незнакомца с черными усиками повалила по мосту.

Незнакомец с черными усиками давно уже перешел Николаевский мост; незнакомец с черными усиками праздно как-то стал шататься по набережной: все-то он похаживал, да поглядывал на подъезд какого-то желтого дома. Но у подъезда желтого дома появилась лаковая карета; и, увидев ее, незнакомец засеменил прочь. Странно то: он отправился к департаменту. Там он дерзко с улицы стал заглядывать за зеркальную глубину крыльца; там увидел он булаву да треуголку швейцара и, увидев все то, быстро бросился он на Невский.

В двенадцать часов дня он стоял на перекрестке двух улиц; в центре этого перекрестка сиротливо встал городской. В двенадцать часов по традиции глухой пушечный выстрел огласил Санкт-Петербург, столицу Российской империи, сотрясая торжественно всю воздушную атмосферу, — по всей вероятности, для того, чтобы тени призрачных человечков от этого сотрясения воздуха расплылись в одну мозглую и плаксивую муть. Но незнакомец с черными усиками не сотрясся и не расплылся от выстрела, продолжая стоять на перекрестке двух улиц. Лакированная карета полетела стрелой на него: он ее, очевидно, узнал, потому что руку он поднял к глазам, чтобы лучше увидеть в карете неподвижное очертание; из кареты на улицу в совершеннейшем ужасе уставилась бритая бледная голова, закачалась и скрылась.

Лакированная карета пролетела в туман.

Тогда, точно пойманный с поличным, незнакомец с черными усиками испуганно затрусил обратно по направлению к набережной, осторожно держа перед собою свой маленький узелок. И никто из прохожих не спешил обратить внимание на теневого состояние тощеньких контуров, образующих его тело, основной признак которого как и всякой тени, состоял в полной неуловимости. Неуловимый молодой человек совершал беспрепятственно свой пробег до Невы. Вдруг, чуткое теневое ухо моего незнакомца услышало за спиной восторженный шепот: «Неуловимый, смотрите — Неуловимый! Какая смелость!»

И когда, уличенный в призрачности, повернул он свое синеватое лицо (синеватое, как все васильеостровские лица), он увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек.

Незнакомец с черными усиками подошел теперь смело к подъезду желтого дома, у которого не стояло больше кареты, и с большой торопливостью начал он нажимать пуговицу звонка. Когда серый лакей с золотым галуном на отворотах осведомился о том, что нужно неуловимому посетителю, посетитель тот настойчиво повторял:

— Мне нужно видеть Николая Аполлоновича.

## II

Помещение Николая Аполлоновича состояло из трех комнат: спальни, рабочего кабинета и приемной, украшенной всевозможными безделушками.

Спальню занимала огромная, почему-то двухспальная кровать, увенчанная жестяными амурчиками; ее покрывало атласное, красное одеяло с белоснежными кружевными накрывками на туго взбитых подушках.

Кабинет же был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, перед которыми на медных колечках скользил коленкор, так что заботливая рука то могла вовсе от взора скрыть содержание книжной полки, то, наоборот, обнаружить ряд черных корешков, испещренных надписями: Kant и Kant's.

Здесь торчал корешок: «Критика чистого разума»; еще далее корешок: «Kant's criticismus»; через три корешка: «Kant's Theorie der Erfahrung». Еще далее «Kant und Epigonen». Наконец, фэйгингеровский «Комментарий». Даже... Фигурировал тут даже... даже Кассирер.<sup>27</sup>

Словом — Кант, Кант и Кант.

Кабинетная мебель поражала достоинством темно-зеленой кожаной обивки; и прекрасен был бюст... разумеется, Канта же.

Два уже года Николай Аполлонович (сенаторский сын) не поднимался ранее полуденного часа. Два с половиной года тому назад он поднимался рано, в девять часов, появлялся в половине десятого в мундире, застегнутом наглухо, для совместного распивания кофе в семействе.



Два с половиной года тому назад Николай Аполлонович не рассказывал по дому в бухарском халате; а татарской формы ермолка предназначалась для украшения комнаты. Два с половиной года тому назад Анна Петровна окончательно покинула свой семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом (кстати сказать: в настоящее время Анна Петровна находилась в Испании; попечение артиста над нею сменилось попечением артиста над суммою ему переданных банковых чеков; а над Анной Петровной учредилось более почтенное и далеко не артистическое попечение: сам прославленный орден Иисусовых братьев<sup>28</sup> позаботился о ее дальнейшей судьбе; он хотел обеспечить ей скромную монастырскую келью. . . близ Гренады, и взамен этой кельи согласился принять в дар имение в Псковской губернии, состоящее из тысячи десятин непочатого леса) — итак, после бегства почтенной матроны с вдохновительным итальянцем, на лакированных паркетах домашнего, потухающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате; ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофе как-то сами собой прекращались, наконец, прекратились и вовсе. Кофе Николаю Аполлоновичу аккуратнейшим образом подавался в постель; и значительно ранее своего ленивого сына, однако, изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович; неизменно в дубовой столовой раздавалось тогда хрипенье старинных часов: кланаясь, шипя, куковала серенькая кукушка; п по знаку старинной кукушки Аполлон Аполлонович обтирал рот салфеткой: Аполлон Аполлонович был государственный человек; и как всякий государственный человек, Аполлон Аполлонович спешил в учреждение, соответствовавшее его положению в свете.

Николай Аполлонович появлялся в столовой значительно уж позднее родителя; таким образом, папаша с сынком встречались лишь за обедом, да и то на краткое время.

Так постепенно на Николае Аполлоновиче завелся бухарский халат, и таким же точно образом завелись татарские меховые туфельки. В заключение же всего появилась на нем и татарская шапочка.

И блестящий молодой человек превратился в восточного человека: нега, которой его окружили, сказалась-таки в нем в неизъяснимой любви к предметам восточного быта. Кстати о неге: до восьми лет былой памяти Анна Петровна водила бесконечно любимого сына девочкою; она одевала его в кружева, отпускала волосы до плеч; этим, верно, хотела скрасить она едва улавливаемые черточки всех Аблеуховых, тогда еще только начавшие проступать в очаровательном ребенке.<sup>29</sup>

Анна Петровна отличалась нервным и раздражительным характером: то она баловала ребенка, то она его мучила без всякой с его стороны вины; Николай Аполлонович знал то особое выражение лица, с которым Анна Петровна глядела на сына и гнала его прочь со словами: «Аблеуховское отродье! Смотрите — в нем нет ничего моего».

А когда Николаю Аполлоновичу минуло шесть лет, то Аполлон Аполлонович стал брать его за руку и уводить в кабинет, чтобы там, в кабинете, предварительно закрыв дверь от назойливых прохождений мимо

двери Анны Петровны, показывать сыну буквы алфавита. Анна Петровна не только не желала способствовать преждевременному развитию ребенка; нет, она врывалась порою стремительно в кабинет ретивого мужа, и тогда пред шестилетним ребенком происходил безобразный скандал, в заключение которого раздавался исступленный возглас Анны Петровны, обращенный к кудрявому Коленьке: «Ступай вон отсюда, вон, и брось сейчас же эту дрянную книжку». А Аполлон Аполлонович, взявши Коленьку за руку, строго приказывал: «Нет, Коленька, оставайся со мною». И после этого родители друг от друга запирались на ключ, а несчастный ребенок, трепетавший в ужасе пред обоими, принужденно обманывал и Анну Петровну, и Аполлона Аполлоновича; матери он говорил, что не хочет учиться и что урока отцу он не выучил; к Аполлону Аполлоновичу все же он приходил украдкой с желтой книжечкой домашнего букваря.

Так еще в детские годы что-то захлопнулось в душе кудрявого мальчика в отношении отца и матери; и кудрявый мальчонок, бегавший в кружевах, стал опытным лицемером.

После шли годы гувернанток; их было двенадцать на протяжении четырех лет; вот они: Каролина Карловна, Фанна Германовна, Раиса Петровна, Кёниг, Ноккерт, м-ль Берта, м-ль Мари, м-м Тереза, м-м Фюмишон, м-ль Будэн.<sup>30</sup>

Про Каролину Карловну ребенок помнил лишь то, что это была сорокапятилетняя толстуха в лиловом платье; она крутилась по детской в польке с кудрявым ребенком, и припевала:

Morgen, morgen — nur nicht heute  
Sagen alle faule Leute.\*

За что и была прогнана; а про Фанну Германовну ребенок ничего не помнит; Фанна Германовна проводила дни исключительно с Анной Петровной, была хохотушка, и была за что-то прогнана Аполлоном Аполлоновичем; Раиса Петровна, прибалтийская немка, клала Коленьке головку к себе на колени и читала вслух какие-то баллады про королей. Было как-то особенно сладостно лежать на коленях Раисы Петровны и слушать про королей. Кёниг была просто какой-то мужлан: она подралась с лакеем. Генриетта Мартыновна казалась хорошенькой, только она походила на вошь; все смотрелась в зеркальце и с носатой подругою говорила про какого-то Z; в завершение же пребывания в аблеуховском доме, она съела без спросу у Анны Петровны два десятка купленных мандаринов, за что была прогнана.

Ноккерт была ведьмой-ведьмой, с настоящей бородкой; она хорошо рассказывала ребенку про ведьм и все хотела сшить себе гелиотропового цвета платье; наконец, платье она сшила и в этот же день была прогнана; Беккер страдала чахоткою; м-ль Берту похитил какой-то одесский грек;

\* Завтра, завтра, не сегодня, — все лентяи говорят (нем.). — Ред.

м-ль Мари занялась религиозным воспитанием мальчика, но давала пощечины: за пощечины она была в свою очередь прогнана; тогда в доме появилась почтенная м-м Тереза; ей было около пятидесяти лет, но однажды домой вернулась она совершенно пьяная и с разбитым носом; а у двери аблеуховского подъезда показался сомнительный оборванец; м-м Тереза была прогнана. А м-м Фюмишон, старая ведьма, вообразила, что Коленька неравнодушен к ней.

Мадемуазель Будэн закончила эпопеи.

После всех этих промелькнувших лиц, Коленька побледнел и совершенно замкнулся: он стал гимназистом. . . С виду он оставался все тем же почтительным отроком; но никто не мог точно сказать, что таится в нем.

Лишь года четыре тому назад неожиданно обнаружилось, что Коленька — убежденный философ; с той поры стал уже не Коленькой он: он для всех стал только Николаем Аполлоновичем.

Николай Аполлонович сидел пред раскрытою книгою у себя в кабинете. Николай Аполлонович прицеливался к текущему деловитому дню. Перед ним возникало его вчерашнее чтение, какой-то специальный методологический трактат.

Отчетливо вспомнил он и страницу с легко проведенным знаком округленного ногтя; вспомнил главу, ход мыслей и свои вчерашние пометки карандашом на полях; более того: отчетливо он припомнил и форму букв той или иной пометки, и летуче скользнувшую по этому поводу мысль; выделялось и синее «*Contradictio*» с едва заметным нажимом, происходящим от волнения; и возмущенное красное «*Quaternio terminorum*»<sup>31</sup> с двумя восклицательными знаками; лицо его, обрамленное мехом халата, теперь оживилось, но оживилось как-то по-своему: оно стало строгим и четким; но то была одушевленная строгость мысли, жившей сама для себя.

Здесь, в своей собственной комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный самому себе центр — в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот зеленый стол; он являлся единственным центром планетных систем действительности, разбросанных во всех мыслимых и немыслимых пространствах, циклически протекающих во всех мыслимых и немыслимых временах; он являлся последней инстанцией всяческих смыслов, предметов, душ, демонов и многообразных божеств. Выделив из сознания божество, Николай Аполлонович (верней, его рассуждающее сознание) облакал свое божество материальной субстанцией при помощи категории; вот отсюда, из этого кабинета, некое рассуждающее сознание при помощи своих двенадцати категорий предопределило раз навсегда: мир, жизнь, земной глобус, часть света (империю Русскую), Петербург, желтый дом, почтенного обитателя этого дома, будто бы породившего брентную оболочку божественного сына, — Николая Аполлоновича (номер второй), или — Николая Аполлоновича в порыве бесплодной угодливости заломавшего пальцы. Эта-то брентная и беззначная оболочка, последний итог всех предопределений и граница обманного круговращения миров, победоносно

взошла к своему небренному корню лишь к двадцати годам (при занятии теоретической философией). Взойдя к себе самому, то есть открыв в центре себя самого лучезарное и всепронизывающее око, Николай Аполлонович рассудил совершенно отчетливо, что родился он в мир от этого ока при помощи двенадцати категорий, — не от родителя вовсе; то же бренное порождение, которое жило доселе и в порыве бесплодных угодливостей трепетало пред строгим родителем, было просто какою-то материальной дрянью, пучиною всевозможных невнятности, как вот этот пестрый халат, или как зеленоватый туман, прилипающий к окнам.

Но едва удалось сегодня Николаю Аполлоновичу при помощи всех двенадцати категорий отставить от себя свою пучину невнятности, называемых в просторечии миром и жизнью, и едва удалось вне всего того войти к себе самому, как невянтьность опять ворвалась к Николаю Аполлоновичу при помощи сотрясения ушной перепонки (это, верно, слуга постучал к нему в дверь); рассуждающее сознание позорно как-то упало в сей мир и юркнуло в бренное существо, под халат и бухарскую шапочку; в переливном пестром халате бренное существо теперь отрывалось от книги.

— Ну... что такое?

— Там-с... в передней... вас спрашивают-с...

Николай Аполлонович номер первый, провалившийся в номер второй («я» безличное в «я» личное), перепутал свои номера и теперь неясно слышал, что собственно требовал от него хладнокровный голос лакея.

— Там пришел-с человек...

— Так спросите же карточку...

— Они карточки не дают-с...

— Что же надо?

— Просят в переднюю-с...

— Кого?

— Вас.

— Очень хорошо...

Бренное существо, сев, так сказать, на свое идеальное первородство, повлекло свое высокое первородство на порог сего обманного мира; и на этой границе двух чуждых миров рассерженно распахнулась дверь: на лакея глянула голова в пестрой шапочке и моргала глазами.

— Там-с... какой-то молодой человек-с.

— Может быть, граф Савельев?

— Нет-с: так какой-го-с... Попроше...

— Ну, и что ж?

— С узелком-с!

Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение:

— А, так это от костюмера... Костюмер принес мне костюм?

Какой-такой костюмер?

Или проще сказать: какая из двух половин существа Николая Аполлоновича возымела желание поднять этот вопрос несомненно деликатного свойства?

Николай Аполлонович, подобравши полы халата, зашагал по направлению к выходу (это-то действие Николая Аполлоновича в предыдущей главе подсмотрел сенаторский мозг); у лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул вниз:

— Вы костюмер?

— Вы от костюмера?

— Костюмер прислал мне костюм?

Но на все эти выкрики воспоследовало молчание; наконец, с какой-то чрезмерной отчетливостью раздалась в ответ протестующая фистула:

— Николай Аполлонович, вы, наверное, приняли меня за кого-то другого: я, это — я!

Там внизу стоял незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником, и Николай Аполлонович почувствовал колотье в сердце.

Далее и посетитель, и сенаторский сын превращались у нас в мозговую игру Аполлон Аполлоновича, перешедшего от одной просьбы к другой. Но поскольку мозговая игра сенатора имела печальное свойство всякий раз убежать из родимого мозга и воплощаться в действительность, то и мы опишем встречу сенаторского сына с незнакомцем по всем правилам натуралистического искусства.

### III

— Ааа... Здравствуйте, здравствуйте, Александр Иванович... Чрезвычайно приятно. Без очков не узнал.

И рот Николая Аполлоновича вдруг оскалился с балюстрады над незнакомцем в неприятной улыбке.

— Так, так, так; раздевайтесь, пожалуйста.

— Да, Николай Аполлонович, это — я, — отвечивал снизу на приветствие голос.

— Как ж-с, как ж-с; а я, признаться, прямо с постели; оттого-то вот я и в халате.

Николай Аполлонович продолжал с балюстрады многократно кивать рассеянной головой.

— Николай Аполлонович, это же ничего ровно не значит: совершеннейший пустяк, уверяю вас, — продолжал его с жаром успокаивать голос снизу, — вы не барышня, да и я не барышня тоже...

Незнакомец представлял своею персоной чрезвычайно жалкое зрелище на богатом фоне орнамента из старинных оружий.

— Это вы должны меня извинить, Николай Аполлонович, а не я вас, что я вас отвлек, может быть, от серьезных занятий в этот ранний час; я и сам, ведь, с постели...

Незнакомец с черными усиками, очевидно, для вежливости солгал; незнакомец сугубо солгал: он, во-первых, два часа празднично шатался по Петербургу; во-вторых, деревянные козлы свои, подобие жалкой постели, он в припадке пустой щепетильности назвал гордо постелью.

— Так, так, так, — упражнялся в любезности Николай Аполлонович

и уже вознамерился двинуться вниз, чтоб достойно, по-аблеуховски, вести в лаковый дом щепетильного гостя; но, к досаде, его меховая туфелька соскочила с ноги; неприлично босая ступня закачалась и выставилась из-под полы халата; этот маленький казус воспрепятствовал неожиданно проявлению аблеуховской вежливости, которую предприимчиво уже вычислил подозрительный незнакомец и теперь попался впросак. Предположив, что Николай Аполлонович в порыве обычной угодливости к нему бросится вниз (Николай Аполлонович уже выказал в направлении этом всю стремительность своих жестов), незнакомец с черными усиками к Николаю Аполлоновичу бросился в свою очередь и оставил мутный свой след на бархатно-серых ступенях; теперь же незнакомец мой растерянно стал меж передней и верхом, увидев, что он запятнал ковер; и незнакомец мой сконфуженно улыбнулся.

— Раздевайтесь, пожалуйста!

Деликатное напоминание о том, что в барские комнаты в пальто никак невозможно проникнуть, принадлежало лакею, которому на руки с отчаянной независимостью стряхнул незнакомец мокрое свое пальтецо; он стоял теперь в серой клетчатой паре, подъеденной молью. Видя, что лакей намерен руку протянуть к мокрому узелку, незнакомец вспыхнул вдвойне и законфузился:

— Нет, нет...

— Да пожалуйста-с...

— Нет: это я возьму с собой...

Незнакомец с черными усиками с той же все отчаянной независимостью попирает штиблетами разблеставшийся скользкий паркет; он бросал удивленные, мимолетные взоры на роскошную перспективу комнат. Николай Аполлонович с особенной мягкостью, подобравши полы халата, предшествовал незнакомцу. Но обоим им показалось томительно долгое и безмолвное странствие в этих блестящих перспективах. Оба грустно молчали; Николай Аполлонович облегченно подставлял незнакомцу с черными усиками не лицо, а свою переливную спину; потому-то, верно, улыбка и сбегала с его неестественно улыбавшегося лица. Незнакомец с черными усиками тем не менее в зеркале поймал выражение глаз хозяина: все лицо Николая Аполлоновича было обеспокоено: оно выражало неопределенную удрученность; видя выражение этих глаз, незнакомец с черными усиками, право, мог бы сардонически усмехнуться, как ему полагалось сардонически усмехаться в его роли выхода с того света; но зловещий выходец с того света, однако, и сам печально понурился; даже он с досадою себе в зеркало мотнул головой: наконец, зловещий выходец с того света принялся отчаянно выщипывать inferнальный свой черный усик.

Пред дубовую кабинетную дверь Николай Аполлонович повернулся круто к inferнальному существу, на лице у обоих мгновенно скользнула сконфуженная улыбка; оба вдруг поглядели друг другу в глаза с каким-то выжидательным выражением.

— Так пожалуйста... Александр Иванович...

— Не беспокойтесь...

— Милости просим...

— Да нет, нет...

Приемная комната Николая Аполлоновича составляла полную противоположность строгому кабинету: она была так же пестра, как... как бухарский халат; халат Николая Аполлоновича, так сказать, продолжался во все принадлежности комнаты: например, в низкий диван, — он скорее напоминал восточное пестротканное ложе; бухарский халат продолжался в табуретку темно-коричневых цветов; она была инкрустирована тоненькими полосками из слоновой кости; халат продолжался далее в негритянский щит из толстой кожи когда-то павшего носорога и в суданскую ржавую стрелу с массивною рукоятью, — для чего-то ее туда повесили на стене; наконец, продолжался халат в шкуру пестрого леопарда, брошенного к их ногам с разинутой пастью; на табуретке стоял темно-синий кальянный прибор и трехногая золотая курильница в виде истыканного отверстиями шара с полумесяцем наверху; но всего удивительней была пестрая клетка, в которой от времени до времени начинали бить крыльями зеленые попугайчики.

Николай Аполлонович пододвинул гостю пеструю табуретку; незнакомец с черными усиками опустился на край табуретки и вытащил из кармана дешевенький портсигар.

— Вы позволите?

— Сделайте одолжение.

— Вы не курите сами?

— Нет, не имею обыкновения...

И тотчас же, законфузившись, Николай Аполлонович прибавил:

— Впрочем, когда другие курят, то...

— Вы отворяете форточку?

— Что вы, что вы!

— Вентилятор?

— Ах, да нет... совсем наоборот, — я хотел сказать, что куренье мне доставляет скорее... заторопился Николай Аполлонович, но не слушавший его гость продолжал перебивать:

— Вы сами выходите из комнаты?

— Ах, да нет же: я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма, и в особенности сигар.

— Напрасно, Николай Аполлонович, совершенно напрасно: после курильщиков...

— Да?..

— Следует...

— Так?

— Быстро проветривать комнату...

— Что вы, о, что вы!

— Открывая и форточку, и вентилятор.

— Наоборот, наоборот...

— Не защищайте, Николай Аполлонович, табак: это я говорю вам по

собственному опыту, — незнакомец сделал произвольный жест головой, показав на мгновение свою нежную шею, — посмотрите вы только на мое лицо...

Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки; движения его были чрезвычайно стремительны, так же стремительны, как движения Аполлона Аполлоновича. Так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он беспокойным взглядом беспрестанно улыбавшегося лица — вплоть до минуты, когда он погружался в серьезное что бы то ни было: в те минуты он окаменевал; в те минуты четко, холодно, сухо выступали линии белого, совершенно белого лика, так что лик этот становился подобен лику иконописному, поражая благородством и таким совершенно особенным аристократизмом. Нечего прибавлять: Николай Аполлонович тем же способом, как и Аполлон Аполлонович, произошел сперва от общего Адамова корня, далее, от высокороджденного Сима, прародителя иудейских, монгольских и краснокожих народностей; наконец, он произошел от мурзы Аб-Лай-Ухова — Аблеухова.

Не найдя очков, Николай Аполлонович приблизил свои моргавшие веки вплоть к лицу незнакомца.

— Видите лицо?

— Да, лицо.

— Бледное лицо?

— Да, несколько бледноватое, — и игра всех всевозможных учтивостей с их оттенками разлилась по щекам Аблеухова.

— Совершенно зеленое, прокуренное лицо, — оборвал его незнакомец, — лицо курильщика. Я прокурю у вас комнату, Николай Аполлонович.

Николай Аполлонович давно уже ощущал беспокойную тяжесть, будто в комнатную атмосферу проливался отчаянно свинец, а не дым; эта свинцовая тяжесть, между прочим, не относилась нисколько к дешевенькой папироске, протянувшей в высь к потолку синеватую струечку, а скорее она относилась к угнетенному состоянию суетливого хозяина; Николай Аполлонович ежесекундно ждал, что беспокойный обитатель призрачных островов оборвет свою речь о свойствах табачного дыма, перейдя неожиданно к подлинной цели своего внезапного появления. Дело было вот в чем: в свое время при посредстве странного незнакомца Николай Аполлонович дал... ну, как бы точнее выразиться: дал ужасное для себя обязательство выполнить одно обещание; Николай Аполлонович побледнел, посерел, и далее — стал в мгновение ока совершенно зеленым; даже как-то синело его лицо. Вероятно, этот последний оттенок зависел просто от комнатной атмосферы, протабаченной донельзя; синеватое лицо хозяина было обеспокоено, но оно вдруг стало необычайно красивым, более того, — лицо стало и благородно; благородство в лице выявлял заметным образом — точеный лоб с преждевременно надутыми жилками; явственно на лбу отмечала и преждевременный склероз быстрая пульсация этих жилок, не то намекая на дни взволнованно прожитой юности, не то намекая на крайнее напряжение интеллектуальных сил.



Синеватые височные жилки, кроме того, благородно совпали с синеватыми кругами вокруг громадных, будто бы подведенных глаз; те несколько выпученные глаза были в обычное время какого-то темно-василькового цвета, а в минуты волнений темно-васильковый цвет глаз становился черным от расширенности зрачков, и в глазах начинали поблескивать зеленоватые искорки.

Николай Аполлонович представлялся нам в пестрой татарской ермолке; очень жаль, очень жаль! Шелковистая и густая шапка белолыняных волос особенно смягчала холодную внешность Николая Аполлоновича; трудно было встретить такие волосы у взрослого человека; точно волосы эти чудодейственно перенеслись на холодный склеротический лоб с головы крестьянского мальчика: у крестьянских младенцев, особенно в Белоруссии, часто встретите вы тот оттенок волос, а у взрослых оттенок тот встречается редко.

Упадая на лоб, эти волосы прекосветливо завивались, закрывая уши от непрощенных взоров. Хорошо, что такие пышные волосы закрывали уши от непрощенных взоров, потому что уши (секрет этот далеко знали не все) вместе с тем были ушами и всех Аблеуховых: они были до ужаса оттопыренными. Ах, как жаль, что киргиз-кайсацкий мурза, на Руси прозванный Уховым, вместе с знатностью рода подарил Аблеуховым свои киргиз-кайсацкие уши!

В это время посетитель непокойного острова продолжал молчать о прямой цели своего посещения; он с все большей энергией рассуждал о гибельных свойствах табака вообще и табачного дыма в частности.

— Вы ошибаетесь: вы не знаете свойств табачного дыма; этот дым проникает серое мозговое вещество.

Незнакомец с черными усиками подмигнул с какою-то фамильярной значительностью; незнакомец увидел и то, что хозяин все-таки сомневается в проникаемости серого мозгового вещества, но из привычки быть любезным хозяином хозяин не будет оспаривать гостя; тогда незнакомец с черными усиками огорченно стал выщипывать усик:

— Мозговые полушария засариваются, общая вялость проливается в организм.

Николай Аполлонович чувствовал, как засаривались его полушария мозга и как общая вялость проливалась в весь его организм; но он думал теперь не о свойствах табачного дыма, а о том, как бы это ему из щекотливого положения выйти с достоинством, и он думал о том, как бы он поступил в том рискованном случае, если бы незнакомец предложил ему перейти от слов к делу.

Ведь, пожалуй, он, Николай Аполлонович, согласился бы на любое предложение незнакомца, согласился бы.... из вежливости; согласился бы, — да: а потом? Потом — несомненное бегство из пределов России... но, куда, в какие пределы? За пределы Европы? В краткое, ускользающее мгновение эта мысль пронеслась в его голове, и тогда понял он, что припертый к стене, он не выехал бы ни за какие пределы; обещание выполнить бы пришлось: страх показаться смешным несомненно перееси-

лил бы в нем все прочие страхи; ибо жизнь Николая Аполлоновича состояла из одних только страхов; сумма страхов с годами росла; она пересилила даже исконный страх Аблеуховых — страх смерти.

От беспечных испугов и сложностей Николай Аполлонович так безумно устал, что подчас уставал он бояться и подлинных ужасов. Оттого-то только и могло показаться, что бесстрашие Николая Аполлоновича выросло в иные минуты прямо пропорционально опасности.

И пока он так думал, собеседник его продолжал свою совершенно праздную речь.

— Знаете ли вы, Николай Аполлонович, об одном печальнейшем обстоятельстве?

— Нет, Александр Иванович, об этом обстоятельстве ничего я не знаю.

— Печальное обстоятельство заключается в том, что...

— Так...

— У курящих людей в жилах течет не кровь.

— Как же, как же, — рассеянно поддакивал Николай Аполлонович, а сам думал: Чтобы черт побрал и его самого и его ужасный табак!

— Да вы и не можете вообразить, какое гадкое вещество начинает течь у курильщиков в жилах?

— А какое же это вещество?

— Как же вы, Николай Аполлонович, заранее со мной во всем соглашаетесь, и при этом не знаете характера моих утверждений?

— У курильщиков в жилах течет никотинная жижа; чистили ли вы трубку, Николай Аполлонович?

— Признаться, не чистил; но, ведь, это, думаю, все равно.

— Ну вот: так не кровь, а... что я сказал?

— Никотинная жижа...

— Ну да: так не кровь, а никотинная жижа.

— Это действие табака наблюдал я во время бессонницы: во время бессонницы, Николай Аполлонович, куришь так много, так назойливо, — куришь и куришь.

Глаза незнакомца приняли в тот миг просто какое-то страдальческое выражение: очевидно, злая бессонница уж давно одолела его.

— Курить. Куря, прогоняешь сон; и все больше от этого куришь и куришь; и потом неделями ходишь, пришибленный одурью.

Незнакомец с черными усиками, по-видимому, совершенно случайно попал на свою любимую тему; и, попав совершенно случайно на свою любимую тему, незнакомец с черными усиками позабыл о цели прихода, позабыл, вероятно, он и свой мокренький узелочек, даже позабыл количество истребляемых папирос, умножавших зловоние; как и все к молчанию насильственно принужденные и от природы болтливые люди, он испытывал иногда невыразимую потребность сообщить кому бы то ни было мысленный свой итог: другу, недругу, дворнику, городовому, ребенку,

даже... парикмахерской кукле, выставленной в окне. По ночам иногда незнакомец сам с собой разговаривал. В роскошной, пестрой обстановке приемной Николая Аполлоновича эта потребность поговорить вдруг неодолимо проснулась, как своего рода запой после месячного воздержания.

Незнакомец встал, потянулся, с нежностью покосился на узелок и вдруг детски так улыбнулся.

— Видите, Николай Аполлонович (Николай Аполлонович испуганно вздрогнул)... Я, собственно, пришел к вам не за табаком, то есть не о табаке... это про табак совершенно случайно...

— Понимаю.

— Табак-табаком, а я, собственно, не о табаке, а о деле...

— Очень приятно...

— И даже я не о деле: вся суть тут в услуге — и эту услугу вы, конечно, можете мне оказать...

— Как же, очень приятно...

Николай Аполлонович еще более посинел; он сидел и выщипывал диванную пуговку; и не выщипнув пуговки, принялся выщипывать из дивана конский волос.

#### IV

Удрученное состояние духа Николая Аполлоновича было связано с одним необдуманно данным обещанием одной необдуманной партии. Дело в том, что житейская неудача к тому времени неожиданно разразилась над ним; эта вот неудача повлекла его к полнейшей готовности дать какие угодно эксцентричные обещания, обусловленные временным и легко устранимым отчаянием. К своей неудаче Николай Аполлонович в то время отнесся далеко не с тем беспристрастием, на какое холодное рассуждающее сознание уполномочивало его. Вопреки всем зываниям здравого смысла, чрез бледного незнакомца вот тогда-то дал Николай Аполлонович легкомысленной партии свое ужасное обещание.

Впоследствии острое ощущение горечи бытия под влиянием неудачи — постепенно изгладилось; казалось бы, что ужасное обещание отпадает само собой; но ужасное обещание оставалось; оставалось оно, хотя <бы> и потому, что назад не было взято. Николай Аполлонович, по правде сказать, основательно о нем позабыл; а оно, обещание, продолжало жить в коллективном сознании одного необдуманного кружка, в то самое время, когда ощущение горькости бытия под влиянием неудачи изгладилось; сам Николай Аполлонович свое обещание несомненно отнес бы к обещаниям шуточного характера.

Появление разночинца с черными усиками, в первый раз после этих истекших двух месяцев, наполнило душу Николая Аполлоновича основательным страхом. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил чрезвычайно печальное обстоятельство. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил все мельчайшие подробности обстановки своего обещания и нашел те подробности вдруг убийственными для себя.

Почему же... не то, что дал он ужасное обещание, а то, что ужасное обещание дал он легкомысленной партии.

Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, возлюбил во всем параллельность. Аполлон Аполлонович, как выше мы видели, упивался видом петербургских проспектов и линий, прототипом всяческой параллельности. Николай Аполлонович упивался ландшафтом собственных логических схем; сей ландшафт представлялся ему в параллелях наук, вытянутых в одном направлении и не пересеченных нигде (всякое пересечение решительно отвергал Николай Аполлонович, относя его к синтезу). Самая жизнь рисовалась Николаю Аполлоновичу в виде двух несообщающихся и герметически закупоренных сосудов; стенки одного состояли из систем дыхательной, половой, пищеварительной, выделительной, кровеносной и нервной системы; между стенками этими плавал спиртовой препарат — зыбкая человеческая душа; а в другом сосуде плавало рассуждающее сознание; то и это не сообщалось друг с другом. И поскольку он отдавался душевным движениям, был он лишь хаосом, как вот этот зеленоватый туман; а поскольку он рассуждал, он был в высокой степени обездушен, потому что в этом видел он смысл рассуждений. Рассуждающее сознание при помощи своих двенадцати категорий с заключенным в них всепроникающим оком, — это сознание окончательно отграничивало богоподобное существо от каких бы то ни было проявлений душевных: богоподобное существо видело свою душу лишь в естественных отправлениях организма. Отправления эти, как известно, заключают всякую дрянь, и вне этой дряни, одиноко приподнятый над собой, стоял Николай Аполлонович номер первый — идея; если бы этот номер первый соизволил спуститься во всякую брэнную дрянь, он вменил бы брэнной сей дряни ряды планомерных, друг друга предопределяющих порывов.

Порывы Николая Аполлоновича уподоблялись порывам черного урагана; и порывы те как-то жалко забились в трансцендентальных тисках далеко стоящего божества; богоподобное существо низводило поэтому все эти порывы к бесполезным волнениям неизменной чувственности; Николай Аполлонович номер второй и был суммою этих бесцельных волнений, это был Николай Аполлонович, заломавший свои бескровные руки в порыве учтивости. Вот только что было тут удивительно: Николай Аполлонович, которого мы имели случай видеть очами, слышать ушами, наконец, осязать при помощи органов осязания, был только Николай Аполлонович номер второй.

Но бесцельная сумма (Н. А. второй) все-таки возвышала подчас свой надтреснутый голос при помощи гнева, любви и тому подобного чувства (например, полового чувства). Наоборот: идеальное не сущее существо пребывало за пределами жалостей, гневов; деятельность этого последнего существа заключалась в единственном: в умозаключении.

Пусть второе его существо (все сказали бы, что он сам) кланялось, потирало руки, робело, освещалось улыбкой: потирания рук, поклоны, учтивости означали лишь отсутствие воми. А улыбка казалась... но что улыбка! (улыбка была улыбкою неприятной).

А вот первое, свободное существо поднимало к солнцу немой и холодный, богоподобный свой лик.

Некогда то богоподобное существо занялось методикой социальных явлений; и, занявшись методикой социальных явлений, богоподобное существо предопределило сей жизни безусловное социальное равенство, должностующее превратить земной шар в систему планомерных квадратов, по числу обитателей этого небезызвестного шара. Но теоретический идеал оказался неадекватен действительности; в подобных случаях генетический предшественник брэнной оболочки поступал решительно: он издавал циркуляр; логический же при ус<sup>32</sup> упомянутой оболочки — надывидуальный субъект — поступал еще более круто: он обрек на гибель неадекватное себе проявление мира в социальных формах неравенства.

И как только обрек он на гибель неадекватное себе самому проявление мира в социальных формах неравенства (это было, когда о своем решении он прочел реферат в самообразовательном кружке), слух о нем распространился далеко за пределы самообразовательного кружка. И тогда в кружки, в заседания, в совещания легкомысленной партии повлекли насильно брэнную форму непогрешимого и сурового существа; брэнное существо, надушенное французскими духами, прелюбезно кланялось, потирало руки, спотыкалось о стулья, поражая демократический персонаж утонченностью барских манер. Но едва оно раскрывало рот, как из этой брэнной эмпирики вылетали одни только трансцендентальные истины; низвергались систематически — религия, метафизика, мистика, этнография, национальность, капитализм; можно сказать, что одна брэнная партия исключительно питалась не брэнными эманациями мозговых веществ этого существа. Но едва оканчивались трансцендентальные акты суждений, как усталое, побледневшее и всегда любезное существо со склеротическим лбом, испугавшись итогов своей трансцендентальной способности, поскорее домой несло свою оболочку; всякий радикализм как-то сам собой угасал вплоть до... нового акта суждений.

Так-то вот Николай Аполлонович завязал сношения с легкомысленной партией; а когда настала пора дать одно ужасное обещание, он ужасное обещание дал.

— Мне же крайне неловко, но, помня...

Николай Аполлонович вздрогнул: резкая и высокая фистула незнакомца разрежала воздух; фистуле этой предшествовала секунда молчания; но секунда тогда показала часом ему. И теперь, вдруг услышав резкую фистулу «п о м н я», Николай Аполлонович чуть не выкрикнул вслух:

— О моем предложении?..

Но тотчас же он взял себя в руки и сказал только:

— Так, я к вашим услугам, — и при этом подумал, что вежливость погубила его...

— Помня о вашем сочувствии, я пришел...

— Все, что могу, — выкрикнул Николай Аполлонович и при этом подумал, что он — совершенный болван...

— Маленькая, о, вовсе маленькая услуга... (Николай Аполлонович чутко прислушивался).

— Виноват... не позволите ли пепельницу?..

.....

## V

Говорила где-то тень тени:

— Вы напрасно опять про свое: я служу не за жалованье.

— Ну это, знаете ли... Гм-гм...

— Что такое вы говорите?

— Говорите громче: не слышу.

— Будет передан узелок?

— Будет передан...

— Сто целковых с полтиною... Механизм — часовой?

— Механизм пунктуальный...

— Сто с полтиною... Гм... Еще двадцать пять... Письмо к Аблеухову, хоть вчерне написано вами?

— Написано мной...

— И идет к назначению?.. Сто... гм, гм... с полтиною. Черт возьми, фальшивый полтинник... Двадцать пять... Да еще пятьдесят. Итого — гм, гм, гм: сто семьдесят (ведь, полтинник фальшивый)...

— Пфи! фальшивых полтинников мне не надо.

— Значит, вам — без полтинника...

.....

Говорила тень тени:

— А ораторы?

— Ораторы распределены...

— Кто куда?

— На сталелитейный — Барашков...

— Двадцать пять (опять спутал счет)...

— На обуховский — Полизутчиков...

— Полизутчиков?.. десять...

— На семяниковский<sup>33</sup> — Мамапуло... В университет — Найнтельп-файн...

.....

— Двадцать пять, да десять, да еще пятнадцать; и потом, опять-таки, двадцать пять... Гм, гм, гм — итого вам приходится: сто целковых с полтиною (но полтинник фальшивый), двадцать пять, полтора, сто семьдесят (и опять перепутал); да еще двадцать пять, да еще... еще... И всего, стало быть, двести шестьдесят пять целковых на извозчика, пятьсот на карманные деньги; по совершении же дела — десять тысяч чистоганом.

— Что такое?

- Я лечусь сальной свечкой...
- . . . . .
- Пожалуйте, — ассигнациями... И все — новенькие...
- А полтинник — фальшивый...
- Черт возьми... я даю за полтинник пятьсот...
- . . . . .

## VI

Между тем разговор Николая Аполлоновича с незнакомцем имел продолжение.

— Мне поручено... Да: мне поручено передать на хранение («Неужели только-то?» подумал Николай Аполлонович).

— Вот этот вот узелочек...

— Только-то?.. не выдержал Николай Аполлонович и стремительно бросился к узелочку; и лицо его покрылось ужимками, проявило бурную жизнь; эта бурная жизнь набежала волной на четкие контуры богоподобного лика; потому что к лику этому необходимо нам еще раз вернуться.

Выше мы рассмотрели лицо Николая Аполлоновича, взятое, так сказать, в отвлечении, — в минуту идеального созерцания идеальных предметов, — в отвлечении от всевозможных ужимок, гримас, улыбок или жестов любезности, коими то лицо было в высшей степени наделено; те движения, ужимки, и далее, жесты любезности и составляли обидный обычай сынка, соответствовавший вполне папашину подаванию двух мертвых пальцев; я называю ужимки, улыбки и жесты любезности обидным обычаем, ибо все то составляло проклятие жизни Николая Аполлоновича, хотя бы уж потому, что лицо его искажалось пренеприятной улыбкой; от каменной маски не оставалось следа: ее сменяла гуттаперчевая маска, растяжимая во всех направлениях, в особенности же — от рта до аб-лай-уховских киргиз-кайсацких ушей, и лицо получало действительно лягушечье выражение. При встречах с Николаем Аполлоновичем в людном обществе, где ему приходилось много и жарко спорить, это выражение сперва и бросалось в глаза; благородства в нем не было, а вульгарности — хоть отбавляй. О действительном благородстве черт могли бы свидетельствовать лишь близко знавшие его люди, имевшие случай Николая Аполлоновича наблюдать и в молчании, и не в напряженном молчании, а в молчании легком, спокойном. Но таковых близких людей не было у него. И оттого подлинник представлялся лишь стенам, двенадцати категориям, зеркалу да еще всем тем, кто видывал благородного обладателя лика одиноко бредущим по улице в николаевской серой шинели и в сопровождении тигрового бульдога с серебряным хлыстиком в слюнявых зубах.

— Красавец! — Постоянно слышалось тогда вокруг Николая Аполлоновича. — Красавец! Так могла сказать любая приневская дама: мондная, демимондная,<sup>34</sup> отрешенная от всякого монда, наконец, погряз-

шая в подозрительном монде. Но если бы Николай Аполлонович пожелал вступить в разговор с этой мондною, демимондною, наконец — безмондною дамою, то и монднан, и безмондная дама про себя бы сказала: «Уродище»!

Видя, что ужасное предложение незнакомца оказалось не ужасным до крайности, Николай Аполлонович, как мы выше заметили, вдруг нелепо как-то бросился к узелку; но тогда незнакомец с черными усиками с меньшей, если не большей, стремительностью кинулся к Николаю Аполлоновичу и схватил его за руку в тот момент, когда Николай Аполлонович рукою чуть было не схватил узелочка.

— Осторожнее...

— О, пожалуйста...

— Нет, я серьезно прошу вас бережнее отнестись к моему узелочку.

— Аа... Да, да! Николай Аполлонович, проявляя бурную радость, и на этот раз ничего не расслышал; но едва он ухватил узелок за край полотенца, как незнакомец над рукой Николая Аполлоновича протянул и свою руку.

— Николай Аполлонович, повторяю вам: бережнее!..

— Вероятно, литература?

— Н-ну нет!..

Николай Аполлонович и на этот раз ничего-таки не расслышал и повес узелок в свою рабочую комнату; как-то мельком его поразили лишь тяжелый вес узелка; но над этим он не задумался; проходя в кабинет, он споткнулся об арабский пестрый ковер, зацепившись ногою о мягкую складку; в узелке тогда что-то звякнуло металлическим звуком, отчего незнакомец с черными усиками привскочил, и рука незнакомца за спиной Николая Аполлоновича описала ту самую зигзагообразную линию, о которой задумался незадолго пред тем пресгарелый сенатор.

Николай Аполлонович раскрыл письменный стол; опроставши достаточное места, он на этот раз действительно бережно положил туда узелочек и прикрыл сверху кабинетных размеров портретом, изображавшим брюнеточку; покрывая брюнеточкой узелок, Николай Аполлонович призадумался, и лягушечье выражение замелькало опять на его иссохших устах.

Если бы Николай Аполлонович повнимательнее отнесся к словам своего посетителя, вероятно, он понял бы в совершенстве и мотивы предупреждений; но Николай Аполлонович отличался рассеянностью (как и все Аблеуховы); к тому же думал он и о том, что сейчас выгодно представлялся ему удобнейший случай отказаться вовсе от тогдашнего предложения; но когда он хотел словесно выразить свою мысль, он сконфузился: он из трусости не хотел пред лицом незнакомца выказать трусость; да и, кроме того, он на радостях не хотел бременить себя щекотливейшим разговором, когда можно было отказаться и письменно.

В это время в приемной комнате раздался металлический звук: что-то щелкнуло, и раздался тонкий писк пойманной мыши; в то же



время опрокинулась мягкая табуретка, и шаги незнакомца затопали в угол.

— Николай Аполлонович, Николай Аполлонович, — раздался испуганный его голос, — Николай Аполлонович — мышь, мышь. . .

Незнакомец выказывал все признаки нервного возбуждения:

— Прикажите вашему слуге, поскорее, это. . . унести это; это мне доставляет страдание.

Выскочив из своей комнаты и нажав кнопку звонка, Николай Аполлонович представлял собою, признаться, пренелепое зрелище; но нелепее всего было то обстоятельство, что в руке он держал. . . трепетно бьющуюся мышку; мышка бегала, правда, в проволочной ловушке, но Николай Аполлонович рассеянно наклонил к ловушке вплотную примечательное лицо и с величайшим вниманием теперь разглядывал свою серую пленницу, проводя длинным холеным ногтем желтоватого цвета по металлической проволоке.

— Мышка, — поднял он глаза на лакея; и лакей почтительно повторил вслед за ним:

— Мышка-с. . . Она самая-с. . .

— Ишь ты: бегаёт, бегаёт. . .

— Бегаёт-с. . .

— Тоже вот, боится. . .

— А как же-с! . . .

Из открытой двери приемной выглянул теперь незнакомец, посмотрел испуганно и опять спрятался:

— Нет — не могу. . .

— А они боятся-с? . . . Ничего: мышка зверь Божий. . . Как же-с. . . И она тоже. . .

Несколько мгновений и слуга, и барин были заняты созерцанием пленницы; наконец, почтенный слуга принял в руки ловушку.

— Мышка. . . повторил довольным голосом Николай Аполлонович и с улыбкой возвратился к ожидавшему гостю. Николай Аполлонович с особою нежностью относился к мышам.

Между тем незнакомец с черными усиками не хотел удаляться. Оживленно принялся он высказывать другую, очевидно, тоже основательно выношенную мысль.

— Знаете. . . Одиночество убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете ли вы, Николай Аполлонович, что слова мой путаются. . .

— Ну, это, знаете, бывает со всеми.

— Изредка. А я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не то: хожу все вокруг да около. . . Или я вдруг забываю, как называется, ну, самый обыденный предмет, и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще. Затвержу: лампа, лампа и лампа; а потом вдруг покажется, что такого слова и нет: лампа. А спросить подчас некого; а если бы кто и был, то не всякого спросишь, — стыдно, знаете ли: за сумасшедшего примут.

— Да что вы...

— Примут, примут. Плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового расстройства (незнакомец с черными усиками зашагал из угла в угол). Знаете, одиночество убивает меня. И подчас даже сердиться: общее дело, социальное равенство, а... вот я-то уж выключен из общей человеческой среды в торичеллиеву пустоту.

— Торичеллиеву?

Николай Аполлонович, успокоенный, так-таки ничего не услышал.

— Торичеллиеву пустоту; и это, заметьте, во имя общественности; общественность, общество, — а какое, позвольте спросить, общество я вижу? Общество не к о й, вам неизвестной особы, общество моего домашнего дворника, Матвея Моржова, да общество серых мокриц: ббббр... у меня на чердаке развелись мокрицы... А? Как вам это понравится, Николай Аполлонович?

— Да, знаете...

— Общее дело! Да оно давным-давно для меня превратилось в личное дело, не позволяющее мне видаться с другими. Общее дело-то, ведь, и выключило меня из списка живых.

— Вы по крайней мере, как французский король, теперь можете про себя сказать: «L'état, c'est moi!»,\*,<sup>35</sup> — неуместно сострил Николай Аполлонович.

— Я это и говорю, Николай Аполлонович; и притом совершенно серьезно.

— Ну, все-таки: я, ведь, сказал для шутки.

— А я — без шутки: какая там шутка; в этой шутке, ведь я проживаю два слишком года; это вам позволительно шутить, вам, включенному во всякое общество; а мое общество — общество клопов и мокриц. Я — я. Слышите ли вы меня?

— Разумеется, слышу.

Николай Аполлонович теперь действительно слушал.

— Я — я: а мне говорят, будто я — не я, а какие-то мы. Но позвольте — почему это?

Николай Аполлонович слушал совершенно отчетливо; и отчетливо слушая, он стал протестовать.

— Меня удивляет, — начал он мягко, — меня удивляет, как можете вы, имея подобные взгляды, состоять...

— Ха, ха, ха! перебил его незнакомец, быстро встал, закурил новую папироску. — Вас удивляет, как я могу доселе быть деятелем безызвестных движений, освободительных для одних и весьма стеснительных для других, ну, хотя бы — для вашего батюшки? Я и сам удивляюсь: я до последней поры действую по определенной программе: это, ведь, слушайте, я действовал по своему усмотрению; но что прикажете делать, мое усмотрение всякий раз проводит в их деятельности только новую колею; собственно говоря, не я в партии, во мне партия... Это вас удивляет?

\* «Государство — это я» (фр.). — Ред.

— Да, признаться, — это меня удивляет; и признаться, я бы вовсе не стал с вами действовать вместе.

Николай Аполлонович все более начинал внимать речам незнакомца, становившимся все округленней и все звучней.

— А, ведь, все-таки вы узелочек-то мой от меня взяли: вот мы, стало быть, действуем заодно.

— Ну, это в счет не может идти; какое тут действие...

— Ну, конечно, конечно, перебил его незнакомец, — это я пошутил.

И он помолчал, посмотрел ласково на Николая Аполлоновича и сказал на этот раз совершенно открыто:

— Знаете, я давно хотел видеться с вами, поговорить по душам; я так мало с кем вижусь. Мне хотелось рассказать о себе. Я, ведь — неуловимый не только для противников движения, но и для недостаточных доброжелателей оною; так сказать, квинтэссенция революции. А вот странно: все то вы говорите про методику социальных явлений, углубляетесь в диаграммы, в статистику, вероятно, знаете в совершенстве и Маркса; а вот я — я ничего не читал; вы не думайте: я начитан и очень: только я не о том, не о цифрах статистики.

— Так о чем же вы?.. Нет, позвольте, позвольте: у меня в шкапчике есть коньяк — хотите? —

— Не прочь...

Николай Аполлонович полез в маленький шкапчик; скоро перед гостем показался граненый графинчик и две граненые рюмочки.

Николай Аполлонович во время беседы с гостями гостей подчивал коньяком.

## VII

В гостеприимной передней Цукатовых вдруг раздался резкий звонок; вставши с кресла, туда поспешила, вместе с горничной и хозяйка гостеприимного дома.

Гостеприимная дверь, ведущая в зал, распахнулась, и по зале прошел удивленно почтительный шепот: сухенькой стрелкою из дверей выкинулась фигурка Аполлона Аполлоновича, сопровождаемая потирающей руки хозяйкой. Сухенькая эта фигурка в первую минуту собою напомнила безусого юнца: безусость и безволосость совершенно гладкого черепа с оттопыренными ушами издали скрадывали сенаторские лета; и когда он влетел на блестящий паркет, то какому-то почтенному земскому деятелю (родственнику Цукатовых) показалось, что вбежал не сенатор, а британский гимназистик; но длиннополый черный сюртук да седины маленьких (совсем маленьких) бачек, да еще непомерная синева непомерно громадных глаз, водворила земского деятеля быстро в граицы; а чуть слышный и изумленный шепот присутствующих (двух бледных девиц, гувернера и мальчика) оповестил его ухо о том, что бежавший навстречу к нему старичок — всероссийская знаменитость.

Аполлон Аполлонович побежал быстро навстречу к толстому господину, полагая, что это его поджидает директор N. N. департамента, просивший встречи за завтраком у Цукатовых, так что земский деятель удивлялся мягкой любезности и к нему обращенной улыбке, удивлялся воспитанности движений одного из лидеров правых, и мгновенно потухла в нем стародавняя неприязнь к политической деятельности сенатора, чтобы дать простор иным, человеческим чувствам; и сердечно, и просто схватил он протянутую ладонь... виноват: протянутый мертвый, старческий палец. И души его гуманное выражение, совершенно чуждое хамству, остановилось пред пальцем; и невольно он поднял взор, чтобы встретить политикой обливающую вражду ледяных, темных глаз, но он встретился лишь с сенаторским ухом, потому что соседу, бледному гувернеру, улыбалось приветливо лицо именитого гостя.

Так пленив и оскорбив всех, Аполлон Аполлонович со всеми прошел к завтраку — в столовую, чтобы там, за столом, подвязаться салфеткой.

Оскорбленный обидным обычаем сенатора Аблеухова, земский деятель предположил в нем естественно тягостное молчание за столом (Аполлон Аполлонович разрезал баранью котлетку), прерываемое изредка повелительным и сухо слова чеканящим тенорком. Каково же было его удивление, когда в ответ на слова гостеприимной хозяйки бархатный бас сенатора густо как-то разлился по комнате, отразившись от стен. Голос тот совершенно не соответствовал малому росту сенатора: земский деятель позабыл, что продолжительная привычка говорить с кафедры, а потом и в Правительствующем Сенате искусственно выработала в нем этот громовый голос, странно звучащий среди обывательских стен.

Гостеприимная хозяйка, извиняясь, сообщила сенатору, что только что перед тем директор N. N. департамента просил извиниться перед ожидаемым гостем: он сегодня не может поспеть вовремя к завтраку; он при случае постарается лично заехать в сенаторский дом. Аполлон Аполлонович ответил с чрезвычайной любезностью, что он воспользуется непредвиденным отпуском, в департамент же не вернется, и тотчас же он ласково вступил в разговор с земским деятелем.

Земский деятель, оскорбленный подачею пальца, с видом совершенной невинности углубился в критику наших законов; Аполлон Аполлонович с величайшею скромностью выслушивал критику; критика направлялась по адресу его самого. Аполлон Аполлонович не соглашался на предлагаемые реформы; тем не менее, Аполлон Аполлонович слушал; слушал он для того, чтоб при случае попытаться исправить критикуемый пункт.

В наложении все новых заплат на одеяние нашего законодательства Аполлон Аполлонович был великий искусник.

С критикой некоторых частных законов Аполлон Аполлонович соглашался вполне; более того: либеральный собеседник сенатора изумлялся островам Аполлона Аполлоновича о лицах чрезвычайно высоких, просто высоких и средних, направлявших бег нашего государственного

колеса. По существу же Аполлон Аполлонович не высказался; по существу он высказывался лишь в проектах, докладах и в Правительствующем Сенате.

Благодаря скромному умолчанию об основных противоречиях сенатора с им выслушиваемым мнением, между бараньей котлетой и артишоком, политический противник его, под влиянием выпитых рюмок, все таял и таял: в душе его сложилось об Аполлоне Аполлоновиче благоприятное впечатление, которому суждено было продержаться до ближайшей senatorской речи; после речи же земскому деятелю, вместе со всеми областями, губерниями суждено было ахнуть. Так бывало не раз.

Выпив кофе и выслушав политического противника, Аполлон Аполлонович быстро покинул гостеприимный стул, протянул своему гуманному собеседнику... бледно-зеленое ухо да два мертвых пальца. Лакированная карета понесла его к набережной; скоро дверь желтого дома распахнулась перед ним.

Аполлон Аполлонович быстро вошел в переднюю. Цилиндр с осторожностью передался лакею. С тою же осторожностью отдались — пальто, портфель, кашне.

Аполлон Аполлонович в раздумье стоял пред лакеем; вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом:

— Будьте любезны сказать: часто ли здесь бывает молодой человек, — да, молодой человек?

— Молодой человек-с?

Наступило неловкое молчание. Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. А лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин.

— Молодые люди бывают, ваше-ство, — редко-с...

— Ну, а... молодые люди с усиками?

— С усиками-с?

— С черными...

— С черными-с?

— Ну, да, и... в пальто...

— Все приходят-с в пальто...

— Да, но с поднятым воротником...

Что-то вдруг осенило швейцара.

— А, так это вы про того, который...

— Ну, да; про него...

— Который нынче зашел-с к молодому барину: так они-с и по сию пору не выходили от барина...

— Как так?

— Они здесь-с!

— С усиками?

— Точно так-с!

— Черными?

— С черными усиками...

— И в пальто с поднятым воротником?

— Они самые-с...

Аполлон Аполлонович постоял с минуту как вкопанный, и вдруг — Аполлон Аполлонович прошел мимо.

Лестницу покрывал бархатный серый ковер; лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены; бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблестался орнамент из старинных оружий; над позеленевшим медным щитом шишаком блистала медная литовская шапка; блестяла крестообразная рукоять перекрещенного меча; здесь скрещивались мечи; там — тяжелые, ржавые алебарды; там поблескивала многокольчатая броня; и поблескивал шестопер; и ржавела пистоль.

Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки из белого алебастра белая Ниобея поднимала горé алебастровые глаза.

Аполлон Аполлонович четко распахнул пред собою дверь, опираясь костлявой рукой о граненую ручку; по громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздался холодно звук тяжелого шага.

### VIII

Александр Иванович, незнакомец с черными усиками, видимо, за коньячком оживился. Алкоголь действовал с планомерной постепенностью; у него обычно за водкою (вино было ему не по средствам) следовал единообразный эффект: волнообразная линия мыслей становилась зигзагообразной; перекрещивались ее зигзаги; если бы пить далее, распалась бы линия мыслей в ряд отрывочных арабесок, гениальных для мыслящего, но и только для одного его гениальных в один этот момент; стоило ему слегка отрезветь, как соль гениальности пропадала куда-то; и гениальные мысли казались просто сумбуром, ибо мысль в те минуты несомненно опережала и язык, и мозг, начиная вращаться с бешеной быстротою.

Далее следовал эффект за эффектом: появлялась игривая гладкость до того заплетавшейся речи; и обратно: плетеною речью становилась речь гладкая.

Вслед за гладкостью речи появилось и некоторое томление, осознание коего не совсем прилично здесь детальнейшим образом выяснять.

— Я читаю теперь Конан-Дойля, для отдыха; не сердитесь — это шутка, конечно. Впрочем, пусть и не шутка; ведь, если признаться, круг моих чтений для вас будет так же все дик: я читаю историю гностицизма, Григория Нисского, Сирианова, Апокалипсис. В этом знате — моя привилегия; как-никак — я полковник от революции; с полей деятельности переведен я за заслуги в штаб-квартиру. Да, да, да: я — полковник. За выслугой лет, разумеется; а вот вы, Николай Аполлонович, со своею методикой и умом, вы — унтер: вы, во-первых, унтер потому, что вы теоретик; а на счет теории у генералов-то наших — плоховаты дела; ведь, признайтесь-ка — плоховаты; и они — точь-в-точь архиереи: архиереи же из монахов; и молоденький академик изучив-

ший Гарнака, но прошедший мимо опытной школы, не побывавший у схимника, — для архиерея только досадный церковный придаток; вот и вы со всеми своими теориями — придаток; и поверьте, досадный.

— Да, ведь, в ваших словах слышу я народовольческий привкус?

— Ну, так что же? С народовольцами сила, не с марксистами же. Но простите, отвлекся я... Я о чем? Да, о выслуге лет и чтении. Так вот: оригинальность умственной моей пищи все от того же чудачества; я такой же революционный фанфарон, как любой фанфарон вояка с Герогием: старому фанфарону рубাকে все простят.

Незнакомец задумался, налил рюмочку; выпил — налил еще.

— Да и как же мне не найти — своего, личного, самого по себе? Я и так уж, кажется, проживаю приватно — в четырех желтых стенах; моя слава растет, общество повторяет мою партийную кличку, а круг лиц, состоящих со мною в человеческих отношениях, верьте, равен нулю; обо мне впервые узнали в то славное время, когда я засел в сорокапятиградусный мороз...

— Вы, ведь, были сосланы?

— Да, в Якутскую область.

Наступило неловкое молчание. Незнакомец с черными усиками посмотрел на пространство Невы из окошка; взвесилась там бледно-серая гнилость; там был край земли, и там был конец бесконечностям; там сквозь серость и гнилость уже что-то шептал ядовитый октябрь, ударяя о стекла слезами и ветром; и дождливые слезы на стеклах догоняли друг друга, чтобы виться в ручьи и чертить крючковатые знаки слов. В трубах слышалась сладкая пискотня ветра, а сеть черных труб издавала-далека-далека посылала под небо свой дым. И дым падал хвостами над темноцветными водами. Незнакомец с черными усиками прикоснулся губами к рюмочке, посмотрел на желтую влагу: его руки дрожали.

— Все на свете построено на контрастах; и моя польза для общества привела меня в унылые ледяные пространства; здесь пока меня поминали, позабыли, верно, и вовсе, что там я — один, в пустоте; и по мере того, как я уходил в пустоту, возвышаясь над рядовыми, даже над унтерами (незнакомец усмехнулся беззлобно и пощипывал усик) — с меня постепенно свалились все партийные предрассудки, свойственные агитационным низам, но не свойственные верхам. И поверьте: генералы от революции спокойно мирятся с отсутствием во мне предрассудков.

От дум или от выпитого вина, только лицо Александра Ивановича действительно приняло какое-то странное выражение; разительно изменился он и в цвете, и даже в объеме лица (есть такие лица, что мгновенно меняются); он казался теперь окончательно выпитым; а на самом деле было как раз обратное, — Александра Ивановича не выпил никто: Александр Иванович выпил сам. Так бывает всегда; так причину мы принимаем за действие.

Александр Иванович улыбнулся.

— Артикул революции мне не нужен: это вам, теоретикам, публицистам, философам — артикул.

— Извините, пожалуйста; все, что вы говорите, совершенно мне чуждо: я бы мог ответить на каждое ваше слово пространной статьей, но не в этом дело, а в вас, в вашем мысленном ходе. . .

— Ах, да это все просто, до чрезвычайности: ведь, у вас есть, конечно, хотя бы один спорный пункт; ну, а если есть у вас всего один спорный пункт — все-то ваше строение не сегодня — завтра завалится с треском; ведь, не все же вам ясно?

— Ну, допустим, не все. . .

— А вот толпам пока вы об этом вот, думаю, не доложите?

— Разумеется, пока промолчу.

— Значит, вы толпам лжете, извините, но суть не в словах: вы все-таки лжете и лжете раз навсегда по самому роду занятий; и отрезан и от какой-либо теоретической лжи; я читаю и думаю: и все это исключительно для себя одного: от того-то я и читаю Григория Нисского.

Неловкое молчание наступило опять; Николай Аполлонович с раздражением выщипывал конский волос из своего пестротканого ложа; в теоретический спор не считал он нужным вступать; он привык спорить правильно, не метаться от темы к теме. Между тем разночинец, опрокинувши рюмку, из-под облака табачного дыма выглядывал победителем; разумеется, он все время курил.

— Ну, а по возвращении из Якутской области?

— Из Якутской области я удачно бежал; меня вывезли в бочке из-под капусты; и теперь я есмь то, что я есмь; деятель из подполья; только не думайте, чтобы я действовал во имя социальных утопий, или во имя вашего железнодорожного мышления; категории ваши напоминают мне рельсы, а жизнь ваша — летящий на рельсах вагон; в ту пору я был отчаянным нищеанцем. Мы все нищеанцы: ведь, и вы, — инженер собственной железнодорожной линии, творец схемы, — и вы нищеанец; только вы в этом никогда не признаетесь. Ну, так вот: для нас, нищеанцев, агитационно настроенная и волнуемая социальными инстинктами масса (как сказали бы вы) превращается в исполнительный аппарат (тоже ваше инженерное выражение), где люди, даже такие, как вы, клавиатура, на которой пальцы пианиста (заметьте: это выражение — мое) летают свободно, преодолевая трудность для трудности; и пока какой-нибудь партерный слюнтяй под концертной эстрадой внимает божественным звукам Бетховена, для артиста да и для Бетховена, — суть не в звуках, а в каком-нибудь септаккорде. Ведь, вы знаете, что такое септаккорд? Таковы-то мы все.

— То есть спортсмены от революции.

— Что же, разве спортсмен не артист? Я спортсмен из чистой любви к искусству, и потому я — артист. Из неоформленной глины общества хорошо лепить в вечность замечательный бюст.

— Но позвольте, позвольте, — вы впадаете в противоречие: септаккорд, то есть формула, термин, и бюст, то есть нечто живое? Техника, и вдохновение творчеством? Технику я понимаю прекрасно.



— Да не об этой технике, не о вашей: ваша техника — техника научного аппарата; в ней нет вдохновения. Для меня же в технике — искусство: я хотел бы творить и самую технику! . .

Николай Аполлонович отчетливо отмечал превратность умственных упражнений своего захмелевшего гостя; но Николай Аполлонович безнадёжно махнул на него рукой: слова посетителя не были ему интересны; сам же посетитель крайне интересен; отыскавши пенсне, Николай Аполлонович надел его на нос: он покорно решил сложить свою железную логику пред бушевавшим потоком быстро текущих слов; скромно только заметил он:

— Я хочу выяснить вашу мысль. Мир предтекущей нам видимости предопределен; не так ли? И без предопределяющей формы он — хаос. Вы хотите сказать, что мир содержаний, например, социально-этических, со всеми формами быта, например, бытовую моралью, есть то же один только хаос.

— Вот именно.

— Но, ведь, тогда вневличная, неизменная форма, уловимая лишь в нашей логической деятельности, нарисует нам и все то, что содержится одновременно как в нас, так вне нас. . .

— В том-то и дело, что не бесконечная форма, а личная, личная. Не сознание даже, а воля; все эти категории ваши — превосходная вещь, превосходная вещь в практическом отношении; но как скоро это станет теорией, категорией. . .

— Соединяют людей?

— Наоборот: глубоко разделяют; отделяют окрепшую личность от безличной толпы; для толпы категория — небосвод, в этом смысле она безлична; для окрепшей же личности категории — стены его кабинета; эти стены отделяют личность от безличного мира, от безличной среды, безличной толпы; в этих стенах личность свободна. . . Вот таким-то разделяющим расстоянием для меня и осталась Якутская область: категорией льда, что ли; этот лед и ношу я с собою; это он меня отделяет, отделяет, во-первых, как нелегального человека, проживающего по фальшивому паспорту, во-вторых, в нем впервые созрело во мне то особое ощущение, будто даже когда я на людях, я один, в тишине.

Незнакомец с черными усиками незаметно подкрался к окошку. Там, за стеклами, в зеленоватом тумане, проходил гренадерский взвод: проходили рослые молодцы в серых шинелях. Размахавшись левой рукой, проходили они; проходил ряд за рядом, штыки прочернили в тумане. Взвод прошел; и тогда из грязноватой, туманной слякоти полетела лаковая карета; незнакомец увидел и то, как распахнулась каретная дверца, и то, как Аполлон Аполлонович Аблеухов в старом пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выскочил из кареты, бросив мгновенный и испуганный взгляд на зеркальные отблески стекол; быстро кинулся он на подъезд, на ходу расстегнувши черную лайковую перчатку. Незнакомец с черными усиками, вдруг испугавшись чего-то, неожиданно поднес руку

к глазам, точно он хотел закрыться от одной назойливой мысли. Сдавленный шепот вырвался у него из груди.

— Он...

— Что такое?

Николай Аполлонович подошел к окну теперь тоже.

— Ничего особенного: вон подъехал в карете ваш батюшка.

В это время хлопнула входная дверь.

## IX

Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры; мебель там блистала так докучно, так вечно; а когда надевали чехлы, мебель в белых чехлах предостояла взорам снежными холмами; гулко, четко паркетные здесь отдавали поступь сенатора.

Гулко, четко так отдавал поступь сенатора зал, представлявший собой скорее коридор широчайших размеров. С изощренного белыми гирляндами потолка, из лепного плодового круга опускалась там люстра с стекляшками горного хрусталя; одетая кисейным чехлом, будто сквозная, равномерно люстра раскачивалась и дрожала хрустальной слезою.

А паркетное зеркало проблистало маленькими квадратами.

Стены — снег, а не стены; эти стены всюду были уставлены высокими стульями; их высокие, белые ножки изошли в золотых желобках; отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались столбики белого алебастра, и со всех белых столбиков высился алебастровый Архимед. Не Архимед — разные Архимеды, ибо их совокупное имя — древнегреческий муж. Холодно просверкало со стен строгое ледяное стекло; но какая-то заботливая рука по стенам развесила круглые рамы; под стеклом выступала бледнотонная живопись; бледнотонная живопись подражала фрескам Помпеи.

Аполлон Аполлонович мимоходом взглянул на помпейские фрески и вспомнил, чья заботливая рука поразвесила их по стенам; заботливая рука принадлежала Анне Петровне. Аполлон Аполлонович брезгливо поджал свои губы и прошел к себе в кабинет; у себя в кабинете Аполлон Аполлонович имел обычай запирается на ключ. Безотчетную грусть вызывали пространства комнатной анфилады; все казалось, что оттуда на него побежит кто-то вечно знакомый и странный. Аполлон Аполлонович с большой охотой перебрался бы из своего огромного помещения в помещении более скромное; ведь, жила же в более скромных домах; многие его подчиненные, а он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, должен был отказаться навек от пленительной тесноты: к тому вынуждала его высота и ответственность занимаемого поста; и Аполлон Аполлонович праздно томился в холодной квартире на набережной; вспоминал он частенько и былую обительницу этих блестящих комнат, Анну Петровну; два уже года, как Анна Петровна уехала от него с итальянским артистом. Но сын Аполлона Аполлоновича, Николай Аполлонович...

Аполлон Аполлонович остановился у двери, ведущей в помещение сына: оттуда раздавались негромкие голоса; там теперь был этот с глазами. При мысли о незнакомце затрепала вдруг его голова, а височная жила, падуваясь, так билась, билась и билась. Тем не менее с какою-то приторной горечью вдруг поджались блеклые губы: Аполлон Аполлонович вторично решил про себя, что сын его, Николай Аполлонович был, мало сказать, подозрительной личностью: он был, может быть, негодяем. И неслышно отправился Аполлон Аполлонович в кабинет, ибо буря вскипела в нем, протекая бесшумно; тем не менее она протекала в нем губительно; и он знал: не загремит в душе его гром; не проблещет в сердце стрела очистительной молнии: бешенство бури опять разразится лишь бешенством мозговой игры. Безысходно скопились в сознании сенатора те мозговые игры, как густые пары в герметически закупоренном котле; затрепала упругими мыслями его черепная коробка, надувалась височная жила сильней и сильней, и в порыве бесплодной тревоги рука охватила пальцами пальцы.

Аполлон Аполлонович угрюмо теперь стучал в своем кабинете, мелко бросая перепуганный взгляд на пространство Невы, где так блекло чертились туманные многотрубные дали и откуда испуганно поглядел Васильевский остров.

Этого вида он не мог выносить.

Зеленоватым роem там неслись облака; они сгущались порой в желтоватый дым, припадающий к взморью; темная водная глубина сталью своих чешуй билась в граниты; в зеленоватый рой убегал неподвижный шпиц... с Петербургской стороны.

Тот Невы край представлялся Аполлону Аполлоновичу бескрайностью воющего хаоса; и бескрайность высылала чрез мост рои своих бледных теней; тень проходила за тенью, разночинец за разночинец; от них пахло канатами, солью морской, кожаной курткой и трубкою голландского шкипера; хорошо помнил он одну бледную тень; эта бледная тень сейчас — в лакированном доме; там она — за стеной; может встать, пробежать коридор, распахнуть нагло дверь, появиться; это есть, это есть; это было когда-то — это будет и впредь.

Аполлон Аполлонович крепко сжал голову в пальцах: праздная мозговая игра! Она убегала за грани сознания; там она продолжала все воздвигать свои туманные плоскости.

## Х

С появлением сенатора незнакомец стал нервничать; оборвалась его доселе гладкая речь: вероятно <...>

*(На этом корректура обрывается).*

ТЕКСТ, ИЗЪЯТЫЙ А. БЕЛЫМ  
ИЗ НАБОРНОЙ РУКОПИСИ РОМАНА

(изд. «Сирин»)

(ИРЛИ, ф. 79, оп. 3, ед. хр. 23)

〈Глава первая, главка «Какой такой костюмер?». После слов швейцара «Там пришел человек» на месте многоточия следовало):

«— Что такое? Не слышу.

— Там вас ждут-с. . .

— Так спросите же карточку. . .

— Оне карточки не дают-с.

— Кто такое „они“?

— Человек-с.

— Какой такой?

— Просят в переднюю.

— ?

— Говорят — раздеваться не будут.

— Может быть, граф Савельев?

— Нет-с, попроче. . .

— Кто же он. . .

— Так какой-то. . . Брюнет с черными усиками.

Николай Аполлонович неохотно повлек свое тело на порог обманного мира; рассерженно распахнул дверь; на лакея глянула голова в пестрой шапочке и моргнула глазами.

— Так-с, так-с, так-с: очень хорошо-с!

Николай Аполлонович, как <и> Аполлон Аполлонович при удобном случае приговаривал: „так-с, так-с, так-с“.

— Там-с стоят они с узелком» (л. 45—46).

〈Продолжение разговора Николая Аполлоновича с Дудкиным, глава вторая, главка «Совершенно прокуренное лицо»):

«Фистула незнакомца настойчиво повторяла откуда-то снизу:

— Да, да: это — я; я пришел к вам. . .

Как будто бы она хотела настойчиво выразить:

— Да, да, да. . .

- Это — я. . .  
 — Я — гублю без возврата» (л. 73).

«Характеристика Николая Аполлоновича, вычеркнутая из главы второй, главка «Совершенно прокуренное лицо». После слов: «„Вероятно какой-нибудь благотворительный сбор — пострадавший рабочий: в крайнем случае — на вооружение. . .“ А в душе тоскливо заныло: нет, нет — не это, а то?» — следовало» (см. также с. 479—480 наст. изд.):

«Что же это за то, скажем мы от себя? Но прежде всего: кто такой Николай Аполлонович?

Николай Аполлонович, как и Аполлов Аполлонович, возлюбил во всем параллельность: Аполлон Аполлонович, как выше мы видели, упивался видом петербургских проспектов и линий, прототипом всяческой параллельности. Николай Аполлонович упивался ландшафтом собственных логических схем; сей ландшафт представлялся ему в параллелях наук, вытянутых в одном направлении и не пересеченных нигде (всякое пересечение решительно отвергал Николай Аполлонович, относя его к синтезу). Самая жизнь рисовалась Николаю Аполлоновичу в виде двух не сообщающихся и герметически закупоренных сосудов; из систем дыхательной, половой, пищеварительной, выделительной, кровеносной и нервной системы были сложены (?) стенки одного из сосудов: между стенками этими плавал спиртовой препарат: зыбкая человеческая душа; а в другом сосуде плавало соответственно мировое сознание; то и это не сообщалось. Отдаваясь душевным движениям, был только «нрзб» вот этот вот зеленоватый туман «нрзб» потрясающим радикализмом «нрзб» было два Николая Аполлоновича: Николай Аполлонович барчонок и сенаторский сын; и был Николай Аполлонович — радикальный «нрзб» ниспровергатель всех существующих строев, проповедник крайнего терроризма, автор яростных рефератиков, теоретик восстания; первый Николай Аполлонович был так себе — дрянь (так, по крайней мере, он сам бы себя наверное определил); Николай Аполлонович номер два был воистину богоподобен в своих трансцендентальных суждениях, в тисках у которых закорчилось первое, брэнное существо со своими во истину порывами урагана; богоподобное существо в теории возводило порывы те к проявлению низменной чувственности — всего-навсего; и порою слышался в Николае Аполлоновиче надтреснутый голос порыва: гнева, ненависти, любви и тому подобного чувства (например, полового); и чуждалась всех гневов, всех жалостей его идеальная сущность.

Умозаключала она.

Пусть первое его существо (все сказали бы, что он сам) кланялось, потирало руки, робело и освещалось улыбкой: потирания рук, поклоны, учтивости означали лишь отсутствие воли. А улыбка казалась. . . что улыбка! Улыбка была улыбкою неприятною. . .

Эта улыбка-то и сбегала с лица светского юноши, только лишь светский юноша этот повернул незнакомцу пеструю переливную спину и

в пространство комнатной анфилады убежал теперь хоть растерянный, но все же немой и холодный, богоподобнейший лик.

Незнакомец с черными усиками тем не менее поймал в зеркале грустное лица выражение: он увидел, что лицо это было чем-то обеспокоено, потрясено: на него взглянули из зеркала окаменевающие глаза в черно-зеленых провалах; незнакомец тут без сомнения мог бы и сардонически усмехнуться на взор; тем не менее всего-навсего незнакомец понурился и с отчаянной он решимостью стал выщипывать усик» (лл. 74—75).

«Диалог голландца с «громадой» — глава пятая, главка «Рюмку водочки!». После слов Морковина: «— А теперь, дорогой, о другом нас связующем пунктике» и многоточия следовало:

«Голландец теперь наклонился к громаде.

— Петр!

— Пиотр Алэксэич!!

— Фи слышали?

А громада ответила:

— Ах ты швед!

— Ты лучше помалкивай. . .

— Помни Карла Двенадцатого. . .<sup>36</sup>

И они опрокинули по рюмке аллаша» (л. 187—188).

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОВЕСТИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ»

(изд. «Скорпион», М., 1910)

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Настоящая повесть есть первая часть задуманной трилогии «Восток или Запад»; в ней рассказан лишь эпизод из жизни сектантов; но эпизод этот имеет самостоятельное значение. Ввиду того, что большинство действующих лиц еще встретятся с читателем во второй части «Путники», я счел возможным закончить эту часть без упоминания о том, что случилось с действующими лицами повести — Катей, Матреной, Кудеяровым, — после того, как главное действующее лицо, Дарьяльский, покинул сектантов.

Многие приняли *секту голубей* за хлыстов; согласен, что есть в этой секте признаки, роднящие ее с хлыстовством: но хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, не адекватно существующим кристаллизованным формам у хлыстов; оно — в процессе развития; и в этом смысле *голубей*, изображенных мною, как секты, не существует; но они возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом смысле *голуби* мои вполне реальны.

1910 года. 12 апреля. Бобровка.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ  
«ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА „ПЕТЕРБУРГ“» (1912)

(ИРЛИ, ф. 79, оп. 3, ед. хр. 30) \*

Предлагаемые вниманию чита[теля главы представляют собой отрывки из] романа «Петербург». Этот ... романом «Серебряный голубь» ... жизнь современной русской де[ревни] ... как в первой части моей тетрал[огии изображает]ся деревенская жизнь в эпоху 1905—1906 года. Будучи частью тетралогии, роман «Петербург» по сюжету не связан с «Серебряным Голубем». Связи фабулы намечаются лишь в последующих частях. Из предлагаемой серии отрывков я старался извлечь все, касающееся сюжета, чтобы отрывки эти в совокупности образовали, так сказать, лирически изложенную сюиту «Петербурга». В данную серию входят, во-первых, отрывки лирико-сатирического характера; во-вторых, сюда входят и чисто описательные отрывки; в-третьих, сюда входит несколько сцен и характеристик, могущих иметь самостоятельный смысл. Серия этих отрывков определяет и идею романа, являясь, так сказать, основной темой всего моего произведения, развитие и углубление которого «которой?» определяется фабулой.

Здесь полагаю уместным сказать два слова и об основной идее романа. Эта идея с достаточной ясностью намечается в сатирическом отношении автора к отвлеченным от жизни основам идеологий, которыми руководствуются наши бюрократические круги, которыми руководствовались и наши крайние партии в эпоху 1905 года; отсюда — иллюзионизм восприятий всех жизненных явлений как у героев реакции, так и у некоторых революционеров. Автор становится на точку зрения иллюзионизма и рисует в романе своем мир и жизнь с преувеличенной отвлеченностью, ибо эта-то отвлеченность и подготавливает трагедию главных действующих лиц.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ПЕТЕРБУРГ»

(изд. «Никитинские субботники», М., 1928)

В последнем русском издании автор следует берлинскому изданию «Петербурга» (1922 г.); это издание значительно сокращает текст (более чем на треть); сличение двух вариантов дает совсем разное впечатление от них; кажется, будто нечто основное изменилось в «Петербурге»; для читателя первого издания — «Петербург» данного издания — новая книга.

---

\* Текст предисловия сильно поврежден и полному прочтению не поддается. Кроме того, это черновик со следами правки. Здесь приводится окончательная редакция (варианты опускаются). Многоточия в данном случае обозначают пропуски текста, восстановить который не удалось. — Ред.

- мид?
- "Ну, домино?"
  - "Ну, само собой <sup>разумеется!</sup>!"
  - "А скажу, что сказал..."
  - "Со мной можно быть вполне откровенным."
- От пахнущих труб господина Морковина Николая Антоновича хотело бы отворачиваться отвернувшись, но себя <sup>уже</sup> перемог; а когда его замкнули в трубы, то невольно свой взгляд, полный паники, бросил он в потолок, ~~улыбая~~ <sup>улыбая</sup> (метая), дуло с выслата <sup>вспыхив</sup> Володимиром, в то время, как в трубы его неестественно растолкнули в ушибленной матицито прижал, задрожав и неестественно прижал так что кх мерзавца излучающего, когда наполнил тужил коснулся концы из хриплых проводов).
- "Ну вот: так-то пуща; и недумайте ничего: домино — такая селл. Домино это видущая в без знакомства..."
  - "Виконт, в закатаные сардинийские мушкетеры, перебрала его Николай Антонович (сама бужель; "это она все испрится, твоей кипятилки: надо быть осторожным... Мы забыли еще, что домино с селл Николая Антоновича селл в ресторанной передке."
  - "Согласитесь: приказ мысли, это вы — домино... Хи-хи-хи: ну, от куда такое взбешет — а? Поглядите? А селл говорю: Эй, Павлик, да это, даемна иод, просто такая селл: курбешное вздрем — а при томш под забором, при свершении, там сказать, необходимой потребности девоуэской... Домино! Просто-напросто, предид из знакомства, манше вч тиковка, потому что оленя, оленя, оленя кх сившаме: о вамаге уштемкишиа казествах.
- Они отошли от водной стоянки, пробирале манш стоишаме, к оташ оттуда маншаме, как десятком хрипливизел розово, в попорт бросившая уши рвучи; в звуки, вдруг звякнула; задумчиво манш, раз-белале обз уши, стел маншаме каполомзиково; из отодпнкого кабинета кесале гь-то манш появлява.
- "Теповик: дастую снатурн..."
  - "И водки..."
  - "Ну, так вот-си: покончили с домино. В тепле, дорогов, о другом нас связующем пунктам..."
- ... ..
- "А вот так..."
  - "А вот так..."
  - "А вот так..."





Наша свобода дерзает: над сердечным огнем взлететь к стенкам черепа и разорвать стенки черепа: Николай Аполлонович необходимость разрыва в себе ощущает: движением проглоченной бомбы; в нем нет воли к разрыву: в неволе разрыва и в противлении ветхой формы сознания жизни; сознание, да и самая жизнь в нем — кривятся: оттого-то сенаторский сын гримасирует на страницах романа; пришло время дерзания: если мы не воспримем его, все равно, мы его ощутим: — ощутим проглоченной бомбой; над собою должны мы взлететь: не взлетим — разорвемся.

Жизнь рвется: шатается.

Череп будет разбит: светлый Голубь пришествия спустится в отверстие наших разрывов: соединение головных и сердечных наук будет следствием схождения Голубя из-за мозга сквозь мозг на сердечный престол.

Чаша сделана будет. Персеваль: <sup>41</sup> будет с нами.

Рыцари, мистики и поэты «на западе» благословят Персеваля; от «Востока», от «прошлого» — благословят его: Заратустра, Манес. <sup>42</sup>

Поведет же Христос.

Не узнавший, не узнавший Себя, Персеваль уже в нас: среди нас.

Рыцари философии, науки, искусства себя повторяют в истории: его гонят они с Мон-Сальвата. <sup>43</sup>

Позовем же его: может быть, он — откликнется.

(с. 119—122).

### ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ «К МАТЕРИАЛАМ О БЛОКЕ» (1921)

... «Внешнее» иногда внутренней «внутреннего». Так, «умные» люди говорят мне: — Извините: но позвольте протестовать против вашего истолкования доминирующей аллитерации III тома стихов Блока на *тр — др*; хорошо, что вы ее выследили, но плохо, что вы ее истолковываете, как «трагедию трезвости». <sup>44</sup> — Между тем: когда я сообщил А. А. Блоку в 1918 году это свое истолкование, он ужасно обрадовался, встал с места и, потоптавшись на месте (что он делал, когда что-нибудь его заденет), сказал мне: — Ах, Боря, как я рад, что ты таки отметил это, что — «трагедия трезвости», — т. е. он разумел не аллитерацию, а содержание III тома. Стало быть, он был согласен с моим пониманием тона III тома: а ведь монизм формы и содержания есть постулат для такого истолкования. «Умные» люди, протестующие против натяжки, думают, что это натяжка рассудка; они забывают, что я... тоже немножко поэт, и что это сравнение у меня изнутри, которое не всем доступно... <...> Между тем «психологи творчества» и «аналитики приемов» забывают, что *ариаднова нить к душе поэта — душа поэта*; если нет ее — никакая статистика не поможет <...> Я, например, знаю происхождение

содержания «Петербург» из «л—к—л— —пп—пп—лл», где «к» звук духоты, удушения от «пп—пп» — давления стен «Желтого Дома»; а «лл» — отблески «лаков», «лоское» и «блеское» внутри «пп» — стен, или оболочки «бомбы». «Пл», носитель этой блестящей тюрьмы — Аполлон Аполлонович Аблеухов; а испытывающий удушье «к» в «п» на «л» блесках есть «К»: Николай, сын сенатора. — «Нет: вы фантазируете!» — «Позвольте же, наконец: я или не я писал „Петербург“?» — «Вы, но... вы сами абстрагируете!..» — «В таком случае я не писал „Петербургга“: нет никакого „Петербургга“, ибо я не позволю вам у меня отнимать *мое детище*: я знаю его с такой стороны, которая вам не снилась никогда...» («Вершины», с. 109—110; также: ИРЛИ, ф. 79, оп. 3, ед. хр. 41, л. 13а—13б).

### ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» А. БЕЛОГО

(Записки мечтателей, 1921, № 2—3)

Я стою перед фактом: нельзя мне работать со всей плодотворностью, на какую способен был я; полон я устремления выявить «я» писателя в современности; наше «я» — эпопея; эту эпопею полон и знаю наверное: роман «Я» есть роман всех романов моих (ненаписанных, как написанных);<sup>45</sup> будь у меня время, деньги, бумага, чернила, перо — я бы создал творение редкое в истории литературы; все прежние книги мои по отношению к «Я» (к эпопее) — лишь пункты, штрихи и наброски на незаполненном полотне; по отношению к заданию, мне мелькнувшему, я — «Микель Анджело», порывающийся изваять целый горный ландшафт.

Мои прежние книги распроданы; в частности: критики признают «Петербург»; я же знаю, наверное: «Петербург» — только пункт величиной картины, перед которой года я стою; колоссальные недостатки наброска (а «Петербург» есть набросок) меня не смущают: случайный набросок был критикой встречен приветственно; — но почему мне не верят, что полон я творчества, что «Петербург» лишь начало моей эпопеи, которую осуществить я могу лишь в условиях специальных; я — мастер огромных полотен; огромные плоскости нужны для кисти моей; многоэтажные стены дворцов мне могли бы отдать для моих титанических сюжетов; их — нет у меня; и оттого-то единственно я не пишу эпопеи своей; между тем: одолевают меня «м и н и а т ю р а м и». «Напишите рассказик в три четверти печатных листа, напишите статью...» Но за статейкой, рассказиком, лекцией я себя ощущаю: *слоню на канате*; срываюсь с каната и рву все канаты. Мне бы следовало развернуть быстрый бег среди джунглей, перевоза на спине монументы, попутно сражаясь с тиграми; но в условиях, созданных вокруг меня («вы нужны для статьи», «для проекта проспекта», «рассказика»), я — сплошной неудачник.

Тут мне возражают любители произведений моих: «Вы дали уже „Петербург“...» Но на это отвечаю с горечью: «Сколько же я загубил „Петербургов“! И сколько я загубил в „Петербурге“!..» Обращаясь ко мне за «статейкой», за «лекцией», за «проектом проекта реформы», во мне убивают в душе созревающий «Петербург»; перед сознанием моим возникают всегда «Петербурги»; но жизнь их растаптывает: и меня натравляют на мелочи, которые рекомендуются мне, как «интересная деятельность»... Дайте право же мне выбирать самому свои темы! Из тем, мне заказанных, нет ни одной интересной: и все, что я делаю по заказу — бессильно и жалко: лежит подо мною оно!

Когда я стоял перед внутренним долгом осуществить свой эскиз к эпопее, создать «Петербург», товарищи по редакции осыпали меня мелким мусором дел, отравляющих творчество: этот мусор казался им деятельностью, совершенно достойной меня; в ряде лет оказался он разве что злободневною пылью; для этой поверхностной пыли, по их представлению, должен был жертвовать творчеством я (после же называли меня очень важно *создателем* «Петербурга»); в момент созиданья *создатель* казался редактору «Мусажета»<sup>46</sup> — предателем общего культурного дела; но ценою *предательства* общего дела осуществил я свой *внутренний долг*. Этот *внутренний долг* (когда я, вопреки всем условиям жизни, сумел довести до конца его бегством из русской действительности, забирая, где можно, авансы), — тот долг пред собою оказался: *литературной заслугой пред обществом*...

Помню я явственно, как в процессе писания «Петербурга» я стиснут был, пишучи по заказу Редакции, не желающей мне помочь материально и после отвергнувшей рукопись «Петербурга», которая была ею ж *заказана*, — должен был бы уморить и себя, и жену я; в условиях этих, конечно же, я ничего бы не создал: нашелся писатель, как я, испытанный превратности литературной работы; он прислал мне по-братски пятьсот лишь рублей; но они меня вынесли; миллионеры, любезно дарившие мне комплименты, и общество, требовавшее, чтобы я отвлекался от темы романа для пустынных «рефератиков», наконец, круг друзей, обвинявший меня в нежелании работать для общего редакционного дела, в то время не дали мне *пятисот* лишь *рублей*, необходимых, чтобы в три с лишним месяца написать до 14-ти печатных листов «Петербурга»; мне дал эти деньги писатель (бедняк, как и я);<sup>47</sup> и эти бранные деньги — случайное обстоятельство, почему «Петербург», среди других «Петербургов», живущих во мне и раздавленных жизнью, мог стать «Петербургом» написанным.

Случайно написан был мною эскиз колоссальной картины (из «Я», эпопей): благодаря материальной поддержке литературного друга (поэта, писателя, как и я) <...>

Но мой «Петербург» — только пункт грандиозной картины; не «Петербург», иль «Москва», — не Россия, а — «мир» предо мною стоит: и в нем «я» человека, переживающего катастрофу сознания, и

свободного от пут рода, от быта, от местности, национальности, государства; предо мной — столкновение «мира» и «я»; вижу явственно я «мистерию» человеческих кризисов, происходящую в сокровеннейших переживаниях духа: «Востоки и Запады», «Петербург», «Нью-Йорки», «России», «Европы» — эскизы картины, передо мной стоящей года; «Петербург» — уголочек; как «Микель Анджело» я стою, говоря вам, читатели: «Верьте: огромности тем. над которыми свесился я, превышают все смелости ваших фантазий о них; дайте мне пять-шесть лет только, минимум условий работы, — вы будете мне благодарны впоследствии; мне нужны колоссальные плоскости; и — огромное количество материала (пуды ярких красок); а вы, — вы, не веря заданиям моим, предлагаете мне все какие-то миниатюры, по отношению к которым я — слеп, глух и мертв; я уже говорил вам в эпоху писания «Петербурга»: о, дайте возможность мне бросить всех вас года на два, чтобы снова прийти к вам с эскизом «сюжета», который покажется вам интереснее тех сюжетов, которыми вы насильственно занимаете творческий мир мой. Вы не поверили; вы — боролись со мной и — гонялись за мной, задавая насильственно мне постылые темы работы; бежал за границу; оттуда вам дал «Петербург». Вы со мной согласились, что тема моя несомненно значительней тем, мне когда-то предложенных обществом, миром, редакцией, друзьями. Так почему же не верите сызнова вы заявлениям: «Петербург» лишь эскизик картины, лишь пунктик; позвольте от всех вас года на три-четыре в пустыню, чтоб к вам же вернуться. . .»

«Я есмь Чело Века» — вот имя невиданной эпопеи, которую мог бы создать; а все прочие темы при всей „интересности“ их, — я не вижу: рассеян и болен «единственной темой»: темой всей жизни! Сознательно уклоняюсь от всех мне навязанных тем; в этом долг! (с. 119—122).

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. БЕЛОГО «НАЧАЛО ВЕКА»,

Т. 3, ГЛ. 9—10

(«Берлинская редакция» 1922—1923 гг. ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 27)

Угрозу России В. С. Соловьев видел в монгольском востоке; «панмонголизм» — символ тьмы, азиатчины, внутренне заливающий сознание наше; но тьма есть и в западе; и она-то вот губит сенатора Аблоухова в «Петербурге»; она же губит сына сенатора, старающегося при помощи Канта, *реакционера* в познании, обосновать социальную *революцию* без всякого Духа; *татарские очи* у Блока суть символы самодержавия, или востока; и символы социалдержавия, запада; здесь, как и там, одинаково «очи татарские» угрожают России.

Поэт <Блок, — *ред.*> волит битвы, общественной битвы с Врагом; и осознанием в себе война приближается к теме он *третьего испытания*

порогом. В духовной науке та встреча имеет название: *встреча с драконом* <...>

Нота близкой катастрофы и в ней нота востока (*монголов, татар*) переживались и мною: в те именно месяцы — и писал «Петербург»; повторяются там темы Блока <...>

Ошибся я: не к исходу тринадцатого, а к исходу четырнадцатого — *все началось*... Тема лихого «монгола» проходит в воздухе; и Аполлон Аполлонович, Николай Аполлонович — *монгольского рода*; «монгол», одержавший П. А. Аблеухова («Развязаны дикие страсти под игом ущербной луны»),<sup>48</sup> появляется перед ним в бредовом сновиденье; и он сознает, что «монгол» — его кровь; ощущает туранца в себе, ощущает арийство свое оболочкою, домино <...> Аблеуховы ощущают «монгола» — в себе; Александр Иванович Дудкин его ощущает во вне, на обоях (галлюцинацией, преследующей его) <...> «монгол» воплощается для него в негодя Липпанченко: «— Извините, Липпанченко, вы не монгол?» — спрашивает он Липпанченко <...> Топоты конские раздаются уже над ночным Петербургом <...> Николай Аполлонович бросается к посетившему его туранцу; и поднимается между ними совсем бредовой разговор <...>

Руководящая нота *татарства, монгольства* в моем «Петербурге» — подмена духовной и творческой революции, которая не революция, а вложение в человечество нового импульса — темной реакцией, нумерацией, механизацией; социальная революция («красное домино») превращается в бунт реакции, если духовного сдвига сознания нет; в результате же — статика нумерованного Проспекта на вековечные времена в социальном сознании; и — развязывание «диких страстей» в индивидуальном сознании <...> (л. 196—199).

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» А. БЕЛОГО  
(Т. III, ЧАСТЬ II. «МОСКОВСКИЙ ЕГИПЕТ»)  
(Литературное наследство. М., 1937, т. 27—28)

<...> Через месяц мы с Асей остались одни в сырых октябрьских туманах, роящихся над Расторгуевым;<sup>49</sup> здесь Ася вновь впала в оцепенение, напоминавшее транс, вгрызаясь в книгу Блаватской: «Из пещер и дебрей Индостана»;<sup>50</sup> а я провалился в лейтмотив романа «Петербург», теперь официально заказанного мне Петром Струве для «Русской Мысли» <...>

<...> ко мне подкрадывалась тема романа, который предстояло мне, так сказать, осадить из воздуха.

Его я замыслил, как вторую часть романа «Серебряный голубь», под названием «Путники»; об этом-то и был разговор у нас со Струве; при подписании договора не упоминалось о том, чтобы представленная мною

рукопись проходила цензуру Струве; Булгаков и Бердяев, поклонники «Серебряного голубя»,<sup>51</sup> настолько выдвинули перед Струве достоинства романа, что не могло быть и речи о том, что продолжение может быть забраковано; мне было дано три месяца: октябрь, ноябрь, декабрь — для написания 12-ти печатных листов, за которые я должен был получить аванс в 1000 р.; на эти деньги мы с Асей предполагали поехать в Брюссель; мой план отрыва от Москвы получал «вещественное оформление»; роман во всех смыслах меня выручал; последние переговоры о мелочах я вел с Брюсовым, ставшим руководителем художественного отдела в «Русской Мысли»; он пригласил нас с Асей к себе на Мещанскую и угостил великолепным обедом с дорогим вином; наливая нам по бокалу, он с милой язвительностью проворкотал гортанно, дернувшись своею кривою улыбкою:

— «Русская Мысль» — журнал бедный, и мы вынуждены непременно кого-нибудь поприжать. Борис Николаевич, вы — бесребреник, святой человек. Ну, право, па что вам деньги! Так что прижмем мы уж — вас.

Тут выяснилось, что плату за печатный лист мне положили неприлично малой (чуть ли не 75 р.); помню этот мрачный обед, колкие любезности Брюсова и фигурку Аси, напоминающую палочку; она была в своем зловещем черном платье и так невесело улыбалась сквозь злость, что мне делалось не по себе; вообще она вызывала во мне в этот период жалость до слез; в сожалении главным образом изживалась тогда моя любовь к ней.

Обед у Брюсова — преддверие к долгим осенним ночам, во время которых я всматривался в образы, роившиеся передо мной; из-под них мне медленно вырвался центральный образ «Петербурга»; он вспыхнул во мне так неожиданно странно, что мне придется остановиться на этом, ибо впервые тогда мне осозналось рождение сюжета из звука.

Я обдумывал, как продолжить вторую часть романа «Серебряный голубь»; по моему замыслу она должна была начинаться так: после убийства Дарьяльского столяр, Кудеяров, исчезает; но письмо Дарьяльского к Кате, написанное перед убийством, очень замысловатыми путями таки попадает к ней; оно — повод к поискам исчезнувшего; за эти поиски берется дядя Кати, Тотраббеграаббен; он едет в Петербург посоветоваться со своим другом, сенатором Аблеуховым; вторая часть должна была открыться петербургским эпизодом, встречей сенаторов; так по замыслу уткнулся я в необходимость дать характеристику сенатора Аблеухова; я вглядывался в фигуру сенатора, которая была мне не ясна, и в его окружающий фон; но — тщетно; вместо фигуры и фона нечто трудно определяемое: ни цвет, ни звук; и чувствовалось, что образ должен зажечься из каких-то смутных звучаний; вдруг я услышал звук как бы на «у»; этот звук проходит по всему пространству романа: «Этой ноты на „у“ вы не слышали? Я ее слышал» («Петербург»); так же внезапно к ноте на «у» присоединился внятный мотив оперы Чайковского «Пиковая дама», изображающий Зимнюю Канавку; и тотчас же вспыхнула передо мною картина Невы с перегибом Зимней Канавки; тусклая

лунная, голубовато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красным фонарьком; я как бы мысленно побежал за каретой, стараясь подсмотреть сидящего в ней; карета остановилась перед желтым домом сенатора точно таким, какой изображен в «Петербурге»; из кареты ж выскочила фигурка сенатора, совершенно такая, какой я зарисовал в романе ее; я ничего не выдумывал; я лишь подглядывал за действиями выступавших передо мной лиц; и из этих действий вырисовывалась мне чуждая, незнакомая жизнь, комнаты, служба, семейные отношения, посетители и т. д.; так появился сын сенатора; так появился террорист Неуловимый и провокатор Липпанченко, вплоть до меня впоследствии удививших подробностей; в провокаторе Липпанченко конечно же отразился Азеф; но мог ли я тогда знать, что Азеф в то самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко;<sup>52</sup> когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов; а если принять во внимание, что восприятие Липпанченко, как бреда, построено на звуках л-п-ц, то совпадение выглядит поистине поразительным.

С того дня, как мне предстали образы «Петербурга», я весь ушел в непрекращающийся, многонедельный разгляд их; восприятие прочего занавесилось мне тканью образов, замыкавших меня в свой причудливый мир; но я ничего не придумывал, не полагал от себя; я только слушал, смотрел и прочитывал; материал же мне подавался вполне независимо от меня, в обилии, превышавшем мою способность вмещать; я был измучен физически; но не в моих силах лежало остановить этот внезапный напор; так прошел весь октябрь и часть ноября; ничто не пробуждало меня от моего странного состояния.

.....

Наконец пришлось-таки пробудиться; грянул трескучий мороз; стены мгновенно промерзли; в углах на аршин поднялись разводы инея; мы со всем скарбом, бросив Расторгуево, оказались в Москве, в небольшой комнатке неудобной квартирки Поццо, где быт Чемпионы, Поццо<sup>53</sup> и прочих «родственников» таки нас с Асей давил; у нас не было отдельного помещения, где могли бы мы изолироваться; в таком грустном обстании вставал прямой вопрос, как мне работать над «Петербургом», который надо было срочно сдавать в декабре; все же выход нашелся; по совету Рачинского я уехал в Бобровку,<sup>54</sup> куда Ася должна была скоро приехать; очутившись в пустом доме (хозяйка только навевывалась, проживая в имениях родственников), я опять погрузился в мрачнейшие сцены «Петербурга», там написанные (сцены явления Медного Всадника, разговор с персидским подданным Шишнарфнэ и др.); должен сказать, что я усиленно работал над субъективными переживаниями сына сенатора, в которые вложил нечто от личных своих тогдашних переживаний; сирю было мне одному в заброшенном доме в сумерках повисать над темными безднами «Петербурга»; в окнах мигали поахи метелей, с визгом баламутивших суровый ландшафт; в неосвещенных, пустых коридорах и залах слышались глухие поскрипы; охи и вздохи томились в трубах; через столовую проходила согбенная фигура того же глухонемого с охапкою дров; и вспыхивало кра-



свое пламя в огромном очаге камина; я любил, сидя перед камином, без огня, вспоминать то время, когда здесь, в этих комнатах, задумывался «Серебряный голубь»; и ждал с нетерпением Асю; суровое молчание дома тяготило меня.

И вот — она.

Но она испугалась бобровского дома:

— Не переносу этих старых помещичьих гнезд, обвешанных портретами предков. Не люблю этих порохов, скрипов.

Если принять во внимание, что мною написан здесь ряд кошмарных сцен «Петербурга», то обстановка нашего быта слагалась неважная; Ася томилась, не зная, чем ей заняться; проезд на несколько дней А. С. Петровского<sup>55</sup> нас разгулял; но он уехал; и та же конденсированная жуть молчания, одиночества; Ася не выдержала и, бросив меня, уехала к сестрам в Москву, еще раз доказавши, что нам с ней нечего делать; я же не мог оставить своего поста, ибо сидел с утра до вечера, оканчивая заказанную мне порцию, которую тотчас же должен был сдать «Русской Мысли» для получения следуемой мне тысячи рублей; и тут-то я наполнился на инцидент со Струве, надолго разбивший меня.

#### ИНЦИДЕНТ С «ПЕТЕРБУРГОМ»

Помню, с каким пылом я несся с рукописью «Петербурга» в «Русскую Мысль», чтоб сдать ее Брюсову; рукопись сдана; но Брюсов, точно споткнувшись о нее, стал заговаривать зубы вместо внятного ответа мне; он говорил уклончиво: то — что не успел разглядеть романа, то — что Струве, приехавший в это время в Москву, имеет очень многое возразить против тенденции «Петербурга», находя, что она очень зла и даже скептически; то, наконец, что «Русская Мысль» перегружена материалом и что принятый Струве роман Абельдяева<sup>56</sup> не дает возможности напечатать меня в этом году; все эти сбивчивые объяснения раздражали меня невероятно; прежде всего я считал, что заказанный мне специально роман не может не быть напечатанным, что такой поступок есть нарушение обязательства: заставить человека в течение трех месяцев произвести громадную работу, вогнавшую его в переутомление, и этой работы не оплатить; Брюсов вертелся-таки, как пойманный с поличным; разрываясь между мною и Струве, то принимался он похваливать «Петербург», с пожимом плечей мне доказывая: «Главное достоинство романа, разумеется, в злости, но Петр Бернгардович имеет особенное возражение именно на эту злость»; то он менял позицию и начинал доказывать, что роман недоработан и нуждается в правке;<sup>57</sup> это ставило меня чисто внешне в ужасное положение; я был без гроша; и не получив аванса, даже не мог бы продолжать писать; в течение целого месяца я атаковывал Брюсова, все с большим раздражением, приставая к нему просто с требованием, чтобы он напечатал роман; много раз наши почти безобразные с ним разговоры происходили в редакции «Русской Мысли» в присутствии бородатого

Кизеветтера,<sup>58</sup> туповато внимавшего нам и, пуча глаза, потрясавшего хохлом; неоднократно я, как тигр, настигал Брюсова в Обществе свободной эстетики,<sup>59</sup> где я устраивал ему сцены в присутствии И. И. Трояновского и Серова;<sup>60</sup> Брюсов особенно корчился здесь, потому что симпатии членов комитета «Эстетики» были на моей стороне; и все видели, что старинный соратник мой по «Весам» явно отвиливает от меня; я, наконец, кидался к С. Н. Булгакову с жалобой на Струве; С. Н. недоумевал, хмурился и приходил от поведения Струве в негодование; в то время я еще не видел, в чем корень ярости Струве на «Петербург»; и только потом стало ясно, что я, как всегда, нетактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо; и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть; тем больнее в него я попал; он был в бешенстве; кончилось тем, что он мне на дом лично завез рукопись и, не заставши меня, написал записку, в которой предупреждал: не может быть речи о том, чтобы «Петербург» был напечатан в его органе; более того, он не рекомендует вообще печатать роман где бы то ни было; в этом предупреждении слышалась доля угрозы, что буде так, он камня на камне не оставит от «Петербурга»; очень жалею, что вскоре я письмо потерял, ибо одно время я хотел его напечатать, как предисловие к роману, т. е. принять вызов Струве: пусть-де рассудит нас будущее; как бы то ни было, эта месячная борьба со Струве и Брюсовым убила меня; я был почти болен, не зная, что делать, как жить.

Вдруг неожиданно получаю переводом 500 р. и вслед за ними прекрасное, нежное, деликатное письмо Блока; он пишет, что слышал о моем бедственном положении и умоляет принять от него эти деньги и спокойно работать над продолжением «Петербурга»; он-де только что получил от покойного отца наследство и на несколько лет-де вполне обеспечен; оставалось принять благородную помощь друга; письмо Блока поддержало меня морально; и я уехал на праздник в ту же Бобровку, продолжать свой роман несмотря ни на что; отказ Струве лишь подхлестнул мое самолюбие.

Не тут-то было; я — в Бобровку, а вслед за мною письмо; и такого рода, что я опрометью из Бобровки в Москву; письмо — анонимное, наполненное всякими инсинуациями против Аси; к ужасу моему, автора письма я узнал; это определило непреклонность решения вырваться из России скорей, какою угодно ценой; российская почва проваливалась под ногами; воздух Москвы отравлял; и тут — сердечнейшее приглашение от Вячеслава Иванова; он-де и его друзья сильно заинтересованы «Петербургом» и жаждут прослушать роман; есть-де ряд серьезных мотивов приехать нам с Асей; этот вызов нас, по последствиям, — огромная помощь, подобная 500 р., присланным Блоком; я попадаю на подготовленную агитацией В. Иванова почву; «Петербург» мой весьма популярен; у В. Иванова на башне<sup>61</sup> ряд чтений моих, на которых присутствуют

Городецкий, Толстые, и даже зашеченный сыном редактор «Речи» И. В. Гессен;<sup>62</sup> все рассыпаются в комплиментах; история, только что пережитая мною со Струве и Брюсовым, оборачивается против них; я получаю ряд предложений от издательств, желающих тотчас же напечатать роман; в результате этого успеха я продаю роман издателю Некрасову;<sup>63</sup> ура! обеспечен побег за границу! Добыта нужная до зареза тысяча. Но ставший бардом «Петербурга» Е. В. Аничков<sup>64</sup> и Вячеслав Иванов настаивают: роман — богатейшее приобретение для нужного петербуржцам журнала; Аничков берется достать несколько тысяч; и вызывает спешно Метнера в Петербург; если он пожертвует несколько тысяч рублей со своей стороны, то средства для журнала налицо; спешно приехавший Метнер, конечно же, не обещает ничего точного; этим журнал повисает в воздухе; впоследствии Метнер жестоко меня обвиняет в том, что я продал роман Некрасову; что же мне оставалось делать, коли издательство, хваставшееся, что оно существует для меня, проворонило «Петербург», к которому выказывало систематическое невнимание; Метнеру, кажется, роман вовсе не нравился; Вячеславу Иванову, Аничкову и ряду других петербуржцев обязан я — не Москве, не друзьям «мусagetским», где мне советовали писать романы в духе Крыжановской;<sup>65</sup> так в спешном порядке осуществлялись лихорадочные приготовления к отъезду за границу; последние дни были омрачены инцидентом добывания лишней тысячи, нужной, чтоб продлить пребывание в Брюсселе и вообще за границей; я обязывался написать для «Пути» монографию о поэзии Фета;<sup>66</sup> спор шел о том, дать ли мне тысячу сразу или высылать порциями; мои друзья «путейцы» и «мусagetцы» были весьма озабочены составлением подробнейшего бюджета; они высчитывали, сколько мне нужно, чтобы прожить месяц; и так набюджетили, что решили: на двести рублей можно-де великолепно прожить; да, можно бы, но — минус папиросы! Про папиросы забыли они; узнавши об этих расчетах, рвал и метал П. д'Альгейм,<sup>67</sup> с пылкостью защищавший мои интересы, и даже одно время мечтавший достать мне свободную тысячу; но — для чего? Чтобы, пригласив знатоков моего бюджета, угостить их обедом, стóящим ровно тысячу; и этим их «проучить»; на такое безумие я не пошел.

Нас провожали прекисло; друзья-благодетели разобиделись прежде срока; через полтора только месяца в Москве затвердили: Белый-де, предавши заветы свои и забыв символизм, потерял вдруг талант (в это время как раз я писал «Петербург»); это брюзгливое настроенье — уже атмосфера унылых проводов нас за границу; я насолил москвичам простым фактом отъезда; уезжая ж я знал, что в Москву не вернусь; но как это сделать — стояло в тумане (с. 452—456).

## ИЗ ПИСЕМ А. БЕЛОГО

М. К. МОРОЗОВОЙ<sup>68</sup>

(ГБЛ, ф. 171, карт. 24)

[Тунис, 1911]

«...» не могу писать «Голубя». <sup>69</sup> Откладываю до лета. Как можно писать, когда весна, цветы и теплый отдых после многих лет страдания впервые приходит. Писать «Голубя», значит мучительно отрывать от — ей-богу! — заслуженного отдыха и глядеть мимо счастья в мрачные души бездны. . . И я прав перед собой и Асей, что не хочу первые месяцы нашей совместной жизни омрачать «Голубем»...

Пишу книгу «Путевые заметки», отрывки которой должны печататься в газетах; <sup>70</sup> так думаю я пока реабилитироваться перед *Мусагетом*.<sup>71</sup> А летом, по возвращении из-за границы, пишу «Голубя». Нужно написать за это время шестьдесят фельетонов. Работа порядочная, но... не омрачающая моего счастья: ведь после каждой главы «Голубя» (пока писал) почти нервно заболел; а теперь, когда читают «Голубя» и хвалят «беспутного декадента» Белого, у Белого есть чувство... некоторой досады: может быть, нужно сжечь свои нервы до тла, чтобы какой-нибудь буржуй сказал: «Знаете ли... тут что-то есть...»

Перед второй частью «Голубя» я, как автор, злюсь: ведь и вторая часть мне испортит ряд месяцев здоровья; и хотя в Африке, среди цветов и тепла, я хочу себя почувствовать здоровым и тихим. Пишу «Путевые заметки»... (ед. хр. 16, л. 3).

Брюссель, 3 апреля <19>12

Теперь зреет рабочее настроение. Ася принимается на-днях за работу; а я принимаюсь за роман. Одно хорошо тут: тишина, благость «...»

Я как-то тверд: и *верю, верю, верю*: хочется улыбаться, работать и будущее горит каким-то спокойным светом (ед. хр. 1в, л. 1—3).

<Базель, 1912>

«...» Штейнер для меня это тот, кто сознательно проработал себя для другого, чтобы не бесплодна была его работа на пользу грядущего; штейнерианство, это своего рода старчество, но: остающееся в миру, для мира и сознательно знающее, что грядущее требует, чтобы в близком будущем реально подняли знамя Христово, ибо приближаются великие времена, о них же писал Соловьев: «Знай же, Вечная Женст-

венность ныне в теле ветленном на землю идет». <sup>72</sup>  
И далее: «Змей поднимает последние свои силы».

Мало одной веры, одного исповедания: нужно реально поднять знамя; мало носить на себе крест, нужно, чтобы крест Христов был в тебе выжжен, чтобы он пресуществлял самую кровь твою (ед. хр. 1в, л. 12—13).

Э. К. МЕТНЕРУ

(ГБЛ, ф. 167)

26 декабря (нового стиля) <1912 г.> \*

... по плану, предложенному Вами и который Вы мне пишете: что «Сирин» принципиально принимает обе рукописи. Блок написал с большой теплотой, но очень не *реально*, т. е. не ответив мне, как же мне с Некрасовым быть и удобно ли мне именно взять и отнять, так сказать, у него рукопись, полагаясь на его любезность. О «Путевых заметках» же я ответил Блоку, что снесусь с Вами, как и о романе. (Тут случились три деловых дня, а я все собирался Вам написать) <...>

Вот в каком я положении: у меня 3000 долга «Мусагету», долг Блоку 800 рублей, долг Морозовой 1100 рублей (покроется по выходе романа), обязательство «Пути» (монография и статья — о поэтах). <sup>73</sup>

2½ месяца моя миссия окончить «Петербург» (я могу лишь сказать, что он будет вдвое значительнее и зрелее «Голубя»); 2½—3 месяца следующих я работаю над монографией.

Итого 6 месяцев, т. е. полгода я неработоспособен <...> 6 месяцев я все отрабатываю проеденное, оторванный от России, с психической невозможностью писать «фельетонишки», «рецензии» и с огромною жаждой больших фундаментальных работ: передо мной встает моя 3-ья часть «Трилоги», «Трилогия: Антихрист» (драматическая: нечто, меня преследующее всю мою жизнь с отрочества, мой «Hauptwerk»\*\*); <sup>74</sup> пора ему приходит. Далее, большая книга раздумья моего, нечто вроде соединения «Заратустры и Беме», <sup>75</sup> книга, мысли к которой зреют и которые я не могу вынимать в статейную дребедень. Мой «Sturm und Drang» \*\*\* приходит к концу: мне 32 года — и все написанное мной стоит предо мной, как эскиз; я говорю «нет» этому эскизу, но вижу в нем *контуры* большого, большого полотна. С молитвою и в глубоком покое хотел бы я остаться с самим собой перед моими фундаментальными творениями: я ношу их в себе, я слышу их силу в моем *немом*, несказанном молчании и уже ради них я обязан сказать *нет* всякой житейской суете.

\* На конверте письма — надпись рукою Метнера: «Из этого письма вынута записка о романе (стр. 2)». Само письмо написано на двойных листах, одного из которых действительно недостает, потому что разговор о «Петербурге» начинается неожиданно с середины фразы. Что представляет собой эта «записка о романе» — установить не удалось. — Ред.

\*\* Цель жизни, главное сочинение (*нем.*). — Ред.

\*\*\* «Буря и натиск» (*нем.*). — Ред.

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> года я разрывался суетою и мелочами, набирал заказы, отодвигал свои «Hauptwerken» на задний план, во имя такой-то и такой-то «книжечки».

Дорогой друг: все эти месяцы я себе говорю: «ты должен иметь силу выйти из паутины заказов для работы над фундаментальным <трудом>, или ты, как поэт, от усилия, не подогреваемого художественным императивом, сорвешься».

И я решил.

Или серьезно работать, или замолчать как писателю.

Трудность материальная, лавина неоплаченных долгов, растущая над нашими головами, последние месяцы вызывает во мне скорее не желание избежать ее, а наоборот, подставить ей голову; ибо я устал, ужасно устал, безмерно устал морально: а моральная моя усталость от невозможности успокоиться, от искания денег; едва обернешься, едва с величайшими треволнениями через голову ряда скандалов и моральных ударов выпарапашешь себе право на 3—4 месяца не думать о деньгах, едва, успокоившись, примешься за работу, как тебя со всех сторон начинают упрекать за то, что ты должен тому-то, что ты не исполнил данного обещания: словом — житейская суета. А там глядь — прошли эти три месяца и опять грозный вопрос: а чем жить? А чем заплатить уже имеющийся долг? А во имя чего занять? А откуда?

Т. е. хочу сказать: я уже не могу работать, когда самое человеческое право — право, без которого не только что работать, но и успокоиться нельзя — право на кусок хлеба и обиталище стоит под знаком вопроса. Подумайте: я пишу «Петербург» (*Петербург* лучше *Голубя* — свидетельство В. Иванова, А. Толстого, Аничкова, Эллиса, и мн. др. <...>) — а как я пишу? Имел ли я душевное равновесие во время писания? Сколько сомнений, волнений я переживал за этот год из-за права писать «Петербург». Сначала, уродуя роман (все, что написано за этот период, я вынужден сызнова переработать), я в 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца отвалил 13 печатных листов, густою и насыщенностью которых удивлялись все петербуржцы; все *не верили* мне, что я *в такой срок* написал; срочность и быстрота написания сказались в архитектурном безобразии написанного (ее я вытравливаю теперь): архитекtonика мне изгадила уже «Серебряного Голубя»: будь у меня деньги и простор времени — таков ли был бы «Серебряный» Голубь?

Спешно пишучи «Петербург», я надеялся на одновременное получение 1000 рублей к Рождеству 1911 года. 1000 рублей изгадила мне 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> главы, т. е. 13 печатных листов; кроме того: к Рождеству 1911 года я едва стоял на ногах от мозгового переутомления (существовал я за эти 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца писания долгом: я занял у Блока 500 рублей, ибо «Русская Мысль» не дала мне аванса). С Рождества 1911 года до февраля 1912 года много горького, разбивающего нервы, я пережил с *историей* с Брюсовым и Струве. Все это время до отъезда за границу я, вместо того, чтобы отдыхать, мучился вопросом, как жить и не мог работать над окончанием «Петербурга».

Наконец, перед отъездом за границу появился стремительно Некрасов; я не думал ни о чем, с отчаянием отдал ему роман, ибо я без *денег* за роман *не мог ехать за границу*, а должен был бежать в тишину: неприятности, переутомление, разрывание на части в Москве превратили меня просто в медиумическое создание; и я должен был уехать: за границу, или... в санаторию.

И вот: вместо того, чтобы в Брюсселе спокойно работать, там меня настигли сетования за роман; я от *горечи* необходимости писать и невозможности *писать*, от тревоги душевной измучился.

И вот теперь: роман еще не кончен, а вызвавшие переутомление нервное 3½ главы, которые я писал под угрозой остаться без денег, я перерабатываю.

Роман, *мое дитя*, к которому я относился с вдохновением, требовал отгороженности от «ж и т е й с к и х волнений»; и что же — самый процесс написания был окружен атмосферой ряда скандалов.

Я романа в грязь не уроню: он, может быть, лучшее из мной написанного: «ж и т е й с к у ю с у е т у» во время писания откидывал, но... какою ценою? ... Эта цена (1100 полученных до сих пор за роман рублей, т. е. 4—5-месячное житье без думы о деньгах) с *суммой скандалов* такова, что я без горечи, а совершенно объективно себе говорю «Я так больше не буду работать над большими полотнами». Достоинства романа вопреки рою сует и беспокойств есть «пиррова победа».

«Служенье муз — не терпит суеты».<sup>76</sup> Это не фраза: поиски за деньгами Пушкина привели его к состоянию почти нервной болезни, вызвавшей дуэль. Достоевский весь *скапугился* благодаря денежной нужде. Гете — не знал, что такое с величайшею душевною мукою *месяц* хлопотать о праве *полтора месяца* не думать о хлопотах.

И вот я себе говорю: у меня куча долгов; наивно было бы обманывать себя и других, что с долгами распутываешься, предлагая в счет закрепощения будущей свободы работать издательствам темы, ничего общего не имеющие с твоими личными заданиями ради права еще на 2—3 месяца отклонить от себя призрак голода и унижения.

Может быть, я не крупный художник и, может быть, мне суждено как художнику навсегда замолчать, но я должен сказать:

*Служенье муз не терпит суеты.*

Более выбарахтываться из *капюта* я не могу: я устал, смертельно морально устал заявлять, что мне интересно писать, например, монографию о старце «Федорове», чтобы в долг получить от «Пути», «Сирин», или кого бы то ни было лишних 500 рублей, когда душа моя полна *моим Hauptwerk'ом*: все равно 500 рублей будут прожиты через 2 месяца, голод не устранился, *Hauptwerk* будет стоять и звать к написанию и писать о старце Федорове будет для меня моральной мукою (ибо так же могу написать монографию об «оврагах», как и монографию о «Федорове»: тем и другим интересуюсь до известной степени, но вполне охвачен *ивым*, фундаментальным).

«...» «Сирия» хочет издать собрание моих сочинений: не верю; это опять *Майя*,<sup>77</sup> как с именем.

И пессимизм мой законен: он ограждает меня от разочарования.

Разве уж если «Сирия» меня обеспечит на два года? Тогда есть чему радоваться.

«...» И все же, спускаясь в область *Майи*, я спрашиваю дружески Вас: «Собрание моих сочинений» + «Петербург» или без? «...» Если же Вы найдете возможным, чтобы я «Сирину» запродам всю *Трилогию* (с обязательством представить и III-ью часть «Невидимый град»), то можно было бы все это продать за гораздо более дорогую цену. А я тогда дружески Вам обещаю хорошую, хорошую книгу, ничем не уступающую *Трилогии*: «Мусагету». Если бы мне 2 или 3 года выплачивали бы право жить, я за это бы время написал и III часть *Трилогии*, и первую часть «Антихриста», и книгу стихов (ведь, ей-богу, стихи не пишутся от «суеты»): в два бы года набежала большая книга стихов и первая часть «Антихриста» (драма): для «Мусагета» «...» (карт. 2, ед. хр. 78).

8 января 1913 г. <Берлин>

Я обещаю в течение этих двух лет третью часть «Голубя» — «Невидимый Град» «...» Обязуюсь в два года написать «Невидимый Град» и, может быть, Первую часть трилогии «Антихрист» (за последнее не ручаюсь: она, быть может, и не успеет через 2 года). За «Невидимый Град» — ручаюсь (карт. 3, ед. хр. 1).

<22 января 1913>

Доктор <Штейнер, — ред.> первый мне меня объясняет; и не только объясняет, но и дает реальный путь продолжения и раскрытия меня — в моем: то же, что есть для меня подлинное начало творчества, созидания в себе того, о чем до сих пор я лишь писал, как о чем-то внешнем — это подлинное начало творчества опять-таки рассматривается <критиками?> как заблуждение «...» Если я свернул в закоулок, то начало сворачивания — в 1902-ом году, т. е. я должен был бы в пластично-классической форме описывать пластично-классические образы, вместо того, чтобы лепетать о *закатах*. Поймите, в этом лепете о закате уже сидит то, что внешне может быть названо оккультизмом «...»

Нужно, наконец, меня понять и основываться на всем написанном мною, понять, что «Песнь жизни», «Символизм как миропонимание», «Эмблематика смысла»<sup>78</sup> суть фрагменты все той же, в моей душе сидящей системы, которую случайно мне еще не удалось написать «...» (карт. 3, ед. хр. 3).

<17 февраля 1913 г. Берлин>

Я теперь должен безмятежно, с постом и молитвою, работать над тем, чтобы «Петербург» был действительно серьезнее «Голубя» (карт. 3, ед. хр. 7).



〈Февраль 1913 г.〉

«...» приходится *расплавлять* главы на атомистические рудименты написанного и снова сплавлять — работа страшно кропотливая и требующая огромного напряжения → работа головой, чувством, клеем, ножницами + работа переписки; труд и моральный, и физический, не окончив которого, не могу продолжать романа (карт. 3, ед. хр. 8, л. 1).

ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1)

[Декабрь 1913 г.]

Глубокоуважаемый Разумник Васильевич!

Мне очень ценно и дорого Ваше мнение о моем романе, потому что в замысле моем виделись мне черты, абсолютно несоизмеримые с бытом, революцией и т. д. И потому-то я соглашаюсь охотно с Вами: вероятно, в романе есть крупнейшие погрешности против быта, знания среды и т. д. Революция, быт, 1905 год и т. д. вступили в фабулу случайно, невольно, вернее не революция, (ее не касаюсь я), а *провокация*; и опять-таки *провокация* эта лишь теневая проекция иной какой-то провокации, провокации душевной, зародыши которой многие из нас долгие годы носят в себе незаметно, до внезапного развития какой-нибудь душевной болезни (не клинической), приводящей к банкротству; весь роман мой изображает в символах места и времени подсознательную жизнь искалеченных мысленных форм; если бы мы могли осветить прожектором, внезапно, непосредственно под обычным сознанием лежащий пласт душевной жизни, многое обнаружилось бы там для нас неожиданного, прекрасного; еще более обнаружилось бы безобразного; обнаружилось бы кипение, так сказать, несваренных переживаний; и оно предстало бы нам в картинах гротеск. Мой «Петербург» есть в сущности зафиксированная мгновенно жизнь подсознательная людей, сознанием оторванных от своей стихийности; кто сознательно не вживется в мир стихийности, того сознание разорвется в стихийном, почему-либо выступившем из берегов сознательности; подлинное местодействие романа — душа некоего не данного в романе лица, переутомленного мозговою работой; а действующие лица — мысленные формы, так сказать, недоплывшие до порога сознания. А быт, «Петербург», провокация с проходящей где-то на фоне романа революцией — только условное одяение этих мысленных форм. Можно было бы роман назвать «Мозговая игра». В «Серебряном» Голубе» сознание героев, так сказать, без смысла и толку бросается в *стихийность*; здесь сознание отрывается от стихийности. Вывод — печальный: в том и другом случае. В третьей части трилогии формула будет такова: сознание, органически соединившееся со стихиями и не утратившее в стихиях себя, есть *жизнь подлинная*. Такова формула моего романа; но, право, я не знал, что получилось из формулы, когда

я ее облек в «Петербург». Ваше одобрение как критика и мыслителя меня чрезвычайно радует: спасибо за хорошие слова о романе.

Страшно было бы мне важно и интересно Ваше печатное мнение для меня; и главное:— поучительно. Я всегда стремился учиться у критики; но, увы: до сих пор, учился малому: меня или немотивированно одобряли, или немотивированно ругали (чаще всего последними словами); а из брани или похвалы, право, мало что вынесешь <...>

Теперь перехожу к корректурам; к сожалению, мне прислали не то место: а как раз следующие сцены за присланными мне нужны; чтобы не обременять Книгоиздательство <«Сирин», — ред.> посылкою корректур, я просто перескажу содержание сцены, которая по сложным соображениям *недопустима* в моем романе: это — сцена, где какие-то 7 человек, с нашим Незнакомцем, встреченным на улице Александром Ивановичем, сидят за столом и рассуждают о сердце, мозге, солнце, органах чувств и т. д. и т. п. Сцена эта, помнится, начинается после многоточия и кончается многоточием: сцену эту *всю убедительно прошу вычеркнуть*.

Если вы узнаете эту сцену после ее характеристики, то просто сами ее вычеркните из корректур; если не узнаете, то — следующие два листа (до «Медного всадника») я попросил бы: а в присланных мне корректурах мне исключить нечего; с корректурами опоздал, потому что пришли они в день кануна Рождества (сегодня первый день праздника): высылаю завтра утром.

Большое спасибо за просьбу дать стихи; сейчас стихов нет; есть наброски; очень скоро пришлю Вам стихи (это время я не писал: записывал строки, строчки, строфы и бросал в портфель: но теперь, после романа, хочется писать и Ваше предложение прозвучало мне приглашением писать: скоро пришлю Вам стихов). Если А. А. Блок говорил, что у него есть мои ненапечатанные стихи (а я что-то не помню), то, разумеется, если Вам стихи подходят, возьмите их на просмотр <...> (ед. хр. 4).

[Январь 1914 г.]

Глубокоуважаемый Разумник Васильевич!

Из присылки корректур мне и из телеграммы явствует, что Вы не получили очень длинного и делового письма моего, что меня крайне удручает и конфузит: письмо послано было около месяца тому назад. Там, в письме, я писал о том, что уезжаю в Лейпциг, что корректуры мне можно не посылать, что место, подлежащее вычеркиванию, указать мне легко; и со спокойною совестью уезжая в Лейпциг, полагал, что корректура мне послана не будет, и вот все-таки корректура меня ждала, а в Лейпциге я был около 2-х недель. Теперь же, по возвращении из Лейпцига, где был длиннейший ряд лекций докто́ра Штейнера, был ряд лекций в Берлине, подготовка к Генеральному Собранию<sup>79</sup> и т. д. В итоге: страшная усталость, едва рука водит пером. Поэтому заранее извиняюсь за, быть может, мало внятный тон моего письма, как и за те

qui pro quo \*, которые могли возникнуть из неполучения Вами моего обстоятельного письма, написанного месяц тому назад <...>

<...> Меня крайне порадовало Ваше мнение о моем романе: обрадовали Ваши слова, что нечто в моем романе Вас удовлетворило (что в романе ряд промахов, это я сознаю и сам); было бы мне крайне лестно и интересно видеть Ваше печатное мнение о нем (Вы писали, что собираетесь о нем писать); надеюсь, что Вы мне пришлете тогда Ваше печатное мнение (я отсюда вовсе не слежу за журналами, и ничего не знаю; писалось ли о «Петербурге» и что писалось; вообще вовсе не знаю, как выглядит он в печати). Мне самому то роман нравится, то вызывает почти отвращение; и тогда кажется, что нет позорного слова, которым бы можно было его заклеймить; и вдруг опять себе говорю: «А ведь это место недурно!» и т. д. Словом, у меня самого нет никакого мнения о романе; поэтому-то Ваше мнение мне было бы крайне и полезно, и интересно <...> (ед. хр. 5).

<4 июля 1914 г.>

Глубокоуважаемый Разумник Васильевич!

Спасибо за экземпляры «Сирин» и за прекрасное издание моего романа в «Сирине». В первый раз вижу свое произведение, не искаженное опечатками. И поскольку Вы имели касание к печатанию романа, сердечное спасибо Вам. До сих пор роковые опечатки искажали все мои произведения. А в «Петербурге» я почти не встречал опечаток; и главное расстановка знаков препинания вполне авторская. До сих пор автору не удавалось часто провести свою расстановку; и от этого терпело произведение.

Передайте «Сиринам» мою благодарность за щедрый гонорар, полученный мною за «Петербург»: благодаря нему я мог 2 года прожить на свое произведение и поэтому смог его написать; большинство моих произведений *недописано*, или писано кое-как: над «Петербургом» удалось более поработать. Уж не знаю, что вышло из этого; хотелось бы знать Ваше мнение о «Петербурге», если бы Вы когда-нибудь удосужились мне его высказать в письме; впрочем, ради бога, не пишите ничего, если Вы в делах и Вам не до писем. Более чем кто-либо, я понимаю, какая иногда бывает мука писать письма; и теперь, как раз, я в такой полосе, что перо валится из рук; три месяца, если мы не в переездах, мы в работе: строим Johannes bau\*\*,<sup>80</sup> и почти буквально: с утра до вечера со стамесками в руках работаем над капителями и архитравом (Johannes bau — деревянный); здание еще только вырисовывается, но — что за форма! Это действительно *небывалый*, воистину *новый*, воистину *оригинальный* стиль (не стиль-модерн); если можно с чем сравнить, так это с Софией (Константинополя).<sup>81</sup> Я никогда в жизни физически не работал, а теперь оказывается вполне могу резать по дереву; и что это за великолепие рабо-

\* Одно вместо другого, перен. путаница (лат.). — Ред.

\*\* Иоанново здание (нем.). — Ред.

тать самому, участвовать физически в коллективной работе над тем, что потом останется, как памятник <...>

Уходишь с утра на работу, возвращаешься к ночи: тело ноет, руки окоченевают, но кровь пульсирует какими-то небывалыми ритмами, и эта новая пульсация крови отдается в тебе новою какою-то песнью; песнью утверждения жизни, надеждою, радостью; у меня под ритмом работы уже отчетливо определилась третья часть трилогии, которая должна быть сплошным «да»; вот и собираюсь: месяца три поколотить еще дерево, сбросить с души последние остатки мерзостного «Голубя» и сплинного «Петербурга», чтобы потом сразу окунуться в 3-ью часть Трилогии. А то у меня теперь чувство вины: написал 2 романа и подал критикам совершенно справедливое право укорять меня в нигилизме и отсутствии положительного *credo*. Верьте: оно у меня есть, только оно всегда было столь интимно и — как бы сказать — стыдливо, что пряталось в более глубокие пласты души, чем те, из которых я черпал во время написания «Голубя» и «Петербурга». Теперь хочется сказать публично «во имя чего» у меня такое отрицание современности в «Петербурге» и «Голубе». Но — сперва доколочу *архитрав* нашего Вау.

Кстати; если бы Вы вздумали мне написать, то не скажете ли, какое впечатление производит «Петербург» на читателей. Я ничего не знаю, как действует «Петербург». Знаю только 2 критики Игнатова в «Русских» Вестниках.<sup>82</sup> И очень удивлен ими и в общем благодарен Игнатову; ибо при его «*Standpunkt'e*» \* он имел полное право меня пробрать без оговорок, а у него — оговорки и весьма лестные для меня. Спасибо ему <...> (ед. хр. 5).

<20 ноября 1915 г.>

<...> Теперь же сижу над 3-ей частью «Трилогии», которая разрастается ужасно и грозит быть трех-томием. Называется она «Моя жизнь»; первый том — «Детство, отрочество и юность». Первая часть тома, как и две другие части, в сущности самостоятельны; ее кончу через 2—2½ месяца; она называется «Котик Летаев» (Годы младенчества); и мне бы хотелось ее пристроить в какой-нибудь журнал, в какой — не знаю; в ней 200 страниц, 5 глав.

Работа меня крайне интересует: мне мечтается форма, где «Жизнь Давида Копперфильда» взята по «Вильгельму Мейстеру»,<sup>83</sup> а этот последний пересажен в события жизни душевной; приходится черпать материал, разумеется, из своей жизни, но не биографически: т. е. собственно ответить себе: «как ты стал таким, какой ты есть», т. е. самосознанием 35-летнего дать рельеф своим младенческим безотчетным волнениям, освободить эти волнения от всего наносного и показать, как *ядро* человека естественно развивается из себя и само из себя в стремлении к положительным устоям жизни приходит через ряд искусств к... духовной науке, потому что духовная наука и христианство

\* Точка зрения (нем.). — Ред.

для меня ныне синонимы; и детская песня души, превращенная в оркестрованную Симфонию, есть наш путь; *песенка* души — Восток; оркестровка и контрапункт — Запад: а человеческое стремление (*не сам человек*), ведущее его от песни к Симфонии, и есть *восток в западе* или *запад в востоке*.

Такова моя постановка: «Серебряный Голубь» — это Восток без Запада; и потому тут встает Люцифер (голубь с *ястребиным* клювом). «Петроград» — это Запад в России, т. е. Ариманическая иллюзия, где техницизм + голая абстракция логики создает мир Майи. «Моя жизнь» — Восток в Западе или Запад в Востоке и рождение Христова Импульса в душе.

Тут подхожу я к вопросу, Вами поставленному: не вернулся ли я к своей эпохе «Симфоний», но не по кругу, а по спирали; да, конечно; собственно, все мои статьи, книги, стихи периода после Симфоний (от 905 до 912 годов) есть перенесение настроений и устремлений («Симфоний» в ту душевную зону, где о них я уже не мог говорить; т. е. вынесение их из литературы и слова: собственно точку своего христианского устремления я нес молчаливо. Юношеская смелость и наивность высказываний заветнейшего не смела не привести к распылению самой почвы высказываний («Пепел», «Урна», «Петербург»); я не знал Аримана, а уж *конечно* он постарался в *своем царстве* задуть и исказить мне мои Симфонии; и таким искажением является 4-ая симфония «Кубок Метелей», где технические задания словесного контрапункта привели к *кощунству*. Собственно, я хотел *глубинное* одеть в *слово* и законы архитектоники слова сделали собственно пародию на меня самого: для меня показательно, что мои «Симфонии» есть собственно стремление к контрапункту переживаний, к науке переживаний и как таковые, они суть непроизвольное желание *умного пути* без знания пути *с. . .*)

В моем 3-ем романе сами собой встают мне «*новые задачи*» симфонического письма: они звучат уже, потому что я хочу коснуться положительных устремлений душевной жизни *с. . .*) (ед. хр. 6).

27 сентября 1925

..Перехожу к «Петербургу»-драме. Вы спрашиваете, что она? И пишете, что драма — 6-ая редакция; то, что будут играть, уже и не 7-ая, а вероятней 8-ая. Ибо судьба драмы такова. 6-ая редакция оказалась, по словам артистов, такой величины, что ее можно было бы сыграть лишь в 3 вечера; итак: сократил на  $\frac{1}{2}$ ; и потом опять сократил; в таком спрессованном виде она оказалась уже не тем произведением, которое написал я, а чем-то весьма напоминающим «Кино» (столько там подкинуто в жест); вот тогда-то этот несчастный костяк подвергся воздействию указаний (часто полезных) со стороны артистов и всегда ценных (со стороны Чехова);<sup>84</sup> далее начинается ряд репримандов: вступает в свои права «репертком»: и в результате: А. И. Дудкин разрезается в продольном направлении и из него появляются два типа: Неуло-

вимый, положительный, решительный, убивающий сенатора; и «дряблый интеллигент»; в результате указывается, что «положительный» недостаточно художественно углублен; пьеса разрешается к цензуре «условно»; вскоре вмешивается Луначарский и, спасибо ему, несколько давит в сторону постановки;<sup>85</sup> скелет драмы с изъятием и пришитием вступает в новую фазу пере-переработок; одна сцена рассасывается в другие, центральная 11-ая картина выпотрашивается и становится незначашей сценкой; 10, пассантная «сцена для отдыха» становится заостренным финалом и апофеозом драмы, без меня продолжают сокращения драмы, перелет частей сцены в другие (все сцены ныряют друг в друга); далее начинается творчество актеров над текстом; и я, махнув рукой, ибо от моей драмы в первоначальном виде осталась лишь тень, начинаю сознательно заменять текст «Белого» на текст «Щепкиной-Куперник»;<sup>86</sup> приходит художник и начинает «творить» декорации, о которых я ничего и не подозревал; и уже к декорациям мы все, «много нас», подсочиняем; наконец, текст обливается музыкой.

За год предварительной работы на сокращенном тексте-скелете всюду заплаты от «удачнейших» до «неудачнейших»; и этот процесс очевидно будет продолжаться до самой постановки: странное Чехово-Белого-Гиацинтово-Чебано-Берсенево-реперткомово<sup>87</sup> и т. д. «детиче» уже, конечно, не имеет отношения к основному тексту, а продукт в буквальном смысле слова коллективной работы; что из всего получится, — не знаю; я давно уже, махнув рукой на основной текст, бросился вместе со всеми артистами, художниками, режиссерами, музыкантом и реперткомом давить, мять, перекраивать это странное, всеобщее детиче, совершенно забыв, что оно мое; иногда лишь, взгляну на текст, как вчера, например, и ахну: «Да ведь писала-то Куперник!». А сам по настоянию Берсенева и Гиацинтовой вписал две «Щепкино-Куперниковских» странички. Утешаюсь, что мой текст остался у меня; и, может быть, выйдет в свет в Ленгизе под заглавием «Гибель сенатора»;<sup>88</sup> скажу лишь, что в ней, в 6-ой редакции, в сравнении с романом удивляет ход, с одной стороны, на Гоголя (момент трагикомедии), с другой — на Шекспира (момент трагедии) — в сторону от Достоевского.

А то, что будет поставлено, и что будет поставлено, мне самому неизвестно; вторичный и окончательный смотр текста реперткомом — 1-го октября; постановка в конце октября, в начале ноября; вчера опять написал заново последнюю сцену, исходя из 1) реперткома, 2) трактования разрыва бомбы Чеховым, 3) из уже написанного финального музыкального номера.

Не скажу, чтобы огорчался: меня радует одно, что артисты так увлекаются ролями, так углубленно переживают моменты хода действия, а сотрудничество Чехова и рука Чехова во всем успокаивает: все же, получится нечто интереснейшее; но получится воистину продукт коллективного творчества, в котором автор стал режиссером, а артист драматургом. Если я жалуясь на вкрапления в себя «щепкино-куперниковщины», то это жалуется литератор; и, может быть, несправедливо:

многие изменения в ролях обусловлены актерами; так, например, «говоря о» Николае» Аполлоновиче», надо иметь в виду Николая Аполлоновича» — Берсенева и т. д.

И еще скажу, что все время писал текст драмы, исходя из бесед с Чеховым; Чехов все же такой талантливый человек во всех отношениях, что, веря в него, я даже не боялся стирания в тексте себя самого; и верю, что целое — в ритмах, в умелом направлении стиля игры вынесет Чехов. Роли таковы: Сенатор — Чехов (великолепно), Софья» Петровна» — Гиацинтова (великолепно), Липпанченко — Сушкевич<sup>89</sup> (великолепно), Берсенов — Николай» Аполлонович» — надеюсь, прилично; ставят 3 режиссера: Чебан, Бирман,<sup>90</sup> Татаринов<sup>91</sup> (наш близкий «друг»); но, конечно, сквозь 3-х режиссеров режиссирует 3-ипостасный Чехов; он же специально работает над *эвритмической* стороной дела: над движениями, группами; ведь он преподавал своей группе эвритмию<sup>92</sup> и потом подкинул эту группу нам; с ней мне придется работать этой зимой на тему о «Слове».

Кстати; удивительно высок уровень МХАТа Второго (2-ой Художественный); здесь даже статисты принадлежат к высокому интеллектуальному уровню; и радует «моральный пафос» всей труппы (л. 16—17).

МАТЕРИ (АЛЕКСАНДРЕ ДМИТРИЕВНЕ БУГАЕВОЙ)

(ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 359)

12 февраля <1911>

<...> в предстоящие годы, пока я не закончу трилогии «Голубя», за которую получу (за обе части) не менее 5 тысяч, мне будет крайне трудно. Долг «Мусагету» 3000 я отрабатываю постепенно фельетонами; он погасится в 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub> года; летом я пишу «Голубя». Может быть, летом «лето?» мы с Асей проводим у Софьи Николаевны<sup>93</sup> в Боголюбах; там я пишу «Голубя». Обе части дадут мне до 5—6 тысяч рублей. Но пока я их напишу, пройдет года 2; а пока на эти года мне необходимо спокойно работать (л. 42).

[Лето 1912], Франция.

Только что в Германии появился роман мой «Серебряный голубь» в очень изящном виде и с предисловием, где меня сравнивают с Гоголем. Получил письмо от немецких издателей, предлагающих перевести и издать в Германии мой второй роман «Петербург» <...> Тороплюсь окончить мой «Петербург» до июля, чтобы *свободным и уютным* ехать слушать Штейнера (л. 92 об. — 93).

# ПРИЛОЖЕНИЯ





*Л. К. Долгополов*

## ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА А. БЕЛОГО «ПЕТЕРБУРГ»

По его спине пробегала дрожь. Его тошнило: он чувствовал себя мерзко под опекой времени.

Он хотел бы удалиться за черту времени, да не знал, как это сделать.

А. Белый. Симфония  
(2-я, драматическая)

### ОТ «СИМФОНИЙ» К «СЕРЕБРЯНОМУ ГОЛУБЮ» И ЗАМЫСЛУ ТРИЛОГИИ

#### 1

Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) был одной из наиболее примечательных фигур литературного движения предреволюционной эпохи. Он родился в 1880 г. в Москве, в семье известного профессора математики Н. В. Бугаева. По настоянию отца поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, которое окончил в 1903 г. Однако, убедившись вскоре, что его интересы лежат не в сфере физико-математических наук, он поступает в 1904 г. на филологический факультет того же университета. Но окончить его Белому не довелось: бурная литературная жизнь захватила его, и он целиком отдался творчеству.

По собственному признанию Белого, писать он начал пятнадцати лет. В 16—17 лет уже писал стихи, окрашенные влиянием Гейне, а также Верлена и Метерлинка.<sup>1</sup> В первые годы нового века Белый — автор трех прозаических книг необычной литературной формы, которые он сам назвал «симфониями», а также сборника стихов «Золото в лазури». В даль-

---

<sup>1</sup> См. автобиографическую заметку А. Белого: Известия АН СССР, серия литературы и языка, 1980, № 6, с. 502.

нейшем он выпускает «Четвертую симфонию», сборники стихотворений «Пепел» и «Урна». В 1909 г. в журнале «Весы» печатается повесть Белого «Серебряный голубь».

К этому времени Белый становится одним из наиболее активных участников символистского движения в России. В книгах и статьях, в рецензиях, публичных выступлениях Белый, активно поддерживаемый В. Брюсовым, излагает философские и эстетические основы символизма, подкрепляя теоретические декларации художественной практикой.

Однако как человек, живущий интенсивной духовной жизнью, экспансивный и постоянно ищущий, внутренне стихийный и увлекающийся, к тому же тонкий наблюдатель за процессами, происходящими в действительной жизни, Белый как раз в практике художественного творчества выходит подчас далеко за пределы символистской доктрины. Во многих его произведениях объективно выразился тот общий подъем, которым жило русское общество в годы, непосредственно предшествовавшие первой революции, а также в годы самой революции. На них лежит печать породившего их времени, а не одних только субъективистских построений. Дело осложнялось еще и тем, что под давлением событий действительной жизни русский символизм вступает в преддверии 1910-х гг. в полосу кризиса, который и нашел свое открытое выражение в полемике, развернувшейся на страницах журнала «Аполлон». Ощущение недостаточности индивидуалистической эстетики явственно пронизывает теперь творчество всех ведущих представителей этого течения. В те же годы, когда Белый приступает к «Петербургу», А. Блок начинает работать над поэмой «Возмездие», в которой стремится воплотить в художественных картинах и исторически достоверно жизнь России на рубеже XIX—XX вв.

Подходя к замыслу «Петербурга», Белый двигался в общем русле развития русской литературы начала века. Ее центральной темой становится к 1910-м гг. широкая тема кризисного состояния, в котором оказалась ныне Россия. Тему эту затрагивают не только Блок и Белый, но М. Горький и И. Бунин, Л. Андреев и А. Ремизов, Б. Зайцев и А. Серафимович и др. И очень важно то, что материалом, на котором она решается, оказываются в ряде характерных случаев события первой русской революции.<sup>2</sup> Они приобретают значение важнейшего рубежа, которым завершается большой отрезок времени в истории страны. А сама Россия вырисовывается теперь в сознании писателя как пограничная страна, расположенная — и с географической, и с нравственно-психологической точки зрения — на пересечении двух противоположных тенденций миро-

<sup>2</sup> Подробнее о характере литературного развития в 1910-х гг. см. в нашей книге «На рубеже веков. О русской литературе конца XIX—начала XX века» (Л., 1977, с. 53—59). О символизме и роли Белого в этом течении см. разделы: «Символизм» (в кн.: Русская литература конца XIX—начала XX в. 1901—1907. М., 1971, с. 229—318) и «Модернистские течения и поэзия межреволюционного десятилетия» (в кн.: Русская литература конца XIX—начала XX в. 1908—1917. М., 1972, с. 215—371).

вого исторического развития — «западной» и «восточной». Проблема России становится мировой проблемой; ее судьба приобретает значение всемирно-историческое.

К такому решению проблемы приближается и Андрей Белый. Но в отличие от своих современников он замыкает рамки повествования границами Петербурга. И здесь имелась своя закономерность. Одной из центральных тем всего творчества Белого 1900-х гг. становится тема города; не Петербурга пока еще, но города вообще. Этот город, встающий со страниц и «Золота в лазури», и «симфоний», и «Пепла», подавляет своей сутолокой и суетой, многоцветьем реклам, желтым безжизненным цветом фонарей. Город воспринимается Белым как замкнутое кубами домов, улицами и перекрестками пространство, где подавлен человеческий дух, где нет подлинной свободы, где нет и не может быть никакой естественности — ни чувств, ни стремлений, ни дел. Человек тут частица замкнутого мира, он живет как бы под колпаком, забыв о том, что есть на свете иная, естественная жизнь, есть поля и леса, горы и небо, есть солнце — источник живой жизни. Одно из обличей героя раннего творчества Белого — обличье «полевого пророка», попавшего в город, где ему душно; он пытается открыть людям глаза на противоположный характер их жизненного устройства, но, не понятый и осмеянный ими, объявленный сумасшедшим, горько страдает. Он одинок в этом людском скопище.

Прямая линия тянется отсюда к роману «Петербург», который явился высшим воплощением и завершением темы города в творчестве Белого. Само возникновение этой темы (не только у Белого, но и у многих других поэтов и писателей рубежа веков) было вызвано обстоятельствами исторического развития России во вторую половину XIX в., когда после отмены крепостного права и проведения ряда буржуазных реформ город начал становиться капиталистическим городом, центром буржуазной культуры, которая вскоре стала расцениваться не как культура в собственном смысле слова (т. е. выражение духовных потребностей), а как цивилизация (т. е. выражение внешнего усложнения жизненных процессов, отодвигающего на задний план и подавляющего внутренние потребности человека как личности). Наиболее полное и законченное воплощение идея несовместимости культуры и цивилизации найдет вскоре в статьях и докладах А. Блока. Вплотную подходит к ней в начале века и Андрей Белый.

Символом гибели подлинной культуры, подавления человеческой личности становится для него Петербург.

Город проспектов и огромных площадей, европейских дворцов и регулярных парков, прудов и фонтанов, прямых линий Васильевского острова и сырых доходных домов, город уходящих в туманную бесконечность электричеством блестящих мостов каждый раз поражал воображение Белого. Какая-то таинственная связь существовала между ними.

Белый был коренным москвичом, он родился и вырос в Москве, и детство, и юность его прошли в московской квартире в условиях устойчи-

шегося профессорского быта, который, однако, уже подрывался и расшатывался изнутри — истериками матери, вышедшей замуж за нелюбимого человека, растерянностью и замкнутостью отца, раздвоенностью сына, метавшегося в чувствах своих от матери к отцу и от отца к матери.

«Неприкаянностью», чувством катастрофы, отсутствием оседлости Белый и был привязан к Петербургу, хотя глубоко не любил его и относился к нему с опаской и предубеждением. «В Петербурге я турист, наблюдатель, не житель...» — жаловался он Блоку.<sup>3</sup> Бывал Белый в Петербурге нечасто и не стремился задержаться надолго, хотя каждый его приезд таил в себе для него внутреннюю значительность. И получилось так, что на многих важнейших поворотах жизненной и творческой судьбы Белого Петербургу суждено было играть решающую роль. Не Москвой, а Петербургом навеяны темы и образы главного его романа; не Москва, а Петербург оказался местом, где сосредоточились важнейшие личные интересы и привязанности Белого в зрелый период его жизни; в Петербург рвался он за разрешением конфликтов, от которых зависело дальнейшее течение его жизни.

Туманным призраком вошел Петербург в сознание Белого. В пятой главе романа он обращается к нему: «Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый: но ты — непокойный призра́к: ты, бывало, года на меня нападал; бегал и я на твоих ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост...»

Но несмотря на отношение к городу, как к воплощенному ужасу, привязанность Белого к Петербургу была совершенно магической. В Петербурге жил Блок — самая продолжительная, самая непростая, самая значительная привязанность Белого. Они сходились и на многие годы расходились, но помнил о Блоке и чувствовал его значение в своей жизни Белый всегда. В Петербурге жила и Любовь Дмитриевна, дочь Д. И. Менделеева и жена Блока, страсть к которой, пережитая Белым в 1905—1907 гг. во всей ее изнуряющей и опустошающей полноте, резко повлиявшая на всю судьбу его, дала Белому возможность с такой полнотой проявить себя, свои чисто человеческие и творческие возможности и способности, с какой вряд ли он сумел бы это сделать, если бы встречи с Л. Д. Блок не произошло.

Вся эта совокупность фактов определяет сложное — и родственное, и глубоко трагическое, враждебное — отношение Белого к Петербургу. Связанная с ним совокупность импульсов, личных и творческих, безусловно оказывается в дореволюционные годы для Белого гораздо важнее совокупности импульсов, связанных с Москвой.

Тема Петербурга самой историей выдвинулась в эти годы на первое место среди прочих тем, также связанных с историческим будущим России. Ее наличие в романе Белого, аналитическое, всестороннее изображение того «переворотившегося» состояния, в какое пришла Россия

<sup>3</sup> «Переписка», с. 325.

вместе со своей столицей в стремительные дни 1905 г., делают «Петербург» одним из наиболее важных явлений европейской литературной жизни XX в.

Вместе с тем проблема русской истории имеет в этом романе совершенно специфическое истолкование. Специфика эта вызвана тем, что Белый находился в том русле решений вопроса об исторической судьбе России, которое было связано с именем Владимира Соловьева и которое опиралось на представление о России как о реальном водоразделе между двумя мирами — западным и восточным.

У Белого — «свой», очень определенный Петербург, прямо связанный с пушкинской традицией, которая с гениальной прозорливостью была воплощена в поэме «Медный всадник». Поэма эта составила эпоху в литературной истории петербургской темы. Ее образы вновь возникли, стали жить своей, но уже новой жизнью на страницах романа Андрея Белого. Медный всадник и Евгений вновь встретились, вновь пересеклись их жизни, но уже не как враги столкнулись они, а как союзники, как проводники одной исторической тенденции. Белый восстанавливает, воссоздает саму коллизию пушкинской поэмы, но он по-своему истолковывает ее. Он переосмысляет ее в соответствии с теми воззрениями на сущность нынешнего исторического периода, которые формировались на рубеже XIX и XX в., хотя действующими лицами оставляет персонажей «Медного всадника», которые и становятся под пером Белого символами его эпохи.

Так получилось не только потому, что Пушкин, согласно Белому, дал в своей поэме мировой всеобъемлющий символ, дал ту интерпретацию соотношения личности и государства, которая в истории культуры имела пророческое значение. Дело тут не столько в Пушкине, сколько в самом Белом. Не меньше, чем из Пушкина, он заимствует в своем творчестве из Гоголя, Достоевского, Некрасова, Вл. Соловьева, Блока. Мотивами их он пользуется, как своими собственными, на их идеи опирается, их образы истолковывает и перетолковывает заново, оставаясь при этом, однако, самим собой.

Вторжение в чужую сферу творчества не было для Белого делом необычным. Этого требовал динамизм его внутреннего развития, экспрессивный и экспансивный характер его личности вообще. Как это ни покажется странным, но личное отношение выражено в творчестве Белого слабее, нежели те «общие» идеи, которыми жила эпоха рубежа веков. Он в большей степени «представитель времени», чем оригинальный мыслитель. Он как бы носил в себе дух эпохи, дух времени. Он до предела был заряжен электричеством, которое было разлито в воздухе не только в период между 1905 и 1917 гг., но и раньше, в годы, предшествовавшие первой революции. Он носил в себе это «электричество», он жил им, жил предчувствиями и ожиданиями «взрыва» и вселенского преображения, делая их центральным объектом изображения и в «Золоте в лазури», и в «симфониях», и в «Серебряном голубе», и в «Пепле», и, наконец, в «Петербурге», где конденсация идей, ко-

торами жила эпоха начала века, достигает небывалой силы и выразительности. Белый в меньшей степени стремился к созданию оригинальной художественной и историософской концепции, нежели к усвоению и образной реализации тех «пророчеств» и предчувствий, которые принесли в литературу его великие предшественники.

Но поскольку рубеж XIX и XX вв. был действительно эпохой великого перелома, когда предсказания и предчувствия писателей прошлого обретали плоть и кровь, как бы реализовались в конкретных социальных и общественных сдвигах и потрясениях, эти писатели и стали для Белого опорой в его художественных, историософских и философских построениях. Никто из современников Белого не использовал так широко и так открыто опыт предшественников вплоть до прямых заимствований, как это делал он сам.

Уже первое опубликованное произведение Белого — «Симфония (2-ая, драматическая)» целиком построено на исторических взглядах и эсхатологии Владимира Соловьева. Белый стремится создать здесь новый, небывалый в русской литературе тип прозаического художественного произведения, в котором невыраженный непосредственно смысл доминировал бы над тем, о чем сказано, что изображено в непосредственной художественной форме. Отдельные отрывочные фразы, зарисовки, сцены, монологи и диалоги объединяются не внешней связностью повествования (хотя она имеется и может быть прослежена), а внутренним, скрытым смыслом, который раскрывает себя в общей идее приближающихся мировых изменений и потрясений. Эта идея находит свое выражение в заимствованном у Вл. Соловьева образе «Жены, облеченной в солнце», явление которой предчувствуется всеми «персонажами» повести.

В момент создания драматической «Симфонии» (она создавалась в 1901 г., вышла в свет в 1902 г.) Белый не обладал ни опытом, ни писательским мастерством, чем и объясняется тот факт, что идеи непосредственно прокламируются либо в авторских «ремарках», либо в репликах «действующих лиц», хотя это как раз и облегчает усвоение мистического содержания «Симфонии». В общих чертах оно может быть сведено к мысли о том, что под покровом внешних фактов и событий действуют таинственные силы, которые и определяют в конечном итоге ход и характер мировой истории. Обе эти сферы одинаково важны Белому. История окостенела, окостенели формы ее проявления, окостенело и человеческое сознание, утратившее способность воспринимать и выражать «невыразимое». Расплатать эту окостенелость, оживить сознание, сделать его более гибким и восприимчивым способна будет высшая гармонизирующая идея, которую Белый вслед за своим учителем Вл. Соловьевым воплощает в образе «Жены, облеченной в солнце».

В этих трех аспектах, трех сферах (внешние факты и события, под покровом которых действуют таинственные силы; ход мировой истории; гармонизирующая идея как единственное спасение) и раскрывается реальное художественно-философское содержание «2-ой симфонии». Неза-

менно она явила собой почву, на которой возник впоследствии и оформился не только замысел «Петербурга», но и трилогии в целом. «Петербургу» в этой трилогии принадлежит центральное место и по реальному положению, и по значению. Конечно, в «Петербурге» концепция «Симфонии» претерпит существенные изменения, она усложнится, преодоление реально текущего времени будет происходить здесь не по линии замещения его отвлеченным символом, а по линии выдвижения на передний план нравственных основ личности, ее способности к перерождению в процессе индивидуального совершенствования. Правда, и его Белый будет воспринимать в общефилософском (вневременном) аспекте, всего лишь как отвлеченный выход из тупика истории. Но важно то, что от Владимира Соловьева переход совершится к Л. Толстому, к идее внутреннего и внешнего опрошения, которая станет теперь в глазах Белого воплощением идеи гармонии. Внутренне переход этот уже подготовлен тем «осмеянием» «крайностей мистицизма», предпринятым во «2-ой симфонии», о котором Белый писал в предисловии к ней. Мировая гармония может быть достигнута только путем индивидуального опрошения и совершенствования, — к такому выводу придет Белый в процессе разработки замысла трилогии.

Но значение «2-ой симфонии» в разработке и кристаллизации замысла этим не подрывается. Общий очерк будущего «Петербурга», который здесь дан, — несмотря на то что он лишен пока социальной и исторической конкретности — заинтересовывает нас прежде всего своей близостью к тем сценам и отступлениям романа, в которых раскрывается его идейное содержание. Это и пришедшее от Гоголя, Достоевского, Л. Толстого отрицательное отношение к западноевропейской цивилизации, явившейся на смену великой европейской культуре, — отношение, которое дословно перейдет затем и в «Серебряный голубь», и в «Петербург»;<sup>4</sup> это и восприятие города (в данном случае Москвы, поскольку «действие» «Симфонии» происходит в Москве) как воплощенного кошмара, наваждения; это и типичная для мировоззрения Белого проблема соотношения восточного и западного начал как главных тенденций развития мировой истории; это и проблема России, ее исторической миссии как звена, находящегося между Западом и Востоком. Это и другие проблемы, вскользь намеченные, но уже отчетливо отложившиеся в сознании Белого.

Бал в доме некоего «аристократического старичка» примет в «Петербурге» (вплоть до деталей) вид бала-маскарада в доме Цукатовых — важнейшего поворотного момента в развитии фабулы романа. Также и обитатель сумасшедшего дома Петруша (он же Риегге, он же «грозовой Петр» и Петр-Гроза, «дикие очи» которого блещут «зелеными мол-

<sup>4</sup> «Он думал — отсиял свет на западе и темнокрылая ночь надвигалась из-за туманного океана.

Европейская культура сказала свое слово... И это слово встало зловещим символом... И этот символ был пляшущим скелетом...» (Белый А. Симфония (2-я, драматическая). М., 1902, с. 124, 131).



ниями) перерастет впоследствии в Петра Дарьяльского («Серебряный голубь»), которому суждено погибнуть, но так и не найти соединительных путей между Западом и Востоком, а в «Петербурге» окончательно отольется в фигуру «рокового» царя, с тем же своим признаком — зеленым цветом (цвет петровского мундира, цвет Медного всадника и «кишачей бациллами» невской воды) и в сопровождении тех же проблем, что сопровождают в «Симфонии» появление несчастного «Петруши».<sup>5</sup>

Но имелся в творчестве Белого и еще один важный момент, столь же явственно проявившийся в общем замысле трилогии и частично реализованный в романе «Петербург». Мы имеем в виду взгляд Белого на характер мировых видоизменений, который в раннем творчестве его с наибольшей отчетливостью получил воплощение в следующей, «Третьей симфонии», имеющей символическое заглавие «Возврат». Если «2-я драматическая симфония» дает нам общий очерк будущего «Петербурга» со стороны его проблематики и отчасти изобразительных сцен, то «Возврат» вводит нас в систему философских взглядов Белого, лежащих в основе философии «Петербурга» и помогающих нам осознать ту сложную систему не только социальных и общественно-значимых, но природно-мировых, «космических» видоизменений, в которую втянуты все главные герои этого романа.

Движение жизни, если понимать это слово широко (причем, не только исторической, но и доисторической, праисторической, «природно-вселенской»), имеет, согласно Белому, круговой характер, оно есть сложная система «возвратов», в которой каждое последующее воспроизведение, сохраняя всю видимость самостоятельности, сохраняет вместе с тем и прочную связь со своим праистоком. В результате то или иное явление предстает перед ним в нескольких проявлениях одновременно: и как уже бывшее, далекое, и как настоящее, новое, и как возможное будущее.

Так, Николай Аполлонович, главное лицо «Петербурга» — одновременно и русский интеллигент начала XX в., эпохи революционных потрясений и общественных сдвигов, и древний «туранец», таинственными нитями связанный с ордами Чингис-хана, в жилах которого течет кровь его доисторических предков. Его отец — Аполлон Аполлонович — одновременно и могущественный сенатор, глава Учреждения, управляющего жизнью самодержавной империи, и любящий неловкий отец, и некое вневременное и внепространственное явление, занимающее определенное место в космогонии Белого и отождествляемое им с Сатурном, как определенной стадией в системе мировых перевоплощений. Третий герой романа — Александр Иванович Дудкин — и террорист-нищеец, подпольный деятель по кличке Неуловимый, и пушкинский Евгений из «Медного всадника», взятый в перспективе его возможной судьбы, и вневременной символ извечно гонимого по «периодам времени» ски-

<sup>5</sup> См. подробней в ст.: Долгополов Л. К. Символика личных имен в произведениях Андрея Белого, — сб. Культурное наследие древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 351.

тальда и неудачника. Да и сам Петербург в романе — и европеизированный город, столица огромной империи, и некая таинственная точка соприкосновения мира «потустороннего» с миром реальным, подлинным, и место, где столкнулись, объединившись, две главные тенденции мирового исторического процесса — «европейская» и «азиатская», «западная» и «восточная».

Над миром — миром «природы», миром людей и их судеб, над историей, над отдельным человеческим «я» — тяготеет проклятие времени, проклятие прошлого, некогда бывшего, но по сути близкого, почти аналогичного тому, что есть сейчас, оказывая воздействие на формирование «видовых» качеств, как и качеств личности.

Так уже в первых прозаических произведениях («симфониях») Белого, несмотря на всю их формальную необычность, обнаруживается зерно его будущих романов. Сам Белый этого пока еще не видит. Он продолжает разрабатывать именно эту форму — форму «симфонии», надеясь внутри нее отыскать средства для реализации своих сложных замыслов. Вслед за третьей, он выпускает в 1908 г. «четвертую симфонию» — «Кубок метелей», но на этом и останавливается. Продолжения не последовало, материал, которым овладевал он и который все в большей и большей степени соотносился в его сознании с происходящим в действительной жизни, естественным образом взрывал изнутри искусственную форму «симфоний».

17 июля 1906 г. Белый пишет из деревни художнику В. Владимирову, с которым был связан еще по кружку московских символистов («аргонавтов»): «События у нас закипают с быстротой. Вся Россия в огне. Этот огонь заливаает все. И тревоги души, и личные печали сливаются с горем народным в один *красный ужас*.

Нет слов ярости, нет проклятий достаточно сильных, которыми можно бы было заклеймить позор продажного правительства, которое *даже народ* предает теперь немецким и австрийским штыкам <...> я верю только в одно: в насильственный захват власти. Воронежская губерния в огне, даже у нас и то волнения. *Крестьяне правы, удивляюсь их терпению*. И затем внезапно добавляет: «Я переезжаю на жительство в Петербург. *Иначе мне нельзя*. Придется мне надолго забыть мечты о Риккертте и т. д.»<sup>6</sup> Через пять дней после приведенного письма Белый пишет матери, обсуждая с ней вопрос о роспуске Государственной думы: «Теперь же, когда Дума гнусно затоптана, остается одно: обратиться к народу. Кругом нас варварски распоряжаются казаки... Мой долг в деревне приказывает мне *не быть* с казаками».<sup>7</sup>

Решительность настроений и выражений Белого не может не обра-  
тить на себя внимания.

<sup>6</sup> Собрание В. В. Владимирова (г. Ленинград). Мысль о необходимости переезда в Петербург возникла у Белого под воздействием отношений, которые развивались у него в это время с Л. Д. Менделеевой-Блок. Намереваясь связать с нею свою жизнь, он и хотел переселиться в Петербург.

<sup>7</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358, л. 61.

Но вот Белый, получив решительный отказ от Л. Д. Блок и изгнанный ею из дома, в крайне тяжелом состоянии, близком к помешательству, уезжает осенью того же 1906 года за границу. И сразу погружается в литературные замыслы. Драматизм пережитого им — и в личном, и в общественном плане — охватывает его целиком. Он видит для себя один только выход — в приобщении к России, ее судьбе и страданиям народа. Он пишет Э. К. Метнеру: «А вот что всерьез — это моя любовь к России и русскому народу, единственное, что во мне не разбито <...> И вера в будущность России особенно выросла здесь, за границей. Нет, не видел я ни в Париже, ни в Мюнхене рыдающего страдания, глубоко затаенного под улыбкой мягкой грусти, не видел я лиц, у которых бы пробежала дрожь от умственных впечатлений <волпений?>».<sup>8</sup>

И буквально в это же время делится с матерью литературными планами, имеющими грандиозный характер: «По возвращении в Россию приму все меры, чтобы обезопаситься от наплыва ненужных впечатлений. Перед моим взором теперь созревает план будущих больших литературных работ, которые создадут *совсем новую форму литературы*. Чувствую в себе запас огромный литературных сил: только бы условия жизни позволили отдаться труду. Здесь в Москве я столько истратил сил и слов на ничтожных людей, был какой-то выючной лошадкой и в результате — переутомление и нервное расстройство, в котором я находился последние месяцы. Благодарю судьбу и тебя, что я попал в Мюнхен».<sup>9</sup>

Переоценить значение этого письма трудно. Новые литературные замыслы выводят Белого за пределы «симфоний», в чем легко убедиться, сопоставив даты: к 1906 г. Белый был уже автором трех «симфоний» и, следовательно, не с ними сопряжена была его надежда на создание «*совсем новой*» литературной формы.

Но вот в каком конкретно соотношении эта надежда Белого находилась с оформлявшимся замыслом романа, сказать трудно. 1907—1908 гг. — вообще наиболее неясный период в истории «Петербурга». К. Бугаева и А. Петровский в своем обзоре литературного наследства Белого составили специальную подборку его высказываний, а также газетных и журнальных сообщений, касающихся нового прозаического замысла, сведения о котором стали к этому времени проникать в печать. Поскольку материалы, приводимые в обзоре, чрезвычайно важны, воспроизводим составленную подборку целиком: «В письме от 18 июня 1907 г. Белый извещал Брюсова: „К июлю... примусь за повесть“, а осенью того же 1907 г., собираясь переезжать в Петербург, сообщал Блоку, что будет там „писать свою «Иглу»“; и Блоку же в письме от 20 марта 1908 г.: „...засел дома... Пишу повесть“. Кроме того, в жур-

<sup>8</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 51.

<sup>9</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358, л. 78 об.—79. Письмо из Мюнхена, осень 1906 г.

нале „Черевал“, 1907, № 10, стр. 51 есть заметка о том, что роман А. Белого „Адмиралтейская игла“ выйдет в изд. „Гриф“ зимой того же года и что „центральная фигура романа — Пушкин“. А в 1908 г. в московской газете „Вечер“, 3 июля, № 31, в отделе „Литературное эхо“ сообщалось, что „Андрей Белый закончил новое произведение, озаглавленное им «Адмиралтейская игла». Автор назвал свое произведение историческим романом“. Впоследствии заглавие „Адмиралтейская игла“ стало одним из намечавшихся заглавий романа „Петербург“». <sup>10</sup>

Не исключено, подчеркивают авторы обзора, что новое произведение, о котором идет речь, и было связано с одним из первоначальных, еще не отстоявшихся замыслов «Серебряного голубя», поскольку 3 ноября 1907 г. в «Литературном календаре» газеты «Час» напечатано: «А. Белый переезжает в Петербург, где намерен работать над новой повестью „Серебряный голубь“». (По времени эта заметка совпадает с письмом к А. Блоку о намерении писать в Петербурге «Иглу»).

К этим сведениям можно добавить следующие. Весной 1907 г. в цитированной выше важной автобиографической заметке Андрей Белый написал о себе: «В настоящее время работает над повестью „Серебряный голубь“ и книгой „Теория символизма“». <sup>11</sup> Эта автобиографическая заметка не была известна К. Бугаевой и А. Петровскому и в обзор не попала. Очень определенно Белый назвал здесь повесть, приводя ее готовое заглавие. Следовательно, к весне 1907 г. замысел «Серебряного голубя» уже сложился и Белый даже приступил к работе над ним. Имеется и еще одно свидетельство, содержащееся в воспоминаниях Н. Валентинова. Приводя разговор с Белым, состоявшийся в 1908 г., Н. Валентинов пишет, что во время разговора Белым было сделано такое признание: «Уже два года как я задумал большой роман о революции. В фундаменте его — революция 1905 г., а от нее этаж повыше, *путь дальше*. Основные символы романа у меня смонтированы. Я, вероятно, дам ему название „Тени“ — тени прошлого, тени будущего». Автор воспоминаний комментирует: «Очевидно, о будущем „Петербурга“ мне и говорил Белый». <sup>12</sup>

Все эти материалы позволяют, как нам кажется, сделать вывод о том, что Белый в эти годы работает одновременно над двумя произведениями — тем, которое так и осталось «Серебряным голубем», и романом, не имеющим пока твердого заглавия («Адмиралтейская игла», «Тени»), оказавшимся впоследствии «Петербургом». Очень сомнительно, чтобы речь шла тут о каком-то третьем произведении (как предполагают авторы обзора в «Литературном наследстве»), следов которого к тому же никаких не сохранилось.

Два эти произведения обозначили две главные темы, вызревание которых определили те линии, в сфере которых происходило формирова-

<sup>10</sup> ЛН, с. 599.

<sup>11</sup> ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, ед. хр. 35, л. 4.

<sup>12</sup> Валентинов Н. Два года с символистами. Stanford, California, 1969, с. 180.

ние художественного мирозерцания Белого в годы революции и в годы реакции. Это тема России и тема Петербурга, в ином плане — тема деревни и тема города. Тема России, страны, находящейся на каком-то важном историческом рубеже, впервые оформляется у Белого в статье «Луг зеленый» (1905), затем мощным потоком вливается в его поэтическое творчество (стихи сборника «Пепел»), получая законченное выражение в повести «Серебряный голубь». Тема Петербурга как рокового и противоестественного города оформляется у Белого в полемических статьях 1906—1908 гг., получая свое сравнительно законченное выражение в статье «Иван Александрович Хлестаков» (1907), непосредственно предваряющей «Петербург». Белый потерпел поражение в жестоком любовном «поединке» с Л. Д. Блок, и теперь он смотрит на происшедшее, как на поражение в «поединке» с Петербургом. Со страниц «Весов», поддерживаемый Брюсовым, он обрушивает на петербургских писателей потоки обвинений. Он уличает их в самых различных прегрешениях — в легкомысленном отказе от былых «увлечений» мистикой и индивидуалистической эстетикой, в том, что часть из них (молодые) позволяет себе осмеивать заветы «отцов», не усвоив и не освоив эти «заветы» по существу, и т. д. Достается всем — не только ведущим литераторам (Д. Мережковский, А. Блок, Вяч. Иванов), но и недавно вступившим на литературное поприще (С. Городецкий, К. Эрберг, М. Гофман).

В ходе полемики в статьях Белого и вырисовывается образ Петербурга как общее широкое обозначение мрака, пошлости и серости, карьеристско-службистских наклонностей и отсутствия «живого» дела. В статье «Штемпелеванная калоша» и особенно в статье-импровизации «Иван Александрович Хлестаков» создается зловещий образ призрачного города, населенного не людьми, а их теневыми подобиями, в котором убита живая жизнь, а в темных углах притаилась провокация (он считает, что был спровоцирован Любовью Дмитриевной, возбудившей в нем не любовную страсть, а сладострастие). Черт, с которым, по мнению Мережковского (к нему отчасти присоединяется Белый), боролся всю жизнь Гоголь и который есть не что иное, как олицетворение «мирового зла», осел туманом над столицей Российской империи. Белый начинает статью-импровизацию: «Петербург, серый, туманный, точно нахмуренный от глубокой-глубокой думы.

Или наоборот: Петербург, занавешенный чьей-то думой, глухой, как сон лихорадочного больного. А эти люди, бегущие с тросточками по Невскому, и не знают, не подозревают, чья дума охватила туманом их тщедушные тела с бледными, позеленевшими лицами: они хватаются за котелки, строят гримасы вместо улыбок, заботясь больше о том, чтобы бумага не высшалась из портфеля».

Это не люди, а тени людей, их двойники и «заместители», расплывшийся Хлестаков — «вечное марево, окутавшее серой дымкой Россию, веси и города, и больше всего град Петров». На фоне этого «нечистого» тумана «грозым предостережением» взлетает Медный всадник:

«Медный всадник вздыбился конем над скалой, чтобы перебросить Россию через бездну на новую скалу новой жизни, но встали тени, оплели коню ноги.

И Медный всадник века тут стоит в застывшем порыве среди нечистых сетей тумана. О, когда же, когда же рассеются тени — котелки, перчатки, трости, орденские знаки, собравшиеся гурьбой вокруг него, чтобы затопить туманом!

Когда же слово покроет „писки“ „нежителей, недотыкомков, чертяк“, и взлетит Россия — Медный всадник — в глубокую свободу безоблачной лазури.

А пока — ужас, ужас...»<sup>13</sup>

Мы видим, как близко и, вместе, как далеко отсюда до «Петербурга». Медный всадник здесь еще недифференцированное олицетворение России, ее живых сил. Но он — во власти «нежителей»: они оплели ноги копыю, сдерживая его порыв, хотя сам конь готов совершить прыжок в неведомое будущее — «в голубую свободу безоблачной лазури». Вспомним «Петербург»: «Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко ввелились в гранитную почву — два задних». Медный всадник как воплощение Петербурга и сам Петербург как символ России и выражение ее исторической трагедии — эта связь и своеобразная «иерархия» требует от нас особо пристального внимания к статье «Иван Александрович Хлестаков».

Но в период первоначального оформления замысла нового произведения (или новых произведений) две эти темы — города и деревни — как видим, еще присутствуют в сознании Белого раздельно. Отныне его усилия будут направлены на то, чтобы объединить, слить их вместе. Это была для него непростая задача. Окончательно она будет решена только в «Петербурге», причем произойдет известная трансформация: тема России предстанет здесь уже не как деревенская тема, а как *тема государства* (хотя с оглядкой на деревню), историческим роком поставленного в промежуточное положение между Западом и Востоком. Опыт «Серебряного голубя» скажется в «Петербурге», но не прямо и непосредственно. Более непосредственным окажется для Белого опыт «2-ой симфонии», но не со стороны формы, а со стороны идей и содержания.

## 2

«Серебряный голубь» был закончен Белым в 1909 г. и тогда же напечатан в журнале «Весы». В 1910 г. повесть эта вышла отдельным изданием уже с предисловием, в котором о ней говорится как о первой части трилогии. Написано предисловие в апреле 1910 г. (дата указана Белым).

---

<sup>13</sup> Белый А. Иван Александрович Хлестаков, — Столичное утро, 1907, 18 октября, № 117.

Очевидно, рубеж 1909—1910-х гг. и явился поворотным моментом в истории тех сложных размышлений, которые привели Белого в конце концов и к «Петербургу», и к замыслу трилогии. Это вообще важная веха и в личной, и в творческой биографии Белого. Окончен и напечатан «Серебряный голубь». Опубликован второй сборник стихов «Пепел», которым ознаменован новый — трагический — период в развитии Белого-поэта. Вслед за ним в этом же году выходит третий сборник стихов — «Урна», — подводивший итоги годам «несчастной любви». В 1910 г. выходит в свет важнейший теоретический труд Белого — сборник статей «Символизм», предисловие к которому писалось одновременно с предисловием к «Серебряному голубю» (апрель 1910 г.). Центральная статья сборника «Эмблематика смысла», написанная в 1909 г., вплотную подводит нас и к философии «Петербурга», и к антропософским увлечениям Белого. Ее смысл — отрицание конечных ценностей как в самой действительности, так и способах ее познания; творчество, утверждает Белый, может быть только творчеством жизни, что в свою очередь есть проникновение в смысл божественной тайны мира. Эстетика оборачивается этикой, символ оказывается при таком подходе выражением «музыкальной стихии души», «единством переживаний», олицетворением бесконечного обновления наших знаний о мире и о самих себе.

В этот же год имели место и другие события, повлиявшие, как это видно из содержания романа, на окончательное оформление замысла «Петербурга», хотя поначалу роль их была подспудной, незаметной. События эти — разоблачение агента охранки Азефа, занимавшего высокий пост в Боевой организации партии социалистов-революционеров, и открытие в Петербурге конного памятника Александру III. Оба они пришлось на первую половину 1909 г., когда Белый был поглощен писанием «Серебряного голубя», и оба получили широкий резонанс в обществе.

Подробности провокаторской деятельности Азефа, роль правительства, пошедшего на сделку с провокатором, большая оправдательная речь председателя Совета министров П. А. Столыпина — все эти материалы широким потоком хлынули на страницы демократической печати. В газетах появились портреты Азефа; имя его стало нарицательным. Белый внимательно следит за газетами; в его сознании история Азефа вырастает до размеров грандиозного обобщения; провокации придают в «Петербурге» черты исторического рока, во власти которого находится Россия.

Что же касается открытия памятника Александру III (23 мая 1909 г.), то это событие могло иметь значение для Белого в том отношении, что в столице появился новый конный монумент императору, который приходил в невольное сравнение с Медным всадником. Обрисовывался как бы целый период в истории России, охватывающий двести лет — от эпохи Петра I до настоящего времени. Сравнение это было одиозным, чему способствовал и характер этих двух монументов: там, на Сенатской площади, вздернутый на дыбы конь, величественная фи-

гура царя в порфире и с простертой вперед рукой; тут, на Знаменской площади, тупой и тяжелый конь, громоздкая фигура царя, смотрящего исподлобья в темя коню. Соседство этих двух памятников служило в глазах общества наглядной иллюстрацией того пути, который был проделан Россией за два последних столетия.<sup>14</sup> С одной стороны, страна в преддверии своего величественного «европейского» будущего, открытого Петром, с другой — само это «будущее», ставшее нелепым и жестоким настоящим. Под таким углом зрения и будет Белый исследовать в «Петербурге» историю страны. Вслед за Вл. Соловьевым он будет отыскивать в ней разнородные начала, противостоящие явления и черты, но в отличие от Соловьева историческую загадку России Белый будет решать путем их сближения, а не противопоставления.

Россия оказалась, согласно Белому, страной, где сошлись главные тенденции мирового исторического процесса, но, сойдясь, они не «примирились» и примириться им, считает он, не суждено (на что, собственно, и рассчитывал Вл. Соловьев, видя в этом примирении историческую миссию России). Белый видит выход для нее в преодолении обеих этих тенденций — и «восточной», и «западной», — что должно будет вернуть страну к национальным истокам, к той исторической почве, на которой созидалась ее культура и в допетровский и в домонгольский период. Вопрос о возможности соединения «между Западом и Востоком», поставленный еще в «2-ой симфонии», решается там декларативно, но отрицательно: «Запад смердит разложением, а Восток не смердит только потому, что уже давным давно разложился!»<sup>15</sup>

Первую попытку художественной реализации этой концепции Белый и предпринимает в «Серебряном голубе». Обращение к традиционной форме повести-романа означало отказ от условно-повествовательной манеры «симфоний». Но означало оно и другое — неудачу, которую потерпел он в попытках создать «совсем новую форму литературы», о чем писал матери из Мюнхена. Белый основательно модернизирует традиционную форму повести-романа (главным образом за счет усиления лично-лирического начала), но оставляет нетронутым сам принцип рассказа (повествования), лежащий в основе любого повествовательного жанра.<sup>16</sup>

Но вместе с тем переход от «симфоний» к тому типу прозаического повествования, который был представлен в «Серебряном голубе» и без которого не смог бы сформироваться стиль «Петербург», имеет свою прочную внутреннюю последовательность, несмотря на то что речь здесь должна идти о полной смене одного стиля прозаической речи другим. От изображения обобщенно-символических психологических состояний,

<sup>14</sup> См., например, «Русское слово» от 6 июня 1909 г.

<sup>15</sup> Белый и А. Симфония (2-я, драматическая), с. 204.

<sup>16</sup> Показателен и такой факт: переиздавая в 1922 г. в Берлине свою «Третью симфонию» «Возврат», Белый убирает с титульного листа слово «симфония», обозначая в подзаголовке: «повесть». Повестью называет он «Серебряный голубь», романом — «Петербург».



за которыми угадывается очень условная этическая концепция, Белый переходит к индивидуализированным, хотя и символически-многозначным характерам, за которыми без особого труда угадывается конкретная историческая концепция. Не изолированные психологические состояния интересуют теперь Белого, а люди — носители этих состояний. Известная условность сохраняется и здесь, но теперь она уже не связана с той опасностью отклонения в сторону аллегории, которая явственно ощущается в «симфониях». Не сделай Белый того резкого перехода, который совершил он, обратившись к «Серебряному голубю», он оказался бы вынужденным вплотную подойти к аллегории. В «Серебряном голубе» условность повествовательной манеры связана уже с прямыми тенденциями к расширению границ типического обобщения. Белый не был к моменту создания «Серебряного голубя» таким же опытным мастером прозы, каким был, скажем, к моменту создания «Мелкого беса» Федор Сологуб, добившийся в образе Передонова классически-нерасторжимого слияния черт типических и символических. Поэтому некоторая условность лиц и ситуаций в «Серебряном голубе» ощущается довольно отчетливо.

Белый изображает здесь религиозную секту «голубей», находящуюся в деревне Целебеево, в которую попадает горожанин, студент Петр Дарьяльский.<sup>17</sup> Он приехал в деревню к своей невесте, которую зовут Катей: она является внучкой и наследницей местной помещицы немецкого происхождения Тодрабе-Граабен. Секта «голубей» символизирует в романе начало темное, восточное, история семьи Тодрабе-Граабен, как и сама помещица-бабушка, есть олицетворение начала западного, европейского. Между этими двумя полюсами мечется герой романа Петр Дарьяльский; это молодая Россия, ищущая своего пути в мире.

Уже из этого видно, как далеко ушел Белый от стиля и образной символики «симфоний», насколько резкой была происшедшая смена изобразительных манер. К. Мочульский справедливо говорит о «Серебряном голубе», как о «стилистической революции», как о первом произведении, в котором Белый продемонстрировал новые для него приемы прозаического письма.<sup>18</sup> Это была сказовая манера, восходящая по своим истокам к гоголевской манере. Влияние Гоголя как автора «Страшной мести», «Старосветских помещиков», «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и даже «Шинели» здесь чувствуется явственно. Если в «симфониях» Белый действительно стре-

<sup>17</sup> Его реальным прототипом явился друг Белого поэт-символист Сергей Соловьев (племянник Владимира Соловьева), в действительности собиравшийся одно время связать свою жизнь с крестьянской девушкой и уйти жить в деревню. «Реальное» же Целебеево — городок Таруса Калужской губернии, где действовала сильная хлыстовская секта «голубей» (на многих могилах тарусского кладбища имелось изображение голубя); о Тарусе и ее «голубях» Белому рассказал тот же С. Соловьев (см.: Цветаева Марина. Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым. — Москва, 1967, № 4, с. 128).

<sup>18</sup> Мочульский К. Андрей Белый. Париж, 1955, с. 157.

мился создать оригинальный стиль, то теперь, поставив перед собой несравненно более сложные задачи, он ищет опоры и находит ее в Гоголе.

Он оперирует здесь деревенской тематикой, но деревенская тема получает неожиданную форму дилеммы, затрагивающей всю страну в целом: что она такое — Восток или Запад? Какая из этих двух главных (по мнению Белого) тенденций проявила себя в России с наибольшей силой? В такой постановке вопроса и проглядывает будущий «Петербург», как проглядывает он и в той сказовой манере, которая была опробована Белым впервые именно в «Серебряном голубе». В «Петербурге» вся эта совокупность проблем получит такое широкое разветвление, вызовет к художественной жизни такое количество аналогий, ассоциаций, образов, какого она еще не вызывала и не получала ни в одном произведении русской литературы. Это была для нее новая тема, возникшая лишь на рубеже XIX—XX вв. и связанная с целым комплексом событий мировой истории. Главным из них явился выход на историческую арену стран азиатского востока — нового исторического «образования», противостоявшего буржуазному западу. Перед Белым возникает вопрос о силах, повинувшись которым Россия и вступает в новый круг своего бытия из «безгрозных томлений мертвой полосы русской жизни», как характеризовал он вторую половину XIX в.<sup>19</sup> Разгром самодержавной России в русско-японской войне Белый воспринимает символически: он обозначает будто бы общее укрепление Востока, который есть для него олицетворение неограниченной власти, тирании одних и порабощения других. Это — темное начало, «исступление» духа и плоти, неконтролируемая страсть, отчасти — стихия подсознания, искони таящаяся также и в русской душе и готовая выплеснуться наружу. Крайнее выражение этих качеств Белый находит в сектантстве, почему и делает одним из центров повествования изображение секты «голубей», протестуя вместе с тем против отождествления ее с хлыстами; хлыстовство — это уже аномалия, Белому же нужна крайность, но типическая.

С другой стороны, силой, ввергающей Россию в период потрясений, оказывается революционное брожение. Белый воочию наблюдал события, которыми началась первая революция. Он видел своими глазами все то, чем стал знаменит январь 1905 г. Он был потрясен грандиозностью происходящего. Он видит в революции неизбежное, исторически оправданное и необходимое крушение основ самодержавно-буржуазного строя, хотя откладывается она в его сознании, как и в сознании его соратников по символизму, преимущественно со своей стихийно-разрушительной стороны.

И, как всегда у Белого, в повествование вплетается момент личный. Персонализации и символизации личных переживаний он всегда придавал большое значение. А самым значительным из всего пережитого им в эти годы была трагическая и ничем не завершившаяся страсть его к Любови Дмитриевне Блок. Воспоминания о ней, тяжелые и мучи-

<sup>19</sup> «Арабески», с. 91.

тельные, Белый пронес через всю свою жизнь. Он встретился с женщиной «земной» во всех отношениях, сильной и своевольной. Ни она, ни он не смогли разобраться в том, что с ними происходит. Но мысли и надежды, вызванные Любовью Дмитриевной, были глубоки и значительны. Он полюбил ее страстно и самозабвенно, он твердо решил соединить с нею свою жизнь. Но вот произошел разрыв. После мучительных объяснений Белый получил окончательный отказ. Случилось это в сентябре 1906 г.

Оправившись от потрясения и покинув Петербург, Белый начинает по-новому переосмысливать свои отношения с Л. Д. Блок и ту роль, какую она, по его мнению, сыграла в его судьбе. Именно духовности он теперь и не видит в ней, а только низменную страсть. Он останавливает внимание на Асе Тургеневой (урожденной Бакуниной), дворянской девушке, с которой познакомился еще в 1905 г. в Москве на концерте Олениной-д'Альгейм. В 1909 г. он сближается с Тургеневой и ее семейством — матерью и отчимом — и в конце 1910 г. уезжает с нею за границу. Так, в окружении двух женщин — одной в мыслях, другой в жизни — Белый проводит теперь свое время. Он остался таким же, каким был и прежде — экспансивным, стремительным и в мыслях и в жестах, фантастически работоспособным, деятельным и мечтательным, но что-то в его отношении к жизни надломилось. Ему воочию открылась ее мрачная, трагическая сторона, подспудная темная струя, способная жестоко ранить человека.<sup>20</sup>

Как и Белый, Петр Дарьяльский стоит между двумя женщинами. С одной стороны, это Катя, его невеста и наследница поместья (которое как будто вот-вот будет продано за долги), с другой — темная баба Матрена, «духиня», «богородица» секты «голубей». Она-то и вызывает в душе Дарьяльского темную страсть, которая отвращает его от Кати и приводит в соприкосновение с сектантами. Сектанты же всячески содействуют сближению Дарьяльского с Матреной: они ожидают, что Матрена родит от него ребенка, который и станет воплощением бога на земле. По мысли Белого, это был один из возможных вариантов судьбы молодого поколения русской интеллигенции рубежа веков — слиться с «народом», с самым темным его слоем, и там, в глубине, будить в людях религиозное самосознание. Так поступил, кстати, один из ранних русских декадентов, хорошо известный в символистских кругах А. М. Добролюбов, ушедший в народ и ставший во главе религиозной секты. (О нем Белый иносказательно упоминает в «Серебряном голубе»). Белому, как можно полагать, не кажется этот путь плодотворным; Дарьяльский погиб, и косвенной виновницей его смерти была Матрена.

Иной характер носят его отношения с Катей. Катя — это Ася Тургенева, новая спутница жизни Белого, символ уходящей дворянской

---

<sup>20</sup> В письме к Э. К. Метнеру из Мюнхена (1906 г.) он пишет о том, что Л. Д. Блок кажется ему теперь «больше мира, больше солнца, и чернее ночи» (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 51).

культуры, утонченных манер, внутреннего и внешнего изящества. Это прошлое России, которому суждено доживать в разваливающихся и запустевающих усадьбах.

Однако именно эта Россия — Россия Кати, пленительной, но беспомощной пани Катерины, умирающая в своих внешних формах, таит в глубине своей плод будущего — будущее возрождение. Плод этот — ее «тайна» (очевидно, тютчевская: ее и умом не объять, и аршином не измерить), ее «несказанность», ее «мировая душа».

Не понял этой тайны Петр Дарьяльский, не внял молчаливому зову Кати, пани Катерины, России, — ушел от нее, оставив одну погибать в руках «колдуна». Приятель Дарьяльского теософ Шмидт успокаивает Катю; его слова имеют столь же расширительный и символический смысл, как и образы романа, и, чтобы понять их, надо уловить их скрытое значение: «— Петр думает, что ушел от вас навсегда; но тут не измена, не бегство, а страшный, давящий его гипноз <...> Примиритесь, Катерина Васильевна, не приходите в отчаянье: все, что ни есть темного, нападает теперь на Петра; но Петр может победить; ему следует в себе победить себя, отказаться от личного творчества жизни; он должен переоценить свое отношение к миру; и призраки, принявшие для него плоть и кровь людей, пропадут; верьте мне, только великие и сильные души подвержены такому искусу; только гиганты обрываются так, как Петр <...> Пока же молитесь, молитесь за Петра!»<sup>21</sup>

Подсознательное начало, стихия страсти, выступившая наружу в отношениях Дарьяльского с Матреной, привели его к потрясению и моральному краху. Но Белый обобщает картину. Он говорит здесь обо всей молодой России, отвернувшейся от «тайны», скрытой в недрах ее народа и отдавшей себя во власть темной и стихийной силы.

Матрена и ее страсть и есть для Белого Восток, засевший в самом сердце России, со всеми его отклонениями и аномалиями. Стихия, под- сознание всегда страшили Белого своей бесконтрольностью и отсутствием духовного начала. Присутствуя на сектантском «радении», Дарьяльский, пишет Белый, «уже начинал понимать, что то — ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то темная бездна востока прет на Русь из этих радением источенных тел. „Ужас!“ — подумал он...» (с. 260).

Но есть в романе возможность и иного пути — на запад: он раскрыл бы перед Россией иную перспективу, повторил бы поворот, однажды — в эпоху Петра Великого — ею уже совершенный. Россия ныне снова находится на грани исторического поворота, заново решается вопрос о ее будущем, и вполне естественным следует считать появление в литературе фигуры Петра I.

Провозвестником и «пропагандистом» пути на запад выступает в романе сын старухи-помещицы Тодрабе-Граабен петербургский чиновник

---

<sup>21</sup> Белый А. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. М., 1910, с. 173—174. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи.

высшего ранга Павел Павлович. Он даже в деревне ходит в перчатках, носит крахмальные рубашки. Это европеец с головы до ног; тщательно выбритый, пахнущий одеколоном, он резко выделяется на фоне обитателей русской деревни. Он-то и соблазняет Дарьяльского: «Вот итальянское небо светит и греет; но то на западе. . .»

— Проснитесь, вернитесь обратно, — и показывает по направлению к Гуголеву.

— Куда? — в испуге вскидывается Петр.

— Как куда? На запад: там ведь запад. Вы — человек запада; ну, чего это пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно. . .» (с. 256). Европейская культура манит к себе Дарьяльского: он знает ей цену, — недаром Белый сам стоит за его спиной. Но он отвергает ее. Откровенно гоголевско-славянофильский характер носят в «Серебряном голубе» обличения запада: «Задумался Петр: уже весь сон запада прошел перед ним и уже сон отошел; он думал: многое множество слов, звуков, знаков выбросил запад на удивленье миру; но те слова, те звуки, те знаки — будто оборотни, выдыхаясь, влекут за собой людей, — а куда? Русское же, молчаливое слово, от тебя исходя, при тебе и остается: и молитва то слово. . .»

Жить бы в полях, умереть бы в полях, про себя самого повторяя одно духометное слово, которое никто не знает, кроме того, кто получает то слово <. . .> Много есть на западе книг; много на Руси несказанных слов. Россия есть то, о что разбивается книга, рассыпается знание, да и самая сжигается жизнь <. . .>» (с. 227—228). Белый дословно повторяет здесь Гоголя.

И вот тут на сцену выступает Пушкин с «Медным всадником». Можно предположить, что для Белого имелась своя скрытая, но значительная ассоциация: *Петр Дарьяльский — Петр Великий*. Но Дарьяльский — это уже Петр Великий, перед глазами которого прошли и ушли, не дав ничего, двести лет связи России с западом: сон запада прошел и отошел, а Россия, как стояла, так и стоит ныне в нетронутой деревенской красе своей. И во внешнем облике Дарьяльского подчеркивает Белый сходство с императором России: «. . . у, какой у него могучий вид, какая красная у него грудь (Дарьяльский одет в красную рубаху. — Л. Д.), будто пурпур треплется в ветре холодном. . . у, какой у него ус, шапка какая волос, будто пепел горячий свивается с головы этой, где очи, зеленым огнем теперь блеснувшие, — уголья, прожигающие душу до тла!» (с. 123—124). Это гоголевский метафорический стиль, хотя используется он для утверждения ассоциации и с пушкинской поэмой, и с памятником Фальконе.

Петр Дарьяльский — и своеобразный «вариант» Петра Великого, уже как бы испытавшего разочарование в своем деле, и символ новой России, снова очутившейся на историческом перепутье. Он явно предвещает Петра «Петербурга» — уже в «Серебряном голубе» у Петра Дарьяльского оказываются «распаленная грудь» и «стальные руки», «зеленый огонь» очей (с. 124). Он «гигант», по словам Шмидта, он относится

к числу «великих» и «сильных» натур. Он проводит жизнь свою в борьбе «за будущий миг жизни» и самого себя он считает «будущностью народа» (с. 103).

Но ищет это будущее Дарьяльский в прошлом. Исторический Петр связал Россию с Западом: союз этот, по мнению Белого, не дал ничего, кроме механической цивилизации, т. е. изменения лишь внешних сторон жизни, убивающего душу народную и превращающего Россию в «спящую красавицу». <sup>22</sup> Поэтому новый деятель, новая Россия должны искать будущее в прошлом, которое рисуется Белым (вслед за Гоголем) в тонах всенародной идиллии. Запад — одна крайность, Восток — другая. Между этими двумя крайностями мечется герой романа. Он — Петр (и даже Петрович!), но он и *Дарьяльский*; Дарьял же — ущелье, проход, ворота (в переводе с персидского — «дверь»), открывающие путь европейцам в Азию, т. е. на Восток. И наоборот, — открывающие доступ из Азии в Европу. В каком направлении откроется эта дверь, Белый в «Серебряном голубе» не говорит. Очевидно, для него самого это еще вопрос, не разрешенный историей. Судьбу страны и должно решить молодое поколение, и решит оно ее в зависимости от того, в каком направлении откроет свои *ворота души*.

Белый не пришел пока в этой своей первой повести к утверждению идеи тождественности Запада и Востока по их губительной роли для России, которая составит внутренний драматический узел «Петербурга». В «Серебряном голубе» мысль о Западе и Востоке присутствует в виде общего предположения о наличии в мире двух крайних тенденций общественного и психологического развития, между которыми очутилась Россия. В «Петербурге» эти две тенденции сольются в одну; из этого слияния образуется мистически-роковое тождество, которое будет грозить России тузиком. И там-то Белый, уже на более широком материале, станет искать для нее выход, но уже вне истории, «помимо» нее и над нею.

В обстановке смутных ожиданий возникает в «Серебряном голубе» и другой предваряющий «Петербург» мотив — мотив *испанской луковичи*, которую носит в кармане приятель Дарьяльского «мистический анархист» Чухолка. Прочно связанное с нею постоянство реально существующей угрозы сопровождает Чухолку, где бы он ни появился. Генерал Чижиков пророчески и с тревогой осведомляется: «Э, да не бомба ли это?» А сам Чухолка в момент столкновения со старухой-помещицей угрожает: «да я... я... я вас взорву!» (с. 127, 130). Здесь явно предчувствуется мотив «сардинницы ужасного содержания» (террористической бомбы), который проходит в «Петербурге» через весь роман, также создавая впечатление реально существующей угрозы.

---

<sup>22</sup> «Каналы европеизации засосут русские поля, — говорил Белый еще в 1907 г., до „Серебряного голубя“. — Россия носит в себе великую тайну. Тютчев, конечно, прав: Россию нельзя измерить европейским аршином, у нее особенная стать» (Валентинов Н. Два года с символистами, с. 110).

Ощущение тревоги, неблагополучия жизни, пронизывающее роман от начала до конца, и делает «Серебряный голубь» произведением по-своему значительным, несмотря на то что в самих образах главных действующих лиц создать художественное впечатление значительности Белому так и не удалось. Но он создал здесь особый сказовый стиль письма. многозначный и гиперболизированный, изобилующий намеками, вроде, например, красной рубахи, в которую одет Дарьяльский и которая является прямым предвестием красного домино Николая Аполлоновича. Эта последняя деталь особенно для нас существенна. Возможно, что именно здесь находится то звено, которое в самом ядре замысла объединяет эти два романа. В красную рубаху одет Дарьяльский — красным шутом называют Николая Аполлоновича герои «Петербурга». А вот что сообщает Белый Э. К. Метнеру в июне 1910 г., когда «Серебряный голубь» уже был закончен и напечатан: «<...> я уже две недели в деревне <...> собираюсь писать драму (хочется летом ее написать): драма должна называться „Красный шут“».<sup>23</sup>

Переход к «Петербургу» совершен. *Красный шут* — это уже не Дарьяльский, а будущий Николай Аполлонович, центральная фигура нового романа, действие которого развивается на фоне событий 1905 г.

## ОТ «СЕРЕБРЯНОГО ГОЛУБЯ» К «ПЕТЕРБУРГУ»

### 1

В течение всего 1910 и следующего 1911 г. Белый уже смотрит на «Серебряного голубя» как на первую часть трилогии и, пытаясь продолжать ее, называет в письмах всю трилогию по заглавию первого произведения.

Весной 1911 г. Белый с А. А. Тургеневой возвращается в Россию. Он ищет заработка. «Весы», верным и постоянным сотрудником которых был Белый, прекратили свое существование. Что было делать? И тут Белый вспомнил о В. Брюсове, перешедшем после прекращения «Весов» в «Русскую мысль», выходящую под редакцией П. Б. Струве.

Это был уже другой Брюсов — осторожный, лояльный по отношению к недавним противникам. Терпеливо отстаивал он интересы журнала, остерегаясь публикации вещей, которые, как он сам говорил, могли бы «гусей раздражить». Бывший «боец» превратился в либерального деятеля, заменившего некогда любимую им тактику наступления на тактику выжидания.

Осторожную политику повел Брюсов и с Белым, когда тот обратился к нему с предложением сотрудничества. Предложение было принято доб-

<sup>23</sup> ГБЛ, ф. 167, картон 2, ед. хр. 14. Драму «Красный шут» Белый так и не написал, хотя упоминания о ней сопровождают его письма к Э. К. Метнеру и в декабре 1910, и в январе 1911 г.

рожелательно, хотя никаких обязательств на себя редакция «Русской мысли» не взяла. Струве вообще широко раскрыл двери перед символическими: они уже не были изгоями, их теперь не страшились и «солидные» издания. Он ставил только одно условие: доступность того, что они хотели печатать в его журнале, широким слоем «культурной» публики. К «благопристойности» Струве пытался приучить и Брюсова. Он широко использовал его литературные связи, но во всех важных случаях вопрос о напечатании того или иного произведения решал сам.

В 11 и 12 номерах «Русской мысли» за 1910 г. были помещены положительные отзывы о повести «Серебряный голубь». Повесть Белого вызвала определенный интерес, и как раз в кругах, близких к редакции «Русской мысли». Это, возможно, и побудило Белого обратиться с предложением сотрудничества к Струве и Брюсову. 29 сентября 1911 г. Белый сообщает Э. К. Метнеру важнейший факт: «Имел полтора часовой разговор со Струве о „Голубе“: хотел получить *аванс*: Струве — ни за что. Он обещает: приносите рукопись и тотчас же получите деньги сполна. Последний срок подачи 15 декабря. В два с половиной месяца обязан написать 15 *печатных листов*, иначе нечего будет есть».<sup>24</sup> В таких обстоятельствах и возникла идея написания «Петербурга» именно для «Русской мысли».

Вместе с тем Брюсов не мог не чувствовать, что Белый с его необычной стилистической манерой и большим зарядом критического отношения к существующему общественному порядку может оказаться чуждым «Русской мысли». Еще в 1910 г., делясь со Струве планами относительно критического отдела журнала, он предупреждает его: «Для II отдела у меня имеется только статья Белого о Достоевском <...> Я перечту ее еще раз, но, сколько помню, она вообще не подходит для „Русской мысли“».<sup>25</sup>

Но Струве и без напоминаний понимал, что с Белым так просто дело не обойдется. Если Брюсов был просто *осторожен* по отношению к Белому (хотя роман его он считал для «Русской мысли» бесспорным), то Струве проявлял не только осторожность, но прямую *настороженность*.

Сам же Белый находится в это время в чрезвычайно затруднительном положении. В поисках заработка он вынужден растрчивать свое время на мелкую газетную и журнальную работу, но, с другой стороны, у него нет и достаточно отчетливого представления о характере второй части «Серебряного голубя», которая по предварительным планам должна была иметь заглавие «Путники» (основу ее сюжета должны были составить поиски сенатором Тодрабе-Граабен исчезнувшего Дарьяльского). Лето 1911 г. Белый проводит вместе с А. А. Тургеневой в деревне Боголюбы, в доме ее отчима лесничего В. Кампиони. Осенью они возвращаются в Москву, откуда снова уезжают на дачу — вначале на одну, затем на другую. Белый тоскует по оседлости, ему надо писать роман,

<sup>24</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 2, ед. хр. 49.

<sup>25</sup> ИРЛИ, ф. 444, № 45, л. 13.



а для этого требуются тишина и спокойствие. Но жить негде, денег нет, приходится скитаться по углам, предоставляемым случайными знакомыми.

Впоследствии Белый подробно описал в воспоминаниях обстоятельства, при которых он должен был работать над новым романом.<sup>26</sup> Здесь он и излагает версию о том, что, согласно договоренности со Струве и Брюсовым, он должен представить к январю 1912 г. 12 печатных листов (согласно другим его показаниям — 15), т. е. часть романа, и по представлении получить за них аванс без предварительной «цензуры» Струве. Ту же версию Белый излагает и в раннем варианте воспоминаний (в так называемой «Берлинской редакции» «Начала века», 1922—1923 гг.). В действительности же дело обстояло несколько иначе. Трудно предположить, чтобы Струве при его настороженном отношении к Белому так сразу и согласился на печатание романа без предварительного знакомства с ним. Кроме того, он же сам еще задолго до получения рукописи говорил Брюсову, что роман Белого принят «лишь условно». Он вовсе не хотел рисковать репутацией журнала, вовсе не оппозиционного. И он смотрел на свой договор с Белым по-иному. Так, на запрос Брюсова относительно сроков выплаты гонорара Белому, Струве очень четко и в соответствии с действительностью ответил: «С Белым мы условились, что он получит гонорар по представлении всей рукописи и по прочтении ее мною. Таким образом, пока реализация гонорара всецело зависит от него. Я же не задержу его вещи».<sup>27</sup>

Мы видим из писем и Струве, и Белого, что никакого заказа, к тому же еще и официального, Белый не получал. Было предложение со стороны Белого и очень уклончивый ответ (согласие, но ни к чему не обязывающее) со стороны редактора-издателя «Русской мысли».

Белый в предельно удрученном состоянии: совсем нет денег, не на что жить. Действительно заказанные ему Брюсовым и Струве путевые очерки, которые должны были быть напечатаны в «Русской мысли» осенью 1911 г., отвергнуты редакцией на том основании, что в журнале и без того «много географии». В исступлении он пишет в середине ноября 1911 г. отчаянное письмо А. Блоку, в котором говорит: «Я *должен* или бросить литературу и околачиваться в передних попечителя округа, или потребовать у общества, чтобы А. Белый, могущий писать хорошие вещи, был обществом обеспечен. И я требую от всех людей, кому я, как писатель, нужен, чтобы *писателю* не дали умирать с голоду <...> Нет ли в Петербурге такого человека, или журнала, который не даст подохнуть А. Белому и не заставит его клянуться *у меценатов* о возможности существовать? <...> через две недели я зареву *благим матом* у всех порогов богатой буржуазной сволочи: „Подайте Христа ради, А. Белому“».<sup>28</sup>

<sup>26</sup> См. раздел «Дополнения», с. 505—510 наст. изд.

<sup>27</sup> ИРЛИ, ф. 444, ед. хр. 65, л. 3 об.

<sup>28</sup> «Переписка», с. 276—277.

Таким человеком оказался сам Блок. Располагая деньгами, он тут же выслал Белому необходимые ему 500 рублей. На какое-то время выход из положения был найден.

В эти же осенние месяцы 1911 г. произошло и другое событие, коренным образом повлиявшее на содержание второй части трилогии. Вплотную приступив к роману, Белый обнаружил, что прямого продолжения «Серебряного голубя» у него не получается. Он все еще называет свой новый роман «второй частью Голубя», но здесь больше говорит инерция замысла, нежели реальное содержание уже совершенно нового романа. Скрытая, внутренняя эволюция идеи, овладевшей сознанием Белого еще в период «Серебряного голубя», — идея России, стоящей на границе двух миров, взаимоотношение между которыми — и притягивание, и отталкивание — определяет собой характер ее исторической судьбы, эта идея теперь уже требовала отказа от специфически деревенской сюжетной и образной системы «Серебряного голубя». Поэтому появление темы Петербурга как центральной темы нового произведения оказалось естественным.

Произошел еще один слом стилистической манеры Белого. Он обратился к созданию новой системы, мало в чем напоминающей сказовую систему «Серебряного голубя» (как эта последняя мало в чем напоминала систему «симфоний»). В «Петербурге» имеется свой сюжет, который может быть рассмотрен в «чистом» виде; имеются и описания, и лирические отступления, и авторские характеристики действующих лиц. Но это одна только сторона поэтики романа. Монологический принцип выдерживается Белым не до конца, и, надо полагать, сделано это сознательно. Большое место в романе занимает воспроизведение (не описание, а именно воспроизведение) душевного состояния героев в тот или иной ответственный, решающий момент жизненной судьбы. Создается как бы система душевных состояний, взаимодействующих друг с другом, но до известной степени изолированных друг от друга, замкнутых в себе как в особом изолированном мире. Совершенно особое место занимает образ города, данный как воплощение объективно существующей, реальной и подлинной, независимой от авторской оценочной сферы бытия. Сочетание этих двух сторон, двух линий — монологически-повествовательной и полифонической, объективно данной — и составляет главное в структуре «Петербурга» с точки зрения поэтики. При этом и сам сюжет произведения, несмотря на всю изначальную важность, теряет в ходе повествования свое значение, приобретает качество служебного элемента (несмотря на всю свою прагматическую достоверность и значительность); он вбирается и растворяется фабулой, во всей ее идейной многослойности и функциональной многозначности. Идея призрачности, нереальности реального мира, восходящая по своим истокам к идеализму Шопенгауэра, как бы материализуется в романе, переходя из сферы идейного содержания в сферу поэтики. Именно она-то и объединяет разрозненные сцены романа и всех его действующих лиц в одно художественное целое, не давая ему разложиться, распасться на отдель-

ные, весьма чуждые друг другу элементы, из которых оно в сущности состоит.

Каждый из героев романа — и «герой» в собственно художественном смысле, и носитель системы символических значений, которые придаются ему автором, вовсе не стремящимся ни к реалистической достоверности, ни хотя бы к логической обоснованности, т. е. ко всему тому, с чем обязан был считаться автор классического романа. В этом и состоит прежде всего особенность «Петербурга» как символистского романа; его герои — в такой же степени условные знаки, как и жизненно достоверные типы. Объединение этих двух аспектов, которое в иных условиях могло бы показаться невозможным или труднодостижимым, Белым достигается сполна. На помощь ему тут и приходит та общая идея, лежащая в основе его философской концепции, которая вытекает из представлений Белого о нереальности реального мира. Ведь именно эта идея лежит в основе «Петербурга». Она-то и является цементирующим средством, сплавливающим в одно художественное целое разнородные и разностильные элементы романа; она держит на себе роман как единое и завершенное художественное целое, держит эту пирамиду, вбирая в себя, растворяя тот произвол логических и исторических ходов и выходов Белого, которые немедленно обнаружили бы это свое качество, не имей они под собой такого прочного основания. Ведь в нереальном мире, мире теней и праздной мозговой игры, возможно все что угодно.

Чтобы разрушить эту пирамиду, надо разрушить ее основание, т. е. увидеть в героях романа характеры-типы, действующие в типических же обстоятельствах. Роман Белого немедленно окажется бредовым нагромождением нелепостей. Белый видит эту опасность — опасность непонимания, и он ищет себе опору, как делал всегда раньше. Он находит ее опять же в Гоголе, но теперь уже как авторе петербургских повестей, а не «Миргорода», а также в Достоевском как авторе петербургских романов и отчасти «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Следование Белого Достоевскому было невольным, вынужденным, потому что Белый считал, что Достоевский никуда не ведет читателя, не указывает ни выхода, ни исхода, что для Достоевского психология изображаемого лица — не цель, как говорил он, а всего лишь «средство». Но тем более важны для нас те элементы поэтики Достоевского, которые сравнительно легко могут быть обнаружены в «Петербурге».

Белый демонстративно и наглядно усиливает условно-символическое в персонажах своего романа, благодаря чему черты типические и символические перекрещиваются, переплетаются, почти сливаются. Необходимое и условное, подлинное, достоверное и вымышленное, обобщенно-гротескное с редким художественным мастерством слиты в романе Белого. Таких экспериментов до него не производил никто. И в первую очередь это относится к главному «персонажу» романа — городу Петербургу. Линия, идущая от Гоголя и Достоевского и связанная с отношением к Петербургу как к городу нереальному, призрачному, фантастическому, находит в романе Белого как бы свое завершение, подходит

к тому пределу, дальше которого без риска утратить всякое правдоподобие она как будто уже и не может продолжаться. Поворот Белого в сторону изображения жизни большого города имел и свои последствия. Вышли на поверхность и стали жить своею жизнью новые герои — жители города, столицы огромной империи, раскинувшейся на огромных пространствах с запада на восток. Пограничный характер имеет эта империя, пограничный характер имеет и ее столица; и двойственным оказывается облик ее жителей — героев нового романа. На первый план выдвинулись образы-символы статьи «Иван Александрович Хлестаков». Серый туман окутал город, пишет Белый в статье, осел в душах людей «с бледными, позеленевшими лицами». Это был «нечистый туман», и он-то лишал людей их индивидуального облика. В «Петербурге» читаем: «Петербургские улицы обладают несомненным свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей». Петербург возник в романе как чиновный и бюрократический центр империи, неживое видение, марево, скрывающее перекрест двух основных тенденций исторического развития. Двойственность проникла в души героев, разложила, разъяла их, проникла в психику, отравила ее ядом противоречий.

Люди и события приобрели карикатурный оттенок, поскольку оказалось утраченным основное свойство человека, каким представляет его себе Белый в идеальном виде — единство и цельность натуры.

И показательно в этом отношении обращение Белого уже в первоначальном замысле романа «за помощью» к Пушкину и Чайковскому. Всего лишь двадцать лет назад поставленная впервые опера «Пиковая дама» сразу же пленила слушателей своей чисто петербургской музыкальной и зрительной стилистикой. В начале века образы и мотивы оперы широко входят в быт художественной интеллигенции Петербурга. Создаются эскизы и декорации, пишутся на тему повести и оперы картины. Образ заснеженной Зимней канавки, поджидающий у подъезда нервный и напряженный Германн, огромные и холодные залы графинина дома становятся символическим обозначением сугубо петербургской жизненной атмосферы. Ценное свидетельство на этот счет мы находим в воспоминаниях К. Петрова-Водкина, в 90-е гг. впервые приехавшего из глухой провинции в столицу. «„Пиковая дама“, — пишет он, — была тогда новой оперой. Поставленная впервые в 1890 году, она еще не была к моим годам испета и наиграна вне театра. Самыми убедительными для меня местами явились тогда сцены в казарме и на Зимней канавке. Кажется, на всю жизнь потом окрасилось для меня „Пиковой дамой“ место, соединяющее Эрмитаж с Зимним дворцом. Странно, что при всей моей тогдашней неопытности французская песенка Гретри, исполняемая графиней, оказалась для меня ключом для всей оперы, она сильнее друга „Редает облаков летучая гряда“ вскрыла для меня смысл города и его стиль колонн, арок и перекидных мостов».<sup>29</sup> Свидетельство важное. Не

<sup>29</sup> Петров-Водкин К. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970, с. 318.

повесть Пушкина, именно опера Чайковского помогла многим в начале века уловить «дух» города, проникнуться своеобразием его облика.

Широко вводит мотивы «Пиковой дамы» в текст «Петербурга» Андрей Белый. В районе Зимней канавки, прорытой некогда по специальному распоряжению Петра I и потому имевшей для Белого особый символический (отрицательно-символический) смысл, на берегу Мойки, он помещает дом, в котором живет Софья Петровна Лихутина, в общем замысле романа персонаж отнюдь не второстепенный. Она бредит этой оперой и ждет «своего» Германна. И он является ей — в уродливом и жалком образе Николая Аполлоновича, погнавшего за нею однажды на этом самом месте, на Горбатом мостике, и с позором упавшего на скользкой мостовой. Негодованию Софьи Петровны нет пределов. Хорош Германн, растянувшийся на виду у всех! Где же таинственность, где сила, где грандиозные замыслы? Белый пародирует оперу Чайковского, переводит ее лирические и величественные образы в современный карикатурный план. Лизе и Германну соответствуют в романе вздорная мешачка Софья Петровна и революционер-кантианец Аблеухов; дерзость и наполеоновская решимость Германна сменяются у Аблеухова чувственным влечением и игрой в революцию.

Зимняя канавка оказывается на пересечении путей всех главных персонажей романа; они проходят мимо нее, проезжают в каретах, встречаются там и расстаются. И не только молодой Аблеухов и Лихутина, но и сам сенатор, и сотрудники охранного отделения (которое, кстати, действительно находилось в 1905 г. в двух шагах от Зимней канавки, на Мойке, в доме, где жил и умер Пушкин). Также в двух шагах от Зимней канавки, в действительно существовавшем ресторанчике на Миллионной встречаются террорист Дудкин и один из руководителей террористической партии, а на самом деле провокатор Липпанченко, списанный, как утверждает сам Белый, с Азефа. Так, и жестоко, и пародийно в одно время, переплелось все в истории Петербурга. Белый воспроизведет, по-своему переосмысляя, эту жестокость и эту пародийность, воздвигая на них свою сложную историческую концепцию.

В центре его романа оказался сенатор Аблеухов — ретроград и реакционер, символизирующий бездушие и механический характер самодержавной государственной машины. Белый дает ему имя Аполлона Аполлоновича. Надо полагать, что возникло оно в его сознании по прямой аналогии с именем одного из «действующих лиц» последнего крупного произведения Вл. Соловьева «Три разговора» — диалогов, написанных в аллегорической манере и посвященных размышлениям относительно будущего европейской истории. Внутри этого произведения Соловьевым помещена вставная новелла-пригласительная «Краткая повесть об антихристе», произведение аллегорическое и символическое, в котором говорится о событиях, ожидающих человечество в ближайшем будущем. Соловьев рассматривает их под углом зрения борьбы «христианских» и «сатанинских» начал, веры в Христа как «сына божия» на земле и «дьявола соблазна», облакающего себя в форму «человекобога». В ряду перипетий

этой долгой и сложной борьбы имеется и временное господство в мире антихриста, выдающего себя за благодетеля человечества. Он пришел в мир как ставленник Сатаны во главе полчищ восточных завоевателей, подчинил себе население европейских стран, а себя провозгласил сверхчеловеком.<sup>30</sup> При нем состоит «великий маг» и «чудодей», который своими чудесами должен был вселить в народы веру в божественное происхождение сверхчеловека. Имя этого «мага» — Аполлоний. В тексте притчи о нем сказано: «Этот чудодей, по имени Аполлоний, человек несомненно гениальный, полуазиат и полуевропеец, католический епископ *in partibus infidelium*,<sup>31</sup> удивительным образом соединит в себе обладание последними выводами и техническими приложениями западной науки с знанием и умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционной мистике Востока».<sup>32</sup> Соединяя в своей натуре «запад» с «востоком», Аполлоний предоставляет свои знания и свой ум в распоряжение антихриста, «ставленника» Сатаны: «этот человек придет к великому императору, поклонится ему, как истинному сыну божию, объявит, что в тайных книгах Востока он нашел прямые предсказания о нем, императоре, как последнем спасителе и судии вселенной, и предложит ему на службу себя и все свое искусство».<sup>33</sup>

Восточного происхождения и духовный наследник Аполлония — Аполлон Аполлонович Аблеухов: его предки, пишет Белый, «проживали в киргиз-кайсацкой орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова». Как и Аполлоний, Аблеухов соединяет в себе «восток» (происхождение) с «западом» — ему, его безжизненной цивилизации он служит верой и правдой. А если мы вспомним, что за Аблеуховым скрыт реальный прототип — Победоносцев, которого еще при жизни называли «колдуном», «злым волшебником», то связь «Петербурга» с «Краткой повестью об антихристе» Соловьева станет очевидной.

Итак, главный герой нового романа, его облик и его имя были найдены. Появился сын сенатора — Николай Аполлонович, поздний вариант героя «Серебряного голубя» Петра Дарьяльского; за ним реально скрыт сам Белый. В облике senatorского сына отразилось и молодое дворянское поколение России, каким представляет его автор, безвольное и больное.

Как только главные образы романа были найдены и «Петербург» обрисовался в сознании Белого в своей геометрически четкой конструк-

<sup>30</sup> Эпизод этот заимствован Соловьевым из Апокалипсиса, где говорится о временном торжестве в мире «зверя», вышедшего из моря, которого признал «дракон», давший ему «силу свою и престол свой и великую власть» (см.: Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 13). Дракон в христианских религиях есть олицетворение злого духа, дьявола, сатаны. Он-то и высылает в мир «зверя». В той же главе сказано: «И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю».

<sup>31</sup> В стране неверных (лат.). — Ред.

<sup>32</sup> Соловьев В. С. Собр. соч. СПб., 1903, т. VIII, с. 567—568.

<sup>33</sup> Там же, с. 568.

пии, Белый приступил к работе. Три месяца напряженного труда провел он — октябрь, ноябрь, декабрь 1911 г. В письме к Блоку от 26 ноября 1911 г. уже названы некоторые (из числа основных) символы и даже сцены романа (символ «желтой опасности», сцена появления на улицах Петербурга автомобиля с «японскими гостями»,<sup>34</sup> названы Азеф и Гельсингфорс и т. д.). Эта скрытая «подготовленность» Белого дала свои результаты: к январю 1912 г. условленное со Струве количество печатных листов нового романа вчерне было готово. Это была первая редакция «Петербургга», не имевшего пока определенного заглавия. Отказавшись от заглавия «Путники», он называет в письмах и разговорах этого времени свой будущий роман по-разному («Тени», «Злые тени», «Адмиралтейская игла», «Лакированная карета»; возможно, имелись и другие варианты).

10 января 1912 г. Белый отправляет Брюсову большое письмо, в котором уведомляет его о том, что работа завершена, половина романа готова: «Глубокоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич! — пишет он. — Спешу уведомить Вас, что моя порция романа „Злые тени“ готова; задержка лишь за ремингтоном, который может опоздать и быть готовым 14-го, 15-го. Итак, 15-го или 16-го числа я очень хотел <бы> видеться с Вами, чтобы лично Вам передать роман. Оконченная порция представляет собой около 13 печатных листов (12½ приблизительно); состоит из четырех очень больших глав (три последние представляю до апреля-мая, чтобы к моменту предполагаемого печатания у Вас весь роман был на руках). Согласитесь, что раз я мог с октября до 25 декабря написать около 300 страниц, написанных мелко (285), причем у меня по непредвиденным обстоятельствам пропали 3 рабочих недели и собственно говоря я работал не более 2 с лишним месяца, то остающиеся 150—180 страниц в течение января, февраля, марта, апреля я напишу безусловно; и таким образом, Русской Мысли беспокоиться нечего <...>».<sup>35</sup>

Встретившись тогда же с Брюсовым, Белый передал ему готовую «порцию» романа. И вот тут произошло событие, потрясшее Белого. Воспоминания о нем он сохранил на всю жизнь.

Событие это — решительный и категорический отказ Струве напечатать роман в «Русской мысли», а вместе с этим — и выплатить Белому причитающуюся ему часть гонорара. Много раз впоследствии возвращался он к инциденту с «Петербургом», путая детали и искажая факты, но оставаясь верным одному: тому чувству ужаса, которое охватило его, когда он получил отказ.

Явившись в отделение «Русской мысли» в Москве, где фактическим хозяином был Брюсов (Струве жил в Петербурге, оттуда осуществляя руководство журналом), Белый вручил ему рукопись романа. Прочитав ее тут же, Брюсов передал ее Струве, находившемуся в это время в Мо-

<sup>34</sup> На самом деле никаких «японских гостей» в Петербурге в 1905 г. не было и быть не могло.

<sup>35</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 79, ед. хр. 3.

скве. Вместе с рукописью Струве возвращается в Петербург, прочитывает здесь роман, приходя от него в сильное негодование. 2 февраля 1912 г. он пишет в письме Брюсову: «Спешу Вас уведомить, что относительно романа Андрея Белого я пришел к совершенно категорическому отрицательному решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении (телеграммой и письмом), — я заезжал к нему на квартиру Вячеслава Ивановича Иванова, но не застал его там. Мне очень жаль огорчать Белого, но я считаю, что из расположения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной».<sup>36</sup>

Что касается Брюсова, то его отношение к Белому и «Петербургу» не было устойчивым. Зная твердый характер своего патрона и не желая рисковать должностью и привилегированным положением в «Русской мысли», он, конечно, никаких решительных суждений высказать не мог. Он их и не высказывал, хотя — и здесь Белый опять неправ — симпатии его целиком находились на стороне Белого и «Петербурга». Очень осторожно, делая акцент главным образом на литературной талантливости Белого, а также на том, что роман представлен еще не целиком, он пытается уговорить Струве переменить решение. «Достоинства у романа есть бесспорные, — пишет он Струве. — Все же *новый роман Белого* есть некоторое событие в литературе, интересное само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны. Наконец, самая оригинальная манера письма, конечно, возбудит любопытство, наряду с хулителями найдет и страстных защитников и вызовет подражания».<sup>37</sup>

Но Струве доводы Брюсова не убедили. Через десять дней после своего первого письма, 12 февраля 1912 г., он отвечал Брюсову: «Относительно романа Белого я с Вами не согласен; по дружбе следует ему посоветовать вовсе не печатать этого незрелого и прямо уродливого произведения. Дело тут вовсе не в „Русской мысли“ и ее читателях, для которых вполне пригодно все хорошее, а в том, что роман плох до чудовищности. А, конечно, сам Белый человек талантливый, и если бы он себя взял в руки, из него мог бы получиться очень крупный писатель».<sup>38</sup>

В тоне этих двух писем чувствуется активное неприятие «Петербурга», романа очень необычного для того времени.

Струве ничего не говорит в письмах Брюсову о содержании романа. Его будто бы угнетает только то, что написан он «претенциозно», «небрежно» и «плох до чудовищности». Это все признаки, не затрагивающие существа содержания — о нем Струве (как, впрочем, и Брюсов) упорно молчит. Но именно здесь скрывалась главная причина отказа.

<sup>36</sup> ИРЛИ, ф. 444, № 65, л. 11.

<sup>37</sup> Вопросы литературы, 1973, № 6, с. 317—318. Публикация И. Г. Ямпольского.

<sup>38</sup> ИРЛИ, ф. 444, № 62, л. 21 (Письмо ошибочно датировано 1911 г.).



О ней Белому и сказал Брюсов. В изложении самого Белого мысль Брюсова сводится к утверждению, что Струве «имеет очень многое возразить против тенденции „Петербурга“, находя, что она очень зла и даже скептически», что «главное достоинство романа, разумеется, в злости, но Петр Бернгардович имеет особенное возражение именно на эту злость».<sup>39</sup> Очевидно, в этом пункте Белый был прав: Струве, один из идеологов конституционной монархии и лидеров кадетской партии, вряд ли способен был одобрить ту злою критику в адрес буржуазных верхов России и всей системы государственности, которая содержалась в романе Белого. Сторонник буржуазных реформ, Струве, естественно, не мог положительно отнестись и к тому отрицанию Запада, которое заполняло страницы романа Белого. Он-то хотел увидеть продолжение «Серебряного голубя» с его специфической проблематикой и разоблачением темных сторон жизни русской деревни, изолированной от буржуазного прогресса. Получил же он в «Лакированной карете» (или «Злых тенях»?) совсем другое.

Возмущенный отказом, Белый стал метаться по Петербургу, вызывая к общественному мнению. Инцидент получил широкую огласку. В историю с романом были втянуты другие писатели, и не только символистской ориентации. Белому сочувствовали; советовали порвать отношения со Струве и выйти из числа сотрудников «Русской мысли». 30 января 1912 г. он сообщил Э. К. Метнеру: «Поступок „Русской мысли“ со мной рассматривается как почти *подлость* и в Москве, и в Петербурге <...> Между прочим, мой роман вызывает одобрение со стороны петербургских писателей. Утверждают, что он будто бы удачнее первой части (мнение Вячеслава <Иванова>, Аничкова, Гумилева, Кузмина и мн. других). Гр. Ал. Рачинский с Булгаковым хотят предать гласности инцидент со мною, если „Русская“ мысль» отвергнет мой роман (кстати сказать: мне пришлось, пишучи этот роман, 2 месяца жить в долг)».<sup>40</sup>

Особенно активным защитником Белого и пропагандистом романа стал Вяч. Иванов. Он организует ряд чтений Белым отрывков из «Петербурга» у себя на квартире — на знаменитой «башне». Чтения проходили с большим успехом. Необычная манера письма, гротескный, многозначный характер образов привлекли обостренное внимание к роману Белого.

Вяч. Иванову мы обязаны и тем заглавием, которое роман имеет сейчас. Это была его идея: озаглавить роман по названию города, которому он посвящен. Белый вспоминал впоследствии: «И кстати сказать: „Петербург“, то заглавие романа, придумал не я, а Иванов: роман назвал я „Лакированную каретой“; но Иванов доказывал мне, что название не соответствует „поэме“ о Петербурге; да, да: Петербург в ней — единственный, главный герой; стало быть: пусть роман называется „Пе-

<sup>39</sup> ЛН, с. 455.

<sup>40</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 2, ед. хр. 52.

тербургом“; заглавие мне казалось претенциозным и важным; В. И. Иванов убедил меня так назвать свой роман». <sup>41</sup> Вяч. Иванов впоследствии написал статью о романе Белого («Вдохновение ужаса», 1916), один из наиболее глубоких разборов «Петербурга».

В этой статье он вспоминал: «Мне незабвенны вечера в Петербурге, когда Андрей Белый читал по рукописи свое еще не оконченное произведение, над которым ревностно работал и конец которого представлялся ему, помнится, менее примирительным и благостным, чем каким он вылился из-под его пера. Автор колебался тогда и в наименовании целого; я, с своей стороны, уверял его, что „Петербург“ — единственное заглавие, достойное этого произведения. . . И поныне мне кажется, что тяжкий вес этого монументального заглавия работа Белого легко выдерживает. . .». <sup>42</sup>

Упрек в «примирительности», «благостности» финала «Петербурга», распространенный в критике и встречающийся до сих пор в эмигрантской мемуаристике, не может быть признан справедливым. Белый действительно хотел бы примирить всех со всеми, но он так далеко зашел в изображении всеобщего «распада», разрушения личности и ее связей с миром, что сделать ему это убедительно не удалось. В самом деле, двое из героев (Дудкин и Лихутин) кончают сумасшествием, один (Липпанченко) зверски убит, в неутешном горе Софья Петровна, навсегда нарушились всякие отношения между сенатором и его сыном. Какая же тут «примирительность»? С налетом слащавости действительно описаны в эпилоге Аполлон Аполлонович, соединившийся с раскаявшейся супругой, да времяпрепровождение его сына, увлекшегося «примирительной» философией Григория Сковороды, — вот и все. Во всех остальных случаях ощущение трагизма не покидает нас до самого конца.

Внимание, проявленное к роману в Петербурге, оказалось совершенно исключительным. В среде сочувствующих Белому писателей возникает даже идея организовать новый журнал, специально для того, чтобы можно было беспрепятственно печатать «Петербург». Но тормозит дело отсутствие денег.

Вместе с тем Белый начинает получать предложения от других издательств («Шиповник», журнал «Современник») и издателей (К. Ф. Некрасов). Из материалов, обнаруженных нами в личном архиве К. Ф. Некрасова в Ярославле, явствует, что с предложением напечатать «Петербург» к нему обращались С. Соколов — владелец издательства «Гриф» и В. Ахрамович — секретарь издательства «Мусагет». В письме С. Соколова содержится и четкое объяснение того, почему роман был отвергнут Струве. «Только что на днях, — сообщает С. Соколов К. Ф. Некрасову 4 марта 1912 г., — произошел разрыв между Белым и Струве на той почве, что, по мнению Струве, роман имел в себе антизападни-

<sup>41</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 27, л. 38.

<sup>42</sup> Иванов В. Родное и вселенское. Статьи. М., 1918, с. 92.

ческие идеи и проникнут пессимизмом, и роман Белого в „Русской мысли“ не появится». <sup>43</sup>

Белый же, видя такой успех романа, колеблется. Ему важно не только «пристроить» «Петербург», но сразу получить за него хотя бы часть денег, чтобы иметь возможность продолжить работу. Он очень осторожно отвечает Е. А. Ляцкому, обратившемуся к нему с предложением от имени журнала «Современник»: «Что касается моего романа, то охотно прислал бы Вам рукопись, но сейчас ее у меня нет. Да и стоит ли присылать? Ведь в 1912 году все равно Вы ее не напечатаете, ибо слышал, что „Современник“ нагружен материалом, и будь даже Вы за напечатание, Вам, вероятно, технически это будет трудно...». <sup>44</sup>

Вскоре, однако, выяснилось, что ни журнала, ни предполагавшегося издательства «Группы писателей» создано в Петербурге не будет. Не хватало ни средств, ни реального материала, не удалось выработать и единой эстетической платформы. Течение символизма распадалось в это время, каждый из крупных художников школы выработывал свою программу «жизни и искусства», как говорил Блок. <sup>45</sup>

Поэтому, после некоторых колебаний Белый продал свой роман издателю К. Ф. Некрасову, за два года до того организовавшему свое издательство в Ярославле (контора помещалась в Москве, на Цветном бульваре). Некрасов понимал всю важность для только что организованного издательства выпустить роман, отвергнутый «Русской мыслью» (о чем уже знали и в Москве, и в Петербурге) и шумевший в Петербурге. Общество было заинтриговано, успех роману был обеспечен. Некрасов предложил Белому неплохой гонорар: 2200 рублей за весь роман с немедленной выплатой половины суммы в счет уже написанных глав. Белый сразу же соглашается. Это были условия, на которые он тчетно рассчитывал в истории со Струве. <sup>46</sup>

Однако «Современник» не успокаивается. Теперь уже Ляцкий обращается непосредственно к Некрасову, прося его уступить роман журналу. Некрасов отклоняет это предложение, ибо связывает с «Петербургом» серьезные надежды: «Роман А. Белого „Петербург“ я предполагаю выпустить осенью. В нем 22 листа. Печатанье его в „Современнике“ протянулось бы год или около того. Не знаю, подойдет ли этот роман

<sup>43</sup> Рукописный отдел Ярославского гос. музея-заповедника, ф. 15710, ед. хр. 214.

<sup>44</sup> ИРЛИ, ф. 163, оп. 2, ед. хр. 86, л. 1.

<sup>45</sup> Правда, с апреля 1912 г. в Петербурге стал выходить новый символистский журнал «Груды и дни», но носил он по преимуществу теоретический и критический характер.

<sup>46</sup> В письме К. Ф. Некрасову от 22 марта 1912 г. Белый так изложил суть достигнутого соглашения: «Я согласен отдать Вам мой роман *Петербург*, заключающий около 22 печатных листа по 40 000 букв (немного более или менее), за 2200 рублей, предоставляя Вам выработать норму количества печатных экземпляров. Согласно нашему разговору, Вы даете мне за полученную часть рукописи в счет авторского гонорара 1100 рублей. Я же в течение 3-х месяцев, т. е. к концу июня, представляю Вам окончание романа» (Гос. архив Ярославской области, г. Ярославль, ф. 952, оп. 1, ед. хр. 41, л. 2—2 об.).

и по направлению. Струве отказался печатать его в „Русской Мысли“. Для моего издательства очень важно начать второй сезон такой крупной вещью; кроме того, самый роман произвел на меня сильное впечатление, и я нахожу его более сильным и талантливым, чем „Серебряный Голубь“. Вот почему я не могу согласиться на предложение „Современника“. Я не могу упустить или отдалить возможность усилить вес и значение моего нового издательского дела». <sup>47</sup>

Так роман и остается пока за Некрасовым. Получив от него 300 рублей и твердое обещание выслать вскоре еще 800, Белый во второй половине марта 1912 г. уезжает с А. А. Тургеневой в Брюссель.

Он в возбужденном состоянии и приподнятом настроении. Дела его (как ему кажется) складываются хорошо, отношения с издателем налаживаются. 3 апреля 1912 г. он сообщает М. К. Морозовой из Брюсселя: «Теперь зреет рабочее настроение. Ася принимается на-днях за работу; а я принимаюсь за роман. Одно хорошо тут: тишина, благодать <...>

Я как-то тверд: и верю, верю, верю: хочется улыбаться, работать и будущее горит каким-то спокойным светом». <sup>48</sup>

Уезжая за границу, Белый оставил в руках Некрасова три главы «Петербурга». В течение марта-апреля-мая, живя то в Бельгии, то во Франции, то в Германии, он усиленно работает над продолжением. Параллельно идет разговор о переделке первой главы, которая оказалась издателю длинной и он просил Белого сократить ее. Вскоре после приезда в Брюссель, Белый сообщил К. Некрасову: «<...> у меня уже написано много. Остается переписать <...> К послезавтраму перепису окончанье главы 4-ой и примусь переписывать пятую». <sup>49</sup>

Однако работа задерживается. Окончание 4-ой главы разрастается и становится самостоятельной, пятой главой, и вся дальнейшая нумерация глав передвигается на единицу вперед. Пятая глава оказывается целиком посвященной проблеме провокации и переживаниям Николая Аполлоновича, узнающего о „возложенной“ на него обязанности покончить с отцом. В недатированном письме из Мюнхена (очевидно, апрель-май 1912 г.) Белый сообщал Некрасову: «Высылаю Вам пятую главу. Ужасно извиняюсь за опоздание. Дело в том, что у меня были всякие житейские сложности, а также нервное переутомление. Я абсолютно не мог работать две недели. Оттого и запоздал. 6-ая глава следует. Через дней 9. А седьмая придет вскоре после шестой <...>

Окончание 4-ой главы есть в сущности 5-ая глава, а 5-ая — 6-ая. Но роман в фабулярном отношении осложнился и потому я удлинил 4-ую главу. Черкните два слова, что 5-ую главу получили. Гарантирую Вам быстрое окончание романа. Можете печатать». <sup>50</sup>

<sup>47</sup> ИРЛИ, ф. 163, оп. 2, № 359.

<sup>48</sup> ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 1в, л. 1—3.

<sup>49</sup> Гос. архив Ярославской области, г. Ярославль, ф. 952, оп. 1, ед. хр. 41, л. 4—4 об.

<sup>50</sup> Там же, л. 11—12.

Однако, передав пять глав Некрасову и всячески обещая выслать в ближайшее время оставшиеся ненаписанными еще две (впоследствии Белый увидел, что должны быть дописаны не две, а три главы),<sup>51</sup> он усиленно занялся переработкой всего произведения. Процесс этот оказался длительным и чрезвычайно трудоемким. Белый не просто шлифует уже готовый текст. Он выбрасывает целые куски, заменяя их новыми, создает заново целые главы, вводит пролог и эпилог. В таком направлении работа продолжается в течение не только 1912, но и 1913 г. До самого последнего дня перед сдачей очередной «порции» рукописи в набор Белый продолжает вносить в нее поправки.

## 2

Он работает теперь в иной психологической атмосфере. Произошло событие, решительным образом повлиявшее на весь строй этико-философского мышления Белого. Событие это — знакомство весной 1912 г. с Рудольфом Штейнером, положившее начало увлечению антропософией. Увлечение было продолжительным и сильным. В очередной раз Белый нашел для себя «убежище», «приют», в котором он, как ему кажется, наконец-то сможет решить все главнейшие вопросы истории, бытия мира, судьбы человека, жизни и смерти.

Учение Штейнера, как и антропософия в целом, как и ее предшественница теософия, — системы крайне эклектические, во многих аспектах наивные и бездоказательные, с таким количеством произвольных истолкований, что изложить любую из них в ее внутренней последовательности — дело затруднительное. Здесь многое зависит от силы личного воздействия, от способности внушения. Рудольф Штейнер такой способностью, видимо, обладал. И естественно, что Белый, привыкший во всем видеть отражение собственной тревоги, то же самое увидел и здесь. И он сразу же связал имя и учение Штейнера с Россией. В письме к Блоку из Брюсселя, подробно описывая таинственные события и «световые явления», сопровождавшие его встречу со Штейнером, Белый говорит вещи, которые могут показаться невероятными: «С осени 1911 года Штейнер заговорил <...> о России, ее будущем, душе народа и Вл. Соловьеве (в России он видит громадное и единственное будущее. Вл. Соловьева считает замечательнейшим человеком второй половины XIX века, монгольскую опасность знает, утверждает, что с 1900 года с землей совершилась громадная перемена и что закаты с этого года переменялись: если бы это не был Штейнер, можно

---

<sup>51</sup> Из писем Белого к матери явствует, что он собирался сдать К. Некрасову роман в законченном виде к июлю 1912 г. (см.: ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 359, л. 88 об., 93).

было бы иногда думать, что, говоря о России, он читал Александра Блока и „2-ую симфонию“».<sup>52</sup>

Еще ранее, в период «Серебряного голубя», в сознании и творчестве Белого уже давали о себе знать определенные оккультные тенденции (во всяком случае, внимание к оккультизму), которые откладывались в художественных мотивах теософского свойства. Однако теософия не вполне удовлетворяла Белого, поскольку в ней неотчетливо была выражена идея обожествления духовной человеческой сущности, другими словами — момент нравственного возрождения личности. Оккультные мотивы, самодовлеющий (т. е. мистический) характер интуитивного познания вытесняли в теософии представление об исключительности самой личности индивидуума. Такое представление Белый находит в антропософской доктрине Рудольфа Штейнера. Однако для достижения этой «божественной сущности» (как в себе самом, так и в окружающих) требуется овладение «тайным знанием» (тренировка интуиции, наблюдение над изменением нравственного статуса собственного внутреннего мира и т. д.). В изучение «тайного знания» Белый и погружается после отъезда в 1912 г. за границу; ему начинает казаться, что наконец-то он обрел то, к чему бессознательно стремился в течение всех предшествующих лет сознательной жизни.

Безусловно, увлечение идеалистической антропософской системой, к тому же достаточно эклектического свойства, не принадлежит к числу достижений Белого. Эпоха 1910-х гг. давала ему гораздо более емкие и, главное, более действенные нравственные стимулы, которые могли открыть перед ним реальную историческую перспективу, дать основу его философским исканиям. Белый предпочел замкнуться в сфере скрытых, „тайных“ переживаний, в сфере поисков некоего личностного абсолюта, который стимулировал бы в каждом отдельном случае лишь индивидуальное перерождение (хотя, замечу в скобках, ему самому казалось, что он находится в гуще событий «сверхличного» характера).

Небезынтересно в связи с этим обратить внимание на приводимые Белым выдержки из «тайных» лекций Штейнера, читавшихся им в 1912—1913 гг. В этих лекциях Штейнер, как видно, пытался найти соответствие между основными пунктами своей системы и «системой» человеческой личности, от ее непосредственных внешних проявлений до самых скрытых, духовно-нравственных. Выдержки эти содержатся в письме к Э. К. Метнеру и сопровождаются просьбой Белого никому о них не говорить. Прямая линия тянется от некоторых из них к «Петербургу». Привожу их в том порядке, в каком расположены они самим Белым.

«Мы еще не достаточно оживили свое эфирное тело; оживи мы его, мы пульсацию этого тела, многообразные его истечения, движения пе-

<sup>52</sup> «Переписка», с. 295. Блок тогда же отметил (в письме А. М. Ремизову): «Если бы знали о Штейнере только от А. Белого, можно было бы подумать, что А. Белый сам его сочинил» (см.: Звезда, 1930, № 5, с. 161).

реживали бы и в физическом теле, как движения, как пульсации внутри наших физических ощущений; и эфирные ощущения были бы выданы нам не извне — изнутри».

«Если бы мы воскресили все части нашего эфирного тела и работали ими в соответственных центрах тела физического, то во всех частях тела нам изнутри бы открылись движения, соответствующие тому, которое в голове ощущаемо в мысли. *И мыслили бы руки*».

«В физическом теле — чередование сна и бодрствования; в элементном теле (эфирном) — сон и бодрствование одновременны; тот кусок видит и бодрствует; этот — ничего не видит и спит».

«Когда человек может чувствовать свое эфирное тело, ему сперва начинает казаться, будто ширится он в мировые дали пространства; испытание страха, тревоги не минует тут никого; оно гнетет душу; будто ты акинут в пространство; под ногами — нет почвы».

«Эфирное тело — тело воспоминаний; колебание его в голове — „мысли мыслят себя“; при потрясениях, опасностях, эфирное тело частями выскакивает наружу; и врачами отмеченный факт, что вся жизнь проносится в воспоминании в минуты смертельной опасности, есть следствие частичного выхождения эфирного тела».<sup>53</sup>

Опираясь на Штейнера, Белый прямо заявляет в феврале 1913 г. Э. К. Метнеру, что ныне «сызнова из ничего создается мир».<sup>54</sup>

Многие из мотивов, содержащиеся в приведенных выдержках, мы без труда обнаруживаем в тексте «Петербурга» — и во второй главе (главка «Второе пространство сенатора»), и в пятой главе (главки «Пепп Пеппович Пепп», «Страшный Суд»), и в шестой главе (главки «Мертвый луч падал в окошко», «Петербург», «Чердак»), и в седьмой главе (главка «Перспектива»), и в других местах романа.

Главное же, что дало Белому знакомство с Штейнером и его доктриной — это идея о необходимости личного нравственного совершенствования, выявления в себе «высшей» («божественной») сущности, идея необходимости полного внутреннего перерождения. Оно мыслится теперь Белым в границах всего человечества, как акт единения всех со всеми и установления мирового братства людей. Прообразом этого будущего братства должна была стать антропософская община в Дорнахе, в которую вступает Белый вскоре после знакомства со Штейнером.

Мысль о внесловном братстве и единении всех со всеми представляла в условиях антагонистического общества иллюзию, отдаленно напоминавшую ту, которой питал себя в последние годы жизни Гоголь и к которой пришел после перелома 1880-х гг. Лев Толстой, хотя истоки здесь были различными. Осуществиться в обществе, раздираемом не нравственными, а социально-классовыми противоречиями, она, естественно, не могла.

<sup>53</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 3, ед. хр. 3.

<sup>54</sup> Там же, ед. хр. 8, л. 3.

Вместе с тем категории и образы, почерпнутые из разговоров с Штейнером и его проповедей, но очень по-своему переосмысленные, далеко не во всех случаях имели отрицательные влияния на художественную сторону романа. В некоторых сценах они по-своему стимулировали создание сгущенной атмосферы психологической и даже социальной напряженности и общего неблагополучия жизни. Прежде всего здесь следует назвать великолепно написанную главку «Второе пространство сенатора»; сон Аблеухова передан здесь в таких ярких образах и в плоскости таких глубоких и специфических сопоставлений, в каких на русском языке ни один сон ни одного из персонажей передан еще не был. «Астральный мир» приобретает под пером Белого почти материальную ощутимость и незаурядную художественную выразительность. Отвлеченная мистическая категория, призванная обозначить моменты «касания» человеком «миров иных», она неожиданно становится обозначением грандиозности и величия реального мира, окружающего сенатора, а в дополнение к этому — ощущение безликости и полной незащищенности самого сенатора, эфемерности его внешне могущественного бытия. Отвлеченная антропософская категория, подчиняясь силе художественного воображения писателя, теряет свой «потусторонний», но зато приобретает конкретный социальный смысл. Аналогичную функцию выполняют и разделы, посвященные Николаю Аполлоновичу, — главки «Пепп Пеппович Пепп» и «Страшный Суд», представляющие собой изложение бреда сенаторского сына (отделение «духа» от «тела»), задремавшего над бомбой с заведенным часовым механизмом. Здесь уже эфемерным оказывается не индивидуальное бытие, а весь существующий «порядок» мировой жизни, под который историей подложена бомба, и ничего с этим поделать уже нельзя.

Но сколь бы значительным не было увлечение Штейнером и его «учением», оно не затронуло основной идеи романа; как видно из содержания, заключается она в утверждении той мысли, что в ближайшее время Россия должна стать ареной событий всемирно-исторического значения. Если в прошлые исторические времена ей пришлось отражать опасность, надвигавшуюся с Востока (монголо-татарское нашествие), то теперь дело радикальным образом изменилось. Таким же врагом для России оказывается теперь и Запад с его мертвящей буржуазной цивилизацией, лишенной живого духа и живой мысли. Восток и Запад как бы объединяются, по мысли Белого, в едином, губительном для России союзе. Этот союз для Белого есть царство «антихриста», «сатаны» — он грозит стране полным уничтожением национального своеобразия. Буржуазно-капиталистический путь, по которому пошли страны западной Европы, чужд России, считает Белый, как и путь террора, путь насилия. Антагонизм между Медным всадником (то есть Петром I с его западной ориентацией) и разночинцем Евгением, принимающим в романе обличье террориста Дудкина, Белым снимается. Этот антагонизм составлял главное в идейной концепции пушкинской поэмы. Для Белого же оба эти героя — союзники, поскольку оба они выражают чуждые для



России и ее исторических потребностей пути развития. И с Медным всадником, и с Дудкиным — бывшим Евгением — сложными путями связан сын сенатора Николай Аполлонович, в жилах которого течет монгольская кровь.

Создается как бы единая система мирового «заговора» против России, в котором принимают участие самые разные силы. Но она должна выстоять, утверждает Белый; для этого ей необходимо будет выявить свои национальные — в окончательном смысле патриархальные и религиозные — начала народного самосознания.

И здесь свою особую роль сыграли теософские и антропософские категории и образы, очень лично, жизненно-прагматически воспринятые Белым. Они как бы вливались в общее ощущение неустойчивости, тревожности, ожидания всеобщего «взрыва», которыми пронизан роман от начала до конца. В сознании Белого, формировавшемся под воздействием идеалистических философских систем, это ощущение имело провиденциальный характер. Но поскольку художественную реализацию оно получало на основе сложного взаимодействия реальных характеров (хотя по преимуществу это не характеры-типы, а характеры-символы), к тому же действующих и раскрывающихся в атмосфере исторически вполне достоверной (Петербург в октябрьские дни 1905 г.), оно неизбежно приобретало оттенок ожидания действительного социального взрыва. Этому, со своей стороны, способствовала реалистическая достоверность обличительно-сатирических сцен романа (связанных главным образом с изображением жизни и государственной деятельности Аблеухова-старшего).

Встреча с Штейнером на время затормозила работу над романом. Лето и осень 1912 г. Белый посвящает освоению мистической доктрины «доктора». Для него в это время Штейнер — «единственное, несравненное, в мире небывалое явление».<sup>55</sup> Однако к зиме им снова и сильно овладевает желание дописать роман. Он «все более и более» начинает осознавать себя «беллетристом *par excellence*, а не критиком».<sup>56</sup> Под влиянием Штейнера и его учения оформляется и замысел окончания трилогии — третьей части, которая должна называться «Невидимый Град». Еще летом 1912 г. Белый писал Блоку: «С романом я измучился и дал себе слово надолго воздержаться от изображения отрицательных сторон жизни. В третьей части серии моей „Востока и Запада“ буду изображать здоровые, возвышенные моменты „Жизни и Духа“. Надоело копаться в гадости».<sup>57</sup> К зиме замысел третьей части проявился настолько, что он дал ей заглавие. *Невидимый Град* — это очевидно и есть скрытая, таинственная, мистическая жизнь духа со своими откровениями и просветлениями. В самый разгар поклонения Штейнеру Белый восклицает: «Есть свет, есть свобода: есть будущее!».<sup>58</sup> «Свобода» понимается им

<sup>55</sup> «Переписка». с. 302.

<sup>56</sup> Там же, с. 309.

<sup>57</sup> Там же, с. 301.

<sup>58</sup> Там же, с. 303.

в антропософском плане — как «освобождение» духа от земных зависимостей, от телесной оболочки (он даже употребляет специфически оккультный термин, обозначающий высшую степень «освобождения» духа — «эфирное тело»). Он мечтает: «<...> будь я обеспечен за эти два года, имей я возможность, не раскидываясь, работать над большими полотнами, то вскоре по окончании 2-ой части Голубя („Петербург“) принялся бы я за третью „Невидимый Град“ <...>».<sup>59</sup> Всю жизнь мечтал Белый о средствах и путях возвышенного «преображения» личности, полного «пересоздания» ее, и вот теперь он нашел, как ему кажется, то, что искал много лет.

Отдав К. Некрасову пять глав романа, Белый с осени 1912 г. припирается за их переработку. Окончательно написанными он считает только главы четвертую и пятую. (Впоследствии и они подверглись переработке). Заново создается шестая глава и обдумывается заключительная седьмая.<sup>60</sup> В ноябре 1912 г. Белый пишет Е. А. Ляцкому: «в настоящее время я много работаю (над окончанием романа)».<sup>61</sup> Он забрасывает Блока сообщениями о романе и ходе работы над ним. Особенно привлекает Белого стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом», созданный в 1908 и опубликованный в 1909 г. Цикл этот косвенно повлиял ранее на концепцию всей трилогии, и вот сейчас, работая над главным ее романом, Белый снова обращается к Блоку, хотя опять же по свойству своей природы он видит в стихах Блока не столько то, что попытался выразить автор, сколько то, что он сам хотел там увидеть (пророчество о столкновении России с «татарами»).

В такой сложной и противоречивой идеологической атмосфере протекает жизнь Белого в 1912—1913 гг. Увлечение штейнерианством соседствует с попытками разобраться в подлинном смысле перемен, назревающих в жизни европейских стран; глубокое внимание к Востоку, действительно пробудившемуся к исторической жизни, — с наивно-мистическими размышлениями о приближающемся столкновении рас.

Но сама судьба «Петербурга» в 1912—1913 гг. складывается в отличие от 1911—начала 1912 гг. сравнительно благополучно. Роман близится к завершению, и Белый уже мечтает о том, как, работая в тиши и уединении, он через полтора-два года смог бы окончить всю трилогию.<sup>62</sup>

В начале 1913 г. К. Некрасовым было отпечатано 9 печатных листов романа (2 главы). Они так и напечатаны в первоначальном виде, хотя именно в эти месяцы, живя за границей, Белый усиленно перерабатывал весь роман.

В это же время, когда Некрасов приступил к набору и печатанию романа, в Петербурге при участии Блока возникает новое издательство «Сирин», которое и начинает функционировать в ноябре 1912 г. Фак-

<sup>59</sup> Там же. с. 309.

<sup>60</sup> См.: «Переписка», с. 305.

<sup>61</sup> ИРЛИ, ф. 163, оп. 2, ед. хр. 86, л. 6 об.

<sup>62</sup> См. письма к Блоку за декабрь 1912 г. («Переписка», с. 308, 309).

тически главой «Сирина» был М. И. Терещенко, капиталист и меценат (впоследствии — министр финансов и затем иностранных дел Временного правительства). Одно время он занимал должность чиновника особых поручений при директоре императорских театров и вел в 1912 г. переговоры с Блоком относительно либретто для балета А. К. Глазунова (а затем — для оперы) из жизни провансальских трубадуров XV в. Либретто впоследствии разрослось в драму «Роза и крест», Блок же близко сошелся с М. И. Терещенко.

Блок по-прежнему сочувственно относится к «Петербургу». В ноябре 1912 г. он сообщает Белому: «М. И. Терещенко поручил мне просить тебя прислать твой новый роман для того, чтобы издать его отдельной книгой, или включить в альманах. Он лично особенно любит и понимает „Серебряного голубя“». <sup>63</sup> После некоторых колебаний Белый соглашается (Терещенко предлагает выгодные гонорарные условия), руководители «Сирина» выкупают у К. Некрасова право на издание романа. Некрасов, естественно, не был доволен такой операцией (он даже грозил выпустить в свет уже отпечатанные им 9 листов), но, не имея в распоряжении рукописи всего романа, согласился. Белый встречается за границей с Терещенко и спешно перерабатывает («до-перерабатывает», по его словам) первые главы; в середине февраля он уже высылаёт начало романа в Петербург Блоку. Блок тут же несет рукопись Терещенко. Боясь, что первые главы не произведут впечатления, Белый ручается в письме Блоку, что последующие будут «удачнее первых трех, ибо они — лишь подготовка к действию». <sup>64</sup> В чем состоит смысл этой «подготовки», Белый разъясняет в одном из последующих писем, раскрывая и характер внутренней «конструкции» «Петербурга»; «эти три главы непонятны (своими длиннотами), если не принять во внимание, что со следующей главы до конца события стремительны (план построения романа: 1) томление перед грозой и 2) гроза; томление — первые три главы; гроза — последние 4 главы с эпилогом)». <sup>65</sup>

Первые три главы — завязка действия; здесь дается характеристика всем основным действующим лицам романа. Дудкин уже побывал в гостях у Николая Аполлоновича и оставил у него «узелок»; но что это за «узелок», каково его назначение и какое он имеет отношение к хозяину дома, сенаторский сын пока не знает. Впереди — бал у Цукатовых (4-я глава), поворотный момент в развитии действия. «Предгрозовое томление» сменяется первыми раскатами грома: Николай Аполлонович получает записку, в которой ему предлагается убить отца; сенатор вплотную сталкивается с человеком, облаченным в красное домино, о котором давно уже ходят тревожные слухи. Аполлон Аполлонович узнает, что человек этот — его сын, и понимает, что теперь карьера навсегда рухнула. Сходит с ума, оказавшись не в состоянии постичь сложность и запутанность происходящего, поручик Лихутин, с которыми

<sup>63</sup> «Переписка», с. 304.

<sup>64</sup> Там же, с. 317.

<sup>65</sup> Там же, с. 320.

Николаю Аполлоновичу предстоит столкнуться в плачевных для него обстоятельствах. Но что самое главное — в действие прочно вступает охранное отделение, закрадывается предвестие провокации, жертвой которой должен стать Николай Аполлонович. Назначение четвертой главы — сжать до предела пружину действия. Выстрела еще не произошло, но курок уже взведен, «ожидание» грозы вот-вот сменится бурными раскатами грома. Очень точно Белый определил в этом письме «внутреннее содержание» тех двух частей, на которые явственно распадается «Петербург» в соответствии с развитием действия и характером фабулы. Водоразделом же и началом бурного *allegro* служит четвертая глава.

23 февраля 1913 г. Блок делает важную запись в дневнике, в которой рассказывает о визите с рукописью к Терещенкам и о своих впечатлениях от романа: «Я принес рукопись первых трех глав „Петербург“, пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым <...> Поразительные совпадения (места моей поэмы); отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; *зло* произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков...); <...> И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами — вдруг притается иное, все становится *иным*».<sup>66</sup>

Судя по приведенной записи, Блок впервые познакомился с «Петербургом» только сейчас. И он сразу же «принял» роман Белого, отметив «поразительную» близость его своей поэме. Терещенко же с сестрами (которые также являлись пайщиками издательства «Сирин» и присутствовали при обсуждении «Петербурга») отнеслись к роману настороженно («очень критиковали»). Не исключено, что причины, вызвавшие такое отношение, были в чем-то близки причинам, побудившим год назад П. Струве отвергнуть роман. Вряд ли будущему министру Временного правительства могла прийти по душе та резкая антигосударственная и антибуржуазная направленность, которая как раз в первых главах романа проступает отчетливо. Сатирически, гротескно обрисованный Аплеухов-старший, мечущийся, неприспособленный, как будто «распадающийся» на части Николай Аполлонович, как и вся атмосфера взвихренности, хаоса, неизбежности надвигающейся на Россию катастрофы, не могли оказаться по вкусу Терещенкам, людям безусловно «культурным и просвещенным» (Блок), но более склонным искать в жизни устойчивости, уверенности в себе и в завтрашнем дне. Белый своим романом уверенность эту сводил на нет. «Серебряный голубь» был принят без обиняков, потому что ощущение катастрофы не было выражено там с такой отчетливостью, как в «Петербурге». Отсутствовала и сатира на правительственные верхи, обличения же запада и западной (буржуазной) цивилизации носили еще достаточно отвлеченный харак-

<sup>66</sup> Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., 1963, т. 7, с. 223—224. Поэма — имеется в виду «Возмездие», над которым Блок работал в те же годы.

тер. «Петербург» же — «злое произведение», «приближение отчаянья». Блок тонко уловил эту основную психологическую направленность романа. Можно полагать, что если бы не его заступничество, «Петербург» в «Сирине» ожидала та же судьба, что и в «Русской мысли».

На следующий день Блок записывает в дневнике: «Радуюсь: сегодня Терещенко почти решили взять роман А. Белого». И затем через день: «Роман А. Белого окончательно взят, телеграфирую ему».<sup>67</sup>

В середине марта 1913 г. Белый приезжает в Россию. Работа над романом, усугубленная усиленными занятиями антропософией, изнурила его. Он по-прежнему мечтает об уединении и спокойной жизни, которая дала бы ему возможность дописать роман. Три-четыре недели спокойного труда — вот что ему нужно. Не останавливаясь в Москве, он уезжает вместе с А. А. Тургеневой в Волынскую губернию и целиком погружается в работу над «Петербургом». Месяцы, проведенные в Волынской губернии (дер. Боголюбы), оказались в высшей степени плодотворными. В середине мая Белый проездом в Финляндию был в Петербурге, где трижды встречался с Блоком. Вопрос о романе и печатании его в сборниках издательства «Сирин» окончательно улаживается.

Во всех трех сборниках он занимает центральное место как по количеству страниц, так и по значению (только в первом сборнике наряду с «Петербургом» впервые была опубликована драма Блока «Роза и крест»).

Завершился следующий, «сириновский», период в истории «Петербурга». Его значение состоит в том, что он дал нам основной, канонический текст романа, который и лег в основу всех дальнейших перепечаток.

Летом 1916 г., ожидая призыва в армию, Белый возвращается в Россию. Однако призыва удалось избежать. Огрубелый и поздоровевший (он принимал активное участие в строительстве антропософского храма в Дорнахе, работая резчиком по дереву), Белый включается в литературную жизнь Москвы. События 1917 г. всколыхнули Белого. Он приветствует Октябрьскую революцию, хотя истолковывает происшедшее в свойственном ему субъективистском духе; социальная революция в его понимании есть отражение революции духовной, совершающейся ныне в душах людей. Статья «Революция и культура», поэма «Христос воскрес» — вот непосредственные отклики его на события 1917 г.

В ноябре 1921 г. Белый выезжает на два года в Берлин, где впервые издает на русском языке сокращенный вариант «Петербурга». В октябре 1923 г. Белый возвращается в Советский Союз. Умер он в Москве 8 января 1934 г.

<sup>67</sup> Блок А. Собр. соч., т. 7 с. 225.— Впоследствии Иванов-Разумник вспоминал в письме к К. Н. Бугаевой: «...» Блоку и мне (тогда — редактору издательства «Сирин») с великими трудами удалось протащить „Петербург“ сквозь Клавдинские теснины семьи Терещенок (издателей) и старания близкого к ним Ремизова не допустить этот роман в сборники „Сирин“. Блок и я — одолели (...).» (См.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1978 год. Л., 1980, с. 25).

## ОСНОВНЫЕ РЕДАКЦИИ РОМАНА

## 1

История написания, печатания и дальнейших переработок «Петербург» — сложная и самостоятельная научная проблема. Не претендуя на ее полную разработку, коснемся лишь некоторых моментов, представляющих наиболее существенными.

Белый не принадлежал к числу художников, в сознании и в творчестве которых содержалась бы законченная концепция жизни и истории. Концепция жизни и истории имела выражение в его творчестве, но она находилась в состоянии перманентного становления, развития, видоизменения. Она постоянно «дорабатывалась», оформлялась, переформлялась и т. д. Это не недостаток Белого и тем более не свидетельство ущербности его как писателя. Это просто особенность, может быть одна из наиболее характерных особенностей, его духовного склада, всего его внутреннего мира, для которого состояние поисков и постоянной неудовлетворенности было более характерно и показательнее, нежели состояние находок и удовлетворенности. Поэтому говорить о том, что на каком-то отрезке творческого пути Белый отверг ту или иную систему взглядов во имя другой системы, было бы неосторожно. Однако такую именно неосторожность и допускает Иванов-Разумник, первым обратившийся к изучению текстов «Петербурга». Согласно его выводам, Белый проделывает в рамках замысла «Петербурга» конкретную по содержанию и четкую эволюцию, со своими исходными позициями, своими этапами и, главное, со своим идейным и логическим завершением. Иванов-Разумник преследовал тут свои цели (о них я скажу дальше), и во имя них он и пошел на подобное упрощение.

В действительности для Белого не существовало ни четких исходных позиций, ни завершения темы. Тема «вырабатывалась» и разрабатывалась постоянно и постоянно же «завершалась», и поэтому любой, более или менее определенный отрезок тут следует рассматривать лишь как этап безостановочного пути.

Что реально осталось сейчас от первых редакций романа? От начальной, «журнальной», так испугавшей П. Б. Струве своей «антизападнической» тенденцией, — фактически очень мало. Иванов-Разумник, непосредственно осуществлявший связь с Белым от имени издательства «Сирин», указывает, что она сохранилась «в очень незначительной степени» в составе наборной «сириновской» рукописи романа в виде машинописных листов, изрядно впоследствии Белым переработанных.<sup>68</sup> Восстановить по этим листам текст, который имел бы связный характер и дал бы нам возможность сколько-нибудь достоверно судить о реальной эстетической и нравственно-идеологической концепции «журнальной»

<sup>68</sup> «Вершины», с. 90.

редакции романа, сейчас уже невозможно. Очевидно, что-то еще можно было сделать до тех пор, пока рукопись не пострадала в годы Отечественной войны. Ныне же всякие попытки восстановить ее обречены на неудачу.

Но что можно с уверенностью сказать об этой первой «журнальной» редакции «Петербурга», — она уже была необычна. Она резко выделялась на фоне тогдашней русской прозы, на фоне русской прозы вообще. Уже здесь отчетливо проступило стремление Белого создать «новый вид литературы», как говорил он в письмах к матери. Нас не может не поражать настойчивость, с которой Белый стремился к этой своей цели. Но в первой редакции, говоря строго, мы обнаруживаем только подступы к решению задачи. Мы обращаем внимание на необычность стилистической манеры, но мы еще не можем судить о характере художественных приемов создания образа.

Возможно, что здесь уже содержалось ощущение исторического тупика, в котором, согласно позднейшей концепции Белого, очутилась Россия в эпоху рубежа веков. Не приемля буржуазно-демократического (для Белого — буржуазно-бюрократического, реакционного) пути развития, он не приемлет и пути террора. Выход отыскивается в ожидании «эфирного явления» Христа. Сложными путями это «явление» связывается в сознании Белого с Россией, которая и становится благодаря такому избранничеству «колыбелью новой человеческой расы». Ничего более определенного об этой первой редакции романа сказать мы не можем и, очевидно, уже не сможем.

Тем более что эту «концепцию» не дополняет и не проясняет вторая, «некрасовская», редакция романа (вернее, то, что мы от нее сейчас имеем, — две первые главы, сохранившиеся в корректурных листах).<sup>69</sup> По двум первым главам (к тому же с незаконченной второй главой) невозможно судить о характере произведения, имеющего в окончательной редакции восемь глав, пролог и эпилог. Это не более чем одна шестая часть романа (его объем в «сириновском» издании — 31 печатный лист по современным нормам), это всего лишь начало — только прелюдия к действию. Она обращает на себя внимание другой своей стороной, связанной более с поэтикой произведения, нежели с его концепцией.

---

<sup>69</sup> В ЛН содержатся сведения о том, что книжная, «некрасовская», редакция «сохранилась в виде трех-четырёх экземпляров сверстанных девяти листов и единственного экземпляра корректурных гранок десятого и половины одиннадцатого листа (у Р. В. Иванова)» (с. 601). К сожалению, в настоящее время известен лишь один экземпляр корректурных листов (хранится в ЦГАЛИ, куда был передан С. М. Алянским; ранее принадлежал Блоку). Десятый и половина одиннадцатого листа, имевшиеся в гранках, не обнаружены вовсе. Очевидно, они погибли вместе с частью архива Иванова-Разумника. К тому же и корректурные листы сохранились, видимо, не во всем объеме. В единственном экземпляре, обнаруженном нами в ЦГАЛИ, по современным нормам (40 тыс. знаков на один печатный лист) содержится не девять, а пять (с небольшим) листов.

Реализуется эта другая и очень важная сторона в категории *мозговой игры*, которая выступает на данной стадии оформления замысла первопричиной и источником всего сущего на земле. Не теряя своих реальных очертаний, персонажи романа, дома и проспекты Петербурга, людская толпа на Невском оказываются здесь некими овеществленными представлениями. Мир реальной действительности для Белого — «призрачный мир». Ему противостоит и ему враждебен мир *мысленных образов*, мир представлений, совокупность которых и выявляет единственную подлинную реальность. Овеществленные представления, покидая сознание Аполлона Аполлоновича Аблеухова, попадают в «призрачный» мир — мир теней, где и продолжают «бытийствовать» уже как «частицы» «материального» мира. «Мысли сенатора, — пишет Белый, — получали и плоть, и кровь». Из головы сенатора родились, «запахавши по невским проспектам», и террорист Дудкин («незнакомец с черными усиками»), и собственный сын Николай Аполлонович; и даже желтый сенаторский дом возник изначально в сенаторской голове. Белый пишет: «Получившая автономное бытие мысль о доме стала действительным домом; и вот дом действительно открывается нам». Так создается сложная система взаимоотношений между реальным миром, призрачным в своей реальности, и представлениями о нем, имеющими «объективно-материальный» характер. Представления выдвигаются вперед, кладутся в основу, мир, окружающий человека, и сам человек становятся величинами производными, зависимыми, вторичными. Кто-то все время как бы «шутит» над миром, воображая его себе и заставляя свое воображение материализоваться, но в конечном итоге попадая в полную зависимость от им же порожденных «призраков». Очевидно, в обосновании мысли о трагедии человека, находящегося в полной зависимости от им же «выдуманных» и лишь «овеществленных» условий существования в призрачном, но кажущемся вполне реальным и объективным мире, и состояла *общая философская* задача Белого на той стадии работы над романом, когда происходит его сближение с К. Ф. Некрасовым. Впоследствии категория «мозговой игры» несколько отошла на второй план, ушла в «подтекст». Следы ее в тексте романа мы обнаруживаем во всех последующих редакциях его, но это уже остатки, осколки философской концепции, имевшей открытое художественное выражение.

Венгерский исследователь Л. Имре верно отмечает в статье о «Петербурге», что идея мозговой игры восходит у Белого к агностицизму Канта, воспринятого сквозь призму шопенгауэровского метафизического идеализма. Ссылаясь на утверждение Белого, что символисты справедливо считают себя «через Шопенгауэра и Ницше законными детьми кенигсбергского философа», Л. Имре пишет: «Утверждение Канта о беспощадной грани между обманчивой видимостью и непостижимой сущностью (вещью в себе и для себя) и об абсолютной невозможности познания мира в его сущности могло непосредственно повлиять на туманный загадочный способ изображения А. Белого, и, по его собственным словам, было одним из источников его создания символа. Шопенгауэр, ссылаясь



ва Беркли и Канта, доходит до вывода, что весь этот мир только мозговой феномен, то есть игра человеческого мозга, и это определяет ощущение действительности героями „Петербурга“». <sup>70</sup>

В этой характеристике отмечено главное, что лежит в основе философии «Петербурга». Но имеются еще два важных обстоятельства, на которые также следует обратить внимание. Во-первых, «феноменология» Канта—Шопенгауэра (объективный мир как мир непознаваемых сущностей и мозговой феномен) выполняла в сложной философской конструкции «Петербурга» все-таки несамостоятельную роль по отношению к его исторической концепции. Она легла в основание этой концепции, но внешне себя уже почти не проявляла, уступив место стремлению Белого к созданию объективированных характеров и ситуаций, которые могли бы иметь место в реальной действительности.

«Некрасовская» редакция романа важна и другой своей стороной. Здесь уже оформилась фабула «Петербурга». Она еще не получила полной художественной реализации, но то, что она сложилась к этому времени в сознании Белого, видно из глав, сохранившихся в корректуре. В них подробно рассказано о появлении на улицах Петербурга террориста Неуловимого, о его визите в дом сенатора Аبلеухова. Передан его разговор с сенаторским сыном (разговор этот почти без изменений войдет в «сириновский» текст романа) и описан самый важный факт, на котором основывается фабула романа и который состоит в том, что Дудкин оставляет в кабинете Николая Аполлоновича террористическую бомбу, завязанную в мокрый узелок. Прочно вводится в роман и мотив провокации, причем в гротескно-обнаженном виде. Это уже сюжетный костяк будущего «Петербурга». Здесь он окончательно складывается в систему взаимосвязанных и взаимообусловленных действий и поступков героев романа. Нам теперь ясно, что бомба должна будет взорваться в сенаторском доме и что взорвать ее должен будет именно Николай Аполлонович. В этом и состоит смысл провокации, в которую оказался втянут не только Николай Аполлонович, но и Дудкин; он уже здесь подается Белым и как знаменитый террорист по кличке Неуловимый, и как индивидуалист-ницшеанец и мистик.

Отсюда следует, что и всю дальнейшую работу Белого над романом необходимо рассматривать главным образом с точки зрения оттачивания, художественного углубления уже готовых сюжетных линий.

Третий, «сириновский», этап работы над «Петербургом», представляя собой главное звено в длительной цепи истории романа, ничего принципиально нового в оформлении замысла не вносит. Трудно сказать, какие изменения роман претерпевает со стороны идейного содержания, но, возможно, что и тут дело ограничилось художественным воплощением уже сформировавшейся идеологической конструкции.

<sup>70</sup> И мре Л. «Петербург» Андрея Белого и русский символический роман. — Slavica, 1977, т. XV, с. 64.

Здесь впервые определилось количество глав (восемь), введены пролог (его не было в «некрасовской» редакции) и эпилог. Главы получают окончательные заглавия с оттенком некоторой авантюристичности; его также не было в предыдущих редакциях. Белый как бы использует в названиях глав традиции плутовского романа, что создает некоторый, чуть заметный разрыв между названием главы и ее реальным содержанием. Так, трагическая пятая глава, крайне серьезная по содержанию и смыслу, имеет чисто авантюристичное название: «Глава пятая, в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания». «Господинчик с бородавкой у носа» — агент охранного отделения Морковин, он же — одно из земных воплощений антихриста (у него «ледяные руки», которым повинуются сам сенатор Аблеухов); «сардинница ужасного содержания» — террористическая бомба, с помощью которой Николай Аполлонович должен уничтожить своего отца сенатора Аблеухова. Ничего «авантюристичного», «плутовского» в содержании главы нет, тогда как оттенок этих значений в ее заглавии безусловно имеется.

Его еще не было в «некрасовской» редакции. Мы имеем здесь обычные, «прозаические» заглавия: «Утро сенатора» и «Мозговая игра». В рукописи «сириновского» издания обнаруживаем еще название четвертой главы: «Невские тени» (л. 15). Здесь явственно слышны отголоски возможного заглавия всего романа — «Тени», «Злые тени». Четвертая глава в последствии стала третьей, получившей и новое название. И вот где-то здесь, в момент, когда происходило увеличение глав и четвертая глава становилась третьей (это случилось в середине 1912 г.), в сознании Белого, очевидно, и возникает желание придать названиям глав авантюрно-приключенческий характер. Уже третья глава (видимо, новая третья, бывшая четвертая) в рукописи имеет название: «Глава третья, из которой явствует, что события четвертой главы все поднимут вверх дном». Это уже была прямая (и, по всей вероятности, первая) попытка овладеть новым стилем названий глав. Она оказалась не совсем удачной — глава определялась не в соответствии со своим содержанием, а в соответствии с тем, что должно произойти в следующей главе, — и Белый впоследствии изменил ее название. Он придал ему более конкретный, но и более «авантюристичный» характер («Глава третья, в которой описано, как Николай Аполлонович попадает с своей затеей впросак»).

В таком переходе от «серьезных» названий глав к названиям «авантюрно-приключенческим» безусловно сказалось чисто писательское стремление Белого привлечь внимание широких читательских кругов, которые как он понимал, могло бы насторожить необычайное и крайне серьезное содержание «Петербурга» и его необычная новаторская стилистическая манера. Роман Белого труден для усвоения малоподготовленным читателем, он это понимал, и вопрос об аудитории не был для него праздным вопросом.

Возможно, что здесь имелась и другая причина; вернее, не причина в собственном смысле, а некий скрытый импульс, в широком плане проявивший себя в романе в той его стилистической особенности, которая

была определена выше как прием автоиронии. Белый высмеивает в романе не только близких ему людей (например, Л. Д. Блок, черты которой он использует для создания образа Софьи Петровны Лихутиной, или отчима Блока Ф. Ф. Кублицкого-Пиотух, которого он выводит в образе подпоручика Лихутина), но и самого себя (Николай Аполлонович) и своего отца (Аполлон Аполлонович, но только в сфере отношений с сыном Коленькой).

В «сириновской» редакции впервые было проведено и деление глав романа на главки, каждая из которых получила свое заглавие. Таких заглавий в романе 133. Составлялись они Белым из слов, словосочетаний или целых предложений данной главки. Громоздкие главы разбиваются на разделы, каждый из которых получает свое название. Чтение романа и восприятие его содержания значительно облегчаются. Не все названия главок сложились сразу. По сохранившейся части рукописи мы можем отметить первоначальные варианты некоторых из них. Очевидно, составление заглавия производилось Белым перед самой отправкой той или иной части рукописи в Москву и сопровождалось известной спешкой. Так, в заглавие шестой главки главы третьей вынесен мотив из «Пиковой дамы», который напевала некогда Софья Петровна и который в тексте главы передается как «татам: там, там!». В названии же Белым допущена явная описка («Там: там, там!»), которая и была исправлена Ивановым-Разумником (что явствует из его пометы на полях рукописи). Бывало и так, что, озаглавив ту или иную главку, Белый, продолжая работать над нею, выбрасывал (или передвигал в другое место) ту часть текста, которая как раз содержала слова, вынесенные в заглавие. Так произошло с главкой «Холодные пальцы» (глава первая). Словосочетание «холодные пальцы» взято из рассказа о том, как некогда в юности замерзал Аполлон Аполлонович где-то «в пространствах» России: «будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце». Рассказ этот Белый перенес впоследствии во вторую главу (главка «Зовет меня мой Дельвиг милый», которая в первоначальном варианте называлась просто «Дельвиг милый»); заглавие же «Холодные пальцы» по недосмотру осталось нетронутым, хотя никакой связи с главкой оно теперь уже не имеет.

## 2

Однако, держа в руках сборники издательства «Сирин», в которых наконец-то увидел свет его роман, Белый ощутил неудовлетворенность своей работой. Им уже стало овладевать к этому времени желание перекрыть, переиначить все прежде созданное.

Готовя двухтомное собрание своих стихотворений для издательства «Сирин», Белый писал в июле 1914 г. Иванову-Разумнику (на признание его следует обратить внимание, поскольку оно характеризует его и как творческую личность): «<...> я хотел подготовить 2-е издание моих

стихотворений, распределив их по новым отделам и переработав ряд стихотворений заново; этой работой я и занялся. Но занявшись переработкой, я понял, что мое намерение — не оставить камня на камне в „Золоте в лазури“, т. е. попросту заново написать „Золото в лазури“.<sup>71</sup>

Ошеломляющее признание, которое должно привлечь к себе наше внимание. Тем более что Белый это свое намерение выполнил: в 1923 г. в Берлине он издает в одном томе свои прежние стихотворения, действительно переписанные заново. Он выбросил здесь целые стихотворные строфы, разрушил прежние циклы и создал новые, разбил прежние лирические поэмы на стихотворные циклы, а некоторые циклы превратил в поэмы и т. д. Все прежде написанное представляется ему теперь далеким от совершенства. В 1931 г., готовя к печати новый стихотворный сборник «Зовы времен», Белый пишет в предисловии: «Особенность моих стихов — их рыхлость; все, мной написанное в стихах, в разгляде лет стоит, как черновики, с опубликованием которых я поторопился <...>». Здесь же содержится призыв к будущим издателям не печатать «Золото в лазури» по первому изданию 1904 г.<sup>72</sup>

Столь же воинственно настроивается Белый уже в эти годы и по отношению к «Петербургу». Правда, тут имеется одна существенная деталь: Белый нигде не говорит о «переработке» романа, а только о его сокращении. Стихи и стихотворные сборники он перерабатывает, а роман сокращает. Это крайне существенное отличие, и о нем следует помнить.

Причины, побудившие Белого приступить к пересмотру своего прошлого, не совсем ясны, несмотря на то что на них уже обратили внимание исследователи его творчества. Здесь важно иметь в виду, что пересмотр этот начался задолго до революции и с событиями 1917 г. непосредственно никак не связан.

Возможно, что, ощутив приближение общественных потрясений, начало которым и положила мировая война, Белый и в своей прежней творческой деятельности хочет теперь видеть отражение нынешних его предчувствий, хочет видеть в своем творчестве единую «лирическую поэму», как он сам говорил, которая в более наглядной форме выражала бы внутренний смысл его жизненной судьбы. Начиная с 1914 г. Белый до конца дней своих будет настойчиво и регулярно «переписывать» свое прошлое, переиначивать его, причем не только художественное творчество, но и самую жизнь свою, что найдет наглядное выражение в трех томах его воспоминаний. В этом состояла суть его личности: на каждом новом этапе своего развития (особенно если он совпадал с событиями большого общественного значения) он воспринимал свое прошлое как подготовку именно к этому этапу, нисколько не заботясь о его объективном историко-литературном значении.

<sup>71</sup> ЦГАЛИ, ф. 1872, оп. 1, ед. хр. 4, л. 16.

<sup>72</sup> «Стихотворения и поэмы», с. 560. Естественно, что согласиться с А. Белым и выполнить его волю оказалось никак невозможно, ибо это привело бы к полному искажению представлений об А. Белом как поэте, формирование которого проходило в определенных исторических условиях.

1914—1917 гг. — важнейшая века в истории России и всего европейского мира. Проходя сквозь эти годы, обостренно воспринимая накал общественной жизни, Белый хочет и собственное творчество воспринимать в непосредственной связи с тем, что ныне происходит в мире.

Он живет в эти годы крайне напряженной жизнью. Еще в 1912 г. (если верить Белому) он получает предложение «от немецких издателей, предлагающих перевести и издать в Германии» его роман «Петербург». <sup>73</sup> И уже через два года, только что дождавшись опубликования «Петербурга», Белый приступает к его сокращению. 2 июля 1914 г. он сообщает Иванову-Разумнику: «...» „Серебряного голубя“ высылаю Вам вскоре, как только окончу разметку сокращений „Петербурга“ для немецкого издания: издатель, Георг Мюллер (в Мюнхене) выдвинул моей переводчице условие, чтобы „Петербург“ был одним томом, а для этого надо было сократить его страниц на 100. Сокращая, я так увлекся работой, что думаю: для будущего русского издания я сокращу его тоже страниц на 150. При сокращении он выигрывает сильно». <sup>74</sup>

В 1919 г., находясь в Москве, Белый и приступает к осуществлению этого своего желания. Он сокращает роман для опубликования в Издательстве писателей в Москве. Работает он по «сириновскому» тексту, по экземпляру, ранее принадлежавшему В. Ф. Эрну, о чем свидетельствует его же дарственная надпись. Издание не состоялось, но правленный экземпляр романа сохранился и находится ныне в собрании И. С. Зильберштейна (Москва). Ознакомившись с ним благодаря любезному согласию И. С. Зильберштейна, мы обнаружили, что сокращения имеют здесь гораздо более радикальный характер, нежели те, которые были впоследствии осуществлены Белым в берлинском издании романа. Целиком, например, вычеркнут «Пролог», целиком или почти целиком изъяты многие главы («Топотали их туфельки», «Дотанцовывал», «Бал», «Рука помощи», «Невский проспект», «Учреждение», «Он винтить перестал» и др.). Название главы «Бегство» (глава вторая) зачеркнуто и вместо него написано новое — «Россия», а из текста главы изъято все, что напоминает об Александре Дудкине, в результате чего глава превратилась в самостоятельное лирическое отступление.

Как видим, двухтомное берлинское издание «Петербурга» 1922 г. — не было неожиданным. <sup>75</sup> Его появление подготовлялось начиная с 1914 г. «Берлинское двухлетие, — отмечает К. Мочульский, — апогей литературной деятельности Белого». Белый публикует в эти годы

<sup>73</sup> См. письмо к матери летом 1912 г. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 359, л. 92 об.).

<sup>74</sup> ЦГАЛИ, ф. 1872, оп. 1, ед. хр. 4, л. 17. Немецкий перевод «Петербурга» вышел в Мюнхене (издательство Георга Мюллера) в 1919 г. По замечанию Иванова-Разумника, он послужил своеобразным «мостом» от «сириновского» издания романа к берлинскому («Вершины», с. 92).

<sup>75</sup> Разделение на два тома было проведено Белым чисто механически: пролог и первые четыре главы составили первый том, последующие четыре главы и эпилог — второй том. Общий объем издания сократился на 1/4 часть (из 31 печатного листа в берлинском издании было изъято 8 листов (см. «Вершины», с. 122).

16 книг, половина из которых — переработанные прежние издания, а половина — новые произведения.<sup>76</sup> Это был титанический труд, и только Белый с его фантастической работоспособностью мог выдержать его.

И, конечно, ему было не до отделки деталей, шлифовки фраз, т. е. всего того, что требует углубления и самососредоточенности. Он переделывал произведения, как бы торопясь разделаться с одной темой и тут же перейти к другой. Следы спешки мы без труда находим и в тексте двухтомного берлинского издания романа «Петербург».

Вопреки мнению Иванова-Разумника (проникшему в огрубленном виде в эмигрантскую мемуаристику) Белый не стремится изменить или просто затронуть концепцию романа. Сокращение производилось им без какой бы то ни было заранее продуманной цели и в новых условиях. Острота той исторической ситуации, в которой оказалась в предреволюционные годы Россия и которая легла в основание художественной концепции «Петербурга», сгладилась к этому времени, перестала быть «злойбой дня» и с политической, и с идеологической точки зрения. Пройдя через революционные потрясения, Россия вступила на путь социалистических преобразований. Актуальность романа сгладилась, чего не мог не понимать Белый. Изображенные в романе события отходили в прошлое, становились достоянием истории. Объективно, самим ходом событий «Петербург» переводился в разряд произведений на историческую тему. Чувствуя и понимая это, Белый и производил сокращение романа, стремясь сгладить, приглушить то, что ранее могло оказаться актуальным и злободневным.

Но он невольно при этом нарушал то равновесие, которое существовало между философией «Петербурга» и теми изобразительными средствами, к помощи которых он прибегал. Ведь в основе философской концепции Белого лежала мысль о прозрачности реального мира, о его «неподлинности». Она-то и давала ему возможность слить разнохарактерные и разнотильные элементы произведения в одно художественное целое. Теперь, при сокращении романа, Белый, не замечая, видимо, того, разрушает философскую концепцию романа, благодаря чему разнотильность и разнохарактерность художественных элементов становится явной, выдвигается вперед. Роман теперь производит впечатление известной искусственности, заданности. Он приобретает черты сухо очерченной схемы, в чем Белый видит его достоинства (см. предисловие к роману в издании 1928 г.). Но при этом нельзя не отметить, что он лишился и известной доли красочности, психологической остроты и напряженности. На многих страницах стала ощущаться недоговоренность.

Так, в седьмой главе (главка «Журавли») имеется лирическое отступление, в котором излагается мечта Белого о всеобщем братстве людей, непременно долженствующем наступить в ближайшее время. В «сиринском» тексте этот отрывок имеет следующий вид:

«Но настанет день.

<sup>76</sup> Мочульский К. Андрей Белый, с. 239.

Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, — те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту смертельной опасности, те, которые о невыразимом том миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность, — все, все они встретятся!

Этой радости встречи у них не отнимет никто».

В берлинском издании отступление это получает следующий вид:

«Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, — те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту смертельной опасности, все они встретятся!

Этой радости встречи никто не отнимет».<sup>77</sup>

Блестящий метафорический пассаж превратился в сухую безликость. Даже, пожалуй, и не совсем понятно стало, о какой именно «встрече» тут идет речь.

Подобным образом сокращает Белый текст и во многих других случаях. Вот появляется на страницах романа террорист Дудкин, направляющийся в дом сенатора. Белый пишет («сириновский» текст):

«Он думал, что жизнь дорожает и рабочему человеку будет скоро — нечего есть; что оттуда, с моста, вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами и ватагою каменных великанов; ватага та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю острую бедноту».

А вот что осталось от размышлений Дудкина в берлинском издании.

«Он думал, что жизнь дорожает; рабочему человеку жить трудно, оттуда вонзается Петербург и проспектными стрелами и ватагою каменных великанов» (ч. I, с. 33).

Но, пожалуй, наиболее разительный пример — та обработка, которой подвергся изумительный по яркости и зримости деталей метафорический отрывок, содержащийся в самом начале первой главы (главка «Жители островов поражают вас») и связанный с сенатором Аплеуховым и «нетопыринными» крыльями (см. с. 24 наст. изд.).

Сарказм и ирония писателя-гражданина, насмешка над ограниченным сановным мышлением — вот что слышим в этом лирическом отступлении, исполненном незаурядной душевной силы и мастерски отточенном.

Вот что имеем мы в берлинском издании:

«Оттуда вставал Петербург; из волны облаков запылали там здания; там, казалось, парил кто-то злобный, холодный; оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом, в туман выдаваясь черепом и ушами.

Все это незнакомец подумал; зажал он в кармане кулак; и он вспомнил, что падали листья.

Все знал наизусть. Эти павшие листья — для скольких последние листья: он стал — синеватая тень.

<sup>77</sup> Белый А. Петербург. Роман. Часть вторая. Берлин, 1922, с. 156. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием только части (римская цифра) и страницы.

От себя же мы скажем: о, русские люди, о, русские люди! Вы толпы теней с островов не пускайте! Через летийские воды уже перекинуты черные и серые мосты. Разобрать бы их...

Поздно...» (ч. I, с. 34).

Здесь все стало сниженным, сглаженным. Выветрился сарказм, осталась ирония. Разоблачительный пафос сменился ровным повествованием, без особого напряжения и смысловых переливов.

Белый действительно в берлинском издании «Петербурга» убирает отдельные сцены, которые могли быть истолкованы как выражение его скептического отношения к плодотворности социального переустройства общества, к рабочему движению. Так, он изымает целиком главку «Митинг» из третьей главы романа. Подобные изъятия безусловно могли бы повести за собой общее изменение концепции романа, но при условии, что оно имело бы односторонний характер. Но этого не произошло. Параллельно Белый изымает (или сильно сокращает, лишая остроты и значительности) и разоблачительные страницы. Выше были приведены примеры на этот счет. Укажу еще на целиком изъятый отрывок, завершавший в «сириновской» редакции главку «Да вы помолчите!..» главы первой. Вместо него в берлинском издании осталось многоточие, хотя разоблачительный и сатирический пафос этого отрывка сразу же бросается в глаза. От романа остается сухой костяк, контур, который может что-то дать лишь человеку, знакомому с «сириновским» текстом.

Крайне односторонне оценивая идейное содержание романа, Иванов-Разумник выдвигает концепцию, согласно которой сокращение производилось Белым будто бы под знаком полного изменения его идеологической структуры. Это изменение, по Иванову-Разумнику, проходило по линии замены равенства «революция—монголизм» другим равенством: «революция—скифство». <sup>78</sup> Иными словами, революция из явления темного, разрушительного («монголизм») превращается будто бы теперь у Белого в явление стихийное, возвышенное, ибо ее истоки уже лежат не в сфере подсознания, а в сфере неких «светлых», патриархально-первобытных начал жизни («скифство»).

Нетрудно увидеть за изложением этой концепции желание Иванова-Разумника сделать Белого берлинской редакции «Петербурга» своим союзником по «скифству» (за которым отчетливо просматривается эсеровская политическая платформа), противопоставив ему Белого «сириновской» редакции «Петербурга», который, естественно, союзником Иванова-Разумника по идеологии «скифства» стать не мог. Для него Белый эпохи берлинского издания «Петербурга» — непревзойденный мастер, тонкий и чуткий художник, превосходный стилист. «Новую обработку или переработку романа, — пишет Иванов-Разумник, — автор произвел с глубоким вкусом, с тонкой выдержкой, с верным пониманием средств, кото-

<sup>78</sup> «Вершины», с. 153—154.



рыми он — сознательно или подсознательно — стремился к определенной цели».<sup>79</sup>

Однако ничего подобного мы в работе Белого над текстом «Петербург» не находим. Наоборот, в глаза бросается спешка, с которой производилось сокращение романа и результатом которой стали многочисленные стилистические ляпсусы, недоговоренности, нарушения смысла.

Вот некоторые примеры. В главе первой берлинского издания (главка «Письменный стол там стоял») сенатор Аблеухов пытается вспомнить, где ему уже доводилось встречать «незнакомца с черными усиками» (Дудкина): «Как-то спускался он с лестницы; Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, с кем-то. . . : о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться» (ч. I, с. 45). Зияние, отмеченное многоточием, вызывает недоумение. Окажется в «сириновской» редакции эта часть фразы имела такой вид: «с кем-то весело разговаривал» (главка «Разночинца он видел»). Многозначительность, к которой, по всей вероятности, стремился Белый в редакции 1922 г., получилась искусственной. В той же главке в берлинском издании имеется такой отрывок: «Лакей поднимался по лестнице; о, прекрасная лестница! И — ступени: мягкие, как мозговые извилины; по которой не раз поднимались министры» (ч. I, с. 47). Здесь явно нарушена грамматика: «которой» относится к слову («лестница»), стоящему в предыдущем предложении.<sup>80</sup> В «сириновском» издании весь этот пассаж имеет развернутый вид, и там нет никаких стилистических нарушений.

Но наиболее разительный пример спешки, приведшей к нарушению смысла, содержится в главке «Наша роль» (первая глава). Вот ее начало (по берлинскому изданию): «Петербургские улицы обладают одним несомненным свойством: превращают в тени прохожих.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.

Он, возникши как мысль, почему-то связался с сенаторским домом; там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе» (ч. I, с. 49). Фраза «Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем» не подтверждается текстом, из которого ясно, что «видели мы» прямо противоположное — не превращение незнакомца в тень, а превращение мысли, возникшей в сенаторской голове, в реального незнакомца с усиками. Дело объясняется тем, что, редактируя «сириновский» текст, Белый часть фразы, следующую за словами «превращают в тени прохожих», снимает. Имеет же эта часть такой вид: «тени же петербургские улицы превращают в людей». Вот теперь все понятно, и следующая фраза: «Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем» никаких недоумений не вызывает.

<sup>79</sup> «Вершины», с. 157.

<sup>80</sup> В издании «Никитинских субботников» (1928)<sup>1</sup>, пытаюсь исправить эту оплошность, Белый еще более усугубляет ее. Фраза здесь имеет такой вид: «И — ступени: мягкие, как мозговые извилины, по которым не раз поднимались министры» (ч. I, с. 47).

Пример этот показателен. Сокращая роман, выбрасывая абзацы, фразы, части фраз и ничем их не заменяя, Белый невольно подчас нарушает логическую последовательность повествования, благодаря чему утрачивается или нарушается смысл той или иной мысли, описания, разговора. Так, во второй главе (главка «Совершенно прокуренное лицо») в передаче разговора Николая Аполлоновича с Дудкиным имеется такой эпизод («сириновская» редакция):

«И теперь, услышавши резкую фистулу, произносившую „помня“, Николай Аполлонович едва не выкрикнул вслух:

— „О моем предложении?“

Но он тотчас же взял себя в руки; и он только заметил:

— „Так, я к вашим услугам“ <...>».

В берлинском издании этот разговор сжимается до того, что становится совершенно невнятным:

«Услышавши резкую фистулу, произносившую „помня“, Николай Аполлонович выкрикнул:

— „О моем предложении?..“

Но взял себя в руки; и только заметил:

— „Я к вашим услугам“ <...>» (ч. I, с. 105).

В одно и то же время Николай Аполлонович и «выкрикнул», и «только заметил».

То же самое произошло с началом четвертой главы (главка «Летний сад»). В «сириновской» редакции оно имело следующий вид: «Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки Летнего сада; пересекая эти пространства, изредка торопил свой шаг пасмурный пешеход, чтобы потом окончатально затеряться в пустоте безысходной: Марсово поле не одолеть в пять минут!» В берлинском издании смысл этого отрывка, достаточно ясный, изрядно нарушается: «Изредка торопил шаг пасмурный пешеход, — окончатально затеряться: Марсово поле не одолеть в пять минут» (ч. I, стр. 191). Получается, что «пасмурный пешеход» «торопил шаг», *спеша затеряться*, тогда как на деле Белый к такому смыслу вряд ли стремился. Речь в романе идет о метафизических пространствах, со всех сторон окружающих человека; они или могут расширяться до размеров вселенной, или сужаться до размеров Марсова поля, но они губительны для человека. Однако сам человек вовсе не спешит «затеряться» в них, его субъективная воля в данном случае роли не играет.

Сильно пострадали в берлинском издании сцены, рисующие возвращение ночью Дудкина к себе на чердак, где его поджидает оборотень Шишнарфнэ. Вот Дудкин вошел в подъезд и вбежал на лестничную площадку. Посмотрев с ужасом вниз, он увидел, как «Махмудка шептал господничку обыденного вида, в естественном котелке с горбоносом, восточным лицом» (ч. II, 120). Что это за «естественный котелок»? Возможен ли котелок «неестественный» или «противоестественный»? Этого слова не было в «сириновском» тексте, и никаких недоумений тут не возникало. Далее происходит встреча с Шишнарфнэ, который вступает с Дудкиным в разговор:

« — „Извините, вы Андрей Андреич Горельский?“

— „Нет, я Александр Иванович Дудкин...“

— „Да, по подложному паспорту...“

Александр Иванович вздрогнул: он действительно жил по подложному паспорту, но его имя, отчество и фамилия были: Алексей Алексеевич Погорельский, а не Андрей Андреич Горельский».

В берлинском издании этот простой отрывок приобретает черты произнесенной скороговоркой невнятицы:

« — „Андрей Андреич Горельский?“

— „Нет, Александр Иванович Дудкин...“

— „Да, но по — паспорту...“

Александр Иванович вздрогнул; он жил по подложному паспорту; имя, отчество и фамилия; Алексей Алексеевич Погорельский, а не Андрей Андреич» (ч. II, с. 124).

Здесь смешались подлинное и конспиративное имя Дудкина (ибо по паспорту как раз он и есть Дудкин). Далее в разговор входит тема Петербурга; Шишнарфнэ заявляет: «... впрочем, родина моя — Шемаха: а я обитаю в Финляндии: климат Петербурга, признаюсь, и мне вреден». В берлинском издании фраза эта искажена до того, что утратила всякий смысл: «Впрочем, родина моя — Шемаха; климат же мне вреден» (ч. II, с. 126). Что за климат? Климат Шемахи? Очевидно, нет; но в таком случае возникает вопрос, как может быть вреден климат вообще?

Затем разговор переключается на проблему «теневого мира» и характера «тени». Шишнарфнэ утверждает: «Тень — даже не пауас; биология теней еще не изучена; потому-то вот — никогда не столкнуться с тенью: ее требований не поймешь; в Петербурге она входит в вас бациллами всевозможных болезней, проглатываемых с самою водопроводной водой...» Обычная для Белого мысль о Петербурге, как дьявольском наваждении и столице теневого мира. Совершенно невнятный смысл приобретает она в берлинском издании: «Биология тени еще не изучена; требований ее не поймешь; она входит бациллами, проглатываемыми с водопроводной водою...» (ч. II, с. 127). Кто входит бациллами — тень или биология тени?<sup>81</sup>

Но вот приступ бреда миновал, оборотень исчез. Дудкин остался один. Белый пишет («сириновская» редакция): «Александр Иванович, отдохавший от приступов бреда, замечтался о том, как над чувственным маревом мира высоко он привстал». В берлинском издании, сжимая текст до предела, он и эту фразу лишает смысла: «Александр Иванович, отдохавший от бреда, мечтал, как над чувственным маревом встал» (ч. II, с. 136). Так же поступает он и в описании пути, который проделывает Медный всадник, направляясь к дому Дудкина. В «сириновском» издании

<sup>81</sup> В издании «Никитинских субботников» (1928) фраза эта выглядит совсем нелепо: «Биология сновидений еще не изучена; требований ее не поймешь, она входит бациллами, проглатываемыми с водопроводной водою...» (ч. II, с. 120). Ясно сказано, что «входит» биология.

имелось такое сравнение (не совсем, впрочем, удачное): «конский рот разорвался в оглушительном ржанье, напоминающем свистки паровоза». В берлинском издании *ржанье* заменяется *хохотом*, и сравнение приобретает невероятный характер: «раздался конский хохот, напоминающий свисток паровоза» (ч. II, с. 133). И весь этот яркий колоритный пассаж, открыто ориентированный на Пушкина и отчасти Гоголя, становится сухим и безликим перечислением (к тому же с нелепой опечаткой — вместо «встречные кони, фыркая, зашарахались в ужасе» и в берлинском издании, и в издании «Никитинских субботников» стало: «кони, фыркая, зашарахались»).

Один из излюбленных приемов Белого при сокращении текста состоял в том, чтобы выбросив слово (или часть фразы), либо заменить ее многоточием, либо не заменять ничем; и в том и в другом случае образуется смысловое зияние. Показательна в этом отношении глава «Конт-конт-конт!» в главе третьей. Так, в берлинской редакции читаем: «И подобие дружбы возникало к десерту: и иногда становилось им жаль обрывать разговор, будто оба боялись, что каждый из них в одиночку друг другу...» (ч. I, с. 160). Выпущены слова «сурово подписывал казнь». В том же месте отец вспоминает, как он обучал некогда сына: «Звезды, Коленка, далеко: от ближайшей — пучок пробегает к земле два с лишним...» (ч. I, с. 160). Выпущено слово «года». И там же снова: «Неужели же отец пришел к заключению, будто кровь его — негодяйская?» (ч. I, с. 160—161). Было «кровь от крови его», поскольку сенатор размышляет не о себе, а о своем сыне. В главе седьмой в сцене встречи Николая Аполлоновича с подпоручиком Лихутиным на Невском проспекте Лихутин бросает фразу: «Не для того я за вами бежал, чтобы мы говорили о какой-то там шее» (ч. II, с. 159). Но как раз о шее не было перед этим сказано ни слова, потому что абзац с упоминанием о ней оказался целиком вырванным.

И таких случаев в берлинском издании «Петербурга» — много. Поэтому мнение об этой редакции, как об образцовой, выполненной «с глубоким вкусом» и «тонкой выдержкой», следует признать несостоятельным.

Несостоятельной следует признать и другую мысль, также высказывавшуюся относительно берлинской редакции романа, — о том, что Белый произвел сокращение текста будто бы исключительно в конъюнктурных целях, чтобы показать свою «лояльность» по отношению к советской власти. Такую «точку зрения» мы находим в упоминавшейся выше книге Н. Валентинова.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Валентинов Н. Два года с символистами, с. 190—191. Правда, здесь же Н. Валентинов признается, что «во время писания этих строк» первого издания «Петербурга» у него в руках не было и он вынужден полагаться исключительно на память. Благодаря одной лишь этой невольной оговорке ответственное, казалось бы, заявление становится заявлением безответственным. Речь ведь идет о сличении текстов, как же тут можно полагаться на память? Н. Валентинов не знал книги Иванова-Разумника «Вершины»; он пользовался цитатами из нее, что приводил их по книге К. Мочульского (это видно из текста его воспоминаний).

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ «ПЕТЕРБУРГА»

### 1

В клубах зеленого купоросного дыма, разламывая и дробя ступени, с громом и грохотом поднимается на чердак сырого петербургского дома в 17-й линии Васильевского острова прискакавший сюда Медный всадник. Он покинул свое место на Сенатской площади и направился к террористу Александру Ивановичу Дудкину, проживающему здесь на конспиративной квартире. Упал на колени перед всадником Дудкин, сказал ему, что ждал его, назвал его «учителем». Он вспомнил миф о Медном всаднике, погнавшемся по улицам ночного города за бедным разночинцем, и понял, что поэме этой суждено продолжение — вот теперь, в нынешние дни, в двадцатом столетии.

Явно фантастическая картина, за которой, однако, мы чувствуем глубокий иносказательный смысл. Но это не та фантастика, особенности которой были подмечены Достоевским в его известном отзыве «о «Пиковой даме» Пушкина. Двойственный характер главной сцены этой повести хорошо улавливался читателями. «Пушкин, давший нам почти все формы искусства, — говорит Достоевский, — написал Пиковую Даму, — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решать: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром... Вот это искусство!»<sup>83</sup> Воспаленному воображению героя *почудилось*, что старая графиня навестила его после смерти и открыла ему карточный секрет (реальный факт), но мы, читатели, готовы увидеть здесь его способность приходить в соприкосновение с потусторонней силой, — вот мысль Достоевского.

Важность этого замечания видна из того, что Пушкина действительно несколько не волнует, как описанная сцена будет воспринята читателем — как бред Германна или как потустороннее явление. Визит умершей графини описан так, как будто он имел место в самом деле. Никаких намеков на то, что это было видение.

Точно так же как будто поступает и Белый. Мы не можем верить ему, когда он пишет о том, как Медный всадник, покинув скалу, прискакал к дому, где живет Дудкин, слез с коня и в облике медно-красного гиганта поднялся к нему на чердак, как не можем верить, что умершая графиня

---

Сторонник левозсеровской платформы Иванов-Разумник, естественно, не мог быть союзником меньшевика Н. Валентинова, считавшего, что «шаткость» критики Белым Запада «особенно видна в наши дни» (с. 193). Но в отношении к берлинскому изданию «Петербург» они совпали: Иванов-Разумник из желания сделать Белому своим сторонником, Н. Валентинов — из нежелания понять (и, главное, простить) Белому возвращение на родину в 1923 г.

<sup>83</sup> Достоевский Ф. М. Письма. М., 1959, т. IV, с. 178.

в действительности посетила Германпа. Но это неверие не мешает нам проникнуться иносказательным смыслом сцены, не подрывает веры в то, что Белый говорит здесь очень значительные вещи, непосредственно связанные с замыслом и содержанием произведения. Тем более что используется готовая модель: невероятное описывается как обычное; используется и готовая сюжетная конструкция, заимствованная из «Медного всадника», где сумасшествие героя (Евгения) уже раскрывается через фантастическую сцену погони. Иносказание как аллегория отвергается Белым, ее место занимает иносказание, понятое как *символическое обобщение*. 2 января 1909 г. он писал в письме к М. С. Шагинян: «... когда я пишу, я хочу *сигнализировать*; образы мои имеют эзотерическую подкладку».<sup>84</sup> Правда, Евгению *кажется*, что «кумир на бронзовом коне» реагирует на его протест и угрозы, которые повергают в страх прежде всего его самого. И вот то, что ему все это *кажется*, и составляет незримую основу правдоподобия сцены.

В «Петербурге» проблема осложняется тем, что тут никому ничего не кажется, Медный всадник скачет по городу сам по себе, что превосходит по фантастичности даже «Пиковую даму», где мы можем предполагать из дальнейшего, что Германн уже лишился рассудка к моменту «визита» умершей графини.

Но Белый пишет не фантастический роман, хотя поставленное им перед собой задание потребовало от него радикального расширения как сферы изображения, так и поэтических средств. Он просто стирает границы между реальным и нереальным, между прошлым и настоящим, между действительностью и воображением. Он полагается на общую связь описанных в романе и вполне «реальных» событий, которые лишь подкрепляет фантастическими сценами. Для него не существует ни смерти, ни рождения в общепринятом смысле этих понятий. Существует лишь нескончаемая цепь круговых видоизменений и всеобщих перевоплощений. Моменты и точки взаимного пересечения и порождают такие странные и, казалось бы, невозможные ни в каком нефантастическом произведении явления, как скачущий Медный всадник на улицах Петербурга в октябрьские дни 1905 г.<sup>85</sup>

И здесь среди предшественников Белого должен быть назван уже не Пушкин, а Гоголь и Достоевский (отчасти и Э. По). «Невский проспект», «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (с ее финальной сценой) и, с другой стороны, «Двойник», «Бесы», «Братья Карамазовы» — вот про-

<sup>84</sup> Новый мир, 1973, № 6, с. 147.

<sup>85</sup> Именно поэтому Н. Бердяев усмотрел в романе Белого одну только «астральную» сторону и посчитал прямым предшественником Белого Э.-Т.-А. Гофмана, «в гениальной фантастике которого также нарушались все грани и все планы перемешивались, все двигалось и переходило в другое» (Бердяев Н. Астральный роман. — В его кн.: Кризис искусства, М., 1918, с. 42). На деле поэтика «Петербурга» не имеет ничего общего ни с поэтикой Гофмана, ни с поэтикой Э. По; фантастическое здесь является сферой проявления идеологического, что роднит Белого скорее с Гоголем и Достоевским.

изведения, на которые опирался Белый в фантастических сценах «Петербург». Нереальное, вытекающее, однако, из общей связи описанных в романе событий и тем самым приобретающее смысл и характер *высшей, художественной* реальности — вот главный прием, к помощи которого прибегает Белый в этом романе. Его герои полностью ощутили себя во власти сил, которыми управляется движение жизни и которые, согласно Белому, имеют таинственный и непознаваемый характер, ощутили себя втянутыми в водоворот и исторической, и природной жизни.

Этой связи еще не ощущали во всей полноте ни герои Гоголя, ни герои Достоевского, среди которых могут быть обнаружены своеобразные прототипы «Петербурга». Так, черты и Поприщина («Записки сумасшедшего»), и Голядкина («Двойник») явственно проглядывают в облике подпоручика Лихутина. Сенаторский сын Николай Аполлонович вполне может быть сопоставлен с Раскольниковым, разговор же его ночью в кабачке с сыщиком Морковиним вызывает в памяти соответствующий разговор Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем. Оба героя были разоблачены, причем и в том и в другом случае возникает атмосфера провокации (у Достоевского — скрытой, у Белого — явной).

Но у Белого Морковин затаскивает Николая Аполлоновича в ресторанчик, в который только что вошел в сопровождении голландского моряка не названный по имени, но легко узнаваемый сам Петр I. И затем на протяжении всего разговора эти два свидетеля внимательно наблюдают за Морковиним и его спутником. И сразу разговор и вся эта сцена переводятся в иной план — условно-символический и «провиденциальный», несмотря на то что реалистическая достоверность в описании ночной жизни островного ресторанчика сама по себе глубока и основательна. Петр внимательно слушает разговор своих невольных соседей. Он не принимает участия в нем, но чувствуется, что настоящий хозяин тут — именно он. Он не предпринимает никаких действий потому, очевидно, что, как считает автор, события движутся в «естественном» (т. е. в высшем смысле — противоестественном) направлении (провокация развивается дальше, почву же ей дал своей деятельностью некогда он, Петр, заложив «на болоте» «сей не русский град»). История перемежается с вымыслом, была с чудовищной фантастикой, реалистическая и достоверная сцена освещается «потусторонним» светом.

Другое столь же явное заимствование у Достоевского — тоже ночной разговор Дудкина с оборотнем Шишнарфне. Этот разговор воспроизводит ту страшную ночную беседу, которую ведет в романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов со своим двойником-чертом. Несмотря на необычность ситуации и сложность чисто художественного задания (сделать так, чтобы черт не был смешон, чтобы он был чертом, т. е. согласно Достоевскому, воплощением темной стороны человеческой души, чтобы он был подлинным двойником умного и возвышенного Ивана и чтобы, наконец, их беседа была беседой, а не бредовым нагромождением нелепиц), несмотря на все это, Достоевский ни в чем не отклонился от полного правдоподобия. Ничего необычного в сцене беседы нет (за исключением,

естественно, самой сцены). Есть трагизм, граничащий с безысходностью, но это трагизм, как считает Достоевский, реального земного существования человека, это трагизм реальной земной двойственности человеческой души.

В роли Ивана у Белого выступает террорист Дудкин, в роли его двойника-черта оборотень Шишнарфне, «младоперс», как аттестуют его в доме Липпанченко. (Вспомним, что у Достоевского черт является Ивану тоже в заурядном облике помещика «средней руки»). Имеются и другие совпадения между сценой Достоевского и сценой Белого (например, болтливость черта, катастрофические последствия беседы, заканчивающейся и в том и в другом романе сумасшествием героев, и т. д.).

Однако гораздо важнее совпадений для нас различия. Многие объединяет Белого с Достоевским, но многое и разделяет их. Черт в романе Белого — символ; мир, из которого он прибыл, где имеется своя иерархия, свои паспорта и даже прописка, для Белого существует в действительности. Состоит этот мир из необъятных пространств, «соединенных с пространствами нашими в математической точке касания», — как говорится в шестой главе «Петербурга». Это и есть четвертое измерение — бездна, царство Сатурна, куда был унесен бесами Дудкин и откуда он вернулся, после того как прошел «сон» (ему приснилось, что он летал на ведьмовский шабаш).

Довершает символическую иносказательность картины сцена появления на улицах столицы Медного всадника: «у него в глазах была — зеленая тая глубина; мускулы металлических рук — распрямились, напряжились; и рванулось медное темя; на булыжники конские обрывались копыта, на стремительных, на ослепительных дугах; конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза; густой пар из ноздрей обдал улицу световым кипятком; встречные кони, фыркая, зашарахались в ужасе; а прохожие в ужасе закрывали глаза».

Это поэма Пушкина, прочитанная сквозь призму Апокалипсиса. Летит по проспектам и линиям Васильевского острова всадник в романе Белого, чтобы сообщить террористу Дудкину, что история человечества зашла в тупик. «Ничего: умри, потерпи...», — говорит он ему странные слова. Не даст террор и разрушение выхода из этого исторического тупика, как не даст его и следование сухой рационалистической жизненной схеме буржуазного запада. Об этом и говорит Всадник — и своим появлением на улицах Петербурга в октябре 1905 г., и своим визитом к Дудкину, и своим разговором с ним.

Моментом и «математической точкой касания» мировых пространств «с пространствами нашими» оказывается в романе Белого его «главный герой» — город Петербург, словно двуликий Янус, обращающий к читателю то одно (реальное, конкретное), то другое (нереальное, призрачное) лицо. Вплотную подвинут он во времени, в своей земной истории к роковой черте, отделяющей земное от мирового, этот мир от того мира. Как Петр призван разрывать завесу времен, так Петербург призван разрывать пространственные ограничения, касаясь одной стороной земной жизни, другой стороной — жизни вселенской, космической.



Как и в комнату Раскольников, в комнату Дудкина дверь ведет прямо с лестничной площадки; здесь нет ни передней, ни чего-либо иного, ее заменяющего. Дверь в обоих случаях открывается сразу вовне (на лестницу, на улицу, в пространство), «перегородка», отделяющая жилище от внешнего мира, зыбка и условна. «Переходы», «опосредования» отсутствуют. У Гоголя, и особенно у Достоевского, человек уже начал утрачивать себя, начал растворять неповторимость своего «я» в окружающей среде, он уже живет ее интересами и инстинктами. Жизнь, в которой живет Раскольников, это жизнь улицы, города, всего человечества, лишь условно отделенная стенами комнаты, не имеющей передней.

Процесс растворения человека во внешнем продолжен в «Петербурге». Но у Белого уже не только улица и не только город берут «в плен» человека, а мировые пространства. Человек у него уже узник не комнаты, улицы или города, он — узник мира, космоса, *гражданин вселенной*. Белый пишет о Дудкине: «Посреди своих четырех взаимно перпендикулярных стен он себе самому показался в пространствах пойманным узником, если только пойманный узник более всех не ощущает свободы, если только всему мировому пространству по объему не равен этот тесненький промежуток из стен».

Белый достаточно рационалистически воспринимает своих предшественников. Несмотря на кажущийся сумбур описаний и мистическую витиеватость стиля, «Петербург» — произведение, в котором продумана и учтена каждая деталь. Белый обильно использует приемы и Гоголя, и Достоевского, но он каждый раз переводит разговор в план, позволяющий ему создать свой, особый стиль повествования.

К времени создания «Петербурга» он прочно утверждает в мысли, что «петербургский период» истории России<sup>86</sup> близок к завершению. Поэтому он избирает в качестве «смысловой опоры» поэму Пушкина: в «Медном всаднике» Пушкин изобразил этот период во всем его внешнем блеске, но здесь же показал скрытое до времени противоречие между монархом, олицетворяющим государство, и человеком из низов; «мощным властелином судьбы» и незаметным разночинцем, — противоречие, грозившее, согласно Белому, взрывом и потрясением всех основ. И в том и в другом случае Пушкин для Белого стоит у истоков осмысления петербургского периода как периода специфического, со своим блеском и своими противоречиями. Белый же, как ему кажется, присутствует при завершении его; он смотрит на себя, как на *последнего певца* петербургской темы и *первого историка* петербургского периода. Впереди — новый период. Ведь роман писался в годы, когда мир «судорожно» (как говорил Блок) готовился к войне, которой суждено было охватить все основные европейские страны и завершиться революцией. Белый чувствует и улавливает характер надвигающихся потрясений. Эта напряженность разлита на всех страницах его романа.

<sup>86</sup> Слова Герцена. См. Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1963, т. 12, с. 365.

Но Белый не ограничивается тем, что просто вводит пушкинский персонаж в современность, помещая его в необычные условия и наблюдая за его поведением в иной обстановке. Ему важно не просто вскрыть характер исторической концепции пушкинской поэмы, но продлить ее во времени. Он как бы разматывает клубок, доводя эволюцию героев и самой «ситуации» «Медного всадника» до эпохи рубежа веков, неизбежно при этом трансформируя поэму Пушкина, вскрывая потенциальные (как ему кажется) сущности ее героев. Он стремится прояснить свое, личное понимание и восприятие времени, в которое живет он, Белый, но которое, по его убеждению, есть завершение эпохи, начатой петровскими реформами.

В нескольких направлениях одновременно развивается фабула «Петербурга». С одной стороны, это история сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, на которого готовится покушение; с другой — это история Дудкина, открывающего в самом сердце террористической партии предательство. Между этими двумя линиями романа извилисто вьется линия Николая Аполлоновича. Он центральная фигура произведения; он находится в фокусе всех его сюжетных разветвлений. Но как художественный образ он лишен самостоятельного значения. В отличие от остальных персонажей романа, он не живет сам по себе; свет, излучаемый им, есть отраженный свет. Он сын сенатора и университетский приятель террориста. Духовное родство Николая Аполлоновича с отцом подчеркивается Белым так же настойчиво, как и приятельские отношения с Дудкиным. Он носит в себе и идею разрушения, и страх перед насилием, и желание действовать, и душевную дряблость. Он чувствует (и Белый это настойчиво подчеркивает) глубочайшее духовное родство с отцом, но именно он должен подложить отцу бомбу. Он порывист и нерешителен; ленив и легок на подъем; отчаян и труслив. Двойственность его натуры и его положения в обществе подчеркивается внешним видом его: он и урод и красавец в одно и то же время. Такое же двойственное впечатление производит он на окружающих. Он выступает поочередно то в паре с Дудкиным, то в паре с отцом, то в паре с Софьей Петровной, то в паре с ее мужем. Это все разные люди, и в общении с каждым из них он раскрывает какую-то сторону своего характера. Его назначение в романе — связывать всех со всеми. Но, общаясь со всеми, он ни с кем не имеет общего языка. Он со всеми, и он ни с кем.

Такая характеристика героя романа прямо связана с общественной сущностью образа сенаторского сына. Николай Аполлонович есть своеобразное продолжение в новых условиях уже знакомого нам Петра Дарьяльского, героя романа «Серебряный голубь». Погибший как несостоявшийся «народник», он воскресает к новой жизни как террорист, но тоже не состоявшийся.

Правда, если в облике Дарьяльского столкновение и борьба противоречивых начал носит еще в значительной степени отвлеченный характер, в облике молодого Аблеухова эти черты уже прямо проецируются на плоскость реальной истории, с выделением самых значительных ее сторон —

аблеуховской (т. е. победоносцевско-леонтьевской) и дудкинской (т. е. террористической).

Очень сурово и с акцентом именно на этой двойственности отзывается о своем поколении Белый в статьях того же периода, когда писались оба романа. Он создает психологический тип личности, каким складывается он, по его мнению, на рубеже веков. Оценки, даваемые Белым, непосредственно подводят и к «Серебряному голубю», и особенно к «Петербургу». «Мы разучились летать: мы тяжело мыслим, тяжело ходим, нет у нас подвигов, и хиреет наш жизненный ритм: легкости божественной простоты и здоровья нам нужно, тогда найдем мы смелость пропеть свою жизнь <...> мы — не мы вовсе, а чьи-то тени» (1908). Он завидует древнему человеку, который «был целостен, гармоничен, ритмичен; он никогда не был разбит многообразием форм жизни; он был сам своей собственной формой <...> Где теперь цельность жизни, в чем она?» (1908). Цельность исчезла из жизни его поколения, считает Белый. Взаимоисключающие тенденции жизненного развития разложили ее. Человек погряз в противоречиях, как в трясине: «Никогда еще противоречия сознания не сталкивались в душе человека с такой остротой; никогда еще дуализм между сознанием и чувством, созерцанием и волей, личностью и обществом, наукой и религией, нравственностью и красотой не был так отчетливо выражен» (1910).<sup>87</sup>

Как и его современники, Николай Аполлонович прочно затянут в сеть противоречий, во власти которых находится его сознание. Противостоять им он, человек XX в., не может; и даже, если коснуться самых заветных сторон мирозерцания Белого, и не должен, если он хочет оставаться показателем своего времени, интеллигентом, мало-мальски возвышающимся над обывательской толпой. Раздвоенность становится в понимании Белого бесперспективным, но прочным уделом современного человека. Сознанию противостоит чувство, созерцанию противостоит воля — это в отдельном человеке; революции противостоит контрреволюция — это в стране; Востоку противостоит Запад — это в мире. Так создается в романе единая система противостояний, складывающаяся в единую конструкцию мира, тайной и явной борьбы противоположных тенденций, во власти которой находится ныне человеческий род. В этом и следует видеть истоки и смысл той мировой катастрофы, которая является объектом изображения в «Петербурге». Роман этот по содержанию своему есть трагедия, повествующая о нарушении всяческого равновесия в мире — индивидуально-психологического, общественно-политического, социального, национального и т. д. Исподволь, в течение десятилетий (а может быть, и столетий) накапливавшиеся противоречия ныне, в XX в., вышли наружу. Местом «разрыва тканей» оказалась Россия. Не будучи ни Западом, ни Востоком, но будучи и Западом, и Востоком, Россия была поставлена историей в центре поступательного мирового движения, на грани двух, складывавшихся на протяжении всей истории

<sup>87</sup> «Арабески», с. 59, 219, 161.

человечества линий политической и общественной жизни. Они разорвали ее, вклинились, вошли в плоть и кровь ее государственного организма и в плоть и кровь индивидуумов, ее населяющих. Из жизни исчезли явления в их «чистом» виде. Каждое явление одновременно скрывает в себе и сущность, и то, что ее отрицает (антисущность), т. е. тоже сущность, столь же значительную, но противоположного качества. Мир встает со страниц «Петербурга» в виде готового окончательно распасться хаоса, где нет ни одного явления, которое равнялось бы самому себе.

И вместе с тем Белый пытается усмотреть связи между явлениями противоположными, крайними. Крайности в своем конечном выражении сходятся — вот его излюбленная мысль.

Так, изжившая себя буржуазная цивилизация Запада оказывается в чем-то важным тождественной застойной жизни Востока с его господством «порядка», как говорил Вл. Соловьев.<sup>88</sup> Эта тождественность, согласно Белому, наглядно проявляет себя в тех условиях жизненного и государственного устройства, которые стали насаждаться в России в «петербургский период» ее истории. Выражением же этого рокового тождества стал город Петербург. В кажущейся алогичности мирового исторического процесса обнаруживается своя скрытая логика: это логика всеобщего тождества, т. е. тупика и безысходности.

Здесь-то и обнаруживается, согласно идеалистическим взглядам Белого, смысл той провокации, которую учинила история ничего не ведающему человечеству: под европейскими скрутками молодого поколения, призванного ныне оздоровить мир, течет «восточная» кровь; под покровом «порядка» стабилизируются и вот-вот готовы выплеснуться разрушительные инстинкты. Европе несут гибель ее же сыны, прочно зараженные Востоком: убийцей Аполлона Аполлоновича должен стать его же сын Николай Аполлонович.

Но даже если взрыва и не произойдет, гибель Европы все равно предпрена: она — в сохранении неизменным существующего порядка жизни. Голос далекого предка, который в сложной концепции Белого есть одновременно голос истории, так излагает Николаю Аполлоновичу скрытую цель мирового исторического процесса: «вместо Канта — быть должен

---

<sup>88</sup> См. его статью «Мир Востока и Запада» (1896), в которой Вл. Соловьев противопоставляет эти два понятия, считая, что если «Запад» в своей деятельности исходит из общей идеи «прогресса», то «Восток» основывает свои жизненные отправления на идее «порядка». Прогресс в понимании Вл. Соловьева есть движение, изменение, совершенствование; порядок же, напротив, есть выражение косности, застоя, неподвижности, единообразия. Примирить эти два враждебных начала, слить их, создав на их основе особую синтетическую форму жизненного и государственного устройства и должна будет, согласно Вл. Соловьеву, Россия. Ее назначение в мировой истории — примирить мир Востока и мир Запада, слить «прогресс» и «порядок». Белый не разделял этой концепции, для него мир Востока и мир Запада не только враждебны по отношению друг к другу, но и по отношению к России, задача которой, по его мнению, состоит в том, чтобы выйти из-под влияния и того и другого. Но в самой характеристике «восточных» начал жизни Белый во многом опирается на Вл. Соловьева.

Проспект»; «вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена»; «вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта — равномерная, прямолинейная». И голос заключает: «не разрушение Европы — ее неизменность»: «вот какое — монгольское дело».

Гибель Европы, считает Белый, таится в сохранении неизменным существующего буржуазного строя, который неизбежно вырождается во всеобщую регламентированность и предначертанность всех жизненных отправлений. И в этом и будет состоять гибель ее духа, порывов и взлетов мысли. Все учтено и регламентированно. Естественное развитие буржуазной цивилизации само приведет Европу к застою, что и будет знаменовать исчезновение ее как творческого организма, лишившегося способности к созиданию новых форм жизни. Восток как бы объединяется с Западом, наступает эпоха единого мирового «порядка».

## 2

Учет и регламентация страшат Белого так же, как анархия и терроризм. И там и здесь видит он отрицание, нигилизм, «Всеобщее Ничто». В своем отвлеченном и субъективно-мистическом восприятии реальной истории он сводит все многообразие действительности к этим двум сферам, только и являющимся, по его мнению, реальными сферами проявления исторических сил. Кроме них, он не видит ничего, на них же он смотрит с неподдельным ужасом. Содержащиеся в романе намеки на некий исход, который может быть найден на пути самосовершенствования (о чем будет сказано дальше), не слишком весомы и решающего значения в общей концепции романа не имеют.

Его общий колорит подчеркивается двумя фигурами, стоящими по обеим сторонам главного действующего лица — фигурой отца, сенатора Аблоухова, и фигурой террориста Дудкина.

В статьях о «Петербурге» отмечалось, что в образе Аблоухова Белый концентрирует черты нескольких известных своим ретроградством лиц, как исторических (К. Леонтьев, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев), так и литературных (Каренин из романа Л. Толстого «Анна Каренина»).

В основе деятельности Аблоухова на посту главы символического Учреждения, которая достаточно легко ассоциируется с деятельностью Победоносцева на посту обер-прокурора синода, лежит требование Константина Леонтьева, одного из наиболее реакционных русских публицистов конца XIX в., «подморозить» Россию еще на сто лет. Образы льда, снега, ледяной равнины, снежных пространств, белых, снежных стен кабинета не случайно окружают Аблоухова. Он государственная, мертвящая сила; и он невидим; его власть — власть циркуляра, которой подчинено все. Представлен же он Белым в образе мрачной птицы нетопыря, простиершей свои крылья над притихшей страной. И не один раз впоследствии Белый повторит этот образ («летучая мышь, которая, воспаря, — мучительно, грозно и холодно угрожала, визжала...») — так вос-

примет его Дудкин; «Наш Нетопырь» — так зовут Аблоухова чиновники его же учреждения).

В эти же годы усиленно работает над поэмой «Возмездие» Блок, который использует в характеристике Победоносцева ту же деталь — «социальные крыла», простертые Победоносцевым над притихшей страной. И летучая мышь, и сова — символ ночной жизни, темноты и, с другой стороны, личной серости, безликости, слепоты.

Деталь эта не открытие Блока или Белого: сравнение Победоносцева с мрачной птицей или даже с вампиром было распространено в обществе, а после смерти обер-прокурора в 1906 г. стало достоянием гласности. Не было газеты в России, которая не откликнулась бы на смерть Победоносцева, и вот тут в демократических органах образ нетопыря и совы выплыл наружу. Например, газета «Современная речь» в номере от 11 марта 1907 г. писала: «Он <Победоносцев> понимал, что в невежестве миллионов — залог успеха их, ночных сов, зловещих ворон, шумящих черными крыльями жутко над тихой долиной смерти». Газета «Парус» прямо утверждала: «В лице Победоносцева старая Россия похоронила своего князя тьмы...». «Старым вороном», «зловеще» каркающим над гнездом, назван Победоносцев в газете «Новь».<sup>89</sup>

Что же касается литературной генеалогии образа мрачной птицы, раскинувшей свои крыла над необозримой страной, то восходит он, как можно полагать, к М. Е. Салтыкову-Щедрину — автору очерков «Признаки времени». В одном из них («Самодовольная современность») Щедрин, говоря о людях ограниченных, но жестоких и властолюбивых, высмеивая их претензии на руководящую роль в жизни и их всезнайство, пишет о свойственном этим людям особом виде ограниченности — ограниченности самодовольной, которая самой себе представляется мудростью; эта страшная сила, говорит Щедрин, отличается тем, что «насилуственно врывается в сферы, ей недоступные, и стремится *распространить свои криле* всюду, где слышится живое дыхание».<sup>90</sup>

Имеются и другие моменты, сближающие Аблоухова с Победоносцевым: оба они действительные тайные советники, оба несчастливы в семейной жизни и одиноки. Близки их биографии (только Белый делает Аблоухова на 10—12 лет моложе Победоносцева). В одно время кончается их карьера: 9 октября 1905 г. в квартире Аблоухова раздался взрыв бомбы, положивший конец его служебной деятельности, 19 октября того же года уходит в отставку Победоносцев.

Однако в облике Аблоухова имеется ряд черт, отличающих его от Победоносцева и сближающих с другими деятелями русской реакции, ска-

<sup>89</sup> Цит. по кн.: Преображенский И. В. Константин Петрович Победоносцев, его личность и деятельность в представлении современников его кончины. СПб., 1912, с. 42, 44, 49. Не исключено, что и Белый, и Блок использовали обширные материалы, приведенные в этой книге, хотя Блок еще в статье «Безвременье» (октябрь 1906) обратился к образу зловещей птицы для иронической характеристики реакции, наступившей после поражения революции.

<sup>90</sup> Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Л., 1935, т. VIII, с. 163. Курсив мой, — Л. Д.

жем с Плева. Он чужд религиозного фанатизма, которым был одержим Победоносцев. Он проводит свои идеи в жизнь открыто, не прячась за формулой догматического православия.

И еще одно важное различие. Победоносцев сурово осуждал Запад и западную культуру. Западные демократии в течение всей его жизни оставались для него олицетворением конституционализма и парламентаризма в общественной жизни, эгалитаризма и свободы личности — в жизни частной. Он же, ревностный апологет и защитник самодержавия в его тиранических формах, не мог выносить ни малейшего проявления индивидуальных стремлений и личной независимости.

Напротив, сенатор Аблеухов как воплощение российской государственности, соотносимой и с обликом, и с духом Петербурга, ориентирован Белым полностью на Запад. Правда, он видит там не то, что отрицает Победоносцев. Он воплощает другую сторону жизни западных (буржуазных!) демократий — бездушие, расчетливость, духовную ограниченность. Именно эти черты и характеризуют, согласно Белому, как внешние формы жизненного устройства, так и внутреннюю «организацию» личности человека современного Запада.

Основное свойство цивилизации Запада, по Белому, которое оказывается и свойством натуры Аполлона Аполлоновича, — размеренность и ограниченность жизненных отправления, «прямызма» стремлений, желание видеть пространство сжатым, приведенным к какой-либо геометрической фигуре. Европа как символ эгалитарности, освободительных идей, просветительского гуманизма, демократических традиций Белым во внимание не принимается. Он видит только Европу в ее нынешнем буржуазном состоянии, которое есть для него ужас и исторический тупик. Все гуманные и освободительные идеи, идеи свободы, равенства и братства ныне исчезли, им на смену пришло бездушие цивилизации, вытеснившей и заменившей разветвленную, живую и многогранную некогда европейскую культуру.

Таким в то время был взгляд не только Белого, а восходил он, возможно, к Достоевскому, к той позиции, которую занял в романе «Братья Карамазовы» Иван в споре с Алешей, прямо назвавший Европу «дорогим кладбищем», на котором безвозвратно погребены все светлые идеи и надежды прошлого. Слова Ивана процитирует Белый в 1918 г. в цикле очерков «На перевале», где скажет столь же безрадостные слова о западной культуре, которая уже была мертва, когда для нас, русских, только наступало утро расцвета нашего — «петербургское» утро.<sup>91</sup>

Но еще задолго до очерков «На перевале», как раз в момент напряженного обдумывания «Петербурга» Белый уже прямо говорил об отсутствии на нынешнем Западе подлинной культуры, понимаемой как создание духовных ценностей, о том, что *европейская культура* прошлого стала ныне достоянием *русского патриархального сознания*. Он пишет в 1911 г. из-за границы М. К. Морозовой: «Боже, до чего мертвы ино-

<sup>91</sup> См.: Белый А. На перевале. I. Кризис жизни. Пб., 1918, с. 73.

странцы; ни одного умного слова, ни одного подлинного порыва. Деньги, деньги, деньги и холодный расчет». Он считает, что только в России сейчас европейская культура прошлого может быть по-настоящему принята и воспринята: «Культуру Европы придумали русские; на западе есть цивилизации; западной культуры в нашем смысле слова нет; такая культура в зачаточном виде есть только в России.

Возвращаюсь в Россию в десять раз более русским».

Подобные взгляды (с явным налетом славянофильских тенденций) не могли, конечно, не повлиять на ту общую «конструкцию мира», которая складывалась в это время в сознании Белого. В этом же письме он пишет: «<...> европейский *пуп мира* вовсе не в Гете, Ницше и других светочах культуры: до этих последних европейцу дела нет. Гете и Ницше переживаются в России; они — наши, потому что мы, русские, единственные из европейцев, кто ищет, страдает, мучается; на Западе благополучно здравеют; румянощекий господин Котелок, костяная госпожа Зубочистка — вот подлинные культуртрегеры Запада <...> утверждать, что вычищенные зубы лучше невычищенных *полезно*; но когда на основании этого утверждения провозглашается *культ зубочистки* в пику исканию *последней правды*, то хочется воскликнуть: «Чистые слова, произносимые нематыми устами, все-таки несоизмеримы с *грязными словами*, произносимыми умытым свиным рылом»; а европеец — слишком часто умытая свинья в котелке с гигиенической зубочисткой в руке. И Когэн — зубочистка, только зубочистка... <...>

Вот уже месяц, как все бунтует во мне при слове «*Европа*». Гордость наша в том, что мы *не Европа*, или что только мы — *подлинная Европа*».<sup>92</sup>

Аналогичные суждения содержатся и в письмах Белого из-за границы к А. М. Кожебаткину: «Возвращаюсь в десять раз более русским; пяти-месячное отношение с европейцами, с этими ходячими палачами жизни, обозлило меня *очень*: мы, слава Богу, русские — *не Европа*; надо свое неевропейство высоко держать <...> Принципиально поставил себе за правило всюду в ответ на «*Европу*» тыкать в глаза европейским безобразием. <...>

Как хорош Иерусалим, как хороша Африка и... как Европа гнусна в Африке... Европейцы изгадили Каир (в Тунисе пока что они *гадят умеренно*). Европейцы к святыням Иерусалима относятся... как к объектам синемаатографа; здесь любой русский мужичок выглядит культурнее желтоштанного паршивца англичанина».<sup>93</sup>

Незатронутость цивилизацией, патриархальность — вот главное, что ценит Белый. Он видит эти качества и в «русском мужичке», и в «нецивилизованных» арабах. По поводу этих последних он высказывает любопытные и важные суждения в письме к матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух (апрель 1912 г.): «Я не понимаю теперь путешествий по

<sup>92</sup> ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 15.

<sup>93</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 11.



Европе. Следует хоть раз на несколько месяцев стать *не на европейскую* землю, чтобы многое реально узнать и понять.

Так прежде для нас были какие-то декоративные арабы, о которых уже все перестали думать, существуют ли они. Между тем они — есть; и они великолепия далеко не декоративное! Мы с ними прожили 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца, узнали и полюбили реально, всю душой — полюбил я арабов до того, что еще теперь, год спустя, я вспоминаю милые покинутые места и говорю строчками <...>:

Я тело в кресло уроню,  
Я свет руками заслону  
И буду плакать о Леванте...<sup>94</sup>

Мысль о патриархальной России, как «подлинной Европе», наследнице европейских духовных ценностей и культурных традиций (они видятся Белому в «исканиях последней правды», т. е. опять же по Достоевскому, как поиски путей индивидуального совершенствования и приобщения к истине Христа), которая в свою очередь представляется ему некоей духовной субстанцией, противостоящей буржуазной (внешней, деловой и деляческой) цивилизации, пронизывает и его роман. Это была особая разновидность славянофильства, сформировавшаяся в исключительных условиях российской действительности начала века, когда социальные потрясения готовы были проявить себя во всей своей силе. Понимая их неизбежность, Белый все-таки страшится их, и вот на этой почве оформляется и идея индивидуального совершенствования (объективно роднившая его с Л. Толстым), и абсолютизация патриархального сознания (и патриархальности как категории бытия), которое есть выражение и выявление скрытого единства незатронутых цивилизацией народов, их «природной» общности. Очень наглядно эта идея *патриархальной солидарности народов* выражена Белым в письме к Э. К. Метнеру из Иерусалима от 3 апреля 1911 г.: «Измученный <...> радостно ахнул в Иерусалиме. Никакой цивилизации (слава Богу!) и связанной с ней мертвечины. Вдруг приехали в Луцк. Но когда пошли в глубь города... попали в тысячелетнее прошлое. Живи, живи, свет, сказочен, несказанен, велик, грядущ, светл желто-золотой Иерусалим! А кругом голубые иудейские горы, зелень и рдяные цветы. Понять из Москвы невозможно, чем веет здесь... Проживем здесь вместо Греции. Сидим долго сегодня перед остатками стен на месте храма Соломонова. От Аси привет. Обнимаю. Здешние жиды здесь прекрасны... Ура России! Да погибнет мертвая погань цивилизации».<sup>95</sup>

### 3

Из действительной истории заимствована Белым и центральная линия романа, составляющая основу его сюжета, — история покушения на сенатора Аблеухова.

<sup>94</sup> ИРЛИ, ф. 411, ед. хр. 14, лл. 54 об.—55.

<sup>95</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. II, ед. хр. 39.

Годы подготовки и проведения первой русской революции изобиловали террористическими актами. Индивидуальный террор составляет едва ли не самую яркую особенность русской истории в конце XIX в. Первыми на этот путь встали народники, — после того как потерпела крах идея и практика «хождения в народ». И хотя марксисты устами В. И. Ленина сурово осудили этот метод борьбы, личный героизм, отвага и мужество людей, осуществлявших террор, не подлежали для них сомнению.

Восьмым по счету было покушение 1 марта 1881 г. на Александра II. Царь убит, престол занял его сын Александр III. Он не пошел по пути демократических преобразований, составлявших самую насущную историческую потребность для России. В стране создается сложная полицейская система всеобщей зависимости и сыска.

С наступлением XX в. поднялась и новая волна террористических актов. В начале 1900-х гг. при активном участии известных деятелей террора Григория Гершуни и Бориса Савинкова была создана «Боевая организация партии социалистов-революционеров», взявшая на себя руководство террористическими актами. За период с 1902 по 1906 гг. ее членами был совершен ряд убийств (двух министров внутренних дел — Сипягина и Плеве, министра просвещения Боголепова, генерал-губернатора Москвы вел. кн. Сергея Александровича, члена Государственного совета тверского генерал-губернатора графа А. Игнатьева, уфимского губернатора Богдановича, Санкт-Петербургского градоначальника фон-Лауница, военного прокурора Павлова и др.). Имела место подготовка к ряду покушений, которые почему-либо не состоялись или были неудачны (на К. П. Победоносцева, на С. Витте и даже на самого царя).

Но особенно важным для окончательного оформления замысла «Петербурга», в котором такую большую роль играет проблема провокации, явилось убийство 1 сентября 1911 г. председателя Совета министров и министра внутренних дел П. А. Столыпина. Произошло оно в тот самый момент, когда Белый уже вплотную приступил к написанию романа. Важным в убийстве Столыпина для Белого могло быть прежде всего то, что стрелял в него агент охранного отделения (Д. Богров), которого правые газеты не преминули причислить к членам террористической организации. В каких действительно целях Богров совершил это убийство — провокационных или «искупительных» — до сих пор с определенностью не установлено.<sup>96</sup> Однако факт остается фактом: Богров — агент охранного отделения (о чем сразу же стало известно в обществе), и он же совершает террористический акт по отношению к проводнику политики жесточайшего подавления. Это смешение разнородных обстоятельств, к тому же до конца не выясненных, не могло не породить в сознании Белого, вообще склонного к аффектации, самые невероятные предположения и выводы.

<sup>96</sup> См.: Источниковедение истории СССР XIX—начала XX в. М., 1970, с. 212—214.

Правда, в романе дело осложняется тем, что должно произойти не просто убийство сановника, но *отцеубийство*: Николай Аполлонович должен исполнить данное им некогда в пылу обещание убить собственного родителя. Драматизм этой ситуации усугубляется еще и тем, что теперь, в изменившихся обстоятельствах, требовать от него исполнения обещания значит втягивать его в сеть провокации, чего он не осознает, как не осознает этого и Дудкин.

Это один аспект проблемы. Другой аспект заключается в том, что, строя фабулу на мотиве отцеубийства, Белый привносит в роман оттенок лично пережитого в детстве, оттенок собственной семейной драмы (любовь—ненависть к своему отцу, профессору Н. Бугаеву), что значительно усиливает лирико-драматическую сторону «Петербурга». Николай Аполлонович — потенциальный отцеубийца — *невольный* участник заговора, но он главная пружина действия. Семейный конфликт в доме сенатора Аблеухова разрастается до размеров конфликта исторического, эпохального, втягивая в свою сферу всех главных действующих лиц романа и знаменуя непрочность, эфемерность всякого рода связей между людьми — родственных, дружеских, партийных, семейных.

Агентом охранки выступает в «Петербурге» Липпанченко, один из руководителей террористической организации. Он делает орудием своей воли Николая Аполлоновича, от которого требует совершить покушение на отца. В руках охранного отделения и в тисках провокации оказываются оба Аблеуховы — отец как объект покушения и сын, чьими руками оно должно совершиться.

В таком повороте самой идеи провокации решающую роль безусловно сыграло ошеломившее русское общество предательство Азефа, который в течение нескольких лет действительно стоял во главе «Боевой организации» эсеровской партии, одним из наиболее ярких эпизодов в истории которой была организация убийства министра внутренних дел и шефа жандармов В. К. Плеве. Произошло это в тот самый момент, когда Плеве в черной карете подъезжал к вокзалу, чтобы ехать к царю в Петергоф на доклад. Карета Плеве была разнесена в щепки.

Видение черной кареты, в которой уезжал мимо Зимней канавки к себе домой па Гагаринскую набережную сенатор Аблеухов, явившееся, по свидетельству Белого, зерном, из которого вырос «Петербург» (согласно первоначальному заглавию, «Лакированная карета»), безусловно восходит к той действительной роли, которую играла карета в жизни сановных лиц Российской империи. В каретах они разъезжали по городу, в кареты бросали бомбы террористы. Карета служила для сановного лица убежищем, защитой от толпы, от людских глаз и действий. Человек, находящийся в карете, как будто чувствовал себя в безопасности даже на людном перекрестке, прочно отъединенным от недоброжелателей. Именно так чувствует себя Аполлон Аполлонович, покачиваясь «на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его отграничивали четыре перпендикулярные стенки...»

Однако на поверку защита эта оказывалась непрочной. В присталь-

ном внимании Белого к карете как раз и чувствуется мысль об эфемерности всяких попыток отъединения и уединения, кем бы они ни предпринимались. Никакое могущество власти не в состоянии спасти человека от столкновения с историей, причем в тех именно формах, какие она принимает ныне. Формы эти кровавые, жестокие. Но они не есть изобретение или произвол одного человека. Они есть порождение самой истории. Карета из убежища, каким она была ранее, превратилась в видимость убежища. Более того, она стала символом незащитности человека перед историей. Таким символом она, очевидно, и выступает в первоначальном заглавии романа.

Носителем идеи террора в романе выступает эсер Дудкин. Он третий центральный персонаж романа. Он стоит по другую сторону от Николая Аполлоновича; и все они вместе (отец, сын и террорист) олицетворяют нынешнюю Россию, являя собой три ее стороны, три ипостаси.

Несколько реальных лиц послужили Белому основанием для создания образа Дудкина. На первом месте здесь должны быть названы Григорий Гершуни и Борис Савинков. (О других возможных прототипах, дополняющих образ террориста, см. в разделе «Примечания»). Из биографии Гершуни Белый заимствовал некоторые черты биографии Дудкина — ссылка в Якутскую губернию и побег из ссылки в бочке из-под капусты. Савинков мог повлиять на создание психологического портрета террориста — индивидуалиста и мистика. Белый не был знаком лично с Савинковым, но разговоры с близко знавшими его людьми были использованы им при создании ницшеанской индивидуалистической философии Дудкина.

Однако и Аблеухов, и Дудкин намного превосходят по масштабам авторского замысла всех своих исторических и литературных предшественников. По замыслу Белого, это два грандиозных символа, олицетворяющих две силы, внешне полярные, но в чем-то важном и существенном тождественные, между которыми протекает и во власти которых находится историческая жизнь России.

Аполлон Аполлонович — не просто государственный чиновник и не только «машина» с готовыми решениями на любой случай жизни, каким был его литературный предшественник Каренин. Аблеухов-старший подается Белым и как наиболее откровенный носитель общественного зла, и как реальное земное воплощение «антихриста», каким он «предсказан» Вл. Соловьевым в повести «Три разговора». Белый пишет о том, как в юности замерзал Аполлон Аблеухов в ледяных пространствах России: «<...> будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце: ледяная рука повела за собой; за ледяною рукою он шел по ступеням карьеры, пред глазами имея все тот же роковой, невероятный простор <...>». В повести Вл. Соловьева Антихрист, сверхчеловек, выслушивает «назидание» Сатаны, который входит в него, производя дьявольское превращение: «<...> уста сверхчеловека невольно разомкнулись, два пронзительные глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя

вошла в него и наполнила все существо его». <sup>97</sup> «Острая ледяная струя» у Вл. Соловьева, «холодные пальцы» и «ледяная рука» у Белого — категории одного семантического ряда, традиционное в демонологии обозначение процесса пленения души человека нечистой силой.

Но Аблеухов — и немощный старик, со своим особым, внимательным и заботливым отношением к семье, к сыну, к которому он испытывает трогательные и нежные чувства. Он пережил некогда трагедию разрыва с женой, был постыдно брошен ею и ныне переживает трагедию расхождения с сыном и полного непонимания его. Жена возвращается к сенатору в дни действия романа, но это лишь внешнее восстановление семейного очага. Внутреннее единство и взаимопонимание в семье Аблеуховых подорвано навсегда. Разрыв и отчуждение друг от друга некогда близких людей переживаются сенатором достаточно глубоко. Он не понимает причин этого отчуждения, но он его хорошо чувствует.

Он постоянно цитирует Пушкина, причем стихи по преимуществу мелитативно-философского характера. Его одолевают мысли о «бренности бытия», о близости конца. Этот жизненный, семейный крах сенатора есть также своеобразное наказание ему за его деятельность на посту главы Учреждения.

Как глава Учреждения, он несет в душе своей лед, но лед несет в своей душе и его антипод Дудкин. Белый осуждает насилие, которое не кажется ему средством достижения всеобщего блага. Уже в период создания «Петербурга» ему гораздо ближе были мысли о единении людей на почве религиозного смирения и внесловного человеколюбия. Причем, как это видно из текста романа, осуждение насилия имеет у Белого исключительно нравственный характер. Насилие безнравственно, утверждает он, потому что оно противоречит природе человека, хотя и в ее искомом, идеальном виде. Вот почему судьба Дудкина, террориста по кличке Неуловимый, оказалась в романе едва ли не самой трагической. Он так же одинок, так же не имеет связей в обществе, как и его антагонист и жертва сенатор Аблеухов. Как в жилах Аблеухова течет татарская кровь, так и Дудкина преследуют «восточные» видения — желтые лица на стенах его обиталища, «восточный человек» оборотень Шишнарфнэ и т. д. И сам он находится во власти некоей «особы», выдающей себя за руководителя террористической партии, а на самом деле провокатора, выступающего то в роли малоросса Липпанченко, то в роли грека Маврокардато, во внешнем облике которого слиты черты «семита с монголом». Липпанченко — «толстяк»; его «желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавало в своем собственном втором подбородке»; губы Липпанченко напоминают «кусочки на ломтики нарезанной семги», пальцы рук «короткие», «опухшие», «дубоватые»; у него «узколобая голова» и «сутуловатая спина», «толстая» шея.

---

<sup>97</sup> Соловьев В. С. Собр. соч. СПб., 1903. т. 8, с. 563.

Это — портрет Азефа.<sup>98</sup> Восток проник в самое сердце России, объединился и с политической реакцией (Аблеухов) и с террористами (Липпанченко). Создалась, по мнению Белого, единая сеть провокации, грозящая России полным внутренним перерождением. В романе часто упоминаются люди в маньчжурских шапках, появившиеся на петербургских проспектах с маньчжурских полей. Это солдаты русской армии, вернувшиеся из-под Мукдена и Порт-Артура.<sup>99</sup> В атмосферу восточных видений, призраков, деталей быта прочно втянуты все персонажи романа — от сенатора Аблеухова и террориста Дудкина до провокатора Липпанченко—Азефа и Софьи Петровны Лихутиной. Между всеми этими людьми существует странная скрытая связь. Каким-то образом Липпанченко входит в дом к Лихутиной, обстановка которого выдержана в восточном духе: развешанные по стенам литографии Хokusая, духи, кимоно — все это японского происхождения. «Японская куклой» называется в сердцах Лихутину Аблеухов-младший. Здесь сказалось общее назначение в романе квартиры и семейства Лихутиных — в карикатурном, сниженном виде воспроизводить то, что происходит со всей страной.<sup>100</sup>

С Азефом связан и центральный эпизод романа — бал в доме Цукатовых. На этом балу, как известно, Николай Аполлонович получает записку от Липпанченко, переданную через Софью Петровну; в записке же ему было предложено убить своего отца; сообщалось также, что переданный ему узелок есть бомба, с помощью которой и должен быть совершен акт убийства. На балу присутствует и сам сенатор Аблеухов, которому агент охранного отделения сообщает, что гость, одетый в красное домино, терроризирующее присутствующих, — его собственный сын. Возле дома, в котором происходит бал, появляется призрак в «белом домино» — призрак Христа. Сцена бала собирает в узел все главные нити фабулы романа, сводя на время в одном месте всех его главных действующих лиц.

По своему идейному назначению она восходит к любимому Белым рассказу Э. По «Маска красной смерти», где описано внезапное появление на балу в богатом доме призрака смерти — в маске и белом саване, забрызганном кровью (отсюда и красное домино Николая Апол-

---

<sup>98</sup> Описание его внешности содержится в «Воспоминаниях террориста» Б. Савинкова (Киев, 1926, с. 342).

<sup>99</sup> «Маньчжурские шапки» сами по себе не были придуманы Белым, — это одна из подлинных деталей тогдашнего быта, нашедшая отражение и в других произведениях 1910-х гг., например в «Деревне» Бунина.

<sup>100</sup> К. Петров-Водкин в своих воспоминаниях приводит ценное свидетельство о проникновении в быт «восточной» моды в годы после поражения России в войне с Японией. Мода эта охватила преимущественно обывательские круги, хотя для Белого она имела глубокое символическое значение; причем он оказался очень точен в воспроизведении деталей: «В столицах, — пишет К. Петров-Водкин, — появились модные японские духи, кимоно и некоторые чувственные замашки. Всплыли Хokusай, Хирошиге, великие японские мастера цветной графики, с неожиданной для нас экспрессией изображения» (Петров-Водкин К. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия, с. 439).

лоновича). Сцена бала в романе Белого — и прямая реминисценция из рассказа По, и пародия, ибо Николай Аполлонович и здесь выступает в жалком полукarikатурном виде.

Не исключено, что в ее создании сыграли роль некоторые, оказавшиеся известными Белому, личные качества Азефа, чрезвычайно строго придерживавшегося правил конспирации и специально избравшего для тайных свиданий публичные места, в том числе балы и маскарады. Об одной такой встрече, состоявшейся в феврале 1904 г., рассказывает в своих воспоминаниях Савинков. Вернувшись из-за границы, он должен был сойтись с некоторыми членами «Боевой организации»; свидание назначили на балу в Купеческом собрании. Азеф, пишет Савинков, «предложил мне <...> придти ночью на маскарад Купеческого клуба». Савинков удивился, но пошел. «Азеф назначил мне свидание именно на маскараде, как он говорил, из конспиративных соображений <...> В назначенный день я был на маскараде. Я видел, как Азеф вошел в зал <...>». <sup>101</sup> Это очень напоминает сцену бала в доме Цукатовых, где присутствует и Липпанченко, — мы видим там эту крупную фигуру с толстой шеей, как будто она попала туда прямо из рассказа Савинкова.

Узнав о предательстве Липпанченко, Дудкин лишается рассудка. Объективно он оказался причастен к провокации, хотя сам он о ней не подозревает. Он хранит в душе высокую нравственную норму, веру в моральные устои, он идет на борьбу со злом не столько во имя социальной справедливости (этот мотив есть в романе, но он не имеет решающего значения), сколько во имя *нарушенного нравственного принципа*. И вот он увидел, что нравственный принцип нарушен и в том лагере, к которому он принадлежит, границы, отделяющие добро и зло, оказались смыты. Дудкин — человек однолинейного мышления (как и его своеобразный двойник Лихутин), мир существует для него в своей горизонтальной плоскости, но не в вертикальном измерении, «небо» и «ад» имеют для него четкую границу. И вот он увидел, что служба «богу», служил «дьяволу», что он — игрушка в руках других людей. Искренно исповедуя индивидуализм и нищезанство, он вел вместе с тем честную игру.

У Дудкина открылось свое второе пространство, как открылось оно перед тем у Аполлона Аполлоновича и его сына. В него тоже вошли «бесы», как вошли они ранее в сенатора, когда замерзал он в ледяных пространствах России.

Купив в лавочке ножницы, сошедший с ума Дудкин прокрадывается в дом Липпанченко, подстерегает его в спальне и вспарывает ему живот. Лишившийся рассудка террорист-нищезанец и убитый им провокатор находятся в одной комнате. Они составили странную фигуру: Дудкин, с побелевшим лицом и черными петровскими усиками, сел верхом на убитого им Липпанченко; он простер вперед правую руку, сжи-

<sup>101</sup> Савинков Б. Воспоминания террориста, с. 22—23.

мая в ней окровавленные ножницы. Это пародия на фальконетовский монумент: сумасшедший террорист верхом на убитом голом провокаторе. «Пролившийся металлом» в жилы Дудкина всадник оживает в нем, заново обретая свою форму, но уже в виде карикатуры и пародии. Большой исторический период пролег между этими двумя фигурами — одной в центре фантастического по красоте и геометрической правильности линий города, на берегу могучей и широководной Невы, другой в болотистой дачной местности, покрытой чахлой растительностью, на мелководном берегу Финского залива, в маленьком деревянном домишке. Это Петр Великий, гениальный преобразователь России, выведший ее своею волей на арену европейской истории и таким же запечатленный Фальконе, в таинственных и «сверхисторических» видениях Белого превращается в карикатуру на самого себя. Его деятельность по внедрению начал западной культуры и государственности как бы получает восточную окраску. Европейское просветительство оборачивается деспотизмом, по прошествии двухсот лет Петр оборачивается в своем деле, которое не только не умерло, но активно продолжается жестокой карикатурой на самого себя.

Невдалеке от берега, на котором происходит убийство Липпанченко, по утренней глади залива проплывает «бирюзоватое, призрачное», как пишет Белый, парусное судно: это «Летучий Голландец» приветствует новоявленного Медного всадника. Не случайно перенес Белый сцену расправы над провокатором за город, в малообитаемую дачную местность под Сестрорецком; он вполне мог иметь в виду здесь Гапона, который скрылся после января 1905 г. в Финляндию и о котором распространились слухи, что он убит там эсерами. (На самом деле Гапон был убит как провокатор тоже в дачной местности под Петербургом, но в Озерках, в марте 1906 г.).

Петр I и провокатор Липпанченко объединились в чудовищной фантазии Белого. Для него всегда Россия была страной крайностей, и крайности эти по своим конечным результатам совпадали. А бывший Евгений, несчастный разночинец, не устоявший ни тогда, ни теперь перед испытанием судьбы, заплативший за свое участие в истории помешательством и потерей человеческого облика, сам внезапно оказался в роли самодержца, хотя и карикатурного.

Сместились исторические плоскости, утратили свое реальное значение и конкретно-историческое содержание пространство и время. Они приобрели условный характер, превратившись в движение по замкнутому кругу. Любое явление, как и любая человеческая судьба, оказываются одновременно и прошлым, и будущим. Происходит как бы «удлинение», «расширение» одного и того же явления до всех трех измерений сразу. Шопенгауэр перемежается в сознании Белого с Ницше в их общей идее единственности всех форм бытия. Белого страшит «бесконечность эмпирических повторений земной жизни»,<sup>102</sup> которая непосред-

<sup>102</sup> См.: Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975, с. 79.



ственно соотносится у него с повторением «периодов времени» и одновременностью объективно разновременного.<sup>103</sup> Она также настораживает и пугает его. «Мы мыслим контрастами, — пишет он. — Мысль о линии вызывает в нас мысль о круге: в круговом движении неправда — не все: и тут правда и ложь перемешаны».<sup>104</sup> «Правда» и «ложь» истории — это и есть явление и его карикатурное (т. е. конечное, доведенное до конца, до крайности) эмпирическое воспроизведение. Довести идею до конца, до предела, до логического (как ему кажется) завершения — излюбленный прием Белого, которым он широко пользуется в «Петербурге». Доведенная до предела, до логического завершения идея оборачивается своей крайней, но подлинной сутью, выявляющей и ее изначальное содержание. Новый виток спирали оказывается при таком подходе не выше, а ниже предыдущего. В статье «О мистике» Белый выразился вполне определенно: «*... старое и новое* разделять не существуют в категории времени; есть одно: *старое и новое во все времена*».<sup>105</sup>

«Старым» и «новым» одновременно оказываются и лавровенчаный Петр на бронзовом коне и Дудкин верхом на им же убитом Липпанченко. История превращается в «дурную бесконечность» повторяющих друг друга явлений. Преодолеть ее можно, только вырвавшись за пределы реального эмпиризма в область «сверхчувственного» и «надисторического», т. е. в область «вневременных» духовных сущностей. Человек должен «преодолеть» себя как явление определенной эпохи и среды. Только так будет найден выход из голого рационализма и индивидуализма.

Историческая концепция Белого соприкасается здесь с идеей «Петербурга»: бомба — «сардинница ужасного содержания» — как символ эпохи, вот-вот готовый разразиться взрывом, по-своему «преодолевается» личностью, растворяющей себя в мировом океане, сливающейся со всей природной жизнью мироздания. Эта жизнь не имеет ни начала ни конца, ни центра ни границ, ни времени ни пространства.

## ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОРОДА

### 1

Образ города — центральный образ «Петербурга» — крайне необычен как по своему характеру, так и по приемам построения. Сохраняя внешние черты правдоподобия, исторической и топографической конкретности, он на деле, со стороны своего подлинного смысла, оказывается пол-

<sup>103</sup> Ср. в «Петербурге»: «Медноглавый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованый круг...»

<sup>104</sup> Белый А. Круговое движение. — Труды и дни, 1914, № 4—5, с. 53. Статья эта имеет первостепенное значение для понимания философии «Петербурга».

<sup>105</sup> Труды и дни, 1912, № 2, с. 49.

ностью лишенным их. Это не столько образ конкретного города (как это было у Достоевского), сколько обобщенный символ, создаваемый на основе реальных примет и деталей, очень точно подмеченных, но используемых в таких произвольных сочетаниях, что всякая достоверность на проверку оказывается призрачной.

Наиболее острым для Белого в период создания «Петербурга» был вопрос о сущности человеческого «я», т. е. о том, является ли оно величиной постоянной, или это постоянство есть постоянство видоизменений. Причем сам процесс видоизменений рассматривался Белым двояко: и как бесконечное обновление личности, и как процесс бесконечного же созидания тех сложных взаимоотношений, в которые вступает человеческое «я» с окружающим миром. В очень важной для этого периода статье «О мистике» Белый говорит: «Бесконечны разрывы, бесконечны падения в бездну, бесконечны стадии опыта, бесконечен внутренний путь, бесконечна, углубляема нами действительность; но законы пути одинаковы для всех стадий; и основы пути все те же: дуализм между мельканьем предметов и запредельной тому мельканию бездной; и фиктивно воображаемая граница между тем и другим, есть «я».<sup>106</sup>

Здесь нам важна мысль о фиктивности границы между «мельканьем предметов» (т. е. объективной реальностью) и «запредельной тому мельканию бездной» (т. е. глубиной человеческой духовной сущности). Объективная реальность при таком подходе как бы «втягивается» в единый и бесконечный процесс мирового «обновления», которое есть обновление человеческого «я», т. е. не самой этой реальности, а наших представлений о ней. Реальные приметы объективного мира становятся в восприятии Белого символами места или времени, или того и другого одновременно. Взаимодействие и «пересечение» черт реальных и воображаемых, исторически-конкретных и «мыслимых», конкретно-временных и «потусторонних» есть главная особенность поэтики «Петербурга». В письме к Иванову-Разумнику (декабрь 1913 г.) Белый, соглашаясь с тем, что «в романе есть крупнейшие погрешности против быта, знания среды и т. д.», объяснял это тем, что «Петербург» не ставит задачей воспроизвести во всей исторической достоверности годы революции 1905—1906 гг., а дать символическую картину приближающейся мировой катастрофы. «Весь роман мой, — подчеркивает Белый, — изображает в символах места и времени подсознательную жизнь искалеченных мысленных форм»; а подлинное место действия романа — вовсе не реальный город Петербург, а «душа некоего не данного в романе лица, переутомленного мозговою работой».<sup>107</sup> Петербург в романе, утверждает Белый, условный город, созданный воображением в целях реализации «мысленных форм», т. е. реально — представлений Белого о характере исторического процесса, каким он оказался в России в начале XX столетия.

<sup>106</sup> Там же, с. 47.

<sup>107</sup> См. раздел «Дополнения» (с. 516 наст. изд.).

Главный постулат теоретических статей Белого в зрелый период есть, как он сам говорил, утверждение тезиса: «Нужно творить жизнь, творчество прежде познания».<sup>108</sup> Противопоставление «творчества» «познанию», характерное для символистского мышления вообще, особенно показательное для Белого, и именно в период создания «Петербурга». С помощью «творчества» он стремится преодолеть роковую замкнутость кругового движения, вырваться за пределы повторяемости форм — форм жизни, форм культуры, форм сознания.

В «Петербурге» «материалом» изображения оказываются те отрицательные последствия, которые подстерегают всякого, отвернувшегося от *творчества жизни* и отдавшего себя во власть рокового вращения по замкнутому кругу. Таким кругом в романе оказывается исторический процесс, «дурная бесконечность» которого по-своему предопределила трагедию каждого из действующих лиц, ибо все они есть повторение, воспроизведение уже бывшего. «Познание» для Белого всегда трагично и безысходно; «творчество», наоборот, таит в себе самом возрождение. Роман «Петербург» и есть воспроизведение различных форм «познания»: героями — самих себя, автором и читателем — рокового круговращения истории. Это еще не «творчество» (как «творчество жизни»), которое должно было стать предметом изображения в третьей части трилогии — романе «Невидимый Град». «Космизм» художественных ассоциаций Белого достигает в «Петербурге» невиданных ранее размеров.

«Космическая», «мировая» сторона жизни человека составляет, по Белому, главнейшую сторону его существования вообще. Сторона эмпирическая, посторонняя, обыденная не замечается человеком; это сторона «естественная», хотя и чреватая взрывами, потрясениями самого различного свойства — от индивидуально-психологических до общественно-исторических. Взрывы и потрясения, выбивая человека из привычной колеи, нарушая течение его эмпирического существования, и приводят его в соприкосновение с мирозданием, превращая его также в частицу вселенной. И вот там-то, за пределами видимого мира, человек и попадает во власть «безвременного», «вневременного» потока времени, в котором группируются события и лица не только прошедших, но и будущих эпох.

В этом смысле, очевидно, и следует понимать типичное для Белого восприятие эмпирического бытия личности как пребывания над бездной.

Не случайно одной из наиболее излюбленных поэтических фигур Белого является описание «взрыва» (или предчувствие взрыва), сбрасывающего человека в «бездну». В бездну валится отходящий ко сну сенатор Аблеухов (сон дает возможность ощутить всю мнимость его могущества); в бездну валится и задремавший над заведенной бомбой Николай Аполлонович. И оба они ощущают присутствие рядом с собой Сатурна — всемогущего бога времени, пожирающего своих детей — незаметных и ничтожных жителей Земли. По краю бездны ходит в пред-

<sup>108</sup> Труды и дни, 1912, № 6, с. 16.

смертный час Липпанченко, когда вваливается он всей своей тушей в маленькую спальню; бездну оставляет за собой поднимающийся к себе на чердак Дудкин — она остается позади в виде свисающей в черный провал лестницы, доламывает, разрушает которую поднимающийся вслед за ним Медный всадник. «Взрыв» и «бездна» — два центральных образа-символа художественного творчества Белого в зрелый период, последовательно обозначающих этапы «приобщения» человека к мировой жизни и выхода его за пределы бытовой эмпирики.

Создается необычная и непривычная манера письма, для анализа (или просто определения) которой мы еще не располагаем ни необходимыми понятиями, ни терминологией. Чувство необычности не покидает нас на протяжении всего романа. С такой стилистикой, с таким языком, с такими приемами и с таким автором мы в русской литературе до сих пор не встречались.

Избываемый полоумным подпоручиком Лихутиным Николай Аполлонович в тот же самый миг представляется сенатору Аблеухову, сидящему в мефистофельском облике перед камином, страдающим и распинаемым на кресте Христом. Сенатор видит эту фигуру в камине сложенной из рубиново-красных угольев и языков пламени; он «узнал» сына и обомлел: «крестовидно раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и указывает очами на красные ладонные язвы; а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел — в раскаленную печь...». Такие же «крестные муки» испытывает и Дудкин, распинающий себя на стене собственной комнаты.

Такие же муки испытывают и остальные герои романа. Они как бы находятся постоянно на пересечении двух миров: в одном они реально живут, совершают поступки, в другом те же их поступки и действия получают дополнительную окраску, делающую их страдальцами и скитальцами. Город подавляет в них все живое, непосредственное, делая их карикатурами на самих себя. Духовная субстанция, существующая в человеке, существует, согласно Белому, независимо от него. Она может быть обнаружена, может и не быть обнаружена, но она есть, и именно она составляет ту невидимую, но чрезвычайно важную «астральную» сферу духовной жизни человека, через которую и осуществляется его связь с вселенной, с «потусторонним» миром.

Черт в «Братьях Карамазовых» преодолевает пространство, чтобы явиться на свидание к Ивану. Комната Дудкина сама представляет собой часть мирового пространства. Ни оборотню Шишнарфнэ, ни Медному всаднику не надо преодолевать никаких расстояний, чтобы явиться к нему в гости. Они все пребывают одновременно в нескольких измерениях. Космические сквозняки задувают на чердак, рядом с которым расположено жилище Дудкина: «Он был в просвете, как месяц, светящий далеко, — спереди отбегающих туч; и, как месяц, светило сознание, озаряя так душу, как озаряются месяцем лабиринты проспектов. Далеко вперед и назад освещало сознание — космические времена и космические пространства».

Дудкинская комната — олицетворение Петербурга, который предстает в романе и как реальный город, столица Российской империи, и как некая условная точка, в которой крепче и более неразрешимо, нежели в иных таких же точках, завязался узел человеческой судьбы — судьбы человечества. Петербург октября 1905 г. — символ рубежа целой эпохи, за которой брезжит начало нового неведомого периода. Рубеж этот в глазах Белого имеет вселенский, «сверхисторический» характер. Вселенский характер имеет и «узел» судьбы человечества, завязанный в Петербурге (и Петербургом). Причем нужен Белому Петербург именно как столица основанной некогда на рубеже Запада и Востока империи, т. е. как показатель и средоточие тенденций целой эпохи. Не будь он столицей, он не был бы ни показателем, ни средоточием. Поэтому Белый и пишет в прологе, что «если... Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует».

Герои романа — порождение этого узла, в которых оказались «священными» вообще людские судьбы в XX в. Они во всем несут на себе следы породившей их эпохи. Они раздвоены, раздроблены под воздействием сил противоположного свойства, лежащими во «внешнем» мире и лежащими в них самих. События мира «внешнего» жестоки и грандиозны, они сопряжены с реальной историей России в очень важный, поворотный момент ее развития; события мира «внутреннего» сложными путями сопряжены с мирозданием, вселенной, «мирами иными». Воздействию этих противоположных тенденций подвержены в романе не только натуры средние, так сказать, нормальные, вроде Сергея Сергеевича Лихутина, для которого оказалась роковой необъяснимость (с чисто житейской точки зрения) поведения Николая Аполлоновича по отношению к его жене Софье Петровне; ему в равной степени подвержены и натуры более сложные, вроде Дудкина или младшего Аблеухова, изопренные в вопросах самоанализа и рефлектирующие, — их также берет в свой плен несуразность, алогичность мира, которой и они не находят объяснения.

Но прежде всего в таком положении находится автор романа. Он первый едва ли не наиболее показательная в данном случае фигура. Его отношение и к героям «Петербургга», и к городу глубоко противоречиво и являет собою сеть взаимоисключающих представлений.

Город — широкий и грандиозный символ, столица могущественной пограничной империи — расплывается, теряет реальные очертания, как только Белый сталкивается с необходимостью обозначить то или иное конкретное место, указать тот или иной реальный «адрес». Он сразу же утрачивает свою достоверность.

Петербург Белого не столько реально существующий исторически сложившийся город, сколько символ, характеризующийся бесподобной точностью деталей, но вымышленный и несуразный с точки зрения их соотношения.

Мы не можем, конечно, требовать от Белого топографической точности, поскольку «Петербург» не историческое сочинение, но роман. Од-

нако именно за Петербургом установилась в художественной литературе традиция сохранения топографической достоверности и правдоподобия. Так поступали и Пушкин, и Некрасов, и особенно Достоевский. Белый нарушает эту традицию. Он невольно демонстрирует здесь свою позицию, и не только по отношению к установившейся традиции, но и в плане той общеполитической системы, которая положена им в основание «Петербурга».

Появляясь в том или ином месте романа на улице или набережной, в доме или возле дома, герои романа появляются, так сказать, из «ниоткуда»; за их спиной нет какого-либо пути именно к этому месту. На примере «петербургских» романов Достоевского мы привыкли к тому, что такой путь должен быть, если не на бумаге, то в сознании автора. Белый сводит эту необходимость на нет.

Подобный «метод», выросший из глубочайшей сосредоточенности Белого на овладевшей его сознанием идее, делающей для него «городской» материал малозначительным, далеко уводит его в сторону от Достоевского и других писателей петербургской темы. Он нисколько не озабочен тем, чтобы более или менее определенно представлять себе район, место или дом, где проходит герой, происходит встреча, разыгрывается та или иная сцена. Применительно к Достоевскому обособилась даже специальная тема «Петербург Достоевского», получившая в ряде работ основательное и интересное освещение. К Белому такой подход не применим вовсе. Говоря о «Петербурге Белого», «Петербурге „Петербурга“», мы должны иметь в виду не только (вернее, не столько) конкретный город, сколько город-знак, характерный и важный для писателя не своим конкретно-историческим внешним видом, улицами, площадями, проспектами, условиями жизни персонажа и т. д., а тем, насколько ему удалось стать фоном, условным, фантастическим, но, с точки зрения Белого, типичным обозначением места жизни и действия людей, на примере внутреннего мира которых и взаимоотношений между ними автор хочет показать нам пути и характер нынешнего мирового развития в разрезе «большой» для него темы Запада и Востока, Европы и Азии.

Поэтика Белого при обращении его к «городским» сценам строится исключительно на создании нескольких географически достоверных, но очень обобщенных *опорных пунктов*, которые и создают впечатление топографической достоверности. Остановив внимание на этих пунктах, читатель начинает верить Белому и попадает впросак. «Опорные пункты» не исчерпывают городского содержания романа, но, часто упоминаемые, создают иллюзию подлинности, которая распространяется и на все остальные описания города. Эти «опорные пункты» таковы: Зимняя канавка с прилегающим к ней районом Мойки; Сенатская площадь с памятником Петру; Летний сад, Гагаринская и Английская набережные; Николаевский и Троицкий мост; 17-ая линия Васильевского острова. За пределы этих пунктов действие романа выходит лишь в отдельных случаях. И если отбросить на время дудкинское обиталище в 17-ой линии, то все дома, места службы, встречи и передвижения главных действующих

щих лиц уместятся в границах равнобедренного треугольника, вершина которого будет расположена где-то в середине Невского, а основание захватит набережную Невы от Николаевского до Литейного моста. Это — центр города, район дворцов и правительственных учреждений. То, что именно он находится в фокусе внимания Белого, — естественно, ибо герой его — сенатор. Здесь царят пропорциональность, симметрия, продуманность планировки, соотнесенность одной части с другими.

Однако ничего подобного нет в романе. В первое же утро «Петербург», в «последний день сентября», как пишет Белый в романе, сенатор выезжает из дому. Он выбежал из подъезда, бросил взгляд «на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров». Затем он сел в карету, и лошади тронулись. Сенатор проехал мимо «грязноватого, черновато-серого» Исаакия, мимо памятника императору Николаю и выехал на Невский. Путь кареты, описанный Белым, отчетлив: от Английской набережной (ныне набережная Красного флота) и Николаевского моста (ныне мост Лейтенанта Шмидта) по Исаакиевской площади и одной из Морских улиц, Большой или Малой (ныне улицы Герцена и Гоголя). Однако из воспоминаний Белого, которые писались после «Петербурга», мы знаем, что аблеуховский дом находился на Гагаринской набережной (в начале 1900-х гг. она официально называлась Французской, но название это не прижилось; ныне набережная Кутузова). Белый пишет здесь о себе: «Под пурпурным закатом стоял на Гагаринской набережной под орнаментной лепкой угрюмого желтого дома; чрез много лет, я, увидавши его с островов, — сознаю: это — дом, из которого Николай Аполлонович, красное домино, видел — этот закат, видел — шпиг Петропавловской крепости...»<sup>109</sup>

В то же самое первое утро романа, когда Аполлон Аполлонович выехал в Учреждение, в дом к нему, в гости к его сыну, направился Александр Иванович Дудкин. Он шел с 17-ой линии Васильевского острова, и путь ему был, очевидно, через Николаевский мост. Пройдя по мосту, он внезапно очутился... на Невском проспекте, где, на перекрестке и произошла его встреча с сенаторской каретой, также выехавшей на Невский. Однако, для того чтобы встреча эта состоялась, Дудкин должен был двигаться одним из двух возможных путей: либо бок о бок с каретой и в том же направлении (т. е. через Исаакиевскую площадь), либо более длинным путем — мимо Адмиралтейства к началу Невского и затем к перекрестку, где и состоялась встреча. Но и в том и в другом случае он должен был следовать параллельно движению кареты, в одном с нею направлении, и тем самым уже при первых же шагах по набережной *миновать дом, из которого только что выехал сенатор.*

Путь Дудкина отразил, очевидно, другую сторону представлений Белого о сенаторском доме: если сенатор выехал в Учреждение с Англий-

<sup>109</sup> «Между двух революций», с. 94.

ской набережной, то Дудкин направляется к нему в дом на Гагаринскую набережную.

Противоречие это отчетливо выявляет себя в первой же главе романа, из чего можно сделать вывод, что уже с самого начала представления Белого о местонахождении senatorского дома двоились. И уже в дальнейших главах двойное нахождение дома Аблеуховых будет прочно сопровождать течение рассказа. То одна, то другая набережная будет выплывать в сознании Белого, а иногда они будут прямо объединяться, образуя немислимый для Петербурга синтез, свидетельствующий о том, что Белому действительно нет никакого дела до топографической достоверности. Так, описав в первой главе Гагаринскую набережную как место, где находится дом Аблеуховых, он в седьмой главе называет таким местом... Английскую набережную.<sup>110</sup>

На Английскую набережную возвращаются и оба Аблеуховых после бала у Цукатовых — Аполлон Аполлонович пешком, Николай Аполлонович в пролетке. Причем и возвращается этот последний домой каким-то странным путем: только что, перейдя в компании с сыщиком Морковинным Николаевский мост, он попал на Васильевский остров: там просидел ночь в островном кабаке, где против него восседал Петр I с голландским шкипером. После этого и начинаются странности: он вернулся по тому же мосту назад к Сенатской площади, желая попасть домой и представляя себе его очевидно находящимся на Гагаринской набережной (см. глава пятая, глава «Я гублю без возврата»). На Сенатской площади, у памятника Петру, он задержался. Следует реминисценция из пушкинской поэмы (Николай Аполлонович с хохотом побежал от Медного всадника); но мысль о бомбе, которую необходимо немедленно ликвидировать, не дает ему покоя. В нервном нетерпении он вскакивает в пролетку и спешно едет домой. Но куда — домой? Что происходит в этот момент в сознании Белого, представить себе трудно, но оказывается, что фактически едет Николай Аполлонович... на Английскую набережную, находящуюся в двух шагах от Сенатской площади, и не «впереди», а «позади», там, откуда он только что вышел к памятнику. Вот как это происходит. Светало. «Адмиралтейство продвинуло восьми-колонный свой бок; пророзовело и скрылось <...> черно-белая солдатская будка осталась налево; в серой шинели расхаживал там старый павловский гренадер...» Мало того, что Николай Аполлонович едет от Сенатской площади к Английской набережной, он еще ухитряется при этом проехать мимо Адмиралтейства. «Черно-белая солдатская будка осталась слева (Белый дважды это подчеркивает). Это солдатский пост у памятника Петру; такие посты стояли и у памятника Николаю I, и у памятника Александру III, причем назначались туда солдаты-ветераны, старики. Белый упоминает о них в тексте романа. Этот же сол-

<sup>110</sup> В прямом противоречии с воспоминаниями Белый пишет здесь: «Громадное колесо механизма, как Сизиф, вращал Аполлон Аполлонович <...> проживающий на Английской набережной».



дат встретился и сейчас, и именно — *слева*, следовательно, ехать мог Николай Аполлонович только по направлению... к Николаевскому мосту.

В том же направлении движется и сенатор. Он видит перед собой «багровую, многотрубную даль»; это «Васильевский Остров мучительно, оскорбительно, нагло глядел на сенатора». Васильевский остров глядел бы в спину сенатору, если бы он двигался к Гагаринской набережной. И никакой бы многотрубной дали Аполлон Аполлонович не увидел. Происходит какое-то странное топтание на месте при видимой стремительности развития действия. Белого неудержимо тянет к Медному всаднику. Сенатская площадь, как и Зимняя канавка, для него — самый лакомый кусок. Все герои романа побывали здесь, все они соприкоснулись с Петром и ощутили роковую значительность этого соприкосновения. Поэтому Белый и не может расстаться с мыслью об Английской набережной; она в большей степени, чем Гагаринская, притягивает его внимание, хотя мысль о ней гнездится в подсознании.

Так, объединяя разные детали и черты, но мало заботясь об общей бытовой достоверности, Белый создает условно-символический образ города. И поскольку он имеет дело именно с Петербургом, да еще с центром, где каждый шаг персонажа может быть прослежен, «разоблачение» Белого окажется делом не слишком большой трудности. Но смысл не в этом «разоблачении». Важно уяснить характер художественного мышления Белого, в основе которого лежат две противоречившие друг другу черты: пристальное внимание к деталям, умение уловить и воспроизвести их с большой художественной выразительностью и полное господство произвола в общей картине, создаваемой с помощью этих же деталей.

Столь же фантастически-условный характер, как и дом сенатора Аблеухова, имеет Учреждение, в котором он главенствует. Оно находится одновременно и на Невском проспекте, и в районе одной из набережных Невы. И в этом втором случае оно как будто напоминает Синод. Вот Аполлон Аполлонович садится в карету, покидая Учреждение: он «бросил мгновенный, исполненный равнодушия взгляд на вытянутого лакея, на карету, на кучера, на большой черный мост, на равнодушные пространства Невы, где так блекло очертились туманные, многотрубные дали и где пепельно встал неотчетливый Васильевский Остров с бастававшими десятками тысяч». (Глава шестая, главка «Кариатида»). Видно, что это здание не может находиться на Невском проспекте, как напишет Белый в следующей главе (главка «Будешь ты, как безумный»). Но куда же все-таки поехал сенатор, покинув Учреждение? А поехал он... на Невский, причем той же самой дорогой (и в том же направлении), какой в первой главе ехал из дому в Учреждение — мимо Исаакия и памятника Николаю II!

Вместе с тем, несмотря на весьма рельефный пересказ того, что увидел сенатор, садясь в карету, описанное в романе Учреждение не может быть ни Синодом, ни Сенатом. Против такой аналогии восстает одна важная деталь, неоднократно и с любовью описанная в романе Белым, — венчающая подъезд «козлоногая кариатида», изображающая «ка-

менного бородача», локтями рук поддерживающего балконный выступ. Белый пишет о нем: «Иссеченным из камня виноградным листом и кистями каменных виноградин проросли его чресла. Крепко в стену вдавились чернокопытные, козлоподобные ноги». Он сообщает совершенно, казалось бы, достоверные подробности о «каменном бородаче»: 1812-й год «освободил его из лесов», 1825-й год под ним «бушевал декабрьскими днями». Важные даты, вехи в истории России. Причем, судя по последней, Учреждение с «кариатидой» должно находиться в районе Сенатской площади или Галерной улицы, где и произошли памятные события 14 декабря 1825 г.

Но не только в этом районе, а и в более отдаленных от центра никакого «каменного бородача», подпирающего балконный выступ подъезда «черно-серого, многоколонного дома», нет. И вряд ли могла иметь место на петербургском здании фигура, описанная Белым и имеющая странный вид: это мужская фигура, следовательно изображен атлант, а не кариатида, на чем настаивает Белый; к тому же, он имеет «козлоподобные» ноги и копыта, — черта уже и не атланта, а сатира.<sup>111</sup>

Однако подобные несоответствия в расчет Белым не принимаются. Вряд ли он даже и задумывается над ними. Ему нужен символ — он создает «каменного бородача», атланта, которого называет кариатидой, делая его немым свидетелем истории. Как таковой он и нужен Белому: он дает ему исторический фон для описанных в романе событий; он видит и небо, по которому движутся облака, и проспект, по которому движется людская многоножка; он молча взирает на смену событий, в которой Белому важны и внешняя изменяемость, и внутренняя роковая неизменность. Ни одно из них не может длиться вечно, но и ни одно из них не является «концом». Видоизменяются формы движения, само же движение в своем круговом направлении неостановимо, и в понятии неостановимости для Белого таится не только исход, но и своя безысходность. Символом и фоном этой «изменяющейся неизменности» и становится фантастическая «кариатида», подпирающая балкон Учреждения. Всего лишь две даты называет в связи с нею Белый. Оба эти года (12-й и 25-й) имели для него особый смысл, связанный, по его мнению, с закономерностями русской истории. Он раскрыл его в письме к М. К. Морозовой от 14 июля 1911 г.: «Надвигается осень, и сколько тревог надвигается с осенью. Для меня, кроме личных тревог, звучит еще одна тревога за всех нас. Еще двенадцатый год не прошел; и дай Бог, чтобы прошел он так, как 12-й год минувшего столетия. Трудны были России 12-ые годы. Трудны были первые четверти столетий. До 25-го года приходили наиболее трудные испытания. В 1224 году появились татары; <в> 1512 году смута раздирала Россию; в 1612 году — еще ббльшая смута. <В> 1712 по спине России гуляла Петрова дубинка

<sup>111</sup> Не исключено, что в описании «кариатиды» Белый основывался на впечатлении от скульптурных фигур, обрамляющих фасад дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41). Этот дворец по внешнему виду более других зданий может претендовать на роль описанного Белым Учреждения.

(«в» 1725 скончался Петр). «В» 1812 было нашествие французов. 1905—11 «годы» страшно напоминают Россию поражения «под» Аустерлицем «...» И вот мы — у преддверия 12-го года. Дай Бог, если будет новое испытание, чтобы был и *новый Кутузов*. Дай Бог, чтобы князя духовных уделов не спорили друг с другом, а твердо соединились против Россию обложивших татар.<sup>112</sup>

Для того чтобы выделить эти две даты — роковые и символические в истории России — Белый и вводит в роман странное существо, объединяющее в облике черты и кариатиды, и атланта, и сатира.

Аналогичным образом поступает он не один раз. Деталь перестает быть просто деталью, она становится деталью-символом. Это был принципиально новый аспект в развитии петербургской темы, имеющей свою стародавнюю традицию. Белый не просто «обновляет» ее, он ее отвергает, создавая совершенно особый подход к изображению слишком известного города.

Вот Белому потребовалось описать дом, в котором проживает подпоручик Лихутин. Он дает точный, казалось бы, ориентир для нахождения этого дома. Этот ориентир будет сопровождать нас на протяжении всего произведения — соседнее здание, которое Белый будет вспоминать каждый раз, как только речь будет заходить о доме Лихутиных. Описано оно подробно: «светлое трехэтажное пятиколонное здание александровской эпохи», над вторым этажом — «полоса орнаментской лепки»: круг за кругом, «в круге же римская каска на перекрещенных мечах». Из дальнейшего мы узнаем, что колонны, подпирющие здание, каменные.

Это здание также придумано Белым. Ничего похожего на Мойке нет — ни в районе Зимней канавки, ни в других районах. Петербургской архитектуре вообще не свойственно нечетное количество колонн; иначе как же может чернеть неоднократно упомянутый вход между колоннами? Но вот остальные детали (светлое, трехэтажное здание, с колоннами) действительно свойственны архитектуре александровской эпохи. И даже характер «орнаментской лепки», свидетельствующей о том, что здание относится к военному ведомству, воспроизведен Белым очень точно. Он заимствовал этот орнамент у другого здания и перенес его на Мойку. Описанный Белым орнамент (круги с перекрещенными мечами в них и каски над ними) имеется на фасаде Михайловского манежа и фасадах прилегающих к нему с двух сторон декоративных портиков. Всего здесь десять кругов, и они действительно связаны с зданием

<sup>112</sup> ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16, л. 15. Важная деталь: число двенадцать преследует Белого и в тексте романа; двенадцать папирос выкуривает, находясь в кабинете Николая Аполлоновича, Дудкин; двенадцать с полтиною платит он за свою каморку; до двенадцати раз приседает, отходя ко сну, сенатор Аблеухов; не поднимается раньше полудня (т. е. двенадцати часов) Николай Аполлонович и т. д. Очевидно, это библейское число (ср. двенадцать апостолов Христа) какими-то сложными путями объединялось в сознании Белого с идеей изменения (обновления или деградаци, во всяком случае перерождения), независимо от того, имеет ли оно частный или общий характер.

военного назначения; все они выходят на площадь. Лепка безукоризненна по красоте и пропорциональности. Она несколько перегружена деталями — по окружности кругов расположены еще венки из дубовых веток; Белый в романе снимает эту деталь. Здание получается в романе не только светлым, но и легким. Не воспроизводя никакого конкретно дома, оно дает представление об общем характере официальных зданий александровской эпохи и без труда может ассоциироваться и с фасадом министерства иностранных дел (выходящая на Мойку сторона восточного крыла корпуса Главного штаба), и с боковой стороной здания штаба Гвардейского корпуса.

В описании «светлого пятиколонного здания александровской эпохи», являющегося неперменным ориентиром при приближении к дому Лихутиных, как и в описании расположения самого этого дома, со всей отчетливостью сказался тот основной принцип, которым руководствовался Белый в городских сценах и который можно было бы определить как принцип *топографической контаминации*, т. е. объединения на одном участке, в одном топографическом месте черт, признаков и деталей; действительно существующих, но «разбросанных» по другим местам города. Объединяя их, Белый создает как будто реально существующий, на деле же воображаемый участок города, здание, набережную и т. д. Он любит и ценит деталь (при всей его сосредоточенности на самом себе он поразительно наблюдателен), но она существует в его писательском воображении в очень сложных связях с целым, с городом, частью которого она является. Поэтому, когда он связывает одну частность с другой, получается «описание», в котором трудно бывает разобраться с «эмпирической» точки зрения. В главе третьей (главка «Благодарен, строен, бледен!») описана дорога, которой шли Софья Петровна с Варварой Евграфовной на митинг. Очень точно указано, где они шли, что было справа и что слева, упомянуты Мойка, Летний сад, купол Исаакья, церковь впереди, набережная Невы, Троицкий мост и Зимний дворец. Но все эти признаки расположены в таком сочетании, что никак нельзя определить ни того, где именно находились спутницы, ни даже того, в каком направлении они двигались.

Петербург для Белого есть символ мирового значения — и в плане исторических судеб человечества, и в общефилософском плане — он условное обозначение «места и времени», служащее для изображения «подсознательной жизни искалеченных мысленных форм», как сказал он в цитированном письме Иванову-Разумнику. Поэтому-то как реальный город со своими маршрутами и своей топографией он и не слишком занимает Белого. Это символ тех грандиозных противоречий, во власти которых оказался весь человеческий род, не только в своей подлинной земной истории, но и в истории своего «духовного» роста, «духовного» созревания, которое Белый готов расценить как деградацию.

Именно поэтому город живет в романе как бы двойной жизнью, в которой элементы подлинного *бытия* переплетаются с элементами таинственного *бытия*.

Этот принцип безусловно находил опору в романах Достоевского, но Белый шел дальше него. Он взял у Достоевского ту сторону восприятия Петербурга, которая связана была с отношением к нему, как к городу призрачному, фантастическому, но дал ей абсолютное выражение.

Возвращаясь от Цукатовых домой на набережную, сенатор Аблеухов проходит мимо дома Дудкина, находящегося... «в глубине 17-й линии Васильевского Острова» (он слышит духовные стихи, распеваемые проживающим в этом доме сапожником Бессмертным).<sup>113</sup> В действительности сенатор не мог попасть на 17-ую линию Васильевского острова, идя из центра города на Гагаринскую набережную. Ему для этого надо было бы сделать крюк, который вряд ли был бы ему под силу. Но такая «действительность» Белого не интересует. Ему важно подчеркнуть, что и террорист Дудкин, и сенатор Аблеухов прочно связаны между собой, они одинаково обдуваются сквозняками, дующими из «мировых пространств».

Столь же не случаен маршрут, проделываемый Лихутиным, когда он везет к себе домой на расправу Николая Аполлоновича. Встретились они где-то в центре Невского, там же вскочили в пролетку. Дальше же начинается невообразимое: вот они оказываются на Марсовом поле, причем со стороны Невы («страшное место увенчивал великолепный дворец», — пишет Белый, т. е. названный здесь Михайловский замок находился где-то впереди — «увенчивал» перспективу); затем проезжают вперед, на площадь перед Манежем, разворачиваются там и... едут назад к замку: «Полетели навстречу два красненьких, маленьких домика», — уточняет Белый. Это павильоны, оформляющие въезд на территорию замка со стороны, противоположной Марсову полю. Вслед за ними, теперь уже в естественной последовательности, возникла «конная статуя», «вычерняясь неясно с отуманенной площади». Это памятник Петру I работы Растрелли, поставленный перед замком. Затем они проезжают мимо самого замка, выбирают на Мойку и прибывают к дому Лихутиных. Для того, кто бывал в Ленинграде, маршрут этот покажется невероятным. Так оно и есть на самом деле. Но это «невероятность» с точки зрения здравого смысла, для которого на первом месте всегда должна находиться логическая последовательность. Но ее-то как раз Белый в расчет и не принимает; она просто не интересует его. Ему нужна логика, но логика идеи произведения в целом, логика цели. Он сталкивает Аблеухова с Лихутиным на Невском проспекте и «бросает» их в толпу демонстрантов, чтобы показать, в какое бурное и напряженное время развивается действие романа; затем он выводит их на Марсово поле, чтобы показать страшную пустоту, которая объела и Невский с его демонстрантами, и людей вообще с их «земной» борьбой и «земными» заботами; наконец, он выводит своих героев к Михайловскому

---

<sup>113</sup> Кстати, Белый и здесь «забывчив»: Дудкин проживает то в семнадцатой (главы первая и пятая), то в восемнадцатой (глава четвертая) линии.

замку, чтобы получить возможность в прекрасном лирическом отступлении, посвященном Павлу I, высказать свой взгляд на извечную повторяемость в «земной» истории людей одних и тех же событий.

## 2

Но, несмотря на то что инфернальность является едва ли не главным (во всяком случае характерным) показателем для всех основных образов-символов романа, они прочно связаны с социальным конфликтом самой эпохи, принявшим в 1905 г. обостренный характер. Именно в 1905 г. — никогда ранее история России подобной ситуации не знала — классовый антагонизм выливался в социальную революцию.

Эта обостренность откладывается в сознании Белого, вообще склонного к преувеличениям, в формах таинственных, мистических и болезненных, с невысказанной прямо, но постоянно ощущаемой мыслью о том, что, несмотря на вполне земные проявления действий и поступков людей, вызваны они силами, находящимися вне пределов «земной» досягаемости.

1910-е гг. в истории русской литературы — время интенсивного осмысления событий первой русской революции. К ней обращается не только Белый в «Петербурге». К ней обращаются и многие другие поэты и прозаики. Блок в докладе «О современном состоянии русского символизма» (1910) склоняется к мысли о том, что она была преждевременна: «золотой меч» тайного знания оказался захвачен и помрачен «лиловым сумраком», поглотившим и «испепелившим» его. Белый не делает никаких выводов на этот счет, но символы его романа близки тем, к которым обращается в своем докладе Блок. «Лиловый сумрак» для Блока и есть олицетворение и обозначение той трагической зависимости, которую ощущает человек (и наиболее обостренно — художник), от того темного, неосознанного, что разлито и в природе, и во внутренней организации человека и чему противостоит начало светлое, олицетворяемое в понятии «золотого меча».

Понятиям социальным Блок подыскивает цветовые эквиваленты, которые и должны выразить скрытую, духовную сторону его размышлений. Так же поступает и Белый. Петербург в его романе — образ и категория не только социального порядка, но и категория психологическая, нравственно-этическая, иносказательно обозначающая тот духовный тупик, в который зашел в буржуазную эпоху человеческий род. Именно нравственная «ущербность» города, его скрытая инфернальность, его способность деформировать личность, превращая ее в орудие действий «потусторонних» сил, выдвинута в романе на первый план. «Я гублю без возврата», — слышат персонажи романа роковое предупреждение из уст Медного всадника, олицетворяющего город. В соответствии с таким восприятием Петербурга оформляется в романе и цветовой комплекс, составляющий важнейшую сторону его поэтической

структуры. Повышенный интерес к цвету в художественной среде рубежа веков не был беспредметным увлечением. Эта эпоха, резко обозначившаяся после затишья 1880-х гг. как время обновления самых разных видов художественного творчества (словесного, живописного, музыкального, хореографического и т. д.), одной из важнейших задач ставила расширение сферы эмоционально-эстетической восприимчивости. *Звук* и *цвет* стали равноправными и однородными компонентами в общем движении к обновлению художественной выразительности. В красках отыскивался писателями своеобразный зрительно-психологический эквивалент того или иного понятия психологического свойства. Вспомним Врубеля с его гениально-неожиданной цветовой гаммой и многих других художников эпохи рубежа веков; вспомним и настойчивые попытки Скрябина «увидеть» в звуке цвет, в цвете «услышать» звук.

Первый свой стихотворный сборник Белый озаглавил «Золото в лазури». Сочетание золота (солнце) и лазури (небесный свод) должно было наглядно способствовать обнажению содержания сборника. Содержание постигалось через цвет, при помощи зрительного восприятия.

Но после «Золота в лазури» линия развития Белого как художника резко ломается, на первый план выдвигается трагическое осознание человеческой судьбы, которое занимает теперь весь передний план творчества. Изменяется и пейзаж; он становится более суровым и однозначным. В «Серебряном голубе» на смену «золоту в лазури» уже пришел «черный воздух» неба.

*Черное небо* — символ духоты, неподвижности, «предгрозовых томлений», в атмосфере которых пребывала в годы реакции Россия. В «Петербурге» же от лазури и золота остались лишь закованный в синюю броню «маленький рыцарек» и «световое явление» в его кулачке, которое растаяло, как только Аполлон Аполлонович захотел обратить его в оружие. Солнца в «Петербурге» почти нет; если оно и появляется, то в зловещем облике солнца осеннего, закатного — «огромного и багрового», находящего свое отражение в кроваво-красном цвете Зимнего дворца. Солнце в романе сменила луна — ее мертвенный фосфорический блеск сопровождает нас на протяжении всего повествования. В этой замене светила дневного светилom ночным, льющим таинственный свет из мировых пространств, также сказалась одна из особенностей эволюции поэтики всего русского символизма.

Луна — «фосфорическое пятно» — обликает своим тусклым светом ночной Петербург. Город приобретает фантастически-призрачные очертания. Наряду с мертвенно-фосфорическим Белый использует еще для характеристики Петербурга цвета зеленый (купоросный) и серый. Какую бы страницу романа мы ни открыли, нас встречают либо «фосфорическое пятно», «мертвенно» проносящееся по небу, либо «зеленоватые» воды Мойки, либо зеленые, «кишащие бактериями» воды Невы, либо туманные дали, кладущие «конец бесконечности», и т. д. Это сошедший на землю «мир луны», точка в пространстве вселенной, которую не могут оживить даже золотые шпильки Адмиралтейства и Петропавлов-

ской крепости. Причем один и тот же цвет может характеризовать самые разные предметы (или понятия), подчеркивая, по замыслу Белого, их скрытую однородность. Так, серым цветом обозначаются гранит Невы, туман, перспектива Васильевского острова, череп и лицо Аполлона Аполлоновича; зеленый цвет характеризует воды Невы, лица людей, населяющих Петербург, Медного всадника (в его глазах «зеленоватая глубина», а раскаляясь, он пышет «дымными, раззеленными клубами»). Зеленое сливается с фосфорическим в облике Медного всадника, — это единый символ безжизненности, мертвенности.

Трагическая обреченность города подчеркивается Белым с прямолинейной настойчивостью. Петербург един и неделим в этой своей обреченности. «Петербург» — роман-трагедия, в котором существенную роль играет сам трагизм писательского мироощущения Белого. Поэтому так сильно оказался выражен в «Петербурге», и именно в описании города, личный, субъективный, лирический слой. Город Петербург — единственный из образов романа и объектов писательского внимания Белого, единственный его «герой», избавленный Белым от иронического подтекста. Громада города встает в романе в своем тягостном величии, под фосфорическим блеском луны вперемешку с кроваво-багровыми отблесками закатного солнца. Над всеми персонажами пронизывает автор, все они для него — люди, утратившие путеводную нить истинного знания, а вот над Петербургом иронизировать не решается.

Петербург един, но это единство внутренней противоречивости, которая имеет открыто выраженный социальный характер. Белый здесь — стихийный диалектик. Он, конечно, не осознает во всей глубине смысла того противостояния, которое обнаружено им, но оно им уже обнаружено, им уже понята классово-антагонистическая структура города.

Мы имеем в виду то разделение города на две части, на два «района» — центральный и островной, — о котором говорит Белый. Центральный район — это район дворцов, государственных учреждений, Адмиралтейства и Медного всадника. Здесь проживают главные персонажи, здесь находится дом сенатора Аблеухова — средоточие сюжетных линий «Петербурга». Этому району противопоставлен район островов (главным образом Васильевского, остальные острова лишь подразумеваются, но не называются). Здесь живет «островная беднота», «рабочий люд», «фабричное» население; Белый вводит даже специальное понятие — «жители островов», «островитяне». Он недвусмысленно подчеркивает классовый характер антагонизма между этими двумя районами. «Аполлон Аполлонович островов не любил: население там — фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг...». Здесь, в глубине 17-й линии, в сыром доме скрывается террорист Дудкин. Этот дом — второй «сюжетный центр» романа. Роскошный, но холодный особняк Аблеуховых на набережной, из окон которого его обитатели с тревогой вглядываются в «многотрубные дали», — и сырое, тоже холодное чердачное помещение, в котором проводит бессонные ночи террорист,



по кличке Неуловимый, дозируя в свою очередь мировые пространства, — вот два сюжетных центра романа, являющихся одновременно и центрами расколовшейся надвое жизни. Из своего обиталища в особняк Аблеуховых направляется Дудкин, неся в узелке террористическую бомбу; из особняка в 17-ую линию спешит взволнованный Николай Аполлонович, желая получить разъяснение по поводу полученного им письма, в котором ему предложено убить отца. Центр и острова и разделены и прочно спаяны друг с другом. То огромное место, которое занимают ныне в жизни «жители островов», осознается Белым сполна и сполна же обрисовывается в «Петербурге».

«Островная беднота» прочно внедрилась в быт Российской империи. В главке «Жители островов поражают вас» имеется прекрасный полу-иронический, полусаркастический пассаж, посвященный способности «островитянина» проникать незаметно в дома, в другие города и губернии, будоражить людей, бунтовать, нарушать покой и устоявшийся быт.

Постоянно, на протяжении всего романа Белый ощущает себя участником трагедии «Петербурга», которая в его понимании есть мировая трагедия, касающаяся всех его современников. Все, что он пишет о России и о своих героях, затрагивает и его лично. И затрагивает не только как писателя (т. е. повествователя, «изобразителя»), но и как человека, наделенного обостренной эмоциональной впечатлительностью. Поэтому и в иронически-саркастическом обращении Белого к «русским людям» — «Вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте! Бойтесь островитян!» — следует видеть эмоционально-обостренное осознание драматизма самой эпохи с ее исторической новизной, заключающейся в выдвигании на передний план новых социальных групп, которым теперь уже принадлежит право решающего воздействия на ход исторической жизни.

Трудно с определенностью ответить на вопрос о том, что играет в общей идеологической концепции романа более существенную роль — идея отъединенности «островов» от центра, явившейся, как прекрасно понимает Белый, следствием социально-антагонистических тенденций нынешнего общественного развития, или идея их общности, вернее, общности их обоюдной трагической обреченности. Обречен Аполлон Аполлонович, доведший управление страной до грани, за которой начинается безумие; но обречен и его антагонист террорист Дудкин, также близкий к безумию. В виде нетопыря парит Аполлон Аполлонович над островами, всячески притесняя «островную бедноту»; «островитяне» отвечают ему ненавистью и террором. Но прочно связаны они в один узел исторического тупика, к которому подошла Россия на буржуазной стадии своего развития.

Вот тут-то и вступает в действие «третья сила», в задачу которой входит ликвидировать конфликт между Дудкиным и Аблеуховым, между центром города и островами. Там, где есть зло, «нечистая сила», дьявол, — там законы равновесия требуют введения силы добра, силы «чистой», бога. Белый приходит к этой мысли, очевидно, лишь в про-

пессе написания романа, чем и определяется то, что призрак Христа, не однажды появляющийся (или упоминаемый) на его страницах, не занял в концепции «Петербурга» сколько-нибудь значительного места. Он так и остался гипотетическим символом, но не художественным образом. Его иконописный лик и общий европеизированно-арлекинский внешний вид (пальто с короткими рукавами, длинные кисти бледных рук, длинные ноги) хорошо соотносятся с европеизированным же обликом города. Никакой «простонародности» в облике Христа из «Петербурга» нет, хотя выполняет он вполне «русскую» функцию — указания людям истинного пути к спасению и преображению жизни.

Очевидно, позиция Белого в этом отношении была близка позиции Блока — автора поэмы «Двенадцать». Более того, конфликт «Двенадцати», как и возможный, как бы намеком предсказанный Блоком исход из него, своеобразно предсказаны ранее Белым в «Петербурге». Уже здесь определена и «злая» сила, олицетворяющая старый мир, и возможное восстание против нее, и третья линия — бледный призрак Христа, столь же внезапно возникающий на страницах романа, как и его вариант на страницах блоковской поэмы.

Призрак Христа возникает на страницах «Петербурга» как антипод и антагонист Медного всадника. Это единственное светлое явление в романе. Он одет в *белое домино* (контраст с красным домино Николая Аполлоновича и с черно-серым обликом сенатора). Медный всадник — олицетворение города, — имея явную связь с всадником Апокалипсиса, он, по мысли автора, заключает в себе идею смерти («медновенчанная Смерть» — так воспринимает его Софья Петровна Лихутина). Христос же выступает в романе традиционным символом жизни, любви и сострадания. Они и возникают на улицах императорского Петербурга в паре — вначале появляется призрак Христа, затем сменяющий его Медный всадник. Так было с Софьей Петровной, возвращающейся с бала в доме Цукатовых: ее встретил и усадил в пролетку кто-то «печальный и длинный», кого она и не признала вначале, а затем ей мерещится, будто ее настигает Медный всадник: «Точно некий металлический конь, звонко цокая в камень, у нее за спиной порастапывал отлетевшее...». Так было и с Дудкиным, возвратившимся ночью к себе в каморку: его встречает у ворот тот же «печальный и длинный», бросивший на террориста «невыразимый, всевидящий» взгляд, а вслед за тем прямо на чердак к Дудкину является Медный всадник. Между призраком Христа и Медным всадником происходит как бы борьба за души людей, населяющих город; люди тянутся к «печальному и длинному», но находят во власти Медного всадника. Двойственность их душ и положений здесь полностью проявляет себя. Их внутренние стремления и подсознательные порывы находятся в противоречии с их реальным положением, с той «средой», в которой они пребывают. Обстоятельства их жизни и быта, привычки и ложные убеждения заглушают возвышенные порывы души. Хочет «припасть» к ногам «неизвестного очертания» Софья Петровна; хочет «что-то такое сказать» «печальному и длинному»

Александр Иванович, но ни та, ни другой ничего не делают, какая-то сила отвлекает их, заглушает их трепетные желания.

Призрак Христа пока проигрывает битву за души людей, населяющих Петербург; «хозяином» города остается на всем протяжении романа мрачный и грозный Медный всадник. Однако брошенные «печальным и длинным» семена не пропали даром: как будто бы что-то человеческое просыпается в грубом и черством сердце Софьи Петровны; нечто совершенно новое открывается в душе Аполлона Аполлоновича (в эпилоге); новый и неожиданный характер приобретают занятия Николая Аполлоновича. Мы не можем здесь говорить ни о каком перерождении, но о том, что в финале романа содержится эмоциональный намек на возможность для героев «перестроиться» внутренне и что эта возможность находится для Белого в прямой связи с появлением на страницах «печального и грустного» призрака в белом домино, — об этом говорить мы можем и должны. Та эмоционально-нравственная атмосфера, которая сопровождает появление на улицах Петербурга «неизвестного очертания», как бы вновь воспроизводится на последних страницах произведения. Очевидно, ее-то и имел в виду Вяч. Иванов, когда говорил о «благостности» конца романа. Он был неправ, если иметь в виду роман в целом (о чем говорилось выше), но с ним можно согласиться, если обособить группу персонажей, — главным образом это семейство Аблеуховых и Софья Петровна (оставшаяся вдвоем со своим сумасшедшим мужем). Однако тут же следует оговориться, что эта «благостность» не является следствием душевной дряблости Белого как писателя и философа (такой намек как будто скрыт в упреке Вяч. Иванова); она есть часть его общей, в эти годы оформлявшейся концепции жизни, в которой идеи нравственного совершенствования, индивидуального перерождения играли, как мы знаем, не последнюю роль.

Петербургу в этой концепции места уже нет. Он — столица империи, построенной по западному образцу, город Медного всадника. Вряд ли можно признать случайностью тот факт, что в конце романа Белый удаляет из Петербурга всех его главных героев. Уезжает в свое родовое имение сенатор Аблеухов, — там, в русских снегах и русских полях, помирившийся с раскаявшейся супругой, отрешившись от государственных дел, пишет он воспоминания, радостно переживая возвращение к семейному уюту. В Египет отправил Белый и Николая Аполлоновича; он сам недавно вернулся из Африки, плененный внутренней чистотой, достоинством и непосредственностью ее коренного населения. Резко изменился круг интересов сенаторского сына: европейца Канта сменил славянин Григорий Сковорода; вместо сюртука стал носить Николай Аполлонович «поддевку верблюжьего цвета», сапоги и картуз. Очевидно, и в его жизни начинается новый, уже не-петербургский период. Желтый дом на Гагаринской (Английской?) набережной окончательно опустел. Петербург утратил свое значение для всех членов этого типичного петербургско-чиновничьего семейства. Новую жизнь и новые интересы они обретают за его пределами.

Опустеет и оклеенное желтыми обоями обиталище Дудкина. Не будут его больше преследовать желтолицые видения. Он найдет свой конец также вне города. Его комнату займет, вероятно, Степка, принесший в Петербург весть о «втором христовом пришествии».

Подготовив трагедию своих героев, Петербург выбросил, изрыгнул их из себя, подобно тому же Кроносу-Сатурну, образ-символ которого так навязчиво преследует всех трех центральных персонажей романа.

По своим содержательным истокам роман «Петербург» явился произведением, в котором в сложной, расширительно-иносказательной форме отразились настроения, характерные для русского и западноевропейского общества предвоенных и предреволюционных лет. В условной форме можно сказать, что роман этот — характерное и показательное явление для всего XX века — века социальных потрясений, революционных взрывов и мировых войн, изменяющих на наших глазах лицо мира.

Такое — напряженное, катастрофическое — течение мировой истории и было по-своему «предсказано» в романе Андрея Белого. Самодержавно-бюрократическая форма правления (изжитость, реакционность которой хорошо видит Белый), как, с другой стороны, терроризм и анархизм, вызывают у него ужас. Других тенденций в истории Белый не видит, хотя, как можно полагать, они предчувствуются им. Взятые в совокупности, названные выше силы и приводят историю человечества, согласно Белому, в тупик, лишают ее перспективы. Все смешалось в мире, выявились общности и аналогии, о существовании которых трудно было предполагать. Террорист Дудкин для Белого и сенатор Аблеухов, Азеф — руководитель боевой организации эсеров и Азеф — провокатор, Петр I — великий преобразователь и Петр I — воплощение злой губительной силы, и выше — Россия и Европа, Восток и Запад, Европа и Азия — все это смешалось ныне, переплелось, переходит одно в другое. Блистательным изображением всеобщего смятения, переплетения, метания героев (и самого автора) и ценен нам роман Белого прежде всего, поскольку именно этой своей стороной он объективно соприкасается с реальной действительностью, с подлинным смятением, подлинными метаниями и катастрофичностью жизни буржуазного общества в годы, предшествовавшие социалистической революции.

*Л. К. Долгополов*

## ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

В настоящем издании воспроизводится текст первой печатной редакции романа «Петербург», увидевшей свет в трех сборниках издательства «Сирин».<sup>1</sup>

Роман печатается по современной орфографии, с соблюдением, однако, особенностей повествовательной манеры Белого. Особенности эти касаются, главным образом, синтаксиса Белого; его не с чем сравнить, к нему нельзя применить никаких правил. Запятые, двоеточия, точки с запятой, тире расставлены здесь не в соответствии с правилами школьной грамматики, а в соответствии с тем «скрытым» смыслом, с той «затекстовой» семантикой, которая так много значит в этом необычном романе. На нее и опирается Белый, несмотря на то что на первый взгляд употребление им знаков препинания, как и синтаксис романа в целом, может показаться искусственным и произвольным. Ни искусственности, ни произвола здесь нет.

Белым создан в «Петербурге» совершенно особый, ни у кого из русских писателей более не встречающийся стиль романтического повествования, в котором монологическая форма рассказа перекрещивается и переплетается с полифонизмом изображения внутреннего мира героев и их реального жизне- и мироощущения. Кроме того, роман написан ритмизованной прозой, размер которой приближается более всего к анапесту (трехсложный размер с ударением на последней стопе). Это все надо учитывать, знакомясь с текстом романа. Белый сам в ряде случаев идет навстречу читателю, проставляя в словах ударение — не на том слоге, на котором оно требуется по нормам литературного произношения, а на том, на котором оно должно находиться в соответствии с ритмической организацией фразы. В других случаях он ударения специально не обозначает, — это должен сделать читатель. Поэтому и исправления опечаток

---

<sup>1</sup> «Сирин». Сборник первый. СПб., 1913, с. 1—148; «Сирин». Сборник второй. СПб., 1913, с. 1—209; «Сирин». Сборник третий. СПб., 1913, с. 1—276. В 1916 г. главы романа из нераспроданных экземпляров сборников были вырезаны, сброшюрованы и выпущены в продажу в виде отдельного издания романа. Это и было первое и единственное до сих пор в России отдельное издание полной редакции «Петербурга».

и явных описок, допущенных Белым, производились в настоящем издании с целью прояснить, сделать более явной вот эту ритмическую организацию текста, в которой имеется своя система. Но из-за спешки и тех необычных условий, в которых создавался роман, система эта выдерживается Белым не в абсолютном виде. И тут приходилось размышлять буквально над каждой запятой. Сохранить нетронутой манеру прозаического письма Белого, но при этом максимально учитывать объективные правила грамматики — вот главное требование, которое ставил перед собой составитель при подготовке настоящего издания.

«Сириновская» редакция — наиболее полная редакция романа, осуществленная в том его виде, в каком он был задуман Белым после окончания «Серебряного голубя», который в свою очередь представлялся ему первой частью обширной трилогии. «Петербург» должен был стать второй ее частью. Третьей частью должен был стать роман под заглавием «Невидимый Град». Написана эта третья часть так и не была; трилогия осталась неосуществленной, после «Петербурга» творческие планы Белого приобрели иной характер.

В 1922 г., находясь в Берлине, Белый предпринимает переиздание «Петербурга». Он переиздает в Берлине целый ряд своих произведений, в числе их находится и этот самый значительный из его романов. Белый сокращает «Петербург» для переиздания (по его собственному признанию, на одну треть), избегая каких бы то ни было исправлений и дополнений. В 1922 г. сокращенный вариант «Петербурга» выходит в свет в Берлине в издательстве «Эпоха». Эта же редакция была воспроизведена в 1928 г. московским книгоиздательством «Никитинские субботники». Здесь она подверглась дополнительному сокращению и незначительной стилистической правке. В 1935 г., уже после смерти Белого, «Петербург» в редакции «Никитинских субботников» и с вступительной статьей К. Зелинского был еще раз переиздан в Москве. В последний раз эта редакция увидела свет в 1978 г. (издательство «Художественная литература», Москва); роман вышел здесь с вступительной статьей А. С. Мясникова, послесловием П. Г. Антокольского и комментариями Л. К. Долгополова.

Берлинская редакция «Петербурга», как и последующая московская, — памятник иного исторического времени. Этот новый, сокращенный вариант романа более связан и со стилем, и с характером творчества Белого 20-х гг., нежели с его исканиями предреволюционного десятилетия, когда вынашивался замысел трилогии.

Исходя из этих соображений и желая познакомить читателя с кругом творческих проблем А. Белого в самый значительный период его литературного творчества (а таковым бесспорно являются именно 1910-е гг.), редакционная коллегия серии «Литературные памятники» сочла целесообразным предпринять переиздание не сокращенной, а полной редакции романа. Естественно, не приняты во внимание и те незначительные стилистические изменения, которые вносились А. Белым в текст при сокращении романа.

Для настоящего издания текст «Петербурга» сверен с рукописью в той, однако, мере, в какой это возможно было сделать, учитывая крайне плачевное состояние самой наборной рукописи. В течение многих лет она хранилась в собрании Иванова-Разумника в Царском селе (с 1937 г. — город Пушкин). Иванов-Разумник осуществлял связь с Белым от имени издательства «Сирин» (он входил в состав редакционного совета издательства), и в его руках осталось большое количество рукописных материалов Белого. Архив Иванова-Разумника катастрофически пострадал в годы войны. Город Пушкин был оккупирован немцами, архив в течение длительного времени был без присмотра. Многие вещи бесследно пропали. Хорошо сохранились лишь те материалы, которые были переданы Ивановым-Разумником еще до войны В. Д. Бонч-Бруевичу в организованный им Государственный литературный музей (например, письма Белого к Иванову-Разумнику). Рукопись «Петербурга» передана не была. В числе других материалов она осталась в брошенном помещении, подвергаясь всем превратностям погоды и собственной судьбы. Только после войны вместе с другими уцелевшими материалами архива Иванова-Разумника она попала в Пушкинский дом, где и хранится поныне (ф. 79, оп. 3, ед. хр. 24).

Она не имеет единой пагинации. Белым нумеровались либо отдельные главы, либо несколько глав подряд. Общая сумма листов рукописи «Петербург», по нашим подсчетам, 657. Из них сохранилось 307 пронумерованных и плюс небольшое количество листов изорванных, от которых осталось по половине или даже по  $\frac{1}{3}$  листа. Но и эта сохранившаяся часть рукописи «Петербург» прочитана может быть не целиком: многие листы сматы, изорваны, чернила на некоторых смыты; часть листов изъедена гнилью. На всей рукописи много грязи. Следствием такого состояния ее явилось то, что некоторые из вопросов, неизбежно возникающих при подготовке романа к печати, остаются не разрешенными. О них сказано будет дальше.

Готовя «Петербург» к переизданию, мы столкнулись с целым рядом проблем текстологического, идейного и художественного характера. Роман был напечатан небрежно, с большим количеством опечаток и текстологических искажений, а также с некоторыми изъятиями (часть из них имела цензурный характер). В письмах Белого к Иванову-Разумнику выражается полная удовлетворенность (и даже восторг) по поводу того, с какой аккуратностью и с каким уважением к авторской воле «Петербург» напечатан издательством «Сирин». К высказываниям подобного рода следует относиться осторожно и не во всем доверять Белому. Он держал в руках корректуру не всего романа и, надо полагать, не слишком внимательно знакомился с романом по сборникам, в которых «Петербург» был напечатан.

Внешне издание романа действительно производит отрадное впечатление. Он напечатан на дорогой бумаге, удачно подобранным шрифтом, заглавия глав (с эпиграфами) даются на отдельных листах. Названия главок, на которые делятся главы, набраны красивым курсивом. Пол-

ностью выдержан предложенный Белым необычный тип печатания, когда некоторые места (по преимуществу, описания душевного состояния героев в тот или иной ответственный и напряженный момент жизни) печатаются на правой половине страницы, а левая половина остается свободной. Сохранены кавычки, в которые заключил Белый всю прямую речь героев.

Кавычки в данном случае имели для Белого, очевидно, особое значение. Их не было в предыдущих редакциях. Появились они только в «сириновском» издании и затем настойчиво сохранялись Белым во всех последующих переизданиях романа. Вопрос о том, почему Белый заключил в кавычки прямую речь (и тем как бы придал оттенок нереальности общению героев в реальной, «подлинной» жизни) — вопрос не простой. Случайности или произвола здесь быть не может. Естественным представляется предположение, что, вводя в текст в таком обилии кавычки, Белый как бы восстанавливает в правах условность, в которую облекается теперь происходящее в романе. События, не утрачивая своей подлинности, получают дополнительно знак вопроса, который и придает подлинности оттенок неподлинности, но с какой-то иной, «высшей» точки зрения. Безусловное, абсолютное, однозначное в кавычки не ставится. Белый поставил в кавычки всю прямую речь героев, что находилось в связи с его отношением к содержанию романа, которое он сам определил как «условное одевание мысленных форм».

Имеется в «сириновском» издании романа и еще одна деталь, которая также может вызвать недоумение. Это — указания в конце каждой главы на ее окончание. Введены были в текст романа эти указания из чисто практических соображений; главы присылались в редакцию из-за границы и в разрозненном виде, и вот, чтобы избежать путаницы, Белый четко выводил в конце каждой главы: «Конец такой-то главы». Эти фразы были сохранены Ивановым-Разумником, хотя практической необходимости в них не было. Однако впоследствии они Белым были санкционированы: он не изъясил их ни из «берлинской», ни из «московской» редакции 1928 г. Видимо, они приобрели в его глазах какое-то значение, став неотъемлемой частью главы. Кроме того, в сочетании с названиями глав, в которых Белым специально подчеркивался своеобразный «авантюрно-приключенческий» оттенок, они этот оттенок еще более усугубляли. Все эти особенности, естественно, сохраняются в настоящем издании.

В конце некоторых глав Белый еще и указывал город, в котором глава эта писалась (или перерабатывалась). В рукописи «Петербурга» сохранилось указание лишь в конце пятой главы: «Мюнхен» (л. 217); в конце романа имеется общая пояснительная приписка: «1913 года. Берлин. Ноябрь» (л. 302). Пояснения подобного рода (даты, города) в текст романа, естественно, не вводятся, как не введены они в «сириновское» издание.

Первое, что необходимо было сделать, готовя роман к изданию, — устранить по возможности многочисленные опечатки и описки. В «сири-



новском» издании, например, «зоны времени» (гностический термин) были набраны как «зоны времени»; горничная Лихутиных Маврушка в нескольких случаях фигурировала как Марфушка; «пространственно-временной» образ в «сириновском» издании имел совершенно невероятный вид: «проственно-временный». (Это не опечатка, а описка: такой вид выражение это имеет в рукописи (л. 34), где оно подчеркнуто (наборщиком?) красным карандашом). Вместо «лицо отемнялось» было напечатано «отменялось»; немецкий профессор богословия Адольф Гарнак стал в печатном издании романа «Горнаком» и т. д. Не удалось установить, принадлежит ли Белому выражение «грязь непроветряемых кондитерских кухонь» (глава шестая, главка «Пошел прочь, Том!»). Очевидно, здесь все-таки опечатка (надо «непроветриваемых»), однако поскольку утверждать это с определенностью невозможно (соответствующий лист в рукописи отсутствует), оставляем слово в том виде, как оно было напечатано.

В тексте первой главы имеется мотив, который условно можно было бы назвать «загадкой циркуляра». В главке «Жители островов поражают вас», в том месте, где содержатся размышления Дудкина о Петербурге, как воплощенном кошмаре, в печатном издании содержится фраза: «Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак; вспомнил он чье-то жестокое слово; и вспомнил, что падали листья. . .» Это же «жестокое слово» мы встречаем и в главке «Да вы помолчите! . .». Сидя в рестораничке на Миллионной, Дудкин вспоминает встречу с сенаторской каретой на перекрестке: «<...> мертвая, бритая голова прокачалась и скрылась; из руки — черной замшевой — его по спине не огрел и злой бич жестокого слова; черная замшевая рука протряслась там безвластно <...>». Обратившись к рукописи, мы найдем любопытное исправление: в первом случае выражение «чье-то жестокое слово» вписано карандашом на месте зачеркнутого слова «циркуляр» (л. 20). Во втором случае мы обнаруживаем в рукописи под наслоениями исправлений два варианта этой части фразы: первый — «из руки — черной замшевой — не свистал злой бич циркуляра» и второй — «из руки — черной замшевой — его по спине не огрел и злой бич циркуляра» (л. 31). Окончательным, естественно, следует признать второй вариант, который не был увиден наборщиком. Ничего удивительного в этом нет, поскольку текст испещрен исправлениями. Но и в том и в другом случае мы имеем в рукописи слово *циркуляр*, которое принадлежит Белому. Не исключено, что навеяно оно каким-то конкретным правительственным распоряжением. Изменение в печатном тексте «циркуляра» на «жестокое слово» делает обе фразы непонятными и просто лишенными смысла. В настоящем издании в обоих главках обе фразы даны в том виде, в каком они вышли из-под пера Белого.

Восстановлен и еще один пропуск. В текст романа не вошла часть фразы в главе четвертой (главка «Летний сад», самое начало), в которой описывается решетка Летнего сада и говорится о том, что любоваться ею «собирались заморские гости из аглицких стран, в париках, зеленых

кафтанах», дымившие «прокопченными трубками». В печатном тексте описание Летнего сада заканчивалось словами: «поуменьшился сад и присел за решеткой». Как пишет Иванов-Разумник, «фельтеневская решетка Летнего сада эпохи Екатерины II в связи с несомненно „петровскими“ зелеными кафтанами, прокопченными трубками и аглицкими гостями — явный анахронизм».<sup>2</sup> Однако одна из главных особенностей «Петербурга» как раз и состоит в том, что здесь сознательно переплетены, «перемешаны» различные исторические эпохи. Петербург в понимании Белого — узел исторических противоречий, которые наслаивались веками. Для Белого не имеет значения то, что «заморские гости из аглицких стран» отделены полустолетием от времени, когда была воздвигнута знаменитая решетка. Для него это мизерный срок. Помещает же он в кабачке, где объясняются Николай Аполлонович с сыщиком Морковиным, за соседним столиком Петра Первого в обществе некоего шведа, делая их немymi свидетелями зловещей сцены, в которой Петр видит как бы дело рук своих. Почему же показались странными гости «в париках, зеленых кафтанах» на фоне екатерининской решетки? Часть фразы эта восстановлена полностью в настоящем издании в своем первоначальном виде.

Восстановлены и изъятия, производившиеся в редакции издательства «Сирин» по цензурным соображениям. Их немного, но они показательны.<sup>3</sup> В песенке, которая поется на балу в доме Цукатовых, сенатор Аблоухов назван «псом» («Он — пес патриотический...»), и слово это было заменено тремя точками. В главе третьей (главка «Праздник») Белый сатирически описывает высочайший прием в Зимнем дворце. Однако все указания на то, что это именно *высочайший* прием (т. е. с участием царя), были, естественно, сняты. Благодаря этому точная и законченная по мысли фраза Белого: «Тотчас же после чрезвычайного прохождения, обхода и милостиво произнесенных слов, старички снова сроились в зале, в вестибюле, у колонн баллюстрады» (л. 108) приобрела непонятный вид: «Тотчас же после старички снова сроились <...>».

Изъята была и такая деталь: Аполлон Аполлонович здоровается на приеме с графом Дубльве (т. е. с графом Витте), пожимая «роковую» руку, «которая подписала только что условие одного чрезвычайного договора: договор же был подписан в... Америке». Вся заключительная часть фразы после двоеточия оказалась вычеркнутой, а двоеточие заменилось точкой. Слишком явно здесь намекалось на позорное окончание русско-японской войны и на Витте, уже попавшего в опалу и отстраненного к этому времени от государственных дел. В обществе же хорошо помнили, каких усилий стоило ему с минимальной расплатой заключить

<sup>2</sup> «Вершины», с. 94. Иванов-Разумник указывает, что выпала эта часть фразы случайно, «по корректурному недосмотру, но «как нельзя более удачно» (там же). Возможно, что изъятие было произведено им самим.

<sup>3</sup> Не в полном объеме они перечислены Ивановым-Разумником («Вершины», с. 93—94).

договор с японцами (договор действительно был подписан в Америке, в Портсмуте).

В настоящем издании все эти купюры восстановлены в соответствии с рукописью романа. Снята была и нелестная характеристика казацкого отряда, разгоняющего митинг (глава третья, главка «Митинг»): «сущие оборванцы, нагло, немо» проплясавшие на седлах (л. 117). Восстановление подобных изъятий значительно усиливает обличительный пафос романа.<sup>4</sup>

Однако имеются в рукописи еще два важных изъятия, восстановление которых представлялось бы необоснованным. Оба изъятия произведены были самим Белым, что определяется по характеру рукописи. Об этих купюрах ничего не говорит Иванов-Разумник, хотя не знать о них он не мог. Первое из них — в тексте главы второй (главка «Бегство»). Здесь в известном лирическом отступлении, начинающемся словами «Ты, Россия, как конь!», говоря в аллегорической форме о будущем страны и о грядущих испытаниях и выражая уверенность, что страна его эти испытания вынесет, Белый пишет: «Воссияет в тот день и последнее Солнце над мою родною землей: то Господь наш, Христос». А затем — возможное допущение: «Если, Солнце, ты не взойдешь...» и т. д. (см. л. 101). Белый снимает часть фразы: «то Господь наш, Христос», ставя перед нею вместо двоеточия точку. Он очевидно не хочет слишком заострять мысль, хочет остаться в границах многозначности и иносказания. Правда, при этом становится непонятным, почему «Солнце» пишется им с прописной буквы. Но, зная, что это синоним Христа, мы в таком смысле и должны воспринимать Солнце «Петербурга».

Второе изъятие имело место в главе шестой (главка «Мертвый луч падал в окошко»). Александр Иванович Дудкин вспоминает сон, виденный им в Гельсингфорсе в момент, когда он проповедовал «возврат» к «здоровому варварству». Ему привиделось, «как его помчали через неопишуемое, что можно бы назвать всего проще межпланетным пространством (но что не было им): помчали для свершения сатанинского акта (целования зада козлу и топтанья креста); несомненно, это было во сне...» и т. д. (л. 230). Белый снимает середину фразы (описание «сатанинского акта»), заменяя ее многозначным иносказанием: «помчали для свершения некоего, там обыденного, но с точки зрения нашей, все же гнусного акта; несомненно, это было во сне». Другими словами, первоначально здесь имелся в виду *ведьмовский шабаш*, на который и был утащен Дудкин бесами. Это также звучало излишне прямолинейно, поэтому, как и в случае с «Солнцем», Белый убирает прямолинейность. Тем более что, как пишет он далее, Дудкин «не помнил, совершил ли он акт, или нет».

Восстановление этих двух изъятий, имевших, как мы видим, характер не стилистический и не цензурный, было бы явным нарушением автор-

<sup>4</sup> Важно отметить, что за исключением слова «пес» все остальные изъятия цензурного характера в берлинском издании Белым восстановлены не были (очевидно, он просто забыл о них).

ской воли. Их надо учитывать, поскольку какие-то важные оттенки общей концепции романа в изъятых частях текста отражены. Но вводить их в окончательный текст у нас нет оснований.

Имеется и еще один момент, требующий специального разъяснения. В ряде топографических названий, связанных с Петербургом, и обозначений мест, где происходит та или иная сцена романа, Белый широко использует прописные буквы. Например, он пишет Невский Проспект, Васильевский Остров, Учреждение, Университет. Даже дом, в котором проживает сенатор Аблеухов, он иногда обозначает так: Желтый Дом. Пристрастие к прописным буквам в данном случае понятно: Белый стремится к обобщенной («укрупненной») символике, используя и чисто графический прием. Однако он крайне непоследователен в употреблении прописных букв. Мы встречаем в романе Университет и университет, Набережная и набережная, Департамент и департамент, Мост и мост, Летний Сад и Летний сад; Зимний дворец обозначается и как Дворец и как дворец, а вот Михайловский замок обозначается только как дворец.

Чтобы решить, какому виду написаний отдать предпочтение, необходимо было установить *последовательность* в употреблении Белым прописных букв, а в случаях, когда последовательности нет, — *частотность* тех или иных написаний.

Тщательное обследование романа в «сириновском» издании и сличение печатного текста с сохранившейся частью рукописи привело к выводу о том, что в ряде обозначений Белый достаточно строго и последовательно придерживался написаний с прописными буквами. Все они, естественно, сохраняются нетронутыми. Это: Невский Проспект, Васильевский Остров, Зимняя Канавка, Николаевский Мост,<sup>5</sup> Гагаринская Набережная,<sup>6</sup> Учреждение, Медный Всадник (вариант: Мощный Всадник),<sup>7</sup> Летучий Голландец, Выборгская Сторона, Петербургская Сторона, Измайловская Рота. Все это устойчивые обозначения-символы, проходящие через весь роман. В словосочетании «Марсово поле» преобладающим является написание «Марсово Поле», и таким оно сохраняется в настоящем издании. А вот Летний сад Белый в подавляющем большинстве случаев пишет как «Летний сад»; таким это название сохраняется и нами.

Двойное написание имеется в обозначении дома, в котором проживает сенатор Аблеухов (Желтый Дом и желтый дом). Но поскольку количественно здесь преобладает написание со строчных букв, целесообразным представилось дать в настоящем издании повсюду написание «желтый дом».<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Также: Чернышев Мост, Аничков Мост, Троицкий Мост.

<sup>6</sup> Также: Английская Набережная.

<sup>7</sup> Также в прилагательных (Всадниково лицо, Всадниково чело).

<sup>8</sup> В ранней, «некрасовской», редакции «Петербурга» это словосочетание было набрано со строчных букв. В рукописи «сириновского» издания романа прописные буквы в некоторых случаях заменены красными чернилами на строчные (заменял не Белый, а, очевидно, кто-то из членов редакционного совета). В других случаях и само написание их Белым не дает оснований для определенного утверждения.

Сложнее обстоит дело с теми же обозначениями-символами, но употребленными в виде существительного без прилагательного. Белый пишет эти слова то с прописной, то со строчной буквы (Набережная и набережная, Мост и мост). Последовательно выдержано написание со строчной буквы лишь слово «остров» («острова»). Оно и было взято нами за образец. Поэтому в настоящем издании написание в обозначениях-символах существительного без прилагательного последовательно выдерживается со строчной буквы (набережная, мост, проспект,<sup>9</sup> остров, поле, дворец).<sup>10</sup> Со строчной буквы дается в настоящем издании и написание слов «университет», «департамент», «кариатида» (скульптура, подпиральная балконный выступ Учреждения), поскольку строчные написания здесь выглядят более естественно, да они и преобладают количественно.<sup>11</sup>

Исправить Белого стало необходимо и еще в некоторых случаях. Так, по всему роману Белый употребляет слово «изморозь» в значении слова «изморось»; например: «Изморозь поливала улицы и проспекты <...>». «Изморозь поливала прохожих: награждала их гриппами <...>». Во всех этих случаях это именно *изморось*, т. е. мелкий дождь, сырость, а не *изморозь*, т. е. морозный иней (дело происходит в начале октября, в дождливое время).

Неоднократно на страницах романа появляется горничная Лихутиных Маврушка. В конце романа, в седьмой главе Белый, забыв, очевидно, ее имя, дает ей новое имя — Марфушка. Естественно, что оставить два имени для одного лица нельзя. Надо выбрать одно. Чем тут можно ру-

дения, строчные это буквы или прописные. Отсюда и путаница в печатном тексте: наборщики, не имея четких указаний, набирали «желтый дом» то с прописных, то со строчных букв.

<sup>9</sup> Исключение сделано и прописная буква в слове «Проспект» сохраняется нами лишь в одном случае — в главке «Страшный Суд» (главая пятая), где Проспект выступает в качестве планетарной субстанции, широкого символического обозначения того духовного тупика, в который зашла буржуазная цивилизация, исподволь инспирируемая «темными» силами Востока. «Вместо Кавта быть должен Проспект», — утверждает здесь некий «туранец», «прародитель» Абреуховых, а «вместо нового строя — циркуляция граждан Проспекта — равномерная, прямолинейная».

<sup>10</sup> Слово «дворец» сохраняется со строчной буквы лишь применительно к Михайловскому замку, поскольку такое написание последовательно выдерживается самим Белым. Применительно же к Зимнему дворцу во всех случаях употребляется прописная буква (Дворец), поскольку единый принцип здесь Белым не выдерживается. К тому же необходимо как-то дифференцировать эти два понятия, чтобы избежать путаницы.

<sup>11</sup> В печатном тексте романа имеется в главе 2-й (главка «Красный шут») еще одно странное обозначение: «большой Петербургский мост». Моста с таким названием в Петербурге не было; судя по контексту, речь идет о Николаевском мосте. Проверить написание этого обозначения по рукописи не удалось (отсутствует соответствующая страница). Правда, в главе 1-й (главка «Так бывает всегда») имеется аналогичное обозначение, также относящееся к Николаевскому мосту и, главное, имеющее в рукописи четкие строчные буквы: «чугунный петербургский мост». Очевидно, что и в первом случае требуются строчные буквы (ошибка наборщика).

ководствоваться? Очевидно, тем, какое имя возникло первым и какова частотность в употреблении этих двух имен. В обоих случаях преимущества остаются за *Маврушкой*. Все же случаи употребления имени «Марфушка» пришлось исправить.

Следует, однако, помнить, что все перечисленные выше случаи приведения тех или иных написаний к единообразию вызваны именно отсутствием такового в авторском тексте. Когда же единообразие это имеется и система написаний, какой бы характер она ни носила, выдерживается автором, — в этих случаях никаких «вторжений» в авторский текст не допускалось.

Однако в печатном тексте «сириновского» издания «Петербурга» имеется ряд сомнительных мест, которые не могут теперь уже быть проверены из-за неудовлетворительного состояния рукописи. Сомнительной представляется, например, дата, обозначенная в письме, полученном из-за границы Дудкиным и прочитанном им Степке (глава вторая, главка «Степка»). В письме содержится пророчество об исторической миссии России: «Близится великое время: остается десятилетие до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всех годов значительней 1954 год. Это России коснется, ибо в России колыбель церкви Филадельфийской...». Строение и стилистика начальной фразы воспроизводит строение и стилистику откровений святого духа, изложенных в Апокалипсисе.<sup>12</sup> Однако во фразе Белого не совсем ясно соотношение двух числовых единиц: «остается десятилетие до начала конца» и «всех годов значительней <будет?> 1954 год». Оба числа находятся в одной фразе и, следовательно, связь между ними как будто должна быть. Причем 1954 год появился только в «сириновской» редакции — в журнальной он отсутствовал, как отсутствовал и в немецком переводе.<sup>13</sup> Естественно предположить следующее.

1. Связи между этими двумя числовыми единицами нет и оказались они в одной фразе случайно. Правда, при этом загадочный характер приобретает 1954 год, как самый значительный (в истории человечества?). Почему именно 1954-й, а не 1955-й или 1956-й? Или любой другой?

2. Связь между этими двумя числовыми единицами имеется. Но в таком случае мы будем вынуждены признать, что здесь допущена описка (или опечатка), не замеченная Белым и санкционированная им в последующих изданиях романа. Эта описка (или опечатка) в свою очередь может быть двойного рода. Либо на месте десятилетия следует видеть пятидесятилетие, и тогда (поскольку действие романа происходит в 1905 году) 1954 год возникает естественно и обоснованно. 1905 плюс пятьдесят (включая и сам 1905 год), мы и получим 1954 год. Либо, сохраняя нетронутым *десятилетие*, которое остается «до начала конца», и присоединив его к 1905 году, мы получим совершенно другую дату — не

<sup>12</sup> См.: Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 7—9.

<sup>13</sup> Это видно из истории редакций письма, восстановленной Ивановым-Разумником («Вершины», с. 146—149).

1954-й, а 1914 год. Последнее предположение нам кажется наиболее допустимым. Вместо единицы была написана (или напечатана) пятерка и получился не совсем понятный 1954 год. 1914 год гораздо более естествен и, главное, объясним с точки зрения общего взгляда Белого на характер русской истории. Белый находился в эти годы за границей, напряженность атмосферы европейской жизни ощущалась им хорошо. Но если такое предположение верно, то следует несколько изменить и знаки препинания во фразе письма. И тогда она примет следующий вид: «Близится великое время: остается десятилетие до начала конца; вспомните, запишите и передайте потомству: всех значительней <будет?> 1914 год».

В таком виде фраза получает бóльшую достоверность. Оговариваемся, однако, еще раз: это в том случае, если «десятилетие до начала конца» и следующая затем дата в сознании Белого были связаны. Поэтому, высказывая свои сомнения и соображения относительно того, что мог бы иметь в виду здесь Белый, мы все-таки не видим возможности внести исправление в текст романа. Чтобы отважиться на это, мы должны располагать рукописью. У нас же в рукописи соответствующих страниц нет, поэтому самое большее, на что мы можем тут пойти — только высказать предположение.

Имеются в «сириновском» тексте и некоторые другие, менее значительные места, также вызывающие сомнение, но также не поддающиеся проверке. Мы читаем в романе «интеллигентские слезы», «никогда не столкнуться с тенью: ее требований не поймешь» («не столкнуться?»); «бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча встающего солнца» («бледно-ковровый» или «бледно-кравовый?»); Николай Аполлонович встречается с Петром, выступающим в облике Летучего Голландца, глаза которого «сверкнули зеленоватые искры» (или «зеленоватыми искрами?»); «вскочившая из своей пуховой постели» (или «выскочившая?»); сошедший с ума поручик Лихутин, влекущий к себе домой на расправу Аبلеухова-младшего отвечает ему на его недоумение по поводу того, что он, Лихутин, бросает службу: «Нас, Николай Аполлонович, эти мелочи не касаются... Не касаются нас приватные наши дела» («Нас» или «вас?») и т. д.

Опечатки (или описки) во всех этих случаях? Или здесь дают о себе знать особенности стилистической манеры Белого? Ведь пишет же он (это проверено по рукописи): «мистичный анархист» (а не «мистический»); взрыв бомбы «свиснет в тусклое небо щепками, кровью и камнем» («свиснет в небо»); «разовьются косматые дымы, впустив хвосты на Неву» («впустив на...») и т. д. Поэтому требовалась величайшая осторожность при определении того, является ли данное сомнительное место опечаткой, или оно служит выражением стилистической специфики Белого. Некоторые из перечисленных выше случаев были признаны опечатками (или описками) и исправлены, другие оставлены в том виде, в каком они впервые увидели свет. Наглядный пример забывчивости Белый продемонстрировал в главе первой (главка «Так бывает всегда»). Мы читаем

здесь: «...» подъездная дверь перед ней затворилась; подъездная дверь перед нею захлопнулась; тьма объяла ее «...». Фраза, совершенно невозможная по содержанию, поскольку речь идет о Софье Петровне, *возвращающейся домой и входящей в подъезд*. Проверая ее по рукописи, обнаруживаем грубейшую опечатку: у Белого ясно исправлено: «подъездная дверь перед ней отворилась» (л. 56). Но все последующее в этой фразе в рукописи имеет тот же вид, что и в печатном издании. Получается, что дверь одновременно «перед ней отворилась» и «перед нею захлопнулась». Но поскольку из всего дальнейшего описания видно, что Софья Петровна именно *вошла* в подъезд, то здесь приходится исправлять Белого, два раза поставившего по инерции предлог «перед». Бесспорно, что во втором случае должен стоять предлог «за». В таком виде фраза получает свой естественный вид: «...» подъездная дверь перед ней отворилась; подъездная дверь за нею захлопнулась; тьма объяла ее; точно все за ней отвалилось «...» и т. д. Теперь нам все понятно, никаких недоумений нет.

И еще пример того же рода. В главе шестой (главка «Петербург») Белый описывает бред Дудкина — его воображаемый разговор с «чертом» — оборотнем Шишнарфне. Для собеседника Дудкина реальный эмпирический мир есть теневое отражение потустороннего мира; нормальные человеческие отношения здесь невозможны. Даже с пауасом, утверждает Шишнарфне, «в конце концов вы столкнетесь». Но в следующем абзаце, продолжая ту же мысль, собеседник Дудкина говорит о чем-то другом: «Тень — даже не пауас; биология теней еще не изучена; потому-то вот — никогда не столкнуться с тенью: ее требований не поймешь «...». Откуда взялся глагол «столкнуться»? Ясно, что это описка Белого: следует поставить не «столкнуться», а «столковаться».

Из сказанного следует, что, работая над текстом «Петербурга», мы не можем придерживаться строго какого-то одного принципа — приводить его полностью в соответствие с рукописью, или полностью же в соответствии с элементарной логической достоверностью и существующими грамматическими нормами. Здесь требуется осторожный неоднозначный подход, который дал бы возможность необычную стилистическую манеру Белого сочетать с логикой и грамматикой.

Именно такой подход и был осуществлен при подготовке настоящего издания романа А. Белого «Петербург».<sup>14</sup>

В разделе «Дополнения» предпринята попытка представить в возможно более полном виде материалы, имеющие непосредственное отношение к роману «Петербург».

<sup>14</sup> В этой своей работе, изобилующей сложностями и продолжавшейся в течение десяти лет, составитель пользовался советами и указаниями проф. Д. Е. Максимова и проф. Н. Н. Скатова, а также помощью С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова; всем им он приносит свою благодарность.



Центральное место здесь занимает публикуемая впервые «некрасовская» (книжная) редакция двух первых глав романа, сохранившаяся в корректурных листах (вторая глава доведена не до конца). Единственный экземпляр корректуры обнаружен нами в ЦГАЛИ, куда он был передан С. М. Алянским (ранее принадлежал Блоку, о чем свидетельствует помета рукою Блока на заглавном листе).

Также впервые публикуются: текст, изъятый из наборной рукописи «сириновской» редакции романа, предисловие к несостоявшейся книге «Отрывки из романа „Петербург“», выдержки из писем Белого.

Из числа ранее опубликованных отобрано небольшое количество документов, без которых невозможно обойтись при знакомстве с романом А. Белого.

Все эти материалы распределены в тематической последовательности.

Знакомясь с ними, необходимо учитывать следующее. Мы не обнаружим здесь ни единства оценок и суждений Белого, ни последовательности или согласованности, например, в характеристике деятельности того или иного лица, причастного к истории создания романа, в том, что послужило толчком к его написанию, в освещении той или иной подробности и т. д. Суждения Белого о «Петербурге» противоречивы, в некоторых случаях даже не совсем достоверны.

С чем это связано? Роман создавался и печатался в сложную эпоху, в годы нового общественного подъема и подготовки мировой войны. Впереди уже вырисовывался призрак революции. «Петербург» несет в своем содержании отголоски всех этих событий. Белый чутко уловил наступление нового исторического периода во всемирной истории. Уже в 1911 г. он писал М. К. Морозовой: «<...> в литературе, в общении с людьми — всюду слышится нота какого-то *перелома*; и придется в будущем (близком) выходить, будто в первый раз, на жизненную борьбу. Зори сулят многое: чувствую поступь больших событий, вместе с тем то, чем мы живем, более чем когда-либо не приготовлено к будущему. Проблемы, которые ждут от нас разрешения, больше нас — слабых, хилых; а между тем мы, а никто иной, будем их решать».<sup>15</sup> В гуще больших событий обдумывался, создавался, осмыслялся и переосмыслялся, затем переделывался роман «Петербург». Едва ли не центральной темой всей русской литературы 1910-х гг. стала тема первой революции, как начала и истока тех потрясений, к которым ныне подошел род человеческий. Белый двигался тут в общем русле литературного развития. Но разнородность самих событий, не только их «количество», но и их «качество» не могло не оказывать воздействия на характер его оценок и самооценок. Он сам очутился в весьма затруднительном положении. Весной 1912 г. Белый уехал за границу и надолго оказался оторванным от родины. Лишь по скудным газетным сообщениям он узнает о происходящем в России.

---

<sup>15</sup> ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16.

Он разрывается между романом и страстным желанием продолжить его, доведя до завершения замысел трилогии, Р. Штейнером, в которого глубоко верит, стремлением в Россию, на родину и, наконец, попытками (безуспешными) наладить семейный быт. Его действия, оценки, поступки стремительны, нервозны, противоречивы. Но сама совокупность их дает наглядное представление о личности Белого, какой сформировалась она к моменту печатания «Петербурга». Выделяя в разные моменты жизни и в общении с разными людьми то одну, то другую сторону романа, создавая то одну, то другую версию истории его создания, он каждый раз со свойственной ему экспансивностью настаивает на непререкаемом характере выделяемой им в настоящий момент стороны или создаваемой версии.

Естественно, мы не можем отдать тут предпочтение какой-либо одной, условно принятой за главную точке зрения его на роман. Важно увидеть их в системе, которая неизбежно оказывается системой его личности, выявить их внутреннюю взаимосвязанность и последовательность.

Следует учитывать также и то, что роман Белого — явление необычное для русской литературы. Особенности его поэтики, непривычные для нас приемы психологического анализа (восходящие по своим истокам к традициям Гоголя и отчасти Достоевского), антропософские мотивы и образы, занимающие важное место литературные реминисценции — все это ставит его в исключительное положение среди других явлений русской прозы рубежа XIX и XX вв. Справедливо отмечает Д. С. Лихачев, что «для полноты восприятия художественной стороны» «Петербурга» не только необходимы «знание исторической обстановки 1900-х годов, общие представления о топографии Петербурга <...>»; необходимо также восстановить пласты того «активного культурного фонда», которым располагал Белый и который оказывался столь емким, что требует ныне от читателя специальной осведомленности.<sup>16</sup>

Без учета всей этой совокупности проблем, неизбежно возникающих при знакомстве с Белым и его творчеством, многое в его произведениях покажется нам непонятным. Он может предстать перед нами создателем легенд и мифов, чуть ли не сознательным искажителем истины. На самом же деле здесь нет ни выдумки, ни желания ввести в заблуждение читателя. С одной стороны, это плод бурно развившейся фантазии, в мире которой живет Белый. С другой — это настойчивое желание видеть истину в том, что переживается в настоящий момент, в данную минуту, в миге сознания. По несколько раз обращаясь к одному и тому же факту или событию своей жизни, к одному и тому же произведению, он каждый раз сопровождает его новой интерпретацией, причем каждый раз искренне верит в то, что даваемая им в настоящий момент оценка и есть воплощенная истина.

<sup>16</sup> Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении единства содержания и формы литературного произведения. — «Русская литература», 1965, № 1, с. 29.

Так, во многих вариантах воспоминаний Белый утверждает, что важнейшим стимулом к написанию «Петербурга» явился заказ, полученный им будто бы от редактора «Русской мысли» П. Б. Струве. На самом деле, как это видно из писем самого Белого, никакого заказа (к тому же «твердого» и «обязательного», как он пишет в воспоминаниях) не было, да и быть не могло. Струве вообще не слишком широко обращался с прямыми предложениями к писателям символистской ориентации, к тому же его политическая платформа была платформой буржуазного реформизма, тогда как именно против «буржуазности» в любых ее проявлениях активно выступал Белый, в том числе и в романе «Петербург». Здесь могла иметь место лишь общая договоренность, но никак не заказ. Белый же, желая представить себя жертвой властолюбивого редактора, создает версию о заказе.

Столь же нереальный характер имеет и неоднократно повторявшийся Белым рассказ о Блоке, будто бы случайно узнавшем о критическом положении, в котором тот очутился после отказа Струве, и уговорившем Белого принять от него в долг нужные ему пятьсот рублей. На самом деле инициатором этой помощи явился сам Белый, приславший Блоку отчаянное письмо, в котором умолял его разыскать для него в долг пятьсот рублей.<sup>17</sup> Блок же, располагая деньгами, просто откликнулся на просьбу Белого, не думая даже и уговаривать его. Версия о внезапной помощи Блока имеет свой подтекст. Приглаживая, ретушируя в воспоминаниях драматическую и полную противоречий историю своих отношений с Блоком, которая, как понимал Белый, выставляет его не в лучшем свете, он создает чисто литературный вариант этой истории, в котором господствующим тоном оказывается тон идиллии.

«Жизнь» и «литература», «действительность» и «искусство» не были для Белого сферами разнородными и друг с другом не связанными. «Жизнь» вторгалась в «искусство», но при этом переосмыслялась в соответствии с законами художественного вымысла. В свою очередь элемент творчества, импровизации вносился Белым в жизнь, в реальные отношения с людьми, благодаря чему и сами эти отношения приобретали для многих, знавших Белого, но мало понимавших его, оттенок наигранности и неестественности.

По-разному истолковывает Белый в разные периоды жизни и роман «Петербург», выделяя в нем то одну, то другую сторону, — и это также свидетельствует об объективном наличии самых разных филологических аспектов, возможных при научном обращении к роману. То же, что он настаивает на абсолютной истинности выделяемой им в данный момент стороны, не должно нас смущать. Одной из особенностей художественного мышления Белого было восприятие пережитого в миге как выражения высшей подлинности, подлинной реальности. Не случайно многие из людей, с которыми ему доводилось общаться (и даже из числа расположен-

---

<sup>17</sup> Письмо это было написано Белым в ноябре 1911 г. Оно сохранилось и опубликовано (см. «Переписка», с. 276—277).

ных к нему), склонны были воспринимать написанное им едва ли не как «собрание противоречий». (Так смотрел на Белого, например, Вяч. Иванов). В высшей степени остроумное суждение, касающееся внутренней неустойчивости и разноречивости оценок и позиций Белого, высказал Ф. Степун. Он писал: «Наиболее характерной чертой внутреннего мира Андрея Белого представляется мне его абсолютная *безбрежность*. Белый всю жизнь носился по океанским далям своего собственного „я“, не находя берега, к которому можно было бы причалить. Время от времени, захлебываясь в безбрежности своих переживаний и постижений, он оповещал: „берег!“, — но каждый очередной берег Белого при приближении к нему снова оказывался занавешенной туманами и за туманами на миг отвердевшей „конфигурацией“ волн».<sup>18</sup> Мысль эту необходимо помнить, знакомясь с оценками и самооценками Белого.

Однако, находясь во власти непрерывных видоизменений своего «я», Белый оказывается в ряде случаев внимательным наблюдателем за самим характером этих видоизменений. Глубочайшая стихийность его натуры и его творчества сочеталась с сухой и подчас жесткой рациональностью мышления, которая наглядно проступает при ознакомлении с архитектурной его произведений. Нас поражает иногда, с какой точностью здесь рассчитано все до мельчайшей детали, как выверена «конструкция» и как подчинена она единому замыслу. Сочетанием «музыки» (стихийное начало) и «математики» (рационалистическое начало) считали Белого и его произведения некоторые из близко знавших его людей. То одна, то другая сторона выступает на первый план в его многочисленных писаниях, то «музыку», то «математику» слышим и чувствуем мы в его произведениях. Да и сам роман «Петербург», главное его творение, представляется нам воплощением творческой стихии, интуиции, но строжайше организованной, «разыгранной» по непреложным математическим законам.

Учитывая все эти обстоятельства и исходя из действительной сложности (а также малой изученности) литературного наследия Белого, мы и производили отбор и систематизацию материала в разделе «Дополнения». Оставлены в стороне многочисленные, но разрозненные и не слишком значительные высказывания о «Петербурге», содержащиеся в трех опубликованных книгах воспоминаний Белого; также оставлены в стороне эмоционально насыщенные заметки о «Петербурге», имеющиеся в цикле статей «На перевале» (приведена одна из них). Но зато приводится полностью «некрасовская» редакция двух первых глав романа; полностью приведены и предисловия Белого к «Петербургу» и «Серебряному голубю»; приведены важнейшие для понимания романа высказывания его в письмах к М. Морозовой, Э. Метнеру и особенно важные — в письмах к Иванову-Разумнику. Для выявления всех этих документов пришлось обследовать значительное количество архивных материалов.

Все архивные материалы приводятся по подлинникам, опубликованные — по наиболее авторитетным публикациям. Поскольку печатается

<sup>18</sup> Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 1962, с. 165.

лишь то, что имеет прямое отношение к «Петербургу», в некоторых из приводимых документов сделаны купюры (все они обозначены многоточиями, заключенными в угловые скобки; многоточия без скобок принадлежат Белому). Также в угловых скобках помещается текст, восстановленный составителем (пропущенные Белым слова, отдельные уточнения сопровождаются знаком вопроса).

Особо следует сказать о рукописных материалах, имеющих повреждение. Здесь текст, размытый или отсутствующий в рукописи, но восстановленный по смыслу, заключается в квадратные скобки. Слова и фразы, восстановить которые не удалось, отмечены пометой *нрзб*.

В подстрочных примечаниях (как в тексте романа, так и в разделе «Дополнения») дается лишь перевод иноязычных выражений; он сопровождается пометой «Ред.» (подстрочные примечания без этой пометы принадлежат Белому).

Известную сложность представило установление датировки писем Белого. Из обширного эпистолярного наследия Белого к настоящему времени опубликована лишь незначительная часть.<sup>19</sup> Поэтому исследовательский опыт здесь крайне скуден. Осложняется дело еще и тем, что сам Белый проставлял даты на своих письмах крайне редко. В тех случаях, когда в приводимых ниже письмах Белого дата содержится в тексте письма, она приводится без каких-либо обозначений. Даты, приводимые по почтовому штемпелю, заключаются в угловые скобки.<sup>20</sup> И, наконец, даты, установленные составителем на основании побочных свидетельств, заключаются в квадратные скобки.

Все материалы, приводимые со ссылкой на тот или иной архив, публикуются впервые. Указание на место хранения документа помещается в этом случае сразу же под заглавием. Материалы, приводимые по печатным источникам, содержат ссылку на источник.

---

<sup>19</sup> Более или менее полно опубликована переписка Белого с Блоком (см. «Переписка»), и это единственный случай, когда напечатан цельный состав писем Белого.

<sup>20</sup> Здесь возможны некоторые неточности, потому что не всегда с абсолютной достоверностью можно утверждать, что данный конверт относится именно к этому письму.

# ПРИМЕЧАНИЯ

(С. С. Гречишкин, Л. К. Долгополов, А. В. Лавров)

## РОМАН «ПЕТЕРБУРГ»

### ПРОЛОГ

<sup>1</sup> Белый пародирует полный официальный титул русского императора, включавший около 60 названий подвластных ему земель («Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Херсониса Таврического» и т. д.) и кончавшийся словами: «и прочая, и прочая, и прочая».

<sup>2</sup> *Царьград* — древнерусское название Константинополя. Белый иронизирует над националистическими притязаниями официальных кругов Российской империи на Константинополь — в средние века центр православной церкви, которому в новое время наследовала Москва. «*Право наследия*» обосновывалось и былыми культурными и политическими связями между Россией и Византией, в частности тем, что Софья Палеолог (племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога) была в 1472 г. выдана замуж за русского великого князя Иоанна Васильевича (Ивана III).

<sup>3</sup> Утверждая мотив «нереальности» Петербурга, Белый следует поэтической традиции изображения города в произведениях Гоголя (см. финал повести «Невский проспект») и Достоевского («Подорожник», ч. I, гл. 8, I).

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833). Текст воспроизведен неточно; нужно:

Об ней свежо воспоминанье...  
Об ней, друзья мои, для вас\*

<sup>2</sup> *Сим* — согласно Библии, старший сын Ноя (Бытие, VI, 10, IX, 18), родоначальник многочисленного потомства. Народы, происходящие от Сима, известны под общим именем семитов. «*Хесситы*» — искаженное хеттеи (эффеи) — народ Ханаанский; Ханаан — сын Хама, младшего сына Ноя (Бытие, X, 6, 15). Указание на «хесситов» как на потомков Сима, таким образом, не соответствует Библии, а упоминание «*краснокожих народностей*» имеет иронический смысл.

<sup>3</sup> *Киргиз-кайсацкая орда* — название киргизской народности, распространенное в XVIII и XIX вв. Возможно, что здесь содержится намек на начальные строки оды Г. Р. Державина «Фелица» (1782):

---

\* Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937—1949, т. V, с. 137. Далее ссылки на произведения Пушкина даются в тексте по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы.

Богоподобная царица  
Киргиз-Кайсацкия орды!

Ода обращена к Екатерине II и представляет собой аллегорический ответ на сочиненную императрицей «Сказку о царевиче Хлоре», повествующую о том, как киргизский хан похитил русского царевича и, желая испытать его, повелел ему отыскать «розу без шипов» — символ добродетели Андрей Белый мог воспринимать этот сюжет аллегорически как пленение России Востоком. В XIX в. тема «киргиз-кайсацкой орды» расширяется и становится частью темы Востока, воплощающего губительные для России и славянства в целом тенденции. В таком аспекте мы встречаем ее у А. К. Толстого в стихотворении «Колокольчики мои...» (1840-е гг.):

Упаду ль на солончак  
Умирать от зною?  
Или злой киргиз-кайсак,  
С бритой головою,  
Молча свой натянет лук,  
Лежа под травою,  
И меня догонит вдруг  
Медною стрелою?

(Толстой А. К. Собр. соч. В 4-х т. М., 1963, т. 1, с. 59). На связь со стихотворением А. К. Толстого стихотворного цикла Блока «На поле Куликовом» указала Н. А. Лобкова в статье «О лирике А. К. Толстого 40-х годов» (см.: Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX веков. — Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена, т. 414. Л., 1971, с. 199).

<sup>4</sup> Анна Ивановна (1693—1740), племянница Петра I — русская императрица (1730—1740).

<sup>5</sup> Вероятно, имеется в виду Аблай (ум. в 1781) — султан и хан Средней киргизской орды. Его правнуком был Чокан Валиханов (1835—1865) — казахский просветитель, историк, этнограф и фольклорист, написавший о своем прадеде обстоятельную энциклопедическую статью (Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861, т. 1, с. 88—91), которой, вероятно, и воспользовался Белый. Валиханов сообщает, что Аблай «происходил из младшей линии султанов Средней Орды» и «в 1739 году присягнул на вечное подданство России», однако в 1756 г. «признал себя вассалом богдыхана» (Сочинения Ч. Ч. Валиханова, под ред. Н. И. Веселовского. СПб., 1904, с. 1, 3). «В предании киргизов, — сообщает Валиханов, — Аблай носит какой-то поэтический ореол: век Аблая у них является веком киргизского рыцарства. Его походы, подвиги его богатырей служат сюжетом эпическим рассказам» (там же, с. 7). Таким образом, слова Белого о русской службе и крещении Аблая не соответствуют его действительной биографии. Только старший сын Аблая, дед Чокана Валиханова, Вали-хан, «в 1782 г. признал над собою власть русских государей, присоединив таким образом свою орду к России» (К. Д. «К. В. Дубровский». Даровитый сын степей. — Сибирское обозрение, 1906, № 105).

Возможен и другой источник фамилии героя романа — род Облеуховых, пожалованный дворянством в 1624 г. Представители этого рода братья Антон Дмитриевич и Николай Дмитриевич Облеуховы были заметными фигурами русской литературной жизни конца XIX—начала XX в. Н. Д. Облеухов был редактором еженедельника «Знамя» (1899—1901) и реакционно-охранительных органов — «политической церковно-народной и литературной газеты» «Колокол» (1906—1907), «Вестника Русского собрания» (1910—1912), «Вестника полиции» (1916) и др. А. Д. Облеухов — поэт, выпустивший в своем переводе «Ночи» Альфреда де Мюссе (М., 1895) и сборник оригинальных и переводных стихотворений «Отражения» (М., 1898). Консервативность и монархизм Облеуховых имеют аналогии с соответствующими чертами Аполлона Аполлоновича Облеухова. В 1890-е гг. Облеуховы были из-

вестны в символистской среде: с ними поддерживали отношения К. Д. Бальмонт и В. Я. Брюсов (см.: Брюсов В. Дневники. [М.], 1927, с. 22, 31—32, 40, 51); вместе с Н. Д. Облеуховым Брюсов сотрудничал в газете «Русский листок» (там же, с. 113). Предположение об этом источнике фамилии героя «Петербург» было высказано в заметке «Облеуховы», подписанной «С.»: «Лет пятнадцать тому назад Облеуховы жили в Москве и издавали еженедельный журнал „Знамя“, выходявший небольшими книжками в желтой обложке. Редакция состояла из трех лиц, принадлежащих к семье Облеуховых: А. Д. Облеуховой, по мужу Пустошкиной (издательница), Н. Д. Облеухова (редактор) и А. Д. Облеухова (заведующий литературным отделом) <...> Облеуховых посещал <...> В. Я. Брюсов, в те поры сотрудник „Русского листка“. Быть может, реминисценцией именно из этой полосы жизни объясняется то, что другой писатель-символист Андрей Белый героем своего последнего романа „Петербург“ сделал старого бюрократа Облеухова, мрачного реакционера, но честного и неподкупного исполнителя своего служебного долга. И то следует сказать, что Н. Д. Облеухов, давший свою фамилию герою романа Андрея Белого, ныне не сановник и не сенатор, а всего лишь редактор... „Вестника полиции“ (Утро России, 1917, № 46, 15 февраля).

<sup>6</sup> Имеется в виду «Общий гербовник дворянских родов Всероссийския Империи, начатый в 1797 году» (части I—X) — издание, включавшее изображения и описания дворянских гербов.

<sup>7</sup> Перечисляются гражданские ордена Российской Империи; на синей ленте носили орден Андрея Первозванного — один из первых русских орденов, которым награждались высокопоставленные сановники.

<sup>8</sup> Намек на противодействие К. П. Победоносцева (одного из реальных прототипов Облеухова) любым попыткам радикальных или либеральных реформ.

<sup>9</sup> *Департамент* — в российском государственном аппарате часть высшего государственного учреждения, иногда целое ведомство, существовавшее на правах министерства. Даваемая в романе характеристика департамента, равно как и Учреждения, восходит к вводному рассуждению об «одном департаменте» в повести Гоголя «Шинель» (1841). Эта связь была отмечена самим Белым; среди его черновых набросков находим следующий: «Сходство с Гоголем. Департамент (Шинель) — Учреждение» (Белый Андрей. Наблюдения над языковым составом и стилем романа «Петербург». Черновые наброски. — ИРЛИ, ф. 79, он. 3, ед. хр. 53, л. 18 об.; ср.: «Мастерство Гоголя», с. 303).

<sup>10</sup> Имеется в виду Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904), министр внутренних дел и шеф жандармов, проводивший политику подавления оппозиционных сил и настроений и убитый 15 июля 1904 г. эсером Е. С. Сазоновым. Убийство произвело большое впечатление на Белого: «... задумались мы, ощутив, что убийство — рубеж» («Эпопея», № 1, с. 273).

<sup>11</sup> Революционные события 1905 г. вызвали к жизни огромное количество сатирических журналов. За 1905—1907 гг. в одном Петербурге вышло 178 таких журналов (см.: Русская сатира первой революции 1905—1906. Составили В. Бояновский и Э. Голлербах. Л., 1925, с. 37). Однако все эти журналы стали появляться после 17 октября 1905 г.; до царского манифеста в Петербурге издавался всего один сатирический журнал с радикальным уклоном — «Зритель» Ю. Арцыбушева. Поскольку действие романа происходит в начале октября 1905 г. (на что имеется указание в тексте), можно предположить, что Белый допустил сознательный анахронизм. Возможно, он имеет в виду и конкретный рисунок — карикатуру на Победоносцева за подписью В. Бераже, помещенную на обложке журнала «Паяцы» (1906, № 1). Отметим, что Победоносцев был постоянной мишенью для карикатуристов (см., например: Адская почта, 1906, № 3; Булат, 1906, № 3; Ключ, 1905, № 1, 2; Секира, 1905, № 1; Зритель, 1905, № 18, 19; 1906, № 1; Гамаюн, 1905, № 1; Гвоздь, 1906, № 3; Спрут, 1905, № 1; Перец, 1906, № 1; Бурелом, 1905, рождественский номер, и др.). В мемуарах Белый упоминает о карикатурах на Витте и на «зеленые уши Победоносцева» («Между двух революций», с. 49).

<sup>12</sup> Автобиографическая реминисценция: Белый вспоминал в мемуарах о своем отце, профессоре Николае Васильевиче Бугаеве, декане математического факуль-



тета Московского университета: «Не Аполлон Аполлонович дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов направлениями земного шара: север, юг, восток, запад, а отец, уезжающий в Одессу, Казань, Киев председательствовать, устанавливая градацию: сундук „А“, сундук „Б“, сундук „С“; отделение — 1, 2, 3, 4, каждое имело направления; и, укладывая очки, он записывал у себя в реестрике: сундук А, III, СВ; „СВ“ — северо-восток...» («На рубеже двух столетий», с. 65).

<sup>13</sup> Указание на Шопена, которого играла Николаю Аполлоновичу его мать, имеет автобиографический подтекст. Шопен — первое детское музыкальное переживание Белого: «Первые открытия музыки (Шопен, Бетховен)», — так характеризовал он осень и зиму 1884 г. (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора (1923). — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3, л. 1 об.). Ср.: «...Музыку воспринимал я, главным образом, вечерами; когда мать оставалась дома и у нас никого не было, она садилась играть ноктюрны Шопена и сонаты Бетховена; я, затаив дыхание, внимал из кровати: и то, что я переживал, противопоставлялось всему, в чем я жил» («На рубеже двух столетий», с. 182). Смысл же противопоставления Шопена Шуману также автобиографичен: к Шуману Белый пришел в зрелом возрасте. В автобиографии 1907 г. он писал о том, что «более всего ему дорог Бетховен, Бах, Шуман и композиторы XVII века» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, ед. хр. 35, л. 4). Шуман был для Белого воплощением трагической стороны жизни. «Я прошел сквозь болезнь, где упали в безумии Фридрих Ницше, великолепный Шуман и Гельдерлин», — заключает Белый об одном из этапов своей внутренней жизни (Белый Андрей. Записки чудака, т. 2. М.; Берлин, 1922, с. 235—236). Тема Шумана для Белого — «трагическая до безумия романтика реализма» (Белый Андрей. Воспоминания о Штейнере. — ГБЛ, ф. 25, карт. 4, ед. хр. 2); ср.: «рыдающее безумие Шумана» («Арабески», с. 495). Творчество Шумана было глубоко родственным и интимно близким для внутреннего мироощущения Белого. Пытаясь осмыслить кончину А. Блока, Белый записал 8 августа 1921 г.: «Да, — его бытие для меня — было чем-то вроде: возможности слушать Шумана (Шуман — мой любимейший); я могу года по условиям судьбы не слышать ни одного звука Шумана, но я знаю: что мне возможно его услышать: завтра, послезавтра; я могу спокойно прожить всю жизнь и не слышать Шумана (случайно); но я всегда уверен: что Шуман где-то звучит, он есть для Вечности; и — успокаиваюсь <...>» (Белый Андрей. К материалам о Блоке. — ИРЛИ, ф. 79, оп. 3, ед. хр. 41, л. 2—2 об.).

<sup>14</sup> Под именем *графа Дубльве* в романе выведен граф Сергей Юльевич Витте (1849—1915) — русский государственный деятель, активный сторонник буржуазных реформ и конституционной монархии. «Дубльве» — W (Witte). В 1905 г. Витте играл важную роль в политической жизни России, в частности активно участвовал в подготовке царского манифеста 17 октября, в котором были обещаны демократические свободы. Одним из политических противников Витте был Победоносцев, враг всяческих уступок и реформ. В романе соответственно его противник — Аполлон Аполлонович Аблеухов. Дело, по поводу которого «граф Дубльве» предполагает встретиться с Аблеуховым, могло подразумевать предварительные переговоры с целью выработки какой-либо компромиссной политической платформы в эти решающие дни революции.

<sup>15</sup> *Директория* — правительство Французской республики из 5 выборных членов (директоров), существовавшее с октября 1795 по ноябрь 1799 г.

<sup>16</sup> *Жак-Луи Давид* (1748—1825) — крупнейший французский живописец эпохи Великой французской революции и правления Наполеона. Упоминается его картина «Раздача знамен императором Наполеоном» (1810).

<sup>17</sup> ... *желтый дом*... — Желтый цвет — господствующий цвет «Петербург»: «желтый» сенаторский дом, сам Аполлон Аполлонович — «желтенький» старичок; «желтыми» обоями оклеено обиталище другого героя романа — Александра Ивановича Дудкина, а его самого по ночам преследуют «желтолицы» видения; «желтоватое» лицо у Липпанченко, одет он в полосатую «темно-желтую» пару и «желтые» ботинки и т. д. С одной стороны, здесь сказалась традиция Достоевского, роман которого «Преступление и наказание» также ориентирован на жел-

тый цвет (см.: Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Л., 1979, с. 57—59; Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. М., 1979, с. 219—232). Это «цвет» Петербурга — цвет его ампирных особняков и официальных зданий, расположенных в центральной части; таким он вошел и в произведения других писателей. Но, с другой стороны, Белый осложняет цветовое видение города тем, что для него желтый цвет есть цвет «Востока», проникшего в Петербург — символ «западного», «европейского» лика России.

<sup>18</sup> *Единорог* — фантастическое животное, часто упоминаемое в Библии, имеет вид лошади с одним рогом посреди лба. Не менее 20 русских дворянских гербов включали в себя изображение единорога, однако среди них нет ни одного, который бы напоминал описание Белого, имеющее специфическую, но прозрачную символику: рыцарь (Запад) «прободается» мифологическим зверем. Герб рода Облеуховых (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, ч. II. [СПб., б. г.], л. 114—114 об.) ничего общего с описываемым в романе гербом не имеет.

<sup>19</sup> Первая трамвайная линия в Петербурге была открыта 15 сентября 1907 г.

<sup>20</sup> Исаакиевский собор, сооруженный по проекту О. Монферрана в 1818—1842 гг.

<sup>21</sup> Памятник Николаю I на Марининской (ныне Исаакиевской) площади, сооруженный по проекту О. Монферрана в 1856—1859 гг. (скульпторы П. К. Клодт, Н. А. Рамазанов и Р. К. Залеман).

<sup>22</sup> *Летучий Голландец* — легендарный образ морского капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю, никогда не приставая к берегу; встреча с ним предвещает бурю, кораблекрушение и гибель. В основе легенды лежит история мореплавателя, поплатившегося за свою отвагу либо осужденного за безбожие. Белый мог воспринимать этот образ через оперу Рихарда Вагнера «Летучий Голландец» (1841). В «Петербурге» образ Летучего Голландца несет значительную идейно-художественную нагрузку, соединяясь и даже идентифицируясь с образом Петра I — Медного всадника — и в более широком смысле — с темой России и Петербурга (основанием послужил известный исторический факт пребывания Петра I в Голландии).

<sup>23</sup> Реминисценция из Гоголя, прежде всего из повести «Нос» (1835). Белый сам отмечал эти параллели: «Ряд фраз из „Шинели“ и „Носа“ — зародыши, вырастающие в фразовую ткань „Петербурга“; у Гоголя по Невскому бродят носы, бакенбарды, усы; у Белого бродят носы „утиные, орлиные, петушинные“» («Мастерство Гоголя», с. 304). Возможно, Белому был известен и «шутливый куплет, бывший популярным среди петербургской публики» в 1905 г.; его приводит в своих воспоминаниях Ю. П. Анненков:

Премьеров стал у Росса  
Богатый инвентарь:  
Один премьер — без носа,  
Другой премьер — Носарь.

Имеется в виду Г. С. Хрусталева-Носаря (1877—1918), председатель Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 г., пользовавшийся известностью в дни революции (его даже называли «вторым премьером»), затем меньшевик. «Премьер без носа» — С. Ю. Витте, у которого «нос был скомканный и в профиль был незаметен, как у гоголевского майора Ковалева» (Анненков Ю. Дневник моих встреч. Нью-Йорк, 1966, т. 2, с. 256—257).

<sup>24</sup> В основе застройки Васильевского острова лежал проект архитектора Д. Трезини, который по указанию Петра I создал систему прямых улиц, прорезанных параллельными каналами. Проект не был полностью осуществлен, и предполагаемые каналы получили название линий.

<sup>25</sup> *Лета* — река, протекавшая, согласно эллинским мифам, в подземном царстве Аида; испив ее воды, души умерших забывали о земной жизни.

<sup>26</sup> Золоченый шпиль Петропавловского собора, построенного по проекту Д. Гревина в 1712—1733 гг. («Петропавловский шпиль» — один из лейтмотивов «Петербург»).

<sup>27</sup> «Биржевка» — Биржевые ведомости, ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге с 1861 по 1917 г.; одна из наиболее популярных и читаемых газет в России.

<sup>28</sup> Первое пятилетие XX века, которое Белый воспринимал как рубеж между историческими эпохами.

<sup>29</sup> Имеются в виду Ихэтуанское восстание в Китае (см. примеч. 23 к гл. 4) и решающее событие русско-японской войны — взятие японцами крепости Порт-Артур. Белый воспринимал эти события в духе апокалиптического мирозерцания позднего Вл. Соловьева, как знамение «панмонголизма». В стихотворении «Сергею Соловьеву» (1909), посвященном племяннику философа, он писал:

Ты помнишь? Твой покойный дядя,  
Из дали безвременной глядя,  
Вставал в метели снеговой,  
В огромной шапке меховой,  
Пророча светопредставленья...  
Потом — японская война:  
И вот — артурское плененье <...>

(«Урна», с. 126)

<sup>30</sup> *Плезир* (от фр. plaisir) — забава, удовольствие. Здесь содержится намек на летний дворец Монплеизр, выстроенный в 1714—1723 гг. в Петергофе, согласно наброскам Петра I, по чертежам архитекторов И. Брауншвейга, А. Леблона и Н. Микетти.

<sup>31</sup> *Пикон* — род алкогольного напитка или эссенция, добавляемая в алкогольный напиток.

<sup>32</sup> Великий князь Константин Константинович Романов (1858—1915), поэт, публиковавший стихи под литерами К. Р. и находившийся в личных отношениях с некоторыми из русских поэтов конца XIX в.

<sup>33</sup> Из стихотворения Пушкина «Была пора: наш праздник молодой...» (1836) (III, 432—433).

<sup>34</sup> Вячеслав Константинович — В. К. Плеве. См. примеч. 10 к гл. 1.

<sup>35</sup> Из стихотворения Пушкина «Чем чаще празднует лицей...» (1831) (III, 278).

<sup>36</sup> Из стихотворения Пушкина «Была пора: наш праздник молодой...».

<sup>37</sup> ... потому что — как же иначе? — Это выражение, неоднократно встречающееся в романе, восходит к статье С. М. Городецкого «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба, с точки зрения мистического анархизма», которая начинается словами: «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе? <...> Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе? Неужели только то изображу, что вижу, слышу и осязаю?» (Факелы. СПб., 1907, кн. 2, с. 193). Эта статья, обнажающая несообразности «мистического анархизма», вызвала определенный резонанс. Эллис, близкий друг и литературный сподвижник Белого, называл ее тон «шутовским» (Весы, 1907, № 6, с. 58—59). Впоследствии Блок (в статье «Без божества, без вдохновенья», 1921) говорил, что Городецкий «прославился» «мистико-анархическим аргументом „потому что как же иначе?“» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 6, с. 179). О том, насколько курьезными были слова Городецкого, свидетельствуют позднейшие воспоминания Г. В. Адамовича, который, ошибочно приписав их Георгию Чулкову, замечает, что они когда-то рассмешили «пол-России» (Адамович Георгий. Мои встречи с Анной Ахматовой. — В кн.: Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк, 1967, с. 100—101). Сам Белый, вспоминая о «мистических анархистах», писал: «... один из них потряс мир афористическим шедевром: „Всякий поэт — мистический анар-

*хист, потому что, — как же иначе!*» \* (см.: Гоголь и Мейерхольд. Сборник литературно-исследовательской ассоциации Ц. Д. Р. П. М., 1927, с. 24).

<sup>38</sup> *Пантелеймоном (Пантолеон) Исцелитель* (ум. в 305 г.) — святой, врач-христианин, лечивший больных безвозмездно. Мощи его находились в русском Пантелеймоновском монастыре на Афоне и в Афонской Пантелеймоновской часовне в Москве, на Никольской улице у Владимирских ворот, куда стекались страждущие (зачастую душевнобольные).

<sup>39</sup> *Мозговая игра ... отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами...* — Реминисценция из Гоголя, на которую указывал сам Белый: «Не стану перечислять всех гоголевских приемов в словесной ткани „Петербургга“; упомяну лишь о переполненности романа тройным повтором Гоголя <...>: „приняв во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство“ <...> и т. д.»; здесь же Белый приводит и комментируемую фразу («Мастерство Гоголя», с. 305—306).

<sup>40</sup> Имеется в виду древнегреческий миф о рождении из головы Зевса дочери его богини Афины Паллады (см.: Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972, с. 7).

<sup>41</sup> Ресторан (до 1910 г. — трактир), находившийся в доме баронессы Э. А. Майдель на углу Миллионной улицы и Машкова переулка (Миллионная, 18/8), принадлежал С. И. Давыдову.

<sup>42</sup> *Субстанция* (лат. *substantia* — сущность) — объективная реальность, рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства, неизменная основа всего сущего. *Акциденция* (лат. *accidentia* — случай, случайность) — философский термин, обозначающий случайное, изменяющееся, преходящее, несущественное.

<sup>43</sup> Возможно, намек на В. Я. Брюсова. В 1904—1905 гг. Белый (связанный с Брюсовым сложными личными отношениями) воспринимал его как «черномага» и «служителя тьмы», между ними возникла своеобразная «умственная дуэль», в ходе которой Брюсов принял на себя «демоническую» личину, а Белый выступал как носитель «светлого» начала (подробнее см.: Литературное наследство. Валерий Брюсов. М., 1976, т. 85, с. 332—339, 380—383; Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» — Wiener slawistischer Almanach, 1978. Bd 1, S. 87—99). «Черное облако» — реминисценция строк «Но на взорах — облак черный, Черной смерти пелена» из стихотворения Брюсова «Орфей и Эвридика» (1904); см.: Брюсов В. Собр. соч. В 7-ми т. М., 1973, т. 1, с. 385.

<sup>44</sup> *Страз* — поддельный хрустальный алмаз (по имени изобретателя — Strass).

<sup>45</sup> «*Что есть истина?*» — вопрос Понтия Пилата, обращенный к Христу (Евангелие от Иоанна, XVIII, 37—38), выросший впоследствии в проблему большого философского значения. Этот вопрос неоднократно всплывал в сознании Белого (см., например: *Sunpstatot* «Андрей Белый». О «двойной истине». — Труды и дни, 1912, № 2, с. 59—62; Белый Андрей. Так говорит правда. — Записки мечтателей, 1922, № 5, с. 123). Ср.: «Участь наша есть участь Пилата: теоретически истину вопрошать, что есть истина; истина не отвечала Пилату: истины не призваны отвечать на вопросы об истине <...> за истинной следуют без вопросов» (Белый Андрей. На перевале. I. Кризис жизни. Пб., 1918, с. 47). В романе этот вопрос приобретает пародийное звучание, усугубляемое игрой слов: «истина» — «естина». Ф. А. Степун увидел в этой словесной игре попытку сближения «истины» с «бытия», тенденцию к «онтологическому, бытийственному пониманию истины» (Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 1962, с. 166).

<sup>46</sup> Отношение Белого к звуку «ы» имело специфический характер. Ср., например, его суждения, высказанные в письме к Э. К. Метнеру от 17 июня 1911 г.: «Я боюсь буквы *Ы*. Все дурные слова пищутся с этой буквы: р-ыба (нечто литературно бескровное <...>), м-ыло (мажущаяся лепешка из всех случайных прехожих), п-ыль (нечто летающее из диванов необитаемых помещений), д-ым (окурков), т-ыква (нечто очень собой довольное), т-ыл (нечто противоположное боевым

\* Здесь и далее курсив в цитатах во всех случаях — авторский.

позициям авангарда)» (ГБЛ, ф. 167, карт. 2, ед. хр. 43). Далее, критикуя коллективную деятельность в издательстве «Мусагет», к которому он имел прямое отношение, Белый говорит про коллективное «ыыы Мусагета»: «мы — стало мыы, мыыы». Последний оттенок «значения» звука «ы» был для Белого довольно устойчивым, он выражал в его глазах психологию толпы и ущемление личного начала. Не исключено, что именно этот оттенок заставил Белого переклестить ход мыслей своего героя с семантики звука «ы» на «татарщину». Характерно также, что в своей «поэме о звуке», посвященной описанию звуковых первообразов в их изначальном космогоническом смысле, Белый не говорит о звуке «ы»; лишь однажды он вскользь упоминает, что «ы» — «животный зародыш» (Белый Андрей. Глоссология. Поэма о звуке. Берлин, 1922, с. 107).

<sup>47</sup> «Сон Негра» — модная в те годы музыкальная пьеса, упоминаемая в мемуарах Андрея Белого «Начало века» (с. 45, 52).

<sup>48</sup> Философия Иммануила Канта (1724—1804) сыграла большую роль в эволюции миросозерцания Белого (ср., например, его стихотворения «Искуситель», «Под окном» в кн. «Урна»). Кантовский агностицизм (идея непознаваемости мира), а также учение Канта о пространстве и времени наложили заметный отпечаток на общий стиль мышления Белого (см.: Филиппов Л. И. Неокантианство в России. — В кн.: Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. М., 1978, с. 310—316), и в частности на роман «Петербург». В кантианстве Николая Аполлоновича нашли отражение философские искания Белого 1904—1908 гг., характеризующиеся интересом к «теории знания», чистой логике и внимательным и пристрастным изучением Канта и философов-неокантианцев Г. Когена (см. примеч. 15 к гл. 3), Г. Риккерта и др. с целью построения теории символизма. «Трагедия сенаторского сына в романе „Петербург“ — в том, что он — революционер-неокантианец», — отмечал Белый («Между двух революций», с. 210), подчеркивая, видимо, отвлеченный, умозрительный характер восприятия младшим Аблеуховым революционных событий. Безусловное воздействие на историческую и философскую концепцию «Петербурга» оказали представления Канта о пространстве и времени как субъективных формах чувственного созерцания.

<sup>49</sup> Эта подпись, возможно, представляет собой ироническую реминисценцию на ввания двухтомного собрания стихотворений Вячеслава Иванова «Сог ardens» («Пламенеющее сердце») (М., 1911—1912).

<sup>50</sup> *Эон* — термин, обозначающий понятие, лежащее в основе философии гностиков, но известное также в древней Греции. Понятие эона связано с представлением о времени (для древних греков эоны — то, что больше эпохи, т. е. абсолютное выражение времени). В философии Валентина (ум. ок. 161 г.), самого значительного представителя гностической философии, «вечное бытие» есть «мир эонов, из которого происходит и к которому возвращается все способное к восприятию истины» (см.: Соловьев Владимир. Валентин и валентиниане. — В кн.: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1891, т. V, полутом 9, с. 406—407). Согласно системе Валентина, за пределами чувственно воспринимаемого бытия пребывает безначальный, совершенный эон — Глубина, имеющий в себе абсолютную возможность всякого определенного бытия; 30 эонов составляют выраженную полноту абсолютного бытия — Плерому; 30-й эон — София — возгорается желанием знать и созерцать первоотца — Глубину. Ср. изложение Белого: «... и пошли бесконечные лестницы эонов в философии гностиков, чтоб при помощи их разрываемое экстазом сознание что-то такое умело ощупать»; «... падают цепи эонов, развивая в падении страсть к источнику совершенства, страсть меж безднами — образ влюбленной Софии; эоны принимают участие в ее страсти» (Белый Андрей. На перевале. II. Кризис мысли. Пб., 1918, с. 82, 85). Понятие эона было использовано родоначальницей теософского движения Е. П. Блаватской для интерпретации древнеиндийской космогонии. В комментариях к своей статье «Эмблематика смысла» (1909) Белый, излагая отдельные положения «Тайной доктрины» («The secret doctrine»; 1888) Блаватской, отмечает, что «время Манвантарайи» (одного из двух состояний мира) «делится на семь периодов или Эонов, обнимающих приблизительно в совокупности период в 311 триллионов лет» («Символизм», с. 491—492). Понятие эона возникает у Белого также в поэме «Первое

свидание» (1921) (см.: «Стихотворения и поэмы», с. 426, 430, 435). В стихотворении, посвященном памяти отца («Н. В. Бугаеву», 1903, 1914), Белый писал:

Ты говорил: «Летающие монады  
В эонных волнах плещущих времен, —  
Не существуем мы; и мы — громады,  
Где в мире мир трепещущий зажжен.

В нас — рой миров. Вокруг — миры роятся.  
Мы станем — мир. Над миром встанем мы.  
Безмерные вселенные глядятся  
В незрячих чувств бунтующие тьмы <...>

(«Стихотворения и поэмы», с. 505)

Здесь явственно чувствуются мотивы, роднящие стихотворение с романом «Петербург».

<sup>51</sup> Ср. строку: «Стройный черт, — атласный, красный» в стихотворении Белого «Маскарад» (1908) («Пепел», с. 123). Красное домино и маскарадная маска Николая Аполлоновича — факт из биографии Белого, обозначивший сложные душевные переживания летом 1906 г., когда его взаимоотношения с Л. Д. Блок породили тяжелейший внутренний кризис. «Да, я был ненормальным в те дни, — вспоминает Белый, — я нашел среди старых вещей маскарадную, черную маску: надел на себя, и неделю сидел с утра до ночи в маске: лицо мое дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кровавое домино; и — так бегать по улицам <...> Тема красного домино в «Петербурге» — отсюда: из этих мне маскою занавешенных дней протянулась за мной по годам» («Эпопея», № 3, с. 187—188). Намерение Николая Аполлоновича преследовать в маскарадном облачении Софью Петровну Лихутину соответствует подлинным фантазиям Белого: «Я предстану пред Щ. в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке» («Между двух революций», с. 91; Щ. — Л. Д. Блок). Образ красного домино восходит к рассказу Э. По «Маска Красной Смерти».

<sup>52</sup> ... *запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким...* — Этот образ навеян Белому впечатлением от встречи с А. А. Блоком в сентябре 1906 г., когда их взаимоотношения были особенно напряженными: «это „голое“, злое лицо крепко вляпалось в память; и — стало лицом Аبلехова-сына, когда он идет, запахнувшись в свою николаевку, видясь безруким с отплясывающим по ветру шинельным крылом; сцена — реминисценция встречи» («Между двух революций», с. 95).

<sup>53</sup> Двойственное восприятие Николая Аполлоновича дамами непосредственно восходит к портрету Ставрогина — героя романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (ч. I, гл. 2, I): «... волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску...» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1974, т. 10, с. 37). Связи между образами Николая Аполлоновича и Николая Ставрогина анализируются в статье: Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Статья 1. — В кн.: Тр. по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение (Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 414). Тарту, 1977, с. 90—93.

<sup>54</sup> Здесь описаны симметричные фигуры львов, находящиеся у подъезда особняка графини А. Г. Лаваль на Английской набережной (ныне наб. Красного Флота, 4).

<sup>55</sup> «Кофейня», «Фарс», «Бриллианты Тэт», «Часы Омега». — В 1905 г. на Невском было 6 кофеен; «Фарс» — название театра Г. Г. Елисеева (Невский, 56); «Американский дом бриллиантов Тэт» (искусственных) помещался в доме № 32 по Невскому проспекту (газетная реклама того времени: «Бриллианты Тэт» — лучшая имитация в мире); «Омега» — название немецкой часовой фирмы (на Невском проспекте располагалось 20 часовых магазинов). Восприятие города, и в част-

ности Петербурга, как воплощенного кошмара оформилось у Белого задолго до романа «Петербург». См., например, его статью «Город» (1907): «Смерть извела из ада великую блудницу, чтобы та брызнула в ночи темь горстями бриллиантов, сапфиров, яхонтов <...> Вот начертание „Omega“, будто созвездие, мерцает рубиновыми огоньками с высоты пятиэтажного дома. Посмотрите вверх в туманную ночь, и вы подумаете, что в небе горят небывалые звезды <...> Город, извративший землю, создал то, чего нет. Но он же поработил и человека: превратил горожанина в тень. Но тень не подозревала, что она призрачна <...> Город убивает землю. Перековывает ее в хаотический кошмар» («Арабески», с. 355—357). См. там же статью «Штемцелеванная калоша» (1907).

<sup>56</sup> Фамилия *Оммау-Оммергау* образована, возможно, от названия селения в Баварии, близ Мюнхена — Обераммергау, где по традиции раз в несколько лет исполняют мистерии «Страсти Христовы» (см.: «Между двух революций», с. 107). Мистериальные празднества в Обераммергау славились на всю Европу, о них сообщалось в русской печати. Ср.: Долгополов Л. К. Символика личных имен в произведениях Андрея Белого. — В кн.: Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 350—351.

<sup>57</sup> *Кирасиры* — конные части, имевшие на вооружении солдат и офицеров латы. В начале XX в. в России было всего четыре кирасирских полка. Имеются в виду различные цвета мундиров лейб-гвардии кирасирских полков (желтые и синие), входивших в 1-ую гвардейскую кавалерийскую дивизию.

<sup>58</sup> *Негопырь* — один из видов летучих мышей. Это прозвище Аполлона Аполлоновича непосредственно сближает героя романа с Победоносцевым, который уподобляется в сатирической журналистике и критике летучей мыши или ночным птицам вообще: «Словно обритая летучая мышь в очках и на задних лапах» (Амфитеатров А., Аничков Е. Победоносцев. СПб., 1907, с. 44—45); «сыч, улетающий из св. синода» (Яблоновский А. Прощаюсь, ангел мой, с тобою... — Восточное обозрение, 1905, № 244) и мн. др. Были выпущены в свет открытки с изображением Победоносцева в виде «негопыря». На одной из них (автор — Н. Заборовский) изображалось лицо Победоносцева в клобуке, с огромными щупальцами; на другой — черная птица с лицом Победоносцева витала над группой людей со знаменем «Свобода». М. Горький в «Жизни Клима Самгина», описывая открытки «на политические темы», упоминает и «Победоносцева в виде негопыря» (Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения. В 25-ти т. М., 1974, т. 22, с. 159; М., 1976, т. 25, с. 254).

<sup>59</sup> Очевидно, Белый имеет в виду рассуждение Гоголя в главе 3 первого тома «Мертвых душ» о различном обращении одного и того же канцелярского чиновника с разными в должностном отношении лицами (см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.], 1952, т. VI, с. 49—50). Ср. также наблюдения Белого над «чиновником» в статье «Иван Александрович Хлестаков» (1907), построенной на гоголевских образах: «...он прибежит к себе в департамент, где день свой проведет в строго соразмеренных поклонах, отношениях: тому — глубокий, почтительный (о, конечно, не обидно почтительный!) поклон. Этому изящная улыбка, а этому — кивок» (Столичное утро, 1907, № 117, 18 октября).

<sup>60</sup> По табели о рангах *коллежский регистратор* — чин последнего, четырнадцатого класса, *статский советник* — чин пятого класса.

<sup>61</sup> Произвольное мистическое истолкование закона всемирного тяготения, открытого Ньютоном. По мысли Белого, материальный мир подвержен действию не только механических сил, но и сил оккультных, о чем он сказал в комментариях (1909) к своей статье «Формы искусства»: «Но и в пределах ньютоновского представления космоса понятие о силе видоизменялось; точка приложения сил оказывалась то в пространстве, то вне пространства; сила оказывалась то механической работой, то „*qualitas occulta*“ (к последнему истолкованию силы склонялся сам Ньютон)» («Символизм», с. 510). В 1913 г. Белый отмечал в письме к М. К. Морозовой: «Например, Ньютон: его „сила“ есть конечно „*qualitas occulta*“. Говоря широко — и Ньютон оккультист: все ньютоновские теории в физике непривольно мистичны» (ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16).

<sup>62</sup> *Горгона* — в древнегреческой мифологии — крылатое чудовище в женском облике, взгляд которого обращал все живое в камень. Было три Горгоны: Стено, Эвриала и Медуза; Медузу — единственную смертную из Горгон — обезглавил Персей.

<sup>63</sup> Эту двойственность Аполлона Аполлоновича сам Белый возводил к повести Гоголя «Шинель» с ее полярными образами — Акакия Акакиевича Башмачкина и «значительного лица»: «„Шинель“ развивает две темы: тему униженности (Акакий Акакиевич); и — тему высокопарности значительного лица, которое, Башмачкина напугавши до смерти, позднее до смерти напугано: тенью Башмачкина. Аполлон Аполлонович соединяет в себе обе темы „Шинели“: он в аспекте „министра“ — значительное лицо; в аспекте обывателя — Акакий Акакиевич; далее Белый обнаруживает у Аполлона Аполлоновича ряд общих черт с Акакием Акакиевичем: косноязычие, подхихикивание, геморрой и др. («Мастерство Гоголя», с. 305).

<sup>64</sup> В описании «каменного бородача», возможно, отразились впечатления Белого от скульптурных фигур атлантов, поддерживающих колонны дворца Белосельских-Белозерских (с 1884 г. дворца великого князя Сергея Александровича; архитектор А. И. Штакеншнейдер). Это здание у Аничкова моста (на углу Невского проспекта и Фонтанки) несомненно было хорошо знакомо Белому: осенью 1906 г. он жил в Петербурге в меблированных комнатах на Невском проспекте по другую сторону Аничкова моста.

<sup>65</sup> Эта деталь могла быть навеяна сатирической поэмой А. К. Толстого «Сон Попова» (1873): герою поэмы приснился сон, будто он явился на прием к министру без панталон. Белый упоминает об этой поэме в шутовском описании кавказского путешествия: «...едем в Тифлис, где читаю две лекции, после чего состоится нечто, от чего с меня заранее от страха и стыда спадают... „штаны“, и я переживаю толстовский „Сон Попова“; грузинские писатели устраивают торжественное заседание, мне посвященное...» (Письмо к Иванову-Разумнику от 20 июня 1927 г. — ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

<sup>66</sup> *Алебарда* — средневековое холодное оружие в форме топора, оканчивающегося копьём. *Пистоль* — старинное ручное огнестрельное оружие. *Шестопер* — древнее холодное оружие в виде булавы с шестью металлических перьями.

<sup>67</sup> В греческой мифологии *Ниобея* — дочь Тантала, жена фиванского царя Амфиона, мать многих детей, убитых Аполлоном и Артемидой в наказание за ее чрезмерную гордость; Ниобея окаменела от горя. Статуя изображает Ниобею как символ скорби и материнского страдания.

<sup>68</sup> Речь идет, видимо, о детали парадной формы кавалергардского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии — о касках, «на которые навинчивались острые шишаки или, в особых случаях, посеребренные двуглавые орлы. Орлы эти у солдат вазывались почему-то „голубками“» (Игватьев в А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1959, т. 1, с. 82). Эта деталь введена Белым для того, чтобы подчеркнуть связь произведения с романом «Серебряный голубь».

<sup>69</sup> Этот образ восходит к «Одиссее» Гомера: Одиссей попал на плавучий остров, которым правил повелитель ветров Эол. Восхищенный рассказами Одиссея, Эол отпустил его со спутниками на родину, подарив шитый из кожи быка мешок с заклоченными в нем ветрами. Перед самым прибытием на родной остров Итаку Одиссей уснул, а его спутники, развязав мех в надежде обнаружить в нем сокровища Эола, вызвали бурю, отбросившую корабли обратно к Эолии («Одиссея», X, 1—76).

<sup>70</sup> *Александровская площадь* — центральная площадь Петербурга перед Зимним дворцом (ныне Дворцовая).

<sup>71</sup> Реминисценции сцены из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890) по одноименной повести Пушкина: покинутая Германом Лиза бросается в Зимнюю канавку — небольшой канал, соединяющий Неву с Мойкой (действие 3, картина 6).

<sup>72</sup> *Геркулес*, *Посейдон* — скульптуры, украшающие фронты Зимнего дворца.



<sup>73</sup> *Николаевка* — шинель особого фасона (с пелериной), получившего распространение в годы царствования Николая I.

<sup>74</sup> Белый говорит здесь о том состоянии, в котором находился он осенью 1906 г. Мучительно переживая страсть к Л. Д. Блок, он, по собственному признанию, дошел до отчаяния и готов был броситься в Неву. Впоследствии, вспоминая обстоятельность решительного объяснения с Л. Д. Блок в конце сентября — начале октября 1906 г., Белый писал: «Не прошло получаса, — катился с четвертого этажа прямо в осень, в туман, не пронизанный рыжеватыми пятнами мути фонарной; и очутился у моста; машинально согнувшись, перегибаюсь через перила, едва я не бросился — о, нет, не в воду: на баржи, плоты, вероятно прибитые к мосту и к берегу (не было видно воды: только — рыжая мгла); эта мысль о баржах — остановила меня» («Эпопея», № 3, с. 194; ср.: «Между двух революций», с. 98).

<sup>75</sup> ... *котелок, трость, уши, нос и усы*. — Подобное перечисление деталей характеризует восприятие Петербурга, которое оформилось у Белого осенью 1906 г., о чем он сам писал в воспоминаниях: «... пятно фонаря, от которого шел силуэт: котелок, трость, пальто, нос и усы; от пятна до пятна перешушывались подворотни и стены; вот вылезли рыжие пятна отвсюду: туман грязно-рыжий стал; в нем посыпали лишь теневые пальто, котелки, усы, перья, позднее влившихся в роман „Петербург“; все страницы его переполнены роем теней, не людей; я таким видел город, когда небывалый туман с него стер все живое» («Между двух революций», с. 98). Художественный взгляд на человека как на совокупность не связанных между собой или произвольно соединенных элементов восходит к Гоголю, что отмечал и сам Белый (см.: «Мастерство Гоголя», с. 304).

<sup>76</sup> ... *ненужная, праздная, мозговая игра*. — Ср. авторский комментарий: «... дом с бродяжником в нем сыном сенатора дико показан сенаторской головой; сам сенатор же — выюркнувшая из автора „праздная мозговая игра“; это все перемены темы „Записок сумасшедшего“: „люди воображают, будто... мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны“» («Мастерство Гоголя», с. 304; цитата из повести Гоголя «Записки сумасшедшего»),

## ГЛАВА ВТОРАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский» (1832) (V, 99).

<sup>2</sup> В 1905 г. такой газеты не было. В Петербурге газета с названием «Товарищ» издавалась с апреля 1906 г. по 30 декабря 1907 г.; в Москве — еженедельно с 12 ноября 1906 г. по июнь 1909 г.

<sup>3</sup> Герой романа Андрея Белого «Серебряный голубь» (1909), погубленный сектантами.

<sup>4</sup> *Артур Конан Дойль* (1859—1930) — английский писатель, автор повестей и рассказов о деятельности сыщика-любителя Шерлока Холмса, приобретших в России в начале XX в. широкую популярность.

<sup>5</sup> *Чернышев Мост* — мост через Фонтанку, построенный в 1785—1787 гг. (ныне мост Ломоносова).

<sup>6</sup> *Спиритическая цепь* — наиболее целесообразное с точки зрения появления медиумических феноменов расположение участников спиритического сеанса вокруг стола; предполагает выполнение достаточно строгих правил.

<sup>7</sup> *Хиромант* — гадатель по линиям, морщинам, складкам и бугоркам на ладонях, определяющий характер человека и предсказывающий его судьбу. «Дама» — здесь подразумевается, возможно, также одна из фигур гадательных карт — Таро, символически истолковываемая оккультистами (см.: Успенский П. Д. Символы Таро. Философия оккультизма в рисунках и числах. Пг., 1917).

<sup>8</sup> ... *ангел Пери* — ироническая реминисценция поэмы В. А. Жуковского «Пери и Ангел» (1821), являющейся переводом 2-ой части «восточной» поэмы Т. Мура «Лалла Рук» — «Рай и Пери». Пери, по объяснению Жуковского, «воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в цветах

радуги, и порхают в бальзамических областях». Этот образ был распространен в русской романтической поэзии; укажем прежде всего на поэмы А. И. Подолинского «Див и Пери» (1827) и «Смерть Пери» (1837). В стихотворении Пушкина «Из *Barry Cornwall*» (1830) героиня именуется «маленькой пери» (III, 259).

<sup>9</sup> *Фузи-Яма* (Фудзи) — священная гора Японии, прославленная в легендах и песнях и постоянно изображавшаяся японскими художниками. В конце XIX в., в особенности после книг Эдмона де Гонкура «*Утамаро*» (1891) и «*Хokusай*» (1896), японское искусство приобрело в Европе широкую популярность и стало модным; это увлечение в начале XX в. достигло и России: в частности, один из номеров символистского журнала «*Весы*» был выпущен в японском оформлении (1904, № 10); в 1905 г. в Петербурге была открыта японская выставка, выходили книги о Японии (Душа Японии. Японские романы, повести, рассказы, баллады и танки. Под редакцией и с предисловием Н. П. Азбелева. СПб., 1905; Астон В. Г. История японской литературы. Владивосток, 1904; Востоков Г. Японское искусство. СПб., 1904; Хёрн Лафкадио. Душа Японии. М., «б. г.» и др.). См. также очерк близкого друга Белого 1900-х гг. Г. А. Рачинского «Японская поэзия» (М., 1914). Белый был глубоко заинтересован японским искусством; в статье «*Песнь жизни*» (1908) он писал: «...едва для Гонкура запела японская живопись, как Эдуард Мане воскресил ее в своем творчестве (...) а Обри Бердслей в японцах воссоздал наш век» («Арабески», с. 51); см. также пять его стихотворений (1916 и 1918 г.), стилизованных под японские танки (Белый Андрей. Звезда. Пб., 1922, с. 46—50) и стихотворение «Цветок струит росу» (1916) («Стихотворения и поэмы», с. 473). Софью Петровну Лихутину с ее бездумным увлечением всем японским Николай Аполлонович называет «японской куклой». Мода на японское искусство была отмечена Белым в рецензии на сборник рассказов Н. И. Петровской «*Sapstus amor*» (1908), где он писал о Петровской: «...недоверие в пафос жизни (необходимое условие художественного творчества) заволакивает подчас ее творчество уже не стилизованными, как в японском пейзаже, образами, а куклами, только куклами. Оттого-то японский пейзаж ее творчества сбивается часто на картинку из журнала дамских мод» («Арабески», с. 349).

<sup>10</sup> *Хадусаи* — Какусай Хokusай (1760—1849) — великий японский художник, создавший около 30 тысяч рисунков.

<sup>11</sup> *Дункан и Никйш* — Айседора Дункан (или Дёнкан) (1878—1927) — американская танцовщица, одна из основоположниц пластической школы «танца модерна»; в своих исканиях опиралась на образцы древнегреческой пластики. Неоднократно гастролировала в России, в том числе и в 1905 г. Свои впечатления от выступления Дункан в январе 1905 г., в котором он усмотрел «образ нашей будущей жизни — жизни счастливого человечества», Белый передал в статье «Луг зеленый» (1905) (см.: Белый Андрей. Луг зеленый. М., 1910, с. 8—9). Артур Никйш (1855—1922) — венгерский дирижер, неоднократно выступавший в России. Белый отсылся к нему восторженно. Эту о Никйше содержится в его статье «*Маска*» (1904), где дирижер именуется «чародеем» и «иступленным» («Арабески», с. 134—137).

<sup>12</sup> *Валькирии* (от древнескандинавского *valkyria* — выбирающая убитых) — девы богини войны и победы у древних скандинавов, уносившие в Валгаллу павших на поле брани героев. Полет Валькирий — эпизод начала третьего действия оперы Р. Вагнера «*Валькирия*» (1852). *Байрейт* — город в Баварии, в котором был выстроен театр, предназначенный для исполнения опер Вагнера.

<sup>13</sup> «*Манифест*» Карла Маркса — «Манифест Коммунистической партии» (1848), написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.

<sup>14</sup> *Анни Безант* (1847—1933) — английская писательница и общественный деятель, одна из лидеров теософского движения, с 1893 г. председатель Всемирного теософского общества. Ее книга «Человек и его тела» («*Man and his bodies*». London—New York, 1896; 3 ed., 1905) в переводе на русский язык издана не была; первая теософская книга в России — Е. П. «Писарева Е. Ф.» «Свет на Пути и Карма» — была издана только в конце 1905 г. «*Теламм*» в теософии называется состав человека, видимый и невидимый; каждое из «тел» находит соответствие

в мировых сферах. Ко времени работы над «Петербургом» в России уже появилось много книг и статей, излагающих эти теософские положения: Безант Анни. Древняя мудрость. СПб., 1910; Безант Анни. Краткий очерк теософского учения. — Вестник теософии, 1908, № 1; Паскаль Т. Строение человека. — Вестник теософии, 1908, № 2; Странден Д. Семь начал человека по учению теософии. — Вестник теософии, 1908, № 3, 4; Ледбитер Ч. Краткий очерк теософии. Калуга, 1911, и др. Теософскую иерархию «тел» и миров Белый излагает в комментариях к статье «Эмблематика смысла» (1909) («Символизм», с. 497—500).

<sup>15</sup> Здесь использован факт из биографии отчима Блока Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух, отдельные черты которого Белый воплотил в образе Сергея Сергеевича Лихутина; 9 января 1905 г. Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух с отрядом гренадер «занимал позицию возле часовни Спасителя» (см.: Бекетова М. А. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., 1922, с. 93). И на него самого, и на все семейство приказ принять участие в подавлении произвел гнетущее впечатление. Белый, приехавший утром 9 января в Петербург, побывал в этот день и у Блока. Впоследствии он вспоминал: «... Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост, мог быть вынужденным остановить грубой силою толпы (...) факт стоянья Ф. Ф. у какого-то моста все время нервил Александра» Александровича». («Эпопея», № 2, с. 173).

<sup>16</sup> Был еще посетитель: хитрый хохол-малоросс Липпанченко. — Учитывая, что в образе Лихутиной отразились частично в шаржированном виде черты Любови Дмитриевны Блок, можно предположить, что фамилия Липпанченко — частого посетителя Лихутиных — образована Белым по аналогии с фамилией Семена Викторовича Панченко (1867—1937) — композитора, друга М. Бекетовой и молодого Блока. Белый относился к нему неприязненно: «Этот Панченко мне показался фальшивым (...) Я раз только встретился с ним, он меня оттолкнул» («Эпопея», № 2, с. 217). 6 декабря 1905 г. М. А. Бекетова записала об обеде у Блоков 3 декабря: «... волнение вследствие присутствия Бори и С. В. «Панченко» вместе (...) Оба, конечно, друг друга в душе проклинают или осуждают» (ИРЛИ, ф. 462, ед. хр. 3, л. 37—37 об.). Другие дневниковые записи Бекетовой свидетельствуют о том, что Панченко и Белый ощущали себя соперниками в своем влиянии на семью Блоков. В статье Н. Пустыгиной (см. примеч. 53 к гл. 1) фамилия Липпанченко сомнительно истолковывается как «трансформация фамилии персонажей из „Бесов“ Достоевского: Липутин+Толкаченко» (с. 84).

<sup>17</sup> Такого полка в России не было, однако одним из шефов лейб-гвардии гусарского его величества полка был принц Сиамский Чакрабон.

<sup>18</sup> Имеются в виду философские положения пифагорейской школы, согласно которым гармония мироздания осуществляется в категориях-противоположностях, под которые подводятся все сущее: единство—множество, правое—левое, мужское—женское и т. д. Первый ряд имеет положительное, активное значение, второй — отрицательное, пассивное. Мировая гармония — единство во множестве и множество в единстве. Множество объединяется в числе; математические начала — начала всего существующего. В числах пифагорейцы усматривали аналогии или подобия с вещами. Единица есть причина единения, два — причина раздвоения, разделения; единица определяет первый ряд, два — второй. Отсюда и ироническое замечание Белого. Характеристику учения пифагорейской школы Белый мог получить из книги: Трубецкой С. Метафизика в древней Греции. М., 1890. См. суждения Белого о «пифагорейском числе»: Белый Андрей. На перевале. II. Кризис мысли. Пб., 1918, с. 27—28; «Путевые заметки», с. 130, 139.

<sup>19</sup> «Смерть Зигфрида» — финальный эпизод оперы Р. Вагнера «Зигфрид» (1856—1857), третьей части оперной тетралогии «Кольцо Нибелунгов».

<sup>20</sup> ... лягушка... красный шут. — Образ красного шута (как и красного диавола) связан с рассказом Эдгара По «Маска Красной Смерти». В 1910 г. Белый предполагал написать драму «Красный шут». Параллельно может служить и баллада Белого «Шут», созданная в 1911 г. одновременно с началом работы над «Петербургом»; в ней фигурирует горбатый шут в «атласном плаще» (см.: Белый Андрей. Королевна и рыцари. Пб., 1919, с. 18—33). Софья Петровна называет

Николая Аполлоновича также «лягушкой» (в другом случае — «лягушонком»), и это определение в соседстве с «красным шутом» скрывает вероятную реминисценцию другого рассказа Э. По — «Лягушонок» («Прыг-Скок», 1849): появлению Николая Аполлоновича перед Софьей Петровной в огненно-красном домино и последующей ее мести на балу у Цукатовых соответствует в рассказе Э. По месье шута («лягушонка»), хитроумным способом поджегшего живьем во время маскарада жестокого короля и его министров (см.: По Эдгар Аллан. Полн. собр. рассказов. М., 1970, с. 666—669).

<sup>21</sup> *Цирк Чинизелли* — каменный стационарный цирк на Фонтанке, принадлежавший цирковому актеру и режиссеру, итальянцу по происхождению, Спидионе Чинизелли; ныне — Ленинградский государственный цирк.

<sup>22</sup> ... *бородатую женщину* с *молоденькой горничной, Маврушкой*... — Имя горничной могло быть заимствовано из поэмы Пушкина «Домик в Коломне» (1830); упоминанию в тексте Белого рядом с именем горничной «бородатой женщины» соответствует сцена бритья псевдо-Мавруши в пушкинской поэме.

<sup>23</sup> Имеется в виду спиритический сеанс. Белый всегда относился к спиритизму настороженно и скептически, противопоставляя его подлинному, с его точки зрения, религиозному мистицизму. В письме к Н. И. Петровской от 21 июня (1904 г.) он писал: «... мистика не может согласиться с необходимостью внешних феноменов. Ни Христос, ни Будда, ни пророки не устраивали сеансов, а если и производили чудеса, то они имели явно преобразовательный смысл, т. е. были *символами*, а не феноменами <...> Важно, что чудеса — символы — галлюцинации происходили *вдруг без сеансов, без преднамеренности*» (ГБЛ, ф. 25, карт. 30, ед. хр. 13).

<sup>24</sup> ... *чиновники четвертого класса*... — в соответствии с «Табелью о рангах» действительные статские советники, обер-прокуроры, герольдмейстеры (на гражданской службе), генерал-майоры (в армии), контр-адмиралы (на флоте).

<sup>25</sup> Имеются в виду похороны кн. Сергея Николаевича Трубецкого (1862—1905) — публициста, философа, первого выборного ректора Московского университета, известного деятеля либерального направления и сторонника конституционной монархии; находясь в составе делегации к Николаю II в июне 1905 г., выступил перед царем с программной либеральной речью. Умер 29 сентября 1905 г. в Петербурге, во время заседания комиссии по выработке университетского устава. Хоронили же Трубецкого в Москве; в романе изображаются проводы гроба на Николаевский вокзал 2 октября 1905 г. На самом деле процессия направлялась не по Невскому, как пишет Белый, а по Суворовскому проспекту от Еленинской клиникой (С.-Петербургские ведомости, 1905, № 238, 7 октября). Как в Петербурге, так и в Москве похороны приобрели характер политической манифестации; 3 октября в Москве за гробом шло около 50 тысяч человек. Белый, участвовавший в них, писал: «Алые ленты венков, ярко оттеняя зелень листьев, проливались над морем черных голов. Перед каждой церковью обнажались головы и многочисленные хоры пели „Вечная память“. Во главе процессии на длинном древке несли пучок алых цветов, и ленты, ниспадая, развевались» (Белый Андрей. Князь С. Н. Трубецкой. — Весы, 1905, № 9—10, с. 80).

<sup>26</sup> *Петровский домик* — Летний дворец Петра I, построенный в Летнем саду в 1710—1712 гг. по проекту Д. Трезини.

<sup>27</sup> Источником этой фразы могли быть слова Победоносцева, произнесенные у митрополита Антония в присутствии Д. С. Мережковского: «Россия — ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек» (см.: Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник 1910—1914. Пг., 1915, с. 357). Встреча эта состоялась в ходе хлопот о разрешении Религиозно-философских собраний, запрещенных в 1903 г.; об ее обстоятельствах Белый мог знать от Мережковского или З. Н. Гиппиус. Аналогию словам Аполлона Аполлоновича можно усмотреть и в известной формуле консервативного мыслителя К. Н. Леонтьева: «Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не „гнила“...»

<sup>28</sup> Цитаты из стихотворений Пушкина (см. примеч. 33, 35, 36 к гл. 1). Второй отрывок приведен неточно; заключительная строка: «Навек от нас утекший гений...»

<sup>29</sup> Белый вспоминал, что наиболее отчетливое ощущение образа Аполлона Аполлоновича в его комнате сопряглось для него с мышами (в 1912 г. в ходе работы над «Петербургом» в Буа-ле-Руа под Парижем): «...я узнал его мертвые уши, огромный, желтеющий лоб и провалы холоднейших глаз; любопытно, что в это же время (...) вскрикнула Нэлли; к ней прыгнула, защищая, на постель обнаглевшая мышь. Несколько дней донимали нас мыши; мышата переползали по комнате, освещенные солнышком» (Белый Андрей. Записки чудака. Берлин, Геликон, 1922, т. 1, с. 82).

<sup>30</sup> *Торричеллиева пустота* — безвоздушное пространство, образующееся над поверхностью жидкости в закрытом сверху сосуде. Это явление было объяснено в 1643 г. итальянским физиком Э. Торричелли (1608—1647).

<sup>31</sup> *Гностицизм* — совокупность синкретических религиозно-философских систем, возникших в течение двух первых веков новой эры, в которых основные факты и учение христианства объединены с элементами языческих религий. Гностицизм явился формой связи новой христианской религии с мифологией и философией эллинизма. Наиболее изучены гностические системы Валентина и Василида. Из возможных «историй гностицизма», которые мог читать Белый и, следовательно, его герой, укажем на книги: Иванцов-Платонов А. М. Ереси и расколы первых веков христианства. М., 1877; Harnack A. Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Leipzig, 1893; Hingelfeld A. Die Ketzergeschichte der Urchristentums. Leipzig, 1884; de Faye E. Introductions á l'étude du gnosticisme au II et au III siecle. Paris, 1903.

<sup>32</sup> *Григорий Нисский* (ок. 335—ок. 394) — епископ каппадокийского города Нисса, «отец и учитель церкви», младший брат Василия Великого, один из наиболее значительных представителей философской мысли в христианском богословии своей эпохи. Философское мировоззрение Григория несет на себе следы воздействия пифагорейцев, Платона и неоплатоников. Григорию принадлежат догматические трактаты, аллегорические толкования библейских текстов, проповеди и письма. Белый считал, что «экстаз» в христианском сознании впервые появился у Григория Нисского (Белый Андрей. На перевале. II. Кризис мысли, с. 43); ср. замечание об «экстазных светах» Григория Нисского (Белый Андрей. Эпопея. — Эпопея, М.; Берлин, 1922, № 1, с. 11).

<sup>33</sup> *Сирянин* — Исаак Сирянин, «отец церкви» VII в., автор поучений, содержащих анализ состояний праведности и греховности, а также способов христианского самосовершенствования. Белый упоминает о нем в одной из статей о Д. С. Мережковском («Арабски», с. 412). Касаясь событий своей жизни в 1901 г., Белый отмечал: «...перешел к чтению (...) отцов церкви; и главное — к учению творений Исаака Сирянина, оставивших в душе моей сплывшее впечатление» (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора (1923). — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3, л. 25).

<sup>34</sup> *Апокалипсис* — «Откровение святого Иоанна Богослова», последняя книга новозаветного канона, заключающая в себе пророческое предсказание пришествия Христа для суда над миром и предстоящего царства божия. Идеи и образы Апокалипсиса занимали в жизни и творческих исканиях Белого большое место. Образ же революционера-террориста, изучающего Апокалипсис, мог быть навеян Белому реальными судьбами. Помимо упоминающихся в статье Л. К. Долгополова Б. Савинкова и Г. Гершуни, здесь может быть назван Николай Александрович Морозов (1854—1946), поэт и революционер-народник, член террористической группы «Свобода или смерть» и затем член Исполнительного комитета партии «Народная воля», находившийся с 1878 г. на нелегальном положении. С 1884 по 1905 г. Морозов томился в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости, где он занимался, в частности, изучением Апокалипсиса. В 1907 г. вышла его книга «Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса». Белый приветствовал книгу «шлиссельбургского узника г. Морозова» рецензией, в которой писал: «...я спешу отдать дань моего глубокого уважения и подчас восхищения перед приемами г. Морозова, где поэтическое проникновение в природу спорит с удивительным остроумием; наконец, астрономический смысл „Откро-

веня“, по-моему, вполне установлен» (Перевал, № 6, 1907, с. 56). Другая фигура, обращающая на себя внимание в этой связи, — Лев Александрович Тихомиров (1850—1923) — также член Исполнительного комитета «Народной воли»; был помилован Александром III, порвал с революционным движением (выпустив в 1888 г. книгу «Почему я перестал быть революционером») и превратился в крайнего реакционера и вояствующего монархиста; одно время был редактором официозных «Московских ведомостей». Тихомиров интересовался толкованиями Апокалипсиса, и на этой почве с ним познакомился Белый; встречаясь с Тихомировым он посвятил главу в мемуарах (см.: «Начало века», с. 138—145). Возможно также, что, создавая образ Дудкина, Белый учитывал и биографию Алексея Николаевича Тургенева (ум. в 1906 г.), отца его первой жены А. А. Тургеневой, который «жизнь кончает в кругу эс-еров, сближается с террористами; и умирает за несколько дней до готовившегося его ареста» (Белый Андрей. Воспоминания, т. III, ч. 2. — ГПБ, ф. 60, ед. хр. 15, л. 150). Эти факты Белый узнал незадолго до начала работы над «Петербургом». Не исключено, что на создание образа Дудкина, в котором анархо-террористические черты объединены с настойчивым вниманием к религиозным проблемам, оказали влияние мысли Ф. Ницше, согласно которым христианство и анархизм равно направлены к уничтожению культуры и здоровых начал в человеке и поэтому «*между христианином и анархистом можно установить полное равенство: их цель, их инстинкт сводится лишь к разрушению*» (Ницше Фр. Антихрист. Перевод Н. Н. Полилова. СПб., 1907, с. 142).

<sup>35</sup> *Адольф Гарнак* (1851—1930) — немецкий протестантский богослов, профессор Берлинского университета, глава церковно-исторической науки в Европе в конце XIX—начале XX в. Его труд «Сущность христианства» неоднократно издавался в России в 1900-е гг. *Академик* — слушатель духовной академии.

<sup>36</sup> *Схимник* (схимнах) — монах, принявший схиму, т. е. высокую в православной церкви монашескую степень, требующую исполнения ряда суровых аскетических правил.

<sup>37</sup> *Георгий* — орден св. Георгия, учрежденный Екатериной II для «награждения отличных военных подвигов и в поощрение в военном искусстве»; в 1807 г. были утверждены георгиевские кресты для нижних чинов; имел 4 степени.

<sup>38</sup> Эпизод из биографии Григория Андреевича Гершуни (1870—1908) — одного из лидеров эсеровской партии, главы боевой организации, бежавшего осенью 1906 г. с акатуйской каторги.

<sup>39</sup> *Септаккорд* — созвучие из четырех звуков.

<sup>40</sup> Здесь: загадочное, имеющее тайный смысл.

<sup>41</sup> *Гельсингфорс* (ныне Хельсинки) — до 1917 г. главный город Великого княжества Финляндии; в начале XX в. был одним из центров революционной и оппозиционной деятельности.

<sup>42</sup> *Дмитрий Никифорович Кайгородов* (1866—1924) — известный естествоиспытатель-фенолог, педагог, автор многочисленных научно-популярных очерков растительного и животного мира России, которые в детстве читал Белый (см.: «На рубеже двух столетий», с. 198).

<sup>43</sup> *Вчера глаза посмотрели...* — Неточность Белого: судя по содержанию романа, встреча Дудкина с сенатором на Невском проспекте и последовавшая за ней встреча их в доме Аблеухова состоялась в один день.

<sup>44</sup> *Фитин* — лекарственный препарат, применявшийся при заболеваниях нервной системы, истерии и т. д.

<sup>45</sup> Медный всадник, конный памятник Петру I на Сенатской площади работы Э. Фальконе, установленный в 1782 г. Этот образ возводится Белым к поэме Пушкина «Медный всадник» и постоянно сопоставляется с нею на всем протяжении романа.

<sup>46</sup> Образы из «Медного всадника» Пушкина. Ср.:

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?  
О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной  
На высоте, уздой железной  
Россию поднял на дыбы?

(V, 147)

<sup>47</sup> *Трус* (древнерусск.) — землетрясение.

<sup>48</sup> *Цусима* — Цусимское морское сражение 14—15 мая 1905 г. у островов Цусимы в Корейском проливе во время русско-японской войны 1904—1905 гг., закончившееся полным поражением русской эскадры. *Калка* — приток реки Калмиус, на котором 31 мая 1223 г. произошло первое сражение войск русских князей и половецкого хана Котяна с монголо-татарским войском Джэбе и Субэде, закончившееся разгромом русских войск. Андрей Белый переосмысляет эти события под знаком эсхатологических прозрений Вл. Соловьева («Три разговора», 1899—1900), пророчившего новое «монгольское» нашествие на Европу.

<sup>49</sup> 8 сентября 1380 г. на *Куликовом поле* произошло сражение русских войск под предводительством кн. Дмитрия Донского с монголо-татарами. Битва закончилась победой русских войск и явилась поворотным пунктом в борьбе против монголо-татарского ига. Эсхатологический смысл, который вкладывает Белый в это событие, выводится, в частности, им из стихотворного цикла А. Блока «На поле Куликовом» (1908), который занял в сознании Белого огромное место: «...попалося „Куликово Поле“ мне, строчка за строчкою совпадая с интимнейшими переживаниями этих лет жизни; вся тема его: нависание мглы и угроза востока (татарства), и чувство необходимости вооружаться для боя с оккультным врагом были мной пережиты...» («Эпопея», № 4, с. 173). Исторический и литературный контекст цикла «На поле Куликовом» исследован в статье: Левинтон Г. А., Смирнов И. П. «На поле Куликовом» Блока и памятники Куликовского цикла. — В кн.: Куликовская битва и подъем национального самосознания (Труды Отдела древнерусской литературы, т. XXXIV). Л., 1979, с. 72—95.

<sup>50</sup> Видимо, имеются в виду летящие фигуры Славы с лавровыми венками в руках — часть скульптурного убранства арки Главного штаба (1819—1829; скульпторы С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский).

<sup>51</sup> *Степка*, сын лавочника Ивана Степанова, — персонаж романа Андрея Белого «Серебряный голубь» (1909), перешедший в «Петербург», который замыслился как вторая часть начатой «Серебряным голубем» трилогии. В первом романе Степка покидает родное село и уходит неизвестно куда («Серебряный голубь», с. 182—183).

<sup>52</sup> *Целебеево* — село, в котором происходит действие «Серебряного голубя».

<sup>53</sup> Степка рассказывает о мистической секте «голубей», описанной в «Серебряном голубе». Ср.: «Степка бегал в Кобылью Лужу со странными снюхиваться людьми, и они ему расписывали про то, что „аслабачдение“ народа приходит через Дух Свят, и что есть-де люди такие, которые тайно ожидают пришествия Духа на землю» («Серебряный голубь», с. 149).

<sup>54</sup> Имеется в виду Петр Дарьяльский, главный герой «Серебряного голубя»; Степка пересказывает отдельные элементы сюжета этого романа.

<sup>55</sup> «*Первый винокур*» — народная комедия Л. Н. Толстого «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (1886) (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1936, т. 26, с. 38—60), представляющая собой инсценировку его же рассказа «Как чертенок краюшку выкупал». Комедия использует приемы народной драмы и демонстрирует беды, которые приносит с собой вино.

<sup>56</sup> Вероятно, имеется в виду буддийская молельня в Старой Деревне (тогдашняя окраина Петербурга), строившаяся в 1909—1915 гг. (проект Г. В. Барановского). Сооружение молельни вызвало общественный резонанс: для решения вопросов, связанных с ее строительством, был создан специальный комитет, в который входили крупнейшие русские ученые-востоковеды (В. В. Радлов, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской), художник Н. К. Рерих и др.; постройка велась по инициативе и при поддержке далай-ламы.

<sup>57</sup> *Филадельфия* (греч. — братолюбие) — город в Лидии (Малая Азия); назван по имени своего основателя Атала II Филадельфа, царя Пергамского. Филадельфийские христиане, несмотря на преследования со стороны окружающих иновер-

цев, оставались твердыми в вере, и в Апокалипсисе было обещано сохранить их от години искушения, которая придет на всю вселенную (I, 11, III, 7—10). Последующая история свидетельствует, что, несмотря на общее разорение и опустошение христианских церквей в Азии, церковь Филадельфийская не прекратила существования, находясь в одиночестве среди мусульманских областей.

<sup>58</sup> *София* (греч. софия — мастерство, знание, мудрость) — понятие-мифологема, связанное с представлением о смысловой наполненности и устроенности вещей. София — основное понятие в философии Вл. Соловьева, все в себе заключающее единство, вечно женственное начало божества, собирательное мистическое тело Логоса и одновременно — идеальный совокупный человек. С Софией отождествляется (или стремится к воссоединению) мифо-поэтическое понятие «мировая душа» — единство живых элементов творения. Поэма В. Соловьева «Три свидания» (1898) описывает встречи с «подругой вечной» — Софией, «вечной женственностью».

<sup>59</sup> Имеется в виду Анна Николаевна Шмидт (1851—1905) — сотрудница нижегородских газет, автор мистического трактата «Третий Завет» и других сочинений религиозно-экстатического характера (собранных в посмертном издании: Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. [М.], 1916). Прочитав в 1900 г. «Три разговора», она поверила во Вл. Соловьева как в одно из воплощений Христа на земле и «вообразила себя воплощением Софии, инспирировавшей Вл. Соловьева» («Эпопея», № 1, с. 156). С марта 1900 г. Шмидт вступила в переписку с Вл. Соловьевым, в апреле состоялось их личное знакомство. Белый познакомился с А. Н. Шмидт в доме М. С. Соловьева, брата философа. А. Н. Шмидт восторженно откликнулась на статью Андрея Белого «О теургии» (1903), считая ее «знамением времени» (см.: Замечание по поводу одной теософской статьи. — В кн.: Из рукописей А. Н. Шмидт, с. 17—21). В позднейших мемуарах Белый дал ироническую характеристику А. Н. Шмидт, называя ее «полусумасшедшей», а «Третий Завет» — «полубредовым теософически-схоластическим сочинением» («Начало века», с. 119, 125). В Нижнем Новгороде с нею общался М. Горький, написавший впоследствии мемуарный очерк «А. Н. Шмидт» (1924). (См.: Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения. В 25-ти т. М., 1973, т. 17, с. 45—57, 573—576).

<sup>60</sup> Двенадцатый год, по мнению Белого, играл решающую роль в истории России. См. его письмо к М. К. Морозовой, цитируемое здесь в статье Л. К. Долгополова.

<sup>61</sup> *Ной* — согласно Библии — последний патриарх до всемирного потопа; сохранил себя непричастным злу во время господства крайнего развращения. Бог повелел ему построить ковчег, в котором Ной и его семейство спаслись во время всемирного потопа (Бытие, VI, 14—22, VII, 13—16, VIII, 1—20).

<sup>62</sup> «*Ей, гляди, Господи Иисусе!*» — завершающая фраза Апокалипсиса (XXII, 20).

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Езерский» с измененной первой строкой; у Пушкина: «Хоть человек он не военный» (V, 103).

<sup>2</sup> Ежедневный пушечный выстрел с Петропавловской крепости ровно в полдень.

<sup>3</sup> Соответственно «Табели о рангах», учрежденной Петром I, все чины Российской империи были расписаны по 14 классам или рангам.

<sup>4</sup> Кавалер одного из восьми российских орденов — св. Анны. По происхождению — голштинский орден, в число российских орденов включен Павлом I в 1797 г.

<sup>5</sup> *Белый орел* — польский орден, вошедший в состав российских орденов в 1815 г.

<sup>6</sup> ... номер первый над номером вторым... — Остаток характеристики Николая Аполлоновича, содержащейся в ранней редакции романа. (См. с. 496 наст. изд.)

<sup>7</sup> Имеется в виду русско-японский мирный договор, подписанный С. Ю. Витте 23 августа 1905 г. в американском городе Портсмуте. Договор считался большой



дипломатической победой Витте; был ратифицирован Николаем II 1 октября 1905 г., 5 октября был издан по этому поводу высочайший манифест. Витте был возведен в графское достоинство. Следовательно, можно предположить, что речь в этом месте романа идет о торжественном приеме в Зимнем дворце именно по этому поводу. Белый мог иметь в виду также парадный прием 5 октября 1905 г. по поводу тезоименитства наследника престола Алексея (род. 30 июля 1904 г.), сына Николая II («день чрезвычайностей»); в этот день «столица расцветалась флагами и приняла праздничный вид» (С.-Петербургские ведомости, 1905, № 238, 7 октября, с. 3).

<sup>8</sup> *Кавалергарды* — первоначально конный конвой Екатерины I на церемонии ее коронования, позднее — особо привилегированный конный полк, состоящий из трех эскадронов.

<sup>9</sup> ... *возникли... лазурные всадники, отдавая и далям, и солнцу серебро своих лат — издали на толпу он пожаловался трубой...* — Ироническое воспроизведение системы образов собственного творчества начала 1900-х гг., исполненного «аргонавтического» пафоса. Ср. строки программного стихотворения «Золотое руно» (1903):

Внимайте, внимайте...  
 Довольно страданий!  
 Броню надевайте  
 из солнечной ткани!  
 Совет за собою  
 старик аргонавт,  
 зывает  
 трубой  
 волотою:  
 «За солнцем, за солнцем, свободу любя,  
 умчимся в эфир  
 голубой!..»

(Белый Андрей. Золото в лазури. М., 1904, с. 8).

<sup>10</sup> *Деваханический друг, буддическая искорка*. — Девакан (в буквальном переводе с санскрита — место богов) — обозначение неба в теософии; сфера, в которую переходят человеческие существа, сбросив свои физические и астральные тела, мир блаженства и невыразимой радости. «Мысленные образы наших друзей будут окружать нас в Девакане. Вокруг каждой души теснятся те, кого она любила во время земной жизни, и каждый образ, живший на земле в сердце, становится живым товарищем души во время ее небесного пребывания (...» (Безант Анни. Древняя мудрость. СПб., 1910, с. 102). Ср. главу «Девакан» в исследовании Р. Штейнера «Эволюция мира и человека» (Вестник теософии, 1911, № 4, с. 15—20). Буддхи (Будди, Buddhi) — от санскритского названия мудрости — сфера «мировой души», «духовной души», духовное жизненное начало, сфера мудрости в любви, вытекающей из сознания единства всего сущего. (См.: Странден Д. Семь начал человека по учению теософии. — Вестник теософии, 1908, № 3, с. 44). «Буддхической искрой» символизируется отделение божественной сущности, скрытой в человеке, от божественного сознания, мирового Я. (См.: Безант Анни. Древняя мудрость, с. 119—120). «„Buddhi“, — пишет Белый в комментариях к статье „Эмблематика смысла“ (1909), — это состояние, о котором нельзя сказать ничего в терминах слов: наиболее приближенным понятием о буддхическом плане дает представление об отношении между людьми, в котором соединяется мудрость с любовью» («Символизм», с. 499). Оба понятия в контексте романа употребляются иронически.

<sup>11</sup> *Опоноакс* — ароматическая смола с мускусным запахом, добываемая из сока одноименного растения.

<sup>12</sup> ... *из царства необходимости сложим царство свободы*. — Эти слова восходят к выражению Ф. Энгельса в книге «Анти-Дюринг». Говоря о том, что только

при социализме «люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю», Энгельс подчеркивает, что это и есть «скачок человечества из царства необходимости в царство свободы» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961, т. 20, с. 295). Белый в статье «Социал-демократия и религия» (1907), причудливо объединяя социализм с религией, писал: «Социальный переворот откроет дверь в царство свободы, освободит внутреннюю силу человечества, извне связанную доселе, очистит место религиозному строительству» (Перевал, № 5, 1907, с. 34). Близкое по смыслу выражение Белый вкладывает в уста одного из эпизодических персонажей «Серебряного голубя» («Серебряный голубь», с. 39).

<sup>13</sup> Стихи Варвары Евграфовны восходят к стихотворению Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829) в той редакции, которая была включена им в «Сцены из рыцарских времен» (1835):

Полон чистою любовью,  
Верен сладостной мечте,  
А. М. Д. своею кровью  
Начертал он на щите.

(VII, 238)

Последние два стиха взяты эпиграфом в стихотворении Блока «А. М. Добролюбов» (1903; опубликовано под заглавием «Одному из декадентов» в 1907 г.). Литеры А. М. Д. («Ave, Mater Deil» — слова католической молитвы) совпадают также с инициалами А. М. Добролюбова (Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., 1960, т. 1, с. 275, 618). Образ Николая Аполлоновича («Н. А. А.») в стихах Варвары Евграфовны соотносится и с князем Мышкиным в «Идиоте» — стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» цитируется в романе Достоевского (ч. 2, гл. VII) применительно к Мышкину, с соответствующей заменой инициалов (вместо «А. М. Д.» — «Н. Ф. Б.», т. е. Нагасья Флипповна Барашкова) (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1973, т. 8, с. 209). Н. Пустыгина в своем исследовании цитатного слоя в «Петербурге» соотносит также первую строку комментируемых стихов со строкой «Смуглолиц, высок и прям» из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас» (1855) (Тр. по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение, с. 91).

<sup>14</sup> *Апперцепция*... — (лат. ad — к и percipio — восприятие) — проявление внутренней активности души, зависимость каждого нового восприятия от прошлого опыта и общего содержания психической деятельности человека. Термин введен в оборот Г. В. Лейбницем, который под апперцепцией понимал активное самосознание монады, которое обеспечивает переход какого-либо более низкого душевного состояния (перцепции, т. е. пассивного восприятия) в сознание.

<sup>15</sup> *Герман Коген* (1842—1918) — немецкий философ и логик, глава марбургской школы неокантианства; пытался создать на основе трансцендентализма и априоризма Канта чисто гносеологическую философию, утверждал тождественность мышления и бытия и рассматривал бытие как переплетение логических отношений. Имеется в виду, по всей вероятности, его сочинение «Logik der reinen Erkenntnis» (1902). К изучению Когена, как и других философов-неокантианцев, Белый приступил осенью 1904 г.; см. также его стихотворение «Премудрость» (1907) («Урна», с. 63). В статье «Круговое движение» (1912), которая писалась параллельно с работой над «Петербургом», Белый, уже преодолев «когенпанство», с иронией писал про «спасительный логический нашатырь» когеновской логики (Труды и дпц, 1912, № 4—5, с. 69).

<sup>16</sup> «*Theorie der Erfahrung*» Когена — исследование Г. Когена «Kants Theorie der Erfahrung» («Теория познания Канта», 1871, 2-е изд. 1885). Белый изучал эту книгу в октябре 1907 г. (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 55 об.). По его словам, она «была изгрызена всей философской Москвой» («Между двух революций», с. 304).

<sup>17</sup> *Огюст Конт* (1798—1857) — французский философ и социолог, основоположник позитивизма, наиболее авторитетной и популярной философской системы

в среде русской интеллигенции во второй половине XIX в. Показателен сам характер противопоставления, в котором старший Аблоухов выступает сторонником позитивизма Огюста Конта (философия «отцов»), а сын — кантовского субъективного идеализма, столь значимого для самого Белого. Подробнее об этом каламбурном противопоставлении, комически отражающем тему «отца и сына», см.: Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург» (Тр. по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение, с. 85—86).

<sup>18</sup> *Когорта* — с конца II в. до н. э. — основная тактическая единица римской армии (600 чел.). 10 когорт образовывали легион. *Тестудо* (лат. *testudo* — черепаха) — тесно сомкнутый штурмовой отряд легионеров, образующих из поднятых над головой щитов род прикрытия. *Туррис* — осадное сооружение типа башни в римской армии.

<sup>19</sup> *Галльская война* — военные операции Юлия Цезаря против различных германских племен в Галлии (57—49 гг. до н. э.), подробно описанные самим Цезарем в «Записках о Галльской войне».

<sup>20</sup> *Джон Стюарт Милль* (1806—1873) — английский философ-позитивист, логик и экономист; строил систему логики на базе эмпирического психологизма. В кругах русской интеллигенции второй половины XIX в. считался одним из авторитетнейших мыслителей. Главный труд Милля «Система логики» (1843) многократно издавался в русских переводах; Белый изучал его, будучи еще гимназистом, по рекомендации отца, Н. В. Бугаева: «в восьмом классе он подложил „Основные начала“ Спенсера и „Логикку“ Милля, которую я одолел в университете лишь; одолевая уже в восьмом классе» («На рубеже двух столетий», с. 390; ср. с. 198, 223, 232). Таким образом, комментируемый эпизод романа также непосредственно автобиографичен. Милль наряду с Г. Спенсером и О. Контом был для Белого одним из тех «столпов» философии «отцов» — позитивизма, которых необходимо преодолеть символизмом.

<sup>21</sup> *Христоф Зигварт* (1830—1904) — немецкий логик, философ-неокантианец, автор двухтомного труда «Логика» (1873—1878; русский перевод — СПб., 1908—1909). «Логикку» Зигварта Белый изучал в октябре 1904 г. (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 49 об.). Называя ее «замечательным сочинением», Белый утверждает, что Зигварт в противоположность Миллю — «сторонник гносеологического обоснования логических проблем; он много сделал для освобождения проблем логики от всяческого психологического привкуса» («Символизм», с. 475).

<sup>22</sup> В этом указании содержится намек на биографию К. П. Победоносцева, который в 1846 г. окончил курс в Императорском училище правоведения и впоследствии занимал кафедру гражданского права и преподавал законоведение членам императорской фамилии.

<sup>23</sup> *Бундист-социалист* — член Бунда — автономной националистической еврейской организации, входившей одно время в РСДРП.

<sup>24</sup> Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» («Сеятель знания на иву народную!..», 1876), очень популярного среди радикальной и народнической интеллигенции. Искажение («сейти») нарочито, оно отражает ироническое отношение Белого к «земской деятельнице».

<sup>25</sup> Белый высмеивает здесь «мистический анархизм» — философско-эстетическую доктрину, выдвинутую Георгием Чулковым (см. его книгу «О мистическом анархизме», СПб., 1906) и получившую определенный резонанс в символистском кругу. Эклектически сочетавшие в своих построениях самые разнообразные философские, религиозные, эстетические идеи, мистические анархисты были одержимы пафосом неприятия «мира данного», что отчасти связывало их с политическим радикализмом. Белый, увидевший в мистическом анархизме «профанацию» основ символизма, подверг это учение беспощадной критике: едва ли не все его статьи 1907—1908 гг. прямо или косвенно включают в себя элемент полемики с «мистическим анархизмом». (См.: Литературное наследство. М., 1976, т. 85. Валерий Брюсов, с. 340—342). Белый попутно высмеял мистических анархистов также в «четвертой симфонии» «Кубок метелей» (1908) и в романе «Серебряный голубь» (1909).

<sup>20</sup> «Глядя на луч пурпурного заката...» — Романс на слова стихотворения «Забывали вы» поэта П. А. Козлова (1841—1891), вышедший отдельным изданием с музыкой А. А. Опшеля в 1888 г.; был популярен в начале XX в. Вторая строка приведена Белым неточно; нужно: «Стояли мы на берегу Невы» («Песни и романсы русских поэтов». М.; Л., 1965, с. 839—840, 1059). Этот романс любила петь его мать. В мемуарах Белый приводит эти же строки, ошибочно называя романс «старинным» («Между двух революций», с. 94). Там же он сообщает, что в феврале 1906 г. он и Л. Д. Блок на Неве у Зимней канавки «стояли <...> „глядя на луч пурпурного заката“, мечтая о будущем: о лагунах Венеции; отблески этого — в „Петербурге“, романе моем» (с. 81).

<sup>27</sup> Имеются в виду сцены оперы Чайковского «Пиковая дама». Белый приписывает герою оперы Герману слова ариозо Елецкого: «Я вас люблю, люблю безмерно» (действие 2, картина 3). Финал оперы — самоубийство Германа.

<sup>28</sup> «Свод законов Российской империи» — систематическое собрание законов, действовавших в России до 1917 г.; вступил в силу в 1835 г., состоял из 16 томов.

<sup>29</sup> Чрезвычайные правила — очевидно, высочайше утвержденные 12 декабря 1834 г. правила о приложении и употреблении Свода законов в производстве дел.

<sup>30</sup> ...был довременный мрак; и в мраке роилось сознание... — Истолкование библейской картины сотворения мира; ср.: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (Бытие, I, 2).

<sup>31</sup> *tabes dorsalis* (лат., мед.) — сухотка спинного мозга, форма позднего неврифиллиса.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — начальная строка одноименного стихотворения Пушкина (1833) (III, 322).

<sup>2</sup> Зеленица (диалектное) — тис, красное дерево. Таволга — листопадное кустарниковое растение семейства розовых.

<sup>3</sup> Такой статуи в истории Летнего сада не обнаружено. Возможно, что здесь — описка Белого или незамеченная им опечатка: «Иреллевская» вместо «Растреллиевская». В таком случае имеется в виду конная статуя Петра I работы Б. К. Растрелли (1675—1744), изваянная в 1743—1744 гг. по модели 1716—1720 гг. и установленная лишь в 1800 г. по повелению Павла I на площади Коннетабля, у главного подъезда Михайловского дворца (Инженерного замка).

<sup>4</sup> Бурмитские зерна — крупные, круглые жемчужины.

<sup>5</sup> Духов день — церковный праздник, непосредственно следующий за Троицыным днем. В жизни Белого этот праздник имел особый знаменательный смысл (см. примечания Н. Б. Банк и Н. Г. Захаренко в кн.: «Стихотворения и поэмы», с. 619—620).

<sup>6</sup> Ильмы — род деревьев из породы вязовых.

<sup>7</sup> Кутафья (простореч.) — неуклюже одетая женщина.

<sup>8</sup> Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721—1764) — всеильная фаворитка французского короля Людовика XV, законодательница мод.

<sup>9</sup> Blondы — род шелковых кружев ручной работы.

<sup>10</sup> *Maison Tricotons* (фр.). — Возможно, Белый имеет в виду магазин дамских мод и мастерскую «Maison Annette» (Невский, 25).

<sup>11</sup> *Chapeau Bergère* (фр.) — здесь: шляпка пастушки.

<sup>12</sup> Юбка-панье (от фр. panier — корзинка) — дамская юбка на каркасе, который крепился на талии (XVIII в.).

<sup>13</sup> Шоколадная фабрика И. Крафта помещалась на Итальянской улице 10/5 (ныне ул. Ракова).

<sup>14</sup> Кондитерская Ф. Балле находилась на Невском проспекте в доме № 54.

<sup>15</sup> Речь идет о Зимнем дворце в Петербурге, выстроенном в 1750—1761 гг. по проекту Растрелли. Первоначальная бело-голубая окраска дворца (восстановленная в 1927 г.) в XIX в. была заменена на темно-коричневую.

<sup>16</sup> *Елизавета Петровна* (1709—1761) — дочь Петра I, императрица (1741—1761); *Александр Павлович* (1777—1825) — император Александр I (1801—1825); *Александр Николаевич* (1818—1881) — император Александр II (1855—1881).

<sup>17</sup> *Тамплиеры* (фр. temple — храм) — рыцарский орден, основанный в 1119 г. крестоносцами для борьбы с мусульманами в Палестине; в 1312 г. упразднен папой Климентом V.

<sup>18</sup> *Котильон* — бальный танец, а также бальная игра с фантами. Здесь речь идет о фантах для игры.

<sup>19</sup> Подразумевается, видимо, Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — публицист, литератор, издатель. Происходил из духовной среды. До 1875 г. его публицистическая деятельность носила либерально-демократический характер. С 1876 г. — издатель реакционно-охранительной газеты «Новое время».

<sup>20</sup> *Чарльстоун* — небольшой город в североамериканском штате Виргиния, где находилась влиятельная масонская ложа; главу ее в антимасонских сочинениях называли *антипапой*. Здесь речь идет о мистификации Лео Таксила, выпустившего под псевдонимом Батайль книгу «Дьявол в XIX столетии», в которой он необоснованно обвинил масонов в демопоклонстве, сатанизме и приверженности к изуверским обрядам. Большое место в ней отведено описанию чарльстоунского «масонского» капища, деятельности «верховного жреца всемирного масонства» Альберта Пайка, именуемого Таксилем «антипапой». Альберт Пайк, по Таксилю, стоял во главе чарльстоунской ложи. Все факты в книге Таксила — вымышлены. См. подробнее: Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом. СПб., 1904, с. 315—316.

<sup>21</sup> *Контрданс* — бальный танец (кадриль).

<sup>22</sup> С образом *либерального профессора* Белый связывал неудачу, постигшую его роман в «Русской мысли»; в воспоминаниях он писал: «...я, как всегда, не тактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо; и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть; тем больнее в него я попал; он был в бешенстве» (ЛН, с. 455). Документальных подтверждений этих слов Белого не обнаружено.

<sup>23</sup> Имеется в виду Ихэтуаньское восстание (1898—1901 гг.) в северном Китае, возглавленное тайным религиозным обществом «Ихэц-юань» («Кулак во имя справедливости и мира») и направленное против империалистической агрессии и засилья христианских миссионеров в стране. Восставшие применяли комплекс даосских гимнастических приемов, напоминавших кулачный бой, европейцы поэтому называли их «боксерами». Правительство императрицы Цыси вначале поддержало ихэтуаней (летом 1900 г. они даже заняли Пекин), а затем предало их. В результате интервенции армии восьми союзных империалистических держав восстание было подавлено.

<sup>24</sup> Четверостишие (как и вся сцена появления на маскараде Николая Аполлоновича в красном домино) непосредственно связано со стихотворениями Белого «Маскарад» (1908) и «Праздник» (1908):

Гость: — немое, роковое,  
Огневое домино —  
Неживую голову  
Над хозяйкой склонено.  
(«Пепел», с. 124)

«Кто вы, кто вы, гость суровый —  
Что вам нужно, домино?»  
Но, закрывшись в плащ багровый,  
Удаляется оно.

(«Пепел», с. 130)

В стихотворениях, как и в романе, изображается появление рокового красного домино на празднестве-маскараде. Этот образ, имеющий и непосредственный автобиографический источник (см. примеч. 51 к гл. 1), восходит (особенно наглядно в стихотворении «Маскарад», где он соединяется с образом «гостыи-смерти») к рассказу Эдгарда По «Маска Красной Смерти» (1842) (ср. примеч. 20 к гл. 2). Разрешение же одинаково заданной ситуации у Э. По и в «Петербурге» противоположно: у Э. По «и Тьма, и Тлен, и Красная Смерть обрели безграничную власть надо всем» (По Эдгар Аллан. Полн. собр. рассказов. М., 1970, с. 359), а герой Белого, появившийся на маскараде с целью эпатировать публику, сам веззапно оказывается во власти провокации, вызывает жалость и насмешки. Красное домино, помимо своей сюжетной функции, воплощает идею некоего рокового предзнаменования и предостережения; впоследствии Белый прямо назовет этот образ «символом восстания» («Начало века», с. 479) и «социальной революции» («Эпопея» № 4, с. 265). Можно указать и еще на один вероятный источник образа красного домино в романе — красную свитку из «Сорочинской ярмарки» Гоголя. Белый вспоминал, что летом 1906 г. он и С. М. Соловьев переживали этот гоголевский образ как символ происходящих и ожидаемых общественных и духовных катаклизмов («Эпопея», № 3, с. 174—175, 180). Ср. использование Белым образа «маски красной смерти» в статье о Мережковском («Арабески», с. 426).

<sup>25</sup> ...конфетти... бумажная лента... — Белый спутал конфетти (кружочки из разноцветной бумаги) с серпантином (узкие разноцветные бумажные ленты).

<sup>26</sup> Ср. строки стихотворения «Маскарад» (1908):

Входит гостя, щелкнет костью,  
Взвевет саван: гостя — смерть.  
(«Пепел», с. 123).

<sup>27</sup> *Гридеперлевый* — жемчужно-серый. Ср. строки стихотворения Белого «Праздник» (1908), варьирующего те же темы бала-маскарада:

А в дверях шуршит уж трэном  
Гри-де-перлевым жена.  
(«Пепел», с. 131).

<sup>28</sup> Намек на герб Российской империи, изображающий двуглавого орла.

<sup>29</sup> Намек на герб Аблеуховых («единорог, прободающий рыцаря») и на сон-«путешествие» Аполлона Аполлоновича (глава третья, главка «Второе пространство сенатора»). Тем самым границы между сном и явью в романе как бы стираются.

<sup>30</sup> *Лео Таксиль* (настоящ. имя Габриэль Антуан Пажес; 1854—1907) — известный французский публицист, автор многочисленных произведений, направленных как против ортодоксальной церкви, так и против масонства. В 1884 г. лично вернулся в лоно церкви, выступив в печати в защиту религии, удостоился аудиенции римского папы. В 1897 г. публично объявил о своей мистификации, выпустил ряд новых антицерковных памфлетов, вызвав ненависть в клерикальных кругах.

<sup>31</sup> М. А. Орлов, пересказавший мистификаторскую книгу Л. Таксиля «Дьявол в XIX столетии» (см. примеч. 20 к гл. 4), определяет *палладизм* как «высшее масонство и (...) чистое демонопоклонство». Название восходит к Палладизму — статуе Афины Паллады — высшей святыне эллинов. (См.: Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом, с. 315).

<sup>32</sup> *Энциклика* (или Энциклика) — папское послание верующим по вопросам, касающимся всех подведомственных римскому престолу христиан.

<sup>33</sup> ...деревянную оказалась рука ∞ связку спелых колосьев. — В облике «печального и длинного» в «белом домино» запечатлен образ-символ Христа, противостоящего в общей конструкции романа и идее террора («красное домино» Николая Аполлоновича), и образу-символу Петра I — Медного всадника. До Белого

в аналогичных тонах образ Христа обрисован в романе А. М. Ремизова «Пруд»: «И кто это там посреди нищей толпы, кто это там в светлых одеждах на понурые головы возлагает руки свои, чей это голос, из скорбей выплывающий, над всеми звучит голосами: *Мир вам*» (Ремизов А. Пруд. СПб., 1908, с. 90). Белому принадлежит рецензия на этот роман (Весы, 1907, № 12, с. 54—56; «Арабески», с. 475—477). Ср. также стихотворение Блока «Вот он — Христос — в цепях и розах...» — совпадение деталей: у Блока — «светлый, немного грустный — за ним восходит хлебный злак» (Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., 1960, т. 2, с. 84); у Белого — «связка спелых колосьев». Стихотворение датировано 10 октября 1905 г., т. е. следующим днем после окончания действия романа. В обрисовке «печального и длинного» сказались и впечатления Белого от средневекового искусства Западной Европы: именно католической обрядовости свойственно скульптурное изображение Христа, выполненное в дереве. Ср. высокую оценку творчества немецкого художника и резчика по дереву Михаэля Вольгемута (1434—1519) в письме Белого к Брюсову из Мюнхена от 25 октября 1906 г. (Литературное наследство. М., 1976, т. 85. Валерий Брюсов, с. 392).

<sup>84</sup> Реминисценция из поэмы Пушкина «Медный всадник».

<sup>35</sup> Неточность Белого: сенатор Аблеухов, согласно «Табели о рангах», как действительный тайный советник мог быть только чиновником второго класса. Действительным тайным советником был и наиболее вероятный прототип Аблеухова обер-прокурор св. синода К. П. Победоносцев — соответственно чиновник второго класса.

<sup>36</sup> ... консисториальные попы... — служители духовных консисторий, специальных учреждений при епархиальных архиереях. Консистории ведали практически всеми епархиальными делами (административными, хозяйственными, судебными и пр.).

<sup>37</sup> ... бестолково захлопали в луже какие-то мягкие части... — Белый передает свои личные ощущения, испытанные им после решительного объяснения с Л. Д. Блок осенью 1906 г. и едва не толкнувшие его на самоубийство: «... мягкие части — не ноги — в обратном порядке, стремительно падая, перебирают ступени <...> И бесчувственно мягкие части захлопали прочь под пятно фонаря...» («Между двух революций», с. 97, 98).

<sup>38</sup> И ничто не светило... была ужасная темнота ∞ Тьма объяла его... — Антиномия по отношению к евангельскому утверждению: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Евангелие от Иоанна, I, 5).

<sup>39</sup> «Как в кого? В вас, ваше высокопревосходительство, в вас!» — Возможная реминисценция из «Преступления и наказания» Достоевского (ч. 6, гл. II) — слова Порфирия Петровича Раскольникову: «Как кто убил?.. <...> да вы убили, Родион Романович, вы и убили-с...» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1973, т. 6, с. 349). Ср. первую главу «В час дня, ваше превосходительство» в «Рассказе о семи повешенных» Л. Н. Андреева (1908).

<sup>40</sup> Мумия фараона Рамзеса II (1317—1251 до н. э.) хранится в Булакском музее (Египет), где ее и видел Белый в марте 1911 г. В его восприятии мумия оказывалась странном образом связанной с живой современностью. В воспоминаниях Белый пишет про «Булакский музей с возлежащей в нем, как живой, мумией фараона Рамзеса II, разительно улыбающегося из стеклянного гроба белым зубом своим, с которого не стерта эмаль; и казалось, что встанет: надев модный смокинг, пройдет по проспекту весьма фешенебельно, замешиваясь в уточненные пары из леди и джентльменов в белейших костюмах...» (ЛН, с. 429). Это впечатление нашло отражение в путевых заметках Белого «Египет» («...на каирском проспекте, среди бела дня настагает вас Рамзес II-ой, фараон». — Современник, 1912, № 6, с. 209) и в его книге «На перевале. I. Кризис жизни» (с. 26).

<sup>41</sup> «Слово и дело!» — это выражение (с XIV в. до эпохи Екатерины II) означало, что произносивший его имеет доказать важное дело, касающееся до государственной особы. Последствием этого было привлечение как доносчика, так и прикосновенных лиц к разбирательству в Тайной канцелярии.

<sup>42</sup> Намек на убийство В. К. Плеве. См. примеч. 10 к гл. 1.

Возможно, намек на убийство ген-губернатора Москвы вел. кн. Сергея Александровича (4 февраля 1905 г. в Московском Кремле). Этот террористический акт и убийство В. К. Плеве объединялись в сознании Белого: «был убит Плеве и бомбою разорвали великого князя Сергея» («Между двух революций», с. 6). «В тот презд из Шахматова узнал о смерти Плеве. Теперь — опять смерть», — писал Белый об убийстве великого князя Блоку между 6 и 8 февраля 1905 г. («Переписка», с. 123).

<sup>44</sup> Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831) (III, 270).

<sup>45</sup> Неточная цитата из одноименного стихотворения Пушкина. У Пушкина:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —  
Летят за днями дни, и каждый час уносит  
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем  
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.

(III, 330)

## ГЛАВА ПЯТАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 6; стихи Ленского). 3-я строка у Пушкина: «А я, быть может, я гробницы» (VI, 126).

<sup>2</sup> Кармин — естественный краситель, приготовляемый из кошенили — щитковых тлей.

<sup>3</sup> ... гигант в сапожищах... чернобрый, черноволосый, с маленьким носиком, с маленькими усами. — Видение Петра I, сопутствующее Николаю Аполлоновичу и Морковину и далее.

<sup>4</sup> «Уймись, волнения страсти...» — Романс М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова «Английского романса» Н. В. Кукольника (см.: «Песни и романсы русских поэтов». М.; Л., 1965, с. 565, 1030). Слова этого романса — один из лейтмотивов четвертой симфонии Белого: ее третья часть называется «Волнения страсти», строки романса многократно цитируются в «симфонии», приобретая значение разлуки с вечностью и томления души по запредельному — «неизвестной родине» (Белый Андрей. Кубок метелей. Четвертая симфония. М., 1908, с. 145—146, 171—173, 196—199). Строку из этого романса «Не верю, не верю обетам коварным» Белый цитирует в письме Блоку (ноябрь 1903 г.) («Переписка», с. 57).

<sup>5</sup> Аллаш — гминная водка.

<sup>6</sup> «О, не думайте, чтобы узы те... были связаны с пролитием крови...» — Реминиценция бесед Раскольникова и Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» Достоевского, в которых идея «пролития крови» является основной нравственной проблемой.

<sup>7</sup> В этих словах сыщика Морковина, провоцирующего Николая Аполлоновича, можно увидеть отражение сюжетной коллизии романа Достоевского «Братья Карамазовы» (см. ч. IV, кн. I, гл. VIII): Смердяков, убийца Федора Павловича Карамазова и его незаконнорожденный сын (матери Смердякова Лизавете Смердящей как бы соответствует в романе Белого «домовая белошвейка»), сообщает о совершенном преступлении своему идейному «вдохновителю» Ивану Федоровичу Карамазову; провокация отцеубийства — центральная сюжетная линия «Петербурга». Имеется и еще одно совпадение, свидетельствующее о верности творческой интуиции Белого: из подготовительных материалов к «Братьям Карамазовым» выясняется, что одним из источников образа Смердякова был образ полицейского сыщика Жавера (также незаконнорожденного) из романа Виктора Гюго «Отверженные» (см.: Кийко Е. И. Из истории создания «Братьев Карамазовых» (Иван и Смердяков). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976, т. 2, с. 125—129).

<sup>8</sup> «„Уайт-роза“ — духи фабрики Аткинсона» — прокомментировал Белый строку из своей поэмы «Первое свидание» (1921): «Влюбляясь в розы Аткинсона» («Стихотворения и поэмы», с. 407).



<sup>9</sup> Герой романа идентифицируется здесь с Евгением, героем поэмы Пушкина «Медный всадник», убегающим от «кумира на бронзовом коне».

<sup>10</sup> Национальный и коммерческий флаг Российской империи.

<sup>11</sup> Четверостишие написано самим Белым. Ср.: Белый Андрей. Котик Летаев. Пб., «Эпоха», 1922, с. 57.

<sup>12</sup> *Джиу-джицу* (Джу-Джицу) — японская система самозащиты и нападения без оружия, сложившаяся в XIII—XIX вв. у самураев.

<sup>13</sup> Образ «беззаконной кометы» восходит к стихотворению Пушкина «Портрет» («С своей пылающей душой...», 1828):

Как беззаконная комета  
В кругу расчисленном светил  
(III, 112).

См. также стихотворение Ап. Григорьева «Комета» (1843), генетически связанное со стихотворением Пушкина (Григорьев Аполлон. Избранные произведения. Л., 1959, с. 84).

<sup>14</sup> *petit-jeu* (от франц. *petit-jeux* — маленькие игры) — салонные игры: шарady, буриме, экспромты, эпиграммы, надписи к живым картинам и др.

<sup>15</sup> В этот миг в окна глянуло солнце ∞ Но солнце ему показалось громаднейшим тысячелатым тарантулом... — Контаминация двух основных линий отношения к солнцу, которые сложились в поэзии начала века: одна из них связана непосредственно с именем самого Белого — см. его стихотворения «Золотое руно», «Солнце», «За солнцем» и др. в кн. «Золото в лазури» (1904), отчасти Вяч. Иванова — см. его стихотворный цикл «Солнце-сердце» в кн. «Cor ardens» (М., 1911); другая — преимущественно с именем Ф. Сологуба, во многих стихотворениях и прозе которого солнце уподобляется огненному, пожирающему «змию» или «дракону».

<sup>16</sup> ... с двенадцатью гувернантками ∞ олицетворенный кошмар. — Ср. стихотворение Белого «Кошмар среди бела дня» (1903), в котором описывается прогулка пансионера (под escortом пепивьерок («пепивьерка — гувернантка») (Белый Андрей. Золото в лазури. М., 1904, с. 101—102).

<sup>17</sup> *Каролиной Карловной* звали первую бонну Белого, занимавшуюся с ним немецким языком в январе 1884 г. (см.: Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 1).

<sup>18</sup> *Пёпп Пёппович Пёпп*... — В этом детском бреде Николая Аполлоновича нашли отражение переживания Белого, вызывавшиеся его гимназическим преподавателем латыни Казимиром Клементьевичем Павликовским; Белый ощущал его «мучителем», а себя соответственно «жертвой» распространяемой им «атмосферы» («На рубеже двух столетий», с. 298—305). «Он семь лет мучил каким-то несказанным ужасом, вызывая меня на истерические припадки испуганности, которые он смирял единицей», — признавался Белый в письме к А. Блоку от 18 или 19 декабря 1904 г. («Переписка», с. 115). Белый и С. Соловьев полушутовливо усматривали в латинисте воплощение «темного» начала; С. Соловьев писал Белому 2 сентября 1903 г. в связи с таким недавно происшедшим «светлым» событием, как свадьба Блока: «... Казимир Клементьевич болеет, и липо его приняло темнобронзовый оттенок. Он производит такое впечатление, как будто он совершенно подавлен блоковской свадьбой и чувствует, что его царство приходит конец» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 3). В «Записках чудака», рассказывая о латинисте, Белый называет его «Казимир Кузмич Пепп» и пространно повествует о своих гимназических переживаниях в снах с участием Казимира Кузмича (Белый Андрей. Записки чудака. М.; Берлин, 1922, т. 2, с. 165—185). Ср.: «... смутно чулось мне: Казимир Кузмич Пепп вел подкоп под меня; понял я: будет день; и — взлетит моя комната; стены развалятся; бреши и дыры проступят отчетливо; в дыры войдут „Казимир Кузмичи“ из подземного мира: в естественном, в дочеловеческом образе — прямо к нам в классы; произойдут кавардаки...» (там же, с. 179).

<sup>19</sup> Имеются в виду сочинения древнеиндийских философов-буддистов, в частности Дхармакирти, переведенные на тибетский язык и включенные во вторую по значению (после Ганджура) сборник ламаистской литературы — Данджур.

<sup>20</sup> *Дармакирти* (Дхармакирти; VII в.) — крупнейший индийский теоретик логики буддийской школы, автор семи логических трактатов, являющихся основным трудом для всей последующей буддийской литературы по этому предмету. *Дармоттара* (вторая половина IX в.) — индийский философ и логик, автор как оригинальных сочинений, так и толкований на произведения Дхармакирти. Белый имеет в виду издание: Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1. Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары. СПб., 1903. Эта книга находилась, по всей вероятности, в личной библиотеке Белого: известно, что В. Я. Брюсов запрашивал у него в феврале 1904 г. ее точное название и выходные данные, которые Белый и сообщил ему в ответном письме (Литературное наследство, М., 1976, т. 85. Валерий Брюсов, с. 374). Перечисляя в автобиографической поэме «Первое свидание» (1921) увлечения юности, Белый упоминает, что среди них был и «великий делом Дармоттарра...» и поясняет в примечании: «Дармоттарра — буддийский логик, последователь и комментатор философа Дармакирти (школа Дигнаги)» («Стихотворения и поэмы», с. 407).

<sup>21</sup> ... в атмосфере двухсот семидесяти трех градусов холода. — Употреблено, видимо, по аналогии с романом Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. IV, кв. 11, гл. IX), где черт в разговоре с Иваном утверждает, что в надземных пространствах «мороз в сто пятьдесят градусов ниже нуля!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1976, т. 15, с. 75).

<sup>22</sup> Понятие «астрального путешествия» неоднозначно истолковывается в различных школах оккультизма. В данном случае, видимо, речь идет о временном оставлении души тела мага и перемещении ее в пространстве и во времени в особом измерении.

<sup>23</sup> *Кон-Фу-Цзы* (Конфуций; 551—479 до н. э.) — китайский мыслитель, политический деятель и педагог, создатель оригинального этико-политического учения, оказавшего огромное влияние на развитие общественно-политической и философской мысли в Китае и ставшего со временем основой официальной феодальной идеологии Китая.

<sup>24</sup> *Митра* — головной убор епископов, архимандритов, протопресвитеров и протоприерев русской православной церкви.

<sup>25</sup> ... с хроническим видом... — каламбур: значение прилагательного «хронический» (затяжной или периодически возобновляющийся, длительный, постоянный) совмещается со значением имени «Хронос».

<sup>26</sup> *Хронос* — абсолютное время в орфической космогонии, одно из мировых начал наряду с Зевсом (принцип жизни) и Хтонией (земное начало). Из семени Хроноса, по Ферекиду из Сирова, возникли огонь, воздух и вода, а из этих стихий — различные поколения богов. В других орфических сочинениях Хронос — первоначальное время, создавшее из эфира и хаоса серебряное яйцо, из которого вышел первоорожденный из богов Фанет (Эрот), носитель всех зародышей мира. Хронос как символ времени изображался с косой в руке.

<sup>27</sup> *Нирвана* (санскритск. — угасание) — одно из основных понятий буддийской философии и религии, означает цель «пути освобождения» и завершение религиозной жизни, некую высшую святость. Нирвана описывается в противопоставлении с признаками обусловленных вещей: это вечность, бессмертие — в противоположность изменчивым, непостоянным вещам; покой и прекращение страдания — в противоположность миру, полному волнений и страдания; убежище, освобождение, конец всего сущего. Буддизм различает нирвану при жизни, т. е. состояние святого, преодолевшего страсти и жажду жизни, но еще сохранившего элементы существования, и нирвану полную — блаженную кончину, за которой не могут последовать новые перерождения. Нирвана как духовная сфера — одно из понятий теософии (см., напр.: Безант Анни. Древняя мудрость. СПб., 1910, с. 120—121).

<sup>28</sup> ... в испорченной крови арийской... — Арийские народы и языки принадлежали к индоевропейской языковой общности. В более узком значении — индоиранские народы. На этой основе возникло представление об арийской расе. В теософской эволюции человечества арийская раса — пятая. Ср. пояснения Белого о Николае Аполлоновиче: «... он сознает, что „монгол“ — его кровь; ощущает туранца в себе, ощущает арийство свое оболочкою, домино; так „кровавое домино“ (революция) есть покров, под которым таится туранец <...>» («Эпопея», № 4, с. 263).

<sup>29</sup> Образ *Дракона* как мировой силы, противостоящей благому божественному началу, восходит к Апокалипсису: «... и поклонились дракону, который дал власть зверю» (XIII, 3). Вероятно также воздействие на Белого Вл. Соловьева, у которого этот образ возникает (в стихотворении «Дракон», 1900) в связи с «восточной» опасностью:

Из-за кругов небес незримых  
Дракон явил свое чело, —  
И мглю бед неотразимых  
Грядущий день заволокло.

(Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 136; см. также с. 310—311).

<sup>30</sup> ... старая туранская бомба... — Туран — географический термин, не имеющий точно установленного значения. Употребляется главным образом в противоположение термину Иран: Иран — страна арийцев, Туран — страна тюркских народов.

<sup>31</sup> *Срединная империя* (Чжунь-го) — официальное название Китая в эпоху династии Чжоу (1122—249 до н. э.); употреблялось и позднее, хотя каждая царствовавшая династия переименовывала государство в соответствии со своей фамилией. В «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьев называет так провидимое им всемирное государство грядущего «панмонголизма».

<sup>32</sup> *Кубовый* — ярко-синий густого оттенка.

<sup>33</sup> Белый пародийно воспроизводит здесь свои представления о «ценности», составляющие «иерархию основных суждений гносеологической метафизики», которые были разработаны им (в пору его изучения неокантианской философии) в статье «Эмблематика смысла» (1909). Обосновывая в ней природу символа, Белый разбивает текст на параграфы и в каждом из них располагает свои утверждения в строгой последовательности формул: «Символ есть единство. Единое есть ценность. Ценность есть долженствование. Долженствование есть истинность» и т. д. См.: «Символизм», с. 123—125, 131—132, 139—140 и др.

<sup>34</sup> Здесь и далее Белый использует и совмещает несколько значений понятия *Сатурн*. 1. Шестая по порядку от Солнца планета солнечной системы. 2. Сатурн (лат. Saturnus) — в древнеиталийской религии бог посевов, покровитель земледелия, отождествлявшийся с древнегреческим титаном Кроном (Хроносом), с которыми связывались представления о «золотом веке» и абсолютном времени. С помощью других титанов Крон оскопил и свергнул отца, взяв власть над миром. «Крон женился на сестре Рее и, так как Гея и Уран предрекли ему, что власть у него отнимет его собственный сын, стал пожирать рождавшихся у него детей» (Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972, с. 5). Рее удалось спасти младшего из детей, Зевса, который, став взрослым, начал войну с Кроном и титанами, одержал победу и заключил побежденных в Тартар. К мифу о Кроне и Зевсе (Крониде) Белый возводит ситуацию между отцом и сыном Аبلеуховыми. 3. Сатурн — стадия в развитии мира; это значение развивалось в теософском и антропософском учениях. «В тайноведении Сатурн, Солнце и Луна суть названия для прошлых форм развития, через которые прошла Земля» (Штейнер Рудольф. Очерк тайноведения. М., 1916, с. 130). Согласно подобным представлениям, Земля прошла через три предшествующих состояния; Сатурн — первое воплощение планеты — состоит из тепловых тел; теплота — качество, характеризующее состояние

Сатурна в начальный период развития. Ср. строки стихотворения М. А. Волошина «Сатурн».

О пращур Лун и Солнц — вселенная Сатурна!  
Где ткало в дымных снах сознание — паук  
Живые ткани тел, а тело было звук <...>

(Вестник теософии, 1908, № 3, с. 72). По-своему перелагает положения Штейнера о Сатурне Белый в поэме «Глоссолалия»: «Действо жизни Начал, теплота, была суммой термических колебаний во времени: времена истекли из Начал. Протекал первый день: назывался Сатурном» (Белый Андрей. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин, 1922, с. 38—39 и сл.). Ср. интерпретацию «учения о семичленности плоти» и представлений о семи стадиях вселенной согласно «космологии духовной науки» в книге Андрея Белого «О смысле познания» (Пб., 1922, с. 65—67).

<sup>35</sup> Согласно «тайноведческим» представлениям, человек выступает в четвертом из планетарных воплощений (Земля).

<sup>36</sup> *Атлантида* — легендарная страна, главным источником сведений о которой являются диалоги Платона «Тимей» и «Критий», богатое и цветущее государство — «остров, превышающий величиной Ливию и Азию, ныне же он провалился вследствие землетрясений и превратился в непроходимый ил, заграждающий путь мореходам» (Платон. Соч. в трех томах. М., 1971, т. 3, ч. 1, с. 547). Существование и исчезновение Атлантиды были предметом споров еще со времен античности. Теософия рассматривала Атлантиду как особую эпоху в развитии мира и человечества (четвертая, атлантическая раса); живое воспоминание об атлантической эпохе сохранила Индия («индийская») культура характеризует в теософии первый послеплатонический земной период; пятая — арийская раса произошла из пятой подрасы атлантов) — см. главу «Развитие мира и человека» в кн.: Штейнер Рудольф. Очерк тайноведения, с. 119—284. Среди русских символистов особенно пристально проблему Атлантиды разрабатывал В. Я. Брюсов, выпустивший в свет специальное исследование об этом — «Учители учителей» (1917) (см.: Брюсов В. Собр. соч. В 7-ми т. М., 1975, т. 7, с. 275—437, 481—494).

<sup>37</sup> *Богдыхан* (от монг. богдохан — священный государь) — традиционное в России наименование китайских императоров.

<sup>38</sup> *Тамерлан* (Тимурленг, Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский полководец, один из мировых завоевателей, предпринимавший из Средней Азии опустошительные набеги на Персию, Индию, Китай.

<sup>39</sup> ... *прискакала в эту Русь на своем степном скакуне...* — Вероятная реминисценция первых строк стихотворения Блока (1905):

Прискакала дикой степью  
На вспененном скакуне.

(Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., т. 2, 1960, с. 86).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из поэмы Пушкина «Медный всадник» (V, 148).

<sup>2</sup> *Фурии* (Эринии, Эвмениды) — у древних греков и римлян — богини проклятия и мщения за преступления против богов, кровных родственников и обычаев.

<sup>3</sup> *Откровение* — «Откровение святого Иоанна Богослова» (Апокалипсис).

<sup>4</sup> *Серафим Саровский* (1760—1833) — иеромонах Саровского монастыря (пустыни), прославился как подвижник (был долгие годы отшельником, молчаливиком, затем затворником); в начале XX в. канонизирован православной церковью. Тысячаочная молитва — один из совершенных Серафимом религиозных подвигов, который заключался в том, что он в течение тысячи ночей молился на камне в лесу, повторяя то же самое в дневное время у себя в келье. (См.: Летопись

Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардаатовского уезда. Составил священник Л. М. Чичагов. М., 1896, с. 56—57, 81). Образ Серафима пользовался в символистских кругах большой популярностью; о нем высоко отзывался и Р. Штейнер (см.: Woloschin Margarita. Die grüne Schlange. Lebenserinnerungen. Stuttgart, 1968, S. 251), по совету которого М. В. Сабашникова (Волошина) написала и выпустила в свет краткое «житие» Серафима (Сабашникова М. В. Святой Серафим. М., 1913); друг Белого, поэт, критик и переводчик Эллис (Л. Л. Кобылинский) называл его в своей позднейшей книге «Alexander Puschkin, der religiöse Genius Russlands» (1948) одним из величайших людей России. Сам Белый хорошо знал «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», которую считал своей «настоящей книгой» (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 25 об.). В письме к Э. К. Метнеру от 3 марта 1903 г. он утверждал, что Серафим — «единственно несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент» (ГБЛ, ф. 167, карт 1, ед. хр. 10).

<sup>5</sup> *Халда* (просторечн.) — грубая, наглая женщина.

<sup>6</sup> *Это — я... Я гублю без возврата...* — Эту фразу сам Белый трактовал в автобиографическом смысле: «Ужасы капитализма осознал я всегда; но теперь я пережил эти ужасы с новой, прямо-таки сумасшедшей яркостью, как нечто направленное на меня лично; и не совсем верил я, будто ужасы эти — механический результат социального строя; мне виделся заговор; чудилось: нечто крадетесь со спины; виделся почти „лик“, подстергающий в тених кабинета; и слышался почти шепот: — Я, я! Я — гублю без возврата! Фразу эту позднее я — вставил в роман „Петербург“ (в сцену бреда сходящего с ума истерика-революционера, наделив его переживаниями, меня охватившими)...» («Между двух революций», с. 315). В романе эта фраза соотнесена с образом Медного Всадника.

<sup>7</sup> *Сколопендра* — ядовитое насекомое из семейства многоножек, распространена главным образом в странах с теплым климатом; укусы чрезвычайно болезненны.

<sup>8</sup> Имеются в виду скульптурные группы юношей с конями работы П. К. Клодта (1843), которые украшают Аничков мост через Фонтанку.

<sup>9</sup> *Дионис* (Вакх) — в древнегреческой мифологии бог живой силы природы, а также вина. С расцветом и увяданием природы во время годового цикла связан миф о страдании и смерти Диониса, а затем о его воскресении. Белый воспринимал Диониса в русле концепции Ф. Ницше, выдвинутой им в книге «Рождение трагедии из духа музыки» («Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik», 1871), где Дионис, противопоставляемый Аполлону, есть символ дисгармонии, хаотической страстности, «ночной» стороны души. На Белого оказала также большое влияние развивавшая концепцию Ницше книга Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» (1903), напечатанная в журналах «Новый Путь» (1904, № 1—4, 8, 9) и «Вопросы жизни» (1905, № 6, 7).

<sup>10</sup> *Псевдогаллюцинации* — ненормальное психическое состояние, при котором человека посещают необычные видения, образы, ощущения. В отличие от галлюцинаций (т. е. действительных обманов чувств) псевдогаллюцинации не имеют прямых аналогий с тем, что возможно в действительности; это, по характеристике известного в начале века врача-психиатра В. Кандинского, — явления, не имеющие «характера объективной действительности», но осознающиеся самим субъектом «как нечто субъективное, однако вместе с тем, — как нечто аномальное, новое, нечто, весьма отличное от обыкновенных образов воспоминания и фантазии» (Кандинский В. Х. О псевдогаллюцинациях. Критико-клинический этюд. СПб., 1890, с. 25—26). Этот термин Белый упоминает во «2-й симфонии» в ситуации, имеющей сходство с эпизодом из «Петербурга», вложив его в уста «зелено-бледного горбача»: «К нему пришел двоюродный брат и пожаловался на страдания свои: говорил, как по вечерам ему кажется, что предметы сходят с мест своих. Горбач потрепал по плечу нервного брата и заметил добродушно, что этим нечего смущаться, что это „псевдогаллюцинации д-ра Кандинского“» (Белый Андрей. Симфония (2-я, драматическая). М., 1902, с. 33); Белый приводит здесь же примечание: «См.: Курс психиатрии Корсакова» (т. е.: Корсаков С. С. Курс психиатрии. М., 1893; в этой книге на с. 391 дано описание псевдогаллюцинаций).

<sup>11</sup> Образ «модерниста», переживающего «ощущение бездны», возникал и раньше в произведениях Белого; в частности, в статье «Штемцелеванная калоша» (1907) иронически изображен «петербургский модернист», попирающий «бездну» калошами: «Всякий смысловый, благословитанный человек прекрасно знает, что слово „бездна“ — жаргон в стиле модерн. И бездны нет никакой под резиновой калошей петербургского модерниста: есть сквольская панель, а под ней — болото. Но об этом — ни гу-гу!» («Арабески», с. 344).

<sup>12</sup> См. истолкование Белым аллегории («изображенного понятия») в связи с разрабатываемой им теорией символизма в статье «Эмблематика смысла» и комментариев к ней (1903) («Символизм», с. 90—92, 500—502). Противопоставление аллегории символу и аллегоризма в искусстве символизму — одно из основоположений символистской эстетики.

<sup>13</sup> *Стихийное* (эфирное, жизненное) тело, согласно теософскому учению, — «эфирный двойник» серо-лилового или серо-голубого цвета, насквозь проникающий физическое тело человека и служащий проводником для жизненных токов, действующих на материальный организм; обычно подобное «отделение» наступает вместе со смертью. Ср. с ощущениями Николая Аполлоновича и объяснениями Дудкина описание сверхчувственных переживаний «вне тела», приводимое Р. Штейнером: «Когда человек начинает воспринимать не чувственным телом, но вне его — телом стихийным, то он переживает мир, неведомый восприятиям внешних чувств и обыкновенному рассудочному мышлению <...> При переходе в стихийное тело ощущаешь как бы расширение своего собственного существа <...> Былаешь тогда совершенно исторгнут из мира внешних чувств и рассудка, и, однако, переживаешь все так же, как в обычной жизни <...> Потом чудится, что видишь в стенах вокруг себя трещины. Хочется сказать самому себе или лицу, стоящему рядом с тобой: дело плохо; молния ударила в дом, она настагает меня <...> И после того, как пройдет целый ряд таких представлений, внутреннее переживание переходит опять в обычное душевное состояние» (Штейнер Рудольф. Путь к самопознанию человека. В восьми медитациях. М., 1918, с. 23, 45, 18—19).

<sup>14</sup> Вероятно, Белый имеет в виду утверждение в диалоге Платона «Федон», согласно которому «сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов»; при этом Платон ссылается на древний орфический стих «много тирсоносцев, да мало вакхантов», ставший поговоркой (Платон. Соч. в трех томах. М., 1970, т. 2, с. 29, 500). Вакханты (бакханты) — участники празднеств в честь Вакха (Диониса); тирс — непременный атрибут вакхических празднеств.

<sup>15</sup> Ср. газетное сообщение: «В Кутаисе. 7-го вечером, во время спектакля русской труппы, в зрительном зале раздался голос: „Граждане, почтим князя С. Н. Трубецкого!“ Весь театр поднялся, как один человек. Порядок спектакля нарушен не был» (Биржевые ведомости, № 9066, 1905, 8 октября, вечерний выпуск).

<sup>16</sup> Белый неточно указывает на событие, происшедшее в Тифлисе 7 октября 1905 г.: «В 10 ч. утра, близ сада Муштаид, на околоточного надзирателя Саникидзе, открывшего фабрику бомб в Авчалае летом, произведено покушение посредством разрывной бомбы. При взрыве легко ранен Саникидзе, 2 женщины и 1 мужчина. Преступник, по которому безуспешно стрелял Саникидзе из револьвера, успел скрыться, перескочив через ближайший забор» (Новости дня, Москва, 1905, 8 октября; об этом случае сообщили и другие петербургские и московские газеты).

<sup>17</sup> В дни Всероссийской октябрьской политической стачки волнения и манифестации проходили в Петербургском, Московском, Одесском, Юрьевском, Варшавском, Казанском, Томском, Рижском, Киевском и других университетах.

<sup>18</sup> Вероятно, Белый имел в виду сходку рабочих Мотовилихинского завода в Перми 8 октября 1905 г. (см.: Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. М.; Л., 1955, ч. 2, с. 17—18).

<sup>19</sup> Указание на забастовку рабочих ревельского завода «Двигатель» 7 октября 1905 г. (см.: Русские ведомости, 1905, № 263, 8 октября).

<sup>20</sup> *Игнатий Николаевич Потапенко* (1856—1928) — беллетрист и драматург, широко популярный в 1880—1890-е гг. Белый, по-видимому, опирается на газетное сообщение: «И. Н. Потапенко закончил пьесу „Новая жизнь“ в 4 д. Пьеса пойдет в театре Литературно-Художественного общества» (Биржевые ведомости, № 9071, 1905, 12 октября, утр. вып.). В театре Литературно-Художественного общества пьеса была впервые поставлена 3 декабря 1905 г. Белый иронически упоминает название пьесы, подчеркивая несоответствие революционных событий и устаревшего банально-правовучительного творчества Потапенко. «В „Новой Жизни“ сказался весь г. Потапенко со всем его бодрым, но узеньким мирозерцанием», — отменил рецензент Ст. Т. (И. М. Хейфиц) (Одесские новости, № 6848, 1906).

<sup>21</sup> Вечером 6 октября 1905 г. отказались продолжать работу машинисты товарных поездов Московско-Казанской железной дороги; с 3 часов дня 6 октября движение на этой дороге было совершенно прекращено. Забастовка на Московско-Казанской железной дороге положила начало всеобщей забастовке железнодорожников.

<sup>22</sup> Забастовка на Московско-Курской и Московско-Нижегородской железных дорогах началась 8 октября 1905 г. (Муромская железная дорога — Муромская линия Московско-Нижегородской железной дороги), на Московско-Виндаво-Рыбинской — 10 октября. Движение поездов прекратилось также на Московско-Ярославско-Архангельской, Московско-Киево-Воронежской, Московско-Брестской и Николаевской железных дорогах.

<sup>23</sup> 2 октября 1905 г. на общем собрании петербургских типографских рабочих было решено, выражая солидарность с наборщиками московских типографий, бастовавших с 21 сентября по 3 октября, прекратить работу на три дня. 4 октября не вышли столичные газеты; в этот же день войсками была разогнана депутация от наборщиков в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Выход петербургских газет возобновился лишь 7 октября.

<sup>24</sup> Забастовка на Невском судостроительном и других заводах по Шлиссельбургскому тракту началась 4 октября 1905 г. Согласно донесению петербургского градоначальника В. А. Дедюлина от 5 октября 1905 г., «число рабочих, прекративших работы на Невском судостроительном, Александровском механическом и Трубопрокатном заводах, а равно на Снасско-Петровской мануфактуре и ситценабивной фабрике Паля, составляет 14 000 чел.» (Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, ч. 1, с. 348—349; ср.: ч. 2, с. 511—512).

<sup>25</sup> *Зоя Захаровна Флейш*. — Fleisch (нем.) — мясо.

<sup>26</sup> Белый использовал здесь характерную черту поэта-символиста, переводчика и критика Эллиса (Л. Л. Кобылинского). В воспоминаниях Белый пишет о нем: «Увидев прекрасно сервированный стол с вазой дюшесов, испытывал колик голода <...> голодный Эллис, не бравший сутками ничего в рот, набивал желудок дня на два дюшесами: ваза пустела к ужасу хозяек <...>» («Начало века», с. 52).

<sup>27</sup> *Шемаха* — город в Азербайджане, в IX—XVI вв. был резиденцией ширваншахов. *Исфахан* (Исфахан) — город в центральной части Ирана, второй по значению в стране, в XVI—XVII вв. — столица государства. В данном случае допущен анахронизм: речь идет о начальных событиях Иранской революции 1905—1911 гг. — столкновениях между сторонниками конституционных реформ и феодальной реакцией, в частности, в Исфахане летом 1906 г. Возможно, Белый также подразумевает другой эпизод Иранской революции — вооруженное восстание в Исфахане в январе 1909 г. и изгнание шахского губернатора. См.: Берар В. Персия и персидская смута. [СПб.], 1912, с. 123.

<sup>28</sup> *Младоперсы* (название образовано по словообразовательной модели: младотурки, младоафганцы и т. д.) — сторонники конституционных реформ, участники Иранской революции.

<sup>29</sup> «*Со страхом Божиим и верою приступите*» — слова, возглашаемые дьяконом во время православной литургии (см.: Никольский К. Руководство к изучению богослужения православной церкви. СПб., 1901, с. 126—127).

<sup>30</sup> ... *усилие — без мысли, без чувства: понять... ∞ казалось, он плачет.* — В характеристике внутреннего мира Липпанченко Белый, возможно, опирался на суждения Р. Штейнера о смысле личности провокатора Е. Ф. Азефа. Слова Штейнера об Азефе приводит в своих воспоминаниях М. В. Сабашникова (Волошина): «Посмотрите на это лицо, на этот лоб — он не способен мыслить. Посмотрите на нижнюю часть лица, она показывает непреодолимую бычью силу действия, без участия воли. Он должен беспрепятственно выполнять действия, продиктованные чужой волей. Поэтому и кажется он таким смелым. Но он выполнял только то, чего требовала полиция или чего хотели революционеры. И он был искренен, когда оплакивал их гибель» (Woloschin Margarita. Die grüne Schlange, S. 216).

<sup>31</sup> ... *приподнять бы им веки!*... — Реминисценция из повести Н. В. Гоголи «Вий»: «„Подымите мне веки: не вижу!“ — сказал подземным голосом Вий — и все соннице кинулось подымать ему веки» (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. [Л.], 1937, т. II, с. 217).

<sup>32</sup> *Химера* (древнегреч. миф.) — чудовище с львиной головой, длинным языком, козьим туловищем и змеиным хвостом.

<sup>33</sup> *Фаланги* (сольпуги, бихорхи) — один из отрядов класса паукообразных; распространены в основном в южных областях, укусы не ядовиты. *Тарангулы* — общее название для нескольких широко распространенных видов пауков, укусы которых не ядовиты, но очень болезненны.

<sup>34</sup> *Мишей она его тогда назвала.* — Возможно, скрытый намек на Михаила архангела, одного из семи архангелов, вождя «небесного воинства» в борьбе с силами ада, тем более что речь идет о герое романа (Дудкине), одержимом «бесовщиной».

<sup>35</sup> Все эти стихи принадлежат Белому; стилизация под частушку. Ср.:

Купи, мамонька, на платье,  
Постарайся кумачу:  
У милого есть рубашка —  
Однородного хочу.

(Частушка. М.; Л., 1966, с. 157).

<sup>36</sup> Стихи принадлежат Белому. В рукописи романа стихотворение завершают две зачеркнутые строки, поясняющие, что в данном случае имеется в виду конкретное событие:

Кукуевскую катастрофу,  
Где б ни был, запомни везде

(ИРЛИ, ф. 79, оп. 3, ед. хр. 24, л. 223). Речь идет о железнодорожной катастрофе, которая произошла 30 июня 1882 г. около деревни Кукуевки, между станциями Чернь и Бастыево Московско-Курской железной дороги. Вследствие обвала насыпи, размытой дождями, на этом участке перегона потерпел крушение почтовый поезд № 3, большая часть вагонов которого ушла глубоко в землю, заживо похоронив не менее 150 пассажиров» (примеч. Ю. Г. Оксмана в кн.: Гаршин В. М. Письма. М.; Л., 1934, с. 493).

<sup>37</sup> ... *лицо персидского подданного ∞ это лицо он видал в одной гельсингфорской кофейне...* Картины бреда Дудкина навеяны Белому отчасти обстоятельствами душевной болезни С. М. Соловьева в конце октября—ноябре 1911 г., впечатления от которой наложились на темы и образы «Петербурга». 26 ноября 1911 г. Белый писал Блоку: «... все, что Ты пишешь мне, полунамеками *более чем знакомо: желтая прелесть* — поддайся и — автомобиль, татары, японские гости, далее — Финляндия, или „*ничто*“, имеющееся в Финляндии, далее — Гельсингфорс, Азеф, революция — та же все гамма <...> Случай с Сережей ужасно меня застиг, в две недели измучился я с Сережей: ведь одна из *преследующих его ныне идей* — лицо восточного человека» («Переписка», с. 280).

<sup>38</sup> *Апаши* — парижские хулиганы, участники уличных беспорядков.



<sup>39</sup> *Кэк-уок* (кекуок) — танец американских негров, вошедший в моду в начале XX в. в Европе и Америке. «На минутку сделался было модным мотив кекуока <...> Однако этот негритянский танец был вскорости позабыт», — писал Куприн в рассказе «Гамбринус» (1906) (Куприн А. И. Собр. соч. В 9-ти т. М., 1971, т. 4, с. 352). См. шуточное стихотворение И. Ф. Анненского «Кэк-уок на пимбалах» (1904) (Анненский Иннокентий. Стихотворения и трагедии. Л., 1959, с. 176—177). В художественном сознании Белого этот танец приобрел значение истощения и опустошенности; строками своего стихотворения «Пир» (1905)

И, проигравшийся игрок,  
Я встал: неуживо строгий,  
Плясал безумный кэк-уок,  
Под потолок кидая ноги

(«Шепел», с. 134)

он определял «тональность» своего внутреннего развития в середине 1900-х гг. (в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. — *Sahiers du Monde russe et soviétique*, vol. XV, 1974, № 1—2, p. 57). Ср. строки из статьи «Штемцелеванная калоша» (1907), в которых отразились события 1905 г.: «Когда Москва обливалась кровью в декабре и красное зарево пожара сияло над городом, — у Палкина красные неаполитанцы бренчали кэк-уок. Это был не просто кэк-уок: это был кэк-уок над бездной» («Арабески», с. 343—344); образ из «четвертой симфонии» — «кэк-уок пурги» (Белый Андрей. Кубок метелей, с. 19). Впоследствии кекуок сделался для Белого одним из символов «дикарства XX века»: «... танцевали мы — кэк-уок, негрский танец; и „кэк-уоком“ пошли мы по жизни <...> печать „Кэк-уока“ и „Танго“ — отпечатались на всем проявлении — в нашей жизни; и она — печать дикаря, которого якобы цивилизацией рассосала Европа; не рассосала — всосала: его огромное тело в свое миниатюрное тельце» (Белый Андрей. На перевале. I. Кризис жизни, с. 83).

<sup>40</sup> *Генрик Ибсен* (1826—1906) — великий норвежский драматург, творчеству которого Белый придавал огромное значение. См. его статьи «Генрик Ибсен», «Ибсен и Достоевский», «Кризис сознания и Генрик Ибсен», вошедшие в кн. «Арабески».

<sup>41</sup> В рукописи романа зачеркнуто более прозрачное указание на свершение сатанинского шабаша; первоначальный вариант текста: «... для свершения сатанинского акта (целования зада Козлу и топтанья креста)...» (л. 230).

<sup>42</sup> *Требник* — богослужебная книга, содержащая молитвы и священнодействия, называемые требами. Существуют Требник большой, малый и дополнительный. Требник вошел во всеобщее употребление в русской православной церкви.

<sup>43</sup> Имеется в виду «Молитва запретительная святого Василия над страждущими от демонов» (Требник, М., 1884, ч. 1—2, л. 228—228 об.). *Василий Великий*, архиепископ Кесарийский (окдло 330—1 января 379) — отец и учитель церкви, глава Каппадокийской школы богословия. Описывая в мемуарах лето 1911 г., проведенное в Боголюбах (непосредственно предшествовавшее началу работы над «Петербургом»), Белый упоминает о «медиумических явлениях» в своем летнем домике и о борьбе с «феноменами»: «... мне одна богомольная старушка рекомендовала почитать в пустой комнате увещевание Василия Великого, обращенное к бесам; вот до чего уходили мы себя с Асей к концу боголюбского лета» (Белый Андрей. Воспоминания, т. 3, ч. 2. — ГИБ, ф. 60, ед. хр. 15, л. 157; Ася — А. А. Тургенева, первая жена Белого).

<sup>44</sup> *Карл Ведекер* (1801—1859) — составитель справочников-путеводителей по странам и городам, очень популярных в Европе. В обиходе эти путеводители назывались его именем.

<sup>45</sup> *Кирсанов* — уездный город Тамбовской губернии, железнодорожная станция Рязанско-Уральской железной дороги.

<sup>46</sup> Имеются в виду негры — жители африканских колоний Франции, которых французское правительство вербовало в солдаты; впоследствии они участвовали в первой мировой войне. В сознании Белого этот факт воспринимался как пред-

вестие грядущих катастрофических перемен (см.: «Путевые заметки», с. 274; ЛН, с. 424—425; Белый Андрей. «Одна из обителей царства теней». Л., 1924, с. 52—57).

<sup>47</sup> *Холерина* — устаревший термин для обозначения острого катара желудочно-кишечного тракта; также — вторая стадия холеры; при легких формах заболевания холера может остановиться на стадии холерины.

<sup>48</sup> *Капли доктора Иноземцева* — настойка на опийной основе, применяемая как болеутоляющее и успокоительное средство при кишечных заболеваниях; предложены выдающимся русским врачом Ф. И. Иноземцевым (1802—1869) для лечения холеры.

<sup>49</sup> В описании бреда Дудкина Белый использует, объединяя, две литературные традиции. Во-первых, это традиция Гоголя, который в повести «Портрет» изобразил ночной бред художника Чарткова перед купленной картиной. На связь с Гоголем указывал сам Белый: «В сцене бреда, происходящего в комнате, озаренной луной, на Васильевском острове, утрировано чувство Чарткова перед портретом, озаренном луной; Неуловимому слышится: „Я гублю без возврата“<sup>4</sup>; в него влез персиянин, Шишнарфиев; но он — Энфраншиш, т. е. „шиш“ (бредовой каламбур); а в душу Чарткова влез перс, или грек, выскочивший из портрета, чтобы *губить без возврата*...» («Мастерство Гоголя», с. 304). Во-вторых, это традиция Достоевского, идущая от его романов «Бесы» и «Братья Карамазовы». В последнем Белого особенно могла привлечь сцена, в которой изображается ночной «разговор» Ивана Карамазова с «чертом» (ч. IV, кн. 11, гл. IX), причем выясняется (как и у Белого), что «черт» есть плод воображения Ивана, его галлюцинация, его второе «я». Все три героя — Чартков Гоголя, Иван Карамазов Достоевского и Дудкин Белого — кончат помешательством.

<sup>50</sup> Эпизод суда Понтия Пилата над Иисусом Христом (Евангелие от Матфея, XXVII, 24).

<sup>51</sup> ... *стены громадного, рукотворного храма* ~ *Исакий*. — Выпад Белого против официальной церковности; ср. с евангельской притчей, в которой храм рукотворный противопоставляется храму нерукотворному (истинной вере): «И некоторые вставши лжесвидетельствовали против Него и говорили: Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный и чрез три дня воздвигну другой нерукотворенный“» (Евангелие от Марка, XIV, 57—58).

<sup>52</sup> *Анаграмма* — перестановка букв в слове, в результате чего образуются новые слова (Шишнарфиев — Энфраншиш). Здесь употреблено в более широком многозначительном смысле: «посетитель» Дудкина — черт, т. е. совсем другое лицо, не то, за которое он себя выдает.

<sup>53</sup> *Евгений* — герой поэмы Пушкина «Медный всадник».

<sup>54</sup> *Николай, Александры* — имеются в виду русские императоры Николай I, Александр II и Александр III. См. статью Белого «Круговое движение (Сорок две арабески)» (Труды и дни, 1912, № 4—5, с. 51—73), в которой обосновывается идея кругового развития исторического процесса.

<sup>55</sup> «*Petro Primo Catharina Secunda*» — надпись по латыни («Петру Первому — Екатерина Вторая») на гранитной скале, служащей основанием для Медного всадника.

<sup>56</sup> *Архангелова труба* — новозаветный образ трубы, которая должна возвестить второе пришествие Христа (Первое послание к фессалоникийцам св. апостола Павла, IV, 16; Первое послание к коринфянам св. апостола Павла, XV, 51—53).

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце прости...» (1834) (III, 330); первая строка изменена Белым.

<sup>2</sup> *Гауризанкар* (Гауришанкар) — горная вершина в Гималаях, высота 7144 м. До 1913 г. ошибочно отождествлялась с находившейся на расстоянии 60 км от нее вершиной Джомолунгма (Эверест) — наивысшей на земле.

<sup>3</sup> Университетская церковь Святых апостолов Петра и Павла.

<sup>4</sup> *Поккерт* — действительное имя гувернантки Белого в 1886—начале 1887 г. («На рубеже двух столетий», с. 205).

<sup>5</sup> *Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?*... — начальные строки баллады Гете «Лесной царь» («Erlkönig») (1782). Согласно автобиографическим свидетельствам Белого, с немецкой классической поэзией его познакомила не фрейлейп Ноккерт, а другая гувернантка, Раиса Ивановна, осенью 1884 г.: «Первые откровения поэзии при слушании „Schloss am Meer“ Уланда: Раиса Ивановна мне читает Уланда, Гете, Гейне и Эйхендорфа. Немецкие романтики окрашивают мир в новый цвет» (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 1 об.). Ср. признания Белого о детстве в письме к А. А. Блоку от 18 или 19 декабря 1904 г.: «...начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гете, из Уланда, а я у нее на коленях засыпаю. Вот моя музыкальная тема» («Переписка», с. 114).

<sup>6</sup> *Кто скачет, кто мчится под ладною мглою...* — Начальные строки баллады В. А. Жуковского «Лесной царь» (1818) (перевод одноименной баллады Гете).

<sup>7</sup> *В руках его мертвый младенец лежал...* — заключительная строка баллады Жуковского «Лесной царь».

<sup>8</sup> Параллель с романом «Серебряный голубь»: «...месяц август несетя в высоком небе треугольниками журавлей: слушай же, слушай, родимый, прощальный глас пролетающего лета!..» («Серебряный голубь», с. 202; ср. с. 205).

<sup>9</sup> *Пенталлион* (квинтиллион) — 10<sup>30</sup> — в Англии и Германии. 10<sup>18</sup> — в Америке и Франции; в настоящее время единой системы названий для больших чисел не существует. Пенталлион у Белого, видимо, возник по аналогии с большими числами, фигурирующими в разговоре Ивана Карамазова с чертом («Братья Карамазовы». ч. IV, кн. 11, гл. IX): «квадриллион верст», «биллион лет ходу», «теперешняя земля <...> биллион раз повторялась», «квадриллионная стеньга» и т. д. (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1976, т. 15, с. 79).

<sup>10</sup> *Акафист* — хвалебные песнопения в честь Иисуса Христа, Богоматери и святых, исполняемые молящимися стоя.

<sup>11</sup> *Роберт Эдвин Пири* (1856—1920) — американский полярный путешественник, 6 апреля 1909 г. первым достигший Северного полюса. *Фриггоф Хансен* (1861—1930) — норвежский океанограф, исследователь Арктики и общественный деятель, прославился отважными экспедициями в бассейне Северного Ледовитого океана. *Руаль Амундсен* (1872—1928) — норвежский исследователь Арктики и Антарктики, совершил ряд выдающихся полярных путешествий, 14—16 декабря 1911 г. первым достиг Южного полюса.

<sup>12</sup> Ироническая реминисценция библейской картины сотворения мира (Бытие, 1, 2—5).

<sup>13</sup> *Свет во тьме светит. Тьма не объяла его.* — См. примеч. 38 к гл. 4.

<sup>14</sup> *Филлоксера* — род паразитических насекомых, принадлежащих к семейству тлей или травяных вшей. Многие виды этого рода являются вредителями сельскохозяйственных растений.

<sup>15</sup> *Зодиак* — ряд созвездий, в которых совершаются видимые движения Солнца, Луны и главных планет. Сообразно месяцам года, Зодиак составляют 12 созвездий, названия и знаки которых установлены в глубокой древности. Об использовании знаков Зодиака по отношению к положению планет в астрологии см. обширный комментарий Белого к статье «Эмблематика смысла» («Символизм», с. 485—490).

<sup>16</sup> *Алексей Владимирович Коншин* — управляющий государственным банком; его подпись факсимильно воспроизводилась на русских банкнотах.

<sup>17</sup> *Прозерпина* (римск.; греч. — Персефона) — дочь Зевса и Деметры. Ее похитил *Плутон* (римск.; греч. — Аид), бог подземного царства мертвых. Персефона одну часть года проводила у Плутона, а другую — среди богов; в позднейшей литературе стала символом бессмертия души.

<sup>18</sup> *Коцит* (или *Кокит*) — в греческой мифологии одна из рек подземного царства мертвых, приток Ахеронта. Ср. стихотворение Белого «Жалоба» (1909):

В пустынный берег бьет Коцит (...)  
И различаю сквозь туман  
Я закоцитный берег милый.

(«Урна», с. 104)

<sup>19</sup> *Таргар* — темница титанов, лежащая (по Гомеру — Илиада, VIII, 16) в глубинах Земли настолько ниже царства Аида, насколько Земля ниже неба.

<sup>20</sup> *Харон* — в греческой мифологии перевозчик теней умерших через реки преисподней. См.: Вергилий. Энеида, VI, 295—330. *Флегетон* (или Пирифлегетонт) — огненная река подземного царства (см.: Вергилий. Энеида, VI, 548 и сл.). Ср. стихотворение Пушкина «Прозерпина» (1824):

Плещут волны Флегетона,  
Своды Таргара дрожат

(III, 319).

<sup>21</sup> В сознании Белого враги заняли определенное место после ознакомления со статьей Вл. Соловьева «Враг с востока», посвященной распространению врагов в России. Тема врагов имела для Белого и личный интерес: ей было посвящено его университетское кандидатское сочинение (1902). Впоследствии Белый отошел от нее: ее естественноприродный аспект не занимал его больше. Знаменательный смысл тема врагов приобрела для Белого в ином плане — в плане соловьевской проблематики Востока и Запада; так, картина чередования равнины и врагов уже в ранний период напоминает Белому «монгольское прошлое» страны (Белый Андрей. Симфония (2-я драматическая). М., 1902, с. 128).

<sup>22</sup> *Аквилон* — северо-восточный ветер в Италии и Греции, считался также и северным ветром.

<sup>23</sup> ... *Мухомединск, Лихов, Гладов, Мороветринск, Пупинск*... — такого рода семантическая окрашенность топонимических названий восходит у Белого, возможно, к Некрасову, — ср. строки поэмы «Кому на Руси жить хорошо» о крестьянах из

Подтянутой губернии,  
Уезда Терпигорева,  
Пустопорожней волости,  
Из смежных деревень:  
Заплатова, Дырявина,  
Разутова, Знобишина,  
Горелова, Неелова —  
Неурожайка тож...

(Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в трех томах. Л., 1967, т. 3, с. 7; ср. с. 351). Возможно также использование опыта Достоевского (город Скотопригоньевск — место действия романа «Братья Карамазовы»). Упоминаемый Белый *Лихов* — «славный город Лихов» из романа «Серебряный голубь», описанный, подобно Петербургу, как город кажущийся, погруженный во мглу, «город теней» («Серебряный голубь», с. 50, 57, 307 и др.) Все эти названия, равно как и Петербург, символизируют для Белого современную «больную» Россию, которой суждено пройти через духовное преображение. Глубоко пережив уход и смерть Л. Н. Толстого на станции Астапово как своего рода религиозный житнетворческий подвиг, он писал в ноябре 1910 г. (за год до начала работы над «Петербургом»): «Не Петербург, не Москва — Россия; Россия и не Скотопригоньевск, не городок Передонова, Россия — не городок Окуров, не Лихов. Россия — это *Астапово*, окруженное пространствами; и эти пространства — не лихие пространства: это *ясные*, как день Божий, *лучезарные поляны*» (Белый Андрей. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. М., 1911, с. 46). «Городок Передонова» — место действия романа Ф. Со-

логуба «Мелкий бес» (1902), «Городок Окуров» — место действия произведений М. Горького «Городок Окуров» (1909) и «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910—1911).

<sup>24</sup> *Пальмира* (в Ветхом завете Фадмор — см. Третью книгу Царств, IX, 18) — пальмовый город, основанный царем Соломоном как останочный пункт для караванов в Сирийской пустыне между Антиливаном и Ефратом; центр одноименного рабовладельческого государства, прославился великолепием архитектурных памятников. До времен Римской империи Пальмира процветала торговлей, будучи посредницей между Западом и Востоком. В русской традиции с XVIII в. было принято условно-поэтически называть Петербург Северной Пальмирой.

<sup>25</sup> *Стрелометатель*, — *тикетно он слал зубчатую Аполлонову молнию...* — Одно из качеств Аполлона (древнегреч. миф.) — бог благополучия и порядка, охранитель закона, защитник государственного благоустройства. Он возвещает людям волю Зевса, управителя мира и высочайшего защитника законности, он бодрствует над ее исполнением. Противящихся закону Зевса Аполлон наказывает стрелами, пускаемыми из серебряного лука, которые приносят гибель преступнику.

<sup>26</sup> *Сизиф* — основатель и царь Коринфа. За свои преступления против богов был осужден в царстве Аида на тяжелый и бесцельный труд: вечно вкатывать на гору каменную глыбу, неизменно скатывающуюся обратно. См.: Одиссея, XI, 593—600.

<sup>27</sup> Белый делает Аполлона Аполлоновича ровесником своего отца Н. В. Бугаева (1837—1903). Ср. примеч. 12 к гл. 1.

<sup>28</sup> Возможно, имеется в виду кафедра энциклопедии и истории философии права. Намек на биографию Победоносцева.

<sup>29</sup> *Абитуриент* — выпускник среднего учебного заведения.

<sup>30</sup> Цитата из стихотворения Пушкина «Чем чаще празднует лицей...» (1831) (III, 278).

<sup>31</sup> Стихотворение Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834) воспроизводится Белым с многочисленными неточностями; ср.: III, 330.

<sup>32</sup> Искаженная цитата из стихотворения Пушкина «Была пора: наш праздник молодой...» (1836); у Пушкина: «И нет его — и Русь оставил он» (III, 432).

<sup>33</sup> *Вячеслав Константинович* — В. К. Плеве.

<sup>34</sup> Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (III, 330).

<sup>35</sup> Михайловский дворец (Инженерный замок), построенный по проекту В. И. Баженова в 1797—1800 гг. для императора Павла I, который был убит в нем в 1801 г.

<sup>36</sup> Речь идет о двух симметричных павильонах перед главным подъездом Инженерного (Михайловского) замка, построенных по проекту архитектора В. И. Баженова в 1798—1800 гг.

<sup>37</sup> Памятник Петру I перед Михайловским дворцом (см. примеч. 3 к гл. 4).

<sup>38</sup> Подразумевается надпись, сделанная на передней стенке пьедестала конной статуи Петра I при ее установке: «Прадеду правнук. 1800».

<sup>39</sup> *Андреевская лента* — орден св. апостола Андрея Первозванного — высший орден Российской империи, утвержденный в 1698 г.; имел специальную ленту.

<sup>40</sup> Описание убийства Павла I выполняет в построении романа вполне определенную функцию: известно, что косвенным образом к заговору был причастен его сын, будущий император Александр I; для Белого здесь важной была та же проблема «отцеубийства», которая лежит в основе сюжета «Петербурга» (на эту проблему был сделан упор и в вышедшей в 1908 г. драме Д. С. Мережковского «Павел I»). И в самом изображении Павла I Белый близок к обрисовке Аполлона Аполлоновича Аблеухова.

<sup>41</sup> *Кунсткамера* — первый публичный музей в России, учрежденный Петром I. В 1718 г. Петр издал указ об обязательной присылке в кунсткамеру всех человеческих и животных «монстров».

<sup>42</sup> Реминисценция рассуждений о «бездне», развивавшихся Белым в статье «Штемпелеванная калоша» (1907): «Бездна — необходимое условие комфорта для петербургского литератора» («Арабески», с. 343).

<sup>43</sup> Формула из Евангелия: «Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Евангелие от Луки, XXIII, 33—34).

<sup>44</sup> *Тютюка* (тютя; диалектн.) — тихий безвольный человек; первонач. — дворовая курица.

<sup>45</sup> Возможная реминисценция из романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1902) — описание наружности Грушиной: «Все так смело открытое у Грушиной было красиво, — но какие противоречия. На коже — блоши укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости» (Сологуб Ф. Собр. соч. В 20-ти т. СПб., 1913, т. 6, с. 370). В статье, посвященной анализу творчества Сологуба («Далай-лама из Сапожка»), Белый подмечает эту деталь и многообразно ее варьирует (Весы, 1908, № 3, с. 63—76; с небольшими изменениями, касающимися и этой детали, и под заглавием «Ф. Сологуб» перепеч. в кн.: Белый Андрей. Луг зеленый. М., 1910, с. 152—177).

<sup>46</sup> Этот образ восходит к рассказу Андрея Белого «Куст» (1906) (Золотое руно, 1906, № 7—8—9, с. 129—135), в центре которого — одушевленный образ «куста-ворожея», половившего красавицу-огородницу.

<sup>47</sup> «*Не искушай меня без нужды...*» — Романс М. И. Глинки «Разуверение» (1825) на слова одноименного стихотворения Баратынского (1821) (Баратынский Е. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 70). Строки этого стихотворения

Разочарованному чужды  
Все обольщенья прежних дней

Белый взял эпиграфом к книге своих стихотворений «Урна» (1909).

<sup>48</sup> Дудкина, сидящего верхом на мертвом Липпанченко, — пародию на Медного всадника — Белый проецировал также на Поприщина, героя «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Поприщин у Гоголя вообразил себя королем; Неуловимый, вообразивши себя Евгением из „Медного Всадника“, вообразил себя и Петром, когда в него металлами пролилась статуя; убивши Липпанченко, сел на него он верхом, приняв труп за коня (...) Неуловимый кончает Поприщиным (...)» («Мастерство Гоголя», с. 306). И. Хольтхузен, считая проводимую Белым в этом случае аналогию с Поприщиным неудачной, сравнивает позу Дудкина (кроме очевидной карикатурной аналогии с конной статуей Фальконе) с описанием Евгения, спасающегося от наводнения на статуе льва, в пушкинском «Медном всаднике»:

На звере мраморном верхом,  
Без шляпы, руки сжав крестом,  
Сидел недвижный, страшно бледный  
Евгений...

(Holthusen J. Studien zur Ästhetik und Poetik des russischem Symbolismus. Göttingen, 1957, S. 122). Аналогия с убийством Гапона в Озерках устанавливается в статье Л. К. Долгополова в наст. изд.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

<sup>1</sup> Эпиграф — из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825) (VII, 17) — монолог Пимена. Последняя строка у Пушкина: «Не много слов доходят до меня».

<sup>2</sup> *Покров пресвятой богородицы* — праздник православной церкви (1 октября); *Рождество богородицы* — церковный праздник, продолжается с 7 по 12 сентября; *Никола Зимний* — день преставления св. Николая-чудотворца, архиепископа Мирлицкого (6 декабря).

<sup>3</sup> *Праздник престольный* — храмовый праздник в честь христианского святого, которому посвящен данный храм.

<sup>4</sup> *Ватерпруф* — непромокаемое женское пальто.

<sup>5</sup> *Манталлини* — фамилия персонажа романа Чарльза Диккенса «Жизнь и при-

ключения Николаса Никльби» (1839), легкомысленного и сентиментального супруга модистки мадам Манталини, шеголя и бездельника, обрисованного автором в юмористических тонах. Знакомство Белого с этим романом едва ли поддежит сомнению: «Диккенс — мое перманентное чтение <...> три романа Диккенса значат больше, чем триста романов с пониженным качеством», — отмечал он в мемуарах («На рубеже двух столетий», с. 209).

<sup>6</sup> *Гуниади Янос* — целебный источник, богатый слабительными солями, на Офенских минеральных водах в Будапеште.

<sup>7</sup> *Джордано Бруно* — итальянский философ и поэт (1548—1600), развивал гелиоцентрическую теорию Н. Коперника; по обвинению в ереси и свободомыслии был сожжен на костре. Взгляды Бруно высоко ценили теософы (см.: *Безант Анни*. Джордано Бруно. Пг., 1915). Сам Белый в письме к М. К. Морозовой (1913) называет Джордано Бруно в ряду имен оккультистов (ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16).

<sup>8</sup> *Альгамбра* — старинная крепость арабских властителей в Испании на окраине Гранады со знаменитым дворцом (1213—1338) и внутренними дворами с садами и фонтанами. «Жилище это по красоте своей — украшение всем жилищам человечества», — гласят арабские стихи на одной из чаш фонтана. В стихотворении «Пародия» (1931) Белый упоминает этот дворец («Стихотворения и поэмы», с. 481).

## ЭПИЛОГ

В эпилоге пунктирно воссозданы впечатления Белого от заграничного путешествия в ноябре 1910—мае 1911 г. (Венеция—Сицилия—Тунис—Египет—Палестина), предпринятого им совместно с его первой женой Анной Алексеевной (Асей) Тургеневой (1890—1966).

<sup>1</sup> Белый жил в Тунисе в январе—феврале 1911 г.

<sup>2</sup> Пояснения Белого: «Гондура — цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус» (другой вариант: «Длинная рубашка ниже колен, которую арабы носят под плащом»); «Чечья — круглая тунисская феска с длиннейшею кистью» («Путевые заметки», с. 184, 247, 185). Ср.: «Как сейчас стоит в памяти изразцовая комватка, устланная шелками тахта, кайруанский коврик <...> я в зеленом халате и феске-чече развивал перед Асей свою философию» (ЛН, с. 425). В письме к А. С. Петровскому от 18 января 1911 г. Белый на рисунке изобразил себя в чече (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 56).

<sup>3</sup> Пояснение Белого: «Там-там — особый инструмент, напоминающий барабан: в него бьют руками» («Путевые заметки», с. 228).

<sup>4</sup> *Захуан* — горная гряда в Тунисе. (Ср.: «Путевые заметки», с. 282).

<sup>5</sup> Мыс в Тунисском заливе, входивший в состав территории рабовладельческого города-государства Карфагена (VII—II вв. до н. э.). Об этом мысе см.: ЛН, с. 417.

<sup>6</sup> Здесь отразились впечатления Белого от тунисского села Радес, в котором он провел, по его словам, «странные, тихие, великолепные дни» в январе—феврале 1911 г.: «В Тунис я приехал погреться на солнышке — на десять дней; и не более; а очутился в Радесе: живу второй месяц в арабском селе...» («Путевые заметки», с. 244, 265). В письме к М. К. Морозовой он сообщил: «Живем в Радесе, маленькой арабской деревушке, среди арабов. Мы сняли настоящий арабский дом с плоской крышей...» (ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16).

<sup>7</sup> Имеется в виду так называемый *великий сфинкс* — самый большой из сфинксов, высеченный из цельной скалы близ пирамиды Хефрена. Сфинкс как символический образ привлекал внимание Белого еще до восточного путешествия: см. его статью «Сфинкс» (Весы, 1905, № 9—10, с. 23—49); в статье «Феникс» (1906) им разработан двуединый символ — Сфинкс и Феникс, где Сфинкс знаменует «олицетворение темной бесконечности бытия и хаоса», «пустота и небытие смотрит из его темных глаз» («Арабски», с. 154, 151). Белый увидел великого

сфинкса в начале марта 1911 г. В воспоминаниях он указывал, что в «Петербург» передано ощущение стоянья перед сфинксом на протяжении всего романа» и цитировал соответствующие отрывки из эпилога (ЛН, с. 434). Свои впечатления от сфинкса Белый передал также в ряде писем из Египта. «Пишу Тебе, потрясенный Сфинксом, — сообщал он матери, А. Д. Бугаевой. — Такого живого, исполненного значением взгляда я еще не видал нигде, никогда <...> На голубом небе, прямо из звезд в пустыню летит взор чудовищного сфинкса; и он — не то ангел, не то — зверь, не то прекрасная женщина» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 359; ср.: «Переписка», с. 249). Свое «ощущение стоянья перед сфинксом» Белый подробно запечатлел в путевых очерках «Египет» (Современник, 1912, № 6, с. 188—193; ср.: Белый Андрей. На перевале. I. Кризис жизни, с. 25).

<sup>8</sup> Булакский музей — музей египетских древностей в Булаке, гавани Каира, основанный в 1858 г. В нем сосредоточено большое количество памятников, добытых при раскопках, древнейшие папирусы и т. д. Из экспонатов музея на Белого наибольшее впечатление произвела мумия фараона Рамзеса II (см. примеч. 40 к гл. 4).

<sup>9</sup> «Книга Мертвых» — памятник древнеегипетской священной литературы — сборник не связанных между собой текстов различного размера (поэтических гимнов, заклинаний, магических формул), имевших целью, согласно верованиям египтян, обеспечить умершему благополучие в загробном мире и возможность появления днем на земле; текст клали вместе с умершим в гробницу.

<sup>10</sup> Манефон (конец IV — начало III вв. до н. э.) — древнеегипетский историк, жрец, написавший на греческом языке «Историю Египта», дошедшую до нас в извлечениях. Ему принадлежит разделение истории Египта на 30 династий, принятое в науке (с некоторыми уточнениями) и в настоящее время. См.: Струве В. В. Подлинный Манефонский список царей Египта и хронология Нового царства. — Вестник древней истории, 1946, № 4, с. 9—25.

<sup>11</sup> Лейтмотив многих египетских впечатлений самого Белого (см.: Белый Андрей. Египет. — Современник, 1912, № 5, с. 201, 205). В позднейших воспоминаниях Белый писал: «...египетская старина прорастала в Египет двадцатого века...»; «...самые жесты, с которыми полицейские поднимают белую палочку, напоминали жесты египетских человечков на фресках; так старый Египет врылся в каирский проспект из разрытой в песках усыпальницы»; «Старый арабский Каир не волнует; а пятитысячелетний древний Египет, кометой врезаясь в сознание, в нем оживает, как самая жгучая современность; и даже: как предстоящее будущее» (ЛН, с. 435, 428—429, 432).

<sup>12</sup> Забвение Канта Николаем Аполлоновичем имеет под собой почвой соответственную эволюцию в мировоззрении самого Белого: к 1909 г., отмечает он в автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г., ему «надедают Кант, Риккерт, Коген», новая тенденция — «от Канта к исканию „мистерии“ по-новому, как „пути жизни“...» (Cahiers du Monde russe et soviétique, vol. XV, 1974, № 1—2, p. 64). По возвращении из восточного путешествия он печатно объявил об этом существенном изменении в своем мирозерпании: «прежде со мной путешествовал Кант: книга оказалась неудобной при переездах» (Белый Андрей. Круговое движение (Сорок две арабески). — Труды и дни, 1912, № 4—5, с. 57).

<sup>13</sup> Гизе (Gizeh, Gîzeh) — местность на левом берегу Нила, близ Каира, известная полем пирамид (здесь находятся три самых больших пирамиды: Хеопса, Хефрена и Менкара, несколько меньших и великий сфинкс). Поле пирамид и восхождение на пирамиду Хеопса подробно описаны в путевых очерках Белого «Египет» (Современник, 1912, № 6, с. 176—186, 194—199). Переживания, вызванные созерцанием и восхождением на пирамиды, Белый определял как «пирамидную болезнь»; он писал: «хотелось низринуться, несмотря ни на что, потому что все, что ни есть, как вскричало: „Ужас, яма и петля тебе, человек!“» (Белый повторяет здесь слова из «Серебряного голубя», в которых передано ощущение от сектантского радения). И затем он продолжает: «„Пирамидная болезнь“ длилась долго; меж влезанием на трухлявый бок пирамиды и переживаниями „Пе-



тербурга" протянулась явная связь» (ЛН, т. 27—28, с. 434). В рукописном варианте этого эпизода воспоминаний сохранилась более подробная характеристика значения «пирамидных» переживаний для будущего «Петербурга»: «... последствие „пирамидной болезни“, какая-то перемена органов восприятия; жизнь окрасилась новой тональностью, как будто я восходил на рябые ступени — одним; сошел же — другим; и то новое отношение к жизни, с которым сошел я с бесплодной вершины, скоро ж сказалось в произведениях моих; жизнь, которую видел я красочно, как бы слиняла; сравните краски романа „Серебряный голубь“ с тотчас же начатым „Петербургом“, и вас поразят мрачно-серые, черноватые, иль вовсе бесцветные линии „Петербурга“; ощущение Сфинкса и пирамид сопровождает мой роман „Петербург“» (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 15, л. 81).

<sup>14</sup> Речь идет о знаменитом памятнике древнеегипетской литературы эпохи Среднего Царства (XX—XVIII вв. до н. э.) — «поучении Хети, сына Дуауфа, своему сыну Пепи» (точнее: «поучение Ахтойа, Дуауфова сына, его сыну Пиопи»), в котором в сопоставлении с другими восхваляется профессия писца. *Дауфсегрута* (правильно Дуауф-се-Ахтой) — неверная транслитерация собственных имен в коптской огласовке, обусловленная уровнем развития современной Белому египтологии. (За консультацию по этому вопросу выражаем признательность Е. С. Богословскому).

<sup>15</sup> *Назарет* — город в южной Галилее, где, согласно Евангелию, произошло благовещение Богородицы и протекло детство и отрочество Иисуса Христа, по возвращении из Египта. Белый был в Палестине в апреле 1911 г.

<sup>16</sup> Упоминание колокольчиков, вероятно, навеяно стихотворениями Вл. Соловьева «Белые колокольчики» (1899) и «Вновь белые колокольчики» (1900). В первом из них колокольчики выступают олицетворением светлых стремлений человеческой души:

«Мы живем, твои белые думы,  
У заветных тропинок души.  
Бродишь ты по дороге угрюмой,  
Мы недвижно сияем в тиши...»

Во втором, предсмертном, стихотворении, развивая ту же тему, Соловьев возводит образ цветов в высокую степень пророчества и «жизнетворческой» формулы:

Зло пережитое  
Тонет в крови, —  
Всходит омытое  
Солнце любви.

Замыслы смелые  
В сердце больном, —  
Ангелы белые  
Встали кругом.

(Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 135, 137).

<sup>17</sup> В этих финальных строках, посвященных судьбе главного «авторского» героя «Петербурга», Белый во многом возвращается к жизненно-философским постулатам, сформулированным в романе «Серебряный голубь» — о неизбежном возвращении блудных сыновей России, воспитанных на «западных», «чужих словах», на «луговую, родную стезю»: «Не пройдет году, как пойдут бродить по полям, по лесам, по звериным тропам, чтобы умереть в травой поросшей канаве. Будут, будут числом возрастать убегающие в поля!» («Серебряный голубь», с. 229).

<sup>18</sup> *Григорий Саввич Сковорода* (1722—1794) — украинский философ и поэт; его объективно-идеалистическое миросозерцание формировалось на основе изучения Библии, патристики, философии Платона. Определенное место во взглядах Сково-

роды занимала идея нравственного самосовершенствования на основе самопознания. Познакомился с личностью и мировоззрением мыслителя Белый по книге «Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение» (М., 1912), написанной В. Ф. Эрном (1882—1917), русским религиозным философом, последователем славянофилов и Вл. Соловьева; Белый с юности был связан с Эрном тесным знакомством и сочувствовал его исканиям. Вполне вероятно, что еще ранее Белый был знаком с первой работой Эрна о Сковороде — статьей «Русский Сократ» (Северное сияние, 1908, № 1, ноябрь). В монографии о Сковороде Эрн писал: «В лице Сковороды происходит рождение философского разума в России; и в этом первом же лепете звучат новые, незнакомые новой Европе ноты <...> В Сковороде проводится божественным плугом первая борозда, поднимается в первый раз дикий и вольный русский чернозем. И в этом черноземе, в этой земляной народной природе Сковороды мы с удивлением видим основные черты, характеризующие всю последующую русскую мысль» (с. 333). Эти идеи Эрна совпадают с суждениями Белого, оформившимися зримо после восточного путешествия (1911), о значительности «особого пути» России и о необходимости «свое неевропейство высоко держать». «Возвращаясь в десять раз более русским; пятидесятилетнее отношение к европейцами, этими ходячими палачами жизни, обозлило меня *очень*: мы, слава Богу, русские — не Европа», — писал он А. М. Кожебаткину из Палестины 12 апреля 1911 г. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 11). В своем конкретном анализе мирозерцания Сковороды Эрн акцентирует внимание на ряде моментов, которые безусловно должны были найти у Белого особенное сочувствие: сравнение ухода Толстого (который Белый пережил как огромное событие) с многолетним странничеством Сковороды, подчеркивание «символичности» мировоззрения Сковороды, восходящего к Библии — «миру символичному», идея женственной сущности мира, ставшая впоследствии основой учения Вл. Соловьева (с. 341) и др.

Возможен и еще один смысл упоминания в романе имени Сковороды. В финальных строках Николай Аполлонович своим приближением к родным истокам напоминает Петра Дарьяльского, героя «Серебряного голубя». В образе Дарьяльского, как известно, отразились черты С. М. Соловьева, поэта-символиста и ближайшего друга Белого; Соловьев был по материнской линии потомком Михаила Ивановича Ковалинского — любимого ученика и друга Сковороды, написавшего «Житие Григория Сковороды» — основной источник сведений о жизни и личности философа. В стихотворении «Мои предки» (1911), говоря о Ковалинском, Соловьев упоминает и «блуждающего мудреца» Сковороду («Святой чудак, веселый сын Украйны»):

Он полон был каких-то чудных сил,  
Воистину горел в нем пламень божий,  
И для него последней кельей был  
Чертог великолепного вельможи.  
Текла привольно жизнь Сковороды:  
Как птица, он не собирал, не сеял,  
Мой предок сам писал его труды  
И божьего посланника лелеял.

(Соловьев Сергей. Цветник царевны. Третья книга стихов. М., 1913, с. 125—126). Белый указывал на Ковалинского как предка Соловьева и ученика Сковороды в мемуарах «Между двух революций» (с. 17). Портрет Сковороды висел в библиотеке усадьбы А. Г. Коваленской в Дедове, где постоянно гостил у С. Соловьева Белый; сидя под этим портретом, Вл. Соловьев в июне 1899 г. читал своим родственникам еще не законченные «Три разговора» (см.: Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 378). Подробнее см.: Лавров А. Андрей Белый и Григорий Сковорода. — *Studia slavica* (Budapest), 1975, t. XXI, с. 395—404.

## ДОПОЛНЕНИЯ \*

<sup>1</sup> *Граф Д...* — граф Дубльве из основного текста романа, т. е. С. Ю. Витте (см. примеч. 14 к гл. 1). Неясно, кто именно зашифрован инициалами *С. С. К-н*, — ни один из крупных русских государственных и политических деятелей начала XX в. им не соответствует. Могли в данном случае подразумеваться: один из лидеров кадетской партии Федор Федорович Кокоркин (1871—1918), член Государственного совета, один из учредителей Всероссийского союза земельных собственников Александр Васильевич Кривошеин (1858—1923) или даже генерал Алексей Николаевич Куропаткин (1848—1925), главнокомандующий русскими вооруженными силами на Дальнем Востоке, чье неумелое командование и стратегия явились одной из причин поражения русских войск в войне с Японией 1904—1905 гг. Возможно, что под иронически аттестуемым «нашим знакомцем Подем Польским» Белый подразумевает критика и журналиста Петра Моисеевича Пильского (1876—1942), известного своими фельетонными нападка на символистов.

<sup>2</sup> Орден святого равноапостольного князя Владимира учрежден Екатериной II в 1782 г.; имел четыре степени; орденом награждались как гражданские, так и военные чины.

<sup>3</sup> *Константин Петрович* — К. П. Победоносцев.

<sup>4</sup> *Директор Департамента Полиции* — этот пост в октябре 1905 г. занимал Алексей Александрович Лопухин, позднее один из разоблачителей Азефа.

<sup>5</sup> *Терция* — ныне неупотребляемая единица измерения малых промежутков времени (1/60 секунды).

<sup>6</sup> Ироническая реминисценция из Евангелия от Луки (VII, 47).

<sup>7</sup> Эта «классическая фраза» Аполлона Аполлоновича восходит к известному выражению К. Н. Леонтьева: «Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не „гнила“...» Ср. примеч. 27 к гл. 2.

<sup>8</sup> ... *возненавидел и общину* ∞ *стал решительным сторонником хуторского хозяйства*... — Намек на деятельность Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911), председателя совета министров, опубликовавшего 9 ноября 1906 г. указ о земельной реформе, разрешавшей выход крестьян из общины и имевшей целью направить развитие сельского хозяйства по капиталистическому пути.

<sup>9</sup> *Эсперанто* — наиболее распространенный из искусственных языков; создан в 1887 г. варшавским врачом Л. Заменгофом, по псевдониму которого («Esperanto» — надеющийся) язык и получил свое название.

<sup>10</sup> В Петербурге было две параллельные *Морских улицы* (Большая и Малая); ныне — ул. Герцена и ул. Гоголя; они идут от Невского пр. в сторону Марининской (ныне Исаакиевской) площади.

<sup>11</sup> *Царевкокшайск* — уездный город в бывшей Казанской губернии (ныне г. Йошкар-Ола Марийской АССР).

<sup>12</sup> *Би-ба-бо* — комическая кукла, приводимая в движение пальцами руки.

<sup>13</sup> Полный официальный титул русского императора включал и пункт «наследник Норвежский».

<sup>14</sup> Отголосок полемики литературных символистских фракций Москвы и Петербурга, в которой Белый деятельно участвовал в 1906—1908 гг. Ср. аналогичные суждения в статье Белого «Штемпеванная калоша» (1907) («Арабески», с. 342—344). Белый называет имена популярных в начале XX в. писателей, принадлежавших к различным литературным направлениям, чьи личные и творческие судьбы были связаны с Петербургом: Александр Иванович Куприн (1870—1938), Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941), Леонид Николаевич Андреев (1871—1919), Евгений Николаевич Чириков (1864—1932), Федор Сологуб (псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова; 1863—1927), Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957), Михаил Петрович Арцыбашев (1878—1927), Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881—1925).

\* В «некрасовской» редакции первых глав романа комментируются только те реалии, которые не отражены в примечаниях к основному тексту.

<sup>15</sup> Об отношении Белого к Г. С. Сквороде см. примеч. 18 к Эпилугу. Приводимая здесь пролическая аттестация Сквороды как «отечественного философа» аналогична той характеристике мыслителя, которую дает Белый в новых строках стихотворения «Искуситель» (1908), написанных после его опубликования в книге «Урна»:

Не говорите мне о Канте!!  
Что Кант?.. Вот... есть... Скворода.  
Философ русский, а не немец!!!

(«Стихотворения и поэмы», с. 610). Ср. новые строки стихотворения «Премудрость» («Внемлю речам, объятый тьмой...», 1908), завершающие его в позднейшем переиздании:

Да, господа: что Кант? Философ  
Отличнейший — Скворода...

(Белый Андрей. Стихотворения. Берлин; Пб.; М., 1923, с. 304).

<sup>16</sup> «Открытое» — намек на исторический и литературный журнал «Былое», издававшийся в 1900—1904, в 1906—1907, 1908—1913, 1917—1926 гг. В. Л. Бурцевым, В. Я. Богучарским, П. Е. Щеголевым и подвергавшийся цензурным гонениям в дореволюционные годы.

<sup>17</sup> *Арахноида* (греч.) — прозрачная «паутинная» оболочка, покрывающая головной мозг.

<sup>18</sup> Полупародийный намек на учение английского философа, субъективного идеалиста Д. Беркли (1685—1753), согласно которому объективная реальность представляет собой комплекс ощущений в человеческом сознании, а пространство — фикцию, несуществующую сущность.

<sup>19</sup> Реминисценция из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» — слова Свидригайлова (ч. 4, гл. I): «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! <...> И вдруг, вместо всего этого <...> будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1973, т. 6, с. 221).

<sup>20</sup> ...циркуляр называл он большою посылкою силлогизма; проведение циркуляра... называл он малою посылкою... — Термины логики Аристотеля, обосновавшего в своем «Органоне» учение о силлогизме (умозаключении), т. е. о дедуктивном рассуждении в самом широком смысле.

<sup>21</sup> ...Все, что у вас, есть и у нас... Самое бытие есть только мысль. — Реминисценция из «Братьев Карамазовых» — слова черта Ивану Карамазову (ч. IV, кн. 11, IX): «Все, что у вас есть, — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1976, т. 15, с. 78). В той же главе черт цитирует известный афоризм Рене Декарта (1596—1650) «Я мыслю, следовательно, я существую» из четвертой части его «Рассуждений о методе» (1637): «Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана — все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация <...>» (там же, с. 77).

<sup>22</sup> Белый пародирует «теософический тернер основных единиц» (окультиное взаимодействие и взаимопроникновение трех планов: ментального, астрального и физического): духа (идей), астрала (энергий, форм) и материи (реальных предметов) (см.: Курс энциклопедии оккультизма. СПб., 1912, вып. 1, с. 4—5).

<sup>23</sup> Эпиграф — из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» — название VII главы пятой книги романа.

<sup>24</sup> Торговый дом «Братья Зензиновы» (Одесса) владел магазинами по продаже чая во всех больших городах.

<sup>25</sup> *Персидский порошок* — средство, приготовлявшееся из многолетней персидской ромашки и использовавшееся в качестве инсектицида.

<sup>26</sup> *Рихард Крафт-Эбинг* (1840—1902) — крупнейший немецкий психиатр второй половины XIX в.; *Макс Симон Нордау* (наст. фам. Зигфельд; 1849—1923) — немецкий публицист, врач по образованию; в книге «Вырождение» («Entartung», 1893, русский перевод — 1896) трактовал новейшие искания в европейском искусстве как проявление болезненных наклонностей. Ср. ироническую характеристику Макса Нордау в «Симфонии (2-ой, драматической)» (1901) (Белый Андрей. Собр. эписических поэм. М., 1917, кн. 1, с. 193—194, 196).

<sup>27</sup> Речь идет о книгах: Erdmann V. Kants Kritizismus. Leipzig, 1877; Libmann O. Kant und Epigonen. Berlin, 1865; Vaibinger H. Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Stuttgart—Berlin—Leipzig, 1892, Bd 1—2. Ханс Файхингер (1852—1933) — немецкий философ, исследователь и популяризатор кантианства. Эрнст Кассирер (1874—1945) — немецкий философ-идеалист, неокантианец, автор ряда работ о Канте, редактор авторитетного собрания сочинений философа. См.: Vegene D. P. Kant, Hegel und Cassirer. — Journal of the History of Ideas (New York), 1969, vol. 30, № 1, p. 33—46. См. также примеч. 16 к гл. 3.

<sup>28</sup> ... *орден Иисусовых братьев*... — католический монашеский орден иезуитов («Societas Jesu» (лат.) — «Общество Иисуса»), основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой; существует и ныне.

<sup>29</sup> ... *Анна Петровна водила бесконечно любимого сына девочкою ∞ хотела скрыть она едва улавливаемые черточки всех Аблеуховых*... — Автобиографическая реминисценция Белого: таким же образом мать стремилась закамуфлировать его внешнее сходство с отцом. «Посмотрите на лоб: урод вырастет. Он — вылитый отец!» — говорила А. Д. Бугаева. Белый вспоминал в этой связи: «И я знаю: отец — урод; быть уродом — позор <...> кудри одни меня оправдывают; и — нарядные платьица, в которые переряжают меня, чтобы скрыть уродство; и мне стыдно мальчишек: они пристают ко мне: „Девчонка!“» («На рубеже двух столетий», с. 184). Такой же автобиографический подтекст имеет следующее далее описание конфликтов между отцом и матерью Николая Аполлоновича на почве воспитания сына.

<sup>30</sup> Имена гувернанток и последовательность их служения при Николае Аполлоновиче заимствованы Белым из собственной биографии (в ряде случаев имена воспроизводятся неточно). Январь 1884 г.: «Появление первой бонны Каролины Карловны, первые упражнения в немецком языке»; февраль 1884 г.: «Каролина Карловна прогнана: ко мне берут бонну Фанни Андреевну»; май 1884 г.: «Первое воспоминание о новой гувернантке, Раисе Ивановне» (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 1). Раиса Ивановна, познакомившая Белого с немецкой поэзией, прослужила до осени 1885 г., после чего ее сменила Генриэтта Мартыновна, а затем, в 1886 г. фрейлейн Ноккерт. В это же время «Кениг и Беккер, бледно мелькнув, бледно исчезли», потом «появились француженки» («На рубеже двух столетий», с. 205—206): в январе 1888 г. — мадемуазель Мари, после нее — мадам Тереза, которую сменила мадам Фюмишон. В мае 1889 г. пришла мадемуазель Балла Радэн: «Нежная дружба с m-lle Радэн; мне кажется, что только она одна меня понимает» (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный)..., л. 2 об.). См. также прим. 4, 5 к гл. VII.

<sup>31</sup> *Contradictio* (лат.) — противоречие (логический термин). *Quaternio terminorum* (лат.) — название логической ошибки, заключающейся в том, что в силлогизме вместо полагающихся по правилу трех терминов появляется четвертый термин.

<sup>32</sup> ... *приус*... — (prius — лат.) — предшествующий, первичный (логический термин).

<sup>33</sup> ... *сталелитейный ∞ обузовский ∞ семяниковский*... — Петербургские заводы, рабочие которых принимали активное участие во Всероссийской октябрьской стачке 1905 г.

<sup>34</sup> ... *мондная, демимондная*... — От фр.: monde — высшее общество, светское общество; demimonde — полусвет.

<sup>35</sup> «L'Etat, c'est moi!» — фраза, приписываемая преданием французскому королю Людовику XIV (1638—1715), который якобы произнес ее на заседании парламента в 1655 г. (см.: Dupré P. Encyclopédie des Citations. Paris, 1959, p. 43).

<sup>36</sup> *Карл Двенадцатый* (1682—1718) — шведский король (с 1697 г.), полководец, разгромленный Петром I под Полтавой (1709).

<sup>37</sup> Имеется в виду пьеса Андрея Белого «Петербург» (1924) — инсценировка романа, предназначенная для МХАТ-2. В ходе подготовки пьесы к постановке ее текст подвергался многочисленным изменениям. Подробнее см.: Долгополов Л. К. А. Белый о постановке «исторической драмы» «Петербург» на сцене МХАТ-2 (по материалам ЦГАЛИ). — Русская литература, 1977, № 2, с. 173—176.

<sup>38</sup> Первая строфа баллады Белого «Шут» (1911) (Белый Андрей. Королевы и рыцари. Сказки. 116., 1919, с. 18). Далее в усложненной форме Белый излагает идейный смысл романов «Серебряный голубь» и «Петербург», прибегая к христианской и мистической символике.

<sup>39</sup> *Клингзр* — злой волшебник в опере Р. Вагнера «Парсифаль» (1882), черномagic, похититель копья, которым был ранен Христос на кресте.

<sup>40</sup> *Ариман*, *Люцифер* — в антропософии эти символы обозначают два противоположных пути демонического соблазна, которые угрожают «духовному я» в стремлении к самопознанию: Люцифер — дух гордыни и «человекобожеского» начала, Ариман — дух разложения и хаоса. Подробнее см. третью главу «Рудольф Штейнер как лектор и педагог» в «Воспоминаниях о Штейнере» Андрея Белого (ГБЛ, ф. 25, карт. 4, ед. хр. 2). Белый пользуется этими символами при истолковании своего внутреннего пути в пору приобщения к антропософии (см. его автобиографическое письмо к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. — *Cahiers du Monde russe et soviétique*, vol. XV, 1974, № 1—2, p. 72).

<sup>41</sup> *Персеваль* (Парсиваль, Парсифаль) — легендарный рыцарь-христианин, герой средневековых легенд о святом Граале, послуживших сюжетом для множества литературных и музыкальных произведений, в том числе для одноименной оперы Вагнера. В опере Парсифаль побеждает колдуня Клингзора и становится хранителем Грааля (чаша, из которой причащался Христос и куда была собрана его кровь из раны копьем на кресте).

<sup>42</sup> *Заратустра* (Заратуштра, Зороастр; VII в. до н. э.) — основатель восточной дуалистической религии, названной его именем (зороастризм), согласно которой в мире вечно противоборствуют доброе и злое начало, олицетворенные богами Ахурамаздой и Анхра-Майнью (Ариманом). *Манес* (правильнее Мани; 216—276) — основатель манихейства, дуалистического религиозного учения, сложившегося на основе зороастрийского и христианского культов, близкого к гностицизму. В основе манихейского вероучения, как и в зороастризме, — борьба добра и зла во вселенной.

<sup>43</sup> *Мон-Сальват* — в опере Вагнера «Парсифаль» община рыцарей-христиан, охраняющих чашу св. Грааля.

<sup>44</sup> В статье «Поэзия Блока» (1916) Белый устанавливает доминирующую аллитерацию третьего тома стихотворений Блока («рдт») и дает ей следующее истолкование: «... в „рдт“ форма Блока запечатлела трагедию своего содержания: трагедию отрезвления — трагедию трезвости <...> в ер-де-те — внешнее выражение мужества и трагедии трезвости» (Белый Андрей. Поэзия слова. Пб., 1922, с. 134).

<sup>45</sup> Замысел грандиозного произведения под названием «Я. Эпопея» в полном объеме не был реализован Белым; в альманахе «Записки мечтателей» (№ 1, 2—3, 1919—1921) печатались «Записки чудака» как одна из его составных частей.

<sup>46</sup> Имеется в виду Эмилий Карлович Метнер (псевдоним: Вольфинг; 1872—1936) — критик, философ, музыковед. С 1911 г. его отношения с Белым, первоначально дружески близкие, приобрели все более конфликтный характер, затрагивая принципиальные вопросы о направлении деятельности руководимого Метнером издательства «Мусaget».

<sup>47</sup> Имеется в виду А. А. Блок. См. об этом выше в статье Л. К. Долгополова «Текстологические принципы издания».

<sup>48</sup> Здесь и ранее Белый имеет в виду, цитируя его, стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом» (Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., 1960, т. 3, с. 252).

<sup>49</sup> На подмосковной даче в Расторгуеве Белый жил с конца сентября по первую половину ноября 1911 г.; там он начал работу над «Петербургом».

<sup>50</sup> *Елена Петровна Блаватская* (урожд. Ган, 1831—1891) — основательница теософского движения, автор ряда сочинений по оккультным вопросам. Речь идет о ее книге «Из пещер и дебрей Индостана», выпущенной под псевдонимом «Радда-Бай» в русском переводе в 1888 г. и произведшей большое впечатление на юношу Белого.

<sup>51</sup> *Николай Александрович Бердяев* (1874—1948) и *Сергей Николаевич Булгаков* (1871—1944) — философы-идеалисты, близкие к символистскому кругу, знакомые Белого. Бердяевым была написана статья о «Серебряном голубе» — «Русский соблазн» (Русская мысль, 1910, № 11, отд. II, с. 104—112).

<sup>52</sup> Действительно, после разоблачения провокаций Азефа на партийном суде, «в 1910 году (...) он с паспортом на имя Липченко жил то в Австрии, то в Германии» (Лучинская А. В. Великий провокатор Евно Азеф. 2-е изд. Пг.; М., 1923, с. 109).

<sup>53</sup> *Софья Николаевна* и *Владимир Константинович Кампиони* — мать и отчим А. А. Тургеневой, первой жены Белого. *Александр Михайлович Поццо* — юрист, муж Н. А. Тургеневой, сестры А. Тургеневой и дочери С. Н. Кампиони. Белый посвятил ему несколько стихотворений, вошедших в книгу «Звезда».

<sup>54</sup> *Григорий Алексеевич Рачинский* (1859—1939) — философ, переводчик, литератор, близкий символистам; друг Белого. *Бобровка* — имение Рачинских в Тверской губернии. Сохранилось несколько писем Белого к А. А. Рачинской (сестре Г. А. Рачинского); в первом из них, отправленном из Москвы 20 ноября 1911 г., выражалась просьба разрешить ему приехать в Бобровку 30 ноября 1911 г. и пробыть там около двух недель: «Помимо моего желания видеть Вас и милую Бобровку, мне надо работать (срочно), а мы неожиданно в ноябре очутились в Москве (холода выгнали нас с дачи), совершенно растерялись в городском гамае, так что я не могу работать в Москве». Не дождавшись ответа, Белый выехал в Бобровку, причем сообщал А. А. Рачинской с дороги (Ржев, 1 декабря): «... мне заказан роман в „Русскую мысль“, от возможности написания которого зависит просто наше существование с женой 1912-го года (...) если к первому января я не представлю в „Русскую мысль“ определенное (очень большое) количество печатных страниц, мой роман откладывается до 1913 года, то есть я лишаюсь средств к существованию на 1912 год (...) Простите, ради Бога, меня, если я, не дождавшись разрешения, самочинно явлюсь в Бобровку 3-го». 7 декабря Белый писал А. А. Рачинской из Бобровки: «... так хорошо здесь, ясно, спокойно; так дышится легко после Москвы и так работает (...) думаем с женой воспользоваться Вашей любовью числа до двадцатого. Я у Вас чрезвычайно много напишу» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2384).

<sup>55</sup> *Алексей Сергеевич Петровский* (1881—1958) — переводчик, музеевед, близкий друг Белого со студенческих лет. См.: Письма Андрея Белого к А. С. Петровскому и Е. Н. Кезельман. Публикация Роджера Кийза. — Новый журнал, 1976, № 122, с. 151—166.

<sup>56</sup> Роман Дмитрия Алексеевича Абельдяева (1865—?) «Тень века сего. Записки Абашева» печатался в «Русской мысли» в 1912 г. (№ 6—12), но не был закончен публикацией. См. письмо В. Г. Короленко к Абельдяеву от 17 октября 1910 г. с характеристикой романа (Вопросы литературы, 1962, № 4, с. 158—161).

<sup>57</sup> О позиции Брюсова в инциденте Белого с «Русской мыслью» см.: Литературное наследство. М., 1976, т. 85. Валерий Брюсов, с. 344; Ямпольский И. Валерий Брюсов о «Петербурге» Андрея Белого. — Вопросы литературы, 1973, № 6, с. 314—318.

<sup>58</sup> *Александр Александрович Кизеветтер* (1866—1933) — историк, публицист; участвовал в редактировании «Русской мысли».

<sup>59</sup> *Общество свободной эстетики* — литературно-художественное общество, существовавшее в Москве в 1906—1917 гг., объединявшее в основном представителей творческой интеллигенции модернистской ориентации. См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 33, 401.

<sup>60</sup> Иван Иванович Трояновский (1855—1928) — московский хирург, собиратель живописи, один из основателей Общества свободной эстетики. Валентин Александрович Серов (1865—1911) — художник. Белому принадлежит статья о нем «Памяти художника-моралиста» (Русские ведомости, 1916, № 271, 24 ноября).

<sup>61</sup> Речь идет о квартире Вяч. Иванова (Таврическая ул., д. 25, кв. 24, ныне д. 35), где в 1906—1912 гг. регулярно проводились многолюдные собрания и беседы.

<sup>62</sup> Сергей Митрофанович Городецкий (1884—1967) — поэт, беллетрист, примыкавший в 1900-е гг. к символистам; Алексей Николаевич Толстой (1882—1945) и его жена Софья Исаковна Дышниц-Толстая (1889—1963); Иосиф Владимирович Гессен (1866—1943) — юрист, публицист, известный издатель и редактор газеты «Речь».

<sup>63</sup> Константин Федорович Некрасов (1873—1940) — издатель, племянник Н. А. Некрасова; владелец издательства собственного имени в Ярославле.

<sup>64</sup> Евгений Васильевич Аничков (1866—1937) — историк литературы, фольклорист, критик; близкий друг Вяч. Иванова.

<sup>65</sup> Вера Ивановна Крыжановская (псевд. Рочестер) — автор популярных в начале XX в. в мещанской среде псевдоисторических романов на оккультные и спиритические сюжеты, выходивших ежемесячными приложениями к газете «Свет».

<sup>66</sup> Этот замысел не был реализован. Подробнее см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Андрей Белый и Н. Ф. Федоров. — В кн.: Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. Тарту, 1979, с. 154.

<sup>67</sup> Барон Пьер (Петр Иванович) д'Альгейм (1862—1922) — журналист, писатель, переводчик, московский знакомый Белого и родственник его жены А. А. Тургеновой.

<sup>68</sup> Маргарита Кирилловна Морозова (1873—1958) — жена известного фабриканта М. А. Морозова, адресат юношеских лирико-романтических писем Белого, героиня его «2-ой симфонии». В 1910-е гг. — организатор издательства «Путь».

<sup>69</sup> Так Белый условно называл «Петербург» (задуманый как вторая часть «Серебряного голубя») на подготовительной стадии работы над романом.

<sup>70</sup> В 1911 г. отрывки из «Путевых заметок» Белого печатались в петербургской газете «Речь» и в московской газете «Утро России». Существует два издания первого тома «Путевых заметок» Белого в переработанном варианте: Офейра. Книгоиздательство писателей в Москве, 1921; Путевые заметки, ч. I. Сицилия и Тунис. Берлин, 1922.

<sup>71</sup> Белый был должен издательству «Мусaget» крупную денежную сумму.

<sup>72</sup> Из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche. Слово увещательное к морским чертям» (1898) (Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 121).

<sup>73</sup> Монография для серии «Русские мыслители» издательства «Путь». Первоначально Белый обещал написать книгу об А. А. Фете, в письме к Метнеру речь идет уже о книге о Н. Ф. Федорове. Ни та, ни другая идеи не были реализованы. «Статья о поэтах» — (Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы) (Биржевые ведомости, 1916, 26 июля, утр. вып.; вошла в кн.: Белый Андрей. Поэзия слова. Пб., 1922, с. 7—19).

<sup>74</sup> Речь идет о юношеском замысле Белого, который он пытался реализовать в конце 1890-х гг. Были опубликованы два фрагмента, относящихся к этому произведению: «Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии» (Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903, с. 2—25) и «Пасть ночи. Отрывок из задуманной мистерии» (Золотое руно, 1906, № 1, с. 62—71).

<sup>75</sup> «Заратустра» — философская поэма Фр. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1884), оказавшая на Белого большое влияние. Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий натурфилософ-пантеист, мистик, для сочинений которого характерно сочетание философских, теологических и поэтических элементов. В переводе А. С. Петровского (близкого друга Белого) была издана книга Бёме «Аутога, или Утренняя Заря в восхождении» (М., 1914).

<sup>76</sup> Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825) (II, 427).



<sup>77</sup> *Майя* — одно из главнейших понятий древнеиндийской философии, перешедшее в теософскую и антропософскую терминологию: в школе веданты этот термин употребляется в значении иллюзии, видимости, воспринимаемой обыденным сознанием как подлинная реальность.

<sup>78</sup> «*Песнь жизни*», «*Символизм, как миропонимание*», «*Эмблематика смысла*» — статьи Белого, соответственно опубликованные: «Арабески», с. 43—59; *Мир искусства*, 1904, № 5, с. 178—196 (вошла в «Арабески»); «Символизм», с. 49—143.

<sup>79</sup> Имеется в виду генеральное собрание антропософского общества.

<sup>80</sup> «*Johannesbau*» («Гетeanум») — антропософский центр, «храм-театр», воздвигавшийся с 1914 г. членами антропософского общества в швейцарском селении Дорнахе; в его постройке Белый и А. А. Тургенева принимали деятельное участие.

<sup>81</sup> Имеется в виду храм святой Софии (VI в.), построенный при византийском императоре Юстиниане.

<sup>82</sup> *Илья Николаевич Игнатов* (1858—1921) — критик, публицист, постоянный сотрудник «Русских ведомостей». Речь идет о его заметках о «Петербурге», помещенных в постоянном разделе газеты «Литературные отголоски» (*Русские ведомости*, 1913, № 256, 6 ноября; 1914, № 123, 30 мая).

<sup>83</sup> Имеются в виду романы Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» (1850) и И.-В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793—1796).

<sup>84</sup> *Михаил Александрович Чехов* (1891—1955) — племянник писателя, актер и режиссер, один из руководителей МХАТ-2, исполнитель роли Аблеухова в драме Белого «Петербург» («Гибель сенатора») в этом театре (1925); антропософ.

<sup>85</sup> А. В. Луначарский оказал содействие в разрешении постановки пьесы Белого. См. его письмо по этому поводу от 29 ноября 1924 г. (*Литературное наследство*. М., 1970, т. 82. А. В. Луначарский. Неизданные материалы, с. 398—399). Спектакль Луначарскому не понравился. См. его статью «О „Петербурге“ А. Белого во Втором Художественном театре» (*Красная газета*, 1925, № 282, 21 ноября, веч. вып.).

<sup>86</sup> *Татьяна Львовна Щепкина-Куперник* (1874—1952) — писательница, переводчица, драматург. Белый расценивал ее творчество как образец трафаретной, подражательной литературы.

<sup>87</sup> *Софья Владимировна Гиацинтова* (род. в 1895 г.) — актриса и режиссер, исполнительница роли Лихутиной в драме Белого; *Александр Иванович Чебан* (наст. фам. Чебанов; 1886—1954) — актер и режиссер, работал в МХАТ-2; *Иван Николаевич Берснев* (наст. фам. Павлицев; 1889—1951) — актер и режиссер, один из художественных руководителей МХАТ-2, исполнитель роли Николая Аблеухова.

<sup>88</sup> Драма Белого издана не была.

<sup>89</sup> *Борис Михайлович Сушкевич* (1887—1946) — актер и режиссер, член правления МХАТ-2, исполнитель роли Липпанченко в драме Белого.

<sup>90</sup> *Серафима Германовна Бирман* (1890—1976) — актриса и режиссер, работала в МХАТ-2.

<sup>91</sup> *Владимир Николаевич Татаринев* — режиссер МХАТ-2.

<sup>92</sup> *Эвритмия* (нем.: Eurythmie) — искусство ритма в танце, в движении, которому антропософы уделяли большое внимание.

<sup>93</sup> *С. Н. Кампиони*. См. примеч. 53 к Дополнениям. Письма Белого к С. Н. Кампиони опубликованы Жоржем Нива, см.: *Cahiers du Monde russe et soviétique*, vol. XVIII, 1977, № 1—2, p. 133—155.

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Андрей Белый. Фото. Брюссель, 1912 г. Музей ИРЛИ (с. 4—5).
- «Петербург». Титульный лист первого отдельного издания романа (с. 15).
- «Петербург». Лист белого автографа. ИРЛИ (с. 101).
- Андрей Белый и А. А. Тургенева. Фото. 1915 г. (с. 432—433).
- Андрей Белый и А. А. Тургенева. Портрет работы М. В. Сабашниковой (Волошиной).  
Дорнах, 1916 г. Дом-музей М. А. Волошина. Коктебель (с. 432—433).
- Андрей Белый. Фото. 1916 г. Опубликовано в кн.: Турков А. Александр Блок. М.,  
1969 (с. 432—433).
- Андрей Белый. Фото. 1920-е гг. Собрание М. А. Балцвинника. Ленинград (с. 432—433).
- «Петербург». Лист белого автографа. ИРЛИ (с. 499).

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- «Арабески» — Б е л ы й Андрей. Арабески. Книга статей. М., Мусагет, 1911.
- «Вершины» — И в а н о в-Р а з у м н и к. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг., Колос, 1923.
- ГБЛ — Отдел рукописей Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).
- ГПБ — Отдел рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
- ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.
- ЛН — Б е л ы й Андрей. Воспоминания, т. III, ч. 2. — В кн.: Литературное наследство. М., 1937, т. 27—28.
- «Мастерство Гоголя» — Б е л ы й Андрей. Мастерство Гоголя. М.; Л., ГИХЛ, 1934.
- «Между двух революций» — Б е л ы й Андрей. Между двух революций. Издательство писателей в Ленинграде, 1934.
- «На рубеже двух столетий» — Б е л ы й Андрей. На рубеже двух столетий. М.; Л., Земля и фабрика, 1930.
- «Начало века» — Б е л ы й Андрей. Начало века. М.; Л., ГИХЛ, 1933.
- «Пепел» — Б е л ы й Андрей. Пепел. Стихи. СПб., Шиповник, 1909.
- «Переписка» — Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940 (Летописи Государственного литературного музея, кн. 7).
- «Путевые заметки» — Б е л ы й Андрей. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.; Берлин, Геликон, 1922.
- «Серебряный голубь» — Б е л ы й Андрей. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. М., Скорпион, 1910.
- «Символизм» — Б е л ы й Андрей. Символизм. Книга статей. М., Мусагет, 1910.
- «Стихотворения и поэмы» — Б е л ы й Андрей. Стихотворения и поэмы. М.; Л., Сов. писатель, 1966 («Библиотека поэта», большая серия).
- «Урна» — Б е л ы й Андрей. Урна. Стихотворения. М., Гриф, 1909.
- ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства СССР (Москва).
- «Эпопея» — Б е л ы й Андрей. Воспоминания о Блоке. — В кн.: Эпопея, № 1—4. М.; Берлин, Геликон, 1922—1923.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редактора ( <i>Д. С. Лихачев</i> ) . . . . .	5
---	---

### ПЕТЕРБУРГ

ПРОЛОГ . . . . .	9
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия . . . . .	11
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой повествуется о некоем свидании, чреватом последствиями . . . . .	57
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак . . . . .	106
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой ломается линия повествования . . . . .	142
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания . . . . .	202
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой рассказаны происшествия серенького денька . . . . .	241
ГЛАВА СЕДЬМАЯ, или: происшествия серенького денька все еще продолжают . . . . .	312
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, и последняя . . . . .	387
ЭПИЛОГ . . . . .	417

### ДОПОЛНЕНИЯ

Книжная («некрасовская») редакция двух первых глав романа «Петербург»	420
Текст, изъятый А. Белым из наборной рукописи романа . . . . .	495
Предисловие к повести «Серебряный голубь» (1910) . . . . .	497
Предисловие к книге «Отрывки из романа „Петербург“» (1912) . . . . .	498
Предисловие к роману «Петербург» (1928) . . . . .	498
Из книги А. Белого «На перевале. II. Кризис мысли» (1918) . . . . .	500
Из дневниковых записей «К материалам о Блоке» (1921) . . . . .	501
Из «Дневника писателя» А. Белого . . . . .	502
Из воспоминаний А. Белого «Начало века» («Берлинская редакция» 1922—1923 гг.) . . . . .	504
Из «Воспоминаний» А. Белого (т. III, часть II. «Московский Египет») . . . . .	505
Из писем А. Белого	
М. К. Морозовой . . . . .	511
Э. К. Метнеру . . . . .	512

Иванову-Разумнику . . . . .	516
Матери (А. Д. Бугаевой) . . . . .	522

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» (Л. К. Долгополов) . . . . .	525
От «Симфоний» к «Серебряному голубю» и замыслу трилогии . . . . .	525
От «Серебряного голубя» к «Петербургу» . . . . .	546
Основные редакции романа . . . . .	569
Литературные и исторические источники «Петербурга» . . . . .	584
Приемы и приемы изображения города . . . . .	604
Текстологические принципы издания (Л. К. Долгополов) . . . . .	624
Примечания (С. С. Гречишкин, Л. К. Долгополов, А. В. Лавров) . . . . .	641
Список иллюстраций . . . . .	693
Список сокращений . . . . .	694

Андрей Белый

ПЕТЕРБУРГ

Утверждено к печати  
редколлекцией серии «Литературные памятники»  
Академии наук СССР

Редактор издательства В. А. Браиловский  
Художник М. И. Разумевич  
Технический редактор М. И. Кондрачева  
Корректоры А. И. Кач, Ф. Я. Петрова и Г. И. Суворова

ИБ № 9018

Подписано к печати 17.08.81. Формат 70×90<sup>1/16</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 52,32. Уч.-изд. л. 53,62.  
Тип. зак. 794. Цена 7 руб.

Издательство «Наука», 117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90.  
Набрано в ордена Трудового Красного Знамени 1-ой типографии издательства «Наука»,  
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12. Отпечатано с матриц во 2-ой тип. издательства «Наука»,  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10.